



ИСТОРІЯ
РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ,
ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ.

Сочиненіе

А. Жалахова.

Томъ II.



(ИСТОРІЯ НОВОЙ СЛОВЕСНОСТИ ОТЪ КАРАМЗИНА ДО ПУШКИНА).

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФІИ МОРСКАГО МИНИСТЕРСТВА,
ВЪ Главномъ Адмиралтействѣ.

1875.

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto

MAY 13 1974

ОГЛАВЛЕНІЕ.

§§	Стран.
1. Карамзинъ, какъ писатель эпохи Александра I. Отношеніе его «Похвальнаго слова Екатеринѣ II» къ манифесту о восшествіи на престолъ Александра I	1
2. Біографическій очеркъ Карамзина: первый періодъ его жизни и дѣятельности (1766—1803)	3
3. Письма Русскаго Путешественника и Московскій Журналъ	9
4. Сентиментализмъ, введенный Карамзинымъ въ нашу литературу	13
5. Образъ мыслей Карамзина въ первомъ періодѣ его жизни. Оптимизмъ	18
6. Отношеніе къ французскому перевороту 1789 г. Взглядъ на развитіе человѣчества	25
7. Понятіе объ образѣ правленія	32
8. Мнѣніе о крѣпостномъ правѣ	35
9. Отношеніе къ масонамъ вообще, къ Новикову въ частности	38
10. Взглядъ на реформы Петра I	40
11. Выводы изъ вышеизложеннаго въ §§ 6—9	41
12. Вѣстникъ Европы	42
13. Литературные противники Карамзина	50
14. Споры о старомъ и новомъ слогѣ. Шишковъ и его славянофильство. Преобразование слога Карамзинымъ	53
15. Окончаніе біографическаго очерка Карамзина: второй періодъ его жизни и дѣятельности (1803—1826)	83
16. Исторія Государства Россійскаго, въ связи съ «Запиской о древней и новой Россіи»	91—110

а) Со стороны идеаловъ автора:

Идеалъ нравственный (94).

— государственный (97).

— государственныхъ
преобразованій (99).

б) Со стороны изложенія:

Единство идеи и плана (106).

Группировка матеріаловъ (107).

Характеристика лицъ и событій (108).

Языкъ и слогъ (108).

Дидактическій элементъ (109).

Тонъ изложенія (110).

17. Образъ мыслей Карамзина въ нѣкоторыхъ другихъ его сочиненіяхъ и въ перепискѣ. Болѣе подробныя свѣдѣнія о его жизни и біографическіе матеріалы. 110
18. Подражатели Карамзина и сотрудники его въ преобразованіи слога. И. Дмитріевъ. 117
19. Подражаніе сентиментализму Карамзина: В. Измайловъ, кн. Шаликовъ и др. Противодѣйствіе сентиментальному направленію. Сущность сентиментализма. Различіе между истинною и ложною чувствительностью 120
20. Филантропическое направленіе литературы Карамзина и его послѣдователей. 129
21. Противодѣйствіе подражательной образованности Русскихъ. Требованіе самостоятельнаго развитія (Карамзинъ и Шишковъ). Галломанія. Патріотическая литература: переводы и оригинальныя сочиненія, гр. Растопчинъ, С. Глинка и его «Русскій Вѣстникъ», «Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей Русскаго Слова», и пр. 133
22. Обзоръ литературныхъ произведеній въ главныхъ отдѣлахъ поэзіи и прозы. Господство французскаго классицизма 151
23. Лирика: ода и пѣсня. И. Дмитріевъ, Мерзляковъ, Шатовъ, О. Глинка, Жуковский, Нелединскій-Мелецкій 152
24. Искусственный эпосъ. Разборы Россіады Мерзляковымъ и П. Строевымъ 158
25. Романы и повѣсти, переводныя и оригинальныя. О. Эминъ, А. Измайловъ, Нарѣжнѣй, Бенитцкій. Сказки и басни И. Дмитріева. 161
Біографическія свѣдѣнія о Дмитріевѣ. Его сочиненія (въ примѣчаніи) 188
26. Театръ. Успѣхи сценическаго искусства и причины ихъ —
27. Драма : 191—198

Мѣщанская драма и французско-классическая трагедія (191).

Мѣщанская драма. Переводы изъ Коцебу. Оригинальные авторы: Н. Иль-

лнѣ, В. Ѳедоровѣ, Ѳ. Ивановѣ. Осужденіе этого направленія драмы (Драматическій Вѣстникъ 1808) (191).
Мелодрама (193).
Французско-классическая трагедія, оригинальная и переводная (195).
Комедіи Крылова, Растопчина, Кокошкина (196).
Водевиль (197).

28. Озеровѣ. Крюковский 198
29. Сатира 204—217

И. Дмитріевѣ. Метроманія (204).
Кн. П. Долгорукій (208).
Кн. Д. Горчаковѣ (213).
Маринѣ (215).
Милюновѣ (216).
Нахимовѣ (217).

30. Знакомство съ поэтическими произведеніями разныхъ народовъ, какъ средство поколебать господство псевдоклассицизма. Жуковский: біографическій его очеркъ и матеріалы для его біографіи и литературной дѣятельности. 219
31. Характеристика поэзіи Жуковскаго. Вліяніе первоначальной жизненной среды. Идеаль счастья, по образцу родной семьи. Произведенія Жуковскаго—поэтическая лѣтопись его личной судьбы, преимущественно его романической любви 232
32. Идеаль Жуковскаго, представляя личный интересъ поэта, есть съ тѣмъ вмѣстѣ общечеловѣческой. Элегическое чувство—преобладающій элементъ его поэзіи. Характеръ его элегій 242
33. Жуковский, какъ переводчикъ. 247
34. Въ какомъ смыслѣ Жуковский можетъ быть названъ романтикомъ. 249
35. Сатира на идеализмъ Жуковскаго 250
36. Внѣшняя форма сочиненій Жуковскаго. Его стихъ и проза 253
37. Литературное общество Арзамасъ 255
38. Знакомство съ древне-классической поэзіей. Мерзляковѣ, И. Мартыновѣ, И. М. Муравьевѣ-Апостолѣ, Гнѣдичѣ, графѣ Уваровѣ, Капнистѣ. Сужденія и споры по поводу гексаметра. Иліада въ переводѣ Гнѣдича. Одиссея въ переводѣ Жуковскаго 259
39. Батюшковѣ 280
40. Самостоятельная поэзія въ народномъ духѣ. Крыловѣ. Біографическій его очеркъ 290
41. Общій характеръ сочиненій Крылова. Крыловѣ, какъ журналистъ. Драматическія его піесы 293
Крыловѣ-баснописецѣ 299

Періоды въ развитіи басни (299).
Къ какому періоду относятся басни Крылова (305).
Темы его басень (308).
Мораль ихъ (322).
Художественное ихъ значеніе. Народность (328).

	Стран.
42. А. Измайловъ, какъ баснописецъ	331
43. Стремленіе къ народности въ идилліи и балладѣ	337
44. Драма: кн. Шаховской, Катенинъ, Кокошкинъ, Загоскинъ, Хмѣль- ницкій, первые опыты Грибоѣдова	342
45. Литературная критика. Мерзляевъ	352
46. Воейковъ. Описательная поэма	364
47. Дидактическія произведенія. Воейковъ, какъ сатирикъ	366
48. Кн. Вяземскій, какъ сатирикъ	369
49. Литературныя общества	371
50. Литературныя періодическія изданія	381
51. Проповѣдное слово	386
52. Мистическая литература	392
53. Грибоѣдовъ	453
Дополненія и поправки	I—VII

НОВЫЙ ПЕРЮДЪ.

II. ОТЪ КАРАМЗИНА ДО ПУШКИНА.

(ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I).

§ 1. Воцареніе Александра I, совпавшее съ началомъ XIX вѣка, было важнымъ моментомъ въ исторіи Россіи. Отъ воли юнаго царя зависѣло или вступить на путь рѣшительныхъ преобразованій, полагающихъ новую ору въ судьбахъ страны, или обратиться къ началамъ прежняго правленія, несправедливо задержаннаго въ своихъ дѣйствіяхъ, хотя его добродѣтели были извѣданы. На первый разъ онъ выбралъ послѣднее, объявивъ въ манифестѣ о востшествіи на престолъ, что будетъ править народомъ «по законамъ и сердцу бабки своей Екатерины Великой». Этотъ державный обѣтъ, съ восторгомъ встрѣченный стихотвореніями Хераскова, Державина и Карамзина, внушилъ послѣднему намѣреніе изобразить дѣла императрицы не въ лирикѣ, а въ другой формѣ, дающей болѣе простора оцѣнкѣ историческихъ дѣятелей. Онъ написалъ Историческое похвальное слово Екатеринѣ (1802), которое до сихъ поръ не потеряло своего значенія, какъ замѣчательный обзоръ ея царствованія, и показываетъ, что авторъ стоялъ на высотѣ своей задачи, тогда какъ другіе панегиристы того же времени думали единственно о подражаніи Ломоносовскому складу рѣчи. Отнеся дѣйствія Екатерины къ тремъ отдѣламъ: завоеваніямъ, законамъ и учрежденіямъ, Карамзинъ ставитъ ея высшею славою—славу законодательницы, и главною своею цѣлію—означить печать, духъ ея законодательства, — «то благодѣяніе, которое изъясняетъ все другія и которое всеми другими изъясняется». Этотъ духъ законовъ—*гуманность*. Ее-то постоянно и представляетъ на видъ Историческое похвальное слово въ обзорѣ тридцати-четырехъ лѣтняго правленія Екатерины Великой. Разъясняя характеръ прежняго правительства, принимаемаго за образецъ, Слово должно было съ тѣмъ вмѣстѣ послужить указаніемъ, совѣтомъ правительству новому. Поэтому въ заключеніи оно обращается къ монархамъ съ такою рѣчью: «Екатерина и жизнь и смертію своею служила вамъ примѣромъ: такъ царствуйте, чтобы смертные обожали васъ! и видя, съ какимъ умиленіемъ, съ какою трогательною любовію донцыя говорятъ Россіяне 'о Великой, будьте увѣрены, что народы чувствительны и благодарны противъ

царей добродѣтельныхъ, и что память ваша, если вы заслужили любовь подданныхъ, пребудетъ во-вѣкъ священной». Нужно ли замѣчать, что это обращеніе преимущественно относилось къ лицу Александра, оцѣнившего патріотическое чувство литератора и талантливое его выраженіе?

«Похвальное слово» давало предвидѣть, что имя его автора приобрететъ такое же значеніе въ эпоху Александра I, какое Ломоносовъ и Державинъ имѣли по отношенію къ эпохамъ Елисаветы и Екатерины II. Но прежде чѣмъ опредѣлить соотношеніе двухъ родовъ дѣятельности—литературной, въ лицѣ Карамзина, и верховно-правительственной, въ лицѣ Александра I,—мы должны послѣдовательно изложить первый періодъ жизни и трудовъ писателя (1785—1803), который, еще въ предшествовавшія царствованія, былъ уже извѣстенъ, какъ отличный литераторъ, какъ любимецъ русской публики, читавшей его сочиненія съ большимъ интересомъ (*).

§ 2. Въ образованіи характера Карамзина (род. 1766, ум. 1826), его взгляда на вещи и способовъ къ дѣятельности участвовали различныя силы и обстоятельства. Первое мѣсто принадлежитъ, конечно, природѣ, надѣлившей его рѣдкою чувствительностью, которая обнаружилась въ немъ съ дѣтства и не покидала его до смерти. По собственнымъ признаніямъ, онъ въ юности былъ чувствителенъ, какъ младенецъ; въ возрастъ мужества, мечтательность составляла его неизлечимую болѣзнь; на склонѣ лѣтъ, онъ также любилъ предаваться меланхоліи и, читая романы, не могъ удерживать своихъ слезъ. И въ романтической исторіи: «Рыцарь нашего времени» (1802—1803), на которую надобно смотрѣть какъ на автобіографію первыхъ лѣтъ жизни, къ сожалѣнію, не конченную; и въ прозаической элегіи: «Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона» (1793), представляющей автохарактеристику; и въ письмахъ къ друзьямъ Карамзинъ постоянно выставлялъ расположеніе своего духа къ грусти и мечтательности. Онъ не стыдился своего врожденного дара, хотя и придавалъ ему иногда патологическое значеніе; напротивъ, онъ какъ бы гордился имъ и любилъ давать ему пищу, находя въ немъ источникъ разнообразныхъ пріятностей. Мы должны отмѣтить эту неизмѣнную, яркую черту его нрава, такъ какъ безъ нея остались бы необъясненными многія явленія въ его жизни и дѣятельности. На сколько она принесла пользы или вреда тому и другому, то есть и жизни и дѣятельности,—это другой вопросъ, о которомъ здѣсь не мѣсто входить въ разсужденіе.

Преобладающая склонность природы развилась потомъ подъ вліяніемъ современныхъ романовъ, которые доставили Карамзину первое знакомство съ литературой. Чтеніе оказалось полезнымъ для образованія нравственнаго чувства, представивъ отроческому понятію тождество добродѣтели и красоты, порока и безобразія. Какъ это чувство спасительно въ жизни, какою твердою опорою служить оно для доброй нравственности—нѣтъ нужды доказывать: таковы слова самого Карамзина, у котораго мысль о безвредномъ дѣйствіи романовъ перешла потомъ въ убѣжденіе (**).

Вторымъ періодомъ образованія Карамзина надобно считать его ученіе въ пансіонѣ Шадена, профессора философіи въ московскомъ университетѣ. Здѣсь онъ обучался иностраннымъ языкамъ, слушалъ уроки нравственной философіи, которую преподавалъ самъ Шаденъ и вмѣстѣ съ другими пансіонерами посѣщалъ лекціи профессоровъ. По выходѣ изъ пансіона, Карамзинъ думалъ довершить свое образованіе за границей, въ

(*) Нѣкоторые изъ этихъ сочиненій указаны въ первомъ томѣ нашей Исторіи (§§ 216 и 233).

(**) О книжной торговлѣ и любви къ чтенію въ Россіи (1802).

лейпцигскомъ университетѣ, который славился своими преподавателями и гдѣ обучались многіе русскіе. Это намѣреніе не исполнилось и Карамзинъ поступилъ на службу въ гвардію. Ко времени пребыванія его въ Петербургѣ относятся первыя его литературныя опыты. То были переводы съ нѣмецкаго: «Разговоръ Маріи Терезин съ русскою императрицею Елисаветою въ Елисейскихъ поляхъ» (1782) и «Деревянная нога, идиллія Геснера» (1783). Независимо отъ общераспространенной въ царствованіе Екатерины любви къ словесности, на Карамзина дѣйствовали и примѣры его земляка и друга, И. Дмитріева, мелкіе переводы котораго печатались въ тогдашнихъ журналахъ. По смерти отца своего, Карамзинъ вышелъ въ отставку и уѣхалъ въ Симбирскъ для устройства дѣлъ по наслѣдству. Здѣсь онъ началъ вести разбѣдную жизнь и пользоваться успѣхами въ провинціальномъ обществѣ, благодаря своимъ талантамъ и образованности. И. Тургеневъ, находившійся тогда въ Симбирскѣ, жалѣя о напрасной тратѣ времени даровитымъ человѣкомъ, уговорилъ его ѣхать съ нимъ въ Москву, куда они и прибыли 1785 г.

Въ кругу Новикова, тѣсно связаннаго съ Тургеневымъ общностью понятій и намѣреній, прошелъ третій, весьма важный періодъ умственно-нравственнаго воспитанія Карамзина (1785—1788). Этотъ кругъ, притягивая къ себѣ даровитую молодежь, поручалъ ей полезныя литературныя работы и старался направить ея мысль къ серьезнымъ предметамъ природы и человѣческаго духа. Главнаго устроителя мистико-масонскихъ дѣлъ, Шварца, уже не было въ живыхъ, но его имя и ученіе хранились, какъ священный завѣтъ, въ душѣ пережившихъ его одномыслениковъ. Между сотрудниками Карамзина нашлось нѣсколько лицъ, съ которыми онъ завязалъ короткую дружбу. Ближайшимъ къ нему человѣкомъ былъ А. Петровъ († 1793), изображенный имъ въ элегій: «Цвѣтокъ на гробъ моего друга Агатона» и частію въ повѣсти: «Чувствительный и хладнокровный» (1803), подъ именемъ Леонида. По отзыву И. Дмитріева, Петровъ обладалъ замѣчательнымъ умомъ, способностью къ здоровой критикѣ и свѣдѣніями въ древнихъ и новыхъ языкахъ. Переводы его помѣщались въ Новиковскихъ журналахъ; кромѣ того отдѣльно напечатаны: аллегорическая повѣсть «Хризомандеръ» (съ нѣмецкаго) и индійская поэма «Баггаватъ-Гита» (съ англійскаго). Молодые друзья часто размышляли о высшихъ задачахъ метафизики и вмѣстѣ читали классическихъ авторовъ. Наставленіямъ Петрова, его разборчивому вкусу Карамзинъ былъ обязанъ развитіемъ чувства изящнаго. Вообще послѣдній смотрѣлъ изъ своего Агатона, какъ на руководителя въ изученіи разныхъ предметовъ, какъ на старшаго по знаніямъ и по благоразумію. Другой пріятель Карамзина, А. М. Кутузовъ, намъ уже извѣстенъ, какъ переводчикъ Мессіады (*). Онъ умеръ въ Берлинѣ (1789), гдѣ проживалъ агентомъ московскихъ масоновъ, которые черезъ него сносились съ своими нѣмецкими братьями и получали свѣдѣнія о новыхъ движеніяхъ въ ордентѣ. Карамзинъ называетъ Кутузова жертвою печальныхъ обстоятельствъ, человѣкомъ воображенія пасмурнаго и характера меланхолическаго, вѣроятно потому, что мысль его, стремясь къ рѣшенію важнѣйшихъ задачъ нашего существованія, не находила на нихъ отвѣта ни въ системѣ матеріалистовъ, которыми онъ увлекался наравнѣ съ своими заграничными товарищами—Ушаковымъ и Радищевымъ, ни въ ученіи мистико-масонскомъ, которому онъ преданъ въ кругу Дружескаго общества. Нѣсколько времени Карамзинъ жилъ въ одномъ домѣ съ Лещомъ, нѣмецкимъ поэтомъ того періода исторіи литературы, который извѣстенъ подъ именемъ «Sturm-und Drang Periode» Въ эпоху своего

(*) Ист. Рус. Слов. I, §§ 221 и 227

нравственного упадка, причиненного неудачей в любви и оскорбленным самолюбием, Ленцъ приѣхалъ въ Москву, гдѣ и умеръ (1792) у одного изъ членовъ Новиковскаго кружка, даваемаго ему пріютъ въ своемъ домѣ. Безъ сомнѣнія, Ленцъ произвелъ сильное вліяніе на Карамзина и Петрова своими «политическими идеями», своимъ знакомствомъ съ современною литературою Германіи, особенно своимъ глубокимъ пониманіемъ Шекспира. Чтобы узнать законы изящнаго, Карамзинъ изучаетъ Батте; но когда сужденіе касается Шекспира и вообще драмы, въ немъ является не сторонникъ французской эстетики, а послѣдователь серьезной нѣмецкой критики, приносившей полную дань уваженія гениальному трагику. Въ обществѣ пріятелей Карамзинъ слылъ подъ именемъ Рамзея, которое было дано ему, вѣроятно, въ честь автора «Новой Киропедіи»,—сочиненія, написаннаго въ подражаніе Фенелону Телемаку и бывшаго въ большомъ почетѣ у масоновъ. Какъ въ наставленіяхъ Ментора Телемаку, такъ и въ наставленіяхъ Киру проводятся политическія воззрѣнія, полнѣе изложенныя Рамзеемъ въ «Опытѣ о гражданскомъ правленіи». Шотландецъ происхожденіемъ, Рамзей († 1743) перешелъ въ католичество по совѣту Фенелона, къ которому обратился, волнуемый религіозными сомнѣніями. Онъ жилъ въ Парижѣ, какъ воспитатель сыновей претендента, Якова III, былъ гроссканцлеромъ французскихъ масонскихъ ложъ и написалъ разсужденіе о братствѣ, первый пустивъ легенду о его происхожденіи, будто оно возникло въ обѣтованной землѣ, въ эпоху крестовыхъ походовъ, и начально имѣло цѣлю вновь соорудить разрушенныя сарацинами христіанскіе храмы. Не одни друзья принимали участіе въ серьезной любознательности Карамзина. Обративъ вниманіе на фізіогномику, онъ вошелъ въ переписку съ Лафатеромъ и просилъ у него отвѣта на вопросъ о всеобщей цѣли человѣческаго бытія.

«Дружеское общество» поручало воспитанникамъ московскаго университета и другимъ образованнымъ молодымъ людямъ переводы сочиненій религіозно-философскаго содержанія, противоположнаго духу французскаго энциклопедизма, который въ то время по прецеденту полонилъ умы. На долю Карамзина выпалъ переводъ Галлеровой поэмы: «О происхожденіи зла» (1786)—вопросъ, сильно занимавшій богослововъ и метафизиковъ. Стихи подлинника переложены прозой. Нѣсколько примѣчаній переводчика выказываютъ, съ одной стороны, его склонность къ идиллической мечтательности, съ другой—его знакомство съ литературою христіанской догматики. «Галлеръ», говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ, «предлагаетъ здѣсь такую истину, которой мы не найдемъ во множествѣ томовъ сочиненій нынѣшнихъ молодыхъ теологовъ». Нѣсколько статей переведено Карамзинымъ съ нѣмецкаго изъ «Штурмовыхъ размышленій о дѣлахъ Божіихъ въ царствѣ природы и провидѣнія, на каждый день года, и бесѣды съ Богомъ, или размышленій въ утренніе и вечерніе часы» (*). Въ теченіи четырехъ лѣтъ (1785—89) Новиковъ при Московскихъ Вѣдомостяхъ издавалъ «Дѣтское Чтеніе». Карамзинъ работалъ для этого изданія вмѣстѣ съ Петровымъ. Онъ помѣстилъ въ немъ нѣсколько оригинальныхъ статей (важнѣйшая изъ нихъ—«Прогулка») и переводы «Деревенскихъ вечеровъ» (Жауль), драмы: «Аркадскій Памятникъ» (Вейсе), Томсоновыхъ временъ года и пр. Хотя самъ переводчикъ называлъ свои труды «ученическими», однакожъ они не остались безъ вліянія на послѣдующую его дѣятельность. Касательно языка, «Дѣтское чтеніе» справедливо называютъ «дѣтскою школою» Карамзина, въ которой вырабатывался его слогъ; касательно содержанія, переводы его заключаютъ въ себѣ многія мысли и чувства, которыя

(*) Полный переводъ этого періодическаго изданія вышелъ въ 12 ч. (1787—89).

потомъ встрѣчаются въ собственныхъ его сочиненіяхъ. О переводахъ «Юлія Цезаря», трагедіи Шекспира (1787), съ французскаго Летуриерова перевода, и «Эмилии Галотти», трагедіи Лессинга (1788), съ нѣмецкаго, было сказано прежде, при обзорѣ нашего знакомства съ англійскою драмою въ эпоху Екатерины II (*).

Дѣйствительность вліянія, произведеннаго на Карамзина обществомъ Новикова, не подлежитъ сомнѣнію. Существенная его польза состояла въ прочномъ закалѣ мысли, державшейся на серьезныхъ занятіяхъ, на обсужденіи предметовъ, которые по своей важности всегда обращаютъ на себя вниманіе даровитой любознательности. Въ тотъ періодъ жизни, когда умъ болѣею частію истощаетъ свои силы на трудахъ маловажныхъ, или безъ надежнаго руководства переходитъ отъ одной дѣятельности къ другой, останавливаясь на каждой поверхностно и ни къ одной не привязываясь искренно,—въ этотъ самый періодъ Карамзину была указана достойная сфера человѣческаго знанія. Карамзинъ охотно вошелъ въ нее и неспроста оставался въ ней, хотя потомъ и сдѣлался ея отщепенцемъ, такъ какъ она рѣшительно не подходила ни къ характеру его чувства, ни къ складу его познавательной способности, не любившей ни въ чемъ темноты.

Въ 1789 г. Карамзинъ отправился за границу, гдѣ и пробылъ полтора года. По преданію, едва ли впрочемъ справедливому, онъ путешествовалъ на счетъ «Дружескаго общества», которое будтобы снабдило его инструкціей, написанной другомъ Новикова, С. И. Гамалеей, и задало ему путешествіе, какъ особый урокъ, по окончаніи ученія въ школѣ масоновъ. Вѣрнѣе другое извѣстіе, по которому Карамзинъ, для покрытія путевыхъ издержекъ, продалъ братьямъ доставшуюся ему часть отцовскаго наслѣдства, или заимообразно взялъ у старшаго брата извѣстную сумму денегъ въ счетъ доходовъ съ имѣнія. Цѣлью путешествія было — «видѣть природу въ ея разнообразіи, видѣть великихъ мужей, чьихъ творенія сильно дѣйствовали на чувство», и тѣмъ по возможности восполнить недостатокъ высшаго образованія, такъ какъ намѣреніе пріобрѣсть его слушаніемъ лекцій въ лейпцигскомъ университетѣ не состоялось. Путешественникъ былъ отлично подготовленъ къ тому, чтобы съ успѣхомъ воспользоваться заграничною жизнью. Знаніе иностранныхъ языковъ, особенно нѣмецкаго, разнообразныя свѣдѣнія, обширная начитанность, познакомившая его съ литературами самыхъ цивилизованныхъ странъ Европы, нравственная выдержка въ Новиковскомъ кругу замѣтно возвышали его не только надъ сверстниками, но и надъ людьми болѣе зрѣлыми. Едва ли кто другой въ то время могъ похвалиться такимъ обиліемъ данныхъ—и природныхъ, и благопріобрѣтенныхъ. Читая заграничныя письма Карамзина, которыя онъ писалъ въ Москву къ семейству короткихъ друзей своихъ, Плещеевыхъ, и которыя потомъ явились въ печати подъ названіемъ «Писемъ русскаго путешественника», нельзя не удивляться, съ одной стороны, количеству прочтенныхъ имъ сочиненій на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, а съ другой—вѣрности многихъ сужденій, и въ наше время сохраняющихъ свою цѣну. А между тѣмъ ему было 22 года—возрастъ только что кончившаго курсъ студента.

Карамзинъ посѣтилъ Германію, Швейцарію, Францію и Англію. Каждая изъ этихъ странъ представляла ему особенный, такъ сказать спеціальный, интересъ для наблюденій. Непосредственнымъ знакомствомъ съ мѣстами и лицами новѣрялъ онъ впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ чтенія книгъ, или сформировавшіяся въ его умѣ подѣ дѣйствіемъ воображенія. Германія привлекала его, какъ страна литературы, съ которою онъ освоился больше, чѣмъ съ другими литературами. Ему пріятно было увидѣть лицомъ къ лицу

(*) Исторія Слов. I, § 216; Ист. Христ. II, 45—46, прим. 5—10.

знаменитых ученых и поэтов, которых сочинения он читал и переводил. Карамзин питал к ним нескрещенное уважение; по характеру сочинений думал заключать о характере авторов; на самой действительности желал проверить свои заочные выводы. Это желание, наконец, осуществилось; эта проверка сделалась возможна. Легко понять радость Карамзина во время его путешествия по Германии, где жили и действовали его литературные кумиры.—Другой интерес находил Карамзин в Швейцарии—«стране живописной природы, свободы и благополучия». Хотя и здесь жили привлекательные для него личности: Боннет—«философ с чувством», что, во мнении путешественника, служило наилучшею похвалою философии, и Лафатер, с которым он завел переписку, работая для Дружеского общества, и который поэтому называл его своим «московским приятелем»; но не этим собственно правилась ему Швейцария. Она влияла на него, как царство наивной, согласной с природою жизни человечков. В ней он видел новую Аркадию, осуществление мечты о невозмутимом счастье пастухов и пастушек. Картина патриархальной простоты восхищала его издавна. Но наклонности к пасторальному сентиментализму, он любил читать описательное стихотворение Галлера «Альпы» и в примечании к переводу поэмы «о происхождении зла» жалел, что мы уклонились от первобытной невинности и гордимся мнимой цивилизацией. То же сожаление, хотя несколько охлажденное, встречаем в «Письмах»: «Для чего не родились мы в те времена, когда все люди были пастухами и братьями? Я с радостью отказался бы от многих удобностей жизни, которыми обязаны мы просвещению дней наших, чтобы возвратиться в первобытное состояние человека. Всеми истинными удовольствиями—тѣми, въ которыхъ участвуетъ сердце и которыя насъ подлинно счастливыми дѣлаютъ—наслаждались люди и тогда, и еще болѣе, нежели нынѣ: болѣе наслаждались они любовью, болѣе наслаждались дружбою, болѣе красотою природы». Другим источником пристрастия Карамзина к Швейцарии было увлечение судьбою и сочинениями Руссо, «жизнегражданина». «Величайший из писателей XVIII в.», как он называет Руссо, имел значительное на него влияние. В одном письме Карамзин описывает местечко Клара, где происходит главное действие Новой Элоизы, а в другом—остров св. Петра, где ее автор «укрывался от злобы и предразсуждений человеческих». Оба описания проникнуты сочувствием к Руссо.—Съ противоположными чувствами въѣхалъ Карамзинъ во Францію. Онъ не искалъ здѣсь ни нескрещенности, ни симпатичнаго сердца, потому что не надѣялся найти ихъ. Легкомысленный французскій умъ онъ уподобляетъ мыльному пузырю. Притомъ же ему довелось быть въ Парижѣ въ грозное время зачинавшейся революціи, несогласной съ его чувствами и понятіями. Однакожъ этотъ городъ, сокращеніе всей Франціи, оставленъ былъ Карамзинымъ съ сожалѣніемъ и благодарностью. Причина тому—«духъ пріятнаго обществія, которое какъ будто для французовъ или французами выдуманно, искусство жить съ людьми, обратившееся въ ихъ вторую природу». Вотъ почему онъ мирился съ тѣмъ народомъ, бѣглому уму котораго, по его словамъ, не доставало зрѣлости, а живому чувству—искренности и силы.—Цѣня всего болѣе нѣжную чувствительность, онъ отнесся антипатично и къ характеру англичанъ, бывшихъ предметомъ его поклоненія въ отрочествѣ. Но семейственныя нравы англійскаго народа, богатство ихъ литературы и науки, крѣпость политической силы и экономическаго быта, ихъ полная всемірнымъ значеніемъ исторія стояли на виду у образованнаго путешественника и умѣряли его невольную холодность къ странѣ, которую онъ, не выдавъ, воображалъ пріятнѣйшею для сердца землею. «Увидавъ

же англичанъ», говорить онъ, «отдаю имъ справедливость, хвалю ихъ, хотя похвала моя такъ же холодна, какъ они сами».

Воротясь въ Москву, Карамзинъ рѣшился посвятить свои способности и знанія литературѣ. Пребываніе за границей показало ему, какое видное мѣсто занимаетъ въ тамошнемъ обществѣ литераторъ, какъ вліятельна его дѣятельность, не уступающая другимъ родамъ службы на пользу родной страны. Своимъ примѣромъ онъ задумалъ отмѣнить у насъ тотъ неконный обычай, по которому дворянинъ былъ обязанъ непременно занимать какую-нибудь ступень въ административной іерархіи. Онъ хотѣлъ быть единственно, исключительно литераторомъ, и потому, отказавшись отъ чиновнаго честолюбія, принялся за редакцію Московскаго журнала, который и издавалъ два года сряду (1791—1792). Сочиненія свои, помѣщенные въ этомъ журналѣ, онъ выдалъ особою книжкой, подъ названіемъ: «Мои бездѣлки» (1794), въ подражаніе сборникамъ французскимъ и нѣмецкимъ, носившимъ скромные титулы «бездѣлокъ», «пустяковъ» и т. п. (*bagatelles, riens*) (*). Утомленный срочною журнальною работою, онъ перешелъ отъ нея къ изданію литературныхъ сборниковъ (альманаховъ), бывшихъ тогда въ большой модѣ, особенно у французовъ. Первый сборникъ—Аглая (2 ч., 1794)—наполненъ одними русскими сочиненіями, преимущественно самого издателя: Цвѣтокъ на гробѣ Агатона, Нѣчто о наукахъ и искусствахъ, Островъ Боргольмъ, Аониская жизнь, Письма Мелодора къ Филарету и Филарета къ Мелодору, Пляска Муромецъ, и др. Въ 1795 г. Карамзинъ редактировалъ смѣсь «Московскихъ Вѣдомостей», сообщая читателямъ разныя мелкія піесы и отрывки, почему либо достойныя вниманія. Сюда входили анекдоты, мысли древнихъ и новыхъ философовъ, статьи изъ натуральной исторіи, краткія описанія малоизвѣстныхъ народовъ и мѣстъ, стихотворенія, свѣдѣнія о новыхъ иностранныхъ книгахъ. За Аглаей слѣдовали «Аониды или собраніе разныхъ новыхъ стихотвореній» (3 кн., 1796—99), по образцу стихотворныхъ сборниковъ, которые подъ именемъ календаря или альманаха Музы (Аониды), ежегодно издавались за границей и пользовались большимъ успѣхомъ. Аониды наполнены піесами почти всѣхъ извѣстныхъ въ то время стихотворцевъ: Державина, Дмитріева, Хераскова, Капниста, Кострова, кн. Д. Горчакова, самого издателя. Въ 1798 г. вышелъ «Пантеонъ иностранной словесности»—сборникъ переводовъ съ французскаго, нѣмецкаго и другихъ языковъ. Въ томъ же году Карамзинъ задумывалъ похвальное слово Петру I. Мысли, долженствовавшія получить развитіе въ этомъ панегирикѣ и сохранившіяся въ записной книжкѣ автора, любопытны по своему отношенію къ послѣдующему его взгляду на преобразователя Россіи. Къ 1801 году относится «Пантеонъ русскійхъ авторовъ», содержащій въ себѣ краткія характеристики нашихъ писателей, отъ пѣвца Бояна до Ломоносова включительно (**) и къ 1802 «Историческое похвальное слово Екатерины II», съ котораго мы и начали изложеніе Карамзинскаго періода нашей словесности.

Нечисленные труды доставили Карамзину почетную извѣстность: онъ сдѣлался любимцемъ читающей публики; для нѣкоторыхъ его сочиненій потребовались новыя изданія, а нѣкоторыя были переведены на нѣмецкій языкъ; въ московскомъ литературномъ кругу называли его «десятиникомъ русской литературы», а Хераскова «старостой»;

(*) Изъ другихъ сочиненій и переводовъ Карамзина, напечатанныхъ въ этомъ журналѣ, получили въ послѣдствіи отдѣльныя изданія: «Маркителевы новыя повѣсти» (2 ч., 1794 и 1798), «Лизинъ прудъ» (1797), «Письма русскаго путешественника» (6 ч., 1797—1801).

(**) Въ послѣдствіи, при 3-мъ изданіи своихъ сочиненій, Карамзинъ прибавилъ еще нѣсколько характеристикъ.

зависть породила многих ему непріятелей, бросавшихъ въ него эпиграммами. Письма Каменева (автора баллады «Громвалъ») къ Москотильникову (переводчику Освобожденнаго Іерусалима), писанныя въ 1800 г., знакомятъ насъ съ тогдашнимъ положеніемъ Карамзина въ обществѣ. Каменевъ хвалитъ кроткій его нравъ, его доброту и привѣтливость, его начитанность и сужденія о разныхъ писателяхъ, и указываетъ его дружескія связи съ Тургеневымъ, бывшимъ въ то время директоромъ университетскаго пансіона, съ Лопухинымъ, Дмитриевымъ. Молодой, но уже знаменитый литераторъ былъ вполне доволенъ своею судьбою: въ 1801 г. онъ женился на дѣвушкѣ, которую давно зналъ и любилъ (*), отъ трудовъ своихъ онъ имѣлъ все нужное для жизни и не думалъ мѣнять авторскую дѣятельность на какую-либо другую. Въ 1802 г. положилъ онъ основаніе новому журналу: «Вѣстникъ Европы». Талантъ редактора общалъ вѣрный успѣхъ изданію, которому благопріятствовало и самое состояніе общеевропейскихъ дѣлъ. Аміенскій миръ, успокоивъ умы, развязывалъ правительствамъ руки на внутреннее развитіе, на успѣхи наукъ и художествъ. Тѣмъ желательнѣе было это развитіе для русской державы, которою правилъ благодушный царь, готовый на реформы и нововведенія къ лучшему государственному устройству. Сознавая значеніе литературы, какъ общественной силы, Карамзинъ пошелъ за новымъ духомъ времени. Целью своего журнала поставилъ онъ «содѣйствовать нравственному образованію такого великаго и сильнаго народа, какъ Россійскій, развивать новыя, лучшія идеи, питать душу моральными удовольствіями и сливать ее въ сладкихъ чувствахъ съ благомъ другихъ людей». О значеніи «Вѣстника Европы» въ исторіи нашей журналистики будетъ сказано ниже. Публика оказала ему лестное вниманіе, но свидѣтельству самого Карамзина, который тѣмъ не менѣе смотрѣлъ на свое дѣло, какъ на занятіе временное, переходное къ другому, представлявшему для него сильнѣйшій интересъ. Онъ задумалъ написать Русскую исторію, чтобы оставить добрую по себѣ память въ потомствѣ. Желаніе его исполнилось. Благодаря ходатайству М. Н. Муравьева, товарища министра народнаго просвѣщенія, получилъ онъ (1803) званіе исторіографа съ ежегодной пенсіей въ 2000 руб. Такимъ образомъ съ 1804 г. Карамзинъ исключительно посвящаетъ свои труды исторической наукѣ, къ первымъ опытамъ которой относится: «Похвальное слово Екатерины», написанное по официальнымъ актамъ, выданнымъ ему отъ правительства, нѣсколько статей въ Вѣстникъ Европы и повѣсти: «Наталья боярская дочь» и «Марѳа Посадница». Рѣшеніе было принято имъ неуклонно, такъ что онъ не позволялъ себѣ развлекаться ни литературой, столько имъ уважаемой, ни другими видами и побужденіями, столько приманчивыми для обыкновеннаго честолюбія. Онъ отказался отъ предложеній занять кафедру, сдѣланныхъ ему, какъ члену московскаго университета, совѣтами университетовъ дерптскаго и харьковскаго (1803 и 1805), находя профессорскую должность «неблагопріятною для таланта» и трудно-совмѣстимою съ выполненіемъ той мысли, которая давно занимала его умъ и душу. Сочиненіе русской исторіи, достойной русскаго народа, достойной царствованія Александра, приняло въ его совѣсти силу внутренняго, непреложнаго обязательства, сдѣлалось задачею, подвигомъ, значеніемъ всей его жизни.

Обращаемся теперь къ разсмотрѣнію перваго, собственно-литературнаго, періода дѣятельности Карамзина (1785—1803). Мы должны опредѣлить здѣсь два предмета: значеніе важнѣйшихъ его сочиненій, и его образъ мыслей, на сколько онъ высказывается этими сочиненіями.

(*) На Протасовой, сестрѣ жены Плещеева.

§ 3. Изъ нечисленныхъ литературныхъ трудовъ Карамзина, въ «Московскомъ журналѣ» впервые выказалась самостоятельная его дѣятельность; важнѣйшимъ же отдѣломъ этого изданія служили заграничныя письма издателя.

По-видимому, нѣтъ благовиднѣе той критики, которая оцѣниваетъ «Письма русскаго путешественника» сравнительно съ «Письмами изъ Франціи», Фонъ-Визина, выставяя серьезность послѣднихъ и мелочность первыхъ; на самомъ же дѣлѣ эта благовидность только кажущаяся. Авторъ критическихъ замѣтокъ на книгу кн. Вяземскаго: «Фонъ-Визинъ», говоритъ слѣдующее: «Карамзинъ былъ въ Парижѣ въ 1790 г. Прочтите письма его изъ Швейцаріи, писанныя въ томъ же году, когда онъ готовился переступить французскую границу, письма изъ самой Франціи и тѣ изъ Англіи, которыя онъ писалъ тотчасъ по выѣздѣ изъ Франціи: все письма писаны во время самаго разгара французской революціи, и это положеніе государства, въ русскомъ путешественникѣ, у котораго все происходило подъ глазами, не возбудило ни одного такого дѣльнаго разсужденія, какіи встрѣчаются въ каждомъ письмѣ Фонъ-Визина. По письмамъ русскаго путешественника совсѣмъ невозможно было и догадаться о томъ, что въ глазахъ его дѣлалось во Франціи... Ни одного слова о томъ, что въ самое то время происходило въ Парижѣ и обращало на себя вниманіе всей Европы» (*). Если бы эти слова были и вполнѣ справедливы, то что же они доказываютъ? Сравненіемъ не рѣшается дѣло. Да и нельзя сравнивать положеній, въ какихъ находились оба путешественника. Во-первыхъ, Фонъ-Визину было тогда не 23, а 33 года. Десять лѣтъ значатъ много въ развитіи даровитой личности. Черезъ десять лѣтъ послѣ заграничной поѣздки, Карамзинъ принялся за изданіе Вѣстника Европы—журнала, въ которомъ обзоръ вѣнскихъ событій и сужденія о внутреннихъ дѣлахъ, не уступая серьезною Письмамъ о Франціи, берутъ надъ ними верхъ правдивостію. Во-вторыхъ, Фонъ-Визинъ писалъ свои письма къ П. И. Панину, брату канцлера, подъ начальствомъ котораго служилъ. Надобно было попасть въ характеръ понятій и взглядовъ вельможи, не расположеннаго къ иностранцамъ, въ особенности къ французскимъ вліяніямъ на русскаго человѣка. И мы знаемъ, что Фонъ-Визинъ безъ пощады и различія казнилъ философовъ XVIII в., выставяя каждого изъ нихъ образцемъ крайней безправственности. Онъ обличаетъ легкомысленность и неустройство французовъ словами ихъ соотечественника Дюкло, изъ книги котораго переводитъ цѣлыя тирады. Болѣзненная раздражительность путешественника скопляла густыя тѣни на картинѣ современной Франціи, и безъ того не свѣтлой. Серьезныя письма его грѣшатъ намѣренною одно-сторонностью и пристрастіемъ. Путевыя записки Карамзина адресовались не вельможѣ, а короткимъ друзьямъ, семейству Плещеевыхъ, которымъ и посвящено отдѣльное ихъ изданіе. Это письма интимныя. Они отправлялись и получались безъ претензій. При сочиненіи ихъ не было никакой предвзятой мысли. «Какъ они были писаны», говоритъ Карамзинъ въ предисловіи, «какъ удостоились лестнаго благоволенія публики, пусть такъ и остаются. Пестрота, неровность въ слогѣ есть слѣдствіе различныхъ предметовъ, которые дѣйствовали на душу молодого, неопытнаго русскаго путешественника: онъ сказывалъ друзьямъ своимъ, что ему приключалось, что онъ видѣлъ, слышалъ, чувствовалъ, думалъ—и описывалъ свои впечатлѣнія не на досугѣ, не въ тишинѣ кабинета, а гдѣ и какъ случалось—дорогою, на лоскуткахъ, карандашемъ». Въ содержаніи и тонѣ писемъ всегда сказывается отношеніе того, кто ихъ пишетъ, къ тому, для кого они пишутся. Каковы отношенія, таковы и письма. Объяснять молчаніе Карамзина о французской

(*) Московскія Вѣдомости 1851 г., № 105.

революціи тѣмъ, что онъ не замѣчалъ или не понималъ ее, такъ же странно, какъ, на пр., маловажность его долготѣней переноски съ братомъ объяснять тѣмъ, что онъ въ теченіе всего этого времени не обращалъ своей мысли ни на что серьезное. Мудрецы литературной механики могли бы простѣе открыть ларчикъ. Ни съ семействомъ Плещеевыхъ, ни съ братомъ своимъ Карамзинъ не имѣлъ намѣренія входить въ сужденія о важныхъ матеріяхъ,—вотъ и все. Важное держалъ онъ про себя, а съ иными знакомыми и родными бесѣдовалъ о неважномъ. Изъ писемъ Мелодора къ Филалету и Филалета къ Мелодору легко опредѣлить отношеніе Карамзина къ историческому перевороту: началось оно сочувствіемъ, а потомъ перешло въ разочарованіе. Нельзя ни сочувствовать тому, ни разочаровываться тѣмъ, что не было предметомъ особеннаго интереса. Когда же этотъ интересъ явился у Карамзина? Уже ли непременно черезъ четыре года послѣ его путешествія, т. е. въ 1794 г., къ которому относится переноска Филалета съ Мелодоромъ? Какъ доказать, что не ранѣе? И нужно ли это доказывать?

Въ Письмахъ русскаго путешественника есть заимствованія изъ иностранныхъ авторовъ. И на этомъ пунктѣ Карамзинъ искреннѣе Фонъ-Визина. Онъ самъ упоминаетъ объ источникахъ, откуда могъ черпать нѣкоторыя описанія и сужденія. До поѣздки за границу онъ читалъ Путешествіе Морица по Англіи, Англію и Италію Архенгольца, Картину Парижа Мерсье; въ Берлинѣ просматривалъ описаніе этого города, Николай; въ письмахъ изъ Парижа исчисляетъ сочиненія касательно его исторіи и древностей; а въ письмахъ изъ Швейцаріи упоминаетъ о сочиненіи Кокса и о примѣчаніяхъ къ нему французскаго переводчика Рамона, который прибавилъ описаніе мѣстъ, нравовъ и обычаевъ, забытыхъ или слегка затронутыхъ въ текстѣ (*). Поэтому безъ большаго труда можно отмѣтить у него кое-что подражательное или переводное. Такъ, напримѣръ, письмо объ англійской вѣротерпимости начинается тѣмъ же, чѣмъ начато письмо Вольтера объ англиканской церкви (**). Описаніе вида Лондона, при первомъ въ него вѣздѣ, его освѣщенія, парламента переложено, вполнѣ или сокращенно, изъ Морица (***). Въ церкви св. Павла русскому путешественнику пришла таже мысль, что и нѣмецкому («что значать всѣ искусственные своды передъ сводомъ небеснымъ?»), съ тѣмъ однакожъ различіемъ, что Морицъ не называетъ искусства «безстыдною обезьяной природы»; онъ говоритъ только: «великій храмъ природы, конечно, выше всѣхъ искусственныхъ храмовъ, ибо въ природѣ вездѣ видны слѣды божества, тогда какъ въ созданіяхъ искусства нерѣдко господствуетъ совершенная пустота». Значительное вліаніе имѣли Коксъ и Рамонъ на его письма изъ Швейцаріи. Впрочемъ Карамзинъ стоитъ въ меньшей зависимости отъ своихъ образцовъ, чѣмъ Фонъ-Визинъ отъ Дюкло. Онъ не подражалъ Мерсье, хотя и приводитъ выписку изъ его «Картины Парижа» (****), изображающей «правдивую физіогномію» города. Во взглядѣ на правительственную систему англичанъ онъ не слѣдовалъ Делольму, который необычайность англійскаго правленія считалъ любопытнѣйшимъ предметомъ для чужестранца (*****). Онъ не увлекся и англоманіей Архенгольца, по мнѣнію котораго ни одна нація въ мірѣ не наслаждается такимъ политическимъ и общественнымъ строемъ, ни одна не живетъ жизнию, болѣе соотвѣтственно достоинству человѣческой природы, и который заключилъ

(*) *Lettres de William Coxe sur l'état politique, civil et naturel de la Suisse* (1782).

(**) *Lettres sur les anglais* (1735).

(***) *Reisen eines Deutschen in England* (1783).

(****) *Tableau de Paris* (1781).

(*****) *Constitution de l'Angleterre* (1771).

свое сочиненіе словами Боссюэта: вотъ очеркъ знаменитаго острова, «на поверхности и въ пристаняхъ котораго болѣе движенія, чѣмъ въ окружающемъ его океанѣ» (*).

Вмѣсто напрасныхъ сужденій о томъ, чего нѣтъ въ «Письмахъ», гораздо полезнѣе показать, что въ нихъ есть дѣйствительно.

Путешествіе было давнее, пріятнѣйшею мечтою Карамзина. Живучи въ Москвѣ съ Петровымъ, онъ началъ писать романъ и хотѣлъ въ воображеніи объѣздить именно тѣ земли, которыя дѣйствительно пришлось ему посѣтить. Въ одномъ письмѣ исчислены удовольствія и польза путешествія. Чувство неоцѣненной свободы, по которой человѣкъ не прикованъ къ одному мѣсту, какъ животное, но можетъ переходить изъ климата въ климатъ и справедливо называется царемъ земнаго творенія; знакомство съ новыми предметами, которымъ самая душа какъ бы обновляется; мудрая связь общественности, благодаря которой мы повсюду находимъ всевозможныя удобства жизни, какъ бы нарочно для насъ придуманныя, и по которой жители всѣхъ странъ предлагаютъ намъ плоды трудовъ своихъ: вотъ для чего человѣкъ долженъ на-время покидать свое отечество. Изъ этихъ новыхъ предметовъ европейской жизни Карамзинъ особенно интересовался плодами трудовъ умственныхъ и художественныхъ, произведеніями науки и литературы и ихъ производителями. Во многихъ его письмахъ выражена юношеская радость при состоявшейся наконецъ возможности личнаго знакомства съ современными учеными, поэтами и литераторами. Разсказъ о визитѣ Гердеру заключенъ такими словами: «пріятно, друзья мои, видѣть человѣка, который былъ намъ прежде столько извѣстенъ и дорогъ по своимъ сочиненіямъ, котораго мы такъ часто себѣ воображали или вообразить старались; теперь, мнѣ кажется, я еще съ большимъ удовольствіемъ буду читать произведенія Гердерова ума, вспоминая видъ и голосъ автора». Описавъ свой ужинъ съ лейпцигскими учеными, Карамзинъ прибавляетъ: «милые друзья мои! я вижу людей достойныхъ моего почтенія, умныхъ, знающихъ». Самая мѣстность получала въ его глазахъ особую цѣну по своему отношенію къ литературнымъ именамъ: такъ онъ смотрѣлъ съ отмыннымъ удовольствіемъ на окрестности Цюриха, вспоминая Геснера, Клопштока, Бодмера, Виланда, Гете, Штольберга, Ленца. И потому главное содержаніе Писемъ русскаго путешественника составляютъ извѣстія объ ученыхъ и литераторахъ, современныхъ и прежняго времени, объ ихъ сочиненіяхъ и лекціяхъ, объ ученыхъ обществахъ и училищахъ, о библіотекахъ, кабинетахъ, музеяхъ. Въ письмахъ изъ Германіи и Швейцаріи, эти извѣстія занимаютъ четвертую часть. При свиданіи съ Кантомъ, Лафатеромъ и Боннетомъ Карамзинъ направлялъ рѣчь на важнѣйшіе предметы знанія, предлагалъ имъ вопросы о природѣ и нравственности человѣка, о философіи и философахъ, и въ ихъ отвѣтахъ думалъ найти рѣшеніе своихъ сомнѣній. Однимъ словомъ: умственные интересы служатъ выдающимся пунктомъ его путевыхъ замѣтокъ. Съ этой стороны, «Письма» были дѣйствительною новостію въ литературѣ русскихъ путешествій. Тогдашніе читатели еще не встрѣчали такого просвѣщеннаго сочувствія къ дѣятелямъ въ искусствѣ и наукѣ, и въ первый разъ познакомились какъ съ ихъ личностью, такъ и съ ихъ произведеніями. Искренно любя просвѣщеніе, твердо убѣжденный въ томъ, что оно есть сила, Карамзинъ выставялъ преимущества цивилизованной жизни, дѣйствіе «мудрой связи общественности». Вотъ чѣмъ замѣчательны его письма, хотя, съ другой стороны, справедливо, что въ нихъ, по сознанію самого автора, много неважнаго и мелочей, что они часто обращаютъ вниманіе на виѣшность европейской цивилизаціи, и что общественное состояніе видѣнныхъ имъ странъ, особенно Франціи, современные интересы ихъ граж-

(*) England und Italien (1785).

данскаго устройства и политики мало ими затронуты, чего, впрочем, и нельзя было ожидать отъ двадцати-трехъ-лѣтняго путешественника. Достаточно и тѣхъ качествъ, которыя несомнѣнно принадлежать его письмамъ: вѣрности многихъ сужденій, сохраняющихъ, какъ было выше замѣчено, и донныиъ свою силу, тонкости замѣтокъ о характерѣ французовъ, какъ причинѣ многихъ общественныхъ явленій, наконецъ интереса тѣхъ извѣстій, о которыхъ мы сейчасъ говорили и къ которымъ постоянно склонялась мысль путешественника.

Московскій журналъ (1791—1792) возникъ вскорѣ по возвращеніи Карамзина въ отечество. Мысль объ его изданіи и составѣ образовалась подъ вліяніемъ идей и впечатлѣній, вынесенныхъ путешественникомъ изъ за-границы. Онъ долженъ былъ служить и дѣйствительно служилъ продолженіемъ дѣла, начатаго «Письмами», которыя, въ журнальной программѣ, и стоятъ особою статьей, какъ бы особымъ отдѣломъ изданія. «Письма»—мы видѣли—знакомятъ русскую публику преимущественно съ личностями авторовъ и ихъ произведеніями; журналъ принималъ на себя ту же обязанность: онъ наполнялся русскими сочиненіями въ стихахъ и прозѣ, переводами изъ лучшихъ иностранныхъ авторовъ, краткими ихъ біографіями и характеристиками, извѣстіями о важнѣйшихъ новостяхъ заграничной и отечественной словесности, хроникой театровъ—парижскихъ и московскаго, т. е. отчетами о содержаніи и представленіи наиболѣе замѣчательныхъ піесъ. Литература составляла единственный его интересъ. Самъ Карамзинъ смотрѣлъ на свое изданіе, какъ на литературный пантеонъ. Нѣкоторыя статьи журнала и были потомъ перепечатаны въ «Пантеонъ иностранной словесности» (1798), послѣ котораго не замедлилъ явиться «Пантеонъ російскихъ авторовъ» (1801). Будучи сборникомъ произведеній русской и иностранной словесности, «Московскій журналъ» не имѣлъ особаго направленія, которымъ опредѣляется характеръ и цвѣтъ періодической прессы. Этимъ онъ отличался отъ сатирическихъ журналовъ Екатеринына времени. Къ «Ежемесячнымъ сочиненіямъ», Миллера, онъ относится, какъ собственно-литературный сборникъ къ сборнику учено-литературному. Программа его тѣснѣе. Но въ предѣлахъ чисто-литературнаго пространства, содержаніе журнала было и разнообразно, и занимательно. Херасковъ, Державинъ, Дмитріевъ, Нелединскій-Мелецкій помѣщали въ немъ свои стихотворенія. Изъ иностранныхъ писателей встрѣчаемъ имена Мармонтеля, Бартеlemi, Мерсье, Флоріана, Морица, Коцебу, Мейстера, Гарве, Энгеля, Виланда. Но большая и конечно лучшая часть статей принадлежит самому Карамзину. Между ними самое видное мѣсто занимаютъ «Письма»; за тѣмъ слѣдуютъ повѣсти: «Бѣдная Лиза» и «Наталья, боярская дочь»; далѣе разборы новыхъ явленій литературы, отчеты объ иггранныхъ піесахъ. На издателя лежали всѣ труды по изданію. Онъ былъ и авторомъ, и критикомъ, и переводчикомъ. При немъ не находилось никакихъ постоянныхъ сотрудниковъ, которые въ наше время такъ усердно помогаютъ редактору или совѣтъ замѣняютъ его. Да ему и негдѣ было взять ихъ: онъ только мечталъ,—какъ о чемъ-то неосуществимомъ,—объ обществѣ молодыхъ, дѣятельныхъ людей, одаренныхъ истинными способностями и готовыхъ, съ чувствомъ своего достоинства, посвятить себя литературѣ изъ благородной и безкорыстной любви къ добру. Источниками, по не точнымъ образцамъ журнала служили иностранныя изданія—французскія, нѣмецкія и англійскія. Болѣе другихъ Карамзинъ имѣлъ въ виду «Французскій Меркурій» (*Mercur de France*), съ 1790 г. поступившій къ Мармонтелю, который, вмѣстѣ съ Лагарпомъ, занимался ученымъ отдѣломъ журнала. Здѣсь появились новыя Мармонтелевы повѣсти (Вечера), переведенныя для русскихъ читателей. Благодаря разнообразію и заниматель-

ности, «Московский журналъ» имѣлъ успѣхъ. Публика находила въ немъ пріятное чтеніе и по содержанію, и по языку. Большая часть журналовъ 1769—1774 существовали только одинъ годъ, и закрывались, не находя поддержки въ публикѣ. Карамзинъ же самъ прекратилъ свое изданіе не по недостатку подписчиковъ, число которыхъ на второй годъ увеличилось, а по собственной волѣ: онъ хотѣлъ заняться болѣе серьезными предметами, хотѣлъ, какъ онъ самъ говоритъ, учиться, а срочная работа мѣшала ученію. Впрочемъ этотъ успѣхъ «Московского журнала» измѣрялся скромною цифрою, сравнительно съ числомъ подписчиковъ у современныхъ намъ журналовъ. На первый годъ онъ расходился въ числѣ 300 экземпляровъ, а Карамзинъ желалъ пятисотъ, чтобы имѣть средства улучшить видѣнность изданія. Свидѣтельствомъ успѣха журнала служила и потребность въ новомъ изданіи, которое напечатано въ 1802—1803 г.

§ 4. Господствующій тонъ въ «Письмахъ» Карамзина—сентиментальный, объясняемый, съ одной стороны, природною наклонностью автора къ всему чувствительному, а съ другой—подражаніемъ иностраннымъ образцамъ, на которые въ то время была мода.

Начало сентиментализму въ литературѣ положено Ричардсоновымъ романомъ «Кларисса» (1748) и «Чувствительнымъ путешествіемъ» Стерна (1768), которому принадлежитъ и изобрѣтеніе слова «sentimental». Чрезвычайный успѣхъ «Клариссы» объясняется тѣми самыми обстоятельствами, по которымъ мѣщанская трагедія привлекала зрителей въ театръ (*). Какъ этотъ родъ драмы служилъ реакціей ложно-классическимъ трагедіямъ, такъ и Ричардсоновъ романъ былъ поворотомъ отъ романтическихъ сказокъ и героическихъ исторій къ повѣсти о вседневной домашней жизни, съ ея радостями и страданіями, съ ея мелкими случайностями и великими, не всегда и не для всѣхъ замѣтными жертвами. Тамъ и здѣсь поэзія замѣняла холодный идеализмъ истиной и дѣйствительностью, величіе родового или общественнаго положенія лицъ внутреннимъ, человѣческимъ ихъ достоинствомъ, условныя формы и торжественный тонъ простотою и естественностью рѣчи. Карамзинъ понималъ существенное значеніе Ричардсонова романа, какъ видно изъ его извѣстія о русскомъ переводѣ «Клариссы»: «Ричардсонъ—искусный живописецъ моральной натуры челоѣка.... Въ романѣ его—наилучшая философія жизни, предложенная наипрѣятнѣйшимъ образомъ... Написать романъ въ восьми томахъ, не прибѣгая ни къ чудесамъ, которыми эпические поэты стараются возбуждать любопытство въ читателяхъ, ни къ сладострастнымъ картинамъ, которыми многіе изъ новѣйшихъ романистовъ прельщаютъ наше воображеніе, и не описывая ничего, кромѣ самыхъ обыкновенныхъ сценъ жизни—не бездѣлица» (**). Руссо, почитавшій Клариссу лучшимъ англійскимъ романомъ, подражалъ ему въ «Новой Элоизѣ» (1764), которая оказала быстрее и могущественное дѣйствіе на европейскія литературы. По обѣ стороны Рейна явилось множество романовъ въ томъ же направленіи, но всѣ они далеко отстоятъ отъ своего образца и потому забыты, за исключеніемъ идиллической повѣсти Бернарден де Сенъ-Пьера: «Навель и Виргинія» (1788), проникнутой сильнымъ и благороднымъ чувствомъ къ природѣ и представляющей художественную живопись ея красотъ.

Стернъ назвалъ свое путешествіе «чувствительнымъ» потому, что оно описываетъ не столько внѣшній міръ, имъ видѣнный, сколько его собственный внутренній міръ—его впечатлѣнія и чувства. Это, говоря его словами, «путешествіе сердца къ природѣ и такимъ ощущеніямъ, которыя происходятъ изъ нея и побуждаютъ насъ любить

(*) См. § 213 въ 1 т. этой Исторіи.

(**) Москов. журналъ, 1791.

ближних и даже цѣлый міръ больше, нежели мы обыкновенно его любимъ.» Между англійскими подражаніями Стерну замѣчательнъ романъ второстепеннаго писателя Макензи: «Чувствительный человекъ.» Въ Германіи Стерновскій тонъ былъ доведенъ до забавной крайности Георгомъ Якоби: его «Лѣтнія и зимнія странствованія» (*) не описываютъ никакихъ явленій, а выражаютъ только смутныя ощущенія, ребяческія и приторныя, возбужденныя въ душѣ путешественника природою двухъ противоположныхъ временъ года. По отношенію къ нашей литературѣ, важнѣе путешествія французскаго писателя Верна, котораго соотечественники величали Стерномъ. Ихъ два: «Чувствительный путешественникъ или моя прогулка въ Иверденъ» и «Чувствительный путешественникъ по Франціи во время Робеспьера (**). Такъ какъ они имѣли вліяніе не на самого Карамзина, а на его подражателей, то объ нихъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ.

Съ Ричардсономъ познакомились мы и чрезъ его собственные романы: «Памелу» (1787), «Клариссу (1791—1792)» и «Грандиссона (1793—94)», и чрезъ французское ему подражаніе: «Новая Памела» (1788) и чрезъ русское подражаніе французскому подражанію: «Россійская Памела, или исторія Маріи, добродѣтельной поселанки» (1794). Авторъ послѣдней, Павелъ Львовъ, былъ часто осмѣиваемъ въ журналѣ Крылова «Зритель», подъ именемъ Антирихардсона. На ряду съ англійскимъ романистомъ ставили у насъ Бакюлара Арио или Арио старшаго, сочиненія котораго носятъ печать меланхолическаго, подъ часъ мрачнаго сентиментализма. Его повѣсти начали переходить въ нашу литературу еще съ 70-хъ годовъ прошлаго столѣтія. Особенною извѣстностью пользовались: «Батильда или торжество любви», а потомъ «Эльвиръ», въ переводѣ Кострова. «Письмо къ другу» (Бухарскаго), напечатанное въ Зрителѣ, даетъ такой совѣтъ писателю, желающему трогать сердце:

Что чувствуешь, заставь всѣхъ тоже ощутить;
 Ко сердцу надобно лишь сердцемъ говорить:
 Трудились точно такъ Ариоды, Рихардсоны,
 И вылились у нихъ Батильды, Грандисоны (***).

Изъ сочиненій Стерна переведены, въ 1789 г., Письма Юрика, а въ 1793—Путешествіе; кромѣ того, въ 1801 г., изданы: «Красоты Стерна, для чувствительныхъ сердецъ», и его же «Нравоучительныя рѣчи и нѣкоторые нравственныя изреченія». Другія его сочиненія вышли позднѣе. Уваженіе къ таланту и манерѣ англійскаго юмориста доходило иногда до наивнаго наоса. Въ одномъ журналѣ (****) переводъ отрывка изъ «Новаго Юрика» сопровождается такимъ замѣчаніемъ: «Безподобный Стерн! ты произвелъ многихъ подражателей, которые и чрезъ то уже имѣютъ въ глазахъ моихъ великую цѣну, что тебѣ подражали». Первая часть Новой Элоизы явилась еще въ 1769 г. (****); вполне этотъ романъ переведенъ два раза: 1792—93 и 1804 г. Прибавимъ, что Оедоръ Эминъ подражалъ Элоизѣ въ «Письмахъ Эрнеста и Доравры» (1766). Переводы романовъ Бернарден де Сенъ-Пьера печатались въ журналахъ: «Чтеніе для

(*) Winterreise (1769), Sommerreise (1770).

(**) Le Voyageur sentimental ou ma promenade à Iverdun (1781); Le Voyageur sentimental en France sous Robespierre.

(***) Въ этомъ же журналѣ помѣщено жизнеописаніе Ричардсона.

(****) Пріятное и полезное препровожденіе времени.

(*****) Переводчикъ ея, гр. Павелъ Потемкинъ, передалъ на русскій языкъ два другія сочиненія Руссо: Разсужденіе о томъ, «возстановленіе наукъ и художествъ способствовало ли къ исправленію нравовъ» (1768) и Разсужденіе о началѣ и основаніи неравенства между людьми (1770).

вкуса, разума и чувствованія» и «Пріятное и полезное препровожденіе времени», а потомъ вышли отдѣльно: Павель и Виргинія (1793), Индѣйская хижина (1794) (*).

«Письма русскаго путешественника» видимо имѣли передъ собою классическій образецъ въ этомъ родѣ литературы—«Путешествіе Стерна», котораго Карамзинъ называетъ «оригинальнымъ живописцемъ чувствительности». Но подражать оригинальному автору возможно только при однородномъ съ нимъ талантѣ. Талантъ же Карамзина вовсе не былъ способенъ къ юмору, «озирающему міръ сквозь смѣхъ и слезы». Цѣлостное, неразложимое сочетаніе двухъ противоположныхъ элементовъ въ одномъ юмористическомъ потокѣ даже приходилось ему не по сердцу. Онъ осудилъ драму Коцебу: «Ненависть къ людямъ и раскаяніе», именно за то, что она заставляетъ зрителей въ одно и тоже время и плакать и смѣяться. Такой характеръ піесы онъ объясняетъ или отсутствіемъ вкуса въ авторѣ или нехотѣиемъ автора подчиняться законамъ вкуса. Въ слѣдствіе этого, подражаніе Стерну вышло у Карамзина одностороннимъ и не глубокимъ, хотя и нѣтъ никакого повода заподозрѣвать искренность чувствительности, разлитой по всѣмъ «Письмамъ», и напротивъ есть всѣ основанія утверждать, что она вполне чистосердечна, какъ естественное проявленіе—съ одной стороны, природнаго свойства его души, а съ другой—его понятія о пользѣ и необходимости этого свойства для авторской дѣятельности. Карамзинъ самъ называетъ себя въ письмахъ чувствительнымъ путешественникомъ; самъ говоритъ, что повѣсть: «Наталя боярская дочь» (1792) написана «для однихъ чувствительныхъ душъ, вѣрующихъ въ симпатію сердець». Изъ окончанія статьи: «Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи» (1793) видно, что лучшимъ качествомъ своихъ сочиненій, достойнымъ памяти потомства, онъ признавалъ отраженіе въ нихъ души и сердца. Однихъ талантовъ и знаній недостаточно писателю: онъ долженъ имѣть и доброе, нѣжное сердце, «если хочетъ быть другомъ и любимцемъ души нашей, если хочетъ, чтобы дарованія его сіяли свѣтомъ немерцающимъ, если хочетъ писать для вѣчности и собирать благословенія народовъ». Назначеніе искусства, по мнѣнію Карамзина—распространять пріятныя впечатлѣнія «въ области чувствительнаго». Романисты, историкъ сообщаютъ своимъ повѣствованіямъ прелесть и силу только при дѣйствіи чувствительности: «ты хочешь быть авторомъ? читай исторію несчастій рода человѣческаго: и если сердце твое не обольется кровію—оставь перо, или оно изобразитъ намъ хладную мрачность души твоей... Однимъ словомъ: дурной человѣкъ не можетъ быть хорошимъ авторомъ».

Изъ этой-то «области чувствительнаго» Карамзинъ заимствовалъ сюжетъ своей повѣсти: «Бѣдная Лиза» (1792). Въ настоящее время трудно представить себѣ силу впечатлѣнія, произведеннаго небольшимъ рассказомъ, который не заключаетъ въ себѣ ничего особеннаго ни по интригѣ, ни по развитію психологическому. Однакожъ чрезвычайный успѣхъ повѣсти есть несомнѣнный фактъ. Симоновъ монастырь съ его окрестностями, гдѣ жила Лиза, сдѣлался любимымъ мѣстомъ сентиментальныхъ душъ.

(*) Здѣсь указаны только отдѣльныя изданія переводовъ. Но знакомство съ ихъ подлинниками началось, разумѣется, раньше. Переходъ чужеземнаго въ отечественную словесность представляетъ нѣсколько степеней: сначала движеніе иностранной литературы доходитъ до свѣдѣнія людей образованнѣйшихъ, имѣющихъ возможность знакомиться съ нею на ея языкѣ; потомъ его органомъ становится журналистика; далѣе являются переводы тѣхъ сочиненій, которыми оно обнаружилось или въ которыхъ сосредоточилось; наконецъ слѣдуютъ подражанія этимъ сочиненіямъ. Не всегда эти степени идутъ въ обозначенномъ порядкѣ: перѣдко случается, что подражаніе предваряетъ переводы.

Посѣтители и посѣдительницы, гуляя по берегамъ пруда, въ который съ тоски и отчаянія бросилась героння, мечтали о несчастной судьбѣ ея и вырѣзывали начальную букву ея имени на прибрежныхъ березахъ (*). Одни ставили себя на мѣсто Эраста, другія страшились быть обманутыми въ любви. Стихотворцы славили автора или сочиняли элегии «къ праху бѣдной Лизы». А сколько слезъ было пролито при чтеніи повѣсти! сколько подражаній ей написано! Одинъ изъ журналовъ замѣтилъ, что, увлекаясь Карамзинымъ, наши авторы не оставили ни одного монастыря въ покоѣ. Бѣдная Лиза стала забываться только съ того времени, какъ явилась Людмила Жуковскаго (1808).

Необыкновенный успѣхъ повѣсти объясняется тѣмъ, что она была первымъ талантливымъ произведеніемъ въ новомъ, сентиментальномъ, направленіи повѣствовательной поэзіи. До нея уже многіе виды романа перебивали въ нашей литературѣ, постоянно слѣдовавшей за движеніемъ литературъ европейскихъ; но въ ближайшее къ ней время, какъ мы видѣли изъ отзыва Карамзина о Ричардсоновой Кларисѣ, стояли на виду романы геронческіе. Идеаломъ ихъ служили баснословныя или, по крайней мѣрѣ, древнеисторическія личности, поднимавшіяся высоко надъ порокою обыкновенныхъ смертныхъ. Разсказъ объ ихъ приключеніяхъ большею частію имѣлъ цѣль поучительную; онъ доставлялъ романисту возможность выговаривать, въ бесѣдахъ между дѣйствующими лицами, свои понятія о философіи, политикѣ, морали. Прототипомъ ихъ былъ Фенелоновъ Телемакъ, за которымъ слѣдовали: Киропедія, Жизнь Слоса, царя египетскаго, Похожденія Неоптолема, Ахиллеса сына, и многіе другіе. Къ числу оригинальныхъ сочиненій въ этомъ родѣ относятся сочиненія Оедора Эмиша и Хераскова. Первый написалъ «Приключенія Оемистокла и разные политическіе, гражданскіе, философическіе, физическіе и военныя съ сыномъ своимъ разговоры» (1763); второму мы одолжены двумя эпическими повѣствованіями: «Кадмъ и Гармонія» (1789) и «Полидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи» (1794) (**). Въ слѣдъ за этими прозаическими эпопеями надобно поставить романы, интересъ которыхъ сосредоточивался не на той или другой тенденціи, выступавшей изъ разсказа о приключеніяхъ, а на самыхъ приключеніяхъ, болѣе или менѣе запутанныхъ. Они водили своего героя—не полубога или дѣателя глубокой старины, а простаго смертнаго—по морямъ и по сушѣ, словно хитроумнаго Улисса, или заставляли его перебивать, какъ Жильблаза, въ разныхъ состояніяхъ жизни, чтобы въ первомъ случаѣ познакомить читателя съ природой и жителями чужеземныхъ государствъ, а во второмъ—съ характеромъ общественныхъ разрядовъ и званій. Карамзинъ находилъ эти романы полезными, такъ какъ они сообщаютъ публикѣ энциклопедическія познанія, преимущественно по географіи и натуральной исторіи. Въ разговорѣ съ Каменевымъ онъ утверждалъ, что «ничѣмъ больше нельзя усовершенствовать себя въ истинѣ, какъ прилежнымъ чтеніемъ подобныхъ книгъ». Что касается до романовъ соблазнительнаго содержанія, то они, по самому свойству изображаемыхъ лицъ и событій, не допускающихъ идеализаціи, выказывали болѣе правдоподобія, болѣе согласія съ дѣйствительною жизнью, но это достоинство не избавляло ихъ отъ другихъ важныхъ недостатковъ: цинизма сладострастныхъ картинъ, ласкательства животнымъ инстинктамъ и вообще легкомысленнаго отношенія къ нравственному чувству. Повѣсть А. Измайлова: «Евгеній или пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія и общества»

(*) Къ отдѣльному изданію «Бѣдной Лизы» (1797) приложена картинка, изображающая прудъ и деревья съ вырѣзанными на нихъ вензелями.

(**) Упомянемъ еще объ «Арфаксадѣ, халдейской повѣсти» (1793—96) и о «Приключеніяхъ Клеандра, храбраго царевича Лакедемонскаго» (1798).

мно-
го
лю-
дей
не-
на-
де-
е

(1799—1801) даетъ намъ понятіе о романахъ этого разряда, потому что она во многомъ отражаетъ тогдашнюю классовъ общества: нѣкоторыя лица, ея очерченныя, нѣко-разказанныя, провѣряются и подтверждаются характерности въ сатирическихъ журналахъ Екатерининна времени.

Если скандальная хроника возмущала нравственное чувство повѣствованіе не могло вполне удовлетворить ихъ ни выборомъ дѣйствующихъ лицъ, ни философскими бесѣдами, для которыхъ сюжетъ нѣрѣдко служилъ только рамкою. Дѣйствующія лица слишкомъ удалены отъ обыкновенной жизни по своей породѣ, общественному положенію, духовнымъ и тѣлеснымъ силамъ. Они были герои и героини, въ высшемъ значеніи этого слова, исключительные счастливцы или несчастливцы, на долю которыхъ выпадало то, что въ насущномъ быту человѣка или вовсе не является или является какъ чудо. По ихъ чрезвычайнымъ подвигамъ нельзя было измѣрять обыкновенной исторіи человѣка,—того, въ чемъ проходятъ дни и годы цѣлыхъ поколѣній. Они не затрагивали ни чувства народности, ни чувства общечеловѣчности, такъ какъ послѣдняя выражается всею известными и всею доступными фактами, а не такими, какіе трудно и вообразить себѣ безъ предсказаній оракула. Не встрѣчая въ повѣсти объ ихъ похожденияхъ близкаго себѣ интереса, читатель оставался къ нимъ равнодушенъ. Отсутствие возможныхъ съ ними связей не вознаграждалось ни разсужденіями, часто умными и дѣльными, но часто и утомительными, ни разсѣянными по роману историко-географическими указаніями, какъ бы они ни были полезны. Большинство читающихъ ищетъ въ романѣ пріятныхъ впечатлѣній на воображеніе и чувство, а не обогащенія ума идеями и познаніями.

Мѣщанская драма и Ричардсоновы романы низвели поэтическій вымыселъ изъ надземнаго героизма въ среду ежедневно переживаемой нами жизни. Къ этому роду повѣстей относится и «Бѣдная Лиза». Она понравилась современному образованному классу не столько сюжетомъ и вѣншею обстановкой, сколько внутреннимъ содержаніемъ; другими словами: въ ней выраженіе національных особенностей уступаетъ выраженію общечеловѣческаго элемента. Впрочемъ и мѣстный колоритъ соблюденъ въ ней до известной степени. Мѣсто дѣйствія—Симоновъ монастырь съ его окрестностями—описано вѣрно, о чемъ свидѣлствуетъ Каменевъ въ письмѣ къ своему казанскому пріятелю (*). Имя героя (Эрастъ) хотя и звучитъ романически, но взято изъ русскихъ святцевъ. Добросердечный и въ тоже время вѣтренный и слабовольный, онъ легко могъ встрѣчаться въ кругу тогдашней молодежи, какъ въ кругу молодежи всякаго времени. Нѣтъ ничего невѣроятнаго, что такому человѣку, начитавшемуся идиллій и романовъ и мечтавшему о природной простотѣ, понравилась миловидная крестьянка. Вещь также возможная, что и крестьянка полюбила молодого, привѣтливаго барина. Другое дѣло—образъ мыслей Лизы и ея матери, характеръ ихъ чувствъ, способъ ихъ выраженія: все это, конечно, не соответствуетъ крестьянскому быту, и съ этой стороны дѣйствующія лица не типы, а идеализація, замѣтванная у пасторальной поэзіи. Но строго осуждать за то автора значило бы измѣнять требованіямъ исторической критики литературныхъ произведеній. Въ то время, вымыселъ, своимъ близкимъ воспроизведеніемъ дѣйствительной жизни, даже не понравился бы читателямъ. Если они, наравнѣ съ журналами, одобряли идилліи, выходившія

(*) См. Ист. Хр. 11, стр. 48, прим. 19.
томъ 11.

Посѣтителъ спуста послѣ «Бѣдной Лизы» и ничѣмъ не напоминавшія русскихъ по-
отчаян; то что имѣли возразить они противъ крестьянки, своею рѣчью и манерами
букминавшей барышни? Напротивъ, такое сходство сообщало, въ ихъ представленіи,
исобенную цѣну героини. Недостатокъ индивидуальнаго колорита закрывался общече-
ловѣческимъ элементомъ, лежащимъ въ основѣ повѣсти. Этотъ элементъ—чувство любви,
которая отвергаетъ неравенство состояній и для которой пословица: «не въ свои сани
не садись», лишена всякаго значенія. Въ комъ это чувство проявляется естественнѣе,
чище и независимѣе, къ тому и стремится симпатія читателя. Состраданіе къ судьбѣ
Лизы было состраданіемъ къ человѣку, какъ человѣку, цѣнному по его внутренней
пробѣ, а не по внѣшнему клейму, которое кладутъ на него генеалогическая роспись,
общественное положеніе и другія отличія. Повѣсть возбуждала филантропическое впе-
чатлѣніе, что и служило наилучшею ей похвалой. Читатели самовольно становились
на сторону Лизы; никто изъ нихъ, съ гуманной точки зрѣнія, не думалъ оправдывать
Эраста, хотя съ другихъ точекъ зрѣнія и можно было оправдывать, что онъ не женился
на крестьянкѣ. Послѣ «Бѣдной Лизы» сентиментальное направленіе повѣствовательной
поэзіи одержало верхъ надъ другими направленіями. Разсуждая о книжной торговлѣ и
любви къ чтенію въ Россіи (1802), Карамзинъ говоритъ, что изъ всѣхъ родовъ
книгъ больше всего расходились у насъ романы, а изъ разныхъ родовъ романа—чув-
ствительные.]

Въ повѣсти: «Наталья боярская дочь» (1792), Карамзинъ обратился за сюжетомъ
къ русской старинѣ, показавъ тѣмъ, что патріотическое чувство его давно уже напра-
влялось къ прошлому отчизны, «когда русскіе были русскими, когда они въ собственное
платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своимъ
языкомъ, по своему сердцу». Не смотря, однакожъ, на описаніе нѣкоторыхъ обычаевъ
до-петровскаго времени, повѣсть не можетъ быть названа «историческою» въ томъ
смыслѣ, какъ теперь понимаютъ это слово. Авторъ ея только въ извѣстной, очень
малой мѣрѣ поддѣлывался подъ древній колоритъ. И по характеру любви, и по ея
выраженію дѣйствующія лица очень далеко отстоятъ отъ тѣхъ, которыхъ они должны
были служить поэтическимъ воспроизведеніемъ, и почти незамѣтной чертой различаются
отъ современниковъ и современницъ Карамзина. Повѣсть направлена главнѣйшимъ
образомъ къ возбужденію чувствительности, какъ выше замѣчено. Предполагая, что
читатели усомнятся въ быстро зародившейся «симпатіи сердецъ, другъ для друга со-
творенныхъ», Карамзинъ дѣлаетъ оговорку: «кто не вѣритъ симпатіи, тотъ поди отъ
насъ прочь и не читай нашей исторіи, которая назначается для однѣхъ чувствительныхъ
душъ, имѣющихъ сію сладкую вѣру».

§ 5. Обращаясь къ образу мыслей Карамзина, мы, въ изложеніи его, будемъ поль-
зоваться какъ тѣмъ, что было имъ написано до изданія Вѣстника Европы, такъ и его
статьями, помѣщенными въ Вѣстникъ; въ заключеніи же представимъ характеристику
этого журнала.

Что бы ни говорилъ Карамзинъ въ своихъ «Письмахъ» о Франціи и Англіи, но не
подлежитъ сомнѣнію, что литература этихъ странъ оказала на него преобладающее
вліяніе. Признаки галломаніи были въ немъ замѣтны по возвращеніи изъ путешествія:
онъ любилъ пересыпать свою рѣчь французскими словами, такъ что, по свидѣтельству
Каменева, на десять русскихъ приходилось по малой мѣрѣ одно французское. Убѣж-
денія его касательно многихъ предметовъ сформировались также на чтеніи французскихъ
и англійскихъ писателей; Германія оставалась на заднемъ планѣ. Мистицизмъ имѣлъ

значение эпизода въ «исторіи мыслей» Карамзина, который, какъ намъ извѣстно, одолженъ ему умственной и нравственной выдержкой, но съ ученіемъ котораго, какъ несроднаго складу его ума, онъ вскорѣ разошелся. Работая по указанію и для цѣлей повиковаго круга, переводя болѣею частію съ нѣмецкаго, онъ, въ тоже время, съ болѣею свободою и охотою склонялся къ произведеніямъ иной литературы, къ инымъ, противоположнымъ воззрѣніямъ. Заграничныя письма показываютъ, какъ много перечиталъ онъ капитальныхъ французскихъ и англійскихъ авторовъ. Когда же онъ могъ знакомиться съ ними, какъ не въ четырехлѣтіе московской жизни,—въ эту дѣйствительно замѣчательную эпоху его самообразованія?

Изложеніе мыслей Карамзина мы начнемъ съ разбора его разсужденій: «Разговоръ о счастіи» (1797) и «О счастливѣйшемъ времени жизни» (1803) (*).

Первое разсужденіе, въ формѣ діалога между Мелодоромъ и Филалетомъ, сопоставляетъ два другъ другу противоположныя мнѣнія: одно, что «счастія нѣтъ на землѣ»; другое, что «счастіе существуетъ». Защитникъ втораго мнѣнія—Филалетъ, говорящій отъ лица автора. Смыслъ его рѣчей состоитъ въ слѣдующемъ:

Человѣкъ не можетъ быть счастливъ, не будучи доволенъ самимъ собою. Желанное самодовольство пріобрѣтается повиновеніемъ сердцу и разсудку. Сердце велитъ искать удовольствій, а разсудокъ—однихъ невинныхъ удовольствій, *согласныхъ съ законами природы*. Природа—любящая мать всего живущаго: она дала намъ чувства для того, чтобъ улаживать ихъ; дала разсудокъ для того, чтобы выбирать лучшія наслажденія; дала страсти для того, что онѣ необходимы для дѣятельности въ физическомъ и нравственномъ мірѣ. Страсти въ своихъ границахъ благотѣльны, виѣ границъ пагубны; границы должны назначать разсудокъ. Здѣсь Филалетъ является панегиристомъ страстей—любви, корыстолюбія, честолюбія, различая правильное ихъ дѣйствіе отъ пагубныхъ заблужденій. Но если страсти, полезныя при своемъ естественномъ теченіи, такъ пагубны въ заблужденіяхъ, то для чего природа предоставила намъ возможность заблуждаться, возмущать самый чистый источникъ, обращать добро во зло? Для того, что человѣкъ не машина: ему дана свобода—право выбора и рѣшенія. Кто слѣдуетъ мудрымъ законамъ природы, тотъ благодаритъ ее за эту свободу. Она употребила, съ своей стороны, всѣ средства удержать наши страсти въ *естественномъ*, или, что одно и тоже, въ *благомъ* ихъ теченіи, соединивъ съ истиннымъ путемъ живое удовольствіе, а съ заблужденіемъ—горе и страданіе. Не она виновата, если мы несчастны, и врожденныя склонности—источникъ вѣрныхъ благъ—превращаемъ въ источникъ злыхъ, вопреки ея доброму уставу. Человѣкъ долженъ быть творцемъ своего благополучія, приводя страсти въ счастливое равновѣсіе и образуя вкусъ для истинныхъ наслажденій, т. е. пріобрѣтая навыкъ соглашать чувства съ разсудкомъ. Доказавъ, что счастіе существуетъ, Филалетъ рѣшаетъ потомъ вопросъ: кто можетъ имъ пользоваться? Всѣ безъ исключенія—таково рѣшеніе вопроса. Истинныя удовольствія равняютъ людей. Естественное, иначе разумное счастіе должно быть общимъ достояніемъ человѣчества, не собственностью нѣкоторыхъ избранныхъ людей. Это равенство счастія состоитъ не въ равной суммѣ благъ, данныхъ каждому человѣку, а въ равенствѣ чувства, которымъ наслаждается каждый данною ему долею блага. Оно не количественное, а качественное; не отношеніемъ къ другимъ долямъ оно измѣряется: его мѣра—въ личномъ ощущеніи, во внутреннемъ самодовольствѣ каждаго смертнаго. Добро присуще человѣческой природѣ, и потому стремленіе къ добродѣтели есть общее для всѣхъ. Въ заключеніи «Разговора»,

(*) См. мою статью: «Карамзинъ, какъ оптимистъ» (Отчет. Записки 1858, № 1).

Филалетъ короткими словами выражаетъ свою систему или доктрину: «Возможное земное счастье состоитъ въ дѣйствіи врожденныхъ склонностей, покорныхъ разсудку, въ хорошемъ употребленіи физическихъ и душевныхъ силъ. *Быть счастливымъ есть быть страннымъ исполнителемъ естественныхъ мудрыхъ законовъ; а такъ какъ эти законы основаны на общемъ добрѣ, то быть счастливымъ есть быть добрымъ.*

Эта доктрина—такъ-называемый «оптимизмъ», выражаемый опредѣленною формулою: «все въ мірѣ благо, все устроено къ наилучшему концу».

Въ томъ видѣ, какъ представляетъ его Карамзинъ, оптимизмъ есть произведение англійскаго деизма, который, въ развитіи своемъ, измѣнялся сначала подъ вліяніемъ естественныхъ наукъ, а потомъ подъ вліяніемъ Локковой философіи. Лордъ Шафтсбери, одинъ изъ главнѣйшихъ деистовъ, изложилъ свое ученіе въ «Разсужденіи о добродѣтели» и въ рапсодіи «Моралисты» (1709). Содержаніемъ послѣдней, равно какъ и «Теодицеи» Лейбница (1710), служить идея о наилучшемъ мірѣ. Въ природѣ, учить Шафтсбери, нѣтъ безпорядковъ и нестроенія. Изъ рѣзкихъ противоположностей образуется красота міра; все многочисленные диссонансы разрѣшаются въ общую гармонию. Каждая порода существъ и каждое отдѣльное существо пребываютъ согласно съ великой, стройной міровой системою. Экономія и красота вселенной нисколько не страдаютъ отъ частныхъ потерь и несовершенствъ; видимыя бѣдствія ведутъ къ невидимому, къ несомнѣнному счастью; кажущееся зло есть истинное благо въ итогѣ цѣлаго (космоса). Міросозерцаніемъ Шафтсбери возобладали поэзія: «Времена года», Томсона, «Гимнъ природѣ», Гердера, и «Опытъ о человѣкѣ», Попа, изображаютъ совершенство міровой архитектоники. Въ этомъ отношеніи особенно важна дидактическая поэма Попа (1733). Содержаніе и цѣль ея сокращенно указаны заключительными стихами. Авторъ старался доказать, что въ мірѣ все благо; что между естественными страстями и разумомъ нѣтъ противорѣчій; что любовь человѣка къ ближнимъ нераздѣльно связана съ его любовью къ самому себѣ; что главнѣйшая наука есть самопознаніе; что счастье есть плодъ добродѣтели. Оптимизмъ Попа перенесенъ во Францію Вольтеромъ, написавшимъ дидактическія поэмы: «Разсужденіе о человѣкѣ» (1748) и «Естественный законъ» (1752). Деистическое ученіе англійскаго стихотворца утратило здѣсь свою догматическую строгость, пренебрегающую естественнымъ чувствомъ человѣка. Вольтеръ не приноситъ индивидуальныхъ страданій въ жертву міровому благу; а если и бываютъ подобные случаи, онъ не доказываетъ ими, что личное несчастье есть счастье для общаго, возвышеніе его красоты. Онъ не скрываетъ бремени, тяготящаго надъ смертными, но стремится облегчить его болѣе дѣйствительными утѣшеніями, заимствованными не изъ положеній системы, а изъ области самой же природы, которая, отравляя жизнь, хранитъ въ своихъ нѣдрахъ и противоядіе.

«Опытъ о человѣкѣ» переведенъ на русскій языкъ Поповскимъ (*). Доктрина, въ немъ изложенная, была усвоена нашими учеными и литераторами. Имя Попа, или «Попія», цитовалось какъ авторитетъ. Рѣчь профессора московскаго университета Анничкова «о превратныхъ понятіяхъ человѣческихъ, происходящихъ отъ излишняго упованія, возлагаемаго на чувства» (1779), содержитъ въ себѣ слѣдующія слова: «все устрояется промысломъ Божиимъ во благое, хотя бы мы чего своимъ разумомъ и постигнуть не могли, какъ то и славный англійскій стихотворецъ Попій объясняетъ». Стихотворцы наши или прямо обращались къ Попу, переводя его сочиненія, или

(*) Ист. Христ. I, стр. 325, прим. 2.

въ собственныхъ піесахъ выражали ученіе оптимизма. Изъ числа послѣднихъ укажемъ на «Стансы Богу» и «Письмо къ Г. А. и Д.», Княжнина. Нѣтъ сомнѣнія, что Карамзинъ читалъ «Опытъ о человѣкѣ» и въ переводѣ Попова, и въ подлинникѣ. Переводомъ Галлеровой поэмы «о происхожденіи зла», онъ показалъ, что вопросъ, занимавшій нѣкогда великихъ мыслителей, не былъ чуждъ и ему. Ничего не приложилъ онъ отъ себя къ рѣшенію вопроса, но, по крайней мѣрѣ, зналъ, какъ онъ рѣшается другими. Основное понятіе Шэфтсбери, Лейбница и Попа ясно передано въ поэмахъ: «міръ сотворенъ ко счастію гражданъ; всеобщее благо одушевляетъ натуру и все ознаменовано добромъ величайшимъ». Наклонность Карамзина къ оптимистическому воззрѣнію опредѣленнѣе обнаружилось по возвращеніи изъ за-границы, въ первый же годъ изданія Московскаго журнала. Оптимизмъ выступаетъ здѣсь какъ *profession de foi* журналиста, и хотя ни одна статья не излагаетъ его въ цѣломъ составѣ, какъ стройную совокупность понятій, по положенія его встрѣчаются нерѣдко разсѣянные тамъ и здѣсь. Чѣмъ инымъ объяснить эпиграфъ къ цѣлому годовому изданію журнала, взятый изъ «Опыта о человѣкѣ»: «удовольствіе, ложно или справедливо понимаемое, есть величайшее зло или величайшее благо?» Выборъ эпиграфа—не случайность. Имѣлся, конечно, разумный поводъ пустить въ свѣтъ изданіе подъ такимъ знаменемъ. Этимъ поводомъ служило сочувствіе къ воззрѣніямъ Попа. Между статьями Московскаго журнала за первый годъ помѣщены письмо Беля къ Шэфтсбери и отвѣтъ послѣдняго, ясно выражающій основное понятіе англійскаго деиста: «въ царствѣ Бога все должно быть благо, и все злое—призракъ, исчезающій тогда, когда обозримъ весь плачъ Его творенія». Замѣтимъ, что Карамзинъ, по природѣ своей, не любилъ вдаваться въ крайности; принимая систему, онъ ограничивалъ ее извѣстными предѣлами. Такъ и оптимизмъ допускалъ онъ условно, подходя своимъ образомъ мыслей ближе къ «Разсужденію о человѣкѣ», Вольтера, нежели къ строгположительнымъ опредѣленіямъ Попа, меньше послабляющимъ человѣческой личности. Доказательствомъ тому служить, между прочимъ, помѣщенный въ Московскомъ журналѣ разборъ комедіи Коленъ д'Арлевиля: «Оптимистъ, или человѣкъ всѣмъ довольный». Изъ «разныхъ отрывковъ», напечатанныхъ въ 6-й части этого журнала (1792), замѣчательнъ восьмой (*), какъ свидѣтельство не только живаго сочувствія къ природѣ, но и деистическаго на нее воззрѣнія. Деизмъ проглядываетъ въ разныхъ статьяхъ Карамзина и послѣ изданія «Московскаго журнала». Видъ сельской природы, въ пьесѣ: «Деревня» (1792), напоминаетъ автору лѣта его младенчества, когда «духъ его воспитывался въ простотѣ естественной, когда ударъ грома, сообщивъ ему первое понятіе о величествѣ Міроправителя, былъ основаніемъ его религіи». Въ «Цвѣткѣ на гробъ моего Агатона» онъ обращается къ природѣ съ воплемъ сомнѣнія: «величественная натура... или Ты, котораго назвать не умѣю». Взглядъ оптимиста виденъ и въ «Аонской жизни (1793)». Карамзинъ отдаетъ грекамъ преимущество предъ нами за то, что они болѣе, чѣмъ какой-либо другой народъ, занимались важнымъ искусствомъ счастія; что цѣлью ихъ жизни было наслажденіе, котораго они искали съ жаромъ страсти, съ живѣйшимъ чувствомъ потребности. Философія Ариста, утѣшающаго Филоклеса, который лишился своего друга Агатона, есть философія Филалета, въ его разговорѣ съ Мелодоромъ о счастіи. И послѣ этого «Разговора» Карамзинъ оставался вѣренъ оптимизму, какъ видно изъ нѣкоторыхъ статей Вѣстника Европы на 1802 г. Рассказывая исторію

(*) Онъ гачинается слѣдующими словами: «мысль о смерти была бы для меня не столь ужасна»..

своего младенчества въ «Рыцарѣ нашего времени» (*), онъ говоритъ, что «безъ страстей нѣтъ ничего прелестнаго въ свѣтѣ». «Разсужденіе о любви къ отечеству и народной гордости» (**), раздѣливъ эту любовь на три вида: физическую, нравственную и политическую, основаніемъ первой полагаетъ то, что «въ свѣтѣ нѣтъ ничего милѣе жизни», что «жизнь есть первое счастье». По словамъ того же сочиненія, «самая лучшая философія есть та, которая основываетъ обязанности человѣка на его счастье», то есть на добродѣтели, ибо, какъ намъ уже извѣстно, «быть счастливымъ есть быть добрымъ» (***).

Но вскорѣ за рѣшительными свидѣтельствами оптимистическаго взгляда Карамзина мы видимъ поворотъ его мыслей въ совершенно-другую сторону. Небольшое пространство времени (меньше года) лежитъ между двумя противоположными понятіями. Отъ убѣжденія, что «жизнь есть первое счастье», что «въ мірѣ все прекрасно», Карамзинъ перешелъ къ убѣжденію, что «здѣшній міръ есть училище терпѣнія», что «вездѣ и во всемъ окружаютъ насъ недостатки». Защитникъ оптимизма опровергаетъ оптимизмъ; послѣдователь Лейбница и Попа становится ихъ противникомъ. Этотъ новый взглядъ на жизнь изложенъ въ разсужденіи «о счастливѣйшемъ времени жизни» (****):

Перестанемъ обманывать себя и другихъ; перестанемъ доказывать, что всѣ дѣйствія природы и всѣ феномены ея для насъ благотворны—въ общемъ планѣ, можетъ быть, но какъ онъ извѣстенъ одному Богу, то человѣку и нельзя разсуждать о вещахъ въ семъ отношеніи (*****). Оптимизмъ есть не философія, а игра ума; философія занимается только

(*) Вѣстн. Евр. 1802 г., № 13.

(**) Ib. № 4.

(***) Указаніе сочиненій, въ которыхъ послѣ «Разговора о счастьи», выражается оптимизмъ, сюда не относится. Нельзя однакожъ умолчать о нѣкоторыхъ литературныхъ явленіяхъ, по своему содержанію относящихся къ одному разряду съ сочиненіемъ Карамзина. Таковъ напримѣръ Клеантовъ «Гимнъ Юпитеру», переложенный на русскій языкъ, съ нѣмецкаго перевода, Державинимъ подъ названіемъ «Гимнъ Богу» (1800). (Объ этомъ гимнѣ см. во 2-мъ т. Сочиненій Державина, съ объяснительными примѣчаніями А. Грота, изд. Акад. Наукъ). Таковы два посланія И. Крылова: «о пользѣ страстей», 1808 г. (оно помѣщено во 2 т. Ист. Христ.) и «о пользѣ желаній» (найденное по кончинѣ автора въ рукописи). Въ журналахъ, ближайшихъ къ тому времени, въ которое написанъ «Разговоръ», встрѣчаются взгляды Карамзина. «Ипокрена» (1799—1801) содержитъ въ себѣ два стихотворенія: «Делія» (переводъ съ англійскаго) и «Чувственность» (Д. Колоколова). Первое изъ нихъ заключается тѣмъ же самымъ, чѣмъ заключенъ «Разговоръ»:

Чтобъ быть счастливыми, быть добрыми должны.

Второе развиваетъ мысль, что все естественное—благо:

*Что врожденно—безпорочно,
Всякъ быть долженъ философъ.*

Понятно, какого рода эта философія: она—оптимизмъ, по ученію котораго природа влечетъ всѣхъ къ добру:

*Чувствамъ нашимъ что пристойно,
То не должно нарушать.
Въ свѣтъ все благоустройно:
Что намъ свѣтъ перемѣнить?*

(****) Вѣст. Евр. 1803, № 13.

(*****). Тоже сказано Поповскимъ въ предисловіи къ переводу Попа: «понеже мы самую малѣйшую только часть въ свѣтѣ знаемъ, а цѣлаго его составу не понимаемъ нисколько, то не можемъ и разсуждать, что добро, что худо, и можетъ быть что худо для одного, то полезно для цѣлаго союза міра».

исными истинами, хотя и печальными, отвергает ложь, хотя и приятную. Творецъ не хотѣлъ для человѣка снѣть завѣсы съ дѣлъ своихъ, и догадки наши никогда не будутъ имѣть силы удостовѣренія. Вопреки Лейбницу и Поне, здѣшній міръ остается училищемъ терпѣнія. Не даромъ всѣ народы имѣли древнее преданіе, что земное состояніе человѣка есть его паденіе или наказаніе: сіе преданіе основано на чувствѣ сердца. Богъзиъ ожидаетъ насъ здѣсь при входѣ и выходѣ; а въ серединѣ, подъ розами здоровья, кроется змѣя сердечныхъ горестей. Живѣйшее чувство удовольствія имѣетъ въ себѣ какой-то недостатокъ; возможное на землѣ счастье, столь рѣдкое, омрачается мыслию, что или мы оставимъ его, или оно оставитъ насъ.... Однимъ словомъ, вездѣ и во всемъ окружаютъ насъ недостатки. Однакожъ слова: *благо* и *счастье*, справедливо занимаютъ мѣсто свое въ лексиконѣ здѣшняго свѣта. Сравненіе опредѣляетъ цѣну всего: одно лучше другого—вотъ благо! одному лучше, нежели другому—вотъ счастье!

Такимъ образомъ вопросъ о счастливѣйшемъ возрастѣ жизни замѣняется, соотвѣтственно новому воззрѣнію автора, другимъ: какой возрастъ жизни менѣе несчастливъ, или, что одно и тоже, какой возрастъ счастливѣйшій относительно, по сравненію его съ другими возрастами? Рѣшеніе вопроса, въ настоящемъ разсужденіи, измѣняется вмѣстѣ съ перемѣною взгляда на всю человѣческую жизнь. Прежде Филалетъ, въ отвѣтъ Мелодору (*), называлъ юность краснымъ утромъ жизни, «лучшею эпохою нравственнаго бытія», а здѣсь счастливѣйшею эпохою нашего существованія называется послѣдняя степень физической зрѣлости, т. е. возмужалость: «какъ плодъ дерева, такъ и жизнь бываетъ всего сладостнѣе передъ началомъ увяданія».

Согласить различныя понятія объ одномъ и томъ же предметѣ невозможно: противоположности не примиряются. Но можно объяснить поводъ къ переходу отъ одного понятія къ другому, прямо ему противоположному.

Усвоеніе извѣстнаго взгляда на природу и нравственный міръ зависитъ, съ одной стороны, отъ характера личности, а съ другой—отъ характера того образованія, которое принадлежало небольшому классу людей просвѣщенныхъ.

Отличительными свойствами Карамзина были чувствительность и благодушіе. Направляемый ими, онъ смотрѣлъ на людей и природу съ доброй, свѣтлой точки зрѣнія, глазами расположенія и любви. «Я никогда не бывалъ мизантропомъ», говоритъ онъ, «даже и въ такихъ обстоятельствахъ, которые могли бы извинить маленькую досаду на людей». Въ сочиненіяхъ его не открываешь не только мрачнаго настроенія души, но и дурнаго расположенія духа,—того, что у французовъ зовется «*mauvaise humeur*» и что временно посѣщаетъ даже людей довольныхъ собою и другими. «Дурной нравъ» и «скуку» онъ почиталъ самыми жестокими бичами сердца. Онъ не имѣлъ склонности ни къ сатирѣ, ни къ жалобамъ на судьбу: всѣ іереміады, выражающія недовольство, возбуждали его неодобреніе. Обстоятельства жизни благопріятствовали развитію такихъ благодушныхъ инстинктовъ. Карамзинъ, не смотря на свою молодость (мы говоримъ о томъ времени, къ которому относятся его мысли о счастьи), пользовался рѣдкою литературною извѣстностью, занималъ счастливое положеніе въ свѣтѣ, видѣлъ искреннее уваженіе къ себѣ и привязанность многихъ. Завѣтныя желанія его исполнились: онъ совершилъ путешествіе за границу; по возвращеніи посвятилъ себя литературѣ, согласно склонностямъ сердца и убѣжденію просвѣщеннаго гражданина; въ обществѣ знакомыхъ нашелъ онъ удовлетвореніе и дружбы и любви. Все въ немъ и вокругъ него устроилось хорошо и пріятно; будущее могло обѣщать еще лучшее и пріятнѣйшее. Человѣкъ мыслящій и просвѣщенный, какимъ былъ Карамзинъ, всегда чувствуетъ по-

(*) Письма Мелодора къ Филалету и Филалета къ Мелодору, въ Аглаѣ (1794).

требность въ основныхъ убѣжденіяхъ, имѣющихъ значеніе болѣе или менѣе твердой философской доктрины. Для Карамзина выборъ доктрины предопредѣлялся врожденными качествами, житейскими обстоятельствами и характеромъ образованія. Онъ остановился на оптимизмѣ, который согласовался съ естественнымъ расположеніемъ души его, съ чувствомъ его сердца и, какъ гипотеза, удачно объяснялъ явленія, не только въ его собственной жизни, но и въ сферѣ нравственнаго міра вообще.

Но гипотеза до тѣхъ поръ сохраняетъ свою достовѣрность, пока значеніе предметовъ, наиболѣе содѣйствовавшихъ ея усвоенію, остается неизмѣннымъ. Съ переменною обстоятельствами жизни, которыя играютъ въ этомъ случаѣ очень важную роль, измѣняется и гипотеза. Отвлеченному легко можетъ встрѣтиться противорѣчіе въ реальномъ, предполагаемому въ дѣйствительно-существующемъ, понятію, относящемуся ко всемъ явленіямъ, въ явленіи отдѣльномъ—въ жизни одного человѣка. Для спасенія гипотезы надобно примирить всеобщее съ индивидуальнымъ, а примирить ихъ нѣтъ возможности, и потому необходимо допустить одно изъ двухъ: или невѣрна мысль, служившая къ объясненію міроваго устройства, или ложно собственное, личное чувство человѣка. На послѣднее человѣкъ рѣшится не въ силахъ: это—естественный крикъ его самоощущенія, непреложный опытъ его плоти и крови. Остается слѣдовательно признать невѣрность основной мысли.

Противорѣчія между жизнью лица и понятіемъ этого лица о жизни вообще не избѣгнулъ и Карамзинъ. Тяжкая горестъ посѣтила его въ 1803 г.: онъ лишился первой супруги своей. Въ это-то время семейной утраты и меланхоліи, явилось разсужденіе «о счастливѣйшемъ времени жизни». Чувство сердца заставило автора обратиться къ печальному взгляду на жизнь, какъ прежде сердечное же чувство сказало въ оптимизмѣ. Элегическій конецъ разсужденія есть вѣрный отголосокъ тогдашняго состоянія души Карамзина, соответствуетъ главной его мысли и кромѣ того указываетъ на печальное событіе въ его жизни:

Дни цвѣтущей юности и пылкихъ желаній! не могу жалѣть о васъ. Помню восторги, но помню и тоску свою; помню восторги, но не помню счастья: его не было для меня въ сей бурной стремительности чувствъ къ безпрестаннымъ наслажденіямъ, которая бываетъ мукою; *его нѣтъ для меня и теперь въ жизни*, но не въ лѣтахъ кипѣнія страстей, а въ полномъ дѣйствіи ума, въ мирныхъ трудахъ его, въ тихихъ удовольствіяхъ жизни единообразной, успокоенной, хотѣлъ бы я сказать солнцу: «остановися!» *еслибы въ то же время могъ сказать и мертвымъ: «возстаньте изъ гроба!»*

Теченіе времени не остается также безъ вліянія на перемену образа мыслей. Зрѣлыя лѣта приносятъ съ собою и новый, болѣе зрѣлый взглядъ на вещи. Отдавая предпочтеніе возмужалости, Карамзинъ имѣлъ въ виду свои собственные 37 лѣтъ, на что указываютъ слѣдующія строки разсужденія: «человѣкъ *за тридцать пять лѣтъ*, безъ сомнѣнія, не пылаетъ уже такъ страстями, какъ юноша, а въ самомъ дѣлѣ можетъ быть гораздо его счастливѣе».

Замѣтимъ, что перемена воззрѣній, произведенная печальными обстоятельствами жизни, не противорѣчила постоянно-доброму настроенію души Карамзина, который былъ исполненъ любви и жалости къ ближнимъ и народамъ (*). Ни благодушіе его не пострадало отъ цоваго взгляда, ни новый взглядъ не потревожилъ благодушной его природы. Онъ не былъ способенъ ни къ ожесточенію, ни къ отчаянію, что служитъ единственнымъ приближеніемъ многихъ, постигнутыхъ рокомъ: несчастія могли усилить въ немъ

(*) Письмо къ Каподистрію (1825).

меланхолиі, къ которой онъ имѣлъ естественную склонность, но не могла поколебать его вѣры въ совершенствованіе чловѣка, въ неизбежное торжество добрыхъ началъ надъ злыми. Пессимистомъ онъ не могъ быть и никогда не былъ: всю жизнь свою онъ былъ оптимистомъ. Всегда и вездѣ сопровождало его утѣшеніе; только онъ прибѣгалъ за нимъ не къ системѣ Пона, а къ религіи, не къ ученію деистовъ, а къ ученію собственно-христіанскому. До конца дней своихъ сохранилъ онъ то, что выражено словами Юма: *douce paix de l'âme, resignée aux ordres de la Providence* (*).

Любопытно, что переверотъ въ мысляхъ, бывшій у Карамзина дѣломъ его личныхъ обстоятельствъ, у другихъ оказался слѣдствіемъ общественныхъ бѣдствій. Страшное землетрясеніе 1755 г. послужило поводомъ къ сочиненію дидактической поэмы: «На разрушеніе Лиссабона» (**), которую Кондорсе, біографъ Вольтера, справедливо называетъ совершенно-отличною отъ поэмы: «Естественный законъ». Для ея автора оптимизмъ получилъ значеніе фантастическаго, нелѣпаго утѣшенія передъ лицомъ несомиѣнныхъ бѣдствій и золь. Сатирическій романъ того же автора: «Кандидъ» (1759) (***) есть полное осмѣяніе оптимизма. Формула оптимистовъ: «все къ лучшему», сдѣлалась частію прощескимъ, частію забавнымъ выраженіемъ. У кого въ умѣ сопоставлялись такіе предметы, какъ ученіе оптимистовъ и дѣйствительный ходъ вещей въ мірѣ, представляющій такъ много бѣдственнаго, превратнаго, неразумнаго, тотъ, подобно Вольтеру или Екатеринѣ II, въ ея письмахъ къ Вольтеру, припоминалъ знаменитое положеніе доктора Панглоса (одного изъ дѣйствующихъ лицъ въ Кандидѣ): «*Tout est au mieux dans ce meilleur des mondes possibles*». Ж. Ж. Руссо, напротивъ, защищалъ Лейбница и Пона. Въ письмѣ къ Вольтеру, онъ опровергаетъ мысли его поэмы (На разрушеніе Лиссабона). «Вы только увеличиваете наши злосчастія», пишетъ онъ, «вы лишаете меня всего и приводите въ отчаяніе, тогда какъ оптимизмъ, по крайней мѣрѣ, доставлялъ мнѣ какое-нибудь утѣшеніе. Можно подумать, что вы бонтесь раскрыть передо мной все мои бѣдствія и надѣетесь успокоить меня, утверждая, что въ свѣтѣ *все дурно*. Система ваша ужаснѣе манихеизма. Вы оправдываете могущество природы въ ущербъ ея благости. Но если ужъ надобно признать за нею одинъ изъ двухъ недостатковъ, то пусть она сохранитъ благость и лишится могущества. Для изслѣдованія оптимизма надлежащимъ образомъ надобно тщательно отличать частное зло отъ общаго. Дѣло не въ томъ, страдаетъ ли кто изъ насъ или нѣтъ, а въ томъ, нужно ли существованіе вселенной, необходимы ли наши бѣдствія для этого существованія. Словамъ: «все благо», слѣдуетъ дать болѣе опредѣленный смыслъ, сказавъ: «все благо для цѣлаго» (****).

§ 6. Карамзинъ прожилъ во Франціи четыре мѣсяца (съ марта по іюль 1790 г.), въ ту эпоху учредительнаго собранія, которая замѣчательна не столько событіями, сколько болѣе и болѣе выступавшимъ распаденіемъ народныхъ представителей на партіи. Важныя событія уже совершились прежде его пріѣзда и еще имѣли совершиться по возвращеніи его на родину. Созваніе государственныхъ чиновъ и сліяніе ихъ въ одно не-

(*) Письмо къ А. И. Тургеневу, 1851 г.

(**) Русскій переводъ Богдановича (1802 и 1803).

(***) Русскій переводъ Башилова (1769), имѣвшій много изданій.

(****) Русскій переводъ письма Руссо приложенъ къ изданію Вольтеровой поэмы. Есть у насъ и оригинальное сочиненіе по тому же поводу: «Письмо, содержащее нѣкоторыя разсужденія о поэмі Вольтера: «На разрушеніе Лиссабона», писанное В. Лвнымъ. (Лвшиннымъ) къ пріятелю его господину З. (1788).

раздѣлимое представительство, взятіе и разрушеніе Бастиліи, отмена сословныхъ привилегій, возстаніе Парижа, отобраніе имѣній, принадлежавшихъ духовенству, уничтоженіе монашескихъ орденовъ, все это послѣдовало въ первый годъ революціи, съ мая 1789 по мартъ 1790 г. Путешественникъ приближался къ Парижу съ пасмурными мыслями. Описывая берега Сены, онъ находилъ возможнымъ будущее запустѣніе Франціи: кто поручится, спрашивалъ онъ, чтобы это прекраснѣйшее въ свѣтѣ государство рано или поздно не уподобилось нынѣшнему Египту? (*). О самомъ государственномъ переворотѣ въ письмахъ говорится рѣдко; однакожь изъ немногихъ словъ, сюда относящихся, легко разумѣть, какъ смотрѣлъ на него авторъ. По поводу уличной исторіи въ Ліонѣ, онъ называетъ ее дѣломъ празднотцевъ, не хотавшихъ работать съ эпохи «такъ называемой французской свободы» или, вѣрнѣе, «страшнаго народнаго деспотизма». Въ революціи онъ справедливо видитъ «ужасную политическую перемѣну».

Карамзинъ и не могъ стать въ другое отношеніе къ событію XVIII вѣка во Франціи. Если бы онъ и одобрялъ нѣкоторые его результаты, то съ самымъ способомъ, какимъ результаты были достигнуты, онъ ни на какихъ условіяхъ не пошелъ бы на мировую сдѣлку. Словомъ «переворотъ» обозначается понятіе о грозныхъ потрясеніяхъ, насильственныхъ мѣрахъ и крайностяхъ, а это не согласовалось ни съ чувствомъ Карамзина, ни съ его образованіемъ, ни съ его взглядомъ на развитіе государственнаго организма. Подобно многomu множеству своихъ современниковъ, онъ могъ еще ожидать добра при началѣ событія, но подобно имъ же вскорѣ назвалъ свое ожиданіе призракомъ. Жертвами переворота падаютъ невинные на ряду съ виновными; имъ нарушается спокойный токъ общественной и частной жизни; въ немъ не обходится безъ пролитія крови... Во имя правъ человѣка совершались кровавыя историческія драмы, которыя Карамзинъ не имѣлъ ни малѣйшаго основанія считать способомъ къ совершенствованію человечества. Онъ положительно говоритъ, что нельзя полюбить англичанъ, читая ихъ исторію, потому что она богата злодѣйствами и потому что, по числу жителей, въ Англіи больше чѣмъ въ другихъ земляхъ погибло народу отъ внутреннихъ мятежей. Хотя ему и было извѣстно, что революціонные дѣятели выставляли идею Руссо своимъ знаменемъ, однакожь онъ думалъ, что Руссо, какъ «чувствительный и добродушный» философъ, объявилъ бы себя первымъ врагомъ революціи. Образованіе, и домашнее и въ пансіонѣ Шадена, а потомъ связи съ Новиковскимъ кругомъ укрѣпили Карамзина въ правилахъ строгаго повиновенія существующимъ законамъ. Однимъ изъ коренныхъ постановленій масонства требовалась безусловная покорность преобладающей власти. Такъ называемая «Книга конституцій» или «древнихъ обязанностей», составленная англиканскимъ проповѣдникомъ Андерсономъ и признанная въ 1723 г. основнымъ законоположеніемъ для членовъ братства, предписываетъ каждому изъ нихъ исполнять, безъ всякихъ ограниченій, долгъ вѣрнопопданнаго (**). Тоже предписаніе внесено и въ уложеніе рус-

(*) Мысль о возвышеніи однихъ и паденіи другихъ народовъ выражена также въ письмѣ Мелодора къ Филалету (Соч. Карамзина, изд. Смирдина, III, 441—443).

(**) Уложеніе великой масонской ложи Астрей на в. (востокѣ) С. Петербурга. Часть первая. 5815 (т. е. 1815). Законы великой масонской ложи Астрей на востокѣ Санктпетербурга или подъ конституціей великой ложи Астрей состоящаго масонскаго союза. Вторая часть. 5815 года (NB. Масоны вели свое лѣтосчисленіе за 4000 лѣтъ до Р. Х., которыя и прилагали къ годамъ, протекавшимъ отъ Р. Х.). Второе прибавленіе ко 2-й части содержитъ въ себѣ «Масонскіе законы, оставшіеся отъ древнихъ каменщиковъ, собранные изъ преданій разныхъ ложъ, по землѣ разбѣянныхъ,

скихъ масонскихъ ложъ (*), которыя въ каждомъ сословіи, имѣвшемъ передъ лицомъ государя какую-нибудь тайну касательно правительства, совершенно справедливо видѣли противозаконное, вредное общество въ обществѣ (*status in statu*).

На темпераментѣ, образованіи и знакомствѣ съ исторіей установились понятія Карамзина о прогрессѣ гражданскихъ обществъ и каждаго человѣка въ отдѣльности. Измѣненія, совершаемыя съ цѣлью улучшить политическій строй государства или общественный бытъ народа, не могли не возбуждать его полнаго сочувствія, но онъ твердо держался своего взгляда на характеръ переменъ, на способъ, какимъ онѣ производятся, и на дѣятелей, которыми ведутся. По его мнѣнію (которое было и есть мнѣніе разумнаго большинства), новый порядокъ вещей долженъ возникать на исторической почвѣ, на основахъ того, что выработано жизнью народа, а не на развалинахъ его прошедшаго и настоящаго. Другими словами: онъ видѣлъ различіе между реформой и революціей,—между системою преобразованій, которая на мѣсто прежняго, отживающаго свой вѣкъ, воздвигаетъ лучшее, болѣе отвѣчающее потребностямъ времени, и системою преобразованій, которыя съ корнемъ вырываютъ старое во имя какой-нибудь доктрины. Въ первомъ случаѣ, переменны совершаются изнутри народной жизни: это есть собственно развитіе, требуемое каждымъ организмомъ, слѣд. и государственнымъ; во второмъ, переменны берутся извнѣ, изъ сферы общихъ, отвлеченныхъ началъ и соображеній: это не развитіе, а насильственный переломъ, переворотъ. Маколей, въ своей Исторіи Англіи, провелъ различіе между этими двумя способами государственныхъ преобразованій: историческимъ, орудіями котораго служатъ законность и преданіе, и теоретическимъ, или философскимъ.

и достойные уваженія, яко священные памятники древняго общества вольныхъ каменщиковъ». Вотъ законы относительно правительства: «Вольный каменщикъ, гдѣ бы онъ ни былъ, всегда долженъ отличаться миролюбіемъ и совершеннымъ повиновеніемъ гражданскимъ законамъ и первенствующей власти. И для того ему никогда не надлежитъ быть участникомъ ссоръ, крамолъ и возмущеній, никогда не должно сопротивляться повелѣніямъ начальствъ высшихъ... Если же, сверхъ всякаго чаянія, кто-либо изъ братьевъ учинится въ злоумышленіи противу правительства, въ семъ случаѣ не только никто изъ масоновъ не долженъ скрывать его предпріятій, но по законамъ Великой Ложы и всего братства подобный нарушитель обязанностей честнаго гражданина долженъ быть лишенъ всѣхъ преимуществъ, соединенныхъ съ званіемъ масона и немедленно исключенъ изъ законныхъ ложъ всѣхъ Востоковъ».

(*) Въ той же второй части (глава первая: «общія обязанности масона и члена ложы») находимъ слѣдующія постановленія:

§ 174. Масонъ долженъ быть покорнымъ и вѣрнымъ подданнымъ своему Государю и отечеству; долженъ повиноваться гражданскимъ законамъ и въ точности исполнять ихъ; онъ не долженъ принимать участія ни въ какихъ тайныхъ или явныхъ предпріятіяхъ, которыя бы могли быть вредны отечеству или Государю; равно не содѣйствовать къ тому оужденіямъ Государя или Его законовъ ни письменно, ни словесно.

§ 175. Каждый масонъ, узнавшій о подобномъ предпріятіи, обязанъ тотчасъ извѣщать о томъ Правительство, какъ законы повелѣваютъ.

§ 176. Если ложа узнаетъ, что членъ оной поступилъ противъ сего закона и противъ священныхъ обязанностей подданнаго, что онъ или самъ участвовалъ въ такомъ предпріятіи, или зналъ о немъ и не предупредилъ кого слѣдуетъ; то по точномъ обвиненіи таковой членъ исключается изъ Ложы.

Въ 1-ой части (глава первая: «всеобщее опредѣленіе или основное условіе союза», § 6) цѣлю масонскихъ работъ постановлено: «усовершеніе благополучія чловѣковъ исправленіемъ нравственности, распространеніемъ добродѣтели, благочестія и непоколебимой вѣрности къ Государю и отечеству и строгимъ исполненіемъ существующихъ въ государствѣ законовъ».

Благодаря такому уставу, правительства не преслѣдовали масоновъ, а всегда оказывали имъ довѣренность и покровительство. Преслѣдованія начались только съ того времени, когда масонскія ложы, уклонясь отъ своего прямого назначенія—устроить нравственность чловѣка, перешли къ другимъ цѣлямъ и обратились въ тайныя политическія сборища.

который, сходя съ исторической почвы, думаетъ строить государство à priori, по кабинетной идеѣ или по примѣру Афинъ и Рима. Событія 1848 г. заставили его окончить второй томъ исторіи такими словами: «Съ высоты трибуны были провозглашаемы ученія, самыя враждебныя наукамъ, искусствамъ, промышленности, семейнымъ добродѣтелямъ. Если бы эти доктрины приведены были въ дѣйствіе, то онѣ въ тридцать лѣтъ разрушили бы созданіе тридцати вѣковъ и обратили бы прекраснѣйшія области Франціи и Германіи въ страны столь же дикія, какъ Патагонія или Конго. Европѣ угрожали варвары, въ сравненіи съ которыми Аттила и Альбоинъ казались бы просвѣщенными и гуманными. Истинные друзья народа сознавали съ глубокою горестію, что интересы болѣе драгоцѣнныя, чѣмъ политическія права, находились въ опасности и что, для спасенія цивилизаціи, необходимо было пожертвовать свободой.» Съ той же точки зрѣнія Боркъ смотрѣлъ на современную ему, первую французскую революцію. Какъ великій государственныи умъ, онъ и не могъ судить о ней иначе. Мнѣніе Карамзина вытекало изъ однихъ основаній съ вышензложенными: «всякое гражданское общество, вѣками утвержденное», говоритъ онъ, «есть святыня для гражданъ; насильственные потрясенія гибельны; мудрые умы знаютъ опасность переменъ, тогда какъ умамъ легкимъ все кажется легко».

Преобразованія должны совершаться дѣйствіемъ времени, посредствомъ медленныхъ, но вѣрныхъ, безопасныхъ успѣховъ разума, просвѣщенія, воспитанія, добрыхъ нравовъ. Таково убѣжденіе Карамзина, заявленное имъ еще въ письмахъ изъ Франціи, и болѣе и болѣе крѣпчавшее въ его сознаніи. Неизмѣнно руководствуясь имъ, онъ обсуждалъ внутреннюю и внѣшнюю политику, успѣхи или неуспѣхи гражданского общества. Московскій Журналъ не подавалъ голоса о политическихъ дѣлахъ Европы, за неимѣніемъ особаго для того отдѣла. Но въ статьяхъ Аглан (1794), особенно въ полемикѣ противъ Руссо (Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи) и въ письмахъ Мелодора къ Филалету и Филалета къ Мелодору, мы встрѣчаемся съ образомъ мыслей Карамзина по поводу событій, которыя въ то время занимали весь міръ. Эти событія быстро слѣдовали одни за другими. Сентябрскія убійства, вліяніе якобинцевъ на всю государственную жизнь Франціи, объявленіе ея республикой, повсемѣстная анархія и наконецъ казнь короля потрясли даже наиболѣе смѣлыхъ энтузіастовъ переворота: они съ ужасомъ отступили передъ неожиданнымъ разливомъ того, что началось провозглашеніемъ «правъ человѣка», и подобно Лафатеру должны были сознаться, что трагедія, которая разыгрывалась во Франціи, есть дѣло людей, а не благаго провидѣнія, какъ имъ прежде казалось. Общее многимъ смятеніе ума и сердца Карамзинъ выразилъ въ означенной перепискѣ. На Мелодора и Филалета слѣдуетъ смотрѣть не какъ на двѣ разныя личности, а какъ на одного и того же человѣка въ двухъ послѣдовательныхъ моментахъ его духа: Мелодоръ—это самъ Карамзинъ, взволнованный революционными событіями; Филалетъ—это Карамзинъ же, успокоенный вѣрою въ преходимость зла, какъ бы оно ни было велико, и въ непреложное торжество добра и истины, какъ бы долго оно ни заставляло себя ожидать. Но тревожному состоянію Мелодора предшествовало другое, противоположное: разочарованныи въ своихъ надеждахъ теперь, онъ былъ ими очарованъ прежде. Что же именно его очаровывало? какія питалъ онъ надежды?

Карамзинъ отвергалъ революцію и за ея мѣры, несогласныя съ желаннымъ для филантропа способомъ государственнаго развитія, и за ея послѣдствія, возмущавшія сердце чувствительнаго философа, но онъ признавалъ ученія XVIII-го вѣка, къ которымъ событіе отно-

сплось какъ крайній выводъ къ первоначальной по ылкѣ. Это видно изъ слѣдующихъ словъ Мелодора Филалету: «Кто болѣе нашего славилъ преимущества осьмагонадесять вѣка: свѣтъ философій, смягченіе нравовъ, тонкость разума и чувства, размноженіе жизненныхъ удовольствій, всемѣстное распространеніе духа общности, тѣснѣйшую и дружелюбнѣйшую связь народовъ, кротость правленій?... *Конечъ нашего вѣка* почитали мы концемъ главнѣйшихъ бѣдствій человѣчества и думали, что въ немъ послѣдуетъ важное, общее *соединеніе теоріи съ практикою, умозрѣнія съ дѣятельностію*; что люди, увѣрясь въ изящности законовъ чистаго разума, начнутъ исполнять ихъ во всей точности, и подъ сѣнію мира, въ кровѣ тишины и спокойствія, насладятся истинными благами жизни» (*). Сильнѣе и сильнѣе крѣпилось въ его умѣ убѣжденіе, выводимое изъ сличенія древнихъ временъ съ новыми, что «родъ человѣческій возвышается, и хотя медленно, хотя неровными шагами, но всегда приближается къ духовному совершенству». Онъ смотрѣлъ на природу, какъ «на обширный садъ, въ которомъ зрѣетъ *божественность человечества*». Эта утѣшительная мысль рушилась въ своемъ основаніи французскими событіями: «свирѣпая война опустошаетъ Европу, столицу искусствъ и наукъ, хранилище всѣхъ драгоценностей ума человѣческаго; миллионы погибаютъ; города и села исчезаютъ въ пламени; цвѣтущія страны превращаются въ горестныя пустыни». Филантропъ, съ такою чувствительной организаціей, какую имѣлъ Карамзинъ, не могъ, при видѣ общенародныхъ бѣдствій, не почитать себя несчастнымъ, и потому-то онъ обращается съ патетическимъ упрекомъ къ XVIII вѣку: «вѣкъ просвѣщенія, не узнаю тебя! въ крови и пламени не узнаю тебя! среди убійствъ и разрушенія не узнаю тебя!» Но свирѣпая война, гибель миллионовъ, пожаръ городовъ и селъ, запустѣніе благословенныхъ странъ не составляютъ еще главныхъ ужасовъ революціи. Есть другое, сильнѣйшее зло, которымъ она угрожаетъ міру. Карамзинъ всего больше страшится ненавистниковъ науки: ихъ мнѣніе можетъ сдѣлаться общимъ мнѣніемъ, которое вооружится противъ философій, противъ просвѣщенія, находя въ нихъ источникъ зла. Паденіе цивилизаціи кажется ему не только вѣроятнымъ, но и неминуемымъ. Этотъ благородный страхъ напоминаетъ письмо Ломоносова о смерти Рикмана. Какъ Ломоносовъ опасался, что смерть профессора будетъ перетолкована не въ пользу занятій науками, такъ Карамзинъ опасается, что бѣдствія революціи будутъ перетолкованы во вредъ просвѣщенію и заподозрять его благотворное вліяніе на нравственность. Но этимъ дѣло не оканчивается: авторъ идетъ дальше въ своихъ мрачныхъ предположеніяхъ. Упадокъ наукъ, разсуждаетъ онъ, повлечетъ за собою паденіе народовъ. Самые просвѣщенные изъ нихъ могутъ погружаться въ варварство и будутъ принуждены снова, путемъ долгаго и тяжкаго развитія, воз-

(*) Это же видно изъ стихотворенія: «Къ добродѣтели» (Вѣст. Евр. 1802, № 23). Выписываемъ строфу, относящуюся къ революціи:

Когда міръ цѣлый трепеталъ,
 Волнуемый страстями злыми,
 Мой взоръ знаменъ твоихъ (*добродѣтели*) искалъ:
 И сердцемъ слѣдовалъ за нимъ!
 Творилъ обѣты, слезы лилъ
 Отъ радости и скорби тайной....
 Кто въ вѣкъ чудесный, чрезвычайной
 Призракомъ не обманутъ былъ?
 Когда жъ людей невинныхъ кровью
 Земля дымится начала,
 Мнѣ свѣтъ казался адомъ зла...
 Свободу я считалъ любовью.

вращаться къ прежнему состоянію. Исторія представитъ образъ Сизифовой работы: «вѣчное движеніе въ одномъ кругу; вѣчное повтореніе, вѣчная смѣна дня съ ночью и ночи съ днемъ; вѣчное смѣшеніе истинъ съ заблужденіями и добродѣтелей съ пороками... Для чего же, въ такомъ случаѣ, жили предки наши? и на какой конецъ будетъ жить потомство?»

Филалетъ возстановляетъ утѣшительную систему друга. Все сотворенное, разсуждаетъ онъ, благо, а сердце человѣка есть изыщнѣйшее твореніе божественной любви. Удивляясь гармоніи въ мірѣ физическомъ, надобно еще болѣе дивиться гармоніи нравственного міра. Мы не постигаемъ послѣдней безъ сомнѣнія потому, что она высочайшая, совершеннѣйшая. Можетъ быть то, что смертному кажется великимъ неустройствомъ, разрушеніемъ, есть чудесное согласіе, совершеннѣйшее бытіе для выснихъ существъ. Провидѣніе обращаетъ все къ цѣли общаго блага: и потому настоящее зло послужитъ къ будущему добру. Такимъ образомъ временное недовольство Карамзина разрѣшается въ свойственный ему оптимизмъ. Наибольшее утѣшеніе получаетъ онъ отъ той мысли, что мизософы никогда не будутъ торжествовать. Его вина, что онъ слишкомъ многого ожидалъ отъ XVIII-го вѣка, но не вина просвѣщенія, если ложныя идеи надѣлали много зла. Снявъ отвѣтственность съ предмета, самаго дорогаго его душѣ, Филалетъ заключаетъ свои разсужденія хвалебнымъ ему гимномъ: «просвѣщеніе всегда благотворно; просвѣщеніе ведетъ къ добродѣтели, доказывая намъ тѣсный союзъ частнаго блага съ общимъ и открывая неизсякаемый источникъ въ собственной груди нашей; просвѣщеніе есть лекарство для испорченнаго сердца и разума; одно просвѣщеніе животворно дѣйствуетъ на нравственность; въ одномъ просвѣщеніи найдемъ мы противоядіе для всѣхъ бѣдствій человѣчества.»

Выразивъ опасеніе за судьбу наукъ, Карамзинъ взялъ на себя ихъ защиту въ статьѣ: «Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи». Это рядъ замѣтокъ на извѣстное разсужденіе Руссо, которое противники цивилизаціи, въ томъ числѣ одинъ нѣмецкій авторъ, выставляли какъ авторитетъ. Цѣль полемической статьи очевидна: Руссо отвѣчалъ отрицательно на вопросъ, предложенный Дижонскою Академіею: «возстановленіе наукъ и искусствъ способствовало ли улучшенію нравовъ?» Карамзину слѣдовало, напротивъ, доказать, что просвѣщеніе ведетъ къ добродѣтели. О пользѣ наукъ для развитія ума и обогащенія его познаніями не было надобности разсуждать: никто не оспаривалъ ихъ дѣйствія съ этой стороны. Онѣ подвергались строгому суду за ихъ вредное дѣйствіе на общественную нравственность. Науки портятъ нравы, говорилъ Руссо, нашъ просвѣщенный (т. е. восемнадцатый) вѣкъ служить тому доказательствомъ. За нимъ повторяли тоже многіе современники Карамзина, указывая на Францію, какъ на одну изъ просвѣщеннѣйшихъ странъ въ мірѣ. Надобно было отвергнуть этотъ доводъ, имѣвшій наибольшее значеніе для самого апологиста. Карамзинъ отвергаетъ его свидѣтельствами исторіи: изъ нихъ видно, что нравы прошедшихъ вѣковъ были не лучше, а хуже нравовъ XVIII вѣка. Послѣднему ставятъ въ вину утонченное притворство, забывая его источникъ: оно проистекаетъ изъ желанія порока скрываться подъ личиною добродѣтели, а это служить доказательствомъ, что современные намъ люди гнушаются порокомъ больше, чѣмъ гнушались имъ прежде. Свѣтская учтивость, которую новые мизантропы называютъ сусальнымъ золотомъ XVIII вѣка, въ глазахъ философа есть цвѣтъ общежитія, своего рода добродѣтель, слѣдствіе утонченнаго человѣколюбія, которое составляетъ себѣ въ обязанность и малыми знаками—ласковымъ словомъ, привѣтливымъ взоромъ—оказывать ближнему благорасположеніе, но которое не пресѣкаетъ возможности

великихъ жертвъ на пользу отдѣльнаго человѣка и цѣлаго общества. Важнѣйшею наукою Карамзинъ почитаетъ мораль (правственную философію): она доказываетъ человеку, что для собственнаго счастія онъ долженъ быть добрымъ (положеніе, развитое потомъ въ Разговорѣ о счастіи); представляетъ ему необходимость и пользу гражданского порядка; соглашаетъ его волю съ законами, и дѣлаетъ свободнымъ въ самыхъ узахъ.... однимъ словомъ, могъ бы добавить авторъ, устраняетъ возможность печальныхъ явленій, господствующихъ во Франціи, гдѣ свобода обратилась въ деспотизмъ массы и со временемъ обратится въ военный деспотизмъ. Не одна мораль, эта «альфа и омега наукъ и искусствъ,» но всѣ онѣ вообще облагораживаютъ душу, дѣлаютъ ее чувствительною и нѣжною, возбуждаютъ въ ней любовь къ порядку, гармоніи, добру, слѣдственно ненависть къ безпорядку, разгласію и порокамъ, которые разстраиваютъ прекрасную связь обществія..... примѣръ чего, подразумѣвалъ при этихъ словахъ авторъ, видимъ въ современной Франціи.—Но современную Францію, могли возразить ему, нельзя же не назвать просвѣщенною; а между тѣмъ ея современное знаменуется кровью и слезами. На это возраженіе Карамзинъ далъ уже отвѣтъ въ письмѣ Филалета къ Мелодору: «если осьмнадцатый вѣкъ ознаменуется въ книгѣ бытія кровью и слезами, то онъ не могъ именовать себя просвѣщеннымъ». Смыслъ отвѣта слѣдующій: я не признаю современную Францію просвѣщенною, если знаменіемъ ея просвѣщенія останутся въ исторіи только слезы и кровь; я готовъ жертвовать такъ называемымъ ея просвѣщеніемъ; не о такомъ просвѣщеніи говорю я и не такое мнѣ надобно: мнѣ надобно просвѣщеніе, приводящее не къ тому, что представляютъ ужасы революціи, а къ тому, что совершенно противоположно этимъ ужасамъ.

Впрочемъ, голосъ хулителей науки не очень смущалъ Карамзина. Они могли кричать сколько имъ угодно, но не отъ нихъ зависѣли мѣры, враждебныя просвѣщенію. Это было во власти высшаго правительства, если бы оно открыло внутреннюю связь между развитіемъ народнаго образованія и смутными обстоятельствами эпохи. И потому Карамзинъ, писавшій свои замѣтки на Руссо при Екатеринѣ, вспомнилъ мысль, высказанную въ Наказѣ, вслѣдъ за Монтескье и Беккаріей, и повторилъ ее въ своей статьѣ: «Законодатель и другъ человѣчества! ты хочешь общественнаго блага? да будетъ же первымъ закономъ твоимъ—просвѣщеніе!» (*). Зная, что въ Россіи, какъ монархіи, система дѣйствій по каждому вѣдомству опредѣляется волею самодержца, онъ обращается съ совѣтомъ къ самодержавію: «Просвѣщеніе есть палладіумъ благонравія, и когда вы, которымъ вышняя власть поручила судьбу человѣковъ, желаете распространить на землѣ область добродѣтели, то любите науки и не думайте, чтобы онѣ могли быть вредны, чтобы какое нибудь состояніе въ гражданскомъ обществѣ должно было пресмыкаться въ грубомъ невѣжествѣ... Всѣ люди имѣютъ душу, имѣютъ сердце: слѣдственно всѣ могутъ наслаждаться плодами искусства и науки, и кто наслаждается ими, тотъ дѣлается лучшимъ человѣкомъ и спокойнѣйшимъ гражданиномъ». Здѣсь, кромѣ благородной боязни за просвѣщеніе вообще, за русское въ особенности, видно еще—говоря словами самого автора — «желаніе всеобщаго, никакими сферами неограниченнаго блага» (**). Карамзинъ требуетъ образованія для простаго народа и признаетъ возможность просвѣщенныхъ у насъ земледѣльцевъ, ставя въ примѣръ многихъ швейцарскихъ, англійскихъ и нѣмецкихъ поселянъ, которые, обрабатывая землю, собираютъ библіотеки и

(*) Ист. Рус. Слов. I, 402.

(**) Что нужно автору?

читаютъ Гомера, а нѣкоторые и сами пишутъ стихи, что не мѣшаетъ имъ быть трудолюбивыми работниками, довольными своею долею. Мы увидимъ, какъ эта мысль полнѣе развивается Карамзинымъ, когда ему пришлось говорить о новомъ образованіи народнаго просвѣщенія въ Россіи, при Александрѣ I.

Замѣтки на сочиненіе Руссо оканчиваются идеальнымъ представленіемъ будущаго гражданскаго устройства: «Когда свѣтъ ученія, свѣтъ истины озаритъ всю землю и проникнетъ въ темнѣйшія пещеры невѣжества: тогда, можетъ быть, исчезнутъ всѣ нравственныя гарпіи, доселѣ осквернявшія человѣчество, тогда, можетъ быть, настанетъ золотой вѣкъ поэтовъ, вѣкъ благонравія,—и тамъ, гдѣ возвышаются теперь кровавые эшафоты, тамъ сядетъ добродѣтель на свѣтломъ тронѣ.» Человѣку, видѣвшему вовсе не утопическое состояніе Франціи, естественно было мечтать объ утопіи. Но недовольство настоящимъ можетъ искать отрадныхъ себѣ идеаловъ столько же въ далекомъ прошедшемъ, сколько и въ далекомъ будущемъ. Идеаль перваго рода Карамзинъ находилъ въ «Афинской жизни» (1793), воображаемая картина которой служила ему отводомъ отъ неизящныхъ картинъ революціи. Заключение статьи даетъ знать о поводѣ къ ея сочиненію: «завтра поутру», говоритъ авторъ, «гамбургскія газеты извѣстятъ меня объ ужасномъ безумствѣ нашихъ просвѣщенныхъ современниковъ».

§ 7. На вопросъ: какому образу правленія Карамзинъ отдавалъ преимущество? сочиненія его даютъ возможность отвѣчать довольно положительно. По убѣжденіямъ, онъ былъ неизмѣнный монархистъ, но по чувству склонялся къ республикѣ. Закключаемъ такъ не изъ того обстоятельства, что онъ, еще обучаясь у Шадена, держалъ сторону сѣверо-американцевъ въ борьбѣ ихъ съ метрополіей за независимость, а изъ мыслей, высказанныхъ уже въ зрѣломъ возрастѣ. Это чувство пробивается въ исторической повѣсти: «Марья Посадница, или покореніе Новгорода» (*), въ авторѣ которой, по словамъ предисловія, «явно играетъ кровь новгородская, при описаніи нѣкоторыхъ случаевъ». Карамзинъ не винитъ Іоанна, присоединившаго новгородскую область къ своей державѣ: онъ даже хвалитъ его, какъ историкъ или какъ политикъ, но съ тѣмъ вмѣстѣ дѣлаетъ оговорку, что сопротивленіе новгородцевъ не было бунтомъ какихъ-нибудь яковинцевъ, такъ какъ они сражались за древніе свои уставы и права, данныя имъ отчасти самими великими князьями, напримѣръ Ярославомъ, утвердившимъ ихъ вольности. Душевное расположеніе его видимо доброжелательствуетъ Новгороду. Онъ допустилъ Марю посадницу, защитницу новгородской вольности, торжествовать своимъ ораторствомъ надъ Холмскимъ, представителемъ Іоанна. Въ ея рѣчи больше страсти и силы, чѣмъ въ рѣчи московскаго воеводы. Особенно увлекаетъ она согражданъ началомъ слова, взывая къ памяти Вадима, и концемъ, представляя имъ блага вольности и бѣдствія, которыя съ ея утратою наступятъ для города. Не имѣемъ ли мы достаточнаго основанія предположить, что въ лицѣ Мары Посадницы и Холмскаго выражены два взгляда самого Карамзина, вытекавшіе изъ разныхъ побужденій, какъ прежде два состоянія души его, по поводу событій конца XVIII вѣка, нашли свое выраженіе въ Мелодорѣ и Филалетѣ? Черезъ десять лѣтъ послѣ «Мары Посадницы», рассказывая о паденіи Новгорода не какъ романистъ, а какъ историкъ (**), Карамзинъ еще сохраняетъ въ себѣ то чувство, которое волновало кровь автора повѣсти. Вотъ что говоритъ онъ: «Лѣтописи республикъ обыкновенно представляютъ намъ сильное дѣй-

(*) Вѣстникъ Европы 1803, №№ 1, 2 и 3

(**) Въ VIII т. Исторіи Государства Россійскаго.

ствіе страстей человѣческихъ, порывы великодушія и нерѣдко умиленное торжество добродѣтели, среди мятежей и безпорядка, свойственныхъ народному правленію: такъ и лѣтописи Новгорода въ неискуственной простотѣ своей являютъ черты плѣнительныя для воображенія.... Сердцу человѣческому свойственно доброжелательствовать республикамъ, основаннымъ на коренныхъ правахъ вольности, ему любезной; самая опасности и безпокойства ея, питая великодушіе, плѣняютъ умъ, *въ особенности юный, мало-опытный*; Новгородцы, имѣя правленіе народное, безъ сомнѣнія, отличались благородными качествами отъ другихъ Россіянь, униженныхъ тиранствомъ моголовъ.» Но республика, разсуждаетъ историкъ, держится тѣмъ, что Монтескье назвалъ «virtus», и безъ нея упадаетъ. Исторія Новгорода подтвердила справедливость этой мысли: съ XIV столѣтія начинается эпоха бѣдственная для его гражданской свободы; успѣвая въ торговлѣ, онъ болѣе и болѣе слабѣлъ доблестью. Слѣдствія не замедлили обнаружиться. Какъ прежде, по словамъ предисловія къ повѣсти, Іоаннъ долженъ былъ для славы и силы отечества, присоединить область новгородскую къ своей державѣ, такъ и теперь, по исторіи, государственная мудрость предписывала ему усилить Россію твердымъ соединеніемъ частей въ цѣлое, чтобы она достигла независимости и славы. Заклучая рассказъ о паденіи Новгорода, Карамзинъ снова возвращается къ мысли, которую проводилъ въ обзорѣ исторіи этого города: «Императоръ Гальба сказалъ: я былъ бы достоинъ возстановить свободу Рима, если бы Римъ могъ пользоваться ею. Историкъ русскій, любя и *человѣческія и государственныя добродѣтели*, можетъ сказать: Іоаннъ былъ достоинъ сокрушить утлую вольность новгородскую, ибо хотѣлъ твердаго блага всей Россіи.» И такъ любовь къ человѣческимъ добродѣтелямъ, независимо отъ всякихъ другихъ соображеній, внушала автору доброжелательство къ новгородской республикѣ, но политическіе расчеты, государственныя соображенія, высокое чувство патріота, желающаго своему отечеству величія, славы, блага, убѣждали его въ необходимости и пользѣ пожертвовать своею склонностью и славить державный умъ Іоанна. Карамзинъ искренно исповѣдывалъ то самое, что онъ вложилъ въ уста Холмскому: «народы мудрые любятъ порядокъ, *а нѣтъ порядка безъ власти самодержавной*». Къ этому убѣжденію привели его не только смуты французскаго переворота, но и уроки исторіи, и размышленія объ истинныхъ потребностяхъ Россіи. Замѣтимъ, что мысль Монтескье о virtus, какъ отличительной особенности республикъ, которая безъ высокой народной добродѣтели стоять не могутъ, встрѣчается и въ другихъ мѣстахъ сочиненій Карамзина (*). По этой причинѣ «монархическое правленіе гораздо счастливѣе и надежнѣе: оно не требуетъ отъ гражданъ чрезвычайностей и можетъ возвышаться на той степени нравственности, на которой республики падаютъ». Отъ чего палъ Новгородъ, то было причиною гибели и для Швейцаріи: торговый духъ истощилъ въ сердцахъ ея жителей гордую любовь къ независимости, и потомки Вильгельма Теля выродились въ недостойныхъ свободы гражданъ.

Выводы, извлеченные изъ заявленій самого Карамзина, можемъ подкрѣпить свидѣтельствомъ его современника. Вотъ что онъ пишетъ: «Карамзинъ громко провозглашалъ необходимость и пользу самодержавія въ Россіи, провозглашалъ по убѣжденію, потому что былъ неспособенъ къ лицемерію или лжи, какъ челоѣкъ великаго таланта, посвященнаго разума, души благородной и возвышенной. Но съ другой стороны, онъ не

(*) Напримѣръ, въ 20 № Вѣст. Европы. 1802 (Извѣстія и замѣчанія. Швейцарія). Соч. Карамзина, изд. Смирдина, 1848, ч. 3, стр. 543—544.

былъ и врагомъ противоположнаго образа правленія. Занятія отечественной исторіей содѣйствовали образованію въ немъ этого убѣжденія. Онъ видѣлъ, что Россія, при вѣчевомъ порядкѣ, раздѣленная на многія владѣнія, была покорена татарами и что единственно преобладаніемъ Москвы, соединившей подъ своимъ скипетромъ удѣльные княжества, освободилась отъ ига. Изъ государственныхъ соображеній возникло въ его умѣ понятіе о непреложности и необходимости самодержавной власти не только для того, чтобы цѣлить бѣдствія страны, но и для того, чтобы развивать и укрѣплять ея могущество. «Россія прежде всего должна быть великою, сильною и грозною въ Европѣ, и только самодержавіе можетъ сдѣлать ее таковою», такъ отвѣчалъ онъ на всѣ дѣлаемые ему замѣчанія.

Особенности представительнаго правленія Карамзинъ узналъ изъ вышеназванной книги Делольма (*) и ставилъ его выгоды въ безусловную зависимость отъ народной образованности. Не конституція, какъ только конституція, хороша сама по себѣ; хорошо то, что англичане народъ образованный, и знаютъ истинные свои интересы и потребности. Слѣдовательно настоящею охраною англичанъ служитъ ихъ просвѣщеніе. Это понятіе объ условіяхъ конституціонализма Карамзинъ относитъ и къ другимъ видамъ правленія. Каждое изъ нихъ есть плодъ того, что въ литературѣ Екатеринына вѣка называлось народнымъ «умоначертаніемъ» (духомъ, характеромъ): «гражданскія учрежденія должны быть соображены съ характеромъ народа; что хорошо въ Англіи, то будетъ дурно въ иной землѣ. Не даромъ сказалъ Соломъ: мое учрежденіе есть самое лучшее, но только для Аоніи.» Но какой бы ни былъ образъ правленія, разсуждаетъ Карамзинъ, онъ, какъ форма, не составляетъ существенной важности: исключительно важно его содержаніе, душа властвующая его дѣйствіями. Этотъ внутренній, духовный двигатель правленія заключается въ справедливости. Каждое правленіе, будучи справедливымъ, благотворно и совершенно; въ противномъ случаѣ, оно неблаготворно и несовершенно. Тотъ же самый выводъ сохраняетъ свою силу и для политическихъ партій: одушевленная желаніемъ блага, управляемая чувствомъ справедливости, каждая партія достойна похвалы; при качествахъ противоположныхъ, каждая партія бѣдственна: «злой роялистъ не лучше злаго якобинца», замѣтилъ Карамзинъ въ одной статьѣ Вѣстника Европы.

Сообразивъ мысли Карамзина относительно занимающаго насъ предмета, не трудно построить его идеалъ гражданского благоденствія. Цѣль правленія—счастіе подданныхъ, которое возможно только при знаніи истинныхъ потребностей и выгодъ народа, какъ со стороны правителей, такъ и со стороны управляемыхъ. Обеспеченіемъ сознанныхъ выгодъ служатъ, во первыхъ, хорошіе законы, и во вторыхъ (и это главное) справедливое ихъ выполненіе. Но и точное пониманіе народныхъ интересовъ, и правильное дѣйствіе законовъ немислимы безъ образованности, которая вліяетъ на нравы и ведетъ ихъ къ добру. Сократъ называлъ добродѣтель знаніемъ; порокъ можно назвать невѣжествомъ, ибо онъ есть слѣпота ума. Слѣдовательно вся сила въ народной правственности, очищаемой и совершенствуемой просвѣщеніемъ—этимъ «палладіумомъ благонравія»; на ней коренится государственное и частное счастіе; безъ нея счастіе не существуетъ, каковъ бы ни былъ образъ правленія. Когда нравственное достоинство

(*) См. выше, стр. 10.

человѣка возвышено въ державѣ, тогда народъ имѣть право считать себя избраннымъ. И какъ изъ вѣхъ возможныхъ партій есть только одна хорошая—«друзей человѣчества и добра, которая въ политикѣ составляетъ тоже, что эклектика въ философiи», такъ и правленіе хорошее только одно—основанное на просвѣщенiи и добродѣтели. Просвѣщеніе, ведущее къ доброй нравственности, и добрая нравственность, невозможная безъ просвѣщенія: таковъ идеалъ государственнаго развитія и благоустройства. Но твердое строеніе государства, какъ великаго политическаго творенія, совершается медленно: «Историкъ означаетъ только эпохи его рожденія и возникающихъ въ немъ новыхъ силъ: для полнаго его образованія нужны цѣлые вѣки. Бѣда тому законодателю, который задумаетъ опередить время, медленно и тихо подвигающее впередъ разумъ народовъ! Законодатель мудрый идетъ шагъ за шагомъ и смотритъ вокругъ себя», принимая въ соображеніе естественныя и историческія условія народнои жизни, какъ священный завѣтъ и столь же священное руководство для своихъ просвѣтительныхъ реформъ.

§ 8. Съ понятіемъ Карамзина о крѣпостномъ состояніи произошло тоже самое, что и съ его взглядомъ на конецъ XVIII вѣка. Прежде онъ стоялъ за свободу крестьянъ; потомъ нашелъ ее преждевременною, приносящею больше вреда, чѣмъ пользы. Будучи, по его словамъ, налитанъ духомъ филантропическихъ авторовъ, т. е. ненавистью къ злоупотребленіямъ помѣщицкѣй власти, онъ захотѣлъ быть благодѣтелемъ своихъ поселянъ: отдалъ имъ всю землю, обложивъ самымъ умѣреннымъ оброкомъ и предоставивъ распоряжаться своими дѣлами какъ они сами заблагоразсудятъ. Опытъ показалъ ему печальные плоды этого заочнаго знакомства съ сельскимъ бытомъ: лѣнь, пьянство и бѣдность представились глазамъ помѣщика-филантропа по возвращеніи его изъ путешествія. Тогда, разочарованный въ своемъ либерализмѣ, онъ завелъ порядки, которыхъ требовала истинная филантропія: возобновилъ господскую пашню, обращалъ празднoлюбцевъ къ труду, самъ смотрѣлъ за хозяйствомъ. Слѣдствія такого домостроительства оказались какъ нельзя больше счастливые: прежде крестьяне лѣнились, шли и терпѣли во всемъ недостатокъ; теперь они сдѣлались рачительными, трезвыми и зажиточными (*).

Новое мнѣніе Карамзина объ одномъ и томъ же предметѣ естественно вытекало изъ разсмотрѣннаго въ предыдущемъ параграфѣ идеала правленія. Связь народа съ его главою, основанная на любви и признательности, должна, по его взглядамъ, скрѣплять и отношенія помѣщиковъ къ крестьянамъ. Обязанность законовъ—опредѣлить эти взаимныя отношенія; обязанность просвѣщенія—не допускать злоупотребленій. «По нашимъ законамъ, говоритъ Карамзинъ, господская власть не есть тиранская и неограниченная; чтобы она не выступала изъ границъ, необходима повсемѣстная образованность, тихо, но вѣрно подвигающая впередъ «разумъ народовъ». Но рядомъ съ злоупотребленіями съ одной стороны, возможны большія опасности съ другой—отъ данной крестьянамъ свободы, которую они, за недостаткомъ подготовительнаго образованія, не съумѣютъ употребить во благо. Гдѣ же, въ виду настоящаго положенія, искать наилучшаго устройства дѣла? «Главное право русскаго дворянина, отвѣчаетъ Карамзинъ, быть помѣщикомъ: главная должность его быть *добрымъ* помѣщикомъ. Кто исполняетъ ее, тотъ служитъ отечеству какъ вѣрный сынъ, тотъ служитъ монарху какъ вѣрный подданный».

(*) Письмо сельскаго жителя (В. Евр. 1803, № 17).

Нѣтъ ни малѣйшаго повода искать другихъ причинъ перемѣны во мнѣніяхъ Карамзина касательно крѣпостнаго права. Кто станетъ объяснять ее нечистыми побужденіями, тотъ выкажетъ или узкость историческаго пониманія, которая не въ силахъ оцѣнивать разновременныя явленія, каждое въ средѣ своихъ условій, или предосудительную подозрительность, которая во всѣхъ и каждомъ чувствуетъ свое собственное больное мѣсто. Какъ будто при двухъ различныхъ убѣжденіяхъ вся честность непременно принадлежитъ одному, и вся безчестность непременно стоитъ на сторонѣ другаго! какъ будто они оба не могутъ быть честны или безчестны! Думать, что Карамзинъ, какъ помѣщикъ, и слѣд. какъ человѣкъ заинтересованный, находилъ невыгоднымъ для себя отмѣну крѣпостнаго права, столько же забавно, сколько забавно думать, что освобожденіе крестьянъ было предлагаемо только тѣми лицами, которые не владѣли ни вершкомъ земли, и потому единственно, что они не были заинтересованы сохраненіемъ крѣпостнаго права. На такихъ судей не угодишь ничѣмъ. Подобно разумной супругѣ комманданта, въ Капитанской дочкѣ, Пушкина, они разберутъ кто правъ, кто виноватъ изъ защитниковъ двухъ противоположныхъ мнѣній,—да обоихъ и накажутъ. Нѣтъ, Карамзинъ принадлежалъ къ числу благороднѣйшихъ личностей, готовыхъ частныя выгоды приносить въ жертву общему благу. Нравственная чистота его, благородство мыслей, патриотизмъ стоять вѣдъ всякаго упрека, и потому никто не имѣетъ права сомнѣваться въ искренности его убѣжденія, когда онъ говоритъ: «Богъ видитъ, люблю ли я челоувѣчество и народъ русскій, имѣю ли предразсудки, обожаю ли гнусный идолъ корысти; но для истиннаго благополучія земледѣльцевъ нашихъ желаю единственно, чтобы они имѣли *добрыхъ господъ и средство просвѣщенія*, которое одно, одно сдѣлаетъ все хорошее возможнымъ». Не онъ первый находилъ освобожденіе крестьянъ безъ этихъ двухъ условій, особенно безъ просвѣщенія, опаснымъ. Такъ думали многіе люди и прежняго и его вѣка. Обязанность исторіи—изображать факты и мнѣнія объективно, ставя тѣ и другія среди современныхъ имъ данныхъ, а не перемѣщая ихъ въ сферу данныхъ позднѣйшей эпохи. Она припоминать, съ какою осторожностію подходилъ къ рѣшенію того же вопроса Руссо. Краснорѣчивый поборникъ идеи, совершенно справедливой въ самой себѣ, онъ пугался спѣшности ея осуществленія. «Освобожденіе крестьянъ», говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ небольшихъ сочиненій (*), «есть дѣло прекрасное и великое, но вмѣстѣ смѣлое и опасное. Надобно приступать къ нему не кое-какъ, а съ предосторожностями, между которыми главнѣйшая заключается въ томъ, чтобы людей, назначаемыхъ къ освобожденію, сдѣлать достойными свободы и способными ею пользоваться. Позаботьтесь прежде всего объ этомъ; не освобождайте ихъ тѣла, прежде нежели освободите ихъ душу; безъ этого предварительнаго акта ваша операція будетъ имѣть дурной исходъ». Какую же мѣру предлагаетъ философъ для постепеннаго, крайне осмотрительнаго хода реформы? «Общественный голосъ, строго провѣряемый, долженъ указывать крестьянъ, отличившихся поведеніемъ, добрыми нравами, приличнымъ образованіемъ, попеченіемъ объ ихъ семействахъ, тщательнымъ выполненіемъ всѣхъ обязанностей ихъ званія. Изъ ихъ-то среды слѣдуетъ выбирать опредѣляемое закономъ число для освобожденія... И даръ свободы долженъ быть имъ вручаемъ торжественно, съ такою обстановкою, отъ которой церемонія дѣлалась бы величественною, трогательною и памятною». Вотъ какъ смотрѣлъ на это дѣло авторъ «Общественнаго договора» и трактата «она-

(*) *Considérations sur le gouvernement de Pologne* (1772).

чалъ и основаніяхъ неравенства между людьми». Теперь, конечно, легко не соглашаться съ его взглядомъ; но тѣмъ не менѣе замѣчаніе наше сохраняетъ свою силу: историкъ не выправъ возвышать однихъ единственно изъ уваженія къ извѣстной мысли, на которой онъ съ ними сошелся, и обзывать ретроgrадами другихъ, единственно изъ уваженія къ той же самой мысли, которую они не имѣли счастіе раздѣлять съ нимъ.

Начало сужденій объ уничтоженіи крѣпостнаго состоянія относится къ первымъ годамъ царствованія Екатерины II. Она первая, въ письмѣ къ членамъ Вольнаго Экономическаго Общества (1765), поставила вопросъ: «нужна ли поземельная собственность крестьянину для благоденствія общественнаго?» Этотъ вопросъ былъ въ такомъ видѣ опубликованъ отъ Общества (1766): «что полезнѣе для общества, чтобъ крестьянинъ имѣлъ въ собственности землю, или токмо движимое имѣніе, и сколь далеко его право на то или другое имѣніе простираться должны?» Изъ отвѣтныхъ сочиненій извѣстны два: одно, на французскомъ языкѣ — Беарде Делабей, члена Дижонской Академіи; другое, на русскомъ — Полѣнова, состоявшаго при Академіи Наукъ, по возвращеніи его изъ геттингенскаго университета. Первое признано наилучшимъ, почему авторъ и получилъ назначенную награду (100 червонцевъ и медаль въ 25 червонцевъ); авторъ втораго награжденъ золотою медалью въ 12 червонцевъ. Сочиненіе Беарде дѣлится на двѣ части. Сначала онъ доказываетъ, что надѣленіе крестьянъ поземельною собственностію немислимо безъ ихъ личной свободы, а потомъ разсуждаетъ о способахъ освобожденія и надѣла. Согласно со второю половиною девиза, выбраннаго имъ для своего сочиненія (*est modus in rebus*), онъ совѣтуетъ строгую постепенность въ преобразованіяхъ условій крестьянскаго быта, рекомендуя, какъ мѣру пріуготовительную, народное просвѣщеніе и обученіе послѣ извѣстнаго срока дать крестьянамъ землю и личную свободу. Трудъ Беарде оканчивается прекраснымъ обращеніемъ къ Екатеринѣ: «Когда мы съ удивленіемъзираемъ на чудныя дѣла, произведенныя Петромъ Великимъ въ его земляхъ, то вдругъ покажется, что преемники его, подобно сыну Филиппа Македонскаго, могли бы сказать, что онъ имъ ничего великаго сдѣлать не оставилъ. Но какъ Александръ въ подвигахъ своихъ знатно превзошелъ отца, такъ равномерно предоставлено было безсмертной Екатеринѣ сдѣлать еще большія чудеса, одушевляя, просвѣщая и даруя новую жизнь безчисленному множеству рабовъ, чувствующихъ только половину своего бытія, и преображая такимъ образомъ человѣками многія тысячи самодвижущихся машинъ» (*). Девизъ къ сочиненію Полѣнова (**) показываетъ, что онъ, какъ въ послѣдствіи и Карамзинъ, приписывалъ добрымъ правамъ больше значенія, чѣмъ хорошимъ законамъ. Первымъ средствомъ для улучшенія крестьянскаго быта онъ ставитъ образованіе, предлагая и способы къ достиженію успѣха въ этомъ основномъ дѣлѣ. Затѣмъ сочиненіе разсуждаетъ о движимой и недвижимой собственности крестьянъ. Отдавая первую въ полное ихъ распоряженіе, Полѣновъ говоритъ, что извѣстное количество помѣщичьей земли должно быть также имъ уступлено за опредѣленную повинность и съ ограниченнымъ правомъ, т. е. только въ ихъ наслѣдственное пользованіе, но безъ права отчуждать ее какимъ бы ни было образомъ (***). Таковы ученія рѣшенія

(*) Исторія Вольнаго Экономическаго Общества съ 1765 до 1865 г. (1865). Сочиненіе Беарде напеч. въ VІІІ ч. «Трудовъ» Общества (1768). Императоръ Александръ I сослался на него въ своемъ отвѣтѣ В. С. Попову, бывшему статсъ-секретарю Екатерины II (Русскій Архивъ 1864, № 3).

(**) *Plus boni mores valent, quam bonae leges.*

(***) Объ уничтоженіи крѣпостнаго состоянія крестьянъ въ Россіи, А. Я. Полѣнова (Рус. Архивъ 1865, № 3); А. Я. Полѣновъ, русскій закоповѣдъ XVIII в. (Ів. №№ 4, 5 и 6).

вопроса о крѣпостномъ состояніи въ Россіи. Честь перваго заявленія его въ литературѣ принадлежитъ Радищеву, автору «Путешествія изъ Санктпетербурга въ Москву» (1790) (*). Нельзя не отдать справедливой похвалы филантропіи и мужеству автора, который не только доказывалъ вредъ рабства въ нравственномъ отношеніи, но и предложилъ краткій проектъ постепеннаго освобожденія помѣщичьихъ крестьянъ. Сущность проекта состоитъ въ слѣдующихъ мѣрахъ: изъ двухъ видовъ крѣпостнаго состоянія—сельскаго (собственно крестьянъ) и домашняго (дворовыхъ)—сначала упразднить второе, запрещая брать поселянъ во дворъ; участокъ земли, обрабатываемый крестьяниномъ, обратить въ его собственность; дозволить ему приобретать какъ недвижимое имѣніе (т. е. землю), такъ и вольность, платя господину известную сумму за отпускную; судъ надъ нимъ, въ случаѣ его распри съ другими земледѣльцами, производить равными (на мірской сходкѣ); возбранить произвольное наказаніе безъ суда. Разсуждая такимъ образомъ, Радищевъ уже имѣлъ въ виду нѣкоторыя правительственныя распоряженія, клонившіяся къ тому же самому предмету, наприм.: запрещеніе покупать деревни къ заводамъ и фабрикамъ и опредѣленіе мѣры работъ для заводскихъ крестьянъ. Жаль только, что авторъ въ своихъ разсужденіяхъ всегда почти держался въ сферѣ общихъ началъ, а не на почвѣ изученія страны; что за мыслями и доказательствами ихъ онъ относился къ французскимъ философамъ XVIII в., а не къ исторіи Россіи и условіямъ ея настоящаго состоянія—политическаго, нравственнаго, экономическаго.

Возвращаясь къ Карамзину, скажемъ, что онъ и во второй половинѣ своей дѣятельности, какъ увидимъ ниже, сохранилъ тотъ же взглядъ на отношенія крестьянъ къ помѣщикамъ. Мнѣніе его раздѣляли многіе литераторы и не литераторы. Изъ первыхъ назовемъ Державина и Лопухина: они также были убѣждены въ несвоевременности и слѣд. въ опасныхъ слѣдствіяхъ отмены крѣпостнаго права, несколько не принимая въ расчетъ предстоявшихъ имъ отсюда невыгодъ. Но Карамзинъ сознательно относился къ поднятому при Александрѣ I вопросу, и это сознаніе не противорѣчило всему строю другихъ его убѣжденій.

§ 9. Указывая дѣйствительность и плотворность вліянія, произведеннаго на Карамзина обществомъ Новикова (§ 2), мы замѣтили, что онъ охотно вошелъ въ ту сферу чело-вѣческаго вѣдѣнія, которая называется мистицизмомъ, но потомъ добровольно изъ нея вышелъ. Отступленіе его очень понятно. Не столько самые вопросы, къ рѣшенію которыхъ устремлялись мистики, сколько способъ ихъ рѣшенія не подходилъ къ свойствамъ его любознательнаго духа. Любознательность его отличалась многосторонностью. Временная преданность одному направленію не закрыла онъ него другихъ, даже противоположныхъ направленій. Онъ могъ оставить первое, если послѣднія болѣе сообразовались съ расположеніемъ его ума. Двадцатилѣтній юноша, онъ увлекается Лафатеромъ, входитъ съ нимъ въ переписку, но и тогда видитъ крайности фізіогномическаго ученія и не признаетъ безусловно всей его системы. Сущность мистической школы противорѣчила умственному и сердечному его настроенію. Призывая, для преслѣдованія истины, совокупное дѣйствіе мысли и внутренняго чувства, не полагая ни тому ни другому опредѣленнаго участія въ рѣшеніи вопросовъ, даже не указывая положительной цѣли ихъ стремленій, мистицизмъ приводитъ къ результатамъ смутнымъ, кажущимся, не выражающимъ ничего категорически, или свои гаданія признаетъ убѣдительными отвѣтами на самыя трудныя задачи. Онъ никогда не удовлетворитъ того, кто въ области

(*) Ист. Слов. 1, § 227.

знаній требуетъ ясной положительности и въ области сердца не терпитъ смутныхъ ощущеній. Только тотъ способенъ находить въ немъ пищу, кто ищетъ свѣта истины въ туманной дали. Но умъ Карамзина, по преимуществу ясный, ни въ чемъ не любилъ тумана. Сочиненія здраваго смысла предпочиталъ онъ таинственнымъ процессамъ, въ которыхъ мысль и чувство были обязаны дружно соединиться и въ которыхъ нерѣдко разсуждало сердце и чувствовала голова. Онъ требовалъ точной постановки каждаго вопроса и точнаго, на положительныхъ знаніяхъ основаннаго рѣшенія, а не загадочнаго, болѣе темнаго чѣмъ самый вопросъ. Свѣтлая поверхность правилась ему болѣе глубины, ничѣмъ не освѣщенной. И потому не удивительно, что русскій путешественникъ, по возвращеніи въ отечество, является съ запасомъ иныхъ воззрѣній, что сочиненія его выражаютъ иное, а не мистическое, направленіе. Чувствительность Карамзина была вовсе не похожа на то чувство, которое нужно мистику. Она признаетъ законнымъ то, что послѣдній отвергаетъ, какъ недостойное. Она добровольно и безупречно наслаждается тѣмъ, на что другой смотритъ съ надменною строгостью. Она, говоря словами лекцій Шварца (*), склонна къ «вкушающему», а не къ «зрительному» воображенію. Явившись въ повѣстяхъ и письмахъ, чувствительность Карамзина дала ходъ сентиментальному направленію словесности,—направленію, нисколько не похожему на мистичизмъ. А «разговоръ о счастіи» показываетъ въ авторѣ послѣдователя Попа, а не ученика Шварца.

Изъ писемъ Новикова къ Карамзину (**) видно, на сколько философія перваго отличалась отъ философіи послѣдняго. Философія, по понятію Карамзина, занимается «ясными истинами»; онъ видѣлъ въ ней науку, которая, подобно другимъ знаніямъ, есть произведеніе разума, должна стоять на твердыхъ началахъ, путемъ строго-логическимъ слѣдовать отъ выводовъ къ выводамъ и своими конечными результатами не противорѣчить ни законамъ природы, ни законамъ нашего духа, открытыхъ учеными изслѣдованіями. Новиковъ, напротивъ, съ пренебреженіемъ отнесся къ школьной наукѣ вообще, къ школьной философіи въ особенности. Не получивъ методическаго образованія, не зная никакихъ языковъ (это его собственные слова), онъ выбралъ своимъ авторитетомъ англичанина (***), средневѣковаго философа—но не школьнаго, прибавляетъ онъ ему въ похвалу. А этотъ философъ въ одномъ изъ своихъ писаній говоритъ: «покажите мнѣ науку, которая была бы совершеннымъ, а не поддѣланнымъ отпечаткомъ творенія, которая могла бы вести меня прямымъ, путемъ къ познанію истиннаго Бога, чрезъ которую я могъ бы изслѣдовать всеобщія и невидимыя сущности ему подвластныя,—науку, чрезъ которую могу я вѣрно придти къ познанію всѣхъ тайнъ, въ натурѣ сокрытыхъ! Такова есть та наука, въ которой физика Адама и всѣхъ патриарховъ состояла» (****). Достаточно этой выписки, чтобы понять, почему «Разговоръ о счастіи» и «Письма Мелодора къ Филалету и Филалета къ Мелодору» не могли поправиться Новикову: въ нихъ идетъ дѣло о человѣческой, обыкновенной философіи, а Новиковъ стремился къ философіи необыкновенной, божественной, понимая подъ ней, можетъ быть, то, что служило содержаніемъ книги Дютюа: «Божественная

(*) О Шварцѣ см. въ I т. Ист. Слов. Извлеченіе изъ его лекцій въ статьѣ моей: Н. М. Карамзинъ (матеріалы для опредѣленія его литературной дѣятельности). Современникъ 1853, № XI.

(**) Она относится къ 1814 г., когда вышло 2-ое изд. сочиненій Карамзина, и печат. въ «Письмахъ С. И. Г.» (Гамален), изд. 2-ое, 1836.

(***) Можетъ быть, Пордеча, автора Божественной метафизики (Сопиковъ, III, № 6211).

(****) Письма Гамален, ч. 2, стр. 269—270.

философія» (*) и къ чему школьныя науки не въ силахъ подобрать ключа. Карамзинъ, напротивъ, не допускалъ ни возможности совершеннаго знанія, ни разумности способовъ, предлагаемыхъ мистикою для его достиженія. Въ тѣхъ же письмахъ Новиковъ называетъ бреднями открытіе новыхъ планетъ и газовъ. «Ни больше, ни меньше семи планетъ быть не можетъ», утверждаетъ онъ, «понеже Богъ ихъ сотворилъ только семь и наполнилъ ихъ силами, каждой приличными»; равнымъ образомъ «и стихій Богъ сотворилъ только четыре, а не болѣе». Для масона, увлеченнаго кромѣ того алхиміей, необходимо было удерживать число 7, которое особенно уважалось членами братства. На этомъ основаніи Новиковъ почитаетъ 49-ый годъ жизни Карамзина «климатерическимъ», т. е. кратнымъ семи, а въ такія числа, по ученію древнихъ, жизнь человѣка подвергается критическимъ переворотамъ. Для Карамзина же, не масона и не алхимика, числа не имѣли таинственнаго значенія: онъ цѣнилъ только ново-европейскую науку, въ ея современномъ движеніи. Замѣчая всю разность между своими понятіями и образомъ мыслей человѣка, которому такъ много было обязанъ, онъ уклонился отъ разсужденій объ этомъ предметѣ, сказавъ, что не стоитъ за свою философію. «О Богъ я привыкъ бесѣдовать только съ Богомъ», отвѣчалъ Гете одному изъ своихъ пріятелей, желавшему вызвать его на исповѣдь религіозныхъ убѣжденій. Въ отвѣтъ Новикову, Карамзинъ писалъ: «одинъ Богъ знаетъ Бога совершенно», и тѣмъ выразилъ нежеланіе пускаться въ богословскія и метафизическія разсужденія. Сохранился любопытный разсказъ о ихъ послѣднемъ свиданіи. Проѣздомъ въ Петербургъ, для печатанія своей исторіи (1816), Карамзинъ навѣстилъ Новикова въ имѣніи его Тихвинскомъ. Въ разговорѣ Новиковъ спросилъ Карамзина, былъ ли онъ въ ихъ обществѣ, и, получивъ утвердительный отвѣтъ, желалъ узнать, до какой степени дошелъ онъ въ ихъ ордени. На отвѣтъ Карамзина, Новиковъ сказалъ: «Ну, тутъ еще ничего не было важнаго; въ высшихъ степеняхъ сообщались вещи истинно драгоценныя». Онъ предложилъ Карамзину посвятить его въ эти высшія таинства; но Карамзинъ дружески пожалъ ему руку и вышелъ (**). Но разставшись съ масонствомъ, Карамзинъ сохранилъ искреннюю привязанность и уваженіе къ бывшему его представителю въ Москвѣ. Онъ указалъ заслуги Новикова по распространенію книжной торговли и любви къ чтенію въ Россіи (***), и особой запиской (1818) ходатайствовалъ у Государя о пособіи его семейству. Записка оканчивается такими словами: «Новиковъ, какъ гражданинъ, полезной своею дѣятельностію заслужилъ общественную признательность; Новиковъ, какъ теософическій мечтатель, по крайней мѣрѣ не заслуживалъ темницы: онъ былъ жертвою подозрѣнія извинительнаго, но несправедливаго. Бѣдность и несчастіе его дѣтей подають случай Государю милосердому вознаградить въ нихъ усопшаго страдальца, который уже не можетъ принести ему благодарности въ здѣшнемъ свѣтѣ, но можетъ принести ее Всевышнему» (****).

§ 10. Намъ уже извѣстно понятіе Карамзина о реформахъ Петра, вытекавшее изъ его взгляда на развитіе народной жизни (*****). Преобразовательную систему великаго царя, будто бы повредившую русской національности, онъ оправдываетъ тѣмъ положеніемъ, что путь образованія одинъ для всѣхъ народовъ. Это положеніе имѣло для

(*) Русский переводъ 1818 г.

(**) Четыре года изъ жизни Карамзина (1785—1788), г. Тихонравова.

(***) О книжной торговлѣ и любви къ чтенію въ Россіи (Вѣст. Евр. 1802, № 9).

(****) Незданные сочиненія и переписка Н. М. Карамзина, ч. 1. (1862).

(*****). Ист. Рус. Слов. I, § 229.

него силу исторической аксіомы и привело къ гуманитарно-космополитической точкѣ зрѣнія, сущность которой выражена въ «Письмахъ русскаго путешественника»: «Все народное ничто предъ человѣческимъ. Главное дѣло быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ, и что англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы, выгоды человѣка, то мое, ибо я человѣкъ». Изъ мыслей для похвальнаго слова Петру I, уцѣлѣвшихъ въ записной книжкѣ 1798 г., видно, что въ это время Карамзинъ думалъ о реформѣ по прежнему. Левска и подобныхъ ему порицателей великаго дѣятеля онъ причисляетъ къ умамъ мелкимъ, безсильнымъ понимать генія; древнюю, до-петровскую Русь уподобляетъ безобразному (необдѣланному) куску мрамора, а Россію новую, преобразованную Петромъ—статуѣ Юпитера Олимпійскаго, Фидіаса; подражаніе Европѣ, за что преобразователь въ особенности подвергался упрекамъ, называетъ единственнымъ способомъ подвинуть народъ къ совершенству; даже повторяетъ тѣ самыя слова, какія были употреблены имъ въ письмѣ о Левскѣ: «ходъ натуры одинаковъ, одно просвѣщеніе, одинъ способъ къ совершенству, одно назначеніе всѣхъ народовъ». Но вскорѣ взглядъ Карамзина начинаетъ замѣняться другимъ, на него непохожимъ. На сколько послѣдній отступилъ отъ перваго и по какимъ причинамъ произошло отступленіе,—объ этомъ будетъ сказано ниже.

§ 11. Изложенное въ §§ 5—10 даетъ намъ право вывести слѣдующія заключенія касательно образа мыслей Карамзина, въ первый періодъ его дѣятельности:

По своему взгляду на міровое устройство, онъ былъ оптимистъ, усвоившій нѣкоторыя положенія деизма.

По своимъ понятіямъ объ основахъ и способахъ науки, онъ, въ противоположность мистико-масонамъ, требовалъ рациональности, которая, въ области знанія, допускаетъ лишь то, что можетъ быть изслѣдовано и воспринято умомъ, а не другими способностями духа.

По понятіямъ о судьбѣ человѣчества, онъ былъ убѣжденъ въ предопредѣленномъ и слѣдовательно непреложномъ его совершенствованіи.

Поступательный ходъ человѣческаго развитія измѣрялъ онъ поступательнымъ, спокойнымъ ходомъ просвѣщенія, разливаемого по всѣмъ классамъ, и доброй нравственности, его дѣйствіемъ образуемой. Только при этихъ двухъ условіяхъ (просвѣщеніи и нравственности) законы и учрежденія могутъ приносить пользу; безъ нихъ же, какъ тѣ такъ и другія, не смотря на либеральный просторъ свой, теряютъ значеніе и остаются втунѣ.

Государственныя преобразованія должны совершаться мирнымъ путемъ, обходя всякіе поводы къ потрясеніямъ и насильственнымъ мѣрамъ и относясь съ уваженіемъ къ исторіи народа.

Европеизмъ, какъ высшая ступень человѣческаго развитія, служитъ неизбѣжнымъ, единственнымъ образцомъ для каждаго народа, выступающаго на историческое поприще: отсюда благоговѣніе передъ геніемъ Петра и оправданіе его реформы.

Любовь къ добру и человѣчеству есть душа правленія, животворная его сила. Наилучшую его форму представляетъ монархія, надежнѣйшимъ образомъ устроивающая и виѣшнее величіе государства, и внутреннее благоденствіе гражданъ. Отношенія между добрымъ, человѣколюбивымъ монархомъ и его подданными должны быть обязательнымъ примѣромъ для отношеній между помѣщиками и крестьянами, своего рода уставомъ крѣпостнаго состоянія.

Таковы идеалы Карамзина. Исторія литературы не можетъ не обратить на нихъ особеннаго вниманія, какъ такая наука, главный предметъ которой духовныя стремленія лицъ и народовъ, выражаемыя словомъ и притомъ въ извѣстной формѣ. Ихъ объемомъ и зна-

ченіємъ опредѣлилось направленіе Вѣстника Европы, къ которому мы теперь и переходимъ.

§ 12. Начало XIX в., какъ выше замѣчено, Карамзинъ находилъ самымъ благопріятнымъ для русскаго журналиста. Въ предисловіи къ Вѣстнику Европы и въ одной изъ статей его: «Пріятныя виды, надежды и желанія нынѣшняго времени», онъ указалъ добрые знаки состоянія европейскихъ дѣлъ вообще и отечественныхъ въ частности относительно политики, науки и литературы. Въ отношеніи къ политикѣ оно знаменуется счастливымъ настроеніемъ умовъ и сердець. «Десятилѣтняя революціонная война», говоритъ авторъ, кончилась, измѣнивъ мнѣніе о вещахъ и людяхъ. Революція, грозившая ниспровергнуть всѣ правительства, утвердила ихъ. Она убѣдила народы въ необходимости законнаго правленія, а государей въ необходимости правленія благодѣтельнаго, твердаго, по отеческаго. Она показала первымъ, что гражданскій порядокъ священъ даже въ недостаткахъ своихъ; что власть его есть для народовъ не тиранство, а защита отъ тиранства; что самое турецкое правленіе лучше анархіи, которая бываетъ слѣдствіемъ государственныхъ потрясеній; что всѣ смѣлыя теоріи ума, который изъ кабинета хочетъ предписывать новые законы міру, должны остаться въ книгахъ, вмѣстѣ съ другими, болѣе или менѣе любопытными произведеніями остроумія; что учрежденія древности имѣютъ магическую силу, которая не можетъ быть замѣнена никакою силою ума; что одно время и благая воля законныхъ правительствъ должны исправить несовершенства гражданскихъ обществъ. Правительства, съ своей стороны, чувствуютъ важность общаго мнѣнія, нужду въ любви народной, необходимость истребить злоупотребленія. Вмѣсто того, чтобы осуждать разсудокъ на безмолвіе, они склоняютъ его на свою сторону, такъ что лучшіе умы стоятъ теперь подъ знаменемъ власти». По отношенію къ наукѣ, съ началомъ XIX в. наступила эра для новыхъ въ ней открытій, благодаря дружественному союзу народовъ, который благопріятствуетъ общенію великихъ ученыхъ. Переворотъ въ идеяхъ отразился также на характерѣ литературы: до революціи, «всякая дерзкая, безнравственная книга была модною; нынѣ, напротивъ того, писатели боятся оскорбить нравственность, ибо передъ всякимъ жива картина бѣдствій, произведенныхъ во Франціи развратомъ; даже въ самыхъ дурныхъ романахъ соблюдается какая-то благопристойность и уваженіе къ святынѣ правовъ». Обращаясь за тѣмъ къ Россіи, Карамзинъ прежде всего говоритъ объ ея челоѣколюбивомъ государѣ, употребляющемъ власть на то, чтобы возвысить достоинство челоѣка въ своей державѣ, а потомъ обозначаетъ ея внѣшнее и внутреннее состояніе: «въ политикѣ она пользуется такимъ уваженіемъ, какого прежде никогда не имѣла; свѣтъ ученія болѣе и болѣе стѣсняетъ темную область невѣжества; благородныя, истинно-челоѣческія идеи болѣе и болѣе дѣйствуютъ въ умахъ; разсудокъ утверждаетъ права свои; патріотическій духъ возвышается. Всѣ эти видимые успѣхи гражданственности служатъ залогомъ будущихъ».

Карамзинъ не исчисляетъ тѣхъ распоряженій, которыя, явившись до предпринятаго имъ изданія, уже свидѣтельствовали о духѣ правительства. Съ одной стороны, ими подтверждены дѣйствія Екатерины II, упраздненныя ея преемникомъ; съ другой, введены узаконенія и мѣры новыя, сообразныя съ потребностями времени и отличавшіяся просвѣтительнымъ, гуманнымъ стремленіемъ. Дворянская грамота и городовое положеніе были возстановлены; вѣздъ иностранцевъ въ Россію и поѣздка русскихъ за границу не стѣснялись; отмѣнено запрещеніе ввозить иностранныя книги и заводить частныя типографіи, чѣмъ, какъ сказано въ указѣ, доставлены подданнымъ всѣ возможные способы къ распространенію наукъ и художествъ; уничтожена тайная розыскныхъ дѣлъ

канцелярія; предписано полиціи не чинить никому и никакихъ обидъ и притѣсненій. Главнѣйшее, наивысшее достоинство новаго правленія Карамзинъ опредѣлялъ слѣдующими словами: «во всѣхъ своихъ намѣреніяхъ и дѣйствіяхъ русскій царь положилъ себѣ за правило, что *добродѣтель и просвѣщеніе* должны быть основой государственнаго благоденствія». Характеристика, вполне отвѣчавшая основнымъ мыслямъ автора. Образъ Александра былъ для него, какъ и для всѣхъ передовыхъ людей его времени, образомъ истаго государя; Карамзинъ смотрѣлъ на него какъ на олицетворенное, по своему разуму и чувству, самодержавіе, желавшее и имѣвшее всю возможность устроить счастье гражданъ; онъ нашелъ въ немъ единственно-властнаго творца своихъ идеаловъ. Какъ литераторъ, онъ, съ своей стороны, захотѣлъ оказать, посылное, патріотическое содѣйствіе видамъ самодержавной дѣятельности; ибо литература распространяетъ просвѣщеніе, а просвѣщеніе ведетъ человѣчество къ цѣли нравственнаго совершенства.

Программа Вѣстника Европы обширнѣе программы Московскаго журнала. Последній былъ изданіемъ собственно литературнымъ, а первый — литературно-политическимъ. Политика и не могла найти мѣсто въ Московскомъ журналѣ, такъ какъ онъ явился въ эпоху французской революціи, неудобную для обязанностей публициста. Карамзинъ не желалъ стѣснять ни извѣстій, ни сужденій своихъ, которыя, лишаясь искренности и безпристрастія, не имѣли бы притомъ и возможности быть рѣшительными, потому что направленіе событій еще недостаточно обнаружилось. Сверхъ того, издатель состоялъ въ близкихъ связяхъ съ Новиковымъ и другими членами дружескаго общества, уже заподозрѣннаго правительствомъ. Открытый его голосъ о дѣлахъ встревоженной тогда Европы могъ бы навлечь ему большія непріятности, въ избѣжаніе которыхъ онъ, безъ сомнѣнія, и ограничилъ программу литературой. Другое различіе между двумя журналами опредѣлялось болѣе зрѣлымъ талантомъ издателя, отъ чего содержаніе Вѣстника Европы вышло болѣе зрѣлымъ, обдуманымъ. Соотвѣтственно своему названію, этотъ журналъ долженъ былъ представлять читателямъ главныя новости въ литературѣ и политикѣ. Самъ Карамзинъ смотрѣлъ на него, какъ на сборникъ достопамятностей по этимъ двумъ предметамъ.

Литературный отдѣлъ Вѣстника имѣетъ, какъ и Московскій журналъ, значеніе пантеона словесности. Онъ заключаетъ въ себѣ—въ переводахъ цѣлыхъ піесъ или въ извлеченіяхъ—все любопытное по части литературы, выходившее во Франціи, Англіи, Германіи и другихъ странахъ, такъ что, говоря словами Карамзина, лучшіе европейскіе авторы сдѣлались какъ бы сотрудниками редактора. Россія, какъ европейское государство, должна была также сообщать матеріалы журналу, который поэтому не отказывался отъ оригинальныхъ сочиненій, но съ условіемъ, чтобы они, какъ того требовало чувство народной гордости, могли безъ стыда явиться среди произведеній иностранныхъ писателей. Критика не составляла обязательной рубрики. Карамзинъ не признавалъ ее истинною потребностью современнои ему литературы, хотя и давалъ извѣстія о книгахъ. «Хорошая критика», говоритъ онъ, «есть роскошь литературы: она рождается отъ великаго богатства, а мы еще не Крезы. Лучше прибавить что-нибудь къ общему мнѣнію, нежели оцѣнивать его». Политическій отдѣлъ наполнялся извѣстіями и разсужденіями. Предоставивъ газетамъ сообщеніе текущихъ политическихъ новостей, Вѣстникъ обращалъ вниманіе только на важнѣйшія, а изъ нихъ на тѣ преимущественно, которыя свидѣтельствовали объ успѣхахъ мира и вели къ осуществленію идеаловъ издателя: на благоденствіе державъ, на полезныя учрежденія, новые мудрые законы, болѣе и болѣе утверждающіе связь подданныхъ съ монархами.

Направление Вѣстника, определенное, какъ мы замѣтили, основными воззрѣніями издателя, преимущественно высказывалось въ собственныхъ его статьяхъ, которыя здѣсь, равно какъ и въ Московскомъ журналѣ, составляютъ наиболѣе цѣнный вкладъ. Передовая мысль въ этомъ направленіи — необходимость и польза просвѣщенія для каждаго народа, особенно для народа русскаго, молодаго. Наука, улучшеніе нравовъ, соотвѣтственное развитіе гражданственности и въ слѣдствіе того общее благо: вотъ предметы, которые заставляли Карамзина братья за перо, съ цѣлю содѣйствовать ихъ успѣхамъ. Всѣ его мнѣнія и надежды проникнуты любовью къ ближнимъ, а изъ нихъ больше всего къ соотечественникамъ, и замѣтка Кирѣевскаго, что съ Карамзина литература наша приняла направленіе филантропическое, совершенно справедлива. Первое мѣсто между статьями Вѣстника принадлежитъ тѣмъ, въ которыхъ говорится о мѣрахъ правительства, имѣвшихъ въ виду нечисленные предметы высокаго сочувствія журналиста. Съ этой стороны, Карамзинъ по праву называется самымъ почтеннымъ литераторомъ времени Александра I, ясно понимавшимъ цѣну своего дѣла. Онъ былъ сторонникомъ правительства по благородному убѣжденію, а журналъ его — органомъ этого сторонничества, разъясняющимъ источникъ и значеніе просвѣщенныхъ дѣйствій власти, пользу ихъ въ настоящемъ и будущемъ, ихъ согласіе съ желаніями истинныхъ патріотовъ. Руководящими статьями служатъ: «Пріятные виды, надежды и желанія нынѣшняго времени» (*) и «О новомъ образованіи народнаго просвѣщенія въ Россіи» (**). Къ нимъ, какъ бы къ центру, тяготеютъ всѣ другія сужденія издателя по поводу правительственныхъ мѣропріятій и учрежденій.

Въ первой статьѣ, изложивъ состояніе Европы и Россіи, авторъ заявляетъ свои патріотическія желанія. Онъ желаетъ, во первыхъ, чтобы исполнилась воля государя имѣть полное, методическое собраніе гражданскихъ законовъ, выраженное въ рескриптѣ къ гр. Завадовскому, который былъ назначенъ предсѣдателемъ комиссіи для составленія законовъ. За тѣмъ онъ желаетъ хорошаго воспитанія, указывая недостатокъ нравственныхъ правилъ въ семейномъ образованіи, отъ чего у насъ молодые люди съ характеромъ, съ твердымъ образомъ мыслей — рѣдкія явленія. Наконецъ онъ желаетъ уничтоженія разсѣянной жизни дворянъ, водворенія порядка въ ихъ домашнемъ хозяйствѣ. Авторъ призываетъ благородное сословіе содѣйствовать славѣ и счастію отечества такими дѣлами, которыя напоминали бы потомству о ихъ достойномъ существованіи. Примѣръ безслѣдной жизни знатныхъ господъ, чуждыхъ всякаго понятія о должностяхъ человѣка и гражданина, разсказанъ въ «Моей исповѣди» (***).

Вторая статья, написанная по поводу указа (24 января 1803) о заведеніи новыхъ училищъ и распространеніи наукъ въ Россіи, самымъ положительнымъ образомъ знакомитъ съ душевными стремленіями Карамзина. Указъ называется началомъ новой эпохи въ исторіи нашего нравственнаго образованія, великимъ актомъ государственной филантропіи. Онъ показываетъ, что «Александръ выбралъ вѣрнѣйшее, единственное средство для успѣха въ своихъ великодушныхъ намѣреніяхъ; что монархъ желаетъ просвѣтить Россіянъ, чтобы они могли пользоваться его человѣколюбивыми уставами, безъ всякихъ злоупотребленій и въ полнотѣ ихъ спасительнаго дѣйствія». Главнымъ благодѣяніемъ новаго устава Карамзинъ почитаетъ учрежденіе сельскихъ школъ. Такъ какъ, по его

(*) В. Евр. 1802, № 12.

(**) Ib. 1803, № 5.

(***) Ib. 1803.

мысли, главная выгода просвѣщенія состоитъ въ образованіи нравовъ, и слѣд. мораль есть важнѣйшее знаніе, «альфа и омега наукъ», то ему особенно нравится, что между предметами ученія въ сельскихъ школахъ положено начальное основаніе морали. При этомъ выражена потребность въ особомъ для того руководствѣ,—въ «нравственномъ катихизисѣ для крестьянъ». Авторъ думалъ самъ заняться этою работою и если судить по «Письму сельского жителя», то уже и сочинилъ книжку, въ которой объяснены «должности поселянина, необходимыя для его счастія». Изъ другихъ положеній устава хвалятся отдѣленіе министерства народнаго просвѣщенія, какъ особенной системы, отъ другихъ частей государственнаго управленія, и мѣры принятія для образованія учителей, безъ которыхъ учрежденіе высшихъ и низшихъ школъ осталось бы только на бумагѣ. Касательно перваго предмета, Карамзинъ справедливо замѣтилъ, что ученныя мѣста должны зависѣть единственно отъ ученыхъ, т. е. отъ ихъ свободнаго выбора; касательно втораго онъ изложилъ свои мысли въ особой статьѣ: «о вѣрномъ способѣ имѣть въ Россіи довольно учителей» (*), которая поэтому служитъ какъ бы дополненіемъ его разсужденій «о новомъ образованіи народнаго просвѣщенія въ Россіи» и въ тоже время свидѣтельствомъ того, какъ литераторъ своимъ умнымъ, благонамѣреннымъ словомъ можетъ оказывать содѣйствіе правительству въ его общепользныхъ учрежденіяхъ.

Вѣстникъ Европы съ живымъ участіемъ слѣдилъ за мѣрами гражданскаго устройства въ Россіи и подавалъ о нихъ свой патріотическій голосъ или въ особыхъ статьяхъ или по крайней мѣрѣ въ извѣстіяхъ и замѣчаніяхъ. Такъ по случаю манифеста о новомъ образованіи министерствъ и указа о правахъ и обязанностяхъ сената, онъ слѣдующимъ образомъ изъясняетъ программу министерскихъ дѣйствій: «способствовать утвержденію мудрой политической системы въ Европѣ, торжеству святаго правосудія внутри имперіи, мирнымъ успѣхамъ гражданственности и народному просвѣщенію, котораго одно имя столь любезно душѣ благородной и безъ котораго нѣтъ ни славы, ни величія, ни морали въ государствахъ» (**). Какъ въ статьѣ: «Пріятные виды, надежды и желанія» замѣчено, что современныя правительства чувствуютъ важность «общаго мнѣнія» и своего согласія съ лучшими умами, такъ и здѣсь государственнымъ сановникамъ указана новая, дотолѣ неизвѣстная имъ, награда ихъ службы: «уже прошло то время въ Россіи, когда одна милость Государева, одна мирная совѣсть могли быть наградою добродѣтельнаго министра въ теченіе его жизни; теперь лестно и славно заслужить, вмѣстѣ съ милостію государя, и любовь просвѣщенныхъ россиянъ, которые чувствуютъ достоинство знаменитыхъ патріотовъ, цѣну ихъ усердія къ отечеству и къ монарху». Уничтоженіе тайной канцеляріи дало поводъ къ историческому обзору этого учрежденія (***). Статья: «о Россійскомъ посольствѣ въ Японію» (****), исчисляя ожидаемыя выгоды морской экспедиціи, замѣчательна выходкой противъ нашихъ космополитовъ, осуждавшихъ снаряженіе посольства: «Есть люди—и Русскіе, безъ сомнѣнія очень скромные,—которые утверждаютъ, что Россія не должна и думать о знаменитости въ мореплаваніи... Петръ Великій на такъ думалъ. Мудрено ли? онъ былъ русскій въ душѣ и патріотъ; а сіи господа или англomanы, или галлomanы, и желаютъ называться космо-

(*) В. Евр. 1803, № 8.

(**) Ib. 1802, № 19 (Извѣстія и замѣчанія).

(***) Ib. 1803, № 6.

(****) Ib. 1803, № XI.

политами. Только мы, обыкновенные люди, не можем съ ними парить умомъ выше *низкаго* патріотизма; мы стоимъ на землѣ и на землѣ русской; смотримъ на свѣтъ не въ очки систематиковъ, а своими природными глазами; думаемъ, что въ нынѣшнемъ состояніи вещей государство не можетъ достигнуть до совершеннаго величія безъ флотовъ и знаменитыхъ успѣховъ мореплаванія, а славное происхожденіе русскихъ, ихъ гордость народная, безпримѣрная храбрость и внутренняя сила государственная указываютъ намъ на первую степень въ политикѣ». Одна эта тирада, независимо отъ многихъ другихъ статей, показываетъ, что Карамзинъ, разсуждая о дѣлахъ общей пользы, свято держался русскаго направленія, которое и выражалось имъ въ каждомъ номерѣ журнала. Недостатокъ самоуваженія въ Русскихъ, забвеніе національных достоинствъ, недовѣрчивость къ собственнымъ дарованіямъ, и въ-слѣдствіе того отсутствіе самостоятельности служатъ предметомъ его разсужденія «О любви къ отечеству и народной гордости» (*). Оно явилось вскорѣ по открытіи журнала и служило какъ бы указаніемъ того, что издатель почиталъ нашею важнѣйшею потребностью. Въ одной Россіи, говоритъ онъ, можно сдѣлаться хорошимъ Русскимъ; гражданское и нравственное счастье челоѣка существуетъ только въ отечествѣ, и хотя съ просвѣщеніемъ народы сближаются между собою характеромъ, но различіе все еще велико и навсегда останется (**). Отправку молодыхъ людей за границу для изученія того, что преподается въ Московскомъ университетѣ, называетъ онъ поступкомъ неблагоразумнымъ, противнымъ долгу патріота (***). Чтобы возбудить любовь къ отечественному, котораго «русскіе французы» даже и не знали, Вѣстникъ отъ времени до времени представлялъ статьи о русской исторіи и литературѣ, о русской природѣ, о русскихъ примѣчательныхъ мѣстахъ (****). Но патріотизмъ Карамзина вовсе не походилъ на «квасной»: онъ былъ «дѣйствіемъ разсудка, а не слѣпой страсти», и потому равно сознавалъ какъ забываемыя нами національныя достоинства, такъ и не замѣчаемыя нами національныя недостатки. Обязанностью своего журнала поставилъ онъ напоминать первыя и обличать вторыя,—обличать безъ злорадства, безъ «браннаго и сатирическаго духа», къ которому не чувствовалъ ни малѣйшей склонности.

Стихотворенія доставлялись въ Вѣстникъ самимъ издателемъ, Державинымъ, Дмитриевымъ, В. Пушкинымъ, Нелединскимъ-Мелецкимъ и Жуковскимъ. Последнему принадлежатъ: «Вадимъ Новгородскій» и «Сельское кладбище», переводъ Греевой элегии, съ котораго переводчикъ велъ начало своей поэтической дѣятельности, хотя онъ и былъ не первымъ ея опытомъ. Отдѣлъ переводовъ ниже отдѣла оригинальныхъ статей. По важности предмета и дѣльности содержанія замѣчательнъ сообщенный изъ Петербурга переводъ съ французскаго «О криминальномъ судопроизводствѣ въ Англіи»: читатель узнаетъ изъ него, въ какой степени англійскіе уголовные законы сохраняютъ уваженіе къ личности обвиняемаго, предоставляя ему возможные способы къ оправданію. Въ беллетристикѣ главное мѣсто отдано новымъ повѣстямъ (*contes moraux*) Жанлисъ.

(*) В. Евр. 1802, № 4.

(**) Странность (Ib., № 2).

(***) О публичномъ преподаваніи наукъ въ московскомъ университетѣ (Ib. 1803, №№ 23 и 24).

(****) Историческія воспоминанія и замѣчанія на пути къ Троицѣ (1802, №№ 15—17); Пантеонъ російскихъ авторовъ (Ib. 20); о случаяхъ и характерахъ въ Россійской исторіи, которые могутъ быть предметомъ художества (Ib. 24); Путешествіе вокругъ Москвы (1803, № 4); Извѣстіе о Марѣѣ Посадницѣ (Ib. 12); Записки стараго московскаго жителя (Ib. 16); О московскомъ мятежѣ въ царствованіе Алексѣя Михайловича (Ib. 18); Русская старина (Ib. 20—22).

Сочинительница печатала ихъ въ издававшемся ею журналѣ, а потомъ онѣ были изданы отдѣльно (1802—1803). Надъ переводами трудился почти одинъ Карамзинъ, не имѣвшій для Вѣстника Европы, какъ и для Московскаго журнала, постоянныхъ сотрудниковъ. Некоторую помощь оказывалъ ему В. Измайловъ, подражавшій слогу его, и Жуковский, которымъ, кромѣ указанныхъ стихотвореній, написанъ еще разборъ «Поѣздки въ Малороссію» (кн. Шаликова).

Политическій отдѣлъ «Вѣстника» сообщалъ публикѣ извѣстія о важнѣйшихъ современныхъ событіяхъ и предлагалъ сужденія о нихъ. Первая часть его (передача новостей) не ограничивалась, по примѣру газетъ, сухими, короткими указаніями: издатель давалъ обстоятельное описаніе современнаго хода дѣлъ, умѣя отличить важныя отъ неважныхъ, останавливая вниманіе читателей лишь на томъ, что дѣйствительно могло возбуждать къ себѣ интересъ. Вторая часть (сужденія) была новостью, до того времени неизвѣстною въ русской журналистикѣ. Здѣсь Карамзинъ принялъ на себя обязанность публициста, которую и выдержалъ съ достоинствомъ. Собственныхъ его голосовъ немного, но все они по праву занимали мѣсто въ его журналѣ на ряду съ голосами иностранной публицистики. Выборъ послѣднихъ производился съ умнымъ тактомъ и знаніемъ дѣла, изъ лучшихъ явленій политической прессы, наиболѣе же изъ Архенгольцовой Минервы, издававшейся съ 1792 по 1812 г.

Въ началѣ года, т. е. въ первой его книжкѣ, Карамзинъ излагалъ событія протекшаго времени. Подводя итогъ рѣшеннымъ дѣламъ, онъ, такъ сказать, забѣгалъ впередъ желаніями, перечислялъ *ria desideria*, согласныя съ его понятіями о возможномъ счастьи народовъ. Понятно, что судьба Франціи не явластелнна была у него на особенномъ виду, какъ и у всѣхъ его современниковъ. По отношенію къ республикѣ, онъ дивился игрѣ неизъяснимаго рока, который три раза, вопреки всѣмъ вѣроятностямъ, спасалъ ее изъ отчаяннаго положенія. Новые историки объяснили многое, что казалось загадочнымъ для людей, близко стоявшихъ къ событіямъ (*), но въ то время такъ называемый Карамзинымъ панический страхъ коалиціи могъ конечно почитаться «непонятнымъ», какъ выразился Вѣстникъ въ статьѣ: «Всеобщее обозрѣніе» (**). Что касается до консула, то нельзя не замѣтить и не назвать любопытнымъ недовѣріе, которое постоянно питалъ къ нему русскій журналистъ и которое оправдалось дальнѣйшей исторіей. Самыя похвалы Бонапарту идутъ съ его пера какъ бы неохотно, выражаясь условно, съ оговорками, или припасаются для будущаго, когда время разъяснитъ силу дѣйствій и побужденій дѣателя. Величанія Бонапарта «спасителемъ республики», «первымъ героемъ всѣхъ вѣковъ», «единственнымъ» и проч. и пр. кажутся ему преждевременными и подозрительными. «Бонапартъ конечно *заслужитъ* признательность французовъ (говорится во «Всеобщемъ обозрѣніи», еще болѣе снисходительномъ въ своихъ сужденіяхъ, чѣмъ другія статьи), если, разрушивъ мечту равенства и возстановивъ религію, отеческимъ правленіемъ загладитъ бѣдственныя слѣды революціи, дастъ республикѣ мудрую систему гражданскихъ законовъ, будетъ искреннимъ покровителемъ наукъ, художествъ, торговли, и на семъ основаніи утвердитъ благоденствіе Франціи, миролюбивою политикою согласивъ ея выгоды съ выгодами другихъ державъ. *Тогда сей монархъ-консулъ оправдаетъ долю судьбы*, которая возвела его изъ праха на такую степень величія».

Да и чѣмъ бы Бонапартъ могъ привлечь къ себѣ любовь челоѣка съ такимъ

(*) Ст. Зибеля: Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1795

(**) В. Евр. 1802, № 1.

образомъ мыслей, какой имѣлъ Карамзинъ? Консулъ французской республики не былъ властителемъ по его убѣжденіямъ и сердцу. Онъ стоялъ далеко отъ героевъ его романа или исторіи, потому что и романтическіе и историческіе идеалы Карамзина были одни и тѣже—«друзья добра и человѣчества», одушевленные истинною любовью къ людямъ. Въ немъ Карамзинъ видѣлъ геніальнаго политика, отлично понимавшаго свой народъ и умѣвшаго управлять имъ, но въ тоже время наклоннаго къ захватамъ власти, не изъ героизма добродѣтели, а изъ видовъ честолюбія. Въ немъ—только что консулъ—подозрѣвался или прозрѣвался уже монархъ, какъ выразилось «Всеобщее обозрѣніе». Вотъ почему Карамзинъ инстинктивно отъ него отворачивался, чуя въ его образѣ темную силу земнаго могущества.

Предметами политическихъ статей Карамзина служили именно тѣ событія, которыми болѣе или менѣе оправдывались его подозрѣнія. Такъ въ статьѣ по поводу устава «почетнаго легіона» онъ называетъ это учрежденіе странною выдумкою, удивительно сложною въ средствахъ для произведенія весьма обыкновеннаго дѣйствія и годною развѣ для приманки народнаго тщеславія французовъ. «Потомство», говоритъ онъ, «не на мраморныхъ доскахъ Легіона будетъ искать славныхъ именъ, а въ исторіи. Если Бонапарте и на золотой доскѣ велитъ написать имя генерала Мену (*), Европа не будетъ уважать его». Статья «о похитителяхъ», по поводу статьи такого же названія въ «Bulletin de Paris», раскрывая мысль парижскаго журнала, имѣвшаго въ виду подготовить общественное мнѣніе къ перемѣнѣ консульскаго сана на императорскій, прибавляетъ: «Все возможно, однакожъ мы еще не хотимъ вѣрить тому до времени. Видимъ только, что Бонапарте будетъ скорѣе Герономъ, нежели Тимеономъ. Впрочемъ, друзья или льстецы его напрасно доказываютъ, что Бонапарте не есть похититель, и заранѣе бранятъ исторію: нѣтъ, она не назоветъ его симъ именемъ, а скажетъ, что онъ людей считалъ людьми и даже самъ не хотѣлъ быть выше человѣка. Не Бонапарте свергнулъ Бурбоновъ съ трона; не Бонапарте сдѣлалъ революцію: онъ только воспользовался ею для своего властолюбія». Особенно замѣчательна третья статья: «Швейцарія», вызванная событіями, которыя изложены въ переводѣ съ нѣмецкаго: «Алойсъ Редингъ, славный швейцарскій патриотъ». По люневильскому трактату, швейцарское правительство созвало въ Бернѣ сеймъ, чтобы предложить ему планъ рѣшительнаго образованія республики. Редингъ былъ выбранъ въ ландманы и отправился въ Парижъ. Бонапартъ обѣщалъ утвердить гельветическое правительство, если только министрами будутъ выбраны друзья Франціи. Возвратясь, Редингъ сочинилъ новую конституцію, охотно принятую его согражданами. Но вскорѣ произошла революція. Министры, введенные въ совѣтъ по волѣ консула, пользуясь отсутствіемъ ландмана, собрались ночью, объявили себя правителями, уничтожили конституцію и выбрали нотаблей для составленія новой, которая и была одобрена французскимъ министромъ Вернинакомъ, вошедшимъ въ согласіе съ швейцарскими демократами. Редингъ жаловался Бонапарту, но Бонапартъ объявилъ себя покровителемъ новаго гельветическаго начальства. Когда французское войско выступило изъ Швейцаріи, жители ея возстали противъ навязаннаго имъ правительства, выбрали Рединга въ президенты и хотѣли сражаться съ Франціею. Ней, арестовавъ Рединга, заключилъ его въ Арбургскій

(*) Мену находился въ египетской экспедиціи; чтобы привлечь къ себѣ мусульманъ, принялъ исламизмъ и женился на мусульманкѣ. Онъ былъ разбитъ при Александріи англійскимъ генераломъ Аберкромби.

замокъ. Самовольство французской политики возмутило Карамзина тѣмъ болѣе, что оно опиралось только на правѣ сильного, не уважающаго другихъ, законныхъ правъ, и причиняло оскорбленіе странѣ, наиболѣе ему любезной и славной въ исторіи своею гордою независимостію. Онъ выразилъ свое мнѣніе о насильственномъ актѣ съ замѣчательною рѣзкостью, которая была несогласна ни съ характеромъ, ни съ общимъ тономъ его сочиненій. Для примѣра беремъ изъ статьи слѣдующія строки:

Мысль собрать депутатовъ Гельвеціи въ Нарвикъ лѣтитъ самолюбію консула, но оскорбительна для патріотизма швейцаровъ, которые умѣли быть свободными гораздо прежде французовъ и безъ униженія не могутъ явиться въ передней гражданина Талейрана. Если отрасль древней славной фамиліи кажется намъ почтенною; если великія дѣла человѣка бросаютъ какой-то лучъ на самыхъ отдаленныхъ его потомковъ: то швейцары могутъ требовать всеобщаго уваженія. Они не низомыслицы, пожалованные консульскимъ указомъ въ преемники древнихъ римлянъ. Не въ тѣсномъ и шумномъ Нарвикѣ, гдѣ люди всегда превращали басню Хамелеона въ истину, но среди гордыхъ Альпъ, гдѣ болѣе четырехъ вѣковъ гремѣло имя свободы—на равнинахъ, гдѣ пастухи, одушевленные любовію къ отечеству, истребляли лучшія европейскія арміи—среди величественныхъ предметовъ природы и славныхъ воспоминаній народнаго геройства должны сыны Гельвеціи совѣтоваться о благѣ страны ихъ и средствахъ воскресить патріотизмъ въ гражданахъ. Пусть тамъ легіоны французскіе въ почтительномъ отдаленіи окружаютъ ихъ своими дружескими щитами, чтобы революціонная необузданность—сіе чудовище, которое родилось въ Франціи—не мѣшала спокойному дѣйствию умовъ и законодательной мудрости. Пусть Бонапартъ, какъ другъ народнаго благоденствія, объявитъ имъ свое мнѣніе о лучшемъ образѣ правленія для Гельвеціи, не требуя депутатовъ передъ консульскій тронъ свой. Тогда онъ поступилъ бы какъ великодушный властелинъ и герой добродѣтели; а теперь поступаетъ—какъ *Генералъ Европы*, дающій воинскіе строгіе приказы.

Знаемъ, что власть и сила могутъ смѣяться надъ идеями филантроповъ; знаемъ, что о вкусахъ спорить не должно (по старинной латинской пословицѣ) и что иному пріятнѣе жить въ какомъ нибудь великолѣпномъ замкѣ, нежели въ храмѣ богини Кайо: но въ такомъ случаѣ не надобно уже думать о славѣ, не надобно говорить о *потомствѣ, справедливости, мнѣніи вѣковъ*, ибо не проекты сен-клюдскаго замка будутъ писать исторію (*).

Наконецъ передовая политическая статья въ первой книжкѣ Вѣстника 1803 г.: «Взоръ на прошедшій (1802) годъ», раскрываетъ во всей ясности основную мысль издателя при его сужденіяхъ о главномъ историческомъ характерѣ тогдашней эпохи, который «въ теченіе 1802 года вышелъ изъ сомнительныхъ тѣней надежды и страха и явился въ полномъ свѣтѣ истины къ стыду романтическихъ головъ, мечтавшихъ въ наше время о Тимолеонахъ». Похваливъ консула за то, что онъ умертвилъ революцію и тѣмъ заслужилъ благодарность Франціи и даже Европы, Карамзинъ прибавляетъ въ заключеніи: «Пожалѣемъ, если консулъ не имѣетъ законодательной мудрости Солона и чистой добродѣтели Ликурга, который, образовавъ Спарту, самъ себя на вѣки изгналъ изъ отечества. Вотъ дѣло героическое, передъ которымъ всѣ Лоды и Маренго исчезаютъ! Черезъ 2700 лѣтъ оно еще воспалитъ умъ, и добрый юноша, читая Ликургову жизнь, плачетъ отъ восторга... Видно, что быть искуснымъ генераломъ и хитрымъ политикомъ гораздо легче, нежели великимъ, т. е. героически-добродѣтельнымъ человекомъ». Въ этихъ словахъ разгадка того нерасположенія, которое Карамзинъ постоянно чувствовалъ къ правителю Франціи: Бонапартъ не представлялъ ему образца истиннаго величія, состоящаго въ героизмѣ добродѣтели. Эти же слова опредѣляютъ и благородный, независимый характеръ его публицистики.

(*) Соч. Карамзина, изд. Смирдина, 1848 (ч. I, стр. 546—547).

Обозрѣвъ содержаніе и направленіе Вѣстника Европы, мы имѣемъ право заключить, что этотъ журналъ много выше той цѣны, какую по скромности придавалъ ему самъ издатель. Честолюбіе Карамзина не простиралось далеко, какъ видно изъ объявленія объ изданіи Вѣстника на 1803 годъ: онъ хотѣлъ «не учить, а единственно занимать русскую публику пріятнымъ образомъ, не оскорбляя вкуса ни грубымъ невѣжествомъ, ни варварскимъ слогомъ». Мы убѣждены, что дѣйствіе журнала не ограничивалось этимъ, но простиралось дальше. Публика узнала изъ него многое, что нужно было знать для просвѣщеннаго сужденія о дѣлахъ внутреннихъ и вѣнскихъ, о потребностяхъ отечества, о долгѣ истиннаго патріотизма, о важности образованія, правды, добрыхъ общественныхъ нравовъ. Въ исторіи нашей періодической прессы онъ составляетъ эпоху, которая не скоро смѣнилась новой. Достоинство его содержанія, равно какъ и талантъ его издателя становятся еще понятнѣе при сравненіи первыхъ двухъ его годовъ съ послѣдующими. Всѣ другіе редакторы не возвысили, а понизили его уровень, не смотря на большія средства. На успѣхъ журнала указываетъ самъ Карамзинъ въ письмѣ къ М. Н. Муравьеву, говоря, что онъ имѣлъ отъ него 6000 руб. дохода: цифра по тогдашнему времени значительная (*).

§ 13. Если публика своимъ сочувствіемъ награждала труды Карамзина, то въ литературномъ мірѣ онъ встрѣтилъ себѣ противниковъ, которые частію по зависти къ его успѣхамъ, а частію по несогласію во взглядахъ заявляли тѣмъ или другимъ образомъ свое къ нему недоброжелательство. Мы отличаемъ здѣсь эпиграмматическія выходки отъ обличеній болѣе или менѣе серьезныхъ, принимавшихъ иногда точный характеръ извѣта. Въ первыхъ упражнялись воители извѣстнаго словеснаго кружка (Шатовъ, А. С. Хвостовъ, кн. Д. И. Горчаковъ), изъ ревности къ своему авторитету—лицу или началу, представляемому лицомъ. Это были нападки собственно литературныя, которыми Карамзинъ могъ не оскорбляться. Обличенія имѣли другую цѣль: они хотѣли подорвать довѣренность къ образу мыслей Карамзина, указавъ ихъ безнравственность. Нѣтъ надобности доискиваться, изъ какого источника они происходили: изъ дѣйствительнаго ли убѣжденія въ опасномъ дѣйствіи торжествующей новизны или просто изъ злобнаго желанія нововводителю. Безъ сомнѣнія, политическіе, умѣренно-либеральныя, взгляды Карамзина, съ одной стороны казавшіеся тощимъ тому, кто увлекался Вольтеромъ и событіями 1789 г., могли, съ другой стороны, пугать воображеніе тѣхъ, кто смѣшивалъ ученіе деистовъ съ матеріализмомъ или безбожіемъ, и въ разумномъ стремленіи къ общегражданскому благу видѣлъ якобинство. Какъ бы то ни было, а въ 4-ой части журнала: «Инокрена» (1799) явилось стихотвореніе-посквиль, подъ названіемъ: «Ода въ честь моему другу». Анонимный сочинитель ея (**) выставляетъ истинную, нравственную философію своего друга, противопоставляя ее другой—ложной и безнравственной, извлеченной изъ сочиненій Карамзина. Онъ до того простеръ свою безцеремонность, что мнѣнія Карамзина обозначилъ

(*) Статьи В. Евр. 1802—1803 г. перечислены въ «Указателѣ къ Вѣстнику Европы 1802—1830 г.», составленномъ М. Полуденскимъ (1861).

(**) Преданіе приписывало эту сатиру Кострову, который будто бы служилъ орудіемъ профессорамъ Московскаго университета, питавшихъ нѣкоторое время непріязненные отношенія къ Карамзину. Если это справедливо, то сатира напечатана черезъ три года послѣ ея сочиненія, такъ какъ Костровъ ум. въ 1796 г. Я, напротивъ, думаю, что она написана Голенищевымъ-Кутузовымъ, который въ 1798 г. былъ назначенъ кураторомъ, или по его заказу какимъ нибудь услужливымъ журнальнымъ стиходѣмъ.

курсивомъ, съ указаніемъ въ выноскахъ на тѣ пьесы, изъ которыхъ они приведены.
Вотъ четыре строфы, направленные противъ «Разговора о счастьи»:

Картинъ не ищишь сладострастныхъ,
Чтобы читателей привлечь,
Чтобъ тѣмъ у юношей несчастныхъ
Воображеніе не разжечь,
Чтобъ не испортить ихъ природы
И въ самые незрѣлы годы
Огня страстей не развернуть;
Но глазъ твой мудрый повторяетъ:
«Чѣмъ меньше кто страстямъ внимаешь,
«Скорѣй найдетъ къ блаженству путь».

Не мнишь, что тамъ сіе блаженство,
Гдѣ на окнѣ горшокъ цвѣтовъ стоитъ ()*;
Не мнишь, что миръ и совершенство
Найдешь ты съ Хлоей межъ кустовъ:
Но, помня мудрости совѣты,
И въ юныя, и въ стары лѣты
Велишь со страстью быть въ борьбѣ,
Чтобъ были духъ и тѣло здоровы,
Чтобъ зрѣть стези къ блаженству правы
Въ религіи, въ самомъ себѣ.

Не мнишь, даны чтобъ чувства были
На то, чтобъ всѣ ихъ услаждать,
И разума лучи служили,
Чтобъ наслажденія избирать;
Не выдашь странную чудесность,
*Приведши стрѣты въ равновѣсность (**),*
Къ блаженству съ буйствомъ ихъ идти:
Но ты, всю цѣну истинъ зная,
Твердишь, что, страсти побѣждая,
Къ блаженству путь легко найти.

Не мнишь, чтобъ жить въ союзѣ тѣсномъ
Намъ нужно было со страстями;
Что въ мірѣ нравственномъ, тѣлесномъ
Безъ нихъ и жить не мѣлъ съ людьми:
Но знаешь, что звѣрямъ подобенъ,
Кто сладострастенъ, скупъ и злобенъ,
Коль равновѣсны страсти въ немъ.
Но если страсти утишились,
Молчать, не дѣйствуютъ, скрылись,
То схожъ онъ съ ангеломъ во всемъ.

О путешествіи Карамзина говорится слѣдующее:

Хоть ты и ѣздишь въ земли чужды,
Но не трактировъ тамъ смотришь;
Не видишь въ томъ ни малой нужды,
Чтобъ знали, что ты нищъ и бѣдъ.
И ѣздивши не на проказы,
Хрусталь не кажешь за алмазы,

(*) Красивый, чистенькій домикъ всегда представляетъ моему воображенію картину возможнаго счастья, особливо когда *вижу на окнѣ цвѣты*, а подъ окномъ... милостивую женщину, за рукодѣліемъ, за книгою, за арфою (Разг. о счастьи).

(**) См. выше (§ 6) изложеніе содержанія Разговора о счастьи.

Чтобъ быть слѣпымъ вождемъ слѣпцовъ,
Но, къ истинѣ всегда стремися
И къ ней единой прилбися,
Искаль бесѣды мудрецовъ.

Четырестишіе Карамзина, въ родѣ эпитафій самоубійцы (*), почти все приведено въ «Одѣ»:

Не мнишь ты также, чтобъ *Создатель*
Такой свѣтильникъ далъ уму,
Съ которымъ истины искатель
Находитъ ложь вездѣ и тьму;
Что сердце—Божье дарованье—
Дано на лютое страданье.
Ты жъ видишь въ семъ, сколь благъ Творецъ;
Что умъ всѣхъ истинъ есть содѣтель;
Что все дано на сей конецъ.

Другое стихотвореніе Карамзина: *Исправленіе* (**) также обличается въ безправ-
ственномъ смыслѣ:

Ты мыслишь также, что не худо
Мemento mori повторять (***),
За тѣмъ что никакое чудо
Не можетъ смерти насъ изъять;
За тѣмъ что рано или поздно
Наступитъ смерти время грозно.
Чтобъ сласти мнимыя пресѣчь,
То лучше къ смерти быть готовымъ,
Чтобъ гробъ не такъ намъ былъ суровымъ,
И чтобъ въ него спокойно лечь.

Какъ эту «Оду», такъ еще болѣе слѣдовавшія за нею обличенія, нельзя объяснить тѣмъ, что французы называютъ *jalousie du métier*. Корень ихъ глубже и чернѣе. Анекдотъ, переданный гр. Растопчинымъ И. И. Дмитріеву (****) показываетъ, что Карамзинъ еще при императорѣ Павлѣ слылъ во мнѣніи нѣкоторыхъ недоброжелателей за безбожника, за человѣка, опаснаго правительству. Получивъ отъ одного изъ нихъ доносъ въ этомъ смыслѣ, Государь бросилъ его въ огонь послѣ разговора съ дежурнымъ генералъ-адъютантомъ Растопчинымъ, отецъ хорошо знавшимъ обвиняемаго и несправедливость обвиненій. Другой доносъ, можетъ быть отъ того же самаго лица (*****), адресованъ министру народнаго просвѣщенія, гр. А. К. Разумовскому, и относится къ

(*) Можетъ быть, шведу Шпрингпорту, который былъ знакомъ съ Карамзинымъ. Оно навѣч. въ Соч. Кар., изд. Смир. 1, стр. 118:

Богъ далъ мнѣ свѣтъ ума: я истины искалъ,
И видѣлъ ложь вездѣ—свѣтильникъ погашаю.
Богъ далъ мнѣ сердце: я страдалъ—
И Богу сердце возвращаю.

(**) Соч. Кар., изд. См. I, стр. 174.

(***) При этомъ авторъ «Оды» замѣчаетъ въ выпискѣ: сіе напоянительное изреченіе, совѣтуемое и христіанскими, и языческими мудрецами, осмѣхается новымъ мудрецомъ (Аопиды, III, 255).

(****) Словарь достопамятныхъ людей русской земли, Баптышъ-Каменскаго, ч. 2, стр. 133.

(*****). П. И. Голенищева-Кутузова, переводника Сафо, Гезіода, Θεокрита, Пиндара, и издателя, вмѣстѣ съ гр. Д. Хвостовымъ и гр. С. Салтыковымъ, журнала: «Другъ просвѣщенія» (1804—1806). Онъ былъ два раза попечителемъ Московскаго университета: до его преобразованія (съ 1798 по 1803) и послѣ преобразованія (съ 1810 по 1812 г.).

1810 г., когда Карамзину был пожалованъ орденъ св. Владиміра 3-ей степени, при лестномъ рескриптѣ, выставившемъ его литературныя заслуги (*). Доноситель пишетъ, что сочиненія Карамзина «исполнены вольнодумческаго и якобиническаго яда», что въ нихъ «явно проповѣдуется безбожіе и безначаліе», что «не хвалить, а сжечь ихъ слѣдовало бы», что авторъ ихъ «цѣлитъ не менѣе, какъ въ Сіесы или въ первые консулы». Письмо осталось безъ всякихъ послѣдствій. Карамзинъ былъ крѣпокъ правотою своею, дружбою и уваженіемъ къ нему многихъ вліятельныхъ лицъ. «Говорить ли о К—вѣ?» писалъ онъ А. И. Тургеневу (21 апрѣля 1811). «Онъ самъ себя наказываетъ злобою. По сіе время не удалось ему мнѣ сдѣлать зла, а что будетъ впредь— не знаю, и знать не хочу. Мщенія не люблю; довольствуюсь презрѣніемъ, и то невольнымъ». Сильнымъ заступникомъ Карамзина была великая княгиня Екатерина Павловна, принцесса ольденбургская, въ послѣдствіи королева Виртембергская (**). Въ письмѣ къ нему (3-го іюля 1811) она припомнила исторію доноса: «обѣдалъ у меня кураторъ К....., но онъ нашелъ мою кухню нездоровою, принужденный выслушать мои мнѣнія о васъ и профессоръ Буле (***) и мои къ вамъ чувства.» Отношенія Кутузова къ Карамзину не измѣнились и въ послѣдствіи, какъ можно видѣть изъ писемъ послѣдняго къ женѣ, въ бытность его въ Петербургѣ (1816): «Видѣлъ во дворцѣ и К....; вѣроятно, что онъ вымышляетъ какіе-нибудь новые доносы и жетъ по обыкновенію».... «А *propos de K....*: сказываютъ, что онъ на сихъ дняхъ старался доставить гр. Аракчееву записку съ новыми доносами на меня, но посредникъ отказался (****).

§ 14. Кромѣ обличеній нелитературныхъ, направленныхъ на образъ мыслей Карамзина, онъ возбудилъ противодѣйствіе собственно-литературное, имѣвшее своимъ предметомъ не содержаніе его сочиненій, а ихъ виѣшнее выраженіе. Возникшая по этому предмету полемика тянулась долгое время. Мы изложимъ ея послѣдовательный ходъ съ указаніемъ важнѣйшихъ явленій, которыя, занимая мѣсто въ исторіи нашего книжнаго языка и слога, любопытны и въ другихъ отношеніяхъ.

Еще въ переводахъ для Дѣтскаго чтенія, Карамзинъ представилъ образцы иного слога, сравнительно съ господствовавшимъ до него, Ломоносовскимъ строемъ рѣчи. «Письма русскаго путешественника», независимо отъ содержанія, плѣняли современную публику особенностями языка, близкаго, по ясности и легкости, къ языку разговорному и вмѣстѣ отличавшагося тѣмъ, что рѣдко встрѣчается въ разговорѣ — пріятностью. Раздѣляя исторію русскаго слога на эпохи, Карамзинъ первую ведетъ отъ Кантемира, вторую отъ Ломоносова, третью отъ славяно-русскихъ переводовъ Елагина, а четвертую отъ своего времени, въ которое, какъ онъ говоритъ, образуется *пріятность*

(*) Письмо къ гр. Разумовскому въ «Чтеніяхъ въ Обществѣ Исторіи и древностей руссійскихъ при Москов. унив.» (1858, кн. 2, смѣсь, стр. 185—186).

(**) Она жила въ Твери, куда, по ея приглашенію, нерѣдко ѣзжалъ Карамзинъ. Принцъ имѣлъ пребываніе въ этомъ городѣ, какъ тверской и ярославскій генералъ-губернаторъ.

(***) Профессоръ Моск. унив. Буле 1811 г. былъ опредѣленъ бібліотекаремъ великой княгини.

(****) Неизд. сочиненія и переписка Карамзина. Друзья и почитатели Карамзина не могли, по образу своихъ мыслей и чувствъ, воевать съ Кутузовымъ его оружіемъ; они преслѣдовали его эпиграммами, въ которыхъ онъ являлся «Кутузовымъ». Одну изъ нихъ: «Кутузовъ другомъ просвѣщенія» (кн. Вяземскаго) см. въ Ист. Христ., II, стр. 386. Въ сатирѣ Воейкова «Домъ сумасшедшихъ», Кутузову посвящена особая строфа: «Вотъ Кутузовъ: онъ зубами», и пр. (Ист. Христ. II, стр. 379).

элога, называемая французами *élégance* (*). Карамзинъ умалчиваетъ объ имени образователя и даже не опредѣляетъ, въ чемъ именно заключается эта «пріятность»; но изъ его собственныхъ произведений не трудно было видѣть по крайней мѣрѣ отрицательныя ея качества: она свободна съ одной стороны отъ славянскихъ словъ, а съ другой—отъ латино-нѣмецкаго словорасположенія. Внимательный читатель могъ замѣтить съ перваго же раза, что авторъ, не получившій схоластическаго образованія, не изучавшій греко-латинскихъ писателей, но хорошо знакомый съ тогдашнею западно-европейскою словесностью, выбралъ себѣ примѣрамъ французовъ; что отъ его природнаго вкуса не скрывалась неумѣстность славяно-русской смѣси въ литературномъ языкѣ, и по преимуществу въ эпистолярномъ стилѣ, наиболѣе подходящемъ къ разговорному, такъ какъ письмо есть своего рода разговоръ. Извѣщая, въ Московскомъ журналѣ, о выходѣ русскаго перевода Ричардсоновой Кларисы, Карамзинъ критикуетъ выраженіе: «колько для тебя чувствительно», и объясняетъ его дикость тѣмъ, что переводчикъ хотѣлъ послѣдовать модѣ, введенной въ русскій слогъ «голыми (великими) претолковниками, иже отрѣзають все, еже есть русское, и блещаютъ блаженнѣ сіяніемъ славяноумдрія». При разговорѣ съ Каменевымъ (1800 г.), онъ показалъ, какимъ способомъ упражнялся онъ въ искусствѣ писать: «Вознамѣрся выдти на сцену, я не могъ сыскать ни одного изъ русскихъ писателей, который бы былъ достоинъ подражанія, и, отдавая всю справедливость краснорѣчію Ломоносова, не упустилъ замѣтить стиль его *дикій, варварскій*, вовсе несвойственный нынѣшнему вѣку, и старался писать чище и живѣе. Я имѣлъ въ головѣ нѣкоторыхъ иностранныхъ авторовъ; сначала подражалъ имъ, но послѣ писалъ уже своимъ, ни отъ кого не заимствованнымъ слогомъ» (**). Здѣсь высказаны и отложеніе Карамзина отъ Ломоносовскаго стиля, и вліяніе иностранное или, точнѣе, французское, которое обнаруживалось какъ въ его разговорѣ, допускавшемъ, по свидѣтельству Каменева, французскія слова, такъ и въ его письменной рѣчи, видимо имѣвшей образцомъ конструкцію рѣчи французской. Чистота и живость писанія, поставленныя на видъ Карамзинымъ, состояли—первая въ избѣжаніи славянизмовъ, вторая въ сближеніи книжнаго языка съ разговорнымъ языкомъ образованнаго общества.

Но большинство тогдашнихъ литераторовъ вовсе не почитало Ломоносовскій слогъ дикимъ и варварскимъ. Напротивъ, онъ былъ для нихъ идеаломъ, къ которому должно стремиться, но котораго достигать предоставлено только немногимъ избраннымъ. Стилистическая реформа равнялась, по ихъ мнѣнію, посягательству на вѣковѣчный образецъ и требовала противодѣйствія. Защиту оскорбляемаго авторитета взялъ на себя Шишковъ, воспитанникъ Морскаго корпуса, знавшій многіе иностранные языки и на чтеніи духовныхъ книгъ, памятниковъ древне-русской словесности и отечественныхъ писателей XVIII в. ознакомившійся съ языками церковно-славянскимъ и русскимъ литературнымъ. Въ 1803 г. вышло его «Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ Россійскаго языка». Это—протестъ читателей литературнаго преданія противъ реформъ въ литературѣ, апологія докарамзинскаго (старого) слога и вмѣстѣ критика слога карамзинскаго (новаго). Изъ названія книги видны ея содержаніе и составъ. Она дѣлится на двѣ части: въ одной идетъ рѣчь о старомъ слогѣ, въ другой о новомъ, постоянно противопоставляемомъ первому. Достоинства старого слога разъясняются на образцахъ изъ духовной литературы,

(*) Пантеонъ Россійскихъ авторовъ (характеристика Кантемира). При внесеніи Пантеона въ собраніе сочиненій Карамзина, слова: «называемая французами *élégance*», исключены.

(**) Ист. Христ. I, 78 и 79.

изъ сочиненій Ломоносова, Сумарокова и другихъ писателей XVIII в. Особенно восхваляется мастерство Ломоносова сочетать высокопарный славянскій слогъ съ просторѣчивымъ русскимъ (*). За примѣрами образцоваго стараго слога слѣдуютъ примѣры новаго. Самъ Карамзинъ не представлялъ, въ этомъ отношеніи, слабыхъ сторонъ своему противнику. Даже «Письма русскаго путешественника» не давали ему большой поживы. Критика могла отыскать въ нихъ нѣсколько иностранныхъ реченій, за которыми однакожь утвердилось потомъ право гражданства въ нашемъ словарѣ, нѣсколько галлицизмовъ (напр. *убивать время*, въ чемъ самъ авторъ извинялся), нѣсколько неологизмовъ, изъ которыхъ одинъ (*промышленность*) принадлежитъ къ самымъ удачнымъ. Но многіе изъ подражателей Карамзина оказывали плохія услуги его дѣлу отсутствіемъ таланта, безвкусіемъ и незнаціемъ духа русскаго языка. Ихъ сочиненія въ избыткѣ представляли то, въ чемъ Ломоносовъ видѣлъ «дикія и странныя чуждоты слова». Безъ всякой нужды, они пестрили свою рѣчь галлицизмами, или выдумывали новыя слова, которыя не отвѣчали ни смыслу выражаемыхъ ими понятій, ни требованіямъ благозвучія. Шинковъ имѣлъ право назвать ихъ переводы «французско-русскими», если переводы Елагина и его подражателей заслуживали, по отзыву Карамзина, названіе «славяно-русскихъ». Цитируя вышеприведенное изъ «Пантеона русскіихъ авторовъ» дѣленіе нашего слога на эпохи, «Разсужденіе» замѣчаетъ: «правда, ежели французское слово *élégance* перевести по-русски *чепуха*, то можно сказать, что мы дѣйствительно и въ краткое время слогъ свой довели до того, что погрузили въ него всю полную силу и знаменованіе сего слова».

При чтеніи нѣкоторыхъ журналовъ, современныхъ книгъ Шинкова, легко понять, что возмущало его и чѣмъ онъ пользовался, какъ меткимъ орудіемъ, въ своихъ нападкахъ на новизну. Тамъ одинъ критикъ, вмѣсто разбора литературныхъ произведеній, *дѣлаетъ экзаменъ* (экзаменъ «Хорева», трагедіи Сумарокова; экзаменъ «Лизы или торжества благодарности», драмы Ильина); говорить, что у Ломоносова было больше учености, но меньше *духа* (вм. творчества, генія), нежели у Суморокова, который имѣлъ всѣ *пороки* (вм. недостатки) Корнели, не имѣя ни одной изъ его красотъ. Въ переводѣ одного романа Дюкре-Дюменля встрѣчаются выраженія: *генеральный* ключъ, дама вашего *ранга*, *мисса* (*la messe*). Геснеръ, въ предисловіи къ переводу его идиллій, названъ не геніемъ, а *женни*. Шинковъ представилъ длинный списокъ подобныхъ выраженій, изъ которыхъ, для примѣра, беремъ слѣдующія: подпирать свое мнѣніе; имена мѣлкія цѣны; голова образованная для тайной связи съ невинностью; законъ ударяетъ совѣтъ на нѣмые предметы; вѣдомственные извѣстія; казалось, что вся природа искала намъ доброправствовать; мысль перваго мая; народъ не потерялъ перваго отпечатка своей цѣны, и проч. и проч. (**).

(*) Какъ примѣръ крайней осмотрительности, ясности и точности въ рѣчахъ Ломоносова, «Разсужденіе» приводитъ слѣдующій стихъ, въ которомъ говорится о Купидоновомъ лукѣ:

Въ дождѣ *чай* повредился.

Ломоносовъ, замѣчаетъ Шинковъ, почувствовалъ, что, поставя *чай* (вмѣсто *чай*), выйдетъ изъ сего двусмысліе глагола *чай* съ именемъ *чай*, т. е. китайской травы, которую мы по утрамъ пьемъ, и для того, сокращая глаголь *чаять*, поставилъ *чай*.

(**) Такъ какъ списокъ Шинкова многими обязанъ «русскому сочиненію А. О. (Орлова): «Утѣхи меланхолинъ» (1802), то выписка изъ этой книжки будетъ не лишнею для знакомства съ смѣшными крайностями новаго слога, и выстъ съ такими же крайностями сентиментализма, къ которому мы еще возвратимся. Беремъ статью: «Чувство пріятнаго».

Неправильности новаго слога Шишковъ дѣлать на три разряда. Одни писатели, избѣгая прилежнаго чтенія русскихъ книгъ, безобразятъ родной языкъ внесеніемъ словъ ему чуждыхъ, напр. моральный, эстетическій, эпоха, гармонія, энтузіазмъ, катастрофа, акція. Другіе стараются изъ русскихъ словъ дѣлать не русскія, наприм. «настоящность», вм. настоящее время, «будущность», вм. будущее время (*). Третьи переводятъ французскія имена, глаголы и цѣлыя рѣчи изъ слова въ слово на отечественный языкъ, принимая ихъ въ томъ самомъ смыслѣ, какой они имѣютъ въ подлинникѣ; отсюда явились: переворотъ (révolution), развитіе (développement), утонченный (raffiné), сосредоточить (concentrer), трогательно (touchant), занимательно (interessant), и многія другія. Всѣ эти злоупотребленія роднаго слова произошли отъ пристрастія къ языку французскому и отъ пренебреженія славянскимъ: «Древній славенскій языкъ, отецъ многихъ нарѣчій, есть корень и начало русскаго языка, который самъ собою изобилуетъ былъ и богатъ, но еще болѣе процвѣлъ и обогатился красотами, замѣтными отъ сроднаго ему эллинскаго, на коемъ витѣствовали Гомеры, Пиндары, Демосены, а потомъ Златоу ты, Дамаскины и многіе другіе христіанскіе проповѣдники. Кто бы подумалъ, что мы, оставя сіе многими вѣками утвержденное основаніе языка своего, начали вновь созидать оный на скудномъ основаніи французскаго языка? Кому приходило въ голову съ плодородной земли благоустроенный домъ свой переносить на безплодную, болотистую землю?... Мнѣніе, что славенскій языкъ различенъ съ русскимъ и что нынѣ слогъ сей неупотребителенъ, не можетъ меня опровергнуть. Я не то утверждаю, что должно писать точно славенскимъ слогомъ, но говорю, что славенскій языкъ есть корень и основаніе русскаго языка, что онъ сообщаетъ ему богатство, разумъ, силу, красоту. Изъ него должно почерпать искусство краснорѣчія, а не изъ Боннетовъ, Вольтеровъ, Юнгевъ, Томсоновъ и другихъ иностранныхъ писателей». — Мнѣніе свое Шишковъ подтверждаетъ выписками изъ Библіи, прологовъ, четій-мирей и молитвъ, объясняя въ примѣчаніяхъ къ нимъ красоты славянскаго языка, а въ противоположность тому приводитъ одно мѣсто изъ книги, написанной французо-русскимъ складомъ, выставивъ безобразіе и отдѣльныхъ словъ и цѣлыхъ фразъ.

За тѣмъ въ «Разсужденіи» слѣдуютъ двѣ выписки: въ одной выбраны изъ новѣйшихъ сочиненій и переводовъ слова и рѣчи, несвойственныя нашему языку, съ цѣлію

Пасмурный день въ сердцѣ іюля вызвалъ насъ пользоваться воздухомъ. Предлагаю интересную прогулку въ дружескомъ кругѣ, идемъ за городъ развлечь задумчивость; поляны красоты вѣжно плѣнили насъ; поспѣвая, съ сердечнымъ удовольствіемъ входимъ въ рощу. Здѣсь зрѣніе наше находитъ разнообразныя предметы; съ непонятною пріятностію разстѣвшись въ ея сѣни, слышимъ страстную Филомелу, такую въ своихъ восторгахъ: Орфей лѣсовъ ей аккомпанируютъ. Сквозь рѣдкія деревья сей скитанъ мелькаютъ по М... дорогѣ скачущіе экипажи; далѣе съ котомками пилгримы. Между тѣмъ сокровище Цереры обращаетъ вниманіе наше. Тутъ сельская прелесть съ восхищеніемъ обозрѣваетъ созрѣвающее богатство; привѣтствуемъ ее съ нетерпѣніемъ ожидаемаго: низкій натуральный компанментъ при невинной улыбкѣ былъ отвѣтъ ея. Покоясь въ облятинѣ уединеннаго Сильвана, обитателя приносновенной чаши, возлечимъ на мшистомъ бархатѣ прекрасной лужайки, пригласившей насъ на ковры ея, читаемъ творенія мужей знаменитыхъ, мирно анлодируемъ изящность идей ихъ. Сблизился вечеръ, — въ полномъ наслажденіи чувствъ возвращаемся; вкусный кофе пьетъ насъ аппетитно, и разговоръ друзей неощутительно застаетъ ночь. Облобызавшись взаимно съ признательностію къ подателю благъ, предпринимая въ послѣдствіи заниматься прохладою. Тихій, сладкій сонъ заключаетъ времяпровожденіе дня того... Священная природа! въ храмѣ твоёмъ токмо человѣкъ можетъ существенно блаженствовать.

(*) Послѣ этого, замѣчаетъ Шишковъ, прошедшее время дозволено будетъ называть «прошедшность», человѣческое жилище — «человѣчатнею» (по подобію голубятни), а березовое или дубовое дерево — «березятной», «дубовятной» (по подобію телатини).

обнаружить вводимыя странности; вторая есть «опытъ словаря» и содержитъ въ себѣ слова и рѣчи изъ книгъ церковныхъ, съ объясненіемъ ихъ знаменованія и съ цѣлію показать, что, вмѣсто нелѣпыхъ новостей, должно прибѣгать къ памятникамъ духовной литературы, какъ источнику истиннаго краснорѣчія. Последняя выписка замѣчательна тѣмъ, что рекомендуетъ славянскія и русскія слова, которыми, по мнѣнію Шишкова, удобно могли бы замѣниться нововведенія. Онъ удивляется, зачѣмъ явились *сцена, актъ, меланхолія, мисологія, рецензія, героизмъ*, когда у насъ есть *явленіе, дѣйствіе, уныніе, баснословіе, разсматриваніе книгъ, добледушіе*. Понятіе объ *актерѣ*, говоритъ онъ, дается словомъ *лицедѣй*; новое выраженіе: *развитіе понятій* уступаетъ болѣе намъ свойственному: *прозябніе понятій*. Заброшенные слова: *лысто, непищевать, овъ, зане, поне, убо, иже, яко*, онъ находитъ хорошими и выразительными. Еще прежде «опыта словаря», онъ хвалилъ русскія переложенія геометрическихъ терминовъ, въ старинномъ переводѣ: «*Эвклидовыхъ началъ*»: *минующія черты* (параллельныя линіи), *подтягивающая* (хорда), *размѣръ* (діаметръ), *ось* (центръ), равно какъ, съ другой стороны, осуждалъ слова: *обработанность, обдуманность, начитанность*, замѣчая, что послѣ этого начнутъ, пожалуй, писать: *летательность, насмотрѣнность* и т. п.

По изложенію содержанія книги Шишкова не трудно опредѣлить существенныя черты его ученія, равно какъ и то, что въ этомъ ученіи было справедливо и что ошибочно. Онъ остался вѣренъ своимъ взглядамъ до конца полемики и даже до конца своей жизни. Всѣ прочіе труды его только объясняли и упрямо отстаивали положенія, высказанныя впервые «Разсужденіемъ». Дальше ихъ онъ не пошелъ, будучи убѣжденъ въ ихъ непогрѣшимости.

Справедливая и вмѣстѣ полезная сторона протеста заключалась въ томъ, что онъ обличилъ дѣйствительныя заблужденія и некоторыхъ подражателей Карамзина. Онъ указалъ ихъ неразумное пристрастіе къ словамъ и оборотамъ иностраннымъ, отъ чего наносится ущербъ родному языку, и старался направить ихъ на ближайшія, болѣе плодотворныя пособія для совершенства русской литературной рѣчи. Понятія Шишкова служили реакціей крайностямъ новаго слога, хотя и ей самой суждено было скоро удариться въ крайность.

Но ошибочныя взгляды «Разсужденія» перевѣшивали его справедливую мысль.

Во-первыхъ, въ своей погонѣ за дѣйствительными уклоненіями отъ лексическихъ и синтаксическихъ особенностей русскаго языка, Шишковъ совершенно упустилъ изъ виду сущность реформы. Онъ какъ бы не замѣтилъ или не хотѣлъ замѣтить отличій новой, карамзинской рѣчи. А вѣдь въ нихъ-то и заключался весь вопросъ. Литературная рѣчь Карамзина отличалась не примѣсю къ ней иностранныхъ словъ и фразъ, а особымъ строемъ, сравнительно съ господствовавшимъ до нея слогомъ. Надобно было рѣшить, законенъ или незаконенъ этотъ новый строй, отвѣчаетъ ли онъ или не отвѣчаетъ истиннымъ требованіямъ русской стилистики. Ничего подобнаго не встрѣчаемъ у Шишкова: онъ занялся разборомъ второстепенныхъ предметовъ, которые хотя касались нововведенія, но не составляли его сущности. Поэтому удары Шишкова падали собственно не на Карамзина, а на его послѣдователей, и притомъ самаго низкаго сорта, за которыхъ онъ не отвѣчалъ. Злоупотребленіе реформой еще не доказывало ложности или непригодности реформы. Самъ преобразователь могъ поступиться нѣсколькими ошибками, отысканными въ его сочиненіяхъ, нисколько не роняя своего дѣла и не умаляя своей заслуги.

Во-вторыхъ, рекомендуя писателямъ изученіе славянскаго языка, Шишковъ невѣрно

понималъ его отношеніе къ русскому. Для него оба эти языка были одно и тоже. Онъ не допускалъ между ними различія и кромѣ того смѣшивалъ языкъ съ слогомъ, употребляя выраженія: славянскій языкъ и славянскій слогъ, какъ тождественныя. Мы увидимъ ниже его усилія разъяснить свою коренную мысль о безразличіи двухъ языковъ.

Въ - третьихъ, крайность мнѣній Шишкова обнаружилась чрезвычайнымъ его пристрастіемъ къ славянскому языку, не уступавшимъ пристрастію другой стороны къ французскому. Почти каждый славянизмъ казался ему хорошимъ потому единственно, что онъ славянизмъ. Выше указаны примѣры словъ, которыми онъ думалъ замѣнить не только нововведенныя, но и давно сдѣлавшіяся осѣдлыми. Въ этомъ дѣлѣ онъ грѣшилъ вдвойнѣ: и противъ логическихъ, и противъ художественныхъ началъ словообразованія. Недостатокъ вкуса и такта былъ причиною многихъ, часто забавныхъ его погрѣшностей.

Въ-четвертыхъ, ученіе Шишкова о томъ, какимъ образомъ неологизмы являются и утверждаются въ языкѣ, не могло быть защищаемо. Приговоры по этому дѣлу онъ предоставлялъ исключительно суду грамматическаго устава, который, по его мнѣнію, долженъ исходить, тоже исключительно, изъ началъ и соображеній логическихъ. Исторія языка, разсмотрѣніе его организма показали односторонность такого взгляда. Образованіе словъ, конечно, подчиняется законамъ логики, но не опредѣляется ими вполне. Не однимъ умомъ творится языкъ: въ этомъ творествѣ участвуютъ и другія способности человѣческаго духа. Указать участіе каждой—задача очень трудная; но нѣтъ возможности рѣшить ее только путемъ логическимъ, или рѣшеніе выйдетъ произвольнымъ, натянутымъ, фальшивымъ. Далѣе увидимъ, какъ это заблужденіе Шишкова было отвергнуто Карамзинымъ, когда реформа уже выиграла свою тяжбу. Случалось впрочемъ, что Шишковъ преслѣдовалъ слова не на основаніи ихъ низкой пробы, а единственно потому, что они новыя, что они, такъ сказать, пущены въ свѣтъ на его вчерашней памяти, хотя въ тоже время допускалъ старыя, ничѣмъ не лучшія по своему логическому и художественному качеству. Такъ онъ преслѣдовалъ нарѣчія: «трогательно», «занимательно». Если бы, разсуждалъ онъ, эти нарѣчія были свойственны нашему языку, то давно бы уже были введены въ употребленіе, какъ «желательно», «чаятельно», «сомнительно». Но, принявъ давность и мѣркою хорошаго и оправданіемъ дурнаго, слѣдовало бы не забывать, что и неологизмы рано или поздно потеряютъ свою молодость, и что судъ надъ ними въ такомъ случаѣ всего лучше предоставить времени.

Наконецъ въ-пятыхъ, хотя Шишковъ и зналъ многіе языки, но отъ знанія до учености еще далеко. Его сужденіямъ о языкѣ не доставало твердой филологической основы, почему его противникамъ не трудно было вести съ нимъ битву. Онъ по-своему толковалъ значеніе словъ и отличительныя свойства языковъ, опираясь на расчеты личной логики, на свои собственные соображенія, а не руководствуясь законами историческо-сравнительнаго языкознанія. Мало сказать, что замѣтки его ошибочны: часто онѣ поражаютъ своею дикостью или вызываютъ улыбку странностью. Такъ, напр., онъ почитаетъ французское слово *trésor* составленнымъ изъ *très* (очень, весьма) и *or* (золото), и отсюда выводитъ его отличіе отъ слова *сокровище*, не догадавшись сличить его съ латинскимъ *thesaurus*, отъ котораго оно произошло.

Въ одинъ годъ съ книгою Шишкова вышелъ разборъ ея, написанный Макаровымъ, издателемъ Московскаго Меркурія (*). Исходная мысль критика—непрерывное развитіе языка, которое онъ противопоставляетъ его установленности, поддерживаемой Шишковымъ. Всѣ языки съ теченіемъ времени мѣняются и ветшаютъ. Изъ общаго закона

(*) 1803, № 12.

не изъять и нашъ. Не только славянскій языкъ, но и тотъ, которымъ писалъ Ломоносовъ, уже устарѣлъ и не можетъ болѣе служить примѣромъ для прозы. Движеніе языка, появленіе въ немъ новыхъ словъ идетъ за движеніемъ просвѣщенія, за появленіемъ новыхъ предметовъ и понятій. Умственные пріобрѣтенія обогащаютъ и словарь. Такова сущность главной мысли Макарова, который подкрѣпляетъ ее примѣрами: «Удержать языкъ въ одномъ состояніи невозможно: такого чуда не бывало отъ начала свѣта. Языкъ Гомера не перемѣнился ли совершенно? Потомки Перикловъ, Фокіоновъ и Демосфеновъ должны, какъ чужестранцы, учиться тому, которымъ предки ихъ гремѣли на каедрѣ аѳинской (*). Русская Правда однимъ ли слогомъ писана съ Уложеніемъ царя Алексѣя Михайловича? Всякій ли французъ можетъ нынѣ понимать Монтаня или Рабеле? и должно ли винить писателей вѣка Людовика XIV за то, что они не подражали писателямъ временъ Франциска I или Генриха IV? Должно ли винить Теофана, Кантемира и Ломоносова, что они первые удалились отъ своихъ предшественниковъ, которыхъ сочинитель «Разсужденія о слоgѣ» предлагаетъ намъ теперь въ образецъ? Языкъ слѣдуетъ всегда за науками, за художествами, за просвѣщеніемъ, за правами, за обычаями. Придетъ время, когда и нынѣшній языкъ будетъ старъ».

Отъ главнаго своего тезиса Макаровъ переходитъ къ другимъ, менѣе существеннымъ. Онъ признаетъ фактъ, возбудившій негодованіе Шишкова, но въ тоже время показываетъ односторонность его критики. Дѣйствительно, говоритъ онъ, плохіе писатели употребляютъ иностранныя слова безъ разсудка и вкуса; но развѣ виноватъ талантъ, если нашлись бездарные ему подражатели? Десятки, сотни ошибочныхъ фразъ, выбранныхъ изъ книгъ разнаго сорта, доказываютъ только, что у насъ есть дурныя книги, но несправедливо судить по нимъ, какъ это дѣлаетъ Шишковъ, о состояніи языка, о качествѣ современной словесности.

Далѣе Макаровъ отвергаетъ мысль Шишкова, будто книжный языкъ долженъ быть какимъ-то особеннымъ, противопоставляемымъ низкому, простонародному. По мнѣнію Макарова, есть и долженъ быть языкъ средній, который стараются образовать пышнѣшіе передовые писатели, и для общества и для литературы, чтобы *писать какъ говорятъ и говорить какъ пишутъ*. Короче, онъ хочетъ совершенно упразднить книжный языкъ, не имѣющій никакихъ свойствъ живой рѣчи. Это мнѣніе замѣчательно. Оно дополняетъ правило, которому слѣдоваль Карамзинъ (*писать, какъ говорятъ*), другимъ столь же законнымъ: *и говорить, какъ пишутъ*. Первое безъ втораго было бы односторонне. Требуя сближенія литературной рѣчи съ разговорною, необходимо требовать и возвышенія разговорной до уровня литературной. Каждая изъ нихъ имѣетъ свойственныя ей преимущества. На сторонѣ разговорнаго языка начало жизни, начало движенія; на сторонѣ языка литературнаго начало вкуса, начало искусства, образуемаго чувствомъ красоты и мыслию. Языкъ литературный почерпаетъ матеріалъ и живость изъ языка разговорнаго, но самъ въ свою очередь сообщаетъ послѣднему вкусъ, красоту, обработку (**).

Въ послѣдней замѣткѣ Макарова выражается боязнь, что теорія Шишкова, будучи приведена въ дѣйствіе, повредитъ ходу нашего образованія, которое должно быть евро-

(*) Эими словами критикъ далъ на себя оружіе Шишкову. Я то и говорю, отвѣчалъ послѣдній: старинный языкъ выродился въ новый, варварскій. Карамзинъ досадовалъ на своего защитника за такой промахъ.

(**) Москвитянинъ, 1842, № 3, отдѣлъ критики, статья Шевырева.

пейскимъ: «Въ отношеніи къ обычаямъ и понятіямъ мы теперь совсѣмъ не тотъ народъ, который составляли наши предки; слѣдственно хотимъ сочинять фразы и производить слова по своимъ понятіямъ, нынѣшнимъ, уметвуя какъ французы, какъ немцы, какъ все нынѣшніе просвѣщенные народы. Неужели сочинитель, для удобнѣйшаго возстановленія стариннаго языка, хочетъ возвратитъ насъ и къ обычаямъ и къ понятіямъ стариннымъ?... Мы не смѣемъ остановиться на сей мысли». Боязнь Макарова вызвана многими мѣстами «Разсужденія о слогѣ», изъ которыхъ видно, что авторъ его связываетъ вопросъ о языкѣ съ вопросомъ о воспитаніи, народныхъ обычаяхъ и нравахъ, религіи,—не только связываетъ, но и подчиняетъ первый второму. Филологическій процессъ ведется у Шишкова параллельно съ другими, болѣе важными процессами, и въ тѣсной отъ нихъ зависимости. Онъ былъ правъ, не разсѣкая тѣхъ элементовъ, которые самою жизнью сплочены органически, такъ что при возмущеніи одного изъ нихъ не остаются покойными и все остальные. Недостатки или «худости» новаго слога Шишковъ объясняетъ предпочтеніемъ французскаго языка нашему коренному, древнему, богатому. А источникъ такого предпочтенія въ нерусскомъ воспитаніи русскихъ людей. Иностранцы, говоритъ онъ, научили насъ удивляться тому, что они сами дѣлаютъ, презирать благочестивые нравы предковъ нашихъ и насмѣхаться надъ всеми ихъ мнѣніями и дѣлами. Что же отсюда слѣдуетъ? Отсюда слѣдуетъ, что для уничтоженія зла надобно поразить его въ самомъ корнѣ. «Доколѣ не перестанемъ мы ненавидѣть свое и любить чужое, до тѣхъ поръ ничего у насъ не будетъ. Народъ, который все перенимаетъ у другаго народа, его воспитанію, его одеждѣ, его обычаямъ послѣдуетъ,—такой народъ уничижаетъ себя и теряетъ свое собственное достоинство». Выказанною здѣсь мыслию и завершается «Разсужденіе» Шишкова: «дѣлайте и говорите, что вамъ угодно, господа любители чужой словесности; но сія есть непреложная истина, что доколѣ не возлюбимъ мы языка своего, обычаевъ своихъ, воспитанія своего, до тѣхъ поръ во многихъ нашихъ наукахъ и художествахъ будемъ мы далеко позади другихъ. Надобно жить своимъ умомъ, а не чужимъ».

Другой отвѣтъ Шишкову, подъ названіемъ: «Письмо деревенскаго жителя» (*), принадлежитъ Каченовскому, бывшему потомъ профессоромъ въ московскомъ университетѣ. Онъ прибавляетъ мало новаго къ критикѣ Московскаго Меркурія. Подобно Макарову, Каченовскій признаетъ злоупотребленіе иностранными словами, но отличаетъ его отъ разумнаго ихъ заимствованія. Несправедливо, говоритъ онъ, осуждать хорошее, на ряду съ дурнымъ. Слова и даже выраженія, введенныя нашими лучшими писателями и переводчиками, ни мало не оскорбили бы нашихъ праѣдковъ, если бы они жили въ одно съ нами время и если бы не нашли въ родномъ языкѣ приличныхъ реченій для выраженія современныхъ утонченныхъ понятій (**). Подобному Макарову, Каченовскій видитъ въ обновленіи языковъ общій законъ ихъ, указанный еще Гораціемъ (***), и не считаетъ

(*) Сѣверный Вѣстникъ, 1804, № 1.

(**) Замѣтку Шишкова о словѣ *чать*, вм. *чай* (см. выше), критикъ отражаетъ другимъ приѣмъ изъ Ломоносова: «И неумѣющій читать пойметъ тотчасъ по смыслу рѣчи, что тутъ не означается напитокъ; а знающій исторію знаетъ также, что во время Анакреона (которому подражалъ Ломоносовъ) чай не только еще не пивали, но онъ былъ и неизвѣстенъ, слѣд. въ дождѣ ему повредиться никакъ нельзя было. Мнѣ кажется, поставивъ *чать* вм. *чай*, Ломоносовъ затмилъ смыслъ, потому что частичку *чать* немногіе теперь понимаютъ. И почему Ломоносовъ не почувствовалъ двусмыслия въ другихъ своихъ стихахъ:

Не *тая* ли на насъ взираетъ,
Что матерію все зовутъ?

Не *тая* ли можно принять за дѣепричастіе глагола *таять*.

(***) Посланіе къ Пизонамъ, стихи 60—64.

порокомъ счастливую отважность писателя, который, по мѣрѣ надобности и въ духѣ своего языка, творитъ неологизмы.

Въ отвѣтъ «Московскому Меркурію» и «Сѣверному Вѣстнику» Шишковъ написалъ «Прибавленіе къ сочиненію, называемому «Разсужденіе о старомъ и новомъ слоgѣ россійскаго языка», или собраніе критикъ, изданныхъ на сію книгу, съ примѣчаніями на оныя» (1804). Защитникъ стараго слога не отрекся ни отъ одного изъ своихъ прежнихъ положеній, но старался только подкрѣпить ихъ новыми доводами. Онъ настаивалъ на тождествѣ языковъ русскаго и славянскаго, яеиѣе и яеиѣе давалъ знать критикамъ, что подъ русскимъ онъ разумѣетъ только нарѣчіе, или разговорный нынѣшній языкъ. «Если славенскій языкъ отдѣлить отъ россійскаго, то изъ чего же сей послѣдній состоятъ будетъ? развѣ изъ однихъ татарскихъ словъ, да изъ площадныхъ и низкихъ?.. Богатство нашего языка состоитъ въ славянскомъ языкѣ; россійскій языкъ есть его чадо, заимствующее отъ него свое украшеніе. Французскій языкъ хотя и происходитъ отъ латинскаго, но не такъ близокъ къ нему, какъ русскій къ славянскому, *между которыми никакою существеннаго различія полагать не можно*. Запрети намъ писать: конь, всадникъ, возница, вертоградъ, храмъ, молніеносный, быстропарящій и тому подобныя слова, имѣющія свой корень въ славянскомъ языкѣ,—словесность наша не лучше будетъ камчадалской». Слѣдствіе этого ясно: нашимъ писателямъ необходимо приобѣгать къ славянскому, который обогащаетъ русскій новыми матеріалами и даетъ способъ обходиться безъ иностранныхъ. Въмѣсто словъ: «горизонтъ», «аттентюдъ», «адлея», Шишковъ предлагаетъ: «обзоръ», «постава», «омѣна». Последнее находится въ притчахъ Соломона (гл. VII, ст. 25): «да не прельстившися въ омѣнахъ ея» (прелестницы). Для чего бы, спрашиваетъ онъ, и нынѣ, въ повѣйшемъ нашемъ языкѣ, не сказать: «гнусень есть ядца плоти себѣ подобнаго», или: «бездушень есть пійца крови своего ближняго»?

О сближеніи книжнаго языка съ разговорнымъ Шишковъ не хотѣлъ и слышать, по той причинѣ, что языкъ литературный обыкновенно дѣлится на высокій, средній и низкій, а въ разговорномъ такихъ подраздѣленій не существуетъ. Хотѣтъ писать какъ говоримъ и говорить какъ пишемъ—по его мнѣнію, тоже, что хотѣтъ поравнять орла съ синицей или носъ свой съ головою своею.

На вышеприведенныя слова Макарова: «ужели сочинитель (*) хочетъ возвратитъ насъ и къ понятіямъ и къ обычаямъ стариннымъ?.. мы не смѣемъ остановиться на сей мысли»,—Шишковъ даетъ откровенный и патетическій отвѣтъ, противъ котораго, какъ противъ истины, ничего не могли возразить его противники, сами сохранявшіе уваженіе къ прошлому, но не желавшіе остановиться на прошломъ и требовавшіе прогресса, т. е. большаго и большаго сближенія съ Западною Европою. «Если вы не смѣете», говоритъ Шишковъ, «такъ и смѣю остановиться здѣсь и рассмотреть вашу мысль. Почему обычай и понятія нашихъ предковъ кажутся вамъ достойными такого презрѣнія, что вы не можете и подумать объ нихъ безъ крайняго отвращенія? Нравы и обычай во всякомъ народѣ бываютъ троякаго рода: добрые, худые и невинные, т. е. ни худа, ни добра въ себѣ не заключающіе. Мы видимъ въ предкахъ нашихъ примѣры многихъ добродѣтелей: они любили отечество свое, тверды были въ вѣрѣ, почитали царей и законы; свидѣлствуютъ въ томъ Гермогены, Филареты, Пожарскіе, Трубецкіе, Палицыны, Мишны, Долгорукіе и множество другихъ. Храбрость, твердость духа, терпѣливое повиновеніе законной власти, любовь къ ближнему, родственная связь,

(*) т. е. Шишковъ.

безкорыстіе, вѣрность, гостепріимство и иныя многія достоинства ихъ украшали. Одно сіе изреченіе: «а кто измѣнитъ или нарушитъ данное слово, тому да будетъ стыдно», показывается уже, каковы были ихъ нравы. А гдѣ нравы честны, тамъ и обычаи добры. Чтожъ въ предкахъ нашихъ было худаго, и чѣмъ докажете вы, что другіе народы были ихъ лучше? Буде же мы за худость обычаевъ ихъ возьмемъ, что они не все то знали, что мы нынѣ знаемъ, такъ, во первыхъ, это не ихъ вина: время на время не походить; а во вторыхъ, просвѣщеніе не въ томъ состоитъ, чтобъ напудренный сынъ смѣялся надъ отцемъ своимъ ненапудреннымъ. Мы не для того обрили бороды, чтобъ презирать тѣхъ, которые ходили прежде или ходятъ еще и нынѣ съ бородами; не для того надѣли короткое нѣмецкое платье, дабы гнушаться тѣми, у которыхъ долгіе зипуны. Мы выучились танцовать менуэты; но за что же насмѣхаться намъ надъ сельскою пляскою добрыхъ и веселыхъ юношей, питающихъ насъ своими трудами? Они такъ точно пляшутъ, какъ бывало плясывали наши дѣды и бабки. Должны ли мы, выучась пѣть итальянскія аріи, возненавидѣть подблюдныя пѣсни? Должны ли о святой недѣлѣ изломать всѣ лубки для того только, что въ Парижѣ не катаютъ яицами? Просвѣщеніе велитъ избѣгать пороковъ, какъ старинныхъ, такъ и новыхъ; но просвѣщеніе не велитъ, ѣдучи въ каретѣ, гнушаться телѣгою. Напротивъ, оно, соглашаясь съ естествомъ, раждаетъ въ душахъ нашихъ чувство любви даже и къ бездушнымъ вещамъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ родились предки наши и мы сами».

Протестъ Шишкова подѣйствовалъ на многихъ. У стараго слога явились свои вонтели, какъ у новаго были свои, хотя надобно сказать, что первые уступали вторымъ въ дарованіи. Нѣкоторые журналы сочувствовали идеямъ «Разсужденія». На первыхъ порахъ сочувствіе ограничивалось предпочтеніемъ церковно-славянскихъ словъ и формъ русскимъ, или замѣною послѣдними словъ иностранныхъ, которые давно уже существовали въ нашемъ языкѣ. Сѣверный Вѣстникъ, гдѣ помѣщена была критика на книгу Шишкова, подтверждалъ ученіе послѣдняго, что русскій и славянскій языки всегда составляли одинъ и тотъ же языкъ (*). «Журналъ Россійской Словесности», Брусилова (1805), дѣлая выходки противъ варваризмовъ, совѣтовалъ «гармонію» и «монотонію» замѣнить «согласіемъ» и «единообразіемъ». Но главнымъ притономъ идей Шишкова была Россійская Академія, гдѣ онъ распоряжался какъ хозяинъ. Въ засѣданіяхъ ея представлялись переводы иностранныхъ словъ на русскій языкъ (**), конечно съ тою цѣлію, чтобы исподволь изгнать вошедшіе къ намъ варваризмы, о чемъ, съ свойственною ему живостью, хлопоталъ еще Сумароковъ (***). Переводы не отличались искусствомъ, да и самая задача показывала невѣрный взглядъ на то, какимъ образомъ языкъ обогащается новыми словами. Члены Академіи шли въ этомъ случаѣ за Шишковымъ, который изъ иностранныхъ словъ соглашался терпѣть одни техническіе терми-

(*) Въ статьѣ: «Изображеніе просвѣщенія Россіянъ (1804, № 2).

(**) Вотъ опыты этихъ переводовъ: авторитетъ (превосходство), адресъ (надпись), адъютантъ (пріобщникъ), актеръ (лицедѣй), аллея (прохожъ, просадъ), анаграмма (буквопреложеніе), антипатія (противустрастіе), ассистентъ (присущникъ), аудиторія (слушалище), аудіенція (пріемъ).— Атмосфера и артиллерія остались безъ перевода.

(***) О истребленіи чужихъ словъ изъ русскаго языка (Соч. Сумарокова, ч. 9). Мысль сатирика вѣрна: «воспріятіе чужихъ словъ, а особливо безъ необходимости, есть не обогащеніе, а порча языка». Въ числѣ ненужныхъ варваризмовъ онъ ставилъ удержавшіеся въ нашемъ языкѣ: фрукты, сюртукъ, сервисъ (столовый приборъ), супъ, гувернантка, валетъ (въ картахъ), фершель.

ны или, какъ онъ выразился, «художественныя названія», и то временно—до изобрѣтенія соотвѣтствующихъ имъ русскихъ (*).

Чтобы подкрѣпить себя какимъ-либо авторитетомъ, Шишковъ напечаталъ «Переводъ двухъ статей изъ Лагарпа» (1808), снабдивъ ихъ примѣчаніями (**). Обѣ статьи имѣютъ прямое отношеніе къ мыслямъ переводчика. Въ первой изъ нихъ (сравненіе французскаго языка съ греческимъ и латинскимъ) Лагарпъ говоритъ о тѣхъ французскихъ писателяхъ, которые, при всей скудости своего языка, умѣли его вычистить, расширить, обогатить: слѣд. она соотвѣтствуетъ той части «Разсужденія», въ которой старшій слогъ выставляется какъ образецъ. Вторая статья (о украшеніяхъ, въ краснорѣчій употребляемыхъ) направлена противъ тѣхъ авторовъ, которые, оставивъ путь, проложенный ихъ разумными предшественниками, думаютъ, помимо всякихъ знаній и упражненій въ языкѣ, открывать новыя стези, насаждать новую словесность: поэтому она отвѣчаетъ той части «Разсужденія», гдѣ обличаются литературныя новизны.

Для Шишкова, первая статья важнѣе по тому заключенію, къ которому она его приводитъ. Если, какъ доказано Лагарпомъ, французскій языкъ бѣденъ, сравнительно съ латинскимъ и греческимъ, особенно въ словорасположеніи; то позволительно ли увлекаться имъ русскому? Если славено-россійскій языкъ, древнѣй и первороднѣй, обладаетъ всѣми преимуществами, которыя Лагарпъ находитъ въ языкахъ древнихъ; то какъ же русскому читателю не обращаться къ нему и не черпать изъ него, какъ изъ чистаго и неиссякаемаго источника? Въ этомъ языкѣ нашихъ предковъ, дошедшемъ до насъ чрезъ священныя книги, Шишковъ видитъ «плодъ долговременнаго умствованія», утверждая притомъ, что онъ не подвергался почти никакой перемѣнѣ отъ принятія христіанства. Чтобы объяснить такой, по его мнѣнію, несомнѣнный фактъ, онъ прибѣгаетъ къ гипотезѣ: «До введенія у насъ христіанства не видимъ никакихъ признаковъ словесности. Была ли она прежде? не можемъ сказать ни утвердительно, ни отрицательно. Мы находимъ только въ первоначальныхъ переводахъ съ греческаго языка такую славенскаго языка силу и богатство, до котораго онъ не могъ, отъ устнаго употребленія, безъ процвѣтанія словесности достигнуть. Сверхъ сего корни многихъ, даже греческихъ и латинскихъ словъ, находимъ мы въ славенскомъ и отъ него происшедшихъ языкахъ; слѣд. почти несомнѣнно, *были древнія славенскія сочиненія, до насъ не дошедшія, утраченныя въ разныя съ Россіей перемѣны.*

Забываясь объ очищеніи русскаго языка отъ варваризмовъ, Шишковъ въ предувѣдомленіи ко второй статьѣ излагаетъ мысли о переводѣ иностранныхъ техническихъ словъ на русскій языкъ. Онъ изумляется безобразію, до котораго дошли нѣкоторые переводчики и авторы (***) и употребляетъ *краснословъ, вещесловіе, словоизвѣтіе, иноименіе, инословіе* вмѣсто ораторъ, матерія, фигура (риторическая), метонимія, аллегорія. Изъ двухъ русскихъ словъ, выражающихъ одно и тоже понятіе, онъ всегда почти отдастъ предпочтеніе старинному: такъ онъ хвалитъ слово «искидокъ», какъ хорошую замѣну «изверга». Онъ сѣтуетъ, почему мы не только не смѣемъ писать «грядый», «созерцаый», но даже хотимъ истребить «грядуцій», «созерцающій», и

(*) Многія изъ этихъ названій почиталъ онъ ненужными, такъ какъ они удобно замѣняются отечественными, напр.: перпендикуляръ (отвѣсъ), астрономія (звѣздохетство), геометрія (землемѣріе), физика (естествословіе).

(**) Переведены только нѣкоторыя мѣста ихъ, пужныя для примѣчаній, которыя поэтому и служатъ дополненіемъ къ «Разсужденію.»

(***) Примѣръ взятъ изъ книги «Пролѣзіа къ медицинѣ, какъ основательной наукѣ, отъ Давида Веланскаго» (1805): Электричество есть *феноменъ динамическаго процесса* тѣлъ или одной изъ *категорій*, по которымъ *формируется конкретное*, и проч.

вмѣсто нихъ писать: «тотъ, который идетъ», «тотъ, который поглядываетъ.» Сложныя слова (напр. древо *благодѣтельнолиственное*), это особенное преимущество языковъ греческаго и русскаго, приводить его въ восхищеніе (*).

Примѣчанія къ переводу Лагарповыхъ статей подверглись болѣе основательной критикѣ, чѣмъ «Разсужденіе о старомъ и новомъ слоgѣ» (**). Критикъ (Д. В. Дашковъ), подобно Макарову, признаетъ справедливую сторону мыслей Шишкова. Онъ согласенъ, что не должна быть терпима варварская смѣсь, какою писаны многія современныя сочиненія; но вмѣстѣ съ этимъ ему видны и недостатки примѣчаній.

Первый недостатокъ состоитъ въ излишнемъ расширеніи выводовъ, въ неправильномъ обобщеніи частныхъ. Есть, конечно, писатели, не умѣющіе пользоваться матеріаломъ и чужихъ языковъ, и своего собственнаго, но есть и такіе, которые удачно переносятъ къ намъ иностранныя слова и столь же удачно обогащаютъ литературный языкъ новыми выраженіями. Шишковъ ратуетъ противъ первыхъ, а вторые какъ бы не существуютъ для него, или существовали только до Карамзина. Что слѣдуетъ отнести единственно къ злоупотребленію предметомъ, онъ относитъ къ употребленію предмета вообще.

Второй недостатокъ—частію парадоксальныя, частію преувеличенныя мнѣнія объ особенностяхъ русскаго языка и о погрѣшностяхъ новаго слога. Самый главный между парадоксами—смѣшеніе славянскаго языка съ русскимъ. Нельзя почитать ихъ тождественными, хотя одинъ происходитъ отъ другаго, равно какъ французскій языкъ не одно и тоже съ латинскимъ, его родоначальникомъ. Мы должны прибѣгать къ славянскому за помощію, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы заимствованныя изъ него выраженія и обороты не были противны нашему собственному. Она особенно важна для возвышеннаго слога; однакожъ возвышенный слогъ, въ который славянскія реченія и обороты вошли, какъ вспомогательное средство, не превратится отъ того въ славянскую рѣчь: это будетъ все же рѣчь русская. Такъ названный Шишковымъ «славено-россійскій» языкъ есть, слѣдовательно, мнимый. Раздѣленіе его на три рода: высокій, средний и низкій, изъ которыхъ къ первому относится чистый славянскій языкъ, а къ послѣднему простонародный, безъ всякой примѣси языка славянскаго, противорѣчитъ названію. Когда въ какомъ-либо родѣ нѣтъ одной составной стихіи (славянской или русской), тогда названіе «славено-россійскій», прилагаемое ко всѣмъ родамъ, невѣрно. И такъ мы имѣемъ два языка: славянскій и русскій, между которыми есть существенныя различія. Если бы они составляли одно и тоже, то къ чему предосторожности, рекомендуемыя Шишковымъ, касательно надлежащаго употребленія того и другаго въ разныхъ родахъ слога? Кто говоритъ или пишетъ на одномъ, тотъ, стало быть, говорить или пишетъ въ тоже время и на другомъ, ничѣмъ отъ перваго не отличающемся.

Вопреки мнѣнію, что языкъ тѣмъ богаче и сильнѣе, чѣмъ онъ древнѣе и меньше претерпѣлъ измѣненій, Дашковъ хвалитъ обогащеніе языка новыми словами, какъ знаками новыхъ идей, слѣд. стоитъ на сторонѣ прогрессивнаго его движенія, соотвѣт-

(*) «Разсвѣтъ полночи» (1804), собраніе стихотвореній Семена Боброва, заключаетъ въ себѣ, между прочимъ, слѣдующія выраженія: моря *гороносныя* (по сравненію кораблей съ горами); гробъ *водосланный* (море—отъ соленой, сланой воды); *кровозмечное* лице (лице—кровь съ молокомъ); *свѣт.получинный*; въ одеждѣ скорби *слезошвенной*; музы въ плачѣ *растопленны* и пр. Въ эпиграммахъ Батюшкова и кн. Вяземскаго, Бобровъ является подъ именемъ *Бибриса*, выпсреннаго поэта:

Нѣтъ спора, что Бибрисъ боговъ языкомъ пѣлъ:

Изъ смертныхъ-бо никто его не разумѣлъ (*Кн. Вяземскій*).

Какъ трудно Бибрису со славою ужиться:

Онъ пьетъ, чтобы писать, и пишетъ, чтобы напиться (*Батюшковъ*).

(**) Цвѣтникъ, издаваемый А. Измайловымъ и П. Никольскимъ, 1810 г. №№ 11 и 12.

ственно успѣхамъ образованности. Было бы только нововведеніе хорошо, а у кого оно взято—у грековъ или у французовъ—все равно. Самъ противникъ новизны, волею или неволею, платить ей дань и въ переводѣ Лагарпа употребилъ фразу: «говорить воображенію», до него не употреблявшуюся.

Разсматривая особенности языка, надобно выставять дѣйствительно существующія и въ томъ значеніи, какое онѣ имѣютъ на самомъ дѣлѣ, а не преувеличивать ихъ и не выдумывать небывалыя. Шишковъ въ-частую грѣшитъ на этомъ пунктѣ, и критика ловко подмѣчаетъ его грѣшки, а иногда и грѣхи. Мы видѣли, онъ осуждалъ тѣхъ, которые вмѣсто: *грядый, созерцаый, грядущій, созерцающій*, въ важныхъ сочиненіяхъ пишутъ: *тотъ, который идетъ, тотъ, который поглядываетъ*, а потомъ отвергалъ и окончанія на *щій*, какъ непріятныя для слуха. Дашковъ возражаетъ: «за чѣмъ отнимать у писателя свободу употребить по произволу то или другое выраженіе, когда оба не противны свойству языка нашего?» Правда, Державинъ сказалъ:

Живыи въ движеніи вещества;

но «если бы въ прекрасныхъ стихахъ:

Царямъ подвластенъ міръ, царя подвластенъ Богу,
Тому, кто съ облачныхъ высотъ
Гигантамъ въ адъ отверзъ дорогу,
Кто маніемъ бровей колеблетъ сводъ небесъ,

вмѣсто: *тому, кто отверзъ, кто колеблетъ*, поэтъ непременно долженъ былъ поставить: *отверзшему, колеблющему*, то могли ли бы выдти такіе стихи? Или:

Въ отвѣтъ на вздохъ мой, вѣтръ *ревущій*
И ключъ въ гранитно дно *біющій*
Шумятъ сквозь вѣтвіа деревьевъ.

Въ этихъ стихахъ конечно *ревущій, біющій* гораздо лучше и удобнѣе для стихотворца, нежели *тотъ, который реветъ или бьетъ*; но захотѣлъ ли бы онъ промѣнять сіи причастія на славянскія: *ревѣй и біѣй?*» Кромѣ того, критика обличаетъ непоследовательность Шихкова: осуждая причастія на *щій*, онъ, какъ бы забывшись, любитъ примѣрами изъ похвальнаго слова Петру (Ломоносова), гдѣ въ немногихъ строкахъ употреблено много такихъ причастій.

Свободное расположеніе словъ въ нашемъ языкѣ есть важное его преимущество, но не слѣдуетъ восторгаться имъ безусловно: оно имѣетъ границы, подлежитъ закону и можетъ быть злоупотребляемо. Сплошь и рядомъ бываютъ перестановки словъ и ошибочныя и некрасивыя, допускаемыя безъ всякаго уваженія къ смыслу рѣчи и къ ея благозвучію. Къ числу такихъ принадлежатъ и примѣры, съ похвалою приводимыя Шихковымъ (*). Тоже ограниченіе надобно имѣть въ виду, объясняя другую выгоду нашего языка—способность образовывать сложныя слова (особенно прилагательныя). Прекрасны слова: *свѣтоносный, лучезарный, искрометный*; но древо *благодѣнолиственное* дурно. «Развѣ трудно», замѣчаетъ Дашковъ, «такимъ образомъ ковать новыя слова, соединяя въ одно три или четыре, имѣющія каждое особенный смыслъ? Развѣ трудно, переводя напримѣръ изъ Освобожденнаго Іерусалима прекрасную рѣчь сатаны и описывая его самого, сказать: «*длинногустозаконтьялая* брада по персямъ висѣла», или: «сія *христогробопокланяемая* страна» (**)? но къ чему такая

(*) Между прочимъ пзъ письма Филлпды къ Демофону, въ переводѣ Козницкаго: «А если наши твоими моря воспѣются веслами,» и пр.

(**) Взято изъ рукописнаго перевода Тассовой поэмы Б...ча.

варварская смѣсь? Хорошіе писатели наши часто совокупаютъ два слова, изъ коихъ одно дополняетъ или поясняетъ смыслъ другаго. Державинъ очень хорошо сказалъ въ своемъ «Памятникѣ»:

Ни вихрь его, ни громъ не сломитъ *быстротечный*,

и сіе соединеніе придаетъ болѣе блеска его выраженію. Но въ предъидущемъ стихѣ:

Я памятникъ себѣ воздвигъ чудесный, вѣчный,

для чего не сказать онъ *чудесновѣчный*? для того, что сіи двѣ мысли никакого не имѣютъ отношенія между собою и что, смѣшавъ ихъ, онъ не придастъ бы стиху своему никакой новой красоты).

Дашковъ подробно и основательно разобралъ переведенныя съ французскаго Шишковымъ научныя термины. Переводъ оказался далекимъ отъ подлинника, неточнымъ, короче-дурнымъ. Вотъ примѣры: *diction de l'orateur*—«слово посвященное краснорѣчію» (вм. языкъ или слогъ оратора); *il est des matières abstraites*—«есть отвлеченныя вещесловія» (что по русски ничего не значитъ); *écrits périodiques*—«еже-мѣсячныя сочиненія» (вм. повременныя, или срочныя); *mots techniques*—«художественныя названія» (но слово «*technique*» относится не къ однимъ искусствамъ, а также къ искуствамъ и наукамъ); *style figuré*—«иносказаніе» (но «иносказаніе» самымъ переводчикомъ уже было употреблено въ смыслъ «метафоры»; если же вмѣсто фигуры принять изобрѣтенное имъ «словонзвѣтіе», то «*style figuré*» надобно называть «словонзвѣстнымъ слогомъ»); *tout noble mot*—«всякое доброгласное слово» (здѣсь дѣло идетъ не о хорошемъ или дурномъ звукѣ слова, но объ значеніи его); *césure*—«препинаніе» (вм. цезуры, пресѣченія стиха, которое однакожъ не принадлежитъ къ знакамъ препинанія); *orateur*—«краснословъ и красноглаголатель» (но если намъ придется сказать: «онъ дурной красноглаголатель», не будетъ ли тутъ противорѣчія, ибо говорить красно принимается, у насъ всегда въ хорошую сторону?), и пр. Не хорошо безъ нужды и разбора обременять родной языкъ чуждыми ему реченіями; но дурно и задаться мыслию во что бы ни стало истреблять ихъ. Да нельзя достигнуть этого. Какъ выразить по-русски *парадоксъ*, *критикъ*, *синонимъ*? Вмѣсто иностраннаго слова, всѣмъ извѣстнаго, вы дадите славянорусское или вѣрнѣе славяноварварское, не выражающее смысла подлинника, а иногда и ничего не выражающее (напр. *лицедѣй* вм. актеръ) Притомъ же самъ Шишковъ, такъ нещадно преслѣдующій варваризмы, пишетъ: *преза*, *поэма*, *журналистъ*, *грамматика*, *электрическая сила*, *дактили*, *ямбы*, *эпизоды* (хотя послѣднее слово у насъ и переводится: «вводная повѣсть» или «вводное описаніе»). Не доказываетъ ли онъ этимъ необходимость иностранныхъ словъ?

Третій недостатокъ—ошибки самого Шишкова противъ русскаго или славянорусскаго языка, котораго чистоту онъ взялся охранять. Критика мѣняется здѣсь ролью съ защитникомъ стараго слова: изъ обвинителя, какимъ онъ былъ до этого времени, она переводитъ его на скамью обвиняемыхъ и требуетъ отвѣта въ собственныхъ его проступкахъ. Шишковъ обличалъ переводчиковъ въ неумѣньѣ перелагать чуждую рѣчь по русски, и самъ, въ переводѣ Лагарпа, надѣлалъ галлицизмовъ. Онъ обличалъ новыхъ писателей въ несвойственныхъ нашему языку словахъ и оборотахъ, и самъ «не умѣтилъ въ свойство нашего языка». Если «дикія нелѣпности» послѣдователей Карамзина произошли отъ крайняго пристрастія ко всему французскому, то такія же,

если не худшія, нецѣлности перевода Лагарновыхъ статей имѣли причиною крайнее пристрастіе переводчика къ славянскому. Изъ разныхъ источниковъ вытекло одно и тоже слѣдствіе, а въ слѣдствіи-то и заключается вся сила. Такимъ образомъ галломанія и славноманія, будучи крайностями, сходятся; и потому дѣло не въ той или другой, а въ талантѣ, вкусѣ, знаніи предмета и языка (*).

Послѣдователи новаго слога, въ возмездіе за строгую, часто придирчивую критику Шишкова, начали обличать погрѣшности писателей, принадлежавшихъ къ школѣ слога стараго. Изъ журналовъ «Цвѣтникъ» (**) съ особенною ревностью, умно и вѣрно, отмѣчать недостатки тѣхъ литературныхъ явленій, на которыхъ видно было вліяніе «Разсужденія». Указавъ чудесности или чудовищности «Велисарія», въ переводѣ Захарова (1808), критикъ заключаетъ свою статью совершенно-правильнымъ выводомъ: «Нѣсколько лѣтъ назадъ наводняли нашу словесность *иностранныя слова и галлицизмы*; теперь наводняютъ *слова славенскія и галлицизмы же*. И такъ что мы выиграли? переставили буквы и только. Не на слова одни преимущественно долженъ обращать всякій писатель—переводчикъ ли, сочинитель ли, все равно—свое вниманіе, но на *составленіе рѣчи*, на *обороты* оной. Надобно, чтобы рѣчь была *русская*, а не буквы, ибо *знаки* безъ порядка *ничего не значатъ*; надобно идти по прямой дорогѣ, а не уклоняться то въ ту, то въ другую сторону. Хорошо, если писателю впадетъ на умъ счастливая мысль; хорошо, если онъ удачно изобрѣтетъ новое слово или удачно переведетъ какое-нибудь иностранное. Такъ, напримѣръ, выдуманы *само-*

(*) Приводимъ нѣсколько замѣтокъ критика на языкъ и слогъ Шишкова:

Въ латинскомъ языкѣ есть *будущаго*, однако недостаетъ прошедшаго времени *причастій* (глаголъ *есть* требуетъ имен. падежа, а частица *не*—родительнаго: слѣд. два разныхъ словосочиненія между собою не влѣзутся).

Безъ причастій не можемъ *себя* такъ сильно *выразить* (мы говоримъ *выражаться*, а не *выражать себя*: это чистый галлицизмъ).

Простолюдныя, портящія всегда языкъ, *кашли короче гогорить* вмѣсто, и пр. (пашли короче говорить—*on trouvé plus court de dire*—оборотъ не русскій, а галлицизмъ).

Иносказаніе *треуго* худое, потому что три раза *перемѣняетъ предметъ* (перемѣняетъ предметъ—не по русски).

На *корабль есепароділ* (!!) кормчій сей смятенный подѣтсвляеть веѣмъ вѣтрамъ *бокъ свой* ненадежный (не *свой бокъ*, а *бокъ корабля*); *шатается туда и сюда* (*il s'agit au hasard* болѣе значить *суетится, заботится, управляетъ* кораблемъ *на удачу*).

Есть *тупое* и *грубое* божество, *въ Тмолусъ* нѣкогда обитавшее (развѣ *на* Тмолусъ, ибо Тмолусъ была гора, посвященная Вакху); невѣжество имя ему; тяжелая лѣность *безъ чревобольнѣя* (какое слово! *enfanté avec douleur* значить просто *родить съ болію*, само по себѣ разумѣется, что не съ головою) рѣдила его на брегахъ *сплнцнхъ* водъ (въ этомъ смыслѣ мы говоримъ *столція*, а не *сплнція* воды; сопровождаемое случайностію, заблужденіемъ водимо, *съ криваго на кривой* путь ходить оно (*saux pas* не значить *кривой путь*) и глухость ему послѣдуетъ).

Флешьеръ весьма *пристойно* помѣстилъ опое въ надгробномъ словѣ *на Монтасьера* (надгробное слово обыкновенно сказываютъ *кому* нибудь, а не *на кого* нибудь: оно не сатира).

Надлежитъ дѣлать такъ, чтобы она (покровенная истина) не совсѣмъ скрыта была подъ снѣмъ покрываломъ (басенъ), *но чтобы приносила токмо удовольствіе быть видима сквозь оное* (оборотъ рѣчи неправиленъ и притомъ довольно темень).

Склонность къ подражанію иностранцамъ мало по малу *стала вливаться въ воспитаніе* наше (NB. выраженіемъ «стала вливаться въ...» Шишковъ замѣляетъ Карамзинское: «стала оказывать вліяніе на...»)

Личинѣ прища пристойно быть похожей безъ исковерканія и худородности (*le masque de la comédie doit être res emblant sans charge et sans grimace*).

Шишковъ хвалитъ выраженіе *костосѣдныя уста*, прилагаемое къ змѣю. Дашковъ замѣчаетъ змѣи костями не питаются, слѣд. «костосѣдный» приличіе собакѣ или другому хищному звѣрю.

(**) Онъ издавался два года (1809 и 1810): первый годъ—А. Измайловымъ и Бенитцкимъ, второй—А. Измайловымъ и П. Никольскимъ.

держецъ, терпимость, скороходъ; такъ переведены *водопадъ* (каскадъ), *водо-метъ* (фонтанъ), *кругозоръ* (горизонтъ), *олицетворить* (personifier); но неужели изрядство сихъ словъ даетъ право выдумывать *скиптродержавныя руки, преломимость, скоротеча?* или переводить лютню—*струнницею*, медаль—*гравною*, героев—*удалыми головами*, футляръ—*скрыней?*» (*). Книга Геракова: «Совѣтъ молодымъ офицерамъ» (1809) дала поводъ подтвердить прежнее заключеніе. У автора сказано: «министръ или *дѣловецъ* государственный». Критикъ замѣчаетъ: «Недавно изобрѣтено было слово *дѣловецъ*, а теперь показалась еще новое—*дѣловецъ*. Не знаемъ, которое хуже изъ сихъ названій, но скажемъ утвердительно, что ни то ни другое не означаетъ министра.... Не всѣ иностранныя слова можно замѣнять отечественными, а особливо давно уже употребляемые въ нашемъ языкѣ и сдѣлавшіяся, такъ сказать, *техническими*, или *искусственными терминами*.... Замѣтимъ мимоходомъ, что нашихъ посредственныхъ и дурныхъ писателей можно раздѣлить на двѣ секты: одна, думая подражать людямъ искуснымъ, старается изобрѣтать безъ нужды новыя, или вводить въ употребленіе старинныя русскія слова; а другая, также изъ подражанія или по невѣжеству, вводитъ безъ малѣйшей надобности въ прекрасный и обильный языкъ нашъ не только слова иностранныя, но даже обороты. Пожалѣемъ о ихъ заблужденіи: и тѣ и другіе подвергаются справедливому посмѣянію» (**). Наконецъ, упоминая о «Посланіи кн. Сергѣя Шиникова къ брату» (1810), Цвѣтникъ выписываетъ изъ его поэмы: «Петръ Великій» (1810) слова и выраженія, которыя восхищали Шиникова (на примѣръ: *злождающая грудь; многосластная жизнь; достопочтенный образъ; неозлобный щитъ спокойства; звиздающія эхидны; тартара отродъ; преисподнійшія дрожжи; безпщныя скалы; Этна, чревоболѣющая пожарами; свопствозать; удержавить землю; водостланная равнина; нѣяный множествомъ кровей; безлучное величество; юностный садъ; мертвость*, и пр.) (***).

Въ разборѣ перевода Лагарповыхъ статей всего чувствительнѣе для Шиникова было указаніе его собственныхъ больныхъ мѣстъ,—тѣхъ самыхъ, которыя онъ хотѣлъ, какъ врачъ, лечить у другихъ. Пройти молчаніемъ критику значило бы признать своего противника побѣдителемъ, а себя побѣжденнымъ. Шиниковъ рѣшился отвѣчать не прямо, а косвенно. Отвѣтъ его привязанъ къ читанному въ годичномъ собраніи Россійской Академіи (1810) «разсужденію о краснорѣчій священнаго писанія и о томъ, въ чемъ состоитъ богатство, обиліе, красота и сила русскаго языка, и какими средствами оный еще болѣе распространить, обогатить и усовершенствовать можно» (****). Оно служитъ рѣшеніемъ двухъ задачъ, предложенныхъ академіей; но авторъ соединилъ ихъ въ одну, находя между ними тѣсную связь. Оно состоитъ изъ трехъ частей, которыя слѣдуютъ въ такомъ порядкѣ: а) о превосходныхъ свойствахъ нашего языка, б) о краснорѣчій священнаго писанія, в) какими средствами словесность наша обогащается можетъ и какими приходитъ въ упадокъ. Всѣ три части имѣютъ предметомъ раскрытіе мыслей о старомъ и новомъ слоgѣ.

а) Въ первой части Шиниковъ говоритъ о способности нашего языка составлять слова звукоподражательныя, на что еще прежде указывалъ и Карамзинъ въ статьѣ:

(*) Цвѣтникъ, 1809, № 2.

(**) Ib. 1810, № 5.

(***) Ib. № 12.

(****) Нап. 1811, въ 5 т. Сочиненій и переводовъ Рос. Академіи.

«о любви къ отечеству и народной гордости» (*); изображать въ названіяхъ чувствъ самыя чувства, а иногда и ихъ органы (напр. *слухъ—ухо*); именовать видимыя вещи сообразно ихъ качествамъ, напр. круглый предметъ означаетъ и буквами имѣющими такую же форму, т. е. круглыми (напр. *око*). Также оригинально толкуется и превосходство русскіихъ нарѣчій. По мнѣнію Шинкова, нарѣчія: *далеко, близко, низко, глубоко, широко, высоко* и т. п. составлены изъ словъ: *далъ око* (простирай зрѣніе далѣе), *близъ око* (не простирай оное вдаль), *низъ око* (опускай глаза внизъ), и проч.

б) Какъ эти, такъ и другія отличныя свойства нашего языка проявились съ особеннымъ блескомъ въ славянскомъ переводѣ священнаго писанія, который поэтому красотою, силою и богатствомъ превосходитъ переводы его на другіе языки.

в) Отсюда слѣдуетъ, что для украшенія пышнѣшняго нашего нарѣчія (т. е. русскаго языка) остается намъ единственное средство—языкъ славянскій. Такой выводъ заставляетъ Шинкова опять войти въ разборъ взаимныхъ отношеній русскаго и славянскаго языковъ. Новаго онъ не сказалъ ничего, но по крайней мѣрѣ яснѣе высказалъ свой прежній взглядъ. «Откуда», говоритъ онъ, «родилась неосновательная мысль, что славенскій и русскій языкъ различны между собою? Если слово *языкъ* взять въ смыслѣ нарѣчія или слога, то, конечно, разность есть; но таковыхъ разностей мы найдемъ не одну, а многія: во всякомъ вѣкѣ или полувѣкѣ примѣчаются нѣкоторыя перемѣны въ нарѣчіяхъ.... *Подъ именемъ языка разумѣются корни словъ и вѣтви отъ нихъ происшедшія*: если оныя въ двухъ языкахъ различны, тогда и языки различны; но когда знаменованія словъ и вѣтвей оныхъ находятся въ самомъ языкѣ, тогда оныя всякому нарѣчію общи, выключая развѣ такое, которое совсѣмъ отъ корней языка своего удалилось: тогда уже оное не есть болѣе нарѣчіе, но совсѣмъ иной языкъ. Гдѣ жъ примѣчаемъ мы то въ нашемъ нарѣчій?... разность не въ языкѣ, а въ нарѣчій, нисколько не уклонившемся отъ свойствъ языка. Скажутъ: мы много имѣемъ двойныхъ именъ, изъ которыхъ одни русскія (глазъ, лобъ, щеки, плечи) и другія славенскія (око, чело, ланиты, рамена); но чѣмъ докажутъ мнѣ, что *глазъ, лобъ, щеки, плечи* суть русскія, а не славенскія названія?... Могутъ еще ссылаться на слова: *лошадь, колпакъ, кучеръ, артиллерія, фортификація* и проч., но снѣ столько же не славенскія, сколько и не русскія, потому что изъ чужихъ языковъ взяты. Чтожъ такое русскій языкъ отдѣльно отъ славянскаго? Мечта, загадка. Не странно ли утверждать существованіе языка, въ которомъ нѣтъ ни одного слова? Между тѣмъ многіе новѣйшіе писатели не о томъ разсуждаютъ, что такое-то слово въ такомъ-то слогѣ высоко или низко: таковое сужденіе было бы справедливо; нѣтъ, они о каждомъ словѣ особенно, не въ составѣ рѣчи, говорятъ: это славенское, а это русское.... *И такъ славенскій и русскій языкъ есть одно и то же*. А когда языкъ одинъ, то и нарѣчія онаго, хотя бы онѣ разнились между собою, не могутъ называться одно славенскимъ, а другое русскимъ: въ такомъ случаѣ предполагалось бы различіе въ сихъ двухъ языкахъ... Не славенскій языкъ, отдѣляя отъ русскаго, презирать; не слова онаго на славенскія и русскія раздѣлять: но какое слово какому слогу прилично, знать надлежитъ.... *Мы не иное что подѣ славенскимъ языкомъ разумѣмъ, какъ тотъ языкъ, который выше разговорнаго и которому*

(*) «Языкъ нашъ представляетъ болѣе *аналогическихъ* словъ (чѣмъ французскій), т. е. сообразныхъ съ выражаемымъ дѣйствіемъ: выгода, которую имѣютъ одни коренные языки».

слѣдственно не можемъ иначе научиться, какъ изъ чтенія книгъ; *онъ есть высокій, ученый, книжный языкъ*.... Желаніе сравнить книжный языкъ съ разговорнымъ, т. е. сдѣлать его одинакимъ для всякаго рода писаній, похоже на желаніе тѣхъ новыхъ мудрецовъ, которые помышляли всѣ состоянія людей сдѣлать равными».

Для удобнѣйшаго объясненія своихъ мыслей, Шишковъ представляетъ его въ видѣ разговора между «русскимъ» и «славенникомъ». Чтобы дать образчикъ его умствованій о языкѣ, беремъ начало разговора:

Слав. Что собственно значить глаголь *доить*?

Рус. Выжимать молоко изъ сосцевъ какого нибудь животнаго. Напримѣръ говорится: *баба доитъ корову*.

Слав. Можно ли сказать: *корова доитъ молоко*?

Рус. Можно.

Слав. Однако въ сей рѣчи глаголь *доить* не значить: *выжимать молоко*?

Рус. Нѣтъ.

Слав. Чтожъ значить онъ?

Рус. Просто давать или изливать.

Слав. Можно ли сказать: *мать доитъ младенца*?

Рус. Нѣтъ.

Слав. Для чего же нѣтъ?

Рус. Для того, что такъ не говорится.

Слав. Почему не говорится?

Рус. Потому, что въ этихъ словахъ нѣтъ никакой мысли.

Слав. А мнѣ кажется, вы отъ того такъ не говорите, что о словахъ, составляющихъ языкъ, мало разсуждаете, и что ежели бы разсуждали болѣе, то непременно бы и говорили.

Рус. Можетъ быть; но чѣмъ вы это докажете?

Слав. Собственными вашими словами: сказали ль вы, что въ рѣчи: *корова доитъ молоко*, глаголь *доитъ* значить *изливаетъ*?

Рус. Сказалъ.

Слав. Почему же, когда она изливаетъ его въ подойникъ, такъ это *доитъ*; а когда изливаетъ его въ ротъ къ теленку, такъ это не *доитъ*? Одинакія дѣйствія всегда одинакими словами выражаются. Весьма бы странно было въ рѣчи: *рыба течетъ въ море*, глаголь *течетъ* знать, а въ рѣчи: *рыба течетъ въ озеро*, не знать онаго.

Рус. Стало быть, по вашему, *корова доитъ теленка*, значить, что она его питаетъ?

Слав. Безъ сомнѣнія, и по моему и по вашему, потому что у насъ одинъ языкъ.

Рус. Но вы сказали: *мать доитъ младенца*?

Слав. А развѣ корова не мать, а теленокъ не дитя? Развѣ одна корова можетъ изливать изъ сосцевъ своихъ молоко, а мать или кормилица не можетъ?

Рус. Да, конечно. Противъ этого не лзя спорить.

Слав. Для чего же не слѣдуетъ тому употребленію, котораго опорочить никакимъ образомъ не можете?

Рус. Я думаю для того, что мы тожъ самое иными словами объясняемъ.

Слав. Можетъ быть. Но какимъ же словомъ замѣните вы глаголь *доить* въ выраженіи: *мать доитъ младенца*?

Рус. Я скажу: *кормитъ*.

Слав. Глаголь *кормитъ* не выразитъ мысли, заключающейся въ глаголѣ *доитъ*; потому что можно младенца кормить хлѣбомъ, кашею и другими многими яствами.

Рус. Я скажу: *кормитъ грудью*.

Слав. Вы тогда первое употребите два слова; а второе, что и сими двумя словами не замѣните глагола *доить*, ибо можно еще кормить зажареною грудью или грудинкою какого нибудь животнаго, напримѣръ барашка.

Когда подумаешь, что «разсужденіе» Шинкова было читано въ ученомъ собраніи, передъ лицомъ людей болѣе или менѣе серьезныхъ, то уровень тогдашняго языкознанія окажется очень невысокимъ. Вѣроятно, члены и посѣтители академіи находили основательными доводы автора, не замѣчая, что они вытекали изъ личныхъ его соображеній,

а не изъ началъ и требованій науки, что они были не изслѣдованія, а произвольныя уметствованія, которыя легко могли распадаться отъ другихъ уметствованій. Иные, можетъ статья, и соглашались съ нимъ, что дѣйствительно слѣдуетъ въ высокой рѣчи слово *кормилица* замѣнять словомъ *дошлица*.

За «разсужденіемъ о краснорѣчій священнаго писанія» слѣдуетъ особое «присовокупленіе»: это уже не косвенный, а прямой отвѣтъ Дашкову. Отсюда споръ между двумя противными сторонами выказываетъ небывалую до того горячность и раздраженіе. Смыслъ его остался тотъ же, но тонъ измѣнился. Защитникъ стараго слога призываетъ къ себѣ на подмогу аргументы, неприличные ни въ ученой полемикѣ, ни въ какихъ-либо другихъ состязаніяхъ. Вопросъ о связи языка съ другими элементами народной жизни, перемѣны которыхъ отзываются не только на содержаніи, но и на выраженіи литературномъ, перенесенъ имъ изъ общей, безличной сферы въ сферу личностей. На современные журналы Шишковъ смотритъ, какъ на притоны неблагонамѣреннаго направленія мысли и чувства, а издателей и ихъ сотрудниковъ почитаетъ стѣателями вредныхъ ученій, въ которыхъ, отъ заблужденія ли ума или отъ поврежденія сердца, столько же иногда не щадится нравственность, сколько и разсудокъ. Различіе между языками славянскимъ и русскимъ, поддерживаемое, съ научной точки зрѣнія, сторонниками Карамзина, Шишковъ толкуетъ какъ злое желаніе отдѣлить духовныя книги отъ свѣтскихъ, съ цѣлію отвлечь умъ и сердце каждаго отъ правоучительныхъ духовныхъ теорій и привязать къ однимъ свѣтскимъ писаніямъ, гдѣ столько разставлено стѣтей къ помраченію ума и уловленію нравственности. Несогласные съ понятіями Шишкова подозрѣваются имъ въ лукавомъ намѣреніи прикрыть завѣдомый умыселъ благовидною личиною. Такимъ образомъ критикъ самовольно беретъ на себя цензуру правовъ—не общественныхъ, а личныхъ, и его отвѣтъ получаетъ значеніе обвинительнаго акта.

Начавъ съ обвиненій, не идущихъ къ дѣлу, Шишковъ переходитъ къ доводамъ противника. Мы не будемъ останавливаться на всѣхъ пунктахъ его антикритики, а выставимъ только главнѣйшіе. По словамъ Дашкова русскій языкъ происходитъ отъ славянскаго точно также, какъ и французскій отъ латинскаго: отсюда онъ заключалъ, что если французскій языкъ не одно и тоже съ латинскимъ и не можетъ быть названъ его нарѣчіемъ или высокимъ слогомъ, то нѣтъ никакой причины и русскій языкъ почитать нарѣчіемъ славянскаго. Шишковъ находитъ большую разницу между двумя отношеніями въ томъ, что ни одинъ французъ, не обучась латинскому языку, не разумѣетъ его, а у насъ всякій безграмотный мужикъ, слушая чтеніе пролога, четивниченъ и другихъ духовныхъ книгъ, разумѣетъ ихъ. Слова Дашкова: «нашъ русскій языкъ самъ по себѣ», приводятъ его противника въ изумленіе. «Какъ!» восклицаетъ онъ: «нашъ русскій языкъ самъ по себѣ? да что такое нашъ русскій языкъ самъ по себѣ? гдѣ онъ? возьмемъ какую-нибудь нынѣшнюю книгу, найдемъ ли мы въ ней хотя два такихъ слова (выключая иностранныя), о которыхъ могли бы мы сказать: вотъ это славенское, а это русское? Если мы подъ славенскимъ словомъ разумѣть будемъ высокое слово, напримѣръ *вниду*, а подъ русскимъ простое, напримѣръ *войду*, то конечно о разности ихъ разсуждать можемъ, утверждая справедливо, что первое изъ нихъ прилично важному, а другое среднему или простому слогу; но утверждать, что *вниду* есть славенское, а *войду* русское, и дѣлать изъ того два разныхъ языка, есть не знать составленія словъ, есть утверждать, что предлогъ *оъ* различенъ отъ предлога *оъ* и глаголъ *иду* различенъ отъ глагола *иду*». Не меньше удивило Шиш-

кова и названіе славенскаго языка мертвымъ для насъ: «что такое мертвый языкъ? тотъ, которымъ никакой народъ не говоритъ болѣе. Латинскій языкъ есть мертвый; эллинскій или древній греческій можетъ также назваться мертвымъ... Въ томъ ли положеніи находится славенскій языкъ? Пятьдесятъ милліоновъ человѣкъ говорятъ имъ! И такъ, гдѣ главная колыбель его, гдѣ на немъ основана вѣра и законы, тамъ называютъ его мертвымъ». Хорошіе писатели, конечно, не смѣшиваютъ славянскаго языка съ русскимъ, продолжаетъ Шишковъ, имѣя въ виду возраженія своего критика противъ тождества этихъ языковъ; но подъ сими словами разумѣется различіе высокаго слога съ простонароднымъ (наприм. можно сказать: «препоаяши чресла твоя и возьми жезлъ въ руцѣ твои» и можно также сказать: «подпоаяшься и возьми дубину въ руки»; то и другое въ своемъ родѣ и въ своемъ мѣстѣ, прилично; но, начавъ словами: «препоаяши чресла твоя», кончить: «и возьми дубину въ руки», было бы и смѣшно и странно). Впрочемъ, дополняетъ онъ свою рѣчь, не опасаясь или не замѣчая противорѣчія самому себѣ, славянскій языкъ и высокій слогъ не одно и тоже. Не всякая славянская рѣчь есть высокая: «хощеши ли, дамъ ти подзатыльницу», не такой же высокій языкъ, какъ «трепетна бысть земля, и основаніе горъ смятошася» (*).

Какъ ни казались крѣпкими Шишкову его сужденія, но всѣ они были разбиты его противникомъ, въ отдѣльной книжкѣ: «О легчайшемъ способѣ отвѣчать на критики» (1811). Она имѣла цѣлю показать, что Шишковъ, за недостаткомъ убѣдительныхъ доводовъ въ пользу своего дѣла, счелъ удобнѣйшимъ уклоняться отъ дѣла и говорить о предметахъ, ему постороннихъ, вдаваясь при этомъ въ личности и грубые укоры. Авторъ прежде всего критикуетъ «присовокупленіе». Съ достоинствомъ отдѣляетъ онъ собственно ученый вопросъ отъ вопросовъ, не принадлежащихъ къ наукѣ. Онъ говоритъ: къ сужденіямъ о языкѣ примѣшивать нравственность и вѣру, называть противниковъ предателями отечества за то, что они защищаютъ самостоятельность роднаго (русскаго) языка, обличать ихъ какъ людей поврежденнаго сердца, подозрѣвать ихъ въ мнимомъ намѣреніи ослабить власть законовъ и религій,—значитъ забывать права общественныя и должное уваженіе къ гражданину, давать примѣръ, какъ сильно дѣйствуетъ оскорбленное самолюбіе. По этому случаю цитируются стихи Буало:

Qui méprise Cotin, n'estime point son roi
Et n'a, selon Cotin, ni Dieu, ni foi, ni loi.

Ученіе, защищаемое Шишковымъ, прямо ведетъ къ искаженію языка и подавленію талантовъ. Такъ думаетъ Дашковъ, подтверждая свою мысль примѣрами даровитыхъ молодыхъ людей, которыхъ стихи немногимъ лучше виршей Тредьяковскаго. Отъ чего это происходитъ? Отъ извѣстной доктрины, которая полагаетъ истинную поэзію, истинное достоинство слова въ нескладномъ наборѣ славянскихъ выраженій, несвойственныхъ русскому языку, требуетъ знанія одного славяноросійскаго языка и не совѣтуетъ чтенія хорошихъ писателей, своихъ и чужестранныхъ. Пусть называютъ русскій языкъ славяноросійскимъ, варягоросскимъ, или какъ бы то ни было: опасно не названіе,

(*) Споръ не обходился безъ забавныхъ выходокъ, въ которыхъ однакожъ не было забываемо приличіе. Отвѣчая Шишкову (см. ниже), Дашковъ говоритъ: «Не всякая славянская рѣчь есть высокая, но высокій слогъ нашъ безъ славянскихъ словъ, съ осторожностію употребляемыхъ, существовать не можетъ. Славянскія рѣчи бываютъ высокія и низкія (кто въ этомъ сомнѣвается?) и приведенный г. сочинителемъ примѣръ: *хощеши ли, дамъ ти подзатыльницу*, конечно, не есть такой же высокій языкъ, какъ: *и абіе воздамъ ти сторицею*. Последнее выраженіе несравненно сильнѣе.

а послѣдствія, изъ него выводимыя, та доктрина, о которой сейчасъ говорили и которая нашла себѣ упрямаго проповѣдника въ Шишковѣ. Тождество славянскаго языка съ русскимъ Дашковъ называетъ минимымъ, своего рода цѣлѣностью, приводя въ свѣдѣтельство и разсужденіе Ломоносова о пользѣ чтенія церковныхъ книгъ, гдѣ эти языки не смѣшаны, а разграничены, и слова Каченовскаго (*), который не понимаетъ, какъ можно почитать русскій языкъ нарѣчіемъ или слогомъ, когда онъ самъ уже распался на многія мѣстныя нарѣчія. Къ систематическимъ заблужденіямъ Шишкова относится и мысль, будто у насъ каждый безграмотный мужикъ разумѣетъ чтеніе пролога, четін-мишен и другихъ духовныхъ книгъ. На самомъ дѣлѣ этого нѣтъ, говоритъ Дашковъ: ни одинъ мужикъ, хотя бы и грамотный, не пойметъ ничего изъ пролога и четін-мишен, если не учился читать по часослову и не затвердилъ начальныхъ правилъ славянскаго языка. Что, напримѣръ, пойметъ онъ изъ приведенныхъ самимъ Шишковымъ мѣстъ: «Дашиты его аки фіалы аромать, прозябающія благовоніе. Устнѣ его крины, каплющѣи смиру поху. Лыста его столпи мраморовы, основани на степенехъ златыхъ», и пр.? Затѣмъ Дашковъ обнаруживаетъ географическія, историческія и логическія ошибки защитника стараго слога. Пятьдесятъ милліоновъ не говорятъ по славянски, такъ какъ и природные россияне (не считая инородцевъ) говорятъ по русски,—языкомъ отдѣленнымъ отъ славянскаго. Главная колыбель послѣдняго языка не Россія, а Моравія, гдѣ изобрѣтены буквы наши. Вѣра и законъ не могутъ быть основаны на языкѣ: святая вѣра основана на откровеніи, а законы на правосудіи и милосердіи монарховъ. А если бѣ вѣра, вопреки логикѣ, и могла основаться на языкѣ, то не на славянскомъ, а на греческомъ, на которомъ написаны евангеліе и другія книги новаго завѣта.

Покончивъ съ присовокупленіемъ, Дашковъ подвергъ критикѣ «Разсужденіе о краснорѣчіи св. Писанія». Шагъ за шагомъ преслѣдуетъ онъ своего противника, выбиваетъ его изъ каждой позиціи, разсѣиваетъ всѣ его парадоксы. Ревнитель славенороссійскаго языка оказывается слабымъ знатокомъ своего предмета, не проникшимъ въ истинную его сущность, а выдумывающимъ его отличія, строящимъ систему не на основаніяхъ науки, а на собственныхъ умышленіяхъ, подъ которыми нѣтъ твердой почвы. Такъ, напр., звукоподражательными словами обильны всѣ языки, не одинъ русскій: у дикихъ народовъ ихъ еще больше, чѣмъ у образованныхъ. Слова: *далеко*, *близко*, *глубоко* и др. вовсе не означаютъ того, что видитъ въ нихъ Шишковъ: это—нарѣчія, производимыя извѣстнымъ образомъ отъ прилагательныхъ, какъ *жестокое*, *мякло*, *крѣпко*; сходство ихъ окончанія съ словомъ *око* есть случайное. Существительное *слухъ*, заключающее въ себѣ и названіе самого органа (ухо), не лучше латинскаго *auditus (auris)* и французскаго *ouïe (oreille)*. Если русскій умъ сблизилъ слово *зрѣніе* съ подобными же, свѣтъ означающими понятіями (*заря*, *зареніе*), то почему слова: *день*, *солнце*, гораздо болѣе дающія понятіе о свѣтѣ, да и самое слово *солнѣ* нимало не похожи на *зрѣніе*? Если буква *о* есть несомнѣнный признакъ круглости во всѣхъ словахъ, гдѣ только она находится: отчего нѣтъ ея въ названіяхъ *крупа* и *шара*—фигуръ наикруглѣйшихъ? Хвала славянскому языку, иронически прибавляетъ критикъ, составленному не цѣлымъ вообще народомъ, какъ всѣ прочіе языки, но токмо глубокомысленными философами, оставившими намъ столь явственныя слѣды своей

(*) Мысліе Каченовскаго изложено въ его разборѣ сочиненія Шишкова: «Разговоры о Словесности» (см. ниже).

мудрости! Заключение всего отвѣта слѣдующее: «такимъ образомъ страсть къ системамъ увлекаетъ насъ отъ умствования къ умствованію, отъ софизма къ софизму, и наконецъ ввергаетъ въ очевидное заблужденіе».

Сочиненія Шишкова быстро слѣдовали одни за другими, и каждое изъ нихъ прямо или косвенно должно было служить тому же предмету. Едва покончилъ онъ съ критикою Цвѣтника и прежде чѣмъ явилась книжка Дашкова, вышли «Разговоры о словесности между двумя лицами: Азъ и Букв» (1844) (*). Специальное ихъ содержаніе даетъ однакожъ автору поводъ возвращаться къ прежнимъ, намъ уже знакомымъ мнѣніямъ. Не повторяя ихъ, отмѣтимъ лишь то, что прибавляется ими новаго или болѣе яснаго касательно занимающей насъ полемики. Мысль о состояніи литературнаго языка въ зависимости отъ другихъ стихій жизни образованнаго общества выражена здѣсь положительно: «сколько сближеніе наше съ иностранцами удалило насъ наружностію и внутренностію отъ обычаевъ и нравовъ предковъ нашихъ, таковую же перемѣну чужіе языки и чтеніе книгъ иностранныхъ произвели въ образъ объясненія или въ нарѣчіи нашемъ». Разговоръ о стихосложеніи законченъ указаніемъ того, чѣмъ мы должны устанавливать и обогащать словесность: «Постоянные источники для нашего языка не иностранные образцы, которые могутъ только сообщать намъ познанія, изощрять и увеличивать силу воображенія, научать нѣкоторымъ общимъ правиламъ стихотворства и краснорѣчія, а свои собственные», именно: священныя или духовныя книги, лѣтописи и подобныя имъ преданія, народный языкъ. Шишковъ обозначаетъ пользу каждаго рода источниковъ: «Священныя книги снабдили бы насъ избранными словами, краткими выраженіями, красотою и приличіемъ иносказаній, высотой мыслей и силою языка. Изъ лѣтописей снова присвоили бы мы себѣ много хорошаго и прямо русскаго. Народный языкъ, очищенный нѣсколько отъ своей грубости, возобновленный и принаровленный къ нынѣшней нашей словесности, сблизилъ бы насъ съ тою пріятною невинностію, съ тѣми естественными чувствованіями, отъ которыхъ мы, удаляясь, дѣлаемся болѣе *жеманными говорунами*, нежели истинно-краснорѣчивыми писателями».

Мысль о введеніи народной стихіи въ литературный языкъ была для того времени и отвагой, и заслугой вмѣстѣ. Самъ Шишковъ это чувствовалъ и потому писалъ къ одному изъ своихъ знакомыхъ: «сперва меня бранили за то, что защищаю славенскій языкъ, а теперь станутъ бранить, что прославляю народный» (**). Впрочемъ, совѣты автора касательно источниковъ нашей словесности были оцѣнены современною ему критикою. Каченовскій, разбирая «Разговоры» (***), называетъ благороднымъ и полезнымъ желаніе Шишкова, «чтобы мы, оставивъ слѣное, раболѣпное и невѣжественное подражаніе иностранному, устремили вниманіе на собственные достоинства». Но за то онъ оспариваетъ почти все другія сужденія Шишкова, который только изъ ослѣпленія могъ отстаивать существованіе русскаго языка не иначе, какъ въ значеніи нарѣчія или слога. Каченовскій лучше другихъ обнаружилъ странность этой гипотезы, которая была исходной точкой въ ученіи о старомъ и новомъ слогѣ. «Оставшійся въ книгахъ духовныхъ славянскій языкъ», говоритъ онъ, «отдѣленъ отъ нынѣшняго русскаго

(*) Первый разговоръ—о правописаніи, второй—о русскомъ стихотвореніи.

(**) «Двѣнадцать собственноручныхъ писемъ адмирала А. С. Шишкова» (1841) къ Бардовскому, переводчику сочиненій: Лагарпа—«Опроверженіе злоумышленныхъ толковъ, распространенныхъ философами XVIII в., противъ христіанскаго благочестія» (1810) и Масона—«Разсужденіе о познаніи самого себя» (1820).

(***) Вѣст. Евр. 1811, № 12 и 13.

несходством некоторых словъ и разностию въ спряженіяхъ и даже въ правилахъ синтаксиса. Безъ всякаго сомнѣнія, русскій языкъ есть отрасль славянскаго; но теперь онъ уже въ такомъ состояніи, что приличнѣе называть его языкомъ, а не нарѣчіемъ. На немъ издаются законы; на немъ написаны многія книги: какъ же можно сказать, что онъ не существуетъ, и какъ можно называть его нарѣчіемъ, тогда какъ самъ онъ уже имѣетъ множество мѣстныхъ нарѣчій? Ежели такъ, то ни одинъ изъ нынѣшнихъ европейскихъ языковъ не существуетъ, ибо всѣ они произошли отъ древнихъ и изъ нихъ составились. Было бы очень странно, когда бы увѣрить стали, что у итальянцевъ и французовъ нѣтъ языка, и что тѣ и другіе говорятъ нарѣчіемъ или слогомъ».

«Прибавленіе къ Разговорамъ о словесности или возраженія противъ возраженій, сдѣланныхъ на эту книгу» (1812) не даетъ ни прямого, ни дѣльнаго отпора замѣткамъ Каченовскаго. Оно показало только, что Шишкову было не подъ силу бороться съ человѣкомъ, получившимъ дѣйствительно ученое образованіе. Изъ него также видно, какъ стараніе Шинкова охранять старинный языкъ обнаруживало, можетъ быть незамѣтно для него самого, равнодушіе, а подъ часъ и неуваженіе къ успѣхамъ науки, которой онъ притемъ и не зналъ. Мы сопоставимъ некоторые его мнѣнія и отвѣты на нихъ издателя Вѣстника Европы (*). Каченовскій взглянулъ на споръ о языкѣ глубже. Онъ справедливо объяснялъ Шинкову необходимость знанія древнихъ языковъ для того, кто хочетъ отыскивать корни словъ въ языкахъ новыхъ. Отъ пользы классической филологіи онъ переходитъ къ пользѣ знакомства съ древностию вообще. Шинковъ притворялся не понимающимъ или, быть можетъ, и не понималъ преемственности образованія, которою обусловливается всемірный прогрессъ. Онъ наивно утверждалъ, что для него нѣтъ нужды и пользы знать по гречески, а между тѣмъ толковалъ слова, или переведенныя съ греческаго, или составленныя по образцу греческихъ. Сличеніе съ подлинникомъ было ему недоступно, а по его мнѣнію и не нужно! «Если древніе изобрѣтали», говоритъ онъ, «то и мы можемъ дѣлать изобрѣтенія и открытія». — Справедливо, отвѣчаетъ ему Каченовскій, но отсюда не слѣдуетъ, будто мы безъ нужды должны перенимать изобрѣтенія древнихъ и разрушать некоторые части въ ихъ системахъ, не заботясь, будутъ ли пристройки наши соответствовать цѣлому зданію, ими сооруженному. — Вѣстникъ Европы коснулся непросвѣщенія сѣвера и несправности русскихъ лѣтописей. Это удивило Шинкова: «кто», спрашиваетъ онъ, «очиститъ Нестора, Никонову лѣтопись и пр.»? — Тотъ, кто, умѣючи, примется за это дѣло. — «Ихъ и очищать не надобно». — А какъ же узнать, что въ нихъ содержится? Какъ согласить разногласія и объяснить сомнительныя мѣста? — «Очистить значило бы ихъ испортить». — Церковныя книги не испорчены тѣмъ, что въ нихъ поправлены ошибки писцовъ и переводчиковъ; мы не имѣли бы исправныхъ классиковъ, если бы ученые не очистили текста, испорченного переписчиками.

Тѣснимый противниками, Шинковъ задумалъ болѣе широкій планъ для своего дѣла. Ему хотѣлось не только разсужденіями водворять нужныя ему понятія о старомъ и новомъ слоgѣ, но и прилагать ихъ къ литературному производству. Для выполненія задуманнаго были нужны союзныя усилія многихъ лицъ. Съ этою цѣлію онъ устроилъ общество, подъ названіемъ: «Бесѣда любителей русскаго слова» (**), которое

(*) «Прибавленіе» рассмотрѣно Каченовскимъ въ 6 и 7 №№ В. Евр. 1812. Другая критика того же сочиненія, въ С.-Петербургскомъ Вѣстникѣ (1812, № 1), принадлежитъ, вѣроятно, Дашкову.

(**) Общество названо, вѣроятно, въ память литературнаго сборника: «Сбесѣдникъ Любителей русскаго слова».

открыло свои засѣданія въ домѣ Державина (14 марта 1811). При открытіи Шишковъ произнесъ рѣчь о красотахъ русскаго языка. По уставу, написанному также Шишковымъ, засѣданія происходили ежемѣсячно и были публичны. Личный составъ «Бесѣды» дѣлился на четыре разряда, имѣвшіе каждый своего предсѣдателя, членовъ и сотрудниковъ. Шишковъ предсѣдательствовалъ въ первомъ разрядѣ, Державинъ во второмъ, А. С. Хвостовъ въ третьемъ, Захаровъ въ четвертомъ. Кромѣ того находились почетные члены, въ числѣ которыхъ видимъ и Карамзина, не смотря на то, что общество образовалось въ противодѣйствіе его реформѣ. Попечителями Бесѣды были избраны: гр. Завадовскій, Мордвиновъ, гр. Разумовскій, И. Дмитріевъ, другъ и сподвижникъ Карамзина. Съ 1811 по 1815 г. общество напечатало 19 книжекъ изданія, служившаго ему органомъ, подъ названіемъ: «Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова» (*).

Въ этой-то «Бесѣдѣ», передъ великимъ событіемъ нашей исторіи, Шишковъ читалъ «Разсужденіе о любви къ отечеству» (1811, нап. 1812)—лучшее изъ всѣхъ его сочиненій, по языку и горячему чувству. Основная мысль его состоитъ въ томъ, что «самое величайшее блаженство, самая сильнѣйшая ограда всякой державы есть любовь къ отечеству и народная гордость». То и другое укрѣпляется тремя средствами: вѣрою, воспитаніемъ, языкомъ. Прежде высказанныя мысли о нераздѣльной связи языка съ другими силами и двигателями народнаго духа снова здѣсь повторяются, въ лучшей внѣшней формѣ, въ связномъ и болѣе ясномъ представленіи: «Языкъ есть душа народа, зеркало нравовъ, вѣрный показатель просвѣщенія, неумолчный проповѣдникъ дѣла. Возвышается народъ—возвышается языкъ; благонравенъ народъ—благонравенъ языкъ. Никогда безбожникъ не можетъ говорить языкомъ Давида: слава небесъ не открывается ползающему въ землѣ червю. Никогда развратный не можетъ говорить языкомъ Соломона: свѣтъ мудрости не озаряетъ утопающаго въ страстяхъ и порокахъ. Писанія зловредныхъ умовъ не проникнутъ никогда въ храмъ славы: даръ слова не спасаетъ отъ презрѣнія глаголы злочестивыхъ. Гдѣ нѣтъ въ сердцахъ вѣры, тамъ нѣтъ въ языкѣ благочестія. Гдѣ нѣтъ любви къ отечеству, тамъ языкъ не изъясняетъ чувствъ отечественныхъ. Гдѣ ученіе основано на мракѣ лжеумствованій, тамъ въ языкѣ не возсіяетъ истина; тамъ въ наглыхъ и невѣжественныхъ писаніяхъ господствуетъ одинъ только развратъ и ложь. Однимъ словомъ, языкъ есть мѣрило ума, души и свойствъ народныхъ».—Что можно было возразить противъ такихъ истинъ и кто изъ литературныхъ противниковъ автора не раздѣлялъ ихъ? Они тоже самое думали и тоже самое писали (**), но съ тѣмъ различіемъ, что умѣли отдѣлять вопросъ, въ его научномъ, безотносительномъ смыслѣ, отъ вопроса объ отношеніяхъ языка такого-то писателя къ его личнымъ обычаямъ, вѣрованіямъ и нравственности. Успѣхъ чтенія польстилъ Шишкову. Его мысли, высказанныя отъ искренняго убѣжденія, сочувственно отозвались въ собраніи, которому, какъ и всей Россіи, вскорѣ предстояло заявить дѣятельную любовь къ отечеству и народную гордость. «Признаюсь», извѣщаль онъ Бардовскаго, «что я приступилъ къ чтенію съ нѣкоторою робостію: казалось мнѣ, что не всѣ раздѣляютъ со мною мои чувствованія и, можетъ быть, многимъ нѣкоторыя истины покажутся слишкомъ смѣлыми; однакожъ я обманулся. Успѣхъ превзошелъ мое чаяніе, и тутъ увидѣлъ я, что какъ бы нравы ни были повреждены, однакожъ правда не престаетъ жить въ сердцахъ человѣческихъ. Кто даже и нейдетъ путемъ

(*) Библиографическія записки Лонгинова (Современникъ, 1856, № 5).

(**) Карамзинъ, за десять лѣтъ до разсужденія Шишкова, говорилъ о тѣхъ же самыхъ предметахъ, въ статьѣ: «О любви къ отечеству и народной гордости».

ея, тотъ самый, при гласѣ ея, просыпается и отворяетъ ей душу свою, по крайней мѣрѣ на нѣкоторое время» (*). Патріотическія чувства «Разсужденія» доставили его автору мѣсто государственнаго секретаря: онъ состоялъ при императорѣ Александрѣ (1812 и 1813 гг.), двигая, по слову Аксакова, духомъ Россійцы писанными имъ манифестами въ отечественную войну (**). До какой степени Шишковъ былъ убѣжденъ въ правотѣ своихъ обвиненій, свидѣтельствуемъ другое письмо его къ тому же лицу (11 мая 1813). Война съ французами представила ему какъ бы въ новомъ свѣтѣ наше вредное пристрастіе къ ихъ языку и воспитателямъ, а вмѣстѣ и напомнила полемику за старыи и новыи слоги. «Вы знаете», пишетъ онъ, «какъ господа Вѣстники и Меркурій противъ меня возстали. По сочиненіямъ ихъ, я былъ такой преступникъ, котораго надлежало запереть, и взять съ меня отвѣтъ: какимъ образомъ дерзнуть и говорить, что русскому надобно русское воспитаніе? Они упрекали меня, что я хочу ниспровергнуть просвѣщеніе и всѣхъ обратить въ невѣжество, что я иду противъ Петра, Екатерины, Александра. Тогда могли они такъ вои́ять, надѣясь на великое число зараженныхъ симъ духомъ, и тогда долженъ я былъ по неволѣ воздерживаться; но теперь я бы ткнулъ ихъ носомъ въ пенелъ Москвы и громко имъ сказать: вотъ чего вы хотѣли! Богъ не наказалъ насъ, но послалъ милость свою къ намъ, ежели сожженные города наши сдѣлають насъ русскими».

На ряду съ критическимъ обсужденіемъ вопроса о слогахъ являлись и другія произведенія касательно того же предмета. Война съ Шишковымъ была ведена и прозой и стихами. Стихотворцы вступили въ дѣло послѣ того, какъ онъ задѣлъ личности своихъ противниковъ. Посланія В. Пушкина къ Жуковскому (1810) и Дашкову (1811) замѣчательны тѣмъ, что отстаиваютъ просвѣщеніе, которому, какъ онъ думаетъ, грозятъ идеи «раскольниковъ-славянъ». Если Шишковъ объясняетъ возмущенія въ языкѣ нравственною распущенностью писателей, то Пушкинъ видитъ въ ученіи Шихкова отсталость, обскурантизмъ. И себя, и друзей своихъ стихотворецъ успокоиваетъ мыслію о невозможности забыть или измѣнить прочное дѣло Петра и Екатерины II. «Намъ нужны не слова», говоритъ онъ въ первомъ посланіи, «намъ нужно *просвѣщеніе*» (***). Второе посланіе еще открытѣе заявляетъ опасеніе литераторовъ, соединившихся общностью желаній и взглядовъ вокругъ Карамзина:

Такъ, сынъ отечества науками гордится,
Во мракъ утонать невѣжества стыдится,
Не проповѣдуетъ расколовъ никакихъ
И въ старинѣ для насъ не видитъ оней *благихъ* (****).

Тотъ же стихотворецъ, въ шутиливомъ разсказѣ: «Опасный Сосѣдъ», первый пустилъ въ ходъ названіе «славянофилъ». Басня А. Измайлова: «Шутъ въ парикѣ» (1811) посмѣялась надъ нетерпимостью Шихкова, который, нападая на любовь къ французскому языку, самъ употреблялъ галлицизмы и въ защитѣ новаго слога подозрѣвалъ нелюбовь къ отчизнѣ и посягательство на вѣру (*****). Въ «Журналѣ драматическомъ», выходившемъ подъ редакціей М. Макарова (1811), помѣщена комедія: «Обращенный Славянофилъ», гдѣ Педантовъ, пріятель Славянофила, представленъ глупцовъ и негодяемъ (*****). «Санктпетербургскій

(*) Письмо отъ 27 декабря 1811 г.

(**) Селейская хроника и Воспоминанія С. Аксакова (Воспоминаніе объ А. С. Шишковѣ).

(***) Цвѣтникъ, 1810, № 12 (Ист. Хр. II, 142—143).

(****) Ист. Христ. II, 143—145.

(*****). Ib. 106.

(*****). Содержаніе ея разсказано г. Лонгиновымъ въ Библиогр. Запискахъ (Соврем. 1856, № 6).

Вѣстникъ» (1812), второй, послѣ Цвѣтника, органъ карамзинистовъ, остроумно подмѣчалъ литературныя дикости въ твореніяхъ членовъ «Бесѣды». Здѣсь доставалось и самому Шишкову за его «Прибавленіе къ разговорамъ о словесности», и П. Львову за его книгу (Избраніе на царство Михаила Ѳеодоровича), которую рецензентъ называетъ историко-драматическимъ или, лучше, «быто-лицедѣйнымъ» отрывкомъ, и автору «Введенія въ науку стихотворства» за его «мудролюбовъ» (вм. философовъ), «словесниковъ» (вм. литераторовъ), «дѣяніе» (вм. исторіи). Воейковъ отвелъ мѣсто Шишкову въ своей сатирѣ: «Домъ сумасшедшихъ», вмѣстѣ съ нѣкоторыми его читателями (*), а Батюшковъ, пародируя Жуковского, воспѣлъ дѣянія и чувства всей славяно-русской дружины (**). Наконецъ Нарѣжскій комически вывелъ любителя славянизмы, подъ именемъ Трисмегалоса, въ «Русскомъ Жилблазѣ» (***). Такимъ образомъ всѣ поэтическія формы: лирика, драма и эпосъ, принявъ участіе въ войнѣ съ старымъ слогомъ и его знаменосцами. Противная сторона, шагъ за шагомъ сбиваемая съ главнаго поля битвы, не имѣла въ своей средѣ и ловкихъ наѣздниковъ, которые могли бы вести малыя, такъ сказать, партизанскія стычки. Она выставила только комическую поэмку кн. Шаховскаго: «Расхищенные шубы», гдѣ между рѣчами дѣйствующихъ лицъ есть намекъ на В. Пушкина и приведена одна тирада изъ его посланія къ Жуковскому, съ нѣкоторыми отгѣнами и съ перестановкой стиховъ (****). Изъ воспоминаній одного современника видно, что споръ карамзинистовъ съ шишковистами проникъ даже въ стѣны училищъ и интересовалъ школьниковъ (*****).

Самъ Карамзинъ не вмѣшивался въ распрю, будучи занятъ историческимъ трудомъ и чувствуя отвращеніе отъ полемики вообще. Притомъ же онъ имѣлъ право оставлять безъ вниманія критику, направленную, какъ мы видѣли, собственно не противъ него, а противъ его жалкихъ подражателей. А сознаніе литературныхъ заслугъ, которыя для Шихкова какъ бы не существовали, не дозволило ему защищать тѣ или другія мѣста своихъ сочиненій, поставленныя ихъ критикомъ на одну доску съ нелѣпостями бездарныхъ писакъ. Должно жалѣть однакожъ, что Карамзинъ рѣшительно уклонился отъ спора. Авторъ такихъ критическихъ замѣтокъ, какъ «Великій мужъ русской грамматики» (*****) и «О русской грамматикѣ француза Модрю» (*****), могъ бы своимъ умнымъ словомъ разрѣшить недоразумѣнія воюющихъ сторонъ. Случай къ этому слову представился черезъ пятнадцать лѣтъ послѣ книги Шихкова, служившей яблокомъ литературнаго раздора. Намъ уже извѣстно, что «Бесѣда» выбрала Карамзина своимъ почетнымъ членомъ, хотя и была основана во имя началъ и цѣлей, противныхъ совершенной имъ реформѣ: она не могла не отдать справедливости писателю, который пользовался общею и громкою извѣстностью. Еще страннѣе было бы для Россійской Академіи игнорировать его заслуги въ то время, когда онъ выдалъ восемь томовъ «Исторіи государства руссійскаго». Она почтила историка званіемъ члена. Содержаніе рѣчи, произнесенной Карамзинымъ въ торжественномъ собраніи Академіи (5 декабря 1818), очень замѣчательно. Онъ долженъ былъ, наконецъ, высказаться

(*) Ист. Христ II, 379.

(**) Ib. 355.

(***) Ib. 296—298.

(****) Ib. 418.

(*****) Семейная Хроника и воспоминанія С. Аксакова.

(***** Вѣст. Евр. 1803, № 7.

(***** Ib. № 15.

передъ своими сочленами и, высказываясь, припомнить замолкшую полемику. Онъ явился съ словомъ благодарности и примиренія, но вмѣстѣ и съ совѣтами академикамъ. Нѣкоторые мѣста его рѣчи прямо относятся къ прежнимъ толкамъ о языкѣ, какъ полезный урокъ на будущее время. Критика не одно и тоже съ укоризной, говоритъ Карамзинъ; она должна прежде всего выставить достоинства дѣла: «самый легкій умъ находитъ несовершенства, только умъ превосходный открываетъ безсмертныя красоты въ сочиненіяхъ; когда увидимъ важныя злоупотребленія, новосты неблагоразумныя въ языкѣ, замѣтимъ, предостережемъ безъ язвительной укоризны». Предѣдатель Академіи (Шишковъ) могъ слышать въ этихъ словахъ намекъ на рѣзкость и односторонность своей критики, не отличавшей въ реформѣ Карамзина существеннаго отъ несущественнаго. Обличая странности новаго слога, Шишковъ противопоставлялъ ему старый, долженствующій, по его мнѣнію, оставаться безсмѣннымъ; Карамзинъ выводилъ языкъ изъ такого недостойнаго и невозможнаго оцѣненія, подтверждая то, что уже говорилося Макаровымъ и Дашковымъ; онъ предлагаетъ академіи исправлять изданные ею словарь и грамматику, — книги, «всегда богатые бѣлыми листами для пополненія, для перемѣнъ, необходимыхъ по естественному, безпрестанному движенію живаго слова къ дальнѣйшему совершенству, — движенію, которое пресѣкается только въ языкѣ мертвомъ». Шишковъ хотѣлъ обогащать языкъ и замѣною иностранныхъ словъ отечественными, и введеніемъ въ русскую рѣчь славянскихъ, и созданіемъ новыхъ на основаніи собственныхъ уместованій; Карамзинъ показываетъ несостоятельность его намѣренія:

Главнымъ дѣломъ нашимъ было и будетъ *систематическое образованіе языка*; непосредственное же его *обогащеніе* зависить отъ усилъховъ общежитія и словесности, отъ дарованія писателей, а дарованія единственно отъ судьбы и природы. Слова не изобрѣтаются академіями: они рождаются вмѣстѣ съ мыслями или въ употребленіи языка или въ произведеніяхъ таланта, какъ счастливое вдохновеніе. Сии новыя, мыслію одушевленные слова, входятъ въ языкъ самовластно, украшаютъ, обогащаютъ его, *безъ всякаго ученаго законодательства* съ нашей стороны: мы не даемъ, а принимаемъ ихъ. Самыя правила языка не изобрѣтаются, а въ немъ уже существуютъ: надобно только открыть или показать оныя.

Шишковъ возставалъ противъ подражанія иностранному; Карамзинъ, разъясняя, въ чемъ должно состоять подражаніе и какъ оно неизбежно въ литературѣ, съ тѣмъ вмѣстѣ показываетъ невозможность возвращаться къ тому, что отжило свой вѣкъ:

Петръ Великій, могущею рукою своею преобразивъ отечество, сдѣлалъ насъ подобными другимъ европейцамъ. Жалобы бесполезны. Связь между умами древнихъ и новѣйшихъ россіянъ прервалася навѣки. Мы не хотимъ подражать иноземцамъ, но ищемъ, какъ они нишуть: ибо живемъ, какъ они живутъ; читаемъ, что они читаютъ; имѣемъ тѣ же образцы ума и вкуса; участвуемъ въ повсемѣстномъ, взаимномъ сближеніи народовъ, которое есть слѣдствіе самаго ихъ просвѣщенія. Красоты *особенныя*, составляющія характеръ словесности *народной*, уступаютъ красотамъ общимъ: первыя измѣняются, вторыя вѣчны. Хорошо писать для россіянъ: еще лучше писать для всѣхъ людей. Если намъ оскорбительно идти позади другихъ, то можемъ идти рядомъ съ другими къ цѣли всемірной для человѣчества, путемъ своего вѣка, не Мономахова, и даже не Гомерова: ибо потомство не будетъ искать въ нашихъ твореніяхъ ни красотъ *Слова о полку Игоревѣ*, ни красотъ Одиссеи, но только свойственныхъ нынѣшнему образованію человѣческихъ способностей. Тамъ нѣтъ *бездушнаго подражанія*, гдѣ говоритъ умъ или сердце, хотя и общими языкомъ времени; тамъ есть *особенность личная*, или характеръ, всегда новый, подобно какъ всякое твореніе физической природы входитъ въ классъ, въ статью, въ семейство ему подобныхъ, но имѣетъ свое частное знаменіе.

Что же касается до неразумныхъ и бездарныхъ подражателей иностраннымъ образцамъ, то они остались бы таковыми же, подражая и отечественнымъ авторамъ:

Молодые писатели нередко подражаютъ у насъ иноземнымъ, ибо думаютъ, ложно или справедливо, что мы еще не имѣемъ великихъ образцовъ искусства: если бы сіи писатели не знали творцевъ чужеземныхъ, что бы сдѣлали? *подражали бы своимъ*; но и тогда *стихи ихъ остались бы бездушными*. А кто рожденъ съ избыткомъ внутреннихъ силъ, тотъ и нынѣ, начавъ подражаніемъ, свойственнымъ юной слабости, будетъ наконецъ *самъ собою*.

Въ примѣчаніяхъ къ новому изданію «Разсужденія о старомъ и новомъ слоgѣ (*), когда уже многія слова, порицаемыя Шишковымъ, вошли въ общее употребленіе, онъ коснулся мысли Карамзина относительно способа, какимъ неологизмы являются въ языкѣ. Онъ находитъ ее справедливою только для исключительныхъ случаевъ. Что сказано въ рѣчи Карамзина, то, по его мнѣнію, можно сказать о пяти или десяти словахъ, не болѣе, но о цѣлыхъ сотняхъ словъ должно сказать совершенно тому противное, т. е. что «они не *родились вмѣстѣ съ мыслями*, а взяты точно тѣми же (**) или переведены съ чужихъ словъ, чужою мыслию, часто намъ несвойственною, порожденныхъ, и вошли въ языкъ не по *счастливому вдохновенію таланта*, но по неосновательной переимчивости, и утверждаются въ немъ не *самовластно*, т. е. не властію достоинства своего, но силою частаго повторенія тѣми, которые понимаютъ ихъ не по разуму собственнаго своего, но по смыслу чужаго языка... Отъ таковыхъ нововведеній языкъ несравненно болѣе скудѣетъ, нежели богатѣетъ и украшается, и если не оговаривать сихъ несвойственныхъ ему словъ и выраженій, если не дѣлать имъ никакого *законодательства*, то напослѣдокъ заразятъ они его совершеннымъ мракомъ и непонятностію. Употребленіе и навѣкъ вводить въ языкъ слово, но оправдываютъ его не они, а разумъ». Изъ сокрушенной своей теоріи, Шишковъ хотѣлъ спасти по крайней мѣрѣ одинъ, главный ея догматъ—тождество славянскаго языка съ русскимъ, право называть первый высокимъ слоgомъ, а второй простымъ. И онъ упорно повторялъ свое положеніе при каждомъ случаѣ, не только предсѣдательствуя въ російской академіи, но и управляя министерствомъ народнаго просвѣщенія (съ 1824 по 1828). Мнѣніе о переводѣ священнаго писанія на русскій языкъ, представленное имъ Императору Александру I, выражаетъ ту самую мысль, которую онъ постоянно проводилъ въ своихъ разсужденіяхъ: «*Языкъ у насъ славенскій и русскій одинъ и тотъ же. Онъ различается только на высокій и простой*. Высокимъ написаны священныя книги; простымъ мы говоримъ между собою и пишемъ свѣтскія сочиненія, комедіи, романы, и проч. Но сіе различіе такъ велико, что слова, имѣющія одно и тоже значеніе, приличны въ одномъ и неприличны въ другомъ. Сколь смѣшно въ простыхъ разговорахъ говорить высокимъ славенскимъ языкомъ, столь же странно и дико употреблять простой языкъ въ священномъ писаніи» (***). Наконецъ въ «предисловіи къ опыту словопроизводнаго словаря» (1833), не отступаясь отъ своей главной мысли, Шишковъ не называетъ однакожъ русскаго языка нарѣчіемъ славенскаго: «Необдуманное раздѣленіе языка на славенскій и русскій произошло отъ неопредѣленности слова «славенскій». Мы даемъ сіе названіе языку по имени народа, назвавшагося славянами, но не ужъ ли народъ сей до принятія сего имени былъ иѣмой, безъязычный? не ужъ ли съ того времени сталъ имѣть языкъ или перемѣнилъ

(*) Собраніе сочиненій и переводовъ Шишкова, ч. 2 (1824), прим. 2-ое на стр. 27. Здѣсь «Разсужденіе» напечатано уже 4-мъ изданіемъ.

(**) Т. е. безъ перевода на отечественный языкъ.

(***) Записки адмирала А. С. Шишкова (за время управленія министерствомъ народнаго просвѣщенія).

его на другой? Нѣтъ! онъ продолжалъ говорить тѣмъ же языкомъ; не знаемъ, какъ его называли, но знаемъ, что, по раздѣленіи сего народа на русскихъ, поляковъ, чеховъ, иллирійнъ и проч., и языкъ сей сталъ называться, по ихъ именамъ, русскій, польскій, чешскій, иллирійскій и проч. При всѣхъ сихъ именахъ, онъ былъ и есть одинъ и тотъ же общій веѣмъ. Вотъ первое объ языкѣ понятіе. Второе: языкъ хотя одинъ и тотъ же, но у разныхъ народовъ больше или меньше измѣняется и получаетъ имя нарѣчій. Польское нарѣчіе отошло всего далѣе отъ нашего, такъ что мы и уразумѣть онаго не можемъ; но русское не есть нарѣчіе славенскаго языка, а тотъ же самый языкъ, не имѣющій ни малѣйшаго съ нимъ различія» (*).

Изложенная нами полемика кончилась торжествомъ новаго, карамзинскаго слога. Шишковъ проигралъ свое дѣло и въ теоріи и на практикѣ. Онъ проигралъ его въ теоріи, не доказавъ правоты своего ученія о языкѣ положительными, научными доводами; онъ проигралъ его на практикѣ, не подкрѣпивъ своихъ разсужденій образцами, которые могли бы привлечь на свою сторону и литераторовъ, и публику. Какъ его собственные сочиненія представляютъ мало литературнаго искусства, такъ и «Чтенія въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова» большею частію отличаются сухостью и педантствомъ. По качеству произведеній судять не только о талантѣ производителя, но и о достоинствѣ правилъ, которыми онъ руководствовался. Напротивъ, Карамзинъ, еще до начала спора, заявилъ себя какъ отличный писатель; «Исторія государства російскаго» еще болѣе возвысила его имя: она служила наилучшимъ отвѣтомъ славянофильской критикѣ и своимъ выходомъ въ свѣтъ (1816—18) положила конецъ спору, въ теченіи котораго реформа приобрѣла новыхъ, достойныхъ дѣятелей и въ стихахъ и прозѣ. Можно было по временамъ возвращаться къ толкамъ о старомъ и новомъ слогѣ, какъ это и дѣлалъ Шишковъ въ своихъ академическихъ трудахъ, но уже не было возможности вырвать побѣду изъ рукъ непріятеля. За Карамзинымъ осталась слава преобразованія русскаго литературнаго языка.

Это преобразование имѣетъ тѣсную связь съ преобразованиемъ, которымъ мы одолжены Ломоносову. Заслуги послѣдняго въ этомъ отношеніи намъ уже извѣстны (**). Карамзину предстояло поправить ошибку своего знаменитаго предшественника, т. е. освободить русскую книжную рѣчь отъ навязаннаго ей, искусственнаго, латинско-нѣмецкаго строя. Онъ то и сдѣлалъ. Реформа его выражается слѣдующимъ образомъ: онъ измѣнилъ строеніе нашей литературной рѣчи.

Три начала лежатъ въ основѣ реформы, произведенной Карамзинымъ: а) сближеніе языка литературнаго съ языкомъ разговорнымъ, о чемъ уже было сказано; б) сближеніе русскаго языка съ тѣми европейскими языками, которые сходятся съ нимъ въ словорасположеніи; в) сближеніе современнаго русскаго языка съ старинною русскою рѣчью (***).

Изъ словъ самого Карамзина мы знаемъ, что онъ подражалъ нѣкоторымъ иностраннымъ авторамъ. Замѣтивъ, какъ онъ выразился, несвойственный нынѣшнему вѣку стиль Ломоносова, его длинныя періоды, въ которыхъ главныя предложенія, обставленныя придаточными и вводными, то возвышаются, то падаютъ, по условіямъ цидеро-

(*) Опытъ словопроизводнаго словаря, содержащій въ себѣ дерево, стоящее на корнѣ МР. Съ означеніемъ 24 колѣвъ и 920 вѣтвей. Сочиненіе А. М. (Спб. 1833).

(**) Ист. Рус. Слов. I, § 196

(***) Москвит. 1843, № 2, критич. статья г. Шевирева.

новскаго ораторства, онъ разбилъ ихъ на предложенія. Въ порядкѣ словъ, большею частію простымъ и естественномъ, онъ слѣдовалъ естественному развитію мыслей, въ которомъ сказуемое слѣдуетъ непосредственно за подлежащимъ, а не отводится на конецъ рѣчи, какъ въ языкѣ латинскомъ или нѣмецкомъ. На складъ рѣчи отражается складъ народнаго ума. А русскій умъ любитъ ясность, которая больше или меньше страдаетъ въ томъ случаѣ, когда признакъ (сказуемое) отдѣляется отъ своего предмета (подлежащаго) обильною вставкою другихъ понятій и сужденій. Въ этомъ отношеніи синтаксисъ нашего языка ближе къ синтаксису языковъ французскаго и англійскаго, нежели латинскаго и нѣмецкаго.

Простое и ясное словопостроеніе Карамзина могло быть слѣдствіемъ не одного подражанія французамъ или англичанамъ, но и знакомства съ народною рѣчью. По крайней мѣрѣ особенная любовь его къ дактилическому окончанію фразъ, столь частому въ народныхъ сказкахъ и пѣсняхъ, легко объясняется тоническимъ народнымъ стихосложеніемъ. Карамзинъ не только написалъ сказку (Илья Муромецъ) хореемъ съ дактилическими окончаніями, но и перенесъ это свойство въ прозу: отсюда прилагательныя и нарѣчія, поставляемыя имъ на концѣ именъ и глаголовъ не по требованіямъ смысла, а единственно изъ видовъ благозвучія. Въмѣсто: «Исторія руссійскаго государства», онъ называетъ свой главный трудъ: «Исторія государства руссійскаго». Ради пѣвучихъ окончаній, онъ намѣренно измѣнялъ порядокъ словъ, перелагая древне-литературныя памятники на новый языкъ (на прим. въ «Словѣ о полку Игоревѣ»: несяся въ полѣ какъ волки *сырые*; ищутъ чести *самимъ себѣ*). Одно мѣсто изъ «Сказанія о Мамаевомъ побоищѣ» передано прозою, до того искусственно-мѣрною, что ее можно читать какъ стихи, сначала хоренческіе, а потомъ дактилическіе:

Воеводы наши крѣпки,
Витязи русскіе славны,
Кони ихъ бѣзвы,
Доспѣхи твѣрды,
Щиты червлѣные,
Конья златѣныя,
Сабли булатныя,
Курды лязкія,
Колчаны фряжскіе, и пр. (*).

Замѣтимъ, однако, что дактилическое окончаніе, свойственное памятникамъ народной поэзіи, у Карамзина сдѣлалось искусственнымъ оборотомъ, какъ бы неизбѣжной и потому однообразной прикрасой его рѣчи. Какъ здѣсь переступалъ онъ должныя границы, такъ въ упрощеніи ломоносовскаго словопостроенія не дошелъ до настоящихъ. Повести далѣе его дѣло, равно какъ поставить народный языкъ въ число необходимыхъ элементовъ письменной рѣчи, предоставлено было послѣдующему, Пушкинскому, періоду нашей литературы.

Третье начало реформы—сближеніе современнаго языка съ старинною русскою рѣчью—обнаружилось преимущественно въ историческомъ трудѣ Карамзина. Мы будемъ говорить о немъ, опредѣляя литературное значеніе «Исторіи государства руссійскаго».

(*) Вотъ еще примѣры изъ «Марѣи Посадницы»: «Но знаки нашего усердія, конечно, обманули впазз московскаго»; «мы хотѣли изъяснить ему пріятную надежду, что рука его свергнетъ съ Росіи его *татарское*». (О преподаваніи отечественнаго языка, г. Буслаева).

Что касается до Шишкова, то и противники его въ поднятомъ имъ спорѣ умѣли отдать ему должное. Нельзя сказать, что онъ «открылъ глаза Карамзину на вредныя послѣдствія его нововведеній въ русское слово» (*): нововводитель не обязанъ отвѣчать за кривые пути своихъ послѣдователей; но должно сказать, вмѣстѣ съ Каченовскимъ, что, обличивъ нецѣлности русско-французскаго слога, онъ «предостерегъ многихъ молодыхъ людей отъ вреднаго заблужденія, заставилъ ихъ стыдиться галломаніи, показалъ ничтожество блестящихъ мелочей и обратилъ къ полезнѣйшимъ трудамъ» (**). Конечно, наука не воспользовалась его академическими разсужденіями, но призывъ русскихъ писателей къ памятникамъ народной и древне-русской словесности для устройства литературнаго языка, который долженъ замѣнить жеманную, манерную болтовню многихъ современныхъ ему авторовъ, достоинъ полнаго уваженія. Карамзинъ былъ весьма невысокаго мнѣнія о способностяхъ Шишкова, но цѣнилъ честность его убѣжденій (***). Мы разумѣемъ здѣсь только филологическую сторону полемики; о другихъ же сторонахъ славянофильства Шишкова, которое, какъ выше замѣчено, не ограничивалось любовью къ славянскому языку, будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ.

§ 15. Продолжаемъ очеркъ жизни и занятій Карамзина, доведенный въ § 2-мъ до назначенія его исторіографомъ. Письма его къ Муравьеву (1803—1807), которому онъ былъ обязанъ возможностью написать исторію, «не варварскую и не постыдную для царствованія Александра I», представляютъ отчетъ о постепенномъ движеніи работы. Сочувствуя полезному дѣлу, товарищъ министра облегчалъ его всѣми зависѣвшими отъ него средствами: испросилъ автору дозволеніе пользоваться рукописями монастырскихъ библіотекъ и архива иностранной коллегіи, доставлялъ ему книги, какихъ нельзя было найти въ Москвѣ, рекомендовалъ его лицамъ, въ содѣйствіи которыхъ встрѣчалась надобность. Достойный примѣръ покровительства, исходящаго изъ той мысли, что появленіе дѣльнаго ученаго труда занимаетъ, какъ выразился Карамзинъ, уважительное «мѣсто въ системѣ государственнаго управленія». А. И. Тургеневъ, сынъ извѣстнаго намъ дѣятеля въ Новиковскомъ кругу, съ своей стороны оказывалъ большую помощь историку: онъ былъ посредникомъ между нимъ и тѣми лицами, которыя въ то время, въ Петербургѣ и за границу, занимались изслѣдованіями по русской исторіи (****). Черезъ него Карамзинъ сносился съ Кругомъ и Лербергомъ, получалъ рѣдкія книги и рукописи, узнавалъ о новыхъ историческихъ сочиненіяхъ, выходившихъ въ чужихъ краяхъ. Преданность многосложному труду не оставляла Карамзину времени для литературы (*****), но онъ внимательно слѣдилъ за ходомъ государственныхъ реформъ въ отечествѣ. Новые законы и учрежденія, быстро слѣдуя одни за другими, не могли не возбуждать вниманія образованныхъ москвичей, какими, напримѣръ, кромѣ самого Карамзина, были гр. О. В. Растопчинъ и Ю. А. Нелединскій-Мелецкій. Безъ сомнѣнія, они разсуждали о томъ, что дѣлалось въ высшихъ правительственныхъ сферахъ. Древнія судьбы Россіи не заслоняли отъ историка ея современнаго положенія; напротивъ, тѣмъ охотѣе направлялась его мысль къ сличенію прошлаго съ настоя-

(*) Это—отзывъ С. Т. Аксакова (Семейная хроника).

(**) Критика «Прибавленія къ Разговорамъ о словесности».

(***) Извѣд. сочиненія и переписка Карамзина. (Письмо къ супругѣ 1816, февраля 14).

(****) Письма Карамзина къ Тургеневу, съ 1806 по 1825, въ Москв. 1855, №№ 1, 23 и 24

(*****). Только по случаю указа о милиціи (1806) Карамзинъ написалъ «Пѣснь воиневъ», да въ 1814 г. оду: «Освобожденіе Европы и слава Александра I».

щимъ, чтобы на основаніи перваго судить о характерѣ втораго. Знакомство съ великой княгиней Екатериной Павловной, отличавшейся умомъ и любознательностію, доставило ему новый поводъ къ бесѣдамъ о томъ, что въ Петербургѣ задумывалось по мысли Царя и его совѣтниковъ для лучшаго государственнаго устройства (*). Она вела съ нимъ переписку (**) и нерѣдко приглашала его въ Тверь. Здѣсь онъ былъ представленъ Государю, который уже зналъ его по сочиненіямъ; здѣсь читалъ ему (1811) нѣкоторыя мѣста изъ исторіи, о чемъ упоминается въ посвященіи книги; здѣсь же (1811) великая княгиня вручила своему державному брату «Записку о древней и новой Россіи», излагающую взгляды автора на дѣла виѣшней политики и внутренняго управленія (***). Рѣзкая, хотя и благонамѣренная, критика того, что было совершено въ Россіи въ первое десятилѣтіе XIX в., не поправила Государя, но вскорѣ онъ оцѣнилъ нелестивый (****) голосъ подданнаго, движимаго любовью къ отечеству и преданностію къ престолу, и временное недовольство смѣнилось постояннымъ благоволеніемъ. Государь даже имѣлъ мысль назначить его статсъ-секретаремъ при своей особѣ на время войны съ Наполеономъ, и только по особымъ обстоятельствамъ выборъ его палъ на Шишкова. Нашествіе французовъ прервало работу Карамзина. Последніе мѣсяцы 1812 и первую половину 1813 г. онъ провелъ съ своимъ семействомъ въ Нижнемъ-Новгородѣ (*****). Воротясь въ Москву, онъ ничѣмъ уже не отвлекался отъ усиленныхъ занятій: великая княгиня, по смерти своего супруга, принца ольденбургскаго (1813), отправилась за границу, а потомъ жила въ Петербургѣ до своего втораго замужства (*****). Изъ писемъ его къ брату (*****) видно, что въ 1815 г. у него было готово восемь томовъ, которые онъ и рѣшился выдать въ свѣтъ, отмѣнивъ прежнее намѣреніе не печатать ни одной строки своей исторіи до тѣхъ поръ, пока она не будетъ доведена до вступленія на престолъ дома Романовыхъ. По званію исторіографа, Карамзинъ почиталъ долгомъ представить двѣнадцатилѣтній трудъ свой лично Государю, чтобы «Исторія Государства Россійскаго», посвященная его имени, явилась въ публику съ его собственнаго одобренія и подъ его высокимъ покровомъ. Съ этою цѣлью онъ отправился въ Петербургъ (1816) (*****). Любопытны письма его, писанныя отсюда къ женѣ (*****). Литераторы и правительственные лица съ разными чувствами встрѣтили москвича, который хотя не имѣлъ никакого участія въ администраціи, но понималъ, что дѣлалось въ Россіи, и судилъ о томъ откровенно, съ извѣстной точки зрѣнія. Если многіе изъ первыхъ видѣли въ немъ либеральнаго нововводителя, то нѣкоторые

(*) Великая княгиня, принцесса ольденбургская, называла Карамзина своимъ учителемъ, такъ какъ онъ выправлялъ ея переводы и другія упражненія въ русскомъ языкѣ.

(**) Съ 1810 по 1818 г. (напеч. въ «Низд. сочиненіяхъ Карамзина, т. I»).

(***) О Запискѣ, на сколько она относится къ образу мыслей автора, см. ниже.

(****) Эпиграфъ къ «Запискѣ»: «Нѣтъ лести въ языкѣ моемъ» (Псал. 138, ст. 4).

(*****) Первая супруга Карамзина ум. 1802 г. Въ 1804 г. онъ женился на Катеринѣ Андреевнѣ Козлявановой, воспитаницѣ кн. Вяземскаго, отца извѣстнаго писателя (кн. Петра Андреевича). Московскій пожаръ встрѣбилъ его библіотеку, но рукописи уцѣлѣли въ Остафьевѣ, родовомъ помѣстьѣ князей Вяземскихъ.

(******) Въ 1816 г. она вышла за короля вюртембергскаго; скончалась въ 1818 г.

(******) Александру Михайловичу, котораго онъ особенно любилъ и уважалъ. Письма пап. въ Атепѣ 1858 (ММ 19—28).

(******) Карамзинъ, сверхъ чаянія, прожилъ въ Петербургѣ 50 дней, почему и называлъ это время «петербургской пятидесятницей».

(******) Нап. въ I т. «Низд. сочиненій и переписки К—на».

между вторыми разумѣли его, какъ сторонника анти-либеральныхъ идей въ политикѣ. Самого Сперанскаго, противъ котораго главнѣйшимъ образомъ направлена «Записка о древней и новой Россіи», не было въ столицѣ, но были другіе, на глаза которыхъ реформаторъ въ словесности отсталъ отъ вѣка по своимъ понятіямъ о реформахъ государственныхъ. Инымъ казался онъ выше, а инымъ ниже составленнаго о немъ мнѣнія. Академикъ Кругъ нашелъ его учене, чѣмъ предполагалъ; политико-экономъ Шторхъ признавался, что слышалъ отъ него «новыя и сильныя вещи». Вообще же пріемомъ петербургскихъ жителей Карамзинъ остался вполне доволенъ: «здѣсь», писалъ онъ, «все, кромѣ Кутузова и кн. Шаховскаго (*) сыплютъ на меня цвѣты». Онъ познакомился съ Шишковымъ, правдивымъ, честнымъ, «незловивымъ какъ голубь». Державинъ устроилъ для него обѣдъ, желая свести его съ членами «Бесѣды». Но не въ эту сторону склонялся Карамзинъ: лучшее себѣ развлеченіе находилъ онъ въ кругу даровитой и образованной молодежи (Блудова, Дашкова, Уварова, Тургенева, кн. Вяземскаго и др.),—той самой, что за годъ до того устроила литературное общество «Арзамасъ», въ противоположность серьезной «Бесѣдѣ» (**). «Здѣсь не знаю ничего умнѣе «Арзамасцевъ», писалъ Карамзинъ: «съ ними бы жить и умереть... Вотъ истинная русская Академія! Жаль только, что она не въ Москвѣ или не въ Арзамасѣ.»

Объ императрицы, Елизавета Алексѣевна и Марія Теодоровна, и великіе князья обласкали Карамзина и слушали чтеніе его исторій. Графъ Аракчеевъ, пожелавшій съ нимъ познакомиться, вызвался ускорить неходъ дѣла, для котораго Карамзинъ собственно пріѣхалъ въ Петербургъ, «замолвивъ за него слово Государю». Вскорѣ послѣ того Государь принялъ Карамзина, долго бесѣдовалъ съ нимъ, наградилъ его чиномъ статскаго совѣтника и орденомъ св. Анны 1-ой степени и приказалъ выдать ему изъ Кабинета 60 тысячъ руб. на печатаніе исторіи (***).

Въ 1816 г. Карамзинъ съ семействомъ переселился въ Петербургъ, гдѣ думалъ остаться на годъ или на два, пока издастъ восемь томовъ Исторіи. Онъ вовсе не имѣлъ мысли покинуть Москву навсегда. Изъ писемъ его видно, въ какомъ меланхолическомъ расположеніи онъ находился не только первое время по переѣздѣ, но и въ послѣдствіи, какъ скучалъ и рвался на прежнее мѣсто, желая тамъ кончить жизнь. «Ласка двора къ намъ необыкновенная», увѣдомлялъ онъ брата; «за всеѣмъ тѣмъ сильно грущу. Мое положеніе могло бы восхитить молодаго человѣка, а я старъ и мраченъ духомъ..... Веселья для меня уже нѣтъ на свѣтѣ».—«Москва у меня въ сердцѣ», писалъ онъ Малиновскому; «кажется, что мнѣ лучше провести остатокъ жизни тамъ же, гдѣ я провелъ молодость, въ любви семейственной и дружеской... Не могу изобразить вамъ, какъ мнѣ бываетъ тяжело и грустно. Чувствую, что я не созданъ для здѣшней жизни и что мнѣ оставалось бы доживать свой вѣкъ въ уединеніи, съ вами, моими немногими друзьями московскими. Можетъ быть, я сдѣлалъ ошибку: да будетъ воля Божія» (****). Это горестное чувство понятно каждому, потому

*) Объ отношеніяхъ кн. Шаховскаго къ Карамзину см. ниже.

(**) Объ «Арзамасѣ»—ниже.

(***) Что Карамзинъ былъ обязанъ гр. Аракчееву скорѣйшимъ окончаніемъ дѣла, это видно изъ письма его къ женѣ (1816 марта 16): «вѣроятно, Аракчеевъ говорилъ обо мнѣ съ императоромъ».

(****) Письма Карамзина къ Алексѣю Теодоровичу Малиновскому и Письма Грибоѣдова къ Степану Пякитичу Бѣлячу (1860). Малиновскій былъ сенаторомъ и управлялъ Московскимъ архивомъ иностранныхъ дѣлъ.

что оно естественно. Сильная переменѣ въ жизни дѣйствуетъ на всѣхъ, болѣе или менѣе. Для Карамзина совершилась она въ тотъ возрастъ, когда уже поздно завязывать связи, которыми красится наше существованіе, а можно только дорожить связями, давно завязанными, чувствовать кровную въ нихъ потребность для внутренняго блага и страшиться невольной съ ними разлуки. Для духовно-родственного сближенія съ людьми положенъ извѣстный срокъ; за его предѣлами нѣтъ ни охоты, ни силъ вербовать себѣ новыхъ спутниковъ; потеря старыхъ друзей и пріятелей облегчается печальнымъ о нихъ воспоминаніемъ, а не радостной замѣной ихъ новыми. Карамзину было пятьдесятъ лѣтъ, когда онъ, съ переменною мѣста, необходимо измѣнялъ и образъ жизни. Онъ чувствовалъ себя не только въ иномъ физическомъ климатѣ, но и въ иной общественной атмосферѣ. Все, что онъ могъ назвать своимъ—родовымъ и благопріобрѣтеннымъ, что даетъ первая натура и что образуетъ въ насъ вторую натуру,—все это укоренилось, развилось и дало плодъ на московской почвѣ. Мудрено ли, что онъ, проводя лѣто въ Царскомъ Селѣ, вздыхалъ по Остафьевѣ и подмосковнымъ дачамъ? И должно ли удивляться, когда онъ, не смотря на свое положеніе, способное возбудить зависть во многихъ, признавался, что ему «и отъ радости бываетъ грустно», что онъ «не отъ міра сего»?

Черезъ полтора года по переѣздѣ Карамзина въ Петербургъ, вышли восемь томовъ его «Исторіи Государства Россійскаго» (1816—1818). Въ 25 дней было продано 3000 экземпляровъ: дѣло безпримѣрное въ нашей книжной торговлѣ. «Появленіе этой книги», рассказываетъ А. Пушкинъ въ своихъ запискахъ, «надѣлало много шуму и произвело сильное впечатлѣніе. Всѣ, даже свѣтскія женщины, бросились читать исторію своего отечества, дотолѣ имъ неизвѣстную. Она была для нихъ новымъ открытіемъ. Древняя Россія, казалось, была найдена Карамзинымъ, какъ Америка Колумбомъ. Нѣсколько времени ни о чемъ иномъ не говорили, хотя многіе толки были такого свойства, что могли отучить всякаго отъ охоты къ славѣ.» Печатаніе втораго изданія, проданнаго книгопродавцу Сленину за 50 тысячъ рублей, снова удержало автора въ Петербургѣ: онъ жилъ, какъ и прежде, «особнякомъ» съ женою, съ дѣтьми и съ типографіями. «Изданіе идетъ такъ медленно», писалъ онъ друзьямъ своимъ, «что не скоро могу раздѣлаться съ Петербургомъ.... Какъ еще далеко отъ меня любезная Москва!»

Царская фамилія оказывала постоянныя милости и ласки Карамзину. Онъ часто бывалъ у Императрицы Елизаветы Алексѣевны, которая посылала ему на просмотръ свои переводы съ иностранныхъ языковъ, крестила одну изъ его дочерей и пожаловала фрейлиной старшую (*). Благоволеніе къ нему Александра равнялось его чистой, безкорыстной преданности престолу. Никогда, быть можетъ, не выражались съ такимъ достоинствомъ взаимныя отношенія двухъ лицъ, такъ далеко стоявшихъ другъ отъ друга по своему положенію. Подданный не искалъ у Государя никакихъ для себя благъ, и Государь цѣнилъ эту независимую къ себѣ любовь подданнаго. Нѣсколько разъ было ему предлагаемо мѣсто министра народнаго просвѣщенія, но онъ постоянно отъ него отказывался, довольствуясь титуломъ исторіографа и личнымъ благоволеніемъ къ нему Государя. «Я привязанъ къ Нему болѣе, чѣмъ когда либо», писалъ Карамзинъ гр. Каподистріи (1825), «не помышляя ни о какихъ особенныхъ милостяхъ, ни о какомъ вліяніи, т. е. ни мало

(*) Переписка Карамзина съ Императрицею (1818—26) въ 1 ч. «Неизданныхъ его сочиненій».

не тревожась тѣмъ, что не имѣю никакого вліянія» (*). Государь часто видался съ Карамзинымъ. Лѣтомъ онъ почти ежедневно бесѣдовалъ съ нимъ въ большой аллеѣ царскосельскаго сада, которую прозвалъ своимъ *зеленымъ кабинетомъ*. «Исторія государства руссiйскаго» печаталась безъ цензуры; цензоромъ былъ самъ Государь: онъ просматривалъ ее въ рукописи, которая посылалась къ нему и въ то время, когда онъ уѣзжалъ за границу. Такъ онъ читалъ царствованіе Осдора Ивановича на пути въ Верону (1822) и, возвращая тетради, писалъ автору: «Если послѣ сего чтенія встрѣтилъ бы я васъ, на прогулкѣ нашей ежедневной въ Царскомъ Селѣ, то, можетъ быть, позволилъ бы я себѣ войти съ вами въ разсужденіе о трехъ или четырехъ выраженiяхъ, возбудившихъ нѣкое сомнѣніе во мнѣ о ихъ правильности» (**). Нѣкоторые примѣчанія Государя совѣтовали Карамзину смягчить отзывы о Польшѣ. Карамзинъ отвѣчалъ на это (1824): «Слѣдуя Вашему замѣчанію, я съ особеннымъ вниманіемъ просмотрѣлъ тѣ мѣста, гдѣ говорится о полякахъ, союзникахъ Ажедимитрія: нѣтъ, кажется, ни слова обиднаго *для народа*; описываются только худыя дѣла *лицъ*, и такъ, какъ сами польскіе историки описывали ихъ или судили. Я не щадилъ и Русскихъ, когда они злодѣйствовали или срамились. Употребляю предпочтительно имя *Ляховъ* для того, что оно короче, пріятнѣе для слуха, и въ сіе время (т. е. въ XVI или XVII вѣкѣ) обыкновенно употреблялось въ Россіи» (***). Первые три главы XII-го тома были читаны Государемъ въ 1825 году, на возвратномъ пути изъ Варшавы въ Царское Село. Наконецъ другія главы того же тома служили послѣднимъ чтеніемъ Императора Александра I: рукопись, присланная изъ Таганрога по кончинѣ Государя, была возвращена автору не задолго до его смерти. Награжденный чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника (1824), историкъ отвѣчалъ на извѣщеніе слѣдующимъ письмомъ: «Въ лицѣ исторiографа приношу Вашему Императорскому Величеству всеподданнѣйшую благодарность за чинъ, которымъ Вы хотѣли изъявить *для публики* вниманіе къ трудамъ, небезполезнымъ, можетъ быть, и въ государственномъ смыслѣ» (****). Смерть Государя поразила Карамзина глубокою горестью, которую онъ изливалъ въ письмахъ и къ брату и къ П. П. Дмитриеву. «Александра», писалъ онъ первому, «любилъ я какъ человѣка, какъ искренняго, добраго, мнлаго пріятеля, если смѣю такъ сказать: онъ самъ называлъ меня своимъ *искреннимъ*. Его величіе и слава, конечно, давали этой связи еще особенную для меня прелесть. Не думалъ я пережить его и надѣялся оставить въ немъ покровителя моимъ дѣтямъ. Да будетъ воля Божія! Привязанность моя къ нему осталась безкорыстною» (*****). «Мнѣ хочется болѣе плакать, нежели писать о немъ», говоритъ онъ въ одной изъ бумагъ, оставленныхъ сыновьямъ. «Я любилъ его искренно и нѣжно, любилъ человѣка, красу человѣчества своимъ великодушiемъ, милосердіемъ, незлобіемъ рѣдкимъ. Не боюсь встрѣтиться съ Нимъ на томъ свѣтѣ, о которомъ мы такъ часто говорили, оба не ужасаясь смерти, оба вѣря Богу и добродѣтели» (*****).

Однакожъ, не смотря на такіа близкія отношенія подданнаго къ монарху, слова Карамзина, что онъ не имѣлъ никакого вліянія, остаются въ своей силѣ. Ходатайство

(*) Письмо на фран. яз. въ Непзд. соч., ч. I; русскій переводъ въ соч. Жуковскаго, т. 7.

(**) Переписка Карамзина съ Императоромъ Александромъ I (1822—25) въ I ч. Непзд. Соч.

(***) Ib. стр. 28—29 (письма 6 и 8).

(****) Ib. стр. 31 (письмо 11, служащее отвѣтомъ на письмо Государя подъ № 10).

(*****) Атеней, 1858, № 28, стр. 117.

(*****) Непзд. сочн., ч. I, стр. 12.

его по дѣламъ частныхъ лицъ, конечно, уважалось. Такъ, между прочимъ, онъ обратилъ благотворное вниманіе государя на судьбу семейства Новикова (*); также точно А. И. Тургеневъ былъ обязанъ ему тѣмъ, что остался на службѣ, послѣ увольненія своего отъ должности директора департамента духовныхъ дѣлъ, и получалъ полное жалованье (**). Но относительно предметовъ государственныхъ, о которыхъ онъ бесѣдовалъ съ Александромъ, десятилѣтняя милость и довѣренность вѣнценосца, какъ онъ самъ выразился, остались безплодны. Государь, большею частію, не слѣдовалъ его совѣтамъ, хотя всегда выслушивалъ ихъ кротко, терпѣливо, съ неизъяснимою любезностью (***). Въ 1819 г., по поводу намѣренія Государя возстановить Польшу въ ея цѣлости (въ предѣлахъ до перваго ея раздѣла), Карамзинъ читалъ ему свою знаменитую записку, подъ названіемъ «Мнѣніе русскаго гражданина» (****), въ которой объяснялъ, что «возстановленіе Польши будетъ паденіемъ Россіи». Въ «Новомъ прибавленіи для потомства» (*****), написанномъ черезъ шесть лѣтъ послѣ Записки, Карамзинъ замѣтилъ: «правда, Россія удержала свои польскія области; но болѣе счастливыя обстоятельства, нежели мои слезныя убѣжденія, спасли Александра отъ дѣла равно бѣдственнаго и несправедливаго: по крайней мѣрѣ такъ сказалъ онъ мнѣ въ ноябрѣ 1824 года» (*****). Были и другіе важные предметы, о которыхъ Карамзинъ велъ разговоры съ Государемъ, стараясь своими мнѣніями подѣйствовать на его волю: «я не безмолвствовалъ», говоритъ онъ, «о налогахъ въ мирное время, о нелѣпой Г.... системѣ финансовъ, о грозныхъ военныхъ поселеніяхъ, о странномъ выборѣ нѣкоторыхъ важнѣйшихъ сановниковъ, о министерствѣ просвѣщенія или затмѣнія (*****), о необходимости уменьшить войско, о мнимомъ исправленіи дорогъ, столь тягостномъ для народа, наконецъ о необходимости имѣть твердые законы, гражданскіе и государственные» (*****). Мы не беремся объяснять причины, почему совѣты Карамзина, благосклонно выслушиваемые, не переходили въ дѣло. Всего вѣрнѣе то предположеніе, что Государь смотрѣлъ иначе на предметы, способы и цѣли государственнаго правленія; или, быть можетъ, уважая искренній голосъ преданнаго ему человѣка, онъ находилъ удовольствіе именно въ этихъ интимныхъ, неофициальныхъ отношеніяхъ, а официальную сторону предоставлялъ лицамъ служебнымъ, спеціально знакомымъ съ кругомъ своихъ дѣйствій. Какъ бы то ни было, а бесѣды Карамзина съ Императоромъ, съ глазу на глазъ, продолжавшіяся иногда по нѣскольку часовъ сряду, выказали въ немъ неизмѣнно-твердый патріотизмъ, такъ что онъ записку свою о Польшѣ, угрожавшую ему царскою немилостью, не безъ причины назвалъ «мнѣніемъ русскаго гражданина» и имѣлъ право обратиться къ потомству съ такими словами: «Потомство! достоинъ ли я былъ имени гражданина русскаго? любилъ ли отечество? вѣрилъ ли добродѣтели? вѣрилъ ли Богу?... Я не зналъ нужды по своей бережливости и по милости Божіей, но не имѣлъ достатка, имѣя многочисленное семейство, безъ способовъ воспитывать дѣтей, какъ бы мнѣ хотѣлось» (*****).

(*) См. выше, § 9.

(**) Письмо къ Тургеневу (1824). Москвит. 1855, № 23 и 24.

(***) Новое прибавленіе (Неизд. соч., стр. 11).

(****) Она извѣстна также подъ именемъ «Записки о Польшѣ» (нап. въ Неизд. соч., стр. 3—10).

(*****) Ib.

(******) Ib. стр. 11.

(******) Разумѣется управленіе Шишкова, въ 1824 г. замѣстившаго князя А. Н. Голицына.

(******) Неизд. соч., стр. 11 и 12.

(******) «Для потомства» (Неизд. соч. I, стр. 9).

По смерти Александра, Карамзинъ намѣревался, кончивъ 12-й томъ Исторіи, удалиться отъ двора, въ Москву или въ нѣмецкую землю, для воспитанія сыновей, такъ какъ ученіе въ Петербургѣ и труднѣе, и дороже. Болѣзненные припадки стали чаще задерживать его работу. Силы его слабѣли, меланхолія увеличивалась. Упомянутое выше письмо къ Каподистрии (1825) трогательнымъ образомъ знакомитъ насъ съ тѣмъ состояніемъ, въ какомъ находился Карамзинъ не задолго до кончины Государя и за годъ до своей собственной смерти; оно же показываетъ, что историкъ ясно сознавалъ достоинство своего характера и свои заслуги передъ отечествомъ:

Мои скопляющіеся годы, слабость моего здоровья, печальныя обстоятельства, насъ разлучающія и которымъ конца не вижу, все это заставляетъ меня думать, что прошедшее для меня уже не возвратится. Но въ утѣшеніе себѣ говорю: «хотя онъ и далеко, но онъ объ насъ помнитъ: а мы безсмертны. Соединеніе душъ не прекращается съ «жизнію матеріальною: пережившіи сохраняетъ воспоминаніе; отшедшіи, быть можетъ, болѣе выигрываетъ, нежели теряетъ. Земные путешественники слишкомъ разбѣяны: имъ нѣтъ досуга заботиться о дружбѣ; не прежде, какъ бросивъ свой посохъ, мы можемъ предаться вполне привязанностямъ своего сердца; тогда растерянное во времени «будетъ отыскано въ вѣчности.» — Такіе разговоры съ самимъ собою занимаютъ меня теперь гораздо болѣе всѣхъ разговоровъ въ обществѣ: они сохраняютъ теплоту моей души, которая мнѣ еще нужна для моего милаго семейства, для моихъ друзей, для моей Исторіи, поднимающейся къ окончанію (даръ отъ меня потомству, если оно его приметъ; если же нѣтъ, то нѣтъ). Такъ! я старѣюсь, не угадая (быть можетъ придетъ и то). О! какъ я люблю еще моихъ товарищей путешествія! какъ трогаетъ меня ихъ бѣдная участь! какъ вся душа моя полна жалости для столькихъ ближнихъ, для столькихъ народовъ!...

Мы на сихъ дняхъ переѣхали въ Петербургъ изъ Царскаго Села, гдѣ прожили болѣе двухъ мѣсяцевъ въ ненарушимомъ уединеніи: какъ далеко была отъ меня скука въ тѣ минуты, когда я не страдалъ физически! Сколько глубокихъ наслажденій находилъ я въ этомъ ежедневномъ досугѣ, въ кругу моего семейства, иногда одинъ совершенно. Работа, чтеніе, осеннія, не рѣдко ночныя прогулки имѣли для меня прелесть неизъяснимую. Не слишкомъ боясь смерти, иногда смотря на нее съ какимъ-то радуніемъ и любя повторить съ Ж. Ж. Руссо, что *азыпающій на рукахъ отца беззаботенъ о своемъ пробужденіи*, я допиваю по каплямъ сладкое бытіе земное; я радуюсь имъ по-своему, непримѣтно для зависти. Подходя къ концу жизни, я благодарю Бога за все, что Онъ мнѣ даровалъ въ ней; можетъ быть ошибаюсь, но совѣсть моя спокойна; милое отечество ни въ чемъ не упрекнетъ меня; я всегда былъ готовъ служить ему, сохраняя достоинство своего характера, за который ему же обязанъ отвѣтствовать: и что же? я могъ описать одни только варварскія времена его Исторіи; меня не видали ни на полѣ сраженія, ни въ совѣтахъ государственныхъ; зная однако, что я не трусъ и не лѣнливца, говорю самому себѣ: «такъ было угодно Богу», и, не имѣя смѣшной авторской спеси, вхожу не стыдись въ общество нашихъ генераловъ и нашихъ министровъ.

Какъ бы предчувствуя, что съ окончаніемъ историческаго труда приближается и смерть, Карамзинъ писалъ Дмитріеву (1826):

Списываю вторую главу Шуйскаго: еще главы три съ обзорѣмъ до нашего времени, и поклонъ всему міру, не холодный, но съ движеніемъ руки на встрѣчу потомству, ласковому или снисковому, какъ ему угодно. Признаюсь, желаю довершить съ нѣкоторою полнотою духа, правотою сердца и воображенія. Близо, близо, но еще можно не доплыть до берега. Жаль, если захлебнусь съ перомъ въ рукѣ, до пункта, или перо выпадетъ изъ руки отъ какого нибудь удара. Но да будетъ воля Божія (*).

Собираясь, по настоянію врачей, въ Италію и затрудняясь въ средствахъ ѣхать туда и жить въ отечествѣ, Карамзинъ желалъ занять мѣсто повѣреннаго въ дѣлахъ, если бы оно открылось. Онъ обратился съ просьбой о томъ къ Императору Николаю I. Государь, принявъ живѣйшее участіе въ возстановленіи его здоровья, повелѣлъ изго-

(*) Атепей 1858, стр. 118.

товить фрегатъ, который долженъ былъ отвезти его въ Марсель. При этомъ Карамзинъ получилъ слѣдующій высочайшій рескриптъ:

Николай Михайловичъ!

Разстроенное здоровье ваше принуждаетъ васъ покинуть на время отечество и искать благопріятнѣйшаго для васъ климата. Почитаю за удовольствіе изъяснить вамъ Мое искреннее желаніе, чтобъ вы скоро къ намъ возвратились съ обновленными силами и могли снова дѣйствовать для пользы и чести отечества, какъ дѣйствовали донинѣ. Въ то же время, и за покойнаго Государя, знавшаго на опытѣ вашу благородную, безкорыстную къ Нему привязанность, и за Себя Самого, и за Россію, изъясляю вамъ признательность, которую вы заслуживаете и своею жизнію какъ гражданинъ, и своими трудами какъ писатель. Императоръ Александръ сказалъ вамъ: Русскій народъ достоинъ знать свою Исторію. Исторія, вами написанная, достойна Русскаго народа.—Исполняю то, что желалъ, чего не успѣлъ исполнить братъ Мой. Въ приложенной бумагѣ найдете вы изъясненіе воли Моей, которая, будучи съ Моей стороны одною только справедливостію, есть для Меня и священное завіщаніе Императора Александра. Желаю, чтобы путешествіе было вамъ полезно, и чтобы оно возвратило вамъ силы, для довершенія главнаго дѣла вашей жизни.

Николай.

Въ приложенномъ къ рескрипту указѣ повелѣно было производить Карамзину, по случаю его отъѣзда за границу для излеченія, по 50 тысячъ руб. въ годъ съ тѣмъ, чтобы сія сумма, обращаемая ему въ пенсію, послѣ него была производима сполна его женѣ, а по смерти ея также сполна и дѣтямъ,—сыновьямъ до вступленія всѣхъ ихъ на службу, а дочерямъ до замужества послѣдней изъ нихъ.

Но Карамзинъ уже не былъ въ силахъ покинуть отечество: онъ умеръ 22 мая 1826 и похороненъ въ Александровской Лаврѣ. На надгробномъ его камнѣ вырѣзаны слова: «Блаженъ чистѣмъ сердцемъ». Въ Симбирскѣ воздвигнуть ему памятникъ 1845 г.

Карамзинъ принадлежитъ къ числу самыхъ достопамятныхъ людей русской земли. Память его священна для каждаго изъ насъ. Онъ, первый, своимъ талантомъ, образованностью и нравственными качествами возвысилъ званіе литератора въ нашемъ отечествѣ. Не обладая гениемъ Ломоносова и Пушкина, онъ не имѣлъ и тѣхъ недостатковъ, которые равно предосудительны какъ въ гениальныхъ людяхъ, такъ и въ обыкновенномъ смертномъ. Лучшія стороны европейской цивилизаціи выказывались въ немъ достойнѣе, чѣмъ онѣ выказываются многими изъ великихъ ученыхъ и первоклассныхъ поэтовъ. Во всѣхъ своихъ дѣлахъ и мнѣніяхъ онъ руководствовался чистыми побужденіями. Можно было не соглашаться съ его образомъ мыслей; но нельзя было сомнѣваться въ благородствѣ души его: оно стояло внѣ всякой критики. Какъ писатель, онъ имѣлъ враговъ; какъ характеръ, онъ пользовался общимъ уваженіемъ. Никому не далъ онъ повода заподозрить себя во лжи, зависти, лицемеріи, искательствахъ. Никогда онъ не старался извлекать лично для себя выгоды изъ своего положенія, которымъ другой на его мѣстѣ не преминулъ бы воспользоваться всеми силами и мѣрами. Онъ имѣлъ право гордиться своею независимостью, сказавъ, что «завоевалъ ее миромъ совѣсти и довѣренностію къ провидѣнію». Его отношенія къ людямъ отличались постояннымъ благорасположеніемъ, которое онъ самъ называлъ «добродѣтельною общежитіемъ, слѣдствіемъ утонченнаго челоуколюбія». Онъ почиталъ своимъ долгомъ оказывать привѣтъ и ласку кому бы то ни было. Каждый,

имѣвшій съ нимъ дѣло, получалъ выгодное о немъ мнѣніе. Въ обращеніи Карамзина не замѣчалось даже того, что объясняется выходками дурнаго расположенія духа и что такъ непріятно дѣйствуетъ на окружающихъ насъ людей. Письма Каменева, Записки К. Калайдовича и Вигеля, и многія другія свидетельства согласно говорятъ о его благодушій и гуманности, этихъ наилучшихъ украшеній челоуѣка. Скремность, его отличавшая, не мѣшала ему сознавать свои достоинства и доблестныя заслуги. Это благородное сознаніе позволяло ему безъ стыда входить въ общество генераловъ и сановниковъ; оно же побудило его сказать въ письмѣ къ женѣ: «я ничто передъ лицомъ Бога, но открыто и смѣло смотрю въ глаза людямъ.»

§ 16. Задача исторіи—воспроизведеніе прошлой жизни челоуѣчества. Какъ и всѣ другія науки, она имѣетъ цѣлю—истину. Эта научная истина требуетъ, чтобы прошлое было представлено точно такимъ, каково оно было въ дѣйствительности. Справедливо уподобляютъ исторію зеркалу, въ которомъ событія отражаются въ подлинномъ своемъ видѣ и значеніи.

При выполненіи своей задачи историкъ встрѣчаетъ особенныя трудности потому, что его наука, отличаясь отъ другихъ знаній предметомъ, кромѣ того отличается отъ нихъ и отношеніемъ къ предмету. Всѣ прочія науки занимаются матеріаломъ, подлежащимъ непосредственному наблюденію и опыту. Матеріаль же исторіи дается его изслѣдователямъ посредственно. Историкъ имѣетъ дѣло не съ прошлымъ, а съ свидетельствами о прошломъ. Онъ разсматриваетъ не самые факты, а только отраженіе фактовъ въ сознаніи ихъ современниковъ или ближайшаго потомства. Это сознаніе и служить посредствующею средою между прошлымъ народнои жизни и историческимъ о немъ повѣствованіемъ.

Поэтому первымъ дѣломъ историка должны быть разборъ и оцѣнка источниковъ. Онъ обязанъ провѣрить ихъ, очистить отъ всего, что въ сознаніи свидѣтелей помрачало образъ и смыслъ прошедшаго, и такимъ образомъ установить истину каждаго событія, а равно и его внутреннюю связь съ событіями предыдущими и послѣдующими. Эта предварительная работа называется критическою, или аналитическою.

Въ какомъ отношеніи свидетельства о событіяхъ находятся къ самимъ событіямъ, въ такомъ же отношеніи исторія находится къ свидетельствамъ, на которыхъ она построена. Образъ прошедшаго преломляется въ двухъ средахъ: сначала въ сознаніи лицъ, записавшихъ дѣла миновавшихъ лѣтъ, а потомъ въ сознаніи историка, излагающаго эти дѣла по документамъ. Въ обоихъ случаяхъ истина можетъ быть затемняема подѣ вліяніемъ различныхъ обстоятельствъ; тамъ и здѣсь характеръ народа, духъ времени, личныя особенности автора кладутъ свои краски на историческую картину. Вполнѣ объективное, чисто-эпическое, безпристрастное и безстрастное созерцаніе и представленіе прошлаго принадлежитъ къ идеальнымъ, слѣдов. невыполнимымъ, требованіямъ.

За критическою частію историческаго труда слѣдуетъ часть постронительная, или синтетическая, цѣль которой—свести разьясненныя матеріалы въ одно цѣлое, по опредѣленному плану, изложить событія въ хронологическомъ порядкѣ и въ органической ихъ связи между собою. Съ этой стороны, исторія допускаетъ творчество и восходитъ на степень искусства, почему лучшія историческія сочиненія и занимаютъ мѣсто въ исторіи литературы, на ряду съ художественными произведеніями. Разсмат-

риваемая, какъ искусство, исторія требуетъ изящества формы внутренней и ви́шней. Подъ внутреннею формою разумѣется художественное, по законамъ искусства совершенное построение матеріаловъ; подъ формою ви́шнею—красота словеснаго изложенія, т. е. языкъ и слогъ.

Какъ произведеніе искусства, исторія не должна терять своего научнаго достоинства. Показывая, каковъ былъ народъ, она съ тѣмъ вмѣстѣ показываетъ причины, почему онъ былъ таковъ; возсоздавая образы вещей и лицъ, уже несуществующихъ, для чего потребна немалая доля поэтическаго дарованія, она въ тоже время опредѣляетъ законы, управлявшіе развитіемъ народнои жизни. Необходимо, чтобы главная цѣль ея—истина не страдала отъ особенныхъ намѣреній творчества, на примѣръ отъ желанія доставить читателямъ эстетическое наслажденіе. Исторія можетъ, конечно, преслѣдовать и другія, побочныя цѣли: поднимать ослабѣвшій духъ патріотизма, возбуждать сочувствіе къ великимъ общественнымъ подвигамъ, служить урокомъ настоящему или будущему и т. п., но изъ-за нихъ не слѣдуетъ измѣнять самый матеріалъ, т. е. искажать образъ и значеніе событій. Историческое сочиненіе, въ которомъ научная истина приносится въ жертву какой-либо предвзятой мысли, главная цѣль—цѣли побочной, будетъ не исторіей, а панегирикомъ или памфлетомъ.

Но историкъ не ограничивается однимъ разсказомъ о прошлыхъ временахъ: весьма часто онъ и судитъ прошлое. Объективность историческаго представленія требуетъ, чтобы этотъ судъ надъ дѣйствіями и дѣятелями производился по современному имъ образу мыслей. Рѣдкіе, однакожъ, способны были безпристрастно входить въ область прошедшаго, отрѣшаясь отъ своего вѣка. Большею частію, оцѣнка событій совершалась авторомъ по современному ему образу мыслей, по тѣмъ нравственнымъ, политическимъ, гражданскимъ и другаго рода идеаламъ, господство которыхъ онъ желалъ бы видѣть въ жизни человѣчества. Что на путяхъ исторіи болѣе или менѣе приближалось къ этимъ идеаламъ, то возбуждаетъ его сочувствіе, заслуживаетъ похвалу; что противорѣчило имъ болѣе или менѣе, то предастъ онъ порицанію. Здѣсь-то, въ этомъ судѣ надъ мертвыми всего замѣтнѣе выступаетъ субъективный элементъ исторіи. Авторъ не скрывается за повѣствованіемъ, а вноситъ въ него лучшую часть своей личности—свои духовныя стремленія. Бываютъ случаи, когда духъ писателя даже закрываетъ собою духъ описываемаго времени. Это такая же ошибка, какъ представленіе всѣхъ прежнихъ формъ человѣческой жизни въ формѣ той жизни, которою живетъ самъ авторъ. Можно оправдывать ее или мириться съ ней на томъ основаніи, что личность писателя принадлежитъ къ высшему разряду и что слѣдов. субъективность его историческаго представленія гораздо значительнѣе той объективности, которой въ состояніи достигнуть ничтожный субъектъ (*).

Обращаясь отъ общихъ положеній къ историческому труду Карамзина, мы должны прежде всего указать въ немъ тѣ предметы, которые подлежатъ вѣдѣнію историко-литературной критики. Она не обязана разсматривать его со стороны науки: это—дѣло не историка русской литературы, а историка Россіи; или первому пришлось бы повторять то самое, что въ большей мѣрѣ и съ большимъ авторитетомъ опредѣляетъ послѣдній при оцѣнкѣ русской исторіографіи. Поэтому мы и отсылаемъ читателя къ тѣмъ сочиненіямъ, изъ которыхъ онъ можетъ узнать, на сколько въ трудѣ

(*) Очеркъ развитія исторической науки, В. Герье (1866).

Карамзина выполнена задача исторіи—точное представленіе жизни русскаго государства, отъ его основанія до вступленія на престолъ дома Романовыхъ (*).

На долю исторіи русской литературы остается разсмотрѣніе труда Карамзина съ двухъ другихъ сторонъ: во-первыхъ, со стороны высказаннаго въ ней образа мыслей автора, т. е. тѣхъ идеаловъ, которыхъ господствомъ онъ равно дорожилъ и въ историческомъ развитіи народа, и въ обыкновенной жизни людей, и служеніе которымъ было для него обязательно, какъ для историка, такъ и для литератора; во-вторыхъ, со стороны искусства, или формы—внутренней и внешней.

А) Образованіе Карамзина было завершено въ прошедшемъ столѣтіи. Почти всѣ его убѣжденія окончательно установились въ то время, когда онъ принялся за исторію. Онъ началъ писать ее въ слѣдъ за изданіемъ Вѣстника Европы, въ которомъ уже имѣлъ случай высказать свои воззрѣнія на важнѣйшіе предметы государства и общества, при Государѣ, положившемъ управлять народомъ по духу Екатерины II. Поэтому нельзя было ожидать отъ Карамзина, какъ отъ историка, важныхъ отклоненій отъ того образа мыслей, который онъ неоднократно заявлялъ, какъ журналистъ и литераторъ. За весьма немногими исключеніями все осталось по прежнему, въ томъ же видѣ и значеніи. Если языкъ «Исторіи», сравнительно съ языкомъ предшествовавшихъ ей сочиненій, называютъ новымъ шагомъ впередъ, то нельзя тогоже сказать объ историческихъ сужденіяхъ Карамзина: они стоятъ на старыхъ опорахъ, давно и крѣпко утвержденныхъ. Ему и не для чего было искать новыхъ точекъ зрѣнія, когда онъ имѣлъ въ запасѣ готовые убѣжденія. Занятія исторіей могли измѣнить его мнѣнія о нѣкоторыхъ событіяхъ и дѣятеляхъ, но не могли разсѣять, какъ призраки, окрѣпшіе въ его сознаніи политическіе, гражданскіе и нравственныя идеалы. Но этой причинѣ, при чтеніи «Исторіи Государства Россійскаго» мы нерѣдко встрѣчаемъ воззрѣнія не только «Вѣстника Европы», но и «Писемъ Русскаго Путешественника». Общія всемъ имъ мысли облакаются иногда въ одинаковую форму и даже одинаковыми словами.

Исслѣдованія прошедшихъ судебъ отечества, замѣтили мы выше, не отвлекали Карамзина отъ современныхъ ему интересовъ общества. Доказательствомъ тому служатъ «Записка о древней и новой Россіи», посвященная преимущественно сужденію о государственныхъ реформахъ за первыя десять лѣтъ нынѣшняго вѣка. Она явилась въ то время, когда уже нѣсколько томовъ исторіи было написано (**). И потому, говоря объ одномъ трудѣ, необходимо принимать къ соображенію и другой. Они служатъ взаим-

(*) Исторія Карамзина оканчивается 1611-мъ годомъ, статью: «состояніе Россіи». После изданія восьми томовъ, при жизни автора вышли еще томы IX (1821), X и XI (1824), а по смерти его XII (1829). Извѣщеніе отъ издателей послѣдняго тома написано Д. Н. Блудовымъ (въ послѣдствіи графомъ). Исторію Карамзина разсматривали: Каченовскій: «Письма отъ нѣмскаго жителя къ его другу» (Вѣст. Евр. 1819, №№ 2—5) и «Письмо къ редактору» (ib. № 6), содержащія въ себѣ только критику предисловія; Телевель: «Разсмотрѣніе Н. Г. Р. (Сѣвер. Архивъ 1822, № 23; 1823, №№ 19—22; 1824, №№ 1, 3, 15, 16, 19); Н. Полевой: Москов. Телеграфъ, 1829, № 12; Погодинъ, въ «Похвальномъ словѣ Карамзину» (Москв. 1846, № 1); Бестужевъ-Рюминъ: Современное состояніе рус. исторіи, какъ науки» (Москов. обозрѣніе, 1859 № 1); Соловьевъ: Карамзинъ, какъ историкъ (Отеч. Зап. 1853, № 10; 1854, №№ 2 и 5; 1855, №№ 4 и 5; 1856, № 4).

(**) Записка о древней и новой Россіи оставалась неизвѣстною до 1837 г.; когда отрывокъ ея явился въ Современникѣ, Пушкина. Только нѣкоторыя ея части нап. въ Н. Г. Р., изд. Эйперлинга, кн. III. Обзоръ ея содержанія см. въ соч. барона М. Корфа: «Жизнь гр. Сперанскаго» (ч. I, стр. 132—144)

нымъ дополненіемъ и поясненіемъ. Если въ первыхъ томахъ «Исторіи» авторъ высказалъ многое, что потомъ «Записка» повторила въ обзорѣ древне-русской исторіи, то, съ другой стороны, этотъ обзоръ предварительно изложилъ многое, что въ послѣдствіи подробно рассказано слѣдующими томами «Исторіи». По образу мыслей оба сочиненія состоятъ въ тѣсной между собою связи. Да и нельзя предполагать, чтобы ихъ авторъ держался различныхъ воззрѣній на одинъ и тотъ же предметъ, въ одно и тоже время.

Самъ авторъ обозначилъ направленіе своей исторіи, поднося ее Императрицѣ Елисаветѣ Алексѣевнѣ: «я писалъ съ любовью къ отечеству, ко благу людей въ гражданскомъ обществѣ и къ святымъ уставамъ нравственности» (*).

Нравственный уставъ господствуетъ надъ всѣми другими законами и побужденіями. Онъ проходитъ по всей исторической ткани яркою нитью, не умѣряемый въ строгости даже государственными требованіями. Что въ одинаковой силѣ обязательно для каждаго человѣка, къ тому Карамзинъ и питаетъ особенное уваженіе, то и служить для него главною мѣрою достоинства и правителей и подвластныхъ. На этомъ пунктѣ исторіографъ и публицистъ сошлись въ немъ самымъ дружнымъ образомъ. Какъ Вѣстникъ Европы не признавалъ Наполеона героемъ, потому что не находилъ «геронизма добродѣтели» въ его дѣйствіяхъ, такъ и Исторія, въ характеристикахъ древне-русскихъ князей и царей, наиболѣе останавливается на добродѣтельныхъ подвигахъ, даетъ имъ первое мѣсто, а не подчиняетъ ихъ какимъ-либо другимъ заслугамъ. Только та политика одобряется ею, которая согласна съ чувствомъ естественной справедливости. Если есть иная политика, то она не должна быть. Называя политикой коварство, лицемеріе, хитрость, мы смѣшиваемъ разнородные предметы. Присяга всегда сохраняетъ свою святость, и вѣроломство есть всегда преступленіе. Хотя Карамзинъ и цитируетъ слова Цицерона: «вѣкъ извиняетъ человѣка»; хотя между апогеями, разсѣянными въ его историческомъ трудѣ, мы и встрѣчаемъ мысль, что «самые великіе люди дѣйствуютъ согласно съ образомъ мыслей и правилами вѣка»: однакожъ, призывая мертвыхъ къ суду, онъ выговаривалъ его на основаніи тѣхъ самыхъ положеній, которыя неуклонно примѣнялъ и къ своимъ современникамъ. Передъ его нравственнымъ идеаломъ были равны всѣ времена и народы, всѣ разряды гражданскаго общества. Этотъ идеаль положительно выраженъ въ оцѣнкѣ дѣйствій Калиты. Хваля его за утвержденіе великокняжеской власти, историкъ не прощаетъ ему смерти Александра Тверскаго: «правила нравственности и добродѣтели святѣе всѣхъ иныхъ и служатъ основаніемъ истинной политики». Съ дурнымъ поступкомъ не мирили его ни похвальная цѣль, ни успѣшное достиженіе цѣли, потому что «отъ человѣка зависить только дѣло, а слѣдствія отъ Бога», и потому «судъ исторіи не извиняетъ и самаго счастливаго злодѣйства». Тѣже мысли повторены по случаю Казимірова умысла убить или отравить Іоанна III: «Никогда выгода государственная не можетъ оправдать злодѣянія; нравственность существуетъ не только для частныхъ людей, но и для государей: они должны такъ поступать, чтобы правила ихъ дѣяній могли быть общими законами».

И такъ передъ лицомъ нравственныхъ требованій всѣ люди равноправны. Исторія, ими вооруженная, ставитъ важнѣйшимъ величіемъ дѣятелей—служеніе добродѣтели; важнѣйшимъ ихъ преступленіемъ—измѣну добродѣтели. Съ этой точки зрѣнія, Карамзинъ судитъ неуклонно-строго. Особенной строгости подвергся Іоаннъ Грозный. По его

(*) Письмо отъ 24 янв. 1818 (Неизд. соч. К — на).

объясненіямъ, конецъ счастливыхъ дней Грознаго наступилъ въ то время, когда онъ лишился не только супруги, «но и добродѣтели»: Анастасія, вмѣстѣ съ Сильвестромъ и Адашевымъ, питала въ немъ любовь «къ святой нравственности». Последний величается мужемъ незабвеннымъ въ нашей исторіи, «красою вѣка и человечества»: двойная похвала—относительная, воздаваемая человѣку извѣстной эпохи, и безотносительная, сохраняющая свою цѣнность для всѣхъ возможныхъ эпохъ. Подвигъ митрополита Филиппа заслужилъ ему славу такого героя, знаменитѣ котораго, какъ выражается нашъ историкъ, не представляетъ ни древняя, ни новая исторія: ибо «умереть за добродѣтель есть верхъ человѣческой добродѣтели». Изобразивъ вторую, мрачную половину царствованія Іоанна IV, Карамзинъ дѣлаетъ замѣтку о пользѣ исторіи подобныхъ ему властителей: «вселять омерзѣніе ко злу есть вселить любовь къ добродѣтели». Онъ жалѣетъ о Курбскомъ, какъ о злополучномъ мужѣ, лишившемъ себя главнаго утѣшенія въ бѣдствіяхъ—«внутренняго чувства добродѣтели». Имя же «добродѣтельнаго» слуги его, Шибанова, сочтено достойною принадлежностью исторіи.

Таже мѣрка прилагается къ Годунову, Акедимитрію, Шуйскому и событіямъ междоусобицъ. Ни одно противонравственное дѣло не остается безнаказаннымъ. При описаніи блистательныхъ свойствъ Годунова, Карамзинъ даетъ намъ ключъ къ уразумѣнію того, что скажетъ о немъ потомство: «превосходя всѣхъ вельможъ дарованіями, Борисъ *не имѣлъ только... добродѣтели*; видѣлъ въ ней не цѣль, а средство къ достиженію цѣли; не могъ одолѣть искушеній тамъ, гдѣ зло казалось для него выгодною—и проклятіе вѣковъ заглушаетъ въ исторіи его добрую славу». Ошибочныя распоряженія Бориса во время успѣховъ самозванца вновь подтверждаютъ извѣстную истину, «сколь умъ обманчивъ въ раздорѣ съ совѣстію, и какъ хитрость, чуждая добродѣтели, запутывается въ собственныхъ сѣтяхъ». Ни эта хитрость, ни правительственный умъ не обольщаютъ Карамзина: они были для него темною силой, направленною къ личнымъ выгодамъ. Въ Борисѣ онъ чувствовалъ нечистую личность, не столько явными уликами, сколько сердцемъ открывая благовидность его дѣйствій при неблагомъ ихъ значеніи, соблюденіе законныхъ формъ при беззаконности содержанія. И потому исторія Борисова царствованія заключена строгимъ приговоромъ:

Имя Годунова, одного изъ разумѣйшихъ властителей въ мірѣ, въ теченіе столѣтій было и будетъ приписано съ омерзѣніемъ, *во славу нравственнаго, неуклоннаго правосудія*. Потомство видитъ любное мѣсто обогрѣнное кровію невинныхъ, св. Димитрія издыхающаго подъ ножомъ убійцы, героя нековскаго въ петлѣ, столь многихъ вельможъ въ мрачныхъ темницахъ и келіяхъ; видитъ гнущую изду, рукою вѣщическа предлагаемую клеветникамъ—доносителямъ; видитъ систему коварства, обмановъ, лицемерія предъ людьми и Богомъ... *вездѣ личину добродѣтели, и гдѣ добродѣтель? въ правдѣ ли судовъ Борисовыхъ, въ щедрости, въ любви къ гражданскому образованію, въ ревности къ величію Россіи, въ политикѣ мирной и здравой? Но сей яркій для ума блескъ младаго для сердца, удостовѣреннаго, что Борисъ не усомнился бы ни въ какомъ случаѣ дѣйствовать вопреки мудрымъ государственнымъ правиламъ, если бы властолюбіе потребовало отъ него такой перемены.*

Измѣна Басманова, «честолюбца безъ чести», его переходъ на сторону «державнаго прошлеца», какъ энергически Карамзинъ называетъ Акедимитрія, даетъ историку поводъ заявить нетвердость того, что противно уставу нравственности: «Басмановъ», говоритъ онъ, «не зналъ, что сильные духомъ падаютъ какъ младенцы на пути беззаконія». Отъ Василія Шуйскаго историкъ не ожидалъ ничего великаго, потому что, онъ могъ быть только вторымъ Годуновымъ: *лицемеромъ, а не героемъ добродѣтели,*

которая бываетъ главною силою властителей народа и народовъ въ опасностяхъ чрезвычайныхъ». Одна изъ такихъ опасностей наступила для нашего отечества въ междуцарствіе: «Россія гибла и могла быть спасена только Богомъ и собственною добродѣтелью».

Какъ бы ни судили объ изложенномъ взглядѣ, но, по крайней мѣрѣ, онъ отличается послѣдовательностью. Карамзинъ остался ему вѣренъ во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ, не преклонивъ его ни разу передъ другими началами. Если строго-правственная точка зрѣнія не совсѣмъ удобна въ исторіи, которая поэтому можетъ забывать главную цѣль свою—разъясненіе прошлаго, и имѣть въ виду цѣль стороннюю—поученіе настоящаго; если свѣточъ, который такъ твердо держалъ въ рукахъ своихъ историкъ, недостаточенъ для озаренія точнаго смысла событій: то блескъ такого свѣточка—все же прекрасный блескъ. Кому извѣстно многое множество примѣровъ развѣчаннаго величія, тотъ, въ конецъ концовъ, долженъ сознаться, что самое главное и прочное дѣло—быть хорошимъ человѣкомъ. А человѣкъ хорошъ тогда, когда уставъ нравственности для него не мертвая буква, а обязательный законъ. И такъ противъ мѣрила, выбраннаго Карамзинымъ, сказать нечего. Разсматриваемый въ самомъ себѣ, онъ безупреченъ. Но, при всемъ внутреннемъ своемъ достоинствѣ, соотвѣтствуетъ ли онъ различнымъ историческимъ временамъ? На этотъ первый вопросъ сочиненія Карамзина даютъ положительный отвѣтъ: для ихъ автора существовала только одна нравственность, исконная и нескончаемая; никакой другой онъ не признавалъ. Вторымъ вопросомъ требуется рѣшить, всегда ли полно и вѣрно примѣняется его нравственный уставъ? Примѣненіе общаго къ частному подвержено многимъ погрѣшностямъ. Въ томъ случаѣ, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, историкъ можетъ иногда проходить молчаніемъ крупныя факты, не подозрѣвая въ нихъ права заявлять торжество или помраченіе нравственнаго идеала, тогда какъ факты некрупныя, даже мелкіе могутъ находить въ немъ строгаго судію или апологиста, съ той же точки зрѣнія. Есть событія, туго выдающіе нарушеніе правды: необходимо близко подойти къ нимъ и зорко разсмотрѣть ихъ, чтобы понять тяжесть обиды, нанесенной въ нихъ нравственному чувству. Таково, напримѣръ, презрѣніе къ человѣческой личности, нарушеніе гражданской равноправности въ одномъ человѣкѣ или въ коллективной единицѣ (корпорацин, сословіи, значительной части земства) и т. д. Встрѣчаются ли у Карамзина подобныя ошибки? Если въ отвѣтъ на этотъ вопросъ Карамзинъ можетъ сказать, что на нѣкоторыя историческія явленія (напримѣръ на крѣпостное право) онъ смотрѣлъ не тѣми глазами, какими смотримъ на нихъ мы, и рѣшалъ ихъ иначе (какъ мы уже видѣли и еще увидимъ), нежели они рѣшены послѣдующимъ временамъ; то, съ другой стороны, нельзя не сказать, что чувствительность, которую почиталъ онъ лучшимъ даромъ человѣческой природы и въ тоже время счастливѣйшимъ орудіемъ авторства, мѣшала ясности его историческаго созерцанія. Она, пользуясь выраженіемъ самого Карамзина, иногда малое представляла великимъ, а иногда великое малымъ. Отсюда, между прочимъ, и желаніе подмѣчать слѣды чувствительности въ древне-русскихъ князьяхъ, хотя эти замѣтки ничего не прибавляютъ ни къ характеристикѣ лицъ, ни къ характеристикѣ событій. Такъ о Владимірѣ Мономахѣ говорится: «онъ могъ бы сѣсть на престолѣ родителя своего; но сей чувствительный, миролюбивый князь уступилъ оный Изяславу». Глава о Ярославѣ II Всеволодовичѣ, вступившемъ на престолъ по завоеваніи Руси татарами, начинается словами: «въ такихъ обстоятельствахъ государь чувствительный могъ бы возненавидѣть власть». Въ письмахъ Василія Ивановича къ его

супругъ Еленѣ, историкъ указываетъ нѣжность супруга и отца, который, «будучи въ разлукѣ съ женою и съ дѣтьми, обращается къ нимъ въ мысляхъ, изъясняемыхъ простыми словами, но внушаемыми только *чувствительнымъ* сердцемъ». Говоря о жестокомъ характерѣ Іоанна III, Карамзинъ прибавляетъ: «рѣдко основатели монархій славятся *нѣжною чувствительностію*». Излишество и вмѣстѣ наивность этой прибавки не скрылась отъ современныхъ читателей. Записки А. Пушкина рассказываютъ, что нѣкоторые остряки переложили первыя главы Тита Ливія слогомъ Исторіи Карамзина, включивъ въ характеристику Брута приведенныя слова, съ перемѣною одного изъ нихъ: «рѣдко основатели республикъ славятся нѣжною чувствительностію».

«Исторія Государства Россійскаго» есть исторія государственная, какъ видно изъ самаго ея названія. Она повѣствуетъ объ установленіи государственнаго порядка въ Россіи. По отношенію къ этому предмету и въ связи съ нимъ разсматриваются важнѣйшія явленія древней Руси, какъ послѣдовательныя ступени, ведущія къ рѣшенію главнаго вопроса, къ уразумѣнію того, какъ началась и сложилась наша государственность, какъ въ землѣ русскихъ славянъ, великой и обильной, но не имѣвшей порядка, выработался прочный государственный порядокъ.

Но государственнаго порядка нѣтъ безъ власти самодержавной, говоритъ Холмскій новгородцамъ, въ Мароѣ Посадищѣ. Слова московскаго воеводы выражаютъ мысль Карамзина о направленіи нашей исторіи, указываютъ ту идею, которая, по его взгляду, обнаруживается рядомъ русскихъ событій. Мы знаемъ, что онъ началъ свой трудъ вскорѣ послѣ упомянутой повѣсти. Къ тому, что имѣли ему открыть русскія лѣтописи, присоединялось и то, что уже было ему извѣстно изъ современныхъ событій, въ особенности изъ самаго крупнаго—французской революціи. Если, говоря словами автора, «исторія есть изъясненіе настоящаго», то и настоящее служить къ разъясненію исторіи, дополняя собою свѣдѣнія, найденныя въ письменныхъ памятникахъ, и подтверждая вѣрность выводовъ о значеніи прошлаго. Не надобно терять изъ виду, что начало исторической работы Карамзина отдѣляется немногими годами отъ конца французскаго погрома. Онъ и самъ хорошо помнилъ это, даже въ то время, когда двѣ трети его труда были совсѣмъ готовы. Излагая пользу исторіи для правителей и законодателей, Карамзинъ пишетъ въ предисловіи (1815): «Должно знать, какъ искони мятежныя страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала ихъ бурное стремленіе, чтобы учредить порядокъ, согласить выгоды людей и даровать имъ возможное на землѣ счастіе». Хотя въ этихъ строкахъ нѣтъ прямого указанія на историческую годину, которая явила міру наибольшій мятежъ страстей, но оно безспорно подразумѣвается. Прямое же указаніе отнесено къ характеристикѣ Грознаго. Здѣсь авторъ, снова касаясь пользы исторіи, говоритъ: «не исправляя злодѣевъ, исторія предупреждаетъ иногда злодѣйства, всегда возможные, ибо страсти дикія свирѣпствуютъ и въ вѣки гражданского образованія». Въ примѣчаніи къ послѣднимъ словамъ читаемъ: «смотри исторію французской республики» (*).

И такъ установленіе государственнаго порядка невозможно безъ самодержавія. Самодержавіе даруетъ государству единство, могущество, независимость и гражданское образованіе—все принадлежитъ, составляющія понятіе о благоустроенномъ обществѣ. Таковъ государственный идеалъ Карамзина. И его «Исторія» неотступно слѣдитъ за осуществленіемъ этого идеала въ нашемъ отечествѣ. Главными моментами древне-рус-

(*) Прим. 762 въ IX т.
томъ II.

ской жизни служатъ тѣ явленія, которыми выказался наибольшій успѣхъ въ стремленіи къ означенной цѣли. Обозрѣвая ходъ событій съ этой точки зрѣнія, «Записка о древней и новой Россіи» различаетъ на историческомъ пути нашемъ три періода: «Россія основалась единоначаліемъ, гибла отъ разноразличія и спаслась самодержавіемъ». «Исторія» въ подробности рассказываетъ то, что только намѣчено сжатою формулою: она излагаетъ содержаніе каждаго періода, съ его отличіями и подробностями.

Первымъ счастливымъ періодомъ было правленіе Ярослава I, когда «Россія, рожденная, возвеличенная единоначаліемъ, не уступала въ силѣ и въ гражданскомъ образованіи первѣйшимъ европейскимъ державамъ». Несчастливѣйшій же періодъ простирается отъ Василія Ярославича до Калиты, когда Россія утратила главныя государственныя блага—единовластіе и независимость. Имена князей, которыхъ усиленія въ это время были направлены къ возвращенію утраченнаго, заслуживаютъ похвалу историка: Андрей Боголюбскій, явно стремившійся «къ спасительному единоначалію»; Всеволодъ III, подобно ему напомнившій Россіи «счастливыя дни единоначалія». Іоаннъ Калита указалъ своимъ преемникамъ путь къ лучшей системѣ правленія. Усиленіе Москвы возвысило княжескую власть въ отношеніи къ народу, а съ тѣмъ вмѣстѣ понизило прежнюю важность бояръ: «раждалось самодержавіе». «Сія перемѣна, объясняетъ Карамзинъ, безъ сомнѣнія несприятная для тогдашнихъ гражданъ и бояръ, оказалась величайшимъ благодѣяніемъ судьбы для Россіи: она устранила важныя препятствія на пути Россіи къ независимости». Іоанну III суждено было совершить два великіе подвиги: и освободить Россію отъ татаръ и водворить единоначаліе неограниченное, или самодержавіе (*). Съ его времени ведетъ свое начало новый и весьма важный моментъ: «исторія наша принимаетъ достоинство истинно-государственной». Карамзинъ изображаетъ Іоанна III великимъ монархомъ, потому что онъ помышлялъ единственно о государственной пользѣ, которая требовала безпрекословнаго единоначалія, потому что онъ «не имѣлъ никакихъ страстей въ политикѣ, кромѣ добродѣтельной любви къ прочному благу народа», а это благо могло быть устроено только единою и самодержавною властію. Она сдѣлалась таковою при сынѣ Василія Темнаго. Впрочемъ, не ради одной этой заслуги, какъ ни велика она, Карамзинъ видитъ въ Іоаннѣ III великаго представителя монархизма, а ради и другихъ его свойствъ и дѣяній, какъ узнаемъ дальше. Таковъ ходъ нашей исторіи.

Безграничное повиновеніе Русскихъ своему государю имѣетъ, по словамъ Карамзина, историческую причину: она есть слѣдствіе системы правленія. Приводя слѣдующее мѣсто изъ дневника Герберштейна: «не знаю, свойство ли народа требовало для Россіи такихъ самовластителей, или самовластители дали народу такое свойство», Исторія Государства Россійскаго рѣшаетъ недоумѣніе иностранца положительнымъ образомъ:

Безъ сомнѣнія дали, чтобы Россія спаслась и была великою державою. Два государя, Іоаннъ и Василій, умѣли навѣки рѣшить судьбу нашего правленія и сдѣлать самодержавіе какъ бы необходимою принадлежностію Россіи, единственнымъ уставомъ государственнымъ, единственною основою цѣлости ея, силы, благоденствія. Сія неограниченная власть монарховъ казалась иноземцамъ *тиранніею*; они въ легкомысленномъ сужденіи своемъ забывали, что *тираннія* есть только злоупотребленіе самодержавія, являясь и въ республикахъ, когда сильные граждане или сановники угнетаютъ общество. Самодержавіе не

(*) Глубокомысленная политика князей московскихъ не удовольствовалась собраніемъ частей въ цѣлое: надлежало еще связать ихъ твердо и единоначаліемъ усилить самодержавіемъ (*Записка о древ. и нов. Россіи*).

есть отсутствіе законовъ: ибо гдѣ *обязанность*, тамъ и *законъ*; никто же и никогда не сомнѣвался въ обязанности монарховъ блюсти счастье народное (*).

Возможныя злоупотребленія самодержавной власти не были сокрыты и пощажены Карамзинымъ въ исторіи Грознаго, но не заставили его шмало усомниться въ истинѣ своего убѣжденія. Несчастье Іоанна Грознаго состояло въ томъ, что онъ лишился добродѣтели. Онъ измѣнилъ свое поведеніе относительно подданныхъ, но они не измѣнились въ отношеніи къ нему: «они гибли, но спасли для насъ могущество Россіи, ибо сила народнаго повиновенія есть сила государственная». Во имя неприкосновенности государственнаго устава нашего (самодержавія), авторъ «Записки» строго осуждаетъ убійство Аѳеимитрія:

Самовольныя управы народа бываютъ для гражданскихъ обществъ вреднѣе личныхъ несправедливостей государя. Мудрость цѣлыхъ вѣковъ нужна для утвержденія власти; одинъ часъ народнаго изступленія разрушаетъ основу ея, которая есть уваженіе правственное къ сану властителей».

Понятія Карамзина о характерѣ государственныхъ и общественныхъ преобразованій намъ уже извѣстны (§ 11). «Исторія» и «Записка» держатся того же ученія, проводя его по событіямъ древней и новой Россіи. Только въ его духѣ и по его начертаніямъ допускаютъ онѣ обновленіе жизни, развитіе гражданственности. Уваженіе къ прошедшему и существующему, при всѣхъ возможныхъ реформахъ, для Карамзина — законъ. Для него дороги историческія основы народнаго быта, и потому онъ ищетъ умиротворенія стараго съ новымъ, а не разрушенія перваго вторымъ. По его мнѣнію, столько же необходимо выполнять законо-возникшія, дѣйствительно указанныя временемъ потребности, сколько вредно испытывать дѣйствіе высшихъ улучшеній, которыя не заявлялись обществомъ. Короче: онъ сторонникъ и заступникъ охранительнаго начала; онъ консерваторъ въ разумномъ смыслѣ этого слова. Подобно лучшимъ людямъ Екатерининскаго времени, онъ признавалъ нововведенія только подъ тѣмъ условіемъ, что они согласованы съ «умоначертаніемъ» народа и съ его вѣками сложившимся строемъ жизни. Онъ не мечталъ объ идеальномъ совершенствѣ реформъ: онъ желалъ лучшаго, болѣе отвѣчающаго нуждамъ страны. Реформы перваго рода, какъ умозрительныя, легко сочиняются въ кабинетѣ, но на практикѣ весьма часто оказываются негодными; реформы втораго рода, какъ вызванныя обстоятельствами, служатъ орудіемъ общественного прогресса. Слова Солона, приведенныя въ «Письмахъ» (§ 7), повторены, хотя нѣсколько иначе, въ «Запискѣ»: «мои законы *несовершенны*, но *лучше* для Аѳинянъ». Они указываютъ путь законодателямъ и вообще всѣмъ лицамъ, стоящимъ во главѣ управленія. Когда же новыя учрежденія вступили въ дѣйствіе, тогда они должны пользоваться охраной и почтеніемъ, какими пользовались до нихъ дѣйствовавшія и ими упраздненныя: «уставы отцевъ бываютъ не всегда мудры, но всегда священны для народа», говоритъ Карамзинъ въ «Исторіи», какъ бы повторяя прежнюю мысль свою, выраженную еще въ «Письмахъ»: «всякое гражданское общество, вѣками утвержденное, есть святыня для добрыхъ гражданъ».

Съ точки зрѣнія охранительной, Карамзинъ, въ своей «Исторіи», даетъ отчетъ о движеніи государственныхъ реформъ. Іоаннъ III возведенъ имъ на «вышнюю степень величія» не только передъ другими царями до-петровской Руси, но и сравнительно съ Петромъ. Историкъ видитъ въ немъ идеалъ монарха, главнѣйшимъ обра-

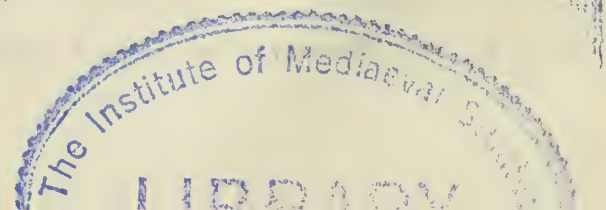
(*) И. Г. Р., изд. Эйверлинга, кн. II, т. 7, стр. 121.

зомъ потому, что этотъ царь укрѣпилъ Россію духомъ самодержавія, и кромѣ того по многимъ инымъ причинамъ: Іоаннъ всегда дѣйствовалъ осторожно, а осторожность «успѣхами, какъ бы неполными, даетъ своимъ твореніямъ прочность»; онъ «уважалъ правила вѣка и общее мнѣніе, не отвергалъ хорошаго для лучшаго, не совсѣмъ вѣрнаго, не мыслилъ о введеніи новыхъ обычаевъ, о перемѣнѣ нравственнаго характера подданныхъ», короче: поступалъ «благоразумно, т. е. согласно съ истинною пользою отечества». Историческая точка зрѣнія побудила Карамзина измѣнить прежній взглядъ на реформы Петра Великаго (§ 10). «Записка» осуждаетъ преобразователя за излишнюю страсть къ подражанію иноземнымъ державамъ, во вредъ народному духу. Сущность новаго взгляда выражена слѣдующими словами: «Духъ народный составляетъ нравственное могущество государствъ, подобно физическому, нужное для ихъ твердости. Сей духъ и вѣра спасли Россію во время самозванцевъ; онъ есть не что иное, какъ привязанность къ нашему особенному, не что иное, какъ уваженіе къ своему народному достоинству... Любовь къ отечеству питается спми народными особенностями, благотворными въ глазахъ политика глубокомысленнаго... Два государства могутъ стоять на одной степени гражданскаго просвѣщенія, имѣя нравы различныя. Государство можетъ заимствовать отъ другаго полезныя свѣдѣнія, не слѣдуя ему въ обычаяхъ. Пусть сін обычаи естественно измѣняются, но предписывать имъ уставы есть насиліе... Съ пріобрѣтеніемъ добродѣтелей человѣческихъ мы утратили гражданскія... Мы стали гражданами міра, но перестали быть въ нѣкоторыхъ случаяхъ гражданами Россіи (*).

Въ исторіи новой Россіи образцомъ правительственной мудрости Карамзинъ ставитъ царствованіе Екатерины Второй: «едва ли не всякій изъ насъ скажетъ, что время Екатерины было счастливѣйшимъ для гражданина русскаго; едва ли не всякій изъ насъ пожелалъ бы жить тогда, а не въ иное время». Такъ говоритъ онъ въ «Запискѣ», и этими словами выказываетъ въ себѣ автора «Похвальнаго слова» Императрицѣ, при которой завершилось его образованіе и сформировались его убѣжденія. Понятно, почему объѣтъ Александра—идти по слѣдамъ своей Бабки—исполнилъ его радостью. Если время Екатерины было счастливѣйшее, то отсюда прямо выходитъ, что Россія должна держаться порядка, ею установленнаго. Уклоненія отъ этого порядка, какъ наилучшаго, должно отозваться неблагоприятными послѣдствіями: важными ошибками, общимъ недовольствомъ, упадкомъ довѣрія къ правительству, критикой его цѣлей и мѣръ. Вотъ въ чемъ главная мысль «Записки».

Баронъ Корфъ справедливо называетъ Карамзина, какъ автора «Записки», органомъ консервативнаго мнѣнія о работахъ гр. Сперанскаго. «Записка» показываетъ несостоятельность и опасность нововведеній этого знаменитаго дѣятеля. За что собственно онъ осуждается? За излишнюю поспѣшность въ государственныхъ преобразованіяхъ, за излишнее уваженіе формъ государственной дѣятельности, въ ущербъ ея содержанию. Эти преобразования (мы передаемъ смыслъ того, что подробно развито Карамзинимъ) возникали не на исторической основѣ, а изъ умозрѣній, вызывались не дѣйствительною потребностію, а жаждою новизны, простымъ подражаніемъ Европѣ. Они были не прямымъ и строгимъ выводомъ изученія Россіи, а теоретическими опытами надъ Россіей неизслѣдованной. Они служили не отвѣтами на заявленія про-

(*) См. мою «Истор. Христ.» II, 30—32.



шедшаго и настоящаго, а вопросами будущему. Они своевольно обращались съ тѣмъ, что завѣщено стариной. Они быстро ломали то, что медленно вырабатывалось жизнью. Исправляя дурное, они съ тѣмъ вмѣстѣ не щадили и хорошаго; желая пресѣчь зло, могли породить еще большее зло. И потому они блистательны, но не прочны; изящны на бумагѣ, но мало примѣнимы къ дѣлу (*).

Всякая новостъ въ государственномъ порядкѣ есть зло, къ коему надобно прибѣгать только по необходимости, ибо мы болѣе уважаемъ то, что давно уважаемъ, и все дѣлаемъ лучше отъ привычки.

Мудрые законодатели, принужденные измѣнять уставы политическіе, старались какъ можно менѣе отходить отъ старыхъ. «Если число и власть сановниковъ должны быть переменены», говоритъ Макиавель, «то удержите имя ихъ для народа». Мы поступаемъ иначе: оставляемъ вещь, гонимъ имена; для произведенія того же дѣйствія вымысливаемъ другіе способы... Къ древнимъ государственнымъ зданіямъ прикасаемся оскоро... Требуемъ болѣе мудрости охранительной, нежели творческой... Гораздо легче отмѣнить новое, нежели старое. Новости ведутъ къ новостямъ и благоприятствуютъ необузданностямъ произвола (**).

Наибольшей критикѣ подверглись труды законодательной комиссіи, направляемые Сперанскимъ. Комиссія намѣревалась переводить кодексъ Фридриха Великаго. «Къ чему это?» замѣчаетъ Карамзинъ: «Россія не Пруссія. Не худо знать его, но менѣе ли нужно знать Юстиніановъ или датскій,—единственно для общихъ соображеній, а не для путеводительства въ нашемъ особенномъ законодательствѣ». О томъ предварительныхъ работъ комиссіи Записка даетъ такой отзывъ: «Множество ученыхъ словъ, почерпнутыхъ въ книгахъ,—ни одной мысли, почерпнутой въ содержаніи особеннаго гражданскаго характера Россіи. Голосъ автора въ лунѣ, а не на землѣ русской; соотечественники желали, чтобы сін умозрители или сиустились къ намъ, или не писали для насъ законовъ» (***). Двѣ книжки, содержащія въ себѣ, подъ именемъ проекта уложенія, переводъ Наполеонова кодекса, изумили Карамзина: «Законы народа», говоритъ онъ, «должны быть извлечены изъ его собственныхъ понятій, правовъ, обыкновений и мѣстныхъ обстоятельствъ. Мы имѣли бы уже девять уложеній, если бы надлежало только переводить. Авторы шьютъ намъ кафтанъ по чужой мѣркѣ. Все не русское, все не порусски: какъ вещи, такъ и предложеніе оныхъ... Для стараго народа не надобно новыхъ законовъ. Мы требуемъ отъ комиссіи систематическаго предложенія нашихъ... Указы и установленія отъ временъ Алексея Михайловича до нашихъ: вотъ содержаніе кодекса (****)».

Не такъ было въ старину. Быстрой и кабинетной работѣ своихъ современниковъ Карамзинъ противопоставляетъ медленную, на опытѣ вѣковъ основанную работу прежняго времени. Въ похвалѣ «Исторіи» Иоанну IV и его совѣтникамъ за «Судебникъ» (1550) нельзя не видѣть косвеннаго порицанія дѣйствіи Сперанскаго по комиссіи законовъ:

(*) Кое-что о прогрессѣ (Рус. Вѣстникъ, 1861, № 10).

(**) Записка о древ. и нов. Россіи (по рукописи И. П. Б.).

(***) Сличъ съ письмомъ Карамзина къ жентѣ (24 и 25 февраля 1816): Обѣдалъ у Розенкампа (юриста, занимавшагося въ комиссіи законовъ) со всею законодательною комиссіею. Много разсужденій о сочиненіи законовъ и пр. Я сказалъ пмъ: Messieurs, le public vous accuse; vous avez eu l'air d'errer beaucoup; vous visitiez la lune sans vous donner la peine de bien connaître la Russie (Перевд. соч. К—на).

(****) Зап. о древ. и нов. Россіи. II здѣсь Карамзинъ отдавалъ предпочтеніе Екатеринѣ II: «Указы отца отечества (Петра I), императрицы Анны, Елисаветы, особливо Екатерины Великой рѣшаютъ всѣ важнѣйшіе вопросы о *людяхъ* и *вещяхъ* въ порядкѣ гражданскомъ: нужна только философическая метода для расположенія предметовъ» (Пріят. виды, надежды и желанія нынѣшняго времени, 1802).

Іоаннъ и добрые его совѣтники искали въ трудѣ своемъ не блеска, не суетной славы, а вѣрной, явной пользы, съ ревностною любовію къ справедливости, къ благоустройству; не дѣйствовали воображеніемъ, умомъ не обгоняли настоящаго порядка вещей, не терялись мыслями въ возможностяхъ будущаго, но смотрѣли вокругъ себя, исправляли злоупотребленія, не измѣняя главной, древней основы законодательства; все оставили какъ было и чѣмъ народъ казался довольнымъ: устраняли только причину извѣстныхъ жалобъ; хотѣли лучшаго, не думая о совершенствѣ, — и безъ учености, безъ теорій, не зная ничего кромѣ Россіи, но зная хорошо Россію, написали книгу, которая всегда будетъ любопытною, доколѣ стоитъ наше отечество: ибо она есть вѣрное зеркало нравовъ и понятій вѣка (*).

Не въ одной этой тирадѣ слышится движеніе субъективнаго чувства; возбужденнаго современностью. Намеки «Исторіи» на текущія дѣла какъ бы подтверждаютъ слова ея предисловія о пользѣ этой науки, которая, будучи «зеркаломъ прошедшаго,» есть въ тоже время «завѣтъ предковъ къ потомству, дополненіе, изъясненіе настоящаго и примѣръ будущаго.» Признаніе своего труда «не бесполезнымъ въ государственномъ смыслѣ» могло явиться у скромнаго автора только по вѣрѣ въ силу историческихъ откровеній для правительственной дѣятельности. Вліяніе живущаго нерѣдко выдается у него и похвалами, и упреками, равно благородными, произносимыми по поводу разсказа объ отжившемъ. Иногда оно такъ ярко, что повѣствованіе допускаетъ лирическую вставку или принимаетъ драматическую форму. Ограничимся немногими примѣрами. Показавъ причину общаго нерасположенія къ Андрею Боголюбскому въ худомъ исполненіи законовъ, иначе въ несправедливости судей, историкъ сопровождаетъ объясненіе совѣтомъ: «столь нужно вѣдать Государю, что онъ не можетъ быть любимъ безъ строгаго, бдительнаго правосудія; что народъ за хищность судей и чиновниковъ ненавидитъ Царя, самаго добродушнаго и милосердаго!» (**). Вассіановъ совѣтъ Грозному: «не имѣть совѣтниковъ мудрѣе себя», побудилъ Карамзина даже выдти на сцену изъ-за повѣствуемыхъ событій: «Нѣтъ, Государь! могли бы мы возразить ему: нѣтъ! совѣтъ, тебѣ данный, внушенъ духомъ лжи, а не истины. Царь долженъ не властвовать только, но властвовать благодѣтельно: его мудрость, какъ человѣческая, имѣетъ нужду въ пособіи другихъ умовъ, и тѣмъ превосходитъ въ глазахъ народа, чѣмъ мудрѣе совѣтники, имъ выбираемые» (***). «Исторія не любитъ именовать живыхъ», замѣчаетъ Карамзинъ, переносясь отъ времени Іоанна IV къ славнымъ временамъ Петра I и Екатерины II, рядомъ съ которою, въ его мысли, становилось имя Александра I; однако имъ не умалчиваются современныя явленія, когда они уже выказали свое историческое достоинство въ нравственномъ или государственномъ значеніи. Покончивъ изложеніе царствованія Іоанна Грознаго, онъ восклицаетъ: «слава времени, когда вооруженный истиною дѣписатель можетъ, въ правленіи самодержавномъ, выставить на позоръ такого властителя, да не будетъ уже впредь ему подобныхъ!» (****). Конечно, одно это восклицаніе, по справедливости мысли и благородству направленія, стоитъ многихъ (если не всѣхъ) одъ, написанныхъ въ эпоху Александра I. Чувствомъ мѣры, умнымъ тактомъ и доблестнымъ образомъ мыслей отличаются эти и подобныя имъ голоса историка. Они могутъ быть критикуемы, какъ отступленія отъ строгаго-историческаго разсказа, но оправданіемъ имъ служатъ взгляды

(*) И. Г. Р., изд. Эйнер., кн. III, т. 8, стр. 67—68.

(**) Ib., кн. I, т. 3, стр. 20.

(***) Ib. кн. II, т. 8, стр. 132.

(****) Ib. кн. III, т. 9, стр. 259.

автора на исторію и обстоятельства времени, въ которое онъ сочинялъ ее. А какъ выраженіе симпатичной личности, они скорѣе возбуждаютъ сочувствіе читателей, или по крайней мѣрѣ не заслуживаютъ ихъ упрѣка.

Возвращаемся къ «Запискѣ», чтобы на сличеніи ея съ «Исторіей» и другими сочиненіями Карамзина докончить наши выводы объ его образѣ мыслей, иначе объ его идеалахъ общественной и частной жизни.

Главная ошибка законодательныхъ работъ Сперанскаго состояла, по мнѣнію Карамзина, «въ излишнемъ уваженіи формъ государственной дѣятельности: дѣла не лучше производятся, только въ мѣстахъ и чиновниками другаго званія». Что же сдѣлать для исправленія ошибки? «Послѣдовать иному правилу и сказать, что не формы, а люди важны». Отсюда первое правило: счастливое избраніе людей. Выбранные люди должны отличаться солиднымъ образованіемъ и доброю нравственностью. Таково руководящее начало мудрой правительственной системы. Начало не новое. Карамзинъ постоянно предлагалъ его и въ «Письмахъ», и въ «Вѣстникѣ Европы»; онъ предлагаетъ его также въ «Исторіи». «Письма» объявляютъ гражданское благоустройство Англіи: не конституціей, которая есть не что иное, какъ одна изъ бранныхъ и не лучшихъ политическихъ формъ, а просвѣщеніемъ англичанъ и въ особенности ихъ сановниковъ. «Вѣстникъ Европы» неоднократно развиваетъ мысль, что главный двигатель при управленіи людьми—справедливость, что для желаемого дѣйствія хорошихъ законовъ необходимо нравственное достоинство ихъ исполнителей. «Исторія», приводя слова Лѣтописи: «царь, самый добрый и мудрый, не въ силахъ искоренить зла чловѣческаго; гдѣ законъ, тамъ и многія обиды» (*), толкуетъ ими нелюбовь подданныхъ къ Андрею Боголюбскому. При законѣ, требующемъ извѣстнаго дѣйствія, разсуждаетъ она, возможны уклоненія отъ этого дѣйствія, злоупотребленія; не допускать злоупотребленій лежитъ на обязанности охранителей закона, судей; обязанность исполняется исправно только людьми просвѣщенными и нравственными: слѣдов. вся сущность въ назначеніи такихъ людей на правительственные мѣста. Другими словами: администрація должна быть ограждена не только правильнымъ своимъ устройствомъ, но еще болѣе личными качествами администраторовъ. Присоединимъ сюда нѣсколько выдержекъ изъ переписки Карамзина съ в. к. Екатериною Павловною. Въ письмѣ изъ Веймара (29 октября 1813), Великая Княгиня извѣщаетъ его, съ какимъ любопытствомъ въ Германіи слѣдятъ за тѣмъ, что дѣлается въ Россіи: «Не исторіей, не литературой нашей интересуются здѣсь; интересуются нашимъ политическимъ устройствомъ. Знаютъ указы и постановленія, изданные въ послѣдніе годы, но не знаютъ, по немнѣнію историческихъ и статистическихъ свѣдѣній, принаровлены ли они къ потребностямъ страны» (**). Карамзинъ отвѣчалъ (29 ноябля 1813): «Политическіе уставы могутъ быть десять разъ измѣнены, а исторія останется, чтобъ объяснять тому причины. Есть предметы моды, фантазій, вкуса: все это проходитъ и я предпочелъ прочное» (т. е. занятіе исторіей) (***). Въ другомъ письмѣ (1815) онъ говоритъ: «Я надѣюсь, что Императоръ излечитъ язвы Россіи и принесетъ намъ спасительный бальзамъ — хорошую администрацію. На Россію можно смотрѣть какъ на тѣло очень крѣп-

(*) Ib. вл. I, т. 3, стр. 20.

(**) Неизд. Соч. К-на (ч. I, стр. 109).

(***) Ib., стр. 115.

кое и здоровое: надобно только помогать натурѣ лекарствами простыми, добытыми изъ травъ домашнихъ, а не чужеземныхъ—и все пойдетъ хорошо» (*).

За умѣньемъ выбирать людей слѣдуетъ другое, не менѣе существенное правило—умѣнье обходиться съ людьми. «Мало ангеловъ на свѣтѣ, немного и злодѣевъ,» говоритъ Карамзинъ въ «Запискѣ»; «гораздо болѣе смѣси, т. е. добрыхъ и худыхъ вмѣстѣ. Мудрое правленіе находитъ способъ усиловать въ чиновникахъ побужденіе къ добру, или обуздывать стремленіе ко злу. Для перваго есть награды, отличія; для втораго—боязнь наказаній.»

Но гдѣ добыть подобныхъ людей? А если ихъ нѣтъ вовсе, или имѣется очень мало, то какъ произвести ихъ? Воспитательные планы Бецкаго мечтали, въ видахъ общественнаго обновленія, создать «новую породу человѣковъ» (**). Карамзину, такому же сыну своего времени, какъ и Бецкій, пришлось бы созидать породу «друзей добра и человѣчества», — единственно-хорошую партію въ политикѣ (§ 7). Средства къ тому—просвѣщеніе и нравственность. Но самъ Карамзинъ говоритъ: «время медленно и тихо подвигаетъ разумъ народовъ». Для повсемѣстнаго и всегдашняго водворенія благихъ общественныхъ нравовъ, спасительныхъ обычаевъ, характеровъ съ твердымъ образомъ мыслей нужны цѣлые вѣки. И вѣки недостаточны для осуществленія такого идеальнаго царства, въ которомъ изъ среды народа постоянно выдѣлялись бы «герои добродѣтели». Въ чаяніи же того, чтобы явленіе, столь рѣдкое, столь исключительное теперь, сдѣлалось когда-либо обычнымъ и нормальнымъ, надобно жить—не какъ нибудь, а по возможности лучше. Предполагать, что возможно-лучшее гражданское устройство можетъ быть совершено единственно личными качествами выбранныхъ лицъ, и въ слѣдствіе того на нихъ возложить все бремя и отвѣтственность по дѣлопроизводству, значить почитать или бремя слишкомъ легкимъ, или силы людскія слишкомъ мощными. Предположеніе Карамзина тоже, что Сень-Пьеровъ проектъ вѣчнаго мира: это—«мечта добраго человѣка», прекраснѣйшее заблужденіе.

Отдѣлимъ же въ понятіяхъ Карамзина истину отъ того, что нельзя признать истиннымъ. Онъ совершенно правъ, утверждая систему государственныхъ улучшеній на историческомъ подножіи, т. е. допуская поступательное движеніе народа впередъ не иначе, какъ на условіяхъ прошедшей и настоящей его жизни, на соображеніяхъ съ дѣйствительными его потребностями; онъ правъ, видя въ народномъ образованіи и нравственности самое вѣрное орудіе для гражданского благоденствія: но онъ неправъ, не давая почти никакого участія въ общественномъ прогрессѣ учрежденіямъ, плохо вѣря ихъ организующему дѣйствію и смотря на нихъ не болѣе, какъ на «бренныя формы». Вотъ въ чемъ его ошибка или, точнѣе, неполнота его идеала. Пусть «хорошіе нравы важнѣе хорошихъ законовъ», служба благотворнымъ отводомъ злоупотребленій; но и учрежденія, съ своей стороны, задерживаютъ зло, препятствуютъ его разливу. Если серьезное образованіе даетъ способы становиться въ правильныя отношенія къ жизни и содѣйствовать пользамъ отечества, то нѣкоторыя учрежденія умудряютъ людей не хуже школы, сообщая имъ многое, чего они не вычитаютъ въ книгахъ. Припомнимъ слова Записки: «мало ангеловъ на свѣтѣ, не много и злодѣевъ; гораздо болѣе смѣси, т. е. добрыхъ и худыхъ вмѣстѣ». Что дѣлаетъ нравственное образованіе при такомъ наличномъ составѣ общества? Возвышаетъ добрую сторону, понижаетъ сторону худую,

(*) Ib. стр. 118.

(**) Ист. Рус. Слов. I, § 270.

мало по малу доставляя возможность людямъ быть, по выраженію Карамзина, «ангелами на свѣтѣ» и лишая ихъ возможности быть злодѣями. А что дѣлають учрежденія въ подобномъ случаѣ? открываютъ просторъ доброй сторонѣ и отсѣкають притязанія злой. Въ «Исторіи» встрѣчается слѣдующая сентенція: «лучше неволею творить добро, нежели волею зло». Но еще выше творить добро по волѣ, сознательно и постоянно. Только сила нравственнаго прѣсвщенія можетъ надѣлать міръ такою благодатью. Пока же этого нѣтъ, полезныя учрежденія оказываютъ помощь человѣческому несовершенству: тамъ, гдѣ еще не выработалась потребность въ самовольной добродѣтели, они вынуждаютъ добро невольное; тамъ, гдѣ сложилась привычка къ самовольному злу, они полагаютъ ему преграду, слѣд. производятъ именно то лучшее, о чемъ говорится въ сентенціи.

Наибольшимъ подтвержденіемъ сказаннаго служить вопросъ о крѣпостномъ состояніи. Мы знаемъ, какъ, еще въ 1803 г., Карамзинъ понималъ его рѣшеніе (§ 8). Онъ думалъ устроить все дѣло на взаимномъ, любовномъ довѣріи земледѣльцевъ и помѣщиковъ. Этотъ взглядъ не измѣнился ни въ Исторіи, ни въ Запискѣ. «Исторія» не осуждаетъ Годунова за прикрѣпленіе крестьянъ къ землѣ; напротивъ, она видитъ въ законѣ желаніе утвердить между владѣльцами и сельскими работниками «союзъ неизмѣнный, какъ бы семейственный, основанный на единствѣ выгодъ, на благосостояніи общемъ». Авторъ «Записки» высказывается опредѣленнѣе, по поводу намѣренія современнаго ему правительства дать господскимъ людямъ свободу. Онъ выставляетъ трудности и вредныя стороны освобожденія, не касаясь его выгодъ. Сдѣлавъ обзоръ происхожденія рабства, онъ находитъ, что къ свободѣ надобно готовить человѣка нравственнымъ исправленіемъ, что въ настоящее время она неудобна, что крестьяне, происходящіе отъ холопей, не могутъ быть освобождены лично безъ нѣкотораго удовлетворенія дворянъ, какъ законная ихъ собственность; а такъ какъ «мы не знаемъ нѣтъ, которые происходятъ отъ холопей и которые отъ вольныхъ людей (укрѣпленныхъ Годуновымъ за владѣльцами), то законодателю предстоитъ не малая трудность въ распутываніи сего Гордіева узла». Въмѣсто того, чтобы разсѣкать его, Карамзинъ почитаетъ лучшимъ сохранить прежнее положеніе, принявъ только мѣры противъ злоупотребленій господской власти. «Нѣтъ сомнѣній», говоритъ онъ, «что крестьяне благоразумнаго помѣщика, который довольствуется умѣреннымъ оброкомъ или десятиною пашни на тѣло, счастливѣе казенныхъ, имѣя въ немъ бдительнаго попечителя и заступника. Не лучше ли подъ рукою взять мѣры для обузданія господъ жестокихъ? Они извѣстны начальникамъ губерній. Если послѣдніе вѣрно исполняютъ свою должность, то первыхъ скоро не увидимъ; а ежели не будетъ умныхъ губернаторовъ, то не будетъ благоденствія и для поселянъ вольныхъ». Такимъ образомъ желаемое устройство возлагается съ одной стороны на доброкачественность помѣщиковъ, съ другой на доброкачественность начальниковъ губерній. По идеалу Карамзина, Гордіевъ узелъ распутался бы самъ собою въ то время, когда бы и владѣльцы и крестьяне, вполнѣ уразумѣвъ свои права и обязанности, стали пользоваться первыми и выполнять вторыя согласно съ уставомъ естественнымъ и гражданскимъ: тогда, конечно, утвердился бы между ними «союзъ какъ бы семейственный, основанный на единствѣ выгодъ, на благосостояніи общемъ». Но когда жъ бы это случилось? и кто бы узрѣлъ осуществленіе такого идеала? Недостигаемое однимъ путемъ, достигнуто путемъ законодательства — великимъ, безсмертнымъ дѣломъ нынѣ царствующаго Государя. «Положеніе 1861 г.» даровало крестьянамъ и свободу и собственность.

Если бы мысль Карамзина состояла въ томъ, что наилучшее устройство общества зиждется на твердыхъ нравственныхъ началахъ, сознаваемыхъ и приводимыхъ въ дѣйствіе всѣми его членами безъ исключенія, то противъ нея, какъ противъ сочувственнаго идеала, нечего было бы и возражать. Если бы онъ утверждалъ, что при государственныхъ реформахъ необходимо держаться на исторической почвѣ и дѣйствительныхъ потребностяхъ народа, а не на теоретическихъ соображеніяхъ; что заимствованія изъ Европы не вполне достигали у насъ цѣли, потому что водворялись между нами полновластно, безъ измѣненій сообразно интересамъ и особенностямъ страны: то и это утвержденіе не подлежало бы спору. Но онъ вообще мало цѣнилъ учрежденія, какъ учрежденія, предоставляя всю мірскую тяжесть единственно идеальному совершенству личности и забывая, что достиженіе возможно-совершеннаго индивидуальнаго развитія немислимо безъ хорошихъ учреждений, служащихъ для того однимъ изъ самыхъ дѣйствительныхъ средствъ.

Разсматривая идеалы Карамзина, проведенные имъ въ «Исторіи», мы съ тѣмъ вмѣстѣ имѣли цѣлю показать, что всѣ они образовались еще въ первую половину его жизни, при Екатеринѣ II, и остались почти безъ перемѣны, за вычетомъ одного только мнѣнія о Петрѣ, которое изъ космополитическаго или гуманитарнаго сдѣлалось историческимъ и національнымъ. Можно смѣло утверждать, что они сохранились бы какъ при дальнѣйшемъ ходѣ его труда, если бы онъ успѣлъ, какъ того ему хотѣлось, въ заключеніе XII тома, обозрѣть исторію Россіи отъ воцаренія дома Романовыхъ до Императора Николая I, такъ и въ изображеніи событій 1812—1815 г., за которое онъ думалъ приняться въ первомъ пылу энтузіазма, произведеннаго борьбою народовъ, но мысль о которомъ онъ потомъ оставилъ, въ виду предстоявшихъ трудностей. Отношеніе извѣстнаго класса читателей къ историку рѣзко отличалось отъ тѣхъ чувствъ, съ какими прежде, до исторіи, встрѣчались его литературныя произведенія. Причину разницы слѣдуетъ искать, конечно, не въ Карамзинѣ, сохранившемъ свои начальныя убѣжденія, а въ читателяхъ, имѣвшихъ нныя, новые взгляды. Если прежде въ Карамзинѣ подозрѣвали даже революціонера (§ 13), то послѣ многіе называли его отсталымъ. Если прежде онъ былъ кумиромъ молодыхъ людей, то молодежь XIX в. осталась недовольна его консерватизмомъ. Какъ авторъ «Записки», почитавшій время Екатерины образцомъ, отъ котораго напрасно уклонялось новое время, онъ возбудилъ противъ себя тѣхъ, кто въ преобразовательныхъ планахъ Сперанскаго видѣлъ залогъ новой эры для Россіи. По пріѣздѣ въ Петербургъ (1816), Карамзинъ былъ холодно принятъ однимъ изъ своихъ старыхъ знакомцевъ, объявившимъ, что ему извѣстенъ его образъ мыслей, «противный либеральнымъ идеямъ» (*). «Молодые якобинцы», говоритъ А. Пушкинъ въ своихъ запискахъ, «негодовали на исторіографа за его умѣренность». Отъ самого Пушкина вышла злая эпиграмма, но онъ искупилъ свой легкомысленный проступокъ на-половину, сознавшись, что «это не лучшая черта его жизни»: раскаяніе—половина исправленія; онъ искупилъ его и всецѣло, посвятивъ «Бориса Годунова»—«драгоценной для Россіи памяти Карамзина».

Б) Для художественной постройки историческаго труда, необходимы три условія: единство плана, надлежащая группировка матеріаловъ, живая характеристика лицъ и событій.

Единство плана опредѣляется единствомъ идеи, выражаемой, по взгляду автора, ходомъ народной жизни.

(*) Письмо къ жепѣ 11 февраля 1816 (Неизд. соч. К.—на, стр. 146).

Эта основная идея намъ уже извѣстна. Исторія Карамзина, сказали мы, есть исторія государственная: она слѣдитъ за началомъ, развитіемъ и укрѣпленіемъ государственнаго устава Россіи—самодержавія. Историкъ заботливо изображаетъ, какимъ образомъ теченіе событій, не смотря на многія бѣдствія, вело и привело наше отечество къ цѣли, какъ бы свыше ему предначертанной.

Соотвѣтственно коренному началу русской государственности строится планъ «Исторіи Государства Россійскаго». Россія, рожденная единовластіемъ, была имъ возвеличена еще при Владимірѣ Великомъ и Ярославѣ I, такъ что не уступала въ силѣ первѣйшимъ европейскимъ державамъ того же времени. Удѣльная система, междоусобныя войны и татарское иго инспровергли это величіе: четыреста лѣтъ, протекашія отъ смерти Ярослава до Іоанна III составляютъ періодъ народнаго и правительственнаго *заблужденія*, для котораго «въ исторіи есть время, болѣе или менѣе долгое, равно какъ есть время и для истины»: «Сколько вѣковъ Россійне не могли живо увѣриться въ томъ, что соединеніе княженій необходимо для ихъ государственнаго благоденствія! Нѣкоторые вѣщепосцы начинали сіе дѣло, но слабо, безъ ревности достойной оного; а преемники ихъ опять все разрушали. Даже и Москва, болѣе Кіева и Владиміра наученная опытами, какъ медленно и не дружно двигалась къ государственной цѣлости!» (*). Когда же миновало заблужденіе и явилась истина? Она явилась при Іоаннѣ III, съ котораго исторія наша и «принимаетъ значеніе истинно-государственной», болѣе и болѣе укрѣплявшееся до нашего времени. Таковы важнѣйшіе моменты, выдающіеся пункты нашей исторіи. На нихъ и слѣдовало бы основать постройку плана. Однакожъ Карамзинъ дѣлитъ свою исторію не по внутреннему ея свойству, а чисто-внѣшнимъ образомъ—на томы и главы, озаглавливая послѣднія именами князей, какъ будто каждое княженіе служило эпохой въ осуществленіи нашего государственнаго устава. Какая тому причина? Единственно та, что Карамзинъ не придавалъ большой важности дѣленію. «Нѣтъ нужды ставить грани тамъ, гдѣ мѣста служатъ живымъ урочищемъ», замѣчаетъ онъ въ предисловіи. Эти живыя урочища суть именно тѣ выдающіеся пункты нашей государственной исторіи, о которыхъ сказано выше. Читатель легко различаетъ ихъ самъ, знакомясь съ содержаніемъ книги. Они видны безъ помощи особыхъ примѣтъ. Зачѣмъ ставить грани, т. е. заголовки тамъ, гдѣ разсказъ сообщаетъ наглядное понятіе объ историческихъ пространствахъ? Впрочемъ, въ концѣ предисловія и какъ бы неохотно, Карамзинъ предложилъ дѣленіе русской исторіи на *древнѣйшую* (отъ Рюрика до Іоанна III), *среднюю* (отъ Іоанна до Петра) и *новую* (отъ Петра до Александра): «система удѣловъ была характеромъ первой эпохи, единовластіе—второй, измѣненіе гражданскихъ обычаевъ—третьей». Не зная, что было бы у Карамзина въ новой исторіи, мы имѣемъ право говорить только о томъ, что у него есть въ древнѣйшей и средней. Характеромъ древней ставитъ онъ удѣлы; но изъ его же книги мы видимъ, что въ первую часть древняго періода (до смерти Ярослава) Россія уже была возвеличена *единовластіемъ*, а остальная часть была временемъ заблужденія, задержкою въ развитіи государственнаго устава Россіи; слѣд. дѣленіе Карамзина не противорѣчитъ послѣдовательности важнѣйшихъ моментовъ нашей исторіи, какъ степеней въ осуществленіи идеи.

Въ группировкѣ содержанія, наполняющаго всѣ части плана, центромъ тяжести

(*) И. Г. Р. кн. II, т. 5, стр. 220.

должна тоже служить основная идея. Что бросаетъ сильнѣйшій свѣтъ на идею, въ чемъ она наиболѣе обнаружилась, то и должно выдвигаться на первый планъ; все прочее, какъ не столь важное и не столь характеристичное, должно занимать второстепенное мѣсто или стоять въ сторонѣ. По отношенію къ задачѣ, рѣшеніемъ которой обязался историкъ, малое можетъ иногда говорить громче многого; отдѣльный фактъ беретъ перевѣсъ надъ цѣлымъ рядомъ фактовъ; даже мелочь получаетъ такой смыслъ, какого она вовсе не имѣетъ при другихъ цѣляхъ и побужденіяхъ. Задача же Карамзина—раскрыть постепенное образованіе самодержавія въ Россіи. Онъ и занятъ преслѣдованіемъ этого предмета, постоянно, такъ сказать, налетая на него въ своемъ повѣствованіи. Конечно, не одно это находится въ его исторіи, но это въ ней главное и вмѣстѣ источникъ общаго впечатлѣнія, которое воспринимаютъ ся читатели,—впечатлѣнія, совершенно удовлетворительнаго для однихъ и неудовлетворяющаго другихъ, какъ намъ извѣстно изъ записокъ Пушкина. Карамзина упрекали въ томъ, что онъ изображеніе внутренней жизни народа (религіи, культуры, правовъ и обычаевъ, торговли и промышленности и проч.) не вставлялъ въ самый рассказъ, а помѣщалъ его въ отдѣльныя главы, примыкая ихъ какъ бы дополненіе къ концу каждаго періода. Если это—погрѣшность, то нашъ авторъ раздѣляетъ ее со многими иными, даже знаменитыми, историками. Такъ поступалъ Юмъ, котораго онъ, на ряду съ Гиббономъ и Робертсономъ, почитаетъ образцемъ въ дѣлѣ историческаго искусства; такъ поступилъ и Маколей, обозрѣвъ, въ особой главѣ, состояніе Англіи въ 1685, по смерти Карла II. Упрекъ, по моему, незаслуженный, отзывающійся педантизмомъ. Не все ли равно, гдѣ бы ни стояло описаніе внутренняго быта, только бы оно было надлежащее? Что же касается до вопроса, соблюдена ли въ описаніи научная истина, то не мы должны отвѣчать на него.

Не наше также дѣло объяснять, вѣрны ли, въ историческомъ смыслѣ, характеристики лицъ у Карамзина, т. е. согласны ли онѣ съ дѣйствительными ихъ образами, начертанными въ лѣтописяхъ и иныхъ памятникахъ. Историко-литературная критика смотритъ единственно на вѣрность характеровъ самимъ себѣ, на ихъ внутреннюю соотвѣтственность тому предствленію, какое имѣли о нихъ авторъ. Становясь на эту точку зрѣнія, нельзя не видѣть, что нѣкоторые дѣятели изображены въ «Исторіи Государства Россійскаго» весьма искусно: они какъ бы живутъ передъ нами, если не собственною жизнію, которою жили на самомъ дѣлѣ, то, по крайней мѣрѣ тою, какою надѣлилъ ихъ историкъ по своимъ соображеніямъ. Къ числу живо изображенныхъ характеровъ относится Іоаннъ III, Іоаннъ IV, Филиппъ митрополитъ, Годуновъ, Шуйскій, Прокопій Ляпуновъ. Не даромъ IX-ый томъ произвелъ на современную публику сильное впечатлѣніе, рассказавъ, какъ, съ утратою добродѣтели, царь все болѣе и болѣе предавался жестокостямъ. Не даромъ также образъ Годунова, цѣлую жизнь посившаго личину добродѣтели, вдохновилъ поэта, который, въ своей драмѣ, согласно съ воззрѣніемъ Карамзина, развилъ трагическія послѣдствія цареубійства. Представленіе нѣкоторыхъ событій отличается не менѣе живымъ колоритомъ: между ними осада и взятіе Казани есть блистательная, одушевленная картина. «Нѣтъ предмета столь бѣднаго, чтобы искусство уже не могло въ немъ ознаменовать себя пріятнымъ для ума образомъ»: справедливость этихъ строкъ предисловія доказана «Исторіей Государства Россійскаго».

Внѣшняя форма достойна художественной постройки, возведенной Карамзинымъ. Слогъ его Исторіи ясный, точный, благородный, сильный и весьма часто живописный. Строеніе рѣчи удержало тѣ же самыя особенности, какія мы видѣли въ его литера-

турныхъ трудахъ (*). Историкъ не обратился къ Ломоносовскому словорасположенію: только, по требованіямъ излагаемаго предмета, свое собственное слово настроилъ на болѣе мужественный и величавый ладъ; ибо истинный талантъ, по замѣчанію гг. Вяземскаго, знаетъ, какъ можно писать «Вѣдную Анзу» и какъ должно писать исторію. Еще при новыхъ изданіяхъ своихъ сочиненій, до выхода въ свѣтъ «Исторіи», Карамзинъ очищалъ рѣчь отъ иностранныхъ словъ (**); историческій же языкъ его, въ этомъ отношеніи, безупреченъ: для общепринятыхъ и давнихъ варваризмовъ онъ умѣетъ находить соответственные имъ русскія названія. Современная рѣчь перѣдко украшается вставкою старинныхъ словъ и оборотовъ, вычитанныхъ изъ лѣтописей и другихъ памятниковъ (***). Мы говоримъ: «украшается», потому что подобныя вставки дѣйствительно имѣютъ значеніе орнаментовъ и видимо допущены съ этою цѣлію: отъ нихъ, какъ отъ частной, болѣею частию лексической примѣси древняго къ новому, нельзя было ожидать, чтобы новое существенно измѣнилось въ своемъ характерѣ; это — искусная инкрустація одного предмета въ другой, а не органическое ихъ сочетаніе, если бы таковое и было возможно. Вставки служатъ только элементомъ того способа излагать исторію, по которому она заставляетъ каждый вѣкъ рассказывать событія его собственною рѣчью, какъ это и сдѣлали, наприм., Тьері въ «Разсказахъ о Меровингахъ», а Барантъ въ «Исторіи герцоговъ бургундскихъ». Указанныя отличія слога «Исторіи Государства Россійскаго» примирили Шишкова съ ея авторомъ и покончили многолѣтній филологическій споръ. Особенно послѣдніе ея томы Шишковъ читалъ съ отменнымъ удовольствіемъ, находя въ нихъ все исправнымъ, кромѣ двухъ-трехъ выраженій, по его мнѣнію несовѣмъ приличныхъ или несовѣмъ правильно построенныхъ (****).

Дидактическій элементъ «Исторіи» выражается апоогемами, содержащими въ себѣ нравственныя или политическія мысли, по примѣру историковъ XVIII в., преимущественно Миллера, злоупотреблявшаго этимъ обычаемъ, за что Карамзинъ и осуждаетъ его въ предисловіи. Апоогемы нашего историка болѣею частию замыкаютъ разсказъ, служа ему или объясненіемъ или дополненіемъ. Встрѣчаются, однакожь и такія, которыя не составляютъ естественнаго, свободнаго вывода изъ событій, и безъ которыхъ, какъ лишнихъ, хотя и умныхъ прибавокъ, повѣствованіе могло бы обойтись (*****).

(*) Сохранилось и столько любимое имъ дактилическое окончаніе фразъ, первый примѣръ котораго читатель встрѣчаетъ на заглавномъ листѣ: «Исторія Государства Россійскаго».

(**) Напримѣръ, постоянно замѣняя французскія: *мораль, моральный*, русскими: *нравственность, нравственный*.

(***) Примѣры: Въ угодиость намъ *не затворимъ дорогъ* въ свою землю. Желаетъ всегда *блуждати ихъ подъ своею рукою*. И кину свое бѣдное царство и побѣгу, *куда несутъ очи*. Избывалъ *мірскія суеты и докуки*, онъ не хотѣлъ слушать ихъ и посылалъ къ Борису. Александръ палъ, ибо не *принималъ* Россіи. *Покрѣпъ милосердіемъ* вину заблужденія, и пр. Отдѣльныя слова: *благорѣчіе, остуда* (охлажденіе), *отечестволюбецъ, исправа* (полиція), и др. (Въ 1-ой ч. соч. Буслаева: «О преподаваніи отечеств. языка», выбраны изъ всѣхъ 12 т. II. Г. Р. примѣры старинныхъ словъ и оборотовъ).

(****) *Державный проходецъ*; Москвитяне не дали бы *рѣзать* себя какъ аглицы; *приверженникъ* Разстригинъ.

(*****) Примѣры апоогема: Судьба испытываетъ людей и государства многими неудачами на пути къ великой цѣли, и мы заслуживаемъ счастье мужественною твердостью въ превратностяхъ онаго. — Характеры сильные требуютъ сильнаго потрясенія, чтобы свергнуть съ себя иго злыхъ страстей и съ живою ревностью устремиться на путь добродѣтели. — Всякое бorenіе слабаго съ сильнымъ, возбуждая въ сердцахъ естественную жалость, склоняетъ насъ искать справедливости на сторонѣ перваго. — Страсти зрѣютъ вмѣстѣ съ умомъ, и самолюбіе дѣйствуетъ еще сильнѣе въ лѣтахъ совершенныхъ. — Какъ любовь, такъ и ненависть рѣдко бывають довольны истиною: первая въ хвалѣ, послѣдняя въ осужденіи.

Въ изложеніи господствуетъ риторическая настроенность, отъ которой не свободны ни Гиббонъ, ни Миллеръ, ни другіе дѣятельнѣе XVIII в. Она почиталась вполне умѣстной по важности излагаемаго предмета. Эта риторическая стихія у Карамзина не превышаетъ мѣры, установленной его художественнымъ тактомъ, и потому она не одно и тоже съ высокопарнымъ, напыщеннымъ тономъ. Если можно сказать, что изложеніе выиграло бы отъ простоты и естественности, то, съ другой стороны, нельзя не видѣть, что оно весьма часто восходитъ на степень одушевленнаго краснорѣчія. Въ особенности это ясно при разсказѣ о тѣхъ событіяхъ, въ которыхъ идеалы, дорогіе историкѣ, заявляютъ свое торжество или терпятъ оскорбленіе, а также и тамъ, гдѣ патріотическое его чувство изливается живой, сильной струею, возбуждая гордость Русскихъ. Карамзинъ понималъ важность исторіи, какъ средства, ведущаго къ народному самопознанію. Любовь къ родной странѣ для него немислима при незнаніи ея прошедшаго: «исторія предковъ любознательна для того, кто достоинъ имѣть отечество; государственная нравственность ставитъ уваженіе къ нимъ въ достоинство гражданина образованному». Допуская, что дѣянія грековъ и римлянъ важнѣе и любопытнѣе русскихъ, онъ выставляетъ особенный интересъ отечественной исторіи: «всемирная исторія великими воспоминаніями украшаетъ міръ для ума, а руссійская украшаетъ отечество, гдѣ живемъ и дѣйствуемъ.... Чувство: *мы, наше*, оживляетъ повѣствованіе, и какъ грубое пристрастіе несносно въ историкѣ, такъ любовь къ отечеству даетъ его кисти жаръ, силу, прелесть. Гдѣ нѣтъ любви, нѣтъ и души». Это одушевленіе, внушаемое любовью, порождаетъ истинно-патетическія мѣста, однимъ изъ которыхъ заключается предисловіе: «мы одно любимъ, одного желаемъ: любимъ отечество; желаемъ ему благоденствія еще болѣе, нежели славы; желаемъ, да не измѣнится никогда твердое основаніе нашего величія; да правила мудраго самодержавія и святой вѣры болѣе и болѣе укрѣпляютъ союзъ частей; да цвѣтетъ Россія.... по крайней мѣрѣ долго, долго, если на землѣ нѣтъ ничего безсмертнаго, кромѣ души человѣческой».

Заклучимъ: какъ бы ни отзывались критики о научномъ значеніи «Исторіи Государства Россійскаго»; пусть они находятъ справедливымъ приговоръ одного остроумнаго писателя, что, «прочитавъ сочиненіе Карамзина, мы *знаемъ* исторію нашего отечества, но не *понимаемъ* ея», т. е. что *факты* переданы имъ вѣрно, но невѣрно *истолкованіе* фактовъ,—*представленіе* ихъ: мы устранили отъ себя сужденіе объ этомъ предметѣ, выходящемъ за черту исторіи литературы. Но по важности и благородству идеаловъ, проведенныхъ Карамзинымъ, по искусству, съ какимъ они проведены, по силѣ патріотическаго чувства, равно по искусной постройкѣ и красотѣ внѣшней формы его трудъ есть твердый памятникъ, воздвигнутый во славу родной земли и въ свою собственную славу: онъ будетъ говорить потомству о своемъ творцѣ до тѣхъ поръ, пока, выражаясь словами поэта, «есть у насъ отечество».

§ 17. Докончимъ изложеніе образа мыслей Карамзина нѣсколькими свѣдѣніями изъ другихъ его сочиненій и переписки. Къ 1819 г. относится «Письмо о Польшѣ», читанное имъ Александру I (*). Это не первый мемуаръ о томъ же предметѣ. Въ эпоху Вѣнскаго конгресса (1814), извѣстный дипломатъ Поццо-ди-Борго вручилъ Государю составленную по его приказанію «Записку», касательно организаціи герцогства Варшавскаго, присоединеннаго къ Россіи. Въ ней, съ точки зрѣнія государственной, разсматривается намѣреніе образовать изъ герцогства Польское королевство, подъ непосред-

(*) См. выше, стр. 88.

ственнымъ и верховнымъ владычествомъ Русскаго царя, но отдѣльно отъ имперіи и съ представительнымъ правленіемъ. Выходя изъ того начала, что каждая политическая реформа тогда только благоуспѣшна, когда согласована съ характеромъ народа, для котораго она назначается, съ его настоящими обстоятельствами и съ духомъ времени, «Записка» не одобряетъ намѣреній. Устройство Польши, въ предполагавшейся формѣ, было бы, по убѣжденію автора, противно существеннымъ интересамъ Россіи, постоянной угрозой ея спокойствію и безопасности. Между бумагами Потемкинскаго секретаря, В. С. Попова, находятся двѣ записки о Польшѣ (1815): первая изъ нихъ вызвана нѣкоторыми мѣрами въ западныхъ и югозападныхъ губерніяхъ, представлявшими уклоненіе отъ политическихъ видовъ Екатерины II (наприм.: введеніемъ судопроизводства и преподаванія наукъ на польскомъ языкѣ) (*).

При всѣхъ трехъ раздѣлахъ Польши (говорится въ этой запискѣ), русское государство ничего не получило, чтобы ему полье не принадлежало, да и самые поляки, хотя и почитали сіи области, но завладѣніи оными несправедливымъ образомъ, принадлежавшими Польшѣ, но никогда не называли ихъ Польшею, а вездѣ видимъ, что, въ ихъ правленіе оными, онѣ называемы были то «Palatinatus Russiae, то Russia nigra, rubra, то Русскими землями». Области даже при польскомъ правленіи долгое время пользовались своими правами, а не польскими, кои хотѣли завести нынѣ; да и судопроизводство при польскомъ правленіи, какъ явствуетъ изъ многочисленныхъ подлинниковъ, было у нихъ, почти до половины прошедшаго столѣтія, на русскомъ, а не на польскомъ языкѣ, какъ думаютъ нынѣшніе молодые офранцузившіеся щеголи, частью по невѣдѣнію, частью же по злонамѣренному ухищренію своему.... Не противно ли собственнымъ нашимъ выгодамъ и здоровой политикѣ поступаемъ мы, прилагая стараніе отдалить отъ себя собственныхъ собратій и стараясь преобразовать ихъ въ поляковъ, всегдашнихъ ихъ притѣснителей и нашихъ враговъ?

Въ доказательство, что таковой образъ дѣйствій совершенно противенъ здоровой политикѣ и видамъ Екатерины, Записка приводитъ слѣдующее мѣсто изъ секретной инструкціи императрицы генераль-прокурору кн. Вяземскому:

Малая Россія, Лифляндія и Финляндія суть области, которыя правятся подтвержденными имъ привилегіями, и нарушать оныя отрѣшеніемъ всѣхъ вдругъ весьма непристойно бы было; однакоже и называть ихъ чужестранными, и обходиться съ ними на такомъ же основаніи есть больше, нежели ошибка).

Въ примѣчаніи къ этимъ словамъ, авторъ Записки прибавляетъ отъ себя:

Ежели великая Екатерина могла сіе сказать о Лифляндіи и Финляндіи, яко областяхъ, инородными народами населенныхъ, чтобы она нынѣ сказала о Черной и Черной Руси, названной нами польскими провинціями? Конечно она спросила бы насъ, почему мы не назвали ту часть Россіи, которая почти два столѣтія подъ татарскимъ игомъ стояла, татарскими провинціями, и почему мы не стараемся дать оной части Россіи татарскіе законы? Конечно такое же право и татары имѣютъ, какое нынѣ дано нѣкоторымъ шляхтичамъ, живущимъ на Черной и Черной Руси (**).

«Письмо» Карамзина явилось позднѣе и по иному случаю: оно имѣетъ цѣлю отклонить Александра I отъ намѣренія «возстановить Польшу въ ея цѣлости». Доводы свои почерпаетъ онъ въ правилахъ исторической, національной политики, единственно полезной для государства. Онъ прямо и мужественно высказываетъ мысль, что всецѣлое возстановленіе древняго королевства польскаго несогласно ни съ законами государ-

(*) Рус. Архивъ, 1865, № 2, стр. 226—240.

(**) Ib., стр. 233—234.

ственного блага, ни съ священными обязанностями царя, ни съ его любовію къ Россіи и къ самой справедливости. «Старыхъ крѣпостей нѣтъ въ политикѣ (говорить онъ): иначе мы должны были возстановить и казанское, астраханское царство, новгородскую республику, великое княжество рязанское, и такъ далѣе. Къ тому же и по старымъ крѣпостямъ Бѣлоруссія, Вольшія, Подолія, вмѣстѣ съ Галиціею, были нѣкогда кореннымъ достояніемъ Россіи. Если Вы отдадите ихъ, то у Васъ потребуютъ и Кіева, и Чернигова, и Смоленска: ибо они также долго принадлежали враждебной Литвѣ. Или все, или ничего.... Однимъ словомъ, возстановленіе Польши будетъ паденіемъ Россіи, или сыновья наши обогатятъ своею кровію землю польскую и снова возьмутъ штурмомъ Прагу» (*). Въ заключеніе Карамзинъ указываетъ Императору на высокое его призваніе—«утвердить миръ въ Европѣ и благоустройство въ Россіи: первый безкорыстнымъ, великодушнымъ посредничествомъ; второе хорошими законами и еще лучшею управою» (**). Въ содержаніи «Письма» собственно нѣтъ ничего такого, что не было бы высказано предшествовавшими ему «Замѣтками»; но оно отличается прекрасной литературной формой и тѣмъ патріотическимъ одушевленіемъ, которое одно только способно внушать человѣку гражданскіе подвиги. Поэтому Карамзинъ справедливо озаглавилъ письмо «Мыслію русскаго гражданина».

Мѣры правительства для постепенной отмѣны крѣпостнаго права (учрежденіе класса свободныхъ хлѣбопашцевъ, дозволеніе помѣщикамъ отпускать крестьянъ на волю, а казеннымъ крестьянамъ право пріобрѣтать землю, уничтоженіе рабства въ остзейскихъ губерніяхъ) служили поводомъ къ появленію цѣлыхъ книгъ и записокъ объ этомъ предметѣ государственной важности (***). Сочиненіе сенатора, гр. Валеріана Стройновскаго, «о условіяхъ помѣщиковъ съ крестьянами», переведенное съ польскаго языка на русскій г. Анастасевичемъ (1809) (****), подверглось рѣзкимъ замѣчаніямъ гр. Растворина (*****). Въ 1811 г. в. к. Екатерина Павловна извѣщала Карамзина, что у нея есть «русское сочиненіе о вопросѣ чрезвычайно деликатномъ—объ освобожденіи крестьянъ» (*****). Какое это сочиненіе, сказать трудно; конечно, не гр. Стройновскаго, напечатанное до того за два года, и притомъ не русское, а польское. Къ 1818 г. относится «записка объ освобожденіи крестьянъ въ Россіи отъ крѣпостной зависимости», составленная по повелѣнію императора Александра I (*****). Думаютъ, что авторъ ея Канкринъ, занимавшій въ то время должность генералъ-интенданта (въ послѣдствіи министръ финансовъ и графъ). Она содержитъ основныя положенія вопроса, назначая для постепеннаго совершенія дѣла тридцатилѣтній срокъ съ раздѣленіемъ его на десять періодовъ. Вѣстникъ Европы 1819 г. (№ 14) помѣстилъ статью: «Взглядъ на постепенный упадокъ рабства и крѣпостнаго состоянія въ Европѣ», переведенную изъ Шторхова курса политической экономіи, который былъ напечатанъ на издженіи Государя. Авторъ указалъ и мѣры нашего правительства,

(*) Неизд. соч. К—на, ч. I, стр. 5—7.

(**) Ib., стр. 8.

(***) Въ «С.-п.-бургскомъ журналѣ» (1804—1809), официальномъ органѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, которымъ управлялъ гр. Кочубей и гдѣ главнымъ дѣятелемъ былъ Сперанскій, помѣщались какъ правительственные акты, такъ и дѣйствія частныхъ лицъ касательно улучшенія быта крестьянъ. Тоже и въ газетѣ министерства: «Сѣверная почта» (1809—20).

(****) Россійск. Смирдана, № 2211.

(*****.) Чтенія въ Общ. ист. и др. 1863, кн. 2.

(*****.) Неизд. соч. К—на, I, стр. 100.

(*****.) Рус. Архивъ 1865, № 10 и 11.

клонившіяся къ той же цѣли. Въ одинъ годъ съ «Письмомъ Карамзина о Польшѣ» представлена была государю другая записка объ освобожденіи крестьянъ (*). Какое же положеніе занялъ Карамзинъ относительно возбужденнаго вопроса и произведеннаго имъ дѣйствія въ обществѣ и литературѣ? Онъ остался при своемъ прежнемъ мнѣніи, которое было мнѣніемъ Державина, Лопухина, Мордвинова и гр. Растопчина, его свойственника (**). Увѣдомляя жену о своемъ свиданіи съ Шторхомъ (1816); онъ пишетъ: «я провелъ съ нимъ два часа въ разговорѣ объ освобожденіи крестьянъ. Шторхъ очень внимательно выслушалъ мои аргументы и наконецъ съ благородною откровенностью сказалъ: я узнаю новыя и сильныя вещи, и сознаюсь, что могъ ошибаться» (***). Письмо къ Малиновскому, того же года, касается толковъ москвичей о крестьянскомъ вопросѣ въ острзейскихъ губерніяхъ: «Московскія догадки и соображенія, по моему мнѣнію, несправедливы. Слѣдствія новаго эстляндскаго устава о крестьянахъ развѣ *впередъ* окажутся благотѣльными; тогда, а не прежде, советую вамъ говорить объ этомъ способъ для соглашенія выгоды крестьянъ и дворянства» (****). Едва ли кто теперь станетъ отрицать, что советъ Карамзина былъ основателемъ.

Карамзинъ устоялъ въ своихъ мнѣніяхъ и по другимъ двумъ предметамъ—мистицизму и либеральнымъ движеніямъ. Въ одну изъ своихъ поѣздокъ въ Тверь, онъ видѣлся съ масономъ Феслеромъ, приглашеннымъ въ 1809 г. изъ Берлина въ александровскую академию, для занятія кафедрой еврейскаго языка, и уволеннымъ въ 1810 г. (*****). «Говорилъ я съ Феслеромъ, пишетъ онъ къ А. И. Тургеневу въ Петербургъ, о метафизикѣ, мистикѣ, масонствѣ и проч. Онъ напомнилъ мнѣ старину. Все слова, а мало дѣла. Слышно, что масонство въ модѣ: такъ ли?» (*****). Позднѣе (1817), когда масонство дѣйствительно сдѣлалось модною вещью, Карамзинъ, описывая Малиновскому свои занятія, свой тихій образъ жизни въ семействѣ, прибавилъ: «нѣтъ отъ міра сего, хотя и смѣюсь *надъ святошами новыми*». Подъ именемъ «новыхъ святошъ» разумѣлись имъ, какъ будетъ показано въ своемъ мѣстѣ, русскіе мистики Александра времени, которыхъ ученіе и дѣйствія составляютъ второй періодъ нашего масонства, слѣдовавшій за періодомъ Новиковскимъ. Еще болѣе держался Карамзинъ въ сторонѣ отъ современнаго ему либерализма, не находя въ немъ духа истинной свободы—ни гражданской, ни человѣческой, и сопоставляя его съ доктриной революціонныхъ дѣятелей XVIII в. Выше было упомянуто о холодномъ приѣмѣ, оказанномъ ему въ Петербургѣ однимъ изъ старыхъ его знакомыхъ, по той причинѣ, что мнѣнія историка противны «либеральнымъ идеямъ», «то есть—объясняетъ Карамзинъ—образу мыслей Фуше, Карно, Грегуара» (*****). Зная нерасположеніе Карамзина къ государственнымъ формамъ, если онѣ не одушевлены справедливостію, виртембергская королева (в. к. Екатерина Павловна) советовала ему «побольше писать и поменьше читать германскихъ конституцій, которыя не иное что, какъ совершенный вздоръ. Съ тѣхъ поръ, говорить она, какъ я въблизи вижу національныя репрезентации, выучилась я

(*) Н. И. Тургенева, сына известнаго намъ Ивана Петровича и брата Андрея и Александра.

(**) По первой женѣ К—на, урожденной Протасовой.

(***) Неизд. соч. К—на, ч. 1, стр. 165.

(****) Письма К—на къ Малиновскому, стр. 12.

(*****) О Феслерѣ у барона Корфа, въ жизни Сперанскаго I, 256—262.

(*****) Письмо къ Тургеневу безъ числа.

(******) Неизд. соч. К—на (письмо къ женѣ отъ 11 февраля 1816).

цѣнить вѣсь словъ; хорошіе законы, которые исполняютъ: вотъ лучшая конституція» (*). Политическія движенія въ южной Европѣ усилили отвращеніе Карамзина отъ «просвѣтителей» (такъ называлъ онъ либераловъ): «Новостей важныхъ нѣтъ», писалъ онъ брату (1817). «У насъ, слава Богу, все тихо, а въ Европѣ южной и голодно, и мрачно; во многихъ мѣстахъ свирѣтствуютъ болѣзни отъ худой пищи. Между тѣмъ шумятъ о конституціяхъ. Сапожники, портные хотятъ быть законодателями, особенно въ ученой нѣмецкой землѣ. Покойная французская революція оставила сѣмя какъ саранча: изъ него вылѣзаютъ гадкія насѣкомыя». Этотъ шумъ, эти движенія заставили Карамзина снова бояться за успѣхъ человѣческаго совершенствованія, какъ онъ уже боялся того прежде, въ эпоху французской революціи: «Люди на всемъ сходятъ съ ума: либерализмъ сдѣлался болѣзнію... Мнѣ съ нѣкотораго времени кажется, что просвѣщеніе Европы угрожается затмѣніемъ» (**). Въ письмѣ изъ Царскаго Села за границу (1822), онъ указываетъ высокую роль, предназначенную Государю: «Вы служите орудіемъ провидѣнію. Здѣсь *либералисты*, тамъ *сервилисты*; истина и добро въ срединѣ: вотъ Ваше мѣсто, прекрасное, славное!» (***). Отрывокъ, написанный въ послѣдній годъ его жизни, излагаетъ нѣсколько мыслей «объ истинной свободѣ». Дѣйствія аристократовъ и сервилистовъ, демократовъ и либералистовъ объясняются единственно домогательствомъ личныхъ выгодъ. Они безсильны измѣнить состояніе міра:

Аристократы! вы доказываете, что вамъ надобно быть сильными и богатыми въ утѣшеніе слабымъ и бѣднымъ; но сдѣлайте же для нихъ слабость и бѣдность наслажденіемъ. Ничего нельзя доказать противъ чувства: нельзя увѣрить голоднаго въ пользу голода. Дайте намъ чувство, а не теорію...

Либералисты! чего вы хотите? счастья людей? Но есть ли счастье тамъ, гдѣ есть смерть, болѣзни, пороки, страсти?

Основаніе гражданскихъ обществъ неизмѣнно: можете низъ поставить на верху, но всегда будетъ низъ и верхъ, воля и неволя, богатство и бѣдность, удовольствіе и страданіе (****).

Кто же даетъ истинную свободу, «безъ которой для существа нравственнаго нѣтъ блага?» Ее «даетъ не государь, не парламентъ, а каждый изъ насъ самому себѣ, съ помощію Божіею. Свободу мы должны завоевать въ своемъ сердцѣ миромъ совѣсти и довѣренностію къ провидѣнію!» (*****).

Понятія Карамзина о цѣли и значеніи человѣческой жизни, о нашихъ обязанностяхъ къ отечеству, прекрасно выражены въ письмахъ къ А. И. Тургеневу и проникнуты чувствомъ неизмѣнной любви къ людямъ и столько же неизмѣннымъ патріотизмомъ:

Жизнь есть не писать исторію, не писать трагедій или комедій, а какъ можно лучше мыслить, чувствовать и дѣйствовать, любить добро, возвышаться душою къ ето источнику; все другое, любезный мой пріятель, есть шелуха, не исключая и моихъ осьми или девяти томовъ.... Мало разницы между *мелочными* и такъ называемыми *важными* занятіями: одно внутреннее побужденіе и чувство важно. Дѣлайте, что и какъ можете: только любите добро; а что есть добро—спрашивайте у совѣсти. Быть статсъ-секретаремъ, министромъ, или авторомъ, ученымъ—все одно (*****).

(*) Ib. стр. 123.

(**) Письмо къ Малиновскому 1819 г.

(***) Неизд. соч. I, 28.

(****) Ib. 194—195.

(*****) Ib. 195.

(*****) Письмо 1815 г. (Москв. 1855, №№ 23 и 24).

Для насъ, Русскихъ съ душою, одна Россія самобытна, одна Россія истинно существуетъ; все иное есть только отношеніе къ ней, мысль, привидѣніе. Мыслить, мечтать можемъ въ Германіи, Франціи, Италиі, а дѣло дѣлать—единственно въ Россіи; или нѣтъ гражданина, нѣтъ человѣка: есть только двуногое животное, съ брюхомъ. Такъ мы съ вами давно рассуждали: значить, что я не перемѣнялъ понятій въ ваше отсутствіе; съ ними, вѣроятно, и закрою глаза, для здѣшняго свѣта, *pour voir plus clair* (*).

Прим. Дополнимъ очеркъ жизни Карамзина (§§ 2 и 15) нѣкоторыми, болѣе подробными свѣдѣніями, пользуясь и прежними, и новыми матеріалами для его біографіи.

По собственнымъ словамъ К—на, въ автобіографической запискѣ для митрополита Евгенія, онъ родился въ Симбирской губ., а по другимъ извѣстіямъ—въ селѣ Михайловкѣ, самарской (прежде оренбургской) губ., бузулукскаго уѣзда. Годъ его рожденія 1766, а не 1765, какъ полагали прежде. Отецъ его, капитанъ въ отставкѣ, человѣкъ простой и добрый, служилъ въ Оренбургѣ при Неплюевѣ и пожалованъ былъ въ послѣдствіи, наравнѣ съ прочими офицерами, землею въ оренбургской (нынѣ самарской), губ. К—нъ, лишившійся матери въ младенчествѣ, сначала воспитывался въ деревнѣ; потомъ нѣсколько времени учился въ пансіонѣ г. Фовеля, въ Симбирскѣ; нѣмецкому языку обучалъ его нѣмецкій врачъ, жившій въ томъ же городѣ. Съ приближеніемъ юношескаго возраста (1779 или 1780 г.) отвезенъ былъ въ Москву и поступилъ въ пансіонъ къ Шадену, гдѣ, въ числѣ его товарищей, находились два брата Бекетовы, Платонъ Петровичъ и Иванъ Петровичъ, которые въ послѣдствіи сдѣлались извѣстными своею любовью—первый къ исторіи и словесности, а второй къ нумизматикѣ. По словамъ А. Н. Тургенева, главное вниманіе въ пансіонѣ обращалось на изученіе языковъ; однакожъ изъ другихъ свидѣтельствъ видно, что по латини К—нъ не учился, да и по нѣмецки зналъ еще плохо, до 1786 г. Ко времени четырехлѣтняго пребыванія Карамзина у Шадена относится, какъ должно думать, его знакомство съ Александромъ Андреевичемъ Петровымъ. Въ 1782 или 1783 г. К—нъ былъ записанъ въ преображенскій полкъ •подиранпорникомъ. Кромѣ Н. Н. Дмитріева, служившаго въ семеновскомъ полку, онъ подружился съ братомъ его Александромъ Ивановичемъ, переводчикомъ Лузіады. «Едва ли не съ годъ мы были неразлучны», говоритъ Н. Дмитріевъ въ своихъ Запискахъ; «склонность наша къ словесности, можетъ быть что-то сходное и въ нравственныхъ качествахъ укрѣпляли нашу связь день ото дня болѣе: мы давали взаимный отчетъ въ нашемъ чтеніи. Между тѣмъ я показывалъ ему иногда мелкіе мои переводы, которые были печатаны особо и въ тогдашнихъ журналахъ; слѣдуя моему примѣру, онъ принялся и самъ за переводы». Первый переводъ К—на: «Разговоръ Маріи Терезіи съ русской императрицей Елисаветой въ Елисейскихъ поляхъ» остался неизданнымъ. Въ 1783 г. К—нъ задумалъ ѣхать въ армію. Такое назначеніе много зависѣло въ то время отъ полковаго секретаря, а секретарь бралъ взятки: онъ отказалъ К—ну, не могшему располагать личными деньгами. Отецъ его между тѣмъ скончался, и онъ, вышедъ въ отставку съ чиномъ поручика, отправился на родину (1783 или 1784 г.) Должно думать, что въ Москвѣ въ это время пробылъ онъ довольно долго: иначе нельзя объяснить, когда завязалась у него дружба съ Петровымъ. Симбирскій образъ жизни К—на описанъ Н. Дмитріевымъ, пріѣзжавшимъ тоже на родину: «я нашелъ его уже играющимъ ролю надежнаго на себя свѣтскаго человѣка: рѣшительнымъ за вистовымъ столомъ, любезнымъ и занимательнымъ въ дамскомъ кругу и политикомъ передъ отцами семейства, которые хотя и не привыкли слушать молодежь, а его слушали». Письма Петрова показываютъ, что такая жизнь не могла нравиться К—ну: онъ жаловался на скуку и замыслилъ обширные планы, между прочимъ хотѣлъ переводить Шекспира. Но расположеніе его духа проявлялось по мѣрѣ приближенія отъѣзда въ Москву, куда его убѣждалъ переселиться Н. Н. Тургеневъ. Любопытно, что Петровъ, агентъ московскихъ мистиковъ, въ своихъ письмахъ къ К—ну, два раза зоветъ его въ Москву къ Іоаннову дню, т. е. ко дню рождества Іоанна Предтечи (24 іюня), который есть главный праздникъ всѣхъ масоновъ. Можетъ быть, къ этому времени К—нъ и пріѣхалъ въ Москву, гдѣ вступилъ въ образовавшійся около Новиковскаго общества кругъ молодыхъ людей и студентовъ, которые занимались ученіемъ, переводами и проч. Онъ жилъ въ домѣ, принадлежавшемъ обществу, вмѣстѣ съ Петровымъ. Изъ другихъ московскихъ знакомыхъ Карамзина извѣстенъ Алексѣй Александровичъ Плещеевъ, предсѣдатель какой-то палаты. Онъ былъ особенно друженъ съ его женою, молодою, образованною женщиною, на сестрѣ которой послѣ женился.

(*) Письмо 1825 (П.). Тургеневъ жилъ въ это время за границей.

Ей-то посвящена 2-ая книжка Аглая. Въ посвященіи называется она «благодѣтельнымъ гениемъ автора. И. Дмитріевъ въ Запискахъ своихъ говоритъ, что она питала къ К—ну чувство нѣжнѣйшей матери, и что въ ея семейномъ уединеніи развились его авторскіе таланты. Мы говорили (§ 2) объ Алексѣѣ Михайловичѣ Кутузовѣ. Я не стою за догадку объ имени «Рамзей», данномъ К—ну его друзьями. Она основана на слѣдующемъ мѣстѣ «Писемъ русскаго путешественника»: «Я такъ ясно представилъ себѣ любезнаго А. (Алексѣя), идущаго ко мнѣ на встрѣчу и кричащаго: *кого вижу? братъ Рамзей въ Берлинѣ?*» Кутузовъ могъ называть К—на братомъ по масонскому союзу, выбравъ ему имя извѣстнаго масона. Впрочемъ, слово Рамзей могло быть просто сокращеніемъ слова Карамзинъ, какъ предполагаетъ г. Погодинъ. Сверхъ сотрудничества въ Дѣтскомъ Чтеніи и переводовъ, Карамзинъ имѣлъ и другія занятія: онъ начиналъ учиться по гречески; писалъ стихи, изъ которыхъ многіе вошли въ собраніе его сочиненій; знакомился съ русской исторіей, какъ видно по разсказу о его встрѣчѣ съ Лебекомъ (въ Писмахъ рус. путешественника), заключающему въ себѣ понятіе о Петровской реформѣ и о томъ, на что русской историкъ долженъ обратить вниманіе. Говоря о трудахъ К—на, какъ исторіографа, мы назвали А. Н. Тургенева его пособникомъ. Дѣйствительно, Тургеневъ провелъ многіе годы въ чужихъ краяхъ, отыскивая въ тамошнихъ библіотекахъ и архивахъ новыхъ документовъ для исторіи Россіи. Извѣстія о его находкахъ встрѣчаются въ писмахъ изъ за границы, которыя онъ помѣщалъ въ Современникѣ (до 1847 г.) и въ Москвитинѣ за подписью «Эолова арфа» (прозвище его, какъ члена литературнаго общества «Арзамасъ»). То, что относилось къ древней Россіи, напечатано Востоковымъ; а извлеченія изъ бумагъ о новой Россіи помѣщались въ Журналѣ министерства народнаго просвѣщенія. Г. Пекарскій издалъ собранія Тургеневымъ дененіи французскаго посла маркиза де ла Шетарди. Приготовленія К—на къ сочиненію исторіи и описаніе его кабинета въ селѣ Остафьевѣ см.: въ статьѣ г. Погодина: «Изъ біографіи К—на» (Вѣст. Евр., изд. Стасюлевича, 1866, т. 2). Въ приложеніи къ этой статьѣ напечатанъ отзывъ нѣмецкаго публициста Лудвига Бөрне объ И. Г. Р. По завѣщанію кн. Андрея Ивановича Вяземскаго († 1807), дочь его должна была жить съ Карамзинными, а К—ну поручено было имѣть попеченіе о сынѣ князя, Петрѣ Андреевичѣ, до его совершеннолѣтія. Жена К—на (воспитанница покойнаго князя) получила 800 душъ въ нижегородской губ. (*). Кн. Петръ Андреевичъ сохранилъ навсегда чувство живѣйшей благодарности къ своему почителю и родственнику, котораго называлъ вторымъ отцемъ. «Записка о древней и новой Россіи» сочинена по совѣту и желанію в. к. Екатерины Павловны, писавшей ему въ одномъ письмѣ (1810): «Иду съ нетерпѣніемъ Россію въ гражданскомъ и политическомъ отношеніяхъ» (**). Въ 1811 г. Государь изъявилъ И. И. Дмитріеву, бывшему министромъ юстиціи, желаніе свое ближе познакомиться съ исторіографомъ и велѣлъ пригласить его въ Тверь, куда самъ въ то время отправился. По этому случаю великая княгиня писала къ К—ну (8 марта 1811): «Императоръ выѣзжаетъ 12-го (марта) вечеромъ и будетъ здѣсь 14. Приѣзжайте (***)». Представленный Государю, К—нъ прочелъ ему нѣсколько отрывковъ изъ своей исторіи и былъ имъ чрезвычайно облаканъ. Пользуясь этимъ, великая княгиня передала Государю Записку (****). Сохранился альбомъ, т. е. собраніе небольшихъ сочиненій и мыслей какъ иностранныхъ авторовъ, такъ и своихъ собственныхъ, поднесенный К—мъ великой княгинѣ. Онъ нап. въ I т. Дѣтской рус. литературы, г. Тихомирова. Въ августѣ 1812 г., отправивъ жену съ дѣтьми въ нижній Новгородъ, К—нъ остался въ Москвѣ и жилъ у гр. Растропчина. Выѣхавъ изъ столицы наканунѣ вступленія французовъ. Изъ Нижняго Новгорода писалъ кн. Вяземскому: «собирался было съ опозданиемъ къ Москвѣ, чтобы участвовать въ ея предполагаемомъ освобожденіи, но дѣло обошлось и безъ меня исторіографскаго». Вернулся въ Остафьево въ іюніѣ 1813 г. Такъ какъ въ разоренной Москвѣ трудно было найти удобную квартиру, то Императрица Марія Федоровна предлагала ему жить въ Петербургѣ, а лѣто проводить въ Павловскѣ. Петербургская жизнь его (съ 1816 г.) была посвящена исключительно продолженію историческаго труда. Манифестъ о вѣснѣ

(*) За первой женой К—нъ получилъ небольшое имѣніе въ Орлов. губ. Всего онъ имѣлъ до 1000 душъ.

(**) Неизд. соч. I, 89.

(***) Ib. 91.

(****) Жизнь гр. Сперанскаго I, 132—133.

Николая I на престолъ былъ вѣнчанъ К—мъ, но передавъ гр. Сперанскимъ и въ этомъ измѣненномъ видѣ обнаруженъ (*).

Кромѣ выше цитованныхъ матеріаловъ, см.: О жизни и сочиненіяхъ К—на (Сѣвер. Цвѣты 1828); Записки Н. Дмитріева (Москвит. 1841, № 1); Словарь достопамятныхъ людей, Бантышъ-Каменскаго, т. 2; Мѣсто рожденія К—на (Моск. Вѣд. 1852, № 12, внутреннія вѣстия изъ Бузулука; о томъ же ст. М. Дмитріева въ Моск. Вѣд. 1857, № 135, литерат. отдѣлъ); Н. М. Карамзинъ. Матеріалы для его жизни и дѣятельности (двѣ мои статьи въ Соврем. 1853, №№ 1 и 11); Письма и записки К—на къ Селивановскому и его же письма, сообщенныя Н. П. Второвымъ (Библ. записки, г. Афанасьева, 1858, № 19); Письма А. А. Петрова къ К—ну (Рус. Архивъ, изд. Бартеневымъ, 1863); Письма К—на къ кн. П. А. Вяземскому (выдержки изъ старыхъ бумагъ Остафьевскаго Архива, въ Рус. Архивѣ 1866); Дѣтство, воспитаніе и первые литературные опыты К—на (ст. Погодина въ изданномъ имъ литерат. и политич. сборникѣ «Утро», 1866; здѣсь же: о годѣ рожденія К—на, съ приложеніемъ его автобіографической записки).

Въ «Матеріалахъ для полнаго собранія сочиненій и переводовъ К—на» (Рус. Архивъ 1864), М. Лонгиновъ исчислилъ какъ отдѣльныя ихъ изданія, такъ и тѣ произведенія, которыя не вошли въ собраніе его сочиненій. Многія изъ нихъ указаны нами выше. Укажемъ другія, болѣе важныя:

2-ое изд. Монахъ бездѣлокъ (1797).

2-ое изд. Аглаи (1796).

2-ое изд. Новыхъ Мармонтелевыхъ повѣстей (1815), 3-ье (1822), 4-ое (1835).

Мелина, повѣсть г-жи Сталь (1795), 2 изд. (безъ означенія года), 3-ье (1802).

Юлія (1796).

Разныя повѣсти, 2 ч. (1798—1803), 2 изд. (1816), 3-ье (1835).

Пантеонъ иностранной словесности (1798—1803), 2 изд. (1818), 3-ье (1835).

2 изд. Повѣстей Жанлисъ, 2 ч. (1816), 3-ье (1835).

Собраніе сочиненій, 8 ч. (1803—1804); 2-ое изд. 9 ч. (1814); 3-ье 9 ч. (1820); 4-ое 9 ч. (1835); 5-ое, въ Полн. Собр. сочиненій рус. авторовъ, Смирдина, 3 ч. (1848).

Ист. Г. Р. 2-ое изд. 12 ч. (1818—1829); 3-ье (1830—1831); 4-ое (1833); 5-ое Эйнерлинга 3 кн. (1842—43).

Переводы 9 ч. (1835). Сюда вошли: Новыя Мармонтелевы повѣсти, 2 ч.; Разныя повѣсти, 2 ч.; Пантеонъ иностранной словесности; Повѣсти г-жи Жанлисъ.

§ 18. Какъ сильный талантъ, Карамзинъ нашелъ себѣ многихъ подражателей, которые, имѣя его во главѣ, образовали особую литературную школу. Направленіе, данное имъ языку и содержанію словесности, усвоилось, съ большимъ или меньшимъ искусствомъ, въ тѣхъ или другихъ родахъ сочиненій, каждымъ членомъ школы. Съ именемъ «карамзинистъ» соединялось понятіе о такомъ писателѣ, произведенія котораго представляли характеристическія отличія образа, и внѣшнія, и внутреннія.

Внѣшнее усваивается легче, нежели внутреннее, и потому карамзинскій языкъ сдѣлался первымъ предметомъ подражанія. Въ короткое время нашлись и достойные его явленія, и безжизненныя, механическія подѣлки, которыя своею неурядицей вредили дѣлу Карамзина больше, чѣмъ его противники. Укажемъ лучшіе примѣры подражательной ему дѣятельности.

Важнѣйшее мѣсто въ Карамзинской школѣ безспорно принадлежитъ И. Дмитріеву (1760—1837). Заслуга его касательно литературнаго языка и слога опредѣлена современною ему критикою слѣдующимъ образомъ: Карамзинъ далъ образцы, какъ должно писать *въ прозѣ*; Дмитріевъ далъ образцы, какъ должно писать *въ стихахъ* (**). Другими словами: что сдѣлалъ Карамзинъ для образованія прозаическаго языка, то самое сдѣлалъ Дмитріевъ для образованія языка стихотворнаго. Дѣло Карам-

(*) Незид. соч. 1, 17—20.

(**) Слова А. Измайлова въ извѣщеніи о 5-мъ изд. Сочиненій И. Дмитріева (Взлгопамѣренный 1819, № 3). Они повторены и позднѣйшею критикою: см. Мелоча изъ запаса моей памяти И. Дмитріева.

зна намъ извѣстно: онъ сблизилъ книжную прозу съ разговорнымъ языкомъ общества. Дмитріевъ воспользовался этимъ началомъ для того, чтобы сообщить стихотворной рѣчи ясность, легкость, непринужденное словопостроеніе и пріятность. И потому имена обоихъ писателей постоянно ставились рядомъ, какъ образователей литературнаго языка нашего: одного въ прозѣ, другаго въ стихахъ.

Это образованіе стихотворной рѣчи, вызванное примѣромъ Карамзина (*), соотвѣтствовало какъ свойству французскаго языка, съ котораго переводилъ Дмитріевъ, такъ и роду сочиненій, которыя онъ переводилъ. Французскій языкъ—не то что нашъ отечественный—давно привыкъ «къ почтовой прозѣ». Литературнымъ своимъ развитіемъ онъ одолженъ не одному трудолюбію авторовъ, но и успѣхамъ общежитія. Искусство писать вырабатывалось у французовъ вмѣстѣ съ искусствомъ вести бесѣду. Переводилъ же и сочинялъ Дмитріевъ преимущественно басни, сказки, сатиры, эпиграммы и разныя мелкія піесы (*poésies fugitives*); а содержаніе такихъ сочиненій выражается легкимъ, свободнымъ, подходящимъ къ разговорному языку стихомъ. Вотъ почему критики десятихъ и двадцатыхъ годовъ совѣтовали тому, кто желаетъ писать гимны, оды, диониримбы, учиться у лириковъ (Ломоносова, Петрова, Державина) краткости, силѣ и смѣлости выраженій; тому же, кто чувствуетъ въ себѣ талантъ и склонность сочинять комедіи, посланія, сатиры, элегіи, сказки, дидактическія, описательныя и романтическія поэмы, мадригалы, эпиграммы, требующія инаго языка, иныхъ качествъ въ слогѣ, они рекомендовали Дмитріева, какъ надежнѣйшаго руководителя (**).

Стихотворенія самого Карамзина, если разсматривать въ нихъ только складъ рѣчи, не отличаются отъ стихотвореній Дмитріева. Подъ вліяніемъ тѣхъ и другихъ мало по малу сложился у насъ легкій стихъ, приличный извѣстному разряду поэтическихъ сочиненій. Успѣшному его развитію благопріятствовала перемѣна во вкусѣ писателей: ода склонялась къ упадку; посланіе сдѣлалось моднымъ родомъ стихотворства, представляя удобнѣйшую форму для выраженія мыслей. Но посланію, какъ письму въ стихахъ, наравнѣ съ обыкновенными письмами свойственъ такъ называемый эпистолярный стиль, главныя отличія котораго—простота и непринужденность. Большинство талантливыхъ стихотворцевъ двадцатыхъ годовъ, по строенію своей рѣчи, суть послѣдователи Карамзина и Дмитріева. Одни изъ нихъ начали подражать своимъ образцамъ раньше, другіе позднѣе; но всѣ шли одною и тою же дорогою, проложенною первоначальниками реформы.

Еще больше было подражателей-прозаиковъ, потому что легче ладить съ прозой, чѣмъ съ стихами, строеніе которыхъ стѣснено условіями мѣры и рѣзми. За Карамзинымъ слѣдовали охотно не изъ одного увлеченія его талантомъ, но и по сознанію въ правотѣ его дѣла, объясняемаго потребностями времени. Какъ Шишковъ въ новомъ слогѣ видѣлъ ближайшее слѣдствіе испорченныхъ нравовъ, такъ литераторы противоположнаго направленія связывали появленіе того же слога съ успѣхами образованности. По поводу перваго изданія сочиненій Карамзина (1803—1804), одинъ изъ тогдаш-

(*) Самъ И. Дмитріевъ признавалъ Карамзина своимъ образцемъ: «Съ того только времени я почувствовалъ, что такое талантъ и авторское искусство, когда пріобрѣлъ уже, въ зрѣлой молодости, пріязнь Державина и утвердилъ дружбу съ Карамзинымъ» (предисловіе къ 6-му изд. его стихотвореній, 1823). «Кажется, мнѣ суждено было тогда только воспламеняться поэзіей, когда Карамзинъ издавалъ журналы» (Залески И. Дмитріева).

(**) См. извѣщеніе Воейкова о новомъ (6-мъ) изд. стихотвореній Дмитріева» (Новости литературы 1824, №№ 3 и 4).

нихъ журналистовъ (*) оцѣнилъ его заслугу такимъ образомъ: «Обстоятельства эпохи, въ которую явился Карамзинъ, довели общества въ Петербургѣ и Москвѣ до уточненія идей, искусствъ и образа жизни. Недоставало только языка, ближайшаго къ тону разговора и общества, къ новымъ понятіямъ вѣка, къ новой вѣжливости нравовъ, котораго легкая пріятность могла бы побѣдить въ свѣтскихъ людяхъ, а особливо въ женщинахъ, непростительное предубѣжденіе противъ языка русскаго, который, наконецъ, могъ бы усвоить себѣ достоинства лучшихъ языковъ въ Европѣ. Карамзинъ далъ языку новое направленіе и сблизилъ его съ другими чистѣйшими языками европейскими». Критическій отзывъ заключается дѣльной замѣткой о взаимодѣйствіи общества и автора: «такимъ образомъ духъ вѣка и народа имѣетъ, въ началѣ, столькоже вліянія на характеръ писателя, сколько писатель въ послѣдствіи и въ свою очередь пріобрѣтаетъ вліянія на духъ и языкъ народа». Этотъ ближайшій къ состоянію общества и тону разговора языкъ, созданный Карамзинымъ, вскорѣ сдѣлался достояніемъ многихъ писателей. Не прошло и двадцати лѣтъ отъ появленія перваго его памятника (Писемъ русскаго путешественника въ Московскомъ журналѣ), какъ онъ уже водворился въ нашей словесности. Всѣ болѣе или менѣе видные литераторы эпохи Александра I образовали искусство выражать свои мысли по сочиненіямъ Карамзина, относящимся еще къ первому періоду его дѣятельности (1791—1803). Дашковъ, Н. Макаровъ, Каменевъ, Подшиваловъ, В. Пушкинъ, Бенитцкій, В. Измайловъ, А. Измайловъ, Каченовскій, В. Панаевъ, Милоновъ, Воейковъ, Н. Крыловъ, Озеровъ, Жуковскій, кн. Вяземскій.... все это ученики одного и того же учителя, сторонники и двигатели совершеннаго имъ преобразованія. Выходъ въ свѣтъ «Исторіи Государства Россійскаго» окончательно и надолго утвердилъ за карамзинскимъ слогомъ право быть исключительнымъ образцомъ для всякаго, кто принимался за перо.

Рядомъ съ достойнымъ воздѣлываніемъ этого слога являлись, какъ было сказано, и недостойныя ему подражанія. Последнія имѣли своимъ источникомъ или малый удѣльный вѣсъ подражателя или его ложное понятіе о томъ, что значитъ подражать. Вышняя копія образца никогда не приводитъ къ добру: онъ долженъ быть воспроизводимъ въ духъ своего перваго производителя и по тѣмъ началамъ, которыя дали ему бытіе. Чтобы исполнить первое требованіе, необходимо состоять хотя въ дальнемъ родствѣ съ тѣмъ лицомъ, которому послѣдуешь; если же это лице, по качествамъ духа, оказывается совершенно постороннимъ пишущему, то напрасны всѣ усилія усвоить способъ его выраженія. Для выполненія втораго требованія надлежало понять, что сущность новаго слога заключается вовсе не въ отдѣльных словахъ и оборотахъ, а въ общемъ строѣ рѣчи, по которому она получаетъ особый тонъ и характеръ. Не понявъ этого, многіе писали не языкомъ Карамзина, а каррикатуры на карамзинскій языкъ. Реформа, въ сущности законная, была доводима до самыхъ смѣшныхъ крайностей литераторами нижнихъ этажей. Обращикъ уродливаго подражанія приведенъ выше (**); множество ему подобныхъ легко отыскивается какъ въ журналахъ, такъ и въ отдѣльно изданныхъ сочиненіяхъ. Въ виду такихъ подражаній Павелъ Львовъ, членъ «Русской Бесѣды», могъ, въ спорѣ съ кн. Шаликовымъ, издававшимъ «Московскій Зритель» (1806), назвать языкъ модныхъ писателей вялымъ, рас-

(*) В. Измайловъ, въ Патріотѣ, журналѣ воспитанія (1804, № 9).

(**) Стр. 55 и 56.

тапугтымъ, невразумительнымъ, искаженнымъ, такъ что многія сочиненія представляются дурными переводами (*), хотя, съ своей стороны, и кн. Шаликовъ имѣлъ право замѣтить, что эти писатели могутъ не завидовать «варяго-росскому» языку П. Львова, какъ автора «Изображенія Москвы и всея Россіи въ царствованіе Іоанна IV» (**).

§ 19. Вторымъ предметомъ подражанія Карамзину служилъ сентиментальщій тонъ его сочиненій (§ 4). Современники почитали его преобразователемъ не только литературнаго языка, но и направленія литературы. Его имя, какъ начальника новаго періода, ставилось въ слѣдъ за именемъ Ломоносова, главнаго дѣятеля въ періодъ предшествовавшемъ. Журнальная критика указывала и различіе между ними: «послѣ Ломоносова граціи сказали: пусть теперь въ твореніяхъ русскихъ улыбается нѣжность и прольется въ сердца чувствительныхъ» (***). Значить, русскимъ авторамъ Ломоносовской школы, показавшимъ примѣры высокаго и торжественнаго, не доставало пріятности, нѣжности, чувствительности, очередь которымъ наступила съ Карамзина. По обычаю величать отечественныхъ писателей именами древнихъ или новыхъ знаменитостей, которымъ они подражали, Карамзина приравнивали то Стерну, то Мармонтелю, то обоимъ вмѣстѣ. «Письма русскаго путешественника» и «Бѣдная Лиза» были первыми явленіями литературнаго сентиментализма Карамзина: и первыми же опытами подражательнаго авторства естественно должны были быть путешествія и повѣсти. «Путешествіе въ полуденную Россію» (1800-1802) сохранило даже форму своего образца: оно рассказано въ письмахъ. Сочинитель его, Владиміръ Измайловъ (1773-1830), одинъ изъ самыхъ искреннихъ и стойкихъ карамзинистовъ, почти вовсе не думалъ знакомить своего читателя съ предметами, которые встрѣчались ему на пути: главнѣйшимъ образомъ заботился онъ о передачѣ ему впечатлѣній, возбуждаемыхъ предметами, важными и неважными. Все его вниманіе устремлено было на то, чтобы дорогою скопить запасъ пріятныхъ и живыхъ ощущеній, которыя на вѣки сохранились бы въ его памяти. Не даромъ выбралъ онъ эпиграфъ изъ «Писемъ объ Италіи» Дюпати: «нѣкоторые путешественники привозятъ изъ чужихъ странъ статуи, медали, произведенія природы; я же возвращаюсь съ идеями и чувствами». Но, не имѣя дарованій своихъ образцовъ (Карамзина и Дюпати), Измайловъ не могъ, подобно имъ, заинтересовать публику: описаніе достопримѣчательностей вышло у него скуднымъ, нехарактеристичнымъ, лиризмъ вертится на приторной чувствительности и безпричинной меланхоліи, въ слогѣ нѣтъ самобытности и силы, хотя онъ и не лишенъ пріятной легкости, заученной у Карамзина.

Если книга В. Измайлова страдаетъ отсутствіемъ положительнаго содержанія, то два путешествія князя Шаликова (1768-1852) въ Малороссію (одно 1803 и другое 1804) и его же «Путешествіе въ Кронштадтъ» (1805) довели сентиментализмъ до комическаго преувеличенія. Въ нихъ совершенно стерты особенности страны и людей, съ которыми авторъ знакомился. Передъ глазами чувствительнаго путешественника исчезаютъ не только образы, но даже имена предметовъ: подумаешь, что города, села, жители, деревья, цвѣты не имѣютъ названій и обречены на безличное, мечтательное существо-

(*) Отвѣтъ Львова на замѣчанія кн. Шаликова нап. въ журналѣ Н. Осоголова: «Любитель Словесности» (1806).

(**) Въ «Изображеніи» находятся слова: исходща (источники, ручьи), обзорща (башни), неблазненный, градоимство, и пр.

(***) С.-Петербургскій журналъ (1798, май).

ваніе. Пусть для него, какъ и для В. Измайлова, были важны не люди и вещи, а воспринятія отъ нихъ впечатлѣнія, которыми онъ хотѣлъ дѣлиться съ читателемъ: дѣло въ томъ, что эти впечатлѣнія безхарактерны, что они имѣютъ значеніе общихъ мѣстъ, и потому могутъ быть выражаемы по поводу любого предмета. Вѣстникъ Европы остроумно замѣтилъ объ одной статьѣ въ первомъ путешествіи князя Шаликова: «иной, прочитавъ эту статью, скажетъ: поѣду въ Малороссію! А я скажу: не ѣздите; на Дѣвичьемъ полѣ (въ Москвѣ) можете увидетьъ тоже самое». Въ самомъ дѣлѣ, безличное ни къ чему нейдетъ, или, пожалуй, идетъ ко всему; общими мѣстами можно говорить о чемъ угодно, ничего не выражая. Другой критикъ осудилъ изліянія чувствъ кн. Шаликова на томъ основаніи, что впечатлѣнія сторонняго, незнакомаго намъ человѣка тогда лишь занимательны, когда предметы, ихъ производящіе, достойны общаго любопытства (*). Это справедливо, но односторонне. И маловажный предметъ получаетъ большое значеніе отъ силы духа, умѣющаго открыть въ немъ интересъ, незримый дюжиныными наблюдателями. Достоинство путешествій и вообще описаній зависитъ сколько отъ того, что въ нихъ описываетъ авторъ, столько и отъ того, какъ онъ описываетъ и умѣетъ ли обнимать сущность явленій физическихъ и нравственныхъ. Когда же конечная цѣль путевыхъ записокъ—скопировать извѣстный образецъ, который сверхъ того приходится не подъ силу подражателю, тогда, разумѣется, нельзя и ожидать отъ нихъ чего-либо путнаго. Наши чувствительные путешественники, почерпавшіе свой матеріалъ у Карамзина и Дюпати, увлекались еще Верномъ (Vernes de Genève), который прославился двумя путешествіями (**) и слылъ между французами за новаго Стерна. Отрывки изъ обоихъ его сочиненій, особенно изъ перваго, перѣдко печатались въ журналахъ за первое десятилѣтіе нынѣшняго вѣка. Въ литературѣ нашей существуютъ два подражанія первой его-книгѣ (***): «Новый чувствительный путешественникъ, или моя прогулка въ А***», соч. К. Г. (1802), и «Моя прогулка въ Ростовъ или описаніе всего того, что я въ мой проѣздъ слышалъ, чувствовалъ, видѣлъ, чѣмъ восхищался и занимался», соч. Р... Ра... (1804.) Хотя эпитаграмма на Вздыхалова и заставляетъ его произнести клятву друзьямъ своимъ:

Дышу до гроба къ вамъ любовью!
До гроба, или я не Стернь,
Или по крайности не Вернь (****);

однакожъ Вздыхаловъ и по самой крайней мѣрѣ не походилъ на Верна, который, не принадлежа къ талантамъ крупнаго разряда, все же былъ писатель съ дарованіемъ и мыслію. О тонѣ «Прогулки въ Ивердюнъ» можно судить по ея эпитаграфу:

Une larme du sentiment,
Quelle plus douce récompense!

Содержаніе же «Прогулки» объяснено самимъ авторомъ: «ученныя путешествія не мой родъ; оттѣнокъ чувства поражаетъ и привлекаетъ меня болѣе, чѣмъ пантеоны и Траяновы столбы». Въ послѣдней главѣ онъ обращается къ читателю: «прости мнѣ,

(*) П. Макаровъ, въ Московскомъ Меркуріи (1803).

(**) См. выпускъ на стр. 14.

(***) Le voyageur sentimental, ou ma promenade à Jverdun

(****) Ист. Христ. II, 156.

если я изображаю болѣе чувствованія, нежели мѣста, если не описываю памятниковъ, любопытныхъ предметовъ, рѣдкостей. Когда холодъ лѣтъ или болѣе глубокое знаніе людей уменьшитъ мою чувствительность, тогда я начну говорить о томъ, что *видѣлъ*; теперь же говорю о томъ, что *чувствую*». Рѣчь автора живая и бойкая; выраженіе чувствъ идетъ рядомъ съ легкимъ юморомъ, иногда заканчиваясь иронической выходкой. Второе путешествіе (*) болѣе серьезнаго тона. Вернь оставилъ Парижъ въ эпоху террора, чтобы не слышать «стоновъ, выходившихъ изъ тѣхъ заклоновъ, гдѣ тираннія стерегла свои жертвы». Грозныя событія девяностыхъ годовъ, при господствѣ Робеспьера, когда несогласіе въ мнѣніяхъ наказывалось конфискаціею имущества, заключеніемъ въ темницу и смертью, когда одна политическая партія возводила на эшафотъ другую, отразились въ содержаніи и направленіи книги. Тема ея объяснена въ предисловіи: «Такъ какъ мнѣнія выказываютъ слабость и несовершенство нашего ума, то я стараюсь доказать, что добрыя и благородныя чувства сердца должны господствовать надъ мнѣніями, должны быть выслушиваемы какъ единственный голосъ, не обманывающій человѣчества, какъ единственный законъ, на которомъ природа основываетъ счастье своихъ тварей. Послѣ злополучныхъ и кровавыхъ дней, пережитыхъ нами; послѣ того, какъ мы видѣли человѣческую природу, обезображенную звѣрскими страстями, оскверненную всѣми пороками, чувствуешь потребность успокоить душу созерцаніемъ этой природы въ ея первобытной красотѣ, въ сіяніи простыхъ добродѣтелей и слѣдующаго за ними счастья, въ томъ идеальномъ образцѣ, въ какомъ она должна была существовать по волѣ Творца». Вернь не довѣряетъ уму, который надѣлалъ столько зла на свѣтѣ; въ непосредственномъ чувствѣ находитъ онъ неизмѣннаго себѣ наставника: «Великій Боже, я не отвергну свѣта, исходящаго отъ людей, но буду искать его не столько въ нихъ, сколько въ инстинктѣ, вложенномъ Тобою въ мое сердце; съ этого времени, онъ будетъ моимъ вожатаемъ и не введетъ меня въ заблужденія, если, памятуя Твои совершенства, стану подражать Тебѣ въ любви къ тварямъ». Исповѣдью автора опредѣляется и содержаніе его путевыхъ записокъ: «Доброе сердце необходимѣе великихъ знаній; пускай же не ожидаютъ отъ меня поученій или описаній, представляемыхъ большинствомъ путешествій: первое и самое важное поученіе—люби своихъ ближнихъ». Вотъ съ какими мыслями и побужденіями принялся французскій путешественникъ за перо. Поклонникъ Руссо, онъ хотѣлъ созерцать неиспорченную природу, которой не найдешь въ столицѣ; искренній деистъ, онъ цѣнилъ лишь то, что Богъ нанечатлѣлъ въ сердцахъ всѣхъ людей; человѣкъ чувствительный, видѣвшій въ добродѣтели наилучшее доказательство своего божественнаго происхожденія, онъ бѣжалъ отъ зрѣлища преслѣдованій и казней, которыя совершались во имя разума.

Наши сентиментальные путешественники, В. Измайловъ и князь Шаликовъ, отправлялись въ дорогу болѣе изъ желанія слѣдовать по слѣдамъ другихъ, чѣмъ изъ разумной потребности. В. Измайловъ хотѣлъ подражать Карамзину; кн. Шаликовъ хотѣлъ подражать Карамзину и В. Измайлову. Но для Карамзина поѣздка за границу была школой, вознагражденіемъ университетскаго образованія. Онъ воротился на родину съ запасомъ не однихъ чувствованій, но и понятій о «мудрыхъ связяхъ общественности», о произведеніяхъ искусства и науки, о знаменитыхъ ученыхъ и писателяхъ. Не такова была задача его подражателей, хотя «Поѣздка въ полуденную Россію» читалась и не

(*) Le voyageur sentimental en France sous Robespierre.

безъ удовольствія, какъ то доказываютъ нѣсколько ея изданій. Но чѣмъ вызваны «Новый чувствительный путешественникъ, или моя прогулка въ А***» и «Моя прогулка въ Ростовъ»? Въ нихъ нѣтъ ни содержанія, ни слога. Молодые, полуграмотные ихъ авторы домогались немногаго. Одинъ оправдываетъ смѣлость своего подражанія Верну тѣмъ, что «ежели бы только одни большіе творческіе духи (т. е. гениальные писатели) существовали, то бы ни посредственнаго, ни худаго на свѣтѣ не было» — и его книжка дѣйствительно увеличила число литературныхъ пошлостей новымъ фактомъ (*). Другой доволенъ одобреніемъ и улыбкой сестры своей Дуниши, которой посвящена его бездѣлка; дорогой, между прочимъ, занимался онъ чтеніемъ стиховъ и прозы, которыми проѣзжіе пестрятъ стѣны постоянныхъ домовъ, а въ Ростовѣ сочинялъ двѣ пѣсенки.

Сентиментальные путешественники очень скоро сдѣлались предметомъ сатиры, имѣющей право смѣяться надъ всѣмъ, что дѣйствительно смѣшно. Въ переводной повѣсти: «Любовники, соперники въ авторствѣ» (**), даются слѣдующіе совѣты, какъ писать путешествія: «Нынѣ не дѣлаютъ болѣе описанія городовъ, памятниковъ, славныхъ картинъ и проч., но должно, чтобъ путешественникъ никогда не проѣзжалъ мимо какой-нибудь развалины или могилы, не дѣлая меланхолическихъ разсужденій о бренности земныхъ великостей и жизни. Въ каждомъ лѣсу надобно ему чувствовать священный ужасъ, на каждой горѣ приходить въ восторгъ, а на холмахъ и долинахъ веноминать о юности своей, если ему за сорокъ лѣтъ, или о любовницѣ, когда ему не болѣе тридцати. Каждое утро онъ обязанъ восхищаться восхожденіемъ солнца и всякій вечеръ при закатѣ онаго плакать или по крайней мѣрѣ тяжело вздыхать. Онъ не описываетъ ни нравовъ, ни обычаевъ, но строжайшій даетъ отчетъ во всѣхъ своихъ чувствахъ и даже въ малѣйшихъ ощущеніяхъ». Авторъ стихотворенія: «Чудеса» (***) удивляется охотѣ русскихъ искать за моремъ того, что они легко находятъ у себя дома:

Видалъ я чудаковъ, которые ѣзжали
За тридевять земель
Смотрѣть, какъ солнышко заморское садится,
Иль слушать, какъ шумитъ заморскій вѣтерокъ,
Иль любоваться, какъ заморскій ручеекъ
По камнямъ и песку заморскимъ же струится.
Какъ будто на Руси не стало ручейковъ?
Иль будто вѣтерокъ шумѣть у насъ не смѣетъ
И солнце русское садиться не умѣетъ?

Остроумная комедія князя А. Шаховскаго: «Новый Стернь» имѣла два изданія (1807 и 1822) и часто игралась на сценѣ. Главныя въ ней лица: графъ Пронской и его слуга Ипатъ, соответствуютъ Донъ-Кихоту и Санчо-Пансѣ въ томъ смыслѣ, что мечтанія барина постоянно разрушаются здравомысліемъ слуги (****). Хотя въ

(*) Изъ этой книжки Шиниковъ выписалъ нѣсколько мѣстъ въ примѣръ нецѣлостности новаго слога: «Казалось, что погода утѣшалась нашею прогулкою; казалось, что вся природа искала намъ добра-праествовать и разными предметами ведъ нашу плѣнять; и такъ, *тихими шагами блылая* по полю, мы очень весело шли къ новой колоніи. Тамъ, срывая цвѣточки, плѣли вѣночки; тамъ въ частой рошницѣ, подъ молодымъ березничкомъ, грибокъ отъ земли отдѣляли,—все было восхитительно!

(**) Журналъ пріятнаго, любопытнаго и забавнаго чтенія, изд. П. Сумароковымъ, ч. I, № 1 (1802).

(***) В. Евр. 1804, № 20.

(****) Ист. Хр. II, 158—161.

Пронскомъ комикъ представилъ то самое лицо, о которомъ говоритъ сатира кн. Вяземскаго «Къ перу моему»:

Хочу ли намекнуть объ авторѣ смѣшномъ?
Вздохалось, какъ живой, на остріѣ твоёмъ;

однакожъ піеса причтена была въ обиду не ему одному, но и родоначальнику нашихъ сентиментальныхъ путешественниковъ, чѣмъ и возбудила противъ себя негодованіе читателей Карамзина. Въ комедіи О. Иванова: «Не все то золото, что блеститъ» (1808), аферистъ приноситъ къ моту, пужающемуся въ деньгахъ, списокъ негоднымъ вещамъ: въ числѣ ихъ стоятъ сентиментальныя путешествія. Упомянемъ также о піесѣ Загоскина: «Романъ на большой дорогѣ» (1819), гдѣ дѣйствуютъ сентиментальная дама Ландышева и сентиментальный кавалеръ Посомковъ. «Чувствительное путешествіе по Невскому проспекту», П. Яковлева (*), забавно пародировало манеру и тонъ В. Измайлова, Шаликова и другихъ, подобныхъ имъ Стерновъ и Верновъ.

Еще большіе были подражанія «Бѣдной Лизѣ», отдѣльно изданныхъ или вошедшихъ въ журналы. Ичислимъ нѣкоторыя по порядку ихъ появленія: «Бѣдна Маша», А. Измайлова (1801); «Обольщенная Генріетта, или торжество обмана надъ слабостію и заблужденіемъ, истинная повѣсть», Ивана Свѣчинскаго (1801) (**); «Несчастливая Маргарита, истинная російская повѣсть» (1803); «Прекрасная Татьяна, живущая у подошвы Воробьевыхъ горъ» (***); «Исторія бѣдной Марьи» (****); «Нина», Каменева (*****); «Марьино роще», Жуковскаго (1809). Сочиненіе А. Измайлова выходитъ изъ круга собственно такъ называемыхъ сентиментальныхъ повѣстей своею мелодраматической развязкой и сценами простаго быта, изображеніе которыхъ было свойственно автору «Евгенія или пагубныхъ слѣдствій заблужденія» (*****) и которыя поэтому вышли лучшія. Повѣсть Каменева, написанная лирической прозой, оканчивается также трагической катастрофой. «Марьино роще» по всемъ отношеніямъ выше прочихъ подражаній «Бѣдной Лизѣ», обнаруживая, кромѣ чувствительности, новую стихію—романтическій идеализмъ, нашедшій потомъ столь обильное и столь прекрасное выраженіе въ поэзіи Жуковскаго. Что касается до «Обольщенной Генріетты» и «Несчастной Маргариты», то онѣ, какъ повѣсти, одного значенія съ «Прогулкой въ А***» и «Потѣзкой въ Ростовъ», какъ путешествіями. Одинъ изъ сотрудниковъ Благонравнаго, Яковлевъ, остроумно посмѣиваясь надъ сентименталистами, не оставилъ въ покоѣ и чувствительныхъ повѣствователей. Въ «Разсказахъ Лужницкаго старца» (*****) онъ подбиралъ слова и выраженія, бывшія въ ходу у такихъ авторовъ. Захотѣлось мнѣ, говоритъ онъ, написать повѣсть, но къ несчастію, москвичи знаютъ и Воробьевы горы, и Симоновъ монастырь, и Марьину рошу... и куда ни забредеть меланхоликъ безъ плана и безъ цѣли, вездѣ воспоминанія, вездѣ наслажденіе для

(*) Въ журналѣ Благонравный, на 1820 г.

(**) Подъ именемъ Генріетты представлена русская г-жа Т....

(***) Патриотъ, 1804, № 2.

(****) Журналъ рос. словесности, 1805, № 9.

(*****) Любитель Словесности, 1806, № 8.

(*****) См. выше, стр. 16 и 17.

(*****) Благонравный, на 1820. Лужники, за Дѣвичьимъ полемъ (въ Москвѣ).

памяти сердца! Напрасно молодые авторы будутъ искать около Москвы какого-нибудь мѣстечка для поселенія любовниковъ... Все уже занято! Лизы, Тани, Кати, Маши, со всѣми семействами и знакомыми, отмежевали себѣ поля, горы, лѣса, долины, и уже некуда водить читателей.

Такъ думалъ я, прогуливаясь по Дѣвичьему полю, когда вечерніе лучи солнца бросали послѣдній блескъ на златые верхи башенъ и церквей московскихъ! Не знаю отъ чего, я воображалъ тогда, что могу написать прелестный романъ, о двухъ несчастныхъ любовникахъ, которые, *съ перваго взгляда почувствовали страстную любовь*... Она покраснѣла, онъ не сводилъ съ нея глазъ; она пошла домой, онъ проводилъ ее до калитки; она махнула ему платкомъ, онъ упалъ на колѣни, и прочее, и прочее... О планѣ романа я не заботился: меня мучило поселеніе моихъ любовниковъ... Воробьевы горы—заняты! окрестности Симонова монастыря—заняты! Марьино роща—занята! Вообразите: самыя лучшія мѣста!.. Извѣстный стихъ самъ собою представился *памяти моего разсудка*:

О боги, для чего такъ поздно я родился! (*)

Путешествіями и повѣстями не ограничивалось сентиментальное направленіе: оно охватывало всѣ роды прозы и поэзіи; безъ приправы имъ не обходились ни быль, ни сказка. Мода выказывала въ этомъ случаѣ такое же дѣйствіе, какъ и всегда: «сначала громкія у насъ *гремяли оды*», потомъ мы начали *ахать* (**). Аханье, вздохи и слезы сдѣлались эпидемической болѣзью. Отъ подражаній Ломоносову и Державину перешли къ подражаніямъ Карамзину и Дмитріеву. Впрочемъ Державинъ не советѣмъ еще былъ оставленъ своими послѣдователями. Сочинитель «оды въ громко-нѣжно-нелѣпно-новомъ вкусѣ» (***) пишетъ: «къ сочиненію сего вздора подали мнѣ мысль нѣкоторые изъ новыхъ нашихъ стихотворцевъ, изъ коихъ одни желаютъ подражать Горацию нашему Державину, а другіе Карамзину и Дмитріеву, но какъ: вмѣсто вкуса и таланта, имѣютъ они только непреодолимую охоту марать бумагу, то и пишутъ такую чепуху, какую читатель найдетъ въ сей одѣ». При этомъ, однакожъ, необходимо отличать литераторовъ, образовавшихъ съ Карамзинымъ особую школу, отъ позднѣйшей и такъ сказать боковой ея линіи. Между первыми, какъ уже сказано, находились люди съ несомнѣннымъ талантомъ или, при маломъ дарованіи, овладѣвшіе легкимъ, гладкимъ и въ своемъ родѣ пріятнымъ способомъ изложенія. Не таково было побочное племя. Въ книжкахъ, подобныхъ «Утѣхамъ меланхоліи», Орлова (1802) (****), «Оттѣнкамъ моего сердца», Ушакова (1802), «Печальнымъ, веселымъ и унылымъ тонамъ моего сердца», Рындовскаго (1809) (*****), и многимъ другимъ не лучшаго и не худшаго сорта, чувствительно-плаксивый тонъ есть рабское подражаніе непонятому образцу, напоминающее собою подражаніе провинціальныхъ щеголей дѣйствительному джентльмену. Даже лица, не безъ успѣха занимавшіяся работой другаго рода, и тѣ увлеклись разливомъ моды. Такъ Н. Страховъ, издатель «Сатирическаго Вѣстника», «Переписки

(*) См. мою 2-ую статью о сочиненіяхъ Александра Измайлова (Соврем. 1850, № 10).

(**) Эпиграмма въ Вѣст. Евр. 1821. № 1.

(***) Императій Сумароковъ, издатель «Журнала пріятнаго, любовнаго и забавнаго чтенія». Ода нап. въ 2-мъ № (1802).

(****) О ней см. выше, стр. 55—56.

(*****). Посвящая сборникъ своихъ стихотвореній «родству, дружбѣ и любви», авторъ говоритъ:

Для нашихъ чувствъ пишу оттѣнокъ чувствъ моихъ.

«Оттѣнокъ чувствъ»—одно изъ выраженій, схваченное у Верна и часто употреблявшееся имъ. Платоновымъ: Имъ озаглавлены и сочиненіе Ушакова (Оттѣнки моего сердца), и сочиненіе Марьи Посьетовой: «Нѣкоторыя черты природы и истины, или оттѣнки мыслей и чувствъ моихъ» (1804). Даже Рындовскій уведомляетъ, что онъ копировалъ одни сердечныя чувства. Именно *копировалъ*, безъ мысли и вкуса.

моды» и «Карманной книжки для прїѣзжающихъ въ Москву», принесъ въ жертву модному кумиру нѣсколько статей своего сборника: «Мои петербургскіе сумерки» (1810). Твердя одно и то же, болѣе и болѣе довольствуясь одними словами, болѣе и болѣе освобождаясь отъ всякаго содержанія, сентиментальная литература стала, наконецъ, причудливой, комической игрой въ чувствованія и ощущенія, столько же легкимъ, сколько и пустымъ проведеніемъ времени, которое слѣдовало бы употребить на что-нибудь другое, и потому не могла долѣе существовать. Извѣщая о представленіи «Новаго Стерна» на московской сценѣ, Вѣстникъ Европы радуется прекращенію сентиментальной заразы (*). А критикъ сочиненій кн. Шаликова (**) видитъ уже въ нашей словесности другое явленіе, противоположное «педаитству чувствительности и хорошаго тона», отличающихъ перо автора. Выигралиль мы отъ такой перемѣны? спрашиваетъ онъ. «Непринужденность, доходящая до безстыдства, похвалы лѣни, неумѣренности и даже разврату суть нынѣшнія крайности. Добрые нравы, уваженіе къ добродѣтели и невинности и чувствительность гораздо больше украшаютъ произведенія литературы, чѣмъ дерзкій, рѣшительный тонъ, чѣмъ цинизмъ въ правилахъ и выраженіяхъ». Правда, насмѣшки надъ чувствительными авторами продолжались и въ двадцатыхъ годахъ, какъ мы видѣли, но онѣ имѣли предметомъ не повсемѣстное господство направленія, а только отдѣльные его факты или лучшее двѣ-три личности запоздалыхъ служителей сентиментализма—кн. Шаликова и Иванчина-Писарева. Ихъ называли послѣдними карамзинистами въ томъ смыслѣ, что они искренно и усердно держались на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ Карамзинъ поставилъ словесность «Письмами русскаго путешественника» и «Бѣдной Лизой» (***).

Слово «сентиментальный», по своему прямому значенію, не заключаетъ въ себѣ ничего предосудительнаго. Оно происходитъ отъ слова «чувствовать» (sentire), слѣдовательно указываетъ на одинъ изъ достойныхъ элементовъ человѣческой природы. Разсужденіе Шиллера «о паивной и сентиментальной поэзіи» разумѣть подъ именемъ послѣдней поэзію новаго, христіанскаго міра въ ея существенныхъ отличіяхъ отъ греко-римскаго классицизма. Однакожъ, назвавъ въ наше время произведенія какого-нибудь писателя *сентиментальными*, мы даемъ о нихъ самый невыгодный отзывъ; напротивъ, сказавъ о произведеніяхъ другаго писателя, что они *исполнены чувства*, мы относимся къ нимъ съ похвалою. Такое различіе между двумя тождезначащими словами, русскимъ и иностраннымъ, объясняется уклоненіемъ послѣдняго отъ его прямого смысла, указываемаго производствомъ. У словъ есть своя исторія, идущая за исторіей именуемыхъ ими предметовъ. Сентиментализмъ служитъ теперь синонимомъ лжечувствительности, въ противоположность чувствительности истинной. Эта противоположность опредѣляется значеніемъ чувствующаго субъекта, значеніемъ предмета возбуждающаго чувствованія и значеніемъ возбужденныхъ чувствованій.

Истина и сила врожденной способности къ чувству сами по себѣ имѣютъ большую цѣну. Если человѣкъ одаренъ здоровою организаціею духа, то у него трезвый взглядъ на вещи. Онъ искрененъ въ отправленіяхъ своей духовной жизни, потому что ложь

(*) 1811 № 1 и 1812 № 13.

(**) Смятъ Отечества, 1819, № 30.

(***) Въ Литературномъ Музеумѣ на 1827 (издатель В. Измаѣловъ) нап. рѣчь въ память исторіографу Иванчина-Писарева, который также издалъ «Духъ Карамзина, или избранныя мысли и чувствованія сего писателя» (1827).

и обманъ возбуждаютъ въ немъ инстинктивное отвращеніе. Но естественное чувство возвышается въ своемъ достоинствѣ отъ разумныхъ и нравственныхъ началъ, приводящихъ его въ движеніе: тогда только изъ непосредственнаго оно поступаетъ въ рядъ сознательныхъ силъ; тогда дѣятельность его, какъ согласная съ понятіями о сущности вещей и съ требованіями долга, становится правильною и плодотворною. Сказанное нами поставилось на видъ нашими старинными журналами. Одинъ изъ нихъ, по поводу представленія «Новаго Стерна», замѣтилъ слѣдующее: «Чувствительность сердца есть конечно драгоценный даръ природы; но надобно, чтобы она была управляема здравымъ разсудкомъ... Источникомъ приторной чувствительности бываетъ нерадивое воспитаніе и невѣжество... Въ самыхъ странностяхъ Стерна виденъ умъ, обогащенный разнообразными свѣдѣніями и сердце непритворно-чувствительное» (*).

Истинная чувствительность устремляется къ предметамъ, дѣйствительно стоящимъ сочувствія, и потому стоимость ея самой высока. Для нея важенъ предметъ, а не признаки, указывающіе на его состояніе: физическое страданіе, душевныя муки, бѣдность, раскаяніе понятны ей даже въ то время, когда они молчаливы. Напротивъ, лжечувствительность замѣчаетъ и признаетъ важными лишь тѣ признаки, которые видимы и слышимы: на нихъ она переноситъ все вниманіе, которое была бы должна расточать самимъ предметамъ. Отъ больного она требуетъ знаковъ болѣзни на лицѣ, отъ бѣдняка—разказа о бѣдности, отъ сироты—глубокаго траура. Самые признаки, возбуждающіе чувство, разнятся по различію двухъ родовъ чувствительности. Ложная замѣчаетъ въ особенностяхъ тѣ, которые пріятны для нашихъ внѣшнихъ чувствъ и не возмущаютъ сердца. Она любитъ красивую обстановку предмета, и впечатлѣніе, производимое декораціями, принимаетъ за чувство, которое въ душѣ другаго раждаетъ самый предметъ, помимо своего изящнаго вида. Поэтическій эффектъ вообще играетъ важную роль въ сочувствіи или антипатіи сентименталиста: такъ, напримѣръ, горестъ для него сочувственна лишь въ то время, когда она выражается граціозно; онъ оказываетъ помощь миловидному бѣдняку и проходитъ безъ сожалѣнія мимо невзрачнаго нищаго; останавливается съ участіемъ передъ страждущей невинностью, если она сохранила молодость и красоту, и не замѣчаетъ страдальцевъ съ грубымъ, непривлекательнымъ выраженіемъ ихъ судьбы. Онъ похожъ на тѣхъ неразумныхъ родителей, которые распредѣляютъ свою привязанность къ дѣтямъ по степени ихъ красоты. Кромѣ того, сентименталистъ любитъ лишь то, что легко и пріятно любить. Въ изліяніи чувствъ онъ ищетъ собственнаго удовольствія, самоуслажденія, пищи эгоизму; подъ его наружнымъ безкорыстіемъ скрывается сердечное кокетство, тайное интересничанье самимъ собою. Напротивъ, истинно чувствительный стремится къ результатамъ, потребнымъ не ему самому, а предмету его сочувствія; существенное добро, имъ оказанное, служитъ для него не только наградой, но и наслажденіемъ. Наконецъ ложная чувствительность весьма часто вымышляетъ и предметы и признаки ихъ, или не видя подлинной дѣятельности, или не довольствуясь ею. Игра воображенія принимается ею за нѣчто реальное. Созданія этой игры не имѣютъ никакого отношенія къ событіямъ и лицамъ, каковы они теперь или каковыми окажутся въ послѣдствіи. Сентименталистъ сообщаетъ предметамъ то, что находится не въ нихъ, а въ немъ самомъ. Между собой и окружающимъ его міромъ онъ полагаетъ среду, которая то увеличиваетъ, то уменьшаетъ настоя-

(*) В. Евр. 1812, № 13, стр. 65.

щую величину вещей, то раскрашивает их радужными цвѣтами, то сгущает на нихъ тѣни. На этомъ основаніи, критика справедливо опредѣляла различіе между Стерномъ и нашими ему подражателями: «Стернъ изображаетъ природу въ ея подлинномъ видѣ, и расположеніе души его соображается со внѣшними предметами, а не онъ сообщаетъ предметамъ свои краски; напротивъ, нашимъ сентиментальнымъ путешественникамъ и романистамъ вся природа почти всегда кажется томною, отъ того что они хотятъ видѣть ее такою» (*).

Каковы причины, таковы и слѣдствія. Чувствованія истинно-чувствительнаго чело-вѣка естественны, истинны и крѣпки: въ нихъ есть содержаніе; чувствованія чело-вѣка сентиментальнаго мнимы, искусственны, вялы: они безъ всякаго содержанія. Тотъ ощущаетъ нѣчто при своихъ отношеніяхъ къ предметамъ; этотъ силится ощущать нѣчто или кажетъ видѣ, что ощущаетъ. Впечатлѣніе Юрика при встрѣчѣ съ старымъ монахомъ было натуральное и неложное. Но когда одинъ изъ его подражателей подымаетъ плачевный вой о смерти фіалочки; другой повергается на колѣни передъ маститымъ дубомъ и съ важностію обращаетъ къ нему рѣчь, какъ будто бы дерево могло его слышать или видѣть; третій заводитъ любовныя бесѣды съ луною и звѣздами, шлетъ имъ поцѣлуи, простираетъ къ нимъ объятія, хочетъ прижать ихъ къ сердцу.... всѣ такіе господа сентиментальны, не болѣе. Изнѣженность и слабосиліе ихъ сердца отражаются на самомъ способѣ выразить чувства. Истинная чувствительность скромна, серьезна, немногослаголива: ея рѣчи отличаются простотою, спокойствіемъ и достоинствомъ; сентиментальность тщеславна и болтлива: она любитъ восклицанія, отступленія, преднамѣренную фигуральность. Первая всегда въ безхитростной одеждѣ; вторая манерна въ покрое, шитьѣ, складкахъ. Та, какъ сосудъ наполненный до краевъ хорошимъ напиткомъ, не издаетъ бряцаній и звона; до этой, какъ до пустаго сосуда, нельзя дотронуться безъ того, чтобы она не гремѣла или не звучала.

Различія между двумя родами чувствительности были сознаваемы нѣкоторыми современниками Карамзина, при самомъ почти началѣ литературнаго сентиментализма. Одинъ изъ нихъ (Подшиваловъ) въ умной статьѣ своей: «Чувствительность и причудливость» (**), ясно указалъ границы, ихъ раздѣляющія. Подъ первымъ словомъ онъ разумѣлъ способность истинно и глубоко чувствовать, подъ вторымъ изнѣженность, приторность, аффектацію чувства,—что французы называютъ «sensiblerie» (***). Онъ различаетъ ихъ: а) по способу, которымъ чело-вѣкъ побуждается къ чувствованіямъ; б) по отношенію предмета чувствованій къ лицу, въ которомъ они возбуждаются; в) по согласію или разногласію чувствъ съ разумомъ, съ природою и плѣнію вещей,

(*) В. Евр. 1812, № 13, стр. 65—66.

(**) Приятное и полезное препровожденіе времени (1796, часть XI). Въ мысляхъ Подшивалова есть много сходнаго съ мыслями Дежерандо объ истинной и ложной чувствительности, въ его сочиненіи: «Du perfectionnement moral», которое явилось гораздо позднѣе (1824). Изъ этихъ двухъ источниковъ мы извлекли все нужное для характеристики истиннаго чувства и сентиментальности.

(***) Замѣчательно, что примѣръ нечувствительности приведенъ въ изданіи кн. Шалюкова «Московский Зритель» (№ 8, стихотвореніе «Быль»). Предестная Делія, съ чувствительной душой, слушала, какъ Эрастъ читалъ Біанку (Манцело, повѣсть Мейснера). Делія проливала слезы. Подходить къ окну нищій и просить милостыни. Богъ дастъ! сказала Делія, занятая слушаніемъ Біанки.—Для этого рода чувствительности, замѣчаетъ издатель, у французовъ есть особое названіе—sensiblerie.

г) по способу ихъ проявленія (словами или дѣйствіями); д) по способу словеснаго ихъ выраженія.

§ 20. Давно было сказано, что Карамзинъ заставилъ и дамъ читать русскія книги: «рѣдкая дама большого свѣта имѣла понятіе о русской словесности прежде эпохи Карамзина: онъ первый началъ писать пріятно и познакомилъ любезныхъ дамъ съ русскою словесностью» (*). Вѣщная форма, конечно, много значить для читателей и еще больше для читательницъ. Сочиненіе, хорошее по содержанію, но написанное дурнымъ, тяжелымъ языкомъ, останется неизвѣстнымъ большинству публики, которая прежде всего требуетъ легкаго, пріятнаго изложенія, встрѣчая и книги такъ же, какъ людей—по платью. Не слѣдуетъ, впрочемъ, думать, чтобы любовь къ родному слову и литературѣ, на ряду съ уваженіемъ къ авторству и авторамъ, прочно утвердилась въ средѣ читательницъ въ первую половину дѣятельности Карамзина. Значеніе факта оптиняется сравнительно. Мы видимъ, что со времени Карамзина литераторы наши при своихъ сочиненіяхъ имѣютъ въ виду и дамъ, что въ пользу или удовольствіе ихъ издаются особые журналы, что сами онѣ нерѣдко принимаются за перо: вотъ явленія исторически-вѣрныя, вызванныя талантомъ Карамзина. Въ спорѣ за новый слогъ, издатель Московскаго Меркурія находить наши старинныя книги недостаточными между прочимъ потому, что «онѣ не сообщаютъ красокъ для изображенія роскошныхъ будуаровъ Аспазій» (**). Между особами, подписавшимися на «Журналъ для милыхъ», М. Макарова (1804), находятся три писательницы: Безинна, княжна Трубецкая и Макарова (***). Первые двѣ даже завѣдывали критикою журнала, помѣщая, кромѣ того, въ немъ и въ «Московскомъ Курьерѣ», Сергія Львова (1805—1806), и другія статьи. Альманахъ Карамзина «Аглая» передалъ если не свое достоинство, то имя журналу князя Шаликова (Аглая, 1808—1812), который объявилъ, что онъ служитъ *траціямъ*, потому что надобно и имъ служить, посвящаетъ труды свои одной *пріятности*, потому что въ этомъ состоитъ вся его способность. Прежде Аглая, но въ томъ же тонѣ и направленіи, издавался имъ Московскій Зритель (1806), а много лѣтъ спустя послѣ нея Дамскій Журналъ (1823—1833). Совокупныя силы четырехъ литераторовъ (****) трудились надъ журналомъ: «Кабинетъ Аспазіи» (1815).

Не въ сочиненіяхъ, изданныхъ для прекраснаго пола, равно какъ и не въ его авторствѣ заключалось главное дѣло. Литературное значеніе того и другаго неважно, но важно побужденіе къ дѣятельности. Она была вызвана болѣе достойнымъ, болѣе просвѣщеннымъ взглядомъ на взаимныя отношенія мужчинъ и женщинъ, на мѣсто,

(*) Мысли о воспитаніи (Журналъ Рос. Словесности, Брусилова, 1805, № 1).

(**) Критика на соч. Шаликова: «О старомъ и новомъ слогѣ» (Москов. Меркурій. 1803, № 12).

(***) Безинна Анна Александровна родомъ кроатка, супруга дѣйствительнаго тайнаго совѣтника; княжна Елизавета Александровна Трубецкая, переводчица Фонтенеллевыхъ «разговоровъ о множествѣ міровъ» (1802); Макарова Наталья Алексѣевна (Словарь рус. писательницъ за сто лѣтъ, 1759—1859, Николая Книжника, въ Рус. Архивѣ на 1865, №№ 9—11). М. П. Макаровъ имѣлъ, конечно, невыгодное понятіе о дамскомъ вкусѣ, напечатавъ въ журналѣ, для нихъ назначенномъ, рассказы: «Побѣда надъ нимфами» и «Аппушка». Нѣкоторыя мѣста последней повѣсти названы «мерзостями» въ критикѣ «Сѣвернаго Вѣстника» (1804, № 8). Не слѣдовало, по крайней мѣрѣ, оглашать фамилій подписницъ.—Московскій Курьеръ.—еще болѣе пустое изданіе, чѣмъ «Журналъ для милыхъ».

(****) Б. Федоровъ, А. Рихтеръ, Бахаревъ и Н. Писаковъ.

которое послѣднія должны занимать въ обществѣ, на участіе, которое онѣ могутъ и обязаны принимать въ общемъ стремленіи къ образованности. Такъ называемое «служеніе граціямъ», выразившееся нерѣдко въ комическихъ формахъ, обнаруживало добрые знаки: отвѣчку отъ грубаго образа жизни, наклонность къ вѣжливости, которую Карамзинъ называлъ «добродѣтельно общежитія и слѣдствіемъ утонченнаго человѣколюбія», не осуждающаго цѣлую половину человѣческаго рода на пассивное существованіе, не замыкающее для нея входовъ въ область литературы и науки. Нѣтъ спора, что «Кабинетъ Аспазіи» — ничтожный сборникъ; однакожъ въ первой его статьѣ (Аспазія) высказана руководившая издателей мысль: «народъ грубый имѣетъ въ прекрасномъ полѣ своихъ невольницъ», слѣдовательно народъ просвѣщенный смотритъ на этотъ полъ, не какъ на невольницъ, ибо «характеръ народа отъ просвѣщенія принимаетъ другое направленіе и другія наклонности». При такой мысли, одобреніе или неодобреніе женщинъ не могло уже быть пренебрегаемо въ общемъ судѣ надъ литературными произведеніями; напротивъ, награда «миллой» служила, для иныхъ писателей, лучшею оцѣнкою ихъ трудовъ. Въ обращеніи къ читательницамъ «Аглаи», Карамзинъ называетъ ихъ удовольствіе и похвалу драгоценнымъ своимъ вѣнкомъ. Защищая новый слогъ, Макаровъ отвергаетъ книжный языкъ по той причинѣ, что «не всякій можетъ посвятить тридцать лѣтъ цвѣтущаго времени своей жизни на чтеніе старинныхъ книгъ, чтобы при сѣдыхъ волосахъ написать хорошее сочиненіе, непонятное всѣмъ его знакомымъ, кромѣ ученыхъ». Почему же судьба сѣдовласыхъ авторовъ казалась ему неинтересной? потому что «похвалы Аристарховъ пріятны самолюбію, но похвалы Делій несравненно милѣ сердцу. Лавры, изъ нѣжныхъ рукъ женщины любезной, всегда были почитаемы за драгоценнѣйшую награду, за украшеніе и для шлема рыцаря, и для блистательнаго вѣнца повелителя народовъ» (*). Издатель Московскаго Меркурія отличался самымъ ревностнымъ почтеніемъ къ прекраснымъ полу, которое объясняется не однимъ его темпераментомъ, но и образомъ мыслей. За женщинами признавалъ онъ полное право не только на занятія литературой, но и на высшее просвѣщеніе (**). Онъ не понимаетъ, какимъ несчастіемъ мы, подражатели французовъ, не перенимали у нихъ одного, самаго полезнаго обычая: «Француженки девятаго-на-десять вѣка посѣщаютъ лица, смотрятъ музеумы, слушаютъ профессоровъ, читаютъ, переводятъ и сами сочиняютъ. У насъ нѣтъ ни лицеевъ, ни дружескихъ ученыхъ собраній; но все это было бы, если бы женщины захотѣли.... Кто не желаетъ женщинамъ просвѣщенія, тотъ врагъ ихъ, тотъ хочетъ удержать себѣ право сказать нѣкогда женѣ своей (въ которой онъ искалъ ключницу или няньку): я тебя умиле!... И почему не быть женщинѣ столько же ученою, сколько и мужчиной? Способности ея превосходнѣе нашихъ и требуютъ только развитія... Женщины всегда были и будутъ первою (хотя иногда невидимою) пружиною человѣческихъ дѣяній, причиною всего изящнаго и великаго» (***). Остолоповъ, приступивъ къ изда-

(*) Шишковъ отвѣчалъ на это: «Поэтому довольно для писателя славы, когда онъ поправится своей любовницей? Но если любовница его худо грамотѣ знаетъ, такъ не смѣшонъ ли онъ будетъ, что надѣтымъ отъ нея лавромъ станетъ гордиться? (Собраніе сочиненій III—ва, 1824, ч. 2, стр. 436).

(**) Въ доказательство, что прекрасный полъ способенъ не къ однимъ легкимъ и пріятнымъ занятіямъ, «Кабинетъ Аспазіи» исчисляетъ, начиная съ XIII в., женщинъ прославившихся своими знаніями и сочиненіями. Между русскими стоятъ имена Екатерины II, княгини Дашковой, Херасковой, Урусовой, Поспѣловой, Буниной, Титовой.

(***) Нѣкоторыя мысли издателей «Меркурія» (№ 1).

нію «Любители словесности» (1806), просить сочинительницъ и переводницъ украшать его журналъ своими произведеніями. «Мы знаемъ», говоритъ онъ, «что посредственное сочиненіе женщины имѣетъ болѣе надъ нашимъ поломъ дѣйствія, нежели примѣрное произведеніе мужчины, отъ того что, читая первое, мы воображаемъ о самой сочинительницѣ, переносимся мысленно въ кабинетъ ея, видимъ прекрасную, цѣлуемъ руку, изображающую намъ мысли ея и чувстваванія, и сами стремимся подражать ей». У книжныи К. А. Волконской (въ Рязани) были устроены литературныя бесѣды. На одной изъ нихъ Воейковъ читалъ «рѣчь о вліяніи женщинъ на изящныя искусства» (*). Авторъ сходитъ въ мысляхъ съ Макаровымъ и Остолоповымъ: «Нѣтъ ничего невозможнаго для смертныхъ, сказали Гораций; нѣтъ ничего невозможнаго для женщинъ, скажемъ мы. Француженки любили свою словесность, ободряли писателей, говорили по французски, и французы, отвыкая мало по малу отъ латинскаго языка, образовали свой отечественный. Почти всѣ англичанки знаютъ, но никогда не говорятъ по французски. Неужели русскій языкъ хуже и англійскаго и французскаго? Неужели росіянки меньше француженокъ и англичанокъ любятъ свое отечество?... Вы должны учить насъ языку и вѣсѣ. Въ наши времена вамъ не нужно быть мученицами за вѣру: не нужно поощрять воиновъ къ сраженію съ непріятелемъ или и самимъ сражаться: въ наши времена народы соревнуютъ другъ другу въ усѣбахъ просвѣщенія; государства хотятъ быть славны открытіями и пережить вѣка въ произведеніяхъ изящныхъ художествъ».

На отношеніяхъ Карамзина и его послѣдователей къ женщинамъ отражается характеръ французской любезности (*galanterie*), высшее развитіе которой, при Людовикѣ XIV и Людовикѣ XV, Макаровъ почиталъ идеаломъ вполне цивилизованнаго общества. Сочиненія ихъ, прославляющія достоинства дамъ, отъ виѣшней прелести до любезныхъ качествъ ума и сердца, суть не что иное, какъ подражаніе тому отдѣлу литературы, который зародился подъ вліяніемъ великосвѣтскихъ француженокъ, въ *hôtel de Rambouillet* (въ XVII в.), и котораго создателемъ былъ Вуатюръ (1598—1648). Сонеты, стансы, мадригалы, рондо, эпиграммы и другія мелкія стихотворенія образуютъ содержаніе этого отдѣла, пріятно развлекавшаго общество, служившаго для него упражненіемъ въ остроуміи. Какъ есть общественныя игры (*jeux de société*), такъ и означенныя стихотворныя піесы были литературою высшаго общества (*littérature de société*), извѣстною подъ особымъ названіемъ легкой поэзіи (*poésies fugitives*). Свѣтская шутка, каламбуръ, смерть любимой сабачки или птички, всякая мелочь давала поводъ къ сочиненію стиховъ, чуждыхъ поэтическаго значенія, но тѣмъ не менѣе возбуждавшихъ интересъ, производившихъ толки и споры (**). Впрочемъ салоны, подобныя *hôtel de Rambouillet*, принесли и пользу: въ нихъ выработался пріятный разговорный языкъ, образовалось искусство вести бесѣду; главная же заслуга ихъ состоитъ въ томъ, что ученые и литераторы, вырванные изъ своей замкнутой жизни, въ первый разъ были допущены на свѣтскія собранія рядомъ съ знатыми ихъ посѣтителями. Въ новомъ для нихъ кругу они многое воспринимали отъ другихъ и многое передавали другимъ. Такимъ образомъ, заключаютъ историки французскаго общества и литературы,

(*) В. Евр. 1810, № 4.

(**) Извѣстно, что два сонета, сочиненные Вуатюромъ и Бенсерадомъ, раздѣлили дворъ, салоны и даже французскую академію на двѣ партіи: *Uranins* и *Jobelins*. Первая партія стояла за Вуатюра, котораго сонетъ написанъ въ формѣ посланія къ Ураніи; второй больше понравился сонетъ Бенсерада, который сравниваетъ свои страданія съ страданіями Іова.

готовилось то счастливое сочетание идей и формъ, которое совершилось при Лудовикѣ XIV (*). Отъ французовъ ведетъ начало и наша легкая поэзія. Въ сочиненіяхъ Карамзина есть не мало стихотворныхъ бездѣлокъ. Но искусѣйшими ихъ перелагателями и слагателями были Нелединскій-Мелецкій, В. Пушкинъ и И. Дмитріевъ. Последний выказалъ особенную ловкость въ этомъ дѣлѣ: его стансы, сонеты, мадрагалы, экспромты, стихи въ альбомъ и на разные случаи печатались во многихъ журналахъ; но изъ всего числа этихъ піесъ, по волѣ самого автора, оставлены весьма немногія въ послѣднемъ изданіи его стихотвореній (1823). Съ исторической точки зрѣнія надобно жалѣть о такой строгости къ своему перу, которая притомъ и несправедлива. Сборникъ всего, написаннаго Дмитріевымъ, представилъ бы движеніе нашего стихотворства въ теченіи двадцати лѣтъ (1791—1810) и далъ бы понятіе о литературномъ вкусѣ за это время (**). Главнымъ предметомъ легкихъ его стихотвореній, между которыми очень мало оригинальныхъ, служить любовь, въ духѣ свѣтской французской любезности, заставившей Сентъ-Евремона (1613—1703) сказать о своихъ соотечественницахъ высшаго круга, что онѣ перенесли любовь изъ сердца въ голову и чувство обратили въ идеи. Для выраженія этихъ идей, замѣстившихъ истинныя чувства, приводится въ дѣйствіе греческая мифологія: Купидонъ и Венера присутствуютъ почти безмѣнно; нерѣдко и серьезные олимпійцы выводятся на сцену; а прелестныя женщины получаютъ имена Хлой, Филлиды, Лансы. Заглавія піесъ, указывая случаи, на которые онѣ сочинены, вмѣстѣ съ этимъ даютъ знать и объ ихъ значеніи, наприм.: «мадригаль пѣвицы, которая спорила со мною, что мужчины счастливѣе женщинъ»; «къ Климентѣ, которая спрашивала меня, много ли красавицъ видѣлъ я въ концертѣ»; «на смерть попугая», и т. п.

Филантропія послѣдователей Карамзина выражалась въ отношеніи не къ женщинамъ только, но и къ общественнымъ состояніямъ людей, о чемъ мы уже упомянули, говоря о Бѣдной Лизѣ (***). Съ этой точки зрѣнія не лишена интереса полемика по поводу «Новаго Стерна», хотя она и отзывается отроческимъ пафосомъ. Противники комедіи кн. Шаховскаго отстаивали сентиментализмъ во имя гуманныхъ началъ. Такъ какъ она осмѣиваетъ главное дѣйствующее лице, графа Пронскаго, за то, что онъ нигдѣ не служить, плачетъ надъ могилою собачки и хочетъ жениться на крестьянкѣ; то письмо къ издателю Журнала Россійской Словесности (****) и касается этихъ трехъ предметовъ, доказывая, что не одной службой можно приносить пользу отечеству, что человѣку все сотворенное не должно быть чуждо, и что дворянину, хотя бы онъ былъ и графъ, не предосудительно жениться на бѣдной, но доброй крестьянкѣ: «кто унижаетъ права человѣчества, тотъ перваго унижаетъ себя; благотѣльная природа равно смотритъ какъ на вельможу, такъ и на дворянина». Издатель «Московского Зрителя» получилъ также «письмо сельскаго жителя» (*****), содержащее въ себѣ жалобу на обычай провинціальныхъ дворянъ жениться на бывшихъ своихъ челядинкахъ и наемни-

(*) Madame de Longueville. Nouvelles études sur les femmes illustres et la société du XVII^e siècle, par Cousin (1853).—Tableau de la littérature française au XVII^e siècle avant Corneille et Descartes, par Demogeot (1859).

(**) Матеріалы для полнаго собранія сочиненій Дмитріева собраны г. Лонгиновымъ въ Рус. Архивѣ 1863; дополненіе къ нимъ въ томъ же сборникѣ на 1864 г.

(***) Стр. 18.

(****) 1805, № 7.

(*****) 1806, апрѣль.

цахъ. Иначе смотреть на этотъ обычай авторъ «размышленія о письмѣ» (*), заставившемъ его «скорбѣть за человечество». «Въ началѣ 19-го столѣтія (говоритъ онъ), въ странѣ, отличающейся успѣхами въ наукахъ и искусствахъ, въ государствѣ, славящемся просвѣщеніемъ своимъ,—въ Россіи явился ревностный защитникъ добронравія, воиющій противу ослѣпленія благовоспитанныхъ людей, возлагающихъ на себя цѣли Гименея съ невоспитанными женщинами. Если бы сей поборникъ нравовъ явилъ себя чуждымъ великаго пристрастія и, не взирая на знатность особъ, устремилъ бы вниманіе свое лишь на образованіе ума и сердца ихъ—тогда трудъ его былъ бы полезенъ. Но нѣтъ: онъ изливаетъ обильный токъ строгости единственно противу женщинъ.... Дворянка, упоенная предразсудками вмѣсто истиннаго просвѣщенія, не можетъ дать хорошаго воспитанія дѣтямъ своимъ, не можетъ подать имъ наставленія о нравственности, такъ же какъ и крестьянка, находящаяся въ сущемъ невѣжествѣ.... Нѣжный родитель! если воспитаешь дочь свою, какъ слѣдуетъ, то увѣрю тебя, что крестьянка не отниметъ у ней жениха» (**).

Отвращеніемъ отъ невѣжества, любовью и уваженіемъ къ просвѣщенію, желаніемъ совершенства русскому человѣку въ духѣ и формѣ европейской образованности отличались вообще писатели карамзинской школы, въ противоположность славянофильству Шишкова и его одномысленниковъ, какъ увидимъ дальше. Проявленіе этой отличительной особенности намъ уже извѣстно изъ спора съ Шишковымъ. Что вызвало Макарова, Дашкова, В. Пушкина на защиту новаго слога? Увѣренность, что этотъ новый слогъ удобнѣе выражаетъ европейскія идеи и знанія. Почему они не славили старину? по увѣренности же, что она несовмѣстима съ европеизмомъ, что возвращеніе къ ней, если бы таковое и было возможно, грозитъ успѣхамъ гражданскаго образованія. Любовь къ искусству и наукѣ—эта почтенная черта карамзинистовъ въ молодости—осталась при нихъ и въ то время, когда ихъ молодость давно исчезла, когда они отъ занятій литературою перешли къ другимъ родамъ дѣятельности. Измѣнившись съ лѣтами во многомъ, измѣнивъ многое въ образѣ мыслей, они сохранили вѣрность предмету своего начальнаго служенія. Современники прошлаго, они, на этомъ почтенномъ чувствѣ, какъ бы на нейтральной, общедорогой почвѣ, шли вровень съ современниками настоящаго, которое расходилось съ ними по другимъ вопросамъ.

§ 21. Извѣстно (§ 14), что Шишковъ не отдѣлялъ литературы отъ общественной нравственности, поставляя порчу первой въ причинной связи съ искаженіемъ послѣдней. Его взглядъ раздѣлялся очень многими. Въ упомянутомъ отвѣтѣ кн. Шаликову (§ 20), П. Львовъ выразился положительно: «нынѣшнее искаженіе языка свидѣтельствуетъ паденіе добрыхъ прародительскихъ нравовъ». Упадокъ же нравовъ онъ, согласно съ Шишковымъ, объясняетъ иностраннымъ или, вѣрнѣе, французскимъ воспитаніемъ русскихъ людей, которое (прибавляетъ онъ) служить орудіемъ европейской политики для достиженія коварныхъ, анти-русскихъ цѣлей. Эта цѣль—внушить русскимъ уваженіе ко всему иностранному и презрѣніе ко всему отечественному. Благодаря запосной системѣ воспитанія, подражательность всюду одерживаетъ верхъ и готова уничтожить малѣйшіе проблески самобытнаго, независимаго развитія: «Вмѣсто занятія отъ французовъ единыхъ

(*) Іѹ, май.

(**) Ист. Хр. II, 160—161.

только полезных наук и художествъ, мы стали перенимать мелочные ихъ обычаи, наружные виды, тѣлесныя украшенія и часъ отъ часу болѣе дѣлаться совершенными ихъ обезьянами. Все то, что собственное наше, стало становиться въ глазахъ нашихъ худо и презрѣнно... Они научили насъ презирать благочестивые нравы предковъ нашихъ и насмѣхаться надъ всѣми ихъ мнѣніями и дѣлами... Не могли они истребить свойственного намъ духа храбрости, но и тотъ не защищаетъ насъ отъ нихъ: мы учителей своихъ побѣждаемъ оружіемъ, а они побѣдителей своихъ побѣждаютъ комедіями, романами, пудрою, гребенками» (*).

Подражательное развитіе русскаго общества: вотъ въ чемъ Шишковъ обвинялъ своихъ современниковъ, и въ томъ числѣ новыхъ литераторовъ, которые, по его мнѣнію, содѣйствовали злу. Самостоятельность развитія: вотъ чего онъ требовалъ отъ русскаго общества. Онъ добивался русскаго направленія, окрещеннаго неточнымъ именемъ славянофильства. Шишковъ—славянофилъ, или руссофилъ, потому что стоялъ за сохраненіе русской національности въ нравахъ, обычаяхъ и языкѣ. Но за тоже самое стоялъ, тоже самое говорилъ, еще прежде Шишкова, Карамзинъ. Въ «разсужденіи о любви къ отечеству и народной гордости» онъ выставляетъ слабую сторону современнаго общества—излишнее смиреніе въ политикѣ, указывая ему самобытность народной жизни, какъ идеаль: «Есть всему предѣлъ и мѣра. Какъ человѣкъ, такъ и народъ начинаетъ всегда подражаніемъ, но долженъ со временемъ быть *самъ собою*, чтобы сказать: *я существую нравственно!*... Патріотъ снѣшить присвоить отечеству благодѣтельное и нужное, но отвергаетъ рабскія подражанія въ бездѣлкахъ, оскорбительныя для народной гордости. Хорошо и должно учиться, но горе и человѣку и народу, который будетъ всегдашнимъ ученикомъ!» Требованія одни и тѣ же, какъ видно изъ сличенія этихъ словъ съ вышеприведенными словами «разсужденія о старомъ и новомъ слогѣ». И можно ли предполагать, чтобы Карамзинъ и его послѣдователи были меньше руссофилы, чѣмъ Шишковъ и члены Бесѣды? Справедливѣе думать иначе: «Исторія государства Россійскаго» и «Записка о древней и новой Россіи» заявляютъ славянофильство ихъ автора несравненно сильнѣе набатныхъ возгласовъ Шишкова, которые по большей части оказывались фальшивой тревогой. Ученіе о развитіи народа сообразно съ его коренными особенностями подкрѣплено въ этихъ сочиненіяхъ многими доводами. «Исторія» не знаетъ другаго монарха, «достойнѣйшаго жить и сіять въ ея святилищѣ», кромѣ Іоанна III, потому что въ своихъ дѣйствіяхъ онъ уважалъ народный характеръ и правила вѣка; «Записка» осуждаетъ политику Петра, который иноземнымъ началамъ приносилъ иногда въ жертву начало русское, и кромѣ того даетъ совѣты, какъ исправить ошибки, допущенныя новыми реформами. Вопросъ, слѣдовательно, не въ томъ, кто стоялъ за самобытное образованіе народа, а въ томъ, что разумѣли подъ такимъ образованіемъ и какъ понимали его отношеніе къ европейской, или общечеловѣческой культурѣ. На этомъ предметѣ, школа Карамзина и школа Шишкова представляютъ большую разницу. Карамзинъ не признавалъ нравовъ своего вѣка худшими сравнительно съ нравами предковъ: напротивъ, онъ находилъ современныхъ Россіянъ, въ нравственномъ отношеніи, превосходиѣ Россіянъ, жившихъ подъ великокняжескимъ или царскимъ правленіемъ. Онъ только замѣчалъ, что съ пріобрѣтеніемъ человѣческихъ добродѣтелей мы утратили добродѣтели гражданскія и что виною тому реформа Петра. Возвращеніе къ старинѣ не было ему желательно. Передъ лицомъ Шишкова, когда

(*) Собраніе сочиненій Шишкова, 1824, ч. 2, стр. 251—253.

уже печаталась «Исторія», выразилъ онъ извѣстную намъ мысль: «связь между умами древнихъ и новѣйшихъ Россіянъ прервалася навѣки» (*). Образцомъ для подражанія ставилъ онъ не старину, а время Екатерины II, слѣдовательно *европейское* же начало, но подъ условіемъ примѣненія его къ дѣйствительнымъ потребностямъ русской страны. Новые просвѣтители (либералисты), выросшіе «на почвѣ французской революціи», пугали его тѣми опасностями, которыхъ онъ ожидалъ отъ нихъ для *европейской* цивилизаціи: но вѣдь изъ тѣхъ же опасеній и министерство просвѣщенія при Шишковѣ онъ называлъ министерствомъ затмѣнія (**). Законодательныя реформы Сперанскаго встрѣтили въ немъ противника потому единственно, что онъ видѣлъ въ нихъ уклоненіе отъ правительственной системы Екатерины. Не желая простирать объятій Европѣ, какова бы она ни была, Карамзинъ не хотѣлъ и чуждаться ея во что бы то ни стало. Репрессивныя мѣры, имѣвшія цѣлью закрыть для Россіи міровыя пріобрѣтенія въ искусствѣ и наукѣ, никогда не могли быть имъ одобряемы. При томъ же онъ яснѣе Шишкова смотрѣлъ на причины и ихъ слѣдствія, цѣня тѣ и другія по настоящему ихъ смыслу и размѣру. Рабскія подражанія иностранцамъ въ бездѣлкахъ почиталъ онъ оскорбительными для народной гордости, но подражателей не обзывалъ врагами отечества, тогда какъ Шишковъ намѣревался издателей Сѣвернаго Вѣстника и Московскаго Меркурія, защищавшихъ новый слогъ, «ткнуть носомъ въ пепелъ Москвы и громко сказать имъ: вотъ чего вы хотѣли» (***). Какъ будто они хотѣли этого!

Галломанія начала у насъ водворяться съ царствованія императрицы Елисаветы. Уже тогда въ числѣ явившихся къ намъ гувернеровъ и гувернантокъ находилось много невѣждъ или безирравственныхъ лицъ. Шишковъ приводитъ слѣдующее мѣсто изъ сочиненія Мессельера, чиновника французскаго посольства при дворѣ Елисаветы: «Voyage à Pétersbourg, ou nouveaux mémoires sur la Russie»: «Мы обступлены были тучею всякаго рода французовъ, изъ коихъ главная часть, поссорясь съ парижскою полиціею, пришли заражать сѣверныя страны. Мы поражены были удивленіемъ и сожалѣніемъ, нашедъ у многихъ знатныхъ господъ бѣглецовъ, промотавшихся, распутныхъ людей, которымъ поручено было воспитаніе дѣтей самыхъ знатнѣйшихъ» (****). Французская эмиграція, при Екатеринѣ II и Павлѣ I, усилила ряды иностранныхъ воспитателей русскаго юношества. Безразборчивая довѣренность къ нимъ родителей не могла быть остановлена даже правительственными мѣрами (*****). Необразованность тѣхъ, отъ кого зависѣлъ выборъ наставниковъ, пристрастіе къ французскому языку, который сдѣлался языкомъ высшаго общества и свидѣтельствомъ вѣшняго европеизма, отсутствіе педагогическихъ заведеній, въ которыхъ готовились бы не только русскіе преподаватели наукъ, но и русскіе воспитатели, все больше и больше укрѣпляли обычай, въ сущности неразумный, но легко объясняемый историческими обстоятельствами. Онъ упалъ бы самъ собою, еслибъ устранены были причины, его породившія. Но этого не случилось и при Александрѣ I. Напротивъ, французское вліяніе достигло въ это время наибольшей степени. Примѣру высшаго класса послѣдовало сначала зажиточное дворянство, а за нимъ потянулася и «мелкая сошка», желавшая жить какъ знатные господа. Крыловъ не безъ

(*) Выше, стр. 79.

(**) — — 88.

(***) — — 77.

(****) Соч. III—ва, 1824, ч. II, 252—253.

(*****) Исторія рус. словесности I, 434.

иѣли прибавилъ правоученіе къ переведенной изъ Лафонтена басни «Лягушка и Волъ» (1808): оно списано съ натуры (*). Дворяне помѣщали дѣтей своихъ въ пансіоны, содержимыя иностранцами, потому что у нихъ можно было научиться свѣтскому обращенію, французскому языку и танцамъ. Процентъ благороднаго сословія, обучавшагося въ уѣздныхъ училищахъ и гимназіяхъ, былъ очень незначителенъ, какъ потому, что эти заведенія были открыты для всѣхъ состояній, съ которыми дворянство не хотѣло смѣшиваться, такъ и потому, что въ нихъ нельзя было выучиться французскому языку— не только разговорному, который единственно требовался, но и книжному. Гимназическіе учителя иностранныхъ языковъ, большею частію не зная ни слова по русски, служили предметомъ потѣхи для школьниковъ: послѣдніе не понимали первыхъ, а первые не понимали, что нужно послѣднимъ. Дворянскій сынъ стыдился сидѣть на одной скамейкѣ съ разnochинцами, боясь, что они испортятъ его нравственность, научать чему нибудь зазорному, но забывая, что для такой науки къ его услугамъ существовала цѣлая дворня и что отъ своего гувернера онъ узнавалъ многое, чего бы никогда не узналъ даже отъ конюха. О настоящемъ изученіи французскаго языка не было ни мысли, ни рѣчи: добивались только настоящаго французскаго выговора—«прононсіи» или «прононса», какъ многіе тогда выражались. Сатиръ и комедіи легко было собирать обильную поживу съ галломаніи. Сколько встрѣчалось такихъ господъ, и молодыхъ и не молодыхъ, которые не умѣли похристосоваться на родномъ языкѣ! Существовали даже градоначальники, затруднявшіеся въ объясненіяхъ съ подчиненными, которые не говорили по французски. Но смѣшное было только одною стороною предмета; на другой сторонѣ французолобія выходилъ положительный вредъ. Комизмъ оказывался преимущественно въ среднемъ и низшемъ слояхъ дворянства. Въ самомъ дѣлѣ, легко понять, почему сынъ знатнаго барина объяснялся по французски: ему гораздо легче было говорить на иностранномъ языкѣ, чѣмъ на русскомъ, котораго онъ весьма часто и не зналъ вовсе. Но иностранный языкъ въ устахъ мелкопомѣстнаго владѣльца, который по-русски говорилъ очень хорошо, а по-французски очень дурно, означалъ забавное увлеченіе модой, глупость тщеславія. Понятно также, почему вельможа могъ находить больше удовольствія въ бесѣдѣ съ образованнымъ иностранцемъ, чѣмъ, напримѣръ, съ русскимъ литераторомъ, въ родѣ Кострова или Сумарокова, изъ которыхъ одинъ рѣдко бывалъ трезвъ, а второй ни о чемъ иномъ, «кромя своего бѣднаго риомичества», не говорилъ, и даже за обѣдомъ у наслѣдника престола не умѣлъ держаться съ должнымъ приличіемъ (**). Вельможу нельзя было удивить ни Хоревомъ, ни Семирой, если онъ въ Парижѣ видѣлъ представленіе піесъ Корнеля и Расина лучшими въ то время артистами. Но для какой potreбы нуженъ былъ французскій разговорный языкъ мелкому помѣщику, которому не приходилось заглядывать даже въ сочиненія Сумарокова и который всю жизнь свою оставался въ провинціи, зрѣвшей его рожденіе? Вредъ французскаго воспитанія простирался особенно на лица высшей знати. Въ этомъ отношеніи, гувернеръ-невѣжда представлялъ меньше опасности, чѣмъ умный и образованный иностранецъ, искусно стремившійся къ своей цѣли. Въ іезуитскомъ пансіонѣ, основанномъ въ Петербургѣ при Александрѣ, учили, можетъ быть, основательнѣе, чѣмъ въ тогдашнихъ русскихъ гимназіяхъ, но въ то же время онъ былъ не прочь отъ прозелитизма. Зная наизусть католическую обѣдню, инныя дѣти не понимали православнаго богослуженія.

(*) Ист. Христ. I, 250.

(**) См. Записки Порошина.

Облеченные въ пропагандѣ, іезуиты были высланы сначала изъ столицъ (1815), а потомъ изъ всѣхъ областей Россіи за границу (1820) (*). Но случаи прозелитизма, какъ бы они ни были важны, не покрывали собою всего вреднаго вліянія, производимаго иностраннымъ воспитаніемъ. Главное зло состояло въ духовномъ отрѣшеніи русскихъ отъ Россіи, которая не могла ожидать отъ нихъ никакой пользы, и въ легкомысленномъ ихъ отношеніи къ предметамъ первой важности, которое они усвоивали отъ своихъ легкомысленныхъ или завѣдомо дѣйствовавшихъ наставниковъ. Изъ глубины русской души вырвалось у Пушкина проклятіе его французскому воспитанію: «Съ нравственностію не то дѣлается, что съ естественностію», замѣчаетъ Шниковъ: «курица, высиженная и вскормленная уткою останется курицею и не пойдетъ за нею въ воду; но русскій, воспитанный французами, всегда будетъ больше французъ, нежели русскій». Въ такомъ французо-русскъ отечество не найдетъ достойнаго себѣ гражданина, отечественная исторія—уваженія, соотечественникъ—любви. Болѣе и болѣе распространявшееся воспитаніе русскаго юношества иностранцами обратило наконецъ на себя вниманіе правительства. Въ 1814 г. министръ народнаго просвѣщенія, графъ Разумовскій, поднесъ Государю записку касательно частныхъ пансіоновъ, которая удостоилась высочайшаго одобренія. Она показываетъ вредныя дѣйствія обычая, глубоко пустившаго свои корни, и вмѣстѣ постановляетъ мѣры къ ихъ ослабленію: «Дворянство, подпора государства, возрастаетъ перѣдко подъ надзоромъ людей, одною собственною корыстію занятыхъ, презирающихъ все не-иностранное, не имѣющихъ ни чистыхъ правилъ нравственности, ни познаній. Слѣдуя дворянству, и другія состоянія готовятъ медленную пагубу обществу воспитаніемъ дѣтей своихъ въ рукахъ иностранцевъ.... Содержатели пансіоновъ внушаютъ юнымъ росіянамъ презрѣніе къ языку нашему и охлаждаютъ сердца ихъ ко всему домашнему, и въ нѣдрахъ Россіи изъ росіянина образуютъ иностранца.... И для преподаванія наукъ они избираютъ иностранца же, что усугубляетъ вредъ, воспитаніемъ разливаемый, и скорыми шагами приближаетъ къ истребленію духа народнаго.... Поставленъ будучи бодрствовать надъ воспитаніемъ согражданъ моихъ, чту долгомъ изыскивать всѣ способы къ содѣланію ихъ истинными сынами отечества. Не отъ меня зависить преломить духъ важнѣйшей части гражданъ, внесея въ семейство ихъ счастливое недовѣріе къ чуждымъ воспитателямъ, но подъ высокимъ вліяніемъ Монарха я могу дѣйствовать орудіями мнѣ предоставленными. Быть можетъ, мѣра правительства послужитъ образцомъ и для каждаго частнаго гражданина» (**). Чтобъ ограничить дѣйствіе иностраннаго образованія, предписаны были слѣдующія мѣры: право на открытіе пансіона давать не столько по степени учености лица, сколько по его доброй нравственности; требовать отъ содержателя знанія русскаго языка; преподаваніе наукъ должно быть производимо на языкѣ отечественномъ; пяти-процентный сборъ съ платы за каждаго пансіонера на учрежденіе особыхъ училищъ, въ коихъ будутъ воспитываться дѣти родителей, оказавшихъ отечеству заслуги, а также и дѣти немущихъ дворянъ.

Недовольство иностраннымъ воспитаніемъ, увеличенное деспотическими дѣйствіями Наполеона (***) и нашими съ нимъ войнами, образовало патріотическую литературу, которой голосъ сильно раздавался въ современныхъ журналахъ, стихотвореніяхъ и отдѣль-

(*) *Le calolicisme romain en Russie*, 2 v. Сочиненіе графа Д. А. Толстаго (см 10 главу 2-ой части). См. также Некрологъ графа Александра Николаевича Толстаго (Русскій Инвалидъ, 1866, № 212).

(**) *Сѣверная Почта*, 1811, № 47 (іюня 14).

(***) Нарушеніемъ нейтралитета, казью герцога энгіенскаго и дюренбергскаго книгопродавца Пальма.

ныхъ книгахъ. Въ 1806—1807 напечатано значительное число политическихъ сочиненій, болѣею частию переведенныхъ съ нѣмецкаго. Иныя являлись одновременно въ двухъ-трехъ переводахъ (*). Содержаніе ихъ вращается въ кругу однихъ и тѣхъ же предметовъ: завоевательной политики Наполеона, униженія Германіи и необходимости для нея вступить въ союзъ съ русскимъ монархомъ. Авторъ «Нѣкоторыхъ мыслей о современныхъ происшествіяхъ» слѣдующимъ образомъ характеризуетъ отношенія Наполеона къ Европѣ: «хотя Бонапарте безпрестанно говоритъ о мирѣ, но никогда онъ о семъ не думаетъ, ибо въ каждомъ мирномъ договорѣ, который онъ диктовалъ, какъ побѣдитель, заключалось до сихъ поръ всегда сѣмя къ новымъ войнамъ. Хитрая политика его всегда будетъ требовать пожертвованій отъ слабыхъ сосѣдей своихъ, которыя, при малѣйшемъ сопротивленіи, ведутъ за собою войну». Далѣе Наполеонъ выставляется гонителемъ общественнаго мнѣнія, врагомъ гласности: «Какъ истинный поработитель народа, Наполеонъ боится каждого патріота, каждого умнаго сочинителя, который можетъ показать народу истинное его положеніе, хочетъ пробудить его изъ болѣзненнаго усыпленія.... Никогда истинно великіе государи и хорошо устроенныя правительства не страшились общаго свѣдѣнія, никогда не подавляли благоразумной свободы книгопечатанія. Пусть вспомнятъ Фридриха II! Пусть взглянутъ на нашего Александра! Смѣло спрашиваю: было ли когда нибудь, есть ли и теперь правительство, которое столь открыто обходилось бы со своими подданными, какъ руссійское, которое, не довольствуясь хорошо управлять неизмѣримымъ государствомъ, показываетъ еще подданнымъ, какъ управляетъ ими? Не сообщаются ли публикѣ ежемѣсячно въ особенномъ журналѣ важнѣйшія дѣла внутренняго управленія государствомъ? Не также ли поступаетъ департаментъ народнаго просвѣщенія и даже министерство иностранныхъ дѣлъ? И сіе правительство, сію землю называютъ сыны Франціи *un pays barbare!*». «Картина французской политики или короли Бонапартовой фабрики» принадлежитъ къ разряду тѣхъ книгъ, въ которыхъ разоблачалось ложное величіе французскаго императора. Эпиграфомъ служить четверостишіе:

«Пріятель! отъ чего присѣлъ?»
—Злодѣй корону на меня надѣлъ!

(*) Въ 1806 г.: Наполеонъ Бонапарте и народъ французскій (одного направленія съ этой книжкой: Вотъ каковы Бонапарте и народъ французскій, 1807); Нѣкоторыя мысли о современныхъ происшествіяхъ, соч. Шредера, пер. Н. Греча (тоже: Разсмотрѣніе политическихъ происшествій нынѣшняго времени русскимъ патріотомъ, къ его соотечественникамъ); Взоръ на политическое состояніе Европы въ началѣ 1806 г. (тоже: Взглядъ на политическое состояніе Европы въ началѣ 1806. Съ подлинника, напечатаннаго въ Истинноградѣ 1806 П. Г.... К....мъ); Политическая картина Европы въ теченіе 1805 и первыхъ трехъ мѣсяцевъ 1806. Графа де С.... (Сегюра).

Въ 1807 г.: Историческія письма о Франціи въ 1805 и въ 1806 г. (другіе переводы: Тайная исторія новаго французскаго двора; Тайная исторія нынѣшняго французскаго дома); Германія въ глубокомъ униженіи своемъ. Сочиненіе, за продажу котораго разстрѣлывъ по повелѣнію Бонапарта нюрнбергскій книгопродавецъ Пальмъ, 2-е исправленное изданіе (тоже: Нѣмецкая земля въ глубокомъ своемъ униженіи); Французы въ Вѣнѣ (тоже: Бонапарте и французы въ Австріи); Нѣкоторыя замѣчанія на послѣднее посланіе Бонапарте къ его охранительному сенату, данное изъ Берлина 21 ноября 1806 (тоже: Нѣкоторыя примѣчанія на послѣднее посланіе Бонапарте къ его блюстительному сенату, и пр.); Картина французской политики или короли Бонапартовой фабрики; Изображеніе нынѣшняго политическаго положенія Франціи; Политическія разсужденія о происшествіяхъ 1806 г.; Разсужденіе объ участи, приемлемомъ Россією въ нынѣшней войнѣ, сочиненное другомъ политической свободы и взаимной независимости всѣхъ народовъ; Реляція о знаменитой побѣдѣ Бонапарте, одержанной надъ галльскимъ университетомъ (три перевода). Нѣкоторые переводы выказываютъ продѣлку спекулянтовъ, пользовавшихся преждевѣдшимъ трудомъ, но вѣдь и спекуляція бросается лишь на то, въ чемъ видятъ хорошій сбытъ.

«Чтожь? я не вижу въ этомъ зла.»

— Охъ! тяжела...

«Взглядъ на политическое состояніе Европы въ началѣ 1806 г.» рѣшаетъ вопросы: какое стеченіе обстоятельствъ было причиною войны 1805 г. и чего другъ человѣчества долженъ въ будущемъ страшиться или ожидать съ пріятною надеждою? Авторъ осуждаетъ систему робкой медлительности и завистливаго совмѣстничества нѣмецкихъ правительствъ, парализирующую великодушныя намѣренія Александра. Какъ въ прошедшемъ, говорить онъ, спасеніе Европы должно было притечь отъ береговъ Невы, такъ и впредь оно можетъ явиться только оттуда. Скоро настанетъ время, когда европейскія державы горестно пожалѣютъ о томъ, что отклонились отъ истины и потому учинились жертвою Наполеоновои алчности. Цѣль «политическихъ разсужденій о происшествіяхъ 1806 г.» показать, что французское правительство никогда не руководствовалось правотою, что Пруссія въ Александрѣ имѣетъ надежнаго союзника, а Франція, отрекшись отъ него, сдѣлала такую ошибку, которой не вознаграждать никакія грабительства. «Разсужденіе объ участіи, пріемомъ Россіею въ нынѣшней войнѣ» (между Франціей и Пруссіей, 1806 г.), напечатано въ Кельнѣ на русскомъ и французскомъ языкахъ въ началѣ 1807 г. Сочинитель его, принадлежавшій къ сторонникамъ нашей тогдашней политики, рѣшаетъ вопросъ: за чѣмъ Франція приблизилась къ русскимъ границамъ? За тѣмъ, отвѣчаетъ онъ, что Франція ведетъ войну наступательную, или завоевательную, которая по сущности своей безконечна и только внѣшнія обстоятельства могутъ положить ей предѣлы. Единственною для нея преградою послужить тѣсный союзъ между государствами, которымъ угрожаетъ Наполеоново властолюбіе: только онъ въ силахъ сдерживать могучаго завоевателя и сохранить независимость народовъ. До сихъ поръ державы о томъ не заботились: отсюда и происходитъ непрочное положеніе Европы.

Параллельно съ переводами политическихъ книгъ, или собственно литературныя произведенія, выражавшія патріотическую настроенность въ разныхъ формахъ. Державинъ написалъ нѣсколько одъ, изъ которыхъ только одна (Атаману и войску донскому, 1807) напоминаетъ его прежній талантъ; прочія же (Походъ Озирида, Гласъ санктпетербургскаго общества, Персей и Андромеда, и др.) показываютъ отсутствіе истиннаго лиризма, замѣненнаго каламбурами и миѳическими представленіями (*). «Пѣснь воиновъ», Карамзина (1806), простѣе смотритъ на дѣло: Бонапартъ называется общимъ злодѣемъ, котораго необходимо низвергнуть, чтобы міръ наслаждался покоемъ. «Пѣснь барда надъ гробомъ Славянъ побѣдителей», Жуковскаго (1806), призывала ко брани и мщенію. Перечислять другія стихотворенія того же рода бесполезно. Манифестомъ 30 августа 1806 г. (**) обнародована предстоящая война съ французами; другой манифестъ, 16 ноября, объявилъ начало войны (***). Повелѣно было сформировать шестьсотъ тысячъ земскаго войска, для подкрѣпленія дѣйствующей арміи и для защиты имперіи. 28 ноября изданъ былъ указъ о высылкѣ изъ Россіи всѣхъ подданныхъ Франціи и нѣкоторыхъ нѣмецкихъ областей, если они не пожелаютъ вступитъ въ русское подданство, о недозволеніи пропускать ихъ въ Россію безъ паспорта, выданаго министромъ иностранныхъ дѣлъ. Иностранцамъ предписано было выѣхать изъ столицъ и другихъ городовъ черезъ

(*) Наполеонъ (На-поле-онъ), Багратіонъ (Богъ-рати-онъ). Императоръ Александръ представленъ Озиридомъ и Фебомъ, Россія—Персеемъ, Европа—Андромедой, Наполеонъ — Тифономъ, гіеиной, змѣей, саламандромъ (живущимъ въ огнѣ и жрущимъ огонь).

(**) Собраніе законовъ, № 22,256.

(***) Ив. № 22,356.

десять дней по объявленіи указа. Учителя и другія лица, жившіе въ частныхъ домахъ, обязаны были, во первыхъ, дать присягу въ томъ, что они во все продолженіе войны не будутъ имѣть никакого сношенія съ подданными поименованныхъ областей, а вторыхъ предъявить поручительство лицъ, у которыхъ жили, въ добромъ поведеніи. Преступившіе присягу подвергались строгому наказанію, а съ поручителя взыскивалось 5000 рублей штрафу. На особую комиссію возложено было приведеніе указа въ дѣйствіе (*). По этому поводу сочинена была комедія: «Высылка французовъ» (1807), не имѣющая никакого значенія, какъ драма, но любопытная, какъ свидѣтельство образа мыслей многихъ тогдашнихъ людей. Главное лице—французъ Пуазонье, содержатель пансіона и шпіонъ, которому «великая нація» щедро платитъ за доставляемые свѣдѣнія о Россіи. Онъ открываетъ піесу слѣдующими словами: «Autant barbare qu' ignorant—вотъ фраза, изображающая народъ русскій. Торжествуй, мое отечество! граждане твои покоряютъ тебѣ народы всего свѣта мечемъ, умомъ, а всего больше готовятъ къ тому воспитаніемъ». Съ Пуазонье за-одно мадамъ Грифонъ, бывшая гувернантка, и нѣсколько его соотечественниковъ-аферистовъ, изъ которыхъ одинъ на вопросъ, какъ онъ распорядился по случаю высылки французовъ, отвѣчаетъ: «я присягнулъ: гдѣ интересъ, тутъ моя клятва; нѣтъ его, дымъ и присяга.» Сынъ богатаго дворянина, Доблестинъ воспитывается у Пуазонье. Воспитатель задумалъ женить его на Зинаидѣ, названной дочери мадамъ Грифонъ. Влюбленный юноша, обманутый французами, даетъ на себя обязательство въ шестьсотъ тысячъ рублей. Но съ пріѣздомъ отца Доблестина, дѣло принимаетъ другой оборотъ: плутни и профессія Пуазонье открыты, Зинаида оказывается дочерью Благодорова, друга Доблестина, который, соглашаясь на бракъ ея съ своимъ сыномъ, хочетъ, чтобы послѣдній прежде послужилъ въ милиціи. Отобравъ у француза данныя обязательства, Доблестинъ оканчиваетъ піесу такимъ монологомъ:

Содержащіеся въ этихъ бумагахъ 600,000 рублей погибли, но чудесно возвратились. Къ чему жъ лучше употреблю ихъ—въ благодарность промыслу и правосудію монаршему—какъ не на общее дѣло? Въ противность правилъ монаховъ, слѣдуя только стремленію обычая, отослалъ я сына моего на усовершенствованіе наукъ къ иностранцу, восхваляемому всѣми, но мнѣ неизвѣстному. Опытъ доказалъ, что предубѣжденія мои были основательны. Опыты будущіе докажутъ, можетъ быть, и злѣйшія послѣдствія. Такъ! ѣду въ орловскую губернію; предстану благородному дворянству въ полномъ собраніи; расскажу, опишу, поражу родительскія сердца событіемъ, сына моего постигшимъ. И когда возбужду негодованіе, когда загорятся сердца русскія, положу на столъ шестьсотъ тысячъ рублей и возглаголю: «Просите милосердаго Монарха нашего, отечески пекущагося о размноженіи училищъ въ пространной его державѣ, чтобъ благоволилъ милостиво даровать благородному российскому юношеству учителей своей земли; чтобъ, выбравъ молодыхъ людей изъ дворянъ же малоимущихъ и изъ другихъ сословій дѣтей родителей беззаворныхъ, соизволилъ учредить для нихъ особое училище и повелѣлъ готовить ихъ быть домашними учителями и воспитателями дѣтей нашихъ. Благонравіе, почтеніе ко святой вѣрѣ и къ законамъ, любовь къ Государю и отечеству, да будутъ первоначальными ихъ догматами, а (науки да идутъ во-слѣдъ. На установленіе и содержаніе сего училища я первый даю шестьсотъ тысячъ.»

За нѣсколько дней до Прейсишъ-эйлаусской битвы сыграна была трагедія Озерова: «Димитрій Донской» (1807). Публика приняла ее съ восторгомъ, находя въ ней явное отношеніе къ современнымъ обстоятельствамъ. Въ Димитріи она видѣла Александра, съ именемъ Мамаея соединяла мысль о Наполеонѣ, «дерзостный посолъ

*) Ib. № 22, 371.

надменнѣйшаго хана» напоминалъ ей высокомеріе французскихъ посланниковъ. Театръ стоиалъ отъ рукописекъ, исторгаемыхъ многими тирадами, а иногда и отдѣльными выраженіями. Съ рѣзкою и смѣлою сатирою выступилъ противъ французскаго вліянія графъ О. В. Растопчинъ (1763—1826), подъ вымышленнымъ именемъ Силы Андреевича Богатырева, которое за нимъ и осталось, прославленное его бойкимъ, оригинальнымъ перомъ. При извѣстїи объ эйлаускомъ сраженіи (27 января 1807 г.) написалъ онъ «Мысли въ слухъ на красномъ крыльцѣ» (1807) (*), пріобрѣтшія ихъ автору громкую извѣстность своимъ патріотическимъ содержаніемъ и чисто-русскимъ складомъ рѣчи. Нѣкоторыя мѣста брошюры показались «жесткими» Шишкову, забывшему, что безъ этой эниграмматической жесткости она потеряла бы свою особенность. Растопчинъ славитъ генераловъ—русскихъ по духу и происхожденію: Толстаго, Кожина, Голицына, Дохтурова, Волконскаго, Долгорукова, умалчивая о главномъ начальникѣ—Беннигсенѣ; поэтому и непріятно ему было, когда Шишковъ, напечатавъ въ Петербургѣ книжку безъ вѣдома автора, вставилъ отъ себя слова: «слава тебѣ, храбрый Беннигсенъ!» Въ письмѣ Богатырева къ одному московскому пріятелю (**) Растопчинъ жалуется на самоволіе непрошеннаго издателя: «Я думалъ, что хотѣлъ, а другой изволилъ придумать иное. Кто проситъ? Инаго всунули, другаго вытолкнули, а тамъ оговорка: жестка-де рѣчь. И вѣдомо такъ: вѣдь правда не пуховикъ. Это нынче изъ нея дѣлають помаду. Про меня грѣхъ сказать, что мягко стелеть, да жестко спать.» Тотъ же Богатыревъ выведенъ главнымъ лицомъ въ комедїи Растопчина: «Вѣсти или убитый живой» (1807), сочиненной по случаю нелѣпыхъ толковъ и слуховъ въ-слѣдъ за сраженіемъ при Эйлау. Онъ и здѣсь сыплетъ жесткими рѣчами. Вотъ какъ отдѣливаетъ онъ новомодныхъ русскихъ барынь и поклонниковъ Франціи:

За что вы губите молоденькихъ дѣвушекъ вашимъ безобразнымъ одѣяніемъ? Эта мерзкая мода обливасть любовь и уваженіе холодною водою и вмѣсто того, чтобъ привлекать, гонить прочь, и жениховъ ловятъ, какъ бѣлыхъ. Въ старину, и не очень давно, у иной дѣвушки въ мѣсяцъ не увидишь руки безъ перчатки, а нынче воображенію и догадкѣ дѣла нѣтъ. Да прежде сего одѣвались, а нынѣ раздѣваются. Иная ѣдетъ на балъ, какъ модель для живописцевъ; другая изъ отцовскаго дома, какъ изъ кунстъ-камеры: на рукѣ мѣшокъ съ бѣлѣмъ, все сквозить, все летитъ; разъ взглянулъ, точно какъ отъ купели принимагъ.

Мать есть примѣръ, покровъ и наставникъ для дочери. А дочь благовоспитанная есть лучшее украшеніе матери. Но нынѣ, по несчастію, что нынче дѣлають? притравливаютъ ихъ къ пороку и, теряя свое право, теряють и дочерей. Дочь съ матерью точно какъ съ мамадой: обѣ налегкѣ, подъ краской. Дочь мѣгаетъ, мать моргаетъ; одна танцуетъ, другая вальсируетъ; одна ищетъ женишка, другая пастушка; одна съ ума сходитъ, другая въ себя не приходитъ. Господи помилуй, да будетъ ли этому конецъ!

Отъ безразсуднаго пристрастія и ослѣпленія къ иностраннымъ мы обращаемся изъ людей въ обезьяны, изъ господа въ слугъ, изъ русскихъ въ ничто. Этотъ развратъ есть болѣзнь завозная, прилипчивая и иныхъ у насъ обезобразила такъ, что и узнать нельзя. А что я говорю, это правда и для ушей, и для глазъ, и для души: въ семьѣ не безъ урода: да на чтожь самому себѣ изуродовать и сдѣлаться гадкимъ спискомъ мерзкаго подлинника?

(*) Сочиненіе это напеч. вполнѣ въ 2 т. Истор. Христ., стр. 187—190. Подражанія ему: Мысли не въ слухъ у деревяннаго дворца Петра Великаго, или посланіе Силы Сидоровича Правдица къ Силѣ Андреевичу Богатыреву (1807); Мысли для всѣхъ отъ сердца и души, или посланіе украинскаго помѣщика, отставнаго капитана Трифона Сидоровича Правоговорова къ старому сослуживцу своему и пріятелю Никитѣ Севастьяновичу Праворускому (1813).

(**) Ист. Хр. II, 193—194.

Другимъ тономъ осмѣивается сумасбродное пристрастіе къ французскому языку и вмѣстѣ къ французамъ въ комедіи Крылова: «Урокъ дочкамъ» (1807). Въ ней много забавныхъ сценъ, написанныхъ остроумно, но безъ желчи. Съ меньшимъ знаніемъ мѣры нападалъ на любовь къ иностранному О. Ивановъ, авторъ многихъ драматическихъ піесъ, изъ которыхъ «Семейство Старичковыхъ или за Богомъ молитва, а за царемъ служба не пропадаютъ» (1808) особенно нравилась посѣтителямъ театра. По отзыву современниковъ, трагедія Крюковского: «Пожарскій» (1807) имѣла большой успѣхъ, чѣмъ «Димитрій Донской», можетъ быть потому, что она была играна вскорѣ послѣ военныхъ дѣйствій съ французами, когда каждый намекъ на едва минувшія событія воспринимался живѣе. Въ нѣкоторыхъ стихахъ слышится горестъ неудовлетвореннаго чувства народной славы:

О русская земля! отечество драгое!
Узримъ ли время мы опять твое златое?
Заставимъ ли врага, какъ прежде, трепетать?
Коварныхъ замыслы успѣемъ ли погрѣть?
И водворимъ ли вновь въ сердцахъ доброты рѣдки,
Что завѣщали намъ въ залогъ почтенны предки?

Что же завѣщали намъ предки? Не умѣя цѣнить издѣлій роскоши, русскій умѣлъ карать пороки и почитать добродѣтель, а теперь—повсюду пагубное вліяніе поляковъ (подъ которыми авторъ разумѣлъ французовъ):

Они и въ сердце намъ разврата ядъ вливають,
И нравы нѣгою постыдной расслабляютъ.
Обычай суетный почто перенимать
И рабски чуждому примѣру подражать?
Не пользу отъ сего, какъ мыслятъ, обрѣтаемъ,
Но русскій духъ въ мѣнѣ толь низкой мы теряемъ.

Не безъ намѣренія помѣщены были въ Вѣстникъ Европы (1807): «Мысли о Россіи», высказанныя еще при Екатеринѣ II. Прежде этого (1806), въ сатирѣ «объ истинномъ благородствѣ», Воейковъ позорилъ «дурака, воспитаннаго французами», а послѣ Нахимовъ воспѣлъ въ комическомъ эпосѣ похождения парижскаго выходца Пурсоньяка (*).

Тильзитскій миръ понизилъ тонъ патріотической литературы (**), но не пресѣкъ враждебнаго чувства къ французамъ. Русскій человекъ справедливо видѣлъ въ немъ только перемиріе и не вѣрилъ его прочности, зная характеръ Наполеоновой политики. Еще въ 1805 г. С. Глинка предчувствовалъ, что и до Москвы дойдетъ очередь завоеванія; это предчувствіе сдѣлалось потомъ внутреннимъ убѣжденіемъ его души (***). Ода Державина «на миръ 1807 г.» звучитъ замѣтнымъ недовольствомъ, почему и была напечатана съ измѣненіями; поэтъ, говоря его словами, «радовался съ оглядкою», и нѣкоторые стихи называлъ «предусмотрѣніями». Онъ проситъ богинь кротости, при поднесеніи имъ пальмовой вѣтви, возбуждать въ миротворцѣ (Александрѣ I) геройскій духъ, внушать ему мысль объ охранѣ, потому что

Врагъ примиренный, снесшій рану,
Не можетъ быть надежный другъ.

Извѣстный партизанъ въ войну 1812 г., Д. В. Давыдовъ, бывший очевидцемъ свиданія

(*) Ист. Рус. Слов. I, 549—550; Ист. Христ. II, 273 и 375.

(**) Напечатанъ по заключеніи тильзитскаго мира отрывки изъ вышеуказанной книги: «Разсужденіе объ участіи, приемлемомъ Россіею въ нынѣшней войнѣ», Вѣстникъ Европы (1807, № 21) выбросилъ рѣзкіе отзывы о Наполеонѣ, на томъ основаніи, что «въ мирное время браниться не надобно».

(***) Записки Сергія Николаевича Глинка (Рус. Вѣстникъ 1865, № 7).

двухъ монарховъ въ Тильзитѣ (Александра I и Наполеона) оцѣнили настоящее значеніе привѣтливости, которою русскіе отвѣчали на заказную привѣтливость французовъ: «двѣнадцатый годъ стоялъ уже посреди насъ, русскихъ, съ своимъ штыкомъ въ крови по дуло, съ своимъ пожемъ въ крови по локоть» (*).

И дѣйствительно, черезъ полгода послѣ тильзитскаго мира, въ 1808 г. С. Глинка основалъ новый журналъ: «Русскій Вѣстникъ», знаменательный самымъ названіемъ, не только что содержаніемъ. Издатель положилъ своей задачей—возбужденіе народнаго духа согражданъ, вызовъ ихъ къ новой, неизбежной борьбѣ съ Наполеономъ. Мысль о предстоящей опасности отечеству была для Глинки предчувствіемъ, убѣжденіемъ и пророчествомъ вмѣстѣ; она обступала его со всѣхъ сторонъ, держала въ постоянной тревогѣ, сосредоточивала на себѣ его умъ, способный отъ природы разсѣиваться безгранично и безцѣльно. Въ своемъ патріотическомъ ей служеніи онъ наминаетъ тѣ наивныя и безвѣстныя личности, которыя выводились обстоятельствами времени на предназначенное имъ дѣланіе, всецѣльно предавались ему сколько по инстинкту, столько же по сознанию долгу, и совершали то, чего не могли бы совершить сильные и мудрые міра. Кто-то шутя сравнивалъ издателя Русскаго Вѣстника съ Жанной д'Аркъ: въ этой шуткѣ есть доля правды. Заслуга Глинки, какъ литератора, заключается въ томъ, что онъ своевременно возбуждалъ народный духъ русскихъ: послѣ того оставалось ему лишь вспоминать о своихъ трудахъ по этому предмету. Все прочее, имъ написанное (а онъ писалъ очень много) не имѣетъ важности. Онъ могъ бы не являться на литературной сценѣ до «Русскаго Вѣстника» и долженъ былъ сойти съ нея послѣ своихъ «Записокъ» (**). Событія опредѣлили свойственную ему роль: прошли событія—упразднилась его миссія.

Объявленіе объ изданіи Русскаго Вѣстника возбудило недоумѣніе. Графъ Растопчинъ назвалъ предпріятіе Глинки отважнымъ, имѣя въ виду съ одной стороны прекращеніе непріязненныхъ отношеній къ Франціи, а съ другой—духъ чужеземства, обуявшій русское дворянство. Но издатель не унывалъ. Безъ гроша денегъ приступилъ онъ къ дѣлу, вѣруя, что «Богъ не безъ милости, а свѣтъ не безъ добрыхъ людей». И добрый человѣкъ нашелся въ лицѣ П. П. Бекетова (***). Графъ Растопчинъ и княгиня Е. Р. Дашкова предложили Глинкѣ свое сотрудничество, которое, однакожъ, скоро прекратилось, по винѣ самого издателя, безъ нужды торопливаго, отличавшагося крайней беззаботностью, необдуманностью и дѣтскимъ невѣдѣніемъ самыхъ обыкновенныхъ житейскихъ отношеній. Въ Русскомъ Вѣстникѣ все было направлено къ одной цѣли—знакомить Русскихъ съ Россіею. Въ противоположность журналамъ, сообщавшимъ свѣдѣнія о Европѣ, онъ наполнялся только тѣмъ, что касалось отечества; объ иностранномъ же упоминалъ не иначе, какъ по отношенію къ отечественному. Издатель пользовался каждымъ случаемъ, чтобы, согласно программѣ, изображать доблести русскихъ настоящаго и преимущественно прошлаго времени, обличать иностранныхъ писателей за ихъ ложныя о насъ мнѣнія и доказывать превосходство своего, роднаго, передъ чужеземнымъ. Излагая мысли по случаю представленія «Ябеды», журналъ защищаетъ старинныхъ судей и старинное правосудіе; на вопросъ переводчика Виргиліевыхъ эклогъ (Мерзлякова), «гдѣ этотъ золотой вѣкъ, эта золотая сторона, въ которой царствовали

(*) Тильзитъ въ 1807 г. (Сочиненія Д. В. Давыдова, изд. Смирдина, 1848).

(**) Записки о 1812 г.: Записки о Москвѣ и о заграничныхъ происшествіяхъ отъ исхода 1812 до половины 1815 г.—Богѣе подробныя его записки въ Рус. Вѣстникѣ 1863 № 4, 1865 № 7, 1866 №№ 1—3 и 7.

(***) См. выше. стр. 115.

невинность и правда?» отвѣчаетъ: «онѣ извѣстны были въ Россіи», и дѣлаетъ выписку изъ путешественника Флемминга о простотѣ и счастіи нашихъ поселянъ; разбирая древнерусскія стихотворенія, отыскиваетъ въ нихъ доблестныя черты русскаго народа: любовь къ ближнему, мужество, великодушіе, и пр. Достохвальныя свойства россіянъ вообще, русскихъ бояръ въ частности служатъ предметомъ особыхъ статей. Изъ разныхъ городовъ и селъ корреспонденты журнала доставляли ему свѣдѣнія о замѣчательныхъ проявленіяхъ русскаго духа: братской любви, наслѣдственномъ мужествѣ, рѣшительности и т. п. Въ противодѣйствіе переводнымъ повѣстямъ, Русскій Вѣстникъ печаталъ романы и повѣсти оригинальныя, которые постоянно воевали съ французскимъ воспитаніемъ, модами, роскошью. Сочувствуя Шишкову, онъ старался замѣнять иностранныя слова русскими. Поборничество за родную старину нерѣдко увлекало Глинку слишкомъ далеко, вынуждая его сопоставлять такіе предметы, которые не допускали никакого сопоставленія. Такъ, напримѣръ, въ статьѣ: «Зотовъ, наставникъ Петра I», способъ его ученія «соображается съ правилами Руссо, Кондильяма, Локка и прочихъ писателей о воспитаніи»; другая статья: «Наставленіе Симеона Полоцкаго царю Алексѣю Михайловичу», сличаетъ мысли, въ немъ изложенныя, съ мнѣніями не только Сократа, Платона и Цицерона, но и Декарта, Боссюэта, Вольтера, Дидро. Излишества и крайности направленія были по тогдашнимъ обстоятельствамъ понятны. «Нужно было», говоритъ кн. Вяземскій въ воспоминаніи о Глинкѣ (*), «воспламенить духъ народный, пробуждать силы его, напоминая о доблестяхъ предковъ, которые также сражались за честь и цѣлость отечества. Нужно было противодѣйствовать духу чужеземства всѣми силами и средствами. Укорительныя слова: «галломанія», «французолобіе», бывшія тогда въ употребленіи, имѣли полное значеніе. Ими стрѣляли не въ воздухъ, а въ прямую цѣль. Надлежало драться не только на поляхъ битвы, но воевать и противъ нравовъ, предубѣжденій, малодушныхъ привычекъ. Европа «онаполеонилась». Россіи, прижатой къ своимъ степямъ, предлежалъ вопросъ: «быть или не быть», т. е. слѣдовать за общимъ потокомъ и поглотиться въ немъ, или упорствовать до смерти или до побѣды? Перо Глинки, первое на Руси, начало перестрѣливаться съ непріателемъ. Онъ не заключалъ перемирія даже въ тѣ роздыхи, когда русскіе штыки отмыкались, уступая силѣ обстоятельствъ и выжидая новаго вызова къ дѣйствію.... Мнѣнія, имъ оглашаемыя, и отзывъ, который они встрѣчали въ массѣ читателей, не могли ускользнуть отъ неусыпнаго, безпокойнаго и ревниваго деспотизма Наполеона. Французскій посоль въ Коленкуръ жаловался нашему правительству на непріязненный духъ Русскаго Вѣстника» (**).

Русскій Вѣстникъ былъ дѣйствительно своего рода силою, благодаря дарованію издателя угадывать духъ народный, «который всего торжественнѣе высказывается въ минуту рѣшительнаго подвига», и направлять его къ извѣстной цѣли; понятнымъ для большинства словомъ возбуждать чувство любви къ отечеству, а если оно уже возбуждено, поддерживать его въ уровень событіямъ; русскимъ сердцемъ давать вѣсть русскимъ сердцамъ или откликаться на ихъ голосъ; «при возстаніи душъ дѣйствовать на нихъ силою нравственной, при которой нѣтъ надобности въ сотняхъ тысячъ рублей». Вотъ мѣсто, занятое Глинкою съ 1808 г. Не онъ искалъ его: безъ его домогательствъ «оно

(*) С.петербургскія Вѣдомости, 1847, №№ 277 и 278

(**) Французское посольство указывало на статью о тильзитскомъ мирѣ. Во вниманіе къ его жалобѣ, цензору журнала, профессору Мерзлякову, сдѣланъ былъ выговоръ, а издатель, по политическимъ обстоятельствамъ, уволенъ отъ московскаго театра, гдѣ состоялъ на службѣ. Но журналъ нашли нужнымъ сохранить (Записки С. Н. Глинки, Рус. Вѣст. 1865, іюль).

было ему указано необычайными обстоятельствами, съ которыми онъ шелъ на ряду». Глинка, какъ онъ самъ говоритъ, «жилъ среди народа и жизни народной». Онъ умѣлъ толковать съ нимъ и для него; «непрестанное присутствіе его на площадяхъ, на рынкахъ, на улицахъ московскихъ сроднило съ нимъ взоры, сердца и мысли московскихъ обывателей». Духъ народа признаетъ своимъ вождемъ того, кто самъ, безусловно и непосредственно, проникнуть этимъ духомъ. И потому-то на Поклонной горѣ, въ ожиданіи прибытія Государя (1812), тысячи голосовъ воскликнули Глинкѣ: «ведите насъ!» и тысячи людей двинулись за нимъ по одному слову: «впередъ!» Потому-то нѣкоторые воспитанники московскаго университета, юноши-патріоты, являлись къ нему, въ томъ же 1812 г., съ просьбами содѣйствовать ихъ усердію: «вашъ Русскій Вѣстникъ», говорили они ему, «воспламенилъ нашъ духъ; помогите намъ жертвовать собою отечеству». Искренняя дѣятельность Глинки мирила съ нимъ литературныхъ его противниковъ, другаго образа мыслей по всемъ другимъ предметамъ, по одного и того же понятія о необходимости воевать перомъ съ посягателями на честь и независимость народа. По тому же близкому и живому соотношенію съ публикой, Русскій Вѣстникъ получалъ изъявленія благодарности отъ многихъ жителей провинцій и пріобрѣлъ извѣстную степень политическаго значенія. Съ 1812 г., когда «жизнь сдѣлалась послѣднимъ условіемъ» горячаго патріота, Глинка становится виднымъ общественнымъ дѣятелемъ: онъ первый записался ратникомъ въ московское ополченіе, получилъ Владиміра 4-ой степени, «за любовь къ отечеству, доказанную сочиненіями и дѣяніями», и 300,000 руб. экстраординарной суммы, которою могъ распоряжаться по усмотрѣнію. Государь возложилъ на него особые порученія, по которымъ онъ былъ долженъ совѣщаться съ московскимъ главнокомандующимъ, графомъ Растопчинымъ. Эти порученія состояли въ томъ, чтобы успокоивать умы московскихъ жителей, внушать имъ единомысліе и осторожность, предостерегать отъ смятенія и робости. Для характеристики Глинки достаточно сказать, что триста тысячъ руб. остались въ казнѣ сполна: онъ не истратилъ изъ нихъ ничего, будучи убѣжденъ, что «для русскаго сердца достаточно силы слова, идущаго отъ души». Въ это время Русскій Вѣстникъ получилъ еще большее дѣйствіе. «Онъ облекся въ плоть и кровь», говоритъ кн. Вяземскій. «Одно заглавіе его было уже знамя. Глинка перенесъ свою литературу на площадь. Онъ попалъ на свою колею. Онъ былъ рожденъ народнымъ трибуномъ, но трибуномъ законнымъ, трибуномъ правительства. Онъ умѣлъ по православному говорить съ православными. Рѣчами своими онъ успокоивалъ и ободрялъ народъ».

Недолговременна была красная пора журнала Глинки. «Бѣдный мой Русскій Вѣстникъ упалъ», говоритъ онъ печально въ своихъ «Запискахъ». Я началъ прибавлять къ нему «Дѣтское Чтеніе», но и это предпріятіе мало имѣло хода. Если время приготовляетъ зданіе къ неизбѣжному паденію, тогда тщетны всѣ подмостки. Такъ случилось и съ Русскимъ Вѣстникомъ. Вызовы Мицина, Пожарскаго и другихъ старожилонъ лѣтописей нашихъ утомляли слухъ. Духъ времени требовалъ освѣщенія». Фактъ вѣрно рассказанъ, но объясненіе его только на-половину вѣрно. Не одно время здѣсь виновато. Конечно, съ прекращеніемъ обстоятельствъ, вызвавшихъ извѣстную дѣятельность, ослабѣваетъ и возбужденный ею интересъ; однакожъ зданіе можетъ стоять долго, если оно построено искуснымъ архитекторомъ, который промѣ того отпускаетъ на его поддержку достаточный матеріалъ. У Глинки не было ни строительнаго искусства, ни способности выдерживать достойное направленіе. Въ печати онъ отличался такою же торопливостью, какъ и въ разговорѣ. Онъ, такъ сказать, писалъ походя, какъ

вные походя ѣдятъ. Его скороговореніе и скорописаніе вошли въ поговорку. А при спѣшной работѣ некогда вдумываться въ предметъ, находить его точные признаки, цѣнить и взвѣшивать правильно. Не ошунью ступаль онъ, какъ замѣчено однимъ изъ тогдашнихъ журналовъ, а бѣгомъ бѣгалъ онъ «въ темныхъ переходахъ оружейной палаты нравственныхъ русскихъ сокровищъ». Соображеніе уроковъ Зотова съ правилами Локка и Руссо, сличеніе наставленій Полоцкаго съ мыслями Декарта, Вольтера и Дидро суть не что иное, какъ сужденія на авось, выводы съ плеча. Они не далеко ушли отъ тѣхъ, которые сатира Воейкова придумала въ духѣ Глинки, а именно, что Расинъ укралъ Гоголю изъ Стоглава, а въ Андромахѣ подражалъ «Погребенію кота» (*). Ни одинъ образованный читатель не могъ мириться съ подобными литературными странностями. Чувство національнаго достоинства всегда важно, и въ эпоху предстоящей отечеству опасности оно получаетъ особенное значеніе; но противоположеніе отечественнаго чужеземному въ благопріятномъ для народной гордости свѣтѣ тогда только достигаетъ цѣли, когда благопріятное въ то же время истинно, а не сочинено. Глинка, разумѣется, не выдумывалъ, но онъ часто думалъ видѣть то, чего на самомъ дѣлѣ не было. И въ другихъ работахъ онъ оставался вѣренъ своему темпераменту. Все у него дѣлалось на живую нитку. Русскую исторію писалъ онъ шутя, по отзыву его пріятелей. Самъ онъ откровенно сознается, что и въ глаза не видалъ тѣхъ книгъ, на которыя ссылался въ подкрѣпленіе гипотезы о родствѣ славянъ съ руссами, а цитировалъ изъ нихъ мѣста по выпискамъ, приведеннымъ въ другихъ сочиненіяхъ. Удивляться ли послѣ этого, что съ 1813 г. Русскій Вѣстникъ отошелъ въ сторону, уступивъ свое мѣсто «Сыну Отечества», основанному Н. Гречемъ въ 1812 г? Знаменемъ этого журнала былъ также патріотизмъ, но издатель умѣлъ сообщить ему и литературное достоинство. Неудивительно также, что Русскій Вѣстникъ имѣлъ противниковъ. Они возставали не противъ основнаго начала журнала: здѣсь не могло быть разномыслія, а противъ исключительности убѣжденія, которое само по себѣ не подлежало ни сатирѣ, ни критикѣ, противъ крайняго понятія о національности. Одни изъ литераторовъ, не касаясь журнальнаго направленія, смѣялись надъ странностями и промахами Глинки. Другихъ оскорбляло «сомнѣніе Глинки въ любви русскихъ къ отечеству, грозившее сдѣлаться какъ бы заразительною болѣзнію». Для третьихъ (и эти смотрѣли на дѣло серьезно) литературное старообрядство Глинки противорѣчило ходу отечественной цивилизаціи, возможной только при тѣснѣйшемъ сближеніи съ Европою. Въ своихъ упрекахъ защитникамъ исключительно-русскаго направленія они были руководимы также патріотизмомъ, который требовалъ вести Россію по пути общечеловѣческаго, европейскаго образованія. Подъ вліяніемъ этой мысли Цвѣтникъ (**) представилъ, какъ Глинка, сначала обогрѣвшись на солнцѣ, которое Петръ I возжегъ на русскомъ небѣ, потомъ внезапно и добровольно бросился въ болото, изъ котораго преобразователь вытащилъ наше общество. По поводу драмы Глинки: «Мининъ», издатель Вѣстника Европы замѣтилъ, что авторъ ея пишетъ «для двухперстнаго сложенія и мучныхъ лавокъ». Въ одной французской эпиграммѣ сказано, что Глинка самонадѣянно проповѣдуетъ своимъ согражданамъ невѣжество.

Кромѣ «Мыслей въ слухъ на Красномъ крыльцѣ» и комедіи «Вѣсти или убитый живой», гр. Растопчинъ написалъ повѣсть: «Охъ, французы!» (***). Цѣль ея таже,

(*) Ист. Христ. II, 229.

(**) 1810, № 8 (См. Ист. Христ. II, 228—229).

(***) Нап. въ 10 № Отеч. Записокъ 1842 г.

что и прежнихъ сочиненій—возбудить національное чувство Русскихъ, отчужденныхъ иностраннымъ воспитаніемъ отъ отечества. Одаренный необыкновенными способностями, Растопчинъ былъ проникнутъ ненавистью къ чуждымъ влияніямъ на современное ему общество. Онъ преслѣдовалъ не одно ослѣпленіе родителей, ввѣрившихъ молодое племя руководству французовъ, но и всю систему веденія дѣлъ, официальныхъ и неофициальныхъ, когда замѣчалъ, что она идетъ въ сторону отъ чисто-русскаго направленія (*). По званію московскаго главнокомандующаго (1812—1814) онъ обнаружилъ и рѣзкія отличія своего характера, о которомъ здѣсь не мѣсто говорить, и умѣнье, въ исключительную минуту, дѣйствовать не только административными распоряженіями, но и словомъ къ народу. Если оригинально-умныхъ рѣчей его заслушивались самые умные и образованные люди, то «растопчинскія» афишки (1812) принадлежатъ къ образцовымъ произведеніямъ по духу народныхъ понятій и по чисто-народному складу рѣчи. Каждая мысль ихъ вылита въ пословицу. Онѣ оказывали именно то дѣйствіе, какого желалъ ихъ авторъ: ободряли робкихъ, успокаивали взволнованные умы, обуздывали самоуправство толпы (**) и извѣщали о военныхъ событіяхъ на столько, на сколько это находило нужнымъ начальство по соображенію тогдашнихъ обстоятельствъ. Растопчинъ не былъ записнымъ литераторомъ; онъ принимался за перо только въ особенныхъ случаяхъ, когда явное или тайное нашествіе враждебной намъ силы требовало воззваній къ національному чувству. Но живой, бойкій языкъ, не стѣсненный рутинерствомъ, меткое и рѣзкое остроуміе, своеобразность колкой и желчной сатиры ставятъ его въ число немногихъ оригинальныхъ писателей нашихъ. Онъ, какъ говорится, не ходилъ въ карманъ за словомъ, и не чувствовалъ ложнаго стыда, если слово являлось крупное, подъ пару его крупной мысли. Легко предугадывать, что бы изъ него вышло, еслибъ онъ посвятилъ себя исключительно литературѣ (***).

Говоря о растопчинскихъ афишкахъ, необходимо сказать нѣсколько словъ о коллекціи каррикатуръ, которыя въ 1812 г. выходили въ Петербургѣ. Она заключаетъ въ себѣ гравюры иглою (черныя и большею частію иллюминированныя), гравюры подъ карандашъ и гравюры aqua tinta, съ замысловатыми, весьма часто въ народномъ духѣ сложенными подписями. Сюжетами ихъ служатъ событія и анекдоты отечественной войны, по разсказамъ журналовъ, въ особенности Сына Отечества. Большинство картинокъ принадлежитъ талантливому скульптору Ивану Ивановичу Теребеневу, умершему въ молодыхъ лѣтахъ (1815)—отцу исполнителя гранитныхъ каріатидъ на подъѣздѣ зданія Музея Императорскаго Эрмитажа. Кромѣ Теребенева, занимался составленіемъ подобныхъ же картинокъ Иванъ Алексѣевичъ Ивановъ († 1848), инспекторъ рисовальныхъ классовъ въ Академіи Художествъ, извѣстный по рисункамъ къ роскошнымъ изданіямъ басенъ Хемницера и Крылова, и Алексѣй Гавриловичъ Венеціановъ,

(*) Воротясь изъ Владиміра въ столицу, по выходѣ изъ нея французовъ, Растопчинъ, въ письмѣ въ одному пріятелю, иронически замѣтилъ, что теперь министръ финансовъ и другіе его товарищи, вѣроятно, примутся за «русскія» дѣла (Письма Растопчина къ Д. И. Киселеву, въ 12 № Рус. Архива на 1863 г.).

(**) Ист. Христ. II, 194, прим. 4. Въ письмѣ къ управителю его имѣніямъ (изъ Франкфурта 1815), гр. Растопчинъ говоритъ: «Въ нѣмецкой землѣ мнѣ дѣлаютъ почести и признаютъ главнымъ орудіемъ гибели Наполеона, въ чемъ онъ самъ признается: ибо если бы въ Москвѣ былъ бунтъ, то куда бы дѣлось дворянство и какія бы были послѣдствія?» (Рус. Архивъ 1864, № 4).

(***) Растопчинъ и французскимъ языкомъ владѣлъ такъ же мастерски, какъ русскимъ. Его «*mes mémoires ou moi au naturel écrits en dix minutes*», такъ оригинальны, что въ переводѣ теряютъ половину своей прелесть.

отецъ живописи русскаго быта († 1846). Гравюры Теребенина отличаются большею исправностью рисунка и юморомъ; всѣ онѣ раскрашенныя и съ подписью. Гравюры Алексѣева и Венеціанова уступаютъ первымъ въ искусствѣ расположенія и выраженія характеровъ; онѣ большею частію безъ подписи (*). Всѣ онѣ расходились въ большомъ количествѣ, служа средствомъ или для осмѣянія врага, или для возбужденія къ нему ненависти. Чтобы познакомить съ этимъ проявленіемъ патріотическаго духа, беремъ изъ коллекціи нѣсколько картинокъ. Подъ одной изъ нихъ: *Вороній сунгъ* (**) подписаны стихи:

Бѣда намъ съ великимъ нашимъ Наполеономъ!
Кормилъ насъ въ походѣ изъ костей бульономъ.
Въ Москвѣ пошноровать свистѣлъ у насъ зубъ:
Не тутъ-то! похлебаемъ же хотъ вороній сунгъ.

Другая представляетъ Наполеона и его воиновъ въ снѣгу по грудь. Двое маршаловъ спрашиваютъ его: какъ прикажете написать въ бюллетенѣ?—Пишите (отвѣчаетъ онъ): остановились на зимнихъ квартирахъ. Заглавіе третьей: *Русскій ратникъ домой возвращаясь*. На ружейномъ стволѣ висятъ три француза, двое другихъ воткнуты на штыкѣ; сынъ ратника, мальчикъ лѣтъ четырехъ, ѣдетъ верхомъ на французскомъ знамени; внизу слова ратника, идущаго за сыномъ съ ружьемъ на плечѣ: «для курьёзу ребятишкамъ бирюлекъ принесъ». Четвертая: *Крестьянинъ Иванъ Долбила кладетъ вилами французовъ на возъ!* съ подписью: «вотъ и вилы тройчатки пригодились убирать да укладывать; ну, муе, полно вздрагивать». Пятая: *Французы голодные крысы въ командѣ у старостихи Василисы*. Старостиха на конѣ; двое плѣнныхъ французовъ становятся передъ нею на колѣни, а третьяго старуха ведетъ на веревочкѣ. Въ подписи слова старостихи:

Добрыхъ людей
Да званыхъ гостей
Съ честію у насъ встрѣчаютъ
И въ передній уголь сажаютъ;
А незваныхъ нахаловъ,
Грабителей басурмановъ
Съ безчестьемъ прогоняютъ
И кулакомъ провожаютъ.
Знать вы въ Москвѣ-то не солоно похлебали,
Что хуже прежняго и тоще стали,
А кабы занесло васъ въ Питеръ,
Онъ бы вамъ всѣ бока повитеръ.

Шестая: Наполеонъ и его маршалъ пляшутъ въ присядку, подъ пѣсню: «Ахъ, скучно мнѣ на чужой сторонѣ». Одинъ русскій крестьянинъ постегиваетъ маршала плетью, а другой—Наполеона розгой, приговаривая (въ подписи):

И мы твою, братъ, слышали погудку:
Въ присядку попляши теперь подъ нашу дудку (***).

Наконецъ седьмая: *Консилиумъ*. На сценѣ два доктора. Одинъ изъ нихъ, шупая у Наполеона пульсъ и голову, передаетъ другому симптомы и вмѣстѣ причины болѣзни:

(*) За сообщеніе этихъ свѣдѣній я обязанъ искреннею благодарностью Петру Николаевичу Петрову, служащему въ И. П. Б.

(**) Тотъ же самый сюжетъ рассказанъ въ баснѣ Крылова: Ворона и Курица.

(***) Пѣсня: «За горами, за долами, Бонапарте съ плясунами», сочиненная Ковалинскимъ, сдѣлалась народною.

«Языкъ бѣлехонекъ (въ наказаніе за то, что много лгалъ въ бюллетеняхъ).—Пульсъ едва бьется! (отъ чрезмѣрнаго кровопусканія).—Голова въ страшномъ жару (отъ того, что не удались сумасбродные планы)».—Наполеонъ замѣчаетъ: «Надобно скорѣе убираться въ Парижъ. Видно въ Россіи климатъ мнѣ не благопріятствуетъ».

При чтеніи своего «разсужденія о любви къ отечеству» (1812) (*), Шишковъ имѣлъ передъ собою хотя многочисленную, но избранную публику. Его слово получило высшее и обширѣйшее дѣйствіе, когда онъ былъ назначенъ статсъ-секретаремъ при императорѣ Александрѣ въ отечественную и заграничную войны. Вся Россія внимала въ это время манифестамъ, грамотамъ, рескриптамъ, приказамъ по арміи и другимъ извѣщеніямъ, выходившимъ изъ подъ его пера (**). Не ему, конечно, принадлежало содержаніе того, что доводилось до всенароднаго свѣдѣнія, но внушаемое свыше онъ проводилъ въ своей рѣчи, въ которой нельзя не видѣть духа вѣры и патріотизма, непреклоннаго сопротивленія врагу, христіанской покорности провидѣнію и христіански великодушнаго пользованія успѣхами. Если изъ двухъ лицъ, Карамзина и Шихова, имѣвшихся въ виду для занятія мѣста государственнаго секретаря, Александръ остановился на послѣднемъ, то это предпочтеніе было ему оказано по основательнымъ причинамъ. При тогдашнихъ обстоятельствахъ, перо Шихова оказывалось болѣе сподручнымъ. Какъ литераторъ, онъ, конечно, стоялъ ниже Карамзина, но въ воззваніяхъ къ народу литературная обработка рѣчи занимаетъ не первое мѣсто. Языкъ Шихова, образованный на духовныхъ и старинныхъ книгахъ, слышнѣе, непосредственнѣе доходилъ до большинства грамотныхъ и неграмотныхъ. Съ перваго же раза чувствовался въ немъ голосъ русскаго книжника, крѣпкаго родной старинѣ, не разъединеннаго съ нею чужеземными повизнами, — голосъ искренній и твердый, хотя не блистающій особенными красотоми. Стихи А. Пушкина:

Сей старецъ дорогъ намъ: онъ блещетъ средь народа
Священнои памятью двѣнадцатаго года,

поэтически и вѣрно выражаютъ историческую заслугу Шихова.

«Бесѣда любителей русскаго слова» (1814—1816) съ своей стороны трудилась надъ распространеніемъ мысли о томъ, какъ вредна подражательность и какъ важно самобытное развитіе. Хотя она поставила себѣ задачей «обогащать и возвышать родную словесность красотоми священнаго и народнаго языка», но уже изъ понятія ея членовъ о неразрывной связи языка съ общественною нравственностью было очевидно, что, говоря объ одномъ предметѣ, они не могли не касаться и дѣйствительно касались другаго. Въ «Чтеніи», издававшемся Бесѣдою (***) не мало статей, направленныхъ къ прославленію и оборонѣ всего русскаго, къ отраженію не-русскаго. Статья Филатова «о несправедливомъ сужденіи иностранныхъ писателей о Россіи», опровергаетъ мнѣніе историковъ, въ особенности Кондильяка и Миллота, которые на русскіхъ до XVIII вѣка смотрѣли какъ на дикарей, живущихъ въ первобытномъ состояніи. Она доказываетъ, что въ Россіи до Петра существовали уже законы, воинство, торговля, словесность, художества. Въ разсказахъ, заключающихъ въ себѣ мало историческаго, П. Львовъ, въ формѣ и тономъ панегирика, старался представить

(*) См. выше, стр. 76.

(**) Собраніе ихъ издано Шиховымъ въ 1816 г.

(***) Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова, 19 книжекъ (1811—1815). Вторая книжка раздѣлена на двѣ части.

политическое и нравственное величіе той же до-петровской Руси (Избраніе на царство Михаила Оеодоровича, Бояринъ Стрѣшневъ, Бояринъ Матвѣевъ) (*). «Краткое начертаніе о славянахъ и славянскомъ языкѣ» (Д. Воронова) зашло въ своихъ гипотезахъ слишкомъ отважно и далеко. Изъ мысли о языкѣ, какъ отпечаткѣ жизни и нравственныхъ силъ народа, авторъ выводитъ, что «славяне, наши предки, долженствовали быть и дѣйствительно были народъ могущественный и твердый, ибо въ языкѣ его вездѣ открываемъ отличительныя свойства силы, твердости и богатства, а сіе также убѣждаетъ вѣрить, что онъ могъ быть господствующимъ въ Европѣ, особливо въ такое время, когда могущество славянъ перѣдко потрясало основанія константинопольскаго престола и когда римская имперія готова была низринуться въ пропасть со степени прежняго своего величія». «Письмо въ Бесѣду» (**) есть переводъ (вѣроятно псевдо-переводъ) рѣчи одного жителя Помераніи, доктора Пуфа, къ своимъ одноземцамъ, восхваляющей «грубыхъ Поморцевъ или Поморянъ» за то именно, что они грубы, т. е. не усвоили чужихъ нравовъ и остались настоящими нѣмцами. «Что такое мы были?» спрашиваетъ авторъ? «Мы были, когда все наводнено было чужеземцами, истые нѣмцы.... Покуда мы отечество свое любить и нравы свои сохранять будемъ, до тѣхъ поръ не перестанемъ, гдѣ бы мы ни были, быть поморянами, по пословицѣ: хотъ въ Римѣ будемъ, а все будемъ поморяне». Басня Крылова «Червонецъ» (1812) выставляетъ вредъ наружно-европейской образованности, подъ которою многіе разумѣютъ «прельщеніе роскоши и развратъ». Ложная образованность, говорится въ нравоученіи басни, снимая грубую кору съ людей, ослабляетъ ихъ духъ, портитъ нравы, различаетъ съ естественной простотой, сообщаетъ имъ мишурный блескъ и вмѣсто славы навлекаетъ на нихъ безславіе.

Славянофильство Шишкова, высказанное имъ по поводу споровъ о языкѣ, не ограничивалось однимъ языкомъ, но обнимало собою понятіе о цѣломъ кругѣ народной жизни, преимущественно о народной нравственности. Этимъ нравственнымъ началомъ оно примыкаетъ къ тому направленію общественной мысли, которое, при Екатеринѣ II, имѣло своимъ идеаломъ самобытность національнаго развитія (***). Патріотическимъ настроеніемъ, усиленнымъ событіями 1805—1814 годовъ, оно состоитъ въ родствѣ съ историческими трудами Ломоносова и Тредьяковскаго; а основнымъ, филологическимъ вопросомъ напоминаетъ изысканія Тредьяковскаго. Славянофильство Карамзина, какъ результатъ его историческихъ занятій и соображеній прошлаго съ настоящимъ, осмотрительнѣе, не переходя ни въ обольщеніе однимъ предметомъ, ни въ предубѣжденіе и ненависть къ другому. Оно занимаетъ умную середину между требованіями строго-консервативными и безусловнымъ порываніемъ къ европеизму.

Дѣйствія Шишкова и его послѣдователей произвели ли желаемое дѣйствіе, или были голосомъ вопіющихъ въ пустыни? Отказалось ли русское общество отъ подражанія французамъ, даже послѣ 1812 года? Если дѣло идетъ объ иностранномъ воспитаніи юношества, на что въ особенности и нападалъ Шишковъ, то современники отвѣчаютъ отрицательно. Вотъ что сказано въ журналѣ Амфіонъ (1815) по случаю разсказа о какой-то Софіи, отказавшей своему жениху, русскому офицеру, и вышедшей замужъ

(*) Другія его сочиненія въ томъ же родѣ: Храмъ славы російскихъ героевъ (1803); Картина славянской древности (1803); Пожарскій и Мининъ (1810); Похвальное слово Алексѣю Михайловичу (1810) и пр.

(**) Чтеніе, кн. 19 (1815).

(***) Ист. Рус. Слов. I, § 229.

за француза, спасеннаго этимъ офицеромъ при Тарутинѣ: «Казалось бы, что послѣ недавнихъ происшествій поклоненіе французамъ должно исчезнуть. Ныне думаютъ, что ему надлежало даже обратиться въ вѣчную народную ненависть. Это правда. Но, къ сожалѣнію, тѣже мадамы и тѣже гувернеры опять приняты учителями въ тѣ самые дома, которые были разграблены руками сихъ учителей» (*). Мы увидимъ, что сатирѣ и комедіи суждено будетъ снова преслѣдовать неисправимое обезьянство русскихъ, отсутствіе въ нихъ народнаго любочестія и духа независимости. А съ другой стороны, лѣтъ черезъ шесть послѣ отечественной войны начали раздаваться ные голоса, осуждавшіе, во имя достойныхъ началъ, слѣпую ненависть къ иностранцамъ, которая, какъ крайность, сходится съ другою крайностью—слѣпою любовью ко всему иностранному.

§ 22. Мы слѣдили за направленіемъ мысли въ сочиненіяхъ Карамзина, Шишкова и писателей, примыкавшихъ къ тому или другому. Теперь намъ предстоитъ обзоръ литературныхъ произведеній по ихъ формѣ, въ главныхъ отдѣлахъ поэзіи и прозы.

Относительно формы, литература первыхъ двадцати лѣтъ XIX вѣка, въ большинствѣ своихъ явленій, служила продолженіемъ литературы Екатериніина времени. Французскій классицизмъ не уступалъ своей властидругимъ направленіямъ, такъ что и поэзія Жуковского среди его господства стояла одинокимъ фактомъ. «Исключительная любовь къ французской словесности», писалъ Батюшковъ въ 1814 г., «неизлечима: она выдержала всѣ возможныя испытанія и времени и политическихъ обстоятельствъ. Все было сказано на сей счетъ; всѣ укоризны, всѣ насмѣшки Таліи и людей просвѣщенныхъ остались безъ пользы, безъ вниманія» (**). Но укорять и смѣяться легко; другое дѣло—замѣстить достойное укора и смѣха чѣмъ-либо инымъ: вотъ здѣсь-то возникаетъ настоящая трудность. Наши служители Таліи, выставя на публичный смѣхъ пристрастіе къ французской словесности, шли по слѣдамъ той же словесности: они переводили Мольера, Дедуша и другихъ комиковъ временъ Людовика XIV и Людовика XV, или подражали имъ по мѣрѣ своихъ способностей. Наша сатира противъ галломаніи страдала тою же самою болѣзнію: она была переводомъ сатиръ Буало или такъ называемымъ ихъ воспроизведеніемъ, которое нерѣдко ограничивалось замѣной иностранныхъ собственныхъ именъ русскими. Просвѣщенные люди, о которыхъ упоминаетъ Батюшковъ, всѣ почти получили свое просвѣщеніе изъ французскихъ книгъ, на французскій ладъ. Исключительное господство псевдоклассицизма въ нашей литературѣ извѣстнаго періода есть явленіе историческое, необходимое слѣдствіе нашей цивилизаціи, общее съ такимъ же слѣдствіемъ въ другихъ странахъ. Можно жалѣть объ этомъ, но сердиться на него и несправедливо, и нездорово. Отрѣшеніе отъ избранной доктрины или образца возможно только при помощи новыхъ доктринъ или новыхъ образцовъ. Для знакомства же съ произведеніями другихъ литературъ, кромѣ французской, и другими теоретиками, кромѣ Буало, прежде всего необходимо знаніе иностранныхъ языковъ, не одного французскаго. Это знаніе заходило въ среду нашихъ литераторовъ случайно, а случай—по старинной поговоркѣ—дуракъ: отъ него нельзя ожидать ничего прочнаго. Да и случайное знаніе обращалось на пользу лжеклассицизма. Ломоносовъ зналъ нѣмецкій языкъ, но подражалъ нѣмцамъ именно въ томъ,

(*) Амфіонъ, № 1.

(**) Письмо къ И. М. Муравьеву-Апостолу о сочиненіяхъ М. И. Муравьева (Полное собраніе сочиненій М. И. Муравьева, 1819, ч. I).

что они заимствовали у французов; Княжнинъ зналъ италіанскій языкъ, но его Дидона и Софонисба—трагедіи совершенно французской постройки. Мы и греко-римскихъ классиковъ переводили съ французскихъ переводовъ. Что касается до теоріи изящныхъ искусствъ и поэзіи въ особенности, то въ нашихъ университетахъ, или лучше въ московскомъ университетѣ, эстетика и пѣтика преподавались не такимъ образомъ, который могъ бы указывать односторонность и недостатки французскаго классицизма и внушать сочувствіе къ другимъ поэтическимъ направленіямъ. Профессоръ Сохацкій и его преемникъ Мерзляковъ вооружались противъ возникавшаго романтизма. Еще строже осуждалъ Мерзляковъ произведенія А. Пушкина. Онъ никакъ не хотѣлъ приписать успѣхъ комической оперы «Мельникъ» (Аблесимова) тому обстоятельству, что она, по общему тогда понятію, «сочинена въ русскихъ нравахъ». Съ его точки зрѣнія популярность піесы объясняется сохраненіемъ въ ней законовъ классической драмы. Въ одномъ изъ своихъ критическихъ чтеній (*) онъ доказываетъ, что «Мельникъ», подобно лучшимъ трагедіямъ и комедіямъ, вполне оправдываетъ эстетическіе законы Аристотеля, наставленія Горация и Буало, и вообще правила науки о вкусѣ. Между тѣмъ критикъ, по своему происхожденію, стоялъ близко къ народу и сочинилъ нѣсколько пѣсенъ въ духѣ народной поэзіи; онъ зналъ древніе языки, а изъ новыхъ, кромѣ французскаго, нѣмецкій и италіанскій: слѣдовательно имѣлъ способы отрѣшиться отъ одностороннихъ вліяній. Чего же было ожидать отъ тѣхъ литераторовъ, которые, по своему образованію, чуждались народной поэзіи и не знали сущности истиннаго классицизма? Волею-неволею приходилось имъ вращаться въ единственномъ для нихъ, неизбѣжномъ кругу французскихъ воззрѣній на искусство и французскихъ образцовъ. Комедія Грибоѣдова: «Горе отъ ума» (1823) была, встрѣчена ожесточенными нападками нѣкоторыхъ критиковъ преимущественно по той причинѣ, что она не напоминала собою обычной французской комедіи. Поэтому негодовать на литературную галломанію эпохи, о которой мы говоримъ, такъ же было бесполезно, какъ вооружаться противъ галломаніи въ воспитаніи. Что же дѣлать, когда въ то время не было вовсе хорошихъ русскихъ педагоговъ? Что дѣлать, когда и теперь, на каждомъ шагѣ, чувствуется въ нихъ большой недостатокъ?

§ 23. Восемнадцатый вѣкъ былъ временемъ господства нашей торжественной лирики, а Ломоносовъ и особенно Державинъ главными ея представителями. Хотя многіе стихотворцы, замѣнявшіе одушевленіе высокопарностью, содѣйствовали упадку этого поэтическаго рода; хотя кредитъ его былъ подрываемъ меткою сатирой на оды-реляціи или оды-поученія, какъ называлъ ихъ Дмитріевъ въ «Чужомъ толкѣ» (1795): однакожь онъ не тотчасъ потерялъ свое значеніе послѣ того, какъ достигъ наибольшей высоты въ произведеніяхъ Державина, и только по силѣ особенныхъ обстоятельствъ уступилъ свое мѣсто другимъ отдѣламъ лирической поэзіи. Отсюда не слѣдуетъ, чтобы оды, извѣстныя подъ именемъ торжественныхъ (героическихъ, похвальныхъ), навѣки отошли въ область исторіи: онѣ могутъ существовать до тѣхъ поръ, пока будутъ существовать и предметы, способные своимъ величіемъ возбуждать одушевленное чувство, и поэты, способные вдохновляться великими предметами природы и человѣчества. Но въ историческую область отойдутъ тѣ указныя формы и приемы, которыми наши стихотворцы, въ подражаніе чуждымъ образцамъ, пользовались при выраженіи своихъ чувствъ.

(*) Вѣст. Европы 1817, № 6.

И. Дмитриевъ, такъ остроумно смѣявшійся надъ одоманіей въ упомянутой сатирѣ «Чужой толкъ», написалъ три стихотворенія по поводу современныхъ или давнопрошедшихъ событій отечественной исторіи: «Гласъ патріота на взятіе Варшавы», «Ермакъ» и «Освобожденіе Москвы» (Пожарскимъ). Первое стихотвореніе, по тону, языку и приемамъ, до такой степени подходитъ къ лирѣ Державина, что даже почиталось произведеніемъ сего послѣдняго. Чувство, выражаемое вторымъ стихотвореніемъ, развито въ формѣ разговора между двумя сибирскими шаманами—старымъ и молодымъ; только въ началѣ и концѣ авторъ говоритъ отъ своего лица. Соединеніе эническаго элемента (разказа шамана) съ изліяніемъ чувствъ заставило назвать эту піесу лирической поэмою. Въ «Освобожденіи Москвы», Дмитриевъ отъ настоящаго состоянія первопрестольнаго города—его блеска и красоты—переносится мыслію къ прошедшимъ его бѣдствіямъ, когда онъ страдалъ отъ поляковъ. Общее достоинство этихъ одъ—искреннее патріотическое чувство, выраженное, если не въ цѣломъ, то въ частяхъ, сильными стихами, почему современные читатели и критики причисляли ихъ къ образцовымъ произведеніямъ русской лиры. Нѣкоторыя мѣста, какъ примѣры изящнаго слова, вошли въ руководства къ риторикѣ и піитикѣ. Обращеніе къ Екатериинѣ (въ Ермакѣ): «речешь—и двигнется полсвѣта», и обращеніе къ Ермаку: «великій! гдѣбъ ты ни родился», стояли въ ряду такъ называемыхъ фигуръ чувствъ. Бой между Ермакомъ съ Мегметгъ-Куломъ—близкое подражаніе единоборству Сварана, сына Старнова, съ Финномаломъ (въ пісняхъ Оссіана)—цитировался, какъ образецъ поэтической живописи. Недостатокъ, общій всѣмъ тремъ піесамъ, состоитъ въ гиперболизмѣ представленія, который прежніе стихотворцы неправильно почитали какъ бы дозволенною поэтическою вольностью. Особенно страдаетъ имъ конецъ лирической поэмы «Ермакъ». Чтобы ни думалъ авторъ о подвигѣ завоевателя Сибири, похвала этому подвигу крайне превысила мѣру его историческаго значенія:

... ты, великій человѣкъ,
Пойдешь въ ряду съ полубогами
Изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ;
И славы лучъ твоей затмится,
Когда померкнетъ солнца свѣтъ,
Со трескомъ небо развалится
И время на косу падетъ.

Такъ нельзя сказать ни объ одномъ вонтелѣ или можно сказать о весьма немногихъ герояхъ. Послѣ этого мы не найдемъ уже ни достаточно сильныхъ словъ, ни достаточно приличныхъ образовъ для возвеличенія Петра—бога Россіи, по выраженію Ломоносова. Подобнымъ преувеличеніемъ страдаютъ и послѣдніе стихи въ Освобожденіи Москвы. Вторая погрѣшность Ермака—фигуры шамановъ, которыхъ рѣчи, мысли и чувства начертаны по образцу оссіановскихъ героевъ: это не дикіе служители дикаго язычества, а плодъ авторскаго воображенія, настроеннаго піесами шотландскаго барда. На слабую сторону оды «Гласъ патріота» указали сначала Карамзинъ, при самомъ ея появленіи (*), а потомъ Пушкинъ нѣсколькими стихами въ «Бородинской годовщинѣ»:

Они (**) народной Немезиды
Не узрять гнѣвнаго лица,

(*) Въ письмѣ къ Дмитриеву (1794), Карамзинъ говоритъ: Ода (Суворову на покореніе Варшавы) и Гласъ патріота хороши поэзією, а не предметомъ. Оставь, мой другъ, писать такія піесы нашимъ стихопропателямъ. Не унижай Музъ и Аполлона. Подражаніе Горацию, *состраданіе* и къ *свирѣлкѣ* достойнѣ твоей лиры по содержанію (Письма Н. М. Карамзина къ И. И. Дмитриеву, 1866, стр. 50).

(**) Враги наши.

И не услышать пѣснь обиды
Отъ лиры русскаго пѣвца.

Подъ обидною пѣснью онъ могъ одинаково разумѣть и стихотвореніе Дмитріева, и оду Державина: «На взятіе Варшавы» (1794). Первый, въ побѣдномъ торжествѣ, обращается къ лукавой союзницѣ:

Ходи съ поникшею главою;
Шатайся, рвись вокругъ селъ несчастныхъ,
Вкругъ древнихъ, гордыхъ, падшихъ стѣнъ,
Въ терзаньяхъ совѣсти ужасныхъ,
И вѣкъ оплакивай свой плѣнъ!

Подобное олицетвореніе находимъ и у втораго:

Лежитъ измѣнница и взоры,
Потупя, обращаетъ вкругъ;
Терзаютъ грудь ея укоры....
И се-днесь надъ Сарматомъ плѣннымъ,
Навѣсясь шлемомъ опереннымъ,
Всесильный Россѣ занесъ свой мечъ.

Разбирая эту строфу, Мерзляковъ замѣтилъ, что «лежакаго ни сѣкутъ, ни рубятъ» (*). Пушкинъ называетъ ее, равно какъ и приведенные стихи изъ піесы Дмитріева, обидною пѣснью, давая тѣмъ знать, что тамъ и здѣсь напрасно оговорено благодушіе русскаго воина, который не любитъ мстить побѣжденнымъ врагамъ. Удачнѣе похвальныхъ одъ вышелъ у Дмитріева гимнъ: «Размышленіе по случаю грома» (1795). Авторъ подражалъ стихотворенію Гете: *Die Grenzen der Menschheit* (**), замѣнивъ пантеистическое воззрѣніе подлинника христіанскимъ понятіемъ о всемогуществѣ Божіемъ и о ничтожности человѣка. Искреннее чувство выражено достойнымъ его словомъ, въ которомъ русская стихія искусно соединена съ церковно-славянскою. Главные представители нашей лирики, Ломоносовъ и Державинъ, имѣли даровитаго себѣ подражателя въ Мерзляковѣ (1778—1830), профессорѣ краснорѣчія и поэзіи въ московскомъ университетѣ. Особенно были извѣстны духовныя его оды: «На разрушеніе Вавилона» (изъ пророка Исаіи, гл. 14, ст. 5—28) и «Пѣснь Моисея по прехожденіи Чермнаго моря» (изъ Исхода, гл. 15, ст. 1—22). Достойныя стоять на ряду съ одой Ломоносова, выбранной изъ книги Іова, онѣ занимали мѣсто въ каждомъ сборникѣ поэтическихъ образцовъ и, какъ таковыя, изучались и въ школахъ и любителями духовныхъ стихотвореній. Не смотря на трудность воспроизведенія подлинниковъ, Мерзляковъ вышелъ изъ нея съ честію. Гердеръ почитаетъ Моисеевъ гимнъ непереводаемымъ: каждый переводъ его будетъ болѣе или менѣе слабымъ подражаніемъ; однакожъ, нельзя сказать, чтобы русскій прелгатель не понялъ ни силы чувствъ въ благодарственной пѣснѣ израильтянъ, ни величія ея образовъ. Другія оды Мерзлякова, въ особенности торжественныя, большею частью замѣняли силу одушевленія риторическою настроенностью: онѣ длинны и скучны.

Изъ библейскихъ книгъ, Псалтирь преимущественно настраиалъ лиру нашихъ стихотворцевъ. Переложенія пѣсней Давида, начатыя Симеономъ Полоцкимъ, слѣдовали одни за другими въ теченіе цѣлыхъ десятилѣтій. Даже тѣ занимались ими, чьи дарованія были мало способны къ такъ называемому пѣснопѣнію. Примѣромъ служить переложеніе 37-го псалма, удачно сдѣланное баснописцемъ Крыловымъ (***). Нѣкоторые же

(*) Амфіонъ, 1815, № 7 (пятое чтеніе въ Бесѣдахъ любителей словесности въ Москвѣ).

(**), Оно переведено г. Струговшиковымъ (Границы челоѣчества).

(***) Ист. Христ. 11, 239.

стихотворцы почти исключительно посвящали себя этому дѣлу. Двѣ части стихотвореній Шатрова (1765—1841), одного изъ первыхъ и вѣрныхъ партизановъ Шишкова, содержатъ въ себѣ подражанія псалмамъ и пѣсни духовныя. Подражанія выказываютъ умѣнье строить звучные, а по мѣстамъ и сильные, стихи, хотя, съ другой стороны, нельзя не согласиться съ замѣткой Жуковского, что стихотворецъ постоянно заботился о томъ, какъ бы «извѣстное и обыкновенное сказать необыкновеннымъ образомъ». Но такое замѣчаніе въ равной мѣрѣ относится ко многимъ не первокласснымъ писателямъ нашимъ, и къ Мерзлякову, быть можетъ, еще болѣе, чѣмъ къ кому нибудь иному. Позднѣе Шатрова, приобрѣлъ большую извѣстность духовными стихотвореніями О. Н. Глинка, родной братъ Сергѣя Николаевича (род. 1788). Сборникъ его переложеній изъ Библии, принимавшихся съ почетомъ журналами и альманахами двадцатыхъ годовъ, изданъ подъ именемъ «Опытовъ священной поэзіи» (1826). Они показываютъ, что авторъ ихъ искренно вдохновлялся святыми истинами Божьяго слова, и потому въ нихъ видишь свойства неподдѣльнаго религіознаго вдохновенія. Теплота, не рѣдко и пламень чувства, смѣлость образовъ и выраженій, звучный и энергическій стихъ составляютъ ихъ безспорныя достоинства. Лучшія между ними: «Земная грусть», «Исканіе Бога», «Гласъ къ Господу», «Горе и благодать», и др. Недостатокъ же ихъ происходитъ главнѣйшимъ образомъ отъ того, что авторъ не столько прелагалъ подлинники, сколько распространялъ ихъ. Такъ, напримѣръ, три стиха изъ третьей книги Царствъ, повѣствующіе о явленіи Іеговы пророку Іліи, развились въ четыре строфы (32 стиха), и самое заглавіе ихъ (Исканіе Бога) не въ точности отвѣчаетъ священному тексту. Піеса читается съ удовольствіемъ, но читатель напрасно сталъ бы искать въ ней той краткости и силы, какія онъ находитъ въ Библии, при описаніи появленій Іеговы Моисею, Іліи, Исаи. Второй недостатокъ еще важнѣе: это—субъективная настроенность переложеній, отъ чего они и вышли замѣтно однообразными. Прелагатель не нашелъ въ себѣ столько поэтической силы, чтобы вполне отрѣшиться отъ своего личнаго чувства. Онъ не отрѣшился даже отъ мистицизма, который умѣстенъ въ рѣчахъ отшельника (въ описательномъ стихотвореніи: «Карелія») (*), какъ слѣдствіе его «духовной брани», долгой войны духа съ плотію и міромъ, но неумѣстенъ въ подражаніяхъ псалмамъ. Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ библейскія книги исполнены великихъ и священныхъ тайнъ; только эти тайны не одно и тоже съ мистицизмомъ. Относительно слога укажемъ на изысканность нѣкоторыхъ антитезъ и сравненій, равно и на употребленіе нѣкоторыхъ словъ не въ точномъ ихъ значеніи.

Однимъ изъ прекрасныхъ памятниковъ вдохновенной лирики былъ и остается «Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ» (1812), Жуковского. Написанное послѣ сдачи Москвы, передъ сраженіемъ при Тарутинѣ, это стихотвореніе служило вѣрнымъ отголоскомъ общаго патріотизма, заслуживъ автору имя Тиртея, воспламенявшаго въ войнахъ бранное мужество и жажду мщенія врагу. Историческое значеніе «Пѣвца» несомнѣнно, но своими лирическими красотами, своимъ національнымъ и вмѣстѣ общечеловѣческимъ содержаніемъ, никогда не теряющимъ цѣны, онъ пережилъ время, въ которое явился. Поэтому нѣкоторые критики ошибочно понижали достоинство пѣсни на томъ основаніи, что поэтъ не сохранилъ вѣрности въ представленіи историческихъ обстоятельствъ, вооруживъ, напримѣръ, русскихъ воиновъ ХІХ вѣка мечами и давъ имъ, вмѣсто киверовъ и шапокъ, шлемы. Судить такимъ образомъ о поэтическихъ созданіяхъ значить выпускать изъ виду главное и устремлять вниманіе на второстепенное. Въ

(*) О немъ будетъ сказано послѣ (Ист. Хр. II, 483).

лирическомъ произведеніи важна вѣрность выражаемаго имъ чувства, а не обстановка этого чувства, которая можетъ грѣшить противъ исторіи. Если голосъ поэта былъ громкимъ эхомъ общаго въ его время настроенія; если въ немъ, какъ въ фокусѣ, сосредоточивались лучи господствующей страсти или мысли; если, при чтеніи его піесы, всѣ одушевлялись одинаковымъ съ нимъ духомъ, вполне воспринимали то самое впечатлѣніе, которое онъ искренно испытывалъ, то дѣло сдѣлано: вдохновеніе принесло добрый плодъ, поэтическая заслуга не подлежитъ спору. Предки наши, современники событій 1812 г., благословляли свое отечество при чтеніи стиховъ Пѣвца:

О родина святая!
Какое сердце не дрожитъ,
Тебя благословляя?

Могли-ли они, подъ вліяніемъ чувствъ, возбуждаемыхъ поэтомъ, ставить ему въ укоръ кой-какіе анахронизмы? И можно-ли намъ, ихъ потомкамъ, не обращая вниманія на поэтическое выраженіе любви къ отечеству, въ чемъ и состоитъ главное достоинство піесы, выискивать ея отступленія отъ исторически-вѣрнаго изображенія предметовъ несущественныхъ?

Другому виду лирической поэзіи, пѣснѣ, у насъ меньше посчастливилось, не смотря на то, что она сосредоточивается на выраженіи непосредственнаго чувства, возбуждаемаго предметомъ, не углубляясь въ самый предметъ. Мы не имѣемъ авторовъ, которые прославили бы свое имя исключительно пѣсенной поэзіей. Нѣкоторые пѣсни, пользовавшіяся особеннымъ успѣхомъ въ нашемъ обществѣ, болѣею частию были явленіемъ случайнымъ, какъ бы нежданной обмолвкой стихотворцевъ, занятыхъ другимъ дѣломъ. Таковы, напримѣръ: «Пятнадцать мнѣ минуло лѣтъ» (Богдановича), «Вечеркомъ въ румяну зорю» (Николева), «Кто могъ любить такъ страстно» (Карамзина). Притомъ ихъ и немного. Пѣсни Нелединскаго-Мелецкаго (1751—1829) и И. Дмитріева долгое время принадлежали къ любимѣйшимъ нашей публики. Послѣдній въ Запискахъ своихъ (*) говоритъ, что пѣсня его «Голубокъ» (1792), вмѣстѣ съ сказкой: «Модная жена», положили начало его извѣстности. Что оказывается при разборѣ какъ этой пѣсни, такъ и другихъ, очень нравившихся прекрасному полу («ахъ, когдабъ я прежде знала»; «всѣхъ цвѣточковъ болѣ»...)? Тоже, что и при разборѣ пѣсень Нелединскаго («выду я на рѣченьку», «у кого душевны силы», «ты велишь мнѣ равнодушнымъ»...): онѣ отвѣчали сентиментальному настроенію литературы и общества. Съ этой стороны надобно признать ихъ достойными произведеніями современной словесности, и громкая извѣстность ихъ авторовъ совершенно удобопонятна: ибо для успѣшнаго выраженія духа времени, каковъ бы онъ ни былъ—истинный или ложный, здоровый или болѣзненный,—необходимо дарованіе. Кто восхищался «Бѣдной Лизой», тотъ, конечно, могъ съ большимъ удовольствіемъ пѣть «Голубка». Ошибка Нелединскаго и Дмитріева состояла въ томъ, что они, служа сентиментализму, думали совмѣщать два элемента—народный и цивилизованный. Первый изъ этихъ элементовъ вводился единственно для поддѣлки подъ безыскусственную поэзію, чуждую сентиментальности и въ которой, кромѣ того, не имѣлось ни малѣйшей надобности. Съ какою цѣлію пѣсни, сочиняемыя для благороднаго, больше или меньше образованнаго, круга и назначаемыя для пѣнія въ гостиницахъ, украшались или, говоря по справедливости, обезображивались приправой кой-какихъ простонародныхъ словъ и выра-

(*) Взглядъ на мою жизнь. 1866.

женій? Они видимо не ладили съ тономъ цѣлаго и, какъ фальшивыя ноты, поражали слухъ каждаго, кому была хорошо знакома лирическая поэзія русскаго народа. Употребленіе нерусскихъ, иногда и мнѳологическихъ именъ, нѳколько не вредило сентиментальной пѣснѣ или роману: Хлоя (въ пѣснѣ: «всѣхъ цвѣточковъ болѣ») и подобныя ей существа были на своихъ мѣстахъ тамъ, гдѣ героиня представлялась пастушкой, а ея милый—пастушкомъ. Неумѣстно лишь то, что Хлоя призвана Дмитріевымъ для выслушанія нравственнаго урока, для котораго собственно и написано стихотвореніе: пѣсня должна выражать чувство, въ его чистой непосредственности, а не служить поводомъ къ проповѣдыванію морали. Еслибы Нелединскій и Дмитріевъ, при сочиненіи своихъ пѣсень, имѣли въ виду воспроизведеніе народной поэзіи, по ея духу и складу, то, конечно, они заслуживали бы строгой критики. Но у нихъ и въ мысляхъ не было такой задачи, которой они, замѣтимъ, не сѣумѣли бы исполнить. Оба они писали подѣ вліяніемъ французскихъ образцовъ. Дмитріевъ, говоря его словами, «прилѣпился къ вѣтрѣнному Дорату (Dorat) (*) и его товарищамъ». А Нелединскаго кн. Вяземскій не въ шутку называлъ «русскимъ Шолье» (**), котораго сами французы признаютъ «любезнымъ поэтомъ» (aimable poëte). Художественное подражаніе народному творчеству доступно лишь для того, кто, обладая поэтическимъ даромъ, основательно изучилъ обычаи, понятія и чувства просто народа; еще доступнѣе оно тому, кто, по своему происхожденію, состоя въ близкомъ родствѣ съ народомъ, не отрѣшился отъ роднаго корня и въ то время, когда поступилъ въ среду высшей, образованной жизни. Тогда онъ вдвойнѣ постигаетъ сущность народной поэзіи: и путемъ непосредственнаго сочувствія, и путемъ научнаго знакомства. Примѣръ такого счастливаго постиженія представляетъ уже извѣстный намъ по одамъ Мерзляковъ, сынъ небогатаго купца. Его пѣсни и романсы, сложенные, какъ онъ выразился, «во время мечтаній о той сладостной жизни или не-жизни, о которой жалѣемъ и въ которой не можемъ дать себѣ отчета, какъ во снѣ», отличаются неподдѣльнымъ чувствомъ. Изъ романсовъ наибольшую извѣстностью пользовался «Велизарій». Собственно же пѣсни звучатъ чисто-русскими звуками; въ нихъ личное чувство автора изливается по образу и свойству народнаго чувства, которое не имѣетъ ничего общаго съ сентиментализмомъ: здѣсь горестъ не является въ видѣ унылой томности или меланхоліи, и мысль о другѣ не переходитъ въ мечтательность или раздумчивость. Знаменитѣйшая между пѣснями Мерзлякова: «Одиночество», по моему мнѣнію, несвободна отъ искусственности. Первый стихъ ея: *«среди долины ровныя, на гладкой высотѣ»*, даже страдаетъ неопредѣленнымъ указаніемъ мѣстности. Но пѣсни: «Я не думала ни о чемъ въ свѣтѣ тужить», «Ахъ, чтожъ ты, голубчикъ, не весело сидишь?» «Чернобровый, черноглазый, молодецъ удалый», не даромъ сдѣлались народными. Начало послѣдней содержитъ въ себѣ выраженія, почерпнутыя прямо изъ родника наивной русской лирики:

Чернобровый, черноглазый,
Молодецъ удалый,
Вложилъ мысли въ мое сердце,
Зажегъ ретивое!

Вторая половина ея начинается вѣрною картиною нашей печальной зимы въ деревняхъ:

(*) Дора (+ 1780), французскій стихотворецъ, отличался въ легкой поэзіи.

(**) Шолье (+ 1720) воспѣвалъ энкурепзмъ почему и заслужилъ прозвище французскаго Анакреона.

Воесть сыръ боръ за горою,
Мятелица въ полѣ;
Встала выюга, непогода,
Запала дорога.

Задушевнымъ чувствомъ проникнуты и застольныя пѣсни Мерзлякова, сочиненныя для пѣнія въ кругу друзей: «Къ друзьямъ», «Что есть жизнь?», «Пиръ», «Къ добродѣтели». По нимъ можно судить о добромъ сердцѣ автора, горячаго въ дружбѣ, любившаго всѣхъ вообще людей и смотрѣвшаго на жизнь не глазами легкомысленнаго эпикурейца. Мысль, что «жизнь смертныхъ—тяжелое бремя», заводила его пѣсни на грустный тонъ. Прибавимъ, что Мерзляковъ, какъ слагатель пѣсенъ, стоитъ въ противорѣчій съ своими понятіями объ искусствѣ. По доктринѣ строгій классикъ, онъ забывалъ ея уставы подъ вдохновеніемъ живаго сочувствія къ красотамъ народной лирики: тогда поэтъ побуждалъ въ немъ профессора и критика.

§ 24. Уваженіе къ искусственному эпосу, образецъ котораго представила Россіада, равно какъ и авторитетъ ея сочинителя, крѣпко держались въ нашей литературѣ до 1815 г. Отвергать первое значило, по тогдашнимъ понятіямъ, не понимать относительной важности поэтическихъ родовъ; не признавать втораго значило впадать въ тяжкую литературную ересь. Фантазія эпическаго стихотворца цѣнилась несравненно выше той силы изобрѣтенія, какая нужна трагику или комику; даже чудесное искусственныхъ поэмъ, получившее у французовъ названіе «machinerie», было предпочтаето наивнымъ вѣрованіямъ Гомера, его непосредственному, полному свѣжести и силы, міросозерцанію. Не смотря, однакожъ, на трудности, предстоявшіе эпикѣ, явились продолжатели дѣла, начатаго еще Кантемиромъ. Нekonченная поэма Ломоносова: «Петръ Великій» соблазнила нѣсколькихъ нашихъ стихотворцевъ. Двое изъ нихъ: князь С. Шихматовъ (1783—1837) и Грузинцевъ, болѣе извѣстный своими трагедіями, не только начали, но и кончили восхваленіе преобразователя Россіи. Лирическое пѣснопѣніе Шихматова: «Петръ Великій» (1810) состоитъ изъ восьми пѣсенъ; эпическая поэма Грузинцева: «Петріада» (1812)—изъ десяти (*). На сколько личность Петра изображена въ нихъ согласно съ ея историческимъ величіемъ, всего лучше сказало знаменитое четверостишіе Батюшкова:

Какое хочешь имя дай
Твоей поэмѣ полудикой:
Петръ длинный, Петръ большой, но только Петръ Великій
Ее не называй.

Если и отбросить отъ эпиграммы ея лишнюю колкость, вызванную отношеніемъ Карамзинистовъ къ Шишкову и его «любимому сыну по литературѣ»—князю Шихматову, то все же останется въ ней много правды. Вообще ни одна изъ нашихъ поэмъ, воспѣвавшихъ Петра, не удовлетворитъ историка. На сколько же поэмы Шихматова и Грузинцева удовлетворяютъ требованіямъ эпическаго стиля, законы котораго должны сохранять свою силу и въ искусственномъ эпосѣ? На столько, на сколько эпическій стиль сохраненъ въ Ломоносовѣ, Херасковѣ, Вольтерѣ. Последнему особенно подражалъ Грузинцевъ, усвоивъ внѣшніе приемы своего образца, отъ изложенія предмета и воззванія съ одной стороны, до риторическаго тона и стихотворнаго метра съ другой.

(*) Третья поэма: «Петръ Великій» (1803), Романа Сладковскаго, по языку и эпическому складу самой низкой пробы, долгое время служила для литераторовъ предметомъ смѣха.

Первые восемь стиховъ Петріады не что иное, какъ переложеніе первыхъ шести стиховъ Генріады; русскій стихотворецъ за вдохновеніемъ обращается также къ Истинѣ, богинѣ новыхъ временъ, и также дѣлитъ свою поэму на десять пѣсенъ. Различіе между обѣими поэмами опредѣляется не эническимъ ихъ складомъ, который въ сущности тамъ и здѣсь одинаковъ, а другими особенностями, зависящими отъ степени авторскаго таланта: новизною и достоинствомъ мыслей, силою чувствъ, картинностью описаній, разнообразіемъ вымысловъ, искусствомъ версификаціи и т. п. Въ этомъ отношеніи, конечно, смѣшно и сравнивать подражаніе съ образцемъ, какъ было бы смѣшно называть Грузинцева Вольтеромъ или Вольтера Грузинцевымъ. Лирическое пѣснопѣіе Шихматова, какъ ни смѣялись надъ нимъ въ свое время, представляетъ нѣкоторыя достоинства; по крайней мѣрѣ оно оригинально, хотя эта оригинальность и служила предметомъ эпиграмматическаго остроумія. Патріотическія чувства автора искренни; выраженіе ихъ мѣстами не лишено силы; теченіе стиховъ свободно. Нужно было немалое искусство избѣгать рифмъ на глаголы, почему Пушкинъ и прозвалъ Шихматова «безглагольнымъ». Языкъ поэмы славено-россійскій, въ которомъ много сложныхъ прилагательныхъ, безъ насилія укладываемыхъ въ четырехстопный ямбъ. Шихматовъ видимо заботился о томъ, чтобы оправдать мѣнія Шишкова на практикѣ: нѣкоторыя слова, восхваляемыя послѣднимъ (напр. искидокъ вм. извергъ, доилца вм. корова), употреблены въ поэмѣ, которая, съ своей стороны, наводила «отца славянофиловъ» на новыя догадки и соображенія. И дѣйствительно, Шишковъ былъ въ восторгѣ отъ лирической поэмы: «Петръ Великій» (*).

Другія поэмы явились въ эпоху борьбы съ Наполеономъ, подъ вліяніемъ патріотическаго духа. Здѣсь намъ снова встрѣчаются тѣже лица: С. Шихматовъ написалъ лирическую поэму въ 3-хъ пѣсняхъ: «Пожарскій, Мининъ, Гермогенъ, или Спасенная Россія» (1807); Грузинцевъ—поэму въ 4-хъ пѣсняхъ: «Спасенная и побѣдоносная Россія въ девятомъ на-десять вѣкѣ» (1813). Воспѣвая событіе XVII вѣка, авторъ первой поэмы имѣлъ въ мысли и новѣйшую исторію Россіи. Онъ говорилъ о самозванцахъ и въ то же время разумѣлъ Наполеона:

Господь возводитъ на престолы,
Владѣть оправдываетъ онъ;
Вотще чрезъ пагубы, крамолы
Тѣсняются хищники на тронъ.

А заключеніе уже прямо относится къ современнымъ русскимъ людямъ. Стихотворецъ даетъ имъ совѣтъ, какъ читатель родной старины, по духу «разсужденія о старомъ и новомъ слогѣ»:

Пробавь любить честные нравы
И вѣру праотцевъ своихъ!
Будь въ истинѣ ревнитель ихъ!
Отвергни чуждыхъ странъ отравы,
Почти богатый свой языкъ,
Пылай къ Царю, Христу Господню,
Будь Россѣ!

Поэма исполнена обычныхъ, лиро-эпическихъ приемовъ, образующихъ внѣшнюю связь однихъ ея частей съ другими: «я зрю»; «отверсты очи мнѣ душевны»; «я вижу

(*) Семейная Хроника и воспоминанія, С. Аксакова.

таинства времѣнь» и т. п. Олицетворенія убійства, грабежа, мятежа введены какъ риторическія украшенія, избавляющія сочинителя отъ необходимости прибѣгать къ языческимъ божествамъ или отъ неумѣнья замѣнить ихъ чудеснымъ христіанскаго міра. Тоже самое событіе служить предметомъ поэмы Александра Волкова: «Освобожденная Москва» (1820):

Пою отечества кровавую войну
И водворенную по браняхъ тишину.

Такое «изложеніе» сюжета поэмы неопредѣленіе первыхъ стиховъ Россіады, которые, по крайней мѣрѣ, указываютъ, что мы воевали съ варварами (пою отъ варваровъ Россію свободенну). Сознавая, что для поэмъ ложно-классическаго стиля проходить время, авторъ вошелъ въ разсужденіе объ основахъ своего стихотворенія. Онъ старался построить механизмъ поэмы не на олицетвореніи понятій, ни тѣмъ менѣе на чудесахъ мифологій, а на верховномъ Промыслѣ, введя въ противодѣйствіе этой благой силѣ другую силу—сатанинскую. Пусть такъ, но произведеніе нисколько отъ того не выиграло въ поэтическомъ достоинствѣ, по явному отсутствію въ авторѣ творческаго таланта.

Означенныя поэмы не могли быть опасными соперницами Россіадѣ; напротивъ, онѣ только возвысили ея славу. Девятилѣтній трудъ Хераскова сравнительно съ трудами его подражателей выигрывалъ во всѣхъ отношеніяхъ: первый по времени, онъ остался и лучшимъ по достоинству опытомъ «высочайшаго рода поэзіи», какъ тогда понимали эпическую поэму псевдо-классическаго характера. Если Россіаду перестали почитать «бессмертнымъ» твореніемъ, а ея творца «русскимъ Гомеромъ», то это было дѣйствіемъ критики, дотолѣ отзывавшейся о ней въ общихъ и безусловныхъ похвалахъ. Въ одинъ и тотъ же годъ (1815) Россіада подверглась разборамъ въ двухъ журналахъ: «Амфіонѣ» (*) и «Современномъ наблюдателѣ россійской словесности» (**). Издатель перваго, Мерзляковъ, подробно разсмотрѣлъ содержаніе и расположеніе поэмы, ея чудесное, характеры, слогъ. Хотя онъ въ ней и находитъ нѣкоторые недостатки, но тѣмъ не меньше уподобляетъ ее храму св. Петра: «какъ громада неподвижная и въ буряхъ времени, и въ буряхъ мнѣній, стоитъ Россіада, огражденная неизмѣннымъ своимъ величіемъ». Издатель «Современнаго наблюдателя», извѣстный археологъ П. М. Строевъ, бывший тогда еще студентомъ московскаго университета, взглянулъ на дѣло иначе. Его критика справедливѣе, потому что не подкуплена господствовавшею въ то время теоріей поэзіи. Критикъ доказалъ, что Россіада часто грѣшитъ противъ исторіи, что она не заключаетъ въ себѣ и поэтическихъ красотъ, что даже истинно хорошихъ стиховъ въ ней очень мало. Изъ разбора выводится рѣшительное заключеніе: «мы не имѣемъ еще хорошей эпической поэмы; Россіада недостойна тѣхъ громкихъ похвалъ, коими ее до сихъ поръ осыпали». Разборъ Строева принадлежитъ къ замѣчательнымъ явленіямъ нашей критики, почему и слѣдовало сказать о немъ, по поводу эпическихъ поэмъ. Надобно было имѣть немалое мужество, чтобы идти, какъ выразился критикъ, наперекоръ «стоглаву россійской словесности, который призналъ и нарекъ Хераскова великимъ поэтомъ». Надобно было также имѣть основательныя познанія въ исторіи и поэтической тактѣ, чтобы открыть недостатки произведенія, почитавшагося образцомъ эпоса. Разборъ принесъ несомнѣнную пользу, показавъ литераторамъ и судіямъ

(*) №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 9.

(**) №№ 1 и 3.

ихъ, что если въ словесности весьма часто «имена бываютъ болѣе безсмертны, чѣмъ творенія», то будущимъ эпикамъ и вообще стихотворцамъ надлежитъ заботиться «не столько о томъ, чтобы ихъ имена были въ устахъ, сколько о томъ, чтобы ихъ творенія были въ рукахъ».

§ 25. Говоря о переводной литературѣ въ царствованіе Екатерины II (*), мы, въ числѣ главнѣйшихъ иностранныхъ авторовъ, поименовали и романистовъ, которыхъ сочиненія у насъ явились или въ первый разъ, или въ новыхъ переводахъ. Можно сказать, что не осталось почти ни одного знаменитаго имени въ этомъ родѣ поэзіи, съ которыми не могли бы познакомиться тогдашніе любители романическаго чтенія. Конечно, выборъ подлинниковъ рѣдко опредѣлялся господствомъ направленія: болѣею частію они обращали на себя вниманіе переводчиковъ тогда уже, когда направленіе, водившее перомъ автора, отжидало или отжило свой вѣкъ. Исключеніе составляютъ романы съ философическою или политическою тенденціей, каковы напримѣръ Вольтера и Мармонтеля. Выборъ рѣшался преимущественно именемъ автора, общеевропейскою извѣстностью романа и интересомъ его содержанія, независимо отъ идеи, въ немъ лежащей, или отъ его направленія.

Нѣтъ надобности долго останавливаться ни на качествахъ переводовъ, ни на значеніи ихъ подлинниковъ; но мы должны сказать нѣсколько словъ о тѣхъ переводныхъ романахъ, которые интересовали современную публику и были распространены въ разныхъ слояхъ ея, или какою-нибудь стороною своего содержанія относились къ понятіямъ, выражавшимся въ нашей литературѣ.

По поводу «Бѣдной Лизы» было замѣчено (**), что появленію сентиментальной повѣсти предшествовали у насъ романы другихъ видовъ. Одни изъ нихъ, философско-политическіе, слѣдую Фенелону Телемаку, имѣли цѣлю служить руководствомъ въ наукѣ правленія: излагая свои мысли объ этомъ предметѣ, авторъ назначалъ ихъ на пользу предрежающимъ властямъ. Къ числу указанныхъ примѣровъ прибавимъ «Велизарія» (Мармонтеля), «Нуму Помпилія» (Флоріана) и «Нуму, или процвѣтающій Римъ», Хераскова, подражавшаго Флоріану (***). Изъ романовъ моральнаго направленія пользовались большою извѣстностью произведенія аббата Прево (Prevost d'Exiles, 1697—1763): «Приключенія маркиза Г.... или жизнь благороднаго человѣка, оставившаго свѣтъ», переводъ П. Елагина и В. Лукина (1756—1765); «Философъ Англинской или житіе Клевеланда, побочнаго сына Кромвелева, самимъ имъ писанное» (1760—1767); «Настоятель Килеринской» (1765—1781). Они пришлись по вкусу нашихъ переводчиковъ, которые отъ вымышленныхъ повѣствованій требовали не забавы только, но и пользы. Беллетристика должна была, по тогдашнему взгляду, и научать и поучать, сообщая нужныя знанія, внушая правила доброй нравственности. Кромѣ моральнаго урока, выводимаго изъ судьбы героинь и героевъ, читатель выслушивалъ назидательныя размышленія и правила, которыя почитались самой здоровой приправою книги: такъ «Настоятель Килеринской» (Doyen de Killerine) названъ «нравоучительною повѣстью, снабженною всѣмъ тѣмъ, что можетъ учинить чтеніе ея полезнымъ и пріятнымъ». А какъ торжество добродѣтели и наказаніе порока

(*) Ист. Рус. Слов. I, § 227.

(**) Стр. 16 и 17.

(***) Ист. Рус. Слов. I, 471—472.

всего лучше могут выказаться въ превратностяхъ человѣческой жизни, то содержаніемъ романа обыкновенно служили разнообразныя приключенія или походы. Выборъ такого сюжета представлялъ удобство и потому еще, что, заставляя героя странствовать въ разныхъ краяхъ, романистъ достигалъ и второй своей цѣли—удовлетворять любознательности читателя описаніемъ государствъ и народовъ. Форма изложенія—всегда почти разсказъ самого лица, отъ чего такіе романы могутъ быть причислены къ мемуарамъ: «Приключенія маркиза Г...» въ подлинникѣ называются: «*Memoires de Marquis*** ou aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde*»; «Настоятель Килеринской» сочиненъ также «изъ *записокъ* одной знатной ирландской фамиліи».

Означенные романы Прево заслужили похвалу современныхъ французскихъ критиковъ: одни хвалили его за разнообразіе вымышленныхъ походовъ и картинъ, за пламенное изображеніе страстей; другіе за то, что онъ исполнилъ прямую обязанность романиста, ибо «въ романахъ, какъ и въ драмахъ, пороки должны быть всегда наказаны, а добродѣтели всегда награждены» (*). У насъ они читались также съ большимъ удовольствіемъ. «Приключенія маркиза Г***» имѣли три изданія; дѣйствующее лице обратилось въ маркиза «Глаголя», по прежнему обычаю называть буквы славянскими ихъ именами. Какъ этотъ романъ, такъ и «Житіе Клевеланда» обращались даже въ низшемъ кругу грамотныхъ людей: въ комедіи Крылова «Урокъ дочкамъ» слуга Семенъ присвоиваетъ имя маркиза Глаголя, по совѣту горничной Даши, видно читавшей романъ, а въ комедіи «О время» Ханжахина обзываетъ свою горничную басурманкой за то, что она иногда читаетъ Клевеленда (**). Переводчики наши смотрѣли на эти романы, какъ на поучительное чтеніе и ожидали отъ нихъ пользы для нравственного чувства. Предисловіе къ Клевеланду объясняетъ ее такимъ образомъ: въ романахъ «изображаются нравы человѣческіе, добродѣтели ихъ и немощи; показываются отъ разныхъ пороковъ разныя бѣдствія въ примѣрахъ, то причиняющихъ ужасъ, то соболѣзнованіе и слезы извлекающихъ; и между цѣпью напострожайшимъ порядкомъ совокупленныхъ приключеній наставленія къ добродѣтели полагаются». И читатели сознавали доброе вліяніе романческаго чтенія. По крайней мѣрѣ, такъ думали Карамзинъ и Дмитріевъ. Первый говоритъ: «герои и героини, не смотря на многочисленныя искушенія рока, остаются добродѣтельными, всѣ злодѣи описываются самыми черными красками; первые наконецъ торжествуютъ, послѣдніе, какъ прахъ, исчезаютъ». Второй съ похвалою отзывается о маркизѣ Глаголѣ и Клевеландѣ: «они возвышали мою душу, были антидотомъ противу всего низкаго и порочнаго».

Укажемъ еще на одно изъ произведеній Ретифа де-ла-Бретона, принадлежащаго къ тѣмъ французскимъ романистамъ XVIII вѣка, которые остались памятны своими фривольными, безнравственными романами. Сочиненіе, о которомъ мы говоримъ, совершенно инаго характера; оно и не романъ, а біографія, замѣчательная по отношенію къ нѣкоторымъ взглядамъ XVIII вѣка. Это—«Жизнь моего отца Ретифа» (русскій переводъ 1795). Авторъ разсказалъ ее, какъ назидательный примѣръ, съ сочувствіемъ къ идеалу, который она въ себѣ воплотила. При всей простотѣ основы, разсказъ занимателенъ истинною подробностей и наивностью и, подобно идилліи, дѣйствуетъ успокоительно. Цѣль его—показать, въ чемъ заклю-

(*) Записки Н. И. Дмитріева (стр. 95—96, первое примѣчаніе къ первой части).

(**) Въ статьѣ Я. К. Грота: «Жизнь Державина» (Рус. Вѣст. 1860, № 7, стр. 363—367), сообщены любопытныя свѣдѣнія о нѣкоторыхъ романахъ второй половины XVIII в.

чается прямое, высшее достоинство и благо человеческой жизни. «Пускай другіе», говорит авторъ во вступленіи, «прославляютъ воиновъ; пускай ученые общества назначаютъ награжденія тѣмъ писателямъ, которые возобновляютъ славу прежнихъ министровъ и отличившихся любителей наукъ; но я, напротивъ того, желаю украсить цвѣтами могилу *честнаго* человѣка, имѣвшаго простую, непомянутую добродѣтель.... Онъ былъ *справедливъ* и *работящъ*: вотъ качества, составляющія основаніе всѣхъ обществъ, безъ коихъ и герои померли бы съ голоду».

По жизни Эдмонда Ретифа, главнаго лица въ разсказѣ, авторъ желалъ бы устроить жизнь цѣлаго общества. Характеристика его находится въ письмѣ адвоката, къ которому онъ былъ отданъ для знакомства съ дѣлами. «Посылаю тебѣ хорошаго человѣка», пишетъ адвокатъ, отправляя Эдмонда къ отцу. «Въ немъ нѣтъ удивительнаго ума; но увѣряю, что онъ будетъ со временемъ хорошій судья, хорошій отецъ, хорошій мужъ, лучше тебя, и честный человѣкъ. Онъ имѣетъ способности ко всему полезному, но нѣтъ въ немъ склонности ни къ чему тому, что ты самъ такъ любишь. Поздравляю тебя съ его способностями и недостатками,—понимаешь ли, съ его недостатками: эти недостатки возвратятъ его семейству то, чего оно лишилось чрезъ другихъ».

И такъ Эдмонду не доставало удивительнаго ума; но, выражаясь словами Фонъ-Визина, «умъ, коль онъ только что умъ—самая бездѣлица». Не было у него такъ называемой природной остроты; но адвокатъ, его родственникъ, видно имѣлъ основаніе замѣтить: «острыковъ-то я, право, боюсь». Не зналъ онъ разныхъ наукъ, но онъ зналъ «науку всѣхъ наукъ»—науку исполнять обязанность, назначенную ему судьбою: вести сельское хозяйство, въ потѣ лица ѣсть хлѣбъ свой и трудами же кормить другихъ, свято чтить волю отца, а по смерти его стать главой семейства и примѣромъ для жителей села. Въ замѣня блистательныхъ качествъ, онъ пріобрѣлъ довольно такихъ, которыя дѣлаютъ честь человѣчеству. И вотъ еще при жизни заслуживаетъ онъ наилучшую похвалу: «Твой дѣдъ назывался *справедливымъ* *человѣкомъ*; въ тебѣ онъ воскресъ, и всѣ тебя не иначе называютъ, какъ *честнымъ* *человѣкомъ*». А умирая, имѣлъ онъ отраду видѣть, что своимъ раченіемъ о благоустройствѣ ближнихъ «оставилъ родное село въ цвѣтущемъ состояніи и всѣхъ жителей, ходившихъ прежде по міру, достаточнѣйшими по всему околотку».

Идеаль Ретифа намъ уже извѣстенъ: мы его знаемъ изъ педагогическихъ проэктовъ Бецкаго, изъ «Инструкцій» Екатерины II князю Салтыкову, изъ сочиненій Фонъ-Визина и другихъ писателей того времени. Это—идеаль истиннаго человѣческаго достоинства, въ которомъ благонравіе (добродѣтель) цѣнится несравненно болѣе ума и учености, а въ благонравіи наиболѣе цѣнится высшая ея степень—честность, какъ нераздѣльная совокупность всѣхъ похвальныхъ качествъ сердца, въ противоположность уму, не представляющему такой органической и необходимой безраздѣльности. «Честный человѣкъ», говоритъ Стародумъ Софьѣ, «долженъ быть совершенно честный человѣкъ», тогда какъ «умному человѣку легко извинить можно, если онъ какого-нибудь качества (ума) не имѣетъ» (*).

Разсказы о приключеніяхъ явились у насъ изъ подражанія господствовавшей въ иностранныхъ романахъ модѣ водить читателя, какъ говорится, за тридевять земель въ тридесятое царство. Къ такимъ разсказамъ принадлежатъ сочиненія Федора Эмина,

(*) Ист. Рус. Слов. I, 420.

издателя «Адской почты» (*). Его собственная жизнь была своего рода романом. Родомъ полякъ, Эминъ долго странствовалъ по свѣту. Въ Турціи, по какому-то несчастному съ нимъ приключенію, онъ былъ вынужденъ принять магометанство и поступить въ янычары. Успѣвъ тайно отплыть изъ Константинополя въ Лондонъ, явился къ русскому посланнику кн. Голицыну и перешелъ въ православіе. По прибытіи въ Петербургъ (1761) былъ учителемъ въ сухопутномъ кадетскомъ корпусѣ и переводчикомъ сначала въ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, а потомъ въ Кабинетѣ. «Спадши съ колесницы фортуны и охрамѣвши въ счастіи», Эминъ «началъ подпираться перомъ своимъ», т. е. сочинять и переводить. Не смотря на разнорѣчивость его показаній о себѣ самомъ (**), несомнѣнно то, что онъ былъ человѣкъ съ дарованіями и начитанный, зналъ нѣсколько языковъ, легко и скоро выучился русскому, видѣлъ на своемъ вѣку многое, и романы его читались охотно, равно какъ сатирической журналъ «Адская почта» и назидательная книга «Путь ко спасенію».

Лучшій романъ Эмина—«Непостоянная фортуна или похождение Мирамонда», имѣвшій три изданія (первое 1763) и посвященный графу Г. Г. Орлову, котораго авторъ называетъ своимъ «спасителемъ, благоволивымъ отогнать отъ очей его непросвѣтлымъ мракомъ противнаго магометанскаго закона и озарить ихъ божественнымъ свѣтомъ евангельскія истины» (***). Романъ исполненъ хитросплетенныхъ злосключеній, приличныхъ «свѣтозрителю», какимъ былъ самъ Эминъ, девять лѣтъ проведенный въ странствованіяхъ. Главное лице романа—Мирамондъ, сынъ министра турецкаго султана, отправленный отцемъ въ чужія государства для изученія политики, подъ надзоромъ ментора Азыза и въ товариществѣ съ Феридатомъ, подъ именемъ котораго авторъ представилъ себя самого: «сія книжица истинныя Мирамондовы приключенія и мое несчастное похождение въ себѣ заключаетъ». Цѣль сочиненія двоякая, согласно тому, что сказано о романахъ этого рода: во-первыхъ—«описанныя здѣсь страны, по которымъ чрезъ нѣсколько лѣтъ носилъ меня рокъ, къ совершенству достигающихъ (читателей) любопытство удовлетворять могутъ»; во вторыхъ—«сплетенныя приключенія, здѣсь изображенные, того къ добродѣтели привѣтствуютъ (привлекаютъ), кто съ точнымъ разсужденіемъ околичности оныхъ разбирать станеть».—«То правда», говоритъ въ другомъ мѣстѣ авторъ, «что многія здѣсь сыщутся мыслями моими сплетенныя приключенія; однако ни одно изъ нихъ безъ намѣренія не написано, и каждое изображаетъ въ себѣ нѣчто или удовольствіе тебѣ (читателю) приносящее, или совѣсти твоей полезное». Обращеніе къ читателю, въ концѣ романа, выказываетъ искреннее элегическое чувство, заставляющее вѣрить предположенію, что въ судьбѣ Феридата Эминъ описалъ приключенія своей жизни:

Если Феридатовы злосчастія какого-либо соболѣзнованія достойны, то онъ (*сочинитель*) тебя униженно проситъ, чтобы ты разсуждать изволилъ съ сожалѣніемъ о его горестныхъ злосключеніяхъ. Знай то, что онъ и нынѣ въ мысляхъ своихъ часто бываетъ несчастенъ, стонаетъ и вздыхаетъ, вспоминая о минувшемъ, трепещетъ и ужасается, размышляя о неизвѣстности предбудущаго. Философія злосчастному и многими язвами сердца зараженному не въ пользу бываетъ, потому что чѣмъ наше сердце съ младолѣтства напоено, то не скоро изъ онаго истребить возможно. Прошу и увѣщаваю тебя, имѣй сожалѣніе о бѣдныхъ, ибо предвидѣть того не можешь, что завтра съ тобой

(*) Ист. Христ. I, 334.

(**) Словарь свѣтскихъ писателей. митрополита Евгенія, ч. 1.

(***) Но вѣдь Эминъ, до своего ренегатства, былъ христіаниномъ: какъ понять слова, что гр. Орловъ озарилъ его свѣтомъ евангельскія истины?

статься можетъ; мы всѣ переменамъ подвержены, постоянности ни въ чемъ нѣтъ, и если сегодня нашъ ближній утопаетъ въ бѣдствіи, то завтра и мы оному подлежать можемъ. Ни достоинство, ни богатство—никого отъ злощастія искупить не можетъ; и хотя я всякому желаю совершеннаго благополучія, однако самъ разсудн, благосклонный читатель, могутъ ли человѣческія желанія переменить опредѣленія Всевышней власти. И такъ самъ собою стараюсь заслужить себѣ благополучіе, а о томъ не забывай, что коль трудно сухощавому быть толстымъ, толь легко толстому похудѣть.

И независимо отъ сходства своего положенія съ положеніемъ дѣйствующаго лица въ романѣ, Эминъ любитъ не забывать себя и при случаѣ являться передъ читателемъ съ какою-нибудь выходкой, иногда элегической, а иногда юмористической. Такъ, напримеръ, сказавъ, что Мирамондъ началъ умствовать послѣ утраты своего благополучія, онъ прибавляетъ: «и я, хотя межъ умныхъ себя поставить не могу, однако какъ бѣдность меня прижала, принялся къ сему моему сочиненію, началъ разсуждать философически, въ разныхъ переводахъ и чтеніи разныхъ книгъ на разныхъ языкахъ упражняться и быть доволенъ малымъ, когда большаго нѣтъ».

Второй романъ Эмина: «Награжденная постоянность или приключенія Лизарка и Сарманды» (1764). Лизаркъ—«мнимый сынъ Вомпенда, славнаго персидскаго философа, получивъ, по смерти мнимаго своего родителя, одно только знаніе философіи въ наслѣдство», отправился изъ Персіи въ Египетъ, влюбился тамъ въ Сарманду, прислужницу Изиды, дочери царя египетскаго, и послѣ долгихъ мытарствъ сочетался съ нею бракомъ. Разсказъ назначенъ служить примѣромъ всѣмъ непостояннымъ сердцамъ и заключается сентенціей: «любить то, что къ себѣ привлекаетъ природа, есть право естества, но любовь должна зависѣть отъ благоразумія и постоянности».

«Письма Эрнеста и Доравры» (1766), того же автора, относятся къ романамъ другаго рода: это—подражаніе «Новой Элоизѣ», Руссо, наполненное разсужденіями и нравоученіями.

Изъ романовъ, относящихся къ одному роду съ сочиненіями Эмина, заслуживаетъ вниманія «Несчастный Никаноръ, или приключеніе жизни россійскаго дворянина Н***» (*), хотя и справедлива замѣтка Карамзина, что онъ, по литературному достоинству, принадлежитъ къ самымъ посредственнымъ. У «Никанора» былъ свой, и не малый, кругъ читателей, находившихъ повѣсть автора чувствительною и занимательною, и ея дѣйствіе большею частію совершается въ предѣлахъ отечества, а не въ Азіи и Африкѣ. Кромѣ того, приключенія злощастнаго россійскаго дворянина не сплошной вымыселъ: это ясно по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, дѣйствительно бывшимъ, и по нѣкоторымъ лицамъ, дѣйствительно существовавшимъ, даже историческимъ. Здѣсь говорится о генераль-фельдцейхмейстерѣ князѣ Рѣпинѣ (Васильѣ Аликиничѣ, умершемъ 1748 г.), объ Ильѣ Александровичѣ Бибиковѣ (отцѣ Александра Ильича, извѣстнаго по дѣйствіямъ противъ Пугачева) и Иванѣ Ивановичѣ Свѣчинѣ, изъ которыхъ Бибиковъ былъ полковымъ командиромъ Никанора, а Свѣчинъ его двоюроднымъ братомъ, о смоленскомъ губернаторѣ Аршеневскомъ, о московскомъ докторѣ Кондоиди, о посѣщеніи Москвы дворомъ и пр. Трудно допустить, чтобы авторъ рѣшился съ такою точностію обозначать имена и фамиліи лицъ, безъ всякаго ихъ отношенія къ судьбѣ своего героя. Эта судьба сплетена изъ разныхъ несчастій. Единственный сынъ богатаго помѣщика, владѣвшаго четырьмястами душъ въ одной изъ низовыхъ губерній, Никаноръ, на вось-

(*) Первое изданіе въ одной части (1775), второе въ 2 ч. (1787), третья часть—1789 г.

момъ году возраста, поступилъ въ инженерный корпусъ, откуда выпущенъ кондукторомъ. Вскорѣ по выпускѣ онъ былъ командированъ изъ Петербурга въ Цесарію (точнѣе во Франконію), по случаю нашего вмѣшательства въ вопросъ объ австрійскомъ наслѣдствѣ, на основаніи оборонительнаго договора съ Англіею, коимъ Императрица Елисавета положила оказать помощь Маріи Терезіи въ ея войнѣ съ французами. Слѣдовательно, дѣйствіе романа открывается въ 1747 г.. Съ прибытія Никанора въ Ригу, начались его зловлеченія, о которыхъ онъ въ послѣдствіи рассказываетъ по вечерамъ какой-то княгинѣ. Вся жизнь его проходила въ любви. Одна страсть смѣнялась другою, но не изъ прихоти или вѣтренности, а по какой-то горемычной долѣ, словно на роду ему написанной. Онъ не имѣлъ и тѣни сходства съ Донъ-Жуаномъ или Фоблазомъ; напротивъ, онъ былъ человѣкъ мирнаго нрава, тихаго обхожденія, искательный, довѣрчивый, готовый на услуги и угожденія. До какой степени простиралась его безотвѣтность, можно судить по словамъ жены его: «мнѣ кажется (закричала на него она однажды), если кто съ тебя не только рубашку сниметъ, но и кожу сдеретъ, ты и тогда огорченъ не будешь». Обращеніе его съ прекраснымъ поломъ отличалось особеннымъ нѣжносердечіемъ. Даже на старости лѣтъ онъ всѣми силами своими старался служить дамамъ со всякимъ усердіемъ и почитаніемъ: «игралъ съ ними въ маленькую игру, для препровожденія времени, въ кадрили и въ ломберъ; употреблялъ всякія пристойныя шутки; пѣлъ и сочинялъ пѣсни и всякіе увеселительные стишки; смотрѣлъ имъ на руки, будто-бы ученъ онъ былъ хиромантіи и въ издѣвкахъ обнадеживалъ каждую изъ нихъ особливимъ благополучіемъ; сказывалъ имъ сказки и исторіи; на святкахъ производилъ съ ними всякія игры и гаданія; въ маскарадахъ одѣвался въ женское платье; словомъ сказать, все то дѣлалъ, что въ угодность имъ служило». Кромѣ пѣсенъ и увеселительныхъ стишковъ, Никаноръ сочинялъ оды и подносилъ ихъ Екатеринѣ II: одна изъ нихъ, написанная вскорѣ по вступленіи Императрицы на престолъ, помѣщена въ самомъ романѣ. За то «благородныя женщины и дѣвицы города», въ которомъ Никаноръ пріютился, «такъ его принимали, какъ будто бы своего ближняго, но притомъ недостаточнаго родственника; и всякая старалась чѣмъ нибудь по бѣдности его наградить; и столько много они его любили, что всегда желали имѣть его при себѣ въ своей компаніи». У Никанора и не лежало сердце къ мужской компаніи; въ теченіи цѣлаго романа онъ постоянно обращается въ кругу прекраснаго пола, хотя отъ него-то и сдѣлался «несчастливымъ». Несчастія свои приписываетъ онъ не самому себѣ, а «горестному сложенію смертныхъ». «Виню ли я состою тѣмъ», восклицаетъ онъ однажды, «что *вложено въ меня слабое, необоронительное сердце*? И вотъ слабосердечіе увлекаетъ Никанора изъ одной напасти въ другую. Ради любви — единственнаго своего времяпровожденія — онъ даже рѣшался на безнравственные поступки, въ которыхъ потомъ раскаявался: обманулъ отца ложнымъ паспортомъ, будто бы выданнымъ ему отъ полковаго командира; хотѣлъ увезти съ собою въ армію чужую крѣпостную дѣвку; вмѣсто того, чтобы отправиться къ мѣсту своего назначенія, пробирался за границу. Послѣ нѣсколькихъ романическихъ похощеній — любви къ двумъ, находившимся у него въ услуженіи дѣвушкамъ, которымъ онъ предлагалъ свою руку, но которыя отказали ему не потому, чтобъ сами не чувствовали къ нему привязанности, а потому, что считали себя недостойными такой чести, — Никаноръ наконецъ женился и имѣлъ двухъ дѣтей, вымышленныя имена которыхъ (Огорчена и Правосудъ) портятъ достовѣрную обстановку повѣсти. Но жена бросила его, какъ только онъ лишился чмѣнія «обманомъ своей тетки», а дочь, служившая ему отрадой, умерла. И остался

онъ одинъ одинешенекъ, безъ семейства и имѣнія, доживать свой вѣкъ, въ отдаленномъ отъ столицы городѣ, у какого-то добраго человѣка, рассказывая знакомымъ свои приключенія и выводя изъ нихъ такую мораль: «теперь-то я нахожу себя благополучнымъ, когда далече отъ благополучія моего я самъ отдалился; теперь считаю я себя богатымъ, когда всего моего имѣнія безъ остатку лишился; теперь я признаю себя счастливымъ, когда всѣ мои злоключенія и печали удары свои на мнѣ уже совершили; теперь могу назвать остатки дней моихъ, препровождаемые въ здѣшнемъ городѣ, златымъ я вѣкомъ, когда ни о чемъ уже больше попеченія не имѣю; теперь ничто меня не беспокоитъ и ничто не трогаетъ».

Чтобы дать понятіе о языкѣ и характерѣ разсказа, приводимъ изъ него небольшой отрывокъ:

И я взявъ смѣлость подойти къ Елеонорѣ (такъ имя той дворянской дочери); она, съ великою ласкою поцѣловавъ меня въ високъ, подала мнѣ свою руку; я, принявъ ее, послѣдовалъ предъидущимъ. И какъ вошли мы въ садъ, тогда капитанъ-поручикъ пошелъ передъ нами съ хозяиномъ, ведучи хозяйку за руку; а позади ихъ велъ я Елеонору; а за нами слѣдовали товарищъ мой Алексѣй Е. съ племянникомъ хозяйскимъ. И какъдые, шедши изъ насъ своею партією, особливые имѣли разговоры: капитанъ-поручикъ разговаривалъ съ хозяиномъ и съ хозяйкою о расположеніи мѣста того сада; а Алексѣй Е. съ племянникомъ хозяйскимъ вошли въ разговоръ о военныхъ дѣлахъ и наукахъ; а мы съ Елеонорою продолжали рѣчь о нѣжной пріятности случившагося тогда воздуха. И такъ шли мы проспектомъ прямо къ одной галлерей; но Елеонора сказала мнѣ, чтобъ я пошелъ съ нею въ лѣвую сторону въ куртину того сада, гдѣ можетъ она нарвать хорошихъ яблокъ. Я весьма охотно повелѣніямъ ея повиновался. И какъ вошли мы съ нею въ ту куртину, тогда Елеонора, сорвавъ хорошее яблоко и вынувъ изъ кармана складной ножичекъ, коимъ, разрѣзавъ оное, поднесла ко мнѣ и просила меня, чтобъ я отвѣдалъ, каковы яблоки въ ихъ саду. Я, съ великимъ удовольствіемъ принявши, съѣлъ яблоко и сказалъ ей: я въ жизнь мою, милостивая государыня, нигдѣ и никогда такихъ пріятнаго вкуса яблокъ еще не ѣдалъ. Ахъ, господинъ Никаноръ! сказала она, чрезвычайная похвала составляетъ опорочиваніе. Клянусь вамъ въ томъ, милостивая государыня, сказалъ я, что не лестно объ ономъ я вамъ докладываю; да и какой бы притомъ ни былъ хотя изъ всѣхъ родовъ лучший фруктъ, то оной такъ вкусенъ и пріятенъ для меня быть не можетъ, какъ это яблоко, котораго сладость не только гортань, но и сердце ощущаетъ. А! сказала Елеонора: такъ вы, можетъ быть, иначе разумѣете вкусъ этого яблока, для того что оно сорвано съ моей любимой яблони и что я вамъ сдѣлала почтеніе поднесла его изъ своихъ рукъ; я бѣ желала, чтобъ вы навсегда съ таковымъ вкусомъ наслаждались плодомъ моей любимой яблони. Счастливъ бы я назваться могъ, милостивая государыня, сказалъ я, еслибъ я удостоенъ былъ именоваться садовникомъ родителя вашего сада: я бѣ вану любимую яблонь не только хранилъ, но и обожалъ бы навсегда.

Въ прибавленіе къ Никанору замѣтимъ, что наша литература XVIII вѣка знаетъ еще другаго россійскаго дворянина, бывшаго, въ удивительныхъ превратностяхъ своей жизни, «то сыномъ счастія, то несчастію преданнымъ рабомъ». Описаніе этихъ перемѣнъ, имъ самимъ сочиненное на испанскомъ языкѣ (?), перевели потомъ на нѣмецкій, а съ нѣмецкаго на русскій, подъ заглавіемъ: «Странныя приключенія Дмитрія Магушкина (*), россійскаго дворянина» (2 ч., 1796). Разсказъ начинается торжественнымъ образомъ, *ab ovo*—со дня рожденія героя: «Пространное и отдаленнымъ народамъ долгое время бывшее неизвѣстнымъ россійское государство произвело родъ мой со многими другими изъ нѣдръ южной своей части: городъ Воронежъ, наименованіе свое имѣющій отъ рѣки того же имени, орошающей его, есть отечество моихъ родителей».

(*) Такъ стоитъ въ заглавіи, но въ самомъ разсказѣ онъ называется Магушкинымъ.

Могушкинъ явился на свѣтъ 1667 г., «въ то самое время, когда благородная наша нація праздновала масленицу предъ великимъ постомъ». Отецъ его, бояринъ Василій Никоновичъ, воронежскій губернаторъ (?), пользовался отъ царя Алексея Михайловича великою знатностью и милостью, за свои заслуги. При Федорѣ же Алексѣевичѣ, онъ, по завистливымъ наговорамъ, былъ отрѣшенъ отъ должности; однакожъ ему дали въ команду полкъ, съ которымъ онъ отличился въ сраженіи съ турками подъ Чигиринымъ (1678), что и доставило ему знатное мѣсто въ этомъ городѣ.

Приключенія молодого Могушкина дѣйствительно странны. Въ самый день крестинъ, когда и господа и прислуга перепились на радости, загорѣлся домъ: родильница съ трудомъ была спасена, а кормилица, испугавшись медвѣдя, котораго держали забавы ради и который сорвался съ цѣпи въ общей суматохѣ, бросила новорожденнаго на дворѣ, гдѣ поднялъ его какой-то литовскій служитель и принесъ къ хозяину своему, тоже литвину, жившему въ пригородной слободѣ. Такимъ образомъ, изъ боярскаго и губернаторскаго сына Могушкинъ сдѣлался сыномъ крестьянина. Съ тѣхъ поръ судьба играла имъ какъ мячикомъ. Подвергая его диковиннымъ случайностямъ, бросая его изъ одного мѣста въ другое, она забросила его наконецъ въ Испанію. Отсюда онъ прибылъ въ Венецію, поступилъ на службу Венеціанской республнкѣ и «донинѣ тамъ находится». Самымъ важнымъ фактомъ въ жизни Могушкина было его троеженство, чему онъ самъ несказанно дивился и что главнѣйшимъ образомъ понудило его написать свои мемуары. Впрочемъ, казусное дѣло не имѣло такихъ горькихъ послѣдствій, какъ въ баснѣ Крылова: «Троеженецъ». Напротивъ, герой нашъ благополучно устроился, не смотря на то, что всѣ три его супруги сошлись у него въ одно время. Двухъ онъ оставилъ при себѣ: Лумиллу, первую по счету и старшую лѣтами, въ видѣ матери, а Мумеху, какъ супругу; третью же, Амазиру, съ ея согласія, уступилъ своему пріятелю, который былъ влюбленъ въ нее.

Все это не невозможно, при всей своей странности. Но сомнѣніе въ томъ, что имени Могушкина нѣтъ между воронежскими воеводами ни въ статьѣ митрополита Евгенія: «Воронежъ» (Словарь Географическій Россійскаго Государства, Щекатова), ни въ «Разрядныхъ книгахъ», ни въ указателяхъ къ «Актамъ», ни даже въ «Древнихъ грамотахъ и другихъ письменныхъ памятникахъ, касающихся Воронежской губерніи» (собранныхъ Второвымъ и Александровымъ — Дальникомъ). Значитъ, герой-авторъ вывелъ себя подъ вымышленнымъ именемъ, имѣя на то свои причины, и всю историческую и топографическую обстановку разсказа — событія и ихъ годы, города: Чигиринъ и Воронежъ, рѣки: Донецъ и Оскуль (Осколь), и проч. — придумалъ только въ интересахъ достовѣрности. Не думаю также, чтобы сочиненіе принадлежало русскому перу и выдано за переводъ для какого-нибудь «прикрытія», какъ говорилось прежде. Русскій не назвалъ бы воеводу губернаторомъ, а Чигиринъ — Чехриномъ, если только не предполагать, что переводчикъ, по незнанію русской исторіи и географіи, оставилъ эти слова въ томъ видѣ, въ какомъ они, быть можетъ, находятся въ подлинникѣ. Принимая въ соображеніе, что между приключеніями описываются частыя набѣги татаръ и ихъ стычки съ русскими, что дѣйствіе долгое время происходитъ въ Литвѣ и Польшѣ, и что въ разсказѣ попадаются латинскія изреченія, не лзя ли «Странныя приключенія Могушкина» почитать произведеніемъ польской литературы?

Охотники до соблазнительнаго чтенія, не знавшіе французскаго языка, могли у насъ читать переводы нѣкоторыхъ романовъ временъ Лудовика XV и революціи. Важнѣйшій между ними, «Фоблазъ», имѣлъ два перевода: петербургскій (Приключенія Шевалье

де Фоблаза, 1792—96) и московскій (Жизнь и приключенія кавалера Фоблаза, 1793) (*). Второе его изданіе, равно какъ переводъ другаго романа того же автора (Луве де Кувре): «Емилія Вармонтъ или разводъ по нуждѣ», относится къ началу нынѣшняго столѣтія (1805). Не то дурно, что авторъ изображалъ безправственныя явленія жизни: эпохи герцога орлеанскаго и Дюбарри не походили на вѣкъ невинности; литература есть зеркало общества, и, конечно, «не зеркало виновато, если рожа крива», какъ сказалъ Сумароковъ. Дурно то, что безправственныя явленія изображены сочувственно, какъ идеаль. Наши сочинители романовъ—надобно отдать имъ справедливость—не заражались такимъ недостойнымъ сочувствіемъ: ихъ отношеніе къ порочному чуждо французской легкомысленности; они смотрѣли на него глазами гнѣвной сатиры или, по крайней мѣрѣ, съ комической точки зрѣнія. Для примѣра возьмемъ оригинальную повѣсть М. Чулкова, остановившуюся на первой части: «Пригожая повариха или похождение развратной женщины» (1770) (**). Въ свое время она имѣла большой успѣхъ; кромѣ того, ея заглавіе связано съ анекдотомъ о Суворовѣ (***). Слово «развратная» показываетъ, что авторъ не выдаетъ кривду за правительное дѣло, а указываетъ ея прямое свойство. Конечно, въ разсказѣ своихъ веселыхъ и пикантныхъ приключеній, героиня не отличается стыдливостью и не щадитъ стыдливости читателей; откровенность ея иногда безцеремонна; иногда и совѣсть не зазираетъ ее по той причинѣ, что «есть на свѣтѣ люди гораздо ея отважнѣе, которые въ одну минуту надѣлаютъ больше худаго, нежели она надѣлала въ три дня»; ея мнѣнія о себѣ самой отзываются съ одной стороны равнодушіемъ къ тому образу жизни, который она вела, а съ другой сомнѣніемъ въ лучшемъ качествѣ людей вообще, какъ будто разрешающимъ ея грѣхи; по временамъ, она играетъ своими сужденіями, говоря, напримѣръ, что если бы «непостоянство и роскошь не побѣждали порочныхъ женщинъ, то онѣ были бы добродѣтелище ростовщика и скунаго»: однакожь, при всемъ этомъ, она не тщеславится своими продѣлками, принимая ихъ за продѣлки; безъ утайки причисляетъ себя къ порочнымъ женщинамъ; въ своихъ бѣдахъ видитъ послѣдствіе своего поведенія, которое по малой мѣрѣ, иронически называетъ не совѣтъ изряднымъ; и виня людей, сбивающихъ ближняго съ пути и потомъ не въ мѣру взыскательныхъ къ ближнему, она, въ то же время, не оправдываетъ и себя, согласно съ пословицей: «неправъ медвѣдь, что корову съѣлъ, неправъ и корова, что въ лѣсъ забрела». Морально-обличительный элементъ повѣсти выражается большею частію въ подобныхъ пословицахъ, которыми авторъ, по любви своей къ нимъ, пересыпалъ разсказъ пригожей поварихи.

Прямѣе и строже отнесся къ общественной безправственности А. Измайловъ въ романѣ: «Евгеній или пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія и сообщества» (2 ч., 1799—1801). Это—сатира на легкомысленную, полную недостойныхъ явленій жизнь

(*) Въ Смоленскѣ, 1802 г., напечатанъ еще переводъ «Новаго Фоблаза, или приключеній Фдор-беля».

(**) Содержаніе этого романа изложено г. Лонгиновымъ въ его «Библиографическихъ запискахъ» (Современникъ 1856, № 6). О Чулковѣ см. во 2 т. моей Истор. Хрестоматіи.

(***) Однажды гр. Растопчинъ желалъ узнать мнѣніе Суворова о знаменитыхъ войнахъ и военныхъ книгахъ. Суворовъ перечислялъ всѣхъ извѣстныхъ полководцевъ и писателей, и при каждомъ имени крестился. Наконецъ, сказавъ Растопчину на ухо: «Юлій Кесарь, Аинибалъ, Вонопартъ, Домашній лечебникъ, Пригожая повариха», заговорилъ о химіи.

и некоторых помещиковъ. Она замѣчательно-вѣрно представляетъ бытовую сторону нашего полубразованнаго общества во второй половинѣ прошлаго вѣка. Всѣ ея лица ясно выказываютъ себя не только своими поступками, но даже фамиліями: Негодаевъ, Развратинъ, Вѣтровы, Лицемѣркина, Подлянковы, гувернеръ Pandard (бездѣльникъ), гувернантка Sans-pudeur (безстыдная). Молодые еще хуже старыхъ. Родители какъ бы по завѣщанію передали дѣтямъ всѣ качества негодной своей натуры, которыя потомъ усилены и закрѣплены негоднымъ воспитаніемъ. Хорошаго не найдешь въ нихъ и съ фопаремъ. Единственная ихъ забота состоитъ въ томъ, чтобы удовлетворять животнo-эгоистическимъ наклонностямъ. При выборѣ къ тому средствъ они не задумываются нисколько: все хорошо, что ведетъ къ цѣлямъ. А этихъ цѣлей не мало: успѣхи свѣтскаго волокитства и чувственныхъ наслажденій, состояніе на службѣ съ увольненіемъ себя отъ всякихъ служебныхъ обязанностей, легкое добываніе денегъ на мотовство, возліянія Бахусу и другимъ божествамъ греческой міѳологіи, возмутительное обращеніе съ крестьянами и прислугой. Нѣтъ ни религіознаго чувства, ни понятія о долгѣ, ни патриотизма, ни истиннаго самолюбія, ни гражданской и семейной чести, ни любви и почтенія къ родителямъ, которые приходятъ на память лишь въ то время, когда необходимо выпросить у нихъ денегъ, нажитыхъ безъ труда, обманомъ или незаконнымъ ростовщичествомъ. Подобное скопленіе отвратительныхъ личностей и дѣлъ въ небольшомъ романѣ, конечно, вредить его достоинству, какъ преднамѣренная односторонность; но каждая личность и каждое дѣло, взятые порознь, не противорѣчатъ ни психологической возможности, ни исторической правдѣ. Герой романа, Евгений Негодаевъ, немногимъ умнѣе Иванушки (въ комедіи «Бригадиръ») и многимъ хуже его въ нравственномъ отношеніи: въ немъ изъ подъ вѣишной цивилизаціи постоянно пробиваются грубыя, безсердечныя черты Скотинина и Митрофана. Сынъ бригадира просто смѣшонъ, а Евгений отвратителенъ съ самаго дѣтства. Наперсникъ Негодаева, Развратинъ, умѣлъ съ несказаннымъ искусствомъ жить на счетъ другихъ и принадлежалъ къ числу вольтеріанцевъ; «онъ не наблюдалъ ни естественнаго закона, ни христіанскаго, хвасталъ какъ педантъ, пилъ какъ ремесленникъ, игралъ на бильярдѣ какъ маркеръ и злословилъ какъ богомолка». Исторія его рассказана не безъ искусства. Однимъ словомъ, повѣсть отличается чувствомъ дѣйствительности, которое должно быть поставлено въ заслугу автору, тѣмъ болѣе, что онъ писалъ ее, имѣя только восемнадцать лѣтъ отъ роду (*) и въ эпоху увлеченія Бѣдною Лизой. Сатирическое дарованіе взяло у него верхъ надъ приманками сентиментализма. Правда и то, что онъ имѣлъ передъ собою хорошіе образцы—сатирическіе журналы 4769—74 гг. Многія характеристики лицъ, равно какъ и многія картины домашняго и свѣтскаго быта живо напоминаютъ статьи Всякой всячины, Трутня, Живописца. Такова, напри- мѣръ, переписка Евгения съ родителями, видимо внушенная письмами отца, матери и дяди Фалалея Трифоновича (**). Кромѣ того, въ романѣ Измайлова выказалась особенность его пера—цинизмъ изображенія и выраженія, заслужившій ему имя русскаго Теньера № 1, которое онъ принималъ охотно, съ сознаніемъ своего отличительнаго достоинства, и которое въ самомъ дѣлѣ было достоинствомъ. Авторъ находилъ удовольствіе

(*) Самъ Измайловъ говоритъ:

Восемнадцати, не больше, лѣтъ
Урода этого я произвелъ на свѣтъ.

(**) Истор. Христ. I, 337—341.

подбирать такія слова и краски, которыя отвѣчаютъ изображаемымъ предметамъ и событіямъ. Безцеремонность и наивная грубость послѣднихъ отражаются на слогѣ и рисовкѣ ихъ повѣствователя (*). Будучи сатирой, «Евгеній» въ тоже время принадлежитъ къ отдѣлу нравоучительныхъ романовъ: онъ имѣетъ цѣлю, какъ говоритъ заглавіе, показать «пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія и сообщества». Авторъ надѣялся, что книга его можетъ быть не только пріятна, но и полезна, т. е. что нѣкоторые родители, прочитавъ ее, приложатъ рачительнѣйшее стараніе о воспитаніи своихъ дѣтей. Последняя глава играетъ роль Немезиды: всѣ лица несутъ заслуженную кару. Самъ Негодяевъ вошелъ въ неоплатные долги, былъ посаженъ, по просьбѣ заимодавцевъ, въ магистратъ, занемогъ тамъ горячкою и умеръ на 24-мъ году отъ рожденія; Вѣтровы продали половину своихъ крестьянъ и вмѣстѣ съ кредитомъ потеряли названіе «хорошо живущихъ людей»; дочь ихъ, увезенная Распутнымъ и потомъ брошенная имъ, сокрыла въ рѣкѣ свой стыдъ; Распутинъ занемогъ въ то самое время, какъ хотѣлъ жениться на другой дѣвушкѣ, и похороненъ въ тотъ день, въ который думалъ праздновать свадьбу; у Лицеѣркиной тысячь съ тридцать пропало на должникахъ, да тысячь съ двадцать укралъ у нея неблагодарный слуга Степка и бѣжалъ съ ними невѣдомо куда; у Тысящикова, мучителя своихъ крестьянъ, пожаръ истребилъ весь хлѣбъ; monsieur Pendarl (Евгенинъ учитель) добываетъ серебро и золото изъ нерчинскихъ рудниковъ; madame Sans-pudeur попала на какую-то суконную фабрику, гдѣ и прядетъ шерсть весьма искусно. Короче, порокъ наказанъ, и если добродѣтель не торжествуетъ, то потому единственно, что добродѣтельныхъ въ романѣ нѣтъ. Откуда же и быть имъ? могъ бы замѣтить авторъ: когда дѣйствительность поражаетъ наблюдателя преимущественно безразличными явленіями, трудно рисовать картины Астрей на вѣка.

О томъ, на какіе романы была у насъ мода въ самомъ началѣ XIX вѣка, мы знаемъ изъ статьи Карамзина: «о книжной торговлѣ и любви къ чтенію въ Россіи» (1802). Говоря, что романы расходятся больше, чѣмъ прочія книги, и что въ этомъ родѣ иностранные авторы перебиваютъ славу у русскихъ, онъ пишетъ: «теперь въ страшной модѣ Коцебу,—и какъ нѣкогда парижскіе книгопродавцы требовали «Перендскихъ писемъ» (Монтескье) отъ всякаго сочинителя, такъ наши книгопродавцы требуютъ Коцебу, одного Коцебу! Романъ, сказка, хорошее или дурное—все одно, если на титулѣ имя славнаго Коцебу». А изъ романовъ, замѣчаетъ также статья, наиболѣе нравятся «чувствительные».

Коцебу († 1819) долгое время господствовалъ въ нашей литературѣ какъ романистъ и еще болѣе какъ драматургъ. Русская публика до того къ нему привыкла, что почитала его какъ бы своимъ, хотя онъ писалъ на нѣмецкомъ языкѣ. Плодовитость пера его была изумительна: онъ постоянно слѣдилъ за направленіемъ современнаго вкуса и старался угождать ему своими сочиненіями, которыя, не смотря на свою многочисленность, однообразны по манерѣ и постройкѣ, и незначительны по содержанію. Переводы его повѣстей, начатыя въ послѣднихъ годахъ прошлаго столѣтія, тянутся цѣлую четверть вѣка, почти не прерываясь. Они выходили не только въ столицѣ, но и въ провинціальныхъ городахъ—Смоленскѣ, Владимірѣ. Надъ нѣкоторыми трудились извѣстные литераторы—Жуковский (Мальчикъ у ручья, 1801), Гречъ

(*) Любопытно сравнить описаніе буйныхъ проказъ Негодяева «въ жизни грацій» съ такою же сценой «въ Опасномъ сосѣдѣ», В. Пушкина.

(Леонтина, 1808), князь П. Долгорукий (Филиберъ, 1815). Особеннымъ успѣхомъ пользовались трогательные романы: Леонтина и Страданія Ортенберговой фамиліи (1802). Последний явился въ двухъ переводахъ, изъ которыхъ каждый имѣлъ два изданія.

Нѣсколько позднѣе, любители романическаго чтенія стали улаживаться произведеніями нѣмецкаго же писателя, Августа Лафонтена († 1831), которыя ни плодovitостью, ни однообразіемъ и мелкостью содержанія не уступали произведеніямъ Коцебу. Это—романы семейные, возникшіе въ Германіи, какъ и въ другихъ странахъ, непосредственно за развитіемъ средняго сословія и служившіе изображеніемъ его быта. Самыми заглавіями они иногда показываютъ свое видовое отличіе: «Рафаилъ, или спокойная жизнь мирнаго семейства», «Новыя семейственныя картины, или жизнь бѣднаго священника одной нѣмецкой деревни и его дѣтей»; «Последняя семейственная картина, или приключенія Генріетты Бельманъ». Читателямъ нравились такія картины съ представленными на нихъ лицами, дѣтки-простосердечными и до того слабыми духомъ, что они, по замѣчанію нѣмецкихъ критиковъ, не въ силахъ грѣшнить, если бы даже захотѣли того. Только авторъ, своими вымыслами, ставитъ ихъ въ опасныя искушенія и своею же волею выпутываетъ ихъ изъ опасностей. Ни умъ, ни фантазія не чувствуютъ напряженія отъ подобныхъ романовъ: все усваивается легко, а благополучный исходъ интриги, вертящейся на сентиментальной, чисто-нѣмецкой любви, успокоиваетъ читателей, которымъ было бы жалко видѣть въ неминуемой бѣдѣ простодушныхъ героинь и героевъ, хотя слово «героизмъ» можетъ быть здѣсь допущено не иначе, какъ по злоупотребленію. Не смотря на это, трудно теперь представить, съ какою жадностью и удовольствіемъ читались романы Лафонтена: ихъ дѣйствіе понятно лишь тому, кто на самомъ себѣ испыталъ его, читая, напримѣръ, «Природу и любовь» (1799), «Клару Дюплесси» (1804), «Бланку и Минну» (1817), «Тетушку Изабеллу» (1818), «Признанія при гробѣ» (1821). Въ сущности, дѣйствіе было вредно, возбуждая въ юной душѣ сладенькія чувства, приучая ее къ праздно мечтательности и все завершая или несостоятельной, или пошлой моралью. Лафонтенъ бралъ также сюжеты изъ русской исторіи; къ числу этихъ, только по названію историческихъ, романовъ, принадлежатъ: «Князь Федоръ Долгорукий и княжна Марья Меншикова, или вѣрность по смерти» (1807—1808) и «Александръ Михайловичъ, великій князь тверской» (1818). Первый особенно интересовалъ публику трогательнымъ положеніемъ лицъ, хотя въ немъ невѣрны даже факты, не говоря уже о характерѣ ихъ представленія.

Почти одновременно съ семейственными романами стали появляться у насъ «ужасно-чудесные романы» Редклифъ († 1823), англійской писательницы, обладавшей истиннымъ талантомъ и произведшей множество подражателей. Лучшіе изъ нихъ: «Италіянецъ или исповѣдная черныхъ кающихся» и «Таинства удоульфскія» были переведены уже въ 1802—1804 гг., а за тѣмъ безостановочно, въ теченіи двадцати лѣтъ слишкомъ, слѣдовали переводы почти всѣхъ другихъ ея сочиненій.

Редклифъ создала новый родъ повѣсти, который дѣйствовалъ на фантазію особеннымъ образомъ. Ея романы, подобно балладѣ, возбуждали въ душѣ чувство страха представленіемъ таинственныхъ лицъ и событій, но съ тою разницею, что впечатлѣніе, производимое балладой, остается неразрѣшеннымъ, тогда какъ Редклифъ въ концѣ своего разсказа объясняетъ таинственное самыми простыми причинами: видѣнія, призраки, загадочные звуки, страшные образы.... все это сводится на какую-нибудь пружину,

жину въ стѣнѣ, подземный ходъ, искусственную или природную акустику, размалеванную маску, хитрости механики или физическія силы. Вопреки назначенію искусства, самъ авторъ въ развязкѣ уничтожалъ то чувство, на которое настраивалъ читателя всѣмъ ходомъ повѣсти, начиная съ ея заглавія (*). Но вѣдь развязка занимаетъ послѣднія страницы книги; все же остальное, благодаря таланту Редклифъ, возбуждало и постепенно усиливало интересъ къ таинственному—главной цѣли ея романовъ. Этимъ и объясняется необычайный ихъ успѣхъ, да еще живыми описаніями мѣстностей, рельефнымъ изображеніемъ нѣкоторыхъ характеровъ и театральными эффектами. Въ числѣ русскихъ переводовъ находятся такія сочиненія, которыя, для лучшаго ихъ расхода, приписывали Редклифъ ея французскіе подражатели, напримѣръ: «Видѣнія въ Пиринейскомъ замкѣ» (1809) (**) и «Монастырь св. Екатерины» (1810). Наши переводчики также выдали подъ ея именемъ романъ Левиса: «Монахъ или пагубныя слѣдствія пылкихъ страстей» (1802—1803). Критика съ разныхъ точекъ зрѣнія возставала противъ того рода романовъ, которыми прославилась англійская писательница. Ужасное признавала она поэтической стихіей въ такомъ только случаѣ, когда оно возбуждается достойнымъ предметомъ или искусно съ нимъ соединяется: таковъ, напримѣръ, ужасъ, испытываемый зрителемъ при умерщвленіи Дункана (въ Шекспировой трагедіи «Макбетъ») или Зоира (въ трагедіи Вольтера: «Магометъ»). Она разумѣла трагическій ужасъ высшаго качества, который не всѣми понимается одинаково, а иными и вовсе не понимается; тогда какъ рассказы Редклифъ наводили собственно страхъ дѣтскій, интересующій большинство читающей массы. Другіе критики, изъ видовъ сатиры или философій, осуждали романистку за то, что содержаніе ея повѣстей служило цѣлью, а не средствомъ; что она поступила бы лучше, заставивъ читателя смѣяться надъ предметами его неразумной пугливости и тѣмъ освобождая умъ отъ суевѣрія. Можетъ быть, это и было бы полезно, но Редклифъ могла имъ возразить словами Вольтера: «всѣ роды литературы хороши, кромѣ скучнаго». Девяти десятымъ читателей именно и единственно правилось зрѣлище таинственныхъ ужасовъ; нѣтъ сомнѣнія, что они сѣтовали на автора за неожиданную развязку и желали бы остаться, по прочтеніи книги, подъ очарованіемъ неопредѣленно-пріятнаго страха. Обвиняли также Редклифъ за толпу подражателей, простирившихъ свою безцеремонность до такой степени, что еще при ея жизни былъ выданъ будто бы ея посмертный романъ: «Гробница» (русскій переводъ 1802), а изъ легкости подражанія образцу заключали о легкости, незначительности самаго образца. Замѣчаніе справедливо, но оно же показываетъ силу дарованія писательницы, умѣвшей, въ средѣ мало-важныхъ предметовъ, быть оригинальной и заинтересовать всю Европу своими повѣстями. Русскіе журналы различно относились къ Редклифъ. Одни восторгались ею, наравнивъ съ многочисленными читателями и читательницами; другіе хвалили ее, на томъ основаніи, что, безъ ея романовъ, мы были бы принуждены читать Бову, Еруслана или Полкана; третьи почитали ихъ вредными; четвертые просто смѣялись надъ ними. «Московскій Меркурій» (1803) находилъ, что они болѣзненно дѣйствуютъ на нервы

(*) Напримѣръ: «Полночный колоколь или таинства Когенбургскаго замка» (1802), «Живой мертвецъ или Неаполитанцы» (1808), «Ночныя видѣнія или приключенія несчастной Аманды» (1811) и т. п.

(**) Другой переводъ съ болѣе заманчивымъ заглавіемъ: «Ужасныя, необыкновенныя и чрезвычайныя приключенія, или видѣнія въ Пиринейскомъ замкѣ» (1809).

женщинъ, изъ которыхъ нѣтъ не знали три ночи, прочитавъ «Сенъ-Клерское аббатство». При разборѣ «Монаха», приписаннаго Редклифъ, онъ замѣчаетъ: истощивъ уже давно видѣнія и чудеса, Редклифъ рѣшилась вывести на сцену самого дьявола. А. Измайловъ, въ «сатирическихъ вѣдомостяхъ» своего журнала (Благонамѣренный), вызывалъ мужчину съ крѣпкою грудью для чтенія по вечерамъ романовъ, въ которыхъ главныя роли играютъ мертвецы и привидѣнія, и объявлялъ о разыгрываніи въ лотерею библіотеки Невѣжина, гдѣ между старинными русскими сказками и романами русскихъ писателей стоятъ романы Редклифъ. Тоже изданіе, рекомендуя чтеніе романовъ не только благовоспитаннымъ юношамъ, но даже дѣвцамъ, совѣтовало однакожъ не читать «романовъ *рыцарскихъ*, противъ которыхъ такъ много вооружались Сервантесъ и Буало; *ужасно-нелѣпныхъ*, пугающихъ воображеніе разбойниками, мертвецами и привидѣніями; *сентиментальныхъ* и *сладострастныхъ*, приводящихъ въ изнеможеніе душу или возбуждающихъ чувственность; такъ называемыхъ *философическихъ*, вводящихъ въ заблужденіе незрѣлый умъ и истребляющихъ основаніе нравственности». Исключеніе осталось за одними *характерными* и *нравоучительными* романами, изъ которыхъ можно узнавать людей, добродѣтели ихъ и пороки, страсти, нравы, слабости, странности, свѣтскіе обычаи и т. п. Къ такому чтенію отнесены Донъ-Кихоть, Жильблязъ, Вакефильдскій священникъ, лучшіе романы Ричардсона, Фильдинга, миссъ Бюрней, г-жъ Коттенъ и Жанлисъ, А. Лафонтена, Бульи. Совѣтъ журнальнаго сотрудника пропалъ однако по-пусту, какъ совѣтъ Крыловскаго повара. Чтеніе, конечно, служить очень важнымъ воспитательнымъ средствомъ, но устроить его по надлежащему плану и къ полезному концу возможно только при умномъ надзорѣ, семейномъ или школьномъ. Публика же, вышедшая изъ подъ надзора, ищетъ въ беллетристикѣ удовлетворенія своей эстетической потребности, пріятнаго развлеченія въ свободныя часы, и только съ этой точки зрѣнія оцѣниваетъ произведенія романистовъ. Она читала Лафонтена и Редклифъ, потому что ихъ романы нравились ей какъ романы, безъ мысли о ихъ нравственной пользѣ или нравственномъ вредѣ. Направлять ея вкусъ можетъ только поэтический талантъ: только за нимъ идетъ она покорно до тѣхъ поръ, пока другой, болѣе сильный талантъ не поведетъ ее въ другую сторону. Издатель Московскаго Меркурія вооружался противъ романовъ Редклифъ, какъ только они начали у насъ являться (1803): остановило ли это ихъ распространеніе?

Нѣкоторыя сочиненія французской писательницы Коттенъ († 1807) могли похвалиться такимъ же, если не большимъ успѣхомъ. Одно изъ нихъ: «Елизавета Л** (Лупалова) или несчастіе семейства, сосланнаго въ Сибирь и потомъ возвращеннаго» (1808), въ восемнадцать лѣтъ имѣло пять изданій. Въ немъ разсказано истинное происшествіе Александрова времени—героизмъ благородной дѣвушки, которая изъ Сибири пришла въ Петербургъ и выпросила у Государя прощенія своему отцу-преступнику. О подвигъ русской Антигоны тогда писали въ журналахъ; онъ возбуждалъ общее сочувствіе и былъ награжденъ по достоинству (*). Другой романъ: «Матильда, или записки, взятія изъ исторіи крестовыхъ походовъ» (1806), долго и сильно дѣй-

(*) Лупалову звали не Елизаветой, а Прасковьей. Графъ Ксавье де Местръ разсказалъ ея исторію въ небольшомъ сочиненіи: «La jeune Sybérienne», а Н. Полевой представилъ ее въ драмѣ: «Параша Сибирячка». Местръ справедливо жалѣетъ, что Коттенъ обставила романическими приключеніями судьбу дѣвушки, которая не знала другой страсти, кромѣ дочерней любви.

ствовали на молодые сердца, особенно въ кругу читательницъ, которыя въ лицѣ великодушнаго мусульманина Малекъ-Аделя видѣли свой идеалъ. Нѣкоторыя его сцены изображались на картинахъ, а продолженіе его, написанное другимъ лицомъ, вышло у насъ въ двухъ переводахъ (1824 и 1825).

Переводы романовъ и повѣстей третьей писательницы, Жанлисъ († 1830), образуютъ значительную библіотеку. Большинство публки принимало ихъ не съ такимъ интересомъ, какъ сочиненія Редклифъ, но литераторы отдавали имъ преимущество, находя въ нихъ соединеніе трогательнаго съ поучительнымъ, хотя и замѣчая въ тоже время, что у автора «слишкомъ много метафизики сердца и выставки ума въ сентенціяхъ». Первую у насъ извѣстность повѣстямъ Жанлисъ далъ Карамзинъ: еще въ Дѣтскомъ Чтеніи помѣстилъ онъ переводъ ея «Деревенскихъ вечеровъ» (*Les veillées du château*), а для Вѣстника Европы переводилъ ея повѣсти (отдѣльно изданныя въ 1802—1803 гг.) (*) и нѣкоторыя мѣста изъ «Записокъ Фелиціи», вышедшихъ потомъ особой книгой (1808) (**). Наиболѣе читались «Герцогиня де ла Вальеръ» (1805) и «Велисарій» (1808). Первая повѣсть привлекала трогательною судьбою фаворитки Лудовика XIV, окончившей жизнь въ монастырѣ. Интересъ второй повѣсти заключался въ трогательною судьбѣ Юстиніанова полководца, къ которому сдѣлались «славы Римъ и Византія» и къ которому уже было возбуждено сочувствіе романомъ Мерзлякова (***). Политическій романъ того же имени, Мармонтеля, имѣлъ другое значеніе и обращался въ болѣе образованномъ классѣ; повѣсть Жанлисъ, написанная «для женщинъ и людей свѣтскихъ», читалась менѣе взыскательными лицами, безъ претензій на политику и философію. Свидѣтельствомъ уваженія, которымъ эта писательница пользовалась въ свое время, можетъ служить то, что изъ ея сочиненій, какъ изъ сочиненій Бюффона, Вольтера, Руссо, былъ составленъ сборникъ, подъ названіемъ: «Духъ госпожи Жанлисъ» (1808).

Особеннаго рода чтеніе доставлялъ плодovitѣйшій французскій романистъ Дюкре-Дюминиль († 1819). Объ нѣкоторыхъ книгахъ говорится съ похвалою, что мать безъ всякой опасности можетъ дать ихъ въ руки своей дочери: къ такимъ книгамъ принадлежатъ романы Дюкре-Дюминиль. Мораль ихъ самая чистая: они изображаютъ невинность въ постоянной борьбѣ съ хитростью и злою силой и въ постоянномъ надѣ ними торжествѣ. Главною публкой автора были дѣти и юноши, которые въ дѣйствующихъ лицахъ находили любезныхъ себѣ сверстниковъ. На это указываютъ самыя заглавія: Яшенька и Жеоржетта, или приключенія двухъ *младенцевъ*, обитавшихъ на горѣ (1796), Катенька, или таинственное *дитя* (1802), Пальмиръ и Вольмениль, *маленькіе сироты* (1804—1805), *Малчикъ*, наигрывающій разныя штуки колокольчиками (1810) и пр. Всѣ эти мальчики и дѣвочки, вырастая въ теченіе романа, могли подъ конецъ интересоваться и взрослыхъ, такъ что родители вдвойнѣ обязаны были романисту: и за дѣтей своихъ, и за самихъ себя. Лучшими его сочиненіями почитаются «Молотта и Фанфанъ, или приключенія двухъ *младенцевъ*, оставленныхъ на необитаемомъ островѣ» (четыре изданія; 1-ое—1791) и «Викторъ или дитя въ

(*) «Новыя повѣсти» переведены кн. Шалиговымъ (1818).

(**) Остроумныя мысли и пріятныя анекдоты, собранныя г-жею Жанлисъ. — Другой переводъ: «Воспоминанія Фелиціи Л***, состоящія изъ отборѣйшихъ мыслей и пѣщѣйшихъ анекдотовъ» (1809).

(***) См. выше стр. 157.

лѣсу» (три изданія; 1-ое—1799-1800). Въ первомъ изъ нихъ авторъ подражалъ «Робинзону», присоединивъ къ тому описанія любопытныхъ явленій природы, растений и животныхъ на островѣ; потомъ онъ умѣлъ выдумать занимательныя, нерѣдко мелодраматическія приключенія брата и сестры, которые, во всѣхъ своихъ бѣдахъ, остались безупречно-чистыми.

Объ одномъ изъ романовъ Флоріана сказано выше. Пропуская его повѣсти-идилліи (Галатея, Эстелла), въ которыхъ онъ подражалъ испанскому пасторальному роману и которыя явились у насъ еще прошлымъ столѣтіемъ, какъ и Нума Помпилій, должно упомянуть о немъ, какъ о переводчикѣ Сервантеса: съ его перевода, или точнѣе передѣлки, Жуковский переложилъ Донъ-Кихота (по французскому произношенію, Донъ-Кишота) (1805). Хотя ламацкій герой утратилъ свой настоящій образъ въ работѣ Флоріана, но его похождения читались охотно, какъ веселая и забавная сказка, такъ что потребовалось новое изданіе русскаго перевода. Чего же больше для перваго знакомства? Съ этой стороны, «Кишоть» Жуковскаго беретъ верхъ надъ «Кихотомъ» Масальскаго (1838, томъ 1). Много ли читателей нашлось у послѣдняго? Въ ту пору, какъ онъ явился, романъ Сервантеса уже сдѣлался предметомъ не столько занимательнаго чтенія для публики, сколько историко-литературнаго изученія для немногихъ; а эти немногіе обращались конечно не къ переводу Масальскаго.

Нельзя оставить безъ вниманія нравственно-сатирическаго романа, написаннаго на нѣмецкомъ языкѣ и въ 1809 г. переведеннаго на русскій: «Пансальвинъ, князь тьмы» (*). Приводимъ нѣсколько о немъ извѣстій изъ статьи А. Н. Афанасьева, который показалъ, кого должно разумѣть подъ вымышленными именами (**). При своемъ появленіи, «Пансальвинъ» возбудилъ всеобщее любопытство и сдѣлался предметомъ различныхъ толковъ: причина того въ содержаніи книги, рассказывающей исторію быстрого возвышенія Потемкина. Характеръ главнаго лица изображенъ рѣзко, но не привлекательно. Название «князь тьмы» намекаетъ не только на фамилію героя (Потемкинъ), но и на «темныя» сторины его политической дѣятельности и на демоическія силы его гордой, властолюбивой души. Судьба его, интимныя связи и придворныя интриги даютъ автору частые случаи проповѣдывать о гибельныхъ слѣдствіяхъ честолюбія, жажды завоеваній и другихъ пороковъ. Прибавимъ, что эти проповѣди, равно какъ форма изложенія и дурной переводъ, дѣлаютъ чтеніе романа почти невыносимымъ.

Знаменитое произведеніе Лесажа († 1747) «Жильблазъ» переведенъ Василиемъ Тепловымъ, подъ названіемъ: «Похожденія Жильблаза де Сантилланы» (1768) (***). Слѣдуя примѣру многочисленныхъ его подражателей въ самой Франціи

(*) Pansalvin, Fürst der Finsterniss, und seine Geliebte. Satire auf Russland (1794).

(**) Москов. Вѣдомости, 1860; № 48, литературный отдѣлъ. Дѣйствующія лица: Пансальвинъ—Потемкинъ, графиня Маниль—жена гр. С. Р. Воронцова, г-жа Шпадиль—гр. П. А. Брюсъ, баронъ Понто—И. П. Елагинъ, баронетъ Пикинь—А. С. Васильчиковъ, гр. Кервиль—гр. Г. Г. Орловъ, Трефія—Зиновьева, потомъ жена гр. Г. Г. Орлова, кн. Кородо—гр. Н. И. Папинъ, фельд-маршалъ Басто—гр. Румянцевъ-Задунайскій, Неана—А. П. Нарышкина. Въ невыгодномъ свѣтѣ выставлены: г-жа Шпадиль и баронъ Понто. Императрица является подъ именемъ Миранды. Гдѣ только заходитъ о ней рѣчь, авторъ съ величайшимъ уваженіемъ говоритъ объ ея умѣ, сердцѣ и дарованіяхъ и съ видимымъ сочувствіемъ къ ея правительственнымъ заботамъ, хотя указываетъ и нѣкоторыя ея слабости.

(***) Они имѣли три изданія. Другой переводъ (Жилблазъ де Сантиллана) нан. въ 1819—21 г.

и другихъ странахъ, В. Нарѣжнѣй (1780—1825) (*) сочинилъ романъ: «Россійскій Жилбазъ или похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова», въ шести частяхъ, изъ которыхъ первыя три напечатаны въ 1814 г., а послѣднія три остались въ рукописи, потому что цензура осудила нѣкоторыя мѣста третьей части (**). Намѣреніе Лесажа—представить человѣческую жизнь, какъ она есть,—выполнено превосходнымъ образомъ. Дѣйствіе происходитъ въ Испаніи, а не во Франціи, гдѣ въ то время сатира была осуждена на молчаніе. Авторъ совѣтуетъ читателю внимательно замѣчать правоученія, вытекающія изъ разсказа о походахъ героя: тогда только чтеніе принесетъ пользу и вмѣстѣ пріятность. Нарѣжнѣй «вывелъ на показъ русскимъ людямъ русскаго же человѣка, считая, что гораздо сходнѣе принимать участіе въ дѣлахъ земляка, нежели иноземца»; слѣдовательно романистъ нашъ сдѣлалъ то, чего не могъ сдѣлать Лесажъ и на что, по его словамъ, нельзя было бы отважиться у насъ нѣсколько десятковъ лѣтъ, т. е. безпристрастно описывать наши нравы (***). Своею задачею положилъ онъ изобразить человѣческую жизнь въ многоразличныхъ отношеніяхъ. И цѣль всего этого такая же, какую начерталъ себѣ Лесажъ: соединеніе полезнаго съ пріятнымъ.

Кромѣ характеристики русскаго человѣка въ различныхъ состояніяхъ, сатира Нарѣжнаго имѣла въ виду нѣсколько специальныхъ предметовъ, о которыхъ говорится въ предисловіи:

Да не прогнѣваются на меня изстуженные любители *метафизики, славенскаго языка и всего, что есть нѣмецкаго*, что я не всегда съ должною почтительностію объ нихъ отзывался. Это отнюдь не значитъ, чтобы считалъ я метафизику наукою вздорною, славенскій языкъ варварскимъ, и все то, что выдуманно нѣмецкою головою, глупою выдумкою. Сохрани отъ того, Боже! Но мнѣ всегда казалось, что перейти должныя предѣлы въ чемъ бы то ни было, есть крайнее неразуміе. Метафизика безъ сомнѣнія есть наука высокая и утончаетъ разумъ человѣка, однакожъ не до такой степени, чтобы могъ онъ опредѣлить, чѣмъ занималось Высочайшее Существо до созданія міра и чѣмъ заниматься будетъ по разрушеніи онаго. А есть такіе храбрые ученые, которые на то пускаются. Славенскій языкъ безспорно высокъ, точенъ, обилень; однакожъ тотъ изъ насъ, который, стоя предъ красавицею, будетъ нѣжить слухъ ея названіями: «лѣпообразная дѣво! голубинице, краснѣйшая рая!»—едвали не долженъ быть почтенъ за сумасброда; а такіе витязи и до сихъ поръ у насъ находятся и не безъ послѣдователей. Что касается до нѣмчизны, подъ которымъ названіемъ, слѣдуя выраженію нашихъ прадѣдовъ, разумѣю я всякую чужеземщину, то весьма недовольнымъ почту себя, если кто нибудь назоветъ меня порицателемъ всего того, что не наше. Это была бы излишняя склонность ко всему своему, что также никуда не годится.

Кромѣ того авторъ объявляетъ, что онъ старался сохранить въ своемъ разсказѣ слѣдующія «правила»: вѣроятность, приличіе, сходство описаній съ природою, изображеніе нравовъ въ различныхъ состояніяхъ и отношеніяхъ. Въ этомъ объявленіи предметъ романа смѣшанъ съ тѣми качествами, которыя должно имѣть изображеніе предмета; да и самыя качества указаны сбивчиво. Сходство описаній съ природою подле-

(*) Ист. Христ. II, 295—298, 535.

(**) «Предосудительныя и соблазнительныя» мѣста указаны тогдашнимъ министромъ просвѣщенія, гр. Разумовскимъ. См. «Матеріалы для исторіи просвѣщенія въ Россіи въ царствованіе Александра I», М. Сухомлинова (Журналъ министерства народ. просв. 1866, ноябрь).

(***) Россійскій Жилбазъ подвергся осужденію не за то, что онъ описываетъ отечественные нравы, а за «безнравственное» (съ точки зрѣнія тогдашняго министра) ихъ описаніе (Ib. стр. 28 и 29).

жить также закону правдоподобія, и подъ словомъ «приличіе» слѣдуетъ разумѣть не иное что, какъ поэтическое представленіе, приличное дѣйствительному характеру представляемаго. Согласно требованіямъ самого автора, мы и будемъ смотрѣть на его повѣсть.

Нарѣжный писалъ романъ свой въ то время, когда еще не остыла любовь къ чтенію вымышленныхъ приключеній или походовъ. Чѣмъ они были диковиннѣе, тѣмъ книга больше правилась читателямъ, которые не задавали себѣ вопроса о предѣлахъ вѣроятности и были бы въ затрудненіи отмежевать возможное отъ невозможнаго, такъ какъ герои странствовали въ заморскихъ краяхъ, а за моремъ мало ли что есть и что случается? тамъ, по словамъ сказки, текутъ «рѣки сытовые въ берегахъ кисельныхъ». Нарѣжный самъ находился подъ вліяніемъ сказочной настроенности. Онъ перемѣнилъ сцену дѣйствія, выбравъ для нея Россію вмѣсто чужихъ земель: это дѣлаетъ ему честь; но, при замѣчательномъ своемъ дарованіи, онъ еще не покинулъ обычая придумывать дѣйствіе похитрѣе и запутаннѣе. Существенное отличіе дальнихъ «похожденій» осталось, хотя въ меньшей степени, и въ похожденіяхъ «Россійскаго Жильблаза».

Главное лице романа—князь Гаврило Симоновичъ Чистяковъ, уроженецъ села Фалалеевки (курской губерніи), гдѣ «столько же князей, сколько въ Малороссіи дворянъ, а въ Шотландіи графовъ». Эти князья сами пашутъ и орутъ не хуже однодворцевъ, о которыхъ сложилъ пѣсню мельникъ Аблесимова (*). Исторія Чистякова начинается тѣмъ, чѣмъ оканчивается исторія настоящаго Жильблаза: онъ женился—на Оеклушѣ, дочери другаго фалалеевскаго князя. Черезъ три года послѣ замужества, княгиня охотно дозволила похитить себя одному изъ столичныхъ князей. Трудно сказать, что правдоподобіе въ этомъ фактѣ: то ли, что свѣтскій молодой человѣкъ плѣнился Оеклушей, которая сама работала въ огородѣ и еле выучилась читать и писать, или то, что «чувствительная» женщина, какъ называетъ авторъ Оеклушу, три года жившая съ мужемъ въ любви и согласіи, бросила его и младенца-сына безъ всякой жалости, безъ всякой внутренней борьбы? Мало этого: она издѣвается надъ оставленнымъ, увѣдомляя его о своемъ побѣгѣ. Продѣлки такого рода приличны ловкимъ, искусившимся въ интригахъ актрисамъ, которыя описаны Лесажемъ и, вѣроятно, служили подлинникомъ Оеклушѣ. Последняя и является актрисой въ концѣ третьей части, только не на театрѣ, а въ масонскихъ собраніяхъ, гдѣ она играла своего рода роль. Какой изумительный скачекъ отъ Фалалеевки до столицы, отъ княгини Оеклы Сидоровны, ничего не читавшей, кромѣ сказокъ, до прекрасной Лавиніи, блиставшей на пирахъ масоповъ! Подражаніе Лесажу завело Нарѣжнаго слишкомъ далеко: незамѣтно для себя прилаживалъ онъ испанскіе обычаи къ русскому сюжету. Лишась жены, Чистяковъ вскорѣ испыталъ другую потерю: двухлѣтній сынъ его былъ похищенъ орловскимъ купцомъ Асанасіемъ Описимовичемъ Причудинымъ. Съ какою цѣлію учинено похищеніе? Покойный дѣдъ Причудина былъ тоже князь Чистяковъ, бѣдный, какъ и всѣ его родственники; разбогатѣвъ, онъ бросилъ родовую фамилію, наминавшую ему «сіятельное нищенство», и принялъ новую, въ память своего тестя. Разбирая отцовы бумаги, Причудинъ нашелъ тетрадку, содержащую въ себѣ имена успшихъ, которые поминались за упокой; между ними онъ увидѣлъ имя князя

(*) Ист. Христ. 1, 415, прим. 2.

Симона Гавриловича Чистякова, приходившагося ему родственникомъ въ осьмнадцатомъ колѣнѣ. «Вотъ», подумалъ Причудинъ, «остались еще князья моей фамиліи. Они вѣрно люди бѣдные. Почему мнѣ не взять у котораго нибудь изъ нихъ малолѣтняго сына, не воспитать какъ должно, не удѣлить части моего имущества, не обижая дочери, и не возставить чрезъ то благороднаго дома?» Сказано—и сдѣлано. Зачѣмъ, однако, выбранъ кривой и опасный путь для выполненія замысла? Россійскій Жильблазъ былъ такъ безпеченъ; всѣ его дѣйствія въ деревенской жизни, начиная съ волокитства за Оеклушой, отличались такимъ легкомысліемъ, чтобъ не сказать глупостью, что онъ и добровольно уступилъ бы сына заботливой родитѣ. Какъ бы предвидя вопросъ, Причудинъ отвѣчалъ на него: «Отецъ не утерпитъ видѣть сына какъ можно чаще; дитя узнаетъ, что онъ князь, и притомъ имѣетъ богатаго родственника, который взялся воспитать его и слѣдовательно никогда не оставитъ. Это могло помѣшать его нравственности, успѣхамъ въ наукахъ и моимъ намѣреніямъ». Такіе-то расчеты руководили орловскаго купца въ его продѣлкѣ. Читатель видитъ здѣсь романтическую диковинку, благодаря которой выступаетъ на сцену новое лицо, являются два Жильблаза—отецъ и его сынъ Никандръ, также рассказывающій свои похождения, и романъ теряетъ единство интереса. Что приключалось съ героемъ Лесажева романа, то естественно вытекало изъ хода человѣческой жизни вообще и изъ національных особенностей жизни испанской: здѣсь все вѣрно—событія, характеры и языкъ дѣйствующихъ лицъ, почему и называютъ этотъ романъ поучительнымъ, какъ поучительна сама опытность. Жильблазъ Нарѣжнаго самъ отыскиваетъ приключенія и идетъ на нихъ очертя голову, или, вѣрнѣе, они придумываются для него авторомъ, который умышленно наталкиваетъ на нихъ своего неразумнаго героя. Положивъ изобразить русскіе нравы, Нарѣжный не сумѣлъ приладить ихъ къ дѣйствіямъ, приличнымъ русскому человѣку. Но послѣднія условливаются первыми; во внутреннемъ ихъ согласіи и состоитъ правдоподобіе или вѣроятность, о которой говорилось въ предисловіи. Сверхъ указанныхъ несообразностей, въ романѣ то и дѣло встрѣчаются другія. Кромѣ купца, таинственнаго похитителя и благодѣтеля, желающаго возстановить княжескій родъ, есть купецъ, совѣтующій Чистякову не учиться метафизикѣ, которую онъ называетъ великою наукой. Крестьянинъ Чистякова, Иванъ, самовольно продаетъ сосѣдямъ господское поле,—и господинъ мирится съ незаконнымъ фактомъ, какъ будто на него нѣтъ управы. Простолудины выражаются литературнымъ языкомъ. Вотъ, на примѣръ, какъ говоритъ крестьянка Марья своему барину: «она (дочь старосты) *обнаружила крайнее желаніе* быть вашею женою и княгинею, а достатка у нея довольно, *чтобы вести себя сообразно такому знатному званію*». Нарѣжный самъ чувствовалъ невѣрность нѣкоторыхъ событій и характеровъ въ своемъ романѣ, почему и находилъ нужнымъ пояснять нѣкоторыя мѣста его: такъ первая глава второй части занята объясненіемъ, которое вредитъ какъ читателю, такъ и автору. Поэтическое изображеніе жизни не диссертация: въ немъ все должно быть понятно безъ комментарія.

Если въ дѣйствіи романа нѣтъ правдоподобія, то изъ двухъ цѣлей—пріятности и пользы,—къ которымъ романистъ стремился, первая не достигнута. Разумный читатель не находитъ ничего пріятнаго въ невѣроятной интригѣ. Что касается до пользы, то она могла бы заключаться въ нравственныхъ правилахъ, которыя герой выводитъ изъ опытовъ своей жизни. Но такому герою, какъ Чистяковъ, не пристало быть моралистомъ, хотя онъ и любитъ при случаѣ брать на себя эту обязанность. Всѣ его

начинаются недобромъ или смѣхомъ, по его собственной простотѣ, которая иногда хуже воровства. Мораль Лесажева сочиненія можетъ быть добыта внимательнымъ читателемъ изъ похожденій Жильблаза; самъ Жильблазъ ее не проповѣдуетъ. Жизнь этого героя представляетъ картину свойственнаго людямъ равнодушія къ добродѣтели и пороку. Онъ, какъ и большинство смертныхъ, столько же готовъ на честное дѣло, сколько и на шутни, смотря по тому, что лучше ведетъ къ устройству благоденствія. Но онъ, однакожь, понимаетъ достоинство одного и низость другаго, и нерѣдко скорбитъ, если обстоятельства вынуждаютъ его жертвовать дурному хорошему. Жаль одного, говоритъ онъ послѣ какой-то продѣлки, что нѣтъ тутъ столько же чести, сколько есть прибыли и удовольствія. Жильблазовскій индифферентизмъ не къ лицу «россійскому Жильблазу»: послѣдній преступаетъ правила большею частію потому, что неясно различаетъ законное отъ незаконнаго. Его продѣлки—всегда почти несообразности. Еще меньше смысла имѣютъ въ его устахъ правоучительные выводы. Что рассказывается Жильблазомъ Лесажа, то каждый человѣкъ можетъ примѣнять къ себѣ: отъ того-то авторъ и проситъ читателей не подозрѣвать въ его романѣ личныхъ наметокъ. Что рассказывается о Чистяковѣ, того нельзя взять на свой счетъ, такъ какъ его дѣйствія несогласны съ русскою жизнію, исключительны и въ добавокъ глупы. Подобные герои не возбуждаютъ сочувствія. Мы не то хотимъ сказать, что сочиненіе Нарѣжнаго не выдерживаетъ сравненія съ сочиненіемъ Лесажа: это само собою разумѣется; мы хотимъ сказать, что подражать образцовому автору значитъ писать такъ, какъ бы онъ, будучи русскимъ, описывалъ дѣйствія и нравы русскихъ.

Несостоятельность «Россійскаго Жильблаза», какъ романа, выкупается сатирическимъ описаніемъ нѣкоторыхъ современныхъ нравовъ. Съ этой стороны надобно отдать справедливость и таланту, и здравому смыслу Нарѣжнаго, который лучше хотѣлъ имѣть дѣло съ настоящимъ положеніемъ вещей, каково оно ни есть, нежели рисовать сентиментальныя картины. Правда, онъ не соблюдаетъ должной мѣры въ своихъ изображеніяхъ, часто преувеличивая смѣшное, однакожь въ самой каррикатурѣ держится на дѣйствительномъ основаніи. Изъ многихъ предметовъ его сатиры въ предисловіи указана, какъ нѣчто особенное, «изступленная любовь къ метафизикѣ, славянскому языку и всему нѣмецкому». Насколько можно судить по словамъ Чистякова, подъ метафизикой авторъ разумѣлъ такую науку, которая измѣряетъ все сущее и несущее, разсуждаетъ о жизненныхъ духахъ, о душѣ, умѣ, адѣ, раѣ и т. п. Представитель подобнаго метафизика—Трисмегалось, провинціальный философъ-учитель, будто бы имѣвшій обязанность преподавать публичныя лекціи или говорить рѣчи о философіи. Конечно, здѣсь не безъ подражанія Лесажеву роману: Трисмегалось сбивается на бакалавровъ саламанкскаго университета; но есть и подлинныя черты бывшаго схоластическаго преподаванія въ нашихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, среднихъ и высшихъ, которыхъ воспитанники были упражняемы въ бесполезныхъ диспутахъ и по окончаніи курса сообщали своимъ проповѣдямъ и другимъ сочиненіямъ характеръ школьной науки. Трисмегалось, знатокъ онтологіи, пневматологіи и психологіи, способенъ защищать или опровергать прямо-противоположныя мнѣнія: онъ доказываетъ, что «душа наша во лбу между глазами», а потомъ, съ такою же легкостью, что «она имѣетъ пребываніе въ затылкѣ, но съ тѣмъ однако, что властна перейти въ чело». Кромѣ схоластическаго мудрованія, подъ метафизикой разумѣется масонскій мистицизмъ, господствовавшій у насъ почти все время царствованія Александра I. Конецъ третьей части вводитъ россійскаго Жильблаза въ общество воль-

ныхъ каменщиковъ; какъ новозбранный членъ, онъ присутствуетъ на ихъ собраніяхъ съ рѣчами, пѣснями и символической обрядностью. Предсѣдатель ложи, посвящая Чистякова, предлагаетъ ему вопросъ: «хочешь ли имѣть понятіе о высокой таинственной мудрости, которая пронзаетъ небеса и освѣщаетъ сокровенныя движенія горнихъ духовъ?» Обстановка засѣданій въ ложѣ схвачена вѣрно, хотя самый взглядъ на масонство одностороненъ. Сатирикъ отнесся къ нему отрицательно. Онъ представляетъ явленія выродившагося, испорченнаго союза, который, уклонясь отъ своей цѣли— нравственнаго строенія людей, ударился въ тщеславіе, шарлатанство, обманъ и развратъ.

Трисмегалосъ не только философъ, но и славянофилъ. Онъ и говорить на церковно-славянскомъ языкѣ и объясняетъ пренебреженіе къ нему упадкомъ нравственности, какъ Шишковъ. Когда явился къ нему сынъ Чистякова, Никандръ, и изумилъ его знаніемъ почитаемаго имъ языка, а бывший при этомъ посѣтитель (Горланиусъ) смѣялся надъ комическимъ изумленіемъ старца, послѣдній замѣтилъ ему съ упрекомъ: «что смѣшился, о Горлание! Не есть ли во времена наши, *егда погибло все изящное на земли и нравы развратилися*,—не есть ли, глаголю, чудо зрѣти юношу сего въ толикомъ благомысліи, вѣщающаго языкомъ мудрѣйшимъ и добродѣтельнѣйшимъ?» Нарѣжный, сочувствуя Карамзину, хотѣлъ и своимъ орудіемъ послужить его реформѣ, именно въ то время, когда между двумя партіями велась полемика за старый и новый слогъ.

Нѣмцманію надобно понимать и въ собственномъ смыслѣ, какъ любовь къ нѣмцамъ, и въ болѣе обширномъ, какъ пристрастіе къ иностранному вообще. Временемъ сочиненія романа объясняются сатирическія его выходки. Нарѣжный трудился надъ нимъ въ эпоху великихъ нашихъ войнъ. Естественно было питать не только нелюбовь, но и ненависть къ двадцати языкамъ разорявшимъ Россію, какъ бы они ни пришли въ нее, волею или неволею; еще естественно было осуждать благоволеніе русскихъ къ недавнимъ врагамъ ихъ отечества. Эта ненависть замѣчалась въ Малороссіи, и одинъ изъ украинскихъ дѣятелей, В. Н. Каразинъ, правитель дѣлъ основаннаго имъ въ Харьковѣ «филотехническаго общества», счелъ за нужное возстать противъ чувства, которое обратилось въ предубѣжденіе, отвергаемое гуманностью, и съ этою цѣлію въ публичномъ собраніи общества, 1818 г., произнесъ рѣчь «объ истинной и ложной любви къ отечеству» (*). Рѣчь развиваетъ слѣдующее положеніе: «Любовь къ отечеству не есть исключительная привязанность къ странѣ рожденія, къ единоплеменникамъ: она согласуется съ любовью къ роду человѣческому... Государственное злословіе (т. е. ненависть къ чужимъ государствамъ и народамъ) не есть любовь къ отечеству: это ложный патріотизмъ». Въ одномъ мѣстѣ романа, помѣщикъ Простаковъ произноситъ грозную діатрибу противъ иностраннаго воспитанія русскихъ дѣтей. Въ другомъ выведенъ какой-то фонъ-Вольфъ-Кальбъ-Гаузовъ, гордящійся «достоинствомъ нѣмца, т. е. благородствомъ, чувствительностью и всегдашнимъ присутствіемъ духа». Россійскій Жильбазъ не могъ надивиться хвастовству и спеси этого нѣмецкаго пустомели. «Въ послѣдствіи времени», говоритъ онъ, «я узналъ, что многіе изъ сихъ спесивыхъ безумцевъ, не находя на родинѣ куска хлѣба, приходятъ въ Россію, перѣдко съ котомкою за плечыи и въ лохмотьяхъ, и скоро, съ помощію такихъ же выходцевъ, какъ и они, подлостію, ласкательствами и всѣми низкими сред-

(*) Сынъ Отечества, 1818, № 43.

ствами, достаютъ себѣ выгодныя мѣста, и послѣ съ гордостію и безстыдствомъ презираютъ и тѣснятъ природныхъ Русскихъ. Тогда узналъ я, что мы въ гражданской образованности еще весьма далеки отъ другихъ націй, потому что такихъ примѣровъ нигдѣ не найдешь, кромѣ какъ у насъ». Нѣтъ сомнѣнія, что слова Чистякова и теперь вызовутъ сочувствіе многихъ; для современниковъ Нарѣжнаго они были еще понятнѣе и сочувственнѣе. Тогда не даромъ ходилъ анекдотъ объ одномъ лицѣ, которое, испытывая постоянныя неудачи на службѣ, будто бы пріѣхало въ столицу хлопотать о перемѣнѣ своей русской фамиліи на нѣмецкую. Если это неправда, то, по крайней мѣрѣ, хорошо выдуманно.

Есть и другія мѣста, похвально рекомендующія сатирическій элементъ романа. Антипатія къ такъ называемому свѣтскому кругу, съ его наружнымъ благоприличіемъ и внутренней растлѣнностью; заступничество за крестьянъ, тѣснимыхъ жестокосердыми владѣльцами; изображеніе, хотя и каррикатурное, присутственныхъ мѣстъ, отправлявшихъ неправосудіе.... все это является у Нарѣжнаго иногда съ цѣлью обличить дурное, а иногда съ цѣлью привлечь читателя къ хорошему. Забавна сцена на базарѣ между хранителемъ городского благочинія и Чистяковымъ, когда послѣдній не подѣлился съ нимъ завтракомъ, и тотъ влѣпилъ ему около дюжины ударовъ плѣтью, приговаривая: «не чавкай, не нарушай тишины и порядка!» Столько же забавно, но больше правдоподобно распоряженіе канцеляриста Застойкина, который, исполняя данный ему ордеръ, вмѣсто убѣжавшаго купеческаго сына схватилъ попавшагося ему на дорогѣ Чистякова, нашелъ въ немъ всѣ прописанныя въ ордерѣ примѣты, обобралъ у него деньги и на вопросъ его: «развѣ мнѣ запрещено говорить въ свое оправданіе?» отвѣчалъ: «ни мало; въ ордерѣ о губахъ и языкѣ ни слова не сказано, и ты можешь дѣйствовать ими, сколь душѣ угодно». Встрѣчаются у Нарѣжнаго и такія картины, которыя, какъ сказано въ предисловіи, заставляютъ «пожилыхъ богомоловъ и богомолокъ, хотя притворно, застыдиться». Любопытно выслушать мнѣніе автора въ виду тѣхъ выговоровъ, которыхъ ожидалъ онъ отъ моральнаго пуризма: «можетъ быть, тоже дѣйствіе будетъ и надъ молодыми; но пусть молодые, почувствовавъ низость порока чужаго, краснѣютъ, не бывъ еще подвержены оному сами, нежели краснѣтъ въ лѣтахъ по сдѣланіи и когда уже будетъ мало случаевъ и силъ ему противиться».

Кромѣ «Россійскаго Жильблаза», Нарѣжный написалъ еще три романа: «Аристіонъ, или перевоспитаніе» (1822), «Бурсакъ» (1824) и «Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ» (1825). Общій ихъ недостатокъ—или запутанность, или неправдоподобіе сюжета; общее ихъ достоинство—частію комическое, частію сатирическое изображеніе нѣкоторыхъ дѣйствій и личностей.

«Аристіонъ» названъ «справедливою» повѣстью. Эта справедливость случайная. Мало ли что бываетъ на свѣтѣ? Не все анекдотическое можетъ служить предметомъ поэтическаго повѣствованія. А въ «Аристіонѣ» рассказанъ именно анекдотъ, и притомъ исключительный. Дѣйствіе происходитъ сначала въ столицѣ, едва не погубившей молодаго человѣка (Аристіона) своими соблазнами, а потомъ въ Украинѣ, куда онъ былъ вызванъ нарочно-выдуманнымъ извѣстіемъ о смерти своихъ родителей. Въ деревнѣ, подъ надзоромъ мнимо-умершаго отца и его друга, совершается перевоспитаніе блуднаго сына: они приглашаютъ къ нему учителей, заставляютъ его читать книги, ведутъ съ нимъ назидательныя бесѣды. Послѣ годичнаго искуса, въ которомъ двадцатипятилѣтній Аристіонъ игралъ незавидную роль школьника, комедія оканчивается. Убѣдившись въ твердомъ поворотѣ сына на истинный путь, отецъ (бригадиръ Вале-

ріанъ) объясняетъ ему благодѣтельный обманъ и въ заключеніе женить его на образованной дѣвушкѣ, дочери своего друга, какого-то графа Родіона, также украинскаго помѣщика. Не смотря на доброе намѣреніе повѣсти, легко замѣтить, что она непытываетъ участь большей части правоучительныхъ разсказовъ, то есть: ея мораль разногласитъ съ фактомъ. Въ завязкѣ говорится одно, а въ развязкѣ происходитъ другое. Завязка поучаетъ, что счастье человѣческое не одно и тоже съ земными благами, а развязка самымъ дѣломъ, на судьбѣ главного лица доказываетъ, что если счастье не заключается ни въ знатности роля, ни въ богатствѣ, ни въ почестяхъ, ни въ красотѣ, то, по крайней мѣрѣ, всѣ эти предметы—значительное число душъ, графское званіе, генеральскій чинъ, красавица жена—заключаются въ счастье, какъ его необходимыя принадлежности. И потому читатель, сличая начало съ концемъ, недоумѣваетъ, чему меньше вѣрить—искренности ли правоучителя, или искренности возрожденія, описаннаго повѣствователемъ. Между дѣйствующими лицами въ «Аристѣонѣ» встрѣчаются три пана: Сильвестръ, Парамонъ и Тарахъ. Одинъ изъ нихъ страстный охотникъ, другой весельчакъ, третій—скаредъ, иронически названный «бережливымъ». Послѣдній особенно замѣчателенъ. У него слуга ходитъ въ лохмотьяхъ, а служанка босикомъ; онъ по каплямъ паливаетъ льняное масло въ яшную кашницу; въ болѣзни не рѣшается ѣсть похлѣбку съ курицей и печеные яблоки, хотя богаче всѣхъ своихъ сосѣдей; не платитъ доктору за визиты и лекарства, и даже продаетъ зайца, подареннаго ему гостемъ. Ради скопидомства, онъ заманиваетъ крестьянскихъ коровъ, овецъ, куръ и гусей на свой кормъ, а потомъ сгоняетъ ихъ къ себѣ на дворъ, какъ вознагражденіе за потраву. Кромѣ этого случайнаго побора установлены имъ другіе, «христіанскіе»: «Буде въ праздничный день крестьяне захотятъ помолиться Богу въ церкви ближняго села, то прежде должны принести господицу—кто курицу, кто утку, кто десятокъ яицъ, мѣрку меду, масла, сыру... По приведеніи всего принесеннаго въ порядокъ и по надлежащей оцѣнкѣ, очередной крестьянинъ, на своей телѣгѣ, долженъ эту добычу везти въ ближайшій городъ, за двадцать верстъ, на продажу. Если ему не удастся продать по той цѣнѣ, какая назначена, то долженъ пополнить собственными деньгами, а буде заупрямится, то челядинцы придутъ на его дворъ и возьмутъ на господина то, что, по мнѣнію ихъ, вознаградитъ недоимку». Отклоняя всякія сравненія, можно сказать, что въ чертахъ этого малорусскаго Гарпагона, набросанныхъ Нарѣжнымъ, замѣчается фамиліное сходство съ Гарпагономъ великорусскимъ, художественно представленнымъ въ лицѣ Плюшкина.

Въ «Бурсакѣ» главное лице (Неонъ Хлопотнискій) рассказываетъ свои черезъчуръ романическія похожденія, напоминающія «Мирамюда»: изъ мнимаго сына дѣяча онъ, съ помощью разныхъ чудесъ, оказывается внукомъ малорусскаго гетмана. Дѣйствіе происходитъ въ Украинѣ. Неонъ—воспитанникъ духовнаго училища, бурсакъ. Описаніе бурсы, гдѣ онъ жилъ на казенномъ содержаніи, заведенныхъ въ ней порядковъ и обычаевъ, нравовъ ея учителей и учащихся составляетъ единственно-замѣчательную часть повѣсти. Здѣсь много вѣрныхъ, очень комическихъ сценъ изъ бурсацкой жизни, изображеніе которой достигло высшего комизма подъ перомъ Гоголя. Но за Нарѣжнымъ остается честь починна въ ознакомленіи читателей съ предметомъ, до того почитавшимся недостойнымъ литературной сферы или каррикатурно выходившимъ на сцену въ одиѣхъ театральныхъ піесахъ.

Знаменитый сподвижникъ Екатерины Великой, канцлеръ Безбородко, называлъ Малороссію страной приращенныхъ повытчиковъ и секретарей. Подъ этимъ онъ разумѣлъ

не только способность ея жителей къ юридической дѣятельности, но вмѣстѣ и неодолимую ихъ охоту къ сутяжничеству. Нигдѣ, конечно, глаголь «позывать» (требовать къ суду) не употреблялся такъ часто, не приводился въ исполненіе такъ настойчиво и не оканчивался такимъ разореніемъ истцевъ и отвѣтчиковъ, какъ въ предѣлахъ благословенной Украины. Малоруссы тягались какъ по необходимости, такъ еще изъ любви къ искуству, въ которомъ они большіе мастера. Ихъ процессы изумительны съ одной стороны ничтожностью поводовъ, съ другой—своею долговременностью. Десятилѣтняя ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ изъ-за слова «гусакъ» (*) вовсе не выдумана; можно считать ее даже непреувеличенной. Эта страсть къ тяжбамъ, лежащая въ физиологическихъ особенностяхъ племени, развилась подъ вліяніемъ его исторической судьбы. Малоруссы отличаются стойкимъ упорствомъ. Выраженіе: «упрямъ какъ хохоль», сдѣлалось почти пословицей. Въ этомъ свойствѣ есть и хорошая сторона: чувство самостоятельности, требованіе законной охраны и своему лицу, и своей собственности. То и другое, личность и имущество, приходилось въ теченіи многихъ лѣтъ защищать отъ польской sprawy иногда оружіемъ, а иногда гражданскимъ судомъ. Отъ давней привычки быть всегда на-сторожѣ, отстаивать свое добро, «угнѣздилась въ Малороссіи страсть къ тяжбамъ, это истинное порожденіе ада», какъ говорить Нарѣжный, «сама породила тамъ чадъ и внучатъ и не выродится до дня страшнаго суда». Она-то составляетъ предметъ повѣсти: «Два Ивана». Пожилые отцы взрослыхъ сыновей, Иванъ старшій (Зубарь) и Иванъ младшій (Хмара) ведутъ забавно-ожесточенную тяжбу съ пожилымъ отцемъ взрослыхъ дочерей, Харитономъ Занозой. Началась она изъ-за полдюжины кроликовъ, застрѣленныхъ послѣднимъ паномъ, и нѣсколькихъ десятковъ голубей, убитыхъ первыми. Половина повѣсти занята рассказомъ о непріятностяхъ, которыя сосѣди взаимно себѣ наносятъ: Харитонъ сжегъ у Ивановъ гумно, подкопалъ водяную мельницу и разорилъ пасѣку, а Иваны выжгли у Харитона цѣлое поле съ созрѣвшимъ хлѣбомъ, сожгли голубятню и подкопали двѣ вѣтряныя мельницы. За обоюдными пакостями слѣдуютъ позывы къ суду и самый судъ въ канцеляріяхъ, начинаясь съ низшей—сотенной, продолжаясь въ средней—полковой, и оканчиваясь въ высшей—войсковой. Рассказъ ведется веселымъ тономъ и возбуждаетъ комическій смѣхъ; ни одна сцена не кажется карикатурною; прошенія тяжущихся и опредѣленія разныхъ судебныхъ инстанцій удовлетворяютъ читателя, какъ согласныя съ настроеніемъ фантазіи автора. Другая часть повѣсти описываетъ горькіе плоды ссоры, мировую пановъ и устройство ихъ дѣтей при посредствѣ благотѣльнаго ихъ родственника, который у Нарѣжнаго словно изъ земли вырастаетъ. Она не представляетъ интереса, потому что авторъ, талантливый въ рассказѣ о смѣшныхъ явленіяхъ жизни, преимущественно малорусской, не мастеръ вести и заканчивать интригу. Конецъ придумывается имъ всегда съ нравоучительною цѣлью, какъ бы для очищенія обязанности романиста, по тогдашнему на нее взгляду,—очищенія чисто-формальнаго и совершенно излишняго въ поэтической сферѣ. Въ заключеніе скажемъ, что романы Нарѣжнаго, по предмету и грубой рисовкѣ, не могли нравиться всѣмъ читателямъ. Они, какъ замѣчено однимъ критикомъ, «обдають насъ варенухою, и куда авторъ ни вводитъ насъ, все, кажется, не выходишь у него изъ корчмы»: посему-то и называли его Теньеромъ русскаго романа, или Теньеромъ № 2, такъ какъ № 1 принадлежалъ А. Измайлѣву, Теньеру русской басни.

(*) Повѣсть Гоголя.

Повѣсти Бенитцкаго (1781 — 1809): «Ибрагимъ, или великодушный» (1807), «Бедуинъ» (1807), «На другой день» (1809), умныя по содержанію и замѣчательныя литературной отдѣлкой, доставили ему скорую извѣстность. Читатели и критики справедливо находили въ нихъ здравыя понятія, интересный сюжетъ, живой, остроумный разсказъ и чистый, пріятный языкъ. И теперь можно читать ихъ съ удовольствіемъ, какъ сочиненія несомнѣнно-даровитаго человѣка. Онѣ принадлежатъ къ такъ называвшимся «восточнымъ» повѣстямъ, на которыя въ европейской литературѣ была мода, заимствованная потомъ и нашими писателями. Ихъ появленіе и господство объясняются, во-первыхъ, возможностью рѣшительнѣе высказывать истину, изображать, въ разсказѣ о чужихъ дѣйствіяхъ и лицахъ, современные недостатки своего общества; второю причиною служило недовольство цивилизаціей, если она развивалась неправильно, и, въ слѣдствіе этого, стремленіе къ далекимъ народамъ, которые, не выходя изъ патріархальнаго быта, не знали и печальныхъ явленій европейской жизни. Бенитцкій руководствовался первымъ побужденіемъ. Не русскіе сюжеты его разсказовъ имѣютъ значеніе формы, вымышлены какъ средство, ведущее къ извѣстной цѣли—нравоучительной истинѣ или сатирическому представленію того, что совершалось передъ глазами автора. Бенитцкій—разумный дидактикъ въ повѣсти. Его мораль—не дюжинная и меткая. Такъ небольшой разсказъ: «Бедуинъ» выставяетъ ошибочность людскаго мнѣнія. Османъ, почитавшійся образцомъ добродѣтельнаго человѣка, въ дѣйствительности былъ гордъ, скупъ, жестокосердъ и мстителенъ. Оскорбленный колкостью отвѣта въ спорѣ съ Бедуиномъ, спасшимъ его отъ смерти, онъ покинулъ своего спасителя въ аравійской пустыни, на жертву всѣмъ бѣдствіямъ и даже укралъ у него лошадь, чтобъ лишить его возможности настичь караванъ. «И судьба не наказала его?» заключаетъ авторъ. «Нѣтъ! онъ въ полномъ удовольствіи жилъ и, окруженный радостями, умеръ. Діарберкирцы воспоминаютъ объ немъ съ сожалѣніемъ; отцы и матери ставятъ его въ примѣръ дѣтямъ своимъ. Увы! какъ много потребно знать, какъ долго надобно изслѣдовать человѣка, дабы не ошибиться и въ самой его добродѣтели!» Дѣйствіе повѣсти: «На другой день» происходитъ въ Индіи. Это—остроумная сатира на вредныя послѣдствія легковѣрности властителей, себялюбія приближенныхъ къ нимъ лицъ, лицемѣрства и любостыжанія браминовъ, изувѣрства факировъ.

Стихотворныя сказки И. Дмитріева, переведенныя изъ Лафонтена, Флоріана и Вольтера, почитались наилучшимъ украшеніемъ его литературнаго вѣнка, быстро и не трудно имъ пріобрѣтеннаго. Онъ былъ единственнымъ въ свое время сказочникомъ, не имѣвшимъ соперниковъ. Карамзинъ признавалъ его дарованіе всего болѣе способнымъ къ этому роду стихотвореній, почему и совѣтовалъ ему перевести еще Вольтерову сказку: «Les trois manières». Въ ближайшее время къ «Письмамъ Русскаго Путешественника», «Бѣдной Лизѣ» и «Натальѣ, боярской дочери» ничто не читалось съ такимъ удовольствіемъ и не заслуживало такихъ похвалъ критики, какъ «Модная жена» (1792) и «Причудница» (1795), переведенная изъ Вольтера (*La Begueule*). Это понятно. Литературное произведеніе прежде всего рекомендуется своими внѣшними качествами; а въ сказкахъ Дмитріева чистый и оживленный языкъ, свободная и плавная версификація. Кто же тогда лучше его владѣлъ стихомъ? Кто иной дѣлилъ съ Карамзинымъ славу искуснаго стилиста? Безъ хорошаго слога книга не войдетъ въ свѣтъ. Къ внутреннимъ отличіямъ разсказа относятся вкусъ, остроуміе, приличіе тона. Поэтическая его стихія обнаруживается нѣкоторыми описаніями, которыя выказываютъ извѣстную степень воображенія, хотя не творческаго, а работающаго,

но работающаго искусно подъ внушеніемъ ума. Таковы, напримѣръ, въ Причудницѣ, картины дворца, сада и другихъ чудесъ резиденціи волшебницы Всевѣды, нарисованныя не безъ подражанія Душенькѣ; таково же обращеніе къ ротмистру Брамербасу, въ началѣ сказки.

Какъ баснописецъ, Дмитріевъ общимъ мнѣніемъ былъ поставленъ въ «русскаго Лафонтена», хотя почти всѣ его басни переведены съ французскаго (другихъ языковъ онъ не зналъ). Созданное не имъ онъ рассказывалъ на своемъ языкѣ, почему главное ихъ достоинство заключается въ рассказѣ. Онъ хороши на столько, на сколько знакомы намъ съ баснями Лафонтена, Флоріана, Ламотта, Арно... Но Сумароковъ и Хемницеръ также переводили; однакожъ они не пользовались такою славой, хотя перваго и величали «русскимъ Лафонтеномъ». Значитъ, они, какъ переводчики, уступали переводчику-Дмитріеву, который отлично владѣлъ своимъ искусствомъ. Это искусство приобрѣтается не всякимъ, потому что требуетъ особенныхъ дарованій. Весьма часто оно не удается самобытному поэту, именно въ силу его самобытности, и на оборотъ: весьма часто въ немъ успѣваетъ подражатель, именно по отсутствію творческаго дара. Доказательствомъ служить то, что изъ однѣхъ и тѣхъ же басней, переведенныхъ Крыловымъ и Дмитріевымъ, у послѣдняго вышли онѣ лучше. Меньшій по таланту одерживалъ побѣду надъ талантомъ сильнѣйшимъ и оригинальнымъ. Въ чемъ же достоинство переводовъ Дмитріева? Его вѣрно оцѣнилъ Мерзляковъ, сказавъ: «Дмитріевъ отворилъ баснямъ двери въ просвѣщенные, образованныя общества, отличавшіяся вкусомъ и языкомъ». Хорошій вкусъ и хорошій языкъ составляютъ первыя качества басенъ Дмитріева, а это—заслуга не маловажная. Сочиненія, представляющія то и другое, являются и въ кабинетѣ литератора и на уборныхъ столикахъ свѣтскихъ дамъ, какъ замѣтилъ одинъ критикъ; по такимъ сочиненіямъ судятъ объ успѣхахъ литературы, о степени образованности (*). И потому неудивительно, что басни Дмитріева равно служили и литературному, и педагогическому интересу. Имъ всегда было готово почетное мѣсто и въ сборникѣ образцовыхъ произведеній словесности, и въ книгахъ для дѣтей. Тотъ выказалъ бы крайнее невѣжество, кто бы не зналъ такихъ басней, какъ Дубъ и Трость, Два голубя, Чижикъ и Зяблица, Слѣпецъ и Разслабленный, Мышь, удалившаяся отъ свѣта, Лиса-проповѣдница, Пѣтухъ, Котъ и Мышеносъ, и другія.

Кромѣ хорошаго языка и вкуса, какъ общихъ принадлежностей каждаго замѣчательнаго произведенія литературы, басни Дмитріева представляютъ еще качества, свойственныя этому роду поэзіи. Они относятся или къ разсказу, или къ такъ называемому нравоученію. Красоты оригинальнаго разсказа должны быть воспроизведены въ переводѣ, для чего переводчику необходимо не одно знаніе языковъ, но и особенное дарованіе, котораго, какъ замѣчено, могутъ не имѣть самостоятельныя таланты. Поэтическая стихія басни видна у Дмитріева преимущественно въ описательныхъ мѣстахъ, напримѣръ въ описаніи кота и пѣтуха (Пѣтухъ, Котъ и Мышеносъ) и бури (Чижъ и Зяблица). Выводимыя изъ разсказовъ мысли отличаются у него сжатостью выраженія, меткостью и остротою. Нѣкоторыя между ними удержались въ литературѣ, какъ поговорки, напримѣръ:

(*) Каченовскій, въ разборѣ сочиненій Дмитріева (В. Евр. 1806 г., №№ 8 и 9).

Виредь утро похваляю, какъ вечеръ ужъ наступить (*Чижикъ и Зяблицца*).

Индѣекъ... малую-толику (*Исаа-проповѣдника*).

Диковинка ль, всегда въ упряжкѣ быть одной,

А розно жить душой? (*Каретныя лошади*).

Мы сбили! мы рѣшили! (*Муха*).

Иной какъ звѣрь, а добръ; тотъ ласковъ, а кусаетъ (*Нищій и Собака*).

Конечно, громкая извѣстность Дмитріева принадлежала не ему одному: онъ дѣлилъ ее съ тѣми, кого переводилъ и на долю которыхъ надобно отнести львиную часть. Но и такой раздѣлъ съ Лафонтеномъ не бездѣлица: въ переводчикѣ необходимо предположить дарованіе, сходственное съ дарованіемъ оригинальнаго баснописца. Слава, хотя и превышающая мѣру достоинствъ, не дается напрасно. Однимъ счастіемъ трудно объяснить фактъ общехвалебной молвы; цѣлый вѣкъ нельзя быть счастливымъ: надобно, какъ говорилъ Суворовъ, немощко и ума. А Дмитріевъ имѣлъ ума довольно; эта способность преобладала въ немъ надъ другими способностями и ей главнѣйше онъ обязанъ своимъ успѣхомъ. Онъ былъ диллетантъ въ литературѣ, не отличавшійся трудолюбіемъ; но диллетантизмъ не бываетъ безъ привязанности къ предмету, и мы знаемъ, что эта привязанность никогда не охлаждалась: Дмитріевъ во все теченіе своей долговременной жизни дорожилъ литературными интересами. Можно разсуждать о томъ, поэтъ ли онъ или просто стихотворецъ, если бы такія разсужденія представляли какую нибудь пользу. Для исторіи литературы гораздо важнѣе то обстоятельство, что имя Дмитріева стояло на ряду съ именемъ Карамзина, не по одной ихъ дружбѣ, но и по значенію авторскому; что если Карамзинъ образовалъ школу, то и Дмитріевъ не остался безъ многихъ подражателей своему стихотворству; что оба они, во мнѣніи публики и педагоговъ, получили значеніе классическихъ русскихъ писателей, идущихъ въ слѣдъ за Ломоносовымъ и Державинымъ. Впрочемъ, вопросъ о томъ: поэтъ или не поэтъ? въ родѣ Гамлетоваго: быть или не быть? рѣшался и при жизни Дмитріева и послѣ его смерти. А. Измайловъ называлъ его «хорошимъ, настоящимъ версификаторомъ» (*); это мнѣніе подробнѣе было высказано Н. Полевымъ (**). Но едва ли не лучшее рѣшеніе вопроса находится въ Запискахъ самого Дмитріева, открыто исповѣдавшихъ характеръ его стихотворства, которое съ большими перерывами шло отъ 1777 до 1810 г., всего въ теченіи двадцати лѣтъ:

Вся моя забота (*въ первые годы авторства*) была только объ томъ, чтобъ стихи мои были менѣе шероховаты, чѣмъ у многихъ. Одну только плавность стиха и богатую рѣсму я считалъ красотою и совершенствомъ поэзіи.

Привыкнувъ въ молодости писать урывками, я не могъ уже и въ зрѣломъ возрастѣ высидѣть за бумагой около часа: нетерпѣливъ былъ обдумывать предпринимаемую работу. При малѣйшемъ упорствѣ рѣсмы, при малѣйшемъ затрудненіи въ краткомъ и ясномъ изложеніи мыслей моихъ я бросалъ перо въ ожиданіи счастливѣйшей минуты: мнѣ казалось унизительнымъ ломать голову надъ парой стиховъ и насиловать самого себя, или самую природу.

Отъ того, можетъ быть, и примѣчается, даже самымъ мною, въ стихахъ моихъ скудость въ идеяхъ, болѣе живости, украшеній, чѣмъ глубокомыслія и силы. Отъ того послѣдовало и то, что ни въ которомъ изъ лучшихъ моихъ стихотвореній нѣтъ обширной основы.

Какъ бы то ни было, но я долженъ быть признателенъ къ счастливой звѣздѣ своей: едва ли кто изъ моихъ современниковъ проходилъ авторское поприще съ меньшею работою и большею удачею.

(*) Разборъ 5 го изданія сочиненій Дмитріева (Благонамѣренный, 1819, № 3).

(**) Разборъ сочиненій Дмитріева (Очерки русской литературы, ч. 2-ая, 1839).

Прим. Дмитріевъ, Иванъ Ивановичъ (1760—1837), родился Симбирской губерніи въ Сызранскомъ уѣздѣ. Весьма незначительное образованіе, полученное въ частныхъ пансіонахъ (въ Казани и въ Симбирскѣ), а потомъ въ полковой школѣ (въ Петербургѣ), онъ по возможности восполнилъ чтеніемъ книгъ на русскомъ и французскомъ языкамъ и знакомствомъ съ литераторами, московскими и петербургскими. Четырнадцать лѣтъ (1774) поступилъ въ гвардію въ семеновскій полкъ. Свободное отъ строевой службы время посвящалъ литературѣ. Онъ началъ писать стихи, еще не зная версификаціи, и образцами себѣ выбралъ Сумарокова и Хераскова. Первое его стихотвореніе: «Надпись къ портрету Кантемира», нап. въ «Ученыхъ Вѣдомостяхъ», издававшихся Н. Новиковымъ (1777). «Я стихотворствовалъ», пишетъ онъ въ своихъ «Запискахъ», «нѣсколько лѣтъ, посреди черствой службы, въ малыхъ чинахъ, между строями и караулами, въ обращеніи съ товарищами, почти необразованными; въ уголкѣ тѣснаго, низменнаго домика, чрезъ перегородку, раздѣляющую меня съ братомъ, въ шуму входящихъ и выходящихъ; не бывъ почти никогда, ниже на двѣ минуты, въ совершенномъ уединеніи». Кромѣ того, Дмитріевъ занимался переводами съ французскаго небольшихъ прозаическихъ сочиненій и отдавалъ переводы книгопродавцамъ, которые платили ему за то книгами. Въ 1781 г. онъ познакомился съ землякомъ своимъ, Карамзинымъ, поступившимъ на службу также въ гвардію. Связь молодыхъ людей, укрѣпленная единствомъ интересовъ, продолжалась слишкомъ сорокъ лѣтъ, до самой смерти Карамзина, котораго Дмитріевъ называлъ своимъ «единственнымъ» другомъ. Съ изданія «Московского журнала» начался болѣе зрѣлый періодъ стихотворства Дмитріева: помѣщенные въ этомъ журналѣ пѣсня «Голубокъ» и сказка «Модная жена» доставили ихъ автору извѣстность. 1794-ый годъ Дмитріевъ называетъ своимъ лучшимъ «пѣтическимъ» годомъ; онъ провелъ его посреди семейства въ Сызранѣ или въ странствованіяхъ по низовому краю, и написалъ слѣдующія пѣснь: «Гласъ патріота», «Ермакъ», «Чужой толкъ», «Воздушныя башни», «Причудницу» и др. Подражая «Бездѣлкамъ» Карамзина, издалъ въ 1795 г. «И мои бездѣлки». Въ 1796 г. вышелъ въ отставку съ чиномъ полковника, но въ слѣдующемъ получилъ мѣсто обер-прокурора въ сенатѣ и званіе младшаго товарища министра въ новоучрежденномъ департаментѣ удѣльныхъ имѣній, которыя должности и занималъ до 1 января 1800 г. Чувства при свиданіи съ московскими друзьями, послѣ долгой съ ними разлуки, выразилъ онъ въ «Посланіи», одномъ изъ лучшихъ своихъ стихотвореній. Два года за тѣмъ проводилъ онъ то въ деревнѣ у родителей, то въ Москвѣ на одной квартирѣ съ Карамзинымъ, то въ Петербургѣ. Съ 1802 г. поселился въ Москвѣ, сообщая Карамзину басни и другія стихотворенія для «Вѣстника Европы». Въ 1806-мъ былъ назначенъ сенаторомъ; въ 1807-мъ, гр. Завадовскій, министръ народнаго просвѣщенія, предлагалъ ему званіе попечителя московскаго университета, на мѣсто умершаго М. Н. Муравьева, но Дмитріевъ, сознавая недостатокъ нужнаго для того образованія, отказался отъ предложенія. Въ 1810 г. назначенъ министромъ юстиціи, которымъ и оставался до 30 августа 1814 г. По увольненіи, переѣхалъ снова въ Москву. Въ 1816 г., при учрежденіи комиссіи для пособія разореннымъ въ Москвѣ отъ пожара и непріятеля, былъ назначенъ въ ея предсѣдатели. Труды его по этой обязанности были награждены (1818 и 1819 гг.) чиномъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и орденомъ св. Владиміра 1-ой степени (до того Дмитріевъ уже имѣлъ св. Анны 1-ой степени и св. Александра Невскаго). Съ тѣхъ поръ, въ теченіе 28 лѣтъ, Дмитріевъ постоянно жилъ въ Москвѣ, иногда выѣзжая изъ нея только на родину или въ Петербургъ.

«Матеріалы для полнаго собранія сочиненій Дмитріева» исчислены М. Н. Лонгиновымъ (Рус. Архивъ 1863, стр. 710—720); дополненіе къ нимъ (ib. 1864, стр. 1251—1255). Здѣсь же указаны критическія и біографическія статьи о немъ; лучшія изъ нихъ: Каченовскаго (В. Евр. 1806, №№ 8 и 9), кн. П. А. Вяземскаго (Извѣстіе о жизни и стихотвореніяхъ И. И. Дмитріева, при 6-мъ изд. его стихотвореній, 1823), Н. Полеваго (Очерки русской литературы, 1839, ч. 2) и М. Дмитріева (Мелочи изъ запаса моей памяти).—Записки Дмитріева, съ приложеніями и примѣчаніями, изданы 1866 г., подъ заглавіемъ: «Взглядъ на мою жизнь». Много свѣдѣній о немъ находится въ письмахъ къ нему Карамзина, изданныхъ 2-мъ отдѣленіемъ Академіи Наукъ (1866).

× § 26. Первая четверть нынѣшняго вѣка останется памятною въ исторіи нашего театра и драмы. Замѣчательные ихъ успѣхи обусловились одновременнымъ появленіемъ талантливыхъ артистовъ и писателей. На петербургской сценѣ блистали Яковлевъ и Семенова, а потомъ Каратыгинъ и Колосова (въ послѣдствіи Каратыгина); на москов-

ской славились Померанцевъ, Шушеринъ, Плавильщиковъ, Сандуновъ и Сандунова, и позднѣе Мочаловъ, первоклассный трагикъ, и Щенкинъ, первоклассный комикъ. Въ средѣ ихъ, какъ живое преданіе начальной эпохи русскаго театра, стоялъ Дмитревскій, руководствуя своею опытностью молодыхъ и немолодыхъ актеровъ. Взаимодѣйствіе сценическихъ талантовъ и драматическихъ авторовъ естественно и несомнѣнно. Драма пишется для представленія, успѣхъ котораго невозможенъ безъ хорошихъ исполнителей. Озеровъ дѣлилъ съ Семеновой дань слезъ и рукоплесканій, вызванныхъ его трагедіями, и «шумный рой комедій» Шаховскаго не возбудилъ бы и половины смѣха безъ гениальной игры Щенкина. Если драматургъ образуетъ артиста, то и артистъ своею игрою дѣйствуетъ на него образовательно. Покрайней мѣрѣ нельзя отвергать того факта, что драматическое творчество во многихъ случаяхъ принимало къ соображенію средства и способности извѣстныхъ сценическихъ сюжетовъ.

Но оживленный ходъ сценической и драматической дѣятельности немислимъ безъ общественнаго къ ней сочувствія, которое, возбуждая и поддерживая ее, служитъ главнѣйшею причиною ея развитія. Въ публикѣ десятыхъ и двадцатыхъ годовъ усиленно распространялся вкусъ къ благороднымъ зрѣлищамъ, отбивавшимъ охоту отъ зрѣлищъ неблагородныхъ, отъ грубаго временпровожденія. Изъ разныхъ слоевъ ея стало выдѣляться большее противъ прежняго количество лицъ, для которыхъ художественный интересъ занялъ мѣсто въ ряду потребностей, необходимыхъ человѣку образованному. Многіе, даже люди серьезные и дѣловые, предавались театру не какъ забавѣ только, но и какъ важному занятію. Литераторы, по старой памяти, видѣли въ немъ училище добрыхъ нравовъ, исправителя пороковъ и заблужденій. Сужденія о піесахъ, о постановкѣ ихъ на сцену и выполненіи служили предметомъ разговоровъ какъ во время самаго спектакля, такъ и на обѣдахъ или вечернихъ собраніяхъ, литературныхъ и не-литературныхъ. Съ цѣлью очищать вкусъ публики и направлять ея приговоры былъ еженедѣльно издаваемъ «Драматическій Вѣстникъ» (1808), заключающій въ себѣ два отдѣла: правила драматическаго искусства, извлеченныя изъ лучшихъ иностранныхъ писателей, и, согласно съ правилами, отчеты о піесахъ и ихъ выполненіи. По словамъ этого журнала, отечественный театръ сталъ обращать на себя вниманіе людей даже великосвѣтскихъ, пріученныхъ иностранными воспитателями презрительно отзываться о произведеніяхъ русскаго ума: они уже не стыдились признаваться, что плакали въ «Эдипѣ» и «Пожарскомъ», смѣялись въ «Недорослѣ» и «Модной лавкѣ», и даже подшучивали надъ слѣпыми поклонниками чужеземщины. Въ подражаніе столичнымъ театрамъ заводились провинціальныя, по губернскимъ городамъ, на содержаніи антрепренеровъ, и частныя или домашнія, которые устраивались вельможами и зажиточными помѣщиками изъ крѣпостныхъ людей. Труппы тѣхъ и другихъ иногда доставляли столицамъ отличныхъ артистовъ. Въ числѣ посѣтителей театра явились страстные его любители, такъ называемые «театралы», къ которымъ принадлежали сановники на-ряду съ малочинными, пожилые на-ряду съ молодежью. Искусство читать драматическую піесу, декламировать изъ нея наизусть монологи и даже цѣлыя сцены уважалось высоко; благодаря ему, передъ новичками въ литературѣ отворялись двери опытныхъ литераторовъ: С. Аксаковъ, С. Жихаревъ и П. Арановъ представляютъ тому доказательство. Послѣдній, не имѣя ничего для чтенія, отрекомендовалъ себя князю Шаховскому тѣмъ, что декламировалъ у него на вечерѣ «Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ». Поденныя записки С. П. Жихарева (Дневникъ чиновника) почти на-половину заняты театральными извѣстіями и отчетами. Какъ свидѣтельство рѣдкой

театроманіи, хранилась у него коллекція ежедневныхъ афишъ за тридцать лѣтъ сряду! Для записнаго театрала, не пассивнаго, а дѣятельнаго, сочинить піесу, прочесть ее въ кругу знатоковъ драматическаго искусства и выслушать ихъ мнѣніе, наконецъ видѣть ее на сценѣ составляло три постепенно восходившія ступени наслажденія.

Любовью къ театру отличались и лица, стоявшія при его управленіи. Директоры: Нарышкинъ и Майковъ въ Петербургѣ, Кокошкинъ въ Москвѣ, много сдѣлали для его совершенствованія. Особенную пользу оказалъ ему князь Шаховской, членъ театральной конторы по репертуарной части: онъ заботился не только о разнообразіи репертуара, но и объ улучшеніи сценическаго искусства. Его стараніемъ учреждена театральная школа для формированія «молодой труппы», обновлявшей составъ главной труппы замѣчательными дарованіями. При выборѣ и постановкѣ новыхъ піесъ, при разучиваніи ролей начальство и артисты дорожили его опытностью. Онъ распоряжался какъ знатокъ дѣла, возбуждая противъ себя много непріязней, изъ которыхъ нѣкоторыя были заслужены, но не измѣняя своей заботливости объ успѣхахъ любезнаго ему искусства. Кокошкинъ соединялъ въ себѣ знаніе драмы съ сценическимъ талантомъ: онъ былъ авторъ, декламаторъ и отличный по тогдашнему времени актеръ. Московскіе старожилы помнятъ его классическую игру въ благородныхъ спектакляхъ, на которыхъ временами являлась и Семенова, вышедшая замужъ за князя П. А. Гагарина. Домъ Шаховскаго былъ сборнымъ мѣстомъ образованныхъ любителей театра—Гнѣдича, Лобанова, И. Крылова, Катенина, Хмельницкаго, Жандра, Грибоѣдова, помогавшихъ ему своими знаніями. Туда приносилъ авторъ новую піесу читать и выслушивать замѣчанія объ ея достоинствахъ и недостаткахъ; тамъ же оцѣнивалась игра артистовъ или обсуждались мѣры для лучшей постановки преждеигранныхъ трагедій и комедій. Успѣхами русской сцены интересовался и Державинъ, на закатѣ своего таланта пустившійся въ сочиненіе драматическихъ піесъ. Но слава наиболѣе образованнаго знатока изящныхъ произведеній справедливо принадлежала А. Н. Оленину, президенту Академіи художествъ. Преданіе говоритъ, что въ его домѣ сосредоточивалось все, что являлось въ столицѣ замѣчательнаго по искусствамъ и литературѣ. У него впервые Озеровъ читалъ своего «Эдипа въ Афинахъ» и по его же совѣту написалъ «Фингала».

Наконецъ сильными поводами къ развитію сцены служили съ одной стороны права, данныя артистамъ, а съ другой отношеніе къ нимъ общества и литераторовъ. Въ 1806 г. театры поступили въ вѣдомство Императорской театральной дирекціи: это обрадовало и артистовъ и драматическихъ авторовъ, ибо тѣ и другіе опредѣленно знали, съ кѣмъ они будутъ имѣть дѣло въ своихъ занятіяхъ. За извѣстный срокъ службы была положена актерамъ и актрисамъ пенсія, при назначеніи которой не пропадало время, проведенное ими у содержателей частныхъ театровъ. Окладъ ихъ жалованья возвышался соразмѣрно возвышенію ихъ извѣстности, такъ что наиболѣе извѣстные (Семенова, Колосова, Яковлевъ, Каратыгинъ) не имѣли право жаловаться на скудость средствъ для жизни. Привлекая къ себѣ сочувствіе публики талантомъ, становясь ея любимцемъ на сценѣ, артистъ дѣлался предметомъ общественнаго вниманія и внѣ сцены. Онъ принимался въ образованные круги, пользовался ласкою и покровительствомъ вліятельныхъ лицъ. Въ Москвѣ князь М. А. Долгорукій особенно любилъ Плавильщикова, приглашая его къ своимъ обѣдамъ, вмѣстѣ съ Померанцевымъ и Зловымъ. На вечерахъ князя Шаховскаго, въ Петербургѣ, военный генераль-губернаторъ графъ

М. А. Милорадовичъ, одинъ изъ героевъ 1812 г., весьма часто дѣлилъ компанію съ присутствовавшими тамъ же артистами. Послѣдніе много выигрывали отъ своего общенія съ литераторами: оно восполняло ихъ чрезвычайно-бѣдную образованность и въ тоже время отучало отъ обычаевъ грубаго невѣжества, благодаря которому «актеръ» и «гуляка» означали одно и тоже. Первоклассные сценическіе сюжеты, Семенова и Яковлевъ, были драгоценныя самородки, не обдѣланные ученіемъ. Яковлева даже товарищи называли «неучемъ». Своими успѣхами они одолжены были всего болѣе природѣ. Инстинктивно выполняли они роли, не сознавая ни историческаго, ни психологическаго ихъ значенія. Они поражали публику вдохновенными «порывами», а не полнотою стройно-цѣлаго, художественно-обдуманнаго представленія. И для общаго образованія такихъ прирожденныхъ актеровъ, и для ихъ спеціальнаго образованія въ сценическомъ искусствѣ была необходима помощь разумныхъ наставниковъ, которые и нашлись въ литературной средѣ. Гитдишъ занялся обученіемъ Семеновой, Катенинъ давалъ совѣты Каратыгину и Колосовой. Они, употребляя техническія выраженія, «проходили» роли съ своими *protégés* или *protégées*, «ставили» ихъ въ трагическія или комическія амплуа. Разсказываютъ, что Гитдишъ училъ Семенову читать «съ-голосу», на первое время тяжело добиваясь отъ своей ученицы толковой, согласной съ смысломъ рѣчи декламации. И однакожъ—такова сила таланта—игра Семеновой, проникнутая внутреннимъ огнемъ и чувствомъ, заставляла зрителей плакать и громомъ рукоплесканій выражать свой единодушный восторгъ. Другими знаками общественнаго одобренія служили вызовы артистовъ на сцену, сначала по окончаніи спектакля, а потомъ и непосредственно за нѣкоторыми сценами, патетическими или комическими. На провинціальныхъ театрахъ иногда оказывалось болѣе реальное вниманіе игравшимъ: актеру или актрисѣ бросали на сцену, во время самаго представленія, кошелькъ съ деньгами, собранными заранѣе или тутъ же въ антрактѣ. Особенное покровительство какому-нибудь таланту, желаніе выдвинуть его впередъ, дать ему первенствующее мѣсто на сценѣ, иногда поселяло непріятности между артистами, а иногда не оставалось безъ послѣдствій и для самого покровителя. Избѣгая интригъ, Семенова и Колосова принуждены были временно покинуть сцену. Катенину, расположенному къ Колосовой и нерасположенному къ Семеновой, запрещено было посѣщать театръ въ то время, когда послѣдняя на немъ играла, а потомъ онъ былъ высланъ изъ Петербурга въ свою деревню, гдѣ и провелъ десять лѣтъ.

О состояніи театра въ царствованіе Александра I см.: «Записки Современника (С. П. Жихарева) съ 1805 по 1819 г.» Часть 1—«Дневникъ студента» (1859); часть 2—«Дневникъ чиновника» (От. Зап. 1855, №№ 4, 5, 7, 8, 9 и 10); его же «Воспоминанія стараго театралъ» (От. Зап. 1854, № 10); «Яковъ Емельянычъ Шушеринъ», С. Аксакова (Семейная хроника и воспоминанія); его же «Литературныя и театральныя воспоминанія» (Рус. Бесѣда 1856, кн. 4); «Лѣтопись русскаго театра», П. Арапова (1861).

§ 27. Въ драматической поэзіи шли рядомъ два направленія: одно выражалось быстрымъ развитіемъ вкуса къ мѣщанской драмѣ, появившейся у насъ во второй половинѣ прошлаго вѣка (*); другое держалось французско-классической трагедіей и комедіей.

Репертуаръ драмы состоялъ преимущественно изъ піесъ Коцебу, которыя стали появляться на русской сценѣ въ послѣднихъ годахъ XVIII столѣтія. Отзывъ Карам-

(*) Ист. Рус. Слов. 1, § 215.

зна о его романахъ (*) еще въ большей степени относится къ драматической производительности этого писателя: Коцебу былъ въ страшной модѣ. Нѣкоторыя его пьесы: «Ненависть къ людямъ и раскаяніе» (1792), «Сынъ любви» (1795), «Гусситы подѣ Наумбургомъ» (1807) (**), давались очень часто и всегда съ чрезвычайнымъ успѣхомъ. Первые двѣ оставались на сценѣ слишкомъ тридцать лѣтъ, не теряя интереса для зрителей. Трогательное содержаніе «Ненависти къ людямъ» побудило одного нѣмецкаго автора (Циглера) представить дальнѣйшую судьбу дѣйствующихъ лицъ въ пьесѣ: «Эйлалія Мейнау или слѣдствіе примиренія» (1796). Для обозначенія «модныхъ драмъ», какъ тогда назывались драмы Коцебу, водворившіяся на сценахъ петербургской и московской, было выдуманно слово «коцебятина»:

Одинъ лишь *Сынъ любви* здѣсь трогаетъ сердца!
Гусситы, Попугай (***) предпочтены *Сорень* (****)
 И *коцебятина* одна теперь на сценѣ (*****).

Коцебу не только обогащалъ репертуаръ, но и доставлялъ публикѣ занимательное чтеніе. Собраніе театральныхъ его произведеній вышло въ нѣсколькихъ переводахъ, и каждый переводъ имѣлъ по нѣскольку изданій (*****). Кромѣ того почти каждая пьеса печаталась отдѣльно. Блистательный успѣхъ Коцебу соблазнилъ и нашихъ авторовъ; явились оригинальныя драмы, въ подражаніе нѣмецкимъ: Н. Ильинъ написалъ «Лизу или торжество благодарности» (1803) и «Великодушіе или рекрутскій наборъ» (1804); В. Оедоровъ—«Лизу или слѣдствія гордости и обольщенія» (1804), заимствовавъ сюжетъ изъ «Бѣдной Лизы» Карамзина; О. Ивановъ—«Семейство Старичковыхъ, или за Богомъ молитва, а за царемъ служба не пропадаютъ» (1808). Нѣкоторыя изъ этихъ пьесъ производили чрезвычайное впечатлѣніе и доставляли ихъ сочинителямъ извѣстность. Въ «Рекрутскомъ наборѣ» весь театръ плакалъ отъ умиленія, а съ перваго представленія «Лизы» (Ильина) утвердился обычай вызывать авторовъ, доказавшій, что одобреніе публики стало относиться уже не къ одной игрѣ артистовъ, но и къ достоинству разыгрываемыхъ пьесъ.

Вмѣстѣ съ сочувствіемъ публики, нѣмецкая драма возбуждала негодованіе тѣхъ литераторовъ, которые въ классической трагедіи и комедіи французовъ видѣли идеалъ драматическаго искусства. Противники Коцебу большею частію были тѣ самыя лица, которымъ не могъ угодить Карамзинъ своею дѣятельностью и которыя потомъ наполнили собою «Бесѣду»: явленіе понятное, объясняемое происхожденіемъ слезныхъ комедій, такъ какъ онѣ, по отношенію къ французской трагедіи, тоже, что «Бѣдная Лиза» относительно классико-эпическихъ повѣствованій. Желаніе противодействовать успѣ-

(*) См. выше, стр. 171.

(**) Мы означаемъ годы печатанія, а не представленія пьесъ, которое большею частію предшествовало ихъ выходу въ свѣтъ.

(***) Драма Коцебу (1796), въ которой отличался актеръ Шушеринъ, въ роли негра Ксури.

(****) Трагедія Николева, не допущенная на театръ за нѣкоторыя тирады противъ власти тѣлей.

(*****) Сатира кн. Д. Горчакова (Ист. Христ. 11, 170).

(******) Театръ Коцебу, 16 ч. (1801—1806) и продолженіе къ нему, 4 ч. (1807—1808); второе, дополненное, изд. въ 12 ч. (1823—1824).—Театръ Коцебу, содержащій новыя его сочиненія, пер. Эттингера. 8 ч. (1823—1827).—Театръ для дружественнаго занятія въ деревнѣ, пер. Ренофанта, 2 ч. (1822—1824). Театръ Коцебу, для домашняго представленія въ кругу друзей, переводъ того же (1827).

хамъ Коцебу и вместе охранять преданія строгаго классицизма служило главнѣйшею причиною основанія «Драматическаго Вѣстника». Планъ театральнаго журнала съ такою цѣлью задуманъ впервые кн. Шаховскимъ, подобравшимъ издатели и сотрудниковъ одного съ нимъ образа мыслей—Марина, Писарева, Д. Языкова, И. Крылова. «Вѣстникъ» состоялъ изъ двухъ отдѣловъ: одинъ переводами изъ иностранныхъ теоретиковъ, преимущественно Вольтера, напоминалъ законы псевдоклассической драмы; другой велъ войну съ драмами нѣмецкими. Въ каждомъ почти номерѣ восхвалялись свѣтила французской трагедіи и комедіи, и раскрывались нецѣлности мѣщанскихъ трагедій и слезныхъ комедій. Піесы Коцебу и подражателей его подвергались двойной атакѣ: со стороны ихъ содержанія, вреднаго для нравственности, и со стороны нарушенія французской мѣрики, портящаго хорошій вкусъ. Названіе комедій «слезными» сочтено вопиющимъ противорѣчіемъ, безсмыслицей; авторы ихъ въ насмѣшку провозглашены траги-комическими или комико-трагическими, неспособными производить ни истинно-забавнаго, ни истинно-трогательнаго. Отъ «Евгеніи» (Бомарше) ведется начало современнаго упадка драматической словесности, предсказаннаго Вольтеромъ. Критика «Ненависти къ людямъ» (переведенная съ французскаго) утверждаетъ, что эта піеса причинила много разводовъ и, разстроивъ много свадьбъ, оказалась не менѣе пагубною и для искусства: успѣхъ ея завалилъ театръ драмами подобнаго же разбора и сочиненія великихъ писателей (французскихъ) забывались для глупыхъ зареицкихъ игрищъ. Въ томъ же тонѣ выражался кн. Горчаковъ и о нашей сценѣ въ упомянутой сатирѣ (*). Авторъ стихотворенія «Быль» рассказалъ анекдотъ о портномъ нѣмцѣ, забывшемъ сына въ ложѣ, послѣ представленія чувствительной драмы. Странно, какъ онъ не замѣтилъ, что и любители Коцебу могли воспользоваться собственнымъ его оружіемъ: не мудрено было мальчишкѣ задремать въ театрѣ, но чадолубивый отецъ, позабывшій сына, яeno доказываетъ силу дѣйствія, произведеннаго на него піесой.

Походъ «Драматическаго Вѣстника» противъ піесъ Коцебу, обвиняемыхъ имъ въ безнравственности и дурномъ вкусѣ, не достигъ своей цѣли: онѣ продолжали болѣе и болѣе интересовать публику. Напрасно его издатели ожидали другихъ послѣдствій. Драма, въ тѣсномъ смыслѣ мѣщанскихъ трагедій, хотя у насъ была заноснымъ товаромъ, а не историческимъ явленіемъ, какъ на западѣ (**), однакожь раздвигала границы репертуара, замкнутаго дотолѣ въ области французской Мельпомены и Талія. Она возбуждала сочувствіе общечеловѣческимъ содержаніемъ, доступнымъ сердцу каждаго зрителя. Если бы критика «Вѣстника» доказывала, что это содержаніе въ трогательныхъ драмахъ Ифланда, Шредера и Коцебу захватывается мелко и представляется не художественно, тогда она могла бы назваться справедливою; но она говорила совсѣмъ не то: она безусловно отвергала мѣщанскія драмы, какъ незаконный влдъ драматической поэзіи, и впечатлѣніе, ими производимое, силлась объяснить единственно любовью толпы къ карриатурамъ и нецѣлостямъ. Въ ихъ сценическомъ успѣхѣ она не замѣчала особенной пользы, которую онѣ приносили расширенію взглядовъ на поэзію вообще, ощутительно показывая, что не въ однихъ французскихъ трагикахъ спасеніе нашего театра, и слѣдовательно скорѣе освобождая большинство отъ пристрастія къ псевдоклассицизму, отъ вѣры въ его поэтическое единовластіе. Можно сказать, что театръ первый подкапывалъ у насъ основы французской эстетики, и не его вина,

(*) Ист. Христ. II, 174.

(**) Ист. Лит. I, § 215.

если наши литературные теоретики и критики закрывали глаза на очевидный фактъ. Другое освобожденіе совершалось въ сценической игрѣ, мало по малу отучая ее отъ преданій и обычаевъ французской сцены и приучая къ простотѣ, естественности и свободѣ. Величественная поступь, размѣренныя движенія, пѣвучая дикція, соблюденіе приличныхъ формъ въ самомъ разгарѣ трагической страсти, всего менѣе допускающей мысль о какомъ-либо приличіи, не имѣютъ мѣста въ слезныхъ комедіяхъ: они вызвали бы смѣхъ тамъ, гдѣ дѣйствуютъ обыкновенные смертные, а не герои Корнеля и Расина. Кромѣ того, самое развитіе, постепенное расширеніе и осложненіе репертуара необходимо слѣдовало за развитіемъ общественнаго вкуса къ театру. Когда театральныя зрѣлища становятся уже не рѣдкой, такъ сказать праздничной, забавой, а частымъ, почти ежедневнымъ удовольствіемъ многихъ, когда изъ предмета роскоши они переходятъ въ предметъ потребности, тогда, конечно, является настоятельная забота о разнообразіи репертуара. Самое лучшее, непрерывно повторяемое, наконецъ прискучить. Мольеръ, Корнель, Расинъ, Вольтеръ, Кребильонъ.... все это уже было переиграно и пересмотрѣно. Другихъ, подобныхъ имъ, писателей не являлось. Откуда же взять новаго, хотя бы въ томъ же родѣ? Противники мѣщанской драмы видятъ низкую пробу ея поэтического достоинства въ томъ, что она легко сочиняется. Но эта легкость—сущій кладъ въ томъ случаѣ, когда предстоитъ безотлагательная нужда въ обогащеніи репертуара. Сочиненіе героической трагедіи обставлено многими трудностями, изъ которыхъ только талантъ выходитъ съ счастливымъ успѣхомъ; переводчику ея также необходима извѣстная степень поэтического дарованія, кромѣ знанія языка и умѣнья владѣть стихомъ: поэтому не было физической возможности часто угощать публику піесами классическаго стиля. А между тѣмъ публикѣ некогда ждать народженія искусныхъ авторовъ и переводчиковъ: она требуетъ зрѣлищъ и зрѣлищъ. Нельзя отказать ей въ такомъ законномъ требованіи, и вотъ Коцебу, написавшій болѣе двухъ сотъ театральныхъ піесъ, очень кстати явился на пополненіе и оживленіе нашего репертуара. Если онъ легко производилъ ихъ, то еще легче было переводить ихъ. Не маловажнымъ достоинствомъ «коцебятины» служила и ея сценическая удобоисполнимость. Въ первенствующихъ лицахъ классическихъ трагедій должны выступать отличные артисты; актеръ второстепенный непременно роняетъ ихъ, а посредственность становится въ нихъ невыносимою. Напротивъ, и непервоклассные сценическіе сюжеты могутъ съ успѣхомъ представлять главные лица мѣщанскихъ драмъ, не имѣющія ни величія, прирожденнаго героямъ Корнеля и Вольтера, ни патетическаго напряженія, изъ котораго эти герои не выходятъ въ теченіе пяти актовъ.

На основаніи высказаннаго, мы считаемъ рѣшительнымъ успѣхомъ появленіе драмъ въ нашей литературѣ и на сценѣ, равно какъ и возбужденный ими интересъ. Оригинальныя піесы того же рода были новымъ шагомъ впередъ, какъ выраженіе общечеловѣческаго содержанія въ національной формѣ. Попытки оказывались не вполне удачными въ поэтическомъ отношеніи: онѣ часто нарушали законъ правдоподобія, такъ что критикѣ легко было разглядѣть живую питку, которою авторъ сшивалъ оба элемента—общечеловѣческій и русскій. И самые зрители могли, напримѣръ, замѣтить въ драмѣ Ильина: «Лиза или торжество благодарности», что крестьянка выражается лучше иной благовоспитанной дѣвицы и разсуждаетъ не хуже иного профессора, или что отставной солдатъ Кремневъ изъ героическаго великодушія отказывается отъ дочери своего полковника. Но эти и подобныя имъ несообразности, отъ которыхъ несвободна и «Бѣдная Лиза» Карамзина, даказываютъ только неосмотрительное подражаніе

автора иностраннымъ образцамъ, допустившимъ въ драму моральное резонерство. По крайней мѣрѣ въ именахъ, мѣстѣ дѣйствія и самомъ дѣйствіи зритель видѣлъ нѣчто свое, русское, хотя и не всегда согласное съ точною дѣйствительностью. Ему было пріятнѣе, въ «Рекрутскомъ наборѣ» (драмѣ того же Пльина), трогаться великодушнымъ дѣломъ крестьянина, идущаго въ рекруты на мѣсто своего женатаго брата, нежели великодушіемъ Пилада, покрытаго историческимъ мракомъ. Ради пріятнаго впечатлѣнія, онъ охотно прощалъ извозчику Герасиму его резонерство, которымъ это дѣйствующее лице не уступаетъ любому пастору въ романахъ Августа Лафонтена.

Чтобы покончить съ драмой, мы должны забѣжать нѣсколько впередъ. Новымъ ея видомъ была мелодрама, названная такъ отъ музыки, которою сопровождаютъ наиболѣе разительныя положенія и рѣчи дѣйствующихъ лицъ. Потомъ она утратила начальный смыслъ свой и выродилась въ такое представленіе, которое рассчитываетъ единственно на возбужденіе сильныхъ ощущеній какимъ бы то ни было способомъ. Эффектамъ—главной цѣли автора — предается въ жертву и физическое, и нравственное, и историческое правдоподобіе: отсюда слово «мелодраматическій», для означенія всего эффектнаго, если послѣднее не дорожитъ ни истиной природы, ни истиной духа, а придумано какъ легкое средство, оправдываемое цѣлью. Одной изъ первыхъ мелодрамъ, явившихся на нашей сценѣ, была «Убійца и сирота» (1819); за нею слѣдовали «Обрѣва собака», «Христофоръ Колумбъ или открытіе новаго свѣта», «Тридцать лѣтъ или жизнь игрока», и другія, большею частію переведенныя съ французскаго, изъ сочиненій Пиксерекура и Дюканжа. Увидѣвъ пристрастіе публики къ эффектамъ, бенефицианты начали угождать ей выборомъ такихъ піесъ, которыя одними названіями заманивали ее въ театръ: такъ, на примѣръ, въ 1821 г. давали «Полночный колоколъ или убійца и преступникъ», а въ 1824-мъ «Громовый ударъ или ужасная тайна».

Обращаемся къ классической трагедіи, оригинальной и переводной. Прѣжде всего мы замѣчаемъ здѣсь, что піесы Сумарокова почти совсѣмъ изъяты изъ репертуара. Сходитъ со сцены и Княжнинъ, къ сожалѣнію литературныхъ старожиловъ, помнившихъ эффектъ, который производили Дидона и Росславъ. Трагедіи его возобновляются случайно, по какимъ-нибудь виѣшнимъ поводамъ: или для дебюта сценическихъ сюжетовъ, или изъ желанія артистовъ блеснуть талантомъ въ той роли, которая прославила ихъ предшественниковъ. Такъ Дидона давалась въ 1808 г. для Валберховой и въ 1820-мъ для Колосовой и Брянскаго.

Мѣсто Княжнина заступилъ Озеровъ, третій по времени нашъ трагикъ, о которомъ мы будемъ говорить особенно: его піесы высоко подняли русскую классическую трагедію и долго держались на сценѣ. Одновременно съ блистательнымъ успѣхомъ его «Димитрія Донскаго» (1807) имѣла не меньшій успѣхъ и патріотическая трагедія Крюковскаго: «Пожарскій». Въ томъ же родѣ драматической поэзіи трудились Плавильщиковъ, Ѳ. Ивановъ, Висковатовъ и Грузинцевъ, какъ сочинители и какъ переводчики. Плавильщиковъ написалъ «Ермака» (1806), а Ивановъ—«Мароу Посаднику или покореніе Новгорода» (1809); Висковатову принадлежатъ: «Ксенія и Темиръ» (1810) и «Владиміръ Мономахъ» (предст. 1817), Грузинцеву: «Электра и Орестъ» (1810), «Покоренная Казань» (1811), «Эдипъ Царь» (1812) и «Ираклиды, или спасенныя Аѳины» (1813). Многія піесы французскаго трагическаго триумвирата были переведены въ первый разъ или явились въ новыхъ переводахъ: Маринъ перевелъ «Меропу» (предст. 1811), Лобановъ—«Ифигенію въ Авлидѣ» (1815) и «Федру» (1823), Гнѣдичъ—«Танкреда» (1816), Катенинъ—«Эсфирь» (1816) и «Геоцію»

(предст. 1823), и онъ же, по словамъ А. Пушкина, «воскресилъ Корнеля геній величавый» переводомъ «Сиды» (1822). Надъ нѣкоторыми трагедіями, напримѣръ «Занрой» (предст. 1809) и «Горациями» (1817), трудились литераторы сообща, для скорѣйшаго ихъ приготовленія къ бенефису любимыхъ артистовъ или артистокъ. Изъ второстепенныхъ французскихъ трагиковъ упомянемъ о Кребиллонѣ (Радамистъ, переводъ Висковатова, 1810), Лемьеръ (Ипермнестра, подражаніе Висковатова, 1812) и Дюси (Абюфаръ, переводъ Гнѣдича, 1802). На трагедіи англійскую и нѣмецкую наши драматурги еще мало обращали вниманіе. За исключеніемъ «Леара» (пер. Гнѣдича, 1808), посѣтители театра знакомились съ Шекспиромъ большею частию по передѣлкамъ Дюси, изъ которыхъ Вельяминовъ перевелъ «Отелло» (1808), а Висковатовъ «Гамлета» (1811). Не видно также замѣтнаго сочувствія къ Шиллеру, хотя и были переведены двѣ его трагедіи въ прозѣ: «Заговоръ Фіеско въ Генуѣ» (1803) и «Коварство и любовь» (1806); «Разбойники», въ переводѣ Сандунова (1793), явились на петербургской сценѣ только въ 1814 г.; кромѣ того мы имѣемъ французское подражаніе этой пьесѣ въ переводѣ О. Иванова (1809). Очередь главнѣйшихъ представителей трагедіи наступила лишь въ то время, когда литераторы, писавшіе для театра, обнаружили охлажденіе къ классицизму. Замѣчательно, что первый поворотъ въ сторону романтизма учиненъ кн. Шаховскимъ, который единственно во французской словесности видѣлъ образцы высокой поэзіи и школу изящнаго вкуса. Съ 1820 г. стали являться его сценическія представленія на сюжеты трагедій Шекспира, романовъ В. Скотта и поэмъ А. Пушкина, за что онъ выдерживалъ нападки отъ неизмѣнныхъ классиковъ, особенно отъ Катенина, котораго оригинальная трагедія «Андромаха», сочиненная 1818 г., была разыграна въ 1827.

Сдѣлаемъ такой же общій обзоръ важнѣйшимъ комедіямъ. Прежніе комики: Фонъ-Визинъ, Княжнинъ и Капнистъ уже рѣдко привлекаютъ публику, уступая свое первенство новымъ ея любимцамъ. «Ябеду» смотрѣли еще съ удовольствіемъ, но «Хвастунъ», возобновленный въ 1825 г. для Сосницкаго, который занималъ роль Верховлета, казался стародавною рѣдкостью. Главнымъ представителемъ русской Талии въ разсматриваемый періодъ (1800—1825) былъ князь А. А. Шаховской: свыше тридцати лѣтъ онъ обогащалъ комическій репертуаръ, неослабно поддерживая его интересъ, почему отчетъ о его дѣятельности, вмѣстѣ съ характеристикой другихъ писателей—Катенина, Хмельницкаго и Загоскина—послужитъ предметомъ особаго изложенія. Комедія Судовщикова: «Неслыханное диво или честный секретарь» (1802) относится къ пріятнымъ явленіямъ драматической литературы. Она изображаетъ съ одной стороны лихоимство (въ лицѣ Кривосудова), съ другой—честное, правдивое служеніе законамъ (въ лицѣ Правдина). Вліяніе на нее «Ябеды» выказывается одинаковыми именами дѣйствующихъ лицъ и сходственными отношеніями ихъ другъ къ другу. Стихи, своею гладкостью и по иѣстамъ сатирическою силою, не уступаютъ стихамъ Капниста. Изъ двухъ комедій И. Крылова: «Урокъ дочкамъ» (1807) и «Модная Лавка» (1807), мы упоминали о первой при изложеніи патріотической литературы 1805—1812 гг., замѣтивъ, что эта пьеса осмѣиваетъ безсмысленное пристрастіе русскихъ къ французамъ, въ особенности къ ихъ языку и модамъ (*). Сатира второй пьесы сосредоточена на томъ же предметѣ. Та и другая имѣли большой успѣхъ на сценѣ, благодаря комизму нѣкоторыхъ лицъ и положеній, но въ цѣломъ онѣ не

(*) См. выше, стр. 142.

выдерживаютъ строгой критики, потому что имѣютъ цѣлю болѣе возбудить смѣхъ, нежели соблюсти правдоподобіе, почему и впадаютъ не рѣдко въ преувеличенія, доходящія до каррикатуры. Все ихъ дѣйствіе, по примѣру французскихъ комедій, ведется слугой и служанкой, что не въ русскихъ нравахъ. Было говорено также о комедіи графа Растопчина «Вѣсти, или убитый живой» (1808), осмѣивающей московскихъ вѣстовицъ и вѣстовицковъ въ войну съ французами 1807 г. При отсутствіи художественнаго достоинства, она выступаетъ изъ ряда многихъ піесъ оригинально-рѣзкою, желчною сатирою. Ея сценическая неудача объясняется не столько длиннотою дѣйствія, въ сущности маловажнаго, и однообразіемъ его развитія, сколько неудовольствіемъ извѣстной части современнаго московскаго общества, которая считала себя сильно задѣтою перомъ автора и на его сатирическія выходки смотрѣла какъ на личности (*), почему и устроила непріязненный пріемъ піесы. Комедія Кокошкина: «Воспитаніе, или вотъ приданое» (1824), построенная на французскій ладъ, представляетъ различіе между двумя родами женскаго воспитанія: институтскимъ и пансіонскимъ, изъ которыхъ послѣднее заражаетъ дѣвицъ легкомысліемъ и вѣтренностью. Въ ней есть забавныя сцены и разговоръ ведется искусно, но успѣхомъ своимъ она была одолжена менѣе своимъ достоинствомъ и болѣе исполненію. Впрочемъ, мастерская игра артистовъ не скрыла отъ критики погрѣшностей автора противъ дѣйствительности: согласно ли, напримѣръ, съ истиной приписывать безправственность господъ въ одинаковой мѣрѣ дурному воспитанію и вліянію развратной прислуги, какъ то дѣлаетъ резонеръ-Прямыковъ въ концѣ піесы:

Отъ воспитанья здѣсь все сдѣлалась бѣда,
А отъ развратныхъ слугъ не меньше жди вреда.

Подобный выводъ не удивителенъ въ комедіяхъ французскихъ, гдѣ камердинеръ и служанка управляютъ всѣмъ ходомъ драматической машины и пріобрѣли себѣ роковое значеніе, почти равносильное древней судьбѣ. У насъ подобное внимательство крѣпостныхъ людей въ дѣла господскія могло быть только исключеніемъ, но не обычаемъ. Между переводами иностранныхъ комедій заслуживаютъ вниманія: «Мизантропъ» Мольера (Кокошкина, 1816) и «Школа женщинъ» его же (Хмѣльницкаго, 1821). Какъ въ оригинальной піесѣ Кокошкинъ подчинялся псевдо-классическимъ правиламъ и обычаямъ, такъ, наоборотъ, въ Мизантропѣ онъ отступилъ отъ подлинника, изъ желанія сообщить ему русскій колоритъ: поэтому Альсестъ переименованъ въ Крутона, а Филинтъ въ Людмила, и кромѣ того Крутонъ декламируетъ русскую простонародную піесню. Другіе переводы: Мольера—Любовь доктора (1802), Скапиновы обманы (1805), Ханжеевъ, или Лицемѣръ (1809), и Школа мужей (1819); Бомарше—Фигарова женитьба (1816); Реньяра—Игрокъ (1813); Пирона—Метроманія (1819). О комедіи Аристофана: «Облака», переведенной Муравьевымъ-Апостоломъ (1821), будетъ сказано въ другомъ мѣстѣ: этотъ переводъ относится къ замѣчательнымъ фактамъ въ исторіи нашего знакомства съ древне-классической литературой.

Водевиль былъ такою же новостью въ комическомъ репертуарѣ, какъ мелодрама въ отдѣлѣ драмы. Послѣ Аблесимовскаго «Мельника» и «Одула съ дѣтьми», которыя почитаются первыми нашими водевилями, Шаховской написалъ «Казака-сти-

(*) По преданію, въ лицѣ Пабатовой представлена г-жа Офросимова.

хотворца» (1812), чрезвычайно правившагося публикѣ. Затѣмъ онъ и Хмельницкій ставили другія піесы того же рода, иногда переводя ихъ съ французскаго безъ перемѣны, а иногда съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ прилаживая переводы къ русскимъ правамъ. Водевильныя представленія скоро пришлись публикѣ по вкусу, хотя литераторы—даже тѣ самыя, что снабжали ими театр—смотрѣли на нихъ свысока, почитали ихъ выскочками, недостойными дѣлать компанію съ Таліей. Для торжественнаго спектакля, устроеннаго въ память актера Дмитревскаго (1822), Шаховской написалъ прологъ: «Новости на Парнассѣ или торжество Музъ», въ которомъ Талія произноситъ такой приговоръ водевилю:

Его оружіе—гремушка и свистокъ,
Которыми гремя, насвистывая шутки,
Онъ наскучаетъ въ трое сутки.

Изобразивъ свои творенія, внесенныя во храмъ безсмертія, она противопоставляетъ имъ водевили:

А водевили-скороспѣлки,
Куплеты, шуточки, забавныя бездѣлки
Никакъ не будутъ тамъ.

Не смотря на строгость безсмертной Музы, приближалось то время, когда шутливый стихъ одного изъ нашихъ водевилистовъ (А. И. Писарева):

Лишь водевиль есть вещь, а прочее все—гиль,

долженъ былъ оказаться не совсѣмъ шуткой. Волею-неволею театръ широко отворилъ ворота скороспѣлымъ водевилямъ, въ быстрой смѣнѣ однихъ другими утолявшихъ жажду публики къ игривому разнообразію спектаклей.

§ 28. Озеровъ (1770—1816) написалъ пять трагедій: Ярополкъ и Олегъ (1798), Эдипъ въ Афинахъ (1804), Фингалъ (1805), Димитрій Донской (1807) и Поликсена (1809). Первая изъ нихъ, какъ начальный и слабый опытъ, не заслуживаетъ разбора.

«Эдипъ въ Афинахъ» есть подражаніе французской трагедіи Дюси († 1816): «Эдипъ въ Колонѣ». Озеровъ много перевелъ изъ нея: такъ первая сцена втораго акта—лучшее мѣсто нашей піесы—есть не что иное, какъ лучшее мѣсто подлинника, близкое и хорошее его переложеніе; да и слѣдующія за тѣмъ явленія съ Антигоной, до конца піесы, взяты изъ того же источника, съ тою разницею, что у Озерова умираетъ Креонъ и оставленъ въ живыхъ Эдипъ, тогда какъ у Дюси умираетъ Эдипъ, а Креона нѣтъ вовсе. Заслуга Озерова заключается собственно въ переводѣ французскаго образца такими стихами, какіе до него еще не раздавались на русской сценѣ. Ничего самостоятельнаго не представляетъ его трагедія; отмѣны, встрѣчаемыя въ ней противъ французскаго образца, такъ маловажны, что не измѣняютъ понятія о цѣломъ. Но самостоятельности мало и въ образцѣ. Замѣчательный талантъ Дюси былъ изъ числа второстепенныхъ. Ему принадлежитъ та заслуга, что онъ разомкнулъ тѣсныя предѣлы французской трагической системы, обратившись за матеріаломъ къ грекамъ и англичанамъ. Постановкой на сцену Гамлета, Ромео, Лира, Макбета, Отелло, онъ между своими соотечественниками популяризировалъ Шекспира, а въ Эдипѣ Колонскомъ старался показать имъ красоты Софокла. Существенная же ошибка его дѣла состояла въ томъ, что онъ, допуская новое, допускалъ его не вполне. Онъ только

шелъ по дорогѣ къ реформѣ, но самой реформы не совершилъ. Удалясь отъ строгихъ образцовъ лжеклассицизма, его трагедіи не воспроизводили однакожь ни Софокла, ни Шекспира. Онъ искусственно соединялъ предметы, между которыми нѣтъ общаго ни въ происхожденіи, ни въ свойствахъ. Великана трагической музы онъ укладывалъ на прокустово ложе, изъ угожденія французскимъ воззрѣніямъ на драму. Слово «передѣлка» противорѣчитъ сущности поэзіи: поэзія требуетъ созданій, а не передѣлокъ, воспроизведенія образцовъ, а не сочетанія образцовъ разнокачественныхъ. Кромѣ того, трагедіи Дюси страдаютъ отсутствіемъ единства, стройнаго плана и несоразмѣрностью въ частяхъ. Не смотря, однакожь, на указанные недостатки, онъ пользовался большимъ успѣхомъ, который надобно приписать эффектной красотѣ отдѣльныхъ сценъ. Въ каждой пьесѣ его встрѣчаются мѣста, потрясающія воображеніе и чувство. Такъ въ «Эдипѣ» благородно и трогательно изображены страданія Эдипа, раскаяніе Полиника, преданность Антигоны; отцовское проклятіе высказано патетически, а слѣдующее за тѣмъ прощеніе сына возбуждало общій восторгъ. Хотя сцена съ вѣдьмами (въ Макбетѣ), казавшаяся французамъ нелѣпостью, замѣнена разсказомъ о сновидѣніи, но самый разсказъ поэтиченъ; энергически переданъ ужасъ Макбета, когда ему видится Дунканова тѣнь; много драматическаго и въ сценѣ сомнамбулизма. Въ «Гамлетѣ» явленіе тѣни и сцена съ урной исполнены эффектовъ, которые и давалъ чувствовать знаменитый Гальма. Въ Ромео авторъ воспользовался исторіей Уголино, изъ Дантова ада. Однимъ словомъ, трагическій талантъ Дюси производилъ на зрителей сильное впечатлѣніе.

Основою трагедіи Софокла (Эдипъ въ Колонѣ) служитъ предсказаніе оракула, возвѣстившаго близкую смерть Эдипа, могила котораго будетъ залогомъ побѣды для той страны, гдѣ она будетъ находиться. Долговременнымъ бѣдствіемъ старецъ искупилъ свои невольныя преступленія: боги примирились съ нимъ и даруютъ ему мирную кончину. Въ мѣстечкѣ Колонѣ, среди священнаго лѣса, гдѣ воздвигнутъ храмъ Эвменидамъ, обрѣтетъ онъ наконецъ вѣчное успокоеніе. Идея судьбы господствуетъ здѣсь, какъ и въ трагедіи «Царь Эдипъ», но уже очищенная вліяніемъ нравственнаго ученія. Эдипъ еще жертва, но онъ возвысился самосознаніемъ. Таинственное скупленіе обстоятельствъ, не подчиненныхъ волѣ смертнаго, сдѣлало его преступникомъ; отсутствіе свободнаго участія въ преступленіяхъ успокоило его совѣсть: онъ говоритъ о нихъ безъ смущенія, зная, что они дѣло боговъ. Нѣсколько разъ замѣчаетъ онъ, что вина человека—въ намѣреніи; что нѣтъ тамъ вѣняемости, гдѣ не было умышеннаго дѣйствія, а было только невольное исполненіе предреченнаго свыше. Такимъ образомъ Софоклъ различаетъ догматъ фатализма отъ догмата нравственности, проводитъ ясную черту между совѣстью, свободно выбирающею добро или зло, и роковою силою судьбы, которая устриваетъ дѣло наперекоръ самымъ мудрымъ нашимъ распоряженіямъ. Дюси и въ слѣдъ за нимъ Озеровъ совлекли съ Эдипа таинственность, которая такъ идетъ къ нему, освященному грознымъ вниманіемъ боговъ. Преданіе о сверхъ-естественной смерти изложили они по-своему: у Дюси, Эдипъ умираетъ, пораженный громомъ и проговоривъ нѣсколько сентенцій; у Озерова, онъ остается въ живыхъ, какъ будто ему значить что-нибудь жизнь послѣ всего, извѣданнаго имъ въ жизни. Впрочемъ, начальная развязка нашей трагедіи согласовалась съ преданіемъ; но Озеровъ измѣнилъ ее, внявъ совѣтамъ литераторовъ, дорожившихъ нравоучительнымъ внушеніемъ театральнаго пьесы, по которому непременно слѣдовало награждать добродѣтель и наказывать порокъ. Порочный и былъ наказанъ: въ трагедіи Озерова, громъ поражаетъ Креона.

Драматическія требованія отличались на этомъ пунктѣ такимъ упорствомъ, что ради его нарушалась историческая истина: Иванъ Сусанинъ, въ оперѣ того же имени, князя Шаховскаго (1815), спасая царя, сохраняетъ свою жизнь.—Пойдемъ далѣе въ сравненіи русской пьесы съ французской, а сей послѣдней съ Софокловой. Изступленіе Эдипа, когда онъ узнаетъ, что находится близъ храма Эвменидъ, неумѣстно, хотя и эффектно: оно портитъ характеръ трагедіи. Въ «Царѣ Эдипѣ» оно было бы кстатѣ; но въ «Эдипѣ Колонскомъ» главное лице уже утратило силу ложныхъ угрызений, которыя терзали его въ первое время открывшихся преступленій. Душа его сохраняла только чувство несчастія да сознаніе своей невинности, и это душевное состояніе Софоклъ изобразилъ какъ бы символически, приведя страдальца окончить послѣднія минуты жизни въ святилищѣ фурій. Ходъ дѣйствія также измѣненъ. У Софокла оно происходитъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, куда пришелъ Эдипъ и откуда онъ не хочетъ выйти; Дюси и Озеровъ, напротивъ, передвигаютъ сцену. Самое мѣсто обрисовано не такъ. Въ греческой трагедіи, оно, своею красотою, представляетъ разительный контрастъ мрачной судьбѣ героя. Озеровъ, на вопросъ Эдипа: «гдѣ мы?» заставляетъ отвѣчать Антигону: «въ долину мы, окрестъ *пустынны виды*»,—заставляетъ потому, что у Дюси, во второмъ же дѣйствіи, *théâtre représente un désert épouvantable* и Полиникъ восклицаетъ: «quel désert affreux! des antres, des rochers, des cyprès tenebreux!» Этимъ оба новые трагики стали въ противорѣчіе съ хоромъ, который называетъ Колонъ *восхищеннымъ мѣстомъ* Аттики. Софоклъ искусно и непосредственно вводитъ зрителя въ сюжетъ; мѣсто дѣйствія, дѣйствующія лица, событія предшествовавшія и послѣдующія выступаютъ сами собою: завязка начата съ перваго же явленія, интересъ возбужденъ немедленно. У Дюси и Озерова, Эдипъ выходитъ на сцену только во второмъ дѣйствіи, съ котораго и слѣдовало бы начать пьесу: первое посвящено такъ называемому *изложенію*, т. е. длиннымъ разсказамъ о дѣйствующихъ лицахъ и о томъ, что происходило до начала трагическаго дѣйствія. Замѣтимъ, что хоры, введенные Озеровымъ, по примѣру французской оперы: «Эдипъ въ Колонскомъ предмѣстіи», идутъ къ характеру пьесы. Нашъ авторъ, ввелъ Креона, и въ этомъ отношеніи ближе къ греческому образцу, чѣмъ Дюси, исключившій, какъ мы видѣли, Креона. У Софокла, Тезей выходитъ уже послѣ многихъ явленій, когда царское вступничество оказалось необходимымъ. Дюси и Озеровъ вывели его съ самаго начала, чтобы выслушать разсказъ о завязкѣ дѣйствія. Оба они создали первосвященника: имъ хотѣлось показать внутренность храма и поразить—одному Креона, другому Эдипа—передъ лицомъ богинь-мстительницъ. Ихъ Полиникъ остается до конца пьесы, какъ свидѣтель смерти отца въ «Эдипѣ Колонскомъ», какъ свидѣтель его торжества и наказанія Креона «въ Эдипѣ въ Аоніяхъ». Софокловъ Полиникъ уходитъ или, вѣрнѣе, увлекается судьбою на гибель: ненависть къ брату, жажда мщенія заглушаютъ въ немъ все прочія чувства. Что касается до характеровъ главныхъ лицъ, то мы уже показали, какъ невыгодно и Дюси и Озеровъ уклонились, въ этомъ отношеніи, отъ Эдипа. Вотъ еще примѣръ такого же уклоненія. У Софокла, Эдипъ непреклоненъ къ сыну. Напрасно Полиникъ умоляетъ его о прощеніи, напрасно и Антигона подкрѣпляетъ мольбы брата своимъ заступничествомъ: Эдипъ не хочетъ даже отвѣчать, ибо отцовскій голосъ, какъ святины, потерялъ бы свою силу, вступивъ въ общеніе съ неблагодарнымъ. Потомъ онъ разрѣшаетъ молчаніе, но для того только, чтобы изречь проклятіе—и никто не смѣетъ противорѣчить ему—ни Тезей, ни дочь, ни хоръ. Новые трагики во многомъ измѣнили понятія и чувства

древнихъ людей, сообразно понятіямъ и чувствамъ христіанскимъ. Эдипъ французской трагедіи есть отецъ новаго міра, какихъ XVIII вѣкъ любитъ выводить на сцену—снисходительный къ проступкамъ дѣтей, готовый плакать и прощать. Для очищенія грѣха, совершеннаго Полникомъ Софокла, нужна жертва, а не прощенье; въ религіи открытой достаточно послѣднее, ибо зло, не наказанное въ здѣшней жизни, приметъ достойное наказаніе въ будущей. Антигона начертана Софокломъ художественно. Это—воплощенный героизмъ дѣтской любви. Ея преданность отцу—долгъ, а не восторженное состояніе, могущее охлаждаться. Она говоритъ мало: только слова терпѣнія, самоотреченія, самопожертвованія выходятъ изъ ея устъ. Всего трогательнѣе это молчаніе, когда Эдипъ заводитъ рѣчь о своихъ несчастіяхъ; она слушаетъ, но не отвѣчаетъ, потому что ей, чистой и невинной, нечего сказать: несчастія отца ея—рядъ несчастивыхъ дѣлъ, такъ что утѣшенія нельзя здѣсь отдѣлать отъ воспоминанія объ ужасной судьбѣ. Но, скупая на слова, она много дѣйствуетъ, поддерживая отца, окружая его заботливостью, покровительствуя любовью. У Озерова или у Дюси, что одно и тоже, Антигона—если забыть греческій образецъ—хороша; но она уже сдѣлалась говорливѣе: она разсуждаетъ о своемъ значеніи, какъ помощницы въ несчастіяхъ, указываетъ на свою необходимость для слѣпаго отца. Конечно, это не самохвальство, но это—и не молчаливое исполненіе долга. Притомъ, она впадаетъ въ сентенціи; монологъ ея, которымъ открывается четвертое дѣйствіе, довольно длиненъ. Эта страсть къ сужденіямъ есть принадлежность французскихъ трагедій XVIII вѣка, любившихъ резонерство и риторикъ. Изъ Креона, сначала благороднаго мужа въ трагедіи Софокла: «Царь Эдипъ», а потомъ сдѣлавшагося честолюбивымъ и самовластнымъ, и въ согласіи съ сыновьями безпомощнаго старца изгнавшаго его изъ царства, Озеровъ сдѣлалъ непонятнаго мстителя Эдипу,—такого же врага ему, какимъ былъ Полникъ въ отношеніи къ своему брату Этеоклу. Онъ не только злодѣй, но и злодѣй, величающійся самимъ собою. Князь Виземскій справедливо замѣчаетъ о лицахъ, подобныхъ Креону: «Злодѣи, гордящіеся своими преступленіями и съ отвратительнымъ чистосердечіемъ судящіе себя безпристрастно, какъ судіи посторонніе, не находятся ни въ природѣ ни въ произведеніяхъ геніевъ, ей подражавшихъ, но рождаются отъ безпечности или безсилія трагиковъ... Сей родъ изображенія есть одинъ изъ главнѣйшихъ пороковъ русской трагедіи и торжествуетъ въ Димитріи Самозванцѣ (Сумарокова). Въ первомъ явленіи третьяго дѣйствія «Эдипа» Озерова, Креонъ съ излишнею неискренностью сообщаетъ Нарцесу повѣдь свою, хотя и весьма поэтическую, но приносящую болѣе чести стихотворцу, нежели трагику» (*). Цѣлью нашего, довольно подробнаго, анализа было показать, какъ Озеровъ близокъ къ Дюси и какъ они оба далеки отъ своего первообраза. Заслуга нашего трагика, какъ уже замѣчено, состоитъ въ достойномъ переложеніи французской пьесы. Это значитъ не мало. Для этого требовалось, во-первыхъ, владѣть языкомъ и стихомъ, во-вторыхъ—стать на ряду съ авторомъ подлинника, своимъ талантомъ состязаться съ его талантомъ. Озеровъ исполнилъ оба дѣла. Стихи его звучны и сильны; читая ихъ и теперь, легко себѣ представляемъ, какъ они были хороши въ то время. Сцены трагическаго ужаса и чувствительности переданы одушевленно. Озеровъ самъ надѣленъ былъ послѣднимъ качествомъ въ сильной степени, и потому трогательная преданность дочери, сыновнее раскаяніе, отцовская нѣжность и вмѣстѣ авторитетъ родительской власти нашли въ немъ глубокое сочув-

(*) Извѣстіе о жизни и трудахъ Озерова, при его сочиненіяхъ (изд. 1813 г.).

ствіе и патетическое выраженіе. Когда же представимъ себѣ необычайный успѣхъ трагедіи на сценѣ, впечатлѣніе, произведенное ею на зрителей, то насъ нисколько не удивятъ посланія Державина, Капниста и Батюшкова къ автору, исполненныя похвалъ ему и благодарности: стихотворцы говорили то самое, что чувствовали всѣ посѣтители театра. «Эдипъ въ Аоннахъ» былъ долгое время почетнѣйшею піесою въ нашемъ репертуарѣ: она заставила публику полюбить трагическія представленія болѣе, чѣмъ какія-либо иныя; образованные и полуобразованные знали наизусть многіе монологи главныхъ лицъ; нѣкоторые стихи ея обратились въ ходячія изреченія, которыя потомъ стали примѣняться къ другимъ, даже не трагическимъ предметамъ.

Въ «Поликсенѣ», содержаніе которой взято также изъ греческаго міра, Озеровъ подражалъ не Дюси, почему и не представляетъ она того, чѣмъ былъ силенъ французскій трагикъ. «Поликсена» ровнѣе въ ходѣ, но за то холоднѣе «Эдипа въ Аоннахъ». Характеръ героини превосходно изображенъ Эврипидомъ, въ трагедіи «Гекуба». Здѣсь она, по преимуществу, нѣжное и скромное существо. Она сохраняетъ свою дѣственную стыдливость даже въ то время, когда стыдливость ни къ чему болѣе не служитъ. Смерть принимается ею охотно, потому что освобождаетъ ее отъ страданій, рабства и, можетъ быть, позора. Въ ея мужествѣ передъ кончиной соединены покорность, робость и стыдливость. У Озерова, Поликсена вышла совершенно иного характера. Она *въ отчаяніи хватается ножъ*, лежащій на жертвенникѣ, восклицая: «закланій вижу ножъ!» На вопросъ Пирра: «что дѣлаешь?» она отвѣчаетъ: «взираю, какъ *умирать умью; сама* иду на холмъ», и потомъ, приближаясь къ холму, *приходитъ въ изступленіе*. Эта сцена парадно-стоической смерти, можетъ быть, внушена подражаніемъ трагедіи Сенеки, у котораго Поликсена умираетъ не хуже Катона, бросаясь, какъ фурія, на могильный холмъ Ахилла. Притомъ, въ греческой трагедіи, Поликсена занята единственно матерью и сестрою; о любви другаго рода нѣтъ ни малѣйшаго слова. Поликсена Озерова питаетъ еще страсть къ умершему жениху своему (Ахиллу). Она воспоминаетъ тѣ дни, когда, любящая и страстно любимая, видѣла у своихъ ногъ непобѣдимаго вождя. Такимъ образомъ древняя гречанка преобразована въ чувствительную дѣву новыхъ временъ. Пирръ нашего трагика одушевленъ жаждою мести, неистовой злобой; въ Поликсенѣ видитъ онъ личнаго врага. Отъ этого смерть царевны утратила религіозный характеръ, которымъ проникнута Эврипидова піеса: здѣсь подлѣ благороднаго мужества красоты стоятъ жалость и смущеніе того, кто ее поражаетъ; это не убійство, не кровавое возмездіе, а торжество скорби, праздникъ смерти, и потому Гекуба, выслушавъ разсказъ о жертвоприношеніи, говоритъ: «о дочь моя! я навсегда сохраню въ памяти и буду оплакивать твой печальный жребій, но твое благородное мужество нѣсколько смягчило мое горе». Озеровъ, поставивъ Пирра въ раздоръ съ Агамемнономъ, подражалъ Сенецкѣ или подражателямъ Сенеки, который заставилъ Пирра требовать крови Поликсены, а предводителя царей противиться варварскому жертвоприношенію.

«Фингалъ» представляетъ событіе изъ жизни народа, совершенно противоположнаго греческому. Озеровъ имѣлъ цѣлью «описать Ахилла сѣверныхъ странъ». Новость предмета должна была интересовать публику, долго смотрѣвшую однихъ греческихъ и римскихъ героевъ. Содержаніе трагедіи взято изъ поэмы «Фингалъ», приписываемой сыну этого героя, Оссіану. Подлинникъ исполненъ оригинальной поэзіи—суровой, величественной, меланхолической. Бардъ Кариллъ славитъ храбрость и великодушіе Фингала, который, побѣдивъ локлинскаго царя Старна и захвативъ его въ плѣнъ,

даровалъ ему свободу. Сердце Старна исполнилось гордости и злобы: онъ замыслилъ смерть побѣдителя, единственнаго соперника своей силы. Для выполненія замысла, онъ пригласилъ къ себѣ Фингала и предложилъ ему руку своей дочери. Дочь, изъ любви къ герою, открываетъ угрожающую ему опасность. Раздраженный отецъ убиваетъ ее. Тогда Фингаль сзываетъ своихъ воиновъ, поражаетъ Локлинцевъ, уноситъ на корабль тѣло своей невесты и погребаетъ ее на одномъ изъ утесовъ своей родины. У Озерова другая причина мести: Фингаль убилъ Старнова сына, Тоскара, и огорченный отецъ далъ обѣтъ успокоить тѣнь убитаго смертію убійцы; Моина, невеста Фингала, избавляетъ его отъ смерти, но сама принимаетъ смерть отъ руки отца. Положеніе Старна трагическое; онъ самое интересное лице въ піесѣ, по твердой преданности одной мысли, одному желанію, которому приносить въ жертву другое желаніе—видѣть дочь свою счастливой. Но онъ утратилъ свою оригинальную суровость и неподатливость. Оссіановы пѣсни приписываютъ ему характеръ дикій и свирѣпый; онъ не могъ выносить превосходства великодушнаго врага, и если прибѣгалъ къ хитрости, то не долго ее выдерживалъ: звѣрство брало верхъ надъ притворствомъ. У Озерова, Старнъ хитрѣе, осторожнѣе въ дѣйствіяхъ; авторъ далъ ему много скрытной злобы, а не той, которой трудно выдерживать тайные планы. Фингаль удалился отъ подлинника: въ немъ много нѣжно-рыцарскаго элемента; онъ выражаетъ любовь свою, какъ сталь бы выражать ее самъ Озеровъ, подъ вліяніемъ романической настроенности. Тоже до известной степени должно сказать и о Моинѣ, хотя ей, какъ сѣверной дѣвѣ, очень къ лицу мечтательность и унылость. При всѣхъ недостаткахъ вымысла и плана и нѣкоторыхъ частныхъ несообразностяхъ, «Фингаль» особенно нравился зрителямъ. Своимъ успѣхомъ онъ былъ одолженъ новости сюжета, сценической постановкѣ, игрѣ Семеновою и Яковлева, прекраснымъ стихамъ и еще болѣе чувствительности, разлитой по всей піесѣ и «создавшей душу Моины» (*).

Въ «Димитрій Донскомъ», авторъ пожертвовалъ исторіей своему вымыслу. Известно, что Димитрій въ то время, къ которому относится дѣйствіе трагедіи, былъ женатъ, а трагедія представляетъ его домогающимся руки Ксеніи, княжны нижегородской, которая, кромѣ того, живетъ въ воинскомъ станѣ, на перекоръ обычаямъ древнерусскаго быта. Отступленіе отъ факта, котораго не могутъ не знать даже школьники, произошло отъ того, что трагикъ боялся нарушить законы и преданія французской трагической системы. Когда замѣтили Расину, что любовь Ипполита къ Арісін (въ Федрѣ) противорѣчитъ подлинному характеру юноши, еще не испытавшаго страсти, онъ отвѣчалъ: «а что скажетъ публика, если въ моей піесѣ не будетъ любовной завязки?» Если Озерову приходило на умъ подобное замѣчаніе, то онъ, вѣроятно, думалъ: «а что сказалъ бы Расинъ, не нашедъ въ моей трагедіи любовной завязки?» И вотъ онъ въ важное и патріотическое дѣйствіе вводитъ романическую интригу. Но, при невѣрности исторической, піеса могла бы соблюсти вѣрность идеѣ патріотизма, воплощенной въ главномъ лицѣ, къ какой бы націи оно ни принадлежало. Героническая любовь отечеству требуетъ всецѣлой ему преданности, и нѣтъ такой жертвы, передъ которой было бы дозволено остановиться въ минуту критическаго его положенія, угрожающихъ ему бѣдствій. Такимъ ли чувствомъ воодушевленъ Димитрій Озерова? Нѣтъ, онъ заслуживаетъ справедливую укоризну и какъ лице, созданное воображеніемъ, не слѣдовавшимъ исторіи. «Предупреждая обвиненія судей», говоритъ кн. Вяземскій,

(*) Выраженіе Жуковскаго въ посланіи къ кн. Вяземскому и В. Пушкину.

«трагикъ влагасть въ уста князей Бѣлозерскаго, Смоленскаго и самой Ксеніи рѣшительный приговоръ осужденія поступкамъ Димитрія, законнымъ во всякое другое время, но преступнымъ въ день боя, когда отечество, требуя жертвы его страсти и обиженнаго самолюбія, ожидаетъ отъ него своего освобожденія. Не унижается ли достоинство Димитрія, когда Ксенія, не менѣе его страстная, находитъ довольно мужества въ душѣ, чтобы заглушить голосъ любви, и произвольною жертвою не укоряетъ ли она его въ постыдномъ малодушіи? Кончина Бренскаго, на смерть посланнаго Димитріемъ, не есть ли ужаснѣйшая и постыднѣйшая ему укоризна? Самый соперникъ Димитрія (князь Тверскій) не исторгаетъ ли невольной дани уваженія, отказываясь отъ руки Ксеніи, и не долженъ ли признаться каждый зритель вмѣстѣ съ Димитріемъ, что тотъ его превзошелъ?» (*).

Разсмотрѣвъ піесы Озерова, мы должны сдѣлать о нихъ слѣдующее заключеніе: всѣ онѣ принадлежать къ французской трагической системѣ. Озеровъ—псевдо-классикъ не только въ сюжетахъ, взятыхъ изъ греческаго міра, но и въ представленіи событій каледонской и отечественной исторіи. Въ этомъ смыслѣ, Фингалъ и Димитрій Донской тоже, что Эдипъ въ Аѳинахъ и Поликсена: единство родовыхъ отличій доказывается и постройкой, и характерами, и веденіемъ разговора. Чувствительность была врожденнымъ качествомъ Озерова: отсюда превосходство трогательныхъ сценъ, возбуждавшихъ жалость и умиленіе въ душѣ зрителей; отсюда же особенная склонность къ созданію женскихъ характеровъ, которые вышли интереснѣе мужскихъ. Въ трагедіяхъ Озерова есть своя доля романтизма: мечтательность и грусть Моины, ея отношеніе къ Фингалу, равно какъ сцены Димитрія съ Ксеніей, воспоминанія Поликсены объ Ахиллѣ.... всѣ эти скорбныя жалобы на невѣрность земнаго счастья, смутныя предчувствія бѣды, идеальныя ожиданія будущаго блага, въ замѣну блага утраченнаго, не что иное, какъ элементы романтической поэзіи. Онѣ значительно возвышаются надъ Сумароковымъ и Княженинымъ не только по языку и версификаціи, но и расположеніемъ піесъ, большою обдуманностью завязки и развязки, болѣе правильною постройкою характеровъ, и главное—тѣмъ поэтическимъ одушевленіемъ, которое отъ автора сообщалось артистамъ и посредствомъ игры ихъ переходило къ публикѣ. Лучшихъ трагедій въ духѣ французскаго классицизма мы не имѣемъ: онѣ третій и послѣдній нашъ трагикъ въ этомъ родѣ. Современники превознесли похвалами заслугу Озерова: похвалы, можетъ быть, преувеличенныя, но легко объясняемыя современнымъ ея значеніемъ. Князь Вяземскій называетъ его «преобразователемъ» русской трагедіи; по словамъ Греча, Озеровъ произвелъ переворотъ не только въ области трагедіи, но и вообще въ словесности.

Трагедія Крюковскаго: «Пожарскій» (1807), не смотря на то, что была представлена съ чрезвычайнымъ успѣхомъ и довольно долго держалась на сценѣ, не можетъ, конечно, занять мѣсто въ одномъ ряду съ Димитріемъ. Ея успѣхъ зависѣлъ, какъ мы знаемъ, отъ высокаго подъема патріотическаго духа въ то время, а не отъ поэтическаго достоинства. Это—піеса кетати, и роль Пожарскаго выполнялъ любимецъ публики Яковлевъ; а такія піесы, по замѣчанію одного изъ современниковъ (С. Жихарева), всегда могли рассчитывать на блистательный пріемъ.

§ 29. Настроеніе духа, возбуждаемое отступленіями дѣйствительности отъ идеала, выражалось частію въ эпосѣ и драмѣ, а частію и въ самостоятельной формѣ, какъ

(*) Извѣстіе о жизни и сочиненіяхъ Озерова.

произведеніи дидактической лирики, т. е. въ собственно такъ называемой сатирѣ. Между писателями въ этомъ родѣ первое, по времени, мѣсто принадлежитъ И. Дмитріеву, хотя онъ сочинилъ только одну сатиру: «Чужой толкъ» (1795), да перевелъ съ французскаго «Посланіе Попа къ доктору Арбутноту» (1793) (*). Оба стихотворенія осмѣиваютъ безумную страсть къ стихотворству, которая ведетъ свое начало издалека и скоро приняла характеръ хронической болѣзни. Еще Гораций замѣтилъ, что отъ страдающаго этою болѣзнію умные люди бѣгаютъ, какъ отъ заразы. Подъ нею, конечно, разумѣлъ онъ не творчество поэта, внимающаго Аполлонову призыву, а ремесло версификатора, марающаго бумагу единственно потому, что онъ чувствуетъ нестерпимый зудъ въ рукахъ. Стихотворное рукодѣлье развилось у французовъ въ литературныхъ салонахъ; поощряемое публикой, которая находила въ немъ пріятную для себя забаву, оно достигло крайняго педантизма и сдѣлалось предметомъ комедіи. На что есть запросъ, то и производится въ обиліи. Производство же сбывалось выгодно, доставляя производителямъ извѣстность, покровительство знатныхъ, а иногда и деньги. На ловкаго стихотворца смотрѣли какъ на *bel esprit*. Авторскому тщеславію было здѣсь много поживы, хотя, съ другой стороны, оно порождало много смѣшныхъ исторій. Сцена между Триссотиномъ и Вадіемъ, въ «Ученыхъ женщинахъ» Мольера, не выдуманна комикомъ: онъ воспроизвелъ дѣйствительную ссору Котэна съ Менажемъ, случившуюся на одномъ собраніи, изъ за какого-то сонета. Стихобѣсе послужило сюжетомъ и пружинной комедіи Пирона «Метроманія» (1738) (**). Оно обуяло не однихъ служителей музъ: конторщики, мелкіе чиновники, отставные генералы брались за переводы Горацийевыхъ одъ и посланій, или за дидактическія поэмы, имѣвшіе предметомъ какую-нибудь статью науки. На поэтическую арену выступали:

И крупный господинъ, слагатель мелочей;
И авторъ въ чепчикѣ, и бѣдный дурачекъ,
И молодой судья, на мѣсто чтенія правъ,
Кротающій экспромтъ, до полночи не спавъ (***).

Слѣдуя за направленіемъ вкуса, метроманія специализировалась, т. е. переходила отъ однихъ поэтическихъ родовъ къ другимъ. Французы утоляли свою стихотворческую фурію то на легкой поэзіи, то на басняхъ, то на одахъ. Начало русскаго стихотворства и метрофильства почти совпадаютъ: первымъ метрофиломъ былъ Тредьяковскій. Хотя оно уступало западному въ своемъ значеніи, однакожь скоро сдѣлалось добычею сатиры (****). Особенно была преслѣдуема одоманія—охота писать торжественныя оды, которыя стали у насъ плодиться со времени Ломоносова и въ подражаніе ему. Легкая возможность трубить похвалы кому-угодно и на какой-угодно случай объяснена Крымовымъ въ восточной повѣсти «Кайбъ» (1792): «Мы (говоритъ стихотворецъ Кайфу) даемъ нашему воображенію волю въ похвалахъ, съ тѣмъ только условіемъ,

(*) По указанію г. Лонгинова, переводъ имѣлъ отдѣльное изданіе (Взглядъ на мою жизнь, И. Дмитріева, стр. 281, прим. 190). Арбутнотъ—современный Попу англійскій врачъ и литераторъ.

(**) Мы упоминали о переводѣ (стихотворномъ) этой комедіи—Супиковымъ; прозаическій переводъ вышелъ гораздо раньше (1787).

(***) Изъ посланія къ Арбутноту.

(****) Примѣръ отчаяннаго метромана въ прошломъ столѣтіи и притомъ самаго низкаго сорта представлялъ Струйскій († 1796), пензенскій помещикъ, бывшій владимірскимъ губернаторомъ (Рус. Архивъ 1865 г., стр. 958—964).

чтобъ послѣ всякое имя выставить можно было. Ода какъ шелковый чулокъ, который всякій старается растягивать на свою ногу.... Можно набрать сколько угодно похвалъ, поднести ихъ кому угодно—и нѣтъ человѣка, который бы описаніи всѣхъ возможныхъ достоинствъ не принялъ сколкомъ съ своей высокой особы». Подражая Мольеру, Княжнинъ вывелъ въ комедіи «Чудаки» (1793) двухъ стихотворцевъ: идиллика Свирѣлкина и одописца Тромпетина. Но самое сильное пораженіе хвалебной лирикѣ нанесла сатира Дмитріева: «Чужой толкъ», первая мысль о которой, вѣроятно, была внушена посланіемъ Попа. Съ большимъ остроуміемъ и вѣрностью она изобразила приемы и свойства громкихъ одъ, выходившихъ изъ подъ пера бездарныхъ риомолетовъ, а вмѣстѣ объяснила и причины неуспѣха нашего торжественнаго пѣснопѣнія. Многіе стихи ея сдѣлались пословицами. Личный характеръ автора и подражаніе французскимъ образцамъ сообщили ей тонъ приличія и уклончивость; но тѣмъ не менѣе, она исполнена колкихъ насмѣшекъ, которыя не теряютъ своей язвительности отъ того, что выговариваются не самимъ авторомъ, а двумя посторонними лицами, какъ показываетъ названіе пьесы. «Чужой толкъ» примѣняется къ безталаннымъ слагателямъ одъ, какихъ у насъ было множество; однакожъ и нѣкоторыя произведенія нашихъ лучшихъ стихотворцевъ подходятъ подъ сужденіе и осужденіе умнаго аристарха. Уставу ложно-классической лирики подчинялись и Ломоносовъ, и Державинъ: и они не безъ вины передъ остроумнымъ «толкомъ». Въ частности же, сатирикъ разумѣлъ Николева, Клушина и Бухарскаго; двое послѣднихъ печатали свои стихотворенія въ журналѣ «Зритель» (1792). Слова сатиры, что иная торжественная ода въ двѣсти строфъ, оправдываются посланіемъ Николева къ княгинѣ Дашковой (*), содержащимъ въ себѣ сто три строфы, по десяти стиховъ въ каждой—всего 1030 стиховъ. Съ Клушинымъ, однимъ изъ издателей Зрителя, Дмитріевъ имѣлъ счеты и за себя лично, и за Карамзина: журналъ этотъ былъ не въ ладахъ съ Московскимъ журналомъ (**). Что касается до Бухарскаго, то въ его одахъ сплошь и рядомъ встрѣчаются казенныя мѣста, наборъ громкихъ и пустыхъ словъ, которыя стиходѣй принималъ за поэтическую выпрепность. Особенности сатирическаго таланта Дмитріева видны и въ его эпиграммахъ—большою частію подражанія французскимъ или переводахъ съ французскаго, но переводахъ мастерскихъ. Нѣкоторыя изъ нихъ (Живописецъ, Бригадиръ, «Мнѣ лекаръ говорилъ», «Я разорился отъ воровъ»...) получили силу пословицъ, какъ типически-вѣрныя изображенія странностей или глупостей. Въ сказкахъ своихъ Дмитріевъ также сатирикъ по преимуществу. Онъ былъ призванъ для этого рода поэзіи, хотя, къ сожалѣнію, не угадывалъ или не цѣнилъ призванія. Трудно повѣрить, что изъ послѣдняго собранія своихъ стихотвореній онъ хотѣлъ исключить наилучшее—«Чужой толкъ», и только настойчивыя просьбы племянника (М. Дмитріева) удержали его отъ такого страннаго самонепониманія.

Какія были послѣдствія «Чужаго толка»? Остановилъ ли онъ рьяность одописцевъ? Конечно, нѣтъ. Сатира преслѣдуетъ смѣшное, но не искореняетъ смѣшнаго, когда еще дѣйствуютъ причины, благопріятствовавшія его развитію. Стоитъ заглянуть въ Опытъ библіографіи Сопикова и въ Роспись книгамъ Смирдина, чтобы убѣдиться, сколько одъ напечатано послѣ 1795 г., не считая тѣхъ, которыя явились на стра-

(*) Въ Новыхъ ежемѣсячныхъ сочиненіяхъ на 1791 г.

(**) См. Письма Карамзина къ Дмитріеву.

лицахъ журналовъ. Метроманинъ суждено было еще многія лѣта вертѣться на острѣхъ сатиры. Ее поддерживала почти вся читающая публика, не отличавшая поэзіи отъ стихотворства и слышавшая въ мѣрной рѣчи языкъ боговъ. Уваженіе къ этому «божественному глаголу» не понижалось, а возрастало отъ времени. Только проявленія метроманства мѣнялись: за порою одъ слѣдовала пора другихъ видовъ поэзіи. Впрочемъ, поздравительные стихи не вышли изъ обычая и черезъ двадцать почти лѣтъ послѣ «Чужаго толка», какъ можно судить по сатирѣ кн. Долгорукаго «Черты свободного писателя» (1813):

Стихи писать теперь есть промыселъ торговый,
И къ праздничному дню бояра всѣ съ обновой.

«Тогда» (1813), замѣчаетъ при этомъ М. Дмитріевъ, «писали стихи и вельможамъ, и покровителямъ, и важнымъ родственникамъ, и богачамъ: ихъ получали не только графъ Н. П. Румянцевъ, издававшій на своемъ издженіи древнія грамоты и снарядившій корабль для кругосвѣтнаго плаванія, но и Поздняковъ, имѣвшій публичный театръ и дававшій публичные маскарады» (*). Читатели и авторы сошлись въ своемъ благоволеніи къ стихотворству. Хорошіе стихи всегда лучше хорошей прозы, сказали Карамзинъ въ разборѣ Душеньки, разумѣя, конечно, равное достоинство вишней формы и равнокачественность содержанія. Другіе, упустивъ изъ виду это обстоятельство, полагали, что и посредственные стихи стоятъ хорошей прозы. Лица малаго образованія, не заводившіеся книгами, но не чуждые литературныхъ интересовъ, охотно списывали стихи, которые приходились имъ по вкусу. Подобные сборники иногда достигали большихъ размѣровъ и хранятся въ библіотекахъ, какъ памятники новѣйшей письменности. На литературныхъ чтеніяхъ стихи большею частію приберегались къ концу, pour la bonne bouche, какъ самое лакомое угощеніе. Журналы были не мыслимы безъ стихотвореній, которыя занимали первенствующее мѣсто въ отдѣлѣ изящной словесности. Кромѣ охоты писать, явилась неугомонная охота читать свои произведенія. Еще Мольеръ замѣтилъ неслосный обычай авторовъ

D'être au Palais, aux Cours, aux ruelles, aux tables
De leurs vers fatiguants lecteurs infatigables.

Наши авторы также зачитывали друзей и недруговъ, которые убѣдились, что бѣда чтанія еще злѣе бѣды писанія:

Не говорю, за чѣмъ онъ пишетъ,
Но для чего читаетъ онъ?

Послѣднимъ и самымъ отчаяннымъ представителемъ нашей метроманіи былъ графъ Д. И. Хвостовъ, дарившій свои сочиненія знакомымъ и незнакомымъ, даже станціоннымъ смотрителямъ, когда онъ останавливался для перемѣны лошадей. Его страсть къ стихотворству просилась въ поэму. Хотя поэмы не явилось, но за то онъ часто фигурировалъ, подъ именемъ Графова, и въ эпиграммахъ, и въ басняхъ, и въ посланіяхъ. Въ особенности занимался имъ баснописецъ А. Измайловъ, самъ платившій дань слабости, надъ которой смѣялся, но и не скрывавшій ее отъ свѣта:

(*) Князь Иванъ Михайловичъ Долгорукій и его сочиненія (1863).

Люблю писать стихи и отдавать въ печать!
Не потею грѣха: люблю ихъ и читать.

Нѣтъ надобности, да и не стоить, останавливаться на сатирическихъ выходкахъ противъ стихописанія и стихочитанія, тѣмъ болѣе, что ни то, ни другое не приносило вреда, а начиналось и оканчивалось смѣшнымъ, которое, прибавимъ, во многихъ не только не возбуждало смѣха, но еще доставляло имъ удовольствіе, соотвѣтственное ихъ степени образованія и вкуса. Не можемъ не указать, однакожь, на два посланія кн. Вяземскаго: «Къ перу моему» (подражаніе Буало) и «къ П. И. Дмитріеву», какъ на очень остроумныя сатиры противъ стихоплетства.

Сатира князя П. М. Долгорукаго (1764—1823) обращалась въ кругу другихъ, болѣе серьезныхъ предметовъ. Она замѣчательна своей оригинальностью, равно какъ и его лирика, которою мы должны теперь заняться (*). Собраніе своихъ стихотвореній авторъ издалъ подъ заглавіемъ: «Бытіе моего сердца» (**), желая показать съ первой же страницы, что книга служитъ выраженіемъ умственно-нравственнаго бытія его. «Въ стихахъ моихъ», говоритъ онъ въ предисловіи, «я хотѣлъ сохранить все отѣнки чувствъ своихъ, видѣть въ нихъ, какъ на картинѣ, всю исторію моего сердца, его волненія, перемѣну въ образѣ мыслей, ходъ ихъ въ разныхъ возрастахъ жизни и постепенное развитіе малыхъ моихъ способностей... Всякій стихъ напоминаетъ мнѣ какое-либо или происшествіе, или мысль, или чувство, которое на меня дѣйствовало тогда и тогда; словомъ, мнѣ пріятно себя находить ребенкомъ, мальчикомъ, мужемъ совершеннымъ и наконецъ старикомъ, и видѣть, какою ниткою разсудокъ мой отъ 15 лѣтъ и до 50 прокладывалъ себѣ пути къ счастью въ томъ глубокомъ лабиринтѣ, что анатомисты называли *сердцемъ*». Таже мысль выражена и нѣкоторыми стихотвореніями. Въ одномъ изъ нихъ, Долгорукій пишетъ: по моимъ стихамъ

Увидать, какъ я жилъ, какъ чувствовалъ, мечталъ;

въ другомъ, откровенно исповѣдуется, съ какою цѣлью онъ брался за перо:

Пишу, что кроется во мнѣ:
Нѣмой бумагѣ безъ искусства
Ввѣрю искреннія чувства.
Угодень—пусть меня читаютъ,
Противень—пусть въ огонь бросаютъ:
Трубы похвальной не пишу (***).

Характеромъ этихъ искреннихъ чувствъ, сущностью моральнаго бытія автора (бытія его сердца) опредѣляются характеристическія, существенныя отличія его лирики. Здѣсь, по словамъ его, ключъ той оригинальности, которую многіе справедливо приписывали его сочиненіямъ,—оригинальности внутренней и внешней, въ содержаніи и въ формѣ.

Князь Долгорукій не любилъ скрывать себя, да и не имѣлъ въ томъ надобности; напротивъ, онъ могъ безъ опасеній *быть* постоянно *самимъ собою*, и дѣйствительно былъ таковымъ, не стараясь казаться чѣмъ-либо инымъ. Если его *я* не походило не *я* многихъ другихъ, то, конечно, послѣдніе оставались въ проигрышѣ, а не онъ. Отъ

(*) О кн. Долгорукомъ не было говорено въ I т. моей Исторіи, хотя выборъ изъ его сочиненій помѣщенъ въ I т. моей Исторической Хрестоматіи.

(**) Первое изданіе 1802 г., два другія 1808 и 1817—18.

(***) Послѣдніе три стиха выставлены эпиграфомъ на заглавномъ листѣ стихотвореній кн. Долгорукаго.

природы получилъ онъ прямой, здравый и острый умъ, чувствительность, но не въ смыслѣ сентиментальности, добродушіе, любовь къ истинѣ и дѣйствительности. Какъ бы въ благодарность за хорошіе дары, онъ питалъ къ природѣ благоговѣйную любовь и преданность, называлъ ее другомъ, вождемъ и матерью, хотѣлъ жить заодно съ нею, потому что въ ней одной видѣлъ источникъ всевозможныхъ отрадъ и въ тоже время роковую, непобѣдимую силу, которая не измѣняетъ своихъ, отъ вѣчности завѣданныхъ порядковъ. Человѣкъ, по его понятію, есть «узникъ естества, крупный червь, ежечасно митущійся». Изъ того, что мы давимъ другія творенія, еще не слѣдуетъ величать насъ царями земли:

Ничто здѣсь не для насъ; мы сами для того,
Чтобъ цѣпъ кольцомъ связать творенія всего (*).

Что введено въ чинъ природы, то не можетъ быть намъ вредно, говоритъ Долгорукій, и въ «Посланіи къ Сердечкину» подчиняетъ ея уставу законы человѣческой жизни:

Натурой созданы, въ натурѣ мы живемъ;
Законами ея намъ должно управляться;
По милости ея мы снимъ, ѣдимъ и пьемъ,
По милости ея мы можемъ наслаждаться (**).

Поклоняясь своему кумиру-природѣ, Долгорукій искренно внималъ естественному чувству и сверхъ того голосу Руссо, котораго онъ цѣнилъ выше всѣхъ философовъ, какъ «благонравнаго» мудреца, и въ одномъ шутиломъ стихотвореніи назвалъ «Рыжимъ Яшкой»:

Ученіе сего философа любя,
Природа! здѣсь и я почувствоважь тебя.

Но откуда бы ни шло это чувство, поэтъ дорожилъ имъ, какъ истиннымъ благомъ, и никогда не измѣнялъ ему. Въ исторіи его внутреннихъ ощущеній, оно занимало самое видное мѣсто. Онъ былъ жизнелюбивъ не въ томъ смыслѣ, что боялся смерти, а въ томъ, что не боялся удовлетворять требованія своего естества, тѣлеснаго и душевнаго. Особенно наслаждался онъ *бытіемъ сердца*—«глубокаго лабиринта, въ которомъ прокладывалъ себѣ пути къ счастью». Преданность законамъ природы была возведена имъ въ доктрину, отзывающуюся пантеизмомъ и нужную для того, чтобы объяснять движенія темперамента, вовсе не склоннаго къ аскетизму. Эта доктрина служила поэту и правиломъ и оправданіемъ: она узаконяла его страстныя наклонности, увлеченія чувствами, огонь любви, которымъ онъ воспламенялся часто и горѣлъ долго. Стихи «на постриженіе благородной особы» выдають основную мысль моральной системы автора, которую раздѣляли съ нимъ многіе его современники:

Противу чувствъ вооружайся,
Но побѣдить не обѣщайся:
Природа царь всяя земли (***)

Изъ сказаннаго понятно, почему все условное, идущее на перекоръ естественности,

(*) Сочиненія Долгорукаго, изд. Смирдина (въ Полномъ собраніи сочиненій русскихъ авторовъ), I, 129.

(**) Ib. 236 и 237.

(***) Ib. I, 83.

противное здравому смыслу, стѣснительное для свободныхъ отправленій духа и тѣла раздражало Долгорукаго и подвергалось рѣзкимъ его обличеніямъ. Охотно платя дань общечеловѣческимъ связямъ и обязанностямъ, безъ которыхъ невозможна жизнь, онъ ненавидѣлъ тѣ общественныя отношенія, которыя придумываются людьми на взаимную тягость, входить на время въ моду и бросаются какъ мода, замѣняясь другими, столь-же перазумными. Одна изъ лучшихъ сатиръ его: «Нѣчто для весельчаковъ» (1815) преслѣдуетъ пустошь стѣснительныхъ обрядовъ свѣта, деспотизмъ такъ называемаго *приличія*. Въ началѣ сатирикъ перечислилъ вѣковѣчныя уставы, исполнѣ согласныя съ природой и разумомъ; потомъ выказываетъ отличіе истинной морали отъ моднаго этикета, обращающаго живыя существа въ машины; а въ заключительныхъ стихахъ постановляетъ такое рѣшеніе:

Чему не учить насъ небесный нашъ Отецъ,
Не требуютъ чего гражданскіе законы,
По мыслямъ то моимъ пустыя лишь препоны...
Гдѣ страха вовсе нѣтъ, тамъ нечего страшиться;
Въ чемъ нѣтъ стыда, того напрасно и стыдиться.

Противоположность между естественнымъ бытомъ челоѣка, какъ истинною, и бытомъ общества искусственнымъ, какъ порчею и ложью, развито также въ «Хижинѣ на Рѣпни» (1804) (*). Трезвымъ понятіемъ о жизни и ея обязанностяхъ объясняется неприязнь поэта къ болѣзненнымъ явленіямъ въ обществѣ и въ литературѣ, особенно къ болѣзнямъ напускнымъ, которыя въ иную эпоху предпочитаютъ здоровью. Литературный сентиментализмъ раздражалъ его, какъ несносная аффектація:

Да будетъ проклятъ тотъ безмозглый книгъ писецъ,
Кто первый въ кровь пустилъ ядъ оспы лжеморальной,
И, разумъ помутя, направилъ путь сердецъ
Къ той жизни, кою мы зовемъ сентиментальной.

Замѣтимъ, что въ сочиненіяхъ Долгорукаго не видно не только подражанія Карамзину, но и сочувствія къ нему, можетъ быть именно по той причинѣ, что въ Карамзинѣ признавалъ онъ творца сентиментальнаго направленія нашей словесности. Долгорукій легко могъ соглашаться съ своимъ ученіемъ чувственность, но никакимъ образомъ не могъ оправдывать имъ вздыханье кн. Шаликова. Любя послѣдняго, какъ челоѣка, онъ не любилъ, подобно ему, веселиться мечтами, а существенность почитать бѣдой. Будь счастливъ только истиной, внушаетъ онъ ему въ посланіи. По его мнѣнію, Жанлисъ, Редклифъ и Сталь много разстроили жизнь своимъ сладкимъ вздоромъ. Химерическія мечты онъ называлъ отравой нашего спокойствія и къ числу ихъ относилъ нарумяненныя картины простонароднаго быта у русскихъ идиотиковъ. Піеса «Жизнь» забавно представляетъ разочарованіе тѣхъ любителей сельской жизни, которые составили о ней понятіе по Геснеру:

Геснера вѣдь читалъ: прекрасныя овечки
Съ прекраснымъ пастушкомъ пасутся тамъ всегда,
Лазурный сводъ небесъ, прозрачная вода,
Тамъ мѣсяцъ вмѣсто свѣтъ, а солнце вмѣсто печки.

(*) Рѣчка, близъ Владиміра. На берегу, противоположномъ городу, кн. Долгорукій, бывшій владимірскимъ губернаторомъ, устроилъ хижину, въ которой, въ свободные дни отъ службы, любилъ, по нѣскольку часовъ въ день, предаваться совершенному уединенію: тамъ онъ читалъ, мечталъ и писалъ стихи (Кн. Долгорукій, стр. 62).

Пріѣхалъ? что нашелъ?... Пастухъ мой какъ пастухъ,
Арапникомъ овецъ претолстыхъ погоняетъ,
Стрижетъ ихъ безъ пощады, а грамотѣ не знаетъ,
И вмѣсто миртовъ, ахъ! какой прескверный духъ!

Тамъ осень... вечера... зимой пошли морозы;
Подай-ка, малый, свѣтъ, внеси-ка, Оомка, дровъ.
Ахти, какой климатъ! не все-ли онъ такъ суровъ?
Бесѣды никакой—лишь тпнутся обозы.

Измайловъ, кн. Шаликовъ и другіе сентиментальные вояжоры расписывали прелести путешествія по Россіи; Долгорукій, въ «Ромотѣ на дорогу», подтвердилъ справедливость замѣтки, что въ Россіи, при тогдашнихъ дорогахъ, можно было ѣздить по дѣламъ, но не путешествовать. Другое дѣло, разсуждаетъ онъ, за границей,

А здѣсь ѣзда—бѣда ужасна
На почтовыхъ ли, на своихъ!
Земля, кормилица несчастна,
Плодовъ не носитъ никакихъ.
Дороги нѣтъ, мосты поганы,
Въ избахъ вонь, чадъ и тараканы,
Путемъ нельзя ни лечь, ни сѣсть;
Вездѣ велитъ неволя драться,
Во всякой всячинѣ нуждаться,—
Не сыщешь мягкой булки сѣсть.

Это говорилъ истинно-русскій человѣкъ, которому и дымъ отечества былъ сладокъ,— говорилъ не ради обличеній, не изъ злорадства, а единственно потому, что, смотря на вещи прямо и возмущаясь всякою ложью, слѣдовательно и ложнымъ стыдомъ, онъ не боялся видѣть дыма, а видя его принималъ за то, что онъ есть.—Такъ какъ простоты и естественности прежде было больше, чѣмъ въ новое время, когда, на ряду съ выгодами образованія, развилось и «образованное зло», то, въ этомъ отношеніи, Долгорукій предпочитаетъ старинную жизнь современной, подъ маскою приличій скрывающей самыя неприличныя качества. Стихи: «Въ послѣднемъ вкусѣ человѣкъ» (1798) содержатъ въ себѣ съ одной стороны похвалу предкамъ, а съ другой—сатиру на людей новѣйшаго фасона. Сочувствіе къ природѣ, прямой взглядъ на дѣйствительность и оцѣнка впечатлѣній по ихъ искренности и правдѣ спасли талантъ Долгорукаго отъ ложныхъ направленій въ литературѣ. Онъ свободно пошелъ по прямой и открытой дорогѣ, гдѣ ему предстояло своеобразное развитіе, не по примѣру другихъ, а скорѣе въ примѣръ другимъ.

Форма стихотвореній Долгорукова обусловлена качествами ихъ содержанія. Простота и естественность въ понятіяхъ и чувствахъ повела къ простому, естественному ихъ выраженію. Какъ онъ по жизни умственной и нравственной любилъ оставаться самимъ собою, такъ и на словѣ его лежитъ печать самобытности. Онъ это сознавалъ положительно и заявилъ въ предисловіи: «книга моя не похожа ни на чью; она не соображена ни съ римскими, ни съ греческими древними красотами». Другими словами: книга Долгорукова отбросила направленіе, тонъ и формы лжеклассицизма, подъ которымъ большинство писателей представляло себѣ древне-классическую поэзію. Но такая свобода стихотворца, какъ нарушеніе общепринятыхъ правилъ, была для того времени смѣлою ересью. Оригинальность, которую мы теперь хвалимъ, тогда непріятно поражала критиковъ и могла вызвать укоры, а не похвалу. Авторъ счелъ нужнымъ если не оправдывать, то по крайней мѣрѣ пояснять несходство своихъ произведеній со

всѣми прочими: «конечно, для великаго творца эпопеи или трагедіи предосудительно стать выше общаго мнѣнія и поширать деспотически всѣ правила принятаго вкуса; но не ужли и Оеклу пѣть надобно такимъ же размѣромъ, какимъ пѣвали трубадуры своихъ красавицъ?» Это, могъ прибавить Долгорукій, была бы пародія, своего рода обезьянство, не потому что предметъ носить простое имя, а потому что чувства, возбужденныя предметомъ въ душѣ автора, должны были облечься не въ классическую одежду, а въ одежду соотвѣтственно бытію авторскаго сердца. Не равняя себя ни съ Ломоносовымъ, ни съ Державинымъ, ни съ Мерзляковымъ, ни съ Карамзинымъ, Долгорукій показалъ тѣмъ, что онъ такъ же хорошо понимаетъ ихъ, сколько и себя самого. Поэтическій инструментъ свой называлъ онъ «балалайкой», а игру на немъ «мурныканьемъ», хотя ему слѣдовало бы прибавить, что вѣрно настроенная балалайка лучше разстроенной арфы и задушевное мурныканье пріятнѣе громогласнаго, но фальшиваго пѣнья. Не видно у него заботы отчеканивать стихи; напротивъ, частенько онъ довольствовался такими словами, о которыхъ можно сказать: живетъ, годится. Но, уступая другимъ въ изяществѣ слога, его стихи представляютъ драгоцѣнное преимущество: на нихъ—чеканъ русскаго ума, русской рѣчи. У инаго стихотворная піеса выведена словно красивое зданіе, а толку въ ней нѣтъ или очень мало; въ піесахъ Долгорукаго всегда народный толкъ, народный складъ. Самыя заглавія нѣкоторыхъ піесъ выбраны изъ чисто-русскаго словаря и непереводимы на иностранный языкъ, равно какъ ихъ содержаніе взято изъ нашего кореннаго быта. Таковы: «Авось», «Везетъ», «Живетъ». Авторъ любилъ бойкіе руссизмы, въ реченіяхъ и оборотахъ, и безъ боязни пользовался обычными умопредставленіями и обычнымъ матеріаломъ для ихъ выраженія, отъ которыхъ вѣроятно морились тогдашніе пуристы въ поэзіи, позволявшіе ея служителямъ только избранный языкъ. Примѣровъ не приводимъ: они встрѣчаются почти въ каждомъ его стихотвореніи. Здѣсь-то и причина, почему Долгорукій такъ легко и сочувственно сказывался чистокровному русскому человѣку и почему многія его произведенія встрѣчаются въ рукописныхъ сборникахъ стиховъ. Существенными чертами своей лирики онъ живо напоминаетъ Державина, но съ тѣмъ различіемъ, что въ ней нѣтъ Державинскаго поэтическаго взмаха. Онъ не хваталъ, какъ говорятъ, звѣздъ съ неба, но за то и не спотыкался на гиперболы, какъ иногда Державинъ въ своемъ заоблачномъ полетѣ. Вотъ, для примѣра, двѣ строфы изъ стихотворенія: «Мой театръ»:

Тарифъ меня не безпокоитъ,
Въ сукнѣ я толку не знавалъ;
Иной безъ сахару все нойтъ,
Я чай и съ патокой шивалъ.
Въ карманѣ рубль кожь залежится,
Поставлю въ мигъ его ребромъ:
Моя забава—суетиться,
Мой рай—людьми набитый домъ.

Мнѣ нужды нѣтъ, гдѣ миръ, гдѣ драка,
Куда полки бѣгутъ солдатъ,
Который баринъ скушалъ рака,
Какому данъ вельможѣ матъ;
Въ моемъ углу храня свободы
Благонамѣренный законъ,
Лѣнюсь и радъ, что воеводы
Уже не грезится мнѣ сонъ.

Хотя все стихотворенія Долгорукаго выражаютъ «бытіе его сердца», однакожь въ нихъ можно различить три рода: одни—шутливыя, исполненныя умной и веселой ироніи, а иногда и юмора (Авось, Везеть, Живеть, Семира Болеславна); другія, въ стилѣ Горацианскихъ одъ, но въ духѣ русскомъ, относятся къ дидактической лирикѣ (Каминъ въ Пензѣ, съ котораго началась поэтическая извѣстность автора и за которымъ слѣдовали: «Каминъ въ Москвѣ» и «Война каминовъ»; Завѣщаніе, Размышленіе о смерти, Последняя пѣснь моимъ современникамъ, Взглядъ старца на заходящее солнце); третьи принадлежатъ къ сатирамъ (Въ последнемъ вкусѣ человѣкъ, Черты свободного писателя, Приказъ швейцару, Нѣчто для весельчаковъ, Торжество совѣсти, Пиръ, Пріятелю). Личность автора, какъ человѣка, всецѣло и прекрасно изображена въ стихотвореніи «Я».

Прим. Князь Иванъ Михайловичъ Долгорукій и его сочиненія. Сочиненіе М. А. Дмитріева (изд. 2-ое, 1863). Извѣстіе о запискахъ кн. И. М. Долгорукова, М. Н. Лонгинова (Рус. Архивъ 1865, стр. 964—968); его же: Хронологія нѣкоторыхъ стихотвореній кн. Долгорукаго (ib. 968—971).

О сатирѣ князя Д. П. Горчакова (1756—1824) (*) нельзя сказать того же, что мы замѣтили о произведеніяхъ двухъ предыдущихъ сатириковъ: она не выказываетъ въ авторѣ, какъ у Дмитріева, человѣка уклончиваго, соблюдающаго, при всей колкости остроумія, пріемы и формы салоннаго круга, и не смягчается, какъ у кн. Долгорукаго, шуткой или юморомъ. Князь Горчаковъ не любилъ золотить пилюли; желая нанести меткіе и тяжелые удары, онъ не облакалъ своей руки въ лайковую перчатку. Его негодованіе—холерическое, безъ мысли не только о мирѣ, но даже о временномъ примиреніи. Онъ дѣйствовалъ перомъ съ воинственной отвагой и противъ подлыхъ чувствъ и дѣлъ шелъ такъ же смѣло, какъ на приступъ Измаила, не щадя враговъ. Враги были не вишіе, какъ прежде, а внутренніе и многочисленные—«новыя неистовства вѣка». Это—игроки, вѣжливо и хладнокровно пускающіе цѣлыя семейства по міру; Подлягины, не правители, а разорители ввѣренныхъ имъ губерній; казнокрады, вымещающіе на казнѣ убытокъ, понесенный ими при грабительствѣ согражданъ; подрядчики, болѣе чумы и картечи пагубныя для арміи; откупщики, настроившіе себѣ чертоговъ на разбавленное или приправленное вино.... короче: «злодѣйствъ мерзительный соборъ». Особенному гнѣву сатирика подвергаются тѣ дворяне, что совершенно забыли французское изреченіе: «la noblesse oblige». Онъ выставляетъ на позоръ постыдную ничтожность Пустоныхъ и Празднолюбовъ, утрату чести, долженствующей быть главнымъ отличіемъ благороднаго сословія, и пренебреженіе къ службѣ, составляющей главную его обязанность. Корень такого зла сатирикъ находитъ въ антинаціональномъ воспитаніи русскихъ бояръ, которое и преслѣдуется имъ нещадно. Въ комедіи «Безпечный», Легкосердъ винитъ отцовъ за недостойное поведеніе ихъ дѣтей:

Куда своихъ дѣтей свернули мы умы?
Дворянства должности въ ихъ сердцахъ истребили
И чужестранною лишь пустошью набили.
А что причиною прямою этихъ бѣдъ?
Обычай общій нашъ—брести боярамъ въ слѣдъ.
Они дѣтей своихъ пошлютъ въ заморскіе школы,—
И мы, не осмотрясь, богаты или голы,

(*) Отецъ Михаила Дмитріевича, бывшаго главнокомандующимъ нашими войсками въ Крымскую войну.

Своихъ туда же шлемъ: какъ будто бы у насъ
Наукъ и разума совсѣмъ исчезнуль гласъ.
Да ужъ добробъ они тамъ стали мудрецами;
А то противное: еще бѣдѣй умами.

Гораздо рѣзче и язвительнѣй осмѣиваются русскіе французы, подъ именемъ «невѣроятныхъ» (incroyables), въ «Посланіи къ кн. С. Н. Долгорукому» (*). Это—лучшее стихотвореніе кн. Горчакова, по энергическому пылу родственное тирадамъ Чацкаго, въ «Горѣ отъ ума». Другія сатиры его большею частію хранятся въ рукописи; изъ нихъ замѣчательна «Святки». Вообще кн. Горчаковъ печаталъ мало. Онъ былъ дилеттантомъ въ литературѣ, а не записнымъ словесникомъ. Нѣкоторые жалуются, что сочиненія его являлись въ свѣтъ безъ тщательной отдѣлки, на которую у автора не доставало ни времени, ни терпѣнія; мы, напротивъ, думаемъ, что они выиграли бы отъ того въ наружномъ изяществѣ, но проиграли бы въ оригинальности и внутренней силѣ. Какъ бы ни было, а современники отдавали справедливость уму, дарованіямъ и остротѣ кн. Горчакова. Въ шуточномъ произведеніи Воейкова: «Парнасскій адресъ-календарь», онъ титулованъ дѣйствительнымъ поэтомъ, экзекуторомъ при наказаніи сатирическимъ бичемъ разврата, ябеды и грабительства, и кавалеромъ лавроваго листа съ надписью: «за сатиры» (**).

Въ число «новыхъ неистовствъ вѣка» князь Горчаковъ включилъ и новыя литературныя явленія: реформу Карамзина, сентиментализмъ, размноженіе періодическихъ изданій, мѣщанскія драмы. Онъ смѣялся надъ ними остроумно, хотя и несправедливо. Нѣкоторые стихи его по этому предмету сдѣлались поговорками. Имъ изобрѣтено слово «коцебятина»; имъ же удачно противопоставлены журналы книгамъ:

Исполнить торопясь писательски желанья,
Всѣ въ ежемѣсячны пустилися изданья,
И наконецъ я зрю въ странѣ моей родной
Журналовъ тысячи, а книги ни одной.

Извѣстна также эпиграмма, сочиненная имъ на Карамзина, въ формѣ обращенія къ поклоннику послѣдняго:

Когда и отъ кого (скажи мнѣ безпристрастно)
Хвалить Карамзина помѣху ты встрѣчалъ?
Тебѣ самъ Буало въ наукѣ стихотворства,
Окончивъ первую пѣснь, на это право далъ (***).

Недовольство сатирика новымъ слогомъ и новымъ направленіемъ словесности нашей понятно. Онъ не могъ признать ихъ законности, потому что все его сочувствіе было безраздѣльно отдано такъ называемымъ классическимъ писателямъ временъ Людовика XIV и Людовика XV. Въ Вольтерѣ видѣлъ онъ образцоваго трагика, не имѣвшаго себѣ соперниковъ (****). А какъ Вольтеровы трагедіи служили органомъ религіозныхъ

(*) Ист. Христ. II, 172—173.

(**) Рус. Архивъ, 1866, № 5, стр. 761.

(***) Первая пѣснь Буало оканчивается стихомъ:

Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire.

(Библиогр. Записки М. Лонгинова, въ 5 № Соврем. на 1857 г.).

(****) Вліяніе Вольтера не ограничивалось кругомъ литературныхъ понятій. Есть извѣстіе, что князь Горчаковъ, въ молодости, перевелъ одну поэму съ французскаго, фривольнаго содержанія, въ которой были поэтическія мѣста. Мерзляковъ, прочитавъ ее одному пріятелю, бросилъ потомъ въ печь (Записки Н. С. Селивановскаго, въ Библ. Запискахъ 1858 г., № 17, стр. 518—519).

и политических мѣній, то и русскія піесы того же рода почти исключительно нравились Горчакову, который въ «Советѣ Пустону» (1793) говоритъ:

Старался ль ты себя на верхъ Парнасса взнестъ,
Пешивъ отъ свѣтлыхъ струй изъ тока Пнокрены,
Насъ тронуть бѣдствіемъ Семиры и Сорены?

Похвалы Соренѣ объясняются, конечно, не одною дружбою Горчакова къ ея автору (Николеву), но дидактизмомъ самой драмы, разсыпанными въ ней сентенціями о долгѣ вѣстителей и о злоупотребленіяхъ власти. Сатирикъ не могъ переварить того факта, что мѣщанскія драмы, освободившія насъ отъ «издревле чтимыхъ узъ», перебиваютъ дорогу у французской Мельпомены:

Къ законнымъ дѣтямъ дверь чувствительности скрыта:
Пѣтъ жалости къ бѣдамъ несчастна Пинолита,
Нль Ифигеніи, стеньящей отъ отца.

Въ Замѣткѣ на одинъ стихъ изъ Посланія къ кн. Долгорукому, авторъ презрительно отзывается объ англійской и нѣмецкой драматической поэзіи: «англичане, а болѣе нѣмцы смѣшати въ комедіяхъ глупостями выведенныхъ на сцену пошлыхъ дураковъ или сумасшедшихъ. Изобрѣтеніе сего способа, избавляющаго автора отъ трудной обязанности быть умнымъ, должно заслуживать отъ многихъ нынѣшнихъ писателей общую благодарность». Преслѣдуя въ новой драмѣ порчу вкуса, князь Горчаковъ осмѣивалъ русскихъ Стерновъ и «дамскихъ прозопінтовъ» за ихъ лжечувствительность и разстроенную фантазію. По образу мыслей, онъ былъ «бесѣдистъ», т. е. членъ Бесѣды любителей русскаго слова, и въ стихахъ обнаруживалъ тѣ самыя явленія общественной безнравственности, о которыхъ постоянно говорилъ Шишковъ въ своихъ рѣчахъ, критикахъ и разсужденіяхъ. Какъ Шишковъ, онъ ставитъ идеаломъ—доблестные примѣры отцовъ, «громъ прошедшей славы», а причиною уклоненій отъ идеала почитаетъ учителей-софистовъ, подрывающихъ уваженіе къ родству, священной власти и русскому имени. Съ одной стороны указывается имъ чувство народной гордости, безъ котораго невозможна героическая преданность отечеству, а съ другой чувство самости, себялюбія, которое способно производить только подлыя души и подлыя дѣла (*).

Прим. Нѣсколько стихотвореній кн. Горчакова помѣщены въ Другѣ просвѣщенія (1804—1806). Укажемъ главнѣйшія: «Стансы» (1804, №№ 5 и 10), «Письмо къ кн. С. Н. Д.» (Долгорукому) (ib. № 6), «Письмо къ М. А. Шишкову» (ib. № 8), «Ода спокойствію» (1805, № 11), «Письмо къ другу моему Н. П. Николеву» (1806, № 3).

Кромѣ Горчакова, и другіе члены «Бесѣды», какъ намъ извѣстно, не благоволили къ Карамзину. Въ числѣ таковыхъ находился С. Н. Маринъ (1775—1813), авторъ немногихъ сатиръ, написанныхъ въ подражаніе Буало. Одна изъ нихъ: «Посланіе къ М.... М....» (1811) (**), называетъ Карамзина «Ахалкинскимъ»:

Пуškai нанѣ Ахалкинъ стремится въ новыи путь (***)
И, вздохами свою наполня томну грудь,

(*) См. Истор. Христ. II, 174 и 175, отъ стиха:

О, сколько бѣ былъ еще благословенъ сей часъ...

(**) Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова, кн. 3.

(***) Новый путь Карамзина—занятія отечественною исторіей.

Опишетъ, свойства плакъ давъ Игорю и Кію,
И добренькихъ Славянъ и милую Россію.

Другая сатира: «Посланіе къ И. И. Дмитріеву» (1808), подъ тѣмъ же именемъ представляетъ не Карамзина, а его послѣдователей, чувствительныхъ стихотворцевъ— «плаксивыхъ Мирлифлеровъ», по выраженію кн. Горчакова. Кромѣ сатиръ, явившихся въ печати, извѣстны еще шуточные стихотворенія Марина, большею частию рукописныя, и такія же пародіи одъ Ломоносова и Державина. Особенную извѣстность имѣла пародія «Подражанія Юву», начинающаяся стихами:

О ты, что въ горести напрасно
На службу ропщешь офицеръ...

Сатиры М. В. Милонова (1792—1821) вообще ниже той извѣстности, которую онѣ доставили своему автору. Лучшими изъ нихъ справедливо почитались: «Къ Рубеллію» (1810) и «Отрывокъ изъ Луциліевой сатиры противъ его вѣка» (1810). Современники цѣнили въ молодомъ стихотворцѣ пылъ негодованія, силу укоризны и бойкій, стремительный стихъ, какъ вѣрное выраженіе гнѣвнаго чувства. Онъ и самъ видѣлъ въ себѣ «безстрашнаго обличителя дерзостныхъ пороковъ», для чего, кромѣ дарованія, нужно еще имѣть гражданское мужество. Особенно возмущали его душевная низость, пустая знатность рода, не украшаемая никакими личными заслугами, домогательство отличій презрительными способами. Все это очень почтенно и сочувственно; но жаль, что обличенія имѣютъ значеніе общихъ мѣсть, которыя легко выговаривать въ какое угодно время и въ какой угодно странѣ. То «образы безъ лицъ», и потому лицамъ невозможно находить въ себѣ сходства съ смутно представленными образами. Сатирикъ раздражается потокомъ грозныхъ словъ и обвиненій, а между тѣмъ виноватыхъ отыскать трудно, такъ какъ характеристика предметовъ слишкомъ обща. Кого, напримѣръ, слѣдуетъ разумѣть подъ Рубелліемъ? По преданію, Милоновъ метилъ въ Аракчеева, временщика при Александрѣ I, и чтобы замаскировать свою цѣль, прикрылъ свое имя именемъ Персія, между сатирами котораго нѣтъ ни одной, хотя сколько нибудь напоминающей русское стихотвореніе. Но если преданіе и вѣрно, то временщикъ имѣлъ право не принимать Рубеллія на свой счетъ и слѣдовательно избѣгнуть сатирической кары: ибо черты Рубеллія образуютъ общезвѣстную фізіогномію недостойныхъ вельможъ, а нѣкоторыя и не принадлежали тому, на кого была направлена сатира. О портретѣ, похожемъ на всѣхъ и каждаго, можно сказать, что онъ не похожъ ни на кого. Въ «Посланіи къ Фовицкому» (1818), Милоновъ нѣсколько открываетъ причину своего негодованія. Онъ сѣтуетъ на равнодушіе къ поэзіи въ согражданахъ, преданныхъ низкимъ цѣлямъ и мелкимъ дѣламъ, и поэтическій полетъ Державина называетъ даромъ великой Екатерины. Значить, онъ былъ недоволенъ настроеніемъ общественнаго духа, существовавшимъ въ его время порядкомъ дѣлъ. Но это недовольство всегда выражается неопредѣленно, такъ что и предметы его, и его особенности витаютъ въ какомъ-то туманѣ. Другія сатиры Милонова: «Къ Луказію» (1812), «Къ моему разсудку» (1817), «На женитьбу въ большомъ свѣтѣ» (1818) суть подражанія Буало. Растянутость ихъ мало вознаграждается остроуміемъ. Первыя двѣ, почти тождественнаго содержанія, осмѣиваютъ плохихъ писателей, преимущественно сторонниковъ славянофильства: Захарова (Мидасъ), Сладковского (Радковский), Станевича (Плакsevичъ), Грузинцева, С. Глинку... При тогдашнихъ отношеніяхъ послѣдователей Карамзина къ членамъ «Бесѣды», эти стихотворенія Ми-

лонова, конечно, вызывали похвалы, но въ исторіи литературы они теряютъ свое значеніе сравнительно съ «Чужимъ Толкомъ» (*).

Въ то время, какъ журналы и сборники образцовыхъ сочиненій охотно принимали все, выходившее изъ подъ пера Милонова, когда цѣлая книжка «Благонамѣреннаго» (**) была наполнена воспоминаніями о его жизни и авторской дѣятельности, при чемъ онъ сравнивался и съ Жуковскимъ и съ французскимъ поэтомъ Жильберомъ.... даже имени А. Н. Нахимова (1782—1815) не встрѣчается въ «Опытѣ Исторіи Русской Литературы» Греча (1822), хотя до выхода въ свѣтъ этой книги, и теперь еще не безполезной, сочиненія Нахимова имѣли уже три изданія (1815, 1816 и 1822). Не доказываетъ ли это, между прочимъ, что при распредѣленіи писателей по табели литературныхъ ранговъ обращалось большое вниманіе на предметы ихъ произведеній? Чѣмъ важнѣе былъ предметъ сочиненія, по своей природной сущности или общественному значенію, чѣмъ сильнѣе занималась имъ мысль образованной публики, тѣмъ скорѣе оно подкупало критику, способную при этомъ не замѣчать ни другихъ его достоинствъ, ни его недостатковъ. Пѣвецъ столичной жизни могъ рассчитывать на большее число слушателей, чѣмъ описатель провинціального быта. Кто изображалъ моря, озера, рѣки, тотъ сильнѣе привлекалъ глаза и чувство, нежели живописецъ какой-нибудь лужи. Извѣстнѣйшія сатиры Милонова имѣли своимъ предметомъ широкія водныя пространства: временщика-Рубеллія, вельможъ, Римъ; сатирамъ Нахимова досталось мелководье: подъячіе, Кутейкины, Мерзилкины (русскіе выродки, превратившіеся въ офранцузженныхъ гадинъ), Пурсоньяки (французы-выходцы и проиодохи, бѣжавшіе на родинѣ съ галеръ и водворившіеся въ Россіи на хлѣбное гувернерство) и т. п. Что эта мелочь въ сравненіи съ Рубелліемъ? и стоитъ ли она ювеналовскаго гнѣва? Нахимовъ и не думалъ посягать на лиру Пиндара, или на бичъ фурій. Онъ даже написалъ похвальную «Пѣснь лужѣ», находя въ ничтожномъ предметѣ законную причину его существованія. За то шутивыя сатиры его ясны и положительны, какъ нельзя лучше: нѣтъ въ нихъ общихъ мѣстъ или намековъ, остающихся для большинства читателей загадками. Конечно, ему легче было справляться съ низменными мѣстностями: онъ могъ ступать по грязному мѣсту не оглядываясь и даже не снимая сапоговъ. За то сочиненія его приобрѣли популярность въ обширной средѣ людей, образованіе которыхъ не отличалось высокимъ уровнемъ. Это доказывается, во-первыхъ, частыми ихъ изданіями (***); во-вторыхъ тѣмъ, что сатиры и эпиграммы Нахимова быстро огласились не только на его родинѣ—въ Малороссіи, но и между великоруссовъ. «Элегіо-сатиру» (1809) знали наизусть и приказные, въ ней осмѣянные, и школьники, забавлявшіеся ея содержаніемъ и формой. Авторъ пародировалъ въ ней высоко-лирическій тонъ:

Восплачь канцеляристъ, повытчикъ, секретарь,
Надсмотрщикъ возрыдай и вся приказна тварь!
Ланиты въ горести черпилами натрите
И въ перси перьями другъ друга поразите!

Источникъ горести приказной твари—въ ея разрушенномъ идеалѣ:

(*) Матеріалы для полнаго собранія сочиненій Милонова, собранные г. Лонгиновымъ, напеч. въ Русскомъ Архивѣ 1864, № 3 (стр. 334—344). Нѣсколько воспоминаній о Милоновѣ см. въ «Мелочахъ изъ запаса моей памяти» (М. Дмитріева) и въ «Московскомъ Университетскомъ пансіонѣ» (Н. Сущкова).

(**) 1821, №№ 23 и 24.

(***) Семь изданій съ 1815 по 1832.

О чинъ ассесорскій, только вождѣнный!
Ты убѣгаешь днесь, когда я, восхищенный,
Мнилъ обнимать тебя, какъ друга, какъ алатырь;
Быть можетъ—навсегда прости любезный чинъ.

«Элегія-сатира» была піекою кетати. Она сочинена въ самый годъ указа объ экзаменахъ на гражданскіе чины (коллежскаго ассесора и статскаго совѣтника) для лицъ, не получившихъ университетскаго образованія. Цѣль указа состояла въ уничтоженіи «удобства достигать чиновъ не заслугами и познаніями, а однимъ пребываніемъ на службѣ и численіемъ лѣтъ ея» (*). Испытанія производились изъ правовѣдѣнія, наукъ словесныхъ, историческихъ и физико-математическихъ. По русскому языку требовалось знаніе его грамматики и умѣнье правильно сочинять на немъ. Чтобы доставить способъ состоящимъ на службѣ лицамъ пріобрѣсти требуемыя свѣдѣнія, въ университетскихъ городахъ ежегодно открывались курсы вышеозначенныхъ наукъ на лѣтніе мѣсяцы (съ мая по октябрь). Нахимова пригласили преподавать грамматику. Подъ вліяніемъ юмора и сатирической настроенности открылъ онъ въ Харьковѣ свои уроки чтеніемъ стиховъ: «Предисловіе къ Россійской Грамматикѣ» (1810):

Блаженъ, кто въ жизни сей съ указкой межъ перстовъ,
Прошедъ сквозь *юс* и *пси*, достигнулъ до складовъ,
И тамо въ *бра* и *дра* (**) прилежно углублялся, и пр.

Онъ заставлялъ однихъ слушателей писать на доскѣ «Похвалу гусиному перу», передъ которымъ подъячіе, въ знакъ благодарности, должны преклонять свою главу (***), или басню «Дьякъ и Нищій» (****), другихъ—склонять имена «сучекъ» и «крючекъ», или спрягать глаголы «братъ» и «драть». Можно замѣтить, что со стороны молодого учителя, недавно сошедшаго съ студентскаго скамьи, было не деликатно издѣваться въ лицо надъ своими земляками, между которыми находились, безъ сомнѣнія, люди почтенныхъ лѣтъ и уважаемыхъ качествъ. Надобно было помнить, что указъ 1809 г. прекращалъ имъ всякое движеніе по службѣ, такъ какъ въ извѣстные годы тяжело учиться и трудно удовлетворять обширной программѣ испытанія. Съ этой стороны Карамзинъ не одобрялъ исключительности указа и, главное, его обратнаго дѣйствія. Можетъ статься, Нахимовъ ясно представлялъ себѣ всю пользу постановленія, которое, рано или поздно, хотя и принудительною мѣрою, наполнитъ наши университеты слушателями и быстро двинетъ высшее образованіе юношества, которое, въ особенности изъ дворянскаго сословія, рѣдко шло далѣе корпусовъ и пансіоновъ. Указъ 1809 г. «гласилъ о просвѣщеніи», а просвѣщеніе угрожало конечною гибелью взяточничеству и ябедѣ. Подобно Нарѣжному, Нахимовъ смотрѣлъ на ябеду, какъ на «исчадіе ада», и въ Малороссіи видѣлъ примѣры ея опустошительныхъ дѣйствій. Можно ли было ему не радоваться, что, наконецъ, пущено въ ходъ наилучшее средство противъ малограмотности, грубаго образа жизни и кривосудія дьяковъ и подъячихъ? И вотъ онъ, не хуже Сумарокова, пользуется каждымъ случаемъ задѣть «крапивное сѣмя»: въ стихотвореніи «Звѣринецъ», судья-медвѣдь носитъ имя Ворворворъ, риомующее слову «живодеръ»; въ эпиграммѣ: «Чортъ и смерть», курносая дивится, какъ можно

(*) Сборникъ постановленій по Министерству Народнаго Просвѣщенія. Томъ I (1864), стр. 510—517.

(**) Намекъ на глаголы: *братъ* и *драть*.

(***). Сочиненія Нахимова, изд. Смирдина (1849), стр. 96.

(****) Этой басни нѣтъ въ собраніи сочиненій Нахимова.

искать души въ секретарѣ; «Сказаніе о Оемидѣ и объ иноплеменныхъ приказныхъ» повѣству-
еть, что чувствительное сердце Юпитеровскаго (на планетѣ Юпитерѣ) дьяка, какъ
натуральная рѣдкость, или игра природы, было отослано Оемидой въ кунсткамеру. Другимъ,
ненавистнымъ Нахимову предметомъ были французы вообще, французскіе гувернеры въ
частности и обученные ими русскіе. Первыхъ изобразилъ онъ въ статьѣ: «Словесныя
обезьяны»; на вторыхъ написалъ комическую поэму «Пурсониада», а третьимъ доста-
лось въ «Мерзилкинѣ». Сатира во всѣхъ этихъ сочиненіяхъ слишкомъ откровенна и
переходитъ въ брань. Какъ видно, авторъ хотѣлъ лучше быть грубымъ, нежели скры-
вать свою антипатію, которая объясняется господствовавшею въ то время галломаніей,
а потомъ пробужденіемъ народнаго чувства въ войнахъ съ Наполеономъ.

§ 30. Чтобы поколебать въ нашей литературѣ исключительное господство псевдоклас-
сцизма, необходимо было обратиться къ одному изъ самыхъ дѣйствительныхъ для того
средствъ—къ знакомству съ другими областями всемірной поэзіи. Частію это и было
дѣлано, какъ мы видѣли, постановкою мѣщанскихъ драмъ на сцену. Но важнѣйшая
заслуга по этому предмету совершена Жуковскимъ: художественными переводами образ-
цовыхъ твореній онъ раздвинулъ передъ нами поэтическій горизонтъ, который дотолѣ
ограничивался корифеями французскаго классицизма, какъ недостижимыми идеалами
словеснаго искусства, по ученію теоретиковъ.

Василій Андреевичъ Жуковскій (1783—1852) (*), сынъ Аоанасія Ивановича Бунина,
родился въ имѣніи послѣдняго—селѣ Мишенскомъ, тульской губерніи, въ трехъ верстахъ
отъ Бѣлева. Мать его, Елизавета Дементьевна, была крещенная плѣнная турчанка (**).
Фамильное имя получилъ онъ отъ своего крестнаго отца, Андрея Григорьевича Жуков-
скаго. По смерти Бунина (1790), онъ остался на попеченіи вдовы его, любившей его
какъ роднаго сына, и своей матери, женщины хотя безъ всякаго образованія, но отлич-
ныхъ нравственныхъ качествъ. Изъ четырехъ дочерей Бунина, сестеръ Жуковского,
двѣ особенно замѣчательны своими къ нему отношеніями: Варвара Аоанасьевна,
вышедшая замужъ за Петра Николаевича Юшкова (предсѣдателя одной палаты въ
Тулѣ), и Катерина Аоанасьевна, супруга Андрея Ивановича Протасова, роднаго
брата первой жены Карамзина. Юшкова, крестная мать Жуковского, умерла въ 1797 г.
и на ея-то кончину онъ написалъ прозаическую піесу «Мысли при гробницѣ»—первое
сочиненіе, которымъ началась его литературная дѣятельность (***). Двѣ ея дочери,
Анна Петровна Зонтагъ и Авдотья Петровна Елагина (по первому замужеству Кирѣев-
ская), приобрѣли почтенную извѣстность: одна сочиненіемъ многихъ, достойно уважае-
мыхъ, книгъ для дѣтскаго чтенія; другая рѣдкою между женщинами образованностью
и отличнымъ воспитаніемъ своихъ сыновей, Ивана Васильевича и Петра Васильевича,
занимающихъ почетное мѣсто въ исторіи русскаго просвѣщенія и литературы. У Прота-

(*) Время рожденія Жуковского (29 января 1783) указано имъ самимъ въ письмѣ къ А. П. Зон-
таго, отъ 29 января 1833: «Нынче мнѣ стукнуло 49 лѣтъ, и пошелъ пятидесятый годъ (Живо-
писный Сборникъ, изд. Плюшара 1853, статья П. А. Плетнева: «В. А. Жуковскій», стр. 376).

(**) Въ турецкія войны при Екатеринѣ II, нѣкоторые изъ крестьянъ Бунина отирались къ
арміи маркитантами. Однажды, прощаясь съ нимъ, они спросили его: что тебѣ привести изъ
похода? Бунинъ, шутя, отвѣчалъ: привезите турчаночку. Крестьяне, не шутя, исполнили по сло-
вамъ своего господина.—За многія свѣдѣнія о Жуковскомъ я обязанъ искреннею благодарностью
П. И. Бартеневу, издателю Русскаго Архива.

(***) Оно нап. въ 16 ч. «Полезнаго и пріятнаго препровожденія времени» (1797). Первые стихи
Жуковского: «Майское утро»—тамъ же.

совой были двѣ дочери: Марья Андреевна, впоследствии супруга дерптскаго профессора Мойеръ, и Александра Андреевна (крестница Жуковского), вышедшая замужъ за известнаго литератора А. О. Воейкова. Такъ какъ, говорить П. А. Плетневъ, сестры Жуковского были гораздо старше его, то ихъ дочери, а его племянницы, сдѣлались его совоспитанницами. Онъ сталъ общимъ любимцемъ многочисленной семьи, по своему привлекательному нраву и замѣчательнымъ, быстро развивавшимся способностямъ. Родственная среда, состоявшая изъ однихъ женщинъ, не могла остаться безъ вліянія на нравственную организацію мальчика: она сообщила ему набожность, благородство, нѣжность, отвращеніе отъ всего грубаго и заносчиваго (*). Характеръ семейной обстановки съ одинаковою силой подѣйствовалъ какъ на жизнь его, такъ и на выраженіе жизни—поэзію.

Заботы о начальномъ воспитаніи Жуковского приняла на себя Юшкова, женщина образованная, бывшая въ дружбѣ съ А. Т. Болотовымъ, авторомъ известныхъ записокъ. Сначала поручили его взятому въ домъ учителю-нѣмцу, а потомъ отдали въ пансіонъ Роде, въ Тулѣ. По закрытіи пансіона, онъ пользовался уроками гувернантки, жившей у Юшковой, и русскаго учителя. Затѣмъ помѣстили его въ тульское народное училище, гдѣ старшимъ учителемъ натуральной исторіи, технологіи, статистики и руссійской словесности былъ Покровский, докторъ философіи, писавшій историческія и философскія статьи въ журналѣ: «Пріятное и полезное препровожденіе времени», подъ именемъ «философа горы Алаунской (живущаго при подошвѣ горы Утлы)». Покровский не угадалъ наклонностей будущаго поэта: отъ мальчика, одареннаго живымъ воображеніемъ и чувствительностью и уже дома сочинявшаго драмы, онъ требовалъ занятій математикою, къ которой тотъ не имѣлъ, быть можетъ, способности и которая, всего вѣроятнѣе, была плохо преподаваема. Онъ даже хотѣлъ исключить Жуковского изъ школы, что и заставило родныхъ послѣдняго взять его къ себѣ и записать въ рязанскій пѣхотный полкъ, стоявшій въ Кексгольмѣ (**). Жуковский отправился туда въ 1796 г., но смерть Императрицы Екатерины измѣнила его судьбу: онъ воротился изъ Петербурга въ Тулу. Въ началѣ 1797 г. поступилъ въ Благородный пансіонъ московскаго университета, гдѣ пробылъ до конца 1800 г. Трехлѣтній курсъ его ученія былъ вмѣстѣ временемъ его первоначальнаго авторства, на которое возбуждительно дѣйствовало «собраніе благородныхъ воспитанниковъ университетскаго пансіона», основанное по примѣру «собранія университетскихъ питомцевъ». Первые опыты Жуковского въ стихахъ и прозѣ печатались въ «Полезномъ и пріятномъ препровожденіи времени», «Ипокрентѣ» и «Утренней Зарѣ», сборникѣ трудовъ пансіонскаго литературнаго общества (***). Въ пансіонѣ завязалъ онъ дружбу съ нѣкоторыми изъ своихъ товарищей, особенно съ Андреемъ Тургеневымъ, старшимъ сыномъ И. П. Тургенева, директора московскаго университета. Тургеневъ, умершій вскорѣ по выходѣ изъ пансіона, былъ для Жуковского тѣмъ же, чѣмъ Петровъ былъ для Карамзина. Какъ искренно привязывался поэтъ къ благороднымъ личностямъ, спутникамъ его благородной жизни, какъ свято «хранилъ нетлѣнность братскихъ узъ», доказываютъ задушевные

(*) В. А. Жуковский (Жив. Сборникъ, 1853).

(**) Майоръ этого полка, Посниковъ, жившій въ постоянномъ отпуску въ Тулѣ, взялся хлопотать о Жуковскомъ, который, по старинному обычаю, на второмъ году отъ рожденія былъ записанъ въ астраханскій гусарскій полкъ сержантомъ.

(***) Эти опыты указаны во II т. моей Ист. Христ., стр. 340—341, прим. 2.

сѣтованія о ранней кончинѣ друга (*). Если Жуковскій вынесъ изъ пансіона немного научныхъ свѣдѣній, то онъ несомнѣнно одолженъ мѣсту своего воспитанія собственно-литературнымъ образованіемъ, развитіемъ любви и вкуса къ словесности, и знаніемъ новыхъ языковъ, открывшимъ ему свободный доступъ къ поэзіи англичанъ и нѣмцевъ.

Въ 1801 г. основано было «новое дружеское литературное общество», въ которомъ, вмѣстѣ съ Жуковскимъ, участвовали двое братьевъ Тургеневыхъ (Андрей и Александръ), Воейковъ и Мерзляковъ, и уставомъ котораго члены были обязаны образовывать въ себѣ, «въ честь и славу добродѣтели и истины», талантѣ—трогать и убѣждать другихъ произведеніями слова. На службу Жуковскій поступилъ въ главную соляную контору, гдѣ пробылъ до 1802 г. Вышедъ въ отставку, онъ оставилъ Москву и переехалъ на родину, неотразимо привлекавшую его воспоминаніями дѣтства и любовью къ роднымъ, у которыхъ онъ, учась въ пансіонѣ, каждое лѣто проводилъ вакаціи. Здѣсь въ Мишенскомъ, доставшемся, по смерти Бунина, семейству Юшковой, написалъ онъ элегію: «Сельское кладбище» (1802), которую назвалъ своимъ «первымъ напечатаннымъ стихотвореніемъ», вѣроятно въ томъ смыслѣ, что эта піеса была первымъ произведеніемъ, давшимъ литературную извѣстность ея автору и удостоеннымъ занять первое мѣсто въ собраніи его сочиненій. Въ Бѣлевѣ поселилась другая сестра поэта, Протасова съ дочерьми; здѣсь же жили мать его, для которой онъ построилъ домъ, и вдова Бунина: обѣ онѣ умерли въ одинъ и тотъ же годъ (1811). Такимъ образомъ, Жуковскій сталъ «мирнымъ жителемъ Бѣлева». Въ концѣ 1805 г. писалъ онъ къ сосѣду своему по деревнѣ, О. Г. Вендриху: «Я переселился въ Бѣлевъ, въ свой домъ; вся наша фамилія теперь живетъ у меня, слѣдовательно я не могу пожаловаться, чтобы вокругъ меня было пусто» (**). Мы обстоятельно указываемъ семейную обстановку Жуковского потому, что она, находясь въ тѣсной связи съ его жизнію, соощала, какъ увидимъ, и живое содержаніе его поэзіи.

На первыхъ порахъ своей литературной дѣятельности, Жуковскій поставленъ былъ въ необходимость трудиться надъ переводами, по заказу книгопродавцевъ: онъ перевелъ повѣсть изъ Коцебу «Мальчикъ у ручья» (1801) и «Донъ-Кихота» (1815) (***). Въ 1808 г. онъ принялъ на себя завѣдываніе Вѣстникомъ Европы, который и издавалъ три года: первые два (1808 и 1809) при сотрудничествѣ Каченовскаго, а послѣдній (1810) въ соредакторствѣ съ нимъ. Новый издатель умѣлъ оживить журналъ, но не воротилъ ему того значенія, какое онъ имѣлъ въ рукахъ своего основателя. Отдѣлъ «изящной словесности», дѣйствительно, вышелъ лучше; но цѣль, поставленная Карамзинымъ—знакомить русскихъ читателей съ Европою, успѣшнѣе достигалась въ первое двухлѣтіе «Вѣстника». Главный интересъ журнала заключался въ трудахъ самого Жуковского, которыя относятся къ четыремъ отдѣламъ: стихотвореніямъ, повѣстямъ и другимъ статьямъ для «легкаго чтенія», разсужденіямъ о разныхъ предметахъ, преимущественно о словесности, и критикѣ нѣкоторыхъ произведеній русской литературы. Изъ стихотвореній самыми замѣчательными піесами были: «Людмила» (передѣлка Бюргеровой Леноры на русскій ладъ), Кассандра (изъ Шиллера), Тоска по миломъ (изъ него же), Моя богиня (изъ Гете), къ Нинѣ, къ Филалету и пісня (Мой другъ, хранитель, ангелъ мой). Въ «Людмилѣ», прелесть гармоническихъ стиховъ и новостъ поэтического вида

(*) Ист. Христ. II, 310—312.

(**) Жуковскій и романтизмъ, М. Достоевскаго (Пантеонъ, 1852, книжка 6, стр. 33—35).

(***) См. выше, стр. 171 и 176.

(баллады) произвели сильное впечатлѣніе на публику, подобное тому, какое, за пятнадцать лѣтъ, произвелъ Карамзинъ «Бѣдною Лизой». Въ подражаніе послѣдней Жуковский написалъ «Марьину рошу», дѣйствующія лица которой, Марія и Уладъ, представляютъ образцы мечтательной настроенности. Разсужденіе: «Кто истинно добрый и счастливый человекъ», излагаетъ мысли автора о существенныхъ благахъ жизни, знакомитъ съ его идеальными стремленіями. Двѣ критическія статьи: «О баснѣ и басняхъ Крылова», «О сатирѣ и сатирахъ Кантемира», самыми заглавіями показываютъ методу литературныхъ сужденій Жуковского, состоящую въ нисхожденіи отъ общаго къ частному, что согласно съ сущностью и требованіями критики. Еще не приступая къ сочиненію, онъ предварительно излагалъ теорію рода, къ которому это сочиненіе относится. За изложеніемъ началъ слѣдовала исторія словесныхъ произведеній, въ которыхъ, при всемъ разнообразіи, обнаруживается общность родовыхъ признаковъ. Сказавъ, что такое сатира вообще, критикъ предложилъ характеристику Горация и Ювенала, какъ образцовыхъ сатириковъ. Равнымъ образомъ, при отчетѣ о трагедіи Грузинцева: Электра и Орестъ, онъ сравнилъ ее съ пьесами другихъ трагиковъ, трудившихся надъ тѣмъ же сюжетомъ: Эсхила, Софокла, Эврипида, Кребильона, Вольтера и Альфіери (*). Сочетаніе теоріи и исторіи при разборѣ словесныхъ произведеній было для того времени новымъ приемомъ, новымъ шагомъ въ исторіи русской критики. Это — начало теоретико-сравнительной методы, требующей знанія и правилъ искусства, и превосходнѣйшихъ его твореній. Образчикъ ея данъ Карамзинымъ, въ разборѣ «Душеньки», но только частію. У Жуковского она вышла полнѣе и отчетливѣе. Кромѣ оригинальныхъ статей, въ Вѣстникѣ Европы 1808—1810 гг. много переводовъ Жуковского изъ французскихъ и нѣмецкихъ писателей: Руссо, Шатобриана, Шанфора, Жанлисъ, Коцебу, Морица, Виланда, Энгеля, Мюллера и другихъ. При выборѣ подлинниковъ онъ преимущественно руководствовался ихъ отношеніями къ собственнымъ идеямъ и чувствамъ.

Передавъ Вѣстникъ Европы Каченовскому, Жуковский снова поселился въ Бѣлевѣ, продолжая журнальную работу, «необходимую для кармана». По той же необходимости издано имъ «Собраніе русскихъ стихотвореній» (5 частей 1810—1811; 6-ая—1815). Само собою разумѣется, что онъ не отказывался и «отъ набѣговъ на парнасскую область»: первая часть повѣсти въ стихахъ «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ» явилась въ 1811 г. Но мысли Жуковского въ это время были направлены къ другому, существенному для него дѣлу. Сознавая недостатокъ своего образованія, онъ твердо рѣшился взять чтеніемъ то, чего не дала ему школа. Письмо его къ А. И. Тургеневу (1810) подробно объясняетъ намѣреніе поэта: «Между нами будь сказано, я совершенный невѣжда въ исторіи... Хочу получить объ ней хорошее понятіе; не быть въ ней ученымъ, ибо я не располагаюсь писать исторію, но приобрѣсть философскій взглядъ на происшествія въ связи. Исторія изъ всѣхъ наукъ самая важнѣйшая; важнѣе философіи, ибо въ ней заключена лучшая философія, т. е. практическая, слѣдовательно полезная. Для литератора и поэта исторія необходимѣе всякой другой науки: она возвышаетъ душу, расширяетъ понятіе и предохраняетъ отъ излишней мечтательности, обращая умъ на существенное» (**). Жуковский хотѣлъ прочесть всѣхъ тогда извѣстныхъ классиковъ-историковъ, начавъ Гаттереромъ и Гереномъ.

(*) В. Евр. 1811, № 7.

(**) Письма Жуковского къ А. И. Тургеневу (Рус. Архивъ 1867, №№ 5 и 6, стр. 790—799).

Сторонним побужденіемъ къ труду служили письма нѣмецкаго историка Іоанна Мюллера къ Бонстеттену, излагавшія важность историческихъ занятій (*). Исторія русская составляла предметъ особаго изученія, необходимаго для задуманной Жуковскимъ поэмы «Владиміръ» (**): «тутъ ужъ нечего думать о классикахъ, а надобно добираться самому до источниковъ... Владиміръ будетъ моимъ фаросомъ». Путеводцемъ по историческому лабиринту былъ выбранъ А. Н. Тургеневъ, оказывавшій въ то же время пособіе и нашему исторіографу. Кромѣ исторіи всемірной, какъ приготовленія къ русской и къ классикамъ, Жуковскій началъ изучать латинскій языкъ, а за тѣмъ думалъ приступить къ греческому: «Три года сряду будутъ посвящены труду *приготовительному*, необходимому, тяжелому, но улаждаемому высокою мыслию быть прямо тѣмъ, что должно. Авторство почитаю службою отечеству, въ которой надобно быть или отличнымъ, или презрѣннымъ: промежутка нѣтъ. Но съ тѣми свѣдѣніями, которыя имѣю теперь, нельзя надѣяться достигнуть до перваго. И такъ лучше поздно, нежели никогда». Таковъ былъ планъ самоученія, начертанный двадцати-семилѣтнимъ поэтомъ, который, не успокоиваясь авторскою извѣстностью, сѣтовалъ на тѣсноту своего, исключительно-литературнаго образованія. Если обстоятельства и не дозволили ему цровести трехъ лѣтъ сряду въ предположенныхъ занятіяхъ и выучиться древнимъ языкамъ, то нѣтъ сомнѣнія, что онъ прочелъ много историческихъ сочиненій и познакомился, конечно помощію переводовъ, съ образцами древне-классической поэзіи. Начи-танность его доказывается и письмами къ разнымъ лицамъ (***) и дальнѣйшими его произведеніями.

Война 1812 г. прервала уединенный трудъ Жуковскаго. Онъ отправился къ арміи и вступилъ въ московское ополченіе поручикомъ. Состоя при дежурствѣ главнокомандующаго Кутузова-Смоленскаго, онъ, вмѣстѣ съ другими волонтерами, находился подъ Бородинымъ въ строю и за отличіе былъ награжденъ чиномъ штабсъ-капитана и орденомъ св. Анны 2-ой степени. Передъ сраженіемъ при Тарутинѣ написалъ «Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ» — патріотическое стихотвореніе, сдѣлавшее имя автора извѣстнымъ во всей Россіи. Изъ подъ Тарутина онъ временно пріѣзжалъ въ Муратово, имѣніе Протасовой (въ 30 верстахъ отъ Орла), а изъ Вильны вернулся сюда же въ самомъ началѣ 1813 г. и оставался до половины 1814-го; вторую же половину прожилъ въ Долбицѣ, родовомъ имѣніи Кирѣевскихъ (калужской губерніи, въ 7 верстахъ отъ Муратова), гдѣ написалъ нѣсколько стихотвореній (****). Все, отъ чего война оторвала поэта, было возвращено ему снова: «сладость мира, отчій домъ, кругъ друзей, уединенный трудъ». Въ 1813 г. напечатана баллада Свѣтлана, написанная раньше, а къ 1814-му относится «Посланіе Императору Александру», обратившее на автора особое вниманіе Императрицы Маріи Осодоровны, которая еще прежде того, выслушавъ чтеніе «Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ», приглашала его въ Петербургъ. Но «другъ мирныхъ селъ» предпочиталъ «невѣдомую стезю» широкимъ, заманчивымъ для многихъ путямъ свѣта. Онъ не только не добивался близости ко двору, замѣчаетъ кн. Вяземскій, но долго и довольно настойчиво отъ нея уклонялся.

(*) Часть пхъ переведена Жуковскимъ (В. Евр. 1810, № 16, и 1811, № 6).

(**) Это памѣреніе осталось неисполненнымъ.

(***) Особенно замѣчательны въ этомъ отношеніи письма къ А. О. Фоль-деръ-Бриггену (1845—1849). Рус. Архивъ 1867, №№ 5 и 6.

(****) Долбицскія стихотворенія (Рус. Архивъ 1864, № 10).

Только особенное возмущение въ ровномъ потокѣ жизни могло привести уединеннаго пѣвца именно въ ту сторону, которая и въ мечтахъ ему не представлялась. Въ концѣ 1813 г., А. О. Воейковъ посѣтилъ автора, жившаго въ Муратовѣ (*). Онъ умѣлъ очень понравиться Протасовой и женился на ея дочери, Александрѣ Андреевнѣ. Когда ему выхлопотали каедрѣ русской словесности въ дерптскомъ университетѣ, и семейство Протасовыхъ переселилось съ нимъ въ Дерптъ, Жуковскому не для чего было оставаться въ опустѣвшемъ, столь дорогомъ ему пріютѣ: онъ также отправился за родными и жилъ съ ними почти безвыѣздно, до начала 1817 г. Въ университетскомъ кругу онъ познакомился съ Эверсомъ (**), представителемъ исторической науки, и самъ принялся за прерванныя занятія исторіей. Между тѣмъ мысль о поэмѣ не была имъ оставлена: въ половинѣ 1816 г. онъ думалъ сдѣлать путешествіе въ Кіевъ и Крымъ, нужное, какъ онъ говорилъ, для «Владимира». Того же года началъ заботиться о собраніи русскихъ сказокъ и преданій, по любви къ нимъ съ издѣтства. Для этого поручилъ онъ своимъ племянницамъ, остававшимся въ Бѣлевѣ, Зонтагъ и Кирѣевской, записывать и пересылать ему розказни деревенскихъ расказчиковъ, намѣреваясь послѣ привести собранные матеріалы въ порядокъ. На поэзію національную, писалъ онъ имъ, никто не обращаетъ вниманія: въ сказкахъ заключаются народныя мнѣнія, суевѣрныя преданія даютъ понятіе о нравахъ и степени просвѣщенія старины (***). Стараніями Тургенева, первое изданіе стихотвореній Жуковского (2 ч., 1815—1816) было, чрезъ князя А. Н. Голицына, поднесено Государю, который назначилъ автору пенсію въ 4000 руб. Эта награда заставила его смотрѣть на свои дальнѣйшіе труды, какъ на святую обязанность передъ трономъ и отечествомъ: «слава достойная, писалъ онъ, есть для меня теперь тоже, что благодарность». Въ 1817 г. была издана баллада Вадимъ (вторая часть повѣсти Двѣнадцать спящихъ дѣвъ). Того же года, съ замужествомъ старшей дочери Протасовой, наступилъ второй, петербургскій, періодъ жизни Жуковского. «Свадьба кончена», извѣщалъ онъ Тургенева, «и душа совсѣмъ утихла».

Лѣтомъ 1815 г. Жуковскій былъ представленъ Императрицѣ Маріи Оеодоровнѣ С. С. Уваровымъ (****). Друзьямъ давно хотѣлось перетянуть его въ Петербургъ; но прежде чѣмъ уступить ихъ убѣжденіямъ, онъ выговаривалъ себѣ извѣстныя условія. Не столько переменна мѣста, сколько переменна образа жизни тревожила его, а послѣдней невозможно было избѣжать, водворясь въ столицѣ. Вотъ почему онъ и желалъ пріѣзжать въ Петербургъ лишь на время. «Чтобы сдѣлать для меня то, что мнѣ надобно», писалъ онъ Тургеневу (4 августа 1815), «вы должны имѣть настоящее понятіе о томъ, что мнѣ надобно. Боюсь я этихъ *grands projets* (*****). Могутъ составить себѣ за меня какой-нибудь планъ моей жизни, да и убьютъ все... Тебѣ, кажется, не нужно имѣть комментарія на то, что мнѣ надобно. Независимость—да и только. Способъ писать, не заботясь о завтрашнемъ днѣ. Что, и гдѣ, и когда писать, мнѣ на волю. Я не буду жильцомъ петербургскимъ; но каждый годъ буду въ Петербургѣ непременно... Если писать сдѣлается для меня обязанностію непременно, то сказываю

(*) См. Посланіе къ Воейкову (В. Евр. 1814, № 6).

(**) Тамъ Эверсъ мнѣ на братство руку далъ (Старцу Эверсу 1815).

(***) Письма Ж—го къ роднымъ въ Бѣлевѣ (Рус. Архивъ 1864, № 4, стр. 468—469).

(****) Разсказъ о представленіи въ письмѣ къ роднымъ (Рус. Арх. 1863, стр. 1297—1300).

(*****). Слова «*grands projets*» показываютъ намѣреніе друзей Жуковского приблизить его ко Двору.

напередъ, что написано ничего не будетъ» (*). Жуковскій испытывалъ тоже расположеніе духа, въ какомъ находился Карамзинъ, переселясь изъ Москвы въ Петербургъ. Но Карамзинъ оставилъ Москву вмѣстѣ съ семействомъ: все дорогое было при немъ; тогда какъ Жуковскій чѣмъ больше близился къ Петербургу, тѣмъ сильнѣе чувствовалъ свое одиночество, тѣмъ окончательнѣе терялъ надежду на независимую жизнь «подъ сѣнію родительскаго крова». Недовольство настоящимъ и сожалѣніе о прошломъ выражены въ письмѣ къ Зонтагъ (осенью 1815 г.): «Мое *теперь* хуже прежняго. Здѣшняя жизнь (**) мнѣ тяжела, и я не знаю, когда отсюда вырвусь. Ваше *одно и тоже* кажется мнѣ прекраснымъ положеніемъ; работать безъ всякаго разсѣянія, въ кругу своихъ, отдѣляясь отъ прошедшаго и будущаго—вотъ чего мнѣ хочется.... Или все, меня окружающее, ничтожно; или я самъ ничто, потому что у меня ни къ чему не лежитъ сердце, и рука не поднимается взяться за перо, чтобы описывать то, что мнѣ какъ чужое. И воображеніе поблѣднѣло. Поэзія отворотилась.... Я здѣсь живу очень уединенно; никого кромѣ своихъ немногихъ не вижу, и, не смотря на это, все время проскакиваетъ между пальцевъ. И этой немногой разсѣянности для меня слишкомъ много. Прибавьте къ ней какую-то неспособность заниматься, которая меня давитъ и отъ которой не могу отдѣлаться. Жестокая сухость залѣзла въ мою душу:

О роши, о друзья, когда увижу васъ! (***).

Еще откровеннѣе и энергичнѣе высказался онъ въ другомъ письмѣ къ тому же лицу: «О Петербургъ! проклятый Петербургъ, съ своими мелкими, убійственными разсѣянiями! Здѣсь право нельзя имѣть души. Здѣшняя жизнь давитъ меня и душитъ. Радъ бы бросить и убѣжать къ вамъ, чтобы приняться за доброе настоящее, котораго у меня здѣсь цѣтъ и быть не можетъ. Если бы себя разбирать и вспоминать все, что здѣсь со мною было, то я увѣренъ, что не найду ни одного чувства, ни одной мысли, которая бы оставила слѣдъ въ моемъ сердцѣ. Нѣтъ никакого занятія! Сухое настоящее лишаетъ способности чего нибудь надѣяться въ будущемъ, а непріятное, не оживленное никакою привязанностью разсѣянiе самымъ тяжелымъ образомъ отвлекаетъ насъ отъ всякаго воспоминанія. Оно не лечитъ, а только даетъ пріемъ усыпительнаго опіума, производящаго тяжелый сонъ, нарушаемый неясными и непріятными сновидѣніями (****).

Отъ этихъ жалобъ, порожденныхъ не столько мыслию о предстоящей жизни въ Петербургѣ, сколько воспоминаніемъ жизни прошлой, Жуковскій былъ отвлеченъ своими обязанностями при дворѣ. Придворная жизнь его началась еще съ того времени, какъ Императрица Марія Федоровна опредѣлила его къ себѣ лекторомъ (чтецомъ). Въ 1817 г. онъ былъ избранъ въ преподаватели русскаго языка великой княгинѣ (впослѣдствіи Императрицѣ) Александрѣ Федоровнѣ. Это заставило его заняться изученіемъ грамматики роднаго слова, которымъ на практикѣ онъ уже владѣлъ художнически. Въ 1818 г., когда дворъ находился въ Москвѣ, Жуковскій, для своей Августѣйшей слушательницы, переводилъ изъ первоклассныхъ нѣмецкихъ поэтовъ стихотворенія, которыя она знала наизусть. Переводы, вмѣстѣ съ подлинниками (*texte en regard*), печатались ежемѣсячно небольшими книжечками, подъ названіемъ «Для немногихъ»

(*) Подлинныя черты изъ жизни Ж-го (Рус. Арх. 1864, стр. 453—457).

(**) Письмо изъ Петербурга, гдѣ Жуковскій пробылъ нѣсколько времени, проѣздомъ въ Дерптъ, и куда временами пріѣзжалъ изъ Дерпта.

(***) Подлин. черты, стр. 458—464.

(****) Ib. стр. 465.

(Für Wenige), такъ какъ онѣ не поступали въ продажу, а раздавались немногимъ лицамъ (*). Всѣхъ книжекъ вышло шесть (съ января по июль). Въ послѣдней напечатанъ прологъ изъ Орлеанской Дѣвы. Однимъ изъ самыхъ производительныхъ годовъ для поэзіи Жуковского былъ 1821-ый. Въ теченіи его явились переводы Орлеанской Дѣвы (Шиллера), Шильонскаго узника (Байрона), Пери и Ангела, изъ повѣсти Мура: Лалла-Рукъ. Въ свободные отъ обязанности мѣсяцы, Жуковский ежегодно ѣздилъ въ Дерптъ, на поэтическій отдыхъ среди родныхъ, къ которымъ съ дѣтскихъ лѣтъ и во всю жизнь былъ привязанъ самыми тѣсными узами дружбы и любви. Съ 1820 г. онъ жилъ у Воейкова, который, оставивъ кафедру, перешелъ на службу въ Петербургъ. Смерть старшей его племянницы (М. А. Мойеръ) поразила его душу глубокою скорбію. По отзыву одного современника, онъ былъ «блѣденъ, какъ мертвецъ», воротясь изъ Дерпта послѣ похоронъ (1823). «Милый другъ», писалъ онъ Н. Н. Козлову, извѣщая о своей потерѣ: «Саша (Воейкова) жива и даже не больна; вотъ все, что могу сказать. Мы вмѣстѣ—это не утѣшеніе, но облегченіе». Тѣмъ сильнѣе привязался Жуковский къ оставшейся въ живыхъ. Ей былъ обязанъ Воейковъ своимъ выгоднымъ положеніемъ на службѣ. Въ Жуковскомъ находилъ онъ такого ходатая, который, по неизмѣнной добротѣ своей, позволялъ ей пользоваться во всякое время.

По вступленіи на престолъ Императора Николая, Жуковский былъ выбранъ въ наставники Великому Князю Наслѣднику (нынѣ царствующему Государю) Александру Николаевичу. Онъ всецѣло предался своей обязанности, сознавая ея величіе передъ отечествомъ и трономъ. Поэзія уступила мѣсто педагогическимъ трудамъ, такъ что въ собраніи его стихотвореній мы видимъ семилѣтній пробѣлъ (съ 1823 по 1829). Все это время было имъ проведено въ обдумываніи плана и пріемовъ образованія, въ урокахъ Августѣйшему Питомцу и въ наблюденіи за уроками другихъ преподавателей. Жуковский смотрѣлъ на свои занятія, какъ на многотрудный священный подвигъ. Вотъ что писалъ онъ по этому дѣлу къ роднымъ: «Моя настоящая должность беретъ все мое время. Въ головѣ одна мысль, въ душѣ одно желаніе... Какая забота и отвѣтственность! Занятіе, питательное для души! Цѣль для цѣлой остальной жизни! Чувствую ея великость, и всѣми мыслями стремлюсь къ ней! До сихъ поръ я доволенъ успѣхомъ, но кругъ дѣйствій безпрестанно будетъ расширяться. Занятій множество: надобно учить и учиться—и время все захвачено. Прощай навсегда, поэзія съ рѣшимами! Поэзія другаго рода со мною, мнѣ одному знакомая, понятная для одного меня, но для свѣта безмолвная. Ей должна быть посвящена остальная жизнь» (**). Къ поэзіи Жуковский обратился съ 1829 г., посвящая ей часы свободные отъ занятій, а также время поѣздокъ за границу, совершаемыхъ для отдыха или для поправленія здоровья. Въ этотъ годъ перевелъ онъ Бюргерову балладу «Ленору», стихотворенія Шиллера: «Кубокъ», «Торжество побѣдителей», «Жалоба Цереры» и другія. Того же года понесъ онъ новую утрату въ семейномъ кругу. А. А. Воейкова скончалась въ Ливорно, куда она отправилась лечиться. Любовь свою къ умершей онъ перенесъ на ея сиротъ. Въ 1831 г., живучи въ Царскомъ, вмѣстѣ съ Пушкинымъ, онъ написалъ сказки: О царѣ Берендѣѣ, Спящая Царевна, Война мышей и лягушекъ. Пять

(*) Это внушило А. Пушкину посланіе къ Жуковскому, гдѣ сказано:

Ты правъ, творишь ты для *немногихъ*...

(**) Живописный Сборникъ, 1853, стр. 371 и 372.

номеровъ «Муравейника» (1831), вѣроятно, издававшася при участіи Жуковского, содержать въ себѣ нѣсколько его стихотвореній: «Сидѣ» (извлеченіе изъ древнихъ романсовъ испанскихъ), «Перчатка», «Двѣ были и еще одна», «Сраженіе съ Змѣемъ» (*). Въ 1836 г. онъ докончилъ «Удину», начатую до того за четыре года. Путешествуя, въ свитѣ Наслѣдника по Европѣ (1838), онъ, въ подражаніе Гальму, сочинилъ драматическую поэму «Камоэнсъ» и перевелъ въ другой разъ «Сельское Кладбище» Грея; къ тому же году относятся «Очерки Швеціи» (въ прозѣ). Три года (1837—1840), въ досужное отъ занятій время, переводилъ онъ съ нѣмецкаго поэму «Наль и Дамайнти». По совершеніи бракосочетанія Государя Цесаревича Жуковскій получилъ чинъ тайнаго совѣтника и другія награды: ему до смерти предоставлено было все, чѣмъ онъ пользовался по должности наставника; онъ могъ жить тамъ, гдѣ найдетъ для себя удобіе и пріятіе; особенная сумма была назначена на первое обзаведеніе его хозяйства (**); наконецъ онъ и въ отсутствіе свое считался состоящимъ на службѣ при Государѣ Наслѣдникѣ. Въ 1841 г. онъ женился на дочери давнишняго своего друга, полковника Рейтерна, проживавшаго съ своимъ семействомъ въ Дюссельдорфѣ. Съ тѣхъ поръ ему не пришлось болѣе видѣть Россіи, за разными семейными обстоятельствами, преимущественно за болѣзнію жены. Въ заграничной жизни своей, на полной свободѣ, онъ посвятилъ свое время поэзіи, сдѣлавшись, по его выраженію, изъ романтика классикомъ: «подъ старость», писалъ онъ П. А. Плетневу, «я присоединился къ древнему рассказчику—Гомеру и началъ въ слѣдъ за нимъ, на его ладъ, рассказывать своимъ соотечественникамъ Одиссею» (***). Такое намѣреніе не должно было удивлять людей, знавшихъ поэта. Письма его къ Тургеневу показываютъ, какъ онъ уважалъ классическую литературу. Это уваженіе осталось при немъ навсегда. Сѣтуя на свое незнаніе латинскаго и греческаго языковъ, которымъ, по обстоятельствамъ, не могъ выучиться, онъ, однакожъ, еще въ 1822 г. перевелъ вторую пѣснь Энеиды (нап. 1823), а въ 1828-мъ—отрывки изъ Іліады (нап. въ Сѣверныхъ Цвѣткахъ 1829), по нѣмецкимъ переводамъ Фосса и Штольберга. Письма его къ фонъ-деръ-Бриггену (1845—1849) (****) выражаютъ убѣжденіе, что хорошіе переводы латинскихъ и греческихъ поэтовъ и прозаиковъ принесли бы чрезвычайную пользу и нашему языку, и нашему образованію. Онъ благодаритъ Бриггена за переводъ Цезаревыхъ записокъ, который тотъ хотѣлъ посвятить ему, и совѣтуетъ впослѣдствіи приступить къ другимъ историкамъ—Саллюстію, Тациту и Титу Ливію, а также къ Цицероновымъ письмамъ. Первая половина Одиссеи напечатана въ 1847 г., вмѣстѣ съ «повѣстями и сказками», и съ поэмой «Рустемъ и Зорабъ» (*****), а вторая въ 1849 г. Того же 1849 г. былъ празднованъ пятидесятилѣтній юбилей дѣятельности Жуковского (*****). Государь пожаловалъ знаменитому поэту орденъ Бѣлаго орла, въ ознаменованіе (какъ сказано въ грамотѣ) особеннаго своего уваженія къ трудамъ юбиляра на поприщѣ отечественной литературы и въ изъявленіе душевной признательности за заслуги, Царскому семейству оказанныя.

(*) Книжная рѣдкость (Рус. Арх. 1867, № 2).

(**) Въ это время Жуковскій былъ женихомъ и занимался приготовленіями къ отъѣзду за границу, гдѣ жила его невеста.

(***) Живописный Сборникъ, 1853, стр. 384.

(****) Рус. Архивъ 1867, №№ 5 и 6. Фонъ-деръ-Бриггенъ служилъ въ измайловскомъ полку, а послѣ 14 декабря 1825 г. былъ поселенъ въ Сибири, гдѣ долго жилъ въ городѣ Курганѣ.

(******) Все это составило два тома стихотвореній, названныхъ «Новыми».

(******) Юбилей приходился не въ 1849, а въ 1847 г.

Покончивъ съ Одиссеей, поэтъ принялся было за *Иліаду*, но успѣлъ изъ нея перевести только первую пѣснь и часть второй. Равнымъ образомъ не кончилъ онъ и поэмы «Вѣщій *Жидъ*». Одновременно съ поэзіей шли у Жуковского прозаическія занятія и новые педагогическіе труды: онъ сталъ работать надъ учебнымъ курсомъ для дѣтей своихъ—дочери Александры и сына Павла, которымъ незадолго до смерти посвятилъ книжечку стихотвореній. Касательно же прозы, онъ писалъ П. А. Плетневу: «У меня уже готово на цѣлый толстый томъ. Матеріаловъ довольно для будущаго—и есть великій замыселъ, о которомъ поговоримъ, когда Богъ велитъ свидѣться». Среди этихъ замысловъ на новыя работы, поэта стали посѣщать недуги. Зрѣніе его слабѣло, слухъ тупѣлъ. Въ 1851 г. онъ не могъ уже видѣть однимъ глазомъ и писалъ съ помощію машинки, имъ самимъ изобрѣтенной. Заболевши 1 апрѣля 1852 г., онъ скончался въ Баденъ-Баденѣ 7-го того же мѣсяца, на семидесятомъ году своей жизни. Тѣло его, поставленное въ склепѣ на загородномъ Баденскомъ кладбищѣ, было перевезено въ Петербургъ и 29 іюля предано землѣ въ Александроневской Лаврѣ. «Слезы августѣйшихъ особъ» (заключаемъ нашъ очеркъ словами Плетнева), «оплакивавшихъ утрату наставника ихъ и друга, смѣшались съ слезами поклонниковъ незабвеннаго поэта на его гробѣ, который, наравнѣ съ друзьями его, несъ и царственный первенецъ изъ церкви до самой могилы, гдѣ Жуковскій поконитъ нынѣ подлѣ Карамзина».

Въ одномъ изъ посланій своихъ, Жуковскій сказалъ, что онъ желаетъ быть такимъ, какимъ себя изображаетъ. Произносимыя другими поэтами, подобныя слова большею частію имѣютъ случайный смыслъ, какъ плодъ преходящаго настроенія ихъ духа. Съ новымъ душевнымъ настроеніемъ мѣняется у нихъ и образъ идеальнаго человѣческаго достоинства. Въ устахъ такого поэта, какъ Жуковскій, сказанныя слова выражаютъ не капризъ и увлеченіе, а твердый обѣтъ слѣдовать тому идеалу, который оставался неизмѣннымъ въ его изображеніяхъ. Онъ постоянно славилъ добродѣтель, не отличая ее ни отъ поэзіи, ни отъ счастья: «поэзія есть добродѣтель», «истинно счастливый человѣкъ есть человѣкъ истинно добрый». Служенье музамъ, по его понятію, нераздѣльно съ служеніемъ всему доброму; «геній чистой красоты» есть въ тоже время вѣстникъ «нетлѣнныхъ благъ». Жизнь непорочная, куда бы ни привела его судьба: вотъ что положилъ онъ осуществлять своими мыслями, чувствами и дѣлами, и вотъ на что постоянно указывали его поэтическія представленія. По мнѣнію Карамзина, дурной человѣкъ не можетъ быть хорошимъ авторомъ. Жуковскій думалъ тоже: нечистый человѣкъ не можетъ быть хорошимъ поэтомъ; или, точнѣе, дѣйствіе, производимое его творчествомъ, будетъ недоброе. Жизнь поэтическому созданію, разсуждалъ онъ, даетъ *духъ поэта*, въ созданіи его тайно сопричастственный: и потому нравственно-образовательное вліяніе поэтического произведенія заключается не въ содержаніи его, а въ томъ, что есть самъ поэтъ. Каковъ самъ поэтъ, таково будетъ и твореніе. Если онъ есть духъ чистоты, если художественное созданіе (каковъ бы ни былъ предметъ его) проникнуто имъ такъ же, какъ образецъ его, Божіе созданіе, духомъ Создателя, то и дѣйствіе его будетъ благотно, какъ дѣйствіе неизглаголаннаго мірозданія на душу. Напротивъ: самое святое подѣйствуетъ на насъ какъ отравы, когда оно выльется изъ сосуда души отравленной (*). Мы привели эти слова не съ тѣмъ, чтобы, изложивъ взглядъ Жуковского на искусство, опредѣлить, вѣренъ ли онъ или

(*) Письмо къ Гоголю (Сочиненія Ж—го, изд. 5, т. XI).

нѣтъ, а для того только, чтобы показать, что Жуковскій не розниль творца съ твореніемъ. Что же, исполнилось ли желаніе нашего поэта? былъ ли онъ таковъ, какимъ онъ изображалъ себя въ стихахъ, по идеалу нравственнаго достоинства? Одно искреннее стремленіе къ идеалу составляетъ немалую заслугу; гораздо выше, конечно, достиженіе идеала. Изъ матеріаловъ для біографіи Жуковского (*) видно, что онъ выдерживаетъ самый взыскательный надъ собою судъ. Свидѣтельства его друзей и знакомыхъ, собственныя его письма, самыя интимныя, въ которыхъ человѣкъ является безъ притворства, выказываютъ въ немъ образецъ душевной чистоты. Не даромъ друзья называли его «Свѣтланой». Всегдашняя готовность дѣлать добро была въ немъ чутка какъ инстинктъ, сильна какъ сознаніе. Идти на встрѣчу нуждѣ—словомъ и дѣломъ—онъ почиталъ и обязанностію, и счастьемъ. Что было имъ сказано, въ Сельскомъ кладбищѣ, объ уединенномъ пѣвцѣ, то безъ лести прилагалось къ нему самому: онъ дарилъ несчастныхъ чѣмъ только могъ. Въ этомъ отношеніи, любопытно одно изъ его писемъ къ Тургеневу, въ лицѣ котораго онъ сердито упрекаетъ петербургскихъ пріятелей за ихъ беспечность и легкомысліе: «Вы хвастаете своимъ Арзамасомъ. Хвастайте, хвастайте, голубчики! Правда, вы запаслись *Рейномъ* (**): пожива славная! Но, милые друзья, надобно помнить и о томъ, что ближе къ Арзамасу: Мещевскій (***) въ Сибири, а вы, друзья, очень весело поживаете въ Петербургѣ! Если вы не собрались еще о немъ вспомнить отъ разсѣянности, то это срамъ и ребячество. Еслижъ отъ холодности къ его судьбѣ, то это.... что это? Я не знаю, какъ назвать это! На чтожъ намъ толковать о добрѣ, о общей пользѣ, о хорошихъ, возвышающихъ душу стихахъ? На что смѣяться надъ Шаховскими и Rivarol? Ни на то, ни на другое не имѣемъ мы права, если способны быть столь беспечны, когда дѣло идетъ о судьбѣ, можетъ быть о жизни, а можетъ быть (что еще важнѣе) о нравственномъ спасеніи человѣка, который намъ себя ввѣряетъ! Признаться, мнѣ больно быть хлопотуномъ за Мещевского, безсильнымъ его орудіемъ. Своихъ способовъ нѣтъ, а вы не помогаете. Если бы у меня была сила въ рукахъ, я бы вамъ не поклонился» (****). Не меньше трогательна заботливость Жуковского о другомъ ссыльномъ—Бриггенѣ: какъ родной, входитъ онъ съ нимъ въ переписку касательно его занятій, даетъ ему совѣты, беретъ на себя изданіе его перевода, предлагаетъ деньги... и все съ одною цѣлью, о которой онъ не упомянулъ ни словомъ, но которую очень хорошо понимала и чувствовала другая сторона,—съ цѣлью облегчить по возможности участь наказаннаго. Третьимъ свидѣтельствомъ глубокой чувствительности и высокаго доброжелательства Жуковского служатъ его отношенія къ извѣстному стихотворцу П. И. Козлову, когда тотъ лишился зрѣнія: «Жуковскій сдѣлался у него домашнимъ человѣкомъ, неизмѣнною опорой всей его семьи. Его веселыя и задумчивыя бесѣды бывали лучшимъ утѣшеніемъ несчастному поэту, и въ послѣдніе его часы все тотъ же дружескій голосъ читалъ отходныя молитвы умирающему другу» (*****). Мы выставяемъ крупныя факты

(*) Главный матеріалъ—его письма, изъ которыхъ многія напечатаны въ Русскомъ Архивѣ. П. И. Бартенева.

(**) Т. е. приняли въ литературное общество «Арзамасъ» новаго члена, М. О. Орлова, подъ именемъ *Рейна*. Ниже будетъ сказано объ этомъ обществѣ.

(***) Стихотворенія Мещевского печатались въ тогдашнихъ журналахъ; нѣкоторыя (напр. подпisanія Титиръ и Мелибей) помѣщены въ сборникахъ образцовыхъ сочиненій.

(****) Рус. Ар. 1867, №№ 5 и 6, стр. 811—812.

(*****) Ibid. стр. 820—821. Здѣсь же письма Жуковского къ Козлову.

необычайной доброты поэта, а сколько таких, которых еще не знает его біографія и которые, вѣроятно, остались неизвѣстными самымъ близкимъ его друзьямъ.

Примѣромъ долговременной своей дѣятельности Жуковский доказалъ несправедливость поговорки, что стихотворцы—народъ тщеславный, завистливый и раздражительный. Какъ въ первые успѣхи своего авторства, такъ и на высотѣ своей славы онъ отличался одинаковою скромностью. Помогая генералу Скобелеву писать бюллетени, онъ не разглашалъ своего участія и позволилъ ему одному пользоваться извѣстностью (*). Рѣдкіе одобряли возникающій талантъ и содѣйствовали ему съ такимъ радушіемъ, какое онъ оказалъ Кольцову. Онъ былъ другомъ Батюшкова, который одинъ изъ современныхъ авторовъ могъ съ нимъ соперничать въ дарованіи и стихотворномъ искусствѣ. Учитель Пушкина, по словамъ сего послѣдняго, онъ признаетъ въ ученикѣ своего побѣдителя и съ полной искренностью радуется его успѣхамъ. Передъ литературной къ нему непріязнію онъ держался такъ же благородно, какъ Карамзинъ, но еще снисходительнѣй и незлобивѣй. Природное добродушіе, сознаніе собственнаго достоинства и возвышенный взглядъ на поэзію не позволили закрадываться въ его душу ни высокомерію, ни презрѣнію. Онъ былъ убѣжденъ, что нѣтъ ничего хуже той славы, которой все обыкновенно ищетъ или которая всемъ дается свѣтомъ, и поэтически уподоблялъ ее скелету, обвитому розами (**). Вотъ его исповѣдь, по поводу комедіи кн. Шаховскаго: «Дипецкія воды», въ которой онъ былъ выведенъ подъ именемъ Фіалкина: «Здѣсь (въ Петербургѣ) есть авторъ князь Шаховской. Извѣстно, что авторы не охотники до авторовъ. И онъ поэтому не охотникъ до меня. Вздумалъ онъ написать комедію и въ этой комедіи смѣяться надо мною. Друзья за меня вступились... Теперь страшная война на Парнассѣ. Около меня дерутся за меня, а я молчу, да лучше было бы, когда бы все молчали... Все эти глупости еще болѣе привязываютъ къ поэзіи, святой поэзіи, которая независима отъ близорукихъ судей и довольствуется сама собою... Бѣда писателю, если у него душа доступна для оскорбленія глупцовъ и невѣждъ. Я благодаренъ этому глупому случаю: онъ болѣе познакомилъ меня съ самимъ собою. Я теперь знаю, что люблю поэзію для нея самой, не для почестей, и что комары парнасскіе меня не укусятъ никогда слишкомъ больно» (***). Слова Жуковского еще тѣмъ замѣчательны, что они указываютъ его понятіе объ источникѣ нашего спокойствія и счастья: этотъ источникъ—въ довольствѣ самимъ собою, которое возможно только при внутренней самостоятельности. Къ чему стремился онъ всю свою жизнь? Конечно не къ богатству и почестямъ, никогда его не плѣнявшимъ. Онъ былъ идеалистъ, и къ нему прилагаются слова Шиллера, сказанныя объ идеалистахъ вообще, въ противоположность реалистамъ: онъ искалъ не независимости состоянія, а независимости отъ состоянія, какое бы ни выпало на его долю.

Излишне говорить о патріозмѣ Жуковского, прославленномъ его поэзіей и доказанномъ дѣлами. Но нельзя умолчать о его глубокомъ религіозномъ чувствѣ. Онъ былъ истинный христіанинъ, питавшій неизмѣнную довѣренность къ провидѣнію. Въ словахъ Спасителя: «да не смущается сердце ваше: вѣруйте въ Бога и въ Меня вѣруйте», находилъ онъ всевозможныя утѣшенія, данныя человѣку на все житейскія бѣды. Эти слова начерталъ онъ «на двухъ родныхъ, земной судьбиною разрозненныхъ моги-

(*) Разговоръ съ А. П. Ермоловымъ (Рус. Архивъ 1863, №№ 5 и 6, стр. 438).

(**) Посланіе къ кн. Вяземскому и В. Пушкину (1814).

(***) Письмо къ роднымъ 1815 (Рус. Архивъ, 1864, стр. 459—461).

дахъ» (на могилахъ М. А. и А. А. Протасовыхъ); ихъ же, говоритъ онъ, рука жены и рука дочери должны были начертать и на его гробовомъ камнѣ

Въ воспоминаніе земнаго счастья,
Въ вознагражденіе любви земной
И жизни вѣчной на упованье (*).

Духомъ христіанства, всегда отражавшимся въ поэзіи Жуковскаго, особенно проникнуты его послѣднія сочиненія въ прозѣ и письма къ нѣкоторымъ лицамъ (Гоголю, Стурдзѣ, А. О. С***). «Чистый свѣтъ христіанства», говоритъ онъ въ письмѣ къ Стурдзѣ (1850), «который всегда мнѣ былъ по сердцу, былъ завѣшенъ предо мною прозрачною завѣсою жизни: онъ проникалъ сквозь эту завѣсу и глаза его видѣли, но все было *завѣшено*, и вниманіе болѣе останавливалось на тѣхъ поэтическихъ образахъ, которые украшали завѣсу, нежели на томъ свѣтѣ, который одинъ давалъ имъ видимость, но имъ же и былъ заслоненъ отъ души, разсѣянной ихъ поэтическою прелестію» (**). Эта постановка на первый планъ того предмета, который прежде свѣтилъ, сквозь поэтическую завѣсу, произошла въ душѣ Жуковскаго *весьма недавно*: онъ ступилъ на дорогу внутренняго христіанства, внутренней жизни передъ Богомъ, съ того времени, какъ вошелъ въ уединенное святилище семейной жизни (***).

Упомянемъ еще объ одной чертѣ въ характерѣ Жуковскаго. Поэтъ по преимуществу элегическій, пѣвецъ меланхоліи и грусти, онъ въ обществѣ, особенно въ кругу друзей, вовсе не былъ меланхоликомъ: веселость составляла отличительное свойство его добраго и уживчиваго нрава. Онъ любилъ и умѣлъ шутить, хотя и не позволялъ себѣ злоупотреблять шуткой, обращая ее въ орудіе вредное или обидное ближнему. Шутливый элементъ виденъ въ нѣкоторыхъ его стихотвореніяхъ, болѣею частію неизданныхъ, напримѣръ въ протоколахъ Арзамаса, которые онъ велъ по званію секретаря этого общества.

Матеріалы для біографіи и опредѣленія дѣятельности Жуковскаго, по времени ихъ появленія:

Ки. Вяземскаго П. А.: Москов. Телеграфъ 1825, № 4, стр. 344, и 1826, № 23, стр. 169.

Полеваго П. А.: Очерки Русской литературы, 1839, ч. 1.

Нѣсколько словъ о дѣтствѣ Ж—го, Зонтагъ (Москвит. 1849, № 9).

Сенковского: Библ. для Чтенія 1849, т. 93, стр. 1 и 57.

Галахова А.: О Жуковскомъ, въ Обзорѣ русской литературы за 1849 г. (От. Зап. 1850, № 1, стр. 1—11).

Неизвѣстнаго: Современникъ, 1850, т. 20, стр. 1 и 27.

А. П. Зонтагъ: Воспоминанія о В. А. Ж—мъ (Москвит. 1852, № 18).

Базарова: Журн. Мин. Нар. Просв. 1852 г., литер. прибав. стр. 1; *ibid.* 1853, ч. 80, стр. 28.

Достоевскаго М.: Жуковский и романтизмъ (Пантеонъ 1852, № 6).

Галахова А.: «В. А. Жуковский. Матеріалы для опредѣленія его литературной дѣятельности». Три статьи (Отеч. Зап. 1852, № XI; 1853, №№ 6 и 12).

Бартенева П. П.: Моск. Вѣд. 1853, № 18.

Никитенко А. В.: «В. А. Жуковский со стороны его поэтическаго характера и дѣятельности» (От. Зап. 1853, № 1).

(*) Слова эти, однакожъ, не начертаны на гробовомъ камнѣ Жуковскаго; даже время его рожденія означено невѣрно: вмѣсто 1783-го года—1782-ой; вмѣсто 29 января—30-ое.

(**) Сочиненія Ж—го, т. 13 (Спб. 1857), стр. 256 и д.

(***) См. упомянутое письмо къ Стурдзѣ и письмо къ А. О. С (Соч. Ж—го, т. 13, стр. 262—267).

Цетнева П. А.: «В. А. Жуковский» (Живописный Сборникъ, изд. Плюшара, 1853, и отдельной книжкой, подъ заглавіемъ: Жизнь и сочиненія В. А. Жуковского, 1854).

Шевырева С. П.: «О значеніи Жуковского въ русской жизни и поэзіи» (Москвит. 1853, № 1, и отдельнымъ изданіемъ).

Дмитріева М. А.: Мелочи изъ запаса моей памяти 1854, стр. 118—138.

Б—ва П.: От. Зап. 1857, т. 114, стр. 55.

Письмо Ж—го къ Д. В. Давыдову и ему же стихи при посылкѣ изданія «Для немногихъ» (Библ. Зап. А. Афанасьева, 1858, № 7).

Письмо къ А. Я. Булгакову (ib. № 18),

Письмо къ Н. Н. Шереметевой (ib. № 22).

Письмо къ Т. Е. Боку (Лѣт. рус. лит. и древ. 1859, ч. 1, стр. 76).

Неизвѣстное стихотвореніе Ж—го Хераскову (Биб. Зап. 1859, № 17).

Письмо Ж—го Е. А. Протасовой (Рус. Бесѣда 1859, кн. 3, стр. 17).

Вѣлинскаго: Сочиненія 1860, т. 8.

Посланіе Ж—го В. П. Ушаковой и графинѣ П. А. Хилковой (Биб. Зап. 1861, № 2).

Два письма Ж—го къ С. М. Соковину (ibid. № 13).

Письма Ж—го А. П. Елагиной (Соч. Кирѣевскаго, 1861, т. 1, стр. 4 и 5, и 26).

Подлинныя черты изъ жизни Ж—го (Рус. Арх. 1864, № 4).

Долбинскія стихотворенія Ж—го (ib. № 10).

Разсказъ Ж—го о его представленіи Императрицѣ Маріи Фёдоровнѣ (ib. 1865, изд. 2, стр. 1297—1300).

Письмо Ж—го къ А. П. Тургеневу (ib. 1866, № 4).

Письма Ж—го въ стихахъ (ib. № 6).

Выдержки изъ старыхъ бумагъ Остафьевскаго Архива (Письмо Ж—го къ кн. Вяземскому, ib. № 7, стр. 1070—1077).

Письма Ж—го къ И. И. Дмитріеву (ib. №№ 11 и 12).

Книжная рѣдкость съ тремя новыми стихотвореніями Ж—го (ibid. 1867, № 2).

Шуточная записка Ж—го къ Гнѣдичу (ib.).

Письма къ А. П. Тургеневу, И. И. Козлову и А. Ф. Фонъ-дербриггену (ibid. №№ 5 и 6).

Списки произведеній Жуковского: а) съ 1797 по 1812 г. (въ концѣ моей третьей статьи о Ж—мъ, От. Зап. 1853, № 12, стр. 118—122); б) напечатанныхъ въ разныхъ повременныхъ изданіяхъ, составленный Н. С. Тихонравовымъ (въ концѣ рѣчи Шевырева: о значеніи Ж—го); в) написанныхъ съ 1797 по 1812 г. и не помѣщенныхъ въ 5-мъ изд. его сочиненій (Соч. Ж—го, 1857, т. 10, стр. IV—VI); г) матеріалы для полнаго изданія сочиненій Ж—го, собранные М. Н. Лонгиновымъ (Рус. Архивъ 1864, №№ 5 и 6) и дополненіе къ нимъ, его же (ibid. 1866, №№ 11 и 12).

§ 31. «Жизнь и поэзія одно». Эти слова Жуковского допускаютъ различное толкованіе. Самъ авторъ выразилъ ими ту мысль, что онъ всецѣло отдался своему призванію, что поэзія составляла главное, существенное дѣло его жизни. Но можно, какъ мы видѣли, понимать ихъ и въ томъ смыслѣ, что поэтъ старался устроить свою жизнь по тому идеалу нравственнаго достоинства, какой представлялъ въ своихъ созданіяхъ. Наконецъ они могутъ означать, что поэзія Жуковского есть звучный отголосокъ, вѣрное откровеніе его собственной жизни. Мы останавливаемся на последнемъ толкованіи, какъ на такомъ, которымъ разъясняется отношеніе поэтической дѣятельности Жуковского къ его біографіи.

Немногіе таланты находились подъ такимъ вліяніемъ первоначальной жизненной среды, какое испыталъ Жуковский. Она дѣйствовала на него обаятельно и нескончаемо. Родина, «гдѣ онъ расцвѣлъ въ тѣни уединенія», представлялась ему обѣтованной землей, которую онъ по обстоятельствамъ долженъ былъ покинуть, но съ которой никогда не разлучался ни чувствомъ, ни воображеніемъ. Въ одномъ изъ раннихъ своихъ переводовъ онъ совѣтуетъ друзьямъ любить родительскій кровъ, потому что здѣсь только возможно счастье «съ забвеніемъ суеты, съ безпечною свободой» (*).

(*) Сопъ Могольца (В. Евр. 1807, № 7).

Вдали отъ родины онъ непрестанно вспоминалъ о ней и какъ бы всегда имѣлъ ее передъ глазами. Дрезденскія окрестности представляли ему окрестности Бѣлева; въ извилахъ Эльбы онъ видѣлъ извивы Оки; а отдаленіе—несмотря на то, что на немъ синѣлись горы Саксонской Швейцаріи—имѣло для него что-то похожее на рощи, окружающія одну изъ родныхъ пустыней (*). У подошвы швейцарскихъ горъ, онъ мысленно переносился на тотъ холмикъ, на которомъ стоялъ Мишенскій домъ съ своею церковью и гдѣ началась его поэзія переводомъ Греевой элегіи (**). Но привязанность къ людямъ, съ которыми онъ «расцвѣталъ въ тѣни уединенія», была еще сильнѣе привязанности къ естественнымъ красотамъ мѣсторожденія. Къ членамъ своего семейства онъ питалъ не простое чувство родства, но заботливую дружбу и горячую, неизмѣнную любовь. Подъ вліяніемъ окружавшей его родной среды и въ отношеніи къ ней сложился «идеалъ счастья», сдѣлавшійся основною темою поэзіи Жуковского. Черты этого идеала въ первый разъ опредѣлительно указаны «Письмомъ изъ уѣзда къ издателю Вѣстника Европы», которое, какъ программа или передовая статья, излагаетъ обязанности журналиста. Авторъ «письма»—самъ редакторъ (Жуковский), но онъ выражаетъ мнѣніе не отъ себя собственно, а отъ лица Стародума (***).

Письмо наполнено разсужденіями Стародума, вошедшаго въ моду со времени «Недоросля». Объяснивъ существенную пользу журнала, какъ скорѣйшаго проводника полезныхъ идей въ обществѣ, Стародумъ указываетъ то поприще, на которомъ, для нашего счастья, общее просвѣщеніе должно дѣйствовать. Это поприще—мирный и тѣсный кругъ семейства: «въ семействахъ будетъ заключено сладкое счастье, дѣятельность, награды, все, къ чему стремимся, къ чему привязано сердце, что радуетъ, возвеличиваетъ душу; имѣй въ виду семейство, въ которомъ, со временемъ, на самомъ дѣлѣ ты могъ бы исполнить всѣ лучшія мечты, озаряющія твою душу въ часы уединеннаго размышленія». Но если, при всѣхъ правахъ на счастье, просвѣщенный человѣкъ не найдетъ его тамъ, гдѣ оно блистаетъ наилучшимъ свѣтомъ, гдѣ оно единственно возможно, тогда пусть ищетъ замѣны «въ собственной дѣятельности,—въ томъ удовольствіи, которое неразлучно съ любовію къ прекрасному, съ трудами ума, съ работами воображенія, въ той неотъемлемой наградѣ, которая заключена во внутреннемъ спокойномъ увѣреніи, что исполнилъ свою должность, какъ *человѣкъ*—совершенствуя свою натуру, какъ *гражданинъ*—трудясь съ намѣреніемъ приносить пользу отечеству». Основные положенія Стародума повторены въ разсужденіи: «Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ?» (****). Не отдѣляя добродѣтели отъ счастья, авторъ мѣстомъ дѣйствій для нихъ назначаетъ семейство—«тихое, сокрытое отъ людей поприще, на которомъ совершаются *самые благородные, самые безкорыстные подвиги добродѣтельнаго*». За этимъ поприщемъ простираются болѣе обширные круги—отечество и человѣчество. О нихъ съ элегическимъ пафосомъ разсуждаетъ Теонъ (*****), имѣя передъ глазами памятникъ, воздвигнутый надъ могилою его супруги. Возвышенныя стремленія Стародума и Теона дышатъ скорбью потому именно, что они внушены сердцемъ, потерявшимъ верховный идеалъ свой. Напрасно это сердце ищетъ новыхъ, равносильныхъ или важнѣйшихъ, идеаловъ: ничто не въ силахъ замѣнить утраченнаго.

(*) Отрывки изъ писемъ о Саксоніи, 1821 г. (Соч. Ж—го XIII, 128—129)

(**) Изъ письма къ Зонтагу (1833), въ третье путешествіе за границу (Жиз. Сбор. ч. 3, стр. 376)

(***) В. Евр. 1808, № 1 (Соч. Ж—го XIII).

(****) Ib. № 12.

(*****) Ib. 1815, № 5.

Все остальное получает цѣну лишь по отношенію къ уtratѣ: или какъ воспоминаніе о ней, или какъ надежда на ея возвращеніе. Прошедшее, настоящее и будущее дружатся этими единственными чувствами омраченной жизни. «Посланіе къ Филалету» (*) также ясно высказываетъ побужденіе челоуѣка къ дѣятельности, какъ въ письмѣ Филалета къ Мелодору высказано понятіе Карамзина о томъ же предметѣ. Но между двумя голосами большое различіе. Карамзинъ утверждаетъ на главномъ мѣстѣ то, что Жуковскимъ отодвинуто на второй планъ: у того общее господствуетъ надъ особеннымъ, индивидуальнымъ; у этого, напротивъ, тоска по особенному, индивидуальному возноситъ умъ и чувство къ общему. Въ отвѣтъ Д. Сиверину, переведшему съ французскаго небольшую пьесу «Писатель въ обществѣ», Жуковский напечаталъ въ журналѣ статью подъ тѣмъ же заглавіемъ (**). Переводъ оканчивается совѣтомъ Делиля автору: «du fond de la retraite habite l'univers». Жуковский, согласно съ своимъ взглядомъ, выразился такъ: «вселенная, со всеми ея радостями, должна быть заключена въ той мирной обители (семействѣ), гдѣ онъ (писатель) мыслить и гдѣ онъ любить». Изъ уединенія, какъ изъ центра, стремиться въ міръ, и заключить весь міръ въ семействѣ, какъ въ центрѣ, не одно и тоже.

Поэтъ не только создалъ идеаль счастья по тому образу, какой представляла ему родная семья, но и думалъ обрѣсти его въ той же семьѣ, гдѣ «сладость тайная во грудь его лилась» (***). Справедливость молвы, ходившей еще въ двадцатыхъ годахъ, объ одномъ фактѣ въ жизни Жуковского была хорошо извѣстна его друзьямъ-современникамъ; она подтверждается его письмами и видимо просвѣчиваетъ въ его сочиненіяхъ. Онъ питалъ глубокую любовь къ своимъ племянницамъ, Протасовымъ. Его намѣреніе жениться на старшей могло бы исполниться, если бы мать ихъ въ родственныхъ отношеніяхъ не видѣла причины своему упорному отказу. Мы не беремся опредѣлять съ точностью время сообщаемого нами обстоятельства, но приблизительно относимъ его къ годамъ изданія Вѣстника Европы (1808—1810), потому что въ письмѣ къ Тургеневу 1810 г. Жуковский бесѣдуетъ съ нимъ о тайнѣ своего сердца: «Ахъ, братъ и другъ, сколько погибло времени! Вся моя прошедшая жизнь покрыта какимъ-то туманомъ *недѣятельности душевной*, который ничего не даетъ мнѣ различить въ ней. Причина этой недѣятельности тебѣ извѣстна. А теперь, другъ мой, эта самая дѣятельность служитъ мнѣ лекарствомъ отъ того, что было прежде ей помѣхою. Если романтическая любовь могла спасти душу отъ порчи, за то она уничтожаетъ въ ней и дѣятельность, привлекая ее къ одному предмету, который удаляетъ ее отъ всѣхъ другихъ. Этотъ одинъ убійственный предметъ какъ царь сидѣлъ въ душѣ моей по сіе время. Но теперешняя моя дѣятельность, наполнивъ мою душу (или, лучше сказать, *начиная* наполнять), избавляетъ ее отъ вреднаго постояльца. Если бы онъ ушелъ самъ, *не уступивши* мѣста своего другому, то душа могла бы угаснуть; но теперь она только перемѣнила свое направленіе и, признаться, къ совершенной своей выгодѣ... Не подумай, однако, чтобы моя мысль о дѣйствіи любви была *общей* мыслию, а не моею; нѣтъ, она справедлива и неоспорима, но только тогда, когда будешь предполагать нѣкоторыя особія обстоятельства: она справедлива въ отношеніи ко мнѣ» (****).

(*) Ib. 1809, № 4.

(**) Ib. 1808, № 22.

(***) Сонъ Могольца.

(****) Рус. Архивъ 1867, №№ 5 и 6, стр. 793 и 794. Въ другомъ письмѣ къ тому же лицу

Отсюда въ поэзіи Жуковскаго частые діюірамы труда. Но этотъ благотворный трудъ былъ для него только «цѣлителемъ скорбной души, а не животворителемъ счастья» (*). Онъ мирилъ печальнаго съ судьбой (**), не измѣняя самой судьбы. По прежнему печаль осталась его спутницей и вдохновеніемъ. «Во дни печали я съ тобой», отвѣчаетъ онъ Тургеневу (***), а не во дни счастья, давая тѣмъ знать, что онъ всегда помнитъ своихъ друзей. Какъ прежде Жуковскій жаловался на жребій, не судившій ему дѣлать свою жизнь съ тою, которой онъ готовъ былъ жертвовать всеми благами земли; какъ прежде находилъ онъ въ любви «одну мечту, безумца тяжкій сонъ и невозвратное надеждъ уничтоженіе» (****): такъ и теперь, съ обращеніемъ къ дѣятельности, прославляемый и призываемый имъ трудъ не былъ для него—и долго еще не будетъ—ни замѣной счастья, ни самимъ счастьемъ. Для знакомства съ его душевнымъ настроеніемъ того времени, о которомъ здѣсь говорится, любопытны стихи «въ альбомъ А. А. П.», отнесенные имъ, въ послѣднемъ изданіи его сочиненій къ 1814 г. Если не ошибаемся, они написаны для крестницы его Протасовой и, вѣроятно, послѣ того, какъ она была сосватана за Воейкова. Выписываемъ отсюда заключеніе:

Тѣснишься въ сердце ты изображеніемъ милымъ
Всего минувшаго, всего, чѣмъ жизнь была
Такъ сладостно полна, такъ пламенно мила,
Что вдохновеніемъ всю душу зажигало,
Всего, что лучшаго въ ней было и пропало....
О уношеніе томительной мечты,
Покинь меня! *Желать безжалостно* ты учишь;
Не воскрешая, смерть мою тревожишь ты;
Въ могилѣ мертвеца ты чувствомъ жизни мучишь.

Какъ ни туманны послѣднія четыре строки, но томительное чувство, ими выраженное, понятно: это—скорбь невольной и нежеланной, судьбою устроенной разлуки съ дорогимъ существомъ или дорогими существами. Потеря идеала въ жизни сообщила слѣдующей за тѣмъ поэзіи Жуковскаго еще болѣе унылый тонъ. Меланхолія, какъ ожиданіе грядущей бѣды, перешла въ меланхолію, какъ ощущеніе бѣды совершившейся. Въ разныхъ образахъ поэтъ сталъ воплощать крушеніе надежды и разными причинами объяснять его: то отецъ, искатель богатства, разорвалъ сердечный союзъ (*****); то тщеславная мать выдала свою дочь за другаго (*****); то изгнаніе раздѣляетъ любовниковъ (*****); то смерть похищаетъ одного изъ нихъ (*****). Всегда и вездѣ разлука съ предметомъ любви—съ идеаломъ счастья. Такъ какъ отъ настоящаго

(1816) Жуковскій какъ бы повторяетъ свою прежнюю псовѣдь: «я столько потерялъ времени, что теперь каждая минута кажется важною. Вся моя протекшая жизнь есть не иное что, какъ жертва мечтамъ—жалкая жертва! и боюсь, не потерять ли я уже возможности пользоваться настоящимъ (Жизн. Сборникъ 1853, стр. 366).

(*) Посланіе къ кн. Вяземскому и В. Пушкину (Россійскій Музеумъ 1815, № 6).

(**) Мечты (переводъ Шнллеровой піесы «Идеалы»). В. Евр. 1813, № 14.

(***) Къ Тургеневу (1813). Соч. Ж.—го 1, 237. Стихи Тургенева, присланные имъ вмѣсто письма, начинаются эпитафіемъ: «вспомни обо мнѣ въ день счастья».

(****) Къ Филалету.

(*****) Эльвина и Эдвинъ (Амфіонъ 1815, № 2).

(*****) Алина и Альсимъ (ib. № 6).

(*****) Золота арфа (ib. № 3).

(******) Теонъ и Эсхинъ (В. Евр. 1815, № 4), Голосъ съ того свѣта (1815). Замѣтимъ, что хронологія стихотвореній Жуковскаго, въ послѣднемъ ихъ изданіи, иногда не сходится съ библіографическими указаніями. Разногласіе произошло большею частью отъ того, что библіографы выставили года по времени появленія піесъ въ печати, а Жуковскій—по времени ихъ сочиненія.

ждать было нечего, то прошлое украсилось особенною прелестью. Только воспоминаніе могло приносить отраду: «разлуки жизнь—воспоминанье». Мысль о минувшем осаждала душу поэта сильными приboями: чувствуя ея тяжесть, потому что въ его воображеніи живо возникало погнбшее счастье, онъ однакожъ не только не отбивался отъ нея, но и хотѣлъ постоянно имѣть ее при себѣ, какъ замѣну погнбшаго. Всѣ обращенія къ прежнему времени исполнены трогательныхъ жалобъ:

Минувшихъ дней очарованье,
Зачѣмъ опять воскресло ты?
Кто разбудилъ воспоминанье
И замолчавшія мечты?...

О милый гость, святое *прежде*,
Зачѣмъ въ мою тѣснишься грудь?
Могуль сказать: *живи*, надеждѣ?
Скажуль тому, что было будѣ?...

Зачѣмъ душа въ тотъ край стремится,
Гдѣ были дни, какихъ ужъ нѣтъ?
Пустынный край не населится,
Не узритъ онъ минувшихъ лѣтъ... (*).

Намъ уже извѣстно, что этотъ пустынный край—родныя мѣста поэта; эти минувшія дни—время, проведенное имъ на родинѣ, особенно въ семействѣ сестры его Протасовой. Живость воспоминанія, выраженная въ «Пѣснѣ» рядомъ вопросовъ, нашла еще сильнѣйшее и болѣе поэтическое выраженіе въ другой пѣснѣ. Посвятивъ «Громобоя» (**) А. А. Протасовой, Жуковский черезъ нѣсколько лѣтъ написалъ «Вадима» (***), вторую и послѣднюю часть «Двѣнадцати спящихъ дѣвъ». Сравненіе времени, когда онъ началъ свою повѣсть, съ совершенно иными обстоятельствами (****), при которыхъ она была кончена, вызвало въ его душѣ «тоску по благамъ прежнихъ лѣтъ»:

Опять ты здѣсь, мой благодатный Геній,
Воздушная подруга юныхъ дней;
Опять съ толпой знакомыхъ привидѣній
Тѣснишься ты, мечта, къ душѣ моей....
Придижъ, о другъ! дай прежнихъ вдохновеній,
Минувшею мнѣ жизнью позѣй,
Побудь со мной, продли очарованья,
Дай сладкаго вкусить воспоминанья.

Ты образы веселыхъ лѣтъ примчала—
И много милыхъ тѣней возстаеъ;
И то, чѣмъ жизнь столь нѣкогда плѣняла,
Что рокъ, отнявъ, назадъ не отдаеъ,
То все опять душа моя узнала... (****)

Прежніе годы надолго остались для поэта «лучшими» годами, «тѣмъ свѣтомъ», куда любилъ онъ носиться воспоминаніемъ, своимъ добрымъ геніемъ, внимательно прислу-

(*) Пѣсня (1816). Соч. Ж—го, II, 241.

(**) Громобой нап. въ 4 № В. Евр. 1811, но сочинень въ 1810 г., который и выставленъ въ 5 изд. соч. Ж—го.

(***) Вадимъ изданъ 1817 г., вмѣстѣ съ первой половиной повѣсти.

(****) Вадимъ, вѣроятно, конченъ во время дерптской жизни Ж—го.

(*****) Эта элегія есть вольный переводъ «посвященія», написаннаго Гете по окончаніи 2-ой части «Фауста».

шиваясь къ каждой вѣсти, оттуда къ нему приходившей. «Хотѣлось бы взглянуть на васъ» (писалъ онъ Зонтагъ 1824 г.), на моего представителя *прежнихъ, лучшихъ* лѣтъ.... Ваше письмо точно было голосъ съ того свѣта, а *тѣмъ свѣтомъ* я называю нашу молодость, наше бывалое, счастливое *вмѣстѣ*». Пользуясь славою поэта и достоинствомъ общественнаго положенія въ столицѣ, Жуковскій то и дѣло стремился къ бывалому, просилъ жизни по старинѣ (*). Что напоминало ему эту старину, въ чемъ видѣлъ онъ какое нибудь подобіе своей душевной настроенности, то немедленно облакалось въ поэтическій образъ или заводило элегическія рѣсн. Онъ перевелъ французское стихотвореніе, въ которомъ изображенъ жребій листка, отлученнаго отъ родной вѣтки и носимаго по волѣ случая (**). Полевая незабудка обращается для него въ «цвѣтъ завѣта», символъ воспоминанія (***). Хотя эта піеса написана по особенному поводу, но содержаніе ея близко относилось къ автору. Онъ самъ, на далекомъ сѣверѣ, чувствовалъ то именно, что высказываетъ отъ другаго лица, для котораго сочинено стихотвореніе. Даже піесы на случай, у другихъ поэтовъ вялыя и холодныя, Жуковскій оживлялъ собственною печалью. Только изъ души, испытавшей тяжесть сердечной утраты, могли вырываться такіа искреннія жалобы, какими наполнена элегія на кончину королевы виртембергской (Екатерины Павловны, 1818), сочиненная вскорѣ послѣ того, какъ старшая племянница поэта вышла за мужъ:

О наша жизнь, гдѣ вѣрны лишь утраты,
Гдѣ милому мгновенье лишь дано,
Гдѣ скорбь безъ крыль, а радости крылаты,
И гдѣ на вѣкъ минувшее одно ...
Почтожъ мы здѣсь мечтами такъ богаты,
Когда мечтамъ не сбыться суждено?
Внимая гласъ надежды намъ поющей,
Не слышимъ мы шаговъ бѣды грядущей.

Когда же умерла вторая его племянница (****), онъ перевелъ Шиллерову балладу: «Жалоба Цереры» (1829). Въ сѣтованіяхъ богини, лишившейся дочери, въ ея печальной встрѣчѣ весны:

Все цвѣтеть,—лишь мой единый
Не взойдетъ прекрасный цвѣтъ,

не трудно слышать голосъ самого переводчика, который, еще задолго до этого времени, посвящая дорогой родственницѣ «Громобоя», называлъ ее «очарованьемъ сердець», своимъ «несравненнымъ цвѣтомъ» (*****). Какъ съ лѣтами онъ не измѣнялся нравственно, и былъ, говоря его словами, тотъ же дитя, житель уединенія (*****), такъ и его поэзія оставалась неизмѣнною. Лирическія мѣста «Удины» (1836) показываютъ, что въ немъ не замирала память о минувшемъ, хотя оно и скрывало въ своей дали много развалинъ и могилъ. Такъ, напримѣръ, пятая глава повѣсти начинается обращеніемъ къ читателю, которое, при всемъ спокойствіи тона, даетъ чувствовать сердечную боль.

(*) Пѣсня (1822). Соч. Ж. IV, 140.

(**) Листокъ (1818). «Для нежныхъ», кн. 2 (Соч. Ж. III, 29).

(***) Соч. Ж. III, 57.

(****) 29 февраля 1829 г.

(*****) Соч. Ж—го 1, 107.

(*****) Письмо къ Зонтагъ (Жив. Сборникъ 1853, стр. 371).

автора. Коснувшись охлажденія рыцаря къ Уидинѣ, Жуковскій не хочетъ подробно описывать предстоящее ей горе, потому что оно напоминаетъ ему превратность собственнаго счастья (глава XIII):

. позволь мнѣ
Лучше о томъ позабыть, что такъ больно дунѣ; испытали
Вѣкъ мы невѣрность здѣшняго счастья; ты самъ, вѣроятно,
Былъ имъ обманутъ — таковъ ужъ земной человѣческій жребій....
. Можетъ быть, слушая нашу
Новѣсть, ты согласишься и самъ о своемъ миновавшемъ, и тихо
Милая грусть тебѣ черезъ душу прокрадется, снова
То, что прошло, оживетъ, и ты слезу сожалѣнья
Бросишь опять на цвѣты, которыми такъ любовался
Прежде на грядкахъ своихъ, давно ужъ растоптанныхъ. Полно жъ,
Полно объ этомъ, читатель (*).

И при самомъ почти вступленіи въ новый періодъ своей жизни, о чемъ будетъ сказано дальше, память минувшаго, еще живую и чувствительную, онъ высказалъ словами «Камюэнса» (1838):

О, святая
Пора любви! твое воспоминанье
И здѣсь, въ моей темницѣ, на краю
Могилы, какъ дыханіе весны,
Мнѣ освѣжило душу. Какъ тогда
Все было въ мірѣ отголоскомъ звучнымъ
Моей любви! какимъ сіяньемъ райскимъ
Блистала предо мной вся жизнь съ своимъ
Страданіемъ, блаженствомъ, съ настоящимъ,
Прошедшимъ, будущимъ...
Все переживешь
На свѣтѣ... Но забыть?... Блаженъ, кто носитъ
Въ своей душѣ святую память, вѣрность.
X Прекрасному минувшему! Моя
Душа ее во глубинѣ своей,
Какъ чистую лампаду засвѣтила,
И въ ней она поэзіей горѣла (**).

Поэзія Жуковского дѣйствительно горѣла чистымъ и ровнымъ свѣтомъ, зажженнымъ «тоскою по благамъ прежнихъ лѣтъ».

Отъ природы мечтательный, добрый и кроткій, Жуковскій не былъ способенъ ни къ ожесточенію, ни къ отчаянію, которыя поражаютъ многихъ людей, имѣющихъ право роптать на судьбу. Онъ запасся утѣшеніемъ и сохранилъ взглядъ оптимиста на жизнь и природу. Утѣшительная доктрина его немногосложна; она состоитъ изъ двухъ-трехъ догматовъ, сущность которыхъ заключается въ слѣдующемъ:

Человѣкъ, лишась любимаго предмета, вмѣстѣ съ тѣмъ лишился и счастья. Но счастье, вдвоемъ столь живое, не исчезло: самая скорбь о погибшемъ идеалѣ есть наслажденье; страданье въ разлукѣ обращается въ благотѣльную для сердца любовь. Идеалъ живетъ съ нами воспоминаніемъ, которое такъ чутко и сильно, что, при малѣйшемъ поводѣ, въ одно мгновеніе можетъ давноминувшее дѣлать настоящимъ, а настоящее отодвигать на далекое разстояніе:

(*) Соч. Ж. V, 232—233.

(**) Ib. 298—300.

Все близкое мнѣ зрится отдаленнымъ,
Отжившее, какъ прежде, оживленнымъ (*).

Могила служить святымъ завѣтомъ пережившему: свершить одному то, что онъ такъ достойно началъ вдвоемъ; взять въ образецъ своей жизни прекрасную жизнь тѣхъ, которыхъ уже нѣтъ на свѣтѣ. Мы всегда пребываемъ съ ними воспоминаніемъ: оно возвышаетъ душу въ счастьи, ободряетъ ее въ несчастіи, и есть, такъ сказать, двойникъ нашей совѣсти. Другое утѣшеніе печальный находитъ въ надеждѣ на возвратъ идеала: гробъ, сокрывшій друга, невѣсту, сунуругу, есть вѣрный свидѣтель.

Что лучшее въ жизни еще впереди,
Что вѣрно желанное будетъ.

Сей гробъ—затворенная къ счастью дверь;
Отворится... жду и надѣюсь!
За нимъ ожидаетъ спутникъ меня,
На мигъ мнѣ явившійся въ жизни (**).

И потому-то огорченный долженъ не роптать на природу и жизнь, а примириться съ ними, какъ примирился Эпимесидъ (***), какъ примирился Теонъ:

Все небо намъ дало, мой другъ съ бытіемъ;
Все въ жизни къ великому средство;
И горестъ и радость—все къ цѣли одной:
Хвала жизнедавцу—Зевесу (****).

Такимъ образомъ жизнь человѣка, разлученнаго съ идеаломъ, складывается изъ двухъ элементовъ: изъ воспоминанія объ идеальномъ благѣ и изъ надежды на возвратъ его. Только прошедшее и будущее имѣютъ для него значеніе; настоящее какъ бы вовсе не существуетъ (*****).

Жуковскій оставался вѣренъ и своей печали, и своей философіи. Сводъ его мыслей, взятыхъ изъ разныхъ піесъ, начиная съ разсужденія: «Кто истинно-добрый и счастливый человѣкъ», и оканчивая «Ундиной» (1837), на которой мы остановились, показываетъ, что въ теченіи *тридцати* лѣтъ, отдѣляющихъ первое сочиненіе отъ послѣдняго, когда поэту было уже *пятьдесятъ четыре* года, ни доктрина его, ни тоска по идеалу не измѣнились. Онъ любилъ и выражать эту доктрину, какъ лирикъ, и представлять ее въ символахъ—своихъ или заимствованныхъ изъ чужой литературы. Воспоминаніе и надежду—два чувства, данныя человѣку небомъ, въ замѣнъ потеряннаго счастья, изображались для него двумя непадменными цвѣтками—незабудкой и анютиными глазками (*pensée*):

О милое воспоминаніе
О томъ, чего ужъ въ мірѣ нѣтъ!
О дума сердца—упованіе
На лучший, неизмѣнный свѣтъ!

(*) «Опять ты здѣсь, мой благодатный геній»... Таже мысль въ «Отчетѣ о Лунѣ» (1822). Соч. Ж—го IV, стр. 124.

(**) Теонъ и Эсхилъ.

(***) Эпимесидъ (Изъ Парни). Рос. Музеумъ 1815, № 2.

(****) Теонъ и Эсхилъ.

(*****). Кромѣ указанныхъ піесъ, см.: къ К. М. С...ой (1807), Надгробіе Тургеневымъ (1807), Кто истинно-добрый и счастливый человѣкъ (1808), Годосъ съ того свѣта (1815).

Блаженъ, кто васъ среди гублящаго
Волненья жизни сохранилъ,
И съ вами низость настоящаго
И пренебрегъ, и позабылъ (*).

Поэтический образъ загробнаго свиданія созданъ въ «Жалобѣ Цереры» — элегии, превосходно переведенной изъ Шиллера. Послѣ долгихъ, но тщетныхъ поисковъ дочери, богиня нашла средство торжествовать надъ разлукой, сблизить мертвыхъ съ живыми: сѣмяна, которыя она осенью ввѣрила землѣ, изображаютъ вѣсть любви, посылаемую въ царство тѣней, а цвѣты, распустившіеся весною — голосъ дочери, отвѣчающей на материнскій привѣтъ:

Ими таинственно слита
Область тьмы съ строною дня,
И приходятъ отъ Коцита
Съ ними вѣсти для меня;
И ко мнѣ въ живомъ дыханьи
Молодыхъ цвѣтовъ весны
Подымается признание
Гласъ родной изъ глубины:
Онъ разлуку услаждаетъ,
Онъ душѣ моей твердитъ,
Что любовь не умираетъ
И въ отшедшихъ за Коцить (**).

Разъяснивъ достаточно предположенное нами значеніе словъ: «жизнь и поэзія — одно», мы имѣемъ право сказать о произведеніяхъ Жуковскаго, что они — *поэтическая лирическая лирика его личной судьбы, преимущественно его романтической любви*.

Сохранила ли эта поэзія тотъ же характеръ въ своихъ явленіяхъ, слѣдовавшихъ за «Удиной» и «Камознсомъ»? Если Жуковский славилъ трудъ, какъ цѣлителя печальной души, то у времени столько же цѣлебной силы: съ теченіемъ лѣтъ печаль неминуемо затихаетъ или и совсѣмъ прекращается, даже въ тѣхъ душахъ, которыя могутъ быть названы ея избранными сосудами. Самъ Жуковский испыталъ на себѣ преходимость горя:

Какъ намъ, добрый читатель, сказать: къ сожалѣнью или къ счастью, что наше
Горе земное не надолго? Здѣсь разумѣю я горе
Сердца, глубокое, нашу всю жизнь губящее горе,
Горе, которое съ милымъ, потеряннымъ благомъ сливается
Насъ во-едино, которымъ утрата для насъ не утрата,
Скорбь вдвоемъ бытіе, а жизнь — порывъ непрестанный
Къ той чертѣ, за которую милое наше изъ міра
Прежде насъ перешло. Есть, правда, много избранныхъ
Душъ на свѣтѣ, въ которыхъ святая печаль, какъ свѣча предъ иконой
Ярко горитъ, пока догоритъ; но она и для нихъ ужъ
Все не та подъ конецъ, какою была при началѣ,
Полная, чистая; много, много инаго, чужаго
Между утратою нашей и нами уже протѣснилось;
Вотъ, наконецъ, и всю измѣняемость здѣшняго въ самой
Нашей печали мы видимъ.... и такъ, скажу: къ сожалѣнью,

(*) Мотылекъ и цвѣты (Сѣверные цвѣты на 1825). Въ Соч. Ж.—го (IV, 134) эта піеса отнесена къ 1822 г.

(**) Соч. Ж.—го, IV, 162.

Наше горе земное не надолго (*).

Для Жуковского конецъ горя наступилъ вскорѣ послѣ того, какъ онъ выразилъ сожалѣніе о его невѣчности. Въ 1841 г. онъ женился. Тоска по благамъ прежнихъ лѣтъ исчезла, потому что идеаль былъ найденъ, только въ лицѣ другого существа, въ другомъ мѣстѣ и при другихъ обстоятельствахъ. Семейная жизнь осуществила то счастье, къ которому поэтъ стремился съ юныхъ лѣтъ, но которое было у него похищено судьбою. «Наль и Дамаянти» (1840) стоитъ на рубежѣ, раздѣляющемъ два періода его жизни и дѣятельности. Переводъ этой поэмы, представляющей идеаль вѣрной жены, есть «последній цвѣтъ, данный ему поэзіей» перваго, почти сороколѣтняго періода. Въ посвященіи прекрасно раскрыто новое состояніе души переводчика:

И нынѣ тихо, безъ волненія льется
Потокъ моей уединенной жизни.
Смотря въ лице подруги, данной Богомъ,
На освященіе сердца моего,
Смотря, какъ спитъ сномъ ангела на лонѣ
У матери младенецъ мой прекрасный,
Я чувствую глубоко тотъ покой,
Котораго такъ жадно здѣсь мы ищемъ,
Не находя нигдѣ: и слышу голосъ,
Земныя всѣ смиряющій тревоги:
«Да не смущается твоя душа»,
Онъ говоритъ мнѣ, «вѣруй въ Бога, вѣруй
Въ меня» (**).

Нѣкоторые, опираясь на заявленіе Жуковского (въ предисловіи къ переводу Одиссеи), что онъ «изъ мечтателя-романтика сдѣлался трезвымъ классикомъ», думаютъ видѣть въ послѣднихъ трудахъ его замѣтный поворотъ отъ прежняго направленія къ новому. Мнѣніе ошибочное: такъ называемый поворотъ ограничился тѣмъ, что, на старости, поэтъ захотѣлъ повеселить свой досугъ рассказами, и потому, оставивъ лиру, принялся за переводъ безсмертнаго рассказчика Гомера. Обусловилося же это желаніе фактомъ, важнымъ для каждаго человѣка: Жуковскій «перешелъ въ спокойное пристанище семейной жизни». Было бы странно, по достиженіи пристани, обоготворять бывшую печаль, происходившую отъ долговременнаго одиночества. Напротивъ, очень естественно веселить умиротворенную душу первобытной поэзіей, которая «такъ тиха и покойна, такъ мирно украшаетъ все насъ окружающее». Здѣсь выборъ занятія согласовался съ внутреннимъ настроеніемъ поэта. Сверхъ того, и до перевода Одиссеи Жуковскій представлялъ образцы своего знакомства съ древне-классической поэзіей, отъ изученія которой нашими литераторами ожидалъ большой пользы для русской словесности. Перемены, повторяемъ, не было, если только подъ классицизмомъ не разумѣть спокойствія, которое, въ извѣстные годы, или даруется какъ награда за правдивныя заслуги, или является само собою, какъ результатъ фізіологическаго процесса. Что же касается до слова «романтикъ», то оно крайне неопредѣленно, и въ примѣненіи къ Жуковскому должно быть употребляемо съ ограниченіями, если не хотимъ извращать и спутывать понятій.

Элегическое чувство, которымъ проникнута поэзія Жуковского за первый періодъ, сохранилась и во второмъ ея періодѣ; только тамъ оно было печалью по утраченномъ

(*) Ib. V, 258—259.

(**) Ib. 347—348.

идеалъ, а здѣсь оно вытекало изъ тревогъ, нараздѣльныхъ съ пользованіемъ идеаломъ и убѣждающихъ, что «земная жизнь—страданія питомецъ» (*). «Счастье досталось мнѣ именно такое (писалъ онъ къ А. О. С.***), какое я желалъ во снѣ и на яву; но вѣнецъ этого счастья есть вѣнецъ божественный, слѣдственно въ него должны быть необходимо вилетены терны изъ того вѣнца, передъ которымъ всѣ другіе земные вѣнцы исчезаютъ. Душа моя познакомилась съ тѣми тревогами, которыя составляютъ многочисленную свиту нашихъ любезнѣйшихъ земныхъ сокровищъ... Семейная жизнь есть та школа, въ которой настоящимъ образомъ научишься жизни; но не радостями беззаботными, не поэтическими мечтами, а болѣе тревогами, страхами, ссорами съ самимъ собою, ведущими отъ раздраженія души къ терпѣнію, отъ терпѣнія къ вѣрѣ, отъ вѣры къ сердечному миру, и все это наконецъ сливается въ одно — въ любовь безсмертную, а ея имя Богъ-Спаситель» (**). И Жуковский стремился къ этой цѣли, т. е. къ наукѣ жизни въ христіанскомъ духѣ. Опыты изученія видны въ «Размышленіяхъ и замѣчаніяхъ», въ «писмахъ къ Гоголю и Стурдзѣ», въ статьяхъ «о меланхоліи въ жизни и въ поэзіи» и «объ изящномъ искусствѣ», и другихъ. Къ поэтическимъ мечтамъ (независимо отъ перевода Одиссеи и Илиады) авторъ прибѣгалъ только какъ къ формамъ для выраженія догматовъ и правилъ той же науки: «сказка о Мудрецѣ Керимѣ» заключается выводомъ, что наша жизнь есть странствіе по свѣту въ исполненіе верховной воли Высшаго Царя (***); «Выборъ креста» показываетъ, что каждый человѣкъ долженъ безропотно нести свой крестъ, не требуя облегченія крестнаго бремени (****); «Капитанъ Боппъ» есть исторія великаго нечестивца, раскаяніемъ примиреннаго съ Богомъ (*****); основной идеей неконченной поэмы «Агасверъ» служить апотеоза страданій, закаляющихъ душу христіанскимъ смиреніемъ и любовью къ Искупителю міра (*****), превышающею всякую иную любовь.

§ 32. Идеалъ, служащій предметомъ поэзіи, тогда только достоинъ истрачиваемой на него творческой силы, когда онъ съ личнымъ интересомъ самого поэта соединяетъ въ себѣ интересъ общечеловѣческой. Идеалъ Жуковского отличается именно этимъ характеромъ всеобщности. Исторія внутренней его жизни потому-то и возбудила глубокое сочувствіе, что каждый могъ относить ее къ себѣ, видѣть въ ней родство съ движеніями собственнаго духа и понимать достоинство идеальныхъ стремленій, неизмѣнно въ ней господствовавшихъ. Не трудно оспаривать положеніе автора, ставящаго семейство на первомъ планѣ, впереди отечества и всего рода человѣческаго; но онъ такъ думалъ, и его мнѣніе имѣло для него силу искренняго убѣжденія. Кто усвоивалъ образъ его мыслей, тому было ясно, что семейство дѣйствительно заключаетъ въ себѣ всѣ особенности идеала, достойнаго сдѣлаться цѣлью исканій каждаго. Что такое семейство? «мирное, сокрытое отъ людей *поприще, на которомъ совершаются самыя благородныя, самыя безкорыстныя подвиги добродѣтельнаго*». Чего еще больше

(*) Соч. Ж—го III, 53.

(**) Ib. XIII, 263—267.

(***) Изъ Рюккерта (ib. VI).

(****) Изъ Шамиссо (ib.).

(*****) Ib. «Капитанъ Боппъ» есть переводъ французскаго прозаическаго разсказа: «Le capitaine de vaisseau et son mousse, histoire véritable», publié par la Société des Traités religieux de Paris (1825). Въ эпиграфѣ слова Спасителя ученикамъ: «Развѣ вы никогда не читали: изъ устъ младенцевъ и грудныхъ дѣтей Ты устроишь хвалу? (Пс. VIII, 3).

(*****) Соч. Ж—го, X.

для истинной славы и истиннаго счастья людей, какъ нравственныхъ существъ, для ихъ торжества передъ своею совѣстью и судомъ человѣческимъ? Все въ этой семейной жизни, радостное и печальное, направлено поэтому къ нравственному совершенствованію: самая разлука для оставшагося въ живыхъ служить завѣтомъ — идти одному «къ прекрасной, возвышенной цѣли, къ которой прежде стремился вдвоемъ». При этомъ, обязанности семьянина не сталкиваются, въ понятіи Жуковскаго, враждебно съ долгомъ гражданскимъ и общечеловѣческимъ: какъ человѣкъ, семьянинъ облагораживаетъ свою природу; какъ гражданинъ, трудится съ намѣреніемъ приносить пользу отечеству. Впрочемъ, сущность не въ томъ, на какомъ поприщѣ дѣйствуетъ человѣкъ, обширномъ или тѣсномъ, а въ томъ, изъ какого источника вытекаютъ его дѣятельность и что она имѣетъ своимъ конечнымъ предметомъ. Если нравственно-образовательное вліяніе поэтическихъ произведеній достигается не ихъ содержаніемъ, а нравственною цѣнностью поэта (*), то и плодотворное вліяніе личной жизни зависитъ отъ нравственной пробы лица.

Что жизнь человѣка должна осуществлять своими явленіями, то поэтъ обязанъ славить, какъ идеалъ, очаровывая душу его нравственнымъ изяществомъ и привлекая къ нему общую любовь. Вдохновителемъ его будетъ не Аполлонъ, а «геній чистой красоты», соприсутствующій творчеству христіанскихъ поэтовъ:

Онъ лишь въ чистыя мновенья
Бытія слетаетъ къ намъ
И приноситъ откровенья
Благотатилии сердцамъ.
Чтобъ о небѣ сердце знало
Въ темной области земной,
Лучшей жизни покрывало
Приподъемлетъ онъ перой.
А когда насъ покидаетъ
Въ даръ любви, у насъ въ виду,
Въ нашемъ небѣ закигаетъ
Онъ прощальную звѣзду (**).

«Эта прощальная (объясняетъ авторъ, толкуя выраженіе Руссо: *il n'y a de beau que ce qui n'est pas*), навсегда остающаяся въ нашемъ небѣ звѣзда есть знакъ, что прекрасное было въ нашей жизни, и вмѣстѣ знакъ, что оно не къ нашей жизни принадлежитъ. Звѣзда на темномъ небѣ—она не сойдетъ на землю, но утѣшительно сіяетъ намъ издали, и нѣкоторымъ образомъ сближаетъ насъ съ тѣмъ небомъ, съ котораго неподвижно намъ свѣтитъ» (***). Многіе почитаютъ эстетическое наслажденіе конечною, единственною цѣлью поэтическаго творчества. Жуковскій не довольствуется этимъ. Онъ смотритъ на поэзію съ утилитарной точки зрѣнія, требуя отъ нея пользы для души, чтобы мы, увлекаясь прелестью созданій поэта, въ тоже время прошикали его возвышенностью и чистотою, которыя, по тайному сродству, и остаются въ слияніи съ нами, какъ послѣдній результатъ поэтическаго наслажденія. Взглядъ Жуковскаго на это высоко-полезное призваніе поэтовъ выраженъ въ Камозіѣ:

Не счастья, не славы здѣсь
Ищу я: быть хочу крыломъ могучимъ.

(*) См. выше, стр. 228.

(**) Ист. Христ. II, 332.

(***) Соч. Жу—го XI, 153—154.

Подъемающимъ родныя мнѣ сердца
 На высоту,—зарей, побѣду дня
 Предвозвѣщающей,—великихъ думъ
 Воспламенителемъ, глаголомъ правды,
 Лекарствомъ душъ, безвѣріемъ крушимыхъ,
 И сторожемъ нетлѣнной той завѣсы,
 Которою предъ нами горній міръ
 Задержутъ, чтобъ порой для смертныхъ глазъ
 Ее приподымать и святость жизни
 Являть во всей ея красѣ небесной.—
 Вотъ долгъ поэта, вотъ мое призванье!
 Здѣсь безъ нихъ (*безъ поэтовъ*)
 Была ли бы для душъ, покорныхъ Богу,
 Возможна та святая брань, въ которой
 Мы на землѣ для неба созрѣваемъ?
 Мы не затѣмъ ли здѣсь, чтобы средь тяжкихъ
 Скорбей, гоненій, видя торжество
 Порока, силу зла, и слыша хохоть
 Безстыднаго разврата, имъ насмѣшку
 Безвѣрія, изъ этой бездны вынести
 Въ душѣ неоскверненной вѣру въ Бога?..
 Поэзія—религія небесной
 Сестра земная, свѣтлолучезарный
 Маякъ, самимъ Создателемъ зажженный,
 Чтобъ мы во тмѣ житейскихъ бурь не сбились
 Съ пути. Поэтъ, на пламени его
 Свой факель зажигай! Твой всѣ братья
 Съ тобою за-одно засвѣтятъ каждый
 Хранительный свой огонь, и будутъ здѣсь
 Они во всѣхъ странахъ и временахъ
 Для всѣхъ племенъ звѣздами путевыми;
 При блескѣ ихъ, что бѣ труженикъ земной
 Ни испыталь—душой онъ не падеть,
 И вѣра въ лучшее въ немъ не погибнетъ.

 Поэзія есть Богъ въ святыхъ мечтахъ земли (*).

Поэтическія произведенія Жуковского обогатили нашу лирику новымъ, плодотворнымъ содержаніемъ, которое составляетъ важный моментъ въ ея историческомъ развитіи. Они впервые раскрыли передъ нами внутренній міръ человѣка, міръ его души, какъ предмета, наиболѣе достойнаго вдохновенныхъ пѣсенъ. Душевная исповѣдь служить господствующею ихъ темою, не возбуждавшею дотошѣ сочувственнаго вниманія писателей, которые притомъ и не были къ тому призваны ни характеромъ своихъ талантовъ, ни качествами своей природы. До чего бы ни касалась поэтическая дѣятельность Жуковского, въ какія бы формы ни облекались его представленія и чувства, онъ никогда не подчиняетъ явленій психическаго міра предметамъ и фактамъ другихъ сферъ: душа постоянно занимаетъ у него первенствующее мѣсто. Красота любви, дружбы, поэзіи, таинственнаго соотношенія между природой и человѣкомъ, радость въ наслажденіи ими, печаль при ихъ утратѣ... выступаютъ предпочтительно даже въ тѣхъ стихотвореніяхъ, которыя, ссылаясь на установленный обычай, могли бы ограничиться прославленіемъ героическихъ дѣлъ, заявленіемъ виѣшняго величія и славы. Такъ «Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ» содержитъ въ себѣ не мало мѣстъ, выражающихъ тоску объ утраченномъ счастіи (при воспоминаньѣ о Кутайсовѣ) или прелести дружбы, любви и служенія музамъ, и эти мѣста проникнуты задушевымъ

(*) Ib. 170—173; V, 316—318 и 322.

чувствомъ. Такъ въ пѣснѣ «на кончину королевы Виртембергской», не довольствуясь трогательнымъ воспоминаніемъ объ умершей, поэтъ вводитъ строфы о бѣдности нашей жизни, о гибели всего прекраснаго на земли. Обвиняють Жуковскаго, что онъ, своими заоблачными идеалами, своимъ стремленіемъ къ незримому и таинственному, наводилъ на современныхъ читателей, преимущественно на молодежь, праздную мечтательность, созерцательную коеность, не только не пригодную, но даже вредную для дѣятельной жизни. Нужно было укрѣплять наши силы въ виду борьбы, предстоящей каждому человѣку въ обществѣ—укоряли его, а онъ расслаблялъ насъ. Но такое обвиненіе, если оно и справедливо, падаетъ не на одного Жуковскаго, а на многихъ поэтовъ-идеалистовъ христіанскаго міра. Одно изъ двухъ: или надобно доказать внутреннюю несостоятельность поэтическаго идеализма вообще (что невозможно), или, видя въ немъ не случайное и фальшивое явленіе и признавъ за нимъ *sa raison d'être*, признать съ тѣмъ вмѣстѣ, что онъ настраивалъ сердце къ благороднымъ и возвышеннымъ движеніямъ, которымъ не было причины оставаться безплодными для житейскихъ дѣлъ и въ семействѣ, и въ обществѣ. Идеализмъ есть не только необходимый стадій въ развитіи поэзіи, но и необходимая, существенная ея принадлежность, безъ различія времени и народовъ. А если ужъ каждому поэту непременно слѣдуетъ быть Тиртеемъ борьбы въ жизни и для жизни, то притязательные критики могутъ успокоиться: Жуковскій также проповѣдывалъ войну — войну души съ нечистыми помыслами и дѣяніями. войну до тѣхъ поръ, пока земное, очистившись отъ всякихъ сквернъ, не примирится съ небеснымъ, пока человѣческое, завоевавъ нравственное совершенство, не вознесется въ своей побѣдѣ до божественнаго первообраза.

Господствующій тонъ въ этой душевной лирикѣ—элегическій. Причины тому двоякія: частныя и общія. Первыя намъ извѣстны: это—врожденная склонность поэта къ меланхоліи, въ соединеніи съ обстоятельствами его жизни. Что касается до вторыхъ, то онѣ указаны самимъ Жуковскимъ, который называлъ меланхолію «одною изъ самыхъ звучныхъ струнъ лиры, настроенной послѣ распространенія христіанства». «Христіанство, говоритъ онъ, открывъ намъ глубинцу нашей души, увлекло насъ въ духовное созерцаніе, соединило съ міромъ виѣшнимъ міръ таинственный, что отразилось и въ жизни дѣйствительной, и въ поэзіи» (*). И вотъ онъ постоянно обращался въ этой области: задачей его было—углубляться въ міръ внутренний, преслѣдовать душу въ ея движеніяхъ, высказывать подробно ея тайны. А для высказыванія такихъ предметовъ элегія, какъ лирика рефлексій, служитъ наиболѣе пригодною художественною формою. Элегія не ограничивается, подобно пѣснѣ, сосредоточеннымъ изліаніемъ непосредственнаго чувства; не покушается, подобно одѣ, на смѣлые образы, порождаемые сильнымъ одушевленіемъ: она свои думы и чувства выражаетъ рядомъ образовъ, состоящихъ во взаимной, внутренней связи. Основная тема ея — преходимость всего земнаго. Оба элемента ея: описаніе и размышленіе (образы и думы) равно служатъ къ достиженію цѣли, т. е. къ передачѣ читателю того чувства, которое овладѣло элегикомъ: описываемый образъ вызываетъ мысль, а высказанная мысль находитъ себѣ подтвержденіе или отраженіе въ ново-представляющемся образѣ. Естественнo-художественная смѣна одного элемента другимъ, ихъ разумное чередованіе и разнообразіе и составляютъ прелесть элегическаго рода.

(*) Соч. Ж.—го XI. 213.

Самыя лучшія, наиболѣе характеристическія произведенія Жуковскаго относятся къ этому роду. Элегіей началась его поэзія. Онъ выбралъ для перевода «Сельское кладбище» Грея, который, вмѣстѣ съ другимъ англійскимъ писателемъ XVIII вѣка, Гольдсмитомъ, сообщилъ элегіи идиллическій характеръ, безъ сомнѣнія нравившійся переводчику, какъ «любителю мирныхъ селъ». «Лѣтній вечеръ» написанъ подъ вліяніемъ той же любви къ сельскому быту. Мы не станемъ исчислять всѣхъ піесъ, характеризующихъ дѣятельность нашего поэта: о многихъ изъ нихъ уже было говорено выше. о другихъ скажемъ впослѣдствіи. Здѣсь же замѣтимъ, что элегическое чувство проникаетъ почти каждое стихотвореніе Жуковскаго, хотя бы оно и не называлось элегіей. Большая часть его пѣсенъ, романсовъ, балладъ—тѣже элегіи. Какое впечатлѣніе производятъ Ахиллъ, Алина и Альсимъ, Эолова Арфа, Жалоба Цереры? Не вырываются ли грустные жалобы даже въ стихотвореніяхъ его на торжественные случаи? и самая преходимость горя не служитъ ли источникомъ горя и поводомъ къ элегической вставкѣ въ повѣсть объ Ундиинѣ? Тяготѣніе Жуковскаго къ одному и тому же роду поэзіи обнаружилось также выборомъ образцовъ иностранной литературы для переложенія ихъ на русскій языкъ. Изъ Овидіевыхъ превращеній взялъ онъ «Цейкса и Гальціону»—изображеніе разлуки супруговъ и свиданія ихъ по смерти; изъ Месіады «Аббадону»—раскаяніе ангела и тоску его по небѣ; изъ лирическихъ поэмъ Байрона «Шильонскій узникъ»—страданія узника въ темницѣ при смерти и по смерти братьевъ; изъ Мура «Пери и Ангелъ»—стремленіе души отъ земли на небо.

Существенное содержаніе элегіи Жуковскаго намъ уже извѣстно. Скорбь объ утраченномъ идеалѣ, онѣ одною стороною обращены къ прошедшему — воспоминаніемъ, другою къ будущему—надеждой на возвратъ идеала за гробомъ. Но эта скорбь, было также замѣчено, не есть безотрадно-тяжелое, ничѣмъ неумираемое чувство: она находитъ свѣтлый для себя исходъ не только въ ожиданіи счастья за предѣлами земной жизни, но еще и на земномъ пути — въ бодромъ стремленіи къ нравственной цѣли, къ которой прежде оно совершалось вдвоемъ, въ сладости возвышенныхъ мыслей, особенно въ мысляхъ о красотѣ и величіи человѣческаго существа. Въ жалобахъ Жуковскаго нѣтъ и тѣни презрѣнія къ жизни, той горечи духа, которой проникнуты элегіи нѣкоторыхъ другихъ поэтовъ. Онѣ завершаются внутреннимъ покоемъ, благодушнымъ примиреніемъ съ природой и жизнью. О спутникахъ, которые своимъ присутствіемъ животворили для насъ міръ, онѣ говорятъ не съ печалью: *ихъ нѣтъ*, но съ благодарностію: *были* (*). Разсказъ о смерти супруги Теонъ заключаетъ восклицаніемъ: «хвала жизнедавцу-Зевесу». Такую же хвалу возноситъ богамъ Эпимесидъ, испытавшій на себѣ, какъ унылъ жребій смертнаго. Въ этомъ отношеніи, элегіи Жуковскаго представляютъ сходство съ элегіями А. Пушкина, который тоже не давалъ печали овладѣвать собою надолго и всецѣло, но существенная между ними разница въ идеяхъ и побужденіяхъ, отъ имени которыхъ внутренній раздоръ замирался.

Проявленіе поэтическаго таланта въ одномъ какомъ-нибудь родѣ поэзіи есть, конечно, односторонность, которая, однакожъ, не служитъ свидѣтельствомъ ни недостатка, ни слабости таланта: она есть свободный плодъ духа настроеннаго на одинъ ладъ, отдавашаго нераздѣльно свою любовь извѣстнымъ идеямъ и чувствамъ. Притомъ же достоинство поэта измѣряется не количествомъ и разнообразіемъ избираемыхъ имъ предметовъ, а качествомъ и силою производительности въ томъ, хотя и ограниченномъ, кругѣ, въ

(*) Соч. Ж—го IV, 52.

который онъ вошелъ по призванію и въ которомъ дѣйствовалъ, какъ истинный художникъ. Сфера мыслей и чувствъ, привлекавшихъ Жуковского, родственныхъ его душѣ и имъ самимъ пережитыхъ, раскрыта въ его произведеніяхъ со всею полнотою, во всемъ разнообразіи подробностей. Это цѣлый, изицно представленный міръ, которымъ напрасно другіе старались овладѣть съ успѣхомъ. Подражать ему при жизни было трудно, вѣдѣствіе чего никто не помнитъ стихотвореній его подражателей—Глѣбова, Мансурова, Родзянки: подражать ему по смерти было уже поздно: въ теченіи полувѣкова авторства, онъ осматрѣлъ, прочувствовалъ и изобразилъ все, что хранилось въ заветной его области. Какъ послѣ басенъ Крылова замолкла наша басня, такъ послѣ субъективной поэзіи Жуковского наступилъ окончательный застой въ томъ родѣ, которому онъ посвятилъ свой талантъ и трудъ. Дѣятели, выходящіе вонъ изъ ряда, истощая содержаніе предмета, взятаго ими на свою часть, тѣмъ самымъ какъ бы уничтожаютъ возможность новыхъ созданій въ области того же предмета.

§ 33. Основныя мысли и чувства Жуковского выражались меньшею частью его собственными сочиненіями и большею — переводами. Но онъ переводилъ преимущественно то, что своимъ содержаніемъ совпадало съ его душевною настроенностью, съ его идеальными стремленіями. «У меня, писалъ онъ Гоголю (1847), почти все чужое или по поводу чужаго—и все однако мое», т. е. заимствуемое у другихъ было вмѣстѣ его собственностью, такъ какъ постигнутое и прочувствованное оригинальнымъ авторомъ постигалось и чувствовалось имъ въ той же мѣрѣ, и находило въ немъ художественнаго воспроизводителя. Поэтому Жуковский-переводчикъ долженъ быть признанъ за самобытнаго творца; переводы его имѣютъ значеніе оригинальныхъ созданій; повсюду выступаетъ его личность, родственная чужой личности, насколько эта послѣдняя отразилась въ образцѣ. Вѣрное понятіе объ обязанности и значеніи переводчика поэтическихъ произведеній изложено Жуковскимъ въ нѣкоторыхъ критическихъ статьяхъ. Главная заслуга поставляется въ томъ, чтобы переводъ производилъ такое же дѣйствіе, какое производитъ оригиналъ; а для этого необходимо наполниться духомъ переводимаго поэта (*). «Переводчикъ-стихотворецъ есть въ нѣкоторомъ смыслѣ самъ творецъ оригинальный. Конечно, первая мысль, на которой основано знаніе стихотворное, и планъ этого знанія принадлежать не ему; но онъ остается творцемъ *выраженія*. Онъ не найдетъ выраженій оригинальнаго автора въ собственномъ своемъ языкѣ: ихъ долженъ онъ сотворить. А сотворить ихъ можетъ только тогда, когда, наполнившись идеаломъ, представляющимъ ему въ твореніи переводимаго имъ поэта, преобразить его, такъ сказать, въ созданіе собственного воображенія; когда, руководствуемый авторомъ оригинальнымъ, повторить съ начала до конца работу его генія. Но сія способность дѣйствовать одинаково съ творческимъ геніемъ не есть ли сама по себѣ ужъ творческая способность?» (**). Таже основная мысль высказана въ разборѣ басенъ Крылова: «Подражатель-стихотворецъ можетъ быть авторомъ оригинальнымъ, хоть бы онъ не написалъ и ничего собственного. Переводчикъ въ прозѣ есть рабъ, переводчикъ въ стихахъ—соперникъ. Поэтъ оригинальный воспламеняется идеаломъ, который находитъ у себя въ воображеніи; поэтъ-подражатель въ такой же степени воспламеняется образцемъ своимъ, который заступаетъ для него мѣсто идеала

(*) О переводахъ вообще и въ особенности о переводахъ въ стихахъ (В. Евр. 1810, № 3).

(**) Разборъ Крекшоповой трагедіи: «Радамистъ и Зенобія», переведенной Висковатовымъ (ib. 1810, № 22).

собственного: слѣдственно переводчикъ, уступая образцу своему палму изобрѣтательности, долженъ необходимо имѣть почти одинакое съ нимъ воображеніе, одинакое искусство слога, одинакую силу въ умѣ и чувствахъ. Скажу болѣе: подражатель, не будучи изобрѣтателемъ въ цѣломъ, долженъ имъ быть непременно по частямъ; прекрасное рѣдко переходитъ изъ одного языка въ другой, не утративъ нисколько своего совершенства: что же обязаць дѣлать переводчикъ? Находить у себя въ воображеніи такія красоты, которыя бы могли служить замѣною, слѣдовательно производить *собственное*, равно превосходное: не значить ли это быть творцемъ? и не потребно ли для того имѣть дарованіе писателя оригинальнаго?» (*).

Но изъ двухъ переводчиковъ, при равномъ ихъ дарованіи, легче тому наполниться духомъ переводимаго поэта, кто самъ одаренъ такимъ же духомъ, или ищетъ къ нему сочувствіе, нежели тому, кто, для этого наполненія, принужденъ насильственно отрѣшиться отъ своей личности; легче тому воспламениться идеаломъ оригинальнаго созданія, кому онъ родственъ и близокъ, нежели тому, кто, для воспламененія, долженъ забывать собственные идеалы. Жуковскій находился въ благопріятномъ положеніи перваго переводчика: онъ обращался большею частію къ такимъ произведеніямъ, которыми выражались мысли и чувства, бывшія его собственными идеями и чувствами; онъ, какъ говорится, бралъ «свое» вездѣ, гдѣ только находилъ его. Находилъ же онъ его всего болѣе у нѣмцевъ, извѣстныхъ своимъ поэтическимъ идеализмомъ. Съ особеннымъ чувствомъ обращался онъ къ Шиллеру, мастерски передавая тѣ его стихотворенія, въ которыхъ созерцаніе и рефлексія идутъ рука объ руку и которыя означаются именемъ «дидактической лирики». Образецъ такой лирики, проводящей чувства и образы сквозь среду мысли и знанія, представилъ самъ Жуковскій нѣкоторыми своими стихотвореніями (особенно Теономъ и Эхиномъ). Кромѣ Шиллера, онъ переводилъ Гете, Уланда, Бюргера, Гебеля, Зейдлица, Матисона, Клопштока и другихъ, а изъ англійскихъ — Грея, Саути, Вальтеръ-Скотта, Байрона, Мура... Не всѣ его переводы изъ этихъ и изъ другихъ писателей были вызваны потребностью передать, на родной рѣчи, что жило въ его собственной душѣ, какъ неизмѣнный идеаль, и въ чемъ заключается характеристическая особенность его поэзіи. Кругъ его дѣятельности по этому предмету очень обширенъ: труды его образуютъ значительный по объему и художественный по выполненію отдѣлъ нашей переводной изящной литературы. Переводы представляютъ образецъ вѣрности какъ внѣшней (по формѣ и выраженію), такъ и внутренней (по духу, идеѣ и тону). Нельзя, конечно, отрицать, чтобы на нѣкоторыхъ переводахъ не отражалась личность нашего поэта; но, вообще говоря, имя Жуковского, какъ переводчика, справедливо сдѣлалось представителемъ искусства овладѣвать духомъ разнообразныхъ поэтическихъ явленій, разныхъ временъ и народовъ, мастерски выражать ихъ на отечественномъ языкѣ, и такимъ образомъ производить переводами то самое впечатлѣніе, какое производится подлинниками. Подобная заслуга останется навсегда памятною. Доставляя соотечественникамъ наслажденіе изящнымъ, Жуковскій, какъ мы сказали въ самомъ началѣ нашего о немъ сужденія, расширялъ нашъ поэтический горизонтъ знакомствомъ съ лучшими созданіями нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ и тѣмъ показывалъ, что французскій классицизмъ — не единственная въ мірѣ поэзія, но что есть многое кромѣ его и выше его, т. е. ближе къ истинному существу поэзіи. Переводы Жуковского оказывали и оказываютъ также большую пользу въ отношеніи

(*) В Евр. 1809, № 9.

педагогическомъ: по разнообразному выбору и художественному достоинству они служатъ, въ нашемъ учебномъ мѣстѣ, необходимымъ пособіемъ при изученіи такъ называемой теоріи поэзіи. Преподаватель найдетъ въ нихъ образцы очень многихъ, если не всѣхъ поэтическихъ родовъ и видовъ. Для знакомства съ древнимъ эпосомъ — греческимъ, индѣйскимъ, персидскимъ, — онъ изберетъ «Одиссею», «Наля и Дамаянти», «Рустема и Зораба»; для знакомства съ средневѣковымъ — «романсы о Сидѣ», а съ комическимъ — «Войну мышей и лягушекъ». «Орлеанская Дѣва» представитъ ему примѣръ романтической драмы, а «Ундина» — примѣръ романтической повѣсти. О лирикѣ и говорить нечего: онъ найдетъ почти всѣ ея формы — оду, гимнъ, пѣсню, элегію, балладу.... Безъ всякой опасности, но всегда съ выгодой можетъ онъ, въ подкрѣпленіе своихъ уроковъ или для вывода научныхъ положеній, читать и разбирать съ воспитанниками сочиненія Жуковского, которыя если и не всегда окажутся вполнѣ вѣрными подлинникамъ, то всегда дадутъ учащимся превосходный образецъ поэтическихъ представленій, изящнаго стиха и языка.

§ 34. Исторія нашей литературы обыкновенно поставляла заслугу Жуковского въ томъ, что онъ ввелъ къ намъ романтизмъ. Этими словами выражался взглядъ литераторовъ и образованныхъ читателей на характеръ его поэзіи. При пересмотрѣ установившагося понятія возникли сомнѣнія въ его справедливости. Г. Шевыревъ, сначала самъ думавшій одинаково съ современниками поэта, потомъ отступился отъ нихъ. Изъ всѣхъ признаковъ романтизма, какъ одного изъ самыхъ неопредѣленныхъ предметовъ, онъ признаетъ за Жуковскимъ единственно — его «особенную любовь къ средневѣковымъ рыцарскимъ преданіямъ, стремленіе его фантазіи въ мечтательный міръ замковъ, мертвецовъ, привидѣній и демоновъ» (*). Однакожъ современные отзывы, страдая нерѣдко односторонностью или неточностью, почти всегда заключаютъ въ себѣ извѣстную долю правды. Было же какое-нибудь основаніе, почему Жуковского записали въ романтики. А если мнѣніе о немъ сложилось вопреки истинѣ, то гдѣ тому причина?

Жуковскій самъ причислялъ себя къ романтикамъ. Въ предисловіи къ переводу Одиссеи (1848), имъ положительно заявлено, что онъ «изъ мечтателя романтика сдѣлался трезвымъ классикомъ»; а въ письмѣ къ Стурдзѣ (1849) онъ называетъ себя «родителемъ на Руси *нѣмецкаго романтизма* и поэтическимъ дядькою чертей и вѣдьмъ нѣмецкихъ и англійскихъ» (**). Какой смыслъ, въ этихъ выраженіяхъ, придавалъ онъ понятіямъ «романтикъ» и «романтизмъ»? Не стѣснялъ ли онъ объемъ ихъ, присоединяя къ одному признаку «мечтательности», а къ другому — признаку «нѣмчизны»? Шлегели разумѣли подъ романтизмомъ поэзію ново-христіанскихъ народовъ, въ отличіе отъ древне-классической. Жуковскій думалъ почти также, по крайней мѣрѣ относительно лирики, сказавъ, какъ мы уже знаемъ, что «меланхолія есть одна изъ самыхъ звучныхъ струнъ *романтической* лиры, т. е. лиры, настроенной послѣ распространенія христіанства» (***). Сводъ приведенныхъ мѣстъ показываетъ, что Жуковскій противопоставлялъ свою поэзію — съ одной стороны древнеклассицизму, не знавшему меланхоліи въ томъ смыслѣ, какой она получила со введеніемъ христіанства, а съ другой — классицизму французскому, думавшему возстановить поэзію Грековъ и Римлянъ. До Жуковского не было у насъ той сферы поэзіи, которая отличается

(*) О значеніи Жуковского въ русской жизни и поэзіи (стр. 35—37).

(**) Соч. Ж.—го XIII, 252.

(***) Ib. XI, 212—213.

идеальными стремленіями къ таинственному; онъ первый далъ намъ образцы ново-христіанской поэзіи, какъ она явилась въ произведеніяхъ нѣмецкой музы извѣстной школы. Эта школа—Шиллеро-Гетевская или Гете-Шиллеровская, а не собственно-романтическая, имѣвшая своими главными представителями Фридриха Шлегеля и Тика: послѣдняя не пользовалась сочувствіемъ Жуковского, который только переложилъ Уиндну (Ламотъ-Фуке) русскими стихами. Возникнувъ подлѣ Шиллера и Гете, романтическая школа нѣкоторое время стояла на одной съ ними почвѣ, но потомъ не только отрѣшилась отъ нихъ, но и выказала враждебное къ нимъ отношеніе. Обѣ школы сходятъ между собою идеалистической основой: ихъ творчество вытекало не изъ современныхъ побужденій, а вопреки современности, пошлой, недостойной поэтического воспроизведенія. Существенное же между ними различіе опредѣлилось различными путями, выбранными тою и другою для достиженія цѣли: Шиллеръ и Гете, избѣгая *своей* дѣйствительности, не отрицали дѣйствительности *вообще*; романтики, напротивъ, въ негодованіи на пошлость окружающей среды, совершенно покинули дѣйствительность, не старались воспроизводить ее, но при помощи воображенія вступили съ нею въ борьбу. Такимъ образомъ идеализмъ Шиллера и Гете обратился у романтиковъ въ фантастику и мистику. Нѣкоторые историки романтической школы ведутъ ея начало отъ Фихте и Шеллинга, доказывая, что романтики поэтически представляли то самое, что философы выводили логически и метафизически; что первый изъ этихъ философовъ открылъ путь къ романтической ироніи, а второй—къ романтической мистикѣ и романтическому одухотворенію природы (*). Не мѣшаетъ замѣтить, что и у насъ журнальная критика находила соотвѣтственность между романтизмомъ и трансцендентальной философіей нѣмцевъ. Въ статьяхъ Снядецкого, профессора виленскаго университета: «о твореніяхъ классическихъ и романтическихъ», сказано между прочимъ слѣдующее: «Когда вбили себѣ въ голову, что душа имѣетъ какую-то тайную силу безпредѣльнаго видѣнія, что она имѣетъ врожденные идеи и знанія, тогда языкъ обыкновенный уже не могъ служить для предметовъ, чувствамъ не подлежащихъ, и потому изобрѣтенъ языкъ мистическій. Все дѣло, въ новой философіи, состояло въ откровеніяхъ, какія получаетъ душа, отъ чувствъ отдѣленная. Для того метафизики ищутъ путей къ симъ откровеніямъ, а литераторы въ откровеніяхъ ищутъ новыхъ красоть» (**).

И такъ Жуковский можетъ быть названъ романтикомъ, но только не въ томъ смыслѣ этого слова, какой оно имѣетъ въ исторіи *собственно-романтической* нѣмецкой поэзіи, а въ двухъ другихъ значеніяхъ. Онъ романтикъ, какъ все поэты христіанскаго міра, и преимущественно, какъ поэты школы Шиллера, парившаго надъ жизнью своими идеалами; онъ романтикъ и потому, что лучшія его стихотворенія, какъ переводныя, такъ и оригинальныя, отступали отъ правилъ французскаго классицизма: въ этомъ послѣднемъ значеніи и Пушкина, какъ увидимъ, называли новымъ романтикомъ, основателемъ ново-романтической русской поэзіи.

§ 35. Какъ и всякое новое направленіе, идеализмъ Жуковского служилъ предметомъ сатиры и критики со стороны направленія, до него господствовавшего, т. е. французско-классическаго. Одна эпиграмма удачно выразила широкій разливъ модной поэзіи, получившей названіе романтизма:

(*) Hettner. Die romantische Schule.

(**) В. Евр 1819, №№ 7 и 8.

Во всемъ вліяніе чудесной вижу моды:
Сначала громкія у насъ гремѣли оды,
Потомъ мы *ахамъ*, а нынѣ всѣ толпой
Летимъ въ туманну даль, съ отцовъшею душой (*)

Авторъ вѣрно обозначилъ послѣдовательность поэтическихъ явленій въ исторіи нашей поэзіи: торжественная лирика, сентиментализмъ и идеальная мечтательность. Что касается до послѣдняго явленія, то здѣсь надобно различать дѣятельность Жуковского отъ дѣятельности его слабосильныхъ подражателей. Первая казалась опасною, какъ беззаконная новость въ сферѣ искусства; вторая возбуждала недовольство злоупотребленіями повизны. Противодѣйствіе Жуковскому основывалось на уваженіи къ старому, которое, для большинства записныхъ литераторовъ, было единственно изящно; противодѣйствіе подражателямъ Жуковского происходило частію отъ того, что въ подражаніяхъ выказывались крайности романтизма, а крайности всегда смѣшны, и частію отъ того, что противодѣйствующіе замѣчали въ новомъ поэтическомъ направленіи только слабую его сторону, не видя стороны существенно-хорошей. «Что такое романтическая поэзія?—Думаю, что романтическою поэзіею, которую противопоставляютъ обыкновенно классической, называются стихотворенія, написанныя безъ всякихъ правилъ, утвержденныхъ вѣками и основанныхъ на истинномъ вкусѣ» (**). Такъ рѣшали вопросъ современники Жуковского. Рѣшеніе показываетъ, что съ понятіемъ о романтизмѣ соединяли понятіе о неправильности и безвкусіи. Упомянутая статья Снядецкаго написана съ цѣлью удержать юношество отъ пристрастія къ литературнымъ порокамъ нѣмцевъ и отъ подражанія онымъ. Сказавъ мимоходомъ, что романтическій родъ состоитъ въ жалобныхъ воспоминаніяхъ, въ тоскѣ сердца по минувшемъ, или въ возобновленіи тѣхъ событій, которыми люди занимались во времена рыцарства, авторъ разсматриваетъ вредъ, причиняемый этою поэзіею словесности и просвѣщенію: она вредитъ неуваженіемъ правилъ искусства, изысканіемъ красотъ за предѣлами надлежащей умеренности, изысканіемъ какъ бы новыхъ средствъ забавлять и научать насъ. Въ моемъ понятіи (положительно объявляетъ Снядецкій), все то называется классическимъ, что сходно съ правилами поэзіи, предписанными для французовъ Боало, для всѣхъ образованныхъ народовъ Гораціемъ; романтическимъ же—все то, что не повинуется этимъ правиламъ.

Ясно, что выходки противъ романтической поэзіи дѣлались отъ имени классицизма и въ защиту его устава, почитавшагося непреложнымъ руководствомъ къ правильному творчеству и истинному вкусу. Любовью къ литературѣ, подъ которою разумѣли только классицизмъ, объясняется поступокъ Мерзлякова съ Жуковскимъ, его короткимъ пріятелемъ. Въ одно изъ засѣданій Московскаго общества любителей русской словесности (1818) Мерзляковъ прочелъ будто бы полученное имъ изъ Сибири, а на самомъ дѣлѣ имъ сочиненное письмо о гексаметрахъ и другихъ предметахъ словесности. Письмо прочтено было въ присутствіи Жуковского и многочисленной публики: оно указывало на балладу «Адельстанъ», какъ на злоупотребленіе поэзіи, и на разказы: «Красный карбуикуль» и «Овсяный кисель», какъ на злоупотребленіе гексаметра (***)

(*) Вѣст. Евр. 1821, № 1. Выраженіе «туманная даль» часто встрѣчается въ стихахъ Жуковского.

(**) Отрывки изъ моего журнала. Встрѣча съ пріятелемъ не—литераторомъ. Соч. Жителя Васильевскаго Острова (Благон. 1823, № 13).

(***) Письмо нап. въ Трудахъ общества ч. XI.

Замѣтимъ, что противники романтизма не совсѣмъ были согласны въ своихъ о немъ понятіяхъ и даже смѣшивали его съ другими предметами. Отъ неяснаго понятія объ этомъ происходило соединеніе подъ однимъ знаменемъ разнородныхъ поэтовъ; отсюда же происходило и то, что одни всею силою напирали на содержаніе романтическихъ піесъ, тогда какъ другіе ратовали противъ словъ: тамъ не нравились «туманность» и «таинственность чувства или мысли»: здѣсь не нравились только выраженія «туманный» и «таинственный». Раздѣляя нашихъ переводчиковъ на тевтоно-россовъ и британо-россовъ, одна сатирическая статья иронически поставляетъ для переводовъ три правила: первое—переводить стихи размѣромъ подлинника, дабы не разрушить романтическую сладость стиха, и не думать о правилахъ стихосложенія, приличнаго нашему языку; второе—какъ можно чаще употреблять нѣкоторыя слова и выраженія, составляющія условныя красоты романтической поэзіи (напр. бывшее, туманная жизнь, глаза не зря смотрящія, уста безъ словъ говорящія и т. п.); третье—стараться о сохраненіи безпорядка мыслей, таинственности, запутанности и непонятности. «Къ чему въ поэзіи философскія и богословскія тонкости»? спрашиваетъ Благонамѣренный по случаю одной піесы, написанной въ романтическомъ духѣ. «Это почти тоже, что перекладывать математику въ стихи, изъ которыхъ никто не станетъ ей учиться. Нѣмецкіе писатели первые ввели въ стихотворство мистику; но нѣмцы не во всемъ могутъ быть образцами».

Изъ видовъ лирики Жуковского, наиболѣе подвергались сатирѣ баллады и элегіи: первыя за фантастическій элементъ, вторыя за духъ унынія, разливавшійся въ нашей поэзіи. Первый образецъ баллады, какъ такого стихотворенія, введеніе и обработка котораго у насъ справедливо приписываются Жуковскому, былъ данъ даровитымъ литераторомъ Каменевымъ (1772—1803), хорошо знавшимъ нѣмецкую литературу. Его піеса «Громваль» (1802) стояла въ ряду избранныхъ сочиненій, отличаясь какъ содержаніемъ и тономъ, такъ и искусно выдержаннымъ метромъ. Значеніе ея указано слѣдующими словами А. Пушкина: «Каменевъ первый въ Россіи осмѣлился отступить отъ классицизма; мы, русскіе романтики, должны принести должную дань его памяти» (*). Но «Громваль», какъ одинокое, исключительное явленіе, не вызвалъ подражаній: они начались съ «Людмилы» Жуковского, и какъ сначала самъ нововводитель, такъ впослѣдствіи его подражатели подвергались то серьезному осужденію, то сатирическимъ насмѣшкамъ. Примѣръ перваго мы видѣли въ «Письмѣ изъ Сибири»; примѣры вторыхъ очень часто встрѣчаются въ современныхъ журналахъ. Авторъ «Чувствительнаго путешествія по Невскому Проспекту» (Яковлевъ) иронически признается, что читать свои первые литературные опыты также страшно, какъ слушать баллады смѣлыхъ подражателей Жуковского. «Ужасъ обнимаетъ меня», восклицаетъ редакторъ одного журнала, почитавшій святотатствомъ нарушеніе правилъ Горація и Буало, «когда подумаю, что надѣлали новѣйшіе преобразователи. Посмотрите на нашъ Парнасъ. Это кладбище, гдѣ являются черепы, кости, полуразвалившіяся гробницы и кресты могильные; гдѣ бродятъ духи, привидѣнія, мертвецы въ саванахъ и безъ савановъ, гдѣ слышны крики врановъ, шипѣніе змѣй, вой волковъ».

Съ другой стороны производились нападки на элегіи. Ихъ обвиняли за возбужденіе въ душѣ читателей унылости и разочарованія, смѣнившихъ бодрое и свѣтлое воззрѣніе на людей и природу. Въ «посланіи къ Богдановичу», Баратынскій противопоставляетъ

(*) Ист. Христ. II, 72—80.

игривую шутку автора «Душеньки» мрачнымъ думамъ новыхъ стихотворцевъ. Въкъ Екатерины, говоритъ онъ, былъ въкомъ торжество и радостныхъ событій, одушевлявшихъ нашу лиру; теперь же все мараки ударились

..... въ задумчивыя враки,
У всехъ уныніемъ одѣлося чело.
Душа увянула и сердце отцвѣло.

Виною такого лирическаго настроенія Баратынскій почитаетъ Жуковского:

Жуковский виноватъ: онъ первый между нами
Вошелъ въ содружество съ нѣмецкими пѣвцами.
И сталъ передавать, забывши божій страхъ,
Жизнехуленіе ихъ въ плѣнительныхъ стихахъ.

Пародія на элегическія піесы, подъ названіемъ: «Увы и ахъ, прозаическая галиматья», помѣщенная въ «Благонамѣренномъ» 1822, была перепечатана того же года въ «Вѣстникѣ Европы», не питавшемъ никакого сочувствія къ нѣмецкому романтизму. Последний журналъ часто жаловался на размноженіе стихотвореній этого рода. «Элегія», говоритъ онъ, «любимый родъ нынѣшнихъ писателей. Подумаешь, что эти господа—несчастнѣйшіе люди подъ луною: еженедѣльно теряютъ по возлюбленной, еженедѣльно измѣняютъ имъ коварные друзья, радости вянутъ, мечты улетаютъ, и они, разочарованные опытомъ, проводятъ жизнь свою въ монотонныхъ воспоминаніяхъ о времени протекшемъ, жалуются на надежду обольстительницу и стонутъ какъ сизые голубочки. Да уврачуешь благотѣльное время ихъ сердечныя горести! Читатели молятся о нихъ». Видимо, читатель преслѣдовалъ зѣбсь ложь чувства, напущенную печаль, пѣвшую съ голоса Жуковского. Не мало, конечно, являлось стихотворцевъ, которымъ не надобно ни писать, ни жить, которымъ изъ чужихъ рукъ были знакомы—это желаніе чего-то роднаго, понятнаго душѣ, но таинственнаго, это упоительное наслажденіе въ мечтахъ о ней и проч., и пр.: ихъ-то Баратынскій назвалъ «пѣвцами задумчивыхъ вракъ» (*).

§ 36. Красота внѣшней формы въ произведеніяхъ Жуковского соотвѣтствуетъ достоинству ихъ содержанія. Его стихъ и проза выказываютъ какъ глубокое знаніе русскаго языка, такъ и свободное, вполне артистическое умѣнье владѣть имъ.

Особенно важенъ его стихъ, составляющій замѣчательную эпоху въ исторіи нашего стихосложенія. По двумъ періодамъ поэтической дѣятельности Жуковского, онъ представляетъ два отличія: первое выказалось въ такъ называемыхъ романтическихъ піесахъ; второе преимущественно обнаружилась съ того времени, когда Жуковский, говоря его словами, изъ мечтателя-романтика сдѣлался классикомъ.

Въ піесахъ перваго рода, стихъ Жуковского отличается главнѣйшимъ образомъ легкостью и музыкальностью. По выраженію Гоголя, онъ «бездѣлестенъ, какъ видѣніе», «порхаетъ, какъ неясный звукъ Эоловой арфы». Ни одинъ русскій писатель не употреблялъ до Жуковского столь разнообразныхъ стихотворныхъ размѣровъ: онъ первый ввелъ ихъ въ нашу метрику и водворилъ въ ней навсегда: каждый его опытъ по этому дѣлу былъ въ то же время изящнымъ образцомъ. Замѣтивъ монотонность хореевъ съ дактилическими окончаніями, которыми Карамзинъ, въ подражаніе народнымъ пѣснямъ, написалъ «Илью Муромца», онъ употреблялъ эти окончанія черезъ стихъ, отъ чего

(*) См. мою третью статью объ А. Измайловѣ (Современникъ 1850, № XI).

они получили особенную гармонию (въ монологѣ Юанны д'Аркъ: «ахъ, почто за метъ вопиственный»). Драма: «Орлеанская Дѣва» переведена пятистопными ямбами, что было въ то время новизной. Въ «Шильонскомъ узникѣ» одиѣ мужескія римы, которыя, однако, не утомляютъ читателя монотонностью, а еще усиливаютъ выраженіе чувства. Въ балладѣ «Замокъ Смальгольмъ» чередуется трехстопный и четырехстопный анапестъ, на который рѣдко покушались наши стихотворцы, какъ на тяжелый размѣръ. Къ гексаметру обращался поэтъ не изъ желанія избѣгнуть шестистопнаго ямба, а по внутреннему соотвѣтствію его эпическому стилю. Благозвучіе стиха, доведенное до совершенства, не исключаетъ другаго его свойства—изобразительности, которая является всегда, гдѣ нужно, почему Баратынскій имѣлъ право назвать Жуковского «живописнымъ». Этотъ эпитетъ не прилагается, конечно, къ лирикѣ, выражающей чувство чего-либо неопредѣленнаго, туманнаго и таинственнаго: въ подобныхъ піесахъ—стихи, говоря словами Гоголя, слышны какъ «неясные звуки Золовой арфы». Но когда надобно представить картину природы, или ясный ходъ событія, или ясно заявленное чувство, тогда и стихотворная рѣчь Жуковского становится картинною. Примѣровъ его искусства въ этомъ отношеніи не приводимъ, такъ какъ они встрѣчаются весьма часто.

Въ произведеніяхъ Жуковского, относящихся ко второму періоду, преимущественно начиная съ перевода Одиссеи, стихъ отличается крѣпостью, мужественностью, пластичностью. Вездѣ господствуетъ ровное, спокойно-эпическое одушевленіе; вездѣ видна забота о ясномъ и точномъ выраженіи, свободномъ отъ искусственныхъ выраженій. Последнее время поэтъ даже разнакомился съ римой. Простота формы становится его идеаломъ. Съ стихотворнымъ размѣромъ онъ старался и умѣлъ согласовать безыскусственность прозы, такъ что вольный разговоръ нисколько не стѣнялся необходимостію укладывать слова въ стопы. Любимыми метрами Жуковского сдѣлались ямбы безъ римы и сказочный гексаметръ, отличный отъ гексаметра гомерическаго. Этотъ слогъ, по разсужденію творца его, долженъ былъ составлять средину между стихами и прозой, т. е., не смотря на затрудненіе метра, литься непринужденною рѣчью. Но такая «проза въ стихахъ», если дозволено такъ выразиться, не одно и тоже съ «стихомъ прозаическимъ», равно какъ «кадансированная проза» не одно и тоже съ «прозой поэтической».

Такимъ образомъ въ стихѣ Жуковского мы видимъ оба художественныя свойства рѣчи: музыкальность и изобразительность, возведенныя талантомъ и мастерствомъ поэта на высокую степень достоинства.

Проза Жуковского, въ главныхъ своихъ формахъ, не разнится отъ прозы Карамзина, особенно въ первыхъ сочиненіяхъ. Но Жуковский, говорили, внесъ въ прозаическій языкъ стихій языка стихотворнаго, сообщилъ ему поэтической колоритъ. Это отличіе не составляетъ, однакожъ, существенной особенности: оно естественно происходило отъ того настроенія, которое водило перомъ автора; другими словами: Жуковский былъ поэтомъ и въ то время, когда выражался прозой, а не языкомъ боговъ. Для примѣра укажемъ на разсужденіе: «Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ?» или на аллегорическую піесу «Три сестры», или наконецъ на «Воспоминаніе о торжествѣ 1834 г.» Въ первомъ сочиненіи авторъ находился подъ вліяніемъ своего идеала, истину котораго хотѣлось ему доказать; во второмъ, онъ олицетворялъ три времени—прошедшее, настоящее и будущее, отдавъ видимое сочувствіе прошедшему, воспоминанію; въ третьемъ, всѣ обстоятельства, предшествовавшія

торжеству и его сопровождавшія, равно какъ и памятникъ, служившій ему предметомъ, получили въ умѣ и воображеніи автора высокую знаменательность: они изображали ему судьбу Россіи въ минувшемъ, и ея назначеніе въ современномъ и будущемъ. Поэтически возбужденный авторъ долженъ былъ выражаться какъ поэтъ, и не могъ выражаться иначе. Съ теченіемъ времени этотъ «поэтический цвѣтъ», которымъ окрасилась его проза, сталъ исчезать. Она подверглась одинаковой перемѣнѣ со стихомъ, т. е. сдѣлалась простою, ясною, точно передающею мысли и воззрѣнія автора. Свидѣтельствами прозаической безыскусственности служатъ, между прочимъ: «Письма къ Гоголю», «О меланхоліи въ жизни и поэзіи», «Объ изящномъ искусствѣ» и другія статьи послѣднихъ лѣтъ Жуковского, вошедшія въ послѣдніе томы собранія его сочиненій.

§ 37. Съ дѣятельностью Жуковского связывается исторія литературнаго общества «Арзамасъ», возникшаго въ противодѣйствіе «Бесѣдѣ любителей русскаго слова» и существовавшего не болѣе трехъ лѣтъ (1815—1818). Онъ былъ однимъ изъ усерднѣйшихъ его членовъ вмѣстѣ съ Д. В. Дашковымъ и Д. Н. Блудовымъ: послѣднему принадлежитъ первая мысль объ основаніи общества.

«Арзамасъ» образовался частію изъ тѣхъ лицъ, которыя въ спорѣ о старомъ и новомъ слогѣ приняли сторону послѣдняго, и частію изъ другихъ, болѣе молодыхъ литераторовъ, хотя и не участвовавшихъ въ спорѣ, но развивавшихъ свой вкусъ къ словесности подъ вліяніемъ Карамзинской реформы. Всѣ они, признавая Карамзина своимъ вождемъ, были связаны между собою единствомъ симпатій и мыслей, и многіе изъ нихъ, по талантамъ, свѣдѣніямъ и просвѣщенной дѣятельности, принадлежали къ передовымъ людямъ своего времени. Литературныя мнѣнія свои они заявляли сначала въ «Цвѣтникѣ» (1809—1810), а потомъ въ «Санктпетербургскомъ Вѣстникѣ» (1812). Но какъ журнальные голоса, вызываемые случаемъ и являясь только отъ времени до времени, не замѣняютъ постоянного общенія людей единомысленныхъ, то чувствовалась надобность въ правильной организаціи взаимнаго обмѣна взглядовъ и понятій, обмѣна лицомъ къ лицу, въ живой устной рѣчи. Чтобы удовлетворить такой потребности, задумано было устроить особый литературный кружокъ. Вѣншиимъ поводомъ къ его устройству послужила комедія кн. Шаховскаго: «Урокъ кокеткамъ или Липецкія воды» (1815). Осмѣявъ сентиментализмъ въ «Новомъ Стернѣ», комикъ желалъ поглумиться надъ балладами, какъ моднымъ поэтическимъ видомъ, и вывелъ въ «Липецкихъ водахъ» балладника Фіалкина. Самъ Жуковскій хладнокровно отнесся къ поступку автора, «не любившаго авторовъ»; но друзья его не могли хранить молчанія: они осыпали Шаховскаго эниграммами и сатирами (*). Подражая французской шуткѣ: «*Vision de l'abbé Morrelet*» (1760), написанной по поводу комедіи Палиссо: «*Les philosophes*», въ которой осмѣяны энциклопедисты и Руссо, Д. Н. Блудовъ сочинилъ: «Видѣніе въ Арзамасскомъ трактирѣ, изданное обществомъ ученыхъ людей», съ эпиграфомъ: «*le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable*». Это—сонный бредъ какого-то проѣзжаго, остановившагося въ Арзамасскомъ трактирѣ, куда по назначеннымъ днямъ собиралось общество друзей литературы. Проѣзжій—авторъ «Липецкихъ водъ». Славяно-рускимъ языкомъ онъ рассказываетъ о Словесницѣ (Бесѣдѣ) и нѣкоторыхъ ея членахъ: Мѣшковѣ (Шишковѣ), Барабановѣ (Карабановѣ

(*) Ист. Хр. II, 418—419.

двухъ Хлыстовыхъ (Хвостовыхъ: гр. Д. Н. Хвостовъ, извѣстномъ метромантъ, и А. С. Хвостовъ, славившемся остроуміемъ). Мѣстомъ дѣйствія выбранъ Арзамасъ по той причинѣ, что за нѣсколько до того лѣтъ воспитанникъ Академіи Художествъ Ступинъ основалъ въ своемъ родномъ городѣ Арзамасѣ школу живописи. Д. Н. Блудовъ и его пріятели находили забавнымъ, что уѣздный городъ нижегородской губерніи, извѣстный гусями, прославится со временемъ и живописью, такъ что нѣкогда будутъ говорить: «арзамасская школа живописи», какъ говорятъ: школа венеціанская, болонская и другія. Посему и было положено новообразующійся литературный кружокъ назвать въ шутку Арзамасскимъ обществомъ ученыхъ людей, Арзамасской академіей, или просто «Арзамасомъ».

Имѣя главною цѣлію смѣяться надъ литературными старовѣрами, «Арзамасъ», по своему устройству и характеру, былъ совершенною противоположностью «Бесѣды». Какъ засѣданія «Бесѣды» отличались степенностью и чинною важностью, такъ на сходкахъ Арзамаса постоянно господствовали веселая шутка и пародія. Не дѣлился онъ на разряды, словно на департаменты, но каждый членъ титуловался одинакимъ образомъ: «его превосходительство геній Арзамаса». Поступающему въ общество давалось имя изъ балладъ Жуковского, иногда по какому-нибудь сходству, виѣшнему или внутреннему, а иногда, на оборотъ, по отсутствію всякаго сходства. Вотъ списокъ Арзамасцевъ съ ихъ балладными прозвищами: К. Н. Батюшковъ (Ахиллъ), Д. Н. Блудовъ (Кассандра), Ф. Ф. Вигель (Ивиковъ журавль), А. Ф. Воейковъ (Дымная печурка), кн. П. А. Вяземскій (Асмодей), Д. В. Давыдовъ (Армянинъ), Д. В. Дашковъ (Чу!), С. П. Жихаревъ (Громобой), Жуковскій (Свѣтлана), Д. А. Кавелинъ (Пустынникъ), М. Ф. Орловъ (Рейнъ), А. А. Плещеевъ (Черный вранъ), П. П. Полетика (Очарованный чельнъ), А. С. Пушкинъ (Сверчокъ), В. Л. Пушкинъ (Вотъ), Д. П. Свѣринъ (Рѣзвый котъ), А. П. Тургеневъ (Эолова арфа), Н. П. Тургеневъ (Варвикъ), С. С. Уваровъ (Старушка). Сверхъ этого, такъ сказать, штатнаго состава общества, нѣкоторые лица выбирались въ почетные или прирожденные его члены: главнымъ изъ нихъ былъ Карамзинъ. Принятіе сопровождалось иногда символическими обрядами, указывавшими на сторонниковъ Бесѣды, въ особенности на кн. Шаховскаго и его сочиненія. Можно видѣть въ этой обрядности и пародію на посвященіе въ масонство, къ которому арзамасцы относились отрицательно, почитая его явленіемъ несовмѣстнымъ съ истинною цивилизаціей. Извѣстно, что современная масонская именитость, Лабзинъ, не пользовался ихъ расположеніемъ. Санктпетербургскій Вѣстникъ подвергъ строгой критикѣ переведенное имъ сочиненіе Эккартегаузена: «о фосфорной кислотѣ» (1811), какъ противорѣчащее положительной наукѣ, которая приносится въ жертву фантазіи.

Занятія общества представляли оригинальную особенность. Въ уставѣ его, написанномъ Блудовымъ и Жуковскимъ, сказано: «По примѣру всѣхъ другихъ обществъ, каждому нововступающему члену Арзамаса надлежало бы читать похвальную рѣчь своему покойному предшественнику, но всѣ члены новаго Арзамаса *безсмертны*, и потому, за неимѣніемъ собственныхъ готовыхъ покойниковъ, ново-арзамасцы (въ доказательство благороднаго своего безпристрастія и еще болѣе въ доказательство, что ненависть ихъ не простирается за предѣлы гроба) положили брать на прокатъ покойниковъ между халдеями (*) Бесѣды и Академіи, дабы воздавать имъ по дѣламъ ихъ,

(*) Такъ Карамзинисты называли членовъ Бесѣды и Россійской Академіи.

не дожидаясь потомства». Это значило «похоронить» бесѣдиста или академика: эти лица почти не различались, такъ какъ, съ назначеніемъ Шишкова президентомъ Россійской Академіи, членами ея сдѣлались многіе члены Бесѣды. На панегирикъ, произнесенный тому или другому халдею, отвѣчалъ очередной председатель, еженедѣльно мѣнявшійся: въ привѣтствіи своемъ онъ искусно мѣшалъ похвалы новоарзамасцу съ похвалами усоншему. Такъ графъ Блудовъ чествовалъ Захарова, председателя въ четвертомъ разрядѣ «Бесѣды», автора «Похвалы женамъ»,—сочиненія, обильнаго разными дикостями. Жуковскій прославилъ графа Хвостова, «избранныя притчи» котораго (1802) дали богатый матеріалъ оратору. Жихаревъ, бывшій прежде сотрудникомъ «Бесѣды», долженъ былъ отпѣвать самъ себя. Какъ рѣчи, такъ отвѣты на нихъ и протоколы, веденные Жуковскимъ въ гексаметрахъ, при серьезно-торжественномъ тонѣ, были содержанія комическаго и весьма часто пропитывались намѣренной безумицей, какъ такимъ родомъ выраженія, который прямо отвѣчалъ литературному значенію восхваляемыхъ «живыхъ покойниковъ» (*). Ихъ можно назвать какъ бы рапсодіями о членахъ Бесѣды, матеріалами для ирон-комической поэмы, о которой подумывалъ Жуковскій, замѣчая при каждомъ странномъ явленіи въ дѣятельности шишкостовъ: «ей, быть Бесѣдіадѣ».

Нѣкоторые арзамасцы (М. О. Орловъ и Н. П. Тургеневъ) находили занятія своего общества односторонними и несерьезными, и потому желали расширить кругъ его дѣятельности, вырвавъ ее изъ области пародіи и смѣха. При вступленіи въ Арзамасъ, Орловъ, вмѣсто того, чтобы, по заведенному обычаю, восхвалить въ пародическомъ стилѣ какого-нибудь бесѣдиста, произнесъ рѣчь, въ которой выразилъ своимъ сочленамъ, какъ недостойно людей умныхъ и образованныхъ тратить время на пустые литературные споры, когда ихъ отечество представляетъ обширное поле для просвѣщенныхъ дѣйствій въ пользу общества. На первый разъ, онъ предложилъ изданіе журнала, который оглашалъ бы не однѣ литературныя идеи, но и другія, остающіяся въ тайнѣ или ходящія въ оборотѣ только между арзамасцами. По одному свидѣтельству, это предложеніе было отклонено, изъ боязни измѣнить первообытный характеръ кружка введеніемъ въ него новыхъ элементовъ; по другому, была отвергнута только программа журнала, предложенная Орловымъ, какъ слишкомъ обширная, выступавшая за предѣлы чистой словесности, и принята другая, составленная гр. Блудовымъ. Есть извѣстіе, что для преднамѣремаго изданія было уже заготовлено нѣсколько статей, напримѣръ: гр. Блудова «о русскихъ пословицахъ», гр. Уварова и Батюшкова — «о греческой Антологіи», напечатанная потомъ отдѣльно въ 1820 г. Графъ Каподистрія, занимавшій важное мѣсто между тогдашними политиками, обѣщалъ доставлять редакціи политическія статьи и свѣдѣнія о ходѣ европейскихъ дѣлъ. Но предположеніе не осуществилось главнѣйшимъ образомъ потому, что самые ревностные арзамасцы, занятые службою, не могли удѣлять время литературѣ: гр. Блудовъ, назначенный (1818) совѣтникомъ посольства въ Лондонъ, оставилъ Петербургъ; Дашковъ отправился въ Константинополь, гдѣ состоялъ также при посольствѣ; Жуковскій былъ приглашенъ ко Двору преподавать русскую словесность в. к. Александрѣ Федоровичѣ. Такимъ образомъ кончилось существованіе Арзамаса. Но прежде кончины своей (замѣчаетъ одинъ изъ его членовъ—Вигель) породилъ онъ чувство, рѣдко встрѣчаемое — неиз-

(*) Арзамасская критика, говорилъ Жуковскій, должна бѣжать верхомъ на галиматѣй.

мѣнную, твердую дружбу между людьми, которые, оказывая великія услуги государству, въ вѣкъ обмана и златолюбія служили примѣромъ чести и безкорыстія (*).

Какіе слѣды оставилъ по себѣ Арзамасъ? Если значеніе литературнаго общества измѣрять только его печатными трудами, то онъ уступаетъ даже Бесѣдѣ, которая издала девятнадцать книжекъ «Чтеній». Но такая мѣрка ошибочна. Достоинство профессора состоитъ главнѣйшимъ образомъ въ томъ вліяніи, какое оказываютъ его лекціи на слушателей: равно и общество, не оглашая своихъ бесѣдъ, можетъ дѣйствовать ими плодотворно въ небольшомъ кругу своей аудиторіи. Таково именно и было дѣйствіе Арзамаса: относясь прямо къ своимъ членамъ, возбуждая, поддерживая и просвѣщая ихъ дѣятельность, онъ, посредствомъ нея, приносилъ несомнѣнную пользу и литературѣ вообще, нуждавшейся въ болѣе широкихъ началалъ и въ болѣе основательной критикѣ. Въ своихъ собраніяхъ, арзамасцы посвящали время не одной пародіи и шуткѣ. «Арзамаскія шалости», какъ называлъ ихъ кн. Вяземскій, составляли только отрицательную сторону занятій общества: онѣ имѣли цѣлю похоронить бездарныхъ ревнителѣй стараго слога, съ его неизбѣжными спутниками — безвкусіемъ и педантствомъ. Гораздо важнѣе была сторона положительная, засвидѣтельствованная однимъ изъ самыхъ образованныхъ Арзамасцевъ, графомъ Уваровымъ: «направленіе этого общества, или, лучше сказать, этихъ пріятельскихъ бесѣдъ, было преимущественно критическое. Лица, составлявшія его, занимались строгимъ разборомъ литературныхъ произведеній, примѣненіемъ къ языку и словесности отечественной всѣхъ источниковъ древней и иностранныхъ литературъ, изысканіемъ началъ, служащихъ основаніемъ твердой, самостоятельной теоріи языка, и проч. Въ то время и подъ вліяніемъ Арзамаса писались стихи Жуковского, Батюшкова, А. Пушкина; и это вліяніе отразилось, можетъ быть, и на иныхъ страницахъ Исторіи Карамзина» (**). Автору этихъ строкъ принадлежало, конечно, первенство руководящихъ сужденій. Мы увидимъ, что, благодаря ему, Гнѣдичъ рѣшился перевести Иліаду гексаметрами, а не александрійскими стихами, какъ предполагалъ прежде (***). Нѣтъ сомнѣнія, что подъ вліяніемъ того же лица сложилось убѣжденіе Жуковского въ важности древне-классической поэзіи, заставившее его въ послѣдствіи приняться за Гомера. Оно же, надобно думать, направило Батюшкова на знакомство съ антологической поэзіей древнихъ: по крайней мѣрѣ мы знаемъ, что нѣсколько стихотвореній этого рода переведено Батюшковымъ на русскій языкъ съ французскаго ихъ перевода, сдѣланнаго Уваровымъ (****). Строгою разборчивостью отличались сужденія Дашкова, не щадившія и произведеній пріятельскаго пера. Особенно преслѣдовалъ онъ излишества въ выраженіи мыслей, ненужныя отступленія отъ темы, вышнія прикрасы, отъ которыхъ толстѣло сочиненіе безъ всякой выгоды для своего содержанія. Слова его: «давай ножницы!» означали, что авторъ долженъ былъ укорачивать свою напрасно растянутую піесу. Самъ Жуковский не былъ изъятъ изъ критики. Посылая на просмотръ къ друзьямъ нѣкоторыя изъ новыхъ своихъ стихотвореній (наприм. посланія: къ Императору Александру и къ В. Пушкину и кн. Вяземскому), онъ выслушивалъ ихъ замѣчанія, съ нѣкото-

(*) Рус. Вѣст. 1865, № 1, стр. 205—206.

(**) Литературныя воспоминанія (Современникъ 1851, № 6).

(***) Гнѣдичъ не былъ членомъ Арзамаса и относился къ нему недружелюбно.

(****) Въ брошюрѣ: «о Греческой Антологіи» (1820), написанной сообща Уваровымъ и Батюшковымъ, которые подъ предисловіемъ выставили свои арзамасскія имена: Ст. (Старушка) и А. (Ахиллъ).

рыми соглашался, а справедливость других оспаривалъ. Въ антикритикѣ онъ выказывалъ не только поэта, но и отличнаго знатока языка, образцоваго стилиста и версификатора (*).

Осьмое января 1831 (описаніе пятидесятилѣтняго юбилея службы гр. Д. Н. Блудова, въ Современникѣ 1831, № 3); Литературныя воспоминанія (гр. Уварова, написанныя по поводу этой статьи, ib. № 6); Мелочи изъ запаса моей памяти, 1834 (стр. 52—53); въ матеріалахъ для біографіи Пушкина (Моск. Вѣд. 1835, № 142), П. Бартеневъ привелъ отрывки изъ произведенныхъ въ Арзамасѣ рѣчей; «Матеріалы для литературнаго общества Арзамасъ», въ Библ. зап. Лонгинова (Совр. 1836, № 8); «Арзамасъ», М. И. Лонгинова (Энцикл. словарь, томъ пятый, 1862); Воспоминанія Вигеля, ч. V, гл. 4 (Рус. Вѣст. 1865, № 1, стр. 190—205); «Графъ Блудовъ и его время», Е. Ковалевскаго, 1866 (гл. 5); «Наши арзамасскія литературныя шалости» и «Письма Д. В. Дашкова», въ выдержкахъ изъ старыхъ бумагъ Остафьевскаго Архива, кн. Вяземскаго (Рус. Арх. 1866, № 3).

Частныя литературныя собранія начали появляться съ первыхъ же лѣтъ Александрова царствованія, свидѣтельствуя любовь образованнаго общества къ словесности, наслѣдовавшую имъ отъ времени Екатерины II. Одно изъ такихъ собраній устроилъ у себя Державинъ, организовавъ его потомъ въ «Бесѣду». Другіе литературныя вечера заведены были А. С. Хвостовымъ и Н. С. Захаровымъ (**). Особенною извѣстностью въ этомъ отношеніи пользовался домъ А. Н. Оленина († 1843), президента Академіи художествъ, страстнаго любителя искусствъ и литературы. Писатели именитые на ряду съ возникавшими талантами находили у него и его образованной супруги (урожденной Полторацкой) самый радушный пріемъ. Сюда стекалось все, что могло интересоватъ людей, болѣе или менѣе подвижныхъ любовью къ просвѣщенію: здѣсь Озеровъ читалъ свои трагедіи, прежде чѣмъ онѣ поступали на сцену, Гнѣдичъ — переводы изъ Іліады, а Крыловъ — басни прежде, чѣмъ онѣ являлись въ печати (***). Двое послѣднихъ питали самую искреннюю привязанность къ семейству Оленина, нашедъ въ его домѣ совершенно родственныи пріютъ.

Все эти домашнія литературныя общества, замѣчаетъ гр. Уваровъ, оказывали у насъ (равно какъ и въ другихъ мѣстахъ) замѣчательное вліяніе на успѣхи словесности, превышая своимъ дѣйствіемъ дѣйствіе подобныхъ официальныхъ учреждений. Эти послѣдніе болѣею частию не даютъ знаменитымъ писателямъ, а заимствуютъ отъ нихъ жизнь и направленіе; тогда какъ частныя собранія лицъ, связанныхъ между собою свободнымъ призваніемъ и личными талантами, имѣютъ силу возбуждать авторскія дарованія къ дѣятельности и направлять ее къ извѣстной цѣли (****).

§ 38. Система французскаго классицизма возникла изъ невѣрно истолкованной містики Аристотеля, изъ превратно или односторонне понятыхъ образцовъ древней поэзіи, почему и называется лжеклассическою. Чтобы открыть ложь, принятую французами за истину и перешедшую отъ нихъ къ другимъ народамъ, необходимо было ближайшее, непосредственное знакомство какъ съ поэтическимъ ученіемъ грековъ и римлянъ, такъ и съ ихъ художественными произведеніями. Этимъ путемъ иѣмцы свергли съ себя вѣковое иго псевдоклассицизма; этотъ же путь предстоялъ и намъ при освобожденіи

(*) См. «Къ Архопагу», въ Долбинскихъ стихотвореніяхъ (Рус. Арх. 1864, № 10) и два письма въ стихахъ къ кн. Вяземскому (ib. 1866, № 6).

(**) Дневникъ чиновника (Отеч. Зап. 1855, № 7).

(***) Литературныя воспоминанія (гр. Уварова).

(****) Ib.

нашей литературы отъ вліянія французскихъ понятій объ искусствѣ, стѣснявшихъ ее также въ теченіе цѣлаго столѣтія, съ Кантемира и Тредьяковскаго до А. Пушкина.

Для непосредственнаго знакомства съ содержаніемъ и формой истиннаго классицизма, требовалось, кромѣ знанія древнихъ языковъ, и безпристрастное, не стѣняемое французскимъ авторитетомъ, отношеніе критики къ поэтическимъ образцамъ древности. Средства наши, въ томъ и другомъ отношеніи, болѣею частию были слабы. Немногіе изъ нашихъ литераторовъ могли похвалиться серьезнымъ филологическимъ образованіемъ; немногіе также умѣли отрѣшиться отъ французскихъ воззрѣній какъ на самые подлинники, такъ и на способъ ихъ перевода. Отсюда происходило, что имена Аристотеля, Горация и Буало мы ставили на одну доску, не различая ихъ поэтической науки и почитая каждого законодателемъ изящнаго вкуса; что въ Расинѣ и Вольтерѣ видѣли не только воскресителей Софокла и Эврипида, но и усовершенствователей трагическаго искусства, доведшихъ его до *pes plus ultra*; что переложенія греческихъ и римскихъ стихотвореній, сдѣланныя съ французскихъ вольныхъ переводовъ, удовлетворяли насъ, вызывая громкія себѣ похвалы. Трудно было, при такихъ взглядахъ, ожидать воспроизведенія подлинниковъ, по ихъ духу и художественному смыслу: оно могло явиться только при здравыхъ понятіяхъ объ искусствѣ вообще, объ искусствѣ грековъ и римлянъ въ особенности, при несомнѣнномъ поэтическомъ талантѣ, необходимомъ переводчику. Разсмотримъ же важнѣйшіе факты нашего знакомства съ древне-классической поэзіей, въ первой четверти текущаго столѣтія.

М. Н. Муравьевъ служилъ примѣромъ и какъ бы руководителемъ тѣхъ, которые заботились о внесеніи классическаго элемента въ отечественную литературу. Они справедливо поставляли на видъ его классическую образованность, вѣрные мысли о пользѣ изученія древнихъ писателей, нѣкоторые труды по этой части и содѣйствіе такимъ же трудамъ другихъ. Въ статьѣ: «Взглядъ на нынѣшнее состояніе нашей словесности» (*), литераторы раздѣлены на три категоріи: къ первой отнесены славянолюбцы, шедшіе за Шишковымъ; ко второй карамзинисты, подражавшіе легкому слогу Карамзина, но не умѣвшіе подражать тѣмъ усиліямъ, которыя употреблялъ онъ на улучшеніе своего способа писать; къ третьей — образованные люди, безъ особаго представителя въ родѣ Шинкова или Карамзина, но съ своимъ уложеніемъ правилъ здраваго вкуса, основанныхъ на примѣрахъ древности и временъ новѣйшихъ. Послѣдніе названы «истинными русскими литераторами». Начальникомъ ихъ, замѣчаетъ авторъ, желалось бы видѣть Муравьева (рано похищеннаго смертью), который пріятностямъ своего языка учился изъ классической литературы другихъ народовъ. — Какъ видно, Муравьевъ предпочтенъ Карамзину не только за преданность классицизму, но даже за слогъ свой (**). Это мнѣніе было не единственное: оно выражалось лицами, болѣе извѣстными въ литературѣ, чѣмъ авторъ указанной статьи.

Ободраемый Муравьевымъ, Мерзляковъ задумалъ «представить образцы древнихъ писателей во всѣхъ родахъ стихотворныхъ сочиненій, дабы учащіеся могъ ихъ имѣть на своемъ языкѣ при самомъ истолкованіи правилъ піитики». Первые опыты его переводовъ: сцены изъ Эврипидовой трагедіи «Альцеста» и «первая олимпійская ода

(*) «Опыты въ прозѣ, Разуминова Гонорскаго (1818), одного изъ издателей Украинскаго Вѣстника, съ 1816 по 1818.

(**) Гонорскій не зналъ, что слогъ Муравьева много выправленъ Карамзинымъ, издавшимъ его Опыты исторіи, словесности и правоученія (1810). Корректурные листы находятся въ Чертовской библіотекѣ.

Пиндара» явились въ 1804 г.; за ними слѣдовали: «Эклоги Виргилія», съ прибавленіемъ нѣкоторыхъ эклогъ Теокрита, Біона и Мосха (1807), и «Наука Стихотворства» (*Ars poetica*), Горація (1808). Какъ эти, такъ и дальнѣйшіе труды переводчика, помѣщенные въ журналахъ или напечатанные отдѣльно, собраны и изданы въ двухъ томахъ, подъ заглавіемъ: «Подражанія и переводы изъ греческихъ и латинскихъ стихотворцевъ (1825—26)». Первый томъ содержитъ въ себѣ, кромѣ разсужденія «о началѣ и духѣ древней трагедіи и о характерахъ трехъ греческихъ трагиковъ», переводы эпическихъ и драматическихъ твореній—изъ Гомера, Виргилія, Эсхила, Софокла и Эврипида; второй—переводы изъ лириковъ: Каллимаха, Клеанта, Тиртея, Пиндара, Сафо, Теокрита, Біона, Горація, Тибулла, Проперція, Овидія.

Мерзляковъ различаетъ два способа перелагать древнихъ: буквальный, для занимающихся исключительно изученіемъ языковъ греческаго и латинскаго, и вольный, или подражаніе. Такъ какъ первый большею частію выходитъ каррикатурнымъ, а второй невѣрнымъ, то переводчикъ выбралъ средину, т. е. не позволялъ себѣ ни лишняго стѣсненія, ни лишней вольности. Намѣреніе его могло бы принести большую пользу, если бы удовлетворительно было исполнено. Къ сожалѣнію, трудъ его представляетъ нѣкоторые существенные недостатки, происшедшіе главнымъ образомъ отъ французскаго взгляда на искусство и на способъ перелагать произведенія искусства. Во-первыхъ, Мерзляковъ иногда знакомитъ съ піесой посредствомъ отрывковъ: мысль ошибочная, несогласная съ значеніемъ греческой трагедіи, которой достоинство, особенно у Софокла, заключается въ стройномъ единствѣ частей, въ художественной красотѣ цѣлаго. Полный переводъ одной Софокловой трагедіи былъ бы соотвѣтственнымъ цѣли труда. Во-вторыхъ, отрывки переданы не въ настоящемъ видѣ: переводчикъ многое сокращалъ, что ему казалось слишкомъ растянутымъ или не относящимся къ дѣйствующей страсти, иное переставлялъ и соединялъ (например, первый актъ съ пятымъ), дабы образовать изъ того нѣчто цѣлое драматическое. Кромѣ того, языкъ въ переводахъ разныхъ писателей безразличный. Стихъ то настраивается на риторическій ладъ, въ подражаніе Ломоносову, то падаетъ нѣвучимъ дактилическимъ окончаніемъ, которое такъ любилъ Карамзинъ. Гармоніи его много мѣшало излишнее употребленіе славянскаго стиха, почитавшейся необходимою каждый разъ, когда стихотворецъ хотѣлъ сообщить своей рѣчи особенную важность и величіе. Къ лучшимъ переводамъ Мерзлякова относятся Виргиліевы эклоги и греческія идилліи; второе мѣсто занимаютъ Тиртеевы оды и Гораціева «Наука о стихотворствѣ». Что касается до понятій, изложенныхъ въ «Разсужденіи о началѣ и духѣ древней трагедіи», то они убѣждаютъ въ эмпирическомъ взглядѣ автора на искусство. Согласно съ французскою теоріей, онъ объяснялъ происхожденіе поэтическихъ родовъ подражаніемъ природѣ, а не даромъ творчества, присутствующимъ человѣку и проявляющимъ свою дѣятельность созданіемъ разнообразныхъ предметовъ особаго, эстетическаго міра. Этотъ ложный взглядъ подвергся основательной критикѣ со стороны Веневитинова (*), выступившаго противъ французской теоріи съ новыми началами нѣмецкой эстетики.

«Подражанія и переводы» Мерзлякова, представляя образцы греческихъ и латинскихъ стихотвореній, должны были служить пособіемъ при изученіи поэтическихъ родовъ. Пользу учащагося юношества имѣлъ въ виду и Мартыновъ, директоръ депар-

(*) Сынъ Отеч. 1825, т. 3, стр. 359.

та мѣста министерства народнаго просвѣщенія († 1833), при своемъ переводѣ греческихъ классиковъ. Многолѣтній трудъ его, къ которому онъ приступилъ съ начала пятидесяти вѣка (*), издавъ въ 26 томахъ (1823—28) и заключаетъ въ себѣ Гомера, Софокла, Пиндара, Анакреона, Каллимаха, Езона, Продота и Лонгина (**). Переводъ каждого классика снабженъ разсужденіями о немъ самомъ и его сочиненіяхъ, обширнымъ историко-филологическимъ комментариемъ и другими объясненіями, выбранными изъ древнихъ и новыхъ писателей, а также и своими собственными. Кроме того, первая пѣснь Илиады переведена еще подстрочно, съ цѣлью показать различіе между языками греческимъ и русскимъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ трудность и невозможность сохранить въ переводѣ все обороты, частицы и слова подлинника. Видимо, Мартыновъ прилагалъ все старанія, чтобы русскому читателю облегчить знакомство съ классическими твореніями. Въ работѣ своей положилъ онъ правиломъ не удаляться отъ подлинника, для «лучшаго удержанія его смысла», сохраняя однакожъ свойства русскаго языка. Это и заставило его переложить стихотворцевъ прозой, за исключеніемъ Анакреона, переданнаго бѣлыми стихами. О поэтическомъ достоинствѣ переводовъ и говорить нечего. Оно было невозможно по самой обширности задачи. Надебно имѣть геніальныя способности, быть великимъ поэтомъ, чтобы художественно воспроизвести образцовыя созданія древности по всемъ родамъ поэзіи—эпосу, драмѣ и лирикѣ; а Мартыновъ, лишенный поэтическаго дарованія, не владелъ даже и стихомъ, какъ доказываетъ его переводъ Анакреона. Хотя ложная теорія часто сбивала Мерзлякова, но врожденное ему чувство изящнаго противодѣйствовало ложнымъ понятіямъ, и потому въ его переводахъ встрѣчаются такіе, которые удачно передавали красоты подлинниковъ; Мартыновъ же, по отзыву его начальника, отличался больше всего «пространнымъ» трудолюбіемъ, котораго недостаточно для удовлетворительнаго перевода греческихъ классиковъ.

Въ числѣ лицъ, которыя своими сужденіями содѣйствовали распространенію вѣрныхъ мыслей о значеніи французской литературы сравнительно съ литературами другихъ народовъ, и въ особенности съ греко-латинской, одно изъ главныхъ мѣстъ занимаетъ И. М. Муравьевъ-Апостолъ († 1851), служившій по дипломатической части и бывшій нашимъ посланникомъ въ Испанію. По классической образованности и знанію многихъ языковъ, онъ составлялъ исключеніе въ томъ кругѣ, къ которому принадлежалъ по своему рожденію и общественному положенію. Въ нѣкоторыхъ взглядахъ на воспитаніе и словесность онъ сходилъ съ Шишковымъ, былъ членомъ «Бесѣды» и для «Чтеній» перевелъ двѣ Гораціевы сатиры (первую и третью 1-ой книги), приложивъ къ первому переводу разсужденіе о Гораціи, а ко второму—разсужденіе о причинахъ, побудившихъ Горація написать третью сатиру (***). Подъ живымъ впечатлѣніемъ недавно конченной борьбы съ Наполеономъ, Муравьевъ-Апостолъ писалъ замѣчательныя письма изъ сожженной Москвы въ Нижній Новгородъ, къ другу (****). Проникнутыя ненавистью къ французамъ, они направлены главнѣйшимъ образомъ противъ галломаніи, которая господствовала въ высшемъ дворянствѣ. Употребленіе французскаго языка называетъ авторъ несказаннымъ зломъ, отравившимъ у

(*) Анакреоновы стихотворенія (1801); Овысокомъ или величественномъ, Діонисія Лонгина (1803).

(**) Два изданія: одно на русскомъ, другое на русскомъ и греческомъ.

(***) Чтеніе, книга вторая, № 2 (1811) и кн. шестая (1812).

(****) Всѣхъ писемъ пятнадцать; они нап. въ Сынѣ Отец. 1813 (№№ 35, 36 39, 44, 45, 46, 48 и 49), 1814 (№№ 2, 3, 7, 34, 39, 40) и 1815 (№№ 6, 29, 36).

насъ главный источникъ общественнаго благоденствія—воспитаніе. Родители, говоритъ онъ, не думаютъ ни о серьезномъ школьномъ образованіи сыновей, ни о приученіи дочерей къ обязанностямъ хозяйки и матери: единственная цѣль ихъ состоитъ въ томъ, чтобы мальчика какъ можно раньше нарядить въ офицерскій мундиръ, а дѣвочку какъ можно скорѣе вывозить на балъ. Два такихъ поколѣнія—и чего ожидать?... того, что мы часто видимъ: *русскихъ не-русскихъ*. Отъ чего же такое зло вкралось къ намъ? давно ли стало укорениться? почему есть люди, умные и хорошіе, которые увѣрены въ томъ, что намъ нельзя обойтись безъ французскаго языка? не это ли предубѣжденіе причиною, что мы еще не далеки на поприщѣ словесности? Таковы вопросы, предлагаемые авторомъ себѣ и другимъ на рѣшеніе. Въ настоящемъ случаѣ для насъ важны два послѣдніе, рѣшенные въ четвертомъ письмѣ, гдѣ передается разговоръ Неотина и Археорова. Неотинъ, представитель господствующаго мнѣнія, доказываетъ, что мы, русскіе, обязаны французскому языку почти всеми успѣхами нашей словесности и что лучшіе французскіе писатели первенствуютъ во всѣхъ литературныхъ родахъ: трагедія не можетъ выставить никого подобнаго Расину, Корнелю и Вольтеру; истинная комедія основана Мольеромъ; Лафонтенъ неподражаемъ и самъ никому не подражалъ; во всемъ французы сдѣлались образцами—въ поэзіи высокой и легкой, въ краснорѣчіи, въ слогѣ повѣствовательномъ. Отсюда и заключеніе: языкъ французскій, подобно латинскому, переживетъ народъ и останется классическимъ; онъ долженъ быть таковымъ и для насъ: мы обязаны учиться ему въ школахъ, не опасаясь вреднаго вліянія на нравы. — Археоровъ, т. е. самъ авторъ письма, опровергаетъ оба тезиса своего собесѣдника. Критику французской литературы начинаетъ онъ съ Расина. Въ чемъ очаровательная сила этого трагика? въ искусствѣ подражать древнимъ и въ мастерствѣ владѣть языкомъ. Если отнять у него то, что принадлежитъ Гомеру, Софоклу, Эврипиду, Виргилію, Сенека, то въ остаткѣ получится только прекрасный механизмъ стиха,—достоинство хотя и великое, но далеко не то, которое требуется отъ гениа-творца. Археоровъ очень умно отличаетъ *общій* вкусъ къ изящному, неизмѣнно принадлежащій всѣмъ вѣкамъ и всѣмъ просвѣщеннымъ народамъ, отъ вкуса *особеннаго*, образуемаго характеромъ каждаго народа, его нравственными свойствами, образомъ правленія. «Я самъ, говоритъ онъ, ничѣмъ такъ не восхищаюсь, какъ искуснымъ представленіемъ Расиновой трагедіи; но въ правѣ ли я отъ того заключить, что всѣ непременно должны точно такъ чувствовать и мыслить, какъ я, и что напрасно предпочитаютъ Расину: англичане Шекспира, немцы Шиллера, итальянцы Альфиери? Мое заключеніе, можетъ статься, и несходно съ истиною. Кто увѣритъ меня, что не дѣйствовало надъ нимъ сильное вліяніе привычекъ и предубѣжденій, съ которыми нельзя справедливо судить о вещахъ? Буде на это мнѣ возразятъ, что привычки и предубѣжденія могутъ точно также находиться и въ другихъ людяхъ, тогда я изъ всего этого выведу одно то, что на счетъ народнаго вкуса не должно никого ни винить, ни оправдывать; что всякій будетъ правъ у себя, и виноватъ, если вздумаетъ судить о другихъ по себѣ. Исполнить на сценѣ французской исторгаетъ у насъ, русскихъ, слезы; а на афинскомъ театрѣ греки бы расхохотались, еслибъ услышали его открывающагося въ любви къ Аристарху». Переходя отъ трагедіи къ эпической поэзіи, Археоровъ не видитъ у французовъ ни одного достойнаго ея произведенія, ибо слишкомъ смѣло называть поэмой холодную въ стихахъ декламацию Вольтера (Генриаду). Нельзя и сравнивать ее съ поэмами Данта, Аріоста, Тасса. Что касается до французской комедіи, то Мольеръ

въ характерахъ, ходѣ дѣйствія и развязкѣ заимствовали частію у древнихъ, частію у испанцевъ: «Кальдеронъ и Лопе де-Вега были во многомъ его учителями: ихъ дѣйствующія лица, въ рукахъ Мольера, принаровились къ парижскимъ обычаямъ, перерядились во французское платье и сдѣлались для французовъ оригинальными; намъ же, русскимъ, предпочтительно нравятся потому, что и мы принаровились къ парижскимъ обычаямъ и перерядились во французское платье. Если комедія есть живое въ лицахъ представленіе господствующихъ нравовъ, то каждый народъ долженъ имѣть свою комедію, по той самой причинѣ, что каждый народъ имѣетъ свои собственные нравы и обычаи: Ифландъ на театрѣ своемъ представляетъ нѣмцевъ, Шериданъ англичанъ, а мы *французовъ*, потому что мы по обычаямъ французы, и съ такими французскими, т. е. нелѣпыми предразсудками, что не стыдимся называть порокомъ того, что составляетъ одно изъ главныхъ достоинствъ въ нѣмцахъ и англичанахъ,— что они не обезьяны, какъ мы» (*).

Изъ отвѣта своего Неотину, Археоновъ выводитъ два заключенія:

Во-первыхъ, французы не во всѣхъ родахъ словесности успѣли: у нихъ нѣтъ ни поэмы, ни исторіи, ни живописной поэзіи (*poësie descriptive*), ни пастушеской, ни даже романа своего. Во-вторыхъ, если они могутъ гордиться своими Расиномъ, Корнелемъ, Буало, Мольеромъ, а особливо Лафонтеномъ, за то другіе народы имѣютъ право хвалиться такими высокими умами, каковымъ нѣтъ подобныхъ во Франціи. Испанцы скажутъ: у насъ Сервантесъ; англичане, и не упоминая о Шекспирѣ, Мильтонѣ, Драйденѣ, Томсонѣ, выставятъ рядъ историковъ таковыхъ, какъ Юмъ, Фергюсонъ, Робертсонъ; нѣмцы укажутъ на Виланда, Лессинга, Гете, Шиллера; а мы развѣ не въ правѣ гордиться нашимъ Державинымъ, котораго природа одарила гениемъ удивительнымъ, а случайность предохранила въ воспитаніи отъ робкаго, изнѣженнаго вкуса французовъ? Такъ, я смѣло утверждаю, что Державинъ много обязанъ незнанію французскаго языка: опутанный цвѣтками, поддѣланный изъ атласа и тафты, не размахнулся бы никогда нашъ богатырь.

Я осмѣлился сказать: «робкій, изнѣженный вкусъ», и къ этой смѣлости прибавлю еще дерзость утверждать сказанное. Всѣ художества основаны на подражаніи природѣ: очарованіе ихъ состоитъ въ вѣрности сего подражанія, и тотъ художникъ наиболѣе выполнитъ необходимое условіе, который, избравъ предметъ, будетъ умѣть представить его взорамъ нашимъ въ изящнѣйшемъ его видѣ, т. е. придавъ ему тѣ украшенія, которыя сродны ему и естественны. Это французы называютъ *embellir la nature*—*украшать природу*: явная безсмыслица! ибо украшать природы невозможно; напротивъ того: лишнимъ тщаніемъ давать несродныя ей прикрасы значить портить ее,—то, что французы же въ художествахъ называютъ «*genre manigé*», а я—изнѣженнымъ, жеманнымъ вкусомъ.

Превознесеніе французской литературы надъ всѣми прочими, по мнѣнію Археорова, происходитъ у насъ отъ знакомства съ первою, которое начинается еще въ дѣтскомъ возрастѣ, и отъ совершеннаго незнанія послѣднихъ, котораго мы не стыдимся. Мы и не можемъ знать ихъ, потому что не знаемъ другихъ языковъ, кромѣ французскаго.

Хочешь ли имѣть основательное понятіе о свойствахъ, преимуществахъ и недостаткахъ народовъ, наиболѣе въ письменахъ отличившихся? Сперва учись ихъ языкамъ. Прочитай Данта на италіянскомъ, Сервантеса на испанскомъ, Шекспира на англійскомъ, Шиллера на нѣмецкомъ: тогда ты приобретешь нѣкоторое право произносить надъ ними приговоръ, и тогда конечно ты не скажешь подобно тому, что я читалъ въ одномъ изъ нашихъ журналовъ: «долго ли нѣмцамъ быть недантами»?... Долго ли намъ быть невѣждами и бранить то, что мы не разумѣемъ! Мы привыкли ко всему прикладывать французскій масштабъ, и что нейдетъ къ нему въ мѣру,—отбрасывать, какъ недостойное сравненія: такимъ образомъ и Шиллеръ провинился предъ нами, и именно въ томъ, что онъ не соблюдалъ необходимой (для насъ только) благопристойности—представить героевъ своихъ въ видѣ французскихъ маркизовъ. Я такъ за это его не виню и, обращаясь

(*) Вѣст. Евр. 1813, № 44, стр. 221--222, 224—225.

къ тому, съ чего начать, скажу, что вкусъ изящности у французовъ господствуетъ вездѣ, даже и въ лучшихъ ихъ писателяхъ. Не говоря о другихъ, довольно сказать, что и Расинъ не избавился отъ заразы: Пирръ въ Андромакѣ его, Ахиллесъ въ Пѣгении, Ипполитъ въ Федрѣ, Перонъ въ Британикѣ—не тѣ идеалы, которые мы воображаемъ по начертаніямъ въ Гомерѣ, Виргиліи, Эврипидѣ и Тацитѣ. Они чрезвычайно хороши у Расина, можно сказать прелестны, но все-таки изъ подъ палли или тоги выказываются у нихъ французскіе красные каблучки. Когда же Расинъ, великій Расинъ не ушелъ отъ упрека въ *изящности*, то что же сказать о другихъ? ума много, а изящной природы, во всей очаровательной ея простотѣ, нѣтъ ни въ одномъ. Вездѣ натяжка; нигдѣ нѣтъ цвѣтовъ, которые мы видимъ въ природѣ: наблюдатель строгій тотчасъ догадается, что картина простой сельской жизни писалась въ парижскомъ будуарѣ, а Феокритовы пастухи срисованы въ оперѣ съ танцовщиковъ. И быть иначе не можетъ. Французы осуждены писать въ одномъ Парижѣ; въ столицѣ имъ не дозволяется имѣть ни вкуса, ни дарованій: то какъ же имъ познакомиться съ природою, которой ничего нѣтъ противуположнаго, какъ большіе города? Напротивъ того, въ нѣмецкой землѣ писатели рѣдко живутъ въ столицахъ; большая часть ихъ разсѣяна по маленькимъ городамъ, а нѣкоторые изъ нихъ цѣлую жизнь свою провели въ деревняхъ: за то они знакомѣе съ природою, и за то, между тѣмъ какъ Фоссъ начерталъ прелестную «Лунзу» свою въ Эйтнѣ, подражатель приторнаго Флоріана въ Парижѣ, смотря въ окно на грязную улицу, описываетъ неперенные цвѣтами андалузскіе дуга, или пышно рисуетъ цѣль Пиринейскихъ горъ, глядя съ чердака на Мормартръ.

Указать невѣжественное пристрастіе и объяснить его причины не значитъ еще исправить его. Оно и несправимо въ тѣхъ, которые ничего другого не читали, кромѣ французскаго, ничему другому не учились, какъ только по французски. Убѣждать ихъ напрасно: они отживутъ свой вѣкъ, какъ его начали и какъ его продолжаютъ. Чтобъ искоренить зло, которое не ограничивается односторонностью литературныхъ сужденій, надобно дѣйствовать не на поколѣніе, заматорѣлое въ галломаніи, а на юношество. Главное же къ тому средство—перемѣна учебной нашей методы:

Учиться новѣйшимъ языкамъ не только можно, да и похвально; но французскому оставаться у насъ классическимъ такъ, какъ онъ былъ до сихъ поръ, это значитъ тоже, что убивать природныя наши способности, и доколѣ это продолжится, мы будемъ оставаться въ сущемъ младенествѣ на попринцѣ ученія. Ни одна изъ новѣйшихъ литературъ не усовершенствовалась отъ подражанія новѣйшимъ же: всѣ онѣ, безъ изъятія, почерпнули красоты свои въ единственномъ и неизсякаемомъ источникѣ всего изящнаго—у грековъ и римлянъ. Для того и намъ пора бы приняться за настоящее дѣло, и потому я смѣло скажу и всегда говорить буду, что пока мы не будемъ учиться, т. е. посвящать все время перваго возраста, отъ 7 до 15 лѣтъ, на изученіе греческаго или, по крайней мѣрѣ, латинскаго языка, вмѣстѣ съ русскимъ, основательно, эстетически,—до тѣхъ поръ мы, большая часть толпы, будемъ не говорить, а болтать, не писать, а лишь марать бумагу» (*).

(*) Ib. 225 и далѣе. Мысль о необходимости классическаго образованія для русскихъ дополняется, въ пятомъ письмѣ, сравнительной картиной воспитанія нашего и англійскаго. Для сравненія авторъ беретъ двухъ мальчиковъ, уроженцевъ Петербурга и Лондона, и слѣдитъ за ними отъ 7 до 15 лѣтъ, когда русскій оканчиваетъ курсъ ученія (говоря это въ 1813 г., Муравьевъ разумѣлъ преимущественно высшее дворянство), не считая пужнымъ продолжать его въ университетѣ, а прямо поступающаго на службу, болѣею частью военную. За тѣмъ указываются дальнѣйшія послѣдствія, физическія и нравственныя, различнаго воспитанія, убѣждающія въ преимуществѣ англійской методы и неразумности русской. Картина такъ вѣрна, что много, безъ сомнѣнія, находили ее клокъ, но пословица: правда глаза колетъ. Замѣчательно также шестое письмо о значеніи математики въ ряду учебныхъ предметовъ. Муравьевъ возстаетъ противъ господствовавшего въ его время предположенія математики другимъ наукамъ. По его мнѣнію, надобно образовывать въ дѣтяхъ прежде *воображеніе*, а потомъ *разсудокъ*, и потому не слѣдуетъ учить ихъ математикѣ до тѣхъ поръ, пока ихъ умъ не украсится прелестями изящной словесности, а сердце не приучится любить и отыскивать красоты, не подлежащія размыслу циркуля.

Представленные нами сужденія Муравьева-Апостола не удивятъ теперь никого, по своей общеизвѣстности. Но они имѣли достоинство важной и смѣлой новизны, за пятьдесятъ лѣтъ до нашего времени. Тогда нельзя было назвать ихъ азбучкой науки. Тогда и въ стѣнахъ московскаго университета передавалось слушателемъ почти тоже самое, что журнальная критика принимала въ основу своихъ приговоровъ о литературѣ. Сохацкій и Мерзляковъ, руководители юношества въ изученіи изящнаго и въ способахъ его оцѣнивать, не смотря на основательное знаніе древнихъ языковъ и слѣдовательно на возможность непосредственнаго знакомства съ классическими образцами, не могли вполне отрѣшиться отъ французскаго устава поэзіи. Сохацкій старался соединять этотъ уставъ съ воззрѣніями Винкельмана, а Мерзляковъ съ психологической теоріей Эшенбурга. Оба они были эклектики. Устранивъ односторонность французской теоріи, они не замѣнили ее другимъ началомъ, положительно-твердымъ и единымъ. На ихъ взглядъ, новыя движенія словесности, выступавшія изъ круга, обведеннаго Горациемъ и Буало, были болѣзненными припадками времени. И тотъ и другой съ неудовольствіемъ относились къ романтическому направленію. Послѣдній не признавалъ и поэзіи Пушкина, потому только, что не могъ подогнуть ее подъ мѣрку французскихъ понятій объ искусствѣ. Позднѣе писемъ Муравьева, рѣшая вопросъ: «отъ чего такъ долго и постоянно опера «Мельникъ» (Аблесимова) удерживается на театрѣ?» Мерзляковъ высказалъ свою преданность разъ навсегда усвоенной теоріи. Успѣхъ «Мельника» объясняется не тѣмъ, что она «сочинена въ русскихъ нравахъ», какъ тогда говорили, а тѣмъ, что эта піеса, подобно всѣмъ лучшимъ трагедіямъ и комедіямъ, вполне оправдываетъ законы Аристотеля, наставленія Горация и Буало, и вообще правила науки о вкусѣ (*). Поэтому Муравьевъ-Апостолъ не ошибался, полагая, что мнѣнія Археорова будутъ сочтены ересью, которая напугаетъ даже умныхъ людей, не только тѣхъ, у кого «пружины языка проведены къ ушамъ безъ всякаго сношенія съ мозгомъ». Опасеніе его оправдалось. Очень умный человѣкъ, Д. В. Дашковъ, разсердился на Муравьева, какъ видно изъ письма его къ кн. П. А. Вяземскому (25 іюня 1814 г.): «Письмо о московскомъ праздникѣ (**) тотчасъ было мною послано къ издателю Сына Отечества и, по увѣдомленію его, уже напечатано. Каково напечатано, ради Бога у меня не спрашивайте: со времени *проклятаго письма Муравьева о словесности*, отъ котораго точно у меня желчь разлилась въ первый разъ, я не беру въ руки его пасынка» (т. е. Сына Отечества) (***). Что же такъ сильно взволновало Дашкова? Сужденія Муравьева не могли казаться ему ни софистическими, ни небывалыми въ нашей литературѣ. Задолго до «писемъ въ Нижній Новгородъ», Карамзинъ говорилъ о французской трагедіи тоже самое, что они говорятъ о французской словесности вообще: Корнель, Расинъ и Вольтеръ поставлены имъ ниже Шекспира и Шиллера (****). Объяснять неудовольствіе Дашкова единственно духомъ партіи едва ли будетъ справедливо: члены «Бесѣды» до того времени большею частію возбуждали въ немъ смѣхъ, но не портили его крови. Была, слѣдо-

(*) В. Евр. 1817, № 6 (см. мою Ист. Христ. I, 415—416).

(**) Письмо изъ Москвы (описаніе праздника, даднаго въ Москвѣ 19 мая 1814 г., по случаю занятія Парижа русскими войсками, съ приложеніемъ нѣтыхъ въ этотъ вечеръ стихотвореній кн. П. А. Вяземскаго и В. Пушкина). Сынъ От. 1814, № 26.

(***) Рус. Архивъ 1866, № 3, стр. 497.

(****) Въ предисловіи къ переводу «Юлія Цезаря» и въ «Письмахъ» (Ист. Христ. II, 4 и 13—14).

вательно, иная причина непріятнаго чувства, произведеннаго письмомъ о словесности. Эта причина, какъ я думаю, заключается въ отношеніи писемъ къ литературному дѣлу Карамзина и его послѣдователей. Изъ критическихъ замѣтокъ Муравьева оказывается, что онъ не признавалъ полезнаго значенія ни за новымъ слогомъ, ни за новымъ направленіемъ литературы. То и другое почиталъ онъ явленіемъ поверхностнымъ, ложнымъ въ своемъ началѣ, вреднымъ въ послѣдствіяхъ, и потому относился къ нему съ видимымъ равнодушіемъ, безъ всякаго уваженія. Ни разу не упомянулъ онъ писателя, котораго имя уже сдѣлалось общезвѣстнымъ: только Державинъ заслужилъ почетнаго сравненія съ богатыремъ. Большинство критиковъ утверждало, что Карамзинъ создалъ новую литературную рѣчь, а «Письма» доказываютъ, что книжнаго языка у насъ еще нѣтъ и до тѣхъ поръ не будетъ, пока мужчины не получаютъ классическаго воспитанія, а женщины не научатся повѣйшимъ языкамъ для того только, чтобы читать на нихъ. По мнѣнію Муравьева, нашей словесности нужно не то, что далъ ей Карамзинъ: ей нужна классическая основа, то есть изученіе древнихъ языковъ, чтеніе греческихъ и римскихъ писателей, подражаніе имъ въ собственныхъ сочиненіяхъ. Такого фундамента не могъ заложить Карамзинъ, чуждый классическаго образованія. Еще меньше слѣдовало возлагать надежду на силы его послѣдователей, большею частію получившихъ одностороннее французское образованіе. Вотъ что думалъ Муравьевъ, подкрѣпляя свои мысли доводами, которые выказывали въ немъ человѣка многоснающаго, не диллетанта въ наукѣ, а дѣйствительно ученаго. Съ такимъ соперникомъ трудно было бороться: отсюда раздраженіе.

Основные мысли Муравьева-Апостола вошли въ «Разсужденіе Гигѣдича о причинахъ, замедляющихъ успѣхи нашей словесности» (1814) (*). Мы не ошибемся, сказавъ, что оно явилось подъ прямымъ внушеніемъ «Писемъ въ Нижний Новгородъ», почему и не представляетъ самостоятельнаго значенія. Авторъ его рѣшаетъ вопросъ: «отъ чего при такомъ множествѣ выходящихъ у насъ книгъ, мы такъ мало видимъ хорошихъ сочиненій, даже хорошихъ переводовъ, даже выборовъ для нихъ хорошихъ»? Конечно, не отъ скудности и слабости дарованій, на которыя русскій человѣкъ не можетъ жаловаться, а отъ того, что мы дурно пользуемся дарами природы, т. е. не развиваемъ ихъ ученіемъ, не упражняемъ искусствомъ. Что же надобно изучать для успѣховъ нашей словесности, гдѣ некая правилъ для искусства хорошо выражать свои мысли? «Отъ временъ Рима и до нашихъ, во всѣхъ странахъ Европы и у насъ, образованіе языка тогда только начиналось, когда писатели знакомились съ языками древнихъ; а успѣхи тамъ только быстрѣе возрастали и словесность народную возвысили до совершенства, гдѣ писатели основательно изучали творенія древнихъ, признанныя образцами превосходнаго первымъ законодателемъ вкуса: «читайте образцы греческіе, читайте ихъ днемъ и ночью», говоритъ Гораций». Указавъ единственныя пособія, образующія и совершенствующія писателя, Гигѣдичъ съ горестью замѣчаетъ, что изученіе древнихъ языковъ у насъ или вовсе не существуетъ, или находится въ крайнемъ небреженіи. Отсюда, по его мнѣнію, и происходитъ печальное состояніе русской словесности: поэтическія свѣдѣнія нашихъ молодыхъ литераторовъ ограничиваются многологическимъ словаремъ, а научныя — словаремъ историческимъ; французская словесность служить для нихъ исключительнымъ образцомъ. А если бы древ-

(*) Читано 2 января 1814 въ торжественномъ собраніи Н. Н. Библіотеки, по случаю ея открытія. Напечатано въ Описаніи этого открытія (Роспись Смирдина, 2751) и отдѣльной брошюрой.

ность, общая наставница просвѣщенныхъ народовъ, была и нашею наставницею, — мы спаслись бы отъ многихъ заблужденій Вандаловъ (французовъ), омрачившихъ Европу: отъ варварскаго вкуса Готтовъ, обременившаго ея поэзію варварскими цѣпями; не бряцали бы великолѣпныхъ одъ своихъ на готическихъ лирахъ; не основывали бы своей эпопеи на скудномъ зданіи поэмы французской; не дѣлали бы нашего театра зрѣлищемъ однихъ любовныхъ приключеній; не дали бы иностранцамъ упредить насъ глубокими познаніями и изысканіями нашей исторіи (*). — Кромѣ правилъ словесности, которыя почерпаются единственно въ твореніяхъ грековъ и римлянъ, необходимо узнать тайну владѣть языкомъ. Въ этой (второй) части «Разсужденія» Гнѣдичъ еще больше повторяетъ Муравьева, дополняя его мысли примѣрами. Онъ говоритъ, что у насъ еще не образовался средній литературный слогъ, занимающій мѣсто между высокимъ и пріятнымъ, какъ счастливая смѣсь того и другаго, или какъ выборъ лучшаго изъ обоихъ, и не образовался преимущественно по той причинѣ, что нашъ гражданскій (т. е. русскій) не утвержденъ постояннымъ употребленіемъ его въ обществѣ. Конечный выводъ «Разсужденія» тождественъ съ главнымъ тезисомъ Муравьева: словесность наша никогда не достигнетъ совершенства, если не будетъ у насъ классическаго ученія и если въ обществахъ мы не станемъ говорить по-русски.

Гнѣдичъ былъ откровеннѣе Муравьева-Апостола въ указаніи недостатковъ или темныхъ пятенъ нашей словесности. «Письма въ Нижній-Новгородъ» ратуютъ противъ пристрастія русскихъ къ французскому языку и французскимъ писателямъ, а «Разсужденіе», кромѣ того, затрогиваетъ и другія направленія современной литературы, видя въ нихъ свидѣтельства дурнаго вкуса. На ряду съ развращенною философіей (XVIII вѣка), оно осуждаетъ метафизическую поэзію, заимствованную у нѣмцевъ, приторную чувствительность и меланхолію — болѣзни новыхъ стихотворцевъ, и подобныя тому «странности, не имѣющія ни роду, ни имени, занятія праздности и лѣни, которыя внушаетъ дурной вкусъ, но которымъ прихоть и мода даютъ иногда въ обществахъ торжество кратковременное». Критика Гнѣдича могла возбудить неудовольствіе въ извѣстнѣйшихъ писателяхъ того времени. Онъ не упомянулъ даже имени Жуковскаго, который имѣлъ право принять на свой счетъ метафизическую поэзію и меланхолію. Карамзинъ хотя и удостоенъ похвального отзыва, но легкаго, произнесеннаго какъ бы мимоходомъ и противъ воли; ему не дано мѣста между прославленными Державиными и Дмитріевыми, Озеровыми и Капнистами; онъ не признается и образвателемъ желаннаго средняго слога, ибо «образцы сего слога имѣемъ мы въ стихотвореніяхъ Ломоносова, Державина и еще нѣкоторыхъ высшаго рода поэтовъ, но въ прозѣ, хотя многіе писатели отъ временъ Ломоносова и до нашихъ его избирали, образцовъ не умѣли еще оставить». Понятно, что Карамзинъ слышалъ въ «Разсужденіи» голосъ челоѣка, принадлежащаго къ противной сторонѣ. Благодаря Дмитріева за присылку рѣчи Гнѣдича, онъ пишетъ: «Своими замѣтками ты предупредилъ мое *увѣ!* Все хорошо. Мы побѣдили Наполеона: скоро удивимъ свѣтъ и нашимъ разумомъ. Жаль, что я изъ могилы не услышу рукоплесканій Европы въ честь нашихъ геніевъ словесности» (**). Понятно также, что нѣкоторые карамзинисты недруже-

(*) Разсужденіе, стр. 31 и 32.

(**) Письмо 30 іюня 1814 (Письма Карамзина къ Дмитріеву, стр. 183 и 078—079). Гнѣдичъ, числя успѣхи русской словесности, если бы она избрала себя наставницей древности, говоритъ: «наши Омеры, Пиндары, Софоклы и Эврипиды, силою превосходнаго нашего слова и изящностію

любно относились къ Гнѣдичу, какъ литератору иного образа мыслей. Графъ Блудовъ, въ письмѣ къ Дмитріеву, замѣтилъ, что въ домѣ Олениныхъ удивляются только Гнѣдичу, какъ въ Бесѣдѣ—Шихматову, а въ Москвѣ—Мерзлякову. Жуковскій въ шутку прозвалъ Гнѣдича «гнѣдко», применивъ къ его гексаметрамъ стихъ изъ «Овсянаго киселя»:

Вотъ и гнѣдко потащился на мельницу съ возомъ тяжелымъ.

Съ вопросомъ о важности изученія классическихъ писателей неизбѣжно соединялся вопросъ о способахъ переводить ихъ. Послѣдній разъясненъ С. С. Уваровымъ, почерпавшимъ свои доводы не изъ одного знакомства съ образцами, но также изъ нѣмецкой науки, которую онъ зналъ основательно. Состояніе современной филологіи и эстетики было ему извѣстнѣе, чѣмъ Муравьеву-Апостолу и Гнѣдичу. Онъ въ надлежащемъ свѣтѣ показалъ отношеніе формы къ идеѣ въ поэтическихъ созданіяхъ, — отношеніе, определяемое самою сущностью искусства. Свои мнѣнія объ этомъ предметѣ онъ высказалъ по случаю первыхъ опытовъ русскаго переложенія Иліады, предпринятаго Гнѣдичемъ. Извѣстно, что первыя шесть пѣсенъ этой поэмы, переведенныя Костровымъ, напечатаны 1787 г. (*). Трудъ его, какъ человѣка «благоискуснаго въ красотахъ отечественной словесности», уважался многими и дѣйствительно заслуживалъ уваженія. Гнѣдичъ началъ съ 7-ой пѣсни, выбравъ для перевода, въ подражаніе своему предшественнику, александрійскій стихъ, которымъ и перевелъ четыре пѣсни съ половиной (**). Въ 1811 г. нашлось продолженіе перевода Кострова, именно пѣсни 7, 8 и половина 9-ой (***). Это открытіе не остановило Гнѣдича, но онъ уже сознавалъ бѣдность выбраннаго имъ стихотворнаго размѣра и невозможность передать имъ въ точности красоты подлинника, хотя и не осмѣливался прибѣгнуть къ гексаметру, почитая его несвойственнымъ русскою просодію, послѣ Тилемахиды. Сомнѣнія его были разсѣяны Уваровымъ, по настоянію котораго онъ рѣшился замѣнить однообразный шестистопный ямбъ героическимъ стихомъ грековъ. Письмо Уварова къ Гнѣдичу о греческомъ гексаметрѣ (****) содержитъ въ себѣ также умныя сужденія о слѣпномъ подражаніи нашихъ поэтовъ французамъ, благодаря которому мы усвоили не только иноземныя идеи, но даже иноземныя формы. Подражаніе идетъ отъ Ломоносова. Увлеченный общимъ въ его время предубѣжденіемъ, онъ написалъ двѣ пѣсни поэмы «Петръ Великій» шестистопными ямбами, хотя самъ, въ «Письмѣ о правилахъ русскаго стихотворства», наилучшею формою стиховъ почитаетъ гексаметръ. Съ тѣхъ поръ все роды нашей словесности подчинились французскому вліянію: прежде чѣмъ образовался нашъ театръ, мы стали строго соблюдать правила лжеклассической трагедіи и комедіи; характеръ, постройку и стихотворную форму одъ мы заимствовали у Малербэ и Руссо. Чтобы высвободиться изъ-подъ ига, необходимо знать древность. Для распространенія этого знанія существуютъ два средства: правильное изученіе древнихъ языковъ и хорошіе переводы лучшихъ классическихъ писателей. Обращаясь за

ихъ твореній, уже восхитились всѣхъ просвѣщенныхъ народовъ, и слава языка русскаго уже послалась бы по вселенной, какъ громъ русскаго оружія.

(*) Ист. Рус. Слов. I, § 221.

(**) Переводъ 7-ой пѣсни изданъ отдѣльно (1809), а 8-ой нап. въ 5 кн. Чтенія въ Бесѣдѣ (1812).

(***) Нап. въ В. Евр. 1811, №№ 14 и 15.

(****) Чтеніе въ Бесѣдѣ, кн. 13 (1813).

тѣмъ къ гексаметру, Уваровъ ставитъ общее положеніе, что версификація каждаго народа соотвѣтственна образу его мыслей и гению его языка. Поэтому стихосложеніе грековъ есть одна изъ важнѣйшихъ красотъ ихъ поэзіи: каждый поэтический родъ имѣлъ свой размѣръ, каждый размѣръ—не только свои законы и правила, но, такъ сказать, свой духъ и свой языкъ. Эпосъ былъ предоставленъ гексаметръ — ясный, плавный, богатый измѣненіями, гармоническій. Онъ также служилъ эпическимъ стихомъ у римлянъ. Изъ новыхъ народовъ, французы, по свойству языка своего, неспособнаго къ поэзіи, принуждены были метрическую систему грековъ замѣнить другою, въ которой не расположеніе слоговъ, а число ихъ принимается въ расчетъ, и рима служить прикрытіемъ бѣдности склада. У нихъ-то явился alexandrinский стихъ—совершенная противоположность гексаметру: сухой, монотонный, съ невольнымъ удареніемъ на полустигми. «Когда вмѣсто плавнаго, величественнаго гексаметра, говоритъ авторъ, я слышу скудный и сухой alexandrinский стихъ, римою прикрашенный, то мнѣ кажется, что я вижу божественнаго Ахиллеса во французскомъ платьѣ.... Прилично ли намъ, имѣющимъ изобильный, метрической просодіею наполненный языкъ, заимствовать у иноземцевъ бѣднѣйшую часть языка ихъ, просодію, совершенно намъ несвойственную?... Если нѣмцы, владѣя языкомъ весьма непокорнымъ, достигли до того, что имѣютъ хорошіе и вѣрные метрическіе переводы, зачѣмъ намъ, русскимъ, не имѣть наконецъ перевода Омара гексаметрами?» Въ возможности русскихъ гексаметровъ Уваровъ убѣждается первыми памятниками нашего стихотворства, основаннаго на весьма опредѣленномъ произношеніи *долгихъ* и *короткихъ* слоговъ: надобно только воскресить просодію этого древне-русскаго стихотворства.

Въ отвѣтъ своемъ Гнѣдичъ изложилъ формы гексаметрическихъ измѣненій, чтобы показать превосходство эпическаго стиха древнихъ предъ alexandrinскимъ и приложилъ опытъ перевода изъ 6-ой пѣсни Иліады гексаметрами (*). Ни этотъ опытъ, ни мнѣніе Уварова не понравились Капнисту (автору Ябеды), не знавшему, по его собственнымъ словамъ, древнихъ языковъ, да и въ новѣйшихъ не очень искусному. Въ письмѣ къ Уварову (**) онъ старался доказать, что гексаметръ въ русскомъ языкѣ существовать не можетъ, такъ какъ онъ долженъ непременно оканчиваться спондеемъ, а спондеевъ у насъ очень мало, да и тѣ противны русскому уху. Вмѣсто слѣпаго подражанія древнимъ, онъ совѣтуетъ, для усовершенствованія русскихъ стиховъ, искать свойственнаго имъ, пріятнѣйшаго склада—въ народныхъ пѣсняхъ. Совѣтъ подкрѣпленъ переводомъ отрывка изъ Иліады размѣромъ пѣсни: «какъ бывало у насъ, братцы, черезъ темный лѣсъ» (хореемъ съ дактилическимъ окончаніемъ, по образцу сказки Карамзина: «Илья Муромецъ»).

Возраженія Капниста были опровергнуты Уваровымъ (***), который выражалъ мнѣніе, для многихъ тогда новое, но въ другихъ литературахъ, особенно въ нѣмецкой, общепринятое, какъ согласное съ понятіемъ о высшей формѣ поэтическихъ созданій. Уваровъ находитъ даже страннымъ защищать Гомера: это значило бы оправдывать его въ томъ, что онъ родился въ Греціи и воспѣвалъ троянскую войну. Стихосложеніе Гомерово есть совершеннѣйшій плодъ эпической поэзіи или, лучше сказать, источникъ оной, почему Аристотель и называетъ ее «повѣствующею и гексаметрами

(*) Чтеніе, кн. 3 (1813).

(**) Ib., кн. 17 (1815).

(***) Въ отвѣтъ Капнисту (ib.).

изображающею». Мнѣніе, будто мы не можемъ имѣть этого стиха потому, что у насъ нѣтъ спондеевъ, несправедливо: Уваровъ доказываетъ своему противнику, что не спондей, а дактиль есть истинная основа гексаметра, который весьма часто оканчивается хореемъ. Если и невозможно образовать настоящаго гексаметра, со всѣми отличіями, какія онъ представляетъ у древнихъ грековъ, то все же лучше пожертвовать нѣкоторою метрическою строгостію, какъ это и сдѣлали нѣмцы, нежели отказаться отъ надежды обогатить нашу просодію превосходнѣйшимъ размѣромъ, вполнѣ соответствующимъ широкому, безграничному потоку эпического творенія.

Переходя за тѣмъ къ предполагаемому переводу Иліады размѣромъ народныхъ русскихъ нѣсенъ, Уваровъ обличаетъ несостоятельность такого намѣренія, какъ несогласнаго ни съ понятіемъ о художественномъ воспроизведеніи образцовъ (со всѣми отличіями времени, мѣста и народнаго характера), ни съ понятіемъ о самой сущности поэтическихъ твореній, въ которыхъ идея и форма составляютъ единое и нераздѣльное:

Не въ томъ дѣло состоятъ, чтобъ написать поэму съ поэмы или чтобъ сохранить впечатлѣніе, производимое чтеніемъ Омера или всѣхъ древнихъ вообще, надъ нѣсколькими только читателями. Мы должны стараться утвердить впечатлѣніе, производимое чтеніемъ ихъ надъ всѣми просвѣщенными умами, слѣдственно представить *оттѣпокъ* творенія Омерова въ духѣ оригинала, съ его формами и со всѣми оттѣнками, такимъ образомъ, чтобъ мы имѣли въ глазахъ не Кострова, не Гнѣдича, но Омера—Омера въ яснѣйшемъ созерцаніи его красоты, Омера въ томъ видѣ, въ какомъ онъ плѣнялъ законодателя Спарты, побѣдителя Азій, Александрійскихъ мудрецовъ и весь, однимъ словомъ, блистательный рядъ его любителей въ древнемъ и новомъ мірѣ. Вотъ въ какомъ отношеніи могутъ древніе дѣйствовать надъ нами. Но чтобъ достигнуть сей цѣли, чтобъ распространить благотѣльное ихъ вліяніе, необходимо нужно признать первымъ правиломъ, что *формы* въ поэзіи неразлучны съ *духомъ*; что между формами и духомъ поэзіи находится также самая таинственная связь, какъ между тѣломъ и душою; что обоюдное ихъ вліяніе и дѣйствіе—формы на мысль, а мысли на форму—такъ тѣсны, что никакъ нельзя опредѣлить истинныхъ границъ ихъ, а еще менѣе расторгнуть ихъ союзъ, не жертвуя тою или другою. Союзъ сей въ поэзіи древнихъ еще сильнѣе, нежели въ стихотвореніяхъ новѣйшихъ народовъ. Въ греческой поэзіи всѣ формы изобрѣтены такъ счастливо, опредѣлены такъ глубокомысленно, что составъ ихъ служитъ путеводителемъ въ хранилище генія древности. Кто не чувствуетъ изящности стосложженія Омера, Эсхила, Теокрита, Анакреона, тотъ теряетъ половину ихъ красотъ.... Если доказано будетъ, что экзаметрами переводить намъ Омера не можно, то я бы скорѣе предпочелъ *переводъ въ прозѣ*. Омеръ въ русскомъ зинуиѣ столько же мнѣ противенъ, какъ и во французскомъ кафанѣ. Переводить Иліаду русскимъ народнымъ размѣромъ еще хуже, чѣмъ переводить александрійскими стихами: ибо сей послѣдній стихъ, по большому употребленію, принадлежитъ *всѣмъ* и занимаетъ мѣсто героическаго стиха во *всѣхъ* почти новѣйшихъ языкахъ.

Въ заключеніи письма, снова подтверждена необходимость образовать метрическую просодію, на геній языка основанную, какъ она уже существовала въ нашемъ древнемъ стихотворствѣ: нужно только воскресить его. Наконецъ указаны способы для благоуспѣшнаго развитія отечественной словесности:

Безъ основательныхъ познаній и долговременныхъ трудовъ въ древней словесности никакая повѣйшая существовать не можетъ; безъ тѣснаго знакомства съ другими повѣйшими мы не въ состояніи обнять все поле человеческого ума—обширное и блистательное поле, на которомъ всѣ предубѣжденія должны бы умирать и всякая ненависть гаснуть; но безъ собственныхъ формъ, языку нашему свойственныхъ, намъ никогда нельзя имѣть истинно-народной словесности. И такъ, на изысканіе сихъ формъ мы должны употребить всевозможное стараніе.

Этими словами Уваровъ приглашалъ къ примиренію нашихъ писателей, раздѣлив-

лись своими мнѣніями: одни, указывая на литературу грековъ и римлянъ, какъ на единственный образецъ подражанія, не отдавали должнаго ново-европейскимъ литературамъ; другіе, обращаясь къ послѣднимъ, и преимущественно къ французской, думали, что она замѣняетъ и даже превосходитъ древне-классическую поэзію, въ которой, слѣдовательно, и нѣтъ особенной нужды. Цѣлью примиренія поставлено было совокупное дѣйствіе силъ на образованіе истинно-народной русской словесности, при помощи всесторонняго, чуждаго предубѣжденій, знакомства съ произведеніями человѣческой мысли и фантазіи въ древнемъ и новомъ мірѣ.

Вслѣдствіе споровъ между Уваровымъ и Капнистомъ, Гнѣдичъ рѣшился перевести «Иліаду» размѣромъ подлинника: онъ взялъ смѣлость «отвязать отъ позорнаго столба стихъ Гомера и Виргилія, прикованный къ нему Тредьяковскимъ». Но если гексаметры Тилемахиды ужасали каждого своею тяжеловѣсностью и неуклюжестью, то выборъ ихъ для перевода Фенелонава эпоса, равно какъ и оцѣнка важныхъ преимуществъ героическаго стиха древнихъ, представленная «въ предъизъясненіи объ греческой піимѣ», заслужила похвалу образованныхъ людей (*).

За Уваровымъ и Капнистомъ слѣдовали другіе литераторы; принявшіе участіе въ спорѣ о гексаметрахъ. Одни доказывали, что гексаметръ рѣшительно несвойственъ нашему языку и не можетъ быть замѣченъ никакимъ другимъ размѣромъ; другіе, напротивъ, утверждали, что просодія наша способна къ полному и точному воспроизведенію древняго героическаго стиха; третьи, держась средняго мнѣнія, думали, что хотя у насъ нѣтъ настоящаго гексаметра, однакожь мы имѣемъ средства образовать стихъ, ему подобный и могущій, въ случаѣ надобности, замѣнять его. Самсоновъ, въ «краткомъ разсужденіи о русскомъ стихосложеніи» (**), отвергаетъ возможность гексаметровъ въ нашей просодіи и выставляетъ разнообразіе александрійскаго стиха. Мерзляковъ также находилъ тщетными всѣ усилія русскихъ уставщиковъ стопосложенія водворить гексаметръ въ подлинномъ смыслѣ этого слова (***). Востоковъ (****) даетъ отзывъ, согласный съ вышеприведенной замѣткой Уварова: «конечно, за недостаткомъ спондеевъ, гексаметръ нашъ всегда останется весьма несовершеннымъ подобіемъ греческаго и римскаго; но если въ семъ несовершенномъ подобіи онъ для эпическаго стихотворца несравненно выгоднѣе ямбическаго или другаго какого размѣра, то зачѣмъ не присвоить его намъ въ такомъ видѣ, т. е. замѣняя спондеи хорееми?» Въ замѣчаніяхъ на «Опытъ» (*****) Гнѣдичъ не соглашался съ Востоковымъ. По его мнѣнію, количество (долгота и краткость) есть не природное свойство греческихъ словъ, а условная принадлежность, и произношеніе грековъ и римлянъ было не количественное, а тоническое, общее всѣмъ народамъ. Самсоновъ защищалъ свои положенія статью: «Нѣчто о долгихъ и короткихъ словахъ, о русскихъ гексаметрахъ и ямбахъ» (*****). «Словарь древней и новой поэзіи», Остолопова (1821), не утверждая и не отрицая достоинства гексаметра, признаетъ, что онъ можетъ быть весьма пріятенъ и особенно полезенъ, для переводовъ съ древнихъ языковъ, ибо въ немъ удобнѣе,

(*) Ист. Рус. Слов. I, 334.

(**) В. Евр. 1817, № 15.

(***) Письмо изъ Сибири (Труды общества любителей Рос. Словесности, ч. XI-ая, 1818).

(****) Второе изданіе «Опыта о русскомъ стихосложеніи (1817)». Первое пап. въ Спб. Вѣстникъ 1812 г. (№№ 4—6).

(*****) В. Евр. 1818, № 10.

(*****). Ив. № 15.

нежели въ краткихъ ямбическихъ стихахъ, «умѣщаются» мысли подлинныхъ твореній, написанныхъ симъ размѣромъ. По поводу отрывка изъ Энеиды, переведеннаго Жуковскимъ, критикъ Вѣстника Европы (Н. П. Надеждинъ) находить, что дактило-хорейскіе стихи перевода *нѣсколько* похожи на размѣръ подлинника, но важныя преимущества древняго гексаметра для насъ не существуютъ; что мы, присвоивъ сомнительное право замѣнять спондеи хорейми, все еще не образуемъ эпического стиха древнихъ (*).

Когда вышла Иліада (1829), вопросъ о гексаметрахъ считался рѣшеннымъ: побѣда осталась на сторонѣ Гнѣдича. Но онъ былъ снова поднятъ, при появленіи Одиссеи, въ переводѣ Жуковскаго, вмѣстѣ съ вопросомъ о способѣ переводить Гомера. Мнѣнія по тому и другому предмету будутъ изложены въ своемъ мѣстѣ (**).

Отъ вышеизложенныхъ сужденій слѣдовало перейти къ опытамъ, которые своимъ достоинствомъ показали бы ихъ состоятельность и вѣрность. Первымъ капитальнымъ опытомъ былъ переводъ Иліады — добросовѣстный, двадцатилѣтній трудъ Гнѣдича (1784—1833), тѣмъ болѣе заслуживающій уваженія, что онъ началъ и конченъ при обстоятельствахъ мало для него благоприятныхъ.

Переводчику предстояли большія трудности въ совершеніи задуманнаго имъ подвига.

Главнѣйшая изъ нихъ есть общая для всѣхъ поэтовъ, которые рѣшались воспроизвести Гомера на своемъ языкѣ. Истинно-изящный, художественный переводъ поэтического созданія обязанъ сохранить неизмѣннымъ не только его содержаніе, но и тонъ, характеръ, духъ его, опредѣляемый взаимнымъ отношеніемъ содержанія и формы. Это отношеніе должно во всей чистотѣ и ясности явиться на языкѣ перевода такимъ же, какимъ оно явилось на языкѣ подлинника. Если художественно-вѣрная передача новоевропейскаго поэтическаго произведенія, близкаго намъ по идеямъ, характеру и изложенію, требуетъ большаго искусства, то несравненно труднѣе имѣть дѣло съ твореніемъ вполнѣ народнымъ, отдаленнымъ отъ насъ на тридцать вѣковъ, изображающимъ совершенно чуждую намъ жизнь. Гнѣдичъ вѣрно сознавалъ эту трудность: онъ опредѣляетъ ее «непрерывной борьбой переводчика съ собственнымъ духомъ, съ собственной внутреннею силою, которыхъ свободу должно обуздывать на каждомъ шагѣ, ибо выраженіе оной было бы совершенно противоположно духу Гомера». Такое всецѣлое, никогда не выпускаемое изъ виду отрѣшеніе отъ собственной личности, или, что одно и тоже, такое всецѣлое соблюденіе объективности есть идеаль, къ которому необходимо стремиться, но который достигается только до извѣстнаго предѣла. Большею или меньшею мѣрою предѣла и опредѣляется болѣе или менѣе удовлетворительное выполненіе задачи. Проникнуть въ духъ подлинника можно путемъ долговременнаго его изученія, даже безъ помощи высокаго поэтическаго таланта; но чтобы воспроизвести этотъ духъ въ переводѣ, одной науки недостаточно: надобно быть истиннымъ художникомъ. Къ сожалѣнію, Гнѣдичъ не владелъ большимъ поэтическимъ дарованіемъ, хотя его рачительное изученіе подлинника не подлежитъ спору.

Кромѣ борьбы съ собственнымъ духомъ, Гнѣдичъ велъ еще борьбу и съ греческимъ языкомъ, съ его богатыми, разнообразными формами и оборотами. Для перевода Гомеровою поэмою необходимо было создать эпическій складъ, по возможности равносильный складу подлинника, чтобы на чуждомъ языкѣ она возбуждала въ читателѣ тоже

(*) Ib. 1824, №№ 1—4, въ разборѣ Полярной Звѣзды на 1824 г.

(**) Подробности см. въ моей 3-ей статьѣ объ А. Измайловѣ (Современ. 1850, № XI).

настроение, какое производила на языкъ родномъ. Гнѣдичъ хорошо чувствовалъ и эту трудность, тѣмъ болѣе, что онъ началъ поздно изучать греческій языкъ, почему и не успѣлъ усвоить его въ совершенствѣ, но въ тоже время видѣлъ, что русскій переводчикъ найдетъ средство для побѣды надъ ней въ своемъ языкѣ—богатомъ, гибкомъ, просодическомъ, обладающемъ драгоценнѣйшимъ свойствомъ, особенно для перевода съ греческаго, *свободнымъ словорасположеніемъ*. «Я былъ вѣренъ Гомеру», говоритъ онъ, «и, слѣдуя умному изреченію: *должно переводить нравы, такъ же какъ и языкъ*, я ничего не опускалъ, ничего не измѣнялъ. У великихъ писателей есть такіа выраженія, которыхъ сила, хорошо чувствуемая, болѣе, нежели цѣлая книга, даетъ понятіе о лицѣ, которое произноситъ ихъ, или о народѣ, который ихъ употребляетъ. Дѣлая выраженія греческія русскими, должно было стараться, чтобы не сдѣлать русскою мысли Гомеровою, но что еще болѣе—не украшать подлинника. Очень легко украсить, а лучше сказать—подкрасить стихъ Гомера краскою нашей палитры: и онъ покажется щеголеватѣе, пышнѣе, лучше для нашего вкуса; но несравненно труднѣе сохранить его Гомерическимъ, какъ онъ есть, ни хуже, ни лучше. Вотъ обязанность переводчика, и трудъ, кто его испыталъ, не легкій. Квинтилианъ понималъ его: *facilius est plus facere, quam idem* (легче сдѣлать болѣе, нежели тоже) (*)».

Послѣдняя трудность—самый стихъ, гексаметръ, еще мало обработанный русскими поэтами въ то время, когда Гнѣдичъ принялся за переводъ Гомера. Извѣстно, что разсужденія Тредьяковскаго о свойствахъ героическаго метра древнихъ гораздо лучше, чѣмъ самый метръ, употребленный имъ, впервые, въ Тилемахидѣ (**). Сумароковъ, желая представить лучшій его образецъ, перевелъ имъ отрывокъ тоже изъ Фенелона Телемака. Стихотвореніе М. Н. Муравьева: «Роща» (Труды Вольнаго Русскаго Собранія на 1766 г.) и переводъ Виргиліевой эклоги «Титиръ», Рубана (Ежемесячныя сочиненія 1793 г.), написаны гексаметрами. Въ первыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія Востоковъ представилъ опыты стихотворныхъ размѣровъ, между прочимъ и гексаметра, взятыхъ, по примѣру нѣмцевъ, съ латинскаго и греческаго (***). Но первенство приложенія гексаметра къ переводу древняго эпоса, равно какъ и обработка этого стиха, не имѣвшаго почти образцовъ и неустроеннаго, безспорно принадлежать Гнѣдичу. Поэтому онъ справедливо смотрѣлъ на Жуковскаго и Дельвига, какъ на своихъ послѣдователей, хотя и очень скромно отзывался о самомъ себѣ: «если мои собственныя усилія несчастны, по крайней мѣрѣ послѣдствія не безплодны».

Изложивъ, въ предисловіи къ своему труду, условія, при которыхъ переводъ Гомера становится вѣрнымъ и вмѣстѣ художественнымъ, Гнѣдичъ не вполнѣ ихъ выдержалъ, и потому его переводъ, при существенныхъ достоинствахъ, имѣетъ и существенные недостатки. Главное достоинство его—точность, не исключаяющая, однакожъ, художественности, по крайней мѣрѣ въ извѣстной степени: переводчикъ ничего не опускалъ, ничего не прибавлялъ, ничего не измѣнялъ. Главный недостатокъ его—отсутствіе простоты: переводчикъ сообщилъ гомерическимъ пѣснямъ какую-то торжественность, настроилъ ихъ на риторическій тонъ, чему особенно способствовало излишнее и не всегда разборчивое употребленіе славянскихъ словъ и оборотовъ. Справедливо упрекая современное ему общество въ предвзятыхъ понятіяхъ о древности, Гнѣдичъ не могъ одна-

(*) Предисловіе къ Илиадѣ.

(**) Ист. Рус. Слов. I, 334 и 336.

(***) Ист. Христ. II, 183.

кожъ освободиться отъ обычнаго мнѣнія, будто искусственная важность тона есть необходимая принадлежность эпоса. Языкъ перевода, вообще крѣпкій и мужественный, часто слишкомъ тяжелъ: стараясь о вѣрнѣйшемъ воспроизведеніи подлинника, переводчикъ тѣмъ самымъ повредилъ конструкціи и характеру родной рѣчи. Въ этомъ отношеніи, равно какъ и въ отношеніи къ точности, русскій переводъ *Иліады* стоитъ на одной доскѣ съ переводомъ Фосса, который также подчинялъ нѣмецкій языкъ языку Гомерову.

Заслуга Гнѣдича не была и не могла быть оцѣнена современною ему публикой, по недостатку знакомства съ древнею поэзіей и слѣдовательно по невозможности постигать красоты ея, даже въ средѣ литераторовъ, которые очень часто произносили имя Гомера, но большинство ихъ не читало ни *Иліады*, ни *Одиссеи*, не только въ подлинникъ, даже во французскомъ переводѣ (*). О цѣлитературныхъ кругахъ и упоминать нечего. «Древняя тьма лежитъ на рощахъ русскаго Ликейя,» говоритъ Гнѣдичъ: «у насъ нѣтъ еще никакихъ руководствъ къ понятіямъ справедливымъ о древности, и слѣдственно къ чтенію древнихъ писателей съ удовольствіемъ и пользою»,—не то что въ Германіи, гдѣ «изученіе Гомера такъ же тѣсно соединено съ воспитаніемъ юношества, какъ могло быть у Грековъ. Наши учителя до сихъ поръ головы героевъ Гомеровыхъ ненаказанно украшаютъ перьями, а руки вооружаютъ сталью и булатомъ. И мы, ученики ихъ, оставаемые учителями въ понятіяхъ о древности, совершенно превратныхъ, удивляемся, что Гомеръ своихъ героевъ сравниваетъ съ мухами, богинь съ птицами; сожалѣемъ о переводчикахъ его, которые такими дикостями оскорбляютъ вкусъ нашъ. *Надобно подлинникъ принаравливать къ странѣ и вѣку*, въ которомъ пишутъ: такъ нѣкогда думали во Франціи и Англіи; такъ еще многіе не перестали думать въ Россіи. У насъ еще господствуютъ тѣ одностороннія литературныя сужденія, которыя достались намъ въ наслѣдство отъ покойныхъ аббатовъ».

Равнодушіе соотечественниковъ глубоко огорчило Гнѣдича, тѣмъ болѣе, что онъ, предвидя всѣ трудности своего подвига, имѣлъ право думать, что эти трудности были имъ преодолены по мѣрѣ силъ и что переводъ его, при всѣхъ недостаткахъ, долженъ занять въ нашей литературѣ такое же почетное, если не высшее, мѣсто, какое занимаетъ Фоссовъ переводъ въ литературѣ нѣмецкой. Утѣшеніемъ Гнѣдичу служили одобрительные, сочувственные отзывы хотя немногихъ, но просвѣщенныхъ любителей изящнаго. Пушкинъ въ томъ числѣ, поэтически выразилъ впечатлѣніе, произведенное на него чтеніемъ перевода:

Слышу умолкнувшій звукъ божественной эллинской рѣчи;
Старца великаго тѣнь чую смущенной душой.

За трудомъ Гнѣдича слѣдовалъ другой капитальный трудъ—переводъ «*Одиссеи*», Жуковскаго (1849). Хотя, по времени своего появленія, этотъ переводъ относится къ позднѣйшему періоду нашей литературы, однакожъ, въ настоящемъ случаѣ, нѣтъ повода держаться хронологическаго порядка. Онъ могъ явиться и прежде, ничего ни

(*) Одинъ изъ немалыхъ тому примѣровъ—Хиѣльницкій, драматическій писатель. Онъ рѣшился прочесть *Иліаду*, во французскомъ переводѣ, только по настоянію своего пріятеля Катенина, человека образованнаго, не допускавшаго, что можно быть литераторомъ безъ положительнаго знакомства съ классическими образцами литературы. Хиѣльницкій признался ему, что онъ прочиталъ только четыре пѣсни. Скуна страшная! говорилъ онъ: только и дѣло, что герои ругаются какъ извозчики, да жрутъ барановъ.

потерявъ, ни выигравъ въ своемъ достоинствѣ. Вопреки мнѣнію Гоголя (*), переводчикъ былъ способенъ выполнить свое дѣло двумя десятками лѣтъ раньше съ такимъ же успѣхомъ, съ какимъ онъ его выполнилъ двадцатью годами позднѣе. Греческаго языка Жуковскій не зналъ ни прежде, ни послѣ, но съ Гомеромъ онъ былъ знакомъ, по крайней мѣрѣ на столько, на сколько знакомство возможно, безъ знанія языка подлинника. Что же касается до таланта, необходимаго для воспроизведенія поэтическихъ созданій, то Жуковскій, не утративъ его въ старости, одинаково владѣлъ имъ и до старости. Короче, ни въ его искусствѣ, ни въ его мысли не произошло никакихъ органическихъ перемѣнъ, которыми обусловила бы необходимость явиться переводу Одиссеи въ 1849-мъ, а не въ 1839 году, или еще и раньше.

Жуковскій переводилъ Одиссею съ подстрочнаго нѣмецкаго перевода, сдѣланнаго въ Дюссельдорфѣ профессоромъ Грасгофомъ. «Въ этомъ хаотически-вѣрномъ переводѣ», писалъ онъ С. С. Уварову, «были собраны передо мною всѣ матеріалы зданія; не доставало только красоты, стройности и гармоніи. И вотъ въ чемъ состоялъ собственно трудъ мой: мнѣ надлежало изъ даннаго нестройнаго выгадывать скрывающееся въ немъ стройное, чутьемъ поэтическимъ отыскивать красоту въ безобразіи и творить гармонію изъ звуковъ, терзающихъ ухо,—и все это не во вредъ, а съ вѣрнымъ сохраненіемъ древней фізіогноміи оригинала» (**). Изложивъ, какъ и Гнѣдичъ, свои мысли о томъ, какъ слѣдуетъ перелгать Гомера, онъ старался въ точности ихъ выполнить: «я вездѣ старался сохранить простой, сказочный языкъ, избѣгая всякой натяжки; пользовался, гдѣ могъ, возвышенностью церковно-славянскаго діалекта, но строго держался языка русскаго, присвоеннаго общимъ употребленіемъ, и по возможности соглашалъ его формы съ формами оригинала,—соглашалъ такъ, чтобы Гомеровскій стихъ былъ ощутителенъ въ стихѣ русскомъ, не принуждая его кривляться по гречески (***). Работой своей Жуковскій остался доволенъ: «переводъ мой кажется мнѣ простѣе всѣхъ существующихъ; вѣренъ, какъ проза, но поэтическій, и поэтическій по образу и подобию Гомера; языкъ же русскій, а не греческій, какъ у нѣмцевъ, и не такой, какъ во всѣхъ переводахъ французскихъ и у Попа» (****). Въ отношеніи къ вѣрно-художественному воспроизведенію Гомера онъ дозволилъ себѣ назвать свой переводъ произведеніемъ оригинальнымъ. Замѣчательно, что въ сужденіяхъ, наполняющихъ оба письма Жуковскаго (къ Плетневу и гр. Уварову), нѣтъ ни слова о Гнѣдичѣ. Но по нѣкоторымъ словамъ его можно заключать, что онъ находилъ переводъ Иліады неудобовѣрительнымъ: въ противномъ случаѣ онъ не сказалъ бы, что классическая поэзія у насъ еще «небывалый гость»; что онъ первый «отворилъ для отечественной поэзіи дверь Эдема, не утраченнаго ею, но до сихъ поръ для нея запертаго»; что онъ старался избѣгать всякаго «славянщизма»,—достоинство, которымъ не могъ похвалиться переводъ Иліады, обильный славянскими словами и оборотами (*****). Отъ Одиссеи, воспроизведенной на русскомъ языкѣ, Жуковскій ожидалъ большой пользы, вѣруя въ образовательную силу Гомерова эпоса. Особенное дѣйствіе долженъ былъ оказать Гомеръ на учащееся юношество, даже на дѣтей. Какъ Руссо ограничивалъ бібліотеку Эмиля однимъ Робинзономъ, такъ Жуковскій не находилъ книги болѣе приличной пер-

(*) Объ Одиссеѣ, переводимой Жуковскимъ (Выбранныя мѣста изъ Переписки съ друзьями).

(**) Соч. Ж-го, ч. 13 (См. также «Вмѣсто предисловія» къ Одиссеѣ).

(***) Ib.

(****) Отрывки изъ письма объ Одиссеѣ (къ Плетневу). Соч. Ж-го, ч. 13.

(*****) Письма къ Стурдзѣ и гр. Уварову. Ib. стр. 238, 251—252.

вѣтому, свѣтлому періоду жизни, болѣе возбуждающей всѣ способности души прелестію разнообразной, какъ Одиссея (*). Понятіе о важности древне-классической поэзіи давно установилось въ умѣ переводчика: совершенное незнаніе классиковъ онъ называлъ великой прорѣхой въ нашемъ умственномъ образованіи, и потому отъ вѣрныхъ переводовъ греческихъ и латинскихъ поэтовъ и прозаиковъ онъ ожидалъ несказанной пользы нашему языку, «который заимствовалъ многое у языковъ новѣйшихъ, но на который еще не сходилъ духъ древности».

Переводъ Одиссеи, какъ по отношенію къ характеру подлинника, такъ и по литературному своему значенію, безспорно, достоинъ стоять на ряду съ лучшими переводами Гомеровыхъ поэмъ. Въ своемъ талантѣ, постигавшемъ красоты чуждой поэзіи, даже безъ непосредственнаго съ нею знакомства, и въ глубокомъ знаніи роднаго слова Жуковскій нашелъ средства, въ большей противъ другихъ опытовъ степени, подойти къ образцу столько же вѣрнаго, сколько и художественнаго воспроизведенія народнаго греческаго эпоса. Языкъ перевода — изящный языкъ современной литературы; тонъ разсказа — простой и спокойный, свойственный гомерическимъ пѣснямъ. Переводчикъ вездѣ является художникомъ — какъ въ цѣломъ, такъ и въ передачѣ мелкихъ подробностей, въ постройкѣ періодовъ и предложений, въ отдѣлкѣ стиха, простаго, точнаго и вмѣстѣ пластичнаго.

Трудъ Жуковского вызвалъ многія критики. Всѣ онѣ (за исключеніемъ статьи П. А. Лавровскаго) больше говорили по поводу перевода Одиссеи, чѣмъ о самомъ переводѣ (**). Общая часть ихъ, т. е. сужденія о Гомерѣ, его поэмахъ, способъ переводить ихъ и о гексаметрѣ, вышли не безполезнами для читателей, незнакомыхъ съ древностью и съ результатами нѣмецкой филологіи. Она замѣщала недостатокъ тѣхъ обзоровъ и пояснительныхъ примѣчаній, которые и Гнѣдичъ и Жуковскій думали, но не успѣли присоединить къ своимъ переводамъ. Къ самому переводу Одиссеи критики отнеслись взыскательно и строго. Если Гнѣдичъ вовсе не угодилъ имъ, то Жуковскій угодилъ мало. Они остались недовольны ни гексаметромъ, ни тономъ разсказа, ни выраженіемъ духа подлинника. Споры, за 35 лѣтъ волновавшіе литературный кругъ, снова выступили на сцену. Гипотезы Капниста (***) нашли себѣ ревнителя и продолжателя въ Сенковскомъ, доведшемъ ихъ до неимовѣрныхъ заключеній. Г. Ордынскій, изложивъ особенности греческаго гексаметра, утверждалъ, что ни одной изъ нихъ мы не имѣемъ въ нашей версификаціи. На нѣтъ, конечно, и суда нѣтъ, хотя главный вопросъ состоялъ не въ этомъ, а въ томъ, есть ли у насъ, кромѣ шестистопнаго дактило-хореического стиха, какой-либо другой, которымъ было бы возможно съ большимъ удобствомъ передавать на русскій языкъ произведенія древне-классическаго эпоса. Въ случаѣ отрицательнаго отвѣта (а инаго и быть не можетъ) всякое недовольство гексаметрами Жуковского, сравнительно съ подлиннымъ, настоящимъ гексаметромъ, пада-

(*) На это образовательное вліяніе Одиссеи Гоголь посмотрѣлъ въ увеличительное стекло (Объ Одиссѣѣ, въ Выбран. мѣстахъ изъ переписки съ друзьями).

(**) Укажемъ важнѣйшія изъ нихъ: г. Лавровскаго: Сравненіе перевода Одиссеи Ж—го съ подлинникомъ, на основаніи 9-ой рапсодіи (Отеч. Зап. 1849, № 3); Ордынскаго: Новыя стихотворенія Ж—го, Одиссея (Ib. 1849, № 8, и 1850, № 7); его же: Одиссея и журнальные толки о ней, двѣ статьи (Соврем. 1850, т. XX); Шевырева, двѣ статьи (Москвит. 1850, №№ 1 и 2); Сенковского, двѣ статьи (Библ. для чтенія 1850, №№ 1 и 2).

(***) «О возстановленіи первыхъ шести пѣсней Одиссеи въ первобытный ихъ порядокъ» и «Мнѣніе, что Улиссъ страствовалъ не въ Средиземномъ, а въ Черномъ и Азовскомъ моряхъ (Соч. Капниста, Смирд. изд. 1849).

еть само собою. Что нашъ такъ называемый гексаметръ не одно и тоже съ Гомеровскимъ—это не было новостью ни для Уварова, ни для Востокова, ни для Мерзлякова. Заключительныя ихъ мнѣнія по этому предмету намъ уже извѣстны: всѣ они, признавая шестистопный дактилохоренческій размѣръ несовершеннымъ подобіемъ гексаметра, видѣли однакожъ необходимость пользоваться имъ для переводовъ произведеній греческаго и латинскаго эпоса (*). Критики (Сенковский и Ордынский) развивали и другую мысль Капниста о переводѣ Гомера складомъ нашихъ народныхъ пѣсень. Такъ какъ просторѣчіе наше, разсуждаетъ Сенковский, ближе къ Гомерову языку, то *Иліаду* и *Одиссею* слѣдуетъ переводить простонароднымъ русскимъ языкомъ, а отнюдь не литературнымъ. Г. Лавровский, держась того же мнѣнія, предлагаетъ переводчику еще другой, дѣйствительно важный матеріалъ—памятники древней словесности: «для выраженія патріархальной народности мы должны обратиться къ языку простаго народа; для выраженія старины мы должны обратиться къ нашей старинѣ». Наконецъ, Ордынский утверждаетъ, что переводить Гомера необходимо, если не народнымъ языкомъ, то, по крайней мѣрѣ, такимъ, который былъ бы чуждъ всѣхъ чисто-литературныхъ словъ и выраженій, въ особенности же славянизмовъ. Притомъ вѣрный переводъ можетъ быть, по его мнѣнію, только прозаическій. Въ подкрѣпленіе своей теоріи, критикъ перевелъ сначала отрывки изъ *Иліады*, а потомъ и нѣсколько ея пѣсень.

Но эта мысль переводить Гомеровы поэмы простонародной прозой была въ корень подорвана самимъ опытомъ переложенія, который ясно показалъ всю ея несостоятельность. Опытъ Ордынскаго вышелъ грубой, неряшливой мозаикой разнородныхъ языковъ—литературнаго въ древнихъ и новыхъ его формахъ, народнаго и по мѣстамъ церковно-славянскаго. Чуждый народнаго склада и художественности, онъ заставилъ вспомнить слова Уварова: «Гомеръ въ русскомъ зипунѣ столько же мнѣ противенъ, какъ и во французскомъ кафтанѣ». Читатель необходимо долженъ былъ думать то самое, что выражено г. Катковымъ въ его превосходной статьѣ: «Нѣсколько словъ о попыткахъ переводить Гомера на простонародный русскій языкъ»: «Ужъ лучше покажите намъ Гомера въ какомъ нибудь неопредѣленномъ костюмѣ, нежели въ кафтанѣ удалаго русскаго ямщика; пусть ужъ лучше старый рапсодъ будетъ представляться намъ неясно, въ туманѣ, чѣмъ жалкимъ образомъ кривляться передъ нами и корчить нашего пріятеля, казака Киришу Данилова; пусть ужъ лучше онъ вовсе не показывается, да лишь не показывается въ такомъ видѣ» (**). Критика нашла невѣрности въ переводѣ Жуковского; но гораздо лучше читать его, чѣмъ переводъ очень нехорошій, хотя бы и вѣрный. Самыя основанія той мысли, которая побудила перелгать Гомера просторѣчіемъ, потерпѣла крушеніе. Выведенныя изъ ложныхъ посылокъ, они оказались ложными, что убѣдительно разъяснено въ статьѣ г. Каткова. Главная ошибка состояла въ смѣшеніи простонародности съ народностью, которая будто бы можетъ выражаться не иначе, какъ языкомъ простонароднымъ, тогда какъ наилучшее ея выраженіе есть языкъ литературный, принявшій въ себя всѣ стіхій народа, образованный всѣми впечатлѣніями его духовной производительности,—выраженіе, незамѣнимое ни мѣстными нарѣчіями, ни особеннымъ говоромъ нѣкоторыхъ сословій. Въ приложеніи же къ *Иліадѣ* и *Одиссеѣ*, не можетъ быть и рѣчи о какой-либо противоположности между языкомъ образованнымъ и простонароднымъ. Различіе

(*) Выше 271—273.

(**) Прописен, кн. 4 (1854).

литературнаго и не-литературнаго не касается Гомеровыхъ поэмъ: «хотя онѣ возникли не въ литературѣ, но онѣ возникли въ такое время, когда не было никакой литературы; хотя въ этихъ пѣсняхъ выразилась греческая народность, но народность въ такую эпоху существованія, когда она не являлась противоположностію какому нибудь другому элементу, народность въ своемъ общемъ смыслѣ; онѣ не были литературнымъ произведеніемъ, но онѣ не были также произведеніемъ нелитературнымъ.... Гомерическій эпосъ никогда не могъ въ подлинникѣ производить впечатлѣніе исключительно-народнаго и еще менѣе простонароднаго слова.... Въ немъ сходились все вѣтви греческой народности, часто во всемъ прочемъ такъ разнохарактерныя и даже враждебныя между собою. Самыя нарѣчія, на которыя распадался эллинскій языкъ, соприкасались слитно въ гомерическомъ словѣ: за нимъ осталось значеніе языка эпическаго, который возвышался надъ всеми племенными нарѣчіями (*). Если и допустить, что языкъ Гомера «простонародный,» въ томъ смыслѣ, какой мы придаемъ этому слову, противопоставляя его слову «литературный,» то и при такомъ предположеніи напрасны будутъ усилія воспроизвести Илиаду или Одиссею на русскомъ просторѣчьи, ибо древне-греческая народность не одно и тоже съ русскою: аѳинская простонародная рѣчь показала бы у насъ, равно какъ и у другихъ народовъ, искусственно-вѣжливою (**). Въ этомъ смѣшеніи различныхъ народностей заключалась вторая ошибка критиковъ, неудовлетворенныхъ переводомъ Одиссеи.

Сказавъ о переводахъ Гомеровыхъ поэмъ, мы не должны забыть перевода Аристофановой комедіи: «Облака» (1821). Переводчикъ, И. М. Муравьевъ - Апостолъ, издалъ его вмѣстѣ съ греческимъ текстомъ, снабдилъ подробными историко-филологическими примѣчаніями и въ предисловіи старался объяснить причины, которыя побуждали аѳинскаго комика осмѣять Сократа. Хотя вопросъ объ отношеніи комедіи къ знаменитому философу рѣшается теперь иначе, но для насъ, въ сужденіяхъ переводчика, замѣчательнѣе не самый отвѣтъ, а непредубѣжденный взглядъ на классическую древность. Переводчикъ ставитъ себѣ и другимъ за правило отрѣшиться отъ обычаевъ и предразсудковъ XIX вѣка, когда идетъ рѣчь о Перикловомъ вѣкѣ, забыть современныя «условныя понятія» о театральности пристойности, не имѣющей никакого сходства съ тѣмъ, что было терпимо на театрѣ въ Аѳинахъ. Умный знатокъ и любитель древности остался вѣренъ взглядамъ, изложеннымъ въ извѣстныхъ намъ «письмахъ». Онъ постоянно держалъ на умѣ зависимость искусства отъ времени и мѣста, отъ свойствъ народа и его исторіи: «при Людовикѣ XIV Аристофанъ былъ бы Мольеромъ, точно такъ какъ Мольеръ при Периклѣ, въ Аѳинахъ, не могъ бы ничѣмъ инымъ быть, какъ только Аристофаномъ. Вмѣнимъ ли мы сему послѣднему въ порокъ, что онъ принадлежалъ таковому вѣку, а не иному?»

О Мерзляковѣ см. «Биографическій словарь профессоровъ Москов. университета». О Мартыновѣ: «Иванъ Ивановичъ Мартыновъ, переводчикъ греческихъ классиковъ», двѣ статьи Е. Колбасина (Соврем. 1856, №№ 3 и 4). Объ И. М. Муравьевѣ-Апостолѣ: «Отчетъ Акад. Н. по отдѣленію рус. языка и словесности за 1851 г. (Журналъ Министерства Народ. Просвѣщенія, ч. LXXIII, стр. 40 и 41); «Библиографическое замѣчаніе», М. Дмитріева (Моск. Вѣдомости 1857, № 130); «Воспоминанія Вигеля», ч. VI, гл. 3 (Рус. Вѣст. 1865, № 8). Въ академическомъ отчетѣ говорится слѣдующее: Муравьевъ-Апостолъ (двоюродный братъ М. Н. Муравьева) изучилъ основательно многіе языки.

(*) Ib.

(**) О поклоненіи Зевсу въ древней Греціи, П. Леонтьева.

По гречески и по латини онъ зналъ, какъ должностной ученый. Чтеніе, долговременныя путешествія и частныя сношенія почти со всѣми современными знаменитостями обогатили его разнообразными свѣдѣніями. Онъ первоначально находился въ числѣ кавалеровъ при воспитаніи великихъ князей Александра Павловича и Константина Павловича. Далѣе служилъ въ Государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ. Былъ отправленъ по дипломатической части къ разнымъ дворамъ и особенно долго находился нашимъ министромъ въ Испаніи. Въ Германіи онъ приобрѣлъ дружбу историка Іоанна Мюллера. — Вигель пишетъ, что Муравьевъ-Апостолъ по женѣ принялъ фамилію предка ея, гетмана Данила Апостола; что, воротясь изъ Мадрита, онъ, чѣмъ-то недовольный, долго жилъ за границей безъ службы и въ Парижѣ воспитывалъ двухъ сыновей своихъ. — Письма изъ Нижняго-Новгорода содержатъ въ себѣ нѣсколько біографическихъ указаній: въ 1797 г., проѣзжая черезъ Кенигсбергъ, онъ былъ представленъ Канту; по прошествіи нѣкотораго времени поселился въ Гамбургъ и сблизился искреннею пріязнью съ Клопптокомъ, жившимъ тогда въ Альтонѣ; въ Парижѣ былъ во время Наполеонова консульства. Литературные труды его: переводы двухъ комедій—Шеридана «Школа злословія», съ англ. (1794) и Аристофана «Облака», съ греч. (1821); сочиненія: ком. «Ошибки, или утро вечера мудренѣе» (1794), «Ольвія», отрывокъ изъ путешествія въ Тавриду въ 1820 г. (1821); «Путешествіе по Тавридѣ въ 1820 г.» (1823). Одно изъ нижегородскихъ писемъ, излагающее мысли о вредѣ преждевременнаго и обширнаго обученія юношества математикѣ, вводилось, какъ образецъ оригинальнаго ума автора, въ сборники образцовыхъ сочиненій, между прочимъ въ Учебную книгу Русской словесности Греча. Замѣчательное мнѣніе его о ценсурѣ, по дѣлу Попова, нап. въ Чтеніи Общества Исторіи и древностей (1859, кн. 4).

§ 39. Переводы служатъ первою ступенью въ знакомствѣ съ поэтическими созданіями чуждаго народа; за ними слѣдуетъ самостоятельное творчество въ духѣ чужеземной поэзіи. Ни Мерзляковъ, ни Гнѣдичъ, ни Жуковский не могли, послѣднимъ способомъ, усвоить нашей литературѣ древне-классицизмъ: первому преимущественно мѣшало французское воззрѣніе на искусство; второму—отсутствіе надлежащаго таланта; третьему—незнаніе древнихъ языковъ и еще болѣе долгое служеніе тому поэтическому направленію, которое, по содержанію и формѣ, совершенно противно характеру до-христіанской поэзіи. Человѣкомъ, наиболѣе способнымъ къ тому дѣлу, о которомъ говоримъ, былъ Батюшковъ.

Съ младенчества «отторженный судьбой отъ своей матери» (*), страдавшей разстройствомъ умственныхъ способностей, Батюшковъ (Константинъ Николаевичъ, 1787—1855), не испыталъ счастья въ кругу роднаго семейства. Взаимныя отношенія между нимъ и отцемъ его не отличались нѣжностью. Родина (Вологда) и ссылка были для него одно и то же. Дѣтство его протекло въ сиротствѣ; юность свою называлъ онъ печальною. Это нравственное одиночество, при всей своей горечи, осталось не безъ пользы: оно заставило Батюшкова сосредоточиваться въ самомъ себѣ и служило орудіемъ ранняго развитія способностей, которыя, говоря его словами, заимствуютъ свою силу отъ первыхъ впечатлѣній, отъ первыхъ, свѣжихъ чувствъ (**). Семейными обстоятельствами объясняется также, почему, при независимомъ состояніи, позволявшемъ имѣть при себѣ гувернеровъ и учителей, какъ тогда водилось у зажиточныхъ дворянъ, Батюшковъ воспитывался не дома, а въ петербургскихъ пансіонахъ, подъ надзоромъ двоюроднаго дяди, М. Н. Муравьева, которому собственно и одолженъ своимъ образованіемъ. Въ этихъ пансіонахъ онъ обучался преимущественно языкамъ: французскому (***),

(*) «Умиравшій Тассъ». Нѣкоторые стихи этой элегіи выражаютъ личное чувство автора.

(**) Посланіе къ И. М. Муравьеву-Апостолу.

(***) Доказательствомъ быстрыхъ успѣховъ Батюшкова въ этомъ языкѣ служитъ переводъ Платоновой рѣчи въ день коронованія Александра I, напечатанный въ 1801 г. и составляющій библіографическую рѣдкость. Переводчикъ было тогда 14 лѣтъ.

итальянскому и немецкому; впрочемъ къ послѣднему онъ пристрастился и овладѣлъ имъ позднѣе, во время пребыванія своего въ Германіи. Лучшую школу нашелъ Батюшковъ въ домѣ своего воспитателя, Муравьева, и его супруги, заступившихъ ему родителей, въ той нравственной средѣ, которая постоянно его окружала, въ общеніи съ образованными людьми, посѣщавшими его дядю. Съ малолѣтства принадлежалъ онъ къ кружку избранныхъ лицъ, не только уважавшихъ, но и двигавшихъ литературу. Благодаря примѣру и внушеніямъ своего дяди и другаго родственника И. М. Муравьева-Апостола, онъ пріобрѣлъ любовь къ словесности вообще, къ словесности классической и итальянской въ особенности. Надобно полагать, что за изученіе латинскаго языка онъ принялся уже по выходѣ изъ пансіона, гдѣ въ то время обращали вниманіе на одни новые языки, главнѣйшимъ образомъ на французскій разговорный.

Гражданская служба Батюшкова была, такъ сказать, номинальная. Онъ не имѣлъ опредѣленныхъ занятій, а только числился на службѣ, состоя сначала въ канцеляріи перваго министра народнаго просвѣщенія, гр. Завадовскаго, потомъ писмоводителемъ при товарищѣ министра, М. Н. Муравьевѣ, и наконецъ библіотекаремъ въ публичной библіотекѣ. Напротивъ, военную службу онъ несъ дѣйствительно, въ теченіи десяти лѣтъ (1806—1816), съ нѣкоторыми впрочемъ перерывами. Она обогатила его разнообразными и могучими впечатлѣніями, отразившимися въ его произведеніяхъ. Въ прусскую кампанію, подъ Гейлсбергомъ (1807), онъ получилъ тяжелую рану, которой приписываютъ существенное разстройство его здоровья, почему и видать въ ней одну изъ причинъ оказавшагося въ послѣдствіи умопомѣшательства. Шведская война (1808—1809) познакомила его съ природою страны, «дикой, но прелестной и въ дикости своей»; она же свела его съ Петинымъ, воспитанникомъ Благороднаго пансіона при московскомъ университетѣ, убитымъ въ Лейпцигскомъ бою. Дружба человека, отличавшагося прекрасными качествами ума и сердца; оставила глубокіе слѣды и въ жизни, и въ поэзіи Батюшкова. Походы 1813—1814 г.г. дали Батюшкову возможность, во время пребыванія въ Германіи, узнать бытъ, языкъ и поэзію нѣмцевъ, провести два мѣсяца въ Парижѣ, съѣздить въ Англію, а изъ Англіи въ Швецію, гдѣ «память сердца, болѣе сильная чѣмъ память разсудка», воскресила передъ нимъ и тревоги измѣничивой боевой жизни, и наслажденія благороднымъ дружествомъ. Элегія «Тѣнь друга» (1816) живо изображаетъ то душевное состояніе, которое испытывалъ поэтъ на морскомъ пути отъ Лондона до Готенбурга.

Обязанности война мѣшали Батюшкову посвящать время истинному его призванію — поэзіи. Первые его опыты въ стихахъ относятся къ 1805 г. Но едва началъ онъ пробовать свое перо, какъ «судьбы премѣны», т. е. поступленіе въ военную службу (1806), «заставили его забыть источникъ Ипокрены». Онъ занимался литературою только въ то время, когда усаживался на одномъ мѣстѣ. А такихъ временъ было немного, чѣмъ и объясняется скудное количество всего имъ написаннаго. Они выпадали между выходомъ въ отставку и новымъ поступленіемъ на службу. Четыре года: по завоеваніи Финляндіи (1809—1810) и съ окончаніемъ наполеоновскихъ войнъ (1816—1817), составляютъ періодъ наибольшей поэтической дѣятельности Батюшкова. Это время проводилъ онъ то въ Петербургѣ, то въ Москвѣ. Въ первомъ изъ этихъ городовъ онъ сблизился съ Оленинымъ, Гибичемъ, А. Тургеневымъ, Уваровымъ; во второмъ завязалъ крѣпкую пріязнь съ Жуковскимъ, Дашковымъ, кн. Вяземскимъ.

Батюшковъ и не могъ засиживаться на одномъ мѣстѣ, сколько по привычкѣ къ перемѣнной жизни, столько же по необходимости искать въ лучшемъ климатѣ подкрѣ-

пленія разстроенному здоровью. Онъ называлъ себя «бездомнымъ странникомъ», постоянно мечтая о тихомъ приютѣ. Сказка «Странствователь и домосѣдъ», въ лицѣ Филалета, показываетъ,

Какъ трудно вѣкъ дожить на родинѣ своей
Тому, кто въ юности изъ края въ край носился.

Особенно большіе разѣзды выпали на 1818 г. Въ концѣ 1817 г., по случаю смерти отца своего, Батюшковъ отправился изъ Москвы въ Вологодскую деревню для устройства домашнихъ дѣлъ. Изъ деревни проѣхалъ онъ въ Петербургъ, потомъ въ Москву и Одессу, для пользованія морскимъ купаньемъ. Осенью онъ снова былъ въ деревнѣ и въ Петербургѣ, а къ исходу года въ Неаполѣ, гдѣ, по ходатайству А. И. Тургенева, получилъ мѣсто при посольствѣ. Но жизнь въ Италіи не помогла поэту. Здоровье его ветшало непрерывно. 1820-й годъ былъ послѣднимъ его поэтической дѣятельности, а 1824-й—послѣднимъ нормальнаго состоянія его духа. Въ слѣдующемъ году поразило его тяжкое несчастіе—умономѣшательство, причину котораго объясняютъ различно: наслѣдственною болѣзнію, такъ какъ его мать и младшая сестра кончили жизнь такимъ же образомъ; общимъ разстройствомъ сложенія, въ слѣдствіе раны, остановившей ростъ, отъ чего голова развилась чрезмѣрно; противорѣчіемъ между его убѣжденіями и ходомъ общественной мысли въ послѣдніе годы Александра I, что сильно тревожило его, поселяя въ немъ страхъ и вмѣстѣ недовѣріе къ близкимъ ему людямъ (за исключеніемъ гр. Блудова и Жуковского); наконецъ самолюбіемъ, которому будто бы нанесенъ былъ чувствительный ударъ нашимъ посланникомъ при неаполитанскомъ дворѣ, замѣтившимъ въ одной дипломатической бумагѣ, написанной Батюшковымъ, плохое знаніе латинскаго языка. Какъ бы то ни было, а въ 1823 г., когда Батюшковъ, на возвратномъ пути изъ Италіи, проѣхалъ въ Крымъ и находился въ Симферополѣ, психическая болѣзнь достигла уже сильнаго развитія. Отсюда родные перевезли его въ Вологду, гдѣ онъ и провелъ вторую половину своей жизни, свыше тридцати лѣтъ. Состояніе его, сначала тревожное, перешло потомъ въ болѣе спокойное и неопасное. Умственное просвѣтленіе случалось очень рѣдко; только въ послѣдній годъ жизни онъ пользовался нормальнымъ здоровьемъ. Въ журналахъ, съ 1824 по 1864 г., являлись его стихотворенія и письма, относящіяся ко времени до духовнаго разстройства. Послѣднимъ его стихотвореніемъ, кажется, должно почитать «Изреченіе Мельхиседека»:

Ты помнишь, что изрекъ,
Прощаясь съ жизнью, сѣдой Мельхиседекъ?
Рабомъ родится человекъ,
Рабомъ въ могилу ляжетъ,
И смерть ему едва ли скажетъ,
За чѣмъ онъ шелъ долиной скорбной слезъ,
Страдалъ, рыдалъ, терпѣлъ, исчезъ.

На судьбѣ Батюшкова оправдалась справедливость той мысли, что жизнь и волненіе—одно. Онъ почти не выходилъ изъ состоянія раздражительности и недовольства. Вѣрное свое подобіе видѣлъ онъ въ образѣ Тасса, почитая и его и себя «добычею злой судьбины», «бѣднымъ странникомъ, испытавшимъ всѣ житейскія превратности». Для полноты сходства слѣдовало бы прибавить, что превратности происходили не столько отъ вѣшнихъ событій, надъ которыми человекъ не властенъ, сколько отъ внутреннихъ стремленій, за которыя каждый отвѣчаетъ единственно самъ, своимъ

лицемъ; что на ряду съ физическими недугами, безпокойными поэта, шла и нравственная неустойчивость, которая есть также болѣзнь. Въ своемъ характерѣ носилъ онъ судьбу свою. Тревоженія, какъ главная помѣха поэтическому призванію, большею частію зарождались внутри его, а не набѣгали извнѣ. Главная черта этого характера указана сознаниемъ самого Батюшкова: «я честолюбивъ и суетенъ». Честолюбіе обнаруживалось желаніемъ не одной литературной общеизвѣстности, но и виднаго, упроченнаго положенія на службѣ и въ обществѣ. Слава перваго рода ставилась ниже второй, такъ какъ «успѣхи въ словесности», по отзыву Батюшкова, «не ведутъ ни къ чему». Онъ платилъ дань и особому виду честолюбія—чиновному. Тотъ или другой чинъ значилъ для него не одно и тоже. Служебныя неудачи, глубоко его оскорбляя, совершенно отвращали его отъ службы. Малѣйшій ударъ съ этой стороны отзывался на немъ болѣзненно: «одинъ отказъ и промахъ сдѣлали бы меня несчастнымъ человѣкомъ», говорилъ онъ своей теткѣ, Муравьевой, думая получить лестное для себя назначеніе и боясь неуспѣха. Онъ остался недоволенъ, когда при отставкѣ изъ военной службы былъ переименованъ въ коллежскіе ассессоры, а не въ надворные совѣтники съ правомъ «по болѣзни служить музамъ». Недовольство обманутой надежды просвѣчиваетъ въ шутиливомъ письмѣ къ В. Пушкину (1817):

. Я не поэтъ,
Я не ученый, не профессоръ;
Меня въ календарѣ въ числѣ счастливицевъ нѣтъ:
Я... отставной ассессоръ.

«Въ Петербургѣ жить не хочу и не буду», писалъ онъ послѣ того, какъ изъ Петербурга пришло рѣшеніе, несогласное съ его ожиданіемъ. Конечно, при общемъ теченіи въ одну сторону трудно плыть противъ потока; несправедливо обвинять одного въ томъ, что, по духу времени, было общею слабостью: но въ такомъ случаѣ уже не слѣдовало пенять на судьбу и почитать себя ея жертвой. И любовь, вмѣсто украшенія жизни, только озабочивала и раздражала поэта, потому ли, что онъ былъ «непостоянecъ и вѣтренъ», въ чемъ упрекала его Муравьева, недовольная развязкою его сердечной привязанности къ небогатой дѣвицѣ, жившей въ домѣ Олениныхъ, или потому, что онъ не расчелъ своихъ силъ, думая быть счастливымъ одною любовью, «безъ упроченнаго состоянія». «Я три года мучился», писалъ онъ: «разсудокъ упрекаетъ меня въ страсти и въ потерянномъ времени. Богъ спасъ меня отъ пропасти. Не думаю, чтобы та особа меня любила». Намъ трудно рѣшить, оправдываютъ ли Батюшкова эти слова и что именно склонило его къ разрыву, но все же фактъ свидѣлствуетъ о тревожномъ его духѣ. Въ другомъ письмѣ онъ говоритъ положительно, что безъ шести тысячъ дохода нельзя жить въ Петербургѣ. Отсюда можно заключать, что непостоянство, замѣченное въ Батюшковѣ родными, было сознательное, основанное на житейскомъ расчетѣ.

Распредѣляя по отдѣламъ сочиненія Батюшкова, мы относимъ къ первому изъ нихъ тѣ піесы, въ которыхъ авторъ, при воспоминаніи о важнѣйшихъ фактахъ своей жизни, передаетъ испытанныя имъ впечатлѣнія. Какъ военный человѣкъ, онъ пережилъ много ощущеній, физическихъ и нравственныхъ, которыя навсегда остаются памяты. Природа Финляндіи, своимъ суровымъ величіемъ, сильно поражала воображеніе поэта, въ шведскую войну. «Отрывокъ изъ писемъ русскаго офицера о. Финляндіи (1809)» въ живой картинѣ изображаетъ особенности новой земли. Хотя описаніе составлено

по сочиненію французскаго натуралиста Ласенеда (*), который говорит о природѣ и жителяхъ другихъ странъ, имѣющихъ нѣчто общее съ Финляндіей; но оно составлено на самомъ мѣстѣ войны, подъ непосредственнымъ вліяніемъ походной жизни, и заключаетъ въ себѣ нѣсколько самостоятельныхъ образовъ, каковы: ратный станъ, черты финляндской кампаніи и стихотворная вставка о Біармѣ, скальдахъ и Валькиріяхъ. Эта вставка внесена потомъ, какъ часть цѣлаго, въ стихотвореніе «Мечта» (1810). Кромѣ того, въ «Посланіи къ Петину» Батюшковъ вспомнилъ жаркое дѣло при Индесальми. Позднѣе, посѣтивъ театръ начальной своей военной службы, на пути изъ Лондона въ отечество, онъ снова обратился мыслію къ прошлому и настоящему Скандинавіи, доказательствомъ чего служатъ переводъ Маттисоновой элегіи: «На развалинахъ замка въ Швеціи» (1814) и «Пѣснь Гаральда Смѣлаго» (1816). Въ 1812 г. Батюшкову пришлось три раза побывать въ Москвѣ: въ первый разъ онъ былъ свидѣтелемъ бѣгства ея жителей, а потомъ, проѣздомъ изъ Нижняго Новгорода въ Вологду и обратно, онъ видѣлъ ее разграбленной и обгорѣлой. Чувства скорби надъ прахомъ древней столицы, жалости къ пострадавшимъ и ненависти къ виновнику народныхъ бѣдъ, вынесенныя изъ этого троекратнаго посѣщенія, излились въ «Посланіи къ Дашкову» (1813), — прекрасномъ, по содержанію и отдѣлкѣ, произведеніи лиризма. Къ поэтическимъ представленіямъ заграничнаго похода относятся «Переходъ черезъ Рейнъ» (1814) и «Плѣнный». Дополняются они нѣкоторыми мѣстами сказки «Странствователь и Домосѣдъ» и письмами къ друзьямъ изъ Парижа. Отдаваясь, по долгу службы, всевозможнымъ опасностямъ, воинъ въ тоже время отдаетъ себя всецѣло десницѣ Божіей, которая одна только можетъ отвести смертный ударъ при ежечасныхъ поводахъ къ смерти. И если ему, неожиданно для него, сохранена жизнь, то въ душѣ его слагается мужественная, неколебимая вѣра въ Провидѣніе. Гимнъ «Надежда» славить это мужество вѣры, сохраняющей свою силу и въ битвахъ челоуѣка внутреннихъ — съ самимъ собою, съ своими страстями и сомнѣніями. Задушевитѣйшія піесы этого разряда стихотвореній выражаютъ исповѣдь любви и дружбы. «Воспоминаніе» (**) и «Посланіе къ гр. Віельгорскому» (***) переносятъ его къ тому времени,

Когда, отвоевавъ подъ знаменемъ Беллоны,
Подъ знаменемъ любви онъ началъ воевать.

Эта первая любовь (****), не смотря на свою непродолжительность, оставила въ душѣ его пріятную память; онъ искренно и живо порывался къ ней въ мечтаніяхъ:

О мой любезный другъ, отдай, отдай назадъ
Зарю прошедшихъ дней и съ прежними бѣдами,
Съ любовью и войной!

Инаго характера была вторая любовь (*****), въ три года доставившая Батюшкову много внутреннихъ мученій. Но чѣмъ раздражительнѣе ихъ горечь, тѣмъ изящнѣе зараж-

(*) *Agés de la nature*. Отрывокъ изъ этого сочиненія, подъ заглавіемъ: «*Les forêts et les habitants des régions glaciales*», помѣщенъ во многихъ французскихъ хрестоматіяхъ. Откуда-то Батюшковъ многое перевелъ въ своемъ письмѣ о Финляндіи.

(**) Сочинено въ 1807, нап. въ 1809 г.

(***) Соч. 1809, нап. 1816.

(****) Къ рижской вѣмкѣ, въ семействѣ которой Батюшковъ, раненный подъ Гейлсбергомъ, нашелъ гостепріимный кровъ.

(*****) Къ Аннѣ Федоровнѣ Фурманъ, жившей у Олениныхъ.

даются пѣсни въ душевной глубинѣ поэта. Подобное явленіе нерѣдко; оно же имѣло мѣсто и въ судьбѣ нашего поэта: «Воспоминанія» (1814), «Мой геній» (1816), «Выздоровленіе» (1817), «Разлука» и «Таврида» принадлежать къ образцовымъ стихотвореніямъ. Лучшее изъ нихъ, по художественной формѣ, «Выздоровленіе». Дружба, какъ замѣчено выше, доставляла Батюшкову болѣе прочныя и чѣстыя наслажденія, чѣмъ любовь, которую онъ не отдѣлялъ отъ чувственныхъ восторговъ. Памяти Петина посвятилъ онъ превосходную элегію: «Тѣнь друга» (1816); кромѣ того въ прозаической піесѣ: «Воспоминаніе о Петинѣ», изобразилъ онъ нравственные качества умершаго, сознавая ихъ доброе вліяніе на свою личность.

Во второмъ отдѣлѣ сочиненій Батюшкова заключаются переводы изъ главнѣйшихъ италіянскихъ поэтовъ и характеристики ихъ литературнаго значенія. Хотя Батюшкову было усвоено имя страстнаго любителя авзонской Музы и онъ самъ не могъ говорить безъ восторга объ Италіи и пѣвцахъ ея, однакожъ мы не видимъ достаточныхъ доказательствъ ни его знанія италіанской поэзіи, ни особеннаго искусства воспроизводить ее на родномъ языкѣ. Двѣ прозаическія статьи: «Аріостъ и Тассъ» (1816) и «Петрарка» (1816) относятся къ самымъ обыкновеннымъ, легкимъ очеркамъ, не представляющимъ ни самостоятельнаго изслѣдованія, ни даже серьезной критики. Переводъ одного сонета Петрарки: «На смерть Лауры» (1810) и подражаніе одной его канцонѣ: «Вечеръ» (1810)—вовсе не лучшія между стихотвореніями Батюшкова. По двумъ отрывкамъ изъ Освобожденнаго Іерусалима (1817) и одному отрывку изъ Неистоваго Орланда (1817) (*) трудно рѣшить, былъ ли онъ въ состояніи передать намъ прославленные поэмы, объ одной изъ которыхъ онъ выразился такимъ образомъ: «поэма Аріоста заключаетъ въ себѣ все видимое и всѣ страсти человѣческія: это—Іліада и Одиссея, однимъ словомъ—природа, поработанная жезлу волшебника». Наибольшее сочувствіе питалъ Батюшковъ къ Тассу, которому «былъ обязанъ лучшими наслажденіями въ жизни», котораго тѣнь ставилъ «среди Элизія, близъ древняго Омира», и какъ его, такъ и Гомера называлъ «вѣрными спутниками война». Послание «къ Тассу» есть дань удивленія поэту, равно владѣвшему, по словамъ его поклонника, и эпическимъ созерцаніемъ, и пастушьей свирѣлью; а элегія «Умирающій Тассъ» служитъ апотеозой его славы. Последняя піеса одна выступаетъ изъ втораго отдѣла стихотвореній, какъ образцовая, прекрасными стихами выражающая искреннее и глубокое чувство. Въ лицѣ Тасса авторъ не только представлялъ себѣ идеальнѣйшій образъ поэта, но и находилъ въ немъ значительное съ собою сходство. Многое, что говорится о судьбѣ Тасса, примѣнялось Батюшковымъ къ обстоятельствамъ своей жизни (**), такъ что подъ изображеніемъ чужой печали скрывается элегическая настроенность собственнаго духа. По этой причинѣ элегія проникнута глубоко-искреннимъ чувствомъ.

Третій отдѣлъ составляютъ переводы древне-классическихъ произведеній. Ихъ очень немного: три элегіи Тибулла (1809, 1810 и 1816) и двѣнадцать піесъ изъ Антологін (1820). Если вольное переложеніе Тибулловыхъ элегій не дастъ должнаго понятія объ ихъ поэтическомъ достоинствѣ, то въ антологическихъ піесахъ Батюшковъ

(*) Первый отрывокъ изъ Тассовой поэмы во 2-ой ч. сочиненій Батюшкова, второй (Олиндъ и Софронія) въ Вѣст. Европы 1817, №№ 17 и 18; отрывокъ изъ поэмы Аріоста (изступленіе Орланда) въ В. Е. того же года и въ тѣхъ же №№.

(**) Это примѣненіе видимо въ тирадѣ, отъ стиха: «отъ самой юности игралище страстей».... и до стиха: «карающей богинѣ обреченной».

является истиннымъ художникомъ, хотя онъ перелагалъ ихъ не съ греческаго подлинника, а съ французскаго перевода.

Характеръ послѣдняго отдѣла — эротическій. Сюда принадлежатъ переводы изъ Парши (*) и подражанія ему: Привидѣніе (1810), Ложный страхъ (1810), Источникъ (1810), Мщеніе (1816) и Вакханка, а также собственные стихотворенія въ томъ же духѣ: Веселый часъ (1810), Отрывокъ изъ элегіи, Къ другу, Выздоровленіе (1817), Таврида, нѣкоторыя мѣста въ «Моихъ пенатахъ» (1814) и другихъ піесахъ. Весь этотъ отдѣлъ, по граціи поэтическихъ изображеній и по изяществу внѣшней формы, заслуживаетъ названіе образцоваго и долженъ быть поставленъ на ряду съ переводами изъ Антологіи.

Опредѣленіе литературной заслуги значительно облегчается, когда намъ извѣстно, какъ понималъ ее самъ авторъ. Взглядъ Батюшкова на характеръ и значеніе своей поэтической дѣятельности изложенъ въ «Рѣчи о вліяніи легкой поэзіи на языкъ» (1816). Выбранный въ члены Общества любителей русскаго словесности въ Москвѣ, онъ принялъ оказанную ему честь какъ свидѣтельство того, что «успѣхи и въ малѣйшей отрасли словесности могутъ быть полезны нашему языку». Эта малѣйшая отрасль словесности, и въ тоже время ея «прелестная роскошь», есть такъ называемая «легкая поэзія», которую онъ противопоставляетъ эпопее, драмѣ, восторженной лирикѣ, исторіи и краснорѣчію, требующимъ «великихъ усилій ума, высокаго и пламеннаго воображенія». Главнѣйшее различіе между двумя противоположными родами, по мнѣнію Батюшкова, состоитъ въ стихотворномъ слогѣ: «Въ большихъ родахъ, читатель, увлеченный описаніемъ страстей, ослѣпленный живѣйшими красками поэзіи, можетъ забыть недостатки и неровности слога... Въ легкомъ родѣ поэзіи, читатель требуетъ возможнаго совершенства, чистоты выраженія, стройности въ слогѣ, гибкости, плавности; онъ требуетъ истины въ чувствахъ и сохраненіи строжайшаго приличія во всѣхъ отношеніяхъ; онъ тотчасъ дѣлается строгимъ судьей, ибо вниманіе его ничѣмъ сильно не развлекается. Красивость въ слогѣ здѣсь нужна необходимо и ничѣмъ замѣниться не можетъ». Не смотря на скромный отзывъ о легкой поэзіи, сравнительно съ другимъ поэтическимъ родомъ, Батюшковъ отвелъ ей просторное и достославное мѣсто на парнассѣ всѣхъ народовъ. Число поэтовъ, къ категоріи которыхъ онъ причисляетъ и себя самого, не мало, и между ними есть громкія имена: у Грековъ—Віонъ, Мосхъ, Симонидъ, Оеокритъ, Анакреонъ, Сафо; у Римлянъ—Катуллъ, Тибуллъ и Проперцій; въ Италіи—Петрарка, во Франціи—Маро, въ Англіи—Валлеръ, въ Германіи—Гатедорнъ и другіе. Переходя къ нашей легкой поэзіи, Батюшковъ включаетъ въ ея область переводы и подражанія Анакреону Ломоносова и Державина, Душеньку, басни, сказки и посланія Дмитріева, басни Хемницера и Крылова, стихотворенія Карамзина, гораціанскія оды Капниста, піеси Нелединскаго, подражанія древнимъ Мерзлякова, баллады Жуковскаго, стихотворенія Востокова и Муравьева (М. Н.), посланія кн. Долгорукова и нѣкоторыя Воейкова.

Красота слога, возможное совершенство выраженія, какъ существенная принадлежность легкой поэзіи, и въ особенности важнѣйшаго ея вида—эротическаго, отличаетъ и стихотворенія Батюшкова, входяція въ четвертый отдѣлъ. Онъ тщательно заботился объ изяществѣ формы, безъ которой немыслимо поэтическое представленіе. Яснымъ,

(*) Французскаго поэта, писавшаго въ эротическомъ и элегическомъ родахъ (1753—1814).

отчетливымъ образомъ своихъ чувствъ и мыслей онъ сообщалъ прелесть граціи, раздѣляя мнѣніе Парни, что въ дѣлѣ искусства грація — все и что безъ граціи нѣтъ истиннаго искусства. О вѣрности его художественнаго вкуса можно судить по многимъ піесамъ. Приводимъ для примѣра одно изъ самыхъ характеристичныхъ: «Выздоровленіе»:

Какъ ландышъ подъ серпомъ убійственнымъ жнеца
Склоняетъ голову и вянетъ:
Такъ я въ болѣзни ждалъ безпрерывно конца
И думалъ: Парки часъ настанетъ.
Ужъ очи покрывалъ Эреба мракъ густой,
Ужъ сердце медленіе билось:
Я ввнулъ, пчезалъ, и жизни молодой,
Казалось, солнце закатилось.
Но ты приблизилась, о жизньъ души моей.
И алыхъ устъ твоихъ дыханье,
И слезы пламенемъ сверкающихъ очей,
И поцѣлуевъ сочтанье,
И вздохи страстные, и сила милыхъ словъ,
Меня изъ области печали,
Отъ Орковыхъ полей, отъ Леты береговъ
Для сладострастія призвали.
Ты снова жизньъ даешь; она—твой даръ благой;
Тобой дышать до гроба стану.
Мнѣ сладокъ будетъ часъ и муки роковой;
И отъ любви теперь увяну.

Не смотря на краткость какъ этого стихотворенія, такъ и другихъ одного съ нимъ рода, всѣ они удовлетворяютъ эстетическое чувство читателя ровностью тона, полнотою впечатлѣнія, законченностью образа. Переводы изъ Парни принадлежатъ къ лучшимъ піесамъ эротическаго отдѣла потому, что у нашего переводчика много общаго съ французскимъ стихотворцемъ въ талантѣ и направленіи. Не даромъ того и другаго называли Тибулломъ. Характеръ любви—чувства, наиболѣе ими выражаемаго—одинаковъ: она положительная, а не идеальная, дѣйствительная, а не мечтательная. Въ этомъ отношеніи, Батюшковъ—рѣшительная противоположность Жуковскому. «Въ то время», говоритъ Гоголь, «когда Жуковский отрѣзалъ нашу поэзію отъ земли и сущности и уносилъ ее въ область безтѣлесныхъ видѣній, Батюшковъ, какъ бы нарочно ему въ отпоръ, сталъ прикрѣплять ее къ землѣ и тѣлу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой сущности. Какъ тотъ терялся весь въ неясномъ для него самомъ идеальномъ, такъ этотъ весь потонулъ въ роскошной прелести видимаго, которое такъ ясно слышалъ и такъ сильно чувствовалъ. Все прекрасное во всѣхъ образахъ, даже и незримыхъ, онъ какъ бы силился превратить въ осязательную нѣгу наслажденія. Онъ слышалъ, выражаясь его же выраженіемъ, *стиховъ и мыслей сладострастѣе*».—Послѣднее слово часто встрѣчается въ сочиненіяхъ Батюшкова, который прилагаетъ его даже къ предметамъ духовнымъ, называя, на примѣръ, совѣсть «сладострастіемъ возвышенныхъ душъ», но чаще пользуется имъ въ томъ случаѣ, когда надобно выразить ощущеніе, доставляемое эликурензмомъ, упоеніемъ земными благами, а изъ нихъ наиболѣе страстью въ тѣсномъ смыслѣ—любовью:

О пламенный восторгъ! о страсти упоенье!
О сладострастіе... себя, всего забвенье

Тамъ поэтъ напоминаетъ своему другу, какъ они «пили чашу сладострастья»; здѣсь приглашаетъ друга «униться сладострастіемъ». Изъ цѣлыхъ сутокъ онъ желалъ бы

отдать по одному часу дружбѣ, Вакху и сну, а остальнымъ временемъ подѣлиться съ предметомъ своей страсти. Такое направленіе, опредѣляясь въ началѣ темпераментомъ, потомъ развивается и укрѣпляется образомъ мыслей. Это — философія Аристиппа, удобно соглашаемая съ природными инстинктами. Мы узнаёмъ ее изъ стихотвореній: «Мечта», гдѣ отвергается ученіе стоиковъ; «Веселый часъ», гдѣ дается совѣтъ сѣять на пути розы, наслаждаться жизнью и полной чашей пить радость; «Отрывокъ изъ Элегій», приглашающей славить безпечность и любовь; «Посланіе къ Петину», почитающее счастливымъ того, кто цвѣтами украшалъ дни любви. Потому-то Жуковский, зная капитальную слабость своего друга, совѣтовалъ ему бѣжать сладострастныхъ мечтаній, какъ губительницъ душевной чистоты (*).

Различіе въ характерахъ поэзій Жуковского и Батюшкова видна и на элегіяхъ послѣдняго. Какъ самая печаль, ими выражаемая, не расплывается въ меланхолію или уныніе и не затемняется ни мудреной рефлексіей, ни другимъ постороннимъ чувствомъ, но выходитъ изъ потрясенной души ясною, безхитростною, непосредственною, такъ и выраженіе, по наглядности художественныхъ образовъ, не только легко воспринимается внутреннимъ ощущеніемъ, но и какъ бы становится доступнымъ внѣшнему зрѣнію. Доказательствомъ служатъ элегіи: Пробужденіе (1816), Разлука, Послѣдняя весна (1816), Къ другу, Тѣнь друга (1816). Для примѣра выписываетъ первую:

Зефиръ послѣдній свѣялъ сонъ
Съ рѣсницъ, окованныхъ мечтами;
Но я не къ счастью пробужденъ
Зефира тихими крылами
Ни сладость розовыхъ лучей
Предтечи утренняго Феба,
Ни кроткій блескъ лазури неба,
Ни запахъ вѣющій съ полей,
Ни быстрый летъ коня ретива
По скату бархатныхъ луговъ,
И гончихъ лай, и звонъ роговъ
Вокругъ пустыннаго залива:
Ничто души не веселитъ,
Души, встревоженной мечтами,
И гордый умъ не побѣдитъ
Любви—холодными словами.

Батюшковъ, по свойству таланта и по образованію, которымъ руководилъ Муравьевъ, былъ способенъ къ поэтическому созерцанію и представленію въ античномъ духѣ. Цѣлыя піесы выливались у него, какъ отчетливыя изваянія мыслей и впечатлѣній, и въ каждомъ его стихотвореніи есть мѣста, убѣждающія, что онъ могъ бы съ равнымъ искусствомъ и передавать древне-классическія произведенія на родномъ языкѣ, и подражать имъ.

Переводъ антологическихъ піесъ наилучшимъ образомъ характеризуетъ поэтическій талантъ Батюшкова. Мы уже говорили (**), что въ 1820 г. была издана (Д. Дашковымъ) небольшое сочиненіе «о Греческой Антологіи». Предисловіе къ нему подписано арзамасскими именами гр. Уварова (Ст.—Старушка) и Батюшкова (А.—Ахиллъ). Послѣднему принадлежатъ стихотворенія, переложенныя съ французскаго текста, а не

(*) Посланіе къ Батюшкову (1813).

(**) Стр. 257.

съ греческаго подлинника, а первому—объясненіе, содержащее въ себѣ историческія свѣдѣнія объ антологіи и характеристику піесъ, ее образующихъ. Антологіей (*) называется собраніе небольшихъ стихотвореній, а именно: надписей и эпиграммъ (піесъ, написанныхъ элегическимъ размѣромъ—гексаметромъ и пентаметромъ). «Все служить предметомъ эпиграммы», говоритъ Уваровъ въ объясненіи: «она то поучаетъ, то шутитъ, и почти всегда дышитъ любовію. Часто она не что иное, какъ мгновенная мысль, или быстрое чувство, рожденное красотами природы или памятниками искусства». Совершенство внѣшней формы, которое Батюшковъ ставилъ необходимымъ условіемъ произведеній легкой поэзіи, есть существенная принадлежность антологическаго рода. Безъ граціи и артистической отдѣлки древняя эпиграмма немыслима. Эти-то художественныя качества умѣлъ Батюшковъ сохранить въ своемъ переводѣ. А такъ какъ многія изъ его собственныхъ сочиненій отличаются тѣми же качествами, то критика имѣла право заключить, что онъ могъ бы лучше, чѣмъ кто-либо изъ современныхъ ему поэтовъ, познакомить насъ съ красотами древне-классической поэзіи. Жаль только, что тревожныя обстоятельства не позволили ему настойчиво послѣдовать своему призванію. Вообще онъ написалъ мало. Въ теченіи пятинадцати лѣтъ (считая съ 1805 по 1820) оставилъ онъ небольшое число стихотвореній. Однакожъ и этимъ немногимъ приобрѣлъ онъ славу первокласснаго нашего поэта. Современная критика ставила его на ряду съ Жуковскимъ, говоря, что въ отношеніи къ нему Батюшковъ былъ не вторымъ, а другимъ (*non secundus, sed alter*); что поэтическій талантъ послѣдняго нисколько не уступалъ таланту перваго: только характеры этихъ талантовъ были различныя, равно какъ различны и пути, ими выбранныя (**).

Цѣлый томъ сочиненій Батюшкова содержитъ въ себѣ прозу. Значеніе ея—преимущественно стилистическое: по чистотѣ, правильности, благозвучію и образности языка, она заслуживаетъ названіе образцовой. Въ этомъ отношеніи наиболѣе замѣчательнъ «Отрывокъ изъ писемъ русскаго офицера о Финляндіи». Содержаніемъ же своимъ прозаическія статьи уступаютъ слогу, не поднимаясь выше посредственнаго уровня. Въ нихъ нѣтъ глубины или обилія мыслей, нѣтъ и многосторонняго или своеобразнаго ихъ развитія. Авторъ видимо заботился не столько о томъ, что сказать, сколько о томъ, какъ сказать. Критическія сужденія его слабы, не то что эпиграммы—острыя, меткія, сжатые. Такія статьи, какъ «Письмо къ Н. М. Муравьеву-Апостолу о сочиненіяхъ М. Н. Муравьева», «Аріостъ и Тассъ», «Петрарка», не даютъ существенной характеристики обсуждаемыхъ лицъ и ихъ авторства.

Къ біографическимъ свѣдѣніямъ о Батюшковѣ (Ист. Христ. т. 2, стр. 357—339) присоединяемъ дополненія и поправки по новымъ матеріаламъ, преимущественно же по двумъ статьямъ Н. Бартелева: «К. Н. Батюшковъ. Его письма и очерки его жизни, съ 1807 по 1819» (Рус. Арх. 1867, №№ 10 и 11).

Раненный въ Гейлсбергскомъ сраженіи, Батюшковъ былъ отвезенъ въ Ригу, а изъ Риги, по выздоровленіи, пріѣхалъ въ Петербургъ. Заболѣвъ здѣсь снова, онъ напелъ

(*) Греческое слово, означающее «букетъ цвѣтовъ», т. е. избранныхъ стихотвореній, отличающихся прелестію формы. Извѣстны Антологіи Мелеагра Сирійскаго (жившаго, по однимъ, во II, по другимъ въ I в. до Р. Х.), Константина Кефалоса (X в. по Р. Х.) и монаха Максима Плануда (XIV в. по Р. Х.).

(**) Параллель между Жуковскимъ и Батюшковымъ проведена, при появленіи «Опытовъ» (1817), въ «Conservateur impartial» (того же года № 77). Статья, сообщенная издателю, вѣроятно написана гр. Уваровымъ. Она переведена въ 23 и 24 №№ В. Евр. 1817. Замѣтимъ, что газету издавалъ Манжель, бывший гувернеръ Уварова.

почетительный за собою уходъ въ семьѣ А. Н. Оленина. Послѣ мира съ Швеціею (1809), онъ подалъ въ отставку и отправился въ Москву, куда переѣхала вдова М. Н. Муравьева, Катерина Федоровна. Снова поселился въ Петербургъ весною 1810. Подробныхъ свѣдѣній о его жизни съ 1810 по 1812 не имѣется. Въ 1812 г. онъ отвезъ Муравьеву въ Нижній Новгородъ. Письмо его къ кн. Вяземскому (Рус. Арх. 1866, стр. 222—223) описываетъ жизнь въ этомъ городѣ. Того же 1812 г. поступилъ вновь на службу въ Рылъскій пѣхотный полкъ и назначенъ состоять адъютантомъ при генералѣ Бахметевѣ, находившемся также въ Нижнемъ Новгородѣ. Не дождавшись выздоровленія своего начальника, Батюшковъ состоялъ временно при корпусномъ командирѣ Раевскомъ. Онъ участвовалъ въ сраженіяхъ Кульмскомъ и Лейпцигскомъ. Изъ за-границы вернулся въ Петербургъ 1814 г., послѣ почти двухлѣтняго отсутствія. Такъ какъ онъ числился адъютантомъ Бахметева, назначеннаго подольскимъ генералъ-губернаторомъ, то и пріѣхалъ въ Каменецъ-Подольскъ въ 1813 г. Недовольный наградою за походъ 1813—1814 г., онъ вышелъ въ отставку 1816. Въ декабрѣ этого года поѣхалъ въ вологодскую деревню къ отцу и сестрамъ, у которыхъ пробылъ слишкомъ полгода. Въ іюлѣ 1817 воротился въ Москву, а потомъ переѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ былъ принятъ въ Арзамасцы и по этому случаю читалъ шуточное похвальное слово секретарю Россійской Академіи, П. П. Соколову. Въ ноябрѣ 1817 г. онъ снова жилъ въ Москвѣ, около года дожидаясь назначенія въ Италію, что усиливало его раздражительность. Въ 1822 г. воротился изъ Италіи въ Петербургъ въ безнокійномъ, близкомъ къ помѣшательству состояніи: онъ подозревалъ, что у него множество враговъ, желающихъ уронить его славу, что противъ него составленъ какой-то заговоръ.

Указываемъ еще слѣдующіе матеріалы:

Стихотворенія Батюшкова (Библиог. Зап. 1861, № 20); Матеріалы для полнаго изданія сочиненій Батюшкова (М. Н. Лонгинова, Рус. Арх. 1863, № 12) (*); Два письма Б—ва къ кн. П. А. Вяземскому 1812 г. (ib. 1866, № 2); Эпиграмма Б—ва на Боброва (ib. стр. 223); Письмо къ А. Н. Тургеневу, съ стихами на Исторію Карамзина (ib. № 4); Письмо къ кн. Вяземскому изъ Парижа (ib. № 6); Четыре письма къ П. П. Дмитріеву (ib. №№ 11 и 12) (**).

Стихотвореніе Б—ва: «Видѣніе на берегахъ Леты» относится къ 1809 г., а народія: «Пѣвецъ въ Бесѣдѣ славяно-россовъ» къ 1813, какъ видно изъ письма А. Пзмайлова къ Грамматину (Библи. Зап. 1859, стр. 423—424), а не къ 1814, какъ сказано во 2 т. Ист. Христ., стр. 360, прим. 21.

Есть извѣстіе, что Батюшковъ велъ записки во время пребыванія своего въ чужихъ краяхъ, но сохранились ли онѣ—неизвѣстно.

§ 40. Знакомство съ поэтической производительностью древняго и новаго міра, въ переводахъ или въ подражаніяхъ, раздвигало предѣлы нашей изящной литературы, указывая многообразіе художественныхъ образцовъ и ослабляя пристрастіе къ французскому классицизму. Для дальнѣйшихъ ея успѣховъ необходимо было развитіе самостоятельной поэзіи, постигающей характеръ народной жизни и выражающей ее въ подлинномъ ея видѣ. Счастливые опыты такой поэзіи мы видѣли въ пѣсняхъ Мерзлякова, стихотвореніяхъ кн. Долгорукова, сатирахъ Нахимова. Высшимъ ея проявленіемъ, равно удовлетворявшимъ и чувству народности, и другимъ требованіямъ образованнаго вкуса, были басни Крылова.

Иванъ Андреевичъ Крыловъ (1768—1844) родился въ Москвѣ, но первые годы дѣтства провелъ въ Оренбургѣ, по службѣ отца своего, бѣднаго армейскаго офицера, извѣстнаго храброю защитой Яицкой крѣпости отъ Пугачева. Съ окончаніемъ пугачевщины, отецъ его переселился на родину, въ Тверь, гдѣ занялъ мѣсто предсѣдателя губернскаго магистрата. Ему, конечно, а не матери, не знавшей даже грамоты, Крыловъ былъ обязанъ умѣньемъ читать и писать; дальнѣйшее образованіе получилъ

(*) Во 2 т. Ист. Христ. (стр. 359) по ошибкѣ показанъ 1862-ой г., вмѣсто 1863.

(**) Въ одномъ изъ этихъ писемъ, предирчивые критики, обращающіе важное вниманіе на драматическія мелочи, остроумно названы «установщиками кавыкъ и строчныхъ препинаній».

онъ въ семействѣ председателя уголовной тверской палаты, Николая Петровича Львова, дяди Николая Александровича (*). Чтеніе книгъ, оставшихся по смерти отца (1780), служило другимъ образовательнымъ средствомъ, на этотъ разъ болѣе дѣйствительнымъ, чѣмъ уроки учителя: оно возбудило интересъ къ литературѣ и стремленіе къ авторству, такъ что на пятнадцатомъ году (1782) Крыловъ написалъ оперу «Кофейница», вѣроятно, въ подражаніе одной изъ прочитанныхъ имъ піесъ. Почти одновременно съ ученіемъ началась и служба. Вынуждаемая бѣдностью, мать Крылова записала его подканцеляристомъ въ калязинскій уѣздный судъ, откуда онъ вскорѣ былъ переведенъ канцеляристомъ въ тверской магистратъ. Досужное время онъ любилъ проводить на базарѣ, площадяхъ, гдѣ проходили кулачные бои, или на плоту, куда стекались водовозы и прачки; эти народные сборища были для него школой чисто-русскаго языка и вмѣстѣ предметомъ наблюденія коренныхъ свойствъ русскаго человѣка. Въ 1782 г., мать его, желая выхлопотать себѣ пенсію и пристроить сына, отправилась въ Петербургъ (**). Здѣсь Крыловъ опредѣлился сперва въ казенную палату, съ жалованьемъ по 2 руб. въ мѣсяць, а потомъ (1788) въ Кабинетъ Государыни, гдѣ и оставался до конца 1790 г. Тяготясь службой, какова бы то ни было рода, онъ вышелъ въ отставку, чтобы посвятить себя литературѣ, и по смерти матери (1788) вполне предался театру и журналистикѣ. Вскорѣ по пріѣздѣ въ столицу, онъ продалъ рукопись «Кофейницы» книгопродавцу, взявъ у него, вмѣсто денегъ, сочиненія Расина, Мольера и Бюало, представилъ Княжнину, какъ автору «Дидоны» и «Росслава», а черезъ него познакомился съ актеромъ Дмитревскимъ. За «Филомелой», оставшейся въ рукописи, слѣдовали еще двѣ трагедіи: «Клеопатра» (1785), тоже не изданная въ свѣтъ, и «Филомела» (1786)—первое напечатанное сочиненіе Крылова. Отъ театральныхъ піесъ Крыловъ перешелъ къ журналистикѣ: въ 1789 г. онъ издавалъ «Почту духовъ», въ формѣ переписки жителей подземнаго царства; въ 1792, съ Клушинымъ, «Зритель»; въ 1793, также съ Клушинымъ, «Петербургскій Меркурій». Всѣ эти журналы были сатирическіе, служа какъ бы продолженіемъ литературной дѣятельности того же направленія, начатой «Всякою всячиной» (***). Покончивъ съ повременными изданіями, Крыловъ возвратился къ театру и въ теченіи двухъ лѣтъ написалъ три комедіи: «Бѣшеная семья» (1793), «Проказники» (1793), «Сочинитель въ прихожей» (1794). О литературныхъ занятіяхъ его въ слѣдующіе два года (1795 и 1796) не сохранилось свѣдѣній; извѣстно только, что онъ, прекрасно играя на скрипкѣ, участвовалъ въ пріятельскихъ концертахъ и, кромѣ того, выучился италіянскому языку, такъ что могъ свободно читать на этомъ языкѣ книги. Съ 1797 до 1801 г. жилъ онъ въ Казацкомъ (кіевской губ.), имѣніи кн. С. О. Голицына, который, вскорѣ послѣ коронаціи Павла I, впалъ въ немилость за неуваженіе къ одному изъ временщиковъ и получилъ повелѣніе не выѣзжать изъ деревни (****). Здѣсь онъ давалъ уроки русскаго

(*) Ист. Рус. Слов. I, § 226.

(**) По словамъ г. Кеневича, Крыловъ ѣздилъ въ Петербургъ, отпраослся въ отпускъ на 29 дней, а за нимъ отправилась мать его (И. А. Крыловъ. Біографическій очеркъ во 2-ой кн. Вѣст. Европы 1863 г.).

(***) Ист. Рус. Слов. I, § 211.

(****) Изъ перваго письма къ Крылову брата его (Льва Андреевича) видно, что Крыловъ въ 1798 уже пользовался «знакомствомъ и милостями князя» (Рус. Архивъ 1868, № 2). Когда же именно сошелся онъ съ Голицынымъ—неизвѣстно. На 1790 и 1791 г.г. не осталось, говорить Плещевъ,

языка сыновьямъ князя, устраивалъ концерты на скрипкѣ для домашнихъ и написалъ двѣ піесы: трагедію «Трумфъ» (забавную пародію на классическія трагедіи французъ) и комедію «Пирогъ», не сохранившіюся въ цѣлости. Въ числѣ учениковъ Крылова находился также Вигель (авторъ «Записокъ»), начертавшій замѣчательную характеристику своего учителя, какъ человѣка. Когда кн. Голицынъ былъ назначенъ рижскимъ военнымъ губернаторомъ (1801), онъ взялъ съ собою и Крылова правителемъ канцеляріи. Но Крыловъ не выказалъ ни охоты, ни способности къ этой должности, отъ которой былъ уволенъ въ 1803 г., оставшись при князѣ въ качествѣ собесѣдника. Въ 1804 г., по выходѣ своего патрона въ отставку, Крыловъ воротился въ Петербургъ. Гдѣ онъ провелъ 1804 и 1805 гг., біографы его не сообщали указаній. Полагаютъ, что онъ, пристрастившись въ Ригѣ къ картамъ и выигравъ тамъ значительную сумму (до 30 тысячъ руб.), разѣзжалъ для карточной игры по разнымъ городамъ и между прочимъ посѣтилъ нижегородскую ярмарку. На обратномъ пути изъ Нижняго Новгорода (вѣроятно въ концѣ 1805 г.) былъ онъ въ Москвѣ, познакомился съ И. Дмитриевымъ и вручилъ ему переводы трехъ Лафонтеновыхъ басенъ: «Дубъ и Трость», «Разборчивая Невѣста», «Старикъ и трое молодыхъ», которыя напечатаны въ 1 и 2 №№ Московскаго Зрителя, издававшегося кн. Шаликовымъ въ 1806 г. На слѣдующій годъ вышли въ свѣтъ три драматическія піесы, безъ сомнѣнія, подготовленные прежде—въ деревнѣ кн. Голицына или въ Ригѣ: комедіи—«Модная лавка» и «Урокъ дочкамъ», и опера «Цѣля Богатырь». 1807-мъ годомъ заканчивается первая половина жизни и дѣятельности Крылова и начинается вторая: сочинитель драмъ и журналистъ-сатирикъ становится баснописцемъ.

Какъ прежде, изъ любви къ театру, Крыловъ познакомился съ Княжнинымъ и Дмитриевскимъ, такъ и теперь, воротясь въ Петербургъ, по тому же чувству сблизился съ кн. Шаховскимъ. «Драматическій Вѣстникъ», основанный послѣднимъ (*), украшался его баснями, первое изданіе которыхъ (въ числѣ 23-хъ) вышло въ 1809 и которыя поставили автора на ряду съ первоклассными нашими литераторами. Тѣснѣйшею дружбою и вмѣстѣ благодарностью за постоянное въ немъ участіе былъ онъ связанъ съ А. Н. Оленинымъ. Подъ начальствомъ Оленина началъ онъ снова службу при монетномъ дворѣ (1808) и продолжалъ въ Императорской Публичной Библіотекѣ помощникомъ бібліотекаря по русскому отдѣленію (съ 1812 по 1841). Но служба, какъ мы уже видѣли, имѣла для Крылова значеніе не столько серьезной обязанности, сколько синекуры, доставлявшей ему возможность жить и по временамъ писать басни. «Съ этой эпохи» (съ поступленія на службу въ Библіотеку), говоритъ Плетневъ, «началась для нашего поэта новая жизнь, тихая, беззаботная, однообразная, почти неподвижная. До 1841 г. (т. е. до выхода въ отставку) не перемѣнилъ онъ ни службы, ни литературныхъ занятій, ни даже квартиры.... Кромѣ выходовъ къ должности, очень легкой и неголовомленной, кромѣ выѣздовъ къ обѣду въ англійскій клубъ (гдѣ онъ послѣ игралъ нѣкоторое время по привычкѣ въ карты, а подъ конецъ только дремалъ) и на вечеръ иногда къ Оленинымъ, Крыловъ ничего

слѣда литературныхъ занятій Крылова. Изъ замѣтки г. Алабина: «Къ біографіи И. А. Крылова» (ib. №№ 4 и 5) видно, что къ одному изъ этихъ годовъ относится любовь Крылова къ «Анетѣ» (Аннѣ Алексѣевнѣ Константиновой), которую онъ воспѣвалъ въ стихахъ и которая жила въ городѣ Брянскѣ (орловской губ.). По какому поводу Крыловъ посѣтилъ Брянскъ, неизвѣстно.

(*) См. выше, стр. 193.

не полюбилъ какъ человѣкъ общественный и образованный, какъ писатель гениальный. Онъ продолжалъ отъ скуки сочинять иногда новыя басни, а больше читалъ самые глупые романы, особенно старинные,—читалъ не для пріобрѣтенія новыхъ идей, а чтобы убить только время. Можно одну сторону найти въ этомъ хорошую. Онъ доказалъ, что мелочное честолюбіе, чиновническое или писательское, не общая у насъ слабость. Не увлекаясь никакими замыслами, онъ отсторонился отъ людей, можетъ быть, не чувствуя въ себѣ столько свѣжести силъ, чтобы съ вѣрнымъ усѣихомъ раздвигать дорогу между ними. Но онъ и тутъ не былъ позабытъ ни въ какомъ отношеніи» (*). Дѣйствительно, въ первый годъ службы своей бібліотекаремъ, Крыловъ, сверхъ жалованья, получилъ пенсію въ 1500 руб. асс. изъ Кабинета Государя, которая черезъ восемь лѣтъ (1820) была удвоена, а въ 1834 г. къ этимъ тремъ тысячамъ прибавилась новая пенсія, также въ 3000 руб., изъ государственнаго казначейства. Въ 1814 г. былъ ему пожалованъ чинъ коллежскаго ассесора, «въ уваженіе (какъ сказано въ рескриптѣ) отличныхъ дарованій въ руссійской словесности». Въ 1838 г., по случаю пятидесятилѣтняго юбилея его литературной дѣятельности, была выбита медаль съ его портретомъ и открыта подписка для учрежденія стипендій (Крыловской) на воспитаніе одного или нѣсколькихъ молодыхъ людей, смотря по суммѣ, въ какомъ либо учебномъ заведеніи; самъ юбиляръ получилъ орденъ св. Станислава 1-ой степени. Эта дѣятельность Крылова, какъ баснописца, дѣлится на два неравномѣрные періода. Первые двѣнадцать лѣтъ (1806—1818) отличаются особенной плодovitостью: въ это время написано 140 басенъ; тогда какъ въ слѣдующее за тѣмъ двадцатипятилѣтіе (1818—1843) явилось только 58 басенъ, изъ которыхъ 39 падаютъ на два года (1825 и 1830), а на остальные 23 года приходится только 19. Самъ авторъ объяснялъ такую неравномѣрность не лѣтнюю и равнодушіемъ, а другою причиною. На вопросъ одной дамы, почему онъ болѣе не пишетъ басенъ, онъ отвѣчалъ: потому, что я болѣе люблю, чтобы меня упрекали, для чего я не пишу, нежели дописаться до того, чтобы спросили, зачѣмъ я пишу. По выходѣ Крылова въ отставку (1841), повелѣно было производить ему въ пенсію 5,700 руб., что съ прежними шестью тысячами составило 11,700 руб. Родныхъ у Крылова не осталось: братъ его (Левъ Андреевичъ) умеръ прежде него. За нѣсколько лѣтъ до смерти Крыловъ усыновилъ семейство крестницы своей (Савельевой), съ которымъ и жилъ на одной квартирѣ. Прибавимъ, что Крыловъ, съ самаго основанія «Бесѣды любителей русскаго слова», находился въ числѣ ея членовъ, сходясь съ Шипковымъ въ нѣкоторыхъ взглядахъ на литературу и воспитаніе, и что изъ писателей самымъ близкимъ къ нему человѣкомъ былъ Гнѣдичъ, сослуживецъ его по Библіотекѣ.

§ 41. Давно утвердилось мнѣніе, что Крыловъ созналъ свое истинное призваніе только съ 1806 г., т. е. съ того времени, какъ началъ писать басни. На это обстоятельство смотрѣли какъ на новое сходство нашего автора съ Лафонтеномъ, къ которому любили его приравнивать и который прежде, чѣмъ сдѣлаться баснописцемъ, пробовалъ свои силы въ другихъ родахъ поэзіи. Сходство оказывается, однакожъ, мнимымъ. Что вѣрно по отношенію къ Лафонтену, то невѣрно по отношенію къ Крылову. Если подѣ словами: «Крыловъ родился для насъ только въ 40 лѣтъ» (**),

(*) Жизнь и сочиненія Крылова, въ Полн. собраніи его сочиненій, изд. 2 (1859), т. 1, стр. LIX, LXII.

(**) Выраженіе П. А. Плетнева въ біографіи Крылова.

разумѣется художественное превосходство второй половины его литературной дѣятельности, сравнительно съ первою, то еще можно допустить справедливость остроумной замѣтки, хотя не безъ оговорки, ибо превосходѣйшее не есть что-либо совершенно новое. Если же въ переходѣ Крылова къ баснямъ открываютъ новый родъ дѣятельности, не имѣющей съ прежнимъ близкой внутренней связи, то замѣтку надобно отбросить какъ ошибочную и остановиться на мнѣніи совершенно противоположномъ, что Крыловъ, какъ писатель, никогда не измѣнялъ себѣ. Характеръ его сочиненій—постоянно сатирическій (*). Сатира его мѣняла только формы, выражаясь сначала въ журнальныхъ статьяхъ и драмѣ, а потомъ уже, самымъ яркимъ образомъ, въ басняхъ, упрочившихъ за нимъ славу знаменитаго баснописца,—не только русскаго, но и всемірнаго, который ни въ чемъ не уступаетъ Лафонтену, но которому всѣ новые баснописцы, кромѣ Лафонтена, уступаютъ въ достоинствѣ. Единство направленія доказывается, во-первыхъ, общностью предметовъ, которые интересовали Крылова въ обѣ половины его авторскаго поприща, а во-вторыхъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что какъ послѣ выставлялъ онъ личные и общественные недостатки въ притчахъ, такъ и прежде, въ сатирѣ своихъ журналовъ, любилъ пользоваться приточною формою. Ниже увидимъ, какъ зачатки нѣкоторыхъ басенъ были имъ начертаны еще въ раннюю пору его дѣятельности; позднѣе, они явились у него развитыми, полными образами, какъ художественныя произведенія. Форму басни почиталъ онъ наилучшею для цѣлей писателя. Признавая особенную силу за нравоучительными правилами, выводимыми не изъ однѣхъ басенъ, но также и изъ другихъ сочиненій, онъ говоритъ: «надлежало бы поставлять въ число благотворителей рода человѣческаго того, кто главнѣйшія правила добродѣтельныхъ поступковъ предлагаетъ въ короткихъ выраженіяхъ, дабы они глубже впечатлѣвались въ памяти». Что бы ни разумѣлъ Крыловъ подъ нравоучительными правилами, но гдѣ они могутъ быть предложены короче и вышуклѣе, какъ не въ апологахъ, и когда прочіе ложатся въ памяти, какъ не при чтеніи апологовъ?

Разсмотримъ же значеніе сатиры Крылова въ послѣдовательныхъ ея проявленіяхъ: сначала въ журнальныхъ статьяхъ, потомъ въ комедіяхъ и наконецъ въ басняхъ.

I. Крыловъ издавалъ три журнала: Почта духовъ (1789), Зритель (1792) и Санктпетербургскій Меркурій (1793). Первымъ изданіемъ завѣдывалъ онъ самъ, какъ его полный хозяинъ; вторымъ же и третьимъ въ сообществѣ съ Клушинымъ (**).

«Почта духовъ, или ученая, нравственная и критическая переписка арабскаго философа Маликульмулька съ водяными, воздушными и подземными духами» была чисто-сатирическимъ сборникомъ, при названіи котораго Крыловъ, вѣроятно, имѣлъ въ виду изданіе О. Эмина: «Адекая почта или переписка хромоногаго бѣса съ Кривымъ (1779)» (***). По преданію, Крылову принадлежать только 18 писемъ жителей Плутонова царства, гномовъ: Зора, Буристона и Вѣстодава (****). Въ этихъ письмахъ, первомъ опытъ своей сатиры, двадцатилѣтній писатель обнаружилъ рѣдкія для такого

(*) Мнѣніе это высказано въ статьѣ Я. Грота: «Сатира Крылова и его Почта духовъ» (Вѣст. Европы 1868, кн. 3).

(**) Ист. Рус. Слов. I, § 218; Ист. Хр. I, 494.

(***) Первообразомъ же этого и подобныхъ ему изданій должно почитать *Le diable boiteux*, Лесажа.

(****) Этимъ преданіемъ руководствовались издатели «Полнаго Собранія сочиненій Крылова». Кѣмъ написаны остальные 30 писемъ, въ настоящее время рѣшить трудно. Предположеніе «Рус-

возраста качества: твердую постановку нравственно-общественных требований от русского человека, решительный тон и силу обличений и значительную литературную отдачу. Главная тема обличений — иностранное воспитание наших дворян, которое, сообщая им видный облик европейца, не только не дѣлало их просвѣщенными, но и вытравляло изъ нихъ похвальные черты отечественныхъ нравовъ. Отсюда, по мысли сатирика, взяли начало важнѣйшіе недостатки современнаго ему общества: презрѣніе къ роднѣ, ея обычаямъ и языку, безумная расточительность, легкое понятіе о бракѣ, внутренняя пустота, грубый, ничѣмъ не сдерживаемый произволъ. Щеголяя моднымъ платьемъ и французскимъ общежитіемъ, петиметры въ тоже время щеголяли и развратомъ: отъ дрянныхъ родителей происходили дрянныя отрасли, которыя, одна-кожъ, готовились занимать важныя мѣста въ государствѣ; роскошь падала всею своею тягостію на земледѣльческій классъ, и кромѣ того причиняла страшную дороговизну въ городахъ и упадокъ отечественной торговли: «богатый помѣщикъ превращалъ свой хлѣбъ и своихъ крестьянъ въ модные товары, а французы имѣли искусство дѣлать эти товары такими, чтобы превращались они черезъ мѣсяцъ въ ничто». На ряду съ этими фактами домашней и публичной безнравственности, особенно преслѣдуемыми Крыловымъ, въ изображеніяхъ его являются: игроки, плуты-куницы, взяточники, сиѣсивцы, съ ихъ самовеличаніемъ не по заслугамъ, писатели-льстецы, скрывающіе пороки своихъ одноземцевъ и воспѣвающіе небывалыя доблести вельможъ, или гнусные сатирики, ругающіе свое отечество частію изъ тщеславія, частію изъ злорадства и т. п.

Въ сущности эта сатирическая тема не была новостью. Начиная съ Кантемира, видный европеизмъ служилъ предметомъ негодованія или глумленія нашихъ писателей: Фонъ-Визинъ представилъ его въ Бригадирѣ; журналы 1769—74 гг. посвящали ему почти половину своихъ разсказовъ. Тоже дѣло преемственно продолжалъ Крыловъ, при которомъ сильнѣе распространились и ярче обозначились слѣдствія французскаго вліянія на русскихъ дворянъ. Но для сатириковъ первой половины царствованія Екатерины II, особенно для Новикова, эти слѣдствія составляли только одну сторону ихъ наблюдательности, и при томъ менѣе важную, чѣмъ другая сторона — грубое невѣжество старинцы. У Крылова отношеніе между двумя источниками общественнаго нестроенія измѣнилось: по его понятію, главное зло кроется въ невѣжествѣ новаго рода — полубразованности, почему онъ особенно и не расположенъ къ ней. Нѣкоторыя мѣста «Почты духовъ» прямо указываютъ, что нравственность русскихъ ухудшалась по мѣрѣ ихъ равнодушія къ предкамъ. Гнѣвъ сатирика падаетъ на современныхъ родителей и дѣтей ихъ; онъ не касается ни тѣдушекъ, ни бабуншекъ, «скучныя предразсужденія которыхъ не запинаятъ уже новыхъ кавалеровъ и дамъ на пути ихъ тайныхъ приключеній». Крыловъ иронически отзывается о просвѣщеніи, съ развитіемъ котораго быть всѣхъ сословій пришелъ въ разстройство. Въ одномъ письмѣ купецъ говоритъ: «были здѣсь варварскія времена, когда у насъ спрашивали лучшаго (товара) (*); по просвѣщенію перемѣнило такіе грубые нравы, и мы теперь перѣдко беремъ за серебро

скаго Инвалида» (1863, № 31), что издателемъ «Почты духовъ» былъ Радщевъ, не можетъ быть оправдано. Г. Пыпинъ («Крыловъ и Радщевъ», Вѣст. Евр. 1863, кн. 5) представилъ по этому поводу особія соображенія (см. ниже, въ «Дополненіяхъ и поправкахъ»).

(*) Т. е. не дорогаго, потому только что онъ дорогъ.

обыкновенную цѣну, по 24 коп. и менѣе, за золотникъ, а за такой же золотникъ стали платятъ намъ по 120 руб.» Просвѣщеніе, измѣняя званія и названія, не ослабляетъ пороковъ и дурныхъ наклонностей, а напротивъ, даетъ имъ большую пищу и благовидный покровъ: «въ старину плутовство было во всей своей силѣ, но какъ *просвѣщеніе* начало умножаться, то наши промышленники приняли на себя разныя имена: первостатейные сдѣлались старшинами и законниками, другіе купцами, а третьи ремесленниками и поселянами; но, перемѣняя званія, жители не перемѣнили своихъ склонностей, и плутовство никогда столько не владычествовало надъ ними, какъ послѣ сей перемѣны, такъ что наконецъ оно превратилось въ совершенный грабежъ, которому, однакожъ, даны самые честные виды».

Такое направленіе мысли въ двадцатилѣтнемъ сатирикѣ замѣчательно. Оно доказываетъ степенность не по возрасту, такъ сказать врожденное благоразуміе, которое не подкупается никакимъ блескомъ и новизной. Молодость всегда почти порывается впередъ, нерѣдко переступая въ своемъ порывѣ должную мѣру; Крыловъ, напротивъ, сколько по темпераменту и воспитанію, столько же по образу мысли, съ самаго начала объявилъ себя консерваторомъ. Къ перемѣнамъ, въ какой бы то ни было сферѣ, относился онъ равнодушно или недовѣрчиво; а если онѣ являлись съ самонадѣянностью и рѣзкостью, обнаруживая при этомъ угловатости и педантизмъ, то онъ встрѣчалъ ихъ ироніей. Охранительный, устойчивый взглядъ на вещи сводилъ его съ людьми, отличавшимися тѣмъ же направленіемъ, и разводилъ съ тѣми, въ которыхъ онъ замѣчалъ стремленіе къ чужеземной образованности. Этимъ обстоятельствомъ объясняется непріязненное отношеніе «Зрителя» къ Карамзину, издававшему въ то время «Московский Журналъ». Цѣль Зрителя состояла въ томъ, чтобы «порокъ, представленный во всей гнусности, вселялъ отвращеніе, а добродѣтель, изображаемая во всей красотѣ, плѣняла собою читателя». (Кромѣ соредактора Клушина, сотрудниками Крылова по этому журналу были: Дмитревскій (извѣстный трагикъ), Плавильщиковъ, О. Туманскій (издатель многихъ матеріаловъ по Русской Исторіи) и Н. Эминъ (сынъ издателя Адской Почты и авторъ ком. «Знаюки», имѣвшей въ свое время успѣхъ). Независимо отъ раздраженія, возбужденнаго въ нихъ критикой Московскаго Журнала, были и другія причины ихъ неблаговоленія къ Карамзину. Они почитали себя представителями національнаго чувства, а въ Карамзинѣ видѣли представителя европеизма на французскій ладъ, противоположнаго себѣ дѣателя. Имъ не могли нравиться нововведенія русскаго путешественника въ языкъ и литературѣ: этотъ языкъ, по ихъ мнѣнію, искажалъ чисто-русскій складъ рѣчи несвойственными ей словами и оборотами; эта литература представила образцы сентиментализма, занесеннаго изъ чужихъ краевъ. (Въ понятіяхъ о театрѣ, «Зритель» держался ложно-классическаго ученія и французскихъ образцовъ, обзывая Шекспировъ вкусъ кабацкимъ, тогда какъ Карамзинъ осуждалъ неестественность французской трагедіи, ставя Шекспира несравненно выше Корнеля, Расина и Вольтера (*). При томъ направленіи мысли, какое усвоилъ себѣ Крыловъ, неудивительно, что онъ стоялъ на сторонѣ Шишкова и былъ членомъ «Бесѣды», принимая участіе въ ея чтеніяхъ. Какъ далеко заходилъ «Зритель» въ своихъ понятіяхъ,

(*) Ист. Рус. Слов. I, § 216. Подробнѣе объ отношеніяхъ Зрителя къ Карамзину въ статьѣ моей: «Біографическія и критическія замѣтки о Карамзинѣ» (Журналъ Минист. Народ. Просв. 1867, № 1) и въ академическомъ чтеніи Я. Грота, въ день юбилея Крылова, 2 февраля 1868 г.: «Литературная жизнь Крылова».

мы уже знаемъ изъ статьи Плавильщикова: «Нѣчто о врожденномъ свойствѣ душъ русскіихъ» (*). Основною непріязни, въ сущности, было простое недоразумѣніе. Карамзинъ не меньше Крылова любилъ Россію и при каждомъ случаѣ выказывалъ патріотическую заботливость объ утвержденіи въ ней отечественныхъ нравовъ, воспитанія и языка; только патріотизмъ его былъ цивилизованнѣе.

Лучшее содержаніе «Зрителя» составляютъ статьи Крылова, преимущественно: «Канѣвъ» (повѣсть) и «Похвальная рѣчь въ память моему дѣдушкѣ». Канѣвъ принадлежитъ къ разряду такъ называемыхъ восточныхъ повѣстей (**). Главная часть разсказа—миѣнія визирей о томъ, какимъ бы образомъ калифу совершить путешествіе такъ, чтобы подданные не замѣтили его отсутствія. Рѣшенія этой задачи, высказанныя Дурсаномъ, Ослашидомъ, Грабилеемъ, мастерски представляютъ раболѣпство дивана передъ повелителемъ, который, только подъ своимъ смотрѣніемъ, позволяетъ совѣтникамъ мыслить. Повѣсть содержитъ также забавныя выходки противъ «безпріютныхъ строителей храмовъ славы» (сочинителей похвальныхъ одъ) и противъ идилликовъ, изображающихъ золотой вѣкъ въ жизни поселянъ. «Похвальная рѣчь въ память моему дѣдушкѣ» иронически восхваляетъ достоинства помѣщика (какихъ въ то время было не мало), «лучшаго друга собакъ всего свѣта и сердце котораго было, такъ сказать, стойломъ его лошади». Кромѣ дарованія въ псовой охотѣ, дѣдушка «имѣлъ тысячу другихъ, приличныхъ и необходимыхъ нашему брату дворянину: онъ показалъ, какъ должно проживать въ недѣлю благородному человѣку то, что двѣ тысячи подвластныхъ ему простолюдиновъ выработаютъ въ годъ; онъ сильные подавалъ примѣры, какъ эти двѣ тысячи человѣкъ можно пересѣчь въ годъ раза два-три съ пользою; онъ имѣлъ дарованіе обѣдать въ своихъ деревняхъ пышно и роскошно, когда казалось, что въ нихъ наблюдался величайшій постъ». Описаніе, не уступая въ ѣдкости лучшимъ очеркамъ Новиковаго «Живописца», превосходитъ ихъ остроуміемъ и литературной отдѣлкой. Въ «Санктпетербургскомъ Меркуріи» Крыловъ помѣстилъ двѣ сатиры: «Похвальная рѣчь наукѣ убивать время» и «Похвальная рѣчь Ермалафиду (***)», говоренная въ собраніи молодыхъ писателей». Обѣ онѣ исполнены рѣзкихъ нападеній—первая на празднолюбцевъ, вторая на бездарныхъ авторовъ.

Многія мѣста журнальныхъ статей Крылова давали чувствовать, какъ выше замѣчено, что басня современемъ сдѣлается любимую формою его сатиры. Идеи и образы нѣкоторыхъ басенъ выработывались имъ прежде, чѣмъ онъ направилъ свою дѣятельность исключительно на этотъ родъ произведеній. Что прежде было отрывочнымъ представленіемъ, назначеннымъ подкрѣплять какую-нибудь мысль или разяснить характеристику какого-нибудь лица, то впослѣдствіи получало самостоятельное значеніе и поэтическую отдѣлку. Такъ, напримѣръ, тема басни Вельможа (1835) занимала Крылова въ «Почтѣ духовъ» и въ «Ночахъ». По разсказу гнома Вѣстодава, изъ трехъ адскихъ судей—двое (Родомантъ и Эакъ) совершенно оглохли, а третій (Миносъ) навсегда лишился ума. Чтобы не обидѣть ихъ, изъ уваженія къ ихъ долговременной службѣ, подавъ совѣтъ—«приставить къ нимъ умнаго секретаря, который бы, вмѣсто ихъ, разсматривалъ дѣла, а они подписывали бы то, что онъ имъ скажетъ». Въ разсказѣ: «Ночи», «превосходительный господинъ привыкъ думать секретарскою

(*) Ист. Рус. Слов. I, § 217

(**) См. выше, стр. 185.

(***) Ермалафидъ—человѣкъ, несущій *ермалафю* или чепуху.

головою, которая есть его душа, а вельможа—ея тѣло», такъ что «онъ основательно можетъ сказать въ извиненіе непрерывнаго своего сна: духъ бодръ, но плоть немощна, т. е. секретарь рожденъ обдумывать, а я подписывать съ просонья его мысли». Первообразъ басни «Вороненокъ» (1811) находится въ разсказѣ о судейскихъ приговорахъ бѣдняку и богачу, несоразмѣрно ихъ виновности: бѣднякъ, голодомъ вынужденный украсть платокъ, былъ присужденъ къ висѣлицѣ, а богачъ, наворовавшій изъ государственной казны нѣсколько милліоновъ, оправданъ. Ясный очеркъ басни: «Слонъ и Моська» (1808), только подъ другимъ иносказаніемъ, представляютъ «Мысли философа по модѣ»: «Ничто такъ не блистательно, какъ молодой человѣкъ, когда онъ шутистъ надъ важными вещами, не понимая ихъ. При всей мелкости своего ума, онъ тогда такъ милъ, какъ болонская собачка, которая бросается на драгунскаго рослаго капитана и хочетъ его разорвать, между тѣмъ какъ онъ равнодушно куритъ трубку, не занимаясь ея гнѣвомъ. Какъ мила и забавна смѣлость этой собачонки, такъ точно забавна смѣлость ума, когда огрызается онъ на вещи, передъ которыми онъ менѣе, нежели болонская собачка передъ драгунскимъ капитаномъ». Крыловъ любилъ прибѣгать къ подобію, какъ зародышу басни, изъ котораго она легко развивается при посредствѣ фантазіи. Въ повѣсти «Каибъ» погоня кота за мышью, старающейся увернуться отъ своего врага, уподобляется погонѣ судьи за взяткой: «такъ точно члобитчикъ желаетъ увернуться отъ подарка своему судѣ; но напрасно заговариваетъ онъ съ нимъ о дурной погодѣ и о хорошей, о старыхъ временахъ и о нынѣшнихъ; хотя бы онъ заговорилъ съ нимъ о Эмпедокловыхъ туфляхъ, взяточбратель и отъ нихъ искусно склонить рѣчь на то, что ему надобны деньги». Но есть у Крылова и цѣльная, развитая басня, съ нравоученіемъ, въ повѣсти Каибъ: «Славный живописецъ, плѣнясь новою мыслью, вздумалъ написать Венеру, натянулъ кусокъ полотна и съ великимъ успѣхомъ исполнилъ свое намѣреніе. Картина была драгоцѣнна и современемъ стала украшеніемъ чертоговъ славнѣйшаго императора. Множество зрителей стекалось ее смотрѣть. Полотно, на которомъ была написана Венера, вздумало, что оно причиною всѣхъ восторговъ, примѣчаемыхъ въ зрителяхъ. Паукъ, раскидывая на немъ сѣти для мухъ, вывелъ его изъ заблужденія. Ты напрасно гордишься, полотно, сказалъ онъ: еслибъ не вздумалось славному художнику покрыть тебя блестящими красками, то ты давно бы истлѣло, бывъ употреблено на обтирку посуды».

II. Изъ драматическихъ піесъ Крылова только двѣ имѣли успѣхъ на сценѣ: «Модная лавка» и «Урокъ дочкамъ».

Преслѣдуя французское воспитаніе, какъ главную причину легкаго взгляда нашихъ дворянъ на нравственность и пристрастія ихъ къ роскоши и мотовству, Крыловъ еще въ «Почтѣ духовъ» постоянно выставялъ тотъ вредъ, который причиняли намъ иностранные учителя и иностранные торговки модными товарами. Одно изъ писемъ гнома Зора вводитъ читателя въ магазинъ, содержимый француженкой, которая «покупала у русскихъ купцовъ гнилые товары и завертывала ихъ въ бумажы, украшенные французскими надписями, чтобы послѣ продавать за иностранные». Сверхъ того, магазинъ служилъ притономъ педозволенныхъ свиданій: здѣсь щеголь Скотонравъ обольщалъ молодую дѣвушку разными подарками при содѣйствіи ея гувернантки. Но уходъ покупателей, содержательница модной лавки передаетъ своему брату, бѣжавшему изъ смиренительнаго дома, правила обращенія съ жителями русской столицы и способъ выгодно пользоваться ихъ легковѣріемъ. Таже тема положена въ основаніе комедіи «Модная лавка». Другая комедія названа «Урокомъ дочкамъ» потому, что дочери, за ихъ слѣпое

пристрастіе къ французскому языку, получаютъ чувствительный урокъ: съ слугой проѣзжаго офицера, назвавшагося маркизомъ Глаголемъ, онѣ обращаются какъ съ французскимъ маркизомъ (*). И здѣсь авторъ позаимствовался у себя самого, изъ прежнихъ своихъ сочиненій: первая сцена между Дашей и Семеномъ есть воспроизведеніе разговора между Машей и Мірабродомъ въ «Ночахъ» (**). Плетневъ далъ справедливый отзывъ объ этихъ комедіяхъ: «хотя онѣ несравненно выше прежнихъ (***) движеніемъ и правдоподобіемъ событія, очертаніемъ характеровъ, указаніями на мѣстность и современные нравы, самымъ языкомъ, довольно естественнымъ, довольно разнообразнымъ; но въ подробностяхъ дѣйствій, въ составѣ сценъ, въ развитіи предпріятій много еще ложнаго, изысканнаго,—и отъ того цѣлое больше утомляетъ зрителя, нежели проникаетъ въ его сердце. Такъ въ «Модной лавкѣ», Сумбурова, для которой написана вся комедія, несколько не возбуждаетъ въ насъ того чувства, которое должно оттолкнуть отъ ея гадкаго ничтожества, потому что оно перешло границы правды. Въ «Урокѣ дочкамъ», всѣ сцены, гдѣ разговариваютъ Оекла и Лукерья съ отцемъ своимъ Велькаровымъ, отзываются этимъ же недостаткомъ. Между тѣмъ есть здѣсь явленія, исполненныя высокаго комическаго достоинства (****).

Шуточная трагедія «Трумфъ» презабавно пародируетъ постройку, тонъ и языкъ лжеклассическихъ французскихъ трагедій и кромѣ того осмѣиваетъ нѣмецкій выговоръ русскихъ словъ.

III. Въ развитіи басни различаютъ нѣсколько періодовъ и въ каждомъ періодѣ особій ея характеръ, какъ видоизмѣненіе существенныхъ ея свойствъ. Къ какому періоду относятся басни Крылова? Рѣшеніе этого вопроса необходимо для ихъ точнѣйшей характеристики.

Существуютъ два мнѣнія о происхожденіи басни: одно изложено Я. Гриммомъ, въ его изслѣдованіи средневѣковаго нѣмецкаго сказанія о жизни и похожденияхъ Лисы; другое, совершенно противоположное, высказано, по поводу этого изслѣдованія, Гервинусомъ (*****). Мнѣніе Гримма, какъ несомнѣннаго авторитета во всѣхъ случаяхъ касательно сущности и развитія естественной поэзіи, принято наукой. Оно состоитъ въ томъ, что корнемъ басни, произведшимъ всѣ ея дальнѣйшіе виды, должно почитать сказаніе о животныхъ, животный эпосъ (Thiereros). Начало животнаго эпоса лежитъ въ непосредственномъ сочувствіи человѣка къ природѣ. Онъ возникаетъ у народовъ, въ историческую эпоху ихъ существованія, по глубокой, естественной потребности ихъ духа. Разсматривая многоразличныя способности и свойства животныхъ, человѣкъ признавалъ ихъ почти подобными себѣ существами, и на основаніи этого подобія завязалъ тѣсный, дружественный съ ними союзъ. Отсюда явились тѣ представленія и вѣрованія, которыя и теперь еще могутъ жить среди наивно-дѣтскихъ, патріархальныхъ обществъ. Отъ однихъ животныхъ человѣкъ ожидалъ совѣта и помощи въ опасности; отъ другихъ, напротивъ, вреда и напасти. Постоянно открывалъ онъ въ нихъ сверхъестественныя силы и суевѣрно остерегался произносить ихъ имена, замѣняя ихъ ласка-

(*) Содержаніе ея см. во 2 т. Истор. Христ. стр. 259.

(**) Соч. Крылова (1859), т. I, стр. 267—269.

(***) Комедій Крылова.

(****) Жизнь и сочиненія Н. А. Крылова.

(*****) Reinhart Fuchs, von Jacob Grimm, 1834 (гл. I: Wesen der Thierfabel, стр. I—XIX). Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen, v. Gervinus, 1840 (ч. I, стр. 123 и слѣд.).

тельными. Обращеніе людей въ животныхъ было вѣрованіемъ, произведшимъ догматъ переселенія душъ. Безъ животныхъ не совершались нѣкоторыя жертвы, не произносились нѣкоторыя предсказанія. Они служили вожаками массъ при ихъ переселеніи съ одного мѣста на другое, помѣщались на небо для означенія созвѣздій, исполняли обязанности вѣстниковъ, предрекали счастье или бѣдствие. Нѣкоторымъ изъ нихъ приписывалось долголѣтіе, далеко превышавшее положенный человѣку срокъ жизни. Поэзія, овладѣвъ этими и подобными имъ представленіями, сдѣлала дальнѣйшій и послѣдній шагъ въ отношеніи человѣка къ міру животныхъ: она надѣлила послѣднихъ, созерцаемыхъ по образу человѣка, необходимымъ средствомъ ближайшаго съ нимъ общенія—даромъ членораздѣльной рѣчи. Выраженіе: «когда звѣри говорили», встрѣчающееся въ басняхъ и лишенное теперь значенія, имѣло въ первобытной баснѣ понятный смыслъ: оно указывало на близкое отношеніе людей къ животнымъ, воспоминаніе о которомъ сохранилось только въ поэгическихъ образахъ.

Изъ происхожденія и характера животнаго эпоса видно, что ему, какъ изображенію идеальной жизни животныхъ, созданному безмятежно-наивнымъ творчествомъ народа, вовсе несвойственна склонность къ сатирѣ, будетъ ли то осмѣяніе людей вообще, или насмѣшка надъ сословіями и личностями. Сатира всегда безпокойна, исполнена намековъ, дѣйствуетъ сознательно и намѣренно, преслѣдуетъ какую-нибудь цѣль, которой и подчиняетъ самое содержаніе. Животный же эпосъ не питаетъ ни къ чему ни намѣреннаго пристрастія, ни намѣренной нелюбви; онъ спокоенъ и безстрастенъ, исходя изъ внутренняго побужденія, а не изъ предвзятой цѣли. Онъ можетъ вырождаться и въ сатиру, даже личную, но только позднѣе, когда сословія политически усложняются, удаляясь отъ непосредственнаго созерцанія природы: такъ народное остроуміе, вполнѣдствіи, примѣнило къ историческимъ событіямъ и лицамъ характеры и прозвища животныхъ, встрѣчающіяся въ германской сагѣ о Лисѣ. Еще меньше можно почитать животный эпосъ пародіей эпоса героическаго: искаженное, намѣренное подражаніе поэтическимъ памятникамъ принадлежитъ также позднѣйшему времени.

Равнымъ образомъ животному эпосу чуждо направленіе дидактическое. Онъ не поучаетъ и не имѣетъ намѣренія поучать. И какое бы правоученіе можно было извлечь изъ него? Не то ли, что прожорливая хитрость (въ образѣ Лисы) всегда одерживаетъ верхъ надъ глупымъ обжорствомъ (въ образѣ Медвѣдя)? Но думать такъ еще смѣшнѣе, чѣмъ думать, что пѣснь Нибелунговъ основана на ученіи, что убійство должно быть наказано, а Одиссея на томъ, что жены должны быть вѣрны мужьямъ своимъ. Конечно, животный эпосъ поучителенъ въ томъ смыслѣ, какъ поучительно каждое произведеніе поэзіи; но онъ возникаетъ не изъ желанія поучать. Нравственный урокъ добывается изъ поэтическихъ произведеній, какъ сокъ изъ винограда; но сладость винограднаго сока еще не содержитъ въ себѣ совершенно готоваго вина. Дидактическія, равно какъ и сатирическія цѣли приходятъ позднѣе, свидѣтельствуя не о свѣжести животнаго эпоса, а объ его ослабленіи и упадкѣ.

Животный эпосъ, по ученію Гримма, былъ общимъ достояніемъ народовъ индоевропейскаго племени въ доисторическій періодъ ихъ совмѣстной жизни, а съ выселеніемъ каждаго народа изъ первобытнаго отечества въ новое мѣстопробываніе становился его достояніемъ обособленнымъ. Но въ цѣльности онъ сохранился только у германцевъ: жизнь и походы Лисы (Рейнгартъ, Рейнеке)—единственный памятникъ сказанія о животныхъ, которое у другихъ одноплеменныхъ народовъ (Индійцевъ, Грековъ, Славянъ) съ теченіемъ времени и въ силу различныхъ обстоятельствъ, распа-

лось на отдѣльныя сказки о животныхъ. Поэтому въ такъ называемыхъ Езоповыхъ басняхъ Гриммъ видитъ обломки или разрозненные члены первобытной, нѣкогда цѣльной, многообъемлющей греческой животной саги. Разрозненность почитаетъ онъ свидѣтельствомъ ослабленія или порчи поэтического и наивнаго элементовъ народнаго эпоса. Таже гипотеза, конечно, должна быть распростращена и на басни индѣйцевъ и славянъ. Сходствомъ басенъ у разныхъ народовъ, даже у тѣхъ, которые не имѣли между собою никакого общенія и не могли ихъ заимствовать другъ у друга инымъ путемъ въ позднѣйшее время, подтверждается мысль о первоначальномъ единствѣ животнаго эпоса.

Таковъ взглядъ Гримма, принятый большинствомъ ученыхъ, какъ наиболѣе согласный съ существомъ и развитіемъ естественной поэзіи и ея переходомъ въ поэзію искусственную. Гервинусъ, напротивъ, разсматриваетъ животную басню независимо отъ животной саги, какъ предметъ самостоятельный, приписывая баснямъ Езона если не старшинство происхожденія, то первенство по значенію предъ нѣмецкимъ сказаніемъ о Лисѣ. Заслуга его полемики съ Гриммомъ состояла въ томъ, что онъ обратилъ вниманіе на различіе между животнымъ эпосомъ (Thierepos) и животною баснею (Thierfabel). Впрочемъ, нѣкоторые ученые, становясь на сторону Гримма, тѣмъ не менѣе находятъ пужнымъ видоизмѣнить его мнѣніе въ виду литературныхъ, не подходящихъ подъ него фактовъ. Самымъ крупнымъ фактомъ служить отсутствіе животнаго эпоса у Грековъ. Не смотря на разительное сходство отдѣльныхъ Езоповыхъ басенъ съ нѣмецкими, можно утвердительно сказать, что до-гомерическаго существованія басенной сокровищницы у Грековъ не было; напротивъ, всѣ свидѣтельства ругаются за относительно позднѣйшее введеніе и дальнѣйшее усовершеніе этого рода поэзіи въ Греціи. Нельзя искать животной саги въ Ватрахіомэхіи (Войнѣ мышей съ лягушками), которая ограничила дѣйствующія лица двумя видами животныхъ низшаго сорта, что явно противорѣчитъ столь необходимому для животнаго эпоса разнообразію, а введеніемъ цѣльныхъ двухъ народовъ, мышиннаго и лягушечьяго, уничтожила въ особенности свойственную эпосу обрисовку характеровъ. Это—«пародія эпической формы», имѣвшая цѣлю, посредствомъ забавнаго контраста между выраженіемъ и содержаніемъ, осмѣять возвышенный полетъ героическаго гексаметра. Но какъ такая пародія могла представлять значеніе лишь въ то время, когда эпическая поэзія уже совершила свою миссію, послуживъ всестороннимъ выраженіемъ поэтическаго содержанія эллинской жизни, то Ватрахіомэхію почитаютъ позднѣйшимъ издѣліемъ, приурочивая ее къ періоду послѣ персидскихъ войнъ, когда народный эпосъ сомкнулъ свой кругъ и дальнѣйшіе труды въ этомъ родѣ не переступали болѣе за предѣлы исключительной учености. Отсутствіе животнаго эпоса у Грековъ объясняется отсутствіемъ въ нихъ сочувствія къ природѣ, какимъ въ сильной степени одарено германское племя. Эллинскому духу, исключительно обращавшемуся къ созерцанію и представленію чисто-человѣческаго, свойственно было пренебречь міромъ животныхъ. Развитіе челоѣка въ народной и государственной сферахъ, могущественно проявившись при самомъ первомъ вступленіи Грековъ въ міровую исторію, овладѣло, какъ несравненно важнѣйшее, интересомъ поэзіи до того цѣлостно и всесторонне, что она не имѣла ни времени, ни желанія витать въ сферѣ низшей. Народъ, котораго колыбельною пѣсенію были Иліада и Одиссея, достигнувъ болѣе зрѣлаго возраста, не могъ, по всей вѣроятности, забавляться похождениями Лисицы. Замѣчательно, что даже первые начатки греческой басни приписываются чужеземцамъ (фригійцамъ, ливійцамъ, сирійцамъ). Позволено

допустить, что эти племена, при болѣе простомъ устройствѣ своей жизни, могли сохранить первобытныя воспоминанія и принести въ Грецію уцѣлѣвшіе остатки древнѣйшихъ временъ; но тѣмъ не менѣе доводы Гримма не настолько убѣдительны, на сколько это необходимо, чтобы производить (если и примемъ въ расчетъ означенный окольный путь) Езопову басню изъ азіатской отчины индогерманскаго племени.

Образованіе животной басни, въ отличіе отъ сказанія о животныхъ, выводится изъ послѣдняго такимъ образомъ. Какъ въ героическомъ эпосѣ нѣкоторыя саги не были захвачены широкимъ потокомъ первостепенной пѣсни о герояхъ и существовали отдѣльно, а другія, хотя и вошли въ составъ главнаго творенія, но могли на ряду съ нимъ жить и самостоятельную жизнь, такъ точно и въ эпосѣ животномъ: здѣсь находимъ многія саги, которыхъ нѣтъ въ связной повѣсти о главныхъ герояхъ животнаго царства, тогда какъ другія, въ ней находящіяся, существуютъ съ тѣмъ вмѣстѣ въ отдѣльной обработкѣ и иной формѣ. Когда уже гложетъ въ народѣ непосредственное чувство природы, умѣющее уживаться съ звѣрями и звѣрямъ принимать участіе въ человѣческомъ быту, тогда этими обособленными, отдѣльно сохранившимися членами животной саги овладѣваетъ мыслительная способность, которая рассматриваетъ животное какъ существо строго отличное отъ человѣка и цѣнитъ только внѣшнее между тѣмъ и другимъ сходство. Искусственная поэзія обрабатываетъ сказаніе о животныхъ, согласно съ ихъ сущностью, какъ изображеніе человѣческой природы и человѣческой жизни; непосредственная истина жизни животныхъ становится подобіемъ человѣческихъ обстоятельствъ, безсознательное и безцѣльное представленіе дѣйствій между звѣрями — сознаваемымъ, къ одной цѣли направленнымъ рассказомъ; изъ саги, способной къ много-различнымъ примѣненіямъ, хотя она нисколько не имѣла ихъ въ виду, извлекается одно опредѣленное примѣненіе; спокойное, широко разливающееся изложеніе замѣняется краткимъ, сосредоточеннымъ вокругъ одной цѣли выраженіемъ, — и животный эпосъ даетъ начало животной басни. Оба эти рода поэзіи имѣютъ свое право на существованіе, какъ естественная или народная поэзія по праву существуетъ подлѣ поэзіи искусственной. Мы уже видѣли, что греческому духу свойственно было, пренебрегши животнымъ эпосомъ, исключительно образовывать такъ называемую Езопову басню. Но басня можетъ образоваться и тамъ, гдѣ есть животный эпосъ, если только культурная поэзія развилась въ достаточной степени, какъ это и видимъ въ нѣмецкой поэзіи еще XIII в.

Въ первыхъ образцахъ своихъ, басня у Грековъ, равно какъ и у всѣхъ исторически извѣстныхъ намъ народовъ, обыкновенно присоединялась къ какому-нибудь опредѣленному происшествію, изобрѣталась для поясненія обстоятельствъ, и свою цѣль имѣла не въ самой себѣ, а въ изъясняемомъ обстоятельствѣ, входила ли она въ составъ публичныхъ рѣчей и поэтическихъ произведеній, или (что, вѣроятно, бывало чаще) придумывалась для минутной потребности и обращалась въ общественной жизни. Посему понятно сужденіе Квинтиліана, что простотѣ басеннаго міра и прелести чудеснаго въ особенности свойственно убѣждать людей, стоящихъ на низкой степени развитія. Какъ примѣръ, приводимый въ доказательство чего нибудь, басня представляла подчиненное значеніе: она служила намѣреніямъ поэта или оратора. Преданіе нерѣдко указываетъ дѣйствительныя событія и случаи, давшіе поводъ къ составленію тѣхъ примѣровъ, которые вообще приписываются Езопу: то удерживаетъ онъ самосцевъ отъ приговора надъ какимъ-то демагогомъ, то предвѣщаетъ дельфійцамъ небесное мщеніе, то убѣждаетъ коринтянъ не осуждать невиннаго на казнь, то удачнымъ оборотомъ рѣчи отдѣ-

ывается отъ насмѣшекъ грубыхъ матросовъ. Тоже самое было, конечно, и съ тѣми баснями, о поводахъ къ которымъ преданіе молчитъ. Такъ какъ Езопъ вымышлялъ свои басни не для собственнаго увеселенія или для забавы другихъ, и не въ духѣ общихъ тенденцій, а на извѣстный случай, то и нельзя назвать его вымыслы поэтическими произведеніями въ собственномъ смыслѣ. Никто изъ древнихъ и не называлъ ихъ этимъ именемъ. Аристотелева пѣтика не упоминаетъ о баснѣ. Да и не могла она въ то время пользоваться такою почестью, ибо понятіе о поэзіи соединялось съ понятіемъ о стихотворной формѣ. Сократъ видѣлъ въ баснѣ грубый матеріалъ, изъ котораго только помощью метра и другихъ прикрасъ можетъ выдти произведеніе поэзіи. Что басня, въ первую эпоху своего существованія у Грековъ, имѣла значеніе простаго риторическаго средства, это видно и изъ того, что Аристотель и Квинтиліанъ помѣстили ее въ общей риторикѣ между пособіями для доказательствъ. И такъ, на первомъ стадіи, басня была не что иное, какъ *уподобленіе, придуманное для отдѣльнаго случая и изложенное въ формѣ разсказа, въ которомъ неразумныя существа, подобно существамъ разумнымъ, выводятся говорящими и дѣйствующими*. Басня, въ такомъ видѣ, служила выраженіемъ народной мудрости, какъ и пословица, съ тѣмъ различіемъ, что послѣдняя гораздо болѣе запечатлѣна національнымъ духомъ и въ созерцаніи предмета и въ его выраженіи. Названіе пословицы или присловья даже перешло на басню, которая въ XIII столѣтіи у нѣмцевъ называлась «Hispel» (Beispiel) или «Biwurti»—рядомъ идущая рѣчь, присловье.

Когда поводы къ составленію басенъ, приписываемыхъ Езопу, были забыты, тогда онѣ начали снабжаться общею моралью. *На этомъ стадіи, басня обратилась въ аллегорическій разсказъ, полагавшій свою цѣль въ выводимомъ изъ него нравоученіи*. Переходъ отъ перваго ея направленія къ нравоучительному легко представить. Басня, придуманная для какого нибудь факта, связывается съ нимъ предложеніемъ, къ которому онъ относится какъ нѣчто единичное къ общему. Это общее, важное какъ соединяющій членъ (*tertium comparationis* между фактомъ и баснею) и поставили конечною цѣлью басни. Такъ, на примѣръ, мысль, что слабый, но уступчивый предметъ противостоитъ силѣ гораздо лучше, нежели крѣпкій, но упрямый, выразился въ отношеніи тростника и дуба къ бурѣ. Общностью мысли, направленной къ поученію, басня перешла въ область дидактической литературы, сдѣлалась чѣмъ-то среднимъ между поэзіей и прозой. Явились сборники, заключающіе въ себѣ болѣею частію такіа басни, изъ которыхъ извлекается опредѣленный нравственный урокъ. Древнѣйшій между ними составленъ Дмитріемъ фалерейскимъ (300 до Р. X.). Ко времени Тиверія (14—37 по Р. X.) относится переложеніе Езоповыхъ басенъ латинскими стихами; переводчикъ, Федръ, укрѣпилъ за ними, равно какъ и за своими собственными, поучительное направленіе, которое съ этихъ поръ и утвердилось въ литературѣ, такъ что нравоучительный выводъ былъ признанъ существеннымъ элементомъ басни, а самая басня элементомъ прибавочнымъ или служебнымъ, чуждымъ всякаго самостоятельнаго значенія. Дидактизмъ особенно пришелся по вкусу тому понятію о поэзіи, которое, назначая ее для пользы и забавы читателей, желало удовлетворить стремленію вѣка къ холодной морализаціи и сказкамъ, какъ это и видимъ въ византийскихъ сборникахъ Езоповыхъ басенъ. Первый по времени изъ этихъ сборниковъ составленъ монахомъ Максимомъ Плацудомъ, жившимъ въ XIV в. по Р. X. Образцы басенъ исключительно нравоучительныхъ породили ложныя теоріи, а теоріи, въ свою очередь, отразились на новыхъ, соответственныхъ имъ образцахъ. Лессингъ, имѣя

передъ собою византийскіе сборники, усвоилъ тотъ же взглядъ: по его опредѣленію, басня есть вымышленный рассказъ о животныхъ, въ которомъ наглядно выступаетъ общее правоучительное положеніе. Какъ видно, въ его опредѣленіи нѣтъ ни одного признака (кроме вымысла), который напоминалъ бы о поэтической натурѣ басни. Басня, какъ чисто-дидактическое средство, отброшена имъ въ область нравственной философіи. Онъ низводитъ ее до примѣра и лишь краткости ради замѣщаетъ животными людей. Такимъ образомъ басня превращается въ упражненіе разума, въ школьную хрѣю. Лессингъ дѣйствительно и предназначалъ ее для педагогической цѣли, и чтобы не осталось на ней ни малѣйшаго слѣда поэзіи, онъ не допускалъ и употребленія стихотворной рѣчи. Его собственныя басни—ни что иное, какъ умныя словопренія: звѣри лѣсовъ и пустынь говорятъ у него такъ же образованно, утонченно и остро, какъ и самъ великій критикъ, ихъ создавшій (*).

Лессингово опредѣленіе басни съ одной стороны слишкомъ тѣсно, а съ другой слишкомъ обширно. Оно тѣсно, потому что признакомъ «нравоучительный» исключается изъ ея области множество очень хорошихъ стихотвореній, которыя во все времена пользовались названіемъ басенъ, но которыя, по замѣчанію Гердера, ведутъ къ самымъ безнравственнымъ правиламъ, освящая хитрость, дерзость и насиліе. Оно обширно, потому что возвышаетъ на степень басни каждый примѣръ, придуманный для поясненія какого-нибудь нравоучительнаго положенія. Причина извращеннаго понятія заключалась именно въ томъ, что общее сужденіе, которому басня служитъ примѣромъ, обратили въ нравоученіе. Поэтому въ баснѣ, какъ стихотвореніи дидактическомъ, поучительномъ, эпическѣй и нравоучительный элементы распались на двѣ кое-какъ сплоченныя половины. Непоэтическая половина, какъ будто нѣчто существенное, овладѣла главнымъ мѣстомъ и сдѣлала поэтическую половину своимъ средствомъ. А такъ какъ средство поглощается цѣлью и, по достиженіи послѣдней, теряетъ всякое значеніе, то при такомъ направленіи басня не могла рассчитывать на самостоятельность. Она стала самостоятельнымъ стихотвореніемъ подъ руками нѣкоторыхъ поэтовъ, противъ ихъ вѣдѣнія и воли, по инстинкту, который одерживалъ верхъ надъ тенденціей. Увлекаемый изобрѣтеніемъ повѣствованія, поэтъ углублялся въ свойства животныхъ характеровъ и въ интересъ дѣйствія съ такою любовію, что забывалъ о своей цѣли. Творческій порывъ заглушалъ предвзятую мысль, и поученіе являлось не темою для поэтического упражненія, а органическимъ результатомъ дѣйствія: баснописецъ не высказывалъ его явно и точно, предоставляя мыслящему читателю извлечь его вмѣстѣ съ нѣсколькими другими поученіями, или впадалъ его въ уста одного изъ дѣйствующихъ лицъ не въ видѣ нравоучительной сентенціи, а въ видѣ меткаго изреченія, соответствующаго вымыслу и прямо вытекающаго изъ характера говорящаго лица. Такимъ образомъ не басня служила сентенціи, а сентенція служила баснѣ, относясь къ ней, какъ живой членъ относится къ здоровому тѣлу. Въ басняхъ самого Лессинга, хотя онъ и не признавалъ себя поэтомъ, есть нѣчто поэтическое. Заключительной остротой (pointe) читатель наводится самъ собою, безъ помощи автора, на извѣстное нравоученіе. Это

(*) Басня Лессинга нашла себѣ панегириста въ Гервинусѣ. Исходя изъ своей гипотезы о происхожденіи басни, историкъ нѣмецкой литературы говоритъ, что форма и направленіе, данныя баснѣ Лессингомъ, принадлежатъ ей исключительно и первоначально, что Лессингъ возвратилъ ей тотъ важный, простой и всеобщій характеръ, которымъ отличалась она во времена Езопа.

заключеніе кладеть на басни печать замаскированных эпиграммъ и удерживаетъ ихъ въ области поэзіи. Но хотя достаточно эпиграмматической силы, чтобы воззвать басню къ самобытной жизни, однакожъ одними остроумными оборотами далеко не исчерпывается ея достоинство. Гораздо пріятнѣе, если она изъ множества разноцвѣтныхъ нитей составить обширную ткань для живаго дѣйствія, въ которомъ всѣ моменты соответствуютъ комическому положенію дѣла. Здѣсь-то во всей полнотѣ проявляется цѣнность животныхъ характеровъ, и не столько по ихъ неизмѣнности (стереотипности), сколько по ихъ односторонности. Еще древніе подмѣтили эту односторонность, противоположную многосторонности человѣческаго характера. Животныя—точно живыя каррикатуры людей. Чѣмъ больше уклоняются люди отъ развитія своихъ духовныхъ способностей и вдаются въ одно изъ тѣхъ одностороннихъ направленій, которые усвоены природой отдѣльнымъ видамъ животныхъ, тѣмъ больше становятся ограниченными. Просторѣіе клеймятъ такихъ людей меткими остротами или прозвищами, заимствованными изъ міра животныхъ (лисица, баранъ, оселъ, быкъ и т. п.). Басня же есть театръ, на которомъ эти животныя занимаютъ роли актеровъ. Въ греческой баснѣ и въ позднѣйшихъ ей подражаніяхъ достоинство поэтического изображенія определяется постоянной относительностью животныхъ характеровъ къ человѣческому міру, яркимъ ихъ отраженіемъ на поступкахъ людей. И взаимной игрой этихъ обоихъ элементовъ (животнаго и человѣческаго) несколько не двоится и не ослабляется самый интересъ: какъ элементы, такъ и интересъ сосредоточиваются въ одномъ пунктѣ, ибо животныя не являются простыми двойниками чловѣка, но какъ бы отождествляются съ нимъ. Никому уже не приходитъ на мысль почитать животныхъ простыми уподобленіями. Хотя образы людей отражаются въ зеркалѣ поэтического гения съ нѣкоторымъ преувеличеніемъ, но они всегда вѣрны и соответственны ихъ индивидуальной природѣ. Эти маски кажутся намъ истиннымъ выраженіемъ того, что скрывается подъ ними, и мы смотримъ на нихъ, какъ на живыя лица. Одно только можетъ казаться намъ несообразностью—костюмъ ихъ: въ дѣйствительности, хитрецъ не носитъ рыжей шкуры и лисьяго хвоста, а хищный чловѣкъ, по внѣшности, не всегда похожъ на волка. *Въ такомъ видѣ басня есть не что иное, какъ сатира въ повѣстествовательной формѣ, идѣ дѣйствующія лица замѣнены соответствующими имъ характерами животныхъ.* Это понятіе рѣдко сознавалось во всей своей чистотѣ даже самыми лучшими баснописцами, хотя они и осуществляли его въ своихъ сочиненіяхъ. Изъ грековъ только Бабрій (около 80 по Р. Х.) усвоилъ эту форму въ стихотворной обработкѣ Езоповой басни, какъ самостоятельнаго вида. Онъ не почитаетъ разсказа пустымъ украшеніемъ, а поученіе—единственную сущность, какъ Федръ. Ему нужно, чтобы читатель интересовался столько же разсказомъ и животными, выводимыми на сцену, сколько примѣненіемъ разсказа къ житейскому благоразумію или строгой морали. Басни его отличаются безыскусственной простотой и живостью наивнаго выраженія. Одна изъ нихъ (Большой левъ) по отчетливой характеристикѣ животныхъ, по остроумно-выбраннымъ положеніямъ и юмористическому тону есть замѣчательное произведеніе, представляющее до извѣстной эпической широты доведенный матеріалъ животной сати.

Извѣстнѣйшими представителями того направленія басни, о которомъ мы сейчасъ говорили, справедливо почитаются Лафонтенъ и Крыловъ. Они возвысили ея достоинствомъ обоихъ ея членовъ: разсказа и заключительной, лежащей въ основаніи его мысли. Разсказъ отличается поэтическимъ изображеніемъ, которое и само по себѣ,

независимо отъ вывода, интересуется читателя. Событіе изъ міра животныхъ выступаетъ какъ драма. Дѣйствующія лица являются не простыми аллегоріями, годными лишь для доказательства нравственныхъ или другихъ положеній и нисколько не теряющими отъ того, если они замѣняются отвлеченными понятіями: хищность, хитрость, глупость, и пр., но дѣйствительно-живыми существами, съ плотію и кровію, съ разнообразіемъ внѣшняго вида и движеній, каждое съ отправлениями неизмѣннаго своего характера. Значеніе вывода расширено: онъ не вращается исключительно въ средѣ поучительныхъ изреченій, хотя и можетъ принадлежать къ міру нравственныхъ идей и правилъ. Не всегда занимаетъ онъ особое мѣсто, въ концѣ или началѣ басни, но часто выговаривается въ рѣчи дѣйствующаго лица, почему и становится своего рода фактомъ, живую частію разсказа. Иногда и того нѣтъ: баснописецъ представляетъ самому читателю сдѣлать заключеніе, а самъ только даетъ поводъ къ нему своимъ разсказомъ; басня ведетъ основную мысль не за собою, а съ собою, какъ выразился Лафонтенъ (*). Наконецъ, инныя басни допускаютъ не одинъ выводъ, а нѣсколько. Въ вымышленныхъ событіяхъ изъ міра животныхъ, и Лафонтенъ и Крыловъ изображаютъ явленія нашей собственной жизни, преимущественно со стороны сатирической. Съ этой стороны знаменательно названіе «Свѣтъ», данное Штриккеромъ, нѣмецкимъ писателемъ XIII в., сборнику его басенъ, хотя онъ, по своему направленію, исключительно моральный. Съ большимъ основаніемъ Лафонтенъ называлъ свои басни странной, стоактной комедіей, разыгрываемой на сценѣ міра:

Une ample comédie à cent actes divers,
Et dont la scène est l'univers (**).

Въ постановкѣ на сцену и заключается поэтический интересъ басни. Одно изъ достоинствъ этой постановки—вѣрное изображеніе выводимыхъ тварей, согласное съ ихъ природой, напоминаетъ о родствѣ животной басни съ животнымъ эпосомъ; другія отличія принадлежатъ ей собственно, какъ произведенію искусственной поэзіи: это—ограниченность объема, юмористическій тонъ, точный прицѣлъ и вѣрный, эпиграмматическій ударъ. Не всѣ, конечно, смотрѣли одинаково на Лафонтенову басню. Лессингъ и Гриммъ, каждый съ своихъ точекъ зрѣнія, дали объ ней неблагоприятные отзывы. Лессингъ осуждалъ ее именно за поэтическія украшенія, а Гриммъ за то, что наивныя черты, вмѣняемыя въ заслугу Лафонтену, не вознаграждаютъ ни утраченной простоты животной саги, ни эпической ея полноты. Но какъ бы ни было, а то несомнѣнно, что разсказъ у Лафонтена и Крылова не представляетъ скелета, голаго доказательства какой нибудь истины; что выводъ не отсѣкается отъ него *ex abrupto*, въ видѣ особой статьи, шатко приставленной къ предыдущему или послѣдующему, и что басни этихъ лицъ долгое время читались людьми всѣхъ возрастовъ, тогда какъ басни Лессинга любопытны единственно, какъ опытъ критика, написанный въ подтвержденіе теоріи.

Чтобы не сбиваться въ приговорахъ о басняхъ Крылова, необходимо имѣть въ виду, что хотя онъ, равно какъ и Лафонтенъ, постоянно заботился, и по творческому инстинкту, и по сознанію, о поэтическомъ достоинствѣ разсказа, который могъ бы интересовать читателя даже помимо своего внутренняго смысла, однакожъ тѣмъ не менѣе главное вниманіе его устремлялось къ этому смыслу, а не къ оболочкѣ или

(*) Le conte fait passer la morale avec lui.

(**) Le Bûcheron et Mercure (Дровосѣкъ и Меркурій).

средству, каковымъ служить разсказъ. Самъ Лафонтенъ называетъ басню (вымыселъ) тѣломъ аполога, а моральный выводъ (moralité)—его душою, показывая тѣмъ подчиненное отношеніе первой части аполога ко второй. Какъ дорожить моралью нашъ баснописецъ, мы уже знаемъ: въ числѣ благотворителей рода человѣческаго ставить онъ того, кто главнѣйшія правоучительныя правила предлагаетъ въ короткихъ словахъ, дабы они глубже впечатлѣвались въ памяти (*). Понятіе Крылова о баснѣ вытекало изъ его взгляда на литературу вообще: онъ требовалъ отъ сочиненій улучшающаго, облагораживающаго дѣйствія. Между прочимъ, театръ долженствовалъ быть училищемъ нравовъ, судомъ заблужденій (**). Притомъ же, сказали мы, басня Лафонтена и Крылова есть сатира, представляющая явленія человѣческой жизни въ формѣ повѣсти о явленіяхъ въ мірѣ животныхъ, а сатирикъ дѣйствуетъ намѣренно, съ извѣстной цѣлью, болѣе или менѣе подчиняя ей и поэтическія средства. Никто изъ развитыхъ людей времени Лафонтена и Крылова не мечталъ наслаждаться басней, какъ дѣти сказкой. Каждый зналъ, что басня скрываетъ мысль, которая или выводится самимъ читателемъ или выговаривается авторомъ. Вышезамѣченное сходство между басней и пословицей подтверждается здѣсь снова. Кто пользуется пословицей, тотъ имѣетъ въ виду не столько ея выраженіе, какъ бы оно ни было фигурально, сколько оныя практической народной мудрости, или правило житейскаго благоразумія, которымъ нужно подкрѣпить какую-нибудь мысль. Равнымъ образомъ, кто читаетъ басню, тотъ, любуясь поэтическою красотою вымысла, все же ожидаетъ вывода, дающаго ему знать или объ одномъ фактѣ изъ современной жизни или о цѣломъ рядѣ общественныхъ явленій. Взглядомъ баснописца на значеніе вывода, какъ «нравоучительнаго правила», объясняется многое въ его сочиненіяхъ, и между прочимъ ихъ невыгодныя стороны. Къ такимъ недостаткамъ принадлежитъ у Крылова, во первыхъ, манера предпосылать выводъ разсказу, какъ его наглядному объясненію: заранѣе высказанная мысль даетъ возможность на половину, а иногда и вполне, угадывать исходъ слѣдующей за тѣмъ повѣсти и тѣмъ самымъ подрываетъ ея интересъ. Такъ изъ перваго стиха басни «Волкъ и Ягненокъ»: «у сильнаго всегда безсильный виновать», ясно, что въ разсказѣ виноватымъ окажется Ягненокъ. Второй недостатокъ состоитъ въ изображеніи нѣкоторыхъ особенностей и дѣйствій, противныхъ природѣ животныхъ. Критика осуждала, напримеръ отвѣтъ волковъ слону-воеводѣ:

Не ты ль намъ къ зимѣ на тулупы
Позволилъ легонькій оброкъ собрать съ овецъ?

На что, спрашивала она, волкамъ тулупы и какая имъ надобность въ овечьихъ шкурахъ? Недостаткомъ должно назвать также обстановку разсказа представленіями въ духѣ французскаго классицизма, которыя Лафонтенъ находилъ пристойными какъ для удовольствія публики, такъ и для собственнаго развлеченія въ работѣ (pour égarer l'ouvrage). Въ одной изъ лучшихъ своихъ басенъ: «Осель и соловей», Крыловъ испортилъ картину и производимое ею впечатлѣніе слѣдующей вставкой:

Внимало все тогда
Любимцу и пѣвцу Авроры:
Затихли вечерки, замолкли птичекъ хоры
И прилегли стада.

(*) Выше, стр. 294.

(**) Почта духовъ, письмо XVII (Соч. Крылова, т. I, стр. 171—172, 177).

Чуть-чуть дыша, настухъ имъ любовался,
И только иногда
Внимал головой, настухнѣ улыбался.

Если можно еще допустить первые четыре стиха, какъ прикрасу, хотя она и придаетъ многочисленное значеніе соловьиному голосу, то послѣдніе три непріятно вырываютъ читателя изъ русской среды и переносятъ его въ пасторальный міръ Фонтенеля и мадамъ Дезульберъ. Подобною идилліей начинается и басня Ручей:

Настухъ у ручейка пѣлъ жалобно, въ тоскѣ,
Свою бѣду и свой уронъ невозвратимый:
Яненокъ у него любимый
Недавно утонулъ въ рѣкѣ.

Замѣчательно, что эти строки написаны тѣмъ же самымъ перомъ, которое въ «Кайбѣ» съ такимъ здравымъ смысломъ и остроуміемъ осмѣяло русскихъ идилликовъ. Что жъ это доказываетъ? Или указанные недостатки Крыловъ не почиталъ недостатками, или смотрѣлъ на нихъ сквозь пальцы, какъ на букашекъ и козявокъ, въ сравненіи съ слономъ, на которомъ слѣдуетъ въ особенности останавливать вниманіе. Онъ могъ мириться съ ними ради меткой сатиры или нравственнаго внушенія, думая, что и читатель, по тому же расчету, отпуститъ автору кой-какія уклоненія отъ выдержанности или неестественности. Конечно, неприлично волкамъ просить себя тулуповъ на зиму, когда природа и безъ того одѣла ихъ теплыми тулупами; но развѣ не было у насъ такихъ воеводъ, для которыхъ резоны вопіющей нецѣлостности имѣли силу крайнихъ, добросовѣстныхъ убѣжденій? Чтобы рельефнѣе выставить «мудрость» подобныхъ администраторовъ, Крыловъ рѣшился, въ докладѣ волковъ, приписать имъ потребность, несогласную съ ихъ природой. Пускай въ рассказъ о соловьиномъ пѣньѣ закралось аркадское безвѣщеніе, но этотъ осель, отъ нозы своей до изреченнаго имъ приговора, есть чисто-русскій осель, въ тупой самоувѣренности почитающій себя знатокомъ, судьей и меценатомъ. Правда и то, что начало басни «Ручей», по идиллическому тону, расходится съ слѣдующимъ за тѣмъ рассказомъ; но Крыловъ направлялъ рассказъ къ заключенію, указывающему на быструю переменъ въ людяхъ съ возвышеніемъ ихъ общественнаго мѣста:

Какъ много ручейковъ текутъ такъ смирно, гладко,
И такъ журчатъ для сердца сладко
Лишь только отъ того, что мало въ нихъ воды!

Это заключеніе и было цѣлью басни, своимъ значеніемъ покрывавшее «кудрявый складъ» первыхъ стиховъ.

Указавъ мѣсто, занимаемое баснями Крылова въ исторіи басни, мы должны теперь рассмотреть ихъ предметы или темы. Этимъ рассмотрѣніемъ опредѣлится ихъ общественное значеніе, равно и взгляды автора на тѣ явленія, по поводу которыхъ онъ принимался за перо. Такъ какъ онъ приступилъ къ новой дѣятельности съ понятіями, твердо сложившимися и достаточно заявленными въ комедіяхъ и журналахъ, то она сохранила прежнее, консервативное направленіе. Слѣдовъ внутренней непоследовательности также трудно найти въ его басняхъ, при сличеніи однихъ съ другими, какъ и между его баснями съ одной стороны и прежними сочиненіями съ другой. Отсутствіе противорѣчій происходило не отъ старанія оставаться вѣрнымъ самому себѣ, а отъ трудности быть себѣ невѣрнымъ. Крыловъ не испытывалъ по этому поводу ника-

кого умственного насилия или внутреннего раздора. Дело делалось легко и естественно, без спора съ убеждениями и чувствами.

На первомъ планѣ слѣдуетъ поставить басни, вызванныя мыслію о воспитаніи, которому авторъ и прежде посвящалъ большую часть своихъ сужденій, связывая въ нихъ воспитательный вопросъ съ вопросомъ о патриотизмѣ и народной нравственности. Сюда относятся: Воспитаніе льва (1814), Крестьянинъ и змѣя (1813), Бочка (1814) и Кукушка и Горлинка (1817). Самъ Крыловъ придавалъ этимъ баснямъ особенную важность, что доказывается серьезнымъ, строго-внушительнымъ тономъ ихъ наставленій, прямо обращенныхъ къ родителямъ:

Отцы, понятно ль вамъ, на что здѣсь мѣчу я?...

(Крестьянинъ и Змѣя).

Старайтесь не забыть, отцы, вы басни сей.

(Бочка).

Отцы и матери! вамъ басни сей урокъ.

(Кукушка и Горлинка).

Въ своихъ совѣтахъ баснописецъ выставляетъ необходимость національнаго воспитанія и личнаго родительскаго надзора за дѣтьми, на ряду со вредомъ, приносимымъ юношеству иностранными наставниками и наставницами. Басня «Крестьянинъ и змѣя» явилась векорѣ послѣ войны съ Наполеономъ и какъ бы напоминаетъ русскимъ, что нихъ коротка память золъ, которые онъ причинилъ нашему отечеству: французы, по прежнему, находили себѣ радушный пріемъ и выбирались въ руководители умственного и нравственнаго образованія дѣтей (*). «Бочка» представляетъ слѣдствія вредныхъ ученій, которыми съ юныхъ дней напитывается русскій человѣкъ. Въ чемъ состоятъ эти ученія, авторъ не выказалъ: онъ только обратилъ на нихъ вниманіе родителей. Предположеніе, что подъ ними разумѣется мистицизмъ (**), не можетъ быть подкрѣплено исторіей: мистицизмъ (а не собственно масонство) развился позднѣе 1814 г. и притомъ усвоивался не въ школѣ и не въ домашнемъ воспитаніи, а по выходѣ изъ школы и семейства при условіяхъ извѣстной самостоятельности въ характерѣ и въ жизни: развѣ возможно быть мистикомъ дитяти или учащемуся юношѣ? Вреднымъ ученіемъ Крыловъ, безъ сомнѣнія, называлъ образъ мыслей, передаваемый молодому племени тѣми же иностранцами. Смыслъ басни: «Воспитаніе льва» показываетъ, чему должно обучать наследниковъ престола:

... Важнѣйшая наука для царей --

Знать свойство своего народа

И выгоды земли своей.

Эта наука обязательна для каждаго гражданина и есть не что иное, какъ національное образованіе. Не безъ основанія думаютъ, что авторъ своею баснею намекалъ на неправильное образованіе Императора Александра I, которое бабка его, Екатерина Великая, поручила женецпу Лагарпу, человѣку благороднаго образа мыслей, но не знавшему Россіи (***).

За баснями, выражающими понятія о воспитаніи, ставимъ басни, предметъ которыхъ — обличеніе невѣжества. Таковы: Пѣтухъ и жемчужное зерно (1809), Мартышка и

(*) Слича съ §§ 21 и 38.

(**) Такъ думаетъ г. Кеневичъ въ Примѣчаніяхъ къ баснямъ Крылова, стр. 142 и 143.

(***) Ib. стр. 93.

очки (1815), Свинья подъ дубомъ (1825) и Голикъ (1825). Хотя первая изъ нихъ есть подражаніе Федровой или Лафонтеновой, но Крыловъ расширилъ ея значеніе: латинскій баснописецъ примѣнилъ свой рассказъ къ тѣмъ лицамъ, которые не цѣнили его басенъ; французскій—къ людямъ, ничего не смыслившимъ въ ученыхъ драгоценностяхъ (рѣдкихъ манускриптахъ); Крыловъ разумѣлъ невѣждъ вообще:

Невѣжи судятъ точно такъ:

Въ чемъ толку не поймутъ, то все у нихъ пустякъ.

Въ «Мартышкѣ и очкахъ», невѣжда не только называетъ драгоценную или полезную вещь пустою, потому только, что она ему ни на что не годится, но и дурно отзывается объ ней;

А ежели невѣжа познатнѣй,
Такъ онъ ее еще и гонить.

«Свинья подъ дубомъ» есть образъ невѣжды, который, будучи не въ состояніи цѣнить науки и ученые труды, бранить ихъ,

Не чувствуя, что онъ вкушаетъ ихъ плоды.

Невѣжественное отношеніе къ наукѣ представлено также въ «Голикѣ», что видно изъ толкованія этой басни:

Бываетъ столько же вреда,
Когда
Невѣжда не въ свои дѣла влетится
И поправлять труды ученаго возьмется.

Преслѣдуя невѣжество, Крыловъ, казалось бы, долженъ былъ восхвалять просвѣщеніе. Но такихъ басенъ у него нѣтъ, а есть другія, выставлющія, напротивъ, вредъ или смѣшныя стороны просвѣщенія. Не могъ онъ, конечно, не знать важности науки, которую самъ же защищалъ противъ неблагодарныхъ или сильныхъ невѣждъ. Значить, та образованность, что развивалась передъ его глазами въ нашемъ обществѣ, была ему не по вкусу. Чѣмъ же она ему не нравилась? Или какая образованность ему нравилась? Баснею «Червонецъ» (1812) доказывается слѣдующая «святая истина»:

Полезно ль просвѣщенье?
Полезно, слова нѣтъ о томъ;
Но просвѣщеніемъ зовемъ
Мы часто роскоши прельщенье,
И даже нравовъ развращенье.
Такъ надобно гораздо разбирать,
Какъ станешь грубости кору съ людей сдирать,
Чтобъ съ ней и добрыхъ свойствъ у нихъ не растерять,
Чтобъ не ослабить духъ ихъ, не испортить нравы,
Не разлучить ихъ съ простотой,
И, давши только блескъ пустой,
Безславья не навлечь имъ вмѣсто славы.

Ясно, о какомъ просвѣщеніи здѣсь говорится. Это—давно извѣстная намъ наружно-европейская образованность, приобретаемая русскими въ ущербъ ихъ народному и человѣческому достоинству. Крыловъ имѣлъ полное право отвергнуть это мнимое и вредное просвѣщеніе: образъ его мыслей раздѣляли съ нимъ всѣ благонамѣренные люди. Но кромѣ лже-просвѣщенія, ослаблявшаго народное чувство, портившаго нравы, отлучавшаго отъ доброй простоты и навлекавшаго безславые, развивалось у насъ, много

или мало, и другое, достойное симпатій патріота: московскій университетъ продолжалъ свою полезную дѣятельность, университеты новооснованные доставляли возможность провинціальному юношеству получать высшее образованіе, число гимназій и другихъ учебныхъ заведеній увеличивалось, законъ 1809, хотя и насильственнымъ образомъ—приманкою чиновныхъ привилегій,—побуждалъ дворянъ добиваться университетскаго аттестата, литература представляла не мало явленій, ручавшихся за ея успѣхъ. Баснописецъ не могъ не знать фактовъ современнаго ему, передъ его глазами пронесшимся образовательнаго движенія: почему бы не отнестись къ нимъ сочувственно? Развѣ опасность отъ поверхностной, виѣшней подражательности европейцамъ была до того велика, что заслоняла передъ нимъ добрыя начинанія и ходъ истиннаго образованія? Или и это послѣднее онъ признавалъ опаснымъ?... Крыловъ, какъ видно изъ письма къ нему Оленина (*) долго занимался вопросомъ о пользѣ истиннаго просвѣщенія и пагубныхъ слѣдствійхъ суетумудрія. Обрачикомъ его воззрѣній на то и другое можетъ служить басня «Водолазы» (1813). Какого-то царя тревожило страшное сомнѣніе:

Не болѣе ль вреда, чѣмъ пользы, отъ наукъ?
Не расслабляетъ ли сердце и рукъ
Ученье?
И не разумѣе ль поступить онъ,
Когда ученыхъ всѣхъ изъ царства выплетъ вонъ?

Сомнѣніе царя разрѣшилъ пустынный притчею о рыбахъ и троихъ его сыновьяхъ. Бросивъ скудный отцовскій промыселъ, они задумали добывать жемчугъ. Одинъ изъ нихъ, лѣнивый, собиралъ лишь тотъ жемчугъ, что волной выбрасывало ему на берегъ; другой, умѣя выбирать глубину себѣ по силамъ, отыскивалъ жемчугъ на днѣ и всечасно богатѣлъ; третій, томимый алчностью къ сокровищамъ, пустился въ открытое море, гдѣ и нашелъ свою смерть. Отсюда заключеніе:

Хотя въ ученіи зримъ мы многихъ благъ причину,
Но дерзкій умъ находитъ въ немъ пучину
И свой погибельный конецъ,
Лишь съ разницею тою,
Что часто въ гибель онъ другихъ влечетъ съ собою.

И такъ Крыловъ не противъ наукъ: онъ только требуетъ ученія по силамъ человѣку, умѣреннаго, серединаго между невѣжествомъ, происходящимъ отъ лѣности, и глубокимъ, пучиннымъ знаніемъ, или всезнаніемъ, происходящимъ отъ дерзости ума и ведущимъ, по словамъ пустынника, къ гибели. Съ какой стороны ни судить о притчѣ, она оказывается несостоятельною, построенною на такомъ сравненіи, которое, по французской поговоркѣ, ничего не доказываетъ. Алчность къ пріобрѣтенію матеріальныхъ богатствъ нельзя угодоблять жаждѣ умственныхъ изслѣдованій, глубины знанія. Въ стремленіи къ истинѣ, умъ не можетъ остановиться на серединѣ. Врожденная, совершенно законная пылливость духа влечетъ человѣка нескончаемо и безгранично, хотя бы за это влеченіе онъ жертвовалъ жизнію или навсегда утрачивалъ счастье, какъ юноша въ Шиллеровомъ стихотвореніи: «Покрытый истуканъ въ Сансѣ». Эта пылливость есть столько же прирожденное намъ свойство, сколько и необходимое условіе

(*) Письмо помѣщено въ описаніи торжественнаго открытія Н. П. Б. 1814 г. (см. Примѣчанія г. Кеневича).

нашего совершенствованія, почему и нельзя сказать, будто водолазъ Крылова «логичаесть отъ того, что рѣшился на дѣло, противное природѣ челоуѣка» (*). Если же на притчу пустынника смотрѣть по отношенію ко времени ея появленія, то ее по малой мѣрѣ слѣдуетъ назвать несвоевременною и неумѣстною. Мы и теперь еще не можемъ похвалиться успѣхами въ любомудріи: если любомудріе—зло, то оно и теперь у насъ въ большомъ недостаткѣ, а не въ большомъ излишкѣ. Разумѣется, и предки наши, въ первую половину царствованія Александра I, не до такой степени погружались въ знанія, чтобы слѣдовало удерживать ихъ рвеніе; напротивъ, было бы благо-разуміе и патріотичіе возбуждать въ нихъ охоту къ умственнымъ трудамъ, которыми очень немногіе посвящали свое время. Мнѣніе, что Крыловъ, по существу своему отличію своего таланта, ко всему относился не иначе, какъ критически (**), можетъ оправдывать другаго писателя, а не нашего, который такъ высоко цѣнилъ правоучительные выводы и цѣлью авторской дѣятельности ставилъ пользу согражданъ. Такой писатель и при выборѣ предметовъ для сатиры и въ самой сатирѣ обязанъ руководствоваться не однимъ естественнымъ позывомъ таланта, но и взглядомъ на литературу, имъ же самимъ высказаннымъ. Въ неумѣиѣ на первыхъ порахъ приняться за хорошее дѣло, или въ неловкости, съ какой принимаются за него новички, и въ исходящихъ отсюда комическихъ сценахъ, онъ не дозволить себѣ видѣть уже крайность зла и не замѣчать начала добра: иначе сатира нанесетъ вредъ самымъ уважительнымъ стремленіямъ общества. Настроеніе сатирика сообщится читателямъ, которые, ради нелѣпостей и неудачъ, обнаруживаемыхъ при вступленіи въ неизвѣданныя дотолѣ области, сочтутъ и послѣднія нелѣпостью. Къ числу такихъ областей принадлежала въ нашемъ обществѣ наука. Въ старину запрещали читать Библію, потому-де что на этомъ чтеніи многіе сошли съ ума; при Ломоносовѣ превратные толкователи слова Божія вооружались противъ изслѣдователей, желавшихъ проникнуть въ тайны естества; и за послѣдніе годы царствованія Александра слылъ, по выраженію Грибоѣдова, опаснымъ мечтателемъ тотъ, кто умъ свой, алчущій познаній, вперялъ въ науки. Крыловъ, можетъ быть незамѣтно для него самого, родился съ неисчислимыми здѣсь, старыми и новыми, противниками ученія, почему и сѣтовали на него образованнѣйшіе изъ его современниковъ, какъ литераторы, такъ и нелитераторы. По мнѣнію г. Кеневича, Крыловъ указываетъ въ «Водолазахъ» на вредныя послѣдствія увлеченія не истинною, а ложною идеей, говорить о политическомъ и религіозномъ вольнодумствѣ, какъ «пагубномъ суетумудріи» и причинѣ народныхъ бѣдствій (***). Но мы уже замѣтили, что исканіе глубочайшихъ истинъ вовсе не противно, а на оборотъ—свойственно природѣ челоуѣка, и потому не можетъ быть относимо къ ложнымъ идеямъ или ложнымъ увлеченіямъ. А если бы и такъ, то ложныя идеи не одно и тоже съ глубокими идеями и вольнодумство не одно и тоже съ глубиною мудрости, слѣдовательно по малой мѣрѣ выходитъ, что аллегорическій образъ, взятый баснописцемъ, не соответствуетъ его мысли. Остается третья, по моему мнѣнію, ближайшая къ истинѣ точка зрѣнія на басню «Водолазы». Источникъ ея въ равнодушіи автора къ знанію, какъ знанію, независимо отъ его практическихъ надобностей, которыя онъ цѣнилъ по преимуществу и даже исключительно. Тяжелый на подъемъ, онъ и въ другихъ не

(*) Примѣчанія г. Кеневича, стр. 119.

(**) Ib. 75.

(***) Ib. 118—119.

одобралъ качества, противоположныхъ своей собственной природѣ. Сравнивая себя, какъ баснописца, съ морякомъ, который отъ того только не испыталъ бѣды, что не хаживалъ далеко въ море, онъ боялся за отважныхъ, пускавшихся въ открытый океанъ. Продолжая сравненіе, можно сказать, что, кромѣ поэтического моря, есть другое, еще болѣе обширное—море науки. Кто недолго и недалеко странствовалъ по немъ, тотъ не можетъ, конечно, судить ни объ его опасностяхъ, ни объ его сокровищахъ. Образованіе Крылова было очень ограничено и мелко, и въ этомъ заключается истинная причина его неблагоприятнаго отношенія къ глубинѣ знаний.

Грѣха tantъ нечего, мы способны слишкомъ быстро впасть въ крайности, иногда смѣшныя, иногда и вредныя. Сатира имѣетъ полное право обличать грѣхи, но не должна бросать камень въ самый предметъ нашихъ увлеченій, за который онъ не отвѣчаетъ, и, поражая крайности, не охлаждать сочувствія къ тому, что въ сущности полезно. Догадка и простой пріемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ рѣшается дѣло лучше, чѣмъ трудъ и мудрость: это извѣстно каждому; но отсюда никакъ не слѣдуетъ, чтобы «трудъ и мудрость», напрасно потраченные какимъ-нибудь педантомъ, вообще уступали въ своемъ значеніи простой догадливости русскаго человѣка. «Тарчикъ» Крылова (1808) открывался просто, безъ помощи механики; однакожь, сколько есть такихъ вещей, которыя можно открыть и устроить только съ помощью механики! Между тѣмъ пропискія и колкія слова: «механики мудрецы» (*), показываютъ, на чью сторону склонялись всѣмъ баснописца: на сторону ли врожденной намъ смѣтливости, которой намъ не учиться стать, или на сторону рациональнаго веденія всѣхъ частей нашей жизни, что пріобрѣтается лишь наукой. Не меньше насмѣшки и въ заключительныхъ стихахъ басни: «Огородникъ и философъ» (1811):

А философъ
Безъ огурцовъ.

Правда, философъ былъ «недоученый, лишь изъ книгъ болтавшій про огороды». Авторъ могъ бы вывести отсюда другую, слѣдующую мораль: начавъ чему нибудь учиться, должно доучиваться; свѣдѣнія, почерпнутыя изъ книгъ, необходимо провѣрять на практикѣ, примѣняя ихъ къ мѣстнымъ условіямъ. Но онъ поступилъ не такъ: онъ философіи (т. е. наукѣ вообще) и книжнымъ знаніямъ противопоставляетъ «прилежность и навыкъ», какъ бы признавая ихъ наиболѣе правильными и безошибочными орудіями успѣха, выгоднѣйшею замѣною науки. Замѣтивъ, какъ въ свѣтѣ часто упускаютъ изъ виду цѣли дѣйствій и видятъ силу вещей не тамъ, гдѣ она пребываетъ, Крыловъ написалъ басню «Крестьянинъ и лисица» (1830). Лисица удивляется дружбѣ крестьянина къ лошади—изъ всѣхъ звѣрей едва ли не глупѣйшаго, по ея мнѣнію. Что же отвѣчаетъ крестьянинъ?

Эхъ, кумушка, не съ разумъ тутъ сила!
... Все это суета:
Мнѣ нужно, чтобы она меня возила,
Да чтобы слушалась кнута.

И здѣсь, безъ натяжки, можно придти къ такому заключенію: не только безъ науки, даже безъ ума нѣкоторыя цѣли достигаются скорѣе и лучше, чѣмъ съ умомъ.

(*) Такая-же иронія и въ стихѣ: «какъ видно, молодецъ механикой былъ страстенъ» (Механикъ, 1816).

По поводу басни «Любопытный» (1814) справедливо было замѣчено, что Крыловъ ни въ басняхъ, ни прежде не выразилъ своего сочувствія ни къ какимъ открытіямъ, изобрѣтеніямъ или нововведеніямъ, но что, напротивъ, онъ больше представлялъ ихъ недостатки, чѣмъ выгоды: такъ въ «Огородникъ и философъ» онъ смѣется надъ агрономическими опытами, отдавая преимущество простому навыку, а въ «Любопытномъ»—надъ кропотливыми изслѣдованіями ученыхъ (*). Боязнь за вредныя послѣдствія, которыя губятъ не одинъ только дерзкій умъ, но и другихъ людей, имъ увлекаемыхъ, заставили Крылова умалчивать о добрыхъ послѣдствіяхъ науки и даже смотрѣть на нее вообще неблагоклонно. Слова: «философія», «философъ», почти тождественныя по значенію съ словами: «ученость, ученый», заклеены въ его басняхъ характеромъ смѣшныхъ прозвищъ. Скворецъ (въ баснѣ: «Котенокъ и скворецъ», 1825) хотя плохо пѣлъ, но былъ «презнатный философъ, до дна исчерпавшій философію» и ставшій самъ ея жертвою. Кого бы ни имѣлъ въ виду Крыловъ, сочиняя басню: «Сочинитель и разбойникъ» (1817): именно ли Вольтера, какъ думаютъ сами французы, или вообще сочинителей съ развратнымъ и злымъ направленіемъ, какъ полагаетъ Гоголь (**)—все равно; между обоими толкованіями нѣтъ существенной разницы: очень часто случается, что басня, написанная на извѣстное лице или опредѣленный случай, получаетъ потомъ общее примѣненіе ко всемъ подобнымъ лицамъ и случаямъ. Важны здѣсь два другія обстоятельства: во-первыхъ то, что Крыловъ, по своему понятію о пользѣ моральнаго направленія въ литературѣ, долженъ былъ казнить сочинителя, разливавшаго тонкій ядъ въ своихъ твореніяхъ, несравненно строже, чѣмъ разбойника; во-вторыхъ то, что онъ съ особеннымъ стараніемъ останавливался на вредныхъ или смѣшныхъ сторонахъ науки и литературы, какъ будто та и другая возбуждали въ его время особенный страхъ своею безнравственностью, всемъ видною, для всѣхъ ощутительною. Последнее обстоятельство толкуется различно: одни (г. Кеневичъ) утверждаютъ, что Крыловъ, по существенному отличію своего таланта, относился ко всему критически; по мнѣнію другихъ (Плетневъ), онъ воевалъ противъ крайностей во всемъ, зная, какъ близко отъ нихъ до бѣды. Смотря на басни Крылова съ любой изъ этихъ точекъ зрѣнія, не трудно, конечно, оправдать ихъ. Въ нихъ не найдешь ни странности, ни неумѣстности и несвоевременности; напротивъ, онѣ окажутся пригодными для каждаго времени и мѣста. Авторъ можетъ сказать: баснею «Ларчикъ» я хотѣлъ представить смѣшной педантизмъ мудрованія; баснею «Любопытный»—крайность пустаго любопытства, которое обращаетъ вниманіе на мелочи, не замѣчая крупнаго и важнаго; баснею «Огородникъ и философъ»—педантизмъ книжнаго знакомства съ предметами, и т. д. Трудно будетъ что-либо возразить противъ этихъ словъ, если отрѣшиться мыслию отъ того общества, для котораго онѣ писаны. Но общественное значеніе литературныхъ произведеній опредѣляется какъ подборомъ ихъ предметовъ, такъ и взглядами, въ нихъ выражаемыми. И предметы и взгляды пріобрѣтаютъ большую или меньшую важность, смотря по ихъ отношенію къ мѣсту и времени. Что хорошо и кетати въ одну эпоху, то непригодно и даже вредно для другой. Съ этой точки зрѣнія, басни Крылова, о которыхъ мы говорили, подлежатъ осужденію. Дѣйствительно, баснописецъ долженъ былъ подумать, чѣмъ болѣе страдало

(*) Замѣчаніе высказано г-мъ Флери въ его статьѣ о Крыловѣ (Journal de S.-Petersbourg 1867, № 219). Нѣкоторыя мѣста изъ нея приведены въ «Примѣчаніяхъ» г. Кеневича.

(**) «Примѣчанія» г. Кеневича (163—165); Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями.

современное ему русское общество: привычною ли видѣть то, чего нельзя не видѣть, что, по величинѣ своей, бросается въ глаза каждому, большому и малому, умному и глупому, или неумѣньемъ замѣчать такія вещи, которыя, кромѣ глазъ, требуютъ умственного зрѣнія и вниманія? поклоненіемъ ли навыку, державшему легіоны въ крѣпостной у себя зависимости, или педантическимъ стремленіемъ замѣтить безсознательный навыкъ сознательнымъ образомъ мыслей, — желаніемъ, которое заявляли единицы и десятки? довѣріемъ ли къ наукѣ и страстію рыться и погибать въ ея глубинахъ, или, на оборотъ, мелкимъ плаваніемъ по знанію, ученіемъ чему-нибудь и какъ-нибудь, а чаще полнымъ равнодушіемъ къ ученію? развивалась ли на виду у баснописца литература съ безприветливымъ направленіемъ? гдѣ сочинители, отравлявшіе ядомъ своихъ твореній общество, или философы-наставники, заражавшіе ядовитымъ ученіемъ юношество? Если отвѣты на эти вопросы легки и ясны, то непонятна случайность, по которой человекъ такого ума и таланта, какъ Крыловъ, обходилъ большинство явленій, наиболѣе тяжелыхъ, будто ихъ вовсе не существовало, и выбиралъ предметомъ своей сатиры меньшинство противоположныхъ явленій, какъ будто въ нихъ сосредоточивалась вся сила народного зла. Последніе въ отношеніи къ первымъ были тоже, что мушки и букашки относительно слона. Почему и какъ баснописецъ преслѣдовалъ мушекъ и букашекъ, и не замѣчалъ слона? Мы находимъ главный, если не единственный тому источникъ — въ совершенномъ недостаткѣ научнаго образованія, безъ котораго нельзя ни судить о наукѣ, ни сочувствовать ей, а можно только относиться къ ней или равнодушно, или недоброжелательно. По этой же причинѣ современники Крылова, научно образованные, умѣли отличать въ немъ силу таланта отъ малознанія. Въ числѣ ихъ, Сперанскій отзывался о немъ, какъ «о порядочномъ невѣждѣ» (*).

Басня «Конь и всадникъ» (1814) страдаетъ, по моему мнѣнію, тѣмъ же недостаткомъ, какъ и вышеприведенныя, направленныя противъ крайностей просвѣщенія, а именно: серьезность ея обличающаго разсказа и заключительной мысли не отвѣчала значенію обличаемаго. По вымыслу и выводу, она — прямая противоположность баснѣ, помѣщенной въ Аристотелевой Риторикѣ и придуманной поэтомъ Стезихоромъ въ поученіе Гимерейцамъ, которые, рѣшась воевать съ непріателемъ, вручили главное начальство надъ войскомъ тирану, Фаларису Агригентскому. «На лугу», рассказываетъ Стезихоръ, «паслась лошадь. Пришелъ олень и испортилъ пастбище. Задумавъ отомстить ему, лошадь просила человека о помощи. Человекъ обѣщалъ ее, но съ условіемъ, чтобы лошадь дозволила взнуздать себя и сѣсть на нее верхомъ. Лошадь согласилась. Тогда человекъ вмѣсто того, чтобы мстить оленю, обратилъ лошадь въ свою рабыню. Такъ и вы, Гимерейцы, страшитесь, чтобы лукавый всадникъ Фаларисъ, уже наложившій на васъ узду, не сѣлъ на васъ верхомъ: тогда навѣки погибнетъ ваша свобода». Гораций посвятилъ тому же сюжету нѣсколько стиховъ, а Лафонтенъ обработалъ его въ баснѣ: «Лошадь, хотѣвшая отомстить оленю», заключивъ свой разсказъ слѣдующею мыслию:

Quel que soit le plaisir que cause la vengeance,
C'est l'acheter trop cher que l'acheter d'un bien
Sans qui les autres ne sont rien (**).

(*) Рус. Архивъ 1868, № 7 и 8, въ Письмахъ къ дочери.

(**) Le cheval s'étant voulu venger du cerf (книга IV, басня 10).

У Крылова и посылки другія, и выводъ не тотъ. Его всадникъ разнуздалъ коня, и ретивый конь, почувъ волю, бѣшено помчался по полю, сбросилъ съ себя сѣдока и самъ убится до смерти въ оврагѣ. Сѣдокъ искренно раскаялся въ своемъ поступкѣ, причинившемъ такую напасть, а баснописецъ раскрываетъ передъ нами внутренній смыслъ повѣсти:

Какъ ни приманчива свобода,
Но для народа
Не меньше гибельна она,
Когда разумная ей мѣра не дана.

Г. Кеневичъ думаетъ, что Крыловъ, сочиняя «Коня и всадника», могъ имѣть въ виду французскую революцію и бѣдственныя ея послѣдствія. Если это справедливо, то басня чужда всякаго отношенія къ «русскому народу», и притомъ отодвинута на далекое разстояніе отъ совершившагося факта. Вѣришь, мнѣ кажется, примѣнять ее къ намѣреніямъ правительства уничтожить крѣпостное право, которыя въ однихъ лицахъ встрѣчали сочувствіе, а другими были неодобряемы. Къ числу послѣднихъ принадлежалъ и Крыловъ, по свойственному ему консерватизму. Такъ какъ басня, въ изданіи 1825 г., помѣщена авторомъ въ самомъ началѣ, съ приложеніемъ къ ней картинки, наглядно удостоверяющей читателей въ неразуміи всадника и въ гибели коня, то было естественно, по справедливому замѣчанію г. Кеневича, искать въ ней прямыхъ намековъ на дѣйствительность и почитать ее, какъ выразился Плетневъ, отвѣтомъ на ходившіе въ обществѣ политическіе толки, которыхъ не могъ не вѣдать Крыловъ, если бы—что, впрочемъ несомнѣнно—и не принималъ въ нихъ ни малѣйшаго участія. Хотя толки сами по себѣ—тоже фактъ, знаменующій настроеніе общества, но отъ нихъ до совершенія дѣла цѣлая бездна. Баснописецъ мысленно перешагнулъ эту бездну и представилъ себѣ крайность въ то время, когда еще не было сдѣлано и десяти твердыхъ начальныхъ шаговъ. Такое-то представленіе предмета и должно быть названо несоотвѣтствующимъ предмету, каковъ онъ былъ или есть. Послѣ всего сказаннаго, само собою падаетъ мнѣніе, будто другая басня Крылова: «Дикія козы», напечатанная въ первый разъ въ томъ же изданіи 1825 г., явилась по поводу дарованія Александромъ I конституціи царству польскому (*). Не говоря уже о томъ, что басня семью годами позднѣе событія, означенное мнѣніе—будь оно справедливо—ввело бы Крылова въ явное противорѣчіе съ самимъ собою, выставило бы его непослѣдовательнымъ. Но уличить его въ непослѣдовательности едва ли кто возьмется: на этомъ пунктѣ онъ стоялъ твердо.

Неправедный судъ, производимый «лихими супостатами» закона, постоянно занималъ Крылова. Ему посвятилъ онъ многія письма въ «Почтѣ духовъ»; его же не выпускалъ изъ виду и въ то время, когда обратился исключительно къ формѣ апелога. Одна изъ первыхъ его басенъ «Оракулъ» (1808), гдѣ подъ образомъ деревяннаго истукана представлены судьи, умные до той лишь поры, пока при нихъ умный секретарь, и одна изъ послѣднихъ «Вельможа» (1835), который не погубилъ цѣлаго края потому только, что не принимался за дѣла, показываютъ, съ какою неутомимостью преслѣдовалось имъ кривосудіе. Басни, относящіяся къ этой темѣ, были вызваны не простыми толками, заключенными въ предѣлахъ образованнаго меньшинства, но дѣй-

(*) «Примѣзанія» г. Кеневича, стр. 211—212.

ствительнымъ, закоренѣлымъ зломъ, тяготѣвшимъ, въ большей или меньшей мѣрѣ, надъ всеми классами,—зломъ, отъ котораго, по выраженію поэта, «плакала Россія». Говорить о немъ было не поздно, такъ какъ его обличеніе, и послѣ многихъ, предшествовавшихъ тому обличеній, не сдѣлалось общимъ мѣстомъ; и наговориться о немъ нельзя было вдоволь, однажды навсегда. Причину повального его господства баснописецъ объяснилъ въ «Почтѣ духовъ» слѣдующимъ образомъ: «разумъ съ честностью въ превеликой ссорѣ, такъ что теперь въ свѣтѣ можно сыскать добродушныхъ дураковъ и умныхъ бездѣльниковъ, но добродѣтельные мудрецы очень рѣдки, а особливо на судейскихъ стульяхъ». Что выйдетъ, если лица первой категоріи (добродушные дураки) сами начнутъ вершить дѣла и полагать резолюціи, видно изъ басни «Слонъ на воеводствѣ»: воевода дозволяетъ волкамъ взять съ каждой овцы по одной только шкурѣ. Образъ другаго добродушнаго дурака, къ счастью не занимавшагося дѣлами и потому, при всей своей власти, не погубившаго въ-конецъ ввѣреннаго ему края, нарисованъ въ «Вельможѣ». Представителемъ лицъ второй категоріи (умныхъ бездѣльниковъ), пекучихъ въ томъ, чтобы при вопіющей неправдѣ соблюдать все законныя формальности, служить Лиса—то секретарь, то прокуроръ; отъ нея преимущественно зависятъ судейскіе приговоры: въ баснѣ «Щука» (1830) она подаетъ совѣтъ утопить щуку въ рѣкѣ, въ наказаніе за ея плутовство и разбой, а въ баснѣ «Крестьянинъ и овца» (1823)—казнить овцу, обвиняемую въ истребленіи куръ. Взяткобрательствомъ заражены все, отъ низшихъ инстанцій до высшихъ: ручейки и рѣчки, разорявшіе крестьянъ при своемъ разливѣ, несли половину похищеннаго ими въ рѣку (Крестьяне и рѣка, 1814). По пословицѣ: «свой своему по неволѣ братъ», все жалобы въ этомъ отношеніи бесполезны:

На младшихъ не пайдемъ себѣ управы тамъ,
Гдѣ дѣлается онъ со старшимъ пополамъ.

«Нажиться на службѣ» сдѣлалось правиломъ для служащихъ и цѣлью поступленія на службу (Лисца и сурокъ 1813). Находя причину зла въ томъ, что разумъ съ честностью въ превеликой ссорѣ, Крыловъ доходитъ до пессимизма при взглядѣ на судопроизводство: онъ не ожидаетъ его исправленія ни отъ честныхъ глупцовъ, которые могутъ надѣлать столько же бѣдъ, сколько и умные бездѣльники, если еще не болѣе, ни отъ добродѣтельныхъ мудрецовъ, которыхъ трудно отыскать даже со свѣчкой, ни отъ повышения окладовъ, улучшающихъ бытъ чиновника, ни отъ строгихъ указовъ, преслѣдующихъ судейское лихоимство. Гдѣ нѣтъ нравственной сдержки безчестнымъ поползновеніямъ, тамъ безсильны правительственныя мѣры. Вишній законъ окажется непрочною сѣтью для крупныхъ и мелкихъ администраторовъ: крупные прорвутъ ее, мелкіе проскользнутъ въ ея клѣтки. Только законъ внутренній (совѣсть) обезпечить правильное веденіе суда, и потому, для пресѣченія зла, необходимо нравственное образованіе гражданъ:

Въ комъ есть и совѣсть, и законъ,
Тотъ не украдетъ, не обманетъ,
Въ какой бы пужбѣ ни былъ онъ;
А вору дай хоть миліонъ—
Онъ воровать не перестанетъ.

Нѣкоторые педагоги осуждали послѣдніе два стиха, которые будто бы «придаютъ какой-то роковой характеръ воровству и очень легко могутъ заронить ложную мысль

о несправимости пороковъ вообще» (*). Забавная черта нравственно-педагогическаго пуризма! Крыловъ, въ своихъ басняхъ, выражалъ наличныя, передъ его глазами происходившія явленія общественной жизни нашей, а не то, что ему или другимъ было бы желательно видѣть. Что же ему было дѣлать, если онъ зналъ азартныхъ игроковъ, которые, хотя и рѣдко, забастовывали послѣ того, какъ большимъ выигрышемъ обезпечивали свою жизнь, но если не случалось ему ни слышать, ни самому встрѣчать, чтобы судья добровольно оставлялъ теплое мѣстечко, приносившее ему большіе доходы! Да и желательны ли обществу такіе его члены, которые были нѣкогда ворами, а теперь, наживъ воровствомъ миллионъ, бросили свое ремесло и успокоились на добычѣ, какъ на лаврахъ? Хотя они, быть можетъ, и лучше нераскаянныхъ воровъ, но все же не служатъ отраднымъ знаменіемъ прошедшаго и не предвѣщаютъ ничего добраго будущему.

Обличая неправедный судъ, Крыловъ давалъ уроки и тѣмъ лицамъ, отъ власти которыхъ зависѣтъ обезпеченіе правильной администраціи путемъ законодательства. Хотя онъ, какъ мы видѣли, и плохо довѣрялъ силѣ высшихъ побужденій, карательныхъ или поощрительныхъ, но все же требовалъ, чтобы законъ, по возможности, ограждалъ самъ себя точностью предписаній, чтобы каждая правительственная мѣра отвѣчала своей цѣли, а не имѣла свойства безплодно кружить около или приводить къ инымъ, рѣшительно нежелательнымъ результатамъ. Представленіемъ того, какъ нѣкоторые законы и учрежденія, при кажущейся ихъ стройности и прочности, оказываются негодными, служитъ басня «Лиса-строитель» (1811), оставившая для себя лазейку при возведеніи новаго курятнаго двора. Смыслъ басни тотъ, что нѣтъ пользы въ замѣнѣ стараго новымъ, когда послѣднее, благодаря эгоистическимъ расчетамъ учредителей, открываетъ свободный къ себѣ доступъ злоупотребленіямъ. По словамъ Плетнева, въ «Мірской сходкѣ» (1816) изъяснена несообразность многихъ общественныхъ постановленій. Дѣйствительно, отъ мѣропріятій всякаго рода нельзя ожидать ничего путнаго, если онѣ обсуждаются и рѣшаются, по большинству голосовъ, людьми недобросовѣстными или незнакомыми съ предметомъ сужденій, если отъ совѣщаній о дѣлѣ устраняются эксперты, твердо его знающіе, или лица, наиболѣе въ немъ заинтересованныя. Сходка звѣрей единогласно и единодушно выбрала волка въ овечьи старосты....

Да что же овцы говорили?
На сходкѣ вѣдь онѣ ужъ, вѣрно, были?
Вотъ то-то нѣтъ! Овецъ-то и забыли!
А ихъ-то бы всего нужнѣй спросить.

Такой же случай разсказанъ и въ баснѣ «Волки и овцы» (1830). Совѣтъ, учрежденный для обороны овецъ отъ волковъ, послѣ многихъ засѣданій выработалъ законъ, до того, повидимому, точный, что нечего ни прибавить къ нему, ни убавить изъ него;

А волки все-таки овецъ
Въ лѣса таскають.

Другаго исхода и быть не могло, такъ какъ большинство членовъ совѣта состояло изъ волковъ. Желаніе обезопасить гражданъ отъ враговъ общественнаго спокойствія

(*) «Басни Крылова, какъ нравственно-педагогическій матеріалъ», Н. Бунакова (Педагогическій сборникъ при Главномъ управленіи военно-учебныхъ заведеній, 1868, кн. V).

заставляет иногда увеличивать число чиновниковъ. Басня «Овцы и собаки» (1819) выставляетъ неудобство такой мѣры. Не говоря уже о томъ, что слишкомъ большіе штаты дорого обходятся казнѣ, дѣйствіе ихъ оказывается вреднымъ и въ другомъ отношеніи: собакъ, по разсказу Крылова, развелось столько, что онѣ переѣли всѣхъ овецъ, слѣдовательно учинили тоже самое, что безъ нихъ учинили бы волки. Одно другого стоитъ. Баснописецъ требуетъ, чтобы при назначеніи лицъ на должности принимались къ соображенію единственно ихъ личныя достоинства: такой воевода, какъ слонъ, надѣлаетъ больше бѣдъ, чѣмъ дѣловой бездѣльникъ, по пословицѣ—простота хуже воровства. Если же, по невѣдѣнію или съ вѣдома назначающихъ, лисица поставится въ судью, секретаря или прокурора, а медвѣдь, охотникъ до меда, займетъ мѣсто надсмотрщика надъ ульями, пусть ихъ противозаконныя дѣйствія не останутся безъ возмездія. Хорошо, что административный обманъ лисицы, въ «Рыбныхъ пляскахъ» (1824), потерпѣлъ ото льва достойную кару; но онъ могъ окончиться и совершенно иначе, какъ это видно изъ первой редакціи басни (*). Нерѣдко онъ оканчивается номинальнымъ наказаніемъ, безъ всякой боли для преступника, или тратою словъ вмѣсто употребленія власти, или оставленіемъ наворованнаго въ рукахъ вора: такъ судъ приговорилъ медвѣдя, потаскавшаго медъ, пролежать зиму въ теплой берлогѣ (Медвѣдь у пчелъ, 1816); такъ поваръ думалъ исправить кота Ваську поученіями, дѣйствуя на его стыдъ и совѣсть, а Васька слушалъ да ѣлъ (Котъ и Поваръ 1812) (**); такъ баринъ хотѣлъ побоями отучить шаловливую собаку отъ воровства, не отнимая у ней кражи (Собака, 1816). Съ другой стороны, Крыловъ осуждаетъ какъ неразборчивое взысканіе, налагаемое сплошь и рядомъ на правыхъ и неправыхъ (Хозяинъ и мыши, 1811), такъ и поздно приходящую награду, которою уже не въ силахъ пользоваться лице, долговременно и безупречно служившее (Бѣлка, 1830). Наконецъ, въ баснѣ «Бритвы» (1829), онъ изобразилъ, по объясненію Гоголя, тѣхъ доброжелательныхъ, но недогадливыхъ начальниковъ, которые

Людей съ умомъ боятся
И терпятъ при себѣ охотѣй дураковъ.

Изображеніемъ обще-человѣческихъ отношеній не ограничивается сфера басни: она можетъ идти дальше—изображать взаимныя отношенія гражданъ, по различію ихъ сословіи и государственной службы. Въ первомъ случаѣ, баснописецъ имѣетъ предметомъ указаніе законной равноправности людей, какъ существъ разумныхъ и нравственныхъ: во второмъ—указаніе законной равноправности гражданской и политической. Двѣ басни Крылова: «Листы и корни» (1811) и «Пушки и паруса» (1829) относятся къ послѣднему разряду. Первая изъ нихъ, по замѣчанію Плетнева, устанавливаетъ правильныя отношенія между двумя сословіями: высшимъ, или дворянскимъ, и низшимъ—крестьянскимъ. Она полагаетъ между ними такое различіе: листья съ каждою весною нарождаются вновь, а если засохнетъ корень, то не станетъ ни ихъ, ни дерева. Отсюда видно, что авторъ признавалъ въ земледѣльческомъ сословіи основной пластъ общества, которымъ, какъ деревья корнями, питаются и держатся всѣ прочіе общественныя пласты. Своимъ заключеніемъ онъ, собственно, не сказалъ чего-

(*) «Примѣчанія» Кеневича, 186—187. См. также «Замѣтки для біографіи Крылова», И. Грота, стр. 16—17.

(**) По преданію, котъ представлялъ министра финансовъ при Александрѣ I.

либо новаго противъ того, что говорилъ прежде: въ «Почтѣ духовъ», въ статьяхъ «Меркурія» и «Зрителя», въ стихотворной пьесѣ «Уединеніе» еще опредѣленнѣе и рѣзче выражается тотъ же образъ мыслей, тоже понятіе о земледѣльцахъ, которыхъ Княжичи называлъ «почтенными питателями рода человѣческаго». Къ рѣчи о сословіяхъ кетати указать здѣсь басни, выставлющія образъ мыслей или быть дворянства. Крыловъ обличалъ два крупныхъ недостатка этого класса: съ одной стороны, ложное пониманіе благородства (Гуси, 1811), съ другой—умѣнье разстраивать свое состояніе и неумѣнье поправлять состояніе разстроенное (Тришкинъ кафтанъ, 1815, и Мельникъ, 1825). Басня «Гуси»—это мастерски начертанный образъ бодрской сибси, величающейся знатымъ родомъ, какъ бы личнымъ достоинствомъ и благопріобрѣтенной заслугой; Тришка, сначала обрѣзывающій рукава для заплатъ продранныхъ локтей, а потомъ фалды и полы для наставки рукавовъ,—это Транжирины, Промотаевы, Безпечины и множество другихъ подобныхъ имъ господъ, которые закладывали и перезакладывали свои имѣнья не съ тѣмъ, чтобы пустить деньги въ прибыльный оборотъ, а съ тѣмъ, чтобы жить роскошнѣе и тѣмъ удовлетворять свое пустое тщеславіе, которые для уплаты процентовъ дѣлали займы у частныхъ лицъ на тяжелыхъ условіяхъ, не съ тѣмъ опять, чтобы очистить накопившійся годами долгъ, а съ тѣмъ, чтобы послѣднюю конѣйку поставить ребромъ. Заключение этой басни почти повторяется въ «Мельникѣ», означающемъ позднюю мелочную расчетливость тѣхъ же лицъ, которые не хотѣли или не умѣли быть своевременно и разумно бережливыми въ важномъ. «Пушки и паруса» опредѣляютъ отношенія двухъ родовъ службы: военной и статской, утверждая за каждой надлежащее мѣсто и значеніе въ государственномъ строѣ:

Держава всякая сильна,
Когда устроены въ ней всѣ премудро части:
Оружіемъ—врагамъ она грозна,
А паруса—гражданскія въ ней власти.

Басня написана въ то время, когда, по словамъ Гоголя, нѣкоторые военные люди стали утверждать, что въ государствѣ все должно быть основано на одной военной силѣ, а чиновники штатскіе, въ свою очередь, начали подтрунивать надъ всѣмъ, что ни есть военного. Но хотя она явилась въ 1829 г., а по своему содержанію была бы кетати и въ царствованіе Александра I. И тогда статская, или гражданская, служба ставилась ниже военной, особенно гвардейской, съ которой могло равняться только служеніе по дипломатической части. «Военная служба», говорили тогда многіе, «въ Россіи первый долгъ, къ которому отечество призываетъ дворянина; изъ сего слѣдуетъ, что юношѣ нельзя довольно рано вступить въ нее, какъ для того, чтобы умѣть скоро въ ней отличиться, такъ и для того, чтобы заранѣе укрѣпить физическія силы свои и сдѣлаться чрезъ то способнымъ къ трудному ремеслу защитниковъ государства». Просвѣщенные люди того времени, замѣчая сказанное предпочтеніе, особенно обнаружившееся съ 1812 г., старались противодействовать ему, на томъ основаніи, что юный дворянинъ обязанъ прежде всего пріобрѣсти свѣдѣнія, необходимыя въ томъ званіи, которое онъ избираетъ. Родителямъ юныхъ дворянъ, какъ бы торопящимся сбыть своихъ дѣтей съ рукъ и въ оправданіе свое ссылающимся на то, что нынѣ всѣ дѣти горятъ нетерпѣніемъ служить и удержатъ ихъ невозможно, Муравьевъ-Апостоль, въ одномъ изъ извѣстныхъ намъ нижегородскихъ писемъ, возражаетъ такимъ образомъ:

Рвеніе дѣтей прекрасно, но вашъ долгъ умѣть оно обуздывать до настоящей поры. Дѣти всегда будутъ дѣти, всегда будутъ избирать и желать не того, что должно. Вамъ должно за нихъ избирать и желать; вамъ оправдывать ожиданія отечества. Оно ожидаетъ способнаго слуги: дайте же ему время образоваться и старайтесь, чтобы онъ успѣхами заслужилъ одобреніе. Тогда, не въ 15 лѣтъ—и въ этомъ нѣтъ никакой потери—вы представите сына съ убѣжденіемъ, что долгъ родителя исполненъ; и тогда пусть юноша идетъ проливать кровь свою; она не бесполезно потечетъ за отечество: онъ будетъ знать, чѣмъ ему обязанъ. Отпускать мальчика въ 15 лѣтъ на службу, для того чтобы заранѣе укрѣпить его физическія силы!... Это все равно, что сказать: дабы ускорить созрѣніе плода, должно не давать ему времени созрѣть—бесмыслица! Но положимъ, что оно такъ; положимъ, по вашему мнѣнію, что отечеству нужны богатыри, но что бы то ни стало, и что оно не жалѣетъ о потерѣ девятирехъ сыновей своихъ, лишь бы изъ десяти одинъ, вынесъ трудный опытъ, вышелъ изъ онаго съ тѣломъ крѣпкимъ, какъ закаленное желѣзо; и все еще спрошу: что нужнѣе отечеству—богатырь ли тѣломъ, или богатырь душою? Если первое нужнѣе, то нѣтъ намъ надобности не только въ университетахъ, но даже и въ наемникахъ французахъ: купать насъ всѣхъ въ крещенскіе морозы въ прорубахъ, какъ Ахиллеса окунула матушка его въ Стиксъ; и кто выдержитъ, тотъ и слуга отечеству. Буде же душа беретъ преимущество надъ тѣломъ и образованіе ея силъ есть первый предметъ родительскаго попеченія въ воспитаніи дѣтей, въ такомъ случаѣ пора намъ—и давно пора—образумиться и перестать воображать себѣ, что, научивъ мальчика болтать, какъ попугая, по французски и нарядивъ его въ 15 лѣтъ въ мундиръ, мы исполнили всѣ обязанности, которыя возложили на насъ Богъ, природа и отечество (*).

До сихъ поръ мы говорили о басняхъ, имѣвшихъ или теперь имѣющихъ общественное значеніе. Онѣ могутъ назваться «историческими» въ томъ смыслѣ, что каждая изъ нихъ относится къ цѣлой области явленій, которая извѣстное время господствовала въ обществѣ и слѣдовательно занимаютъ болѣе или менѣе видное мѣсто въ исторіи этого времени. Такъ, безъ сомнѣнія, понималъ ихъ и смотрѣлъ на нихъ самъ авторъ. Но кромѣ того есть у Крылова басни собственно «историческія», т. е. такія, которыя написаны по поводу извѣстныхъ лицъ или событій. Въ свою очередь, онѣ имѣютъ право на названіе «общественныхъ», но лишь тогда, когда лице или событіе принадлежитъ къ знаменательнымъ явленіямъ эпохи: когда лице есть представитель всего общества или какого-нибудь его класса, а событіе—представитель цѣлаго ряда однородныхъ событій; когда, однимъ словомъ, единичное даетъ знать объ общемъ, ясно и полно выражая собою его характеръ. Если же этого нѣтъ, то басня, при всемъ интересѣ для современниковъ, останется чуждою высшаго, общественнаго интереса: она не будетъ знаменіемъ времени. По своему поэтическому достоинству она сохранитъ цѣнность и для позднѣйшихъ читателей, но уже какъ образецъ басни вообще, безъ всякаго отношенія къ поводамъ, ее вызвавшимъ. Эти поводы рано или поздно забудутся, въ чемъ нѣтъ бѣды, если они не служатъ характеристикой общественныхъ нравовъ, а приходились по вкусу въ особенности людямъ, падкимъ на всякую «новость дня», въ которой замѣшивалась какая-нибудь личность. Позднѣйшіе читатели примѣняютъ личныя намеки къ инымъ лицамъ и событіямъ, или превращаютъ ихъ въ общія положенія, годныя, по своей мысли, для разныхъ временъ: такъ баснею «Синица», напечатанной въ 1811 г., впоследствии пользовались критики Полеваго, при разборѣ первыхъ двухъ томовъ его «Исторіи Русскаго народа»: такъ басня «Сочинитель и разбойникъ», отнесенная Гречемъ къ Вольтеру, отнесена Гоголемъ ко всѣмъ писателямъ, избравшимъ безразличное направленіе; такъ басня «Оселъ и соловей»,

(*) Окончаніе пятаго письма (Сынъ Отеч. 1813, № 46).

имѣвшая въ виду одного вельможу (*), который совѣтовалъ автору переводить Лафонтеновы басни, какъ переводилъ ихъ Дмитріевъ, теперь означаетъ вообще плохихъ судей литературы; что бы ни осмѣивала басня «Квартетъ»—Бесѣду ли любителей русскаго слова, раздѣленную на четыре разряда, съ предѣдателемъ въ каждомъ, или продолжительныя пренія о томъ, какъ рассадить предѣдателей четырехъ департаментовъ государственнаго совѣта (**), но теперь, въ точномъ своемъ смыслѣ, она не что иное, какъ представленная въ дѣйствиіи пословица: «не мѣсто красить человѣка». Иногда выпадаетъ баснямъ и неожиданная участь. Являются искусники, которые, словно «Трудолюбивый медвѣдь» (1819) Крылова, пригоняютъ ихъ на свою колодку, гнуть въ свою сторону, куда авторъ вовсе не желалъ идти: такъ «иллюстрація» басенъ Крылова художникомъ Трутовскимъ приписала имъ такія идеи и тенденціи, которыя не были «ни въ умѣ, ни въ разумѣ» у баснописца и отъ солидарности съ которыми онъ—еслибъ это случилось при его жизни—сталъ бы отбиваться руками и ногами (***). Въ числѣ историческихъ басенъ замѣчательны относящіяся къ войнѣ съ Наполеономъ въ 1812—13 гг. Ихъ четыре: «Волкъ на псарнѣ», «Обозъ», «Ворона и курица» (всѣ 1812), «Щука и котъ» (1813). О баснѣ: «Ворона и курица» было упомянуто выше (****). «Волкъ на псарнѣ» представляетъ стѣсненное положеніе Наполеона послѣ Бородинской битвы, его попытки вступить въ переговоры съ Кутузовымъ, изображеннымъ въ лицѣ хитраго ловчаго. Цѣль басни «Обозъ»—оправдать медлительность дѣйствій Кутузова, возбуждавшую противъ него общественное мнѣніе. Поводомъ къ сочиненію басни «Щука и котъ» послужила неудача адмирала Чичагова, который долженъ былъ пресѣчь путь Наполеону черезъ Березину (*****).

Сдѣлавъ обзоръ главнѣйшихъ басенъ Крылова по ихъ предметамъ, обратимъ вни-

(*) По словамъ однихъ, гр. Разумовскаго, по другимъ кн. А. Н. Голицына («Примѣчанія» Кеневича, стр. 78).

(**) Ib. 87—88.

(***) Басни Крылова, иллюстрированныя академикомъ К. А. Трутовскимъ и гравированныя лучшими художниками (Спб. 1864).

(****) Стр. 148.

— (*****) Какъ эти, такъ и другіе историческіе поводы указаны г. Кеневичемъ въ его любопытныхъ и тщательно собранныхъ «Библиографическихъ и Историческихъ примѣчаніяхъ къ баснямъ Крылова». Замѣтимъ, однакожъ, что въ иныхъ мѣстахъ «Примѣчанія» увлеклись излишнимъ желаніемъ отыскивать, *кого именно или что именно* разумѣлъ авторъ, сочиняя свои басни. Отсюда явилось нѣсколько натянутыхъ и даже неправильныхъ толкованій. Приведемъ два примѣра. Басню «Парнасъ» (1808) г. Кеневичъ относитъ къ любимцамъ Императора Александра I, въ началѣ его царствованія—людямъ благороднымъ, образованнымъ, но совершенно неопытнымъ, которые были удалены послѣ Тильзитскаго свиданія. Между тѣмъ, эти люди въ баснѣ представлены *ослами*, названы *несъждами* и заставили баснописца напомнить имъ старинное мнѣніе,

Что если голова пуста,
То головѣ ума не придадутъ мѣста.

Могъ ли Крыловъ, съ своимъ здравомысліемъ и осторожнымъ тактомъ, написать такую несообразность? Всегда за собой надзирая, всегда помня себя, онъ соблюдалъ мѣру какъ въ похвалахъ, такъ и въ порицаніяхъ. По мнѣнію Греча, въ баснѣ «Орелъ и паукъ» (1812) изображена судьба Сперанскаго. Г. Кеневичъ, находя такое объясненіе *правдоподобнымъ*, допускаетъ однакожъ другое, болѣе вѣрное предположеніе, что Крыловъ «предугадаль (?) судьбу этого замѣчательнаго человѣка, который своимъ быстрымъ возвышеніемъ возбуждалъ зависть, а реформами—ненависть и злобу». Не говоря уже о томъ, что означенная басня принадлежитъ къ переводнымъ, выводъ ея показываетъ всю несостоятельность и объясненія Греча, и предположенія г. Кеневича: на этихъ науковъ, заключаетъ баснописецъ, похожи

маніе на значеніе ихъ морали, и вообще на значеніе выводовъ изъ разсказа. Какого свойства тѣ нравственныя правила, которымъ авторъ приписывалъ благотѣльную силу и которыя онъ или высказывалъ самъ отъ себя, или заставлялъ высказывать дѣйствующихъ лицъ?

Съ этой точки зрѣнія, нѣкоторые французскіе писатели, въ-слѣдъ за Руссо, осуждаютъ Лафонтена, находя въ его басняхъ полное отраженіе «галльскаго духа» (*esprit gaulois*), по природѣ своей способнаго съ одинаковымъ легкомысліемъ относиться къ важному и неважному. Руссо укорялъ матерей въ томъ, что онѣ даютъ своимъ дѣтямъ учить наизусть басни, смысла которыхъ дѣти не въ состояніи понять, по которымъ, если бы были поняты, испортили бы дѣтское сердце, такъ какъ мораль ихъ, смѣшанная, безразличная, непослѣдовательная, направляетъ больше къ пороку, чѣмъ къ добродѣтели. Въ примѣръ индифферентизма (политическаго) историки французской литературы приводятъ стихи изъ басни «Летучая мышь и двѣ ласточки»:

Le sage dit, selon les gens:
Vive le Roi! Vive la Ligue!

Мудрость, по такому понятію, равнозначительна вѣроломству, хитрому плутовству, и басня, подмѣняя одно другимъ, учить быть болѣе ловкимъ, нежели честнымъ, выпутываться изъ непріятнаго положенія, а не стоять на сторонѣ права, если эта стойкость можетъ причинить какой-нибудь житейскій вредъ. Какъ примѣръ непослѣдовательности, состоящей въ томъ, что разныя басни говорятъ и *pro* и *contra* одного и того же предмета, указывается противорѣчіемъ между стихами:

On ne peut trop louer trois sortes de personnes:
Les dieux, sa maltresse et son roi,

и другими баснями, въ которыхъ авторъ смѣется надъ служителями боговъ, дервишами, хвалитъ не одну только любимую женщину, но и многихъ женщинъ, и прославляя короля, часто представляетъ его подъ страшнымъ образомъ царя звѣрей, котораго сила не всегда равняется справедливости. Порицаютъ также начальный стихъ басни «Волкъ и ягненокъ», выражающій общее, ничѣмъ неограниченное положеніе:

La raison du plus fort est toujours la meilleure;

гдѣ же, спрашиваютъ, нравственная сдержка, воспреещающая сильному злоупотреблять своею силой? гдѣ законъ, карающій злоупотребленія? или гдѣ общественное мнѣніе, ограждающее слабыхъ отъ произвола? Вообще, по заключенію французской критики, Лафонтенова мораль не отличается ни возвышенностью, ни строгостью. Она не предлагаетъ ни опредѣленныхъ правилъ, ни твердыхъ и благородныхъ цѣлей. Она не способна направлять и регулировать. Это—мораль практическаго, житейскаго благоразумія, которое болѣе боится промаховъ въ свѣтѣ, нежели нравственныхъ проступковъ,

Тѣ, кои безъ ума и даже безъ трудовъ,
Тащатся вверхъ, держась за хвостъ вельможъ.

Сверанскій—безъ ума и безъ трудовъ!... Надобно думать, что консерватизмъ довелъ Крылова до неимоверной ненависти и злобы... Но въ томъ-то и дѣло, что чувства, какого бы рода они ни были, никогда не дѣйствовали на Крылова такъ сильно, чтобы потемнить его разумъ, я слѣдовательно никогда не могли его довести до такого вопіющаго противорѣчія между дѣйствительностью и ея представленіемъ.

которое учить сносить зло, для избѣжанія, горшаго зла, а не бороться съ нимъ и уничтожать его, которое охотно принимаетъ совершившіеся факты, одѣвивая ихъ достоинство только по успѣху и посмѣиваясь надъ потерпѣвшими неудачу, которое, выказывая дурныя слѣдствія недостатковъ и совѣтуя исправиться въ нихъ, преимущественно имѣетъ въ виду недостатки, лично намъ вредящіе, а не тѣ, что вредятъ другимъ. Это—мораль опытности, а не принципа, проповѣдующая искусную принаровку къ обстоятельствамъ вмѣсто сопротивленія и самопожертвованія, любящая удовольствія жизни легкой и свободной свыше душевной независимости въ бѣдахъ и нуждѣ. Старайтесь знакомиться съ свѣтомъ, не будьте глупцами, не давайтесь въ обманъ ни самимъ себѣ, ни другимъ: вотъ сущность Лафонтеновыхъ совѣтовъ (*).

Хотя приведенные отзывы и справедливы до нѣкоторой степени въ отношеніи къ Лафонтену, однакожь было бы ошибочно принимать ихъ за основу сужденій о Лафонтенѣ вообще, какъ о баснописцѣ. Такая критика противорѣчила бы значенію басни, навязывая ей требованія, нисколько необязательныя ни для нея, ни для другаго какого-либо поэтического вымысла. Изъ любви къ моральному догматизму, она постоянно смѣшивала бы нравственную идею произведенія съ его нравоучительнымъ направленіемъ. Это смѣшеніе часто встрѣчается у французовъ и въ теоріи и на практикѣ. До сихъ поръ они точнымъ образомъ не размежевали понятій: литература и нравственность. У нихъ и теперь являются литературные сборники, подъ названіемъ: «*leçons de littérature et de morale*»; есть даже учителя этихъ двухъ предметовъ, носящіе довольно громкій титулъ (*professeurs de littérature et de morale*). Басня въ томъ значеніи, какое сообщили ей Лафонтенъ и Крыловъ, не что иное какъ сатира. Она говоритъ о томъ, что есть, а не о томъ, что должно быть; изображаетъ зрѣлище міра дѣйствительнаго, а не лучшаго или идеальнаго. Если изображеніе вѣрно; если, притомъ, отступленія отъ разумности и нравственности не получаютъ характера общихъ, безусловныхъ положеній, не возводятся въ правило, не рекомендуются какъ обязательный образъ дѣйствій, то баснописецъ правъ; въ противномъ случаѣ, онъ виноватъ. Лафонтенъ грѣшитъ лишь тамъ, гдѣ выводу изъ явленій опредѣленнаго времени и мѣста придаетъ смыслъ повсемѣстности и всевременности, или гдѣ снисходительно смотритъ на то, чего не могутъ извинить истина и нравственное чувство. Не выдавай онъ за мудрость умѣнье летучей мыши причислять себя и къ млекопитающимъ и къ птицамъ, т. е. мѣнять убѣжденія по эгоистическимъ расчетамъ; не называй онъ доводы волка наилучшими потому только, что волкъ сильнѣе ягненка: критикъ не было бы возможности придраться къ двумъ вышеупомянутымъ баснямъ. Замѣтимъ кстати, что басня Волкъ и ягненокъ нашла сильнаго порицателя въ Наполеонѣ. Живучи на островѣ Св. Елены, онъ заставилъ однажды малолѣтняго сына генерала Монтолона прочесть ее. Первый стихъ привелъ его въ негодованіе. Если такъ случается на самомъ дѣлѣ, сказалъ онъ, то это злоупотребленіе силы, достойное наказанія: «волкъ долженъ былъ подавиться, пожирая ягненка». Будь на мѣстѣ Монтолонова сына мальчикъ поразвитѣе, онъ могъ бы возразить грозному воеводѣ: а какъ же вы, волкъ изъ волковъ, пятнадцать лѣтъ сряду глотали цѣлыя стада барановъ—и не давились? Почему же съ Лафонтеновымъ волкомъ должна была случиться такая напасть именно въ то время и именно за ту добычу, о которыхъ идетъ рѣчь.

(*) См. *La Fontaine et ses fables*, par H. Taine (4 изд. 1861); *La Fontaine et les fabulistes*, par Saint-Marc Girardin (1867).

въ баснѣ? Можетъ быть, это первый опытъ его хищничества; можетъ быть, онъ и подавится на пятнадцатомъ ягненкѣ; а можетъ быть—кто знаетъ?—онъ будетъ своевольничать въ теченіе всей своей жизни и останется невредимымъ. Нѣсколько разъ касались мы сходства пословицъ съ баснями. Какъ пословица есть выводъ изъ житейскаго опыта, такъ и баснописецъ выводитъ изъ своего разсказа заключеніе, объясняющее внутренній его смыслъ. И пословица и басня выражаютъ то, что творится на бѣломъ свѣтѣ, вовсе не думая, что творимое принадлежитъ къ явленіямъ постояннымъ и должно быть непременно таковымъ, а не чѣмъ-либо инымъ. Пословицы: «новодился кувшинъ по воду ходить, тамъ ему и голову сломить», «каковъ въ колыбелку, таковъ и въ могилку», «рука руку моетъ», вовсе не означаютъ ни неисправимости людей, сбившихся съ прямого пути, ни роковой силы природныхъ наклонностей, ни обязанности стакиваться для воровскихъ дѣлъ. Строгіе моралисты, если угодно, могутъ находить эти изреченія, равно какъ подобныя имъ сентенціи въ басняхъ, предосудительными; но въ такомъ случаѣ половина народныхъ пословицъ окажутся безнравственными. Требуя возвышенной морали отъ басенъ, французскіе критики забыли, что содержанію этого рода произведеній, по самой сущности дѣйствующихъ въ немъ тварей, гораздо приличнѣе элементъ разумный, необходимый для здравой практичности въ общественномъ и частномъ быту, нежели элементъ моральный; что попытки надѣлать басню серьезнымъ пафосомъ просто смѣшны и обличаютъ совершенное безвкусіе; что, поэтому, ни одному талантливому баснописцу не придетъ на мысль пользоваться животными, какъ примѣрами благороднѣйшихъ чувствъ и подвиговъ — патріотизма, самоотреченія, терпимости, сознанія долга и т. п.

Обращаясь къ баснямъ Крылова, мы должны предварительно замѣтить, что, по отношенію къ морали, онѣ могутъ быть раздѣлены на два разряда: въ однихъ авторъ указываетъ лишь то, что происходитъ между людьми, не сопровождая своего указанія нравоучительнымъ выводомъ; въ другихъ представленіе людскихъ дѣяній заключается урокомъ читателю. Такое дѣленіе соответствуетъ вышеобъясненному значенію Крылова (*). Какъ поэтъ-художникъ, онъ, въ слѣдъ за Лафонтеномъ, поставилъ басенный разсказъ на высотѣ самостоятельнаго произведенія; но, какъ писатель, дорожившій пользою нравственныхъ правилъ, онъ не вполнѣ отрѣшился отъ дидактическаго направленія и считалъ долгомъ своей литературной дѣятельности сказать, при случаѣ, поучительное слово.

Въ обоихъ разрядахъ нашъ баснописецъ осторожиѣе, солидиѣе Лафонтена. Осторожность его доказывается, во-первыхъ, тѣмъ, что онъ частный кругъ явленій не выдаетъ за общее состояніе человѣческой жизни или современнаго ему общества, а во-вторыхъ тѣмъ, что онъ нерѣдко воздерживается отъ собственнаго приговора надъ явленіями, предоставляя читателю судить о нихъ по впечатлѣнію, производимому разсказомъ. Крыловъ съ большимъ уваженіемъ смотрѣлъ на выбранную имъ литературную форму, обязывая ее, согласно съ своимъ взглядомъ на литературу, дѣйствовать въ пользу нравственности. Можно, какъ мы видѣли (**), обвинять его за нападки на такіе предметы, которые, по своей сущности, заслуживали сочувствія, а по своему уклоненію отъ правильного пути еще не представляли опасности и слѣдовательно не заслуживали укоризны; но это обвиненіе не относится къ морали: оно падаетъ на образъ

(*) Стр. 306 и дал.

(**) Стр. 310 и дал.

мыслей баснописца о наукѣ и просвѣщеніи. Что же касается до морали, то она никогда не спускалась до того, чтобы вѣроломную измѣнчивость называть мудростью, а доводы сильнаго—справедливѣйшими. Хотя Крыловъ не отвѣчаетъ за басни, переведенныя изъ Лафонтена, однакожъ и въ переводахъ своихъ онъ, по возможности, устранялъ недоумѣнія и рѣзкости, могущія смутить здоровое нравственное чувство. Первый стихъ басни «Волкъ и ягненокъ»: «La raison du plus fort est toujours la meilleure», онъ замѣнилъ стихомъ: «у сильнаго всегда безсильный виновать». Изъ того, что ягненокъ виновать по мнѣнію волка, еще не слѣдуетъ, что онъ виновать дѣйствительно, и что его оправданія хуже придирчивыхъ, наглыхъ обвиненій хищника. Конечно, слово *всегда* неутѣшительно для безсильныхъ, но нѣтъ повода принимать его въ смыслѣ общемъ, такъ какъ самъ авторъ стѣснилъ его объемъ въ слѣдующемъ за тѣмъ стихъ: «тому мы *тѣмъ* въ исторіи примѣровъ слышимъ». И что же дѣлать, если такъ бываетъ на свѣтѣ? Не скрывать же сатирику дѣйствительную быль, выдумывая небылицы. Въ Лафонтеновой баснѣ: «Воронъ и лисица» обманщикъ даетъ наставленіе обманутому, прибавляя, что оно стоитъ сыра. Нашъ переводчикъ выразилъ отъ собственного лица, что «льстецъ всегда отыщетъ уголокъ въ сердцѣ». Справедливость этого положенія доказана множествомъ примѣровъ, которые наблюдательный умъ не могъ не замѣтить и о которыхъ заявить онъ имѣлъ полное право. Читатель смѣется надъ вороной, вовсе не думая одобрять своимъ смѣхомъ поступокъ лисицы. Только неугомонный педантизмъ способенъ допытываться у автора, зачѣмъ онъ, представивъ, какъ опасно внимать лести, не представилъ тутъ же неблагородства, безнравственности льстецовъ. За тѣмъ, конечно, чтобы не двоить морали. Пусть другой баснописецъ займется второю темой и напишетъ басню, въ которой, напримѣръ, лисица потеряетъ несправедливо пріобрѣтенную добычу или должна будетъ уступить ее сильнѣйшему животному. Басня «Заяцъ на ловлѣ» заключается двуступеніемъ:

Надъ хвастунами хотъ смѣются,
А часто въ дѣлѣжъ имъ доли достаются.

Крыловъ не говоритъ, хорошо ли это или дурно. Не мнѣніе свое хотѣлъ онъ выразить, а фактъ, извѣстный каждому, кто умѣлъ видѣть, что вокругъ него происходитъ. Слово «часто» показываетъ, что не всегда же хвастуны могутъ рассчитывать на успѣхъ своего хвастовства, которое, притомъ, и не рекомендуется какъ хорошее средство для извѣстныхъ цѣлей. Искать, въ выписанныхъ стихахъ, одобренія лжи или тщеславной похвалыбѣ значитъ подражать мудрецу механики. Басня: «Моръ звѣрей» окончена нѣсколько иначе въ сравненіи съ подлинникомъ:

И въ людяхъ тоже говорятъ:
Кто помирнѣй, такъ тотъ и виновать (*)

Справедливъ ли людскій говоръ, слышимый также въ пословицѣ: «чья сильнѣе, та

(*) У Лафонтена:

Selon que vous serez puissants ou misérables,
Les jugements de cour (Cour de justice) vous rendront blanc ou noir.

и правде»? этого вопроса переводчикъ не затрогиваетъ. Мы не вправѣ сердиться на его молчаніе, или удивляться, зачѣмъ онъ громомъ и молніей не поразилъ звѣрей, засудившихъ вола. Пристрастный судъ и невиновность жертвы очевидны; самый тонъ разсказа, безъ прибавочныхъ сентенцій, ясно показываетъ, на чьей сторонѣ сочувствіе разскащика. Басня «Левъ и комаръ» внушила Лафонтену два заключенія: первое—изъ враговъ нашихъ самые мелкіе иногда оказываются страшнѣйшими; второе—ничой, умѣвшій избѣгнуть великихъ опасностей, погибаетъ отъ ничтожной вещи. У Крылова одно нравоученіе:

Безсильному не смѣйся,
И слабого обидѣть не мочи!
Мстятъ сильно иногда безсильные враги:
Такъ слишкомъ на свою ты силу не надѣйся.

Какъ видно, побужденіемъ къ тому, чтобы не смѣяться надъ безсильными и не обижать слабыхъ, выставленъ здѣсь житейски-благоразумный расчетъ: «мстятъ сильно иногда безсильные враги». Но развѣ нѣтъ другихъ, болѣе высшихъ и благороднѣйшихъ мотивовъ, чѣмъ эгоистическое самоохраненіе? Конечно есть и разсудительнымъ людямъ они хорошо извѣстны: это—уваженіе къ личности, сознаніе человѣческаго достоинства, понятіе о равноправности, христіанское ученіе о любви къ ближнимъ... Но дѣло въ томъ, что не къ лицу животнымъ быть проповѣдниками возвышенныхъ движеній души, гуманныхъ стремленій, разумно-сознательнаго образа дѣйствій. Животныя по преимуществу пригодны для выставки такихъ недостатковъ человѣка, въ которыхъ обнаруживаются грубые, животные инстинкты его натуры. Злоупотребленіе силой есть одинъ изъ этихъ звѣриныхъ инстинктовъ. Осуждали совѣтъ, выведенный изъ басни «Музыканты» и напоминающій пословицу: «пьяница проспится, а дуракъ никогда»:

По мнѣ ужъ лучше пей,
Да дѣло разумѣй.

Нѣтъ спора, было бы нравоучительнѣе сказать: «дѣло разумѣй, а все-таки не пей», если бы такое нравоученіе могло отучить искусныхъ дѣльцовъ отъ пьянства. Но какъ эта возможность не существуетъ, то совѣтъ баснописца справедливъ и полезенъ. Кто же, въ самомъ дѣлѣ, желая насладиться музыкой, будетъ справляться о поведеніи знаменитыхъ виртуозовъ или пойдетъ слушать плохую игру людей, которыхъ кондуитный списокъ безупреченъ? Бездарный писака весьма часто бываетъ примѣрнымъ семьяниномъ: знакомые его почтутъ въ немъ добраго отца или добраго сына, порадуются его счастію, но не станутъ читать его писаній. Народъ говоритъ: «пьянь да умень—два угодыя въ немъ». Крыловъ не простираетъ такъ далеко снисходительности къ пьянству: онъ только изъ двухъ золъ выбираетъ меньшее, потому что другого, болѣе выгоднаго выбора не оказывается. Подражая Руссо, нѣкоторые наставники юношества разсматривали педагогическое значеніе басенъ Крылова и пришли почти къ тому заключенію, къ какому пришелъ авторъ Эмиля. Что внутренній смыслъ многихъ басенъ недоступенъ дѣтскому уму,—это такая истина, на доказательство которой не стоило тратить «ни времени, ни масла»; но что многія изъ нихъ, по художественному интересу, представленіямъ въ русскомъ духѣ и чисто-русскому языку, служатъ пріятнымъ и полезнымъ чтеніемъ для дѣтей,—это также не подлежитъ спору. Красота ихъ непосредственно дѣйствуетъ на прирожденное большимъ и малымъ народ-

ное чутье, благодаря которому даже дѣти отвергають кривые толки педантовъ-руководителей. Ошибка педагоговъ главнѣйшимъ образомъ заключается въ томъ, что они почитаютъ дѣтей уже черезъ-чуръ глупыми существами, что вовсе не гуманно. Такъ одинъ изъ нихъ (*) не шутя думаетъ, что дѣти превратно истолкуютъ басню «Тришкинъ кафтанъ», т. е. увидятъ въ Тришкѣ искуснаго портнаго, съумѣвшаго изъ стараго кафтана смастерить камзолъ. Онъ же находитъ опасною мораль басни «Котъ и поваръ», потому-де что она внушаетъ самоуправство, заставляетъ прибѣгать къ власти, а не къ убѣжденію. Но что же дѣлать въ томъ случаѣ, когда убѣжденіе бессильно? Васьки бываютъ разныхъ сортовъ: есть Васьки тупоумные, недоступные убѣжденіямъ, и есть Васьки безсовѣстные, поступающіе вопреки своимъ убѣжденіямъ. Какъ обращаться съ ними? Если представленія ума и нравственнаго чувства не дѣйствуютъ больше, то волею-неволею необходимо прибѣгнуть къ другимъ аргументамъ. Не оставлять же курченка въ рукахъ дурака или плута: это было бы противно здравому смыслу. А философія Крылова—если такъ надобно называть его уроки и мысли, выводимые изъ басенъ—есть именно философія здраваго смысла, опытной мудрости, житейскаго реализма. Это—философія нашихъ народныхъ пословицъ.

По своему художественному значенію, басни Крылова принадлежатъ къ классическимъ (**). Русская литература справедливо гордится ими, какъ превосходными образцами того рода поэзіи, за который, по мнимой его легкости, брались многіе, но въ которомъ до Крылова приобрѣлъ знаменитость только Лафонтенъ. У нашего баснописца иносказательное изображеніе всегда представляетъ самостоятельное поэтическое достоинство. Басня увлекательна и своимъ собственнымъ, прямымъ смысломъ, независимо отъ смысла внутренняго, раскрываемаго въ ея заключеніи или началѣ. Дѣйствіе между животными, выведенными съ ихъ отличительными, типическими свойствами, образуетъ замысловатую драму, которая плѣняетъ читателя и прежде чѣмъ приподнять аллегорическій покровъ и послѣ того какъ аллегорія истолкована.

Первенствующая красота въ этихъ художественныхъ басняхъ есть красота ихъ народности. Явленія общеловѣческой жизни изображаютъ онѣ въ образахъ русскаго быта, въ чертахъ русскаго характера. Проникнутый духомъ своего народа, баснописецъ воплотилъ его и въ свои вымыслы. Крылову, говоритъ И. Кирѣевскій, принадлежала честь единственная, ни съ кѣмъ въ его время нераздѣленная: онъ успѣлъ быть и, что еще важнѣе, онъ хотѣлъ быть русскимъ въ то время, когда подражаніе почиталось просвѣщеніемъ, когда слово «иностранное» было однозначительно съ словомъ «умное» или «прекрасное». Въ это время Крыловъ не только былъ русскимъ въ своихъ басняхъ, но умѣлъ еще сдѣлать свое русское плѣнительнымъ» (***). Это искусство олицетворять стихіи народной индивидуальности очевидно не только въ собственныхъ басняхъ Крылова, но и въ его переводахъ или передѣлкахъ басенъ иностранныхъ. Заимствованные сюжеты обрабатывалъ онъ сообразно представленіямъ русскаго человѣка, почему и имѣлъ право причислять свою обработку къ оригинальнымъ созданіямъ. При слѣженіи, напримѣръ, басенъ: «Осель и Соловей», «Демьянова уха», «Лжецъ», съ ихъ

(*) В. Водовозовъ въ статьѣ: «О педагогическомъ значеніи басенъ Крылова» (Журн. Мин. Народ. Просв. ч. 116).

(**) Выше, стр. 305 и 306.

(***) Моск. 1845, № 1.

источниками (*) открывається превосходство нашего баснописца, умѣнаго посредственнымъ разсказамъ сообщать высокое поэтическое достоинство и цвѣтъ народности.

Преобладающею силою духовной природы Крылова былъ умъ—трезвый, смѣтливый, наблюдательный, просто и прямо смотрящій на предметы, не поддаваемый никакими теоріями и пристрастіями,—тотъ здравый умъ, которымъ, по выраженію Гоголя, крѣпокъ русскій человѣкъ, умъ выводовъ, такъ называемый задній умъ, заивившій себя въ пословицахъ. Крыловъ и любилъ черпать изъ этой сокровищницы практической, житейской мудрости. Пользовался же онъ ею не для внѣшняго украшенія своихъ басень, а потому что пословица была естественною, слѣдовательно удобнѣйшею формою приращеннаго ему склада ума, пріемовъ его мысли. Въ свою очередь, словарь народныхъ изреченій долженъ баснописцу значительнымъ матеріаломъ: собиратели русскихъ пословицъ (Снегиревъ, Даль) внесли въ свои сборники многіе стихи изъ его басень. Каждый образованный находитъ въ этихъ басняхъ чрезвычайно меткія аподегмы или поговорки, и при случаѣ поясняетъ ими свою мысль, такъ что нѣтъ уже надобности ни въ другихъ толкованіяхъ, ни въ другихъ доводахъ. Между свойствами ума, которымъ природа надѣлила Крылова, одно въ особенности заслуживаетъ вниманія, какъ бы подтверждавая ту мысль, что русскій человѣкъ преимущественно передъ другими народами обладаетъ критическою силою, почему и въ литературѣ его наиболѣе выказывается отрицательное отношеніе къ жизни. Это свойство—иронія, веселая и лукавая вмѣстѣ, совершенно противоположная наивности, въ которой Крыловъ вовсе неповиненъ и которую хотѣли навязать ему насильно, вѣроятно изъ желанія доказать всестороннее сходство нашего баснописца съ Лафонтеномъ, тогда какъ, говоря серьезно, сходство ограничивается лишь тѣмъ, что тотъ и другой писали превосходныя басни. Ироніей отзываются сужденія и взгляды самыхъ характеристичныхъ басень Крылова. При встрѣчѣ съ новыми, или выступающими изъ ряда явленіями, умъ его тотчасъ принимаетъ скептическое, насмѣшливое направленіе: видитъ пустую, а иногда и вредную затѣю тамъ, гдѣ другіе привѣтствуютъ перемѣну къ лучшему; любитъ сомнѣваться въ успѣхѣ, а не предполагать успѣхъ; опасается зла, имѣющаго возникнуть, а не поощряетъ возникающаго добра. Что же дальше, кромѣ ума? Можно думать, что онъ сильно переросъ всѣ прочіе элементы духовной природы, которые потому и сдѣлались незамѣтны, если нельзя думать, что ихъ вовсе и не было. Въ біографіи Ломоносова, Державина, Карамзина, Жуковского, Пушкина встрѣчаешь разнообразіе какъ литературныхъ, такъ и умственныхъ и нравственныхъ качествъ. Говоря о Крыловѣ, волею-неволею говоришь о его умѣ—и только объ умѣ. Подкупленный высокою цѣнностью этого ума, читатель можетъ забывать отсутствіе другихъ сторонъ личности; но историческая правда требуетъ сказать, что Крылову не доставало чувства, которое привязываетъ человѣка къ извѣстнымъ идеямъ, къ извѣстному образу дѣйствій и согрѣваетъ внутреннимъ огнемъ всѣ проявленія его таланта. Разсматривая его басни, легко узнать, чего онъ не хотѣлъ; трудно опредѣлить, чего именно хотѣлъ онъ. Конечно, такое направленіе частію услов-

(*) Эти источники: *L'ane et le rossignol* (Дидро), *La politesse villageoise* (стихотвореніе Барба) и *Le paysan et son fils* (Эмбера, переведшаго басню Геллерта: Bauer und sein Sohn), помѣщены въ «Примѣчаніяхъ» г. Кеневича (стр. 100—103, 244—248). Въ Лафонтеновой баснѣ: *Dépositaire infidèle*, также выставленъ лжецъ. Образцомъ ея служилъ одинъ изъ средневѣковыхъ басенныхъ разсказовъ (*fabliaux*) о рыцарѣ и его оруженосцѣ, сходный по сюжету съ баснею Крылова.

ливалось сущностью басни какъ сатиры, но большею частію (такъ мнѣ кажется) оно зависѣло отъ недостатка положительнаго сочувствія къ чему бы то ни было. Переходъ отъ многихъ отрицаній, выражаемыхъ Крыловымъ, къ общему утвержденію темень и затруднителенъ. Есть мнѣніе, что положительный идеаль баснописца выраженъ въ баснѣ «Орелъ и пчела» (1813), представляющей пользу тружениковъ для общаго блага; но справедливо ли называть идеаломъ одиночное заявленіе, высказанное, можетъ быть, по извѣстному, также одиночному, поводу и не запечатлѣнное печатью владычества надъ разными другими заявленіями? Идеаль даетъ себя знать всегда и повсюду, больше или меньше проникаетъ каждое поэтическое сознаніе; его нельзя скрыть: онъ обнаруживается такъ или иначе—подборомъ ли предметовъ, характеромъ ли нравоученій, или выпышкой лирической, причемъ самъ авторъ выдвигается изъ-за своей работы. Ничего подобнаго у Крылова нѣтъ. Большинство его басенъ какъ бы говоритъ за него: моя хата съ краю, ничего не знаю. Тотъ ошибется, конечно, кто на слово повѣритъ этой пословицѣ. Напротивъ, Крыловъ очень хорошо зналъ, но отъ знанія дѣла до сочувствія къ дѣлу далеко, еще дальше до участія въ дѣлѣ, а самое большое разстояніе до инициативы въ немъ. Безстрастіе было отличительнымъ свойствомъ его духовной природы; въ покоѣ безстрастія заключался его идеаль. Чтобы написать простое письмо, онъ долженъ былъ превозмогать свою лѣнь (*). Природа надѣлила его всѣми талантами, говоритъ Вигель.... Одного ему дано не было: душевнаго жара, священнаго огня.... Вездѣ умъ, нигдѣ не проглянетъ чувство.... Человѣкъ этотъ никогда не зналъ ни дружбы, ни любви, никого не удостоивалъ своего гнѣва, никого не ненавидѣлъ, ни о комъ не жалѣлъ; никогда не вспоминалъ о прошедшемъ, никогда не радовался ни славѣ нашего оружія, ни успѣхамъ просвѣщенія... Двѣ трети столѣтія прошелъ онъ одинъ сквозь нѣсколько поколѣній, одинаково равнодушный какъ къ отцвѣтшимъ, такъ и къ зрѣющимъ (**). Хотя и безразсудно вполнѣ довѣрять автору, который въ своихъ Запискахъ охотно набрасывалъ тѣнь на замѣчательнѣйшихъ людей своего времени, въ томъ числѣ и на Сперанскаго, однакожъ каждый, знакомый съ біографіей Крылова и съ чертами его психическаго настроенія, насколько онъ обнаруживаются его баснями, согласится, что въ приведенныхъ словахъ много правды. Физіономія баснописца, какъ человѣка, схвачена удачно. Сходство портрета подтверждается отзывомъ Плетнева: «Крыловъ ничего не полюбилъ, какъ человѣкъ общественный, какъ писатель гениальный» (***). Тяжелый на подъемъ духа, безъ чего не возможны ни побужденія къ дѣятельности, ни успѣхи въ ней, Крыловъ и своему литературному слогу сообщилъ ту оригинальную особенность, которую Плетневъ означилъ словомъ «увѣсистый» и которая отличаетъ способъ выраженія баснописца отъ выраженія современныхъ ему литераторовъ.

Матеріалы для біографіи Крылова и для опредѣленія его дѣятельности:

«Басни И. Крылова», критическая статья Жуковскаго (В. Евр. 1809, № 9; перепечатана въ Полн. Собр. сочиненій, изд. 1849, ч. 7).

«Басни И. Крылова», разборъ ихъ (Цвѣтникъ 1809, № 3)

«Новыя басни И. Крылова», критич. ст. Каченовскаго (В. Евр. 1812, № 4).

«Разборъ басенъ Крылова», ст. А. Измайлова (Сынъ Отеч. 1816, № 16; перепечатана въ Смирн. собраніи сочиненій Измайлова, т. 2; въ статьѣ: «о разсказѣ басни»).

(*) Письмо къ молодой дѣвицѣ (Рус. Архивъ, 1865).

(**) Ib. 1863, стр. 70—71 (изъ Записокъ Вигеля).

(***) Жизнь и сочиненія И. А. Крылова, въ Полн. Собраніи его сочиненій, стр. LXII.

- «Крыловъ», г-жа Каргофъ (Звѣздочка 1844, № 1).
«Отрывки изъ записокъ моихъ объ Н. А. Крыловѣ», ст. Быстрова (Свѣр. Пчела 1845, № 203 и 208; 1846 г. № 63 и 64).
«Матеріалы для біографіи Н. А. Крылова» (Свѣр. Пчела 1846, № 292; 1847, № 22).
«Н. А. Крыловъ», Бантынь-Каменскаго (Словарь достоуим. людей русской земли, 1847, т. 2).
«Жизнь и сочиненія Н. А. Крылова», ст. Лобанова (Сынъ Отеч. 1847, № 1).
«Жизнь и сочиненія Н. А. Крылова», ст. Шетнева, въ Полн. Собр. сочиненій Н. Крылова (1-е изд. 1847, 2-е—1859, т. 3).
«Народное и общественное значеніе Крылова», «о педагогическомъ значеніи Крылова», четыре статьи В. Водовозова (Журналъ Мин. Нар. Просв. 1862, №№ 4, 5, 8, 9).
Характеристика Крылова въ Воспоминаніяхъ Вигеля (Рус. Архивъ 1863, № 1).
«Письмо Крылова къ молодой дѣвицѣ» (Марья Павловна Сумароковой), Рус. Архивъ 1865, стр. 1316—1319.
«Разсказы о Крыловѣ», г. Колмакова (ib. стр. 1319—1324).
«Маскарадныя стихотворенія Крылова», г. Кеневича (ib. 1866, №№ 8 и 9).
«Историческія басни Крылова», ст. Филонова (Семейныя вечера, старшій возрастъ, 1867, № 8).
Левъ Андреевичъ Крыловъ, братъ баснописца, и его переписка съ Иваномъ Андреевичемъ (1799—1823), г. Кеневича (Рус. Арх. 1868, № 2).
Рѣчь о басняхъ Крылова въ художественномъ отношеніи, А. Никитенко (1868).
Библиографическія и историческія примѣчанія къ баснямъ Крылова. Составилъ В. Кеневичъ (1868).
Литературная жизнь Крылова. Академическое чтеніе Я. Грота въ день юбилея Крылова, 2 февраля 1868.
Замѣтка для біографіи Крылова, Я. Грота (1868).
«Н. А. Крыловъ» (Биографическій очеркъ), В. Кеневича (Вѣст. Евр. 1868, кн. 2).
Сатира Крылова и его «Почта духовъ», Я. Грота (ib. кн. 3).
Крыловъ и Радищевъ, А. Пыпина (ib. кн. 5).
О Крыловѣ и его литературной дѣятельности, Н. Лавровскаго (Журн. Мин. Нар. Просв. 1868, февраль).

§ 42. Въ характеристикѣ Крылова, какъ писателя, Гоголь обратилъ вниманіе на то, что Крыловъ «выбралъ себѣ форму басни, всѣми пренебреженную, какъ вещь старую, негодную къ употребленію и почти дѣтскую игрушку» (*). Это не совсѣмъ такъ. Когда Крыловъ началъ писать басни, еще не казалось страшнымъ мнѣніе одного изъ корифеевъ швейцарской школы нѣмецкой поэзіи—Брейтингера († 1776), почитавшаго басню высшимъ родомъ стихотворства. Мнѣніе это вытекало изъ понятія о чудесномъ, какъ основѣ поэзіи, которая, сверхъ того, должна производить моральное дѣйствіе на читателя. А какъ басня, по своей сущности и происхожденію, есть чудесное, дающее поводъ къ правоученію, то и отдано ей первенство передъ другими родами поэтическихъ произведеній. Что она въ эпоху Крылова не теряла своего значенія, ни у насъ, ни въ литературѣ запада, доказывается, между прочимъ, баснями Арно (Arnauld) (**), имѣвшими большой успѣхъ во Франціи, и баснями А. Измайлова (1779 — 1831), современника Крылова, которыя читались съ удовольствіемъ: въ теченіе тринадцати лѣтъ (съ 1814 по 1826) вышло ихъ пять изданій.

Успѣхъ и значеніе басенъ Измайлова опредѣляются особенностью его дарованія, которое не осталось незамѣченнымъ даже при славѣ Крылова. На эту особенность указывалъ самъ авторъ, называвшій себя «Россійскимъ Теньеромъ 4-мъ» (***). Любимымъ его выраженіемъ было: «я *теньерю* по прежнему». Отличія теньерства, какъ

(*) Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями.

(**) Ум. 1834 г.

(***) Il est le Teniers des écrivains russes», сказано о немъ въ Revue Encyclopedique 1821 г.

извѣстнаго стиля въ живописи и литературѣ, мы уже частію видѣли въ романѣ: «Евгеній или пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія и сообщества» и въ повѣсти: «Бѣдная Маша» (*). Сфера жизни обыкновенной, наивно-грубой, а иногда и цинической, подходила къ таланту Измайлова, который вѣрно схватывалъ черты ея и рисовалъ ихъ искусно. По врожденному «чутію дѣйствительности», онъ не увлекся сентиментализмомъ Карамзина, хотя храбро стоялъ за его реформу азыка. Въ повѣсти, служащей подражаніемъ «Бѣдной Аннѣ», трогательная часть перешла въ забавный мелодраматизмъ; напротивъ, сцены простыхъ, низменныхъ характеровъ и происшествій принадлежатъ къ лучшимъ мѣстамъ ея, каковы, напримѣръ: сватовство въ домѣ Простаковыхъ и письмо Филимона Фатюева къ Простакову. Тѣмъ же характеромъ рисовки и азыка отличается разсказъ о приключеніяхъ Евгенія. Къ сатирѣ Измайлова прилагается оправданіе какого-то автора, обвинявшагося въ томъ, что онъ пишетъ личности:

Твои портреты очень сложи.
На лица пишешь ты!—«Нѣтъ, я пишу на рожи».

Это не значитъ, что у Измайлова изображенія выходили каррикатурными; это значитъ, что Измайловъ былъ искусенъ рисовать только такіа лица, которыя зовутся рожами. Высокое, нѣжное, утонченно-образованное, деликатное, граціозное.... рѣшительно ему не удавалось. Всѣ притязанія на патетизмъ оканчивались крайней неловкостью. Хотѣлъ ли онъ начертать изящный образъ? образъ, вопреки его намѣренію, поражаетъ отсутствіемъ изящества. Думалъ ли растрогать читателей? читатели оставались равнодушными, или улыбались. Его нѣжныя нѣсенки и мадригалы—посягательство на нѣжность, его оды—посягательство на лиризмъ. То и другое скорѣе примешь за пародію, чѣмъ за настоящіе образцы. Описаніе водопада (въ баснѣ «Водопадъ и Ручей») оканчивается двумя стихами, изъ коихъ послѣдній смѣшонъ, на перекуръ желанію автора изобразить величавое:

Ни птица, ниже звѣрь къ нему не приближались,
И ноги смертнаго въ него не опускались.

Не менѣе смѣшно уподобленіе кота сибариту, а мертвой мыши—статуѣ Венеры:

Вотъ мышку въ зубы онъ беретъ,
Потомъ передъ себя кладетъ....
Глядитъ, какъ сибаритъ на статую Венеры (**).

Но какъ только авторъ выходитъ изъ несвойственной ему сферы патетическаго, нѣжнаго и граціознаго, и вступаетъ въ сферу низшаго, необразованнаго или малообразованнаго слоя общества, гдѣ бытовая сторона, не отличаясь чистоплотностью, обнаруживается откровеннѣе, наивнѣе и грубѣе, тамъ онъ дѣйствуетъ свободно, умѣетъ находить и выдерживать соотвѣтственный сюжетамъ тонъ; тамъ нѣтъ разлада между изображеніемъ и изображаемымъ. Міръ его басенъ населенъ такими личностями, которыя по табели о рангахъ не восходятъ выше титулярнаго совѣтника и съ которыми часто имѣетъ дѣло управа благочинія. Двери салоновъ затворены для нихъ, но за то открытъ имъ входъ въ непримѣливыя увеселительныя заведенія. Одна изъ лучшихъ

(*) Выше, стр. 124, 169—171.

(**) Въ баснѣ: Черный Котъ.

басень Измайлова «Пьяница» вполне выказывает свойство его таланта, равно какъ и его манеру разсказа. Дѣйствующее лице въ ней—

Пьяночкинъ, отставной квартальный,
Совѣтникъ титулярный,
Неправно насандаливъ носъ,
Въ худой шинелникъ, зимой, въ большой морозъ,
По улицѣ шелъ утромъ и шатался.

Получивъ отъ кума полсотни рублей, онъ отправился въ трактиръ, напился мертвецки пьянъ.

Къ несчастію еще въ трактиръ онъ подраелъ,
А съ кѣмъ, за что,—и самъ того не зналъ.
На лѣстницѣ споткнулся и упалъ,
И весь, какъ чортъ, въ грязи, въ крови перемарался.
Вотъ вечеромъ его по улицѣ ведутъ
Два воина осанки важной,
Съ съкирами, въ бронѣ сермяжной.

Представивъ безобразіе, до котораго доводитъ пьянство, авторъ заключаетъ:

Однако надобно, чтобъ больше пилъ народъ:
Хоть людямъ вредъ, за то откупщикамъ доходъ.

Другая басня: «Пьяница и судьба», хотя неоригинальная по вымыслу, начинается оригинальнымъ изложеніемъ:

Въ ночь темную, зимой,
Подъѣхавъ пьяный шелъ черезъ рѣку домой;
Съ прямой дороги сбился,
И гдѣжъ? у полыни каналья очутился,
Споткнулся и на край на самый повалился;
Заснулъ и думаетъ, что онъ на съѣзжей спитъ;
На чистомъ воздухѣ, какъ богатырь, хранить....

И между тѣмъ, по страшной прихоти человѣческой природы или по трудности распознавать талантъ свой, Измайловъ, называвшій себя Теньеромъ, въ смыслѣ непритворнаго описателя случаевъ и лицъ, въ родѣ вышеприведенныхъ, домогался чести прослыть «писателемъ для дамъ» и не шутя почиталъ себя таковымъ. Въ одномъ посланіи онъ величаетъ себя однимъ изъ главныхъ дамскихъ поэтовъ и многія статьи скрѣплялъ подписью: «писатель для дамъ», а въ послѣдствіи, какъ бы недовольный такимъ ограниченіемъ своего авторства, прибавлялъ: «и для мужчинъ». Нельзя было сильнѣе задѣть его, какъ не признавая за нимъ этого титула. Кто-то въ шутку сочинилъ ему слѣдующее надгробіе:

Подъ камнемъ симъ лежитъ Измайловъ журналистъ
И фабулистъ;
Писалъ стишки въ часы досуга;
Оставилъ басенокъ довольно, эниграммъ;
Но музою себѣ не могъ найти онъ друга (*)
И былъ писатель не для дамъ.

(*) «Изъ сочинителява круга?» спрашиваетъ Измайловъ въ издававшемся имъ журналѣ «Благонамѣренный», гдѣ надгробіе было напечатано (1822, № 14).

«Теперь», замѣчаетъ Измайловъ, «умру покойно: есть мнѣ эпитафія, есть надпись къ моему портрету, есть и портретъ». Въ сатирѣ Воейкова: «Домъ сумасшедшихъ», одна строфа посвящена Измайлову:

Вотъ Измайловъ—авторъ басенъ,
Разсужденій, эпиграммъ;
Онъ пишетъ мнѣ: «Я согласенъ,
Я писатель не для дамъ.
Мой предметъ—носы съ прыщами;
Ходимъ съ музою въ трактиръ.
Водку пить, бѣсть лукъ съ сельдями;
Міръ квартальныхъ—вотъ мой міръ!

«Стихъ: *я писатель не для дамъ*, жестоко встревожилъ Измайлова» (разсказываетъ Булгаринъ). «Въ день его рожденія, я послалъ ему шуточные стишки, въ которыхъ, послѣ каждого куплета, былъ припѣвъ:

Нѣтъ, нѣтъ! ты, вопреки врагамъ,
Писатель для мужчинъ и дамъ.

Измайловъ былъ въ восторгѣ! Стишки напечаталъ въ *Благонамѣренномъ*, а припѣвъ приказалъ вырѣзать на своей серебряной табакеркѣ, которую всегда носилъ съ собою». Другую обиду Измайлову нанесъ Пушкинъ отзывомъ о его журналѣ: «*Благонамѣренный*», отличавшемся внутреннею и виѣшнею неопрятностью:

Могу ли дамъ себѣ представить
Съ «Благонамѣреннымъ» въ рукахъ?

Сверхъ простоты и тенъеровской естественности, басни Измайлова отличаются простодушіемъ и откровенностью, отражая на себѣ характеристическія черты автора. Этими чертами, совершенно противоположными характеру Крылова, Измайловъ походилъ и на Хемницера, котораго онъ, по его словамъ, выбралъ своимъ наставникомъ, и на Лафонтена, который въ сочиненіяхъ своихъ любилъ говорить о самомъ себѣ, такъ что они доставляютъ значительный матеріалъ его біографу. Нашъ баснописецъ превзошелъ въ этомъ отношеніи и того и другаго. При каждомъ случаѣ онъ не скупился на откровенныя извѣстія о литературныхъ, служебныхъ и семейныхъ обстоятельствахъ своей жизни. Различныя черты его портрета, набросанныя имъ самимъ, даютъ возможность представить его личность,—личность добраго, безхитростнаго, прямодушнаго, достоялюбиваго человѣка, съ неважнымъ умомъ, любившимъ ограниченную истину и осязательную ясность, съ мелкимъ образованіемъ, не выступавшимъ изъ круга словесности и питавшимся воззрѣніями французскихъ теоритиковъ. Читатели его сочиненій и журнала, имъ издававшагося (*Благонамѣренный*), были посвящены даже въ частности его домашняго быта: они знали его наружность, одежду, мѣсто жительства, день рожденія супруги, фамиліи кумовьевъ и крестниковъ, имена кучера, кухарки и другихъ служителей.... Онъ охотно выказывалъ свою натуру, зная, что ближніе не найдутъ въ ней ничего дурнаго въ нравственномъ смыслѣ, хотя могутъ найти нѣчто смѣшное и неуклюжее. Желаніе казаться инымъ, а не быть тѣмъ, что онъ есть, аффектація, притворство встрѣчали въ немъ постоянную антипатію. Отбросивъ ложный стыдъ, онъ исповѣдывался передъ публикой въ своихъ недостаткахъ и не таилъ недостатковъ чужихъ. Намъ извѣстно, какъ въ зрѣлыя годы отзывался онъ о своемъ юношескомъ произведеніи—романѣ

«Евгеній» (*). При словѣ о метромани, онъ прямо говоритъ, что и за нимъ водится этотъ грѣхъ:

Люблю писать стихи и отдавать въ печать!
Не потаю грѣха: люблю ихъ и читать

не только друзьямъ сердечнымъ, но встрѣчнымъ и поперечнымъ.

Вышла книжка: «Распознаваніе и леченіе гемороя», совѣтующая воздерживаться отъ употребленія горячихъ напитковъ,—Измайловъ тутъ же замѣчаетъ:

И даже отъ вина!...
Да лучше пусть болитъ спина!

Запоздалъ номеръ журнала на масляницѣ,—издатель извиняется въ неакуратности и вмѣстѣ съ тѣмъ объясняетъ ея причину, а именно, что онъ,

Какъ русскій человѣкъ, на праздникахъ гулялъ,
Забылъ жену, дѣтей, не только что журналъ.

Таковъ же Измайловъ и въ своихъ басняхъ. Онъ не простой рассказчикъ того, что дѣлается между людьми или животными: онъ принимаетъ участіе въ событіяхъ и никакъ не можетъ воздержаться, чтобы не заявить своего мнѣнія или чувства. Заявленія эти, всегда искреннія, простодушныя, часто горячія и часто комичныя, составляютъ субъективный элементъ. По инымъ баснямъ можно подуматъ, что дѣло касается собственной персоны автора, что онъ лично заинтересованъ въ драмѣ и потому, не довольствуясь ролью зрителя, по временамъ выказываетъ свою фигуру изъ-за кулисъ. Длинное заключеніе басни «Клеветникъ» сообщаетъ, что авторъ въ перинной линіи видѣлъ картину страшный судъ. Описавъ, какія изображены на ней муки, уготованныя клеветникамъ, онъ прибавляетъ отъ себя:

Не худо-бѣ и живыхъ ихъ жечь,
Или на перекресткахъ сѣчь
Подъ барабанъ лозами...
Однихъ клеветниковъ ... А клеветницъ?—Щипцами
Горячими ихъ язычки припечь.

Начавъ басню «Черный Котъ» нѣжно-комическимъ тономъ:

Вы любите кота?
Любите: онъ вѣдь сирота;
Малюткой вамъ еще достался;
Кто подарилъ его, тотъ съ жизнью разстался,

Измайловъ оканчиваетъ ее сердитыми словами:

Всего противнѣй мнѣ Тартюфы—лицемѣры!
О, какъ бы я былъ радъ,
Когда бы поскорѣй они попали въ адъ!

Басня: «Смѣтливый экономя» (**) — образецъ спокойно-добродушной веселости съ одной стороны и личнаго вмѣшательства автора съ другой. Но не всегда онъ оставался спокойнымъ: онъ умѣлъ вспылить, конечно не безъ резона, и въ искренней, любезно-комической вспышкѣ выказать всю свою простоту, наивность и незлобіе. Для

(*) Выше, стр. 170.

(**) Ист. Хр. II, 266.

примѣра выписываемъ заключительные стихи разсказа о «Дворянкѣ буянкѣ», ведшей себя неприлично въ церкви:

О стыдъ! о срамъ!
И это сдѣлала дворянка и дѣвица!
Проклятая срамница!
Будь я архіерей
Или хоть протоіерей,
То право бѣ проучилъ злодѣйку:
На наперти бѣ ее поставилъ у дверей,
Вздѣвъ ожерелье ей желѣзное на шейку (*).
Сошлось бы множество народа поглядѣть.
Дай Богъ ей вѣкъ весь въ дѣвкахъ просидѣть!

Последній стихъ—совершенство въ своемъ родѣ. Трудно закончить басню болѣе наивнымъ и неожиданнымъ образомъ, и невозможно пожелать болѣе напасти дѣвицѣ, смышлявшей жениха.

Оригинальнаго вымысла въ басняхъ Измайлова почти нѣтъ вовсе. Онъ не имѣлъ для этого способности, въ чемъ и сознавался передъ публикой: большую часть своихъ басенъ онъ называлъ вольными подражаніями иностраннымъ баснописцамъ — Езопу, Лафонтену, Флоріану, Ламоту и многимъ другимъ:

Я подражателя названія желаю;
Свой трудъ достоинствомъ чужимъ я возвышаю.

Въ посланіи къ одному изъ друзей своихъ онъ съ горемъ и досадой восклицаетъ:

Бѣда и стыдъ съ моимъ нетворческимъ умомъ!
И нѣ вымыслахъ совсѣмъ удачъ не имѣю.

Но этотъ недостатокъ творчества вознаграждается другою оригинальностью, которая и служила причиною успѣха басенъ: будучи переводами или подражаніями, онѣ тѣмъ не менѣе своеобразны, какъ отраженіе своеобразной личности на заимствованномъ вымыслѣ, на манерѣ и тонѣ разсказа, на выводахъ, на языкѣ. Въ какомъ бы костюмѣ ни являлся переводчикъ, читатели узнавали въ немъ одну и ту же особу—Александра Ефимовича Измайлова, баснописца или, какъ онъ любилъ именовать себя, «фабулиста», со многими достолюбезными качествами русскаго человѣка, которыя обнаруживались въ его литературныхъ произведеніяхъ со всею простотою и наивною.

Крыловымъ кончился наша басня, не потому только, что идти за нимъ по той же дорогѣ было невозможно, безъ равносильнаго ему таланта, какіе родится вѣками, но и по другой причинѣ. Слова его, что онъ, какъ иной морякъ, не хаживалъ далеко въ море, совершенно справедливы по отношенію къ сущности избраннаго имъ рода. Форма аполога, нѣкогда высоко поставленная теоретиками и столь соблазнительная для искателей литературной славы, не отвѣчала болѣе матеріалу и требованіямъ сатирика. Изображеніе общечеловѣческихъ и національных недостатковъ, съ анализомъ ихъ подлинныхъ причинъ, кроющихся въ порчѣ нравственныхъ отношеній между людьми или въ неправильности общественныхъ и политическихъ отношеній между гражданами одного и того же государства, не могло укладываться въ тѣсную рамку басеннаго разсказа, который кромѣ того былъ иносказаніемъ, тогда какъ и авторы и читатели, по своему развитію, нуждались въ прямомъ, непосредственномъ, ни символами, ни аллегоріей неприкрытомъ представленіи жизни. Удовлетворенію такой потребности должны были служить другіе поэтическіе формы—повѣсть и драма, дающіе просторъ и умной наблюдательности и творческому воображенію.

(*) Въ старину надѣвали въ церквахъ ошейники на тѣхъ, которые дѣлали тамъ какое-либо безчиніе. Ошейники сіи прикованы были цѣпями къ стѣнамъ. *Примѣч. Измайлова.* (Ист. Хр. II, 268—269).

§ 43. Требованіе народности, художественно выраженной Крыловымъ въ баснѣ, было потомъ не только заявляемо, но и выполняемо относительно другихъ родовъ поэзіи. Гидичъ далъ первый опытъ русской народной идилліи «Рыбаки» (1822), «безъ Хлои и Дафнисовъ, которые принадлежать землѣ чужой, требуютъ такихъ свойствъ, такихъ красокъ, которыя, хотябъ они были выражены со всею истинною, привлекаютъ одно удивленіе, а не участіе: ибо сердце наше не найдетъ въ нихъ ничего себѣ знакомаго, ничего роднаго» (*). Онъ же, по поводу перевода Феокритовой идилліи «Сиракузянки», высказалъ мнѣніе о такъ называвшейся пастушеской поэзіи, сущность котораго состоитъ въ томъ, что эта поэзія должна почерпнуть матеріалы изъ просто-народнаго быта. Представивъ краткій очеркъ идилліи у древнихъ и новыхъ народовъ, онъ говоритъ о нашемъ отечествѣ: «Гдѣ, если не въ Россіи, болѣе состояній людей, которыхъ нравы, обычаи, жизнь такъ просты, такъ близки къ природѣ? Развѣ у простолюдиновъ нашихъ нѣтъ своей вѣры, повѣрій, нравовъ, костюмовъ, своего быта домашняго и своей, русской, природы? Наши многообразныя свадьбы, наши хороводы, разныя игры, праздники сельскіе, даже церковныя, суть живыя идилліи народныя, ожидающія своихъ поэтовъ». За «Рыбаками» послѣдовалъ второй опытъ народно-русской идилліи «Обманутая» (**). Хотя неизвѣстный ея авторъ и не вѣрилъ въ возможность у насъ домашней идилліи, да и не находилъ въ томъ большой надобности по той причинѣ, что герои знаменитыхъ пасторалей Геснера дѣйствуютъ не въ родинѣ его, Швейцаріи, однакожъ сложилъ одну на сюжетъ русской пѣсни, удержавъ размѣръ и нѣсколько стиховъ послѣдней.

Русская идиллія имѣетъ хотя и долговременную, но очень неважную исторію. Можно вести ее съ Сумарокова, отважно бравшагося за все роды стихотворства. Онъ написалъ 77 эклогъ и 7 идиллій (***), изъ которыхъ нѣкоторыя появились еще въ «Трудолюбивой пчелѣ» (1759). Непзмѣнное ихъ содержаніе—любовь, какъ и слѣдовало быть по мысли автора, выраженной въ посвященіи эклогъ «прекрасному русскаго народа женскому полу» (****). А руководствомъ стихотворцу служили французская теорія идилліи и главнѣйшіе представители оной. Одинъ изъ нихъ, Фонтенель, въ «разсужденіи объ эклогѣ» упрекаетъ древнихъ за то, что они не облагораживали природы, а изображали ее во всей грубости, что они унижали искусство, заставляя идиллическія лица толковать о навозѣ, стойлахъ, свинопасахъ, какъ будто о какихъ-нибудь привлекательныхъ предметахъ, почему и обзываетъ Феокритовыхъ пастуховъ неучами. А какъ, соответственно такому воззрѣнію, пастухи и пастушки Фонтенеля могли не уронить себя въ любомъ салонѣ, то и женскія лица въ эклогахъ Сумарокова—Ириса, Дориза, Клариса, Пальмира, Флориза, Амарилла, Галатея, и проч., и проч. — выражаютъ салонную любовь салоннымъ манеромъ, разумѣется

(*) Сынъ Отечества 1822, № 8.

(**) Соревнователь просвѣщенія 1822, № 11.

(***) Пол. собраніе сочиненій Сумарокова, ч. ч. 8 и 9 (1787).

(****) «Я вамъ, прекрасная, сей мой трудъ посвящаю; а ежели кому изъ васъ подумается, что мои эклоги наполнены излишно любовью, такъ должно знати, что недостаточная любовь не была бы матеріею поэзіи. Сверхъ того должно и то вообразить, что во дни златаго вѣка не было ни бракосочетанія, ни обрядовъ къ оному принадлежавшихъ: едина пѣжность, только провождаема жаромъ и вѣрностью, была оспеваніемъ любовнаго блаженства... Въ эклогахъ моихъ возвѣщается пѣжность и вѣрность, а не злопристойное сластолюбіе... Любовь—источникъ и основаніе всякаго дыханія, а въ добавокъ въ сему источникъ и основаніе поэзіи.

въ тонѣ сумароковскаго стихотворства, которое часто впадало въ комизмъ, желая быть серьезнымъ, или въ серьезность, желая быть забавнымъ.

Фонтенелева теорія долго держалась какъ у французовъ, такъ и между нашими литераторами. Извѣстный французскій критикъ и переводчикъ Теоокрита, Жоффруа, въ «Опытѣ объ идилліи» (*), также находитъ идилліи греческаго поэта мало занимательными и пастуховъ его злыми, сварливыми, завистливыми. Въ эпоху болѣе къ намъ близкую, Бональ (Bonald), выходя изъ главнаго своего положенія, что литература есть выраженіе общества, видитъ въ ней поступательный ходъ, соотвѣтственно такому же ходу общества: какъ общество шло отъ состоянія семейнаго къ публичному, такъ и литература восходила отъ патриархальнаго рода къ общественному. Въ доказательство этой мысли, авторъ разсматриваетъ поэзію пасторальную и поэзію эпическую: идилліи Теоокрита, Виргилія и Геснера съ одной стороны, Илиаду, Энеиду и Освобожденный Іерусалимъ съ другой. Въ Теоокритѣ и Гомерѣ является ему дѣтство поэзіи, въ Энеидѣ и эклогахъ Виргилія ея юношество, въ Геснерѣ и Тассѣ возмужалость, такъ что идилліи Теоокрита, Виргилія и Геснера состоятъ въ такомъ же отношеніи между собою, въ какомъ эпопеи Гомера, Виргилія и Тасса. Другими словами: нравы, изображенные Теоокритомъ, запечатлѣны грубой простотой; Геснеръ изображаетъ природу хотя простую, но облагороженную, избѣжавъ такимъ образомъ и грубости пастушескаго быта и пышнаго блеска цивилизаціи; Виргилій занимаетъ средину между необлагороженной наивностью Теоокрита и благороднымъ изяществомъ Геснера (**).

Къ господству указанныхъ взглядовъ на идиллію присоединилось повсемѣстное увлеченіе Геснеромъ, сочиненія котораго стали являться въ русскихъ переводахъ со второй половины прошлаго столѣтія (***). Но эти нѣкогда знаменитыя идилліи не что иное, какъ притязаніе на истинную поэзію. Это легкіе, поверхностно начертанные картинки и образы безъ жизненности, безъ наивности и развитія, и притомъ однообразные до утомительности. Корифей пасторальной поэзіи, какъ называли Геснера, привилъ своимъ героямъ украшенную, приторную сентиментальность, напоминающую тѣ пастушескія драмы, что разыгрывались въ Трианонѣ при Людовикѣ XV.

Спокойно-счастливая домашняя жизнь, красивыя мѣста родины и раннее чтеніе Геснера и чувствительныхъ романовъ Августа Лафонтена, Жанлисъ и Коттенъ развили въ Панаевѣ (1792—1859) данное ему отъ природы идиллическое чувство и вызвали его на подражаніе любимому образцу (****). Идилліи его, въ числѣ 25, изданы особой книжкой (1820), съ предисловіемъ, заключающимъ въ себѣ разсужденіе о пастушеской или сельской поэзіи. Въ этомъ разсужденіи онъ не отстываетъ отъ французскихъ понятій. Подобно Фонтенелю, онъ находитъ, что простота Тео-

(*) Переводъ его напеч. въ Благонамѣренномъ (1823, № 10).

(**) Du style et de la littérature (1806), Melanges (1819).

(***) Собраніе сочиненій Геснера имѣло два перевода: Левшина (1787) и Тимковскаго (1802—1803).

(****) Панаевъ, Владиміръ Ивановичъ, обучался въ казанскомъ университетѣ, по выходѣ изъ котораго служилъ въ Петербургѣ. Онъ управлялъ канцеляріей Министерства Императорскаго двора. Отецъ его, Иванъ Ивановичъ, пермскій губернский прокуроръ, заведывавшій пермскимъ народнымъ училищемъ, состоялъ въ дружеской связи со многими московскими профессорами и литераторами; ему былъ долженъ Мерзляковъ своимъ образованіемъ и отпавкой въ Москву для дальнѣйшаго обученія. Записка В. И. Панаева въ Вѣст. Европы 1867 г., за сентябрь и декабрь.

критика слишком груба для насъ, потому что Осокритъ иногда выбиралъ предметы, чрезвычайно низкіе. А такъ какъ продолжительное рабство сдѣлало нашихъ пастуховъ и земледѣльцевъ грубыми, лукавыми и подлыми, то онъ и думаетъ, что идиллія, перенесенная въ наше время, совершенно лишилась бы своего достоинства. Нѣмецкій идилликъ Броннеръ осуждается имъ за то, что часто вводитъ описанія животныхъ: «кому пріятно видѣть на сценѣ сельдей, устриць, лягушекъ, раковъ и слизней?» Равнымъ образомъ не правится Панаеву введеніе колдуновъ и волшебницъ: «всегда ли то хорошо, что взято съ натуры?» Поводъ допускать въ идиллическихъ лицахъ нѣкоторую степень образованности и познаній доказываетъ онъ не тѣмъ, что патріархальный образъ жизни не исключаетъ возможности того или другаго, а тѣмъ, что пастушеское состояніе, по свидѣтельствамъ мнѳологій и исторій, было нѣкогда въ большомъ почетѣ: «его не стыдился царь и самые боги: Парисъ пасъ стада отца своего, Аполлонъ былъ пастухомъ у царя Адмета».—Какъ ни странны подобныя сужденія и доказательства, но очень понятно, что идилліи Панаева, бывъ сравнительно лучшимъ осуществленіемъ ходячихъ въ то время понятій о пастушеской поэзіи, заслужили общую похвалу. Россійская Академія наградила автора золотою медалью. Журналы величали его достойнымъ подражателемъ Геснера, единственнымъ сельскимъ нашимъ поэтомъ, которому *Панъ*, вмѣстѣ съ *свирѣлію* (*), передалъ и свое имя. Въ сущности же, что такое эти идилліи? По содержанію, онѣ одинаковы съ эклогами Сумарокова: таже любовь пастуховъ и пастушекъ, «чистая подобно водѣ ихъ кристальныхъ петочниковъ», какъ видно изъ словъ Флоріана, выставленныхъ авторомъ въ эпиграфѣ; по цѣли, онѣ относятся къ моральному стихотворству: «главная прелесть пасторали, учить тотъ же Флоріанъ, возбуждать въ читателяхъ добродѣтели». Но такихъ пастуховъ и пастушекъ, какіе выведены Панаевымъ, не существовало ни въ какихъ странахъ свѣта. Міръ, имъ представляемый, есть сказка, лишенная даже внѣшняго интереса, за исключеніемъ стиха, довольно свободнаго и гладкаго по тому времени. Если же, какъ было замѣчено критикой, авторъ изображалъ не мечту, а человека, какимъ онъ долженъ быть при патріархальной простотѣ, то читателю остается пожелать о внутренней пустотѣ и ничтожной жизни будущихъ идеаловъ человечества. Народнаго элемента, разумѣется, и искать нечего. Правда, описанія нѣкоторыхъ мѣстностей напоминаютъ кой-какими чертами русскую природу, но просторы, поселенные въ этихъ мѣстахъ, не имѣютъ въ себѣ ничего русскаго. Даже Палемонъ, дѣйствующее лице одной идилліи, почитавшейся лучшею, ни сколько не похожъ на нашего крестьянина, хотя бы его звали Филимономъ. Поэтому не удивительно, что тѣ изъ литераторовъ, которые не были отуманены французскою теоріей искусства, а смотрѣли на отношеніе его къ жизни болѣе правильнымъ взглядомъ, смѣялись надъ явными искаженіями природы въ идилліяхъ. Крыловъ въ «Канѣ», кн. Долгорукій въ стихотвореніи «Жизнь», забавно представляютъ разочарованіе людей, составившихъ себѣ понятіе о сельскомъ бытѣ по Геснеру и его послѣдователямъ.

(*) Разборъ идилліи Гнѣдича «Рыбаки» (Благонамѣренный 1822, №№ 17, 21, 22, 29, 36). Издатель Благонамѣреннаго, А. Измайловъ, при этомъ замѣтилъ:

И гербъ Панаевымъ съ свирѣлію вѣдь данъ.

Въ дружескомъ кругу, Панаева прозвали Аркадинымъ: самъ онъ жену свою называлъ Филлидою, именемъ пастушки, не рѣдко встрѣчающейся въ его идилліяхъ.

Пушкинъ спрашивалъ у русскаго Геснера, гдѣ онъ нашелъ своихъ пастуховъ и пастушекъ—въ шустеръ-клубъ или на Красномъ кабачкѣ.

Въ Германіи Геснеръ недолго пользовался славой: Лессингъ нанесъ ему ударъ своею критикой, а нѣмецкіе стихотворцы лучшими образцами идилліи. Эти образцы, съ одной стороны, показали, что идиллическая поэзія необходимо требуетъ содержанія народнаго, а съ другой—разавинули ея предѣлы, внеся въ нее не одниъ бытъ рыбаковъ, пастуховъ и земледѣльцевъ, что уже сдѣлалось избитою темой, но и всѣ простыя отношенія жизни, которыя не исключаютъ и образованности, если только она не ведетъ за собою борьбы, волненія и духовнаго разлада. До появленія «Рыбаковъ» мы уже были знакомы съ нѣкоторыми произведеніями нѣмецкихъ эстетиковъ: переводъ Фоссовой «Луизы» вышелъ одновременно съ стихотвореніями Пашаева (въ 1820 г.). Нѣсколько Бронниковыхъ идиллій было напечатано въ журналахъ. Жуковский художественно воспроизвелъ сельскія стихотворенія Гебеля (Утренняя звѣзда, Лѣтній вечеръ, Овсяный кисель и др.) и піесу Гете: «Путешественникъ и Поселянка», также принадлежащую къ идилліямъ: наивность простолюдинки съ ея обыденнымъ, такъ сказать утилитарнымъ отношеніемъ къ природѣ противопоставлены высоко-развитому и глубоко-поэтическому чувству путешественника, который смотритъ на природу, какъ на произведеніе высочайшаго творчества. Отсюда видно, что понятію о народной идилліи были уже проложены слѣды въ русской литературѣ. Надобно было подкрѣпить это понятіе примѣромъ, что и сдѣлалъ Гнѣдичъ своимъ стихотвореніемъ.

Какъ произведеніе, служившее переходомъ отъ одного направленія къ другому, противоположному, идиллія «Рыбакъ» не выдержана въ цѣломъ. При первомъ опытѣ въ новомъ родѣ трудно отрѣшиться отъ прежнихъ обычаевъ, долго господствовавшихъ въ литературѣ. И потому авторъ нерѣдко сбивается на старыи ладъ, заставляя дѣйствующія лица выражать мысли и чувства несвойственнымъ ихъ положенію образомъ. Большою частію этотъ ладъ поднимается выше настоящаго, особенно въ рѣчахъ молодаго рыбака при воспоминаніи о слѣпомъ пѣвцѣ:

Онъ долго сперва по струнамъ рокоталъ молчаливый,
То важною думой сѣдое чело осѣняя,
То къ небу подьема незрячія, бѣлыя очи,
Какъ вдругъ просвѣтлѣло сѣдое чело пѣсношѣца,
И вдругъ по струнамъ зазвучали костистые пальцы:
Въ рукахъ задрожала струнчатая кобза, и пѣсни,
Волшебныя пѣсни, изъ старцевыхъ устъ полетѣли.

Или его же описаніе ночи:

Ночь между тѣмъ наступала,
Чудесная ночь! ни единой звѣзды на лазури,
А серебряный свѣтъ разливался по небу ночному!
Все было такъ тихо, ни дрогнулъ ни листь на осинѣ:
Все было безмолвно.

Къ такимъ же обмолвкамъ принадлежатъ и слѣдующія слова простолюдина:

Поколѣ жъ есть руки, а ихъ не простру за подачей...
Изъ мрамора двѣ, прелестныя, только не дышатъ...
Въ немъ (въ теремѣ) старецъ бояринъ сидѣлъ сребровласый въ семействѣ
Цѣтущихъ дѣтей.

Не прилично и торжественное обращеніе боярина (*) къ рыбаку:

Сыграй намъ, о *рыбарь*, пріятную, сельскую пѣсню.

Да и самъ авторъ почему-то величаетъ рыбаковъ—рыбарами: «подъ кущей одною два *рыбара* жили пришельцы».

Впрочемъ, невыдержанность тона въ нѣкоторыхъ мѣстахъ покрывается другими частями идилліи, гдѣ авторъ старался соблюдать просторѣчье и пользоваться народными повѣрьями. Онъ заставилъ молодаго рыбака, при описаніи боярскихъ палатъ, подражать древне-русской былинѣ о Соловьѣ-Будиміровичѣ, построившемъ за одну ночь чудный теремъ для племянницы князя Владиміра, Занавы Путятишны:

Но диву я дадеа, увидѣвши теремъ высокій,
Чудесный, прозрачный! какъ въ сказкѣ, землякъ, говорится:
Что на небѣ звѣзды и въ теремѣ звѣзды, и мѣсяць,
И вся въ терему красота поднебесная видна' (**).

Удачно также воспользовался онъ вѣрою простонародья въ счастливыя примѣты. На угрозу стараго рыбака худымъ предвѣстіемъ, молодой видитъ въ ласточкѣ вѣстницу счастья:

Смотри, вѣдь опять надо мной, и щебечеть и вьется.
О ловля, счастливая ловля! лишь день вечерѣеть.
Лишь солнце садится, и рыба стадами играетъ.
«Ловися мнѣ рыба, ловися и окунь и щука!»

Кромѣ того, во второй части идилліи съ поэтическимъ чувствомъ описана петербургская свѣтлая ночь, когда

Безъ звѣздъ и безъ мѣсяца небо ночное сіяетъ,
И пурпуръ заката сливается съ златомъ востока;
Какъ будто денница за вечеромъ слѣдомъ выводитъ
Румяное утро.

Катенинъ, въ стихотвореніи «Ольга» (1816) (***)—новомъ переводѣ Бюргеровой баллады «Ленора»—старался сохранить элементъ народности. Полемика, возбужденная этимъ переводомъ, замѣчательна тѣмъ, что обнаружила различіе тогдашнихъ литературныхъ взглядовъ. Гнѣдичъ, сличивъ переводы Катенина и Жуковского, неблаго-склонно отнесся къ первому и отдалъ все преимущество второму (****). Большинство литераторовъ и публики стали на сторонѣ его мнѣнія. Но Грибоѣдовъ и А. Пушкинъ посмотрѣли на дѣло серьезнѣе. Красота стиха въ переводѣ Жуковского не была для нихъ главнымъ предметомъ, устраняющимъ другія требованія отъ переводчика. Грибоѣдовъ, въ отвѣтъ Гнѣдичу, доказывалъ, что переводъ Жуковского невѣренъ и что

(*) Графа А. С. Строгонова, президента Академіи Художествъ, памяти котораго и посвящено стихотвореніе.

(**) Въ былинѣ:

На небѣ солнце, въ теремѣ солнце;
На небѣ мѣсяць, въ теремѣ мѣсяць;
На небѣ звѣзды, въ теремѣ звѣзды;
На небѣ заря, въ теремѣ заря—
И вся красота поднебесная.

(***) Ист. Хр. II, стр. 420 и 426, прим. 2.

(****) О вольномъ переводѣ Бюргеровой баллады: «Ленора» (Сынъ Отеч. 1816, № 27).

въ «Ольгѣ» Катенина сохраненъ элементъ народности (*). Пушкинъ, всегда стоявшій выше ходячихъ мнѣній, также оцѣнилъ попытку Катенина: «Бюргерова Ленора была уже извѣстна у насъ по невѣрному и прелестному подражанію Жуковского, который сдѣлалъ изъ нея тоже, что Байронъ въ своемъ Манфредѣ сдѣлалъ изъ Фауста: ослабилъ духъ и формы своего образца. Катенинъ это чувствовалъ и вздумалъ показать намъ Ленору въ энергической красотѣ ея первобытнаго созданія: онъ написалъ Ольгу. Но сія простота и даже грубость выраженій, сія *сволочь*, замѣнившая *воздушную цѣпь тѣней*, сія *вистлица*, вмѣсто *сельскихъ картинъ*, озаренныхъ лѣтнею луною, непріятно поразили непривычныхъ читателей.... Послѣ «Ольги» явился «Убійца» (**) лучшая, можетъ быть, изъ балладъ Катенина. Впечатлѣніе, имъ произведенное, было и того хуже. Убійца, въ припадкѣ сумасшествія, бранилъ мѣсяцъ, свидѣтеля его злодѣянія—*плтшшвымъ*. Читатели, воспитанные на Флоріанѣ и Парни, расхохотались и почли балладу ниже всякой критики» (***).

§ 44. При обзорѣ драмы (§ 27), мы положили отнести къ особому изложенію отчетъ о дѣятельности тѣхъ писателей, которымъ она наиболѣе обязана своими успѣхами въ первое двадцатилѣтіе нынѣшняго вѣка. Главное мѣсто между ними принадлежитъ князю А. А. Шаховскому (1777—1846). Піесы его (числомъ до 70, если не больше) составили разнообразный и пріятный репертуаръ, долгое время державшійся на столичныхъ и провинціальныхъ театрахъ. Независимо отъ удовольствія, доставляемаго ими зрителямъ, онѣ дѣйствовали воспитательнымъ образомъ на артистовъ. Домъ Шаховскаго былъ сборнымъ пунктомъ не только для служившихъ при театрѣ и писавшихъ для театра, но и вообще для образованныхъ любителей сценическаго искусства. Бесѣды въ кругу людей, постоянно у него собиравшихся, развивали понятія о драмѣ и ея исполненіи, а также питали благородную привязанность къ этому роду поэзіи.

Шаховской имѣлъ чрезвычайную страсть къ театру, которая не охлаждалась въ теченіе сорока пяти лѣтъ, съ того самаго времени, какъ онъ получилъ мѣсто репертуарнаго члена въ петербургской театральной дирекціи (1801), обязанность котораго въ то время состояла въ постановкѣ піесъ и въ содѣйствіи развитію молодыхъ сценическихъ талантовъ. Эта страсть не уступала даже служебнымъ непріятностямъ. Принужденный, по столкновенію съ директоромъ театровъ (кн. Тюфякинымъ), оставить свою должность (1818), онъ не переставалъ руководить артистовъ, обращавшихся къ нему за совѣтами, и съ прежнимъ усердіемъ поставлялъ одну за другой піесы. Уволенный (1825), по новому столкновенію съ кн. Долгорукимъ, предсѣдателемъ комитета, занимавшагося составленіемъ правилъ управленія театрами (****), онъ переселился въ Москву, гдѣ на свободѣ и по волѣ дѣлалъ тоже самое, что дѣлалъ въ Петербургѣ, по обязанностямъ службы.

Числу піесъ, написанныхъ Шаховскимъ, не уступаетъ ихъ разнообразіе. Между ними находятся всѣ виды и формы драматической поэзіи: собственно драма, трагедія,

(*) Ib. № 30.

(**) Подражаніе «Ивиковымъ журавлямъ». Какъ здѣсь журавли открываютъ убійцъ, такъ, въ балладѣ Катенина, мѣсяцъ обличаетъ убійцу.

(***) О сочиненіяхъ Катенина (Сочин. Пушкина, изд. Анненкова, т. V).

(****) Въ указѣ объ отставкѣ было сказано, что Шаховскій увольняется для лучшаго устройства комитета (Театральныя воспоминанія Р. Зотова 1859, стр. 70).

комедія, опера, водевиль, прологъ, балетъ. Каждый видъ обозначался иногда особеннымъ названіемъ: драма — романтическая; комедія — романтическая, анекдотическая, историческая; опера — анекдотическая, волшебная, волшебнo-комическая, опера-водевиль; водевиль — волшебный, пословица - водевиль. Видовое отличие пьесы нередко замѣнялось общимъ: зрѣлище, представленье, быль, трилогія, драматическая поэма и т. п. Главнымъ же родомъ, свойственнымъ таланту автора, была комедія. Шаховскаго, и въ рецензіяхъ и въ эпиграммахъ, называли комикомъ, такъ что въ исторіи литературы онъ занялъ мѣсто «шумнымъ роемъ своихъ комедій», по выраженію Пушкина.

На долгомъ пути дѣятельности кн. Шаховскаго замѣчается нѣсколько направлений. Началъ онъ свою литературную карьеру строгимъ классикомъ, который видѣлъ высшіе авторитеты драмы въ произведеніяхъ французскихъ писателей. По его мысли былъ основанъ Драматическій Вѣстникъ (§ 27), подъ редакціей Д. Языкова, отстаивавшій превосходство теорій и преданій французскаго классицизма надъ мѣщанской трагедіей и другими явленіями, несогласными съ ученіемъ Вольтера. Первымъ чистовиѣшнимъ уклоненіемъ отъ руководящихъ образцовъ служили вольные стихи, которые Шаховской сталъ вводить на мѣсто александрійскихъ. Незадолго до 1820 г., онъ перешелъ на сторону романтической драмы, сюжеты для которой заимствовалъ изъ Шекспира, В. Скотта, Оссіана и Пушкина. Сущность третьяго направленія (съ начала двадцатыхъ годовъ) объяснена самимъ авторомъ, въ письмѣ къ князю В. О. Одоевскому: «Успѣвши нѣсколько въ старомъ, или обыкновенномъ, я ищу для нашего театра если не совѣтъ новаго, то по крайней мѣрѣ не столь условнаго, какъ драматическія подражанія, приписанныя къ намъ съ пудрою, шитыми кафтанамъ и красными каблуками изъ Парижа. Я хочу моими опытами открыть дорогу людямъ, имѣющимъ больше моего дарованія, для обогащенія нашей драматической литературы и даже къ созданію своего собственнаго театра на обширномъ и прочномъ фундаментѣ (*). Стремясь къ этой цѣли, Шаховскій написалъ русскимъ размѣромъ драму въ 4-хъ дѣйствіяхъ: «Соколъ князя Ярослава тверскаго или суженый на бѣломъ концѣ» (1823). Другими, позднѣйшими опытами такого направленія были двѣ пьесы: драма «Двумужница» (1832) и опера «Чурова долина» (1844).

По количеству пьесъ, сочиненныхъ кн. Шаховскимъ, можно, до нѣкоторой степени, заключать и объ ихъ качественномъ значеніи. Ему некогда было вдумываться въ драматическіе сюжеты и обрабатывать ихъ съ должнымъ тщаніемъ. Разнообразіе и плодovitость таланта рѣдко соединяются съ его глубиною. Только гениальность представляетъ сочетаніе такихъ свойствъ, а Шаховскій не принадлежалъ къ числу гениальныхъ людей, и, какъ комикъ, вообще плывалъ не глубоко. Всѣ его пьесы имѣли большее или меньшее достоинство относительное, но нѣтъ изъ нихъ ни одной съ достоинствомъ безотносительнымъ, которое даетъ поэтическому произведенію силу не только переживать своего творца, но и сохраняться надолго въ потомствѣ. По всему вѣроятію, самъ Шаховскій чувствовалъ внутреннюю слабость своихъ пьесъ, почему и старался прикрывать ее блестящей обстановкой: вводилъ въ нихъ, часто не кстати, музыку и танцы, пользовался машинами и декорациями, короче — угощалъ публику великолѣпнымъ спектаклемъ. Кромѣ того, любилъ онъ выставлать портреты современниковъ, извѣстныхъ публикѣ съ комической стороны, отчего вмѣсто лица, какъ представителя извѣстнаго общественнаго круга, являлась на сценѣ личность принадлежащая одному человѣку.

(*) Русский Архивъ 1864, стр. 866—868.

Публика смѣялась, потому что «смѣяться не грѣшно надъ тѣмъ, что есть смѣшно», и самъ авторъ оставался доволенъ успѣхомъ представленія, забывая, что подобный успѣхъ крайне недолговѣченъ, такъ какъ со смертію осмѣянной личности почти всегда умираетъ и пѣса. Въ извиненіе Шаховскаго можно замѣтить, что современное ему значеніе театра обуславливало спѣшность авторской работы. Мы видѣли, какъ, при Александрѣ I, сильно развилась въ публикѣ охота къ сценическимъ представленіямъ. Кромѣ императорскихъ театровъ устраивались театры антрепренерами или завсидились знатными и богатыми дворянами; сверхъ того, возникли еще такъ называемые благородные спектакли. Развившейся охотѣ необходимо было удовлетворять разнообразнымъ репертуаромъ. Этому разнообразію много содѣйствовали бенефисы. Бенефицианту, для его собственныхъ выгодъ, слѣдовало явиться передъ публикой съ какой-нибудь новой пѣсой,—и вотъ онъ обращался къ литератору съ просьбой приготовить для него, къ извѣстному сроку, драму, или комедію, или по меньшей мѣрѣ водевилъ. Нѣкоторые изъ писателей для театра сами заинтересованы были въ судьбѣ бенефисовъ, потому что въ средѣ драматической труппы имѣли своихъ *protégés* или *protégées*: Гитдицъ—знаменитую трагическую актрису Семенову, Катенинъ — Каратыгина и Каратыгину (бывшую Колосову), Шаховской — Брянскаго, Валберхову и Ежову. Отъ успѣха игры во многомъ зависѣлъ успѣхъ самой новопоставленной пѣсы, такъ что авторъ и бенефициантъ какъ бы дѣлили пополамъ рукоплесканія зрителей. Такого срочнаго, заказнаго сочинительства на долю Шаховскаго приходилось гораздо больше, чѣмъ на долю другихъ драматическихъ писателей: въ годъ ставилъ онъ по двѣ, по три пѣсы, а иногда и болѣе. Мудрено ли, что, при скорописаніи, онъ былъ вынужденъ многое брать изъ иностранныхъ образцовъ, не имѣя времени ни производить оригинальнаго, ни тщательно обдумывать передѣлку заимствованнаго? Не смотря, однакожъ, на это, и относительное значеніе пѣсѣ Шаховскаго ставить его на почтенное мѣсто въ исторіи нашей драматической литературы. Въ драмѣ, равно какъ и въ другихъ родахъ поэзіи, кромѣ глубины содержанія и художественнаго строя, есть другія достойныя качества, производящія сильное впечатлѣніе на публику—разнообразіе сюжетовъ, живость дѣйствія, непритворная веселость, остроуміе. Они-то и были причиною, по которой публика принимала пѣсы Шаховскаго съ большимъ удовольствіемъ. Многимъ также ему обязаны естественность и свободное теченіе разговора, какъ въ прозѣ, такъ и въ стихахъ, хотя при этомъ мы должны сдѣлать оговорку, что, навывкнувъ въ искусствѣ легко владѣть стихомъ, авторъ иногда безъ нужды развязывалъ языкъ своимъ героямъ и героинямъ, которые отъ того впадали въ многословіе. Не малой заслугой его служить и то, что онъ сумѣлъ отрѣшиться отъ условій французскаго классицизма, перешелъ на сторону романтической школы и даже старался нѣкоторыми опытами заложить основаніе народной русской драмы.

Лучшія изъ комедій Шаховскаго представляютъ характеръ и затѣи дворянъ средней руки, большею частію необразованныхъ и недалняго ума, которые, по своему состоянію и общественному положенію не принадлежа ни къ бѣднымъ помѣщикамъ, ни къ знатному, столбовому дворянству, тянулись за послѣднимъ, желая изъ полубаръ стать полными, настоящими барами. Отличительная черта такихъ личностей—смѣшное тщеславіе, чванство. Счастіе свое полагали они въ знакомствѣ, хотя-бы случайномъ и временномъ, съ важными по роду и сану особами. Не столько богатство, сколько титулъ и чинъ привлекали ихъ: первое могло быть имъ и не въ диковинку, а второй и третій служили для нихъ идеаломъ. Чтобы достигнуть этого идеала, они приводили

въ движеніе всѣ имѣющіеся у нихъ средства: давали именитымъ лицамъ обѣды, устраивали для нихъ праздники и доморощенные спектакли, расточали передъ ними лесть и угодничество, отрекались отъ бѣдной и темной родни, навязывались въ родню къ титулованнымъ однофамильцамъ, не замѣчая въ простотѣ ума, что чествуемый ими знатный и чиновный людъ относится къ ихъ ухаживанію или съ презрительною снисходительностію или съ насмѣшкою, иногда даже нескрываемою. Не изъ желанія получить мѣсто это дѣлалось, а просто изъ желанія разыгрывать непривычную роль важнаго человѣка и почваниться передъ ровней, которая болѣею частію завидовала своему собрату, тѣмъ еще сильнѣе подстрекая его на тщеславныя затѣи. Удовлетвореніе такого желанія и служило самою сладкою наградою за хлопоты и расходы. Развязка выходила двоякая: или трагическая, когда въ итогѣ кажущагося успѣха оказывалось разстроенное имѣніе; или комическая, состоявшая въ катастрофѣ разоблаченія, когда князья и графы отворачивались отъ притязателя на ихъ знакомство, и онъ испытывалъ положеніе человѣка, который случайно сѣлъ въ чужія сани, а потомъ былъ принужденъ изъ нихъ выдти со стыдомъ и снова стать на одной доскѣ съ своей братіей—полубарами. Одинъ изъ такихъ полубаръ представленъ Шаховскимъ въ двухъ (не напечатанныхъ пьесахъ:) «Полубарскія затѣи», или «Домашній театръ», (представлена 1808), и «Чванство Транжирина или слѣдствіе полубарскихъ затѣй» (представлена 1822). Въ послѣдней, чванству главнаго лица (Транжирина) нанесла жестокий ударъ или, какъ выражается самъ Транжиринъ, зарѣзала его родная сестра, по батюшкѣ «Коновна», которой онъ не хотѣлъ знать, хотя и побаивался ея отважнаго нрава. Эта бѣдная, но бойкая женщина, не смотря на строгое приказаніе брата не пускать ее, ворвалась къ нему съ дочерью, въ поношенномъ и старомодномъ платьѣ, въ самый развалъ праздника, который онъ давалъ какому-то графу съ пѣснями и плясками дворовой челяди, смутила гостей грубыми упреками зазнавшемуся кровному родному, а его самага скомпрометировала самымъ жестокимъ образомъ. Пьеса исполнена комизма и въ представленіи, успѣхомъ котораго одолжена была преимущественно московскому комику Щепкину (въ роли Транжирина), постоянно производила общій хохотъ. Обѣ комедіи выставили не воображаемую, а дѣйствительную забавную слабость средняго дворянства въ первую четверть текущаго столѣтія. О ней часто говорятъ мемуары и другія произведенія литературы, между прочимъ басня Крылова: «Лягушка и Волъ», переведенная изъ Лафонтена. Показавъ печальный исходъ затѣй Лягушки, вздумавшей сравняться съ Волкомъ, баснописецъ заключаетъ:

И диво ли, когда жить хочетъ мѣщанинъ
Какъ именитый гражданинъ,
А сошка мелкая, какъ знатный дворянинъ.

Только на мѣсто мелкой сошки, т. е. мелко-помѣстныхъ дворянъ, Шаховской ставилъ дворянъ средней руки съ хорошимъ состояніемъ, полубаръ, которые къ настоящимъ барамъ относятся почти такъ же, какъ Мольеровъ «мѣщанинъ во дворянствѣ» относится къ дворянству. Третья комедія: «Пустодомы» (1820) представляетъ помѣщика и помѣщицы затѣи другаго рола. Князь Радугинъ, богатый землевладѣлецъ или, какъ тогда говорили, душевладѣлецъ, совершенно незнакомый съ русскою жизнію и условіями русскаго сельскаго хозяйства, производитъ реформы въ имѣніи, руководствуясь единственно книгами и совѣтами бібліотекаря своего, тупаго педанта Инквартуса. На дѣлѣ оказалось, что различные проекты, вмѣсто ожидаемыхъ отъ нихъ

улучшеній и доходовъ, привели къ долгамъ и разоренію. Придумывая въ кабинетѣ съ Инквартусомъ планы хозяйственныхъ преобразованій, князь не видитъ, что въ домѣ его крайній беспорядокъ. Жена его, свѣтская дама, мотовствомъ своимъ еще болѣе усиливала пустодомство, которое ложилось тяжкимъ гнетомъ на крестьянъ и причиняло страшный вредъ дѣтямъ, остававшимся безъ надзора. Только горничная да управитель (онъ же и стряпчій), пользуясь слабостями господъ, умѣли набивать себѣ карманы. Чтобы поправить разстроенныя дѣла князя, сестра его отдала въ закладъ свое наслѣдство. Но это была временная помощь. Коренное спасеніе получаютъ пустодомы отъ дяди своего, простаго, но здравомыслящаго помѣщика; узнавъ о жизни племянника и племянницы, онъ пріѣзжаетъ въ городъ, выкупаетъ изъ залога ихъ имѣніе и увозитъ ихъ въ деревню, говоря прожектеру:

... Я не дамъ тебѣ на вздоры разоряться;
Педантовъ не велю пускать къ тебѣ на дворъ.
И мучить мужиковъ напрасно не дозволю.

Хотя нѣкоторые театральные критики и ставили «Пустодомовъ» въ число лучшихъ піесъ Шаховскаго за многія искусно веденныя въ ней сцены и за свободный разговорный языкъ, однакожь ясно, что комикъ, въ лицѣ Радугина, мѣтилъ въ явленіе исключительное, не подходившее подъ уровень обычнаго помѣщичьяго быта. Нѣтъ сомнѣнія, что и до 1820-го года, когда написана комедія, въ умѣ нѣкоторыхъ, впрочемъ очень немногихъ, сельскихъ хозяевъ, возникала мысль объ устройствѣ земледѣлія на болѣе правильныхъ началахъ съ цѣлію—при возможно-меньшихъ расходахъ на землю, получать возможно-большій доходъ съ нея. Это доказывается тѣми голосами въ нашей литературѣ, которые, въ слѣдъ за возникшею мыслию, раздавались какъ отпоръ ей, какъ защита прежняго, доморощеннаго. Такъ небольшая книжка «Плугъ и соха» (1807), графа Растопчина, стоитъ за старыя орудія для паханія, показывая непригодность агрономическихъ нововведеній на Руси; такъ еще Крыловъ, въ «Огородникѣ и Философѣ» (1811), смѣется надъ послѣднимъ, потому что онъ, слѣдуя книгамъ, остался безъ огурцовъ, тогда какъ у перваго, не отступавшаго отъ старины, все въ огородѣ взошло и поспѣло. Но отъ такихъ явленій далеко еще до помѣщика въ родѣ Радугина, который замѣняетъ ручную работу машинами, разводитъ ревень и свекловицу, устраиваетъ водопроводы, употребляетъ торфъ для сидки вина. Когда очень талантливый профессоръ московскаго университета Павловъ, по возвращеніи изъ-за границы началъ въ началѣ двадцатыхъ годовъ читать лекціи раціональнаго сельскаго хозяйства; на которыхъ доказывалъ несостоятельность общепринятой у насъ трехпольной системы и развивалъ выгоды системы плодоперемѣнной, то лекціи его сильно дѣйствовали на умы молодыхъ слушателей, но сельскіе хозяева недовѣрчиво относились къ новымъ понятіямъ, заимствованнымъ у знаменитаго въ то время нѣмецкаго агронома Теэра. Поэтому я долженъ сказать, что комедія Шаховскаго, по малой мѣрѣ, была несвоевременна; отъ этого, вѣроятно, публика находила князя Радугина неестественнымъ. Въ самомъ дѣлѣ трудно представить, чтобы такой ученый болванъ, какъ Инквартусъ, могъ имѣть вліяніе на князя, хотя тоже педанта въ своемъ родѣ, но все же выдавшаго людей умныхъ и дѣльных. Притомъ Инквартусъ очень напоминаетъ собою другаго чудака — Синекдохоса, въ комедіи Княжнина: «Неудачный примиритель». Оба комика, ради смѣха, вывели карикатуры, а не живыя лица.— Изъ другихъ піесъ Шаховскаго особенно нравились: Казакъ-Стихотворецъ, опера-во-

левиць; Урокъ кокеткамъ, или Липецкія воды, комедія; Феодоръ Григорьевичъ Волковъ, драма; Аристофанъ, или всадники, комедія; Фицъ, волшебная трилогія (изъ Руслана и Людмилы, Пушкина).

Кромѣ матеріаловъ, означенныхъ въ подстрочныхъ указаніяхъ, см. еще: Лѣтопись русскаго театра, Аранова (1861); О заслугахъ кн. Шаховскаго въ драматической словесности и литературныя и театральныя воспоминанія (Разныя сочиненія С. Аксакова, 1838).

Прим. Что касается до отношеній кн. Шаховскаго къ современнымъ ему передовымъ литераторамъ, то въ этомъ случаѣ онъ пользовался дурною славою, которая, можетъ быть, была и преувеличенною. Онъ навлекъ на себя неудовольствіе карамзинистовъ пьесой «Новый Стеригъ», осмѣявшей сентиментальнаго путешественника, графа Пронскаго. Хотя подъ этимъ графомъ разумѣлся вѣрнѣе князь Шаликовъ, доведшій сентиментализмъ до комической крайности, но все знали, что начало такому направленію въ нашей литературѣ положено Письмами русскаго путешественника и Бѣдой Лизой. Притомъ Шаховской былъ членъ «Бесѣды» и дѣятельный сторонникъ Шинкова, противника Карамзина. Другая его комедія: «Липецкія воды», направленная противъ Жуковскаго, увеличила число недруговъ комика, тѣмъ болѣе что пьеса имѣла успѣхъ на сценѣ и раздѣлила петербургскую публику на двѣ партіи (*). Шаховской давали поводы обвинять себя въ недоброжелательствѣ къ талантамъ, особенно драматическимъ. Утверждали, что онъ, восхищаясь трагедіями Озерова при чтеніи ихъ въ домѣ Оленина, старался однакожъ вредить ихъ успѣху на театрѣ. Самую болѣзнь и смерть трагика приписывали раздраженію и горести, причиненнымъ интригами его недоброжелателя. Кому тогда не были извѣстны стихи Жуковскаго изъ Посланія къ кн. Вяземскому и В. Пушкину, что творецъ Димитрія (Донскаго) угаснулъ отъ печали, какъ слѣдствіе зависти, вплетавшей терніе въ лавровый вѣнокъ? Ходилъ также слухъ, будто кн. Шаховской заимствовалъ сюжетъ своей оперы: «Любовная почта» изъ задержанной имъ рукописной пьесы Лукницкаго: «Денщикъ-виртуозъ». Нѣкоторые лица драматической труппы имѣли также причину оставаться имъ недовольными: покровительствуя Валберховой, онъ тѣснилъ Каратыгинну и Семенову. Коротко знавшіе Шаховскаго объясняютъ дурную его славу тѣмъ, что онъ, управляя театромъ, самъ находился подъ управленіемъ извѣстной особы (актрисы Ежовой) (**). Вотъ слова С. Аксакова: «Ежова умѣла раздражать Шаховскаго, а въ раздраженіи Шаховской бывалъ несправедливъ и на словахъ, и на дѣлѣ... Добродушный, горячій до смѣшнаго самозабвенія, онъ одну половину обвиненій наговорилъ и наклепалъ на себя самъ, а другая произошла отъ недоразумѣній, зависти и клеветы петербургскаго театральнаго міра, раздраженнаго нововведеніями Шаховскаго» (***) (См. въ Рус. Архивѣ 1869 г.: «Отношеніе Озерова къ Оленину», «Къ біографіи Озерова» и По поводу этой статьи; также мою Ист. Хр. II, 418—419).

Въ обществѣ Шаховскаго, Катенинъ (1792—1853) былъ строгимъ и неизмѣннымъ классикомъ. Французскіе трагики имѣли для него значеніе высшихъ образцовъ, и то не все, а исключительно времени Людовика XIV и немногіе ихъ послѣдователи. Въ Вольтерѣ видѣлъ онъ уже оппозитъ отъ прямого искусства, виновника ложныхъ взглядовъ на драму. Раздѣленіе поэзіи на классическую и романтическую называлъ онъ вздорнымъ, ни на какомъ ясномъ различіи не основанномъ. Надъ восторженными поклонниками нашихъ литераторовъ Шекспиру смѣялся, замѣчая, не безъ основанія, что въ большинствѣ случаевъ этотъ восторгъ есть припадокъ моды, а не плодъ дѣйствительнаго знакомства съ предметомъ восторга. Когда Шаховской перешелъ къ романтическому направленію драмы, заимствуя сюжеты то изъ Шекспира, то изъ Вольтеръ-

(*) Письмо Жуковскаго къ роднымъ (Рус. Арх. 1864, стр. 459 и д.).

(**) Почему и говорили, что она держитъ князя въ еявыхъ рукавицахъ.

(***) Литерат. и театр. воспоминанія

Скотта, Катенинъ упрекалъ его въ заблужденіи, въ поворотъ съ настоящей дороги на ложную. Знаніе многихъ иностранныхъ языковъ дало ему возможность познакомиться съ теоріею словесности и исторіей литературы по хорошимъ источникамъ. Усвоенныя имъ понятія о поэзіи вообще, о драматической въ особенности изложилъ онъ въ рядѣ статей, которыя подъ названіемъ «Размышленія и разборы» печатались въ «Литературной газетѣ», Дельвига (1830). Последнія пять статей (о театрѣ) заняты критикой Шлегелева курса драматической поэзіи и содержатъ въ себѣ апологію французско-классической трагедіи. Такимъ образомъ, начитанность не измѣнила взглядовъ Катенина. Въ похвалу ему слѣдуетъ сказать, что эта вѣрность одному и тому же была въ немъ не упрямствомъ самолюбія, а искреннимъ убѣжденіемъ добросовѣстнаго человѣка, любившаго литературу и разсуждавшаго о ней не съ чужаго голоса. Его раздражали критическіе толки журналовъ, которые, единственно по пристрастію къ новымъ идеямъ, иногда воспринятымъ изъ десятыхъ рукъ, были несправедливы къ прежнему, старому, которому сами недавно поклонялись. «Врагъ непримиримый всѣхъ пристрастныхъ и одностороннихъ сужденій», говоритъ онъ о себѣ, «я старался обличить неправоту нѣмъ господствующихъ, отнюдь не съ намѣреніемъ ввести вмѣсто ихъ противныя — да и только; всѣ исключительныя системы вредны; во всѣхъ формахъ условныхъ можетъ жить красота неизмѣнная. Предметъ искусствъ вообще — человѣкъ; драматическаго въ особенности — человѣкъ въ дѣйствіи. Кто сумѣетъ пружины сего дѣйствія, нравы, чувства и страсти изобразить вѣрно, сильно и горячо, тотъ заслужитъ похвалу знающихъ, отдѣльно отъ принятаго имъ по мѣстному обычаю или произвольному выбору костюма; симъ-то достоинствомъ равно стяжали себѣ безсмертіе и Софоклъ, и Шекспиръ, и Расинъ» (*). Пушкинъ вѣрно подмѣтилъ главную черту въ образѣ мыслей и въ литературствѣ Катенина, сказавъ о немъ, что онъ питалъ отвращеніе отъ мелочныхъ способовъ добывать успѣхи и оставался самостоятельнымъ: «Никогда не старался онъ угождать господствующему вкусу въ публикѣ; напротивъ, шелъ всегда своимъ путемъ, творя для самого себя, что и какъ ему угодно. Онъ даже до того простеръ свою гордую независимость, что оставлялъ одну отрасль поэзіи, какъ скоро становилась она модною, удалялся туда, куда не сопровождали его ни пристрастіе толпы, ни образцы какого-нибудь писателя, увлекающаго за собою другихъ» (**).

Литературная практика Катенина согласовалась съ его теоріей. За образцами обращался онъ къ Корнелю и Расину. Изъ перваго перевелъ онъ 4-е дѣйствіе Гораціевъ (1817) (***), Сиды (1822), Ариадну и Баязета (последнія двѣ не изданы); изъ втораго — Есфирь (1816), и кромѣ того, въ подражаніе ему, написалъ Андромаху (1827). По словамъ Пушкина, Катенинъ «воскресилъ величавый геній Корнеля». Такое мнѣніе скорѣе голосъ пріязни, чѣмъ справедливый приговоръ. Достаточно сравнить переводъ 4-го дѣйствія Гораціевъ съ подлинникомъ, чтобы видѣть, на сколько сила чувствъ и ихъ выраженія у французскаго трагика потеряли отъ переводчика. Оригинальная же трагедія Андромаха вяла и безцвѣтна. Публика, по свидѣтельству самого Пушкина, относилась къ сочиненіямъ Катенина вообще холодно; но обвинять ее за это нельзя:

(*) Литер. Газета, Дельвига, т. II, стр. 254.

(**) Соч. Пушкина, изд. Анненкова, т. V, стр. 351.

(***) Первые три дѣйствія переведены другими; пятое оставлено безъ перевода (Ист. Хр. II, 426).

въ нихъ нѣтъ того, что необходимо каждому поэтическому произведенію — поэзіи, есть соблюденіе извѣстныхъ правилъ и добросовѣстность исполненія.

Предисловіе Н. Бахтина къ изданію Сочиненій и переводовъ Катенина (2 ч. 1831); Отчетъ Ак. Н. по отдѣленію русскаго языка и словесности, П. Плетнева (въ 1-ой кн. Ученыхъ Записокъ этого отдѣленія, 1834); о сочиненіяхъ Катенина (въ сочин. Пушкина, изд. Анненкова, V); моя Истор. Хр. II, 423—427.

Кокошкинъ съ 1818 по 1823 былъ членомъ конторы по репертуарной части при петербургскомъ театрѣ, а въ 1823-мъ, когда московскій театръ получилъ особое образованіе и особаго директора, онъ поступилъ на эту должность. Здѣсь оказалъ онъ много пользы: вызвалъ комика Щепкина изъ провинціи и пригласилъ другихъ талантливыхъ актеровъ; самъ владея искусствомъ сценической игры, образовалъ нѣсколько новыхъ сюжетовъ и обучалъ начальной практикѣ воспитанниковъ театральной школы. Даже первоклассные артисты, какъ Щепкинъ и Мочаловъ, обращались къ нему за совѣтами, видя въ немъ не только знаніе дѣла, но и любовь къ дѣлу. Выборомъ піесъ, отчетливой ихъ постановкой, онъ старался сдѣлать изъ театра достойное образованной публики удовольствіе и въ самихъ артистахъ развить любовь и уваженіе къ искусству. Годы его директорства дѣйствительно были замѣчательнымъ временемъ въ исторіи московскаго театра. Драматическая труппа могла похвалиться многими талантами: кромѣ Щепкина и Мочалова, въ ней находились Сабуровъ и Сабурова, Рязанцевъ, Живокини, Лавровъ, Степановъ, Рѣпина, Львова-Синецкая, Кавалерова. Было кому играть и въ трагедіяхъ, и въ комедіяхъ, и въ водевиляхъ. Репертуаръ обогащался новыми піесами самого Кокошкина, кн. Шаховскаго, Загоскина, А. Писарева. Развилась и обстоятельная театральная критика въ статьяхъ С. Аксакова, В. Ушакова, Н. Полеваго. Короче, публика посѣщала театръ не потому единственно, что ей больше негдѣ было развлечься, а потому, что онъ не ронялъ значенія драматической поэзіи ни плохимъ репертуаромъ, ни плохимъ исполненіемъ репертуара.

О переводѣ Кокошкинымъ «Мизантропа» и объ оригинальной его комедіи «Воспитаніе или вотъ приданое» мы говорили выше (стр. 197). Прибавимъ здѣсь, что Кокошкинъ, какъ директоръ московскаго театра, былъ много выше, чѣмъ какъ авторъ театральныхъ піесъ.

Упомянемъ еще о двухъ лицахъ, принимавшихъ дѣятельное участіе въ успѣхахъ драматическаго и сценическаго искусствъ: П. Корсаковъ и А. Жандрѣ. Первый, опредѣленный въ дирекцію петербургскаго театра помощникомъ члена репертуарной части (кн. Шаховскаго), самую должность своею былъ обязанъ заботиться о пополненіи репертуара. И онъ дѣйствительно трудился надъ этимъ предметомъ. Изъ подъ неутомимаго пера его выходили сочиненія, переводы и передѣлки иностранныхъ піесъ, начиная съ трагедій и оканчивая балетными программами. Знаніе многихъ иностранныхъ языковъ дало ему возможность работать скоро и поставлять свои работы на срокъ.

Изъ драматическихъ сочиненій Жандра извѣстно подражаніе Шиллеру: «Семела», мнѳологическое представленіе, и двѣ комедіи: «Испытаніе» и «Любовь и разсудокъ». Онъ также участвовалъ съ Грибоѣдовымъ въ передѣлкѣ французской комедіи «Притворная невѣрность» (см. ниже). Сверхъ того, какъ человекъ свѣдущій въ драмати-

ческой литературѣ, помѣщалъ въ журналахъ критическія статьи о постановкѣ піесъ на сценѣ и объ игрѣ въ нихъ артистовъ.

Мелочи изъ запаса моей памяти, М. Дмитріева; Литер. и театр. воспоминанія С. Аксакова; Лѣтопись русскаго театра; Ист. Христ. II, 432—434.

Первое время драматической карьеры Загоскина (Михаила Николаевича, 1789—1852) протекло въ Петербургѣ, гдѣ онъ съ годъ служилъ при театрѣ помощникомъ члена по репертуарной части, познакомился съ Шаховскимъ и сдѣлался горячимъ его послѣдователемъ. Эту карьеру началъ онъ піесой, имѣвшей хорошій успѣхъ: «Комедія противъ комедій, или урокъ волокитамъ» (1815), написанной въ защиту «Липецкихъ водъ», о чемъ самъ авторъ говоритъ въ предисловіи и что видно изъ разговоровъ нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ. Такой услугой Загоскинъ приобрѣлъ расположеніе Шаховскаго, вскорѣ перешедшее въ дружескую между ними пріязнь, но въ тоже время вооружилъ противъ себя враждебную Шаховскому партію литераторовъ (*). Другую піесу: «Господинъ Богатовъ, или провинціалъ въ столицѣ (1817)», публика приняла еще лучше. Главное лице ея (Богатовъ)—степной помѣщикъ, богатый и глупый невѣжда, помѣшавшійся на связяхъ съ знатію и переѣхавшій въ Петербургъ, гдѣ всѣ его обманываютъ и смѣются надъ нимъ, какъ надъ вороной въ павлиньихъ перьяхъ. Въ мысли піесы, равно какъ и въ главномъ лицѣ ея, видимо вліяніе «Полубарскихъ затѣй», почему Грибоѣдовъ и отозвался о Богатовѣ, что онъ богатъ чужимъ добромъ, ходитъ въ кафтанѣ, который стащилъ съ Транжирина (**). Комедія «Вечеринка ученыхъ» (1817) осмѣиваетъ бывшіе тогда въ модѣ литературныя вечера, на которыхъ читались новыя произведенія и нерѣдко присутствовали дамы. Одна изъ такихъ дамъ, въ родѣ «сняго чулка», собираетъ у себя сочинителей, а братъ ея смѣется надъ скучнымъ и нелѣпымъ времяпровожденіемъ. Выслушавъ съ нетерпѣніемъ гимнъ, прочтенный лирическимъ стихотворцемъ, онъ не выдерживаетъ болѣе при видѣ тетради драматическаго писателя, вскакиваетъ съ мѣста и восклицаетъ: «нѣтъ, ужъ это чисто бѣда; посмотри-ка, какую онъ тетрадищу вывалилъ!» Контрастъ между педантическимъ увлеченіемъ женщины-писательницы и противоположнымъ взглядомъ ея брата-оригинала, не умѣющаго да и не желающаго скрывать ни симпатій, ни антипатій своихъ, и составляетъ искренній комизмъ піесы, возбуждавшій въ зрителяхъ столь же искренній смѣхъ.—Комедія «Добрый малый» (1820) серьезнѣе по мысли. Она представляетъ плута и мошенника, который всѣхъ обманываетъ, навѣрняка обманываетъ своего пріятеля и хочетъ отбить у него невѣсту, но который умѣлъ такъ ловко и выгодно поставить себя во мнѣніи другихъ, что его принимаютъ за порядочнаго человѣка и называютъ «добрымъ малымъ». — По переѣздѣ изъ Петербурга въ Москву, Загоскинъ получилъ мѣсто въ конторѣ дирекціи Московскаго театра и

(*) Письмо Д. В. Дашкова къ кн. П. А. Вяземскому (Рус. Арх. 1866, стр. 500—501).

(**) Въ 1817 г. Загоскинъ, вмѣстѣ съ Корсаковымъ, издавалъ журналъ «Сѣверный Наблюдатель», въ которомъ помѣщались замѣтки объ игрѣ актеровъ. Загоскинъ выписалъ слабые стихи изъ комедій Грибоѣдова: «Молодые супруги», съ своимъ комментариемъ. Грибоѣдовъ по этому поводу сочинилъ шуточное стихотвореніе «Лубочный театръ», гдѣ осмѣялъ піесы Загоскина.

продолжалъ драматическіе труды, изъ которыхъ особенно замѣчательны двѣ комедіи: «Урокъ холостымъ, или наслѣдники» (1822) и «Благородный Театръ» (1828). Въ первой, очень забавны сцены уголивости наслѣдниковъ богатому и холостому ихъ дядѣ, который однакожъ видитъ ихъ лицемѣрность и отдаетъ свое имѣніе другому лицу. Предметъ второй — благородные спектакли, которыми въ то время занимались не изъ удовольствія только, но и серьезно, какъ важнымъ дѣломъ. Это — лучшая піеса Загоскина по комизму, по выдержанности характеровъ и по прекрасному стихотворному языку. Изъ лицъ особенно интересны: Любскій, задумавшій у себя благородный спектакль и съ начала до конца находящійся въ тревогѣ и волненіи; Волгинъ, грубый добрякъ, случайно попавшій въ закулисный міръ, вовсе ему неизвѣстный; наконецъ Посшковъ, человѣкъ умный, страстный любитель театра, сочинитель и актеръ, понимающій искусство и только потому смѣшной и даже глупый, что ничего кромѣ искусства не видитъ и не понимаетъ.

Загоскинъ имѣлъ несомнѣнный комическій талантъ, и самую дорогою чертою его таланта была неподдѣльная, добродушная, чисто-русская веселость, которая поэтически понимается и очень цѣнится каждымъ русскимъ человѣкомъ. Эта веселость, по выраженію С. Аксакова, проступаетъ у Загоскина вездѣ: въ характерахъ, въ комизмѣ ихъ положеній, въ живой и свободной рѣчи, которою онъ владѣлъ мастерски, такъ что самые резонеры и добродѣтельные люди его комедій говорятъ по-человѣчески, а не языкомъ автоматовъ. Ее нельзя замѣнить ни остроуміемъ, при которомъ піеса можетъ оставаться скучною и бездушною, ни замысловатой интригой, которая всегда возбуждаетъ любопытство зрителей, но не всегда заставляетъ ихъ смѣяться тѣмъ искреннимъ, душевнымъ смѣхомъ, какимъ они смѣялись, смотря «Богатонова», «Наслѣдниковъ», «Благородный театръ». Вотъ почему его піесы имѣли въ свое время большой успѣхъ, да и теперь нельзя нѣкоторыхъ сценъ читать безъ смѣха. Что касается до сюжета, завязки и развязки, то они однообразны. Даже характеры часто повторяются, съ нѣкоторыми впрочемъ измѣненіями, хотя авторъ и въ видоизмѣненномъ умѣлъ найти забавныя черты и выставить ихъ съ свойственною ему добродушной веселостью. Схему почти каждой піесы начертать легко: неизбѣжная пара влюбленныхъ, противодѣйствующая имъ сила, въ видѣ тетушки или сестры, сила покровительствующая, въ видѣ дяди, брата или друга, изобличеніе какого-нибудь негодая, искавшаго руки хорошей дѣвушки, и выдача ее за мужъ за добраго человѣка, ею любимого. Загоскинъ не отступалъ отъ условныхъ пріемовъ французской комедіи, шелъ по дорогѣ уже избитой и новаго съ этой стороны у него нѣтъ. При томъ онъ работалъ легко и скоро. Въ одинъ годъ (1817) онъ написалъ двѣ комедіи: одну въ пяти, другую въ трехъ актахъ, и сверхъ того усердно трудился для «Сѣвернаго Наблюдателя».

Лѣтопись рус. театра; Біографія М. Н. Загоскина (въ Разныхъ сочиненіяхъ С. Аксакова).

Хмѣльницкій (Николай Ивановичъ, 1789—1846) дебютировалъ комедіей «Говорунъ» (1817), за которой слѣдовали «Воздушные замки» (1818), «Бабушкины пуганъ» (1819), «Семь пятницъ на недѣлѣ или перѣшительный» (1820), «Актеры между собой, или первый дебютъ г-жи Тропольской» (1821), «Суженаго конемъ не объѣдешь» (1821), «Новая шалость или театральное сраженіе» (1822), и другія.

Эти небольшія комедіи, водевили и оперетки почти всѣ переведены или передѣланы съ французскаго. Главное ихъ достоинство—остроуміе, но кромѣ того онѣ отличаются граціозною игривостью куплетовъ, благороднымъ тономъ, не оскорбляющимъ вкуса зрителей пошлою игрою словъ или неприличными двусмысленностями, наконецъ живымъ, легкимъ, свободнымъ разговоромъ. Въ силу этихъ качествъ онѣ имѣли чрезвычайный успѣхъ, долго держались на репертуарѣ и многія изъ нихъ сдѣлались любимыми піесами благородныхъ спектаклей. Можно сказать, что Хмѣльницкій впервые достойнымъ образомъ обработалъ для нашей сцены водевилъ, бывший тогда еще новинкой.

Лѣтопись, рус. театра; Ист. Хр. II, 443—444.

Первые опыты Грибоѣдова въ драмѣ относятся къ тому же времени, когда дѣятельность многихъ литераторовъ усиленно была направлена на пользу театра. По переводѣ изъ Литвы въ Петербургъ, онъ пристроился къ обществу Шаховскаго. Связь съ драматическими писателями (Катенинымъ, Хмѣльницкимъ, Жандромъ, Корсаковымъ) и артистами побудила его трудиться на томъ же поприщѣ. Въ 1815 г. была играна его комедія: «Молодые супруги», переведенная, по совѣту Шаховскаго, съ французскаго подлинника: *Le secret du ménage*. Другая комедія: «Притворная неврѣнность» (1818) есть передѣлка, для бенефиса актрисы Семеновой, піесы Барта: «*Les fausses infidélités*», при участіи Жандра, которому впрочемъ принадлежать только двѣ сцены. Обѣ онѣ имѣли успѣхъ въ представленіи. Кромѣ того для комедіи Шаховскаго: «Своя семья или замужняя неврѣста» (1818) онъ написалъ сцену племянницы съ скупой теткой, во 2-мъ дѣйствіи.

Ист. Хр. II, 527—528.

§ 45. Мы видѣли (*), что на первой ступени своего развитія наша литературная критика была по преимуществу стилистическая. Такою же оставалась она долго и въ періодъ Карамзинскій. Если въ предыдущемъ столѣтіи, начиная съ Ломоносова, встрѣчались уклоненія отъ общаго ея характера, то и въ первое двадцатилѣтіе нынѣшняго вѣка являлись статьи, возвышавшіяся надъ обыкновеннымъ критическимъ уровнемъ. Вотъ нѣсколько тому примѣровъ. Дашковъ, въ полемикѣ съ Шишковымъ, не довольствуется ловлей грамматическихъ и стилистическихъ погрѣшностей своего противника: онъ занятъ серьезнымъ вопросомъ объ отношеніи церковно-славянскаго языка къ русскому и показываетъ необходимую связь между движеніемъ образованія съ одной стороны и введеніемъ неологизмовъ съ другой (**). Жуковский, въ разборѣ сатиръ Кантемира и басенъ Крылова, основываетъ свои сужденія на теоріи и исторіи тѣхъ родовъ словесности, къ которымъ принадлежатъ сочиненія этихъ писателей, другими словами: общее прилагаетъ къ частному, разъясняя притомъ послѣднее сравненіемъ съ другими однородными образцами (***). Каченовскій, при оцѣнкѣ сочиненій и переводовъ И. Дмитріева, слѣдуетъ тому же методу, тогда какъ другіе умѣли только восхищаться баснописцемъ, выражая свой восторгъ похвалами до того избитыми, что онѣ сдѣлались общими мѣстами (****). Строевъ впервые опредѣлилъ

(*) Ист. Русс. Слов. I, § 233.

(**) Ib. II, § 14.

(***) Ib. II, § 30.

(****) Вѣст. Евр. 1806, №№ 8 и 9. Критика Каченовскаго оскорбила Дмитріева, къоторый

настоящее значеніе Россіады, показавъ ея невѣрность въ историческомъ отношеніи и ея незначительность, почти ничтожность въ отношеніи поэтическомъ (*). Изъ ряда вонъ выходятъ также критическія статьи кн. П. Вяземскаго: О жизни и сочиненіяхъ Озерова (**) и о жизни и стихотвореніяхъ П. Дмитріева (***). Но все эти и подобные имъ примѣры были случайностями въ общемъ ходѣ критики. Обратитъ случайное въ постоянную практику предоставлено было Мерзлякову (1778 — 1830), профессору краснорѣчія и поэзіи въ Московскомъ Университетѣ. Заслуга его состоитъ въ томъ, что онъ, въ своихъ литературныхъ разборахъ, руководствовался общими началами и сравненіемъ разбираемыхъ произведеній съ другими однородными, древними и новыми, другими словами: положилъ основаніе теоретико-сравнительному методу въ критикѣ, который хотя не исключаетъ, изъ своего вѣдѣнія, стилистической стороны, но отводитъ ей подчиненное мѣсто.

Критика есть приложеніе общаго къ частному, понятія о сущности предметовъ одного и того же рода къ отдѣльному предмету, входящему въ ихъ область. Критика литературная есть приложеніе общихъ началъ словеснаго искусства къ отдѣльному словесному произведенію. Безъ общихъ началъ, безъ теоріи критикъ немислимъ, хотя одной теоріи ему недостаточно, а нужно еще имѣть здравый смыслъ, врожденное чувство красоты, вѣрный вкусъ, воспитанный на знакомствѣ съ образцами изящнаго. Поэтому прежде всего слѣдуетъ указать, какую теорію выбралъ себѣ Мерзляковъ въ руководство.

Въ университетѣ Мерзляковъ преподавалъ Теорію поэзіи, предлагающей правила поэтическихъ родовъ, иногда предпосылая ей введеніе, состоящее въ изложеніи общихъ эстетическихъ началъ науки, и Риторику, объясняющую правила всѣхъ родовъ прозаическихъ сочиненій. Руководствомъ для него служилъ нѣмецкій эстетикъ Эшенбургъ, школы Баумгартена. Слѣдуя ему, Мерзляковъ издалъ: «Краткую Риторику» (2-е изд. 1817) и переводъ изъ Эшенбурга «Краткое начертаніе теоріи изящной словесности (1821—1822) и «Краткое руководство къ Эстетикѣ» (1829). Въ нѣкоторыхъ основныхъ мысляхъ переводчикъ отступалъ отъ подлинниковъ. Такъ, на примѣръ, Эшенбургъ признаетъ недостаточнымъ начало, которое Батте полагалъ для изящныхъ искусствъ въ подражаніи, и ставитъ высшимъ началомъ «чувственное совершенство», представляемое искусствомъ; Мерзляковъ остается при мнѣніи Батте, говоря: «подражаніе природѣ эстетическое, въ полномъ смыслѣ этого слова, можетъ быть принято за начало всѣхъ искусствъ». Эшенбургъ цѣлью всякаго художественнаго представленія полагаетъ очарованіе, но такое, посредствомъ котораго идеальное получаетъ напечатлѣніе дѣйствительности такъ, что представленіе чрезъ то является вмѣстѣ и чувственнымъ и совершеннымъ; Мерзляковъ принимаетъ очарованіе въ смыслѣ ученія Батте и всей лже-классической французской школы: «цѣль каждаго искусственнаго представленія есть очарованіе, или *умышленно произведенный обманъ* въ наружныхъ и внутреннихъ чувствахъ наблюдателя, по которому подражаніе искусства при-

выразилъ свое неудовольствіе въ письмахъ къ А. Тургеневу (Рус. Арх. 1867, стр. 1072 и 1073) и Жуковскому (ib. 1871, стр. 413—415). Въ оборону славы Дмитріева, потерѣвшей чувствительный ударъ, Д. Н. Блудовъ написалъ статью (См. приложеніе къ книгѣ М. Дмитріева: «Мелочи изъ запаса моей памяти»).

(*) Современный наблюдатель рос. словесности 1815 г., №№ 1 и 3.

(**) При 1-мъ изданіи его сочиненій (1817).

(***) При 6-мъ изданіи его сочиненій (1822).

нимается за существенность и за непосредственное созерцаніе». Вообще Мерзляковъ не сочувствовалъ эстетическому ученію нѣмцевъ, а Эшенбурга держался только потому, что въ немъ болѣе чѣмъ въ другихъ находилъ отголосокъ французской теоріи, измѣняя, однакожъ, въ немъ то, что съ нею не согласовалось. Главнымъ стремленіемъ и Эшенбурга и его послѣдователя было не столько сознать законы красоты въ явленіяхъ изящнаго, какъ въ природѣ, такъ и въ искусствѣ, сколько предписать *общія* правила для художниковъ. Но убѣжденіе въ прочности этихъ правилъ у Мерзлякова не было твердо. Онъ сомнѣвался въ самостоятельности науки объ изящномъ, какъ видно изъ слѣдующихъ его словъ: «Впрочемъ, произведенія изящныхъ искусствъ, какъ предметъ чувствованія и вкуса, не подвержены строгимъ правиламъ и не могутъ, кажется, имѣть постоянной системы, или науки изящнаго. Самое понятіе о прекрасномъ чуждо всякихъ законовъ.... Только *критика вкуса* имѣетъ здѣсь свой голосъ, болѣе или менѣе опредѣленный.... Врожденная и совершенствуемая разумомъ чувственная способность, *вкусъ*, вмѣстѣ съ *критикой*, основанной на сравненіи, доводитъ насъ до опредѣленія, сколько возможно, точнѣйшихъ границъ изящной природы, изъ которой почерпаютъ свои матеріалы всѣ искусства». — Питая особенное нерасположеніе къ умозрительнымъ системамъ нѣмецкимъ, онъ скептически относился къ системѣ вообще: «вотъ гдѣ система», говаривалъ онъ слушателямъ, указывая на сердце.

Въ 1812 году Мерзляковъ открылъ публичный курсъ словесности. Бесѣды его, прерванныя нашествіемъ Наполеона, возобновились въ 1816-мъ. Особенною ихъ цѣлью было принести пользу тѣмъ молодымъ людямъ, которые, по любви къ словесности, желали бы познакомиться съ нею, но которымъ служебныя обязанности или другія занятія не позволяли посѣщать университетъ. Въ первый курсъ (10 бесѣдъ) Мерзляковъ разсмотрѣлъ общія правила краснорѣчія и поэзіи и особенныя правила разныхъ родовъ сочиненій; во второй (24 бесѣды), по краткомъ изложеніи того, что содержалъ въ себѣ предъидущій курсъ, онъ представилъ разборы извѣстнѣйшихъ русскихъ стихотворцевъ, преимущественно Ломоносовскаго періода. Чтенія имѣли блистательный успѣхъ. Ихъ посѣщали не одни молодые любители словесности, но и знатнѣйшія особы столицы, первые литераторы, дамы. Роль и заслуга Мерзлякова въ этомъ отношеніи сходственна съ ролью и заслугой знаменитаго нѣкогда французскаго критика Лагарпа (†1803), который, по открытіи въ Парижѣ Лицея (1786), въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ читалъ въ немъ курсъ литературы и такъ прославился своими чтеніями, что сдѣлался авторитетомъ и получилъ наименованіе французскаго Квинтиліана (*). Какъ Лагарпъ послѣ общихъ теоретическихъ началъ, основанныхъ на ученіи Аристотеля, большую часть курса посвятилъ французской литературѣ XVII и XVIII столѣтій, такъ и Мерзляковъ, начавъ съ теоріи, прилагалъ ее къ разбору поэтическихъ произведеній. Какъ Лагарпъ видѣлъ совершеннѣйшій образецъ изящной словесности въ писателяхъ вѣка Людовика XIV-го, такъ и Мерзляковъ — если не во всѣхъ родахъ словесности, то, по крайней мѣрѣ, въ драмѣ отдавалъ пальму первенства французамъ: Корнелю, Расину, Вольтеру. Наконецъ, подобно Лагарпу, Мерзляковъ

(*) *Lycée ou cours de littérature ancienne et moderne*, 16 томовъ. Русскій переводъ: «Лицей или кругъ словесности, древней и новой», переведенный членами Россійской Академіи, 5 ч. (1810—1814).

основываетъ свою критику на сравненіи разбираемыхъ образцовъ съ однородными имъ образцами древней и новой литературы.

Изъ бесѣдъ, относящихся къ теоріи словесности, напечатаны слѣдующія: а) о талантахъ стихотворца; б) о гени, объ изученіи поэта, о высокомъ и прекрасномъ; в) объ изящной словесности, ея пользѣ, цѣли и правилахъ; г) объ изящномъ, или о выборѣ въ подражаніи; д) приложение основъ изящнаго къ родамъ и видамъ поэзіи, необходимость науки для художника и разборъ оды Державина «На взятіе Варшавы» въ отношеніи къ плану и ходу; е) о томъ, что называется дѣйствіе драмы (баснь, содержаніе) и объ его главныхъ свойствахъ; ж) разсужденіе о драмѣ вообще (*). Ученіе, изложенное въ этихъ бесѣдахъ, представляетъ нѣкоторыя здравыя и самостоятельныя мысли, но въ сущности не отличается отъ того, что содержится въ Руководствахъ къ Эстетикѣ и къ изящной словесности. Это—таже теорія Буало, Батте, Лагарпа, съ прибавленіемъ правилъ Аристотеля и Горация, но въ томъ смыслѣ, какъ они были истолкованы французами. Самое опредѣленіе поэзіи основано на главномъ началѣ изящныхъ искусствъ—подражаніи природѣ: «Поэзія есть подражаніе въ гармоническомъ словѣ, иногда вѣрное, иногда украшенное—всему тому, что природа можетъ имѣть прелестнаго, трогательнаго, подражаніе сообразное съ намѣреніемъ поэта, съ его талантами и чувствами» (чтеніе 4-е). Вообще въ теоретическихъ положеніяхъ автора встрѣчаются противорѣчія и несообразности. Онъ, напримѣръ, на основаніи Горациевой «Ars poetica» принимаетъ только два рода поэзіи: эпическій и драматическій, относя къ первому и лирической, какъ бы не зная, что въ поэзіи новаго (христіанскаго) міра лирика также самостоятельна, какъ эпосъ и драма. При разборѣ оды Державина: «На взятіе Варшавы» (5-я бесѣда) замѣчаетъ, что «въ порывахъ чувствъ есть своя система постоянная и вѣрная, которую и долженъ открыть и исполнить стихотворецъ»: замѣтка вполне справедливая, но несогласная съ его же мнѣніемъ, что произведенія изящныхъ искусствъ не могутъ имѣть системы, почему критикъ въ своихъ сужденіяхъ долженъ основываться не на законахъ изящнаго, а единственно на вкусѣ и сравненіи. Называя краснорѣчіе соединеннымъ языкомъ разума и чувства, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ полагаетъ самымъ важнымъ дѣломъ оратора—возбужденіе страстей, какъ будто языкъ разума можетъ быть и языкомъ страсти. Теорію романа, повѣсти и сказки онъ то помѣщалъ въ Риторикѣ, то переносилъ въ Теорію изящной словесности, то снова включалъ ее въ Ригорику, подъ именемъ теоріи вымышленныхъ повѣствованій.

Сужденія, основанныя на теоріи односторонней или невѣрной, потому самому должны выходить односторонними или невѣрными. Дѣйствительно, лже-классическая теорія французовъ, вмѣстѣ съ французскими образцами, почитаемыми за высшее выраженіе изящества, много повредила Мерзлякову. Хотя основательное знаніе языковъ древнихъ и нѣкоторыхъ новыхъ (французскаго, нѣмецкаго и итальянскаго) вооружило его богатыми средствами для сравнительнаго метода, но вѣдь заключительные выводы, добываемые помощью сравненій, также должны основываться на какомъ-нибудь теоретическомъ началѣ: если начало не истинно, то и заключеніе окажется ложнымъ. Къ счастью для него, онъ получилъ отъ природы другія, необходимыя критику средства,

(*) а) Вѣст. Евр. 1812, т. 5; б) ib. г. 6; г) ib. 1813, т. 2; д) Амфіонъ, 1815, кн. 7; е) В. Е. 1817, т. 3; ж) Труды Общества любителей рос. словесности, 1820, ч. 17.

независимо отъ вѣры въ эстетическіе догматы и отъ увлеченія образцами: здравый смыслъ, поэтическое чувство, засвидѣтельствованное нѣкоторыми изъ его собственныхъ произведеній, ту систему сердца, которая—такъ онъ думалъ—не только лучше всякихъ научныхъ системъ, но и есть единственно вѣрная, необманчивая. Въ лицѣ его, по справедливому замѣчанію, критикъ и поэтъ были нераздѣльны. Этимъ объясняется значеніе критики Мерзлякова—ея достоинства и недостатки. Тамъ, гдѣ притязанія избранной имъ теоріи брали верхъ надъ его чувствомъ, онъ впадаетъ въ ошибки и недоразумѣнія; тамъ же, гдѣ, увлекаясь предметомъ разбора, подавался чувству и забывалъ теорію,—онъ вѣрно угадывалъ красоты и слабыя стороны произведенія, дѣлалъ справедливыя о немъ замѣтки. Отсюда же происходитъ, что критическія статьи перваго разряда, написанныя подъ вліяніемъ теоріи, нерѣдко противорѣчатъ статьямъ втораго разряда, продиктованнымъ истиннымъ чувствомъ. Отъ противорѣчій иногда несвободны разныя мѣста одной и той же статьи, что давало поводъ къ недоумѣніямъ и вмѣстѣ заставляло жалѣть, что даровитый человѣкъ стоитъ въ такомъ подчиненіи у предвзятыхъ идей.

Лучшими образцами критическаго метода Мерзлякова, разсматривавшаго русскія произведенія литературы сравнительно съ образцами изящной словесности древняго и новаго міра, служатъ разборы трагедій Озерова: «Поликсена» и «Эдипъ въ Аѳинахъ» (*). Въ первомъ разборѣ наша піеса обстоятельно сличается съ тремя піесами такого же содержанія: греческою (Эврипида), латинскою (Сенеки) и французскою (Шатобрюна). Критикъ указываетъ въ ней заимствованія и отступленія, отдавая въ однихъ случаяхъ преимущество подражателю, въ другихъ подлинникамъ. Недовольный характерами Пирра и Улисса, онъ замѣчаетъ, что «авторъ обязанъ непременно, взявъ характеры древнихъ нравовъ, сближать ихъ, сколько можно, съ зрителями, для которыхъ трагедія сочиняется, какъ дѣйствительно и поступали Корнели, Расины, Вольтеры и всѣ поставившіе трагедію на нынѣшнюю степень совершенства», т. е. обязываетъ драматическаго писателя именно тѣмъ, что уже современная Мерзлякову нѣмецкая критика ставила въ упрекъ французскимъ трагикамъ, какъ нарушеніе преданія или исторіи, какъ несоблюденіе мѣстнаго колорита. Муравьевъ-Апостолъ хотя и не былъ присяжнымъ оцѣнщикомъ литературныхъ произведеній, но вѣрнѣе понималъ фальшивое отношеніе французскихъ трагедій къ греческимъ образцамъ (**). При разборѣ «Эдипа въ Аѳинахъ», Мерзляковъ сопоставляетъ эту трагедію съ трагедіями Софокла (Эдипъ Колонскій) и французскаго автора Дюси (Эдипъ у Адмета). Отдавая полное преимущество Софоклу, онъ порицаетъ Озерова за то, что не видитъ въ его піесѣ ни Греціи, ни грековъ: порицаніе заслуженное, но раздѣляемое Озеровымъ съ Корнелиями, Расинами, Вольтерами и всѣми (какъ выразился Мерзляковъ), поставившими трагедію на нынѣшнюю степень совершенства. И какъ согласить такое разумное требованіе Греціи и грековъ въ «Эдипѣ въ Аѳинахъ» съ другимъ, вышеприведеннымъ требованіемъ, «чтобы авторъ сближалъ характеръ древнихъ нравовъ съ зрителями, для которыхъ трагедія сочиняется»?—Замѣчательны, по вѣрности взгляда, разборы Димитрія Самозванца (Сумарокова) (***) и Росслава (Княжнина) (****). Въ Димитріи критикъ

(*) Вѣст. Евр. 1817, т. I, № 4; т. II, № 5.

(**) Ист. Русс. Слов. II, 263—264.

(***) Вѣст. Евр. 1817, т. III, № 12, и т. IV, №№ 13 и 14.

(****) Ib. № 10.

справедливо видитъ «чудовище, исполненное несообразностей», а содержаніе трагедіи передается въ слѣдующихъ словахъ: «тиранъ сердился, бранился и съ досады накопецъ убилъ себя». Но, изрекая такой приговоръ, Мерзляковъ, сознательно или безсознательно, осудилъ все французскія трагедіи лже-классическаго періода: въ нихъ дѣйствующія лица и выходятъ на сцену и сходятъ со сцены съ одною только страстію, не представляя цѣльнаго характера. О «Рославѣ» произнесено строгое сужденіе за несообразность сюжета и неестественность характеровъ. Напротивъ, разборъ «Росіады» (*), не смотря на свою подробность, не даетъ опредѣленнаго понятія о значеніи поэмы. Указаны нѣкоторые ея недостатки, но вмѣстѣ съ тѣмъ — изъ уваженія ли къ творцу ея, или изъ боязни идти на перекоръ сложившемуся мнѣнію — она сравнена съ храмомъ св. Петра: «какъ громада неподвижная, и въ буряхъ времени, и въ буряхъ мнѣній, стоитъ огражденная неизмѣняемымъ своимъ величіемъ». Другими глазами, хотя въ тоже самое время, посмотрѣлъ на «Росіаду» студентъ П. Строевъ (**). Лже-классическая теорія иногда заставляла Мерзлякова противорѣчить общему чувству, которое зрители испытывали въ театрѣ. Такъ, въ разборѣ Аблесимова «Мельника» (***), онъ не хотѣлъ объяснить успѣха этой оперы тѣмъ, что она, какъ все тогда утверждали, написана въ русскихъ правахъ. Задавъ себѣ вопросъ: «отъ чего Мельникъ такъ долго и постоянно удерживается на нашемъ театрѣ»? критикъ рѣшаетъ его тѣмъ, что «ніеса, подобно всемъ лучшимъ трагедіямъ и комедіямъ, вполне удовлетворяетъ законамъ Аристотеля, наставленіямъ Горація и Буало, и вообще правиламъ науки и вкуса (****), о которыхъ Аблесимовъ, можетъ быть, и не думалъ вовсе. Такова сила предвзятыхъ убѣжденій! Она способна доводить не только до педантическихъ натяжекъ, но и до фанатизма, требующаго, во что бы-то ни стало, слѣдованія единственно той теоріи, въ которой критикъ не видитъ спасенія. Разборъ «Мельника» нѣсколько напоминаетъ французскихъ литературныхъ судей строго-классическаго закала. Когда трагикъ Тальма дозволилъ себѣ нѣкоторые нововведенія въ костюмъ и болѣе естественную дикцію, Жоффруа, извѣстный театралъ и критикъ, пришелъ въ негодованіе: «французскій театръ», писалъ онъ въ журналѣ, «есть театръ классическій; на немъ и плакать и смѣяться должно не иначе, какъ согласно съ правилами... Безсмертіе будетъ удѣломъ того поэта, который сумѣетъ возбудить въ насъ чувство и понравится намъ, не выходя изъ круга, начертаннаго искусствомъ». А если поэтъ произведетъ такое же впечатлѣніе внѣ заповѣднаго круга, или произведетъ впечатлѣніе еще большее независимо отъ правилъ, даже вопреки правиламъ, — что тогда? Уже ли критики засудятъ его за такое превышеніе власти (*****)?

Изъ всего вышесказаннаго ясно, что Мерзляковъ долженъ былъ отрицательно относиться къ новымъ направленіямъ русской поэзіи, которыя его теорія не признавала доброкачественными. Въ «Письмѣ изъ Сибири» онъ напасть на баллады и гексаметры,

(*) Въ семи статьяхъ (Амфіонъ, 1815, №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9).

(**) Современный Наблюдатель Рос. Словесности, 1815, №№ 1 и 3.

(***) В. Е. 1817, т. II, № 6.

(****) Ист. Хр. I, 415—416.

(*****) Другія критическія статьи Мерзлякова: «Разсужденіе о рос. словесности, въ нынѣшнемъ ея состояніи» (Труды Общества люб. Рос. Словесности 1812, ч. I), съ краткими, но замѣчательными характеристиками русскихъ писателей; «Разборъ 8-й оды Ломоносова» (ib 1817, ч. 7); «Разборъ Фингала Озерова» (Вѣст. Евр. 1817, т. III); «О Державинѣ» (Тр. Общ. 1820, ч. 18). Во всехъ этихъ статьяхъ много умныхъ мыслей, дѣльныхъ сличеній и краснорѣчивыхъ мѣстъ, когда чувство воодушевляло критика.

какъ на злоупотребленіе поэзіи (*). Статья «о вѣрнѣйшемъ способѣ разбирать и судить сочиненія, особливо стихотворныя, по ихъ существеннымъ качествамъ», осуждаетъ мечтательныя созданія романтической поэзіи, находя въ нихъ необузданность фантазіи и слѣдовательно противорѣчіе основному правилу изящнаго, состоящему въ стройномъ цѣломъ (**). При «воспоминаніи о Сокольскомъ», одномъ изъ даровитыхъ учениковъ своихъ, Мерзляковъ жалѣетъ, что онъ былъ привязанъ къ нѣмецкой литературѣ и видитъ въ этой привязанности «припадокъ времени»; «впрочемъ», прибавляетъ онъ въ видѣ облегчающаго обстоятельства, «Сокольскій переводилъ изъ Шиллера и Бюргера лишь то, что сообразно съ общимъ вкусомъ образованныхъ націй» (***). Рассказываютъ, что онъ плакалъ, читая «Кавказскаго Плѣнника», и однакожь не имѣлъ духу похвалить его, такъ какъ не было возможности оправдать похвалу требованіями классической теоріи. Прочитавъ «Цыганъ», онъ, въ цензурномъ комитетѣ, состоявшемъ тогда при университетѣ, въ присутствіи всѣхъ назвалъ это сочиненіе неблагопристойнымъ и безнравственнымъ. Позднѣе (1830), на диспутѣ у Надеждина (въ послѣдствіи профессора теоріи изящныхъ искусствъ), написавшаго диссертацию на званіе доктора: «*De origine, natura et fasis Poëseos, quæ Romanica audit*», Мерзляковъ никакъ не хотѣлъ допустить законность романтизма, утверждая, что разныхъ поэзій нѣтъ, а есть только одна поэзія, та именно, которая, какъ выше сказано, «согласна съ общимъ вкусомъ образованныхъ націй». Въ возраженіяхъ своихъ онъ былъ остановленъ замѣчаніемъ одного изъ профессоровъ, стараго словесника (****), что и вѣра христіанская одна, но что самъ возражатель не можетъ же отвергать различія между разными ея вѣроисповѣданіями—православнымъ, католическимъ, лютеранскимъ. Самый эпиграфъ къ диссертации: «*ubi vita—ibi poësia*» (гдѣ жизнь, тамъ и поэзія), не нравился Мерзлякову, какъ слишкомъ расширяющій область поэзіи, которая, по его мнѣнію, должна ограничиваться подражаніемъ «изящной» природѣ, да и изъ этой природы онъ совѣтовалъ для подражанія выбирать только такіе предметы, которые имѣютъ ближайшее вліяніе на человѣка, на благо его, на его несчастія. Искключительнымъ взглядомъ на искусство, Мерзляковъ поднялъ противъ себя даже учениковъ своихъ, хотя они очень уважали его и какъ человѣка, и какъ даровитаго критика. По поводу вышеприведеннаго положенія изъ «Краткаго начертанія теоріи изящной словесности», что «произведенія изящныхъ искусствъ не подлежатъ строгимъ правиламъ и не могутъ имѣть постоянной системы, и что только критика вкуса имѣетъ здѣсь свой голосъ болѣе или менѣе опредѣленный», кн. Одоевскій, издававшій «Мнемозину» (1824), спрашиваетъ: «на чемъ же должна основываться эта критика вкуса, если изящное не можетъ имѣть постоянныхъ, строгихъ законовъ?... Пора знать, что есть другія основанія для теоріи изящнаго, кромѣ тѣхъ, о которыхъ толкуется въ нашихъ риторикахъ и піитикахъ, краткихъ и пространныхъ, сочинители коихъ какъ будто спали сномъ Эпименида и, проснувшись, начали толко-

(*) Письмо это (Труды Общества 1818, ч. XI), будто бы присланное отъ неизвѣстнаго, было прочитано Мерзляковымъ въ Обществѣ любителей Рос. Словесности, въ присутствіи многочисленной публики и самого Жуковскаго, которому авторъ, какъ давнишній другъ, хотѣлъ открыть глаза (Мелочи изъ запаса моей памяти, М. Дмитріева).

(**) Тр. Общ. 1822, ч. 2.

(***) Ib. 1819, ч. 16.

(****) Льва Алексѣевича Цвѣтаева, профессора правъ знатнѣйшихъ древнихъ и новыхъ народовъ, автора «Панорамы Парижа» (1805) и нѣсколькихъ руководствъ по Римскому праву.

вать о томъ, что говорилъ учитель ихъ учителя» (*). Въ «разсужденіи о началѣ и духѣ древней трагедіи и о характерахъ трехъ греческихъ трагиковъ», напечатанномъ въ видѣ предисловія къ «Подражаніямъ и переводамъ изъ греческихъ и латинскихъ стихотворцевъ» (1825—1826), Мерзляковъ объясняетъ происхожденіе искусствъ эмпирическимъ способомъ, по которому искусства изобрѣтены случайно или нуждою и усовершенствованы вкусомъ. Веневитиновъ отвергнулъ такой взглядъ, какъ устарѣлый, и доказалъ, что начала искусствъ слѣдуетъ искать не внѣ человека, а внутри его, въ прирожденной ему творческой способности (**).

Біографическій словарь профессоровъ и преподавателей Московскаго Университета (1855). Часть II. Мерзляковъ (стр. 32—166). Ист. Христ. II, 308—310.

Примѣръ Мерзлякова мало нашелъ себѣ подражателей. Одновременно съ его серьезнымъ теоретико-сравнительнымъ методомъ разсматривать произведенія литературы продолжало существовать прежнее направленіе критики мелкой, державшейся на грамматическихъ и стилистическихъ замѣткахъ. Большею частию она дѣйствовала въ журналахъ. Журналъ «Благонамѣренный», въ теченіи 10 лѣтъ (1818 — 1827) издававшийся Александромъ Измайловымъ (§ 42), представилъ многіе образцы ея при отчетахъ о нововыходившихъ книгахъ. Самъ издатель, какъ баснописецъ, занимался разборомъ басенъ. Руководствомъ служила ему теорія этого поэтического рода, напечатанная подъ заглавіемъ: «О разсказѣ басни» и составляющая только часть задуманнаго имъ «Полнаго опыта о баснѣ» (***). Это не что иное, какъ выборка правилъ изъ сочиненій: Батте «Основанія словесности», Мармонтеля «Французская пѣтика», Лагарпа «Похвальное слово Лафонтену», Ламота «Разсужденіе о баснѣ», Гильона «Лафонтенъ и другіе баснописцы», Шамфора «Комментарій къ баснямъ Лафонтена», и пр. Въ пяти главахъ изложены, во-первыхъ, главныя качества разсказа: краткость, ясность и правдоподобіе; далѣе украшенія разсказа, состоящія въ изображеніяхъ и описаніяхъ, размышленіяхъ, примѣненіяхъ, стихотворныхъ оборотахъ и выраженіяхъ; наконецъ, особенныя качества разсказа: простота, естественность, пріятность, забавность, простодушіе. Подлѣ каждаго научнаго термина ставится въ скобкахъ французское его названіе, какъ бы въ свидѣтельство того, что компиляторъ не скрываетъ своихъ источниковъ. Дѣйствительно, своего собственнаго имѣть ничего, кромѣ примѣровъ, которые Измайловъ бралъ изъ русскихъ басенъ. Самыя положенія, заимствованныя у разныхъ теоретиковъ, не получили твердой постановки. Такъ, между прочимъ, въ одномъ мѣстѣ правоученіе почитается существенною частию басни и замѣчаніе Шамфора, что если бы Лафонтенъ не помѣщалъ въ началѣ или въ концѣ своихъ басенъ правоученія, то мы лишились бы прекраснѣйшихъ стиховъ, обратившихся въ пословицы, признается весьма основательнымъ, а въ другомъ мѣстѣ говорится, что издатели «Краткой стихотворной энциклопедіи» (на франц. языкѣ) весьма справедливо почитаютъ лучшими тѣ басни, которыя могутъ обойтись безъ правоученія.

Какъ ни скудно содержаніе «Опыта о разсказѣ басни», но основанные на немъ разборы трехъ басенъ: Воля и Неволя (Хемницера), Коть, Ласточка и Кроликъ (И. Дмитріева), Лягушки, просяція царя (Крылова), еще скуднѣе. Они ограничиваются

(*) Мнемозина, ч. I.

(**) Сыпъ Отечества 1825, т. III.

(***) Во 2-мъ т. Сочиненій А. Измайлова, изд. Смирдина. 1849.

либо грамматическими, либо стилистическими примѣчаніями. Измайловъ выписываетъ отдѣльные стихи и показываетъ достоинство или недостатки версификаціи, выбора словъ, строенія рѣчи, фигурнаго языка. Если басня переводная, то показывается, въ чемъ она уступаетъ оригиналу и въ чемъ беретъ надъ нимъ преимущество. Дальше этого нейдетъ критика Измайлова. Понятіе о ней легко составить по нѣсколькимъ мѣстамъ изъ разбора первой басни.

«Былъ (*волкъ*) тощъ, худой
Такой»

Одностопные стихи, если помѣщены въ баснѣ, или гдѣ бы то ни было, безъ особеннаго намѣренія, бываютъ всегда противны для слуха и весьма справедливо называются у французовъ *avortons de la poësie* (*). Сумароковъ и всѣ прежніе наши фабулисты, даже самъ Хемницеръ, безъ всякой нужды вставляли въ свои басни такіе короткіе стихи. Дмитріевъ первый началъ у насъ употреблять удачно, а послѣ него уже Крыловъ. Одностопные стихи сихъ двухъ нашихъ баснописцевъ-поэтовъ служатъ почти вездѣ къ живѣйшему изображенію описываемаго ими дѣйствія или предмета, и потому врѣзываются, такъ сказать, въ память слушателей и читателей

«Которая (*собака*) была росла собой, пригожа»

У Лафонтена: *Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau*. Однако *beau* не всегда значить *пригожій*. *Пригожій* относится единственно къ лицу, и потому эпитетъ сей идетъ только къ людямъ. *Пригожій* человѣкъ можетъ быть иногда и не *красивъ*, напр. имѣть дурной станъ и т. п.; слово же *красивый* имѣетъ обширѣйшее значеніе: подъ именемъ *красиваго* человѣка разумѣю я *пригожаго* и вмѣстѣ *статнаго*. Мы называемъ также *красивыми* не только животныхъ, растенія, но и неодушевленные вещи, на-примѣръ: *красивая* лошадь, *красивый* цвѣтокъ, *красивый* ларчикъ, а никогда не скажемъ *пригожая* лошадь, *пригожій* цвѣтокъ, *пригожій* ларчикъ.

«И такъ со стороны учтивой подошелъ»

Странное выраженіе! Вмѣсто сихъ двухъ словъ: *со стороны учтивой* — поставилъ бы я только одно: *съ учтивостью*.

«А это на какую статъ?»

Дурной и совершенно излишній стихъ, употребленный вѣроятно, только для рѣимы. Въ слѣдующемъ стихѣ заключается таже самая мысль, но она выражена гораздо лучше и естественнѣе.

На концѣ, послѣ примѣчаній, говорится, что переводъ Хемницера не только не уступаетъ оригиналу (баснѣ Лафонтена), но даже превосходитъ оный; кромѣ того, сказано нѣсколько словъ о басняхъ Хемницера вообще, главное достоинство которыхъ критикъ полагаетъ въ простодушіи (*bonhomie*).

Уваженіе къ слогу, предпочтительно предъ другими сторонами сочиненія, господствовало между всѣми нашими литераторами, особенно тѣми, которые и въ теоріи и въ критикѣ слѣдовали французамъ. У Измайлова оно доходило почти до исключительности и даже привело его къ забавному самоуправству съ памятниками словесности. Издавая, по просьбѣ книгопродавца, сочиненія Озерова (въ 1824 г.), онъ, «изъ уваженія къ памяти неаабеннаго трагика, осмѣлился исправить у него нѣкоторыя несомнѣнныя ошибки въ словахъ» (собственные слова Измайлова). На примѣръ, стихи Озерова:

(*) Поэтическіе недоноски.

Ты зри главу мою, лишенную волосъ (*).

Ты храбростью своей въ дѣлахъ молодыхъ извѣстенъ (**).

замѣнены слѣдующими:

Зри и главу мою, лишенную волосъ...

Ты мужествомъ своимъ вселенной всей извѣстенъ...

«Надѣюсь (прибавляетъ исправитель). что просвѣщенные любители отечественной словесности не поставятъ мнѣ этого въ вину. Озеровъ, равно какъ и Державинъ, былъ великій поэтъ, но не всегда, какъ и тотъ, искусный *стихослагатель*. Этотъ недостатокъ есть, такъ сказать, неизбежная дань, заплаченная ими тому времени, въ которое они начали писать, не учась, къ сожалѣнію, классически словесности и не имѣвъ тогда образцовъ исправнаго стихосложенія». Должно думать, Измайловъ имѣлъ оригинальное понятіе и о классическомъ ученіи, и о снисходительности просвѣщенныхъ любителей отечественной словесности. Впрочемъ поступокъ его былъ встрѣченъ сильнымъ осужденіемъ въ журналахъ (***).

Разборъ поэмы Пушкина: «Русланъ и Людмила», написанный Воейковымъ (****), еще сильнѣе указываетъ направленіе критики въ Карамзинскую эпоху. Онъ имѣетъ притомъ особое значеніе, потому что имя Воейкова пользовалось большою извѣстностью. Нѣкоторое время ставили его на ряду съ именами Жуковского и Батюшкова образуя такимъ сопоставленіемъ своего рода первоклассный литературный триумvirатъ. Какъ видный литераторъ и вмѣстѣ какъ профессоръ русской словесности въ Дерптскомъ университетѣ, онъ считалъ себя въ правѣ судить и рядить о произведеніяхъ поэзіи. Журналы охотно принимали его критическія статьи на свои страницы, и самъ онъ былъ увѣренъ въ ихъ несомнѣнной цѣнности.

Къ разбору «Руслана и Людмилы» Воейковъ приступилъ съ аппаратомъ и приемами лже-классической нѣтики, т. е. выбралъ именно ту мѣрку, которою нельзя измѣрять значеніе разбираемаго сочиненія. Сказавъ, что стихотвореніе Пушкина справедливо названо поэмой, онъ задаетъ себѣ вопросъ: какая же это поэма? Отвѣтъ былъ затруднителенъ, такъ какъ произведеніе не находило себѣ мѣста въ дѣленіи эпоса на виды по теоріи, обязательной для критика. Поэтому критикъ опредѣлялъ его сначала отрицательными признаками: эта поэма — «не эпическая, не описательная, не дидактическая», а потомъ признаками положительными: она — «богатырская, волшебная, интуочная», прибавивъ къ тому, что «нынѣ сей родъ поэзіи называется романтическимъ». Такое опредѣленіе, разумѣется, ничего не опредѣлило, не говоря уже о его невѣрности. Богатыри — тѣже герои и слѣдовательно имѣютъ право быть дѣйствующими лицами эпической поэмы. Въ Освобжденномъ Иерусалимѣ, поэмѣ эпической, есть и волшебникъ, и волшебница, и волшебства. Съ другой стороны «Русланъ и Людмила» содержитъ въ себѣ описанія богатырей, чародѣевъ, сраженій, садовъ и многихъ другихъ предметовъ: почему же не принадлежать ей къ поэмамъ описательнымъ? Что же касается до забавной характеристики романтической поэзіи, которая

(*) Эдинъ въ Аоніяхъ.

(**) Фингалъ.

(***) Ист. Хр. II, 208 и 209.

(****) Сынъ Отеч. 1820, №№ 34, 35, 36, 37. (О Воейковѣ (1778 — 1839) см. мою Исторію. Хрест. II, 384—385.

будто бы слагается изъ смѣси богатырскаго, волшебнаго и шуточнаго, то одинъ изъ защитниковъ Пушкина тогда же справедливо замѣтилъ, что критикъ не имѣетъ понятія о романтизмѣ и должно быть вовсе не читалъ Байрона (*). Отъ опредѣленія поэмы Воейковъ переходитъ къ изложенію ея содержанія и къ характеристикамъ ея сверхъестественныхъ существъ и героевъ. Любопытно, что къ героямъ причислена и голова Черноморова брата, причемъ въ характерѣ ея найдена постоянная и ровная выдержанность въ теченіи всѣхъ шести пѣсень (**). Далѣе говорится, что поэма безъ начала, ибо нѣтъ въ ней «воззванія», ни «изложенія», и «поэтъ какъ съ неба упадетъ на Владиміровъ пиръ»; что переходы изъ тона въ тонъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ слишкомъ скоры, какъ у Аріоста; что повѣсть о любви Финна и Нанны, разговоры Финна съ Русланомъ и эпизодъ о приключеніяхъ Ратмира было бы лучше замѣнить чѣмъ-нибудь другимъ, не столько низкимъ и грубымъ, ибо, по вцущительному замѣчанію критика, вѣроятно забывшаго, на этотъ случай, и поэму Аріоста, и русскія былины, «эпическій поэтъ обязанъ вести себя передъ слушателями вѣжливо и почтительно, и хотя основаніе поэмы взято изъ народной сказки, но и между простымъ народомъ есть своя благопристойность, свое чувство изящнаго». О рѣчахъ героя произнесено слѣдующее, ничего не доказывающее мнѣніе: «рѣчи нейдутъ въ сравненіе съ Гомеровыми, но не надобно забывать, что *Иліада*—поэма эпическая, а *Русланъ* — романтическая», какъ будто кто-нибудь могъ забыть это и рѣшиться на сравненіе предметовъ, не подлежащихъ сравненію. Остроты въ лирическихъ прологахъ каждой пѣсни признаны натянутыми и плоскими. Отыскана и нравственная цѣль поэмы, состоящая въ томъ, что злодѣйство наказано, а порокъ торжествуетъ; но при этомъ укоряется авторъ за любовь къ двусмысленностямъ, намекамъ, употребленію эпитетовъ: «нагія», «полунагія»; у него, говоритъ критикъ, и холмы «нагіе», и сабли «нагія», онъ томится какими-то желаніями, сладострастными мечтами, во снѣ и на яву ласкается прелести дѣвъ, вкушаетъ восторги, и проч. и проч. Последняя (четвертая) статья занята критикой стиля. Воейковъ особенно остановился на этомъ пунктѣ, считая себя сильнымъ по части слога. Но какого свойства эта сила, легко видѣть каждому изъ приводимыхъ ниже выписокъ, въ которыхъ стихи Пушкина сопровождаются стилистическими замѣтками.

Сердца ихъ гнѣвомъ стѣснены.

Гнѣвъ не стѣсняетъ, а расширяетъ сердце.

Съ сѣдла наѣздника срывается.

Слово «наѣздникъ» низко (***) и выходитъ изъ общаго тона.

Питомцы бурные набѣговъ.

Неточное выраженіе: набѣгъ есть быстрое движеніе и никого ни питать, ни воспитывать не имѣетъ времени.

Вотъ подъ горой путемъ широкимъ,
Широкой пресѣкая путь.

(*) Замѣчанія на разборъ «Руслана и Людмилы» (С. От. 1820, № 42).

(**) Надъ этой находкой смѣялся авторъ «Замѣчаній».

(***) Слово «басурманъ» также названо низкимъ.

Мы говоримъ: «зимній путь», «лѣтній путь», но дорога пересѣкается другою дорогою, а не путемъ.

...Вопрошаетъ мракъ нѣмой.

Это смѣло. После этого можно сказать: «говорящій» мракъ, «богатающій» мракъ и т. п. (*).

Съ ужаснымъ пламеннымъ челомъ,

т. е. съ краснымъ, вишневымъ лбомъ.

Могильнымъ голосомъ.

Что такое могильный, гробовой голосъ? не голосъ ли это неизвестнаго намъ музыкальнаго орудія?

Отъ ужаса зажимуря очи.

Славянское «очи» высоко для простонароднаго глагола «жмуриться».

Со вздохомъ витязь благородный
Объемлетъ старца колдуна.

Подъ словомъ «колдунъ» уже подразумѣвается понятіе о старости.

Конье, кольчугу, шлемъ, перчатки.

Существовали ль тогда рыцарскія перчатки?

Летятъ алмазные фонтаны.

У насъ свое прекрасное слово «водомеръ».

Всѣхъ удавлю васъ бородою.

Отвратительная картина.

Но всѣ легки, да слишкомъ малы.

«Да»—низко.

А князь красавецъ былъ не вялый.

А стихъ вышелъ вялый.

Объхавъ голову *кругомъ*
Щекогитъ ноздри *копьемъ*...
Дразнила страшнымъ *языкомъ*...
Грозитъ ей молча *котомъ*...

Мужицкія рѣмы.

Колдунъ упалъ—*да тамъ и стѣлъ*.

Выраженіе слишкомъ низкое.

Предъ нимъ *Араповъ* чудный рой.

Желательно бы видѣть ичельникъ этого роя араповъ; вѣроятно и самый медъ чернаго цвѣта.

Дикій пламень.

Скоро станемъ говорить: ручной, ласковый, вѣжливый пламень.

Бранился молчаливо.

Слѣдов. можно сказать: молчаливый крикъ, ревущее молчаніе.

(*) Авторъ «Замѣчаній» возражаетъ критику: «Посему нельзя сказать «моументъ *стоитъ*» на площади, ибо нельзя сказать: «моументъ *прыгаетъ* на площади».

Качаютъ вѣтры черныя дѣсь
Поросій на челѣ высокомъ (Черноморога брата).

Картина уродливая!

Уста дрожащія открыты,
Огромны зубы стѣснены.

Или открыты и уста и зубы, или уста закрыты, а зубы стѣснены.

Такова эта критика, не умѣвшая ничего разглядѣть и понять въ произведеніи, о которомъ взялась судить. Но имя Воейкова было такъ еще авторитетно, что не только читатели, но и многіе литераторы находили его сужденія учеными, написанными по правиламъ науки и слѣдовательно справедливыми (*). Не ввелъ онъ въ заблужденіе лишь тѣхъ, которыхъ теорія не связывала и которые съ перваго же раза умѣли по достоинству оцѣнить значеніе великаго таланта и его первой поэмы. Такъ А. Тургеневъ, въ письмѣ къ П. Дмитріеву, обвинилъ Воейкова: «Что за разборъ поэмы! Доказывать, что она шуточная, а не библейская! Да кто же въ этомъ сомнѣвался?» (**). Самъ Пушкинъ, конечно, не въ всѣхъ видѣлъ смѣшную несостоятельность своего критика, почему и отзывался о немъ съ равнодушнымъ пренебреженіемъ: «Должно бы, писалъ онъ брату, издавать у насъ журналъ *Revue des revues*. Мы бы помѣстили тамъ выписки изъ критикъ Воейкова» (***). Крыловъ, въ слѣдъ за критикой, написалъ на нее слѣдующую эпиграмму:

Напрасно говорить, что критика легка (****).
И критику читалъ Руслана и Людмилы:
Хоть у меня довольно силы,
Но для меня она ужасно какъ тяжка (*****).

Замѣтимъ, что не тяжесть (статья Воейкова читается легко), а скорѣе объемистость критики есть наименьшее ея дурное качество. Главные ея недостатки: отсутствіе всякаго дѣльнаго содержанія, чистѣйшая пустота и пошлость приемовъ.

§ 46. При общей наклонности современныхъ Воейкову писателей къ литературному энциклопедизму, онъ также не ограничивался однимъ какимъ-либо видомъ авторской дѣятельности, свойственной его дарованію, котораго отрицать въ немъ было бы несправедливо. Какъ онъ считалъ своимъ долгомъ подавать голосъ о новыхъ явленіяхъ отечественной поэзіи, такъ онъ хватался и за рѣшеніе возникавшихъ литературныхъ вопросовъ. Это, съ одной стороны, хорошо, выказывая воспріимчивость чело-вѣка и его участіе въ интересахъ ума и слова; но, съ другой стороны, дурно, если участникъ берется за дѣло съ поспѣшной отвагой, не въ мѣру своихъ знаній, и еще хуже, если онъ недостатокъ нужныхъ для того силъ ловко замѣняетъ не трудными, а иногда и недоброкачественными средствами, единственно съ тою цѣлью, чтобы выказать себя впереди другихъ. Такихъ литературныхъ грѣховъ на памяти

(*) «Письмо къ сочинителю критики на Руслана и Людмилу» (С. О. 1820, № 38), вызвавшее «Замѣчанія» (ib. № 41) и «Скромный отвѣтъ на нескромное замѣчаніе г. К—ва» (ib. № 43), исчисляющій ученые титулы Воейкова, его литературные труды и руководства, которыми онъ пользовался въ своей критикѣ.

(**) Рус. Архивъ 1867, стр. 659—660.

(***) Ib. 1866, стр. 1206.

(****) La critique est aisée, mais l'art est difficile.

(*****). С. Ог. 1820, № 38.

Воейкова не мало. Журналы не безъ основанія подозрѣвали, что эклога и Георгики Виргилія переводилъ онъ не съ подлинника, а съ французскаго перевода Дефонтена; что статья о гексаметрахъ, написанная имъ для «Словаря древней и новой поэзіи», Остолопова, заимствована изъ разсужденія Гнѣдича объ этомъ стихотворномъ метрѣ (*). Когда, по поводу письма Уварова къ Гнѣдичу о необходимости перелгать Иліаду не александрійскими стихами, а размѣромъ подлинника, завязалась полемика, и одни изъ литераторовъ допускали, а другіе отвергали возможность гексаметра въ русской версификаціи (**), Воейковъ, не медля ни мало, открылъ у насъ спондеи, о чемъ и извѣстилъ публику «Посланиемъ къ Уварову» (***):

Пусть говорятъ галломаны, что мы не имѣемъ спондеевъ!
Мы ихъ найдемъ, исчисляя подробно дѣянія Россоевъ:
Галлз, Персз, Пруссз, Финз, Шведз, Венгрз, Турокз, Сарматз и Саксонцевъ—
Всѣхъ побѣдили мы, всѣхъ мы спасли и всѣхъ охраняемъ.
Мы ихъ найдемъ, исчисляя прекрасныя свойства Монарха:
Царь Александръ щедрз, мудрз, храбрз, твердз, быстрз, скромнз и смѣлнз.
Хочешь ли видѣть поле сраженія? *Пылъ, дымз, огнь, громз,*
Щитз въ щитз, мечз въ мечз, ядра жужжать и лопаются бомбы.

Въ словахъ, напечатанныхъ курсивомъ, каждая два составляютъ, по наивному понятію Воейкова, спондеи, хотя, какъ замѣтилъ кто-то, здѣсь нѣтъ никакихъ спондеевъ, а есть только дурной гексаметръ. Прибавимъ къ этому, что, возставая противъ галломановъ, Воейковъ въ своей литературной теоріи и практикѣ постоянно слѣдовалъ за французами.

Быль однакожь одинъ родъ стихотвореній, именно описательный, въ которомъ Воейковъ считалъ себя специалистомъ, да и другіе литераторы согласно съ нимъ думали. Переводъ Делиевой поэмы «Сады» (1816) (****) какъ бы далъ ему патентъ на это званіе, такъ что съ этого времени стали величать его то «переводчикомъ Делиля», то «переводчикомъ Садовъ». Потомъ онъ началъ переводъ другой поэмы того же автора «Воображеніе», но не кончилъ его. Наконецъ задуманная имъ оригинальная поэма: «Искусства и науки» также осталась неисполненною, по обширности предмета, легкомысленно себѣ предложеннаго.

Такъ называемая описательная поэма, беззаконно причислявшаяся къ области поэзіи, не новость въ нашей литературѣ. Еще въ прошломъ столѣтіи, кромѣ оригинальнаго стихотворенія Боброва въ этомъ родѣ: «Таврида» (1798), мы имѣли нѣсколько переводныхъ: изъ Юнга (Страшный судъ, 1777) и Геснера (Авелева смерть, 1780; и Первобытныи мореплаватель, 1784). Въ первыхъ годахъ текущаго столѣтія, до появленія «Садовъ», были переведены слѣдующія поэмы: «Сельскій житель», Делиля (1804), «Времена года»—трехъ авторовъ: Захарія (1805), Попа (1809) и Сент-Ламбера (1814), «Четыре части дня»—двухъ: Берни (1805) и Захарія (1809). Описательныя поэмы пошли особенно въ ходъ со времени Делиля, котораго французы приравнивали къ Гомеру, и его многочисленныхъ подражателей и прелогателей.

(*) Словарь вып. 1821 г., въ 3-хъ ч. Статья Гнѣдича: Замѣчанія на Опытъ о русскомъ стихосложеніи, Востокова, и Нѣчто о просодіи древнихъ (В. Евр. 1818, № 10 и 11).

(**) Краткое изложеніе этой полемики см. во 2-ой статьѣ моего разбора Сочиненій А. Неймайлова (Современникъ 1850, № XI) и въ моей Ист. Слов. (II, 269—272).

(***) В. Евр. 1820, № 5.

(****) Другой переводъ—Палицына (1814).

Заблужденіе стихотворцевъ, тратившихъ свое время на упражненія въ этомъ предметѣ, состояло въ томъ, что они изъ описаній, какъ эпического момента, задумали, въ виду расширенія области поэтического искусства, создать особый самостоятельный отдѣлъ, подъ вышесказаннымъ именемъ описательной поэмы. Они смѣшали свое изображеніе съ «поэзіей природы», съ отраженіемъ ея въ нашемъ умѣ и воображеніи и съ творческимъ воспроизведеніемъ этого отраженія. Истинно описательный родъ возникаетъ изъ разумнаго созерцанія внѣшняго міра и глубокаго сочувствія къ его красотамъ, такъ что исторія описательной литературы вообще и поэтическихъ описаній въ частности и есть именно исторія разумнаго и одушевленнаго чувства къ природѣ, какъ оно дѣйствительно и выражалось въ разныя времена и у разныхъ народовъ (*). Независимо отъ ложнаго исходнаго пункта при созданіи описательной поэмы, самое время наибольшаго ея развитія при Делилѣ вообще не благопріятствовало поэзіи. «Природа умерла въ ихъ глазахъ, какъ надежда въ глубинѣ сердець ихъ», сказалъ Руссо о тѣхъ людяхъ, которые, съ философской точки зрѣнія XVIII-го вѣка, видѣли въ устройствѣ вселенной только искусный, но безжизненный механизмъ, комбинацію матерій, болѣе или менѣе счастливую. При такомъ взглядѣ нѣтъ мѣста вдохновенію. Поэзія обращается въ стихотворное ремесло; стихи становятся искусственными, сухими, холодными, монотонными: они способны плѣнять только слухъ и условный вкусъ, но не душу.

Такимъ версификаторомъ и былъ Делиль и многіе его подражатели. Успѣхъ его опредѣлялся двумя предметами: гармоніей и гибкостью стиха и блестящей эlegantностью стиля. Русскому переводчику трудно было бороться съ нимъ, не смотря на свое сравнительно-свободное владѣніе стихомъ. Онъ не имѣлъ средствъ совладать ни съ его перифразами, выражающими одну и ту же мысль многоразличными, но всегда ловкими оборотами, ни съ другими побѣдами его надъ трудностями языка и версификаціи. Кажется, переводчикъ самъ сознавалъ это, называя себя, хотя и въ шутку, «исказителемъ» Делиля (**), но Батюшковъ, по-видимому, не шутя отнесся о немъ, какъ о «терзателѣ» этого французскаго автора (***).

§ 47. Такъ какъ творцы описательныхъ поэмъ, описывая какой-либо предметъ, съ тѣмъ вмѣстѣ имѣли въ виду и научить ему, сообщить о немъ извѣстное количество знаній, то онѣ относятся къ области дидактическихъ произведеній, изъ которыхъ теоретики образовали особый, четвертый поэтический родъ. Но какъ ни велико число фактовъ, образующихъ эту область и удерживающихъ теперь за собою только интересъ историко-литературный, она ни по своему содержанію, ни по способу представлять оное, никогда не имѣла права занимать самостоятельное, независимое мѣсто. При возведеніи дидактическихъ стихотвореній въ особый поэтический родъ на ряду съ эпосомъ, лирикой и драмой, было нарушено единство логическаго дѣленія поэзіи, т. е. введена новая точка зрѣнія—внѣшняя цѣль, состоящая въ поученіи и прямо противоположная сущности поэзіи, цѣль которой лежитъ въ ней самой, а не внѣ ея. Въ дидактическомъ стихотвореніи нѣтъ и быть не можетъ органической, неразрывной связи между содержаніемъ и формой; его поэтическая одежда — предметъ

(*) Космосъ, Гумбольдта, переводъ Фролова, изд. 2 (часть 2, отдѣлъ I: Сочувствіе природѣ, смотря по различію временъ и народныхъ племенъ, стр. 4—67).

(**) Въ сатирѣ: Домъ сумасшедшихъ (Ист. Христ. II, 379).

(***) Въ письмѣ къ Жуковскому (Рус. Архивъ 1867 г., стр. 1467).

случайный: это, по словам Плутарха, не что иное, как колесница, взятая на прокат и спасающая прозаическую музу от стыда и изгнания. Не смотря на это, дидактическія произведенія долгое время пользовались большим почетомъ. Особенно важнѣйшему ихъ виду—дидактической поэзмѣ—стихотворцы придавали двойную цѣну, такъ какъ она, по ихъ мнѣнію, доставляла и удовольствіе и пользу: «*utile dulci*—общій законъ для всѣхъ родовъ поэзіи, но прочіе роды ея главною цѣлію предполагаютъ удовольствіе, а въ дидактическихъ твореніяхъ удовольствіе подчиняется пользѣ» (*). Объ удовольствіи читать хорошіе стихи едва ли кто будетъ спорить; но оно не одно и тоже съ чувствомъ эстетическаго наслажденія, приносимаго истинно-поэтическимъ созданіемъ. Что же касается до полезности, то опытъ показалъ совершенно противное: всѣ дидактическія поэмы, начиная съ «Георгикъ» и кончая «Садами», никого и ничему не научили; какъ первая не образовала ни одного агронома или пчеловода, такъ вторая не произвела ни одного садовника.

Въ прошломъ вѣкѣ были переведены у насъ слѣдующія дидактическія поэмы: Тредьяковскимъ — «Посланіе къ Пизонамъ» Горация и «Наука о стихотворствѣ» Буало, Поповскимъ «Опытъ о человѣкѣ» Попа (1757), Богдановичемъ «На разрушеніе Лиссабона» Вольтера (1763), Рубаномъ «Георгики» (1777), Карамзинымъ «О происхожденіи зла» Галлера (1786) (**); изъ оригинальныхъ слѣдуетъ указать на «Плоды наукъ» Хераскова и на «Сугубое блаженство» Богдановича. Къ нимъ въ первое двадцатилѣтіе текущаго вѣка, кромѣ новыхъ переводовъ нѣкоторыхъ прежнихъ поэзмъ (гр. Д. Хвостовымъ — «Науки о стихотворствѣ» Буало, Мерзляковымъ — «Посланія къ Пизонамъ», Ранчемъ — «Георгикъ»), присоединились переводныя: «Благодать» Расина (1801—1802), «Естественный законъ» Вольтера (1802), «Опытъ о критикѣ» Попа (1806), «Военное искусство» Фридриха Великаго (1817) и оригинальная «Необходимость Мессіи, доказанная разумомъ», С. Смирнова (1803). Мы нечислили болѣе замѣчательныя явленія дидактическаго стихотворства, опустивъ менѣе важныя, тѣмъ болѣе, что кредитъ его держался не долго: онъ былъ подорванъ и непосредственнымъ чувствомъ читателей, которые, должно думать, не находили ни удовольствія, ни пользы въ чтеніи поучительныхъ поэзмъ, и сознаніемъ литературнаго круга. Въ вышеуказанной магистерской диссертациі Ранча, выставлены слѣдующіе два тезиса: «Дидактика, имѣющая первоначальною основою разсудокъ, а не воображеніе, не есть въ собственномъ смыслѣ поэзія; дидактическія стихотворенія только по наружнымъ качествамъ (преимущественно слогу) принадлежать къ поэзіи». Но сдѣлавъ такіе выводы изъ своего разсужденія, авторъ, какъ бы опасаясь чего-то, въ самомъ разсужденіи не рѣшился положительно исключить дидактику изъ области поэзіи, на томъ основаніи, что «это значило бы противорѣчить теоріи изящныхъ искусствъ и поколебать первыя ихъ начала», причемъ сослался на авторитетъ Баттѣ, т. е. на его сочиненія: «*Les beaux arts réduits à un même principe*» и «*Cours de belles lettres*».

Частию тоже самое должно сказать о поэтическомъ письмѣ, или посланіи, получившемъ свое названіе отъ формы, а не отъ содержанія, которое можетъ быть многоразлично. Въ своемъ историческомъ ходѣ оно большею частию являлось съ перевѣсомъ то поучительнаго, то сатирическаго элемента, почему теоретики и ста-

(*) Разсужденіе о дидактической поэзіи, Семена Амфитеатрова (Ранча). 1822.

(**) Другой переводъ той же поэмы—Богданова (1798).

вили его преимущественно въ разрядъ дидактическихъ стихотвореній. Посланія и уважались именно съ этой точки зрѣнія, т. е. по своей полезности: «важная и благородная цѣль сочиненій сихъ была достойно уважаема: древніе и новые писатели употребляли оныя для исправленія пороковъ или, переходя отъ общаго къ частному, для направленія на прямой путь къ словесности молодыхъ, неопытныхъ авторовъ» (*). Дидактическихъ посланій въ нашей литературѣ не мало, начиная съ двухъ писемъ: Ломоносова къ Шувалову «о пользѣ стекла» (1752) и Поповскаго къ тому же лицу «о пользѣ наукъ и воспитаніи» (1756). Съ Карамзина посланія, измѣнивъ обычное содержаніе и направленіе, сдѣлались любимой формою писателей. Уже въ 1810 г. Шишковъ презрительно называлъ ихъ «моднымъ» роднымъ стихотворства. Эта мода перешла къ намъ изъ французской литературы, въ которой, съ XVIII вѣка, посланіе стало замѣнять оду, наскучившую читателямъ. Въ разсужденіи Даламбера объ одѣ (**) указаны причины такого явленія: посланіе болѣе отвѣчало духу времени—господству энциклопедической философій, преобладанію разума надъ чувствомъ; оно удобнѣе выражаетъ мысли, допуская болѣе свободный планъ и болѣе свободные переходы изъ однихъ тоновъ въ другіе; чуждо притязаній на пышное убранство, какое привыкли видѣть въ одѣ, но которое противорѣчитъ простотѣ и естественности; доступнѣе дарованіямъ всякаго размѣра, тогда какъ ода требуетъ сильнаго поэтическаго таланта. Согласно съ этимъ, и наши стихотворцы стали пользоваться посланіемъ, какъ удобнѣйшей формой для выраженія нравственныхъ и литературныхъ понятій, а также личныхъ своихъ чувствъ и впечатлѣній. Въ такомъ видѣ посланіе можетъ быть дѣйствительно поэтическимъ писемомъ, т. е. приобрести самостоятельное достоинство, если въ своей свободной формѣ художественно выразитъ личность пишущаго, характеръ его душевнаго настроенія и образа мыслей. Къ такому роду посланій относятся нѣкоторые посланія Жуковскаго (къ А. Тургеневу, кн. Вяземскому и В. Пушкину) и Батюшкова (къ Дашкову).

Дарованіе Воейкова имѣло больше склонности къ сатирѣ, какъ доказывается его «Посланіемъ къ Сперанскому» (1806), «Домомъ сумасшедшихъ» (1814—1838) (***) и «Парнаскимъ адресъ-календаремъ» (****). Онъ умѣлъ подмѣчать смѣшныя стороны и крупные недостатки людей и выражать ихъ рѣзкимъ словомъ. Но этотъ сатирическій даръ, подъ вліяніемъ другихъ психическихъ свойствъ, принялъ одностороннее направленіе. Авторъ не могъ придать своей сатирѣ ни собственно-поэтическаго, ни нравственнаго достоинства: она постоянно впадала либо въ карикатуру, либо въ пасквиль; орудіями ея были—оскорбительно-рѣзкій тонъ, злые намеки, грубая брань, хотя не лишенная силы, но весьма часто лишенная правды, которая почти не принималась во вниманіе. На людей Воейковъ смотрѣлъ не иначе, какъ на пріятелей своихъ или на своихъ враговъ. Не типы ему были нужны, а личности; не литературные интересы вообще, а отношенія къ той или другой литературной партіи двигали перомъ его. Члены «Арзамаса» могли быть увѣрены въ его похвалахъ,

(*) Два посланія В. Пушкина (1811).

(**) Переводъ ея въ С.-петербургскомъ Меркуріи (1793, май).

(***) Первая редакція этой сатиры относится къ 1814 г.; потомъ, въ теченіи 24-хъ лѣтъ, она пополнялась (Русская Старина 1874, мартъ).

(****) По однимъ (Рус. Архивъ 1866, стр. 760) написанъ въ 1816 г., а по другимъ (Рус. Старина 1874, мартъ) не раньше 1818 г.

знать того времени, безъ сомнѣнія выработалось и умѣнье писателя держать себя въ печати,—тотъ приличный и достойный тонъ, который многіе въ укоръ или насмѣшку называли аристократизмомъ, по которымъ благовоспитанный человѣкъ обязывается изъ уваженія къ себѣ самому, литературѣ и публикѣ.

Изъ сатиръ, относящихся къ эпохѣ Александра I, укажемъ слѣдующія: «Къ перу моему» (1816), «Къ Жуковскому» (1821), «Къ Дмитріеву» (1823), «Къ Каченовскому» (1821) (*). Въ первыхъ трехъ авторъ подражалъ Буало (сатиры 2, 3 и 9), въ послѣдней Вольтерову стихотворенію на зависть (de l'envie). Какъ Буало преслѣдовалъ писателей, которые подъ вліяніемъ Ронсаровой школы или испанскихъ и итальянскихъ образцовъ породили во французской литературѣ извращенный вкусъ, такъ сатиры кн. Вяземскаго имѣютъ своимъ предметомъ бездарное и пошлое писательство, обратившее поэзію въ ремесло, цеховыхъ стихотворцевъ, напыщенную фразеологию одошечевъ и трагиковъ комическій сентиментализмъ, педантизмъ и зависть авторовъ, невѣжество большинства читателей, для коихъ «каждый печатный листъ кажется святымъ». Посланіе къ Каченовскому отличается особенною рѣзкостью, объясняемою тѣмъ, что въ лицѣ, къ кому оно адресовано, сатирикъ замѣчалъ постоянно-недружелюбное отношеніе къ Исторіи Карамзина. Эпиграммы кн. Вяземскаго болѣею частью направлены противъ П. И. Картузова (Голенищева-Кутузова) и Шутовскаго (кн. Шаховскаго), какъ литературныхъ непріятелей Карамзина и Жуковскаго, или осмѣиваютъ Вздыхалова (кн. Шаликова) и Бибриса (Боброва), изъ которыхъ первый довелъ до забавной крайности сентиментализмъ, а второй сдѣлалъ тоже самое относительно стихотворческой напыщенности.

Обличенія кн. Вяземскаго не ограничивались литературною сферою. По своему уму и наблюдательности онъ и не могъ смотрѣть только въ одинъ уголокъ края. Онъ обращалъ внимательную мысль и на другія его стороны, замѣчая недостатки общаго внутренняго состоянія нашего, отъ неустройства дорогъ и *кваснаго* патріотизма до стѣснительнаго устройства цензуры и дальше, и предавая замѣченное письму. Стихотворенія, сюда относящіяся, отличаются еще болѣею внутреннимъ въсомъ и болѣею силою выраженія. Но какъ они, хотя и знаемыя наизусть всѣми любителями русской сатиры, не имѣются въ печати, то нечего о нихъ и говорить. Свидѣтельствомъ же того, какъ сатирикъ ясно понималъ характеръ нашего общества и положеніе въ немъ выдающихся личностей, можетъ служить письмо его къ Пушкину, 1825 г. (**).

Ист. Хр. II, 393 и д. См. также приложенія къ собранію стихотвореній кн. Вяземскаго (Въ дорогѣ и дома, 1862).

§ 49. Содѣйствіе успѣхамъ роднаго языка и словесности служило предметомъ занятій не однихъ отдѣльныхъ лицъ, но и литературныхъ обществъ, официальныхъ и частныхъ.

Изъ нихъ на первомъ мѣстѣ должна быть поставлена Россійская Академія, какъ правительственное учрежденіе. При Александрѣ I она вступила во второй періодъ своего существованія, который, сравнительно съ первымъ, Екатерининскимъ, нельзя

(*) Первая—въ Трудахъ Моск. Общества любителей рос. Словесности, ч. 5; вторая—въ Сынѣ Отеч. ч. 63, третья—въ Полярной звѣздѣ 1823; четвертая—въ С. О. ч. 67.

(**) Рус. Архивъ 1874, № 1.

назвать временемъ ея возвышенія. Прежде всего это обнаруживается личнымъ академическимъ составомъ въ обѣ эпохи. Списокъ членовъ Академіи при Екатеринѣ представляетъ образованнѣйшихъ людей того времени, знаменитыхъ литераторовъ. Не то видимъ въ два послѣдовательныя президентства: Нартова (съ 1801 по 1813) и Шишкова (съ 1813 по 1840): Карамзинъ и Жуковскій, по общему сознанию публики давно принадлежавшіе къ первокласснымъ писателямъ, были приняты Академіей только въ 1818 г., послѣ того, какъ въ ней уже засѣдали многія личности, и тогда извѣстныя всѣмъ своею посредственностью, а теперь потерявшія и это свое качество. Даже въ признаніи заслугъ Востокова Московское Общество любителей россійской Словесности предупредило Академію, которая избрала его въ свои члены уже послѣ того, какъ знаменитое его «Разсужденіе о славянскомъ языкѣ» явилось въ «Трудахъ» общества. Надобно жалѣть и удивляться, если Россійская Академія, вовсе не старая сравнительно съ другими тождественными ей иноземными учрежденіями, при оцѣнкѣ авторскаго значенія, такъ рано увлеклась примѣромъ Академіи Французской, которая открыла свои двери Вольтеру не прежде, какъ ему минуло пятьдесятъ лѣтъ, а Ж. Ж. Руссо и вовсе не удостоился этой чести. Причина странныхъ выборовъ и невыборовъ объясняется не покровительствомъ вліятельныхъ лицъ, какъ это имѣло мѣсто во Франціи, а односторонностью литературныхъ взглядовъ, доходившею до исключительности, что и повело неизбежно къ нетерпимости, замкнутости ученаго сословія.

Въ первые годы втораго періода Академіи происходилъ споръ о языкѣ, открытый разсужденіемъ Шишкова о старомъ и новомъ слогѣ россійскаго языка (*). Онъ отразился и на трудахъ Академіи, которая задумала изгонять изъ нашего языка общепотребительныя иностранныя слова, замѣняя ихъ русскими, на что и посвящала часть своихъ засѣданій (**). При различіи взглядовъ на отношеніе языка церковно-славянскаго къ русскому и на существенныя достоинства литературной рѣчи, общество Карамзина и его послѣдователей равнялось бы для академиковъ отреченію ихъ отъ своего собственнаго ученія. Къ такому самоосужденію менѣе всѣхъ былъ способенъ Шишковъ, въ характерѣ котораго заключалась особенность, много способствовавшая раздраженію и долговременности полемики. При всемъ простодушіи и честности, онъ страдалъ упрямствомъ однажды принятаго мнѣнія. Съ силой этого упрямства могло равняться только сила его трудолюбія. Онъ думалъ единственно о томъ, чтобы отбить противника, а не о томъ, чтобы вникнуть въ значеніе его доводовъ. Возраженія, самыя дѣльныя, перѣдко принимались имъ какъ личныя обиды; они раздражали его, а въ раздражительности онъ, сознательно или безсознательно, становился недобросовѣстнымъ. Если Шишковъ, и при Нартовѣ, былъ, по своей дѣятельности, вліятельнѣйшимъ членомъ Академіи, то, занявъ въ ней предсѣдательское мѣсто, онъ, разумѣется, старался окружить себя лицами одного съ нимъ литературнаго направленія, болѣею частію членами «Бесѣды любителей русскаго слова».

Свѣдѣнія о своихъ засѣданіяхъ, равно какъ и труды своихъ членовъ Академія сообщала публикѣ въ слѣдующихъ повременныхъ изданіяхъ: «Сочиненія и переводы», 7 ч. (1805—1823), «Извѣстія», 12 кн. (1815—1828), «Повременное изданіе», 4 ч. (1829—1832), «Краткія записки», 3 кн. (1834—1835). Наполнялись эти

(*) Ист. Рус. Слов. II, § 14.

(**) ib. стр. 62.

такъ же какъ члены «Бесѣды» въ его хулѣ: каждый изъ послѣднихъ являлся у него либо пошлымъ дуракомъ, либо подлецомъ. Но стоило только бесѣднику выдти изъ Бесѣды, стать же-бесѣдникомъ, какъ онъ изъ глупаго и подлаго преобразался въ умнаго и честнаго. Мѣры не было ни въ чемъ — ни въ порицаніяхъ, ни въ похвалахъ; но всею меньше было чувства правды, даже желанія быть правдивымъ. Что, напримѣръ, нашелъ Воейковъ смѣшнаго въ занятіяхъ Каченовскаго русской археологіей? Какъ онъ отозвался объ одномъ изъ образованнѣйшихъ своихъ современниковъ—Н. М. Муравьевѣ-Апостолѣ (*)? Намѣренная неразборчивость, подведеніе разнородныхъ личностей подъ одинъ уровень роиаетъ значеніе сатиры и сатирика, вызывая въ немъ стремленіе не обличать дѣйствительные недостатки, а выдумывать небывальщизны.

Лучшее изъ сатирическихъ стихотвореній по внутреннему достоинству — «Посланіе къ Сперанскому», частію подражаніе, частію переводъ пятой сатиры Буало (A. M. le marquis de Dangeau). Какъ извѣстно, Сперанскій не пользовался расположеніемъ тщеславныхъ отраслей именитыхъ родовъ: гордые мыслятъ о своемъ высокомъ происхожденіи, они смотрѣли на государственнаго дѣятеля, какъ на выскочку изъ низменной среды. Литератору, при сочувствіи къ человѣку, собственными трудами возвысившему свой родъ, было весьма кетати напомнить этимъ гордецамъ, не имѣющимъ лично за собою никакихъ заслугъ передъ отечествомъ, тѣ истины, которыя въ первой половинѣ XVIII-го вѣка Кантемиръ высказалъ во второй своей сатирѣ. Умѣстно также обращеніе сатирика къ дураку, «воспитанному французами», какъ къ представителю тщеславнаго высшаго дворянства: оно указываетъ на сильное развитіе и укорененіе французскаго воспитанія русскаго юношества въ высшемъ сословіи, при Александрѣ I. Вообще паоосъ сатирика, возбужденный съ одной стороны раздраженіемъ противъ людей, величающихся титлами предковъ, украшающихся чужимъ добромъ, а съ другой—государственными дѣйствіями Сперанскаго, есть чувство благородное и даетъ истинную цѣну посланію.

«А. О. Воейковъ». Библіограф. замѣтка А. Лазаревскаго, въ I-мъ вып. «Сборника», издав. студентами с.-п.-б. университета; «Литературные дѣятели прежняго времени», Е. Колбасина: Письма Воейкова къ кн. Волконской, въ «Библ. Зап.» 1858. № 9.

§ 48. Сатира нашла себѣ достойнаго представителя въ князѣ П. А. Вяземскомъ (род. 1792 г.). Сознаніе своего мѣста и значенія среди русскихъ писателей высказано имъ самимъ въ рѣчи на юбилей пятидесятилѣтней литературной его дѣятельности (**). Вотъ что отвѣчалъ онъ на привѣтствіе графа Д. П. Блудова: «Вы во мнѣ радушно привѣтствуете и ласково провожаете живое и нечуждое сочувствіемъ вашимъ преданіе. Вы въ моемъ лицѣ празднуете умилительную тризну славнымъ покойникамъ, которыхъ нѣкогда былъ я питомцемъ, современникомъ и товарищемъ. Не мои дѣла, не мои труды, не мои побѣды празднуете вы. Вы заявляете сердечное слово, вы подаете ласковую руку простому рядовому, который уцѣлѣлъ изъ побоища смерти и пережилъ многихъ знаменитыхъ сослуживцевъ.... На литературномъ поприщѣ я живое воспоминаніе великой эпохи. Я напоминаю вамъ имена ея,

(*) Парнас. адресъ-календарь.

(**) Первымъ сочиненіемъ кн. Вяземскаго было «Посланіе къ *** въ деревню» (Вѣст. Евр. 1808 г., томъ IV, стр. 178); слѣдовательно пятидесятилѣтіе исполнилось въ 1858, но по нѣкоторымъ обстоятельствамъ оно правдновалось въ 1861-мъ.

имена Карамзина, Жуковского, Пушкина и некоторых других знаменитых ее деятелей.... Это не заслуга, но это право на сочувственное внимание ваше. Вы влияете на нас в заслугу счастье, которое сблизило и сроднило меня с именами, вамъ любезными и съ блескомъ записанными на скрижаляхъ памяти народной» (*).

Никто не имѣетъ права сомнѣваться въ искренности этого мнѣнія, которое юбиларъ называлъ своимъ убѣжденіемъ; но можно, однакожъ, думать, что въ него вошла значительная доля сдержанности. Какъ воспитанникъ Карамзина, какъ другъ Жуковского и Пушкина, кн. Вяземскій, конечно, стоялъ къ нимъ близко и былъ сослуживцемъ двухъ послѣднихъ, но одною современностью жизни и службы съ почетнѣйшими именами нашей словесности не пріобрѣтается литературная извѣстность: для нея необходимо собственное дѣло, нужна личная заслуга, независимо отъ родственныхъ или пріятельскихъ связей, хотя и при этихъ связяхъ, какъ вообще въ жизни, не теряетъ своей силы умное изреченіе: «скажи мнѣ, съ кѣмъ ты водишься, и я скажу тебѣ, кто ты».

Становиться на сторонѣ Карамзина, Жуковского, Пушкина значило становиться на сторонѣ выдающихся талантовъ и производимаго ими литературнаго движенія впередъ. Такой выборъ по малой мѣрѣ обнаруживаетъ въ избирателѣ инстинктивное чувство лучшаго, болѣе живаго и свѣжаго, болѣе отвѣчающаго состоянію времени. Высшая же мѣра опредѣляется сознаниемъ законности выбора и трудами на пользу выбраннаго предмета. Тогда дѣятель становится самъ почетнымъ членомъ той школы, которая предназначила себя цѣлью улучшеніе языка или обновленіе и расширеніе поэзіи. Въ этомъ-то содѣйствіи прогрессивному литературному движенію и состоитъ заслуга кн. Вяземскаго. Она тѣмъ болѣе достойна вниманія, что образованіе кн. Вяземскаго совершилось почти подъ исключительнымъ вліяніемъ такъ называемой классической словесности французовъ (**), которые упорно держатся литературныхъ правилъ и преданій, какъ бы въ противоположность той быстротѣ и отвагѣ, съ какими они производятъ социальные и политическіе перевороты. Своимъ знакомствомъ съ французскими классиками кн. Вяземскій пользовался какъ ловкимъ орудіемъ не для поддержки того, что нашими литераторами было заимствовано у французскихъ писателей XVII и XVIII вв., а для осмѣянія ревнителей стараго слога и псевдоклассическаго вкуса, для отраженія нападокъ на новый слогъ и исторію Карамзина, на романтизмъ Жуковского, на новоромантизмъ Пушкина (**). Его сатиры, эпиграммы и полемическія статьи, по поводу этихъ предметовъ, отличаются здравымъ умомъ, мѣткимъ остроуміемъ и своеобразнымъ стилемъ, разумѣя подъ послѣднимъ не одинъ складъ рѣчи, но и способъ представленія. Какъ членъ «Арзамаса» (§ 37), кн. Вяземскій, вмѣстѣ съ другими лицами того же кружка, пріобрѣлъ навѣкъ самостоятельно относиться къ литературнымъ вопросамъ и подвергать критикѣ новыя произведенія писателей одного съ нимъ направленія. Этотъ обычай круговой пріятельской цензуры сохранилъ онъ и въ послѣдствіи, какъ показываетъ его переписка съ Жуковскимъ и Пушкинымъ. Въ «Арзамасѣ» же, собравшемъ почти всю литературную

(*) Юбилей пятидесятилѣтней литературной дѣятельности кн. Петра Андреевича Вяземскаго (Спб. 1861).

(**) Служа въ Польшѣ (1817—1820), кн. Вяземскій познакомился съ литературою польскою и съ лучшими ее тогдашними представителями.

(***) Такъ называли поэзію Пушкина въ отличіе отъ поэзіи Жуковского.

близкомъ, ни въ дальнемъ родствѣ. Такъ существительное *звено* Шишковъ производилъ отъ глагола *звенѣть*, и свое производство подкрѣплялъ примѣромъ: *звенья* (*въ цѣпи*), какъ будто кольца цѣпи, хотя бы и металлической, получили названіе отъ того, что каждое изъ нихъ можетъ звенѣть! Существительное *блоха* сводилъ онъ съ глаголомъ *пихать*, т. е. съ свойствомъ этого насекомаго «пихать погами» и такимъ образомъ прыгать, скакать. Справедливость этого мнѣнія доказывалась тѣмъ, что у поляковъ блоха называется *пхла*, *пхлака* (пихающая). Но и польское *пхла*, и церковно-славянское *блѣха*, находясь въ несомнѣнной связи съ литовскимъ *blusa*, латинскимъ *pulex*, приводятся къ такой основной формѣ—именно *pulaca* (*), которая не имѣетъ ничего общаго съ глаголами *пинать*, *пихать*. И между тѣмъ Шишковъ былъ до того увѣренъ въ непогрѣшимости своего корнесловія, что смотрѣлъ на соображенія и выводы, сюда относящіеся, какъ на математическія истины. Онъ совѣтовалъ и Востокову заяться этимъ упражненіемъ и не слѣдовать тѣмъ писарямъ-невѣждамъ, которые безъ всякаго разсужденія основываютъ свое знаніе на одномъ только крикѣ, или на скороспѣшномъ заключеніи о томъ, о чемъ надобно сто разъ поговорить и подумать (**). Въ этой увѣренности, граничившей съ упрямствомъ и потому часто въ него переходившей, заключался второй недостатокъ Шишкова. Вообще одностороннее направленіе Академіи, при Нартовѣ и особенно при Шишковѣ, не допускавшее счетовъ и соглашеній съ современною литературою (***), породило неудовольствіе въ послѣдней, равно какъ и въ образованномъ кругу публики, которая справедливо обвиняла ученое сословіе въ непродуманности трудовъ, даже въ застоѣ. Шишковъ сердился на недовольныхъ, называя ихъ «оцѣнщиками чужихъ трудовъ». Но если такъ, то онъ былъ долженъ сердиться и на Ганку, жалѣвшаго, что Академія, при весьма значительныхъ средствахъ, очень мало сдѣлала (****). Конечно, чешскій ученый разумѣлъ то время, въ которое предѣлательствоваль Шишковъ и которое, вмѣстѣ съ временемъ Нартова, по общности характера и направленія академическихъ трудовъ, мы соединили въ одинъ періодъ. Только съ третьяго періода, т. е. съ присоединенія Россійской Академіи къ Академіи Наукъ въ видѣ особаго, втораго, отдѣленія (1841), стала она на настоящую, твердую почву и начала въ строгомъ смыслѣ научные, плодотворные труды свои по русскому языку и словесности.

Кромѣ «Словаря, расположеннаго по азбучному порядку» (6 частей, 1806—1822), Академія издала составленную ея членами Д. и Н. Соколовыми «Грамматику руссійскаго языка» (1802 г.) (*****). Книга эта, при ея третьемъ изданіи, была по достоинству оцѣнена Гречемъ (*****): критикъ нашелъ ее неудовлетворительною по

(*) Галина (Ungeziefer). См. Fick: «Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen» (1871). Нѣкоторыя замѣтки на словопроизводство Шишкова нап. въ статьѣ: «Мои сомнѣнія при чтеніи 6-ой книжки Извѣстій Рос. Академіи» (С. От. 1819, ч. 58).

(**) Письмо Шишкова къ Востокову, 1820 г. (Сборникъ статей 2-го отдѣл. Ак. Наукъ, т. V, вып. 2, стр. XXXV—XXXVI.).

(***) Шишковъ отдѣлялъ писателей отъ академиковъ (О разности между академикомъ и писателемъ, въ Краткихъ Запискахъ 1834—1835).

**** Письмо къ Востокову въ 1841 г. (Сборникъ статей 2-го отд. Ак. Н. т. V, вып. 2, стр. 350).

(*****) Слѣдующія изданія: 1809, 1819, 1827.

(***** С. Отеч. 1819, ч. 55. Разборъ остроумно оканчивается похвалою стихамъ Ломоносова, приведеннымъ Грамматикою въ примѣръ употребленія мѣстоименій:

Что вы, о поздніе потомки,
Помыслите о нашихъ дняхъ?

сбивчивости, неправильности многихъ опредѣленій и правилъ и по странному расположенію ея частей, обнаруженному особенно тѣмъ, что на первомъ мѣстѣ стоитъ правописаніе, а за тѣмъ уже слѣдуютъ этимологія и синтаксисъ, которые служатъ основою правописанія и безъ которыхъ слѣдовательно оно не можетъ быть объясняемо научнымъ образомъ. Изъ второстепенныхъ цѣлей Академіи заслуживаетъ вниманія заботливость ея доставить любителямъ русской словесности образцы различныхъ сочиненій, почему она и предлагала своимъ членамъ переводить древнихъ и новыхъ классическихъ писателей. Въ слѣдствіе этого и были переведены слѣдующія сочиненія: Путешествіе младшаго Анахарсиса по Греціи, 6 ч. (1804—1809), Тацитова лѣтопись, 4 ч. (1806—1809), Саллюстія о войнѣ Катилины и о войнѣ Югурды (1809), Ликей, или кругъ словесности, древней и новой, Лагарпа, 5 ч. (1810 — 1814), Разсужденіе о механическомъ составѣ языковъ и физическихъ началахъ этимологій, Бросса, 2 ч. (1821 — 1822). Дѣятельность Академіи, въ этомъ отношеніи не безполезна, служила продолженіемъ занятій учрежденія, основаннаго кн. Е. Р. Дашковой и называвшагося «переводческимъ департаментомъ».

Матеріалы для исторіи Рос. Академіи: статья Д. Языкова въ Энциклопед. Лексиконѣ 1835 г., т. I; ст. П. Пекарскаго въ Энцикл. Словарѣ, составленномъ русскими учеными и литераторами 1861 г., т. II; Опытъ Исторіи Рос. Академіи, А. Красовскаго въ Журн. Мин. Народ. Просвѣщенія 1848 г., №№ 11 и 12; Исторія Рос. Академіи, М. Сухомлинова. Вып. 1. 1874 (приложеніе къ XXIV тому Записокъ Ак. Наукъ, № 2).

Подлѣ Россійской Академіи всего умѣстише поставить «Бесѣду любителей русскаго слова» (*), которая хотя была частнымъ литературнымъ обществомъ, но по уставу представляла полуофициальный характеръ. Шишковъ, какъ устроитель и предсѣдатель этого общества, задуманнаго имъ съ предвзятою мыслію, ничѣмъ ни отличался отъ Шишкова, какъ президента Академіи. Характеръ трудовъ той и другой корпораціи, направляемыхъ ихъ корифеемъ, большею частью обнаруживаетъ видимое сродство за немногими исключеніями. Другаго трудно было и ожидать, такъ какъ мы уже видѣли, что многіе бесѣдисты съ 1813 г. сдѣлались академиками.

Первымъ правиломъ Бесѣды положено было чтеніе произведеній предъ посѣтителями обоюдого пола, а вторымъ — изданіе трудовъ, которые дѣлились на два рода: произведенія словесности и судъ о языкѣ и словесности. Сборникъ общества, подлѣ названіемъ: «Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова» (19 кн., 1814—1815) заключаетъ въ себѣ нѣсколько замѣчательныхъ статей: о лирической поэзіи (Державина); разсужденіе о любви къ отечеству (Шишкова); разсужденіе Филарета о нравственныхъ причинахъ неимовѣрныхъ успѣховъ нашихъ въ войнѣ съ французами 1812 г.; переписка Уварова съ Гнѣдичемъ и Капнистомъ о гексаметрахъ; о Горациіи и переводъ нѣкоторыхъ его стихотвореній, Муравьева-Апостола; басни Крылова. Особеннаго вниманія заслуживаетъ вопросъ о гексаметрахъ, такъ твердо поставленный Уваровымъ и такъ умно имъ рѣшенный (**).

Первымъ, по времени появленія, литературнымъ обществомъ было «Вольное общество любителей Россійской словесности, наукъ и художествъ». Оно основано въ 1801 г. шестью студентами, окончившими курсъ въ бывшей при Академіи Наукъ

(*) Ист. Рус. Слов. II, 75.—76.

(**) Ib. II, 269 и дал.

сборники преимущественно статьями Шникова, которыми главным образом и определялась сущность академической деятельности. Хотя означенныя статьи и не дали повода къ какимъ-либо научнымъ выводамъ, но все же справедливо вѣрить ихъ въ заслугу автора, котораго трудолюбіе вытекало изъ искренней любви къ предмету.

Первое изданіе (Сочиненія и переводы Россійской Академіи) предназначалось для изслѣдованій богатства, силы и красоты русскаго языка. Такъ какъ эти коренныя свойства зависятъ отъ такихъ же свойствъ языка славянскаго, то Академія и выразила желаніе, чтобы послѣдній былъ разсматриваемъ въ подробности; кромѣ того предложила она заняться знаменованіемъ малоупотребительныхъ словъ и реченій, чрезъ что съ одной стороны открывается ихъ значеніе — собственное и переносное, а съ другой — выраженіе мыслей приобретаетъ высокую доброкачественность. Не худо, говорится въ предувѣдомленіи къ изданію, если «слова нынѣ вовсе неизвѣстныя будутъ отыскиваемы и объясняемы: ихъ нужно знать для чтенія старинныхъ книгъ и рукописей». Чтобы не наполнять каждую книжку одними сужденіями объ языкѣ, положено было помѣщать извѣстія объ упражненіяхъ Академіи и другія, приличныя изданію, сочиненія и переводы. Къ послѣднему отдѣлу отнесены объясненія русскихъ древностей, описанія достопамятностей русской исторіи и важнѣйшихъ происшествій новаго времени, похвальные слова русскимъ государямъ, знаменитымъ мужамъ или наукамъ, извлеченія изъ классическихъ писателей, правилъ, до словесности касающихся, стихотворенія. Академія съ такимъ почтеніемъ смотрѣла на похвальные слова, что присудила задавать темы для ихъ сочиненія и авторовъ, наилучше исполнившихъ задачу, награждать медалями. Вѣроятно, при этомъ имѣлись въ виду или похвальные слова Ломоносова, или примѣръ Французской Академіи: извѣстно, что такъ называемыя у французовъ *éloges*, бывшія некогда въ модѣ, составляютъ значительный отдѣлъ ихъ литературы. Но эта мода, надобно замѣтить, имѣла смыслъ: она лежала въ потребности времени. Краснорѣчіе, за неимѣніемъ другихъ практическихъ способовъ, явилось какъ удобное средство высказаться образованнымъ людямъ о тѣхъ или другихъ общественныхъ интересахъ. Недовольство современнымъ состояніемъ дѣлъ, отсутствіе наличныхъ достославныхъ особъ заставили мыслящихъ писателей отыскивать въ древности или въ чужихъ земляхъ противоположныя дѣла и личности. Похвалы прошлому служили въ тоже время косвенной критикой настоящаго, какъ это и видно въ похвальномъ словѣ Марку Аврелію. Тома (Thomas), главнаго представителя французскаго академическаго краснорѣчія. Что у французовъ было вызвано дѣйствительными обстоятельствами, то у насъ обратилось въ простое подражаніе. Къ этому существенному различію присоединилось и другое, немаловажное: различіе въ талантахъ. Тома владѣлъ несомнѣннымъ даромъ краснорѣчія, тогда какъ П. Львовъ, авторъ похвальнаго слова царю Алексѣю Михайловичу, награжденный отъ Академіи золотою медалью, принадлежалъ къ посредственностямъ, если не къ бездарностямъ. И если похвальные слова перваго при всѣхъ своихъ частныхъ достоинствахъ, въ сущности не относятся ни къ исторіи, ни къ поэзіи, то какой судъ произнести надъ послѣднимъ, уточняющимъ своею безсодержательной фразеологіей? Въ немъ нѣтъ ничего, что требовалось Карамзинымъ отъ этого рода сочиненій: ни заманчивости для ума и воображенія, ни новыхъ и богатыхъ идей, ни картинъ (*). Авторъ историческаго похвальнаго слова Екатерины II

(*) Рѣчь въ собраніи Рос. Академіи, 1818 г.

имѣлъ право заявлять такія требованія; но панегиристы, за нимъ слѣдовавшіе, не могли исполнить оныхъ, по недостатку нужныхъ для того дарованій. Изъ работъ Шишкова въ «Сочиненіяхъ и переводахъ» укажемъ на разсужденіе о краснорѣчіи Св. Писанія (*), о звукоподражаніи, о сословахъ, о переводахъ съ одного языка на другой и переложеніе Слова о полку Игоревѣ съ обширными къ нему примѣчаніями.

Вступивъ въ управленіе Академіей, Шишковъ нашель, что прежнія ея занятія, за исключеніемъ одного—преобразованія изданнаго при Екатеринѣ производнаго словаря въ алфавитный—не отвѣчали цѣли ученаго сословія. Она, по словамъ вступительной статьи новаго изданія (Извѣстія), выпустила изъ виду настоящую свою обязанность: «изслѣдованіе состава и разума словъ, опредѣленіе правилъ и свойствъ языка, установленіе и огражденіе его отъ порчи писателей, не знающихъ силы онаго». Посему «Извѣстія» должны были заключать въ себѣ предложенія, вопросы, изслѣдованія и разсужденія о языкѣ. Самъ Шишковъ, въ каждой почти книжкѣ Извѣстій, помѣщалъ «опытъ славянскаго словаря или объясненіе силы и знаменованія коренныхъ и производныхъ русскихъ словъ, по недовольному истолкованію оныхъ мало извѣстныхъ и потому малоупотребительныхъ», и «изслѣдованіе корней». На послѣдній предметъ обращено было особенное вниманіе, такъ какъ онъ — «главное средство, ведущее къ пользѣ языка, единственный ключъ, отпирающій двери ко всѣмъ справедливымъ умствованіямъ о правилахъ языка и краснорѣчіи»; короче: «наука словопроизводства есть важнѣйшая изъ всѣхъ словесныхъ наукъ». Такимъ образомъ задача Академіи болѣе стѣснялась, дѣйствія ея членовъ болѣе специализировались. Кромѣ того при специализаціи руководствовались предвзятою мыслью и ставили передъ собою особую цѣль. Члены Академіи, въ своихъ изслѣдованіяхъ о языкѣ, должны были содѣйствовать пользѣ стараго слога и противодѣйствовать развитію слога новаго, или Карамзинскаго. Эта *idée fixe* если и не выговаривается открыто, то ясно просвѣчиваетъ во всѣхъ работахъ Шишкова.

Какого же значенія былъ главный трудъ Шишкова—его изслѣдованіе корней, или наука словопроизводства? Она не могла представить удовлетворительныхъ результатовъ, главнымъ образомъ потому, что Шишкову недоставало надлежащей къ тому научной подготовки, которую онъ замѣнялъ своими соображеніями, лишенными твердой основы и потому произвольными. Извѣстно, что для возможно-правильнаго объясненія даннаго слова прежде всего слѣдуетъ отыскать его основную форму, опредѣлить смыслъ этой формы и наконецъ указать, какой видъ приняла она въ словахъ тѣхъ или другихъ родственныхъ языковъ для обозначенія одного и того же предмета или понятія. Меньшій кругъ сравненія для русскаго слова—славянскіе языки, начиная съ древне-церковно-славянскаго; наибольшій кругъ—языки индоевропейскаго племени. Чтобы не ошибиться въ этомъ разслѣдованіи, необходимо знать, какіе звуки въ другихъ родственныхъ языкахъ соответствуютъ звукамъ одного изъ нихъ, подвергаемаго филологическому анализу. Но такое знаніе немислимо безъ знакомства съ фонетическими законами языка. А фонетика-то именно и не была знакома Шишкову. За неимѣніемъ прочнаго фундамента онъ прибѣгалъ или къ помощи своей нездоровой логики, обольщавшей его доводами, по видимому правдоподобными, или къ помощи слуха, сводившаго, по сходству звуковъ, въ семейный кругъ такія слова, которыя не состоятъ между собою ни въ

(*) Ист. Рус. Сл. II, 68 и дал.

гимназій. Цѣлью своего собранія положили они взаимно совершенствоваться въ трехъ отрасляхъ человѣческой способности (словесности, наукахъ и художествахъ) и содѣйствовать другимъ въ томъ же стремленіи. Первымъ предсѣдателемъ общества былъ Борнъ, авторъ «Краткаго руководства къ російской словесности» (1808); за нимъ слѣдовали Д. Языковъ, Д. Дашковъ и наконецъ А. Измайловъ (съ 1822 г.), при которомъ оно и рушилось (около 1825 г.). Кромѣ первой части «Періодическаго изданія» (1804), общество напечатало еще «Свитокъ музъ» (2 ч., 1802—1803 г.). Въ числѣ первоначальныхъ его членовъ находились Попугаевъ, издавшій «Минуты Музъ» (1-ая ч., 1801), Каменевъ, авторъ баллады «Громвалъ» (*), Востоковъ, помѣщавшій въ сборникахъ общества свои первыя стихотворенія (**), Д. Языковъ, переводчикъ Беккаріева разсужденія о преступленіяхъ и наказаніяхъ (1803). Въ 1812 г. общество издавало Санктпетербургскій Вѣстникъ, а въ предсѣдательство А. Измайлова своими трудами помогало ему, какъ издателю журнала «Благонамѣренный».

«Общество любителей російской словесности при Московскомъ университетѣ», основанное въ 1810 г., представляетъ, сравнительно съ Російской Академіей, явленіе противоположное. Благодаря уму, такту и соотвѣтственной этимъ качествамъ порядительности перваго своего предсѣдателя, А. А. Прокоповича-Антонскаго, оно не заразилось исключительностью, столь вредной въ дѣлѣ науки. Не принадлежа самъ къ ученымъ, въ строгомъ смыслѣ этого слова, Антонскій, по любви къ дѣлу, умѣлъ собирать спеціальныя силы и дружно направлять ихъ къ предположеннымъ цѣлямъ. Періодъ его управленія, особенно съ 1810 по 1825 г., составляетъ лучший періодъ общества, послѣ чего, при другихъ предсѣдателяхъ, оно быстро пошло на убыль въ своемъ значеніи. Въ это лучшее время издано 27 частей «Трудовъ» (1812—1828), которые показываютъ, что въ дѣятельности общества принимали участіе какъ извѣстнѣйшіе литераторы, такъ и ученые, основательно подготовленные къ своей спеціальности и потому имѣвшіе авторитетный голосъ.

Большая часть статей, помѣщенныхъ въ «Трудахъ», относится къ языкознанію. Между ними особенно замѣчательны: Востокова «разсужденіе о славянскомъ языкѣ», служащее введеніемъ къ грамматикѣ этого языка и открывшее правильный путь къ изученію славяно-русской филологіи; Каченовскаго: «о славянскомъ и въ особенности о церковномъ языкѣ» и «историческій взглядъ на грамматику славянскихъ нарѣчій»; Болдырева: «разсужденіе о глаголахъ», изложившее ученіе о видахъ и упростившее спряженіе; К. Калайдовича: «о древне-церковномъ языкѣ славянскомъ» и о «бѣло-русскомъ нарѣчій». Теоріей словорасположенія въ русскомъ языкѣ занимался И. Давыдовъ; онъ же, наряду съ П. Калайдовичемъ и Саларевымъ, объяснял значеніе русскихъ синонимовъ. Кромѣ того общество составляло опыты производнаго словаря и обратило вниманіе на весьма важный предметъ для основательнаго изученія русскаго языка, именно на собраніе областныхъ словъ, которыя и печатало почти въ каждой части «Трудовъ». По теоріи словесности и критикѣ литературныхъ произведеній преимущественно трудился Мерзляковъ, одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ общества (***). Къ тому же отдѣлу относятся двѣ статьи Каченовскаго: «взглядъ на

(*) Ист. Хр. II, 72 и д.

(**) Ib. 180 и д. См. переписку Востокова въ Сборникѣ статей 2-го отд. Академіи Наукъ (т. V, выи 2).

(***) Многія статьи его, указанныя въ § 45, напеч. въ «Трудахъ».

успѣхи россійскаго вѣтѣйства въ 1-ой половинѣ XVIII столѣтія» и «о похвальныхъ словахъ Ломоносова», и рѣчь Батюшкова «о вліяніи легкой поэзіи на образованіе языка». Для изученія народной жизни и народной литературы остались небезполезными статьи: «о русскихъ пословицахъ» и «о лубочныхъ картинкахъ» (Снегирева), равно свѣдѣнія о старинныхъ русскихъ праздникахъ и о характерѣ русскихъ застольныхъ и хороводныхъ пѣсень. Конечно, нѣкоторые изъ указанныхъ трудовъ имѣли только относительное, временное значеніе, но другіе сдѣлались достояніемъ науки или по меньшей мѣрѣ способствовали къ разъясненію тѣхъ или другихъ вопросовъ по языку и словесности. Въ стихотворномъ отдѣлѣ «Трудовъ» являются почти все лица тогдашняго поэтическаго круга: Мерзляковъ, В. Пушкинъ, Воейковъ, кн. Вяземскій, Гнѣдичъ, Батюшковъ, О. Глинка, Д. Давыдовъ, Крыловъ, Жуковский, А. Пушкинъ, А. Измайловъ, Милоновъ, Раичъ, Капнистъ, кн. И. Долгорукій. Необходимо еще поставить въ заслугу обществу и то, что научное содержаніе его трудовъ излагалось всегда очень хорошимъ языкомъ, такъ что внутреннему значенію трудовъ отвѣчало и литературное ихъ достоинство. Наконецъ—обстоятельство весьма важное—между членами не существовало ни питригъ, ни розни. Этимъ, конечно, общество одолжено предсѣдателю, который умѣлъ, какъ мы сказали въ самомъ началѣ, сводить ученія и литературныя силы къ дружно-взаимному дѣйствію, объяснять недоразумѣнія, успокаивая раздраженныхъ.

Въ 1816 г. основано было «Общество соребнователей просвѣщенія и благотворенія», переименованное потомъ (1820 г.) въ «Вольное общество любителей Россійской словесности». Съ 1818 г. оно издавало журналъ, сперва (1818—1820) подъ названіемъ «Соребнователя просвѣщенія и благотворенія», а потомъ (съ 1820 г.) подъ названіемъ «Трудовъ Вольнаго общества любителей россійской словесности». Изданіе, продолжавшееся по ноябрь 1825 г., имѣло цѣль благотворительную: доходами съ него положено было помогать бѣднымъ и достойнымъ литераторамъ и художникамъ, равно ихъ вдовамъ и сиротамъ. Не смотря на болѣе свѣжія литературныя силы, дѣйствовавшія въ «Соребнователѣ», на имена уже извѣстныхъ писателей (Жуковского, Батюшкова, Д. Давыдова, Вяземскаго, О. Глинки, Гнѣдича) и многихъ молодыхъ талантливыхъ литераторовъ (Дельвига, Баратынскаго, А. и Н. Бестужевыхъ, Лажечникова, Рылѣева), не смотря на критики Плетнева, отступавшія отъ обычныхъ псевдо-классическихъ понятій и пріемовъ, а также на переводы изъ Байрона и Мура, знакомившія публику съ англійской поэзіей, журналъ, по отсутствію твердаго направленія и серьезнаго интереса, оказался ниже той мѣры, какой бы можно было ожидать отъ исчисленныхъ его сотрудниковъ.

Одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ русскихъ нашего вѣка (*) замѣтилъ, что «частныя, такъ сказать, домашнія общества, состоящія изъ людей, соединенныхъ между собою свободнымъ призваніемъ и личными талантами и наблюдающихъ за ходомъ литературы, имѣли не только у насъ, но и повсюду, ощутительное, хотя нѣкоторымъ образомъ невидимое, вліяніе на современниковъ, и что въ этомъ отношеніи академіи и другія официальные учрежденія того же рода далеко не имѣютъ подобной силы, такъ какъ онѣ не даютъ знаменитымъ писателямъ, а скорѣе заимствуютъ отъ нихъ жизни и

(*) Гр. С. С. Уваровъ, въ своихъ «Литературныхъ воспоминаніяхъ» (Современникъ 1851, № 6).

направление». Вѣрность этой замѣтки, доказанная многими фактами, вытекаетъ изъ самой сущности двонкихъ литературныхъ обществъ: официальныхъ и частныхъ. Общество официальное, каковы бы ни были его силы, обязано дѣйствовать по начертаніямъ устава, который опредѣляетъ извѣстную, болѣе или менѣе спеціальную цѣль, болѣе или менѣе одинаковое направление, а такая опредѣленность съ одной стороны ограничиваетъ кругъ занятій, а съ другой связываетъ свободу, самостоятельность мнѣній. Между членами официальной корпораціи должна, волею-неволею, водвориться солидарность, необходимая какъ для единодѣйствія, такъ и для неуклоннаго слѣдованія установленнымъ положеніямъ. Когда Карамзинъ, по избраніи его въ члены Россійской Академіи, произнесъ рѣчь въ торжественномъ собраніи оной, Шишковъ увидалъ, въ нѣкоторыхъ мысляхъ новизбраннаго, противорѣчіе завѣтному своему взгляду, который раздѣлялся почти всѣмъ ученымъ собраніемъ, и не оставилъ ихъ безъ возраженій, какъ бы желая остановить нарушителя академическаго единства (*). Академія же, конечно, по представленію Шишкова, поручила Востокову вмѣстѣ съ его сочленомъ П. Соколовымъ составлять сравнительный словарь всѣхъ славянскихъ нарѣчій, не сообразивъ, что такимъ распоряженіемъ связывались двѣ несвязуемыя силы или, вѣрнѣе, сила (Востоковъ) съ безсиліемъ (П. Соколовъ) (**). По поводу упомянутой статьи Греча о грамматикѣ, изданной Россійскою Академіею, собраніе академиковъ увидѣло въ мнѣніи критика «дерзновеніе» и единогласно опредѣлило, что «по здравому разсудку, нѣтъ никакой пользы ни для правовъ, ни для просвѣщенія и словесности, чтобъ изданный отъ Академіи, и слѣдовательно оцѣненный уже ею сочиненія были вновь переоцѣниваемы журналистами», и что поступокъ «Греча подлежитъ не суду Академіи, но суду правительства» (***). Подобныя явленія не могли-бы оказаться въ частномъ литературномъ обществѣ, котораго члены связаны единственною солидарностью—интересомъ къ литературѣ или наукѣ: каждый изъ нихъ выбираетъ предметы для занятій, руководствуясь только свойствомъ своего таланта и мѣрою своихъ знаній, а въ самостоятельномъ заявленіи мнѣній основывается только на уставѣ собственнаго убѣжденія. При большинствѣ голосовъ, случайномъ или предрѣшенномъ, которымъ опредѣляется выборъ членовъ, въ комплектъ сорока академиковъ французской академіи легко входили многія посредственности; въ частное общество, хотя бы оно состояло изъ двѣнадцати членовъ, трудно проскользнуть какой нибудь дюжинной личности. Да и сама личность воздержится отъ такого покушенія, зная, что ей въ кругу лицъ, сознающихъ за собою право и силу голоса, придется играть пассивную роль человѣка безгласнаго. Справедливость сказаннаго подтверждается примѣромъ даже такого частнаго общества, какъ «Бесѣда». Не смотря на ея полуофициальную постановку, труды нѣкоторыхъ ея членовъ не остались безъ замѣтныхъ послѣдствій для литературы. Благодаря совѣту гр. Уварова, мы имѣемъ переводъ «Иліады» гексаметромъ; благодаря ему же разъяснена — теперь извѣстная даже учащимся, а тогда не сознававшаяся даже многими учащими — необходимая, внутренняя связь между содержаніемъ и формою поэтическаго произведенія. Но высшій примѣръ назидательнаго вліянія какъ на своихъ членовъ, такъ, посредствомъ ихъ, и на современную имъ литературу, представило общество Арзамасъ (§ 37).

(*) Ист. Сл. II, 80.

(**) Сборникъ статей 2-го отд. А. Наукъ (т. V, вып. 2, стр. 407).

(***) Бесѣды въ Обществѣ Любителей Рос. Словесности, вып. 3, стр. 30.

Кромѣ этихъ двухъ обществъ, литераторы и художники собирались въ домѣ А. Н. Оленина (†1842), президента Академіи художествъ. Вотъ что говорить объ этихъ, почти ежедневныхъ, собраніяхъ гр. Уваровъ: «Совершенная свобода въ обхожденіи, непринужденная откровенность, добродушный пріемъ хозяевъ давали этому кругу что-то патріархальное, семейное. Сюда обыкновенно привозились все литературныя новости: вновь появившіяся стихотворенія, извѣстія о театрахъ и книгахъ, о картинахъ, словомъ все, что могло питать любопытство людей, болѣе или менѣе подвижныхъ любовью къ просвѣщенію... Здѣсь въ первый разъ читались лучшія произведенія Крылова, извѣстности котораго не мало содѣйствовалъ Оленинъ, представившій его ко Двору и опредѣлившій его въ Публичную бібліотеку; здѣсь же была читана и первоначально репетирована трагедія Озерова «Эдипъ въ Афинахъ». Къ числу друзей и пріятелей Оленина принадлежали: Гнѣдичъ, гр. Блудовъ, гр. Уваровъ, Каннистъ. Общество оживлялось и одушевлялось супругою Оленина, урожденной Полторацкой, — женщиной, одаренной яснымъ умомъ и кроткимъ нравомъ, въ которой Крыловъ находилъ не только участіе друга, но и попечительность доброй матери» (*).

Любовь къ отечественной словесности, замѣтно обнаруженная со второй половины прошлаго вѣка и за тѣмъ болѣе и болѣе развивавшаяся, проникла и въ среду воспитывающагося юношества. Дирекціи учебныхъ заведеній, высшихъ и среднихъ, для упражненія своихъ питомцевъ въ словесной практикѣ, для возбужденія въ нихъ охоты къ знакомству съ лучшими писателями, русскими и иностранными, устраивали въ стѣнахъ заведенія собранія, подъ руководствомъ особаго лица, болѣею частію преподавателя словесности. На этихъ собраніяхъ учащіеся читали свои сочиненія и переводы, выслушивали критическія замѣтки руководителя и сами пріучались къ оцѣнкѣ литературныхъ достоинствъ и недостатковъ. Особеннымъ рвеніемъ отличались въ этомъ дѣлѣ воспитанники Университетскаго благороднаго пансіона (въ Москвѣ), благодаря заботливости директора Прокоповича-Антонскаго и сочувствію такихъ наставниковъ, какими были Подшиваловъ и Мерзляковъ, горячо принимавшіе къ дѣлу успѣхи своихъ учениковъ. Литературное собраніе этихъ пансіонеровъ, съ 1787 по 1825 г., издало слѣдующіе сборники своихъ трудовъ: «Распускающійся цвѣтокъ» (1787), «Полезное упражненіе юношества» (1788), «Утренняя заря» (6 кн., 1800—1808), «И отдыхъ въ пользу» (1804), «Калліопа» (4 ч., 1815—1825), и кромѣ того отдѣльно: «Избранныя сочиненія изъ Утренней зари» (2 ч., 1809) и «Избранныя сочиненія и переводы въ прозѣ и стихахъ» (3 ч., 1824—1825). Между статьями этихъ сборниковъ, кромѣ сочиненій Мерзлякова, видимъ начальные опыты лицъ, въ послѣдствіи сдѣлавшихся извѣстными на томъ или другомъ пути дѣятельности: Жуковского, Д. Дашкова, Милонова, Воейкова, А. и Н. Тургеневыхъ, кн. Одоевскаго. Въ 1818 г. напечатаны сочиненія и переводы студентовъ Харьковскаго университета, а въ 1819-мъ «Труды студентовъ—любителей отечественной словесности въ томъ же университетѣ». Кромѣ того мы видѣли, что шестеро гимназистовъ, по окончаніи курса, устроили Вольное общество любителей словесности, наукъ и художествъ.

Эти и многія другія подобныя явленія свидѣтельствуютъ о томъ, что наклонность къ занятіямъ отечественнымъ языкомъ и словесностью въ царствованіе Александра I была значительно распространена въ обществѣ. Литературный интересъ господство-

(*) «Воспоминанія» (Совр. 1851, № 6).

валъ въ публикѣ и надъ публикой, потому что приходился ей по плечу и по сердцу. Съ нимъ не могли состязаться другіе интересы, изъ которыхъ иные еще вовсе не возникали, а иные, возникнувъ, развивались и вращались только въ ограниченномъ меньшинствѣ образованныхъ людей. Знакомство съ литературой, съ такъ называемой изящной словесностью служило признакомъ цивилизаціи, своего рода знакомъ умственного отличія. Собственные заслуги въ этой словесности еще болѣе возвышали личность. Даровитый писатель быстро становился общезвѣстнымъ человѣкомъ. Специальные ученые не считали словесности дѣломъ для себя постороннимъ; напротивъ, они видѣли въ ней необходимость для выраженія своихъ знаній и на кафедрѣ и въ книгѣ: они были чужды той и страшной мысли, что достоинство научнаго матеріала можетъ легко обойтись безъ литературнаго достоинства въ изложеніи онаго. Тоже настроеніе коренилось и въ средѣ университетскихъ слушателей. Къ какому бы факультету ни принадлежалъ студентъ, онъ цѣнилъ хорошее знаніе русскаго языка и любилъ русскую литературу. Въ этомъ отношеніи не было различія между юристами, филологами, математиками и даже медиками. Для всѣхъ и каждого, кромѣ выбранной имъ спеціальности, существовалъ еще одинъ обязательный предметъ—русская словесность. Конечно, они занимались имъ не ex-officio, а по доброй волѣ; никто, кромѣ собственнаго побужденія, не толкалъ ихъ на эти занятія. Повинуясь единственно этому побужденію, они не пропускали ни одного замѣчательнаго произведенія литературы безъ вниманія, читали его, заучивали изъ него цѣлыя тирады, разговаривали и спорили о немъ. Наконецъ тотъ же интересъ развивался и въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Если гимназій не устраивали литературныхъ собраній, то нѣкоторыя изъ нихъ заводили такъ называемыя кабинеты для чтенія, куда допускались лучшіе ученики и гдѣ читались, частію ими самими, частію ихъ наставникомъ, прежніе или новые образцы русской словесности. Такимъ средствомъ постепенно развивался молодой вкусъ и пріобрѣталось умѣнье владѣть литературною рѣчью. Преподаватель словесности, какъ главнаго тогда предмета въ учебномъ курсѣ, большею частію стоялъ на видномъ мѣстѣ среди своихъ товарищей. На годичномъ актѣ произнесеніе рѣчи или стиховъ служило для посѣтителей болѣе пріятною частью гимназическаго торжества. Аттестация по русскому языку и словесности цѣнилась выше другихъ аттестаций; она выдвигала ученика впередъ; ради ея, даже извинялись ему меньшіе успѣхи въ другихъ наукахъ. Само собою разумѣется, что, указывая на развитіе изящной словесности въ эпоху Александра I и на выгодное положеніе, занятое ею какъ въ обществѣ, такъ и въ школѣ, я вовсе не имѣю намѣренія утверждать, что съ успѣхами словесности одноѣрно шли успѣхи и другихъ отраслей знанія и что достоинство выработаннаго литературнаго изложенія соответствовало достоинству излагаемаго содержанія. Нѣтъ, удѣльный вѣсъ послѣдняго (т. е. мыслей, содержанія) можетъ быть ниже или выше въ сравненіи съ удѣльнымъ вѣсомъ перваго (т. е. изложенія). Но это вопросъ иной, о которомъ будетъ рѣчь въ своемъ мѣстѣ.

§ 49. Изъ «литературныхъ» журналовъ обозрѣваемой нами эпохи наиболѣе видными были Вѣстникъ Европы, существовавшій 29 лѣтъ (1802—1830), и Сынъ отечества, основанный Гречемъ въ 1812 г. Они пережили многія другія періодическія изданія, появившіяся въ царствованіе Александра I, а потомъ пережили и свое прежнее значеніе. О лучшемъ времени перваго журнала, подъ редакціей Карамзина (1802 и 1803) и Жуковскаго (1808—1810) мы уже говорили (*). Съ 1811-го

(*) Ис. Слов. §§ 12 и 30.

и до конца оставался онъ въ рукахъ Каченовскаго, который, согласно съ предметомъ своихъ ученыхъ занятій, началъ обращать вниманіе на исторію отечественнаго и родственныхъ ему языковъ, на дѣянія и обычаи народовъ славянскаго происхожденія, такъ что статьи историко-археологическаго содержанія оказались, во вторую половину изданія, преобладающими. Этимъ отдѣломъ журнала, издатель принесъ не малую пользу русской исторіи. Въ Вѣстникѣ Европы, долгое время принимали участіе многіе извѣстные литераторы: Жуковский, Батюшковъ, кн. Вяземскій, Воейковъ, Мерзляковъ, Милоновъ, А. и В. Измайловы, В. Пушкинъ; здѣсь же появились первыя стихотворенія А. Пушкина. Уваженіе къ имени Карамзина какъ бы обязывало ихъ поддерживать журналъ, имъ основанный. Но съ 1819 г., когда, по выходѣ въ свѣтъ Исторіи государства русскаго, она подверглась критикамъ Каченовскаго и Арцыбашева, прежнее участіе замѣнилось охлажденіемъ и даже непріязнью. Издатель вскорѣ успѣлъ эти чувства самыми неблагоприятными отзывами о первой поэмѣ Пушкина (Русланъ и Людмила) и о комедіи Грибоедова «Горе отъ ума». Отзывы журнала, шедшіе на полный переборъ не только мнѣнію лучшихъ цѣнителей словесности, но и общему признанію публики, ясно показывали застарѣлость понятій объ искусствѣ и отсутствіе всякаго живаго чувства къ новымъ явленіямъ въ его сферѣ. Чѣмъ далѣе, тѣмъ видимѣе дряхлѣлъ Вѣстникъ Европы и кончилъ свое существованіе не по причинамъ, отъ него независѣвшимъ, а по единственной причинѣ, въ немъ самомъ гнѣздившейся — старческому изнеможенію. Москва, со времени упадка «Вѣстника Европы» (съ 1819 г.), долгое время оставалась безъ прочнаго журнала, такъ какъ другія, болѣе замѣчательныя изданія: П. Макарова «Московский Меркурій» (1803), Мерзлякова «Амфіонъ» (1815) и В. Измайлова «Россійскій музеумъ» (1815) прекращались по окончаніи годичнаго срока, а «Современный наблюдатель русскаго словесности», П. Строева, выходилъ только въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ 1815-го года. Каждое изъ этихъ изданій не безъ достоинствъ. Будучи однимъ изъ первыхъ послѣдователей Карамзина, П. Макаровъ защищалъ «новый» слогъ, требовалъ, чтобы просвѣщеніе было освобождено отъ нежданства, которое тогда считалось, да и дѣйствительно было, почти неизбежною принадлежностью каждаго, занимавшагося наукой, и наставлялъ на правахъ женщины не только заниматься литературой, но и обладать высшимъ образованіемъ, даже ученостью. Журналъ П. Строева выступилъ съ «критическимъ» направленіемъ. Это былъ любопытный фактъ, обнаружившій въ издателѣ-студентѣ своего рода мужество, которое онъ и доказалъ разборомъ Россіады. Вопреки общимъ отзывамъ объ этой поэмѣ Хераскова, котораго «столпъ русскаго словесности призналъ и нарекъ великимъ поэтомъ», Строевъ первый отважился произнести откровенно-правдивый судъ надъ нашимъ Гомеромъ, и тѣмъ доказалъ, что въ литературѣ нерѣдко бываютъ безсмертны болѣе «имена», чѣмъ «творенія»: ибо первыя находятся въ устахъ ученыхъ, а послѣднія ни у кого не находятся въ рукахъ. Другая критическая статья того же журнала: «нѣчто о міѳологіи славянъ русскаго» служила свидѣтельствомъ, что изъ молодого издателя въ послѣдствіи вырабатывается замѣчательный изслѣдователь отечественныхъ древностей. «Амфіонъ» и «Россійскій музеумъ», обильные вкладками лучшихъ нашихъ писателей, какъ въ стихахъ, такъ и въ прозѣ, не представляютъ однакожъ стремленія къ какому-нибудь определенному пункту. Разборъ «Россіады», Мерзлякова (въ Амфіонѣ), страдает приемами лже-классической критики и нерѣшительностью вывода, что особенно поражало современныхъ читателей, сопоставлявшихъ голосъ присяжнаго

цѣнителя отечественной словесности, какимъ признавался Мерзляковъ, съ открытымъ и рѣшительнымъ приговоромъ Строева.

Переходя къ петербургскимъ журналамъ, замѣтимъ, что и изъ нихъ многимъ суждено было умирать вскорѣ послѣ ихъ рожденія. Лучшіе между такими кратковѣчными изданіями: «Цвѣтникъ» и «С.-п.-бургскій вѣстникъ» существовали—первый два года (1809 и 1810), второй меньше года (1812). Благодаря таланту одного изъ своихъ издателей, Бенитцкаго (другими были А. Измайловъ и П. Никольскій), равно и сотрудничеству Гиддича, Батюшкова и Милонова, «Цвѣтникъ» правился читателямъ живостью и разнообразіемъ литературнаго содержанія и дѣльной критикою Дашкова, воевавшего съ славянофильскимъ направленіемъ. Дашкову же принадлежать лучшія статьи въ «С.-п.-бургскомъ вѣстникѣ», издававшемся отъ Общества любителей словесности, наукъ и художествъ. Что касается до «Драматическаго вѣстника» (1808), состоявшаго подъ редакторствомъ Д. Языкова, то онъ былъ задуманъ кн. Шаховскимъ съ особенною цѣлью, какъ показываетъ самое названіе журнала. Издатели предположили помѣщать въ немъ сужденія объ игранихъ пьесахъ, переводы и извлеченія драматическихъ правилъ изъ лучшихъ иностранныхъ писателей, присоединивъ къ этимъ двумъ спеціальнымъ цѣлямъ третью, болѣе общую—«изыскивать въ древнихъ сочиненіяхъ все, касающееся художествъ, и тѣмъ содѣйствовать отвращенію дурнаго вкуса, который, господствуя въ новыхъ иностранныхъ сочиненіяхъ, развращающихъ и умъ и сердце, угрожаетъ заразить и нашу словесность». Но содержаніе «Драматическаго вѣстника» не оправдало ожиданія публики: статьи, въ которыхъ должны были выполняться предположенныя спеціальныя намѣренія, именно и не давали ничего новаго и замѣчательнаго, ибо нельзя же назвать новымъ—теорію драмы, болѣею частию выбранную изъ Вольтера, а замѣчательнымъ—нападки на нѣмецкія мѣщанскія драмы (слезины комедій) и на трагедію Шиллера: «Коварство и любовь». Единственно цѣннымъ матеріаломъ журнала служили басни Крылова, появлявшіяся почти въ каждомъ номерѣ.

Когда эти эфемерныя явленія журнализма сошли со сцены, на первый планъ выдвинулся «Сынъ отечества», журналъ сначала (1812) историческій и политическій, а потомъ (съ 1814-го) присоединившій къ первымъ двумъ титуламъ и третій—литературный. Издатель его, Н. Гречъ, увидѣлъ себя въ счастливомъ положеніи: всѣ наличныя литературныя силы, желавшія публично заявлять свой голосъ или, простѣе, видѣть свои сочиненія напечатанными, должны были, раньше или поздиѣе, прихлынуть къ нему, за неимѣніемъ другихъ органовъ журналистики. Отъ природы дароватый, владѣвшій перомъ, Гречъ принялся за дѣло, хотя безъ высшаго образованія, но не безъ литературныхъ свѣдѣній и не безъ предварительнаго опыта: до того времени онъ трудился, въ соредакторствѣ съ другими, надъ изданіемъ трехъ журналовъ: «Геній временъ», «Журналъ новѣйшихъ путешествій» и «Европейскій музей». Кромѣ того, самый патріотизмъ, возбужденный войною съ Наполеономъ, наклонялъ сочувствіе къ журналу, получившему названіе «Сына отечества». Все, по видимому, обѣщало успѣхъ—и обѣщаніе не обмануло. Десятилѣтній юбилей «Сына отечества» былъ отпразднованъ какъ общелитературный праздникъ, не отдѣлявшій интересовъ редактора и его сотрудниковъ отъ интересовъ всѣхъ другихъ писателей и образованной публики. Но количество силъ, дѣйствующихъ на пользу журнала, даже въ союзѣ съ издательскою ловкостью, еще не служить ручательствомъ, что онъ станетъ на высотѣ,

соотвѣтствующей достоинству литературы, и пріобрѣтеть власть образовывать и направлять мнѣнія читающаго класса. Для достиженія этой почтенной цѣли необходимо обладать и болѣе широкимъ кругозоромъ, не мыслимымъ безъ высшаго образованія, и твердымъ сознаніемъ обязанности, хотя бы и добровольно на себя принятой, и разумною степенностью характера. Издателю «Сына отечества» не доставало такихъ качествъ; особенно страдалъ онъ легкомысленнымъ отношеніемъ къ дѣлу, которому взялся служить. Все это мѣшало изданію пріобрѣсти уважительный внутренній вѣсъ. Невыгодно было и то внѣшнее обстоятельство, что «Сынъ отечества» выходилъ еженедѣльно небольшими книжками, листа въ три или четыре каждая; почему крупныя статьи тянулись долго, даваясь читателямъ въ мелкихъ пріемахъ, а при неинтересномъ составѣ нумера (подобные случаи могли встрѣчаться довольно часто) нечего было и читать. Не смотря на вышесказанное, журналъ Греча былъ сравнительно съ другими живѣе и разнообразнѣе, чѣмъ и объясняется его успѣхъ. Не могъ, конечно, съ нимъ конкурировать «Благонамѣренный» (1818—1826), во всѣхъ отношеніяхъ издававшійся крайне беззаботно и небрежно. Редакторъ его, А. Измайловъ, обращался съ публикою фамиліарно, какъ говорится на-распашку, не исполняя условленныхъ обязательствъ и откровенно, безъ малѣйшей конфузливости, принося свои извиненія: число годовыхъ нумеровъ, неизвѣстно по какой причинѣ, мѣнялось; книжки запаздывали выходомъ, соединялись по двѣ и по три въ одну, объемъ которой былъ меньше обѣщаннаго числа листовъ; въ концѣ года подписчики не получали остальныхъ номеровъ. Чѣмъ дальше подвизался Измайловъ на журнальномъ поприщѣ, тѣмъ замѣтнѣе опускалась его редакція и тѣмъ естественнѣе казался публикѣ такой цинизмъ небрежности. На редактора даже не сердились, думая, что такъ тому и должно быть, что иначе и быть не можетъ.

Существенный недостатокъ какъ указанныхъ, такъ и другихъ періодическихъ изданій, состоитъ въ томъ, что ни одно изъ нихъ (развѣ за исключеніемъ первыхъ двухъ лѣтъ Вѣстника Европы) не имѣло направленія, опредѣляемаго, въ литературномъ изданіи, твердо поставленнымъ взглядомъ на литературу, который и долженъ служить руководствомъ, какъ при обсужденіи, при уясненіи старыхъ вопросовъ, такъ и при рѣшеніи новыхъ и при оцѣнкѣ текущей словесности. Поэтому относительное ихъ достоинство измѣряется единственно бѣльшимъ или меньшимъ количествомъ хорошихъ статей, но разнообразнаго, часто разномыслящаго содержанія, а не руководящими сужденіями. Да и самая доброкачественность журнальнаго матеріала была дѣломъ случайнымъ. Авторъ помѣщалъ свои произведенія въ томъ или этомъ журналѣ не изъ сочувствія къ принципу, котораго не было ни тамъ, ни здѣсь, а по другимъ постороннимъ отношеніямъ, на примѣръ по знакомству или дружбѣ съ редакторомъ, по давности журнальной фирмы, по желанію видѣть свое имя въ почетной компаніи. Статья, явившаяся на страницахъ «Вѣстника Европы», вовсе не доказывала единства взглядовъ его издателя со взглядами того, кто писалъ статью: она могла съ одинаковымъ правомъ явиться и на страницахъ «Сына отечества» или «Благонамѣреннаго», не противорѣча ихъ программамъ, которыя ограничивались простымъ исчисленіемъ отдѣловъ каждаго нумера. Были, правда, предметы, возбуждавшіе общее вниманіе литературнаго круга и раздѣлявшіе журналистику на двѣ противныя стороны, но голоса, раздававшіеся по тому или другому предмету, вовсе не походили на то, что означается именемъ направленія, образа мыслей, принципа. Нельзя же прилагать это имя, на примѣръ, къ мнѣніямъ за Карамзина или *противъ* Карамзина во время споровъ о старомъ и новомъ слоgѣ, ибо

мнѣніе объ отдельномъ вопросѣ, какъ своего рода случайность, само по себѣ, а направленіе, дающее журналу отличительный цвѣтъ, само по себѣ. Какъ ни достойно уваженія общее сочувствіе періодическихъ изданій, которымъ они встрѣтили, въ 1817—19 гг., либеральныя заявленія и мѣры правительства, но и оно не должно быть смѣшиваемо съ характеромъ этихъ изданій: оно не вытекало изъ программъ, какъ логическое слѣдствіе неизбежно вытекаетъ изъ посылокъ. — Нѣкоторые журналы, каковы: «Сіонскій Вѣстникъ», Лабзина (1806, 1817 и 1818), «Другъ юношества», М. Невзорова (1807—1815) и «Русскій Вѣстникъ», С. Глинки (1808—1824), не подходятъ подъ нашъ приговоръ, ибо изъ нихъ первый специально, а второй преимущественно вращался въ сферѣ религіознаго мистицизма. Что касается «Русскаго Вѣстника», то о немъ было сказано выше (*): противодѣйствуя духу чужеземства, прославляя подвиги нашихъ предковъ и современныхъ дѣятелей, отстаивая русскую самобытность, журналъ Глинки не отличался литературнымъ достоинствомъ и въ этомъ отношеніи не имѣлъ никакого значенія. Мы же, въ настоящемъ случаѣ, говоримъ о журналахъ собственно литературныхъ.

Смотря съ этой точки зрѣнія на періодическую прессу, мы по справедливости должны отдать преимущество не литературнымъ журналамъ, изъ которыхъ два: «С.-п.-бургскій Журналъ» (1804—1809) и «Сѣверная Почта» (1809—1820) издавались отъ министерства внутреннихъ дѣлъ, а другіе два: «Историческій, статистическій и географическій журналъ, или современная исторія свѣта» (1809—1828), Гавриловымъ, и «Духъ журналовъ» (1815—1821), Яценковымъ. Изъ официальныхъ изданій особенно замѣчательно первое. Оно заключало въ себѣ два отдѣла: въ первомъ помѣщались высочайшіе указы и доклады министра, дававшіе небывалую до того публичную гласность мѣрамъ внутренняго управленія, во второмъ—переводы, сочиненія и извѣщенія, до управленія касающіяся. «Духъ Журналовъ», т. е. извлеченіе всего лучшаго и любопытнѣйшаго изъ другихъ журналовъ, иностранныхъ и отечественныхъ, по части исторіи, политики, государственнаго хозяйства, литературы, разныхъ искусствъ и проч., имѣлъ, какъ видно, обширную программу, при исполненіи которой, однакожъ, главное вниманіе обращалось на два предмета: политику и государственное хозяйство. Въ особомъ отдѣлѣ: «Замѣчанія о внутреннемъ состояніи Россіи», предполагалось помѣщать статьи о великихъ способахъ и выгодахъ нашего отечества, о нѣкоторыхъ недостаткахъ и злоупотребленіяхъ, средствахъ къ исправленію оныхъ и къ возвышенію тѣмъ благосостоянія нашего. Хотя предложенный отдѣлъ и не былъ допущенъ, но въ книжкахъ журнала много печаталось статей, прямо или косвенно сюда относящихся, хотя и стоявшихъ подъ другими рубриками, наприм.: «письмо о выгодахъ хорошаго хозяйства», восхваляющее судьбу удѣльныхъ крестьянъ, сравнительно съ помѣщичьими; «замѣчанія о земледѣліи, мануфактурахъ и торговлѣ въ отношеніи къ Россіи»; «старанія Екатерины II о дешевизнѣ жизненныхъ потребностей (въ статьяхъ: «Духъ Екатерины II»); «письма объ Америкѣ»; «система почтъ въ Лондонѣ съ примѣненіемъ къ Россіи» и др. Вообще въ содержаніи журнала слышался голосъ благонамѣренной и дѣльной публицистики, поставившей себѣ обязанностью содѣйствовать путемъ печати «благосостоянію отечества», какъ было заявлено издателемъ.

(*) Ист. Р. Слов. II, § 21; Ист. Хр. II, стр. 225, прим. 2.

Естественнымъ послѣдствіемъ вышензложенныхъ причинъ было то, что уровень «литературныхъ» журналовъ оказался ниже потребностей публики, которая могла повторить слова сатирика: журналовъ у насъ много, а книги ни одной. На возраженіе: развѣ журналъ не книга? самъ собою представлялся отвѣтъ: съ словомъ «книга» въ умѣ читателя соединяется понятіе о чемъ-либо поучительномъ или, по крайней мѣрѣ, интересномъ; но тогдашніе журналы не удовлетворяли ни простому любопытству, ни любознательности, желающей знать, что дѣлается въ свѣтѣ по наукѣ и словесности. Еще менѣе въ періодическихъ изданіяхъ могли находить литераторы какое-либо руководство въ своихъ взглядахъ, пособіе для своихъ работъ. Редакторы оказались не въ силахъ ни обсуждать вопросовъ, поставляемыхъ временемъ на очередь, ни сознавать значеніе новыхъ явленій въ поэзіи, ни даже оцѣнивать въ истинной мѣрѣ состояніе текущей литературы. Въмѣсто сочувствія умныхъ людей, они вызывали колкія и правдивыя эпиграммы. Пушкинъ справедливо замѣтилъ, что «Сыны отечества» и «Вѣстники Европы» (употребивъ эти собственные имена какъ бы въ собирательномъ смыслѣ, обнимающемъ всю журналистику) бесполезны для ума. Однимъ словомъ, чувствовалась потребность въ иныхъ періодическихъ изданіяхъ, съ иными программами, съ инымъ пониманіемъ дѣла. Переходомъ къ тому служилъ альманахъ «Полярная звѣзда» (1823 и 1824), послѣ котораго стали возникать новые органы журналистики, относящіеся уже къ Пушкинскому періоду нашей литературы.

§ 50. Проповѣдное слово, никогда у насъ не понижавшееся въ своемъ значеніи, имѣло, въ Александрово время, многихъ достойныхъ представителей, между которыми болѣе громкою извѣстностью пользовались Іоаннъ Леванда, протоіерей кіевскаго софійскаго собора (1736—1814), Михаилъ Десницкій, митрополитъ с.-п.-бургскій и новгородскій (1761—1821), Августинъ Виноградскій, архіепископъ московскій (1766—1819), Амвросій Протасовъ, архіепископъ казанскій и симбирскій (1869—1830), и Филаретъ, митрополитъ московскій (1782—1867).

Главное свойство словъ Леванды—теплота чувства, какъ видно изъ надгробной рѣчи Самуила, архіепископу кіевскому, и изъ слова на текстъ: «такъ ли не возмогосте единого часа побѣди со мною?». Но съ другой стороны они не отличаются ни художественной обработкой выраженія, ни строго-логическимъ развитіемъ выбранной темы. Громкую извѣстность, которою пользовался въ свое время Леванда, нѣкоторые объясняютъ его внѣшними качествами и способностью произносить (*).

Сочиненія Михаила относятся къ тому виду пастырскихъ поученій, которыя обозначаются именемъ «бесѣдъ», т. е. разсужденій о предметахъ вѣры, въ примѣненіи ихъ къ нравственности христіанъ. Бесѣды эти являлись въ печати подъ разными названіями: «Трудъ, пища и покой духа человѣческаго», «О внутреннихъ состояніяхъ человѣка, объ истинномъ покаяніи и о разныхъ степеняхъ его», «О внутреннемъ чловѣкѣ, или изображеніе новаго, внутренняго духовнаго чловѣка». Любимою темою проповѣдника было объяснять значеніе духовнаго рожденія въ насъ Іисуса Христа, указывать степени восхожденія души въ небесный храмъ Господень, впускать убѣжденіе, что истинное поклоненіе Богу должно быть совершаемо въ пустынѣ внутренняго уединенія, а не въ Египтѣ разсѣянія. Какъ воспитанникъ филологической семинаріи при московскомъ университетѣ, Михаилъ не остался безъ вліянія отъ лекцій Шварца,

(*) Обзоръ рус. духов. литературы, Филарета, кн 2, стр. 136—137.

профессора философіи, извѣстнаго своими близкими связями съ московскими масонами прошлаго вѣка. Поэтому возрожденіе человѣка составляетъ центральный пунктъ его словъ, въ которыхъ онъ, однакожь, не отступаетъ отъ ученія Церкви, не становится съ нимъ въ противорѣчіе, какъ это видимъ у многихъ мистиковъ. Имѣя главною цѣлію назиданіе паствы, направленіе ея на путь истиннаго, дѣятельнаго христіанства, Михаилъ не заботился о какихъ-либо ораторскихъ движеніяхъ, о витійственной рѣчи. Поученія его отличаются яснымъ, простымъ, большинству слушателей доступнымъ изложеніемъ догматовъ и правилъ: въ этомъ ихъ отличительное достоинство, въ этомъ же и заслуга ихъ автора.

Лучшее изъ словъ Августина сказано имъ въ память воиновъ, положившихъ жизнь свою на Бородинской битвѣ (1813). Извѣстностью своею, какъ проповѣдникъ, онъ обязанъ болѣе чрезвычайнымъ событіямъ эпохи, чѣмъ своему таланту или искусству. Тогдашнее время само за себя говорило громко и чувствительно. Оно было красно-рѣчивѣе всякихъ ораторскихъ словъ. Пастырю, особенно такому, какъ Августинъ, на долю котораго выпало быть свидѣтелемъ нашествія враговъ и изгнанія ихъ изъ Россіи, разрушенія и обновленія первопрестольнаго города, возстановлять храмы, утѣшать паству при наступленіи бѣдствій и торжествовать спасеніе и славу отечества, небольшого труда стоило произвести сильное дѣйствіе. Достаточно было простаго указанія на разоренную Москву или на трауръ семействъ, легкаго напомниманія пережитыхъ невзгодъ, даже одного сочувственнаго звука, чтобы потрясти смущенный духъ, взволновать наболѣвшее сердце, да и самому при этомъ испытать тѣже самыя чувства. И потому легко себѣ представить силу впечатлѣнія, произведеннаго на слушателей концемъ слова, содержащимъ въ себѣ обращеніе къ Бородинскому полю: «Земля отечественная! Храни въ пѣдрахъ любезные останки поборниковъ и спасителей отечества; не отяготи собою праха ихъ. вмѣсто росы и дождя, окропять тебя благодарныя слезы сыновъ російскихъ. Зеленѣй и цвѣти до того великаго и просвѣщеннаго дне, когда возсіяетъ заря вѣчности, когда солнце правды оживотворитъ вся сущая во гробѣхъ».

Амвросій прославился словами передъ избраніемъ и по избраніи судей въ губерніи, и словомъ на Успеніе Богородицы. Изъ первыхъ особенно замѣчательно произнесенное въ Тулѣ, по случаю присяги лицъ, выбранныхъ на дворянскомъ собраніи 1815 г. Кому извѣстны побужденія, которыми, въ большинствѣ случаевъ, руководствовались избирающіе при баллотировкѣ, и правила, какимъ слѣдовали избранные въ исполненіи своего долга послѣ данной ими присяги, тотъ нисколько не удивится ни содержанію, ни тону пастырскаго поученія. Съ одной стороны святость законовъ, обязательныхъ для каждаго человѣка, а для служителей правосудія еще болѣе взыскательныхъ; съ другой — боязнь нарушенія обязательства, скрѣпленнаго присягой, — боязнь не вымышленная, а основанная на многихъ и многихъ свидѣтельствахъ, сообщила его рѣчи хотя сдержанный, но сильный тонъ, по мѣстамъ рѣзкій и даже сатирическій. Исходя изъ той мысли, что одна только добродѣтель имѣетъ неотъемлемое право на благоговѣніе душевное, что одной только истинѣ долженъ воскуряться сердечный олимпіамъ, онъ, не взирая на лица, не стѣняясь житейскими отношеніями, возстаеъ противъ честолюбія, любостыжанія, самоугодія, служенія ради своихъ личныхъ выгодъ, а не ради общественной пользы. Выставивъ на видъ обстоятельства, которыми неправедный судія можетъ обманчиво облегчать свою совѣсть, онъ показываетъ несостоятельность каждаго и приходитъ къ тому заключенію, что оправданіе вины нерѣдко хуже самой вины. Строго-обличительное содержаніе слова обусловлено

было еще особеннымъ случаемъ. Не видя въ начальникѣ губерніи тѣхъ качествъ, какія бы слѣдовало тому имѣть, Амвросій и обращаетъ къ нему сатирическія мѣста своего слова, нѣсколько разъ уподобляя его златому Ааронову тельцу: «и ввергохъ злато во огнь—и изліяся телець» (Исхода гл. 32, ст. 24). Заключение обращенія вышло иѣлесообразнымъ и согласнымъ съ общимъ настроеніемъ: «Почести на недостойномъ суть зрѣлищныя украшенія: только достойный украсить можетъ и самыя почести. И высокій санъ для мужа неразумнаго есть то высокое мѣсто, на которое поставляется онъ, яко истуканъ, облеченный въ утварь златую для того только, дабы свѣтъ узрѣлъ его и рекъ: се человѣкъ, иже очи имать—и не видитъ; уши имать—и не слышитъ; уста имать—и не речетъ ни суда, ни правды! Ахъ, не сама ли истина должна рещи таковому вождю народа: брате! добро тебѣ будетъ отъити на село твое? Тамъ неизвѣстность покроетъ завѣсою забвенія и имя и недостатки твои; здѣсь, стол превыше другихъ, содѣлаешься притчею во языцѣ твоемъ» (*). Слово на усненіе Богородицы (1814), разсуждая о вѣчности, живо представляетъ различіе смерти благочестиваго и нечестиваго (**).

Проповѣдное слово, въ словахъ и рѣчахъ митрополита Филарета, выказало новую, до того небывалую силу, которая составляетъ высшую степень въ развитіи этого рода словесности. Особенности ихъ обнаружили въ первыхъ опытахъ проповѣдника, были тотчасъ замѣчены тогдашними любителями церковнаго краснорѣчія, какъ духовными, такъ и свѣтскими, и пріобрѣли ему быструю и громкую извѣстность. Рѣдкая природная даровитость, твердый діалектическій умъ и обширное богословское образованіе, доказанное «Занисками на книгу Бытія (1816)», служили проповѣднику орудіями при изложеніи религіозныхъ догматовъ и правилъ. Никто изъ прежнихъ пастырей русской церкви не владѣлъ, никто и изъ послѣдовавшихъ за нимъ не владѣетъ еще до сихъ поръ такимъ искусствомъ раскрыть сущность выбраннаго текста, нечерпать полноту его содержанія, представить это содержаніе въ строго-послѣдовательномъ развитіи, найти прямое нравственное примѣненіе священной истины, дать тону и языку полное соотвѣтствіе достоинству излагаемаго. Если главное достоинство проповѣдей Филарета строится на способности сужденія, на силѣ діалектической мысли, которая и образуетъ господствующій элементъ ихъ, то главныя отличія его языка—точность и стройность, сообщающія рѣчи такъ сказать внутреннее изящество и показывающія въ авторѣ великаго знатока отечественнаго слова. Касательно послѣдняго предмета, нужно замѣтить, что «возобновленіе» старыхъ словъ и оборотовъ, нерѣдко встрѣчаемое у Филарета, основано на вѣрномъ тактѣ, почему никогда не противорѣчитъ образованному вкусу, равно какъ соединеніе языковъ церковно-славянскаго и русскаго представляетъ замѣчательную художественную мѣру. Какъ внутренній характеръ проповѣди долженъ возникать изъ духа Библіи и Церкви, и изъ отношеній этого духа къ духу народа: такъ и внѣшній ея характеръ, внѣшняя форма (языкъ, слогъ) тогда только получаетъ особую физіогномію, когда языкъ народный и литературы свѣтской въ такой степени растворяется

(*) Губернаторомъ былъ Н. И. Богдановъ. Произносилъ указанный текстъ, Амвросій обращался къ нему глазами и движеніемъ руки (Мелочи изъ запаса моей памяти, М. Дмитриева, 1869, стр. 143—144).

(**) Оно переведено на нѣм. языкъ въ 1815 г.: Predigt am Tage der Entschafung der heiligen Mutter Gottes (Catalogue des Russica, т. 1, № 572).

языкомъ библейскимъ и церковнымъ, которая ставитъ обѣ стихи въ надлежащее равновѣсіе.

Въ первый періодъ проповѣдничества Филарета (1803—1826) обратили на себя особенное вниманіе два его слова: «въ великій пятокъ (1813)» и «о гласъ вопіющаго въ пустынь (1814)».

Оригинальный приступъ къ первому слову построенъ на двойномъ значеніи одного и того же имени: Слова (какъ Пекушителя міра) и слова (какъ бесѣды пастыря):

Чего теперь ожидаете вы, слушатели, отъ служителей Слова? Нѣтъ болѣе слова. Слово, собезначальное Отцу и Духу, рожденные для нашего спасенія, начало всякаго слова живаго и дѣйствительнаго, умолкло, скончалось, погребено и запечатано. Дабы вразумительнѣе и убѣдительнѣе *сказать* *человѣкамъ* *пути* *жизноты* (Ис. 45, 11), Слово сіе оставило небеса и облеклося плотію: но человѣки не захотѣли внимать Слову, растерзали плоть Его,—и *се взяли отъ земли животъ Ею* (Исаіи 53, 8). Кто же теперь дастъ намъ слово жизни и спасенія?

Сказавъ, что у служителей Слова какъ бы нѣтъ предмета для слова, проповѣдникъ потомъ отыскиваетъ этотъ предметъ:

Слово Божіе не связуется смертію. Какъ устное слово человѣческое не совѣмъ умираетъ въ ту минуту, когда перестаетъ звукъ его, но наче воспріимлетъ тогда новую силу и, пройдя чрезъ чувство, вселяется въ умы и сердца слышавшихъ: такъ Иностаніе Слово Божіе, Сынъ Божій, въ своемъ спасительномъ вочеловѣченіи, умирая плотію, въ тоже время *исполняетъ* *всяческая* (Ефес. 4, 10) своимъ духомъ и силою.... Воплощенное Слово умолкаетъ токмо для того, чтобы сильнѣе и дѣйственнѣе глаголатъ къ намъ; сокрывается для того, чтобы внутреннѣе *вселиться въ насъ* (Іоан. 1, 14); умираетъ, чтобы даровать намъ свое наследіе. Будучи собраны Церковію бесѣдовать съ умершимъ Иисусомъ, слышите *живое слово* (Евр. 4, 12) умершаго; слышите данное отъ Него вамъ завѣщаніе: *Азъ завѣщаваю вамъ, яко же завѣща Мѣи Отецъ Мой, царство* (Лук. 22, 29).

Но первые наследники распятаго Иисуса не обрѣли по Его кончинѣ иного сокровища, кромѣ древа креста, на которомъ Онъ пострадалъ и умеръ, и сей токмо крестъ, въ подражательныхъ образахъ, преподали всемъ желающимъ участвовать въ наследіи царствія.

За этимъ переходомъ отъ приступа къ предложенію слова, слѣдуетъ самое предложеніе, т. е. указаніе темы:

Что сіе значитъ? То, что какъ Христу *подобаше пострадати*, дабы потомъ *вннати въ славу* (Лук. 24, 26), которую имѣлъ Онъ у Отца, такъ христіанину *подобаетъ вннати въ царствіе* (Дѣян. 24, 22), которое завѣщаетъ ему Христосъ: что какъ крестъ Христовъ есть дверь царствія для всехъ, такъ крестъ христіанъ есть ключъ царствія для каждаго сына царствія. Вотъ сокращеніе *слова крестнаго* (1 Кор. 1, 18), толь необъятнаго уму, толь удобопріятнаго вѣрѣ, толь сильнаго Богомъ. Принесемъ оное, какъ каплю мұра, ко гробу Слова животворящаго.

Такимъ образомъ предметъ для слова найденъ: это—слово крестное, слово о крестѣ. За симъ начинается изложеніе, раздѣляемое на двѣ части: первая изображаетъ крестъ, понесенный Спасителемъ, вторая—крестъ, который обязаны нести христіане.

Въ первой части показывается, что вся жизнь Иисуса отъ воплощенія его до исхода на спасеніе рода человѣческаго и отъ исхода до смерти была крестная. Ичисленіе крестовъ, понесенныхъ Спасителемъ, справедливо считается образцовымъ по силѣ и сжатости изображенія каждаго креста. Нѣкоторые мѣста принадлежать къ патетическимъ изліяніямъ религіознаго чувства, всегда однакожъ сопровождаемаго и какъ-бы сдерживаемаго мыслію, напр.: «Почіеши ли ты, божественный Крестопосецъ, хотя

на едино мгновение, отъ ига, безирестанно возрастающаго на раменахъ твоихъ? По-
чѣшь ли, если не для обновленія твоихъ силъ къ новымъ подвигамъ, по крайней
мѣрѣ изъ снисхожденія къ немощи твоихъ послѣдователей?» Или: «Наше слово
изнемогаетъ, слушатели, чтобы провождать еще великаго страдальца отъ Геосиманіи
до Іерусалима и Голгофы, отъ внутренняго креста до вѣшняго... Онъ (*внѣшній
крестъ*) столь болѣзненъ, что солнце не могло взирать на него, и столь тяжекъ,
что земля потряслась подъ нимъ. Претерпѣть въ чистѣйшей непорочности всѣ муче-
нія, внутреннія и вѣшнія, тягчайшія и поносѣйшія, и претерпѣть вмѣсто награды
за содѣланныя благодѣянія; страдать Всесвятому отъ прѣбеззаконныхъ, Творцу отъ
тварей; страдать за недостойныхъ, неблагодарныхъ, за самыхъ виновниковъ страданія,
страдать для славы Божіей, и быть оставлену Богомъ.... какая неизмѣримая бездна
страданій!»

Во второй части слова показана спасительная необходимость креста для человѣка,
исчислены дары Божіи, пріобрѣтаемыя крестнымъ несеніемъ, выставлены примѣры
великихъ водителей и хранителей Церкви, воспитанныхъ въ училищѣ креста, наконецъ
изображены люди, отрекающіеся отъ несенія креста Господня. Здѣсь замѣчательна
мастерская по краткости и типичности характеристика внутренняго креста:

Какъ видимый, вещественный крестъ есть державное знаменіе видимаго царства
Христова, такъ крестъ таинственный — печать и отличіе истинныхъ и избранныхъ
рабовъ невидимаго царствія Божія. Онъ есть драгоценный залогъ любви Божіей,
жезлъ Отчій, не столько наказующій и сокрушающій, сколько *пасающій и утѣшающій*
(Ис. 2, 9; 22, 4), очистительный огонь вѣры, спутникъ надежды, укротитель чув-
ственности, побѣдитель страстей, возбудитель къ молитвѣ, стражъ чистоты, отецъ
смиренія, наставникъ мудрости, пѣстунъ сыновъ царствія. Гдѣ воспитаны всѣ ве-
ликіе ангелы, водители и хранители Церкви — Іосифы, Моисеи, Даніилы, Павлы?
въ училищѣ креста. Когда благословеніе вся церковь возрастала, процвѣтала и
приносила плодъ во святѣню? Тогда, какъ вся нива Господня непрестанно разди-
раема была крестомъ и напаяема кровію мучениковъ. Кто суть тѣ, которые окру-
жаютъ славный престолъ Агнца? спросили Іоанна въ видѣніи, — сѣи, облеченніи въ
ризѣ бѣлыя, кто суть и откуда пріидоша? и когда онъ не могъ узнать ихъ въ бо-
жественной славѣ сей, то ему сказано, что то были запечатлѣнные крестомъ: *сѣи
суть, иже пріидоша отъ скорби великія* (Апок. 7, 13 и 14).

Заключеніе, соотвѣтственно всему содержанію и направленію проповѣди, наставля-
етъ человѣка искать въ крестѣ средства изникнуть отъ міра и вознестись къ Богу.
Проповѣдникъ, видя во всемъ таинственную силу креста, оканчиваетъ свое слово
указаніемъ двухъ символовъ крестнаго знаменія и крестной силы:

О человѣкъ, влекомый благодатію Господа твоего на небо, но погрязающій плотию
въ мірѣ! виждь образъ твой въ человѣкѣ, погружающемся въ водахъ и про-
тивоборствующемъ потопленію: онъ непрестанно возобновляетъ въ членахъ своихъ
образъ креста и такимъ образомъ преодолеваетъ волны. Возри на птицу, когда она
желаетъ вознестись отъ земли: она простирается въ крестъ и возлетаетъ. Ищи и ты
въ крестѣ средства изникнуть отъ міра и вознестись къ Богу. Слово крестное спа-
саемымъ сила Божія есть.

Слово «о гласѣ вопіющаго въ пустынѣ» произнесено въ воспоминаніе событій
1812 г. Оно имѣетъ связь съ разсужденіемъ Филарета «о нравственныхъ причи-
нахъ неимоверныхъ успѣховъ нашихъ въ отечественную войну съ французами (*)».

(*) Разсужденіе это написано по предложенію А. Н. Оленина и вмѣстѣ съ письмомъ его
къ автору нап. въ 13-ой книжкѣ «Чтенія въ Бесѣдѣ» (1813).

Настроение мысли здѣсь и тамъ одинаковое. Оно обусловлено было тѣми грозными историческими явленіями, которыя заставляли каждого признать въ ихъ началахъ и послѣдствіяхъ, не подлежащихъ человѣческому расчету, таинственные пути Провидѣнія и за спасеніе отчизны воздавать не намъ, а имени Его.

Разсужденіе, въ виду бича Божія, поражающаго Европу такъ, что его удары раздавались во всѣхъ концахъ вселенной, приглашаетъ заблудившіеся народы услышать гласъ наказующаго и обратиться къ Нему, какъ къ единственному Спасителю. Слово, касаясь ударовъ, сотрясающихъ великую *пустыню* западнаго христіанства, напоминающая *гласъ*, недавно возгремѣвшій въ предѣлахъ собственной земли нашей, въ *пустыни* града великаго, предостерегаетъ христіанъ-гражданъ отъ бездѣйствія и безпечности, призываетъ къ обращенію и переменѣ житія.

Такъ какъ въ выбранной темѣ два понятія: пустыня и гласъ, то главная часть слова (изложеніе) дѣлится на два отдѣла: первый раскрываетъ значеніе пустыни, второй— значеніе гласовъ, въ ней вопіющихъ.

Какъ пустыня, для ока чувственного, есть мѣсто необитаемое и невоздѣлываемое людьми, такъ, для взора духовнаго, душа, овладѣваемая страстями и пожеланіями, есть пустыня; міръ, въ которомъ духовные человѣки рѣже, нежели классы, оставшіеся на пожатой нивѣ, есть пустыня; и самая церковь, приносящая вмѣсто гроздія терніе, есть пустыня. Въ сѣн-то неустроенныя пустыни пролагаетъ себѣ путь Господь славы. Поспѣшаетъ обрѣсти въ нихъ овца своего стада, блуждающее въ горахъ и дебряхъ. Поэтому работающіе міру должны воздвигнуться отъ него, какъ израильтяне воздвиглись отъ Египта, должны воззрѣть очами духа на лице пустыни, въ нихъ и окрестъ нихъ ожидающей посѣщенія; и, услышавъ гласъ Господа, не ожесточить сердецъ своихъ.

Послѣдними словами связывается второй отдѣлъ главной части съ первымъ. Гласъ Іоанна Крестителя, призывающій къ покаянію, не есть единственный гласъ вопіющаго въ пустынѣ: онъ только одинъ изъ многократныхъ и непрерывныхъ подобныхъ гласовъ. Есть гласъ отъиѣ-возглашающій въ видимой природѣ, гласъ извнутри-исходящій изъ глубины души, гласъ свыше-нисходящій въ божественномъ откровеніи, гласъ долу-отражающійся въ происшествіяхъ міра. Объясненіе сущности каждаго изъ этихъ четырехъ гласовъ образуетъ подраздѣленіе втораго отдѣла на четыре пункта. Въ концѣ слова, какъ мы видѣли, общій его элементъ (гласъ Божій, вопіющій въ пустыни), прилагается къ частному явленію (гласу вопіявшему въ отечественной войнѣ), и изъ приложенія выводится нравственный урокъ христіанамъ.

Проповѣди Филарета съ перваго же раза показали, что онѣ, по своему качественному значенію, какъ внутреннему такъ и вѣншему, будутъ не въ уровень всѣхъ и каждаго. Для уразумѣнія ихъ требуется извѣстная доля образованности, а кругъ образованныхъ читателей или слушателей всегда меньше другихъ круговъ. Нензбѣжнымъ послѣдствіемъ превосходства сочиненій въ томъ или другомъ родѣ почти всегда служитъ сравнительно меньшая мѣра ихъ количественнаго распространенія и слѣдов. количественнаго вліянія.

Слова и рѣчи Іоанна Леванды, 4 ч. (1821).—Бесѣды, въ разныя времена говоренныя Михаиломъ, 16 ч. (1833—1836).—Очеркъ жизни Августина, П. С. (Снегирева) 1848; Сочиненія Августина, съ жизнеописаніемъ (1836).—Слова и рѣчи Амвросія (1836).—Сочиненія Филарета (новое изданіе). Вышло 2 тома Словъ и рѣчей: т. 1 (1803—1821), т. 2 (1821—1826).

§ 50. Движеніе мысли въ области религіи, значительное уже въ прошломъ столѣтіи, усилилось при Александрѣ I, по особеннымъ причинамъ, о которыхъ скажется ниже. Оно принадлежитъ къ замѣчательнымъ явленіямъ русской умственной жизни и выразилось цѣлымъ отдѣломъ переводныхъ и оригинальныхъ сочиненій.

Приступая къ обзору этой, любопытной во многихъ отношеніяхъ *мистико-религіозной литературы*, прежде всего необходимо ограничить ея объемъ, дабы не смѣшивать ее съ другими сопредѣльными предметами.

Во-первыхъ, она должна быть отдѣлена отъ масонскихъ книгъ. Масонство не одно и тоже съ мистикой. Последняя возникла раньше перваго, хотя его адепты и возводятъ начало своего братства къ отдаленной эпохѣ. Если каждый масонъ есть болѣе или менѣе мистикъ, въ извѣстномъ смыслѣ этого слова, то отсюда вовсе не слѣдуетъ, что каждый мистикъ есть непременно масонъ. Какъ масонъ можетъ быть въ тоже время и мистикомъ, такъ и мистикъ можетъ быть въ тоже время масономъ; но, не смотря на это, религіозная мистика и масонство, сами по себѣ, явленія особенныя и самостоятельныя.

Во-вторыхъ, религіозная мистика должна быть отдѣлена отъ того страннаго и грубаго направленія мысли, которая въ чрезвычайныхъ событіяхъ и знаменитыхъ лицахъ Александра времени видѣла исполненіе библейскихъ пророчествъ и осуществленіе библейскихъ прообразованій, сопоставляя такимъ образомъ, въ своемъ насильственномъ толкованіи именъ и фактовъ, давно-минувшее съ настоящимъ, откровенное для другихъ предметовъ и намѣреній съ вымысломъ воображенія и произволомъ ума. Примѣровъ такого натянутого примѣненія дали намъ много и стихотворцы и прозаики. У Державина, Наполеонъ является звѣремъ таинственного числа (666), люциферомъ о семи главахъ и десяти рогахъ (семь королей, возведенныхъ Наполеономъ на престолъ, и десять подвластныхъ ему народовъ); имя архистратига Михаила, поправшаго демонскую силу, отнесено къ Кутузову, возведенному въ княжеское достоинство (*). Выписки разныхъ мѣстъ изъ Св. писанія, собранныя Шишковымъ и удостоившіяся вниманія Александра I (**), также примѣняютъ отдаленнѣйшія событія къ событіямъ новѣйшимъ. Въ первой выпискѣ (вшествіе врага въ царство и гордый помысль его), знаменующей гордыню Наполеона, замѣчательны слова: «И се азъ на тя, *Росѣ*, и приведу на ты языки многи». Въ подлинникѣ (Іезек. 26, 3), вмѣсто *Росѣ*, стоитъ *Сорѣ*, т. е. городъ Тиръ. Шишковъ замѣнилъ одно названіе другимъ не по анаграммѣ, а слѣдуя Тредьяковскому, который происхожденіе славяно-россовъ выводилъ отъ Росѣ-Мосоха и Магога (***).

Главными представителями религіознаго мистицизма, во второй половинѣ прошлаго вѣка, были московскіе масоны: Новиковъ, Тургеневъ, Лопухинъ, Гамалей. Большин-

(*) Гимнъ лиро-эпическій на прогнаніе французовъ изъ отечества (Соч. Державина, изд. академическое, т. III). Въ примѣчаніяхъ къ нему приведены слова пророка Давида: «возстанетъ Михаилъ князь великій» (12, 1).

(**) Онѣ нап. въ статьѣ Воронова: «Краткое начертаніе о славянахъ и славянскомъ языкѣ» (Чтенія въ Бесѣдѣ, кн. 16-ая, 1816 г.).

(***) «Разсужденіе о первенствѣ славянскаго языка», гдѣ есть ссылка на одно мѣсто у пророка Іезекіила: «сыне чловѣчъ, утверди лице твое на Гога, и на землю Магога князя *Росѣ*, Мосоха и Оовеля» (38, 2). Но *Росѣ*, какъ замѣчено въ славянскомъ переводѣ Библии, значитъ *глава*, *главѣйшій* (во фран. Библии: le prince des chefs, въ нѣмецкой: der oberste Fürst).

ство книгъ, посвященныхъ его изложенію, вышло изъ типографіи Новикова, который самъ, въ теченіи семи лѣтъ, издавалъ четыре журнала съ мистическимъ направлениемъ: «Утренній свѣтъ», «Московское ежемѣсячное изданіе», «Вечерняя заря» и «Покоящійся трудолюбецъ»; Тургеневъ перевелъ книгу Арида «Объ истинномъ христіанствѣ»; Лопухинъ изобразилъ «Нѣкоторыя черты внутренней церкви»; Гамалея въ «Письмахъ» къ другу (*) указывалъ путь къ жизни духовной, сокровенной во Христѣ. Прибавивъ сюда переводы нѣкоторыхъ твореній Діонисія Ареопагита, книги Сень-Мартена «О заблужденіяхъ и истинѣ», и книги Бема «Таинство креста», мы получимъ понятіе о наиболѣе капитальномъ матеріалѣ, посредствомъ котораго любители духовнаго чтенія, во второй половинѣ XVIII-го вѣка, знакомились съ ученіемъ мистиковъ, хотя это знакомство и не могло имъ сообщить ясныхъ понятій о мистикѣ въ чистомъ ея значеніи, такъ какъ и переводчики и авторы наши не имѣли сами опредѣленныхъ свѣдѣній о предметѣ, ихъ интересовавшемъ: они постоянно смѣшивали, даже отождествляли его съ піетизмомъ, теософіей, алхиміей, кабалистикой и другими предметами, такъ что въ результатѣ выходила смутность, запутанность представленій.

Развитіе мистической литературы не прекратилось въ концѣ прошлаго вѣка. Начиная съ первыхъ годовъ текущаго столѣтія, за все царствованіе Императора Александра I выходятъ или новыя изданія прежде изданныхъ книгъ, или новыя переводы и новыя оригинальныя сочиненія. Къ Діонисію Ареопагиту, Бему, Аридту, Сень-Мартеню и другимъ присоединяются Таулеръ, Эккартсгаузенъ, Юнгъ Штиллингъ, Дю-Туа, Гюйонъ... Вообще, періодъ времени съ 1814 г. по 1825-ый наиболѣе обогатилъ нашу мистическую литературу, что и заставило одного переводчика сказать съ радостью: «благодареніе Богу! у насъ теперь довольно вышло и выходитъ мистическихъ книгъ, такъ что въ средствахъ нѣтъ недостатка».

Журналъ «Сіонскій вѣстникъ», начатый и прекращенный въ 1806-мъ году, а потомъ возобновленный въ 1817-мъ, въ трехлѣтнее свое существованіе наполнялся почти исключительно статьями мистико-религіозными. Издатель его, Лабзинъ, «ученикъ масоновъ», какъ онъ называлъ себя (**), былъ самымъ дѣятельнымъ и самымъ даровитымъ распространителемъ идей Бема, Эккартсгаузена и Штиллинга, сочиненія которыхъ также переводилъ на русскій языкъ. Другой журналъ, «Другъ юношества», значительную часть своего отдѣла посвящалъ тому же мистико-религіозному ученію, давая тѣмъ знать, что оно служитъ назидательнѣйшей пищей не только для старыхъ и возрастныхъ, но и для юношества. Въ трудахъ его издателя, Невзорова, принималъ ревностное участіе Лопухинъ, доставляя ему и собственныя свои работы, и сочиненія князя Н. В. Репнина, сановника при Екатеринѣ II и Павлѣ I и масона-мистика, пользовавшагося большимъ почетомъ въ средѣ людей одного съ нимъ религіознаго духа. Въ общемъ съ двумя указанными журналами направленіи издавался, при с. п.-бургской духовной академіи, третій журналъ: «Христіанское чтеніе» (съ 1821 г.); по крайней мѣрѣ въ первыхъ годахъ этого изданія несомнѣнно его стремленіе въ сторону мистико-религіозныхъ взглядовъ и представленій.

Но на этомъ непрерывномъ пути религіозной мистики былъ моментъ ея ускореннаго движенія, ея наибольшаго возбужденія, именно — вторая половина царствованія Але-

(*) Нап. позднѣе (1832—1839).

(**) Почему и подписывался подъ статьями своими: У. М.

ксандра I (1812—1825). Что же служило къ тому поводомъ? Историки нѣмецкой мистики приписываютъ развитіе оной въ Германіи, въ первой четверти нашего столѣтія, слѣдующимъ обстоятельствамъ: во-первыхъ, индифферентизму къ религіи вообще, унаслѣдованному отъ прошлаго вѣка и своею крайностью вызвавшему противоположное ему явленіе, какъ реакцію; во вторыхъ, политическому положенію Германіи, приниженному деспотизмомъ Наполеона и принизившему народный духъ, который, за невозможностью проявить свою силу во внѣшнихъ дѣйствіяхъ, долженъ былъ погрузиться во внутрь самого себя и здѣсь искать успокоенія и развитія; въ-третьихъ, философіи Канта, Фихте и въ особенности Шеллинга, ученіе котораго заключаетъ въ себѣ богатый родникъ мистическихъ созерцаній. Изъ этихъ трехъ обстоятельствъ только первое могло у насъ имѣть мѣсто, такъ какъ извѣстно, что многіе русскіе второй половины XVIII-го и первой четверти XIX вѣка, увлекшись вольтеріанизмомъ, совершенно охладѣли къ вѣрѣ, въ чемъ и полагали свое умственное превосходство. Такимъ явленіемъ объясняется другое, состоящее въ томъ, что наши мистики постоянно воюютъ съ французской философіей XVIII-го вѣка, какъ съ главнымъ врагомъ своимъ. Лекціи Шварца, журналы Новикова, Лабзина и Невзорова, равно какъ и все другія сочиненія одного съ ними характера, настойчиво опровергая французскихъ энциклопедистовъ, раскрываютъ нравственную гибель, кроющуюся въ нихъ для христіанъ (*). Что касается до втораго обстоятельства, то положеніе Россіи не только не имѣло никакого сходства съ бѣдственнымъ положеніемъ Германіи, но и оказалось совершенно ему противоположнымъ. Борьба съ Наполеономъ доставила Россіи первенствующее политическое значеніе, а императору Александру—имя освободителя Европы. Въмѣсто уничтоженія народнаго духа, она возвысила его, была источникомъ его торжествъ и славы. Но это же самое и породило усиленное движеніе религіозной мистики, о которомъ сказано выше. Неожиданныя послѣдствія міровыхъ событій, превысивъ мѣру самыхъ пламенныхъ патріотическихъ желаній, самыхъ отважныхъ предположеній оптимизма, направило тогдашнихъ людей къ признанію сверхъестественной силы, дѣйствовавшей, по своимъ предназначеніямъ, на перекоръ земнымъ расчетамъ и замысламъ. Торжествующій духъ видѣлъ свой первый долгъ въ смиреніи предъ непостижимымъ ходомъ вещей. Все склоняло его къ таинственному и погружало въ таинственность. Самъ Государь смотрѣлъ на себя, какъ на избранника свыше, какъ на орудіе Провидѣнія, отрицая вліяніе собственной силы. Мистическое чувство, при врожденной къ тому склонности, равно какъ и подъ дѣйствіемъ всемірно-исторической роли, выпавшей ему на долю, глубоко коренилось въ его сердцѣ. Нельзя объяснять такого явленія какимъ-либо постороннимъ, случайнымъ фактомъ, напр. знакомствомъ съ г-жею Крюднеръ (**): послѣднее могло совпадать съ первыми, главными причинами—и только.

Побуждаемый этимъ чувствомъ, императоръ любилъ бесѣдовать о внутреннемъ дѣйствіи Св. Духа, ожидалъ духовныхъ благъ и получалъ ихъ посредствомъ внутреннего назиданія и озаренія свыше, молился духовной молитвой (***). Имена его и великаго князя Константина Павловича стоятъ во главѣ лицъ, получавшихъ Сіонскій Вѣстникъ на 1817 г. Высочайшему же имени посвящены переводы

(*) По свидѣтельству Сперанскаго, одинъ изъ преподавателей въ Александро-Невской семинаріи проповѣдывалъ ученикамъ Вольтера и Дидро.

(**) Vie de mad. de Krudener, par Eynard (1849).

(***) Записки квакера о пребываніи въ Россіи 1818—1819 г. (Рус. Старина, 1874, январь).

«Христіанской философіи», Дю-Туа (1815 — 1817) и «Благоговѣйныхъ размышленій о жизни и страданіяхъ Христа Спасителя», Таулера (1823). Последний издавъ по повелѣнію Государя; а въ предисловіи къ первому, переводчикъ (Трескинъ), указавъ характеръ ученія, изложеннаго въ книгѣ Дю-Туа, говоритъ: «Се наука, се философія, се свѣтъ и просвѣщеніе, конмъ ты, Государь, желаешь озарить народъ твой! Се еще то знаменіе, по коему высочайше-премудрый Іисусъ Христосъ образуется въ Тебѣ и ты въ Немъ». Министръ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, кн. А. Н. Голицинъ, искренно былъ преданъ тому же настроенію и, благодаря своему высокому посту, много содѣйствовалъ къ распространенію религіозной мистики. Идея внутренняго возрожденія захватила въ свой кругъ многихъ дамъ образованнаго и высшаго круга (княгиню Анну Голицыну и сестру ея княгиню Софію Мещерскую, Стурдзу, Хвостову). Нѣкоторые члены духовенства, высшаго и низшаго, сочувствовали дѣятельности тѣхъ, которые или своимъ служебнымъ вліяніемъ, или путемъ литературы давали нищу мистическому настроенію духа (*). Изъ свѣтскихъ лицъ достаточно назвать Сперанскаго, предавашагося мистическимъ занятіямъ съ 1804-го года. Наконецъ мистическая атмосфера охватила и дѣтей: по рассказамъ кн. А. Н. Голицына американскому квакеру, на записки котораго мы ссылались, дѣти, озаренныя Св. Духомъ, дѣлались орудіями обращенія своихъ родителей (**). Конечно, не каждый ступалъ на путь мистики по искреннему убѣжденію, сердечной потребности; но и за вычетомъ лицъ, заплотившихъ дакъ простому подражанію или модѣ, оставался еще значительный итогъ, который и служить доказательствомъ дѣйствительно-усиленнаго распространенія религіозной мистики во второй половинѣ царствованія Александра I.

Вышеизложенными причинами обусловила наибольшая сила мистическаго движенія въ извѣстный періодъ нашей исторіи. Но кромѣ того необходимо указать причину общую, производившую одинаковое послѣдствіе, гдѣ бы и когда бы оно ни обнаруживалось. Исторія мистики показываетъ, что возникновеніе послѣдней всегда было вызываемо тѣмъ состояніемъ, въ какомъ находилась господствующая церковь. Мистика равно какъ и другіе родственные ей предметы (напр. піетизмъ), развивалась обыкновенно какъ противодѣйствіе формализму и разсудочной теологіи. Духъ вѣрующаго, стѣсненный внѣшностью культа и оцѣненълой догматикой, стремился освободиться отъ того и другаго, и находилъ свое освобожденіе въ чистой, внутренней, духовной религіозности: онъ погружался въ мистическое созерцаніе. Въ буквѣ, въ непреложныхъ постановленіяхъ, онъ видѣлъ не одежду, прикрывающую истину, а покровъ, скрывающій истину, и потому отвергалъ ихъ, вмѣстѣ съ ихъ служителями, какъ преграду ближайшему отношенію человека къ Богу, непосредственному общенію конечнаго съ безконечнымъ. Такъ было въ религіяхъ нехристіанскихъ, такъ было и въ христіанствѣ. Противъ инквизиціоннаго вѣроученія выступила мистика аломбрадовъ, противъ іезуитизма — квіетизмъ. Когда, въ XVI вѣкѣ, протестантизмъ отъ чистой, правдивой вѣры сердца хотѣлъ замкнуться въ ученіе мертвящей буквы, тогда явились Аридтъ и Яковъ Бемъ, изъ которыхъ первый своею книгою «объ истинномъ

(*) И. И. Глазуновъ передавалъ мнѣ, что между бумагами покойнаго отца его, книгопродавца, находятся письма многихъ священниковъ, которые нетерпѣливо желали знать, когда выйдетъ новая книжка «Сіонскаго вѣстника».

(**) Записки квакера (Рус. Старина, 1875, январь, стр. 11).

христіанствѣ» старался возвратить церковную ортодоксію на истинный путь. Тѣмъ же причинами объясняется дѣятельность Шпенера, творца пѣмецкаго піетизма, въ XVII-мъ вѣкѣ, и дѣятельность Лафатера и Юнга Штиллинга на пользу мистицизма въ XVIII-мъ (*).

Судя по свидѣтельствамъ современниковъ, и у насъ формализмъ обращалъ на себя вниманіе, какъ недостатокъ, который долженъ былъ устремить религиозное чувство въ противоположную сторону. Въ разговорѣ съ квакеромъ, Александръ I жаловался на то, что былъ съ дѣтства приученъ къ формальной молитвѣ, не удовлетворявшей его внутреннимъ потребностямъ. Такого же рода жалобы слышалъ иностранецъ и отъ свѣтскихъ людей, утомленныхъ формами и обрядами внѣшней церковной жизни и искавшихъ дѣйствительнаго и существеннаго въ предметахъ вѣры, и отъ лицъ духовныхъ. Одинъ монахъ въ Москвѣ сказалъ ему: «всѣ внѣшніе обряды и церковные обычаи составляютъ лишь форму; Христосъ же и Духъ Его суть сущность; на нихъ мы должны опереться, а безъ нихъ все прочее не принесетъ намъ никакой пользы (**). Самыя слова митрополита Михаила, имѣвшія преимущественную цѣлью направить паству на путь внутренней, духовной жизни, служатъ нѣкоторымъ указаніемъ не только того, что составляетъ истинное христіанство, но и того, въ чемъ онъ видѣлъ недостатокъ поучаемыхъ имъ христіанъ.

Вторымъ предметомъ обвиненія служили проповѣдное слово и другія духовныя сочиненія того времени. Здѣсь мы ссылаемся на переписку Сперанскаго съ архіепископомъ калужскимъ Теофилактомъ (Русановымъ) (***). Какъ Арндтъ, въ книгѣ «объ истинномъ христіанствѣ», такъ и Сперанскій указывали на одинаковое явленіе въ разныя эпохи — на преобладаніе полемическаго характера въ церковной литературѣ. Сочиненія, сюда относящіяся, пишетъ Сперанскій, говорятъ не съ христіанами, а съ безбожниками и деистами, тогда какъ первое было бы нужнѣе послѣдняго. Каждый пастырь прежде всего долженъ сохранить и усовершенить стадо ему ввѣренное. Споръ и препинаніе не лучшее къ тому средство: они возбуждаютъ только пытливость духа и рѣдко убѣждаютъ; долгъ пастырей — наставлять христіанъ на переходъ отъ внѣшняго христіанства къ внутреннему (****). Для этой цѣли онъ и рекомендуетъ христіанамъ читать творенія Климента Александрійскаго и Августина, «Добротолюбіе», «О подражаніи Христу», Оомы Кемпійскаго, равно сочиненія Фенелона и Гюйонъ. Вопросъ, какъ видно, касался преобладанія богословскаго догматизма надъ ученіемъ христіанской нравственности. Въ одномъ мѣстѣ «Сіонскаго вѣстника», по поводу статей: «Духъ и истина», издатель журнала (Лабзинъ) замѣтилъ, что онѣ предлагаются тѣмъ читателямъ, которые въ «обыкновенныхъ» наставленіяхъ о религіи не находятъ полного себѣ удовлетворенія. Чѣмъ же отличаются эти обыкновенныя наставленія? Особенность ихъ состоитъ въ томъ, что Сперанскій въ письмѣ къ Теофилакту назвалъ внѣшнимъ путемъ христіанина: «Я называю внѣшнимъ путемъ сію нравственную религію, въ которую стѣснили мірскіе богословы ученіе божественное; я называю внѣшнимъ путемъ сіе обезобра-

(*) Статя «мистика», въ Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, von Herzog, t. 10 (1858). Geschichte der deutschen Literatur im 18-en Jahrhundert, v. Neitner, 1-ый отдѣлъ 3-ей книги (1869).

(**) Записки квакера, стр. 9, 18, 24, 25, 32.

(***) Въ память гр. М. М. Сперанскаго (1872), стр. 366—411.

(****) Письмо 5 сентября 1804 г.

женное христіанство, покрытое веѣми цвѣтами чувственнаго міра, соглашенное съ политикою человѣческихъ обществъ, ласкающее плоти и страстямъ, или по крайней мѣрѣ ихъ не умерщвляющее, христіанство слабое, уклончивое, самоугодливое, которое отъ языческаго нравственнаго ученія различно только словами, которое мѣста трудныя въ св. писаніи изъясняетъ тропами и фигурами и истинный ихъ разумъ насилуетъ тщетнымъ разумомъ суетумудрія. Въ семъ христіанствѣ самые обряды потеряли ихъ истинный смыслъ и превратились въ мертвую букву» (*). Въ такомъ же смыслѣ выразился Штиллингъ объ одномъ разрядѣ нѣмецкаго духовенства, которое проповѣдывало только о должностяхъ человѣка, только одну мораль, едва упоминая о томъ, что принадлежитъ до спасенія человѣка, или и вовсе не касаясь этого. Проповѣдниковъ этого рода онъ называетъ друзьями нынѣшняго просвѣщенія, неологами или нововѣрами (**).

Главнымъ органомъ мистики служилъ у насъ «Сіонскій вѣстникъ». Его и выбираемъ мы для обзора мистической литтературы, какъ центральный пунктъ, къ которому сводятся какъ до него явившіяся, такъ и послѣ него появлявшіяся однородныя изданія и книги. При этомъ обзорѣ встрѣчается двоякое затрудненіе: общее и частное. Мистика по своей сущности не поддается научному строю, хотя многіе мистики и выражали притязаніе положить ей научныя основы и сообщать ее путемъ науки. Будучи особымъ направленіемъ и расположеніемъ духа, стремящагося усвоить религіозное содержаніе въ извѣстной формѣ, она не можетъ, въ прямомъ и строгомъ смыслѣ, назваться системою понятій, ибо орудіемъ для достиженія истины служить ей не разсудочное мышленіе, возводящее отдѣльные предметы къ общему, а непосредственное созерцаніе. Другую трудность представляетъ то состояніе, въ какомъ находилась наша мистика. Выше было сказано о ея недостаткѣ: она страдала смѣшеніемъ различныхъ предметовъ, подводимыхъ подъ одну категорію. Существенное не отличалось отъ несущественнаго, побочнаго. Мистика, въ ученіи ея приверженцевъ, уклонялась отъ чистаго ея значенія, вырождаясь въ мистицизмъ, подъ которымъ хотя и разумѣютъ также мистику, не обращая вниманія на опредѣлительность выраженій, но который, однакожъ, надобно отличать отъ послѣдней, какъ особый терминъ, означающій мистическую мечтательность и восторженность. Благоразумные ревнители мистическихъ книгъ справедливо упрекали Лабзина, что онъ, на ряду съ серьезными статьями, допускалъ въ журналъ свой рассказы о чудесныхъ дѣйствіяхъ месмеризма, о визионерствѣ и другихъ, подобныхъ тому явленіяхъ. Такой соблазнъ происходилъ какъ отъ нетвердаго сознанія, что такое мистика, въ подлинномъ ея смыслѣ, такъ и отъ перевѣса чувства, сильно порывающагося къ чрезвычайному, сверхъ-естественному, надъ способностью судительною, дающее мѣру влеченіямъ чувствъ. Въ виду указанныхъ трудностей, мы ограничиваемся слѣдующей задачей: показать, что все главнѣйшіе пункты или положенія мистики, образующія, такъ сказать, ея догматику, были выражены въ нашей мистической литтературѣ время Екатерины II и Александра I.

Главнымъ предметомъ своего журнала Лабзинъ поставилъ христіанскую нравственность. Но какъ цѣли христіанско-нравственнаго назиданія могло удовлетворять само духовенство разными способами, между прочимъ и повременными изданіями, то необходимо думать, что содержаніе «Сіонскаго вѣстника» отличалось чѣмъ-нибудь отъ со-

(*) Въ память Сперанскаго, стр. 373—374.

(**) Угрозъ Свѣтовостоковъ, переводъ Лабзина, 8 ч. или 30 кн. (1806—1815). См. внижку 16-ую.

держанія, предлагаемаго призванными паставниками христіанъ—или выборомъ предметовъ для правоученія, или основами, изъ которыхъ правоученіе истекало. Иначе останется непонятною приведенная выше замѣтка Лабзина, что нѣкоторые читатели въ «обыкновенныхъ» паставленіяхъ о религіи не находятъ полного себѣ удовлетворенія. Чѣмъ же они должны были удовлетворяться? На какой точкѣ зрѣнія стоялъ Лабзинъ, выговаривая свое замѣчаніе?

Сущность христіанской нравственности должна вытекать изъ сущности истиннаго христіанства. Книга Арида подробно разясняетъ послѣднюю, заключая разясненія однимъ выводомъ: «все христіанство состоитъ въ возстановленіи образа Божія въ чловѣкѣ и въ истребленіи образа сатанинскаго» (*). Этотъ выводъ, почти въ одной и той же формѣ, повторяется многими другими сочиненіями. «Златая книжица о прилѣпленіи къ Богу» (**) говоритъ: «полное совершенство чловѣка въ жизни сей есть соединеніе съ Богомъ, такъ чтобы вся душа совершенно погрузилась въ Бога и была единый съ Богомъ духъ». Въ другой книжкѣ: «Пребываніе Божіе въ чловѣкѣ христіанинѣ» (***), читаемъ: «христіанство есть соединеніе души съ Богомъ, истинное сопричастіе божественнаго естества его, самый образъ Божій, начертанный въ душѣ, короче—божественная жизнь». «Сіонскій вѣстникъ» не могъ обойти этого кореннаго положенія мистиковъ. Онъ посвятилъ ему особую статью (****). «Нѣтъ ничего рѣже», говоритъ ея авторъ, «какъ посреди такъ называемаго христіанства найти правильное, ясному ученію приличное о истинномъ христіанствѣ понятіе», и въ слѣдъ за симъ исчисляетъ сначала тѣ признаки, которые не могутъ служить точнымъ опредѣленіемъ предмета: христіанство состоитъ не въ частныхъ добродѣтеляхъ, не во внѣшнемъ богослуженіи, не въ почтенномъ въ глазахъ міра житіи, не въ слѣпой невѣдущей вѣрѣ, не въ нѣкоторыхъ чувствованіяхъ и ощущеніяхъ, не въ такъ называемомъ крестѣ, страданіи, бореніи, искушеніяхъ, — а потомъ указываетъ единственно-существенный признакъ истиннаго христіанства: оно состоитъ въ общеніи, соединеніи, дружествѣ или связи внутренности нашей, нашего сердца съ Иисусомъ Христомъ.

При означенномъ понятіи о христіанствѣ, мистики теряютъ значеніе различныхъ его исповѣданій, что и выражено въ статьѣ: «о раздѣленіяхъ между христіанами»(*****), развивающей мысли Штиллинга о томъ же предметѣ, хотя и не указывающей своего источника (*****). Статья направлена вообще противъ догматическаго богословія и въ частности противъ догматиковъ или, какъ называетъ ихъ авторъ, книжниковъ въ православіи, и кромѣ того имѣетъ отношеніе къ вышеуказанному письму Сперанскаго къ Теофилактѣ о качествахъ современныхъ духовныхъ проповѣдей и сочиненій, болѣе воинствующихъ, нежели поучающихъ дѣятельной христіанской жизни. Содержаніе ея вращается около тѣхъ мыслей, что вѣра Христова не знаетъ раздѣленій, кромѣ раздѣленія вѣрующихъ отъ невѣрующихъ, ветхаго чловѣка отъ новаго; что единственнымъ путемъ къ соединенію церквей было бы то, еслибы каждый, ревнующій

(*) О истинномъ христіанствѣ, ч. 1, кн. 1, гл. 41.

(**) Москва, въ тип. Новикова (1784).

(***) Спб. 1821. См. также: «Мысли на досугѣ поучающагося въ истинной вѣрѣ» (Спб. 1815).

(****) Что есть собственно христіанство въ смыслѣ частномъ (С. В. 1806, іюнь).

(*****) С. В. 1817, октябрь.

(*****) Угрозы Свѣтовостоковъ, кн. 19, стр. 219—225.

по православію, виникнуть въ прямой смыслъ ученія Ісуса Христа, разсмотрѣвъ, подлинно ли онъ есть правотѣрный въ очахъ Божіихъ, а не въ своихъ собственныхъ; что правотѣрный есть тотъ, кто право вѣритъ ученію Спасителя, а ученіе Спасителя существенно состояло въ томъ, чтобы человѣку дѣлаться новою тварью, новымъ человѣкомъ, рожденнымъ отъ Бога. Такимъ образомъ отличительные догматы каждаго христіанскаго вѣроисповѣданія наши мистики почитали не основными, въ противоположность, по ихъ мнѣнію, единственно основному, лежащему въ каждомъ вѣроисповѣданіи и образуящему такъ называемое общее, «универсальное» христіанство. Въ подтвержденіе своей мысли, они указывали на выраженіе идеи христіанства въ актѣ «священнаго союза», которымъ заявлено, что христіане составляютъ одно семейство, исповѣдующее одну и ту же религію, и что различныя названія вѣроисповѣданій не имѣютъ важности. Жозефъ де-Местръ, сардинскій посланникъ при нашемъ дворѣ, именно такъ и объяснялъ смыслъ конвенціи трехъ государей, находя ее благопріятной для «терпимости теологической», которая, однакожъ, по его мнѣнію, ведетъ къ «религіозному индифферентизму». Основные догматы христіанства, иногда назывались, на языкъ тогдашняго времени «религіозностью», а частные догматы каждаго вѣроисповѣданія—«религіей» (*).

Другіе мистики идутъ дальше и въ своей послѣдовательности впадаютъ въ фанатическую крайность. Они какъ бы ставятъ краеугольнымъ камнемъ своихъ сужденій слѣдующія слова Августина: «что называется теперь религіей христіанской, то существовало у древнихъ и не переставало существовать отъ начала рода человѣческаго до воплощенія Христа; съ этой же эпохи истинная религія, уже существовавшая, стала называться религіей христіанской» (**). Англійскій пасторъ Лау (Law), толкователь Бемова ученія, говоритъ, что христіанство также древне, какъ сотвореніе и паденіе человѣка. Съ паденіемъ Адама оно возвѣщалось всѣмъ падшимъ людямъ, во всѣхъ частяхъ вселенной. Оно было общей первобытной религіей патріарховъ, Моисея, пророковъ и каждаго кающагося человѣка, въ какой бы части свѣта онъ ни жилъ. Различіе между идолопоклонниками и чтителями истиннаго Бога—одно, состоящее въ томъ, небо или земля обладаетъ и управляетъ сердцемъ человѣка. Люди перваго рода принадлежатъ къ истинной религіи, гдѣ бы и когда бы они ни существовали; люди втораго рода принадлежатъ къ идолопоклонникамъ, не смотря на различіе временъ и мѣстъ. Только любовь къ міру, вмѣсто любви къ Богу, составляетъ сущность невѣрія (***). Въ нашей мистической литературѣ такъ или иначе проводился подобный взглядъ. Имъ объясняется, между прочимъ, особенное уваженіе мистиковъ къ нѣкоторымъ языческимъ писателямъ. Въ мистическихъ журналахъ Новикова много переводовъ изъ Сенеки, Эпиктета, Плутарха, Платона. Цѣль двухъ статей Лабзина о философіи (****), обработанныхъ по Эккартсгаузену, видна изъ его собственныхъ словъ: «обратясь къ чтенію Цицерона и другихъ древнихъ авторовъ, я увидѣлъ,

(*) *Mémoires politiques et correspondance diplomatique de J. de Maistre*, 2 т. (изд. 1859 и 1861).

(**) *Res ipsa, quae nunc religio christiana nuncupatur, erat apud antiquos, nec defuit ab initio generis humani, quousque Christus veniret in carnem, unde vera religio, quae jam erat, coepit appellari christiana* (*Retractationes*, кн. 1, гл. 13, § 3). См. *Patrologiae cursus completus*. т. 32 (1845), стр. 603.

(***) Французскій переводъ сочиненія Лау: «*La voie de la science divine*».

(****) С. В. 1806, январь и іюль.

сколь древніе были ближе къ понятіямъ и истинамъ христіанскимъ, нежели мы, имѣющіе писанное Евангеліе и называющіеся христіанами». Крайній мистикъ Дю-Туа выражается еще рѣшительнѣе, утверждая, что «собравъ мѣста изъ древнихъ философовъ и стихотворцевъ о религіи, мы увидимъ почти полную систему всѣхъ божественныхъ таинствъ, представляемыхъ нашей вѣрѣ откровеніемъ» (*). Напротивъ, голосъ Сперанскаго по этому предмету умѣреннѣе: онъ говоритъ, что таинственное, т. е. мистико-религіозное ученіе (которое, однакожъ, почиталось истиннымъ христіанствомъ) въ различныхъ образахъ понятій, на разныхъ языкахъ, разными выраженіями было проповѣдуемо между «свѣтоспособными» въ самой глубокой древности; при чемъ упоминаются школы Пифагора и Платона (**). Наконецъ укажемъ на статью «Древность христіанства», въ Христіанскомъ Чтеніи (***). Вотъ ея заключеніе: «Христіанство есть единая истинная религія, равняющаяся міру своею древностію, а главные источники онаго суть всѣ писанія Ветхаго и Новаго Завѣта. Іудейство въ собственномъ смыслѣ есть нѣчто посредствующее. По намѣренію Божію, оно должно было существовать не далѣе пришествія Мессіи. Относящееся къ обрядамъ и другимъ гражданскимъ и церковнымъ постановленіямъ имѣетъ для него историческое достоинство, а все прочее также принадлежитъ къ христіанству, какъ Евангеліе отъ Іоанна и посланія Павла. Можно надѣяться, что писанія пророковъ Исаіи, Іезекіиля и Даниила теперь скоро возвратятъ должное себѣ уваженіе, которое со времени Іисуса Христа было у нихъ похищено. Читающій да разумѣтъ!»—Что Новиковъ, Лабзинъ, Сперанскій должны были высоко цѣнить Платона и другихъ «свѣтоспособныхъ» людей древности, видѣть въ ихъ ученіи своего рода откровеніе, а въ нихъ самихъ какъ бы христіанъ до христіанства, это объясняется сущностью мистики, въ образѣ мыслей которой есть много родственнаго съ философіей Платона и преимущественно съ философіей ново-платониковъ (Плотина, Прокла), такъ что мистика можно назвать христіанскимъ ученіемъ, подъ вліяніемъ неоплатоническихъ идей. Отдѣльно разсѣянные мистическіе элементы впервые образовали одно цѣлое въ сочиненіяхъ, которыя явились въ V или VI вѣкѣ по Р. Х. и долгое время несправедливо приписывались Діонисію Ареопагиту, ученику Апостола Павла (****). Сочиненія эти, особенно главнѣйшія: «о таинственномъ богословіи» и «объ именахъ Божіихъ», установили мистическую теологію и сдѣлались обильнымъ источникомъ для послѣдующихъ мистиковъ. Авторитетное ихъ значеніе доказывается тѣмъ, что св. Максимъ Исповѣдникъ писалъ на нихъ толкованія, а Георгій Пахимеръ составилъ парафраза оныхъ, не говоря уже объ изученіи ихъ въ католическомъ мірѣ. У насъ они пользовались великимъ уваженіемъ. Два рукописныхъ перевода ихъ (XVII в.) находятся въ Синодальной Библіотекѣ: одинъ сдѣланъ монахомъ Исаіей въ 1371 г., другой монахомъ Еввоиміемъ, ученикомъ Епифанія Славинецкаго. Послѣдній переводъ былъ пересмотрѣнъ при патріархѣ Адріанѣ, «печатнаго ради тисненія». Однакожъ въ печати сочиненія Ареопа-

(*) Божественная философія, 5 ч. (М. 1818—1819). Томъ 2, кн. 4, гл. 4.

(**) Письмо къ Теофилакту, 15 октября 1804 (Въ память Сперанскаго, стр. 379).

(***) Хр. Чт. 1821, ч. 3.

(****) Вопросъ о неправильномъ присвоеніи тѣхъ сочиненій Діонисію Ареопагиту, на основаніи тщательныхъ изслѣдованій, рѣшенъ окончательно. См. *Die angeblichen Schriften des Aereopagiten Dionisius, übersetzt von Engelhardt* (1823); Русская литература о сочиненіяхъ съ именемъ св. Діонисія Ареопагита (Православное Обозрѣніе, 1872, іюнь, критич. статья священника Смирнова).

гита явились не раньше второй половины прошлаго вѣка. Въ нынѣшнемъ столѣтіи они были вновь переведены и изданы, кромѣ одного (объ именахъ Божіихъ) (*).

Соотвѣтственно понятію объ истинномъ христіанствѣ, мистики сводятъ его сущность къ тремъ пунктамъ, которые и поставляютъ на видъ каждому: первый — человекъ, по своему созданію, назначенъ быть причастникомъ божественнаго естества, какимъ и обладалъ Адамъ; второй—паденіе низвергло человека въ жизнь животную, земную и нечистую, въ жизнь плоти и крови; третій—искупленіе даровало ему возможность возстановить себя въ первобытномъ правѣ, сдѣлаться снова Адамомъ. И такъ воссоединеніе съ Богомъ, какъ источникомъ нашей души, послѣ разъединенія, произведеннаго паденіемъ, возстановленіе во всей чистотѣ образа Божія: такова цѣль жизни человѣческой. Это воссоединеніе обыкновенно называется вторымъ, духовнымъ рожденіемъ, или «возрожденіемъ». Оно составляетъ существенный догматъ мистики, и потому служить главнѣйшимъ предметомъ мистическихъ книгъ, которыя предлагаютъ и средства къ достиженію цѣли, начертываютъ путь «дѣятельнаго христіанства», противопоставляя свое ученіе ученію «догматико-критическому». Задача почиталась столь важною, что кромѣ сочиненій, изданныхъ на пользу совершеннолѣтнихъ, являлись и учебныя руководства, одинаковыя съ первыми по содержанію и назначенію. «Начальныя основанія дѣятельнаго христіанства, по отвѣтамъ и вопросамъ расположенныя (**), предлагаютъ краткое начертаніе тѣхъ путей и степеней, по которымъ Господь приводитъ падшія души къ духовному ихъ возрожденію. Авторъ замѣчаетъ, что его сочиненіе полезно не для однихъ дѣтей, но и вообще для юныхъ—только не тѣломъ, а духомъ и умомъ. Кромѣ прямого изложенія предмета, мистики прибѣгали нерѣдко къ пособию аллегорій. Таково сочиненіе Бюніана: «Путешествіе христіанина и христіанки къ блаженной вѣчности» (***), въ которомъ, подъ видомъ сна, представлены душевныя состоянія кающагося грѣшника, и подражаніе ему Штиллинга: «Тоска по отчизнѣ» (****), изображающее, въ вымышленной исторіи, пути истиннаго христіанина. Рядомъ съ аллегорическими повѣствованіями шли небольшіе рассказы, написанные простымъ языкомъ и назначавшіеся для библіотеки духовно-нравственныхъ книгъ: одинъ изъ такихъ рассказовъ называется «Разговоромъ о возрожденіи» (*****).

На языкѣ мистиковъ, «возрожденіе» обозначается разными названіями, большею частію заимствованными изъ Св. писанія: общеніемъ съ Иисусомъ Христомъ (1 Кор. I, 9), житіемъ Иисуса въ насъ (Гал. II, 20), пребываніемъ во Христѣ и Христа въ насъ (Іоан. XV, 4), житіемъ на небесѣхъ (Филип. III, 20), помазаніемъ отъ Святаго, сообщающимъ всезнаніе (1 Іоан. II, 20), обновленіемъ жизни (Римл. VI, 4), созерцаніемъ славы Божіей открытымъ лицомъ (2 Кор. III, 18), откровеніемъ (Ефес. I, 17) и пр. (*****). Возрожденный также именуется различно: новымъ че-

(*) О небесной іерархіи, пер. іеромонаха Моисея Гумилевскаго (1786). Новый переводъ, нанеч. по опредѣленію синода (1839), имѣлъ нѣсколько изданій.—О церковной іерархіи, пер. іером. Моисея (1787). Нов. переводъ 1835.—Письма къ разнымъ лицамъ (Хр. чт. 1825, ч. 19)—О таинственномъ богословіи (ib. ч. 20).

(**) Два изданія (1785 и 1786) нап. въ Москвѣ, въ типографіи компаніи Новикова, третье въ Спб. (1805).

(***) Русскаго перевода три изданія: 2-ое (1736), 3-ье (1819).

(****) Рус. переводъ 1817—1818.

(*****) Нов. изд. 1839.

(******) Kurze Nachricht von der Mystik (при нѣм. переводѣ писемъ Гюльонъ, 1769).—Что есть собственно христіанство (С. В. 1806, июль).

ловѣкомъ (Ефес. IV, 24), потаеннымъ сердца человѣкомъ (1 Петр. III, 4), духовнымъ человѣкомъ (1 Кор. II, 15), единымъ духомъ съ Господомъ (1 Кор. VI, 17), новою тварью (Гал. VI, 15) (*). Самый процессъ возрожденія—лѣстница, по которой вѣрующій можетъ восходить на величайшую высоту духа—образуетъ нѣсколько степеней. Число ихъ въ однихъ сочиненіяхъ больше, въ другихъ меньше, но главнѣйшія, существенныя во всѣхъ одинаковы. Мистикъ XII—XIII в. Эккартъ опредѣляетъ слѣдующія стадіи на пути къ соединенію души съ Богомъ: оправданіе, т. е. отпущеніе грѣховъ, отрѣшеніе отъ всѣхъ тварей и отъ самого себя, соединеніе души съ Богомъ, или рожденіе Бога въ душѣ. Первая стадія начинается обращеніемъ грѣшника къ Богу: свободная воля, направляемая благодатію, удаляется отъ грѣха и сѣтуетъ о грѣхахъ содѣянныхъ. Въ этомъ сѣтованіи и заключается раскаяніе. Плодъ истиннаго раскаянія есть отпущеніе грѣховъ, или *оправданіе*. Вторая стадія образуется изъ нѣсколькихъ послѣдовательныхъ степеней духовнаго очищенія. Чтобы человѣку, по благодати, стать едино съ Богомъ, необходимо устранить все то, что отлучаетъ его отъ Бога. Грѣхъ уже устраненъ покаяніемъ; но остается еще многое: все конечное, препятствующее общенію съ Бесконечнымъ. И потому первымъ актомъ человѣка на второй стадіи является внутреннее собраніе, сосредоточеніе самого себя, обозначаемое стариннымъ, прежде употреблявшимся словомъ *возвращеніе*. Всѣ свои силы и способности (разумъ, память, волю, силу представленія, и т. д.) и ихъ отправленія душа должна изъ внѣшней разсѣянности призвать домой, въ глубочайшую свою основу, для внутренняго дѣйствіи. За «возвращеніемъ» слѣдуетъ освобожденіе, отрѣшеніе отъ тварей какъ вѣдѣніемъ, такъ и желаніемъ. Далѣе — отлученіе человѣка отъ самого себя, какъ отъ индивидуальности. Душа должна забыть, утратить себя. Это исхожденіе человѣка изъ самого себя, это состояніе смертнаго бытія (умертвіе), самоопустошеніе, самоуничтоженіе и есть условіе высочайшаго дѣйствія благодати, т. е. *возсоединенія человѣка съ Богомъ* или рожденія Бога въ душѣ человѣческой. Къ нему-то мистическая теологія относитъ слова Апокалипсиса: «блаженны мертвые, умирающіе въ Господѣ» (XIV, 13). Другой знаменитый мистикъ, Таулеръ (XIII—XIV в.), указываетъ три степени: вхожденіе человѣка въ себя самого, иначе: собраніе внутрь себя всѣхъ низшихъ и высшихъ силъ духа; исхожденіе всѣхъ силъ изъ души, иначе: самоотреченіе, самоуничтоженіе; соединеніе души съ Богомъ, иначе рожденіе Бога въ душѣ (***). Нѣкоторые исчисляютъ шесть дѣйствій на пути духовнаго очищенія, видя ихъ прообразы въ шести водоносахъ на бракѣ въ Канѣ Галилейской: самоотреченіе, вѣра, чистая жертва, смерть, уничтоженіе, совершенное погубленіе (****), а статья Христіанскаго Чтенія принимаетъ семь: исканіе въ состояніи покаянія, ощущеніе благъ, подвижничество на пути освященія,

(*) Христіанинъ или вѣрующій нова-тварь, сочиненіе Самуила Паркера. Пер. съ англ. (1815). Въ первыхъ бесѣдахъ этой книги раскрывается грѣховная бездна падшаго человѣка; далѣе показывается путь на небо, или образъ и способъ возрожденія, соединенія съ Богомъ и непрестаннаго хожденія въ его присутствіи.

(**) Meister Eckhardt, der mystiker, von Lasson (1868).

(***) Predigten, Deutsche Theologia, Medulla animae и др. сочиненія Таулера, изд. 1692. Выборъ изъ этихъ сочиненій, преимущественно изъ проповѣдей, сдѣланный Теннгардомъ, переведенъ на рус. языкъ подъ заглавіемъ: Краткія разсужденія о важнѣйшихъ предметахъ жизни христіанской (три изданія: 1801, 1820, 1821).

(****) Ежедневныя христіанскія упражненія по руководству Слова Божія, или Бесѣды, расположенныя по текстамъ Евангельскимъ на каждый день года. 4 ч. (1801). Это переводъ одного сочиненія г-жи Гюйонъ, хотя на заглавномъ листѣ имя автора не выставлено.

покорность внутреннему влечению, созерцание, преданность воли Божией, соединение съ Богомъ (*). Инымъ образомъ, хотя по сущности не различнымъ, описывается путь возрожденія въ «Мысляхъ на досугъ поучающагося истинамъ вѣры» (1815). Основываясь на словахъ Спасителя: «Азъ есмь путь, истина и животъ», авторъ говоритъ: «три степени на лѣстницѣ восхожденія въ жизнь вѣчную, а именно: Христосъ *путь* возрождаетъ чувственнаго человѣка чрезъ вѣру во Іисуса и чрезъ обращеніе отъ міра и чувственности къ духу и внутренности на путь крестный; Христосъ *истина* воспитываетъ обращеннаго и возрожденнаго чрезъ непрестанное укрѣпленіе его духомъ истины, истекающей изъ премудрости и любви Божіей; Христосъ *жизнь* созидаетъ въ обновленномъ сердцѣ возрожденнаго храмъ Духу Святому, который столь тѣсно соединяетъ вѣрующаго со Христомъ, что не только во внутренней, но и во вѣшной его жизни представляетъ живой списокъ Христа въ немъ».

Такимъ образомъ человѣкъ, возрожденный указаннымъ путемъ самоотреченія, изъ плотскаго и душевнаго прелагается въ духовнаго, истиннаго христіанина. Въ немъ, на послѣдней ступени лѣстницы, ведущей отъ земли на небо, воплощается Слово и своимъ воплощеніемъ обожествляетъ его, творитъ существомъ богоноснымъ. Бывъ дотолѣ микрокосмомъ, онъ получаетъ право называться макрокосмомъ (**). На его внутреннемъ освященіи ознаменовалась тайна нашего искупленія, которая и состоитъ именно въ преложеніи душевнаго въ духовное, въ «преобоженіи» человѣчества, или, по словамъ Апостола Павла, въ «возглавленіи всяческихъ во Христа» (***). Такое созерцаніе, разработанное мистиками и поставленное во главу ихъ ученія, подтверждаютъ они свидѣтельствомъ многихъ церковныхъ учителей. Въ одной изъ бесѣдъ Макарія о томъ, что души, желающей стяжать царствіе Божіе, надлежитъ отродиться Духомъ Святымъ, сказано: «весь трудъ Богочеловѣка состоялъ въ томъ, дабы отъ себя, изъ собствннаго «естества» своего, родить чадъ «по духу» (****). Преподобный Симеонъ новый богословъ, на вопросъ: «какая цѣль воплощенія Бога-Слова?» отвѣчаетъ: «безъ сомнѣнія та, чтобы онъ, принявъ на себя «наше», сообщилъ намъ «Свое». Сынъ Божій для того сдѣлался сыномъ человѣческимъ, дабы насъ, человѣковъ, сдѣлать сынами Божіими. Онъ возводитъ родъ нашъ въ то достоинство «по благодати», въ которомъ Онъ «по естеству» (*****). Такъ какъ бесѣда Спасителя съ Никодимомъ была ведена о новомъ рожденіи человѣка, или о рожденіи свыше, то все мистики безъ исключенія видятъ въ ней основаніе вѣчнаго блаженства человѣческаго и указаніе судебъ Божіихъ о мірѣ (*****). Въ своихъ воззрѣніяхъ они опираются преимущественно на Евангеліе отъ Іоанна и на посланія Апостола Павла, какъ на главнѣйшіе авторитеты касательно таинственнаго единенія человѣка съ Богомъ. Понятно также, почему возрожденіе служитъ постояннымъ предметомъ мистической проповѣди, сообщая ей видимую однообразность. Бесѣды Дю-Туа, собранныя въ пяти

(*) Письмо о семи степеняхъ, на которыхъ должно видѣть единственно Бога во Христѣ, а себя забыть и не видѣть (Хр. Чт. 1822, ч. 6).

(**) Божество. философія, кн. 1, гл. 2, стр. 77.

(***) Письмо Сперанскаго къ Броневскому (Въ память Сперанскаго, стр. 487).

(****) Макарія Египетскаго духовныя бесѣды о совершенствѣ, христіанамъ приличномъ. Переводъ іеромонаха Моисея (М. 1782).

(*****). Дѣятельныя и богословскія главы (Христ. Чтеніе 1823, ч. 12) «Мысли на досугъ поучающагося въ истинной вѣрѣ» выражаются почти тѣми же словами: «Человѣкъ возрожденный (возсоединенный съ Богомъ), по присвоенной ему «благодати», дѣлается тѣмъ, что Іисусъ Христосъ есть «по естеству».

(*****). С. В. 1817, май, ст.: Духъ и истина.

книгахъ, подъ именемъ «Христіанской философіи», вращаются около одного и того же пункта, объясняя или паденіе Адама, или тайну искупленія, или преобразованіе падшаго человѣка въ «нову тварь», т. е. начало, средину и конецъ верховныхъ судебъ о мірѣ. Любимѣйшая тема этихъ однообразныхъ поученій—Рождество Спасителя, ибо вочеловѣченіе Бога является для мистика знаменіемъ обожествленія человѣка, производимаго рожденіемъ Бога въ душѣ, и даетъ ему, какъ проповѣднику, обильный матеріаль для таинственныхъ сопоставленій, для таинственного параллелизма. Вотъ причина, почему издатель Сіонскаго Вѣстника не былъ удовлетворенъ «обыкновенными» наставленіями нашихъ пастырей о религіи: эти пастыри, по его мнѣнію, почти не проповѣдовали о главномъ ученіи христіанства, или, вѣрнѣе, объ истинномъ христіанствѣ, т. е. о возрожденіи. «Нынѣшніе проповѣдники Евангелія», говоритъ онъ, «представляютъ Христа главою и учителемъ, который, находясь «внѣ насъ», учитъ насъ, что есть добро, а не говорятъ, что онъ долженъ «внутренно» владычествовать (т. е. жить и царствовать) и самъ совершать въ насъ добрыя дѣла. Не добрыя и благочестивыя дѣла дѣлаютъ человѣка добрымъ и благочестивымъ, а добрый и благочестивый человѣкъ дѣлаетъ добрыя и благочестивыя дѣла» (*). Это недовольство и было причиною появленія въ Сіонскомъ Вѣстникѣ цѣлаго ряда статей, подъ заглавіемъ «Духъ и истина», составляющихъ наиболѣе характеристичную, капитальную часть журнала. Наконецъ самое посвященіе журнала (на 1817 г.) «Господу Іисусу Христу, вѣчному *возродителю* и *обновителю* всяческихъ», ясно показываетъ, какой догматъ мистики долженствовалъ быть главною задачею издателя.

Изложенное нами понятіе о возрожденіи не представляло, однакожъ, для русскихъ читателей чего-то совершеннаго новаго, дотолѣ имъ неизвѣстнаго. Въ духовной литературѣ нашей давно уже существовало не малое число твореній, въ которыхъ тотъ же самый предметъ, съ полнымъ процессомъ его послѣдовательнаго развитія, обстоятельно разяснялся если не тождественнымъ образомъ и не въ одинаковой формѣ съ доктриною протестантскихъ и католическихъ мистиковъ, то, по крайней мѣрѣ, очень сходственно и близко. Внутреннее, сокровенное пребываніе съ Богомъ, какъ истинная сущность истинной религіи, какъ верховная задача христіанна въ его земномъ существованіи, не только предлагалось и обсуждалось этими писаніями, но и дѣйствовало и достигалось ихъ творцами, по ихъ собственному, откровенному заявленію. Главнымъ поприщемъ для такого дѣйствованія служили монастыри. Вообще развитіе мистики тѣсно связано съ развитіемъ иночества, которое, стремясь къ болѣе строгой нравственности, къ «дѣятельному» христіанству, стало уединяться отъ общей массы вѣрующихъ въ пустынные обители съ того времени, какъ замѣтило, что чистота первобытныхъ нравовъ омрачалась мірскими соблазнами. Тоже побужденіе, положивъ раздѣлъ на практикѣ, въ жизни, обнаружилось и на теоріи, въ доктринѣ. Когда ученіе Церкви, развившись и сложившись, сдѣлалось общимъ достояніемъ всѣхъ ея членовъ, тогда многіе изъ нихъ, преимущественно въ средѣ иноческой, устремились къ ученію, болѣе внутреннему и глубокому, чѣмъ обычное: послѣднее не удовлетворяло умы сосредоточенные и восторженные. Вотъ почему изъ монашества, особенно восточнаго, вышло большое число мистиковъ, а это и доказываетъ, что оно весьма благопріятствовало духовной дѣятельности созерцательныхъ натуръ. Между

(*) С. В. 1806, августъ, стр. 200. См. также 1817, декабрь, стр. 311.

иноками являлось много такихъ, которые были не просто аскеты, согласно своему званію, но и аскеты-созерцатели.

Въ XIV вѣкѣ, иноки горы Афонской приняли наставленія о жизни созерцательной отъ Григорія Синаита, поселившагося между ними послѣ своего подвижничества на горѣ Синайской. Онъ поучалъ ихъ пути внутренняго очищенія, которымъ великіе отцы-пустынники достигали небеснаго наптія, свѣтоносныхъ озареній Св. Духа. Русское иночество, при посредственныхъ или непосредственныхъ сношеніяхъ съ святою горою, усвоивало тоже ученіе. Преданіе Нила Сорскаго (XVI в.) ученикамъ о жителствѣ скитекомъ содержитъ въ себѣ выборъ изъ отеческихъ писаній, служившихъ руководствомъ на означенномъ пути духовнаго дѣйствованія. Но независимо отъ сокращенныхъ извлеченій, предки наши имѣли возможность знакомиться вполне съ аскетической литературой этого направленія, по славянскимъ переводамъ твореній Исаака Сирина, Іоанна Лѣтвичника, Максима Исповѣдника, Симеона новаго богослова, Григорія Синаита и другихъ. Самое замѣчательное собраніе твореній по предмету высшаго христіанскаго любомудрія, которымъ душа очищается, просвѣщается и возводится къ соединенію съ Богомъ, находится въ греческой книгѣ: «Добротолубіе», переведенной на славянскій языкъ архимандритомъ Нямецкаго монастыря (въ Молдавіи), полтавскимъ уроженцемъ Пансіемъ Величковскимъ (*). Предисловіе къ сборнику выражаетъ мысль, что совѣтъ Божій, искони предопредѣлившій «обожить» человѣка, пребываетъ во-вѣкъ. Исполненіе этого совѣта началось въ созданіи Адама по образу и подобію Творца его; продолжалось въ воплощеніи, т. е. въ воспріятіи Богомъ человѣческаго естества, которое по сему самому обожилось; а завершился духовнымъ преусиѣніемъ человѣка, когда онъ достигнетъ въ мѣру возраста исполненія Христова (Ефес. IV, 13) и когда Христосъ водворится въ его сердцѣ, слѣдовательно обожить его. Богомудрые отцы указываютъ путь къ такому совершенству, предлагаютъ способъ для достиженія высочайшей цѣли нашего бытія. Этотъ способъ состоитъ въ особомъ духовномъ (иначе умномъ) художествѣ или дѣланіи, такъ называемомъ «священномъ трезвѣніи», которое, однакожь, по важности своей, «многومنно» и потому обозначается и другими словами: храненіе сердца, блюденіе ума, вниманіе, сердечное (или мысленное) безмолвіе, чистая (умная, непарительная и непрестанная) молитва, и пр. Трезвѣніе, подобно огненной Иліинной колесницѣ, возноситъ своихъ причастниковъ на высоту небесную. Постепенный въ немъ опытъ унодобляется лѣтвицѣ Іаковлевой, на ней же Богъ пребываетъ и по ней же ангелы нисходятъ и восходятъ: «Восходите, елицы желаніе имате вселитися въ васъ Христу и во образъ Св. Духа преобразитися; приидите, елицы разумомъ и искусомъ царствіе небесное, внутрь васъ сущее, познати и пріяти хотите» (**). Ступени восхожденія исчисляются различно, смотря по основанію, принимаемому во взглядѣ на «обоженіе». Такъ какъ мѣра духовнаго совершенства, нужнаго для этого человѣку, есть мѣра «полнаго возраста Христова», то Григорій Синаитъ ведетъ ступени параллельно періодамъ земной жизни Іисуса Христа: зачатію соотвѣтствуетъ обрученіе духа, рожденію—дѣйство радованія, крещенію—чистительная сила духовнаго огня, преображенію—видѣніе божественнаго

(*) Добротолубіе, или словеса и главизны священнаго трезвѣнія, 4 ч. (1 изд. 1793, 6-ое 1857).

(**) Ib. ч. I, листы 7, 32, 36.

свѣта, воскресенію—животворное возстаніе души, вознесенію—изступленіе и восхищеніе ума (*). У инока Теофана не шести, а десятистепенная лѣствица божественныхъ даровъ, извѣстная по опыту богоноснымъ: чистая молитва и происходящая отъ нея сердечная теплота, святое дѣйство, сердечныя слезы, миръ многообразныхъ помысловъ, очищеніе ума, видѣніе высшихъ таинствъ, странное осіяніе несказаннымъ образомъ, неизреченное сердца просвѣщеніе, совершенство (**). Черты этого совершенства, изображаясь различно въ тѣхъ или другихъ аскетическихъ твореніяхъ, въ сущности одинаковы. Путь священнаго трезвѣнія именуется путемъ избраннымъ и царскимъ, ведущимъ къ сѣмоположенію Божію. Человѣкъ, прошедшій имъ, изъ существа животнаго обращается въ святаго, обожается въ духъ. Подвигаясь присносущнымъ движеніемъ отъ Духа Святаго, онъ, по словамъ Василія Великаго, принимаетъ достоинство пророческое, апостольское, ангельское и божественное, сый прежде сего земля и пепель (***). Душа пріобрѣтаетъ безстрастіе, воскресаетъ прежде тѣла, непосредственно соединяется съ Богомъ. Исправляющій трезвѣніе входитъ въ видѣнія святая святыхъ, просвѣщается отъ Христа глубокими таинствами, въ его душу входитъ Святой Духъ, силою котораго умъ человѣческій научается зрѣть откровеннымъ лицемъ (****). Какъ чувственное око зрѣтъ на письмена и отъ нихъ пріемлетъ чувственныя разумѣнія, такъ и умъ, очистившись и первобытнаго достигнувъ достоинства, зрѣтъ на Бога и отъ Него пріемлетъ разумѣнія божественныя: тогда онъ вмѣсто книги имѣетъ Духа, вмѣсто трости писательной—смыслъ и языкъ; тогда онъ познаетъ, какъ учить Богъ человѣка, по пророчеству, Духомъ (Іоан. VI, 45) (*****). Преподобный Антоній былъ потому боговидецъ и предзритель, что трезвился сердцемъ. Потщись войти во внутреннее сокровище твое, учить Псаакъ Сиринъ, и ты узришь сокровище небесное. То и другое едино есть, и входя во едино—узриши и то и другое. Лѣствица царствія онаго (небеснаго) сокрыта внутри тебя—въ твоей душѣ (*****). Дѣланіе и храненіе (священное трезвѣніе) утончаютъ умъ и сообщаютъ ему зрѣніе, душа возвышается въ чистоту ума, чистотою же ума приходитъ человѣкъ, во еже зрѣти тайны Божія, видѣть откровенія и знаменія, какъ видѣлъ пророкъ Іезекіиль (*****). Во второмъ словѣ Нила Сорскаго приведены слова Симеона новаго богослова о блаженныхъ дарахъ чистой молитвы и умнаго безмолвія: «какой языкъ изречетъ, какой умъ скажетъ? Зрю свѣтъ, его же міръ не имѣетъ, внутри себя зрю Творца міра, и бесѣдную, и люблю, и питаюсь единымъ боговидѣніемъ, и, соединився съ Богомъ, превосхожду небеса. Гдѣ же тогда тѣло—не вѣмъ.... Любить меня и Онъ, и въ себѣ самомъ пріемлетъ меня, и въ объятіяхъ сокрываетъ; живущій на небѣ, пребываетъ въ моемъ сердцѣ: здѣсь и тамъ зрится мною.... Владыка показываетъ меня равнымъ ангеламъ, творить меня лучшимъ ихъ: ибо тѣмъ Онъ невидимъ по существу (естество Его неприступно); мнѣ же зрится всяко, смѣсився естеству моему своимъ

(*) Ів. ч. I, л. 111.

(**) Ів. ч. III, л. 132.

(***) Ів. II, 129—130.

(****) Ів. II, л. 4.

(*****) Ів. I, л. 90.

(*****) Ів. II, лл. 37 и 41

(*****) Ів. II, л. 99.

существомъ (*). Въ мертвенномъ еще тѣлѣ таинственникъ (**) вкушаетъ безмертной пищи; еще въ этомъ маловременномъ мірѣ сподобляется отчасти той радости, которая хранится въ небесномъ отечествѣ (***). Въ нѣсколькихъ мѣстахъ Добротолубія есть ссылки на псевдо-діонисіевы сочиненія. Въ правилѣ о безмолвіи и молитвѣ (Каллиста, патріарха константинопольскаго, и сподвижника его Игнатія) духовная, божественная сладость, изливающаяся изъ сердца во время чистой молитвы, изображена по воззрѣніямъ «Таинственнаго богословія»: «Въ превысшій свѣта мракъ прійти мы молимся, и невидѣніемъ и неразумѣніемъ увидѣти и разумѣти сущаго паче видѣнія и разума, самымъ тѣмъ, еже не увидѣти, ниже разумѣти: се бо есть еже во истину увидѣти и разумѣти, и пресущественнаго пресущественнѣ воспѣти отъ-атиємъ всѣхъ сущихъ.... Божественный мракъ есть неприступный свѣтъ, въ немъ же жити Богъ глаголется. и въ невидимѣмъ сущемъ, за превосходящую свѣтлость, и неприступнѣмъ, за превосхожденіе пресущественна свѣтосіянія. Въ сей приходитъ всякъ, Бога разумѣти и увидѣти сподобляйся, самымъ симъ, еже не видѣти, ниже разумѣвати, воистину въ томъ, иже паче видѣнія и разума бывая, сіе самое разумѣвая, яко превыше всѣхъ есть чувственныхъ и умныхъ» (****). Приводимъ еще мѣсто изъ «главизнѣ о любви и совершенствѣ житія» инока Никиты Стифата, ближайшаго ученика Симеона новаго богослова: «Обоженіе есть въ житіи умное и божественное священнодѣйство, въ немъ же священнодѣйствуетъ слово неизреченныя премудрости, и уготовльшимъ себѣ, елико можно, преподается. Сіе благолѣпно Богъ словесному естеству свыше дарова во единство вѣры, да ови убо, елицы за чистоту достоинства того разумомъ божественныхъ въ причастіи быша, уподобляются Богу, сообразни образу Сына его бывше, высокими и умными своими о божественныхъ движеніи, и тако положеніемъ бози будутъ инѣмъ человѣкомъ на земли; ови же очищеніемъ чрезъ божественное ихъ слово и священное сочетаніе совершаются въ добродѣтели, и по мѣрѣ своего предѣланія и очищенія въ причастіи обоженія сихъ бывають и приобщаются съ ними въ Божѣ соединенія: яко да вси, во едино соединяеми и сообщемлеми единствомъ любви, съ единѣмъ Богомъ соединятся непрестанно,—и будетъ Богъ посредѣ боговъ благихъ дѣлъ виновенъ, иже естествомъ, сущихъ положеніемъ, ничтоже порицательно на себе нося отъ созданія» (*****).

Такимъ образомъ трезвѣніе, или умная молитва, какъ по подготовленію къ ней, такъ по ея свойству и дѣйствіямъ, въ сущности не разнится отъ вышеизложеннаго процесса, ведущаго, по ученію мистиковъ, къ рожденію Слова въ душѣ, къ обожествленію человѣка. Эта молитва есть утвержденіе христіанства, источникъ добродѣтелей, извѣщеніе сердца, образованіе святости, подательница откровеній и таинъ

(*) Нила Сорскаго преданіе о жительствѣ скитскомъ (М. 1849), стр. 49.

(**) Другое названіе созерцателей.

(***) Преданіе Нила Сорскаго, стр. 51.

(****) Доброт. II, гл. 113. Сущность первой главы Таинственнаго Богословія: «что есть божественный мракъ?» состоитъ въ слѣдующемъ: Чтобы достигнуть таинственнаго созерцанія, чтобы возвыситься къ соединенію съ Тѣмъ, кто превыше всякой истины и всякаго познанія, необходимо абсолютно отрѣшиться отъ себя самого и всѣхъ прочихъ тварей. Тогда только умъ вступаетъ во мракъ непостижимости, но истиннѣ таинственный; не существуя ни для себя, ни для другихъ, онъ существуетъ только для Того, который есть превыше всего, и соединяется съ непостижимымъ. И тѣмъ самымъ, что умъ не познаетъ ничего, онъ приобретаетъ знаніе превыше ума (Христ. Чт. 1825, ч. 20).

(*****). Доброт. IV, гл. 95 — 96, гл. 33.

божественныхъ, обрученіе святому Духу, сопрѣбываніе и соединеніе съ Богомъ (*). Подготовленіе къ ней состоитъ во внутреннемъ собраніи всѣхъ душевныхъ силъ (возвращеніи), совершенномъ отрѣченіи собственнаго разума и собственной воли, безусловной преданности и послушаніи Богу, уничтожающемъ человѣческую самость смиреніи. Основа ея въ бесѣдѣ Спасителя съ самарянкой о поклоненіи Отцу духомъ и истиной (Іоан. IV) и въ словахъ Апостола Павла: «хочу (лучше) пять словесъ умомъ глаголати, нежели тьмы словесъ языкомъ» (1 Кор. XIV, 19). Практика такой молитвы, которая дѣйствительно есть не что другое, какъ поклоненіе духомъ и истиной, развила въ монастыряхъ, какъ это доказывается и самими твореніями аскетовъ-созерцателей, и «Бесѣдами» Іоанна Кассіана (IV—V в.) съ отшельниками, подвизавшимися въ Оивайдѣ (**). Слѣды ея существуютъ до сихъ поръ и въ нѣкоторыхъ нашихъ монастыряхъ и пустыняхъ. Сперанскій, во время пребыванія своего въ Великопольѣ, изъ разговоровъ съ монахами сосѣдственной обители Саввы Вишерскаго, узналъ, что они вовсе не чужды высшимъ степенямъ созерцательной молитвы (***). Ею, говорить онъ, молятся и въ Индіи и въ Саровской пустынѣ, ибо о Христѣ Иисусѣ нѣсть ни Іудей, ни Еллинъ, но все нова тварь (****).

Въ сочиненіяхъ мистическихъ ученіе о молитвѣ излагается съ особымъ тщаніемъ. Опредѣляя ея сущность, они указываютъ различныя ея степени, соотвѣтственно степенямъ духовнаго состоянія нашего или другимъ предметамъ христіанскаго знанія и христіанской жизни. Г-жа Гюйонъ († 1717) въ двухъ книгахъ: «Краткій и легчайшій способъ молиться» (1821 и 1822) и «О послѣдованіи младенчеству Іисуса Христа» (1823) (*****), объясняетъ три вида молитвы: умственную, сердечную и созерцательную. Первая состоитъ въ умственномъ бесѣдованіи, или богомыслии; вторая въ воздыханіяхъ и пламенныхъ стремленіяхъ къ Богу; третья въ безмолвіи мыслей чувствъ и невозмущаемомъ покоѣ, причемъ душа, соединяясь съ Богомъ, созерцаетъ верховное благо. Русская мистичка, Хвостова, помогавшая Лабзину своимъ сотрудничествомъ, дѣлитъ молитву на три степени: устную (словесную), безъ помощи словъ совершаемую (мысленную) и высшую, или созерцательную, называя ее бесѣдой живущаго въ душѣ Сына съ превѣчнымъ Отцемъ. Эти степени она предположительно относитъ къ тремъ состояніямъ Слова, говоря: «не указываетъ ли первая на Богочеловѣка, тѣлесно (т. е. до воскресенія) проповѣдывающаго невѣжественному Израилю; вторая—на Него же, по воскресеніи своемъ бесѣдующаго съ Апостолами; третья—на Него, сѣдѣщаго, по вознесеніи, одесную Отца и глаголющаго своимъ искупленнымъ: се Азъ съ вами до скончанія вѣка? Восхищенный до третьяго небеси Апостолъ, можетъ быть, повѣствуетъ о сей третьей степени молитвы» (*****). Въ переведенной съ фран-

(*) Житіе и писанія Паисія Величковскаго (1847), стр. 200—205.

(**) Collationes patrum (Бесѣды Кассіана съ отцами, достигшими наибольшаго искуса въ созерцательной жизни.)

(***) Жизнь Сперанскаго (1861), т. II, гл. 4.

(****) Въ память гр. Сперанскаго, стр. 480. Въ 1824 г. нап. Письмо А. Оленина къ Е. О. Тимковскому о непрестанной молитвѣ Ламантовъ.

(*****) Сочиненіе Гюйонъ: «Moyen court et très-facile de faire oraison», содержитъ ученіе въ сущности одинаковое съ ученіемъ ея современника, монаха Лакомба. Другое ея сочиненіе: «о послѣдованіи младенчеству І. Х.» почти цѣликомъ помѣщено въ статьѣ: «о святомъ младенствѣ Іисусовомъ» (С. В. 1818 февраль), безъ имени автора и переводчика.

(******) Письма христіанки, тоскующей по горнѣмъ своимъ отечествѣ, къ двумъ друзьямъ ея—мужу и женѣ (1815). Нѣкоторыя изъ этихъ писемъ нап. въ С. В. Другое сочиненіе: «Совѣты душѣ моей» (1816). Слогъ Хвостовой отличается патетизмомъ, происходящимъ отъ женственно-мистическаго экстаза.

пузскаго книгѣ: «Просвѣщенный пастухъ» (1806) способъ молитвы выраженъ такою формулой: «надобно молиться Богу въ лицѣ Сына Его, въ духѣ Сына Его, въ истинѣ Сына Его». Всѣ три части этой формулы имѣютъ въ виду уже возрожденныхъ, соединившихся съ Богомъ: Отецъ, внимая имъ, внимаетъ собственному Сыну, въ нихъ пребывающему; въ желаніи быть истинными поклонниками Богу, т. е. въ духѣ и истинѣ, они должны просить у Иисуса Христа божественнаго Духа, которымъ Онъ на землѣ бесѣдовалъ съ Отцемъ, и обещисъ въ духъ истины и вѣры, которая созерцаетъ предметы не такими, каковы они по нашимъ понятіямъ, а такими, каковы они въ самихъ себѣ (*). Другой простолюдинъ, въ сочиненіи: «Закланный Агнецъ, или способъ молитвы», различаетъ въ ней три пути или состоянія: дѣятельное, когда мы въ самихъ себѣ обращаемся къ Иисусу страждущему; частію дѣятельное и частію страдательное, когда мы обращаемся къ Иисусу воскресшему; наконецъ прямо-страдательное, когда мы погружаемся въ самое нѣдро Его божества, для соединенія нашего съ нимъ на-вѣки (**). Болѣе или менѣе сходственные воззрѣнія представляютъ статьи о молитвѣ и покаяніи (***) и отдѣльно изданная книжка «о поклоненіи духомъ и истиною» (2-ое изд. 1787).

Эта созерцательная (сверхчувственная) молитва одно и тоже съ священной умной молитвой «Добротолубія». Подъ первымъ именемъ она и значится въ книгѣ преподобнаго Максима Исповѣдника «о любви» (****). Она совершается въ тишинѣ и безмолвіи, такъ какъ Самъ Богъ есть миръ, превысшій молвы и воплей (*****), совершается безъ страха и надежды, въ полнѣйшей преданности молящагося волѣ Божіей и въ полнѣйшемъ отрѣшеніи его отъ себя и отъ всего сущаго. Высочайшей степени достигаетъ она въ то время, когда умъ, внѣ плоти и міра, внѣ вещества и образовъ, «непрестанно» молится. Плоды ея—вѣдѣніе свойствъ тѣлесныхъ и безтѣлесныхъ существъ, чистыя и ясныя извѣщенія о Богѣ (*****). Она есть знаменіе всѣхъ добродѣтелей, изъ коихъ главная любовь, почему и отождествляется съ высочайшею любовію къ Богу. Наконецъ она есть покой созерцанія, квіетизмъ, почему иноки Аѳонской горы въ XIV в. и получили названіе гезихастовъ (успокоителей). Исторія квіетизма, какимъ онъ явился въ понятіяхъ нѣкоторыхъ западныхъ мистиковъ, преимущественно останавливается на двухъ лицахъ XVII вѣка: испанскомъ богословѣ Молиноѣ и французской писательницѣ многихъ мистическихъ книгъ Гюйонъ. Ученіе перваго грубѣе и рѣзче, чѣмъ ученіе послѣдней (*****). Оба они сходны въ томъ основномъ принципѣ, что совершенство человѣка на землѣ состоитъ въ постоянномъ актѣ

(*) «Просвѣщенный пастухъ», изданный мистикомъ Пуаре, содержитъ въ себѣ «разговоръ одного священника съ пастухомъ, открывающій дивныя тайны божественной и таинственной премудрости, являемой отъ Бога чистымъ и простымъ душамъ».

(**) Просвѣщенный крестьянинъ (С. В. 1817, августъ).

(***) «О покаяніи»—переводъ изъ Беа, хотя издателемъ о томъ умолчено. «О молитвѣ» въ ряду статей: Духъ и истина (С. В. 1818, мартъ).

(****) Издана съ русскимъ переводомъ стариннаго славянскаго текста (1817). Она состоитъ изъ четырехъ отдѣленій, и въ каждомъ изъ нихъ по сту статей.

(*****.) Доброт. 1, л. 125.

(*****.) О любви, ст. 6, 26 и 61 второй сотницы.

(*****.) Сочиненія Гюйонъ: *Moyen court et très facile de faire oraison* (рус. переводъ указанъ выше) и *Le Cantique des Cantiques, interprété selon le sens mystique* (рус. переводъ вмѣстѣ съ толкованіями другихъ Соломоновыхъ книгъ и книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова, изд. 1823).

созерцанія и любви, что душа, соединившись съ Богомъ, должна совершенно въ немъ теряться и уничтожаться. Различіе же въ слѣдствіи, выводимомъ изъ принципа: Молиносъ обрекаетъ душу на состояніе абсолютнаго бездѣйствія, даже во время самыхъ ужасныхъ искушеній, а Гюйонъ не отвергаетъ положительнаго сопротивленія искушеніямъ. Вопросъ о молитвѣ созерцательной, безусловно-пассивной и о любви безусловно-безкорыстной или чистѣйшей послужилъ поводомъ къ замѣчательному состязанію между двумя французскими прелатами: Боссюэтомъ и Фенелономъ. Рѣшеніе вопроса было достойно славѣ этихъ богослововъ-философовъ: показавъ основныя начала совершенства, до котораго возможно достигнуть христіанину, оно отделило бы сущность истинной духовности отъ представленій и фанатизма крайнихъ мистиковъ. Боссюэтъ обвинилъ Гюйонъ, находя, что подъ видомъ чистой молитвы уничтожается всякое молитвословіе, всякое обращеніе къ Богу для испрашиванія у Него благъ, что любовь къ Богу не можетъ обойтись безъ всякаго отношенія къ нашему вѣчному блаженству, какъ высшему интересу, который и входитъ въ нее какъ побужденіе, хотя бы и второстепенное. Фенелонъ, напротивъ, сталъ на сторонѣ Гюйонъ и въ книгѣ своей: «Объясненіе изреченій святыхъ отцевъ о внутренней жизни» (*) развилъ слѣдующія положенія: внутренний путь христіанской жизни стремится къ безкорыстной, чистой любви къ Богу; цѣль искуса на пути этой жизни есть большее и большее очищеніе любви; созерцаніе, даже на высочайшей его степени, есть не что иное какъ мирное упражненіе любви; совершенство, называемое соединеніемъ чловѣка съ Богомъ, есть не что иное, какъ полнѣйшая чистота и окончательно утвердившееся, обычное состояніе любви. Боссюэтъ одержалъ верхъ. Книга Фенелона была осуждена папою Иннокентіемъ XII. Большая часть осужденныхъ положеній сводятся къ двумъ пунктамъ: первый—есть въ этой жизни такое состояніе совершенства, въ которомъ желаніе благъ и боязнь мученій не имѣютъ мѣста; второй—есть души до того воспаленныя любовью къ Богу, что если, въ искушеніи, онѣ вѣруютъ, что Богъ осудилъ ихъ на вѣчную муку, то онѣ безусловно жертвуютъ Богу своимъ спасеніемъ (**). Не смотря на торжество Боссюэта, мистики упрекаютъ его въ томъ, что онъ, отвергнувъ ученіе о чистой любви, нанесъ ударъ внутреннему христіанству и что онъ, вѣроятно, взглянулъ бы на дѣло иначе, если бы былъ знакомъ съ преданіями и духомъ мнѣній святыхъ пустынниковъ, изложенными въ «Бесѣдахъ Кассіана», а также съ ученіемъ греческихъ отцевъ церкви, проповѣдующимъ о любви и внутренней жизни христіанина. Дѣйствительно, малое знакомство Боссюэта съ указанными источниками доказывается тѣмъ удивленіемъ, которое испыталъ онъ при появленіи Фенелоновой книги: онъ встрѣтилъ въ ней какъ бы новый кругъ духовныхъ воззрѣній, дотолѣ ему невѣдомыхъ.

Замѣтимъ здѣсь кстати, что ученый споръ двухъ знаменитыхъ прелатовъ, имѣвшій значеніе важнаго общественнаго факта, охватившій всѣмъ интересомъ всѣхъ мыслящихъ людей того времени, духовныхъ и свѣтскихъ, богослововъ и небогослововъ, и не остававшійся въ предѣлахъ одной Франціи, но далеко выступившій за ея предѣлы, нашелъ сходственное себѣ явленіе у насъ, только въ маломъ видѣ и въ кругу совершенно частныхъ сношеній. Я разумѣю переписку Сперанскаго съ Теофилактомъ,

(*) Explication des maximes des saints sur la vie intérieure.

(**) Диспутъ между Боссюэтомъ и Фенелономъ подробно и обстоятельно изложенъ въ книгѣ: Histoire de Fénelon, par le cardinal de Bausset (4 тома, 1850).

архіепископомъ калужскимъ (*). Содержаніе ихъ письменной бесѣды относилось къ понятію объ истинномъ, внутреннемъ христіанствѣ, къ степени христіанскаго совершенства на землѣ, къ духовному разуму, какъ орудію при усвоеніи вещей духовныхъ, ко вѣнней и внутренней церкви, къ чистой любви, къ пастырскому слову, какимъ оно было въ то время и какимъ оно быть долженствуетъ, наконецъ къ Фенелону, Эккартегаузену и Гюйонъ, съ которыми писавшій короче знакомилъ своего собесѣдника, до тѣхъ поръ слегка знавшаго, какъ онъ самъ сознавался, сочиненія Фенелона, а потомъ увидавшаго въ нихъ тайникъ благодати. Сперанскій, какъ сказано выше, былъ недоволенъ полемическимъ настроеніемъ современныхъ проповѣдей; Теофилактъ доказывалъ, что полемика необходима для защиты религіи отъ деистовъ, ибо церковь не даромъ носитъ названіе «воинствующей». Второе разногласіе касалось участія разума въ дѣлахъ вѣры: Теофилактъ отстаивалъ права этой способности; Сперанскій признавалъ его силу только для изслѣдованій въ мірѣ физическомъ, а не въ мірѣ духовномъ, у котораго свой собственный разумъ, называемый вѣрою. Далѣе, въ противоположность ученію Гюйонъ, «объятой безуміемъ духовности», Теофилактъ думалъ, что здѣсь на землѣ любовь безкорыстная, чистая, безъ надежды и страха, невозможна; Сперанскій отвѣчаетъ ему такимъ сужденіемъ: «Если бы люди простѣ понимали Св. писаніе и менѣе его толковали, то одно прочтеніе первой заповѣди Моисеевой и евангельской довело бы къ совершенному ихъ въ сеѣ истинѣ убѣжденію: возлюбилши Господа твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, всею мыслію твоею, всѣмъ помышленіемъ твоимъ.—Если по слову сему любовь наша къ Богу обыметъ такимъ образомъ всѣ способности наши, то чѣмъ же любить мы будемъ что-либо другое, кромѣ Его? Чѣмъ, какою способностію души будемъ мы желать собственнаго, личнаго счастья? Мы не имѣемъ ни двухъ сердець, ни двухъ душъ, ни двухъ силъ размышленія. Если же, что мы имѣемъ, поглощено будетъ въ любви Божіей, то что останется для любви къ міру и самимъ себѣ? Ничего; слѣдовательно не иначе можемъ мы любить себя и міръ, какъ удѣляя, похищая часть нашихъ способностей отъ любви Божіей, какъ преступая еію первую и важнѣйшую заповѣдь (**).»

Изложеніе главнаго догмата мистики — догмата о возрожденіи человѣка, внутренняго пути къ нему ведущаго и духовныхъ плодовъ, имъ достигаемыхъ, не смотря на полноту и подробность, не свободно отъ одного недостатка. Оно возбуждаетъ своего рода недоумѣніе касательно того, какъ смотритъ мистикъ на то совершенство, которое обозначаетъ разными названіями, почерпнутыми болышею частію изъ Священнаго писанія, а иногда имъ самимъ придуманными—соединеніе души съ Богомъ, рожденіе въ ней Слова, обожествленіе, Христосъ въ насъ, царство Божіе внутри насъ и проч.: видитъ ли онъ въ этомъ совершенствѣ только идеаль, къ которому человѣкъ долженъ стремиться, но осуществленіе котораго предстоить въ будущей жизни, или нѣчто такое, что можетъ быть осуществлено еще на землѣ? Причина недоумѣнія заключается преимущественно въ экстазѣ нѣкоторыхъ мистическихъ писателей, а экстазу подчинился самый способъ выраженія: какъ въ представленіи, такъ и на языкѣ человѣка восторженнаго идеальное стремленіе къ цѣли сливается съ ея достиженіемъ, предметъ, къ которому суждено только приближаться, съ полнымъ обладаніемъ этимъ

(*) Въ память Сперанскаго. — Всѣхъ писемъ Сперанскаго 15; изъ писемъ Теофилакта помѣщено только два.

(**) Въ память Сперанскаго, стр. 393—394, въ выносѣхъ.

предметомъ. А что экстазь играетъ здѣсь весьма значительную роль, это ясно изъ того, что онъ былъ поставленъ какъ средство для соединенія съ высшимъ благомъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно сличить приведенное выше извлеченіе изъ первой главы Таинственнаго богословія Ареопагита (что есть божественный мракъ?) или слова Исаака Сирина съ описаніемъ вдохновеннаго состоянія, по ученію Плотина (*).

Указаніе на то, какъ приличіе разрѣшать сказанное недоумѣніе, находимъ въ свидѣтельствахъ подвижниковъ-созерцателей. Вотъ конечные плоды безмолвія и молитвы, по изображенію иноковъ Каллиста и Игнатія: «безстрастіе, воскресеніе души прежде тѣла, по образу и подобію дѣяніемъ и видѣніемъ, вѣрою и надеждою и любовію возображеніе, и возвращеніе, и совершенное къ Богу горѣ простертіе, и непосредственное единеніе, изступленіе и почитіе, престаніе въ настоящемъ убо, яко въ зеркалѣ, въ гаданіи и обрученіи, въ будущемъ же лицу къ лицу, и совершенное совершеннѣ Божіе причастіе, и присносущнѣ наслажденіе» (**). И такъ здѣсь, на землѣ, согласно съ ученіемъ апостола Павла—зерцало и гаданіе, въ будущей же жизни—лицезрѣніе Бога, совершенное Ему причастіе и нескончаемое блаженство. По мысли Сперанскаго, начало и устанавленіе въ насъ царствія Божія равно возможно и дѣйствительно, какъ въ земной организаціи, такъ и въ будущей; но въ послѣдней предстоить наслажденіе царствіемъ, полнота и совершеніе всѣхъ обѣтовъ, великая суббота, а уже не исканіе, не трудъ, не работа надъ волею, не истребленіе самолюбія (***). Позднѣ писалъ онъ слѣдующее: «Тайна искупленія нашего состоитъ въ преложеніи душевнаго въ духовнаго, въ преобоженіи, которое начинается въ сей самой жизни и совершается въ вѣчности. Бытіе міра сего есть эпизода въ великомъ дѣлѣ творенія,—эпизода необходимая, но не цѣль и не конецъ поэмы» (****). Другой взглядъ приводитъ къ отважнымъ и опаснымъ толкованіямъ, и обращаетъ мистику въ мистицизмъ. Отсюда являются фальшивыя вѣрованія и странныя мечтанія; увеличенное понятіе о совершенствѣ возрожденнаго сообщаетъ послѣднему какую-то магическую силу, которая выражается въ видѣніяхъ, откровеніяхъ, предсказаніяхъ и исцѣленіяхъ. Такой точкѣ зрѣнія не чужды были Лабзинъ, охотно помѣщавшій въ своемъ журналѣ извѣстія и рассказы о разныхъ чудесахъ, за что упрекали его благоразумные люди мистико-религіознаго направленія, хотя съ другой стороны и отдавали справедливость его большой даровитости, умѣнью излагать отвлеченные предметы и языку, который, сохраняя серьезность и точность научнаго изложенія, представлялъ еще извѣстный патетизмъ, силу и весьма часто рѣзкость. Но такъ или иначе смотрѣли мистики на степень духовнаго совершенства, въ одномъ они всѣ согласны между собою: всѣ они признаютъ высокую важность возрожденія, единственно въ немъ полагаютъ сущность христіанства и сущесгвенный долгъ христіанской жизни. Возрожденіемъ образуется царское священство, народъ святой, избранный народъ Божій, назначенный къ вѣчной жизни (*****). Оно есть достопамятная эпоха, съ которой начинается эра. Какъ христіанскіе народы ведутъ свое лѣтосчисленіе отъ Р. Х., такъ и внутренніе, истинно-духовные христіане, т. е. возрожденные и возрождаемые,

(*) Философія Плотина, соч. М. Владиславлева (1868), стр. 214—215.

(**) Доброт. 11, г. 129.

(***) Въ память Сперанскаго. Письмо къ Теофилактѣ, 1805, стр. 395.

(****) Письмо къ Броневскому (ib. стр. 487).

(*****). С. В. 1818, іюнь, стр. 305—306.

должны считать время своей жизни отъ воплощенія въ нихъ Христова (*). Жизнь такихъ христіанъ есть постоянное хожденіе предъ Богомъ, какъ ходили Енохъ, Авраамъ, Моисей, Ілія. Потому-то нашими мистиками было издано нѣсколько переводныхъ книгъ на эту тему: «Образъ житія Енохова, или родъ и способъ хожденія съ Богомъ», сочиненіе англійскаго богослова Іосифа (1784); «Присутствіе Божіе», соч. Дю-Туа, (1798) (**); «Письма о томъ, сколь нужно и полезно всегда помнить о присутствіи вездѣущаго и всевидящаго Бога» (2-ое изд. 1813); «Хожденіе предъ Богомъ или жизнь брата А....» (1821)», съ эпиграфомъ: предзрѣхъ Господа предо мною выну (Пс. XV, 8) (***).

Обращаясь къ другимъ положеніямъ мистики. Всѣ они имѣютъ значеніе второстепенныхъ въ томъ смыслѣ, что непосредственно или посредственно вытекаютъ изъ основнаго догмата.

Если истинное христіанство состоитъ въ воссоединеніи съ Богомъ, если истинное поклоненіе Ему есть поклоненіе духомъ и истиной, если истинные христіане суть только христіане внутренніе, живущіе единою со Христомъ жизнью, то отсюда слѣдуетъ, что соединеніе церквей не иначе можетъ быть достигнуто, какъ только соединеніемъ вѣрующихъ со Христомъ и духомъ Его. Тогда не будетъ никакихъ особенныхъ вѣроисповѣданій, никакихъ особенныхъ религіозныхъ сектъ или школъ. Такое рѣшеніе вопроса и предлагается статьею Сіонскаго Вѣстника: «О раздѣленіяхъ между христіанами» (****). Такъ какъ эти раздѣленія обусловлены различіемъ нѣкоторыхъ догматовъ, то авторъ статьи и говоритъ: «Мы не найдемъ у Спасителя никакихъ толковъ о догматахъ, а однѣ практическія аксіомы, поучающія, что дѣлать и чего удаляться, и возвѣщающія смерть плотскому мудрованію разума и злой волѣ, или собственной жизни человѣка.... Первымъ основаніемъ просвѣщенія, или истиннаго христіанства, поставилъ Онъ истинную переменъ сердца и самоотверженіе. Въ первоначальной церкви не начинали дѣла на изворотъ, не думали дѣлать людей сперва учеными и искусными рассказчиками, а потомъ уже благонравными и вѣрующими христіанами; ибо не разумъ доставляетъ истинное познаніе божественныхъ таинъ, а духъ Истины, котораго міръ, доколѣ будетъ міромъ, принять не можетъ.... Правовѣрный лишь тотъ, кто имѣетъ токмо Христа своимъ предметомъ.... Въ Св. Писаніи мы вовсе не видимъ никакихъ условій со стороны понятій о вещахъ божественныхъ... Христосъ не требовалъ, чтобы всѣ *право мыслили*, но чтобы *право поступали*». Лабзинъ, согласно съ Штиллиномъ, которому, какъ мы видѣли, онъ и слѣдовалъ въ своей статьѣ, дѣлитъ церковь на видимую, или церковь званыхъ, изъ всякаго рода христіанъ состоящую, и на невидимую, или церковь христіанъ избранныхъ (внутреннихъ). «Въ спорахъ о церквахъ» (т. е. о раздѣленіи христіанъ по христіанскимъ вѣроисповѣданіямъ), замѣчаетъ онъ, «дѣло идетъ объ одной видимой церкви. И сей-то низшій классъ—собственно едва оглашенныхъ—многочисленностью своею хочетъ подавить классъ вышній! думаетъ и утверждаетъ, что кромѣ ихъ сословія нѣтъ истинной церкви, ни Богу угоднаго человѣка; что ими утвержденныя мнѣнія суть единственныя основанія спасающей вѣры и что Богъ ни въ комъ не можетъ возста-

(*) Ib. 1818, январь, стр. 4.

(**) 2-ое изд. 1810, 3-ье—1817.

(***) Вторая и третья книги переведены Долухинимъ.

(****) 1817, октябрь.

вить образа Своего, не сдѣлавъ челоуѣка того ихъ секты—или католикомъ, или лютераниномъ, или реформаторомъ, и проч.» Кромѣ этой статьи, въ журналѣ помѣщенъ переводъ проповѣди французскаго священника Дельбеля: «О союзѣ Бога съ челоуѣкомъ» (*), сказанной въ Парижѣ, во время революціи. Проповѣдникъ также называетъ наружныхъ (внѣшнихъ) христіанъ толпою, имѣющею видъ и наказаніе грѣха, и уподобляетъ ее Іову на гноищѣ.

Если духовно-возрожденные живутъ уже не сами, а живетъ въ нихъ Христосъ, то и молитвенный домъ ихъ внутри ихъ сердца. Отсюда понятіе о внутренней церкви, нѣкоторыя черты которой представилъ Лопухинъ въ своей книгѣ, пользовавшейся нѣкогда отмыннымъ уваженіемъ не только у нашихъ мистиковъ, но и за границей (**). Внутреннее святилище этого внутренняго храма доступно только «малому элемскому собору избранныхъ» (***). Лопухинъ не отвергаетъ, впрочемъ, символовъ и обрядовъ внѣшней церкви: онъ находитъ ихъ достойными уваженія по ихъ происхожденію и предмету, такъ какъ «многіе изъ нихъ образуютъ божественныя таинства, будучи заимствованы отъ образа сокровенныхъ дѣйствій Божіихъ въ челоуѣческой душѣ, въ духовномъ тѣлѣ церкви Христовой и въ самой натурѣ». Онъ только не придаетъ имъ, какъ видно, внутренней силы. Гдѣ же та община, то собраніе вѣрующихъ, которымъ осуществлялась и осуществляется эта внутренняя церковь? Отвѣтъ на вопросъ дается Штиллиномъ въ «Побѣдной повѣсти» (****). По его толкованію, истинная церковь, иначе «духовный Израиль», началась на востокѣ Павлікіанами (VІІ в.), продолжалась Вальденцами и Альбигойцами (XІІ в.), а теперь находится въ обществѣ Моравскихъ братьевъ или такъ называемой Гернгутерской братской церкви. Это, объясняетъ нѣмецкій мистикъ-мечтатель, и есть Оіатирская церковь—апокалипсическая жена, облеченная въ солнце. Всѣ христіане, изъ духовной Оіатиры,

(*) С. В. 1818, январь.

(**) Нѣкоторыя черты внутренней церкви (3 изданія: 1798, 1801, 1816). Эпиграфомъ служатъ 21 и 23 стихи IV главы Евангелія отъ Іоанна. Франц. переводъ въ Петербургѣ (1799) и въ Парижѣ (1801). Нѣмецкій переводъ Эвальда (1803—1804) нап. въ періодическомъ изданіи: *Christliche Monatsschrift*, а отдѣльно изданъ въ Нюренбергѣ (1809). Эккартсгаузенъ назвалъ эту книгу драгоценною и исполненною истинной мудрости.

(***) Что и изображено на виньеткѣ, объясненной во 2-й главѣ (Описаніе церкви во образѣ храма).

(****) Побѣдная повѣсть или торжество вѣры христіанской (1815). Предметъ этого сочиненія—толкованіе Апокалипсиса, по поводу книги прелата Бенгеля: *Cyclus oder Sonderbare Betrachtung des grössen Weltjahrs* (1745). Штиллингъ имѣлъ цѣлю, во-первыхъ, остеречь истинныхъ читателей Христа отъ скорыхъ и незрѣлыхъ сужденій о происшествіяхъ нашего времени, къ которымъ могутъ примѣняться нѣкоторыя изображенія въ Апокалипсисѣ, и показать имъ надлежащее употребленіе этой святой книги; во-вторыхъ, защитить Бенгелеву систему отъ разномыслія и современнымъ христіанамъ проложить путь къ лучшему прозрѣнію высочайшаго новозавѣтнаго пророчества и къ подкрѣпленію вѣры, сильно нуждающейся въ подпорѣ. Русскій переводъ—вольный. Переводчикъ (Лабзинъ), сохраняя мысли автора, избѣгалъ повтореній, сокращалъ многое, иногда переносилъ сказанное въ подлинникѣ изъ одного мѣста въ другое и старался быть болѣе понятнымъ и нескучнымъ. «Вообще, говоритъ онъ, имѣя въ виду соотечественниковъ, согласовался съ тѣмъ и въ образѣ мыслей своего перевода, и вездѣ, гдѣ сказано у насъ, разумѣлъ то о русскихъ, о Россіи». Важнѣйшій пунктъ въ толкованіяхъ Штиллинга тотъ, что апокалипсическіе счеты приходятся между 1800 и 1836 гг. и что, вѣроятно, въ 1836-мъ, не позже, будетъ послѣдняя брань съ апокалипсическимъ звѣремъ ко вреду его и начнется царствіе Божіе на землѣ. «Побѣдная повѣсть» пользовалась чрезвычайнымъ уваженіемъ въ Германіи; одни изъ читателей ея въ апокалипсическомъ звѣрѣ видѣли папу, согласно со взглядомъ автора, другіе же—Наполеона, согласно съ тогдашними политическими обстоятельствами (*Mémoires politiques de J. de Maistre*, 1859, стр. 352—353).

соберутся въ одинъ союзъ—въ церковь Филаделфійскую (братолюбскую). Филаделфійцы устроятъ новый Иерусалимъ, новое гражданство и царство Божіе, которое будетъ теократическое (богоначальственное), или царесвященство (*). Лабзинъ также питалъ особенное уваженіе къ геригутерамъ, какъ видно изъ дополненія къ одной статьѣ Сіонскаго Вѣстника (**). Что же касается внѣшняго богослуженія, то онъ не отвергалъ его безусловно, но находилъ полезнымъ лишь тогда, когда оно животворится Духомъ (***). Толки журнала о внутренней и внѣшней церкви вмѣстѣ съ извѣстіями о другихъ, можетъ быть болѣе крайнихъ взглядахъ его издателя, возбуждали неудовольствіе Сперанскаго, которое и выражено имъ въ двухъ письмахъ, относящихся къ одному и тому же времени (26 іюня 1818). Въ одномъ изъ нихъ онъ говоритъ: «Если бы г. Лабзинъ зналъ и проповѣдовалъ сію (умную) молитву, то никогда не возмечталъ бы онъ созидать новый храмъ духовный: ибо онъ зналъ бы тогда, что храмъ сей и основанъ, и созданъ, и усовершенъ уже безъ насъ единымъ Господомъ нашимъ І. Христомъ», а въ другомъ: «Не могу представить себѣ, чтобы Лабзинъ сдѣлался иконоборцемъ. Его еще и при мнѣ подозрѣвали въ какихъ-то сокровенностяхъ, но я думалъ и теперь думаю, что онъ самъ распустилъ эти слухи по свойственному ему самолюбію и чванливости» (****).

Изъ ученія о возрожденіи вытекаетъ понятіе мистиковъ о нравственности. Принципомъ ея служить соединенный съ Богомъ духъ, для котораго поэтому добродѣтель сдѣлалась сущностью. Возрожденный необходимо творить благія дѣла, такъ какъ они суть непосредственныя дѣйствія пребывающаго въ немъ Христова Духа; онъ творитъ ихъ безъ борьбы и безъ выбора. Онъ желаетъ лишь того, что угодно Богу, а Богъ есть высочайшее благо. Что прежде было ему бременемъ, то, по возрожденіи, обращается для него въ свободное отпращиваніе. Всѣ добродѣтели заключены въ немъ, какъ въ существѣ гармоническомъ, и обнаруживаются безпрепятственно, не такъ какъ въ другихъ, невозрожденныхъ людяхъ, которые иногда являются нравственными, а иногда безнравственными. Внимая говорящему въ немъ Слову, онъ уже не способенъ заблуждаться, не можетъ грѣшить (*****). Сѣмя грѣха попрано благословеннымъ сѣменемъ жены; пребывая всегда во Христѣ, онъ, по слову Іоанна Богослова, не согрѣшаетъ (1 Іоан. гл. 3, ст. 6, 9) (*****). Внѣшній законъ для него болѣе не существуетъ: законъ начертанъ въ немъ самомъ, внутренній, исполняемый свободно и радостно: «Живя по заповѣдямъ Божиимъ, онъ живетъ уже не подъ закономъ, но превыше закона. Заповѣдь Божія, говорящая ему отъиѣ, въ Писаніи или индѣ гдѣ нибудь, уже не возстаетъ противъ него, но требуетъ того, чего онъ самъ охотно желаетъ, запрещаетъ то, что теперь противно его природѣ, и потому буква закона сдѣ-

(*) Ib. стр. 45, 51, 169.

(**) Да исправится молитва моя, яко кадило предъ тобою (1806, мартъ, стр. 369—370).

(***) О союзѣ внѣшняго богослуженія съ внутреннимъ (С. В. 1818, январь).

(****) Оба письма писаны изъ Пензы въ Петербургъ: первое къ Цейеру, второе къ Столыпину (Рус. Архивъ 1870, стр. 197—198, и 1871, стр. 437—438). Замѣтимъ, что отзывъ Сперанскаго нуждается въ некоторомъ ограниченіи. Для читателей Сіонскаго Вѣстника не подлежало сомнѣнію, что Лабзинъ не только зналъ, въ чемъ состоитъ «умная» молитва, но и проповѣдывалъ ее во многихъ статьяхъ своего изданія. Другое дѣло—нравственные недостатки Лабзина: здѣсь мнѣніе Сперанскаго можетъ быть подтверждено и другими свидѣтельствами.

(*****) Eckhardt, v. Lasson (266—271); *Témoignage d'un enfant de la vérité* (1739).

(*****) Мысли на досугѣ поучающагося истинамъ зѣры.

далась живымъ, духовнымъ закономъ, и слѣдовательно исполненнымъ» (*). Мыслию о внутреннемъ владычествѣ въ насъ Бога и о совершеніи Имъ самимъ добрыхъ дѣлъ къ жизни возрожденнаго и объясняются вышеприведенныя слова Сіонскаго Вѣстника: «не добрыя и благочестивыя дѣла (т. е. отдѣльныя, случайныя) дѣлають человѣка добрымъ и благочестивымъ, а добрый и благочестивый человѣкъ дѣлаеть (т. е. постоянно и необходимо) добрыя и благочестивыя дѣла». И въ другомъ мѣстѣ: «весь человѣкъ перемѣняется: не обращается онъ къ той или другой добродѣтели, но все добродѣтели овладѣвають сердцемъ его, и обладающія чувствованія въ немъ будутъ одиѣ добродѣтели; не принуждаеть себя къ благодѣванію, а возлюбаеть всякое благо; не перемѣняется мало по малу, но отрекается всѣхъ грѣховъ безъ изъятія» (**). Такой взглядъ на нравственность, какъ выводъ изъ понятія о внутреннемъ союзѣ человѣка съ Богомъ, породилъ въ квіетизмѣ Молиноса дикое и опаснѣйшее положеніе, состоящее въ слѣдующемъ: «Такъ какъ воля предана Богу вмѣстѣ съ попеченіемъ о душѣ, то не должно беспокоиться объ искушеніяхъ и заботиться о положительномъ сопротивленіи онымъ. Представленія и образы, испытываемыя тогда чувственною частію души, совершенно чужды высшей ея части. Человѣкъ уже не отвѣчаетъ за самыя постыдныя дѣйствія, ибо тѣло его можетъ стать орудіемъ демона, тогда какъ душа, тѣсно соединенная съ Богомъ, никакого участія не принимаетъ въ томъ, что происходитъ въ плоти» (***). То есть: для совершеннаго, обожествленнаго человѣка всякое внѣшнее дѣйствіе и стремленіе безразличны и самый грѣхъ не есть уже грѣхъ.

Первоначальное развитіе мистики опредѣлилось духовной индивидуальностью христіанъ, изучавшихъ Священное писаніе. Смотри по тому, какая способность преобладала у каждаго изъ нихъ—разсудокъ или чувство и воображеніе—они или принимали слово Божіе съ вѣрою, не думая о чемъ-либо дальнѣйшемъ, болѣе глубокомъ, сокровенномъ, или, принимая съ вѣрою, не ограничивались простымъ знаніемъ, а испытывали на себѣ его силу. Опыты, какъ дѣйствія усвоеннаго ученія, становились для испытывающаго внутренними, духовными фактами, своего рода откровеніями, столь же истинными и несомнѣнными, какъ и чувственныя воспріятія извнѣ. Этотъ опытный путь издавна получилъ названіе мистическаго, въ отличіе отъ другаго, который останавливается на общемъ вѣроученіи и нравственномъ поведеніи, безъ мысли о плѣстномъ образованіи человѣка, о внутреннемъ его обновленіи или перерожденіи. Въ послѣдствіи, просвѣщеніе, добываемое собственной практикой, собственными внутренними откровеніями многіе поставили рядомъ съ Священнымъ писаніемъ, вмѣсто того, чтобы подкрѣплять имъ богодухновенное слово, какъ непреложное основаніе религіозныхъ истинъ и правилъ. На дальнѣйшемъ пути, когда установился мистическій догматъ обожествленія человѣка, значеніе внутренняго вѣдѣнія еще болѣе усилилось. Душа возрожденнаго состоитъ въ непосредственномъ общеніи съ ея Творцемъ. Это общеніе и есть, по ученію мистиковъ, собственно откровеніе, иначе внутренній свѣтъ, высшій, надежнѣйшій источникъ богопознанія. Посему исторія откровенія рассматри-

(*) Хр. Чт. 1822, ч. 5, въ ст.: Назидательныя мысли.

(**) 1806, августъ, стр. 200, и іюнь, стр. 258—259.

(***) Histoire de Fénelon, par Bausset, т. 1.

вается мистиками не какъ отдѣльный, единожды совершившійся фактъ, но какъ непрерываемый процессъ: оно всегда было, всегда есть, всегда будетъ (*). Въ этомъ исконномъ и непрерывномъ откровеніи различается нѣсколько періодовъ: языческіе мудрецы смотрѣли на натуру видимаго міра и оттуда получали просвѣщеніе; израильскіе мудрецы смотрѣли духомъ вѣры на обѣщанное Слово Божіе, и отъ Него имѣли свѣтъ; христіанскіе мудрецы смотрятъ на живущее въ нихъ Слово Божіе вочеловѣчившееся, и отъ Него учатся (**). Въ статьѣ Сіонскаго Вѣстника «о чтеніи духовныхъ книгъ» (***) читаемъ слѣдующее: «Иисусъ Христосъ въ Богѣ, отецъ всѣхъ, есть надъ всѣми и сверхъ всѣхъ и во всѣхъ насъ, и у каждаго человѣка находится въ совѣсти. Объ немъ Духъ Святый какъ въ ветхомъ заветѣ, чрезъ Моисея, такъ и въ новомъ чрезъ апостола Павла засвидѣтельствовалъ, что ко Христу не нужно ходить ни на небо, ни въ бездну, но у каждаго человѣка близъ есть въ сердцѣ и во устахъ Слово Божіе, которое вочеловѣчилось и есть Христосъ Божій». Конечно, по сочувствію, Лабзинъ помѣстилъ въ своемъ журналѣ «догматы англійскихъ и американскихъ квакеровъ» (****). Второй, третій и четвертый догматы излагаютъ ученіе о внутреннемъ откровеніи, или внутреннемъ Словѣ, противопоставляя ему слово внѣшнее, т. е. Священное писаніе, и ставя первое выше втораго, которое (какъ гласитъ 2-ой догматъ) «не приводитъ человѣка ко спасенію, ибо буквы и начертанныя слова, какъ вещи неодушевленные, не могутъ имѣть силы просвѣщать сердца человѣческія и соединять ихъ съ Богомъ. Священные книги приносятъ только ту пользу читающему, что возбуждаютъ и наставляютъ сердце его внимать внутреннему Слову и приготавливаютъ оное къ принятію ученія, внутри Христомъ преподаваемаго, или, что все одно: Священное писаніе есть нѣмый наставникъ, указующій знаками на живаго учителя, обитающаго въ сердцѣ». Люди, лишенные писаннаго слова, лишены только нѣкотораго средства и пути ко спасенію, а не самаго ученія, ибо если они обратятъ вниманіе свое ко внутреннему Наставнику, Учителю и Слову, то отъ Него обильно могутъ почерпнуть все нужное (догматъ 3-й). И потому церковь Иисуса Христа безпредѣльна: она заключаетъ въ себѣ весь родъ человѣческій, такъ какъ всѣ смертные имѣютъ въ сердцѣ своемъ Христа, и чрезъ Него въ какой бы грубости и невѣдѣніи христіанскаго закона ни обрѣтались, могутъ быть и въ сей и въ будущей жизни блаженными (догматъ 4-ый). Въ смыслѣ этихъ догматовъ однимъ мистикомъ истолковано Посланіе апостола Павла къ Римлянамъ. Въ заключеніи толковникъ объясняетъ, что ученіе христіанской религіи есть вдохновенное Духомъ Божіимъ и преданное письму свидѣтельство о томъ, что произвелъ этотъ Духъ во всѣ времена и во всѣхъ людяхъ, отъ Адама до насъ, которые восхотѣли принять Его въ свое сердце; ибо о всѣхъ людяхъ сказано: вы родъ суще Божій (Дѣян. XVII, 28—29), т. е. Богъ есть общій отецъ всѣхъ, а у отца одинаковая любовь къ чадамъ, хотя, по различному расположенію сыновнихъ сердецъ, однимъ Онъ откры-

(*) Engelhardt: Die angeblichen Schriften des Areopagiten Dionysius.—Lasson: Meister Eckhart.

(**) Письма Гамалѣи, кн. 2, стр. 106.

(***) Замѣчательно, что эта статья почему-то дважды появилась въ журналѣ: въ іюньской книжкѣ 1806 г. и сокращенно, подъ заглавіемъ: «о чтенія книгъ», въ августовской 1817-го. Надобно думать, что Лабзинъ придавалъ ей особенную цѣну.

(****) С. В. 1817, декабрь, стр. 413—417. Догматы квакеровъ изложены были еще въ «Покоряемъя трудолюбцы» (1784—85, ч. 3).

вается больше, другимъ меньше (*). Сень-Мартенъ (неизвѣстный философъ), авторъ знаменитой нѣкогда книги «о заблужденіяхъ и истинахъ» (**), еще отважнѣе въ своемъ взглядѣ, по которому священныя книги представляютъ краснорѣчивѣйшій и вѣрнѣйшій переводъ внутренняго откровенія, непосредственно исходящаго отъ Бога. До появленія своего въ формѣ видимой онѣ существовали въ душѣ человѣка въ формѣ духовной; онѣ вытекли изъ нашей природы; мы ихъ находимъ внутри насъ самихъ. Все народы имѣютъ письменные памятники этого рода, но несравненное, превосходство нашихъ, христіанскихъ, состоитъ въ полномъ ихъ соотвѣтствіи божественному тексту, внутри насъ начертанному (***).

Вообще историческому знанію христіанства мистика не дастъ большой важности. Праведный христіанинъ не тотъ, кто довольствуется этимъ знаніемъ, т. е. признаетъ Христа и вѣруетъ, что онъ примирилъ насъ съ Богомъ; ибо извнѣ присвоенная правда ни къ чему не служитъ, а потребна врожденная въ насъ дѣтская правда (****). Уклоняясь мало по малу отъ положительныхъ свидѣтельствъ Св. писанія, мистики измѣнили ихъ по своимъ внутреннимъ чувствамъ и возрѣніямъ до того, что Христосъ Евангелія какъ бы заслонился для нихъ Христомъ внутреннимъ, пребывающимъ въ душѣ каждаго человѣка, гдѣ Онъ изрекаетъ свои глаголы и дѣйствуетъ. Ученіе квакеровъ чуждо Христа «внѣ сущаго» и многіе изъ нихъ даже всю исторію о воплощенномъ Сынѣ Божіемъ почитаютъ аллегорическимъ сказаніемъ о Христѣ внутреннемъ (*****).

Съ своимъ принципомъ внутренняго опыта мистика ставитъ себя въ независимость отъ внѣшняго авторитета. По ея ученію, вѣра есть непосредственно дѣйствующая божественная жизнь въ вѣрующемъ, и потому посредствующія силы церковнаго ученія и преданія занимаютъ, въ мистической доктринѣ, второстепенное мѣсто. Мы уже знакомы съ понятіями нашихъ мистиковъ о внутренней церкви. Присоединимъ къ тому выраженную въ одномъ мѣстѣ Сіонскаго Вѣстника мысль о томъ, что человѣку для достиженія цѣли его земной жизни, т. е. для соединенія съ Богомъ, нѣтъ надобности ни въ какомъ внѣшнемъ посредствѣ: «Сынъ Божій ко всемъ сказываетъ: прійдите ко Мнѣ все труждающіеся и обремененные, и Я упокою васъ, а о ходатайствѣ никакъ и ничѣмъ не упоминаетъ; ибо ходатайство человѣческимъ разумомъ выдуманно: въ Священномъ же писаніи нигдѣ—ни въ ветхомъ, ни въ новомъ заветѣ—о немъ ни слова нѣтъ» (*****).

Къ монастырской жизни мистики относятся неблагоклонно, хотя, какъ мы видѣли, они много заимствовали изъ писаній подвижниковъ. Діонисій Ареопагитъ отводитъ мона-

(*) *Témoignage d'un enfant de la vérité et droiture des voies de l'Esprit ou Explication mystique et literale de l'Eptre aux Romains* (1739).

(**) Рус. переводъ 1785.

(***) Franck: *La philosophie mystique en France à la fin du XVIII-e siècle* (1866), стр. 96—97.

(****) *Путь ко Христу*, Бема, пер. Лабзина (1815), стр. 240.

(*****) Покоящийся трудолюбецъ, изд. Новикова (1784—85), ч. 3. Помѣстивъ статью «о квакерахъ», сокращенно перепечатанную потомъ Лабзинимъ въ Сіонскомъ Вѣстникѣ, издатель (Новиковъ) замѣчаетъ, что ученіе квакеровъ, по наружности кажущееся новымъ, нѣ самомъ дѣлѣ не таково; оно есть не что иное, какъ древняя «тайнственная богословія», бывшая извѣстною уже во 2-мъ вѣкѣ и распространенная Оригеномъ, и что основатель квакерской секты (Фоксъ) почерпнулъ ученіе о Словѣ или внутреннемъ свѣтѣ, безъ сомнѣнія, изъ книгъ тайно-сказателей, или изустно отъ кого-либо предавагося тайномудрію.

(******) С. В. 1806, іюнь, стр. 286.

шеству низшую ступень въ церковной іерархіи (*). Никита Стифать, монахъ и пресвитерь Студійской обители (XI в.), отвергаетъ ученіе, по которому будто невозможно пріобрѣсти добродѣтель безъ ѳѣгства въ пустыню: «Навыкъ къ добродѣтели», говоритъ онъ, «есть возстановленіе силъ душевныхъ въ древнее благородство и собраніе первѣйшихъ добродѣтей въ дѣйство еже по естеству... Если, по гласу Господню, царствіе Божіе внутри насъ, то пустыня есть вещь излишняя... Покаяніе и храненіе заповѣдей можетъ быть на всякомъ мѣстѣ владычества Божія... Быть инокомъ не значить быть внѣ человѣкъ и міра, но отречься себѣ, быть внѣ похотей плоти, пойти въ пустыню страстей» (**). Благочестіе есть чистѣйшій источникъ чистѣйшаго веселія: можетъ ли оно состоять въ пессимномъ самомученіи, въ жестокомъ изнуреніи тѣла, въ пустынномъ отдаленіи отъ міра, въ печальномъ отреченіи отъ всего, что способствуетъ бодрости и радости? Ни Богъ, ни Іисусъ Христосъ, ни природа не представляютъ благочестиваго человѣка въ такомъ печально-сумрачномъ видѣ, въ какомъ онъ является по представленію нѣкоторыхъ богослововъ (***). Статія Сіонскаго Вѣстника: «о чтеніи духовныхъ книгъ», подкрѣпивъ себя авторитетомъ митрополита Платона (****), выступила съ рѣзкой выходкой противъ стремленія къ отшельнической жизни: «обыкновенно за наилучшее почитаютъ оставить все, кромѣ себя и воли своей и удалиться въ монастырь, и тамъ мучить себя паружнымъ постомъ, поклонами, власяницами, веригами и прочимъ сему подобнымъ паружнымъ, не думая при томъ о внутренней борьбѣ съ мыслями, объ оставленіи и преломленіи своей воли, о воздержаніи языка, и не имѣя понятія о внутреннемъ человѣкѣ, живущемъ вѣрою, надеждою и любовью къ Богу и ко всѣмъ человѣкамъ; но единственно паружными дѣлами забавляютъ себя и, смотря по достатку своему, или образа украшаютъ, или ризы и прочую утварь церковную отъ себя дѣлаютъ, или и колокола льютъ, и церкви каменные и деревянные строятъ, думая, что за все то, яко за добрыя дѣла, наслѣдуютъ рай на небѣ... Тогда еще не было монастырей, когда помѣщики—Ной, Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ, Іовъ, и пр. и пр.—угодили Богу (*****).

Священное Писаніе дано человѣку не для простаго знакомства съ его содержаниемъ, но для спасительнаго по немъ дѣйствованія. Читая его, надобно помнить слова Бернара, что не чтеніемъ восхищается (пріобрѣтается) Богъ, а послѣдованіемъ ему въ жизни. Одно знаніе фактовъ и правилъ христіанства мало служить на потребу души. Если книги ветхаго и новаго завета изображаютъ процессъ возрожденія, если всѣ ихъ изреченія и сказанія свидѣтельствуютъ, какъ выше сказано, о томъ, что искони Духъ Божій производилъ въ людяхъ, искавшихъ соединенія съ Богомъ, то каждому христіанину, чтобы возродиться, необходимо пережить тотъ же самый процессъ. Все Священное Писаніе должно духовно совершиться въ немъ, силою

(*) Вл. 8-мъ посланіи.

(**) Доброт. IV, лл. 63 и 64.

(***) Гарвоода радостныя мысли о блаженствѣ благочестивой жизни, пер. съ нѣм. (1783).

(****) Изъ Краткой церковной россійской исторіи, Платона (по 1-му изданію 1805 г.), цитируются слѣдующія строки: «Не угодишь ли Богу помянуть одну невинную душу, нежели построить нѣсколько церквей? Многія причиненныя разоренія и убійства могла ли прикрыть монашеская ряса? И безъ постриженія, всякій христіанинъ обязывается по Евангелію отречься самого себя: то тѣмъ самымъ долженъ онъ отречься честолюбія, корыстолюбія, колымъ паче съ обидою другихъ (ч. I, стр. 127).

(*****). С. В. 1806, іюнь, стр. 279—284.

вѣры (*). Кто захочетъ найти его въ себѣ, тотъ несомнѣнно найдетъ, ибо что было есть и будетъ въ семъ великомъ мірѣ, то все было, есть и будетъ въ маломъ мірѣ (**). Это внутреннее пережитіе даннаго намъ божественнаго откровенія наиболѣе важно по отношенію къ періоду земной жизни Спасителя: «Воскресеніе Христово полезно только тогда, когда Христосъ воскреснетъ въ тебѣ. Онъ въ тебѣ долженъ зачатъся, родиться, жить и воскреснуть. Не воскреснетъ въ тебѣ Христосъ, если не умретъ прежде въ тебѣ Адамъ; не возстанетъ человѣкъ внутренній, если не падетъ человѣкъ внѣшній; не взойдетъ въ тебѣ обновленіе духа, если прежде не придетъ ветхость плоти (***)».

Но чтобы увѣренно идти по пути внутренней жизни, соотвѣтственно откровенному слову, нужно вѣрное истолкованіе послѣдняго. Священное писаніе есть хранилище истины, но эта истина должна быть раскрыта въ своемъ внутреннемъ, глубокомъ смыслѣ. Еще древнѣйшіе церковные учителя (Климентъ Александрійскій, Василій Великій) различали двоякое значеніе книгъ ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ: экзотерическое (внѣшнее, буквальное) и эзотерическое (внутреннее, духовное). Первое, какъ общедоступное, назначалось для большинства, неспособнаго обнимать чистую истину въ формѣ понятій и потому требовавшаго ея представленія въ образахъ; второе, какъ высшее, предлагалось умамъ духовно-зрѣлымъ, которые могли усвоить понятія, облеченныя въ символическую одежду, и каждое образное представленіе переводить на чистое знаніе. Послѣднее толкованіе и получило названіе таинственнаго, мистическаго. Но при этомъ для пониманія божественныхъ писаній требовалось особеннаго, богомысленнаго настроенія духа, соотвѣтственно духовному настроенію ихъ творцевъ: безъ такого условія многое или оставалось бы непонятнымъ или было бы понято ошибочно и превратно. Мистики постоянно держатся эзотерическаго способа, разоблачая внутренній смыслъ cadaго мѣста Библии, къ какому бы роду ученія оно ни относилось: историческому ли, догматическому или нравственному, и направляя свой экзегизъ къ одному и тому же пункту. Хотя они безпредѣльность непостижимаго свѣта священнаго писанія и уподобляютъ солнцу, блистающему неисчислимыми лучами, изъ которыхъ каждый благотворно освѣщаетъ, грѣетъ и даетъ видѣть множество предметовъ (****), но они преимущественно направляютъ эти лучи на одинъ предметъ—на возрожденіе. Этимъ объясняется однообразность толкованій, допускающихъ кромѣ того натяжки и произволъ. Библейскіе тексты приводятся изъ тѣхъ или другихъ мѣстъ книги, какъ отдѣльныя предложенія, безъ мысли о томъ, что они должны быть понимаемы и обсуждаемы въ цѣльномъ ихъ составѣ, въ естественной связи между собою, и въ томъ смыслѣ и духѣ, какіе вложилъ въ нихъ Творецъ. Сочиненія мистическія исполнены подобныхъ толкованій на пользу одной и той же темы—возрожденія, отъ котораго все зависитъ и символами котораго, по основному ихъ взгляду, служатъ всѣ сказанія Священнаго писанія, всѣ его изреченія. Приведемъ нѣсколько примѣровъ. Исторія Каина и Авеля—это ветхій и новый человѣкъ со всѣми ихъ

(*) Арида, о истин. христіанствѣ (ч. I, гл. 6).

(**) Письма Гамалѣи.

(***) Священныя христіанскія размышленія, или бесѣды съ Христомъ (1783). Руководствомъ автору служили Августинъ, Ансельмъ, Бернаръ, Таулеръ, размышленія которыхъ есть въ русскомъ переводѣ: Августина—Святыхъ и душевспасительныхъ размышленія (1784); Ансельма—Размышленія о искупленіи рода человѣческаго (1783), Бернара—Спасительныя размышленія о познаніи человѣческаго состоянія (1782), Таулера—Благоговѣйныя размышленія (1823).

(****) Ежедневныя христіанскія упражненія.

дѣлами, брань между плотью и духомъ. Потопъ—потопленіе сквернъ плоти; вѣрующій Ной долженъ сохраниться въ человѣкѣ. Брань Авраама съ пятью царями—брань человѣка противъ пяти царей, въ немъ сущихъ: плоти, міра, смерти, діавола и грѣха. Съ Лотомъ надобно отрещися отъ Содома и Гомора, т. е. отъ безбожной жизни міра.... Рожденіе Христа отъ Дѣвы Маріи—духовное Его рожденіе въ человѣкѣ (*). Клятвъ, въ которой Іисусъ Христосъ повелѣлъ молиться—сердце, затвореніе дверей клятвъ—отвлеченіе себя отъ мірскихъ помышлений. Цѣль чуда въ Канѣ Галилейской—показать, что Спаситель пришелъ въ міръ для брака духовнаго; въ словахъ жены Елисею: «мужъ мой умеръ» (4-я кн. Царствъ IV, 1) мужъ означаетъ высшую силу души, жена—низшую; пять мужей Самарянки—пять чувствъ, городъ Наинъ—душа, ученики—божественный свѣтъ, стремящійся въ душу; толпа сопровождающая Господа—добродѣтели; ворота, въ которыя Онъ входитъ—любовь, сынъ вдовы—воля. Мистическимъ толкованіемъ Св. писанія пріобрѣла себѣ большую извѣстность Гюйонъ. Особенно уважалось ея изъясненіе книги «Пѣснь Пѣсней», изображающей таинственное сочетаніе души со Христомъ (**); однакоже съ нею смотрѣло на эту книгу и Христіанское Чтеніе, видѣвшее также въ притчѣ о блудномъ сынѣ символъ духовнаго возрожденія человѣка (***). О толкованіи Посланія апостола Павла къ Римлянамъ упомянуто выше. Какъ въ человѣкѣ различаются душа и духъ, такъ и смыслъ Священнаго Писанія есть или душевный, почерпаемый изъ разума, самому себѣ представленнаго, и духовный, приходящій отъ Духа Святаго. Объ этомъ двоякомъ смыслѣ говоритъ апостолъ Павелъ: «Душевенъ человѣкъ не пріемлетъ яже Духа Божія: юродство бо ему есть» (1 Кор. II, 14). Истинный и полный смыслъ священныхъ книгъ открывается созерцанію человѣка духовнаго, могущаго принимать и разумѣть божественное, и имѣть самый умъ Христовъ (ст. 16) (****). На значеніе самой литургіи мистики смотрѣли съ точки зрѣнія ихъ перваго догмата: «Кажется мнѣ, что обѣдня есть не токмо повѣсть и образъ жизни и смерти Спасителя, но даже исторія души, ко просвѣщенію и посвященію назначенной (*****). Впрочемъ, ставя на первомъ мѣстѣ смыслъ духовный, открываемый только людямъ опытнымъ въ путяхъ духа, мистики не отвергаютъ и смысла буквальнаго, находя его полезнымъ для каждого, желающаго вести нравственную жизнь по понятію свѣта, воздерживаться отъ грубыхъ пороковъ и творить добрыя дѣла такъ, какъ это можетъ дѣлать и хорошій язычникъ (*****).

Слово «мистика» принимается нѣкоторыми мистическими сочиненіями въ двоякомъ смыслѣ: обширномъ и тѣсномъ. Въ обширномъ она есть не что иное, какъ практика высшаго, божественнаго блаженства, основаннаго на внутренней перемѣнѣ человѣка и на дѣйствіи благодати, и тѣмъ отличающагося отъ простой естественной морали;

(*) Арида: о истин. христіанствѣ, ч. I, гл. 6.

(**) Избранныя сочиненія г-жи Гюйонъ или изъясненія и размышленія на Притчи, Екклесіаста, Пѣснь Пѣсней и Премудрость царя Соломона, и на Премудрость Іисуса Сына Сирахова, руководствующія ко внутренней жизни, 5 ч. (1823). Ежедневныя христіанскія упражненія, или Бесѣды расположенныя по текстамъ Евангельскимъ на каждый день года, 4 ч. (1801).

(***) 1821 г., ч. 3, и 1822, ч. 7. «Въ сей пѣсни описывается таинственный союзъ Іисуса Христа съ своею истинною церковью или истинно-вѣрующими вообще, а также, и *наипаче*, со всею истинно-вѣрующею душею въ частности».

(****) С. В. 1817, сентябрь, въ ст.: Духъ и истина (о двоякомъ смыслѣ словъ Св. писанія).

(*****). Письма христіанки (1815). Письмо 2-ое, стр. 20.

(*****). *Témoignage d'un enfant.*

въ тѣсномъ, или собственномъ смыслѣ она означаетъ высшую степень опытнаго познания Бога, духъ премудрости и откровения, называемый просвѣщеніемъ (Ефес. I, 17), которое весьма отлично отъ просвѣщенія начальнаго, состоящаго только въ обращеніи человѣка отъ тьмы къ свѣту, изъ-подъ власти сатаны къ Богу (Дѣянія XXVI, 18). Оба значенія показываютъ, что средствомъ къ мистическому вѣдѣнію и къ мистическому состоянію служатъ опытъ, практика, какъ это мы уже видѣли, говоря о зарожденіи мистики, обусловленномъ фактами внутренней жизни христіанъ, которые на себѣ самихъ испытывали дѣйствіе откровеннаго ученія. Лишь тотъ, слѣдовательно, можетъ судить о внутренней сокровенной жизни, понимать мистическія писанія, кто самъ жилъ такою жизнію, кому извѣстенъ ея путь, отъ начала до конца, со всеми ея стадіями. Разумъ и ученость здѣсь ни при чемъ: необходимо опытное дознаніе, внутреннее свидѣтельство, котораго никакая книга не можетъ ни дать, ни отнять. Чтобы истинно познать Христа, надобно самому начать жить Его жизнію, и мы по стольку будемъ познавать Его, по сколько этой жизни будетъ въ насъ прибывать (*).

На основаніи сказаннаго, мистики отрицаютъ право естественнаго разума судить о дѣлахъ вѣры. Они ведутъ постоянную войну съ нимъ не только въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ хочетъ заявить свою силу, относясь отрицательно къ предметамъ духовнымъ, но и въ случаяхъ противоположныхъ, когда онъ заявляетъ притязанія дѣйствовать на пользу вѣры, т. е. утверждать и поддерживать ее своею силою. По ихъ взгляду, умъ безсиленъ для такого дѣла; дары духа выше его; область, уму прелоставленная, есть міръ физическихъ явленій, гдѣ онъ и долженъ вращаться съ своею способностію наблюдать, сравнивать и выводить общія заключенія. У міра духовнаго есть свой собственный разумъ, называемый иначе вѣрою. Методъ, которымъ этотъ разумъ руководствуется, состоитъ въ трехъ предметахъ: признаніи повсюднаго креста въ нашей жизни, т. е. двухъ, постоянно пресѣкающихся направленій, очищеніи и молитвѣ (**). Разумъ вѣры есть свѣтъ божественный: онъ сообщаетъ человѣку внутреннее свидѣтельство, которое ниспосылается самимъ Богомъ чрезъ Духа Святаго, и потому имѣетъ силу полной достовѣрности, непреложной истины. Знаніе, добываемое разумомъ вѣры, есть Божественная философія, противоположная философіи мірской: послѣдняя есть философія по преданію человѣковъ, по вещественнымъ началамъ міра, тогда какъ первая есть философія по Христу, въ которомъ сокрыты все сокровища премудрости и вѣдѣнія (Колос. II, 3 и 8) (***).

Но чтобы имѣть духовный разумъ, или разумъ вѣры, человѣкъ долженъ возродиться, соединиться съ Богомъ. Невозрожденный не понимаетъ и не можетъ понять ни того, что есть Духа Божія, ни того, что есть духа натуры. Только въ Богѣ можно видѣть вещи, каковы онѣ суть (****). Чтобы истинно и вполне знать какой-либо предметъ, надлежитъ самому сдѣлаться этимъ предметомъ: до тѣхъ же поръ настоящее познаніе каждаго предмета невозможно (*****). Здѣсь мистики, какъ заграничные, такъ и наши, для разъясненія своей мысли пользуются трактатомъ Беама: «Mysterium magnum» (великимъ таинствомъ). Подъ именемъ великаго таинства,

(*) С. В. 1817, октябрь, стр. 66—67, и декабрь, стр. 312—313, 316—317.

(**) Въ память Сперанскаго, стр. 386—389.

(***) Божеств. философія, Дю-Туа, т. 3, стр. 9—11 и д.

(****) Въ память Сперанскаго (Письмо Сперанскаго къ Теофилакту, стр. 386).

(*****). С. В. 1817, декабрь, стр. 316—317.

Бемъ разумеетъ Слово, какъ Творца всѣхъ существъ (Колос. 1, 15 и 16). Естественный разумъ никогда не созерцалъ образованія зародышей жизни; его еще не было, когда великое таинство совершало свои первыя дѣйствія; слѣдов. постигнуть это таинство также невозможно уму, какъ плоти и крови невозможно войти въ царствіе небесное. Постигненіе доступно только божественному вѣдѣнію, а средство къ такому вѣдѣнію состоитъ единственно въ томъ, чтобы таинство явилось въ человѣкѣ истиннымъ рожденіемъ въ душѣ его. Всякое знаніе, какъ духовное, такъ и физическое—чтобы быть дѣйствительнымъ знаніемъ—должно быть рождено въ насъ. Поэтому мы можемъ знать о Богѣ только посредствомъ Его рожденія въ насъ. Богъ отсутствующій, отдѣленный отъ насъ, есть Богъ невѣдомый. Если свѣтъ открывается не иначе, какъ свѣтомъ, а тьма не иначе какъ тьмою, то и Богъ открывается намъ не иначе, какъ Богомъ. Тоже самое относится и къ природѣ. Человѣку нельзя ничего знать о ней, если самыя дѣйствія ея не обнаружатся внутри его живымъ образомъ, рожденіемъ. Въ каждомъ существѣ является лишь то, что существуетъ въ немъ въ зародышѣ. Онъ можетъ произвести что-либо внѣ себя лишь развитіемъ сѣмянъ, предварительно въ него вложенныхъ. Думать, что возможно принести что-либо извнѣ и помѣстить внутри существа, сообщить ему какое-либо знаніе, которое не есть произведеніе его собственной жизни, такъ же безразсудно, какъ безразсудно помышлять о вырощеніи дуба съ его вѣтвями внѣ земли и о приставкѣ его потомъ къ корню, выросшему изъ земли (*). Такъ какъ возрожденный живетъ въ Богѣ и Богъ въ немъ, то Бемъ и предлагаетъ читателю путь внутренней, самоотреченной жизни, приводящей къ соединенію съ Богомъ: чтобы услышать глаголы Божіи, надобно воспарить туда, гдѣ нѣтъ никакой твари, замолчать всѣми своими мыслями, чувствованіями и желаніями. Оставя міръ, ты войдешь въ то, изъ чего міръ произошелъ; оставя жизнь и обезсилить свою собственную силу, ты обрящешь Бога, откуда произошла жизнь (**). Только при внутренней субботѣ (покоѣ) можно познавать истину вещей (***)

Основа мистики лежитъ въ воззрѣніи на религію. Существенный вопросъ религіозной доктрины—отношеніе конечнаго (человѣка) къ безконечному (Богу). Отъ двоякаго взгляда на это отношеніе являются два различныхъ направленія. По одному взгляду, конечное существенно соединено съ безконечнымъ, такъ что разъединеніе между ними, какъ нѣчто случайное, временное, можетъ и должно быть замѣнено возстановленнымъ единствомъ; по другому взгляду, безконечное находится въ неизмѣримомъ отдаленіи отъ конечнаго, почему они противопоставляются одно другому и единство между ними почитается случайнымъ; только при извѣстныхъ условіяхъ достижимымъ. Направленіе, опредѣляемое первою точкою зрѣнія, называется имманентностью; направленіе, происходящее отъ второй точки зрѣнія — трансцендентностью. Оба направленія не исключаютъ другъ друга безусловно, а различаются преобладаніемъ того или другаго принципа, обуславливающимъ характеръ цѣлаго.

Согласно первому воззрѣнію, мистикъ видитъ въ человѣкѣ твореніе Бога, къ которому онъ долженъ возвратиться, какъ къ своему источнику. Душа, по своему происхожденію, божественна. Сколь бы ни была она испорчена и потемнена земною жизнью, божественная сущность, печать ея происхожденія, всегда при ней остается. Основаніе души, такъ называемый центръ или искра, составляетъ ея высшую, духов-

(*) La voix de la science divine (разговоръ 2-ой—изложеніе Бемова ученія).

(**) Путь ко Христу, Бема (книга 5: о сверхчувственной жизни).

(***) Златая книжица, стр. 72.

нѣйшую часть. Оно-то постоянно стремится къ Богу; въ немъ-то никогда не замираетъ это стремленіе, почему воля и обладаетъ возможностью уклониться отъ всего конечнаго и направиться къ Безконечному. Но чтобы соединиться съ Богомъ, надобно отречься отъ самости, стяжать духовную нищету, обратиться въ ничто. Это исхожденіе человѣка изъ самого себя, для принятія въ себя Бога, прообразовано повелѣніемъ, даннымъ Аврааму: «изыди отъ земли твоея, и отъ рода твоего, и отъ дому отца твоего» (Быт. XII, I). И когда такимъ образомъ во внутреннѣйшемъ основаніи души будетъ уготовано надлежащее мѣсто, то скорѣе натура оставитъ что-либо не наполненнымъ, чѣмъ Богъ оставитъ уготованное мѣсто пустымъ, ибо это было бы противно Его сущности. Вхожденіе Бога въ душу называется иначе рожденіемъ Сына или Слова въ душѣ—высочайшей формой, въ которой Богъ является отдѣльной душѣ, изрекаетъ въ ней свое Слово. Процессъ этого рожденія, по толкованію мистиковъ, тождественъ съ вѣчнымъ имманентнымъ процессомъ рожденія Сына въ Божествѣ. И какъ о Богѣ, такъ и здѣсь о душѣ говорится, что она родила Сына. Вотъ почему Таулеръ и различаетъ, въ своихъ проповѣдяхъ, троякое рожденіе: предвѣчное рожденіе Единороднаго Сына отъ Отца, рожденіе Сына отъ Дѣвы Маріи, во времени совершившееся, и постоянное, духовное рожденіе Сына въ правотѣрной душѣ (*).

Къ мистикѣ примыкаетъ теософія, стремящаяся открыть въ явленіяхъ природы образы божественной сущности и процессы божественной жизни. Она была высоко цѣнима у насъ—и въ прошломъ вѣкѣ, людьми Новиковскаго круга, и въ царствованіе Александра I, издателемъ Сіонскаго Вѣстника, часто склонявшимся къ ея воззрѣніямъ, почерпаемымъ изъ сочиненій Парацельса, Бема, Сведенборга, Сенъ-Мартена и другихъ. Увлеченіе теософіей Новиковъ сохранилъ до конца жизни, какъ видно изъ его писемъ къ Карамзину, въ которыхъ онъ мысли, выраженные въ «Разговорѣ о счастіи» и «письмахъ Мелодора и Филарета», противопоставляетъ своей, «небесной философіи» (**). Лопухинъ былъ также убѣжденъ въ высокой важности и пользѣ теософіи и называлъ ее «теоріей внутренняго познанія, происходящаго изъ училища небеснаго», вовсе не похожаго на познаніе школьное. По словамъ его, теософія «открываетъ въ самой послѣдней твари, въ самомъ брѣнномъ растеніи, образъ воплощеннаго Слова и всего того, что сотворило Оно для спасенія нашего, образъ всѣхъ его таинствъ, зачатія, рожденія и всего хожденія Его въ мірѣ до самаго совершенія искупительнаго Его пришествія на землю». «Не менѣе полезна и химія (разумѣется, теософическая)—«то искусство, которымъ просвѣщенные соединяютъ, раздѣляютъ, разрушаютъ существа, развиваютъ ихъ составъ и возвращаютъ въ источныя ихъ стихіи, и при семъ дѣйствіи собственными ихъ очами созерцаютъ таинства Иисуса Христа, послѣдствіе страданія Его, и въ сокращеніи и въ химическомъ явленіяхъ видятъ все происшествіе и слѣдствія Его воплощенія» (***). Какъ ревнитель теософіи, Лопухинъ стоитъ близко къ Дю-Туа, который, разсуждая о трехъ зеркалахъ Божества (человѣкѣ, мірѣ или физической природѣ, откровеніи), во второмъ зеркалѣ видитъ во всей подробности таинства религіи: «натура подтверждаетъ

(*) Lasset: Eckhart; Таулеръ: Predigten; Дю-Туа: Христіанская философія; Гюйонъ; Ежедневныя христіанскія упражненія.

(**) Письма Гамалѣи, изд. 2 (1836).

(***) Нѣкоторыя черты о внутренней церкви, 2-ое изд. (1801), стр. 79—80.

все то, что изъ божественныхъ истинъ откровеніе предлагаетъ вѣрѣ христіанина; всѣ тайнства религіи, безъ исключенія, можно видѣть и читать внимательными очами въ физикѣ, въ дѣяніяхъ природы и во всемъ порядкѣ вселенныя (*). Другой теософъ (Дузетанъ) разсматриваетъ чудеса креста во внѣшней природѣ и доходитъ до такихъ странныхъ, мечтательныхъ выводовъ, въ которыхъ было бы смѣшно искать какой-либо осмысленной основы (**). Другими глазами смотрѣть на теософію Сперанскій: «вся наша духовность сводилась къ теософіи: къ ней же относятся творенія Бема, С. Мартена, Сведенборга и т. п. Это лишь азбука. Десять лѣтъ провелъ я въ ея изученіи, и когда я думалъ, что я овладѣлъ всемъ, я трудился лишь надъ начатками. Это было преддверіе царствія Божія» (***). Слова апостола Павла въ Посланіи къ Римлянамъ, что и тварь ожидаетъ откровенія сыновъ Божіихъ, потому что она подверглась суетѣ (не сама собою, но тѣмъ, кто подвергъ ее) съ надеждою, что она освободится изъ рабства тѣни въ свободу славы чадъ Божіихъ, а теперь совокупно съ нами стесняется и мучится (гл. VIII, ст. 19—22),—эти слова дали нашимъ теософамъ поводъ пускаться въ толкованія ихъ, сообразно съ своими понятіями. Міръ физическій, говоритъ Сентъ-Мартенъ, носитъ слѣды грѣхопаденія: онъ сдѣлался нашей темницей и могилой, а не жилищемъ славы; наша смертная скорбь проникла и въ него, и онъ ее чувствуетъ, на сколько въ немъ есть жизни и силы. Онъ на болѣзненномъ одрѣ, ибо, съ паденіемъ Адама, чуждое вещество вошло въ него и непрестанно стѣсняетъ и тревожитъ принципъ его жизни. Намъ предстоитъ принести ему слова утѣшенія, которыя помогли бы ему сносить его бѣдствія; намъ предстоитъ возвѣстить ему объѣтъ освобожденія (****). Возрожденіе человѣка и міра, приведеніе всего истекшаго изъ Бога и разсѣяннаго въ тваряхъ должно совершиться въ порядкѣ постепеннаго восхожденія. Сколь нужно человѣку, умерщвленіемъ обветшалаго существа своего, возстать изъ мертвыхъ чрезъ Христа и родиться въ жизнь вѣчную, столько жъ и натура ожидаетъ прежде свободы сыновъ Божіихъ, чтобы потомъ самой освободиться отъ плѣна (*****). Сіонскій Вѣстникъ изложилъ свои теософическія понятія въ нѣсколькихъ статьяхъ, содержаніе которыхъ сводится къ слѣдующему: Наука, имѣющая предметомъ своимъ отношеніе между видимымъ и невидимымъ, заключаетъ въ себѣ троякое познаніе: человѣка, природы и Творца. Человѣкъ есть малый міръ: слѣд. кто познаетъ самого себя, тотъ познаетъ природу въ ея концентраціи (микрокосмѣ) и для него не будетъ неизслѣдимыхъ въ ней тайнъ. Объясняя натуру откровеннымъ словомъ, а откровеніе натурою, мы должны познавать изъ оныхъ волю Божию и по ней учреждать свою жизнь для достиженія блаженной вѣчности (*****). Вещественный міръ есть эмблема духовнаго, а духовный божественнаго. Этотъ вещественный міръ долженъ поэтому представлять и порядокъ, въ какомъ духовныя существа состояли при сотвореніи вселенной, чтобы выполнять судьбы о нихъ Творца (*****). Между причинами, породившими разносторонніе толки

(*) Божеств. философія, т. 2, кн. 4, гл. 3, стр. 32 и д.; кн. 5, гл. 1

(**) Тайнство креста, переводъ Лабзина (1814), гл. XIII.

(***) Письмо къ Цейеру, 1814 г. (Рус. Арх. 1870, стр. 176). Сперанскій началъ, слѣдовательно, заниматься теософіей съ 1804 г.

(****) Franck: La philosophie mystique en France (стр. 103).

(*****) Мысли на досугъ, стр. 122.

(******) Дружеская бесѣда о состояніи человѣка на землѣ (С В. 1817, августъ).

(******) Радуга (ib.).

въ путяхъ воссоединенія, или религій, не послѣдняя есть та, что при чтеніи Св. Писанія мало совѣтовались съ натурою и не находили гармоніи между двумя свѣтами. Приведа вышеуказанные тексты изъ Посланія къ Римлянамъ, Сіонскій Вѣстникъ замѣчаетъ: вотъ что Св. Писаніе сказываетъ, а философская химія показываетъ. Что же показываетъ философская химія? какъ она толкуетъ тайное воздыханіе твари, молчаливое ожиданіе ея блаженства? «По наукѣ извѣстно, что самыя послѣднія изъ тѣлъ заключаютъ въ себѣ начала благороднѣйшія, коихъ они суть темницы; всѣ они содержатъ въ себѣ частицы огня, повсюду разлитаго, который есть сокровищница природы... Сей-то внутренній огонь, во всѣхъ тѣлахъ сокрытый, наружнымъ огнемъ возбужденный и освобожденный, сожжетъ всѣ тѣла и превратитъ нашу землю въ свѣтлый, прозрачный, кристалловидный шаръ... Такимъ образомъ въ послѣдній день великаго пожара самое грубое вещество просвѣтится и прославится и также воскреснетъ въ воскресеніе живота, т. е. неизмѣняемости, нетлѣнія, о чемъ вся тварь имѣетъ скрытое чаяніе, по словамъ апостола Павла. Изъ сего оказывается чудная гармонія между натурою и благодатію. Ученіе природы показываетъ намъ, что всѣ существа всѣхъ трехъ царствъ ни истлѣніемъ, ни сожженіемъ не уничтожаются, но возводятся токмо въ свои начала или, какъ другіе то называютъ, въ свой хаосъ, изъ коего произошли. Ученіе благодати говоритъ также: еще внѣшній нашъ человѣкъ тлѣетъ, внутренній обновляется» (2 Кор. IV, 16) (*). Статья, изъ которой приведена эта выписка, есть не что иное, какъ болѣе пространное развитіе мыслей Дю-Туа, объяснявшаго 22-й стихъ 8-ой главы Посланія къ Римлянамъ (**). Протестантскій теософъ находилъ предчувствіе вышензложенныхъ истинъ (сожженія земнаго шара и его славнаго преобразованія) у язычниковъ. Онъ цитируетъ стихи Овидія: «придетъ время, когда море, земля и небесный чертогъ, охваченныя (пламенемъ) будутъ горѣть, и придетъ въ разстройство многотрудное сооруженіе міра» (***). Изреченіе это, по словамъ теософа, можетъ быть приноровлено къ тексту апостола Петра: «придетъ же день Господень яко тать въ нощи, въ онъ же небеса съ шумомъ мимо идутъ, стихіи же сжигаемы разорятся, земля же и яже на ней дѣла сгорятъ» (2 Петр. III, 10). Вотъ глухое степеніе матеріи и тѣлъ! заключаетъ авторъ. Вотъ нѣмое ихъ желаніе получить благороднѣйшее бытіе, которое и будетъ ихъ концемъ, когда учинятся они прославленными тѣлами, сообразными тѣламъ прославленныхъ и небесныхъ духовъ, подобно какъ нынѣ грубая земля сообразна грубости нашихъ тѣлъ. — Лопухинъ, въ Запискахъ своихъ, указываетъ занятія членовъ новиковскаго круга: они упражнялись въ познаніи самихъ себя, творенія и Творца по правиламъ той науки, о которой говоритъ Соломонъ въ книгѣ Премудрости: Сей (Богъ) даде мнѣ о сущихъ познаніе неложное, познати составленіе міра и дѣйствіе стихій, начало и конецъ и средину временъ, возвратовъ премѣны, и измѣненія временъ, лѣтъ круги, и звѣздъ расположенія, естество животныхъ, и гнѣвъ звѣрей, вѣтровъ усиліе, и помышленія человѣковъ, разнство лѣтораслемъ, и силы корней (VI, 17—20) (****). Теософы особенно уважали эту книгу, называя ее книгой

(*) Дружеская бесѣда на день Преображенія Господня (ib. 1806, августъ).

(**) Бож. философія, т. I, выноска на стр. 34—37. Главу эту, подавшую поводъ къ объясненіямъ, Дю-Туа называетъ «по-истинѣ божественною».

(***) *Affore tempus, quo mare, quo tellus correpta quae regia coeli, ardeat, et mundi moles operosa laboret* (Метаморфозы, кн. 1, стихи 255—257).

(****) Ист. Христ. I, стр. 567.

натуры, а самую натуру—вѣдѣніемъ вещей божественныхъ и человѣческихъ (*). Впрочемъ, по сбивчивости представленій, ведущей за собою неумѣнье опредѣлять соотношенія предметовъ, различныхъ или сходственныхъ, они на ряду съ теософіей ставили герметическую науку (алхимию), изобрѣтеніе которой приписываютъ Гермесу Триемегисту, египетскому Меркурію, а иногда и сливали ихъ во-едино.

Изложивъ религіозную мистику, какъ она явилась у насъ, въ нашихъ мистическихъ книгахъ и журналахъ, мы видимъ, что одни изъ ея положеній образуютъ такъ называемую чистую мистику, а другія относятся къ положеніямъ мистики нечистой. Къ послѣднимъ принадлежатъ тѣ именно, которыя впадаютъ въ противоположность утвержденнымъ догматамъ вѣры; таковы: мысли о вѣчномъ откровеніи и вѣчномъ христіанствѣ, о превосходствѣ внутренняго слова надъ Священнымъ писаніемъ, о необходимости внѣшняго посредства между человѣкомъ и Богомъ, о внутренней церкви. Доказывать, что мистика есть первичная и единственная форма христіанскаго вѣдѣнія, что жизнь мистика есть абсолютный идеалъ истинно-евангельской жизни, значить уничтожать въ принципѣ всякую церковь: ибо на одномъ созерцательномъ погруженіи въ Бога и просвѣщеніи отъ Бога нельзя построить не только церкви, но и никакого религіознаго строя жизни, никакого общаго ученія, даже секты или школы. Но, съ другой стороны, несправедливо не давать мистикѣ никакого права въ области христіанскаго ученія и христіанской жизни; въ томъ и другомъ предметѣ она составляетъ необходимый элементъ, обусловливаемый сущностью Евангелія, но только какъ элементъ, который не можетъ обособляться самостоятельно, не впадая въ неправоту и заблужденіе. Плодотворное значеніе ея въ восточной церкви указано авторитетными судьями предмета: «Она развила въ послѣдователяхъ внутреннее, сердечное и искреннее благочестіе, которое не ограничивается исполненіемъ внѣшнихъ дѣлъ благочестія, но стремится достигнуть чистоты души и сердца, благодатнаго освященія всего человѣческаго существа. Богословско-мистическое направленіе стало въ связь съ христіанскимъ богослуженіемъ и руководило его разумѣніемъ: въ восточной церкви всѣ обряды богослуженія не остались внѣшними только дѣйствіями, но удержали таинственный смыслъ и духовное значеніе; мысль христіанская отъ внѣшняго и чувственного возвышалась къ духовному и божественному. Направленіе это приобрѣло такихъ послѣдователей, какъ Максимъ Исповѣдникъ, Георгій Пахимеръ, Николай Кавасила и Симеонъ архіепископъ оессалонійскій, которые были первыми людьми своего времени» (**).

Какъ отнеслись къ нашей мистической литературѣ и духовныя и свѣтскія лица? Сильное сочувствіе къ ней съ одной стороны равнялось столь же сильному недовольству съ другой. Лабзину извѣстно было и то и другое. Онъ гордился знаками особеннаго расположенія къ нему нѣкоторыхъ іерарховъ, напр.: Оеофилакта (архіепископа калужскаго) и Данила (архіепископа могилевскаго и витебскаго), помѣщаль письма разныхъ особъ, изъявлявшихъ ему благодарность, какъ издателю, и былъ увѣренъ, что журналъ его читается многими съ охотой и любовью; но въ то же время онъ зналъ и предубѣжденіе, господствовавшее даже между многими добрыми христіанами противъ всего, что вообще называется мистическимъ, или таинственнымъ (***).

(*) С. В. 1806, іюль, стр. 10.

(**) Рус. литература о сочиненіяхъ съ именемъ св. Діонисія Ареопагита, свящ. Сирнова (Правосл. Обзоріе, 1872, іюнь).

(***) О мистикахъ (С. В. 1817, октябрь).

Другой мистическій журналъ «Другъ юнoшества» не возбуждалъ такого любопытства, какъ Сіонскій Вѣстникъ, и не давалъ поводовъ къ толкамъ и пересудамъ. Его считали неважнымъ, даже смѣялись надъ нимъ. Въ немъ и не было ничего такого, что могло бы обратить на себя особенное вниманіе: издатель его, добрый и честный, но ординарный по своимъ способностямъ человекъ, принадлежалъ скорѣе къ шіетистамъ, чѣмъ къ мистикамъ, и потому имѣлъ въ виду только нравственную цѣль—вести читателей къ благочестивой христіанской жизни.

Первое по времени сочиненіе, направленное противъ нѣкоторыхъ мистическихъ положеній, вышло въ свѣтъ еще до появленія Сіонскаго Вѣстника, подъ заглавіемъ: «О внѣшнемъ богослуженіи и наружныхъ дѣйствіяхъ человека христіанина» (3 тома, 1803). Авторъ его—Иванъ Петровъ (Полубенскій), священникъ московской единовѣрческой церкви, поставилъ себѣ цѣлью рѣшеніе слѣдующей обширной задачи: дать ясное и точное понятіе о истинномъ смыслѣ и разумѣ Евангелія для тѣхъ, которымъ оно еще не ясно; сравнить и взвѣсить мнѣнія инославныхъ по многимъ церковнымъ матеріямъ и богословскимъ вопросамъ; проникнуть, гдѣ слабое мѣсто въ философскихъ системахъ; писателямъ книгъ религіозныхъ дать нужныя наставленія; открыть секретъ узнавать антихристовыхъ служителей; научить узнавать, кто истинный смыслъ Христова ученія уклоняетъ въ сторону; удѣлить горюшное зерно вѣры тѣмъ, кои мало о томъ думаютъ; внутреннее теченіе христіанства въ ясномъ видѣ представить; ложнотимые истуканы лжеувѣренности сокрушить; волшебное чудовище превратнаго мірскаго мнѣнія и ложной славы низвергнуть; іерихонскія стѣны грѣха гласомъ трубнымъ поколебать; дски безчеловѣчнаго любостяжанія опровергнуть; гдѣ была слѣзная радость плоти и мертвое веселіе—ввести благороднѣйшее сластолюбіе сей жизни (*); убѣжденіемъ и примиреніемъ отмстить за честь вѣры ругателямъ (**). По отзыву Филарета, архіепископа черниговскаго, книга эта «въ свое время, безъ сомнѣнія, много принесла пользы, когда чувственная философія не хотѣла знать никакихъ другихъ наслажденій, кромѣ чувственныхъ, и довольная гордыми мечтами о своемъ служеніи уму презирала всѣ принадлежности внѣшняго богослуженія» (***). Но, кромѣ философіи, авторъ долженъ былъ вести счеты и съ мистиками. Такъ какъ въ книгѣ Лопухина: «Нѣкоторыя черты о внутренней церкви», все богослуженіе почти исключительно сведено на внутренность, то надобно было, въ противоположность такому взгляду, указать необходимость внѣшнихъ обрядовъ, что и поставилъ своею задачею авторъ означеннаго сочиненія. Онъ недоумѣваетъ, почему систематики мистическаго просвѣщенія нападаютъ на обряды, какъ будто бы всякій христіанинъ уже сдѣлался духомъ и столь уже совершенъ, что плоть ему ни малѣйше не препятствуетъ въ успѣхахъ благочестія и что ей не нужны никакія покаянныя помочи. Различая двоякую наружность: одну—лицемѣрную, или на-показъ, безъ внутренняго чувства вѣры и любви къ Богу, и вторую, необходимо связанную съ человекомъ-христіаниномъ, онъ утверждаетъ, что безъ послѣдней нельзя содержать своей вѣры и совершить дѣла спасенія своего и что ее наблюдали самъ Христосъ и всѣ святые. *Сердцемъ въ-руетъ въ правду, усты же исповѣдуются во спасеніе.* Слѣдов. не исповѣ-

(*) На 126 стр. 1-го тома сказано, что сластолюбіемъ сей жизни преподобный Ефремъ Сиринъ называетъ вѣру христіанскую, какъ высочайшее веселіе духа.

(**) Т. I, стр. 16—18.

(***) Обзоръ русской духовной литературы (1861), кн. 2, стр. 119.

довать устами свою вѣру, хотя бы сердечная вѣра и была каковая-нибудь, есть недостаточная и богопротивная внутренность (*). На мистику вообще смотритъ авторъ, какъ на такое ученіе, существенное содержаніе котораго доступно вѣдѣ христіанамъ, держащимся наилучшаго, т. е. православнаго, исповѣданія, заботящагося главнымъ образомъ о внутреннемъ, духовномъ возрожденіи; но приписывать ей что-либо особенное значить обнаруживать слѣдное пристрастіе жаркаго сектатора и явно склоняться къ протестантскимъ мнѣніямъ (**). Протестантская систематика въ сужденіи о наружныхъ дѣлахъ имѣетъ въ виду только отборнѣйшій, аристократическій, по состоянію и образованію, классъ людей, какъ бы не желая знать народъ, во вѣдѣхъ исповѣданій одинаковый. Авторъ критикуетъ нѣкоторыя мѣста выше упомянутаго извлеченія изъ сочиненій Таулера (Краткія разсужденія о важнѣйшихъ предметахъ жизни христіанской). Онъ иронически относится къ совѣту нѣмецкаго мистика крестьянину — не ходить въ церковь, а безпрестанно думать о Богѣ, даже во время работы: такой «земледѣлецъ долженъ быть весьма въ знаніи далекъ, чтобъ не замѣтывать онаго въ церковныхъ собраніяхъ, въ которыхъ нечувствительно научается христіанинъ всему составу спасенія, поддерживается противъ искушеній, утѣшается въ скорбныхъ обстоятельствахъ. Притомъ если взять въ разсужденіе русскаго мужика, на господской работѣ состоящаго, ежедневно то тѣмъ, то другимъ дѣломъ до-сыта занятаго, то сіе будетъ явное немилосердіе отнять у него и послѣднее утѣшеніе сходить въ церковь, а между тѣмъ лошадямъ дать нѣкоторое время отдохнуть, да и господина самого симъ правиломъ ввести можно въ грѣхъ. Однимъ словомъ, христіанинъ, образованный по правиламъ и системѣ сего просвѣщенія, хотя можетъ учить и править цѣлымъ міромъ (какъ сказано въ Краткихъ разсужденіяхъ) (***), только не худо бы его передъ тѣмъ года на два-на-три опредѣлить пожить въ деревнѣ, чтобы онъ могъ тамъ удостовѣриться, что носящимъ тяготу дне и варъ поселянамъ истинно не очень выгодно быть могутъ нѣмецкіе пріемы» (****). Осуждается также авторомъ теософія, слѣды которой, какъ мы видѣли, находятся въ нѣкоторыхъ чертахъ о внутренней церкви. На предложенный себѣ вопросъ: «есть ли въ созданной натурѣ какіе-либо слѣды, доказывающіе Троицу въ Богѣ?» онъ отвѣчаетъ: «Подобныя исканія только затемняютъ истину и напоминаютъ слова стихотворца: *fecistis probe! incertior sum multo, quam dudum*, т. е. изрядно сдѣлали! я меньше разумѣю теперь сіи вещи, нежели зналъ прежде до васъ». Легкое и удобное было бы средство увѣрять Фреретскія и Буланжерскія души (*****), когда бы изъ созерцанія природы можно было доходить до познанія о таинствѣ Св. Троицы и даже видѣть точные слѣды страданія и смерти Христовой изъ натуральныхъ перемѣнъ многообразныхъ существъ. Такимъ образомъ, чтобъ убѣдить невѣрующаго, стоило бы только послѣ катихизиса для усовершенствованія въ вѣрѣ посадить его въ классъ экспериментальной физики и химическихъ опытовъ, и послѣ сего не долго бы уже ему было дожидаться, чтобы сказать въ самомъ себѣ тоже, что Лютеръ негдѣ, издѣваясь, заставляетъ мыслить Меланхтона: *sic ego ego, qui ego*» (*****). Замѣтимъ, что

(*) О вѣдѣннѣ богослуженія, ч. 2, стр. 80—81.

(**) Ib. стр. 78.

(***) 1-ое изд. (1801), стр. 176.

(****) О вѣдѣннѣ богослуженія, т. I, стр. 78—80.

(*****) Фрере (Freret), ученому и критику XVIII-го, и Буланже (Boulanger), того же вѣка, приписывались нѣкоторые антирелигіозныя сочиненія.

(******) О вѣдѣннѣ богослуженія, т. I, стр. 198 и дал.

книга, о которой мы говоримъ, выказывая въ авторѣ большую начитанность, отличается однакожъ странно-оригинальнымъ способомъ изложенія. Это изложеніе напоминаетъ манеру нашихъ малорусскихъ ученыхъ XVIII вѣка, которые въ своихъ богословскихъ трактатахъ допускали смѣшеніе тоновъ и даже проповѣди наполняли сатирическими, проническими и комическими выходками, смотря на нихъ какъ на средство къ достиженію цѣли, т. е. къ убѣжденію слушателей въ истинѣ и къ направленію ихъ на путь истинной нравственности. Тоже въ большой мѣрѣ видимъ у священника Петрова, вѣроятно малорусскаго уроженца, судя по многимъ словамъ и выраженіямъ: серьезное и важное постоянно чередуется у него съ шуточнымъ и причудливымъ, примѣры чего представляемъ въ выноскахъ. Вся книга испещрена цитатами на иностранныхъ языкахъ, особенно на французскомъ, такъ какъ она преимущественно обличаетъ ученіе французскихъ философовъ XVIII вѣка. Самое посвященіе ея «театральнымъ, упражняющимся во врачебной наукѣ и отъѣзжающимъ въ чужіе края» поражаетъ своею неожиданностью. Почему театральнымъ? потому, что «театръ хотя и пользуется гражданскою терпимостью, но церковь всегда будетъ не довѣрять театральной нравственности». Почему медикамъ? потому, что «христіане по тѣлу имѣютъ большую связь (т. е. сношеніе) съ ними; слѣдовательно надобно, чтобы въ недоумѣнныхъ толкованіяхъ никто со стороны церкви не наставленнымъ не оставался и чтобъ всякъ зналъ, что церковныя учрежденія соображены съ натурою человѣка и съ правилами самой медицины и что благонамѣренная медицина церковнымъ учрежденіямъ противорѣчить не можетъ, ибо какъ церковь, такъ и медицина равно хранятъ человѣческое здравіе тѣлесное и спасеніе души». Наконецъ, почему отъѣзжающимъ за границу? «Многіе отъѣзжаютъ на долгое время и съ перемѣною мѣста перемѣняютъ отечественныя мысли въ разсужденіи самаго закона (христіанскаго). Для многихъ путешественниковъ медики и театральные служатъ вмѣсто духовниковъ: по совѣту однихъ управляютъ они свою наружность, а по наставленію другихъ свою внутренность. Иногда жъ попадаютъ они на раскольническихъ бѣглыхъ ренегатныхъ жрецовъ природы. Для того предложены по возможности всѣ чужныя свѣдѣнія, чему тамъ (особенно въ Парижѣ) полезно въ разсужденіи религіи научиться можно и отъ чего вреднаго предохраниться. По многимъ причинамъ мы совѣтуемъ путешествующимъ—на границѣ французской прочесть про себя символъ вѣры и въ мысленныхъ вмѣстительныхъ (скобкахъ) включить слѣдующее: «Распятаго же за ны при (французѣ) Понтійстѣмъ Пилатѣ», прибавивъ къ тому въ мысли Руфиново замѣчаніе: «*Iulianus in Gallia Christum abnegavit*», т. е. «Юліанъ въ Галліи Христа отвергся». Сіе сказано по великому множеству французскихъ книгъ, предосудительныхъ для христіанства» (*).

(*) Ib. т. I, стр. 115 и слѣд.—Вотъ еще два примѣра особенностей въ изложеніи и стилѣ автора:

Не удивительно, что у Бога не всякій безъ разбора будетъ въ раю и что для тѣхъ, которые не хотѣли быть Ему у себя царемъ, есть особый смиренный Мальмезонъ (I, 50).

Приглашая грѣшника къ покаянію, авторъ даетъ ему такіе совѣты: «Не теряй времени, сдѣлай послѣднее усиліе, подвигни твое произволеніе хотя малѣйше на страну спасенія и мудрости, чтобъ потому можно было Христу Спасителю приняться излечить застарѣлую и неизлѣчимую твою болѣзнь. Ты сдѣлай сіе, буде хочешь, но философски, только въ другомъ видѣ. Подвигнись, хотя черезъ силу, обернуться ко Христу, такъ какъ умирающій Вольтеръ употребилъ послѣднее усиліе отворотиться отъ священника и такъ умеръ. Мы тебя не обязываемъ слишкомъ къ строгому покаянію, къ покаянію русскому во всей строгости слова. Пусть на первый разъ покается по-нѣмецки, кто нагрѣшилъ по-русски. Пока до времени *ligneus esto* (ib. 54).

Подобныхъ мѣстъ въ книгѣ очень много.

О первомъ годѣ изданія Сіонскаго Вѣстника (1806) мы имѣемъ отзывъ Евгенія Болховитинова, бывшаго въ то время епископомъ старорусскимъ (*). Выразивъ сожалѣніе, что большая часть журнала наполняется переводами съ нѣмецкаго изъ сочиненій Штиллиновыхъ, а также мартинистскихъ, Евгеній находитъ въ немъ два главныхъ недостатка: во-первыхъ, синкретизмъ, или мѣтаніе, будто во всѣхъ религіяхъ, подъ разными только символами, была истинная религія, что ведетъ къ индифферентизму и чего нельзя согласить съ духомъ истиннаго христіанства; во-вторыхъ, мифологизмъ, платонизмъ и математицизмъ, употребляемый мистиками къ изъясненію Троицы и другихъ таинствъ откровенія. Кромѣ того указаны нѣкоторыя отдѣльныя мистическія представленія, поражающія своею странностью. Впрочемъ о дѣятельности издателя Евгеній говоритъ съ большою похвалою: «Я получаю Сіонскій Вѣстникъ и читаю часто до чувствительнаго умиленія и даже до благодарности Богу, вложившему мысли Лабзина издавать сей журналъ. Онъ многихъ обратилъ, если не отъ развращенія жизни, то по крайней мѣрѣ отъ развращенія мыслей, бунтующихъ противъ религіи».

Нѣкоторые изъ противниковъ мистики, частію по невѣжеству, а частію по изувѣрству, скорѣе вредили себѣ, чѣмъ противному имъ дѣлу. Ревность не по разуму внушала имъ такія обвиненія, которыя не могъ признать справедливыми ни одинъ благомыслящій читатель. Они были даже смѣшны въ своемъ слѣпомъ ожесточеніи, потому что на ряду съ мистическими книгами ставили книги совершенно иного рода, безразлично обзывая тѣ и другія антихристіанскими, еретическими, бѣсовскими, революціонными. Такими именно замѣтками характеризуетъ ихъ Фотій, архимандритъ юрьевскій (**). Кто читалъ Штиллинга и Эккартсгаузеня и кромѣ того зналъ біографію этихъ лицъ, тотъ, конечно, не могъ понять, съ какой стороны слѣдуетъ причислить ихъ къ революціонерамъ или видѣть въ нихъ адептовъ энциклопедіи, какъ это видѣлъ Анастасевичъ въ своей одѣ: «Аттила девятого-надесять вѣка» (т. е. Наполеонъ) (1812) (***). Въ 1816 г., переводчикъ Московской Медико-Хирургической Академіи, губернской секретарь Степанъ Смирновъ, написалъ письмо къ Императору о богохульныхъ книгахъ, въ свое время произведшее говоръ (****). Въ числѣ семи книгъ, имъ указанныхъ, значатся: Агаоклесь или письма изъ Рима и Греціи, г-жи Пихлеръ, и Мученики, Шатобріана!! Наиболѣе опасною почитается Штиллигова «Побѣдная повѣсть», въ которой, «подъ видомъ изъясненія Апокалипсиса, содержатся оскорбительныя хуленія христіанства, наипаче греческаго исповѣданія». Рѣзкое, но мало толковое опроверженіе этихъ хуленій, написанное Смирновымъ, подъ заглавіемъ: «Вопль жены, облеченной въ солнце» (*****), не было издано.

(**) Письмо отъ 7 іюля 1806 г. (Москвитянинъ 1848, № 8, стр. 173—174), слѣдов. послѣ полугодичнаго изданія журнала.

(**) См. списокъ сочиненій, подвергавшихся критикѣ Фотія (Обзоръ рус. духов. литературы, Филарета, кн. 2, стр. 168—169).

(***) Въ примѣчаніи къ стихамъ:

Наказанны бичемъ народы
Познаютъ благо той свободы,
Чтобъ власти вѣровать святой.

Замѣтимъ, что Штиллингъ и Эккартсгаузенъ честились прозвищемъ революціонеровъ, не только въ религіозномъ, но и въ политическомъ смыслѣ.

(****) Чтенія въ Обществѣ исторіи и древностей русскіихъ, 1858, кн. 4.

(*****) Записки о жизни Филарета, Н. Сушкова (1868), стр. 109.

Тоже сочиненіе Штиллинга обратило на себя вниманіе другаго критика. Экземпляръ его, поступившій изъ Библіотеки Царскаго Села въ И. П. Библіотеку, весьма любопытенъ по отмѣткамъ и припискамъ, сдѣланнымъ во многихъ мѣстахъ неизвѣстно чьею рукою. Этотъ неизвѣстный читатель, въ произведеніи, объясняющемъ Апокалипсисъ по мистико-религіозному толку, усмотрѣлъ лукавую проповѣдь масона, карбонара и революціонера. Заглавіе книги (Побѣдная повѣсть или торжество вѣры христіанской, твореніе І. Г. Юнга Штиллинга) съ прибавками, ниже означенными курсивомъ вышло слѣдующее: *«Планъ и манифестъ революціи, подъ красивымъ названіемъ: Побѣдная повѣсть или торжество безвѣрія, подъ именемъ вѣры христіанской, твореніе І. Г. Юнга Штиллинга, единственнаго изъ усердныхъ членовъ тайныхъ обществъ. Не переводъ, а большею частію поддѣлка русскаго карбонарія о Россіи и для Россіи»*. Приводимъ образчики критическихъ замѣтокъ:

На стр. 223, переводчикъ говоритъ въ выносѣ: «Слѣдовательно, любезный читатель, по словамъ автора, худа надежда на миръ, какой бы ни заключили. Кровію должна омыться земля, ибо кровію очищаются беззаконія. Французы, изъ коихъ составляется Франція, большею частію рождены или воспитаны среди ужасовъ революціи и къ нимъ привыкли». Подъ этой выноской читатель написалъ: *О Царь! возьми мѣры: 1824!... 9 лѣтъ отъ заключенія мира (*)*.

На стр. 247—248 говорится, что апокалипсическій звѣрь есть человѣкъ, великій властитель, какъ бы онъ ни назывался—папою, королемъ, императоромъ или просто генераломъ—и что онъ-то есть собственно антихристъ. Въ выносѣ къ слову «императоромъ» Лабзинъ, смотрѣвшій на это мѣсто въ книгѣ, какъ на пророчество, замѣтилъ: «сей пунктъ весьма примѣчателенъ, ибо писанъ авторомъ, когда Франція была республикою». Противъ выноски написано: *Уже ли Наполеонъ?—врешь, діаволе*.

На стр. 277-ой, авторъ выражаетъ мысль, что Церковь, ко времени пришествія Господня, пріобрѣтетъ общественный духъ, который получитъ чистѣйшее направленіе къ единому на потребу, и что сей общій духъ есть чадо жены, облеченной въ солнце. Читатель отмѣтилъ на полѣ: *конституція*.

На стр. 376, при словахъ: «Мы теперь живемъ въ вечеру пятницы, и въ навечеріи субботы, въ 8-мъ часу: и такъ, братья, бдите и молитесь, и возжигайте свѣтильники! Въ 1836 г. будетъ 3 или 4 минуты девятаго и намъ остается ждать около трехъ четвертей часа только», читатель замѣтилъ: *терминъ революціи подъ видомъ религіознымъ*.

Кромѣ того, на многихъ страницахъ, слова и даже цѣлыя строки подчеркнуты чернилами, какъ скрывающія въ себѣ зловерный смыслъ, крамольныя тенденціи, и противъ подчеркнутаго, вмѣсто положительныхъ заявленій, стоитъ на поляхъ иногда слово *чти!* а иногда слово *зри!* (**).

Наконецъ таже самая книга, вмѣстѣ съ четырьмя другими: Избранныя творенія г-жи Гіонъ, Воззваніе къ человѣкамъ о послѣдованіи внутреннему влеченію Христову, Тайнство Креста, Евангеліе отъ Матоея (католическаго патера Госнера), подверглась разбору и осужденію въ «Запискѣ о крамолахъ враговъ Россіи» (***). Общее

(*) Переводъ Побѣдной повѣсти нап. въ 1815 г., по окончаніи войнъ съ Наполеономъ.

(**) Судя по характеру и тону замѣтокъ, рѣшаюсь приписать ихъ извѣстному архимандриту Фотію.

(***) Рус. Арх. 1863, стр. 1329—1391. См. также: Записки (сокращенныя) А. С. Шишкова (1863) и Записки (полныя), мнѣнія и переписка А. С. Шишкова, изданіе Н. Киселева и Ю.

миѣніе какъ ооъ этихъ такъ и о подобныхъ имъ книгахъ, во множествѣ выпущенныхъ въ свѣтъ, состоитъ въ томъ, что «въ каждой изъ нихъ къ фунту пшеничной муки примѣшанъ фунтъ мышьяку, и потому онѣ, сладко питая своихъ читателей, вмѣстѣ пріятно отравляли ихъ».

Самое сильное нападеніе вообще на мистику и въ частности на Сіонскій Вѣстникъ было сдѣлано книгою Станевича: «Бесѣда на гробѣ младенца о безсмертіи души» (*). Хотя авторъ и держится того миѣнія, по которому мистики почитались замаскированными революціонерами, врагами правительства и отечества, поклонниками дьявола, но по крайней мѣрѣ критика его направлена противъ всѣхъ почти пунктовъ мистическаго ученія и не довольствуется одними голословными порицаніями. Онъ входитъ въ разборъ каждаго пункта и старается показать его противорѣчіе понятіямъ церковной доктрины. «Мистикою» называетъ онъ то лжеученіе, которое, превращая Св. писаніе въ инносказательный, духовный и таинственный смыслъ, старается затмить истинный разумъ онаго и непровергнуть вѣру и церковь. Главнымъ обвиненіемъ служить взглядъ мистиковъ на церковь: оно составляетъ существенное содержаніе книги. Это понятно: никакая церковь не можетъ дозволить, чтобы въ средѣ ея, какъ видимомъ собраніи христіанъ, исповѣдующихъ Господа не единымъ сердцемъ только, но и едиными устами, водворилась, независимо отъ нея и съ притязаніями на верховенство, какая-то другая, невидимая, внутренняя церковь, втайнѣ пребывающая со временъ Адама, имѣя притомъ во главѣ моравскую общину или, по малой мѣрѣ, группируясь вокругъ нея, какъ около центра. Большая часть книги занята отверженіемъ такого покушенія отдѣлать избранниковъ вышней вѣры отъ просто вѣрующей толпы, какъ будто это отдѣленіе есть дѣло мірскаго суда. Церковь одна—видимая: вотъ тезисъ, на которомъ критикъ утверждаетъ всю свою полемику. «На землѣ», говоритъ онъ, «ни церковь безъ вѣры, ни вѣра безъ церкви стоять и существовать не могутъ. Отдѣляющій вѣру отъ церкви можетъ имѣть вѣру, но не вѣру Христову. Сказано: *и бѣси вѣрують* (Іак. II, 19), только они вѣрують по своему... Хотѣтъ обрѣсти Спасителя вѣкъ церкви видимыя есть отвергнуться его не-возвратно.... Милліоны племенъ чтутъ видимую церковь и признають ее за истинную: слѣдовательно, по миѣнію лукавыхъ учителей, всѣ сін племена не принадлежать къ

Самарина, 2 т. (Берлинъ, 1870). Сочиненіе Записки приписываютъ князю С. Шихматову, любимцу Шипкова.

(*) Первое изданіе этой книги (1818), въ министерство кн. Голицына, было запрещено, за содержащіяся въ ней «зловредныя и протѣвныя нашему вѣроисповѣднію правила», но въ 1825-мъ разрѣшено второе изданіе оной, по представленію Шипкова, который, такимъ образомъ, загладилъ несправедливость своего предшественника.

Заглавіе книги объяснено авторомъ въ концѣ ея (стр. 304) словами, обращенными къ матери умершаго младенца: «я избралъ лучше содѣлать гробъ вашей дочери мѣстомъ христіанскаго поученія, назиданія, просвѣщенія, нежели надгробнымъ рыданіемъ». Авторъ сознавалъ смѣлость своего дѣла въ виду увлеченія мистикою: «Не неизвѣстенъ мнѣ духъ настоящаго времени, почему очень знаю, какъ многіе вознегодуютъ за такой отзывъ мой о нынѣ дѣлаемыхъ у насъ писателяхъ (Сенъ-Мартенъ, Дю-Туа), но также знаю, что *повиноватися подобаетъ Богови нче нежеми челоуѣкомъ* (Дѣян. V, 29). Придутъ времена, прореченныя Іисусомъ, апостолами и пророками, когда антихристъ возсидеть на мѣстѣ святѣ, а вѣдь онъ сидеть не безъ помощи людей, которые равно будутъ защищать его царство и ученіе: вотъ и тогда избранные почтутся за безумцевъ. Чувствуя лѣсть оныхъ писателей, ужели должно мнѣ быть столько безстыдну, чтобы, убоясь челоуѣковъ, забыть судъ Божій и измѣнить церкви и Богу? И уже ли я долженъ повѣрять ученикамъ, когда вижу, по благодати Божіей, заблужденія ихъ учителей?» (выписка на стр. 74).

ихъ собору; слѣдовательно, если мы исключимъ ихъ, то, за исключеніемъ таковыхъ, останется толь малое число для наполненія онаго собора, что ужъ и малое дитя воз-
можетъ исцелить оное. Богъ же, напротивъ, обѣтоваль себѣ вѣрныхъ толь великое
множество, яко песокъ морскій, иже не изчтется отъ множества» (*). Извѣстная
намъ статья Сіонскаго Вѣстника: «Догматы квакеровъ» вызвала самую рѣзкую вы-
ходку. Станевичъ называетъ выраженные въ нихъ понятія «богомерзкими». Выпи-
савъ слова о пребываніи Христа во всѣхъ смертныхъ отъ чрева материя и о без-
предѣльности Христовой Церкви, заключающей въ себѣ весь родъ человѣческій (**),
онъ заключаетъ: «слѣдовательно явно, что сочинитель сего христоненавистнаго ученія
мнитъ и вѣрить, что Христосъ уже отъ чрева материя обитаетъ въ жидяхъ, маго-
метанахъ, язычникахъ! Остается съ ужасомъ спросить: гдѣ мы? Ахъ! до какихъ
горестныхъ временъ дожили, что немолчащимъ антихристовымъ устами молчать уста
православія. Что! Или Христосъ есть нѣкое метафизическое понятіе, о которомъ
можно позволить спорить и говорить, что на умъ взбредеть? Малѣйшее оскорбитель-
ное о царѣ слово взыскивается отъ хулителя, а хула на Царя царей неужели ни
во что выѣнится? И еще на Царя, который толико возлюбилъ насъ, что восхотѣлъ
быть по насъ клятвою, да насъ искупить изъ челюстей адовыхъ» (***). Въ 1820 г.
вышла переведенная съ французскаго книга: «Воззваніе къ человѣкамъ о послѣдованіи
внутреннему влеченію духа Христова». Въ теченіи шести мѣсяцевъ она имѣла два
изданія. Сущность ея состоитъ въ развитіи той мысли, что все доброе въ человѣкѣ
происходитъ отъ врожденнаго, всегда ему присущаго божественнаго инстинкта, на
которомъ основана религія; что этотъ инстинктъ, какъ сердечное чувство человѣка,
изъясняетъ ему волю Божию, никогда его не обманываетъ; что на высшей степени
своего дѣйствія онъ есть Слово, Богомъ изрекаемое въ человѣкѣ (****). Положенія
эти тождественны съ указаннымъ ученіемъ мистиковъ о внутреннемъ откровеніи,
дающемъ каждому возможность соединиться съ Богомъ. Станевичъ возстаетъ противъ
инстинкта, называемаго также совѣстью: «Чтобы пріять въ себя Христа, надобно
вѣрить Ему и вѣровать въ Него такъ, какъ церковь поучаетъ, а не принимать за
Христа *ничто* произвольное, или совѣсть, которую и Сенека называлъ живущимъ
внутри человѣка Богомъ. Когда бы сіе такъ было или быть могло, въ какого бы
Христа одолажались вѣрные тогда вѣровать? Развѣ можетъ быть вѣра въ совѣсть?
Для того-то безъ церкви увѣреніе наше есть ложное и суетное: ибо существенное
дѣло не въ увѣреніи, но въ правдѣ увѣренія. Человѣкъ можетъ быть увѣренъ въ
дѣйствительности своего увѣренія; но какъ увѣрится онъ въ правдѣ такого увѣренія?
Человѣкъ можетъ за многое въ себѣ ручаться, ибо то будетъ дѣйствіемъ его вну-
тренняго опыта, но не за правду, которая должна приходить къ нему отъишуда—
отъ Бога, чрезъ видимую для всѣхъ вещь, какъ почерпаютъ изъ источника чистѣй-
шую воду, изъ источника, мѣсто коего всѣмъ извѣстно» (*****). Въ нѣкоторыхъ
мистическихъ сочиненіяхъ выражена мысль о раскаяніи сатаны и его разрѣшеніи,—

(*) Стр. 9, 12, 43 и 44.

(**) С. В. 1817, декабрь, стр. 414 и 415.

(***) Бесѣда на гробѣ младенца, стр. 298—299, въ выноскѣ.

(****) Отзывъ объ этой книгѣ одного священника см. въ Запискѣ о крамолахъ враговъ Рос-
сіи (Рус. Арх. 1868, стр. 1360—1367).

(*****) Бесѣда на гробѣ младенца, стр. 271—272.

мысль, основанная на произвольномъ толкованіи словъ апостола Павла: «Якоже о Адамъ вси умирають, такоже и о Христѣ вси оживутъ» (1 Кор. XV, 22), на мнѣніи Оригена и на томъ соображеніи, что несогласно съ представленіемъ о правосудіи и благодати Бога представленіе несоизмѣримости между временной виной и вѣчными за нея муками. Мартинецъ Паскуалисъ (XVIII в.) провелъ эту мысль въ трактатѣ «о возстановленіи существъ», и Сенъ-Мартенъ усвоилъ ее отъ своего наставника въ мистикѣ: «въ концѣ временъ, духъ-возмутитель совлечетъ съ себя гордыню и войдетъ во всеобщую гармонию» (*). Станевичъ отвергаетъ и тѣнь возможности когда-либо соединить богоненавистную сущность съ естествомъ Божиимъ: «чтобы изъ демонскаго порожденія породить сыновъ благодати—сего ниже Богу возможно, не преставаши быть тьмъ, чѣмъ Онъ есть. Доколѣ Богъ есть Богъ, діаволъ долженъ пребыть діаволомъ. .. Судъ Божій надъ сатаною и аггелами его, непреложный чрезъ всю нескончаемость вѣчности, и есть то, что долженствуетъ служить неугасаемымъ свидѣтельствомъ неизмѣнности праведнаго его гнѣва на преступающихъ и унижающихъ его повелѣнія.... Какимъ образомъ діаволъ отыметься самъ отъ себя и, не преставаъ быть собою, содѣлается благимъ? Куда же дѣнется то, что въ немъ было демонскаго? Какъ измѣнится злая сущность на естество благое?... Вѣдаемъ, что у лже-мистиковъ чистительный огонь благодати всегда готовъ; но огонь чистительный есть огонь очищающій: отъ чего же станетъ онъ очищать зло? Онъ очищаетъ золото: это—любимое у мистиковъ доказательство. Но Священное Писаніе говоритъ о семъ огнѣ примѣнительно къ естеству человѣческому, а не къ демонскому; ибо и огонь не золото отъ золота, но всякую, золоту чуждую примѣсь отъ самого золота очищаетъ; самой же примѣси никогда въ золото не обращаетъ. Доколѣ въ человѣческой волѣ сколько нибудь остается еще принадлежащаго демону, дотолѣ онъ не безъ надежды на спасеніе: онъ можетъ паки вообразить въ оной образъ истины, освобождающей его отъ тьмы, и содѣлаться чадомъ благодати; но когда воля его содѣлается уже престоломъ похотей діавольскихъ, тогда сей человѣкъ изъ сына свободы творится сыномъ погибели, творящимъ похоти отца своего» (**). Станевичъ смѣется также надъ таинственнымъ мракомъ мистиковъ. Что такое этотъ таинственный или божественный мракъ? «Онъ есть тотъ неприступный свѣтъ, въ которомъ, по словамъ Писанія (1 Тим. VI, 16), живетъ Богъ. И поелику онъ отъ чрезвычайнаго сіянія невидимъ и отъ преизбытка пресущественнаго свѣта неприступенъ, то пребываетъ въ немъ только тотъ, кто достоинъ знать и видѣть Бога, и истинно пребывая въ немъ выше видѣнія и познанія, чрезъ сіе самое невидѣніе и незнаніе познаетъ то, что онъ выше чувственнаго и умнаго» (***). Мракомъ называется онъ потому, что свѣтъ Божій одолеваетъ разумъ и помрачаетъ его, подобно тому, какъ солнце при восходѣ своемъ помрачаетъ звѣзды (****). Сперанскій также говоритъ о сумракѣ вѣры, какъ главнымъ предметъ духовной жизни (*****). Станевичъ, приведя слова изъ одного Фенелонава письма: «подобно подражать вѣрѣ Авраама и всегда идти—не зная куда идешь», пишетъ: «сколько уродливыхъ понятій породило такое понятіе! Не диво, что

(*) Franck: La philosophie mystique en France.—Swinden: Recherches sur la nature du feu de l'enfer et du lieu où il est situé, 1757 (пер. съ англ.).

(**) Бесѣда на гробѣ младенца, стр. 41, 70, 125.

(***) Пятое письмо съ именемъ Діонисія Ареопагита (Хр. Чт. 1825, ч. 19, стр. 243--244).

(****) Бож. философія, т. 5, кн. 5, гл. 4, стр. 31—32 (въ выноскѣ).

(*****) Письма къ Цейеру (Рус. Арх. 1870, стр. 179 и 196).

мистики, блуждая въ таинственномъ своемъ мракѣ (*sacra caligo*), не усмотрѣли того, что Авраамъ получилъ повелѣніе отъ Бога и слѣдственно, хотя не зналъ пути, но очень вѣдалъ, что повелѣніе дано ему не отъ кого другаго, какъ отъ самого Бога: заповѣдь же Господня свѣтла, просвѣщающая очи (Ис. XVIII, 9). Богъ вѣдалъ, куда посылалъ Авраама, и Авраамъ вѣдалъ очень, что знаетъ Богъ куда посылаетъ его: потому очень вѣдалъ и сіе, что послушаніе наче всякія жертвы предъ Богомъ. Слѣдовательно вѣра Авраамова не была темная, но, какъ заповѣдь Божія, свѣтлая, когда она выполняется. Тотъ же, напротивъ, не можетъ идти какъ не во тьмѣ, кто, не повѣривъ церкви, предается самъ себѣ подъ гнуснымъ предлогомъ, яко бы изъ самоотверженія послѣдуетъ влекущей его волѣ Божіей, между тѣмъ какъ онъ, якоже волъ на заколеніе ведется и яко песь на узы, отъ того что послѣдовалъ въ объюрдѣніи своемъ той церкви, которой путіе, ведя къ дому адову, низводятъ въ сокровища смертная (Притч. VII, 22, 27)» (*). Далѣе вооружается Станевичъ противъ теософін, т. е. познанія Бога изъ натуры—не въ смыслѣ богопознанія естественнаго, всѣми признаваемаго, а въ смыслѣ познанія таинствъ и дѣйствій христіанства: «Слово Божіе дается на то, да въ немъ, а не въ природѣ, учатся познанію Бога. Одно изъ двухъ: или природа для сего не нужна, или слово Божіе. Учащійся въ откровеніи пойдетъ ли еще усовершенять свое познаніе о Богѣ въ природѣ? ибо или слово откровенное выше природы, или природа выше откровенія; сядъ. или отъ слова Божія не для чего возвращаться къ природѣ, или отъ природы не за чѣмъ идти къ слову Божію... Ужели мистики, выхваляющіе намъ числительную свою мудрость, сами преткнулись о камень ея и забыли сіе правило науки оныя, что ежели два уравненія равны одному какому-нибудь, то и сами они порознь равны между собою, и что, слѣдовательно, ежели Христосъ есть Слово Божіе, и натура также, то надобно, чтобы и натура и Христосъ были у нихъ одно и тоже» (**). Кромѣ того отвергаются и другіе предметы: мистическое созерцаніе Бога, «въ которомъ человѣкъ видитъ все, не видя ничего, и въ которомъ видѣть что было бы у него обращеннымъ на себя самолюбіемъ»; мистическую любовь къ Богу—«странную, духу церкви чуждую и противную, и потому достойную именоваться духовною похотью»; поглощеніе или упраздненіе вѣры этою любовью, что «есть виѣсть упраздненіе лица того, въ него же вѣровать подобаетъ» (***).

Одни изъ современниковъ осуждали книгу Станевича; другіе, напротивъ, находили ее правдивою (****). Надобно пожалѣть, что критика мистическаго ученія, какъ оно выражалось въ Сіонскомъ Вѣстникѣ, и преимущественно по отношенію его къ церкви, исходила отъ человѣка свѣтскаго, а не отъ авторитетнаго лица ея служителей. А такіе авторитеты тогда были: Михаилъ, Филаретъ, Иннокентій, Феофилактъ. Нѣтъ, впрочемъ, сомнѣнія, что ихъ молчаніе имѣло вполне уважительныя причины.

У людей ученыхъ или вообще тѣхъ, которые дорожили положительнымъ знаніемъ, наукой, была иная причина къ недовольству мистикой. Они стояли за права разума, какъ главнаго орудія при изслѣдованіи природы и человѣка, тогда какъ мистика ставила выше всего непосредственное созерцаніе, вовсе не нуждающееся въ умственной пытли-

(*) Беседа на гробѣ младенца, стр. 276—282.

(**) Ib., стр. 60—61, 228.

(***) Ib. 52, 85, 307.

(****) Записки о жизни Филарета, Н. Сущкова, стр. 109—111.

вості, способной только, по ея взгляду, постигать видимость дольняго міра. Поэтому, когда мистики случайно или намеренно заходили въ область научной спеціальности, противники антинаучнаго образа мыслей любили обличать ошибки или незнаніе неприванныхъ ученыхъ. Примеромъ такого обличенія служить разборъ одной книги Эккартегаузена, переведенной У. М. (Дабзинимъ): «О фосфорной кислотѣ, яко вѣрнѣйшемъ средствѣ противъ гнилости» (1811). Она содержитъ въ себѣ частію химическія, частію медицинскія положенія о чистотѣ и порчѣ воздуха, составныхъ частяхъ его и пронехожденіи въ немъ заразы, о кислотахъ и о фосфорной кислотѣ въ особенности. Содержаніе приправлено метафизико-моральнымъ введеніемъ о вредныхъ дѣйствіяхъ страстей человѣческихъ. Критикъ сильно напалъ на автора. По его мнѣнію. Эккартегаузенъ въ дѣлѣ науки невѣжда, не имѣющій понятія ни о газахъ, ни о различіи между ядами и заразами, незнающій даже что такое разлагеніе, химическое сродство и механическое смѣшеніе. Познанія «трансцендентальнаго богослова», какъ величали въ Германіи Эккартегаузена, называетъ онъ ничтожными, а сужденія нелѣпыми. Дабзинъ, въ предисловіи къ переводу, замѣтилъ, что Штиллиниъ писалъ для простыхъ людей, а Эккартегаузенъ для учившихся и упражнявшихся въ наукахъ. Критикъ возражаетъ: «Эккартегаузенъ никогда не имѣлъ въ Германіи имени истинно-ученаго писателя, хотя у насъ отъ многихъ почитается оракуломъ просвѣщенія, и по своему великому невѣжеству писать для упражняющихся въ наукахъ не могъ: онъ мѣшаетъ метафизику съ арифметикою, богословіе съ химіей, правоученіе съ скотоврачебною наукою, отъ созерцанія существа души нисходитъ до опытовъ въ хлѣвахъ, а отъ философическаго разсматриванія природы до шарлатанства». Къ стыду нашего времени, говорится въ заключеніи этого отзыва, сочиненія его переводятся на нашъ языкъ (*). Но авторъ книги нашелъ себѣ защитника въ Невзоровѣ, объявившемъ, что Эккартегаузенъ могъ лучше Шоптала знать химию и созерцать таинства природы, ибо былъ больше христіанинъ, водимый высшимъ свѣтомъ, тогда какъ французскіе ученые были водимы одною языческою мудростію (**). Подобный аргументъ, конечно, не могъ убѣдить критика С.-п.бургскаго Вѣстника. И въ другихъ журналахъ раздавались жалобы на мечтанія нѣмецкихъ мистиковъ, пользовавшихся у насъ большою извѣстностію. По поводу предсказаній Штиллинига о преставленіи свѣта въ 1836 г. (въ Ноябрьной повѣсти), издатель «Духа журналовъ» серьезно замѣтилъ: «мнѣ кажется, долгъ всѣхъ благомыслящихъ писателей, а особливо богослововъ православной церкви, требовалъ бы опровергать странныя и вредныя мнѣнія, распространяемыя сямъ *большымъ* человѣкомъ, который впрочемъ нравственною цѣлію своихъ сочиненій, добромъ, которое онъ оказываетъ страждущему человечеству, и примѣромъ добродѣтельной жизни заслуживаетъ любовь и уваженіе своихъ современниковъ» (***). Большинство же, не имѣющее ни возможности, ни желанія опредѣлять въ точности значеніе предмета, съ именемъ мистики не связывало никакого яснаго понятія, а разумѣло подъ нею что-то смутное, непонятное, слѣдовательно противное уму, неразумное. Карамзинъ, наблюдавшій за всѣми движеніями общества, въ томъ

(*) С.-п.бургскій Вѣстникъ, 1812, кн. 8.

(**) Другъ юности, 1813, іюнь (ст.: Мои мысли о сочинителѣ книги «о фосфорной кислотѣ»).

(***) 1816 г. № 32, о преставленіи свѣта. За эту статейку издатель Яценевъ получилъ замѣчаніе отъ министра народнаго просвѣщенія, кн. Голицына (Беседа въ обществѣ любителей Рос. Словесности, вып. 3, стр. 20).

числѣ и за мистицизмомъ, относился къ нему прощически и даже называлъ его *вздоро-
логіею*. Вотъ одно мѣсто изъ его письма къ И. И. Дмитріеву, въ 1817 г.: «я
засмѣялся, читая о Кошелевѣ: онъ будетъ министромъ развѣ *вышняго* просвѣщенія.
Соединеніе двухъ министерствъ (духовныхъ дѣлъ и просвѣщенія) послѣдовало съ тѣмъ
намѣреніемъ, чтобы мірское просвѣщеніе сдѣлать христіанскимъ. Отнынѣ кураторы
будутъ люди извѣстнаго благочестія. Клингеръ уволенъ: мнѣ сказывали, что онъ счи-
тается вольномыслящимъ. Не мудрено, если въ наше время умножится число лице-
мѣровъ» (*). Опасеніе Карамзина дѣйствительно сбылось, какъ ниже увидимъ.

Какъ всякое движеніе мысли, мистика могла отражаться въ литературѣ. Будучи
ученіемъ о внутренней, сокровенной жизни съ Богомъ, о Христѣ въ насъ, она да-
вала поводъ къ *дидактическимъ* произведеніямъ, съ цѣлію изложить существенныя
его догматы въ назиданіе христіанамъ. Но для поэтического воспроизведенія самой
жизни мистика, ея духовныхъ подвиговъ и чувствъ, ея личныхъ опытовъ и пріобрѣ-
таемыхъ ими откровеній и блаженнаго состоянія — приличнѣйшею литературною фор-
мою должна была служить, конечно, *мирика*.

Изъ сочиненій дидактическаго рода, состоящихъ въ связи съ мистическими иде-
ями и посвященное ихъ представленію, замѣчательна поэма Хераскова: «Владиміръ
возрожденный» (1785). Руководствомъ автору служили «многія духовныя книги,
бесѣды съ цѣломудренными мужами и собственный опытъ». Повѣсть очень уважа-
лась масонами и мистиками. По отзыву одного изъ нихъ, въ поэмѣ много христіан-
скихъ истинъ, полезныхъ и душеспасительныхъ для человѣка (**). Лабзинъ бралъ
изъ нея отдѣльные стихи въ эпиграфы къ своимъ переводамъ Экартегаузена (***).
Вниманіе читателя прежде всего останавливается на эпитетѣ Владиміра: почему «воз-
рожденный», а не просто «крещенный»? Объясненіе дается самимъ авторомъ: онъ
имѣлъ въ виду не столько разсказать о просвѣщеніи Руси христіанствомъ,
сколько изъяснить сокровенныя чувствованія души, борющейся самой съ собою. Онъ
совѣтуетъ читать «Владиміра» какъ повѣсть о странствованіяхъ человѣка путемъ
истины, на которомъ онъ, послѣ долгой борьбы со страстями, достигнувъ просвѣ-
щенія, возрождается. Но есть и другое объясненіе, указываемое понятіемъ мистиковъ
о крещеніи. Въ этомъ таинствѣ различаютъ они двѣ степени: крещеніе водою и кре-
щеніе духомъ и огнемъ. Первое, какъ приготовительное ко второму, есть крещеніе
въ покаяніе (крещеніе Іоанново); второе, какъ совершительное, есть крещеніе въ
жизнь Бога (крещеніе Іисусово). Первое отверзаетъ вѣрующимъ только преддверіе
храма Господня; второе провождаетъ ихъ во святая и святая святыхъ. Надобно кре-
ститься духомъ, чтобы увѣдать тайны христіанства, по словамъ апостола Павла (1 Кор.
II, 10). Тайны эти извѣстны только внутреннимъ христіанамъ, а не внѣшнимъ,
только возрожденнымъ, а не невозрожденнымъ (****). Въ небольшой книжкѣ: «Дру-

(*) Письма Карамзина къ Дмитріеву (1866), стр. 204.—Кошелевъ—оберъ-прокуроръ синода,
членъ государственнаго совѣта. Дмитріевъ, въ письмѣ къ Карамзину, вѣроятно, думалъ, что
Кошелева назначатъ министромъ просвѣщенія. Соединеніе обоихъ министерствъ послѣдовало
въ 1817 г.: управлялъ ими кн. А. Н. Голицынъ, который, находя Клингера слишкомъ вольно-
думнымъ, уволилъ его отъ должности попечителя дерптскаго университета.

(**) Встрѣча съ мартинистами, С. Аксакова (Рус. Бесѣда 1859, № 1).

(***) На прим.: Путешествіе младаго Костиса (1801), Наставленіе мудраго испытанному
другу (1803), Важнѣйшіе гіероглифы для человѣческаго сердца (1803), Ночи или бесѣды мудраго
съ мудрымъ (1804) и др.

(****) С. В. 1817, іюль, стр. 24 и 113; 1818, январь, 41—43 и дал.

жескій совѣтъ всѣмъ тѣмъ, до кого сіе казаться можетъ» (1813) слѣдующія строки возбудили вниманіе современниковъ: «ты думаешь, вѣроятно, что крещеніе уже возродило тебя, но берегись обмануться заблужденіемъ, столь же опаснымъ, сколько вмѣстѣ съ тѣмъ и общимъ. Крещеніе есть обрядъ наружный, совершаемый надъ тѣломъ; новое рожденіе есть внутренняя работа надъ душою. Крещеніе есть только знакъ, сущность коего есть возрожденіе. Крещеніе производится подобными тебѣ людьми; новое рожденіе есть дѣйствіе единого Святаго Духа. Великое множество крестившихся не вошло во врата жизни, но ни одинъ изъ истинныхъ возрожденныхъ никогда по сую сторону оныхъ не оставался» (*). Прибавимъ къ этому, что Лабзинъ, въ статьѣ «о чтеніи духовныхъ книгъ» цитировалъ, разумѣется, съ цѣлю подкрѣпить себя авторитетомъ во взглядѣ на крещеніе, нижеслѣдующее мѣсто изъ Церковной россійской исторіи, митрополита Платона: «Владиміръ по ревности поснѣшилъ, а духовные греческіе рады были, чтобъ изъ язычниковъ сдѣлать христіанами чрезъ святое крещеніе: ибо сіе есть гораздо легче, нежели правилами Евангелія просвѣтить каждаго мыслъ, насадить въ сердце плодоносную вѣру и открыть ему, или паче вселить въ него, духъ Христовъ» (**). Херасковъ, нѣтъ сомнѣнія, не отдѣлялся по своимъ взглядамъ отъ «цѣломудренныхъ мужей», съ которыми любилъ бесѣдовать. Укажемъ нѣсколько мѣстъ во «Владиміръ», выражающихъ мистическія идеи.

Въ 7-й пѣснѣ описывается долина, въ которой жилъ христіанинъ Идодемъ, братъ жреца Пламида, съ Законестомъ и Версоной, также христіанами. Владимиръ, преодолевъ «адскія препоны» (душевные слабости), вступаетъ въ эту долину и, пораженный ея чудесными красотами, думаетъ видѣть мечту или сонъ. Идодемъ разувѣряетъ его:

... ты видишь не мечту,
Но обнаженную природы красоту,
Въ мракѣ тлѣнности сокрытую глубокою....
Являетъ вся страна, какъ въ зеркалѣ, сія
Всѣхъ созданныхъ вещей ликъ *накибытія*.
Дабы передъ тобой дѣла свои прославить,
Творецъ духовный міръ хотѣлъ тебѣ представить,
Какимъ онъ прежде былъ и долженъ быть каковъ,
Когда отъ тлѣнности изыдетъ изъ оковъ....
Сіе отъ тлѣнности въ нетлѣнность прехожденье
Не можетъ *звѣздное* постигнуть *разсужденье*.

Подъ словомъ «накибытіе» Херасковъ разумѣетъ преображеніе природы, достиженіе ею того блаженства, котораго она ждетъ и о которомъ воздыхаетъ, какъ мы видѣли, излагая теософическія воззрѣнія мистиковъ. Преображеніе это, по словамъ Дю-Туа, наступитъ по исполненіи числа избранныхъ: «Тогда благороднѣйшія начала, кои нынѣ матерія скрываетъ, освободясь, содѣлаютъ шаръ нашъ прославленнымъ и обратятъ его въ матерію сіяющую. Въ натурѣ все имѣетъ свои подобія и образы;

(*) Стр. 28—29. Брошюрка эта подверглась было преслѣдованію со стороны главнокомандующаго въ Москвѣ, гр. Растопчина, но, по докладу о томъ Государю, повелѣно было разрѣшить ея выпускъ въ продажу (Бесѣды въ Обществѣ любителей Рос. Словесности, вып. 3-й, стр. 13—15). Авторъ ея—Д. П. Руничъ, бывшій потомъ попечителемъ петербургскаго университета. См. Письма къ нему Лопухина (Рус. Архивъ 1870 г.).

(**) Кратк. Церков. Рос. Исторія изд. 1805 г. ч. 1; стр. 127 (С. В. 1806, іюнь, стр. 280).

равнымъ образомъ и сказанное мною здѣсь преобразуется драгоценными камнями, находящимися въ недрахъ земли. Святый градъ Новый Іерусалимъ (Апокалипсисъ) будетъ столько же, или еще и болѣе, блистать, говоря просто о физическомъ прославленіи, а не разумѣя здѣсь о сіяніи свѣта и любви духовъ, кои въ немъ обитать будутъ» (*).

Преображенные предметы природы являются у Хераскова въ такомъ видѣ при описаніи имъ жилища Идолемова:

Тогда широкія представили дороги
Межъ пальмовыхъ древесъ кристалльные чертоги;
Тамъ своды радужный живыи имѣли пѣтъ,
Отъ стѣнъ происходилъ неизреченный свѣтъ
Непостижимое и дивное явленіе
Изъ удивленія ввергало въ удивленіе.
Князь видитъ предъ собой подобное звѣздамъ
Сіянье чистое кремнистыхъ камней тамъ;
Тамъ солнечны лучи, во златѣ заключены,
Блистають, изъ цѣпей тѣлесныхъ извлечены;
Освобожденная душа серебра видна
Сіяющая тамъ, какъ свѣтлая луна;
Металлы, получивъ изъ плѣна ихъ свободу,
Изображаютъ тамъ кристальну воду;
Всѣ вещи видимы душевныхъ для очей
Во первобытности существенно своей,
Какими созданы онѣ въ духовномъ мірѣ
Невидимыхъ небесъ въ сіяющей порфирѣ.

Если природа приметъ нѣкогда просвѣтленный видъ, то и тѣлу человѣческому доступно такое же прославленіе не только по общему воскресеніи мертвыхъ въ день страшнаго суда, но еще и въ земной жизни, по духовномъ возрожденіи. Статья Сіонскаго Вѣстника: «Дружеская бесѣда въ день преображенія Господня» (**) развиваетъ это положеніе мистики такимъ образомъ: Оаворское явленіе относилось до прославленія тѣла, которое слѣдуетъ за возрожденіемъ и которое также необходимо человеку по слову Апостола: *всесовершенство вашъ духъ и душа и тѣло непорочно въ пришествіе Господа нашего Іисуса Христа да сохранится* (1 Тим. V, 23).... Имъ (преображеніемъ) показано, какую тѣлесность можетъ имѣть сынъ человѣческій *прославленный*, нося оную еще въ смертномъ тѣлѣ своемъ, ибо послѣ видѣнія сего Спаситель снова являлся ученикамъ въ тѣлѣ обыкновенномъ, которое и смерти подвержено было, но силою внутренняго просіянія, или прославленія, по трехъ дняхъ, превратилось въ таковое, которое могло являться *дверемъ затвореннымъ* и сокрываться *зрацими имъ* (ученикамъ) и быть при всемъ томъ истиннымъ тѣломъ, ибо и снѣдное вкушать и осязаемо быть могло. Къ такому преображенію зовутся всѣ сыны человѣческіе, ибо «подобаетъ тлѣнному сему облещися въ нетлѣніе и смертному сему облещися въ безсмертіе». Св. Іоаннъ говоритъ: «нынѣ чада Божія есмы, и не у явися, что будетъ» (Іоан. III, 2). Павелъ же пополняетъ: «преобразить тѣло смиренія нашего, яко быти сему сообразну тѣлу славы Его, по дѣйству, еже возмогати Ему и покорити себѣ всяческая (Филип. III, 21), и открываетъ великую

(*) Бож. Философія, т. I, выписка на стр. 34—37.

(**) 1806, августъ.

тайну, что мы не все умремъ, но все преобразимся, вдругъ, въ мгновеніе ока, при послѣдней трубѣ: вострубить бо, и мертвіи возстанутъ нетлѣнны и мы измѣнимся (1 Кор. XV, 52). Возможность сего измѣненія и въ здѣшней жизни представлена въ самомъ Св. писаніи въ житіи Еноха и Іліи пророка.

По той же мысли, Херасковъ описывалъ новыя, преображенныя тѣла Законеста и Версоны. Князь Владиміръ увидѣлъ ихъ въ славѣ:

Колико видѣ ихъ былъ теперь преображень!
Краснѣйшій изъ мужей, краснѣйшая изъ женъ
Прельщали нѣкогда какъ масличныя лозы,
Теперь являются какъ полны цвѣтомъ розы;
Эдемскіе вѣнцы, свѣтенны изъ лилей,
Сіяли у него и на челѣ у ней.
Князь видитъ лица ихъ, глаголы оныхъ внемлетъ,
Стремится ихъ обнять, но тѣнь одну объемлетъ.

Князь почелъ ихъ за призраки, или подозрѣвалъ хитрость, но Идодемъ выводитъ его изъ заблужденія:

О князь! царю вѣщалъ, тѣла ихъ очищенны:
Сіянье видишь ты, прозрачность видишь ихъ;
Въ небесну плоть прешли невѣста и женихъ.
Не мысли, что сіе видѣнье чародѣйство:
Коварство чуждо намъ и чуждо намъ злодѣйство;
Но вѣдай, что таковъ былъ первый человекъ,
Доколь мірскія тьмы ко свѣту не привлекъ.

Что такое «звѣздное разсужденіе», которое, по словамъ Идолема, не можетъ понять перехода отъ тлѣнности въ нетлѣнность?

Мистики различаютъ, по отношенію къ человѣку, три рода духа или свѣта: стихійный, звѣздный и чистый, или божественный свѣтъ Духа Святаго (*). Божественный былъ присущъ душѣ Адама во время его райскаго блаженства, и онъ долженъ быть воспринятъ каждымъ возрожденнымъ человѣкомъ, по словамъ апостола Павла: «преобразуйтесь обновленіемъ ума вашего» (Римл. XII, 2); естественный же, просто разумный, но не преображенный человѣкъ его не имѣетъ. Второй свѣтъ—свѣтъ разума остался въ Адамѣ и по его паденіи и переданъ отъ него всему потомству. Смотря потому, примѣшивается ли къ нему дѣйствіе чувствъ или не примѣшивается, онъ представляетъ два вида. Дѣйствуя какъ здравый смыслъ человѣка, т. е. пріобрѣтая мысли подъ вліяніемъ вѣшнихъ впечатлѣній, воспринимаемыхъ нашими чувствами, онъ есть «духъ стихійный»; тотъ же умъ, дѣйствуя независимо отъ чувствъ и вѣшнихъ предметовъ, есть свѣтъ или «духъ звѣздный», названный такъ по своему сходству съ свѣтомъ, освѣщающимъ звѣзды и дѣлающимъ ихъ блистательными. Этому звѣздному духу дано знать многое, но не дано вѣдать тайны Божіи, къ какимъ относится и переходъ отъ тлѣнности въ нетлѣнность. Такое вѣдѣніе принадлежитъ только духу божественному (**).

(*) Гамалея принимаетъ три духа: стихійный, звѣздный (разумичный) и христіанскій (Письма, кн. 1, стр. 158; кн. 2, стр. 71).

(**) Бож. фил. Дж-Туа, т. I, глава 1 и особенно гл. 3 (о происхожденіи разума и о звѣздномъ духѣ).

Въ 8-ой пѣснѣ монахъ Киръ объясняетъ Владимиру христіанское вѣроученіе:

Истолковалъ царю преданій смыслъ буквальный,
Потомъ открылъ и свѣтъ и духъ во буквѣхъ дальный,

т. е. направилъ свое истолкованіе къ тому, чтобы въ книгахъ Св. писанія раскрыть смыслъ мистическій, указывающій путь воссоединенія души съ Богомъ.

Въ *средиѣ вѣковъ* вѣковъ родился Божій Сынъ.
Весь міръ Всевышняго угодно было Сыну
Возставить—всѣхъ вещей *чрезъ сердце и средину*.

«Средина временъ или вѣковъ» значить время Рождества Христова, до котораго, по принятому мистиками лѣтосчисленію, прошло отъ сотворенія міра около 4000 лѣтъ (*). Процессъ возрожденія человѣка, говорятъ они, начатый съ перваго дня субботняго, дѣлится такимъ образомъ на два періода, до появленія Спасителя и послѣ Его смерти. Но смертію Богочеловѣка онъ не кончился; божественное сѣмя Слова вѣчной жизни сообщается избранному стаду церкви до тѣхъ поръ, пока Сынъ Божій придетъ со славою во своя и съ избранными воцарится на тысячу лѣтъ (**). Главнѣйшія эпохи міра, по счисленію мистиковъ, оканчивались именно тысящелѣтіями: первая тысяча кончилась божественною жизнію Эноха, вторая—рожденіемъ Авраама, третья—построеніемъ Іерусалимскаго храма, четвертая—пришествіемъ Богочеловѣка. Еслибъ мы имѣли достовѣрную исторію внутренней Церкви Божіей, говоритъ Лабзинъ, то чрезъ 1000 лѣтъ по Р. Х., можетъ быть, открыли бы новый свѣтъ. Онъ же замѣчаетъ, что каждыя два великіе дня міра, или 2000 лѣтъ, составляли весьма важный періодъ. Въ первыя двѣ тысячи Церковь Господня не имѣла никакого наружнаго учрежденія: каждый отецъ былъ царемъ и священникомъ своего семейства. Во вторыя двѣ тысячи Богъ устроилъ наружное церковное правленіе, или теократію, которая по времени соединялась съ монархическимъ правленіемъ. Въ третьи двѣ тысячи Христосъ основалъ духовное свое царство, находящееся съ царствомъ тьмы въ непрестанной брани, которая въ концѣ сего времени взойдетъ на высочайшую степенъ и кончится славною побѣдою Господа. Тогда начнется мирное царство Его или великая суббота, продолжающаяся во все седьмое тысящелѣтіе (***).

«Сердцемъ и серединою» вещей Херасковъ называлъ человѣка въ слѣдующихъ стихахъ той же пѣсни:

Изъ міра цѣлаго Всевышнимъ сокращенный,
Онъ самъ во существѣ міръ малый, совершенный;
Онъ *точка средняя*, онъ *сердце* всей природы:
Въ немъ воздухъ и земля, въ немъ скрыты огонь и воды.

Въ 13-ой пѣснѣ, при описаніи чертоговъ суесвятства, Херасковъ относитъ къ суесвѣтамъ не однихъ свѣтскихъ вѣншнихъ христіанъ, но и духовныхъ особъ, снотрѣвшихъ на религію другими глазами, чѣмъ мистики, постоянно ратовавшіе противъ обрядовъ, полемической теологіи, приверженности къ буквальному смыслу Св. писа-

(*) Такъ говоритъ Штиллингъ въ Побѣдной повѣсти на стр. 371.

(**) Мысли на досугъ поучающагося истинамъ вѣры.

(***) Розысканіе двухъ явныхъ противорѣчій въ библейскомъ лѣтосчисленіи. (С. В. 1806, іюнь). Въ концѣ этой статьи Лабзинъ, прочитавъ «Побѣдную повѣсть», намекаетъ, что великая суббота наступитъ между 1806 и 1836 г.

ніа, идея о Богѣ, какъ неизмѣримо отдаленномъ отъ человѣка и потому грозномъ существѣ:

Евангеліе тамъ, сіе небесъ зеркало,
Имѣетъ на себѣ густое покрывало;
Людскія пренія, какъ будто нѣкій дымъ,
И толки ложные спираются надъ нимъ;
Тамъ видимы во тьмѣ житейскія прохлады,
Завѣсой служатъ имъ единые обряды;
Тамъ груды видимы и вервей, и веригъ,
Тамъ тучи праздныхъ словъ, тамъ горы темныхъ книгъ;
И подавило бы вселенну оныхъ бремя,
Когда бы книгъ такихъ не подало время;
Орудій смертныхъ весь исполненъ сей чертогъ,
И самъ представленъ тамъ немилосердымъ Богъ.

Наконецъ, въ послѣдней (16-ой) пѣснѣ, предлагается Владиміру крещенье. Киръ говоритъ ему:

Ты здѣсь..., Владиміръ, просвѣтишься,
Очистишь темну плоть, воскреснешъ, возродишься,

и затѣмъ изображается самое возрожденіе «духовной водой», какъ сказано въ поэмѣ:

Водою омовенъ святою въ первый разъ,
Почувствовалъ кору отпадешую отъ глазъ;
Отцова имени при первомъ возгласенъѣ,
Возчувствовалъ души Владиміръ просвѣщенъе;
Въ святѣя нѣдра водъ вторично погруженъ,
Съ превѣчнымъ Сыномъ сталъ духовно сопряженъ;
Но въ третій разъ водою святою омовенный,
Воспринялъ Духъ Святый сей мужъ благословенный:
Живый небесный огнь всю плоть его протекъ,
И новый сталъ теперь Владиміръ человѣкъ.
Сей огнь есть Божіе животворяще Слово,
Дающее душу намъ, дающее сердце ново;
Воспринялъ Агнчью кровь, воспринялъ Агнчью плоть,
Тогда облекъ его сіаніемъ Господь.
Броней смиренія покрытый, правды шлемомъ,
Преображенный царь сталъ новымъ Вишлеемомъ;
Пречистой Дѣвою Мессія въ немъ рожденъ,
И въ яслехъ ребръ его увить и положенъ.

Это—«рожденіе Слова въ душѣ человѣка», иначе: «Христосъ въ насъ».

Лирическія піесы религіознаго содержанія помѣщались нерѣдко въ журналахъ Новикова, Невзорова и Лабзина; но они такъ ничтожны, что не стоятъ и говорить о нихъ. Нельзя также отнести съ похвалою къ длинному стихотворенію Державина «Христосъ» (1814), хотя оно заслужило высокое мнѣніе Мицкевича. Правда, оно выражаетъ нѣсколько мыслей, входящихъ въ мистическое ученіе, но въ цѣломъ вовсе не есть результатъ какого-либо разсудливаго усвоенія системы. Читая его, соглашаешься съ авторомъ, что онъ, какъ пѣтъ, въ иныхъ мѣстахъ писалъ «загадочно, подразумѣваемо, кратко», а въ иныхъ «съ нѣкоторою свободою или вольностію». Строгія замѣчанія духовной цензуры на это стихотвореніе касались не мистическихъ воззрѣній, какъ видно изъ объясненій Державина. По значенію поэтическому оно несравненно ниже оды «Богъ» (*)

(*) Соч. Державина, изд. академическое, т. III. Письма Филарета къ Державину, по поводу цензурныхъ замѣтокъ, въ IV-ой ч. того же изданія, стр. 284 и 286.

Въ свое время обращали на себя вниманіе духовныя стихотворенія О. Глинки (*). Между ними замѣтимъ «Исканіе Бога» и «Жизнь анахоретовъ». Первое служить распространеніемъ Господнихъ словесъ пророку Іліи въ пещерѣ горы Хоривъ (**). Пророкъ не обрѣлъ Господа ни въ бурѣ, ни въ землетрясеніи, ни въ огнѣ: онъ обрѣлъ его въ тишинѣ (собственно въ вѣяніи вѣтерка—«въ дусѣ хлада тойка»).

И въ слѣдъ за бурей—тишина;
 Душа предчувствіемъ полна:
 Какъ молодой зари мерцанье,
 Въ дыму серебряномъ горитъ
 Святое алое сіянье.
 На тайный зовъ душа летитъ
 И дышитъ жизнью неземною....
 Все стало сладкой тишиною,
 И я вдали, какъ въ дивномъ снѣ,
 Услышалъ Бога *въ тишинѣ*.

Мистики любили пользоваться этимъ мѣстомъ изъ ветхозавѣтной книги, для указанія, что во время дѣйствія Духа Божія надлежитъ воздерживаться отъ всего могущаго помѣшать происходящей въ душѣ работѣ, особливо должно оставаться *въ тишинѣ* и молчаніи, обращая умъ свой къ Богу; ибо самъ Богъ есть неизреченное, святое и вѣчное молчаніе Духа (***). Они разсуждаютъ такъ: «Откровеніе въ духовномъ мірѣ есть цѣль, для которой Христосъ нисходилъ на землю; а откровеніе во внѣшнемъ есть только путь къ сей цѣли. Въ огненной купинѣ, или въ огненномъ столпѣ, является Онъ только тогда, когда не можетъ непосредственно явиться самой душѣ во свѣтѣ; а когда она можетъ ощутить Его *въ вѣяніи вѣтерка*, тогда Онъ даетъ себя почувствовать ей въ вѣяніи Духа» (****), т. е. вѣяніе вѣтерка, или *духъ хлада тонка*, для мистиковъ есть символъ вхожденія Св. Духа въ душу.

Во второмъ стихотвореніи выражены чувства двухъ анахоретовъ, молодаго и стараго. Последнему уже открылось «незримое» и засвѣтилъ свѣтъ «иной». Онъ даетъ совѣты своему товарищу, еще новичку въ аскетизмѣ, еще не твердому въ молитвахъ и не испившему изъ кладязя созерцаній:

.... чаще ты уединяйся
 И, погружаясь *въ себя* самою,
 Жмись, молча, къ сердцу, умиляйся
 И до *ничто* уничтожайся
 Передъ Распятымъ и крестомъ!
 Молись на *помыслы*—имъ скажутъ:
 «Идите прочь»!
 Съ очей душевныхъ *снимутъ* ночь,
 И чувства всѣ твои развяжутъ,
 И обновятъ, и просвѣтятъ;
 Приближатъ чашу *возрожденья*,
 И непонятныя видѣнья
 Кругомъ счастливица закипятъ!

Подобныя представленія, видимо, навѣяны чтеніемъ подвижническихъ книгъ. Впро-

(*) Духовныя стихотворенія, т. I (1869). Здѣсь помѣщены Опыты священной поэзіи (1826) и другія стихотворенія того же рода, написанныя съ 1815 г. до послѣдняго времени.

(**) Ш Книга царствъ, гл. XIX, ст. 11—13.

(***) Письмо христіанки о трехъ молчаніяхъ (С. В. 1817, августъ).

(****) Духъ и Истина (С. В. 1817, май и декабрь).

чемъ и одна такая книга, какъ «Добротолюбіе», могла дать автору обильный источникъ для изображенія внутренней жизни аскетовъ-созерцателей.

Описательное стихотвореніе того же автора: «Карелія или заточеніе Маромъ Іоанновны Романовой» выводитъ на сцену монаха и передаетъ его лирическія рѣчи. Этотъ монахъ, родомъ грекъ, жилъ прежде въ Смирнѣ, полюбилъ турчанку, которая приняла христіанство, за что и была убита отцемъ. Послѣ долгаго темничнаго заключенія, онъ странствовалъ въ разныхъ мѣстахъ. Въ Германіи проводилъ онъ время въ обществѣ алхимиковъ, но потомъ, взявъ велѣнію Богородицы идти на сѣверъ, пришелъ въ Карельскія пустыни и жилъ то въ лѣсахъ, то на скалахъ. Онъ посѣщаетъ Мароу, бесѣдуетъ съ ней и въ послѣднемъ съ нею свиданіи предрекаетъ будущее величіе царскаго рода Романовыхъ, и въ особенности побѣду Александра I надъ Аполліономъ (Наполеономъ), побѣду одержанную смирненіемъ. Отрывки изъ рѣчей карельскаго отшельника-тайнозрителя, путемъ созерцанія возшедшаго на высшія ступени духовности, наполняютъ четвертую часть описательной поэмы. Всѣхъ отрывковъ семнадцать. Привожу изъ нихъ нѣсколько стиховъ, какъ образчикъ лирическаго построенія.

Такъ! есть таинственныя блага!
Ихъ взоръ не зрѣть, не слышитъ слухъ;
Млека и меда слаще влага
Изъ высшихъ кладязей въ нашъ духъ
Стезями тайными втекаетъ...
Но плоть груба; она не знаетъ
Сихъ невещественныхъ утѣхъ!...
Какъ радостно нашъ духъ играетъ,
Когда къ нему нисходитъ миръ!...
Тогда въ души совсѣмъ иное!
И что предъ тѣмъ инымъ земное!
..... Хотябъ я бездны
Векрывалъ и словомъ закрывалъ;
Хотябъ надсолнечныя звѣзды,
Какъ съ древъ плоды, рукой срывалъ:
Я не вкусилъ бы той отрады,
Которой жаждетъ такъ душа,
Когда, небесностью дыша,
Летитъ, паритъ въ святые грады.

Увы! земля влечетъ меня!
Я угнетенъ вліяньемъ звѣзднымъ;
И, плѣнь свой зная и стень,
Влачусь вокругъ скользящей бездны.
Исторгнися, душа моя!
Изъ сихъ тѣнящихъ отношеній,—
И вольная, какъ духъ, какъ геній,
Лети въ надзвѣздные края,
Нари по широтѣ вселенной!

Ужъ близокъ день, ужъ близокъ день
Твоей непотемненной славы!
Пройдутъ какъ сонъ, пройдутъ какъ тѣнь,
Земные, ветхіе уставы!
Увидимъ мы, узнаемъ мы,
Чего досель еще не знали,
Надъ чѣмъ ломалися умы,

Что дѣтскимъ сердцемъ постигали
Лишь нищѣ умомъ.

Такъ! сей мятежный, шумный міръ,
Я, мнится, оттолкнулъ рукою;
И сладко отдался покою,
И прилгнувъ завѣтный пиръ
Въ моей душѣ устененной....
Не тронь, не возмущай, молва,
Сей жизни внутренней, священной:
Тиха, свѣтла моя глава,
Крѣпка въ ней — разума держава.

Кто знакомъ съ твореніями великихъ пустынножителей, тому не трудно видѣть, на сколько ихъ исповѣдь ощущеній и созерцаній, патетизмомъ религіознаго одушевленія, плодovitостью духовной жизни превосходитъ образцы лирическихъ изліяній автора, слишкомъ общихъ, скудныхъ содержаніемъ и почти безхарактерныхъ.

Было бы всего естественнѣе и умѣстнѣе мистикѣ найти себѣ выраженіе въ проповѣдномъ словѣ, какъ по существу своему, такъ и по тому обстоятельству, указанному свидѣтельствами, что она сочувственно воспринималась не малымъ числомъ духовныхъ особъ (*). Разумѣется, это вліяніе оказалось бы безъ примѣси нечистаго мистицизма, а состояло бы въ ясномъ согласіи съ духомъ истинной церкви. Или лучше: проповѣдь нашихъ пастырей, и сама собою, независимо отъ современнаго движенія, имѣла полную возможность раскрывать мистическіе элементы христіанскаго ученія. Примѣромъ тому служатъ нѣкоторыя слова и бесѣды московскаго митрополита Филарета, содержаніе которыхъ относится къ возрожденію человѣка, соединенію его съ Богомъ. Я останавливаюсь на первомъ періодѣ его проповѣдничества (до 1820 г.) и привожу выписки по отдѣльнымъ изданіямъ его словъ, выходившимъ въ свѣтъ вскорѣ по ихъ произнесеніи (**).

«Слово на Рождество Христово» (1811) замѣчательно изображеніемъ самоуничтоженія, необходимаго человѣку для устройства внутри себя храма Божія. Нищета, какъ путь къ высочайшему благу, была постояннымъ требованіемъ мистиковъ. «Боже, да буду я ничто! и все, что не Ты, да истребится во мнѣ!» вотъ молитва, воплощающая въ насъ Слово» (***). «Человѣкъ тогда только спосенъ, когда онъ въ безсиліи», говоритъ Сперанскій: «сила или исканіе силы въ началѣ его погубило и губить въ послѣдствіи; въ безсиліи онъ соединяется съ Богомъ, въ силѣ воюетъ противъ Него» (****). Филаретъ ставитъ смиреніе Иисуса въ образецъ христіанину, желающему быть сообразнымъ образу Иисуса:

(*) Письмо архіепископа ярославскаго Симеона къ преосвященному Паренію, отъ 4 іюня 1823 г. (Правосл. Обзорѣніе, 1872, августъ). Архимандритъ Фотій выражалъ сильное неудовольствіе на равнодушіе Іоны Павинскаго, архіепископа казанскаго, обнаруженное при толкахъ мистиковъ о видимой церкви (Обзоръ рус. духов. литературы, кн. II, стр. 160). Станевичъ жаловался, что мистики находятся въ столицахъ, городахъ и селахъ, и что приверженцевъ ея очень много и въ свѣтскомъ, и въ духовномъ сословіи (Бесѣда на гробѣ младенца).

(**) По экземплярамъ И. П. Библиотеки. Нѣкоторыя цитируемыя мною слова не вошли въ три изданія словъ и рѣчей Филарета, напечатанныя при его жизни (1844, 1848 и 1861), такъ какъ онъ при выборѣ былъ «особенно осмотрителенъ, строгъ и точенъ»; они перепечатаны въ 1-мъ томѣ изданія 1873 г.

(***) С. В. 1817, декабрь (Союзъ Бога съ человѣкомъ).

(****) Разные статьи и отрывки изъ сочиненій (Въ память Сперанскаго, стр. 819).

Нѣтъ высшей мудрости, какъ отречься отъ мудрости для Иисуса; нѣтъ большей славы, какъ раздѣлять безчестіе съ Иисусомъ; нѣтъ избыточнѣйшаго состоянія, какъ нищета Иисуса; нѣтъ совершеннѣйшаго возраста, какъ младенчество Иисуса; нѣтъ лучшаго украшенія для души, какъ видѣть себя чужду всѣхъ украшеній, подобно яслямъ Его. Токъ благодати, подобно рѣчнымъ устремленіямъ, изливается въ долины: кедры на горахъ блудятся громами и молніямъ. Богъ творитъ изъ ничего: доколѣ мы хотимъ и думаемъ быть чѣмъ-нибудь, доколѣ Онъ въ насъ не начинаетъ своего дѣла. Смиреніе и отверженіе себя есть основаніе въ насъ храма Его: кто болѣе углубляетъ оное, тотъ выше и безопаснѣе созиждетъ».

Другой примѣръ душа, стремящаяся къ соединенію съ Богомъ, должна видѣть въ совершенствѣ Богоматери, въ ея чистотѣ:

Кто далъ намъ сердце, не довольствуется большею или меньшею его долею: оно все должно принадлежать Владыкѣ всяческихъ. Онъ отвергаетъ всякую любовь, которая не основывается на любви къ Нему; всякое наслажденіе, въ которомъ ищемъ себя, есть огорченіе для Него; всякая мысль, склонная къ тварямъ—измѣна Ему; всякая разсѣянность—удаленіе отъ Него. Строгая токмо надъ собою бдительность можетъ возвести къ блаженному съ Нимъ соединенію и удержать въ немъ. Небесный Женихъ обручается съ мудрыми токмо и непорочными дѣвами; дѣйственная, къ единому Богу обращенная душа зачинаетъ духовную жизнь и рождаетъ блаженство чистаго созерцанія. *Блаженн чистѣи сердцемъ, яко тиѣ Бога узрятъ*—и гдѣ? въ самомъ сердцѣ своемъ.

Въ заключеніи дается совѣтъ христіанамъ: «поспѣшимъ проходить примрачный путь вѣры, дабы свѣтъ суднаго дня не ослѣпилъ насъ» (*). Оно указываетъ на тотъ сумракъ вѣры, таинственный мракъ, который, какъ мы видѣли, часто служилъ темою мистическихъ сочиненій.

«Слово на третій день праздника Рождества Христова» (1812), сказавъ, что Богъ хочетъ во всѣхъ насъ явити Сына Своего (Гал. I, 16) посредствомъ благодатнаго рожденія, спрашиваетъ: какое знаменіе удостовѣряетъ насъ въ истинѣ нашего возрожденія? Рѣшеніе вопроса и составляетъ содержаніе слова.

Два пути ведутъ къ рождающемуся Христу: путь волхвовъ и путь пастырей. Первый есть путь свѣта и вѣдѣній; второй—путь сѣни и тайны, путь вѣры. Тотъ и продолжительнѣе, и труднѣе, и опаснѣе; этотъ вѣрно достигаетъ цѣли. Нѣтъ иныхъ восхожденій къ Богу, кромѣ степеней, по которымъ Сынъ Божій нисходитъ къ человѣку: во внѣшнемъ знаменіи родившагося Спасителя заключено внутреннее знаменіе спасительнаго возрожденія. Этихъ восходящихъ степеней три: смиреніе, умерщвленіе и непостижимое истощаніе, знаменуемая младенчествомъ, пеленами и яслями Богочеловѣка. Послѣдняя степень есть наивысшая: «пусть человѣкъ теряетъ весь міръ, теряетъ себя самого въ безпредѣльной глубинѣ своего ничтожества: сія безпредѣльность есть предѣлъ сообщенія съ безпредѣльнымъ Божествомъ. Пусть, по изреченію псалмодѣвца, исчезаетъ душа его: она исчезаетъ во спасеніе» (Пс. CXVIII, 81).

«Слово на освященіе храма въ домѣ князя А. Н. Голицына» (1812) представляетъ освященіе нашего храма невидимаго въ обрадахъ освященія храма видимаго. Три предмета: очищеніе, украшеніе и посѣщеніе составляютъ всю тайну и всю славу храма внутренняго. Очищеніе есть отложеніе всего, что свойственно растлѣнному человѣческому естеству. Украшеніемъ долженъ быть образъ Божій, явленный въ во-

(*) Этихъ словъ нѣтъ и въ изданіи 1873 г.

плотившемся Сынъ Божіемъ: да вообразится въ насъ Христосъ (Гал. IV, 19). По украшеніи, въ духѣ человѣческомъ уже готовъ престолъ Богу, а престолъ Вездѣущаго не можетъ быть празденъ: Господь не умедлитъ посѣтить домъ, коего единъ Онъ есть зиждитель и краеугольный камень, украстель и украшеніе.

Бесѣда на текстъ: «Коль возлюбленна селенія твоя, Господи силъ» (Пс. LXXXIII, 2) (1814), объясняетъ, до чего и какъ могутъ достигать стремящіеся къ соединенію съ Богомъ.

Блаженіи живущіе въ дому Твоемъ. Домъ Божій есть присутствіе Божіе. Кто живо и дѣятельно начинаетъ ощущать сіе святое и освящающее присутствіе и молитвенно къ нему обращаться: тотъ входитъ въ домъ Божій. Кто пребываетъ въ семъ ощущеніи постоянно и неуклонно, или, по древнему слову Писанія, ходитъ предъ Богомъ (Быт. XVII, 1): тотъ живетъ въ домѣ Божіемъ. Чѣмъ дѣйствительнѣе и плодотворнѣе ощущеніе присутствія Божія: тѣмъ внутреннѣе и совершеннѣе пребываніе въ дому Божіемъ.

Указавъ путь или лѣствицу духовнаго дома Божія, и исчисливъ преимущества или блага жителства въ немъ, проповѣдникъ прибавляетъ:

Не думайте, что сіи блага совершенно заключены и запечатлѣны въ единомъ небѣ: нѣкоею частію онѣ и на земли сокрыты въ дому Божіемъ—въ непрестанномъ сердечномъ обращеніи къ Богу и всецѣломъ приближеніи къ нему человѣка вѣрою и любовію. Нѣкто изъ присныхъ Божіихъ испыталь на земли такое восхищеніе, котораго, повидимому, небеса не вмѣщаютъ. *Что ми есть на небеси?*—взываетъ онъ къ Богу—и отвѣтъ Тебе что восхотѣхъ на земли? (Пс. LXX, 23). Не землею только пренебрегаетъ: *что восхотѣхъ на земли?*—самое небо не привлекаетъ его: *что ми есть на небеси?* Чѣмъ же толико исполненъ и удовленъ ты, друже Божій?—Мое сердце, говоритъ онъ, обрѣло и навѣки стяжало Бога своего: *Боже сердца моего, и часть моя Боже во отвѣтъ* (Пс. LXXII, 26).

И такъ соединенный съ Богомъ можетъ ощущать еще на землѣ не только такія блага, наслажденіе которыми предоставлено въ небѣ, но даже и такія, которыхъ, повидимому, самыя небеса не вмѣщаютъ.

Мы указали тѣ мѣста въ проповѣдяхъ Филарета, которыя говорятъ о соединеніи человѣка съ Богомъ. Этотъ предметъ былъ постоянною темою мистиковъ. На возрожденіе смотрѣли они, не только какъ на единственную сущность христіанскаго ученія, но и какъ на единственное таинство, являемое внутреннимъ и внѣшнимъ откровеніемъ, познаніемъ природы и самопознаніемъ. Нѣкоторые изъ нихъ или вовсе отвергаютъ таинства церкви, подобно квакерамъ, видящимъ въ нихъ только символы—изображеніе невидимаго видимымъ образомъ (*), или, признавая ихъ, даютъ имъ второстепенное значеніе, почитаютъ ихъ слишкомъ простыми, объективными. Нисколько не отрицая внѣшнихъ чудесъ, напротивъ, вѣруя въ ихъ возможность и существованіе во всякое время, мистикъ, однакожъ, убѣжденъ, что всѣ эти чудеса—ничто въ сравненіи съ непостижимыми дѣйствіями Господа во внутреннемъ человѣкѣ: «Духъ человѣческій есть собственно храмъ Его чудесъ; здѣсь преимущественно открывается Онъ во всемъ своемъ величіи. Самомалѣйшее дѣйствіе Его во внутреннемъ есть болѣе самаго величайшаго чуда во внѣшнемъ мірѣ... А изъ внутреннихъ чудесъ наивеличайшее, все великое превосходящее, есть *возрожденіе*, производимое таинственно Духомъ Святымъ въ душѣ, ему предавшейся. Оно такъ велико, что, по мнѣнію нѣкоторыхъ, самыя ангелы какъ-бы завидуютъ падшему, но чрезъ Спасителя искупленному и возро-

(*) Крещеніе—образъ таинственнаго очищенія душъ, тайная вечера—божественнаго наслажденія душъ (Покоящійся трудолюбецъ, 1784—85, ч. 3, ст. о квакерахъ).

жденному человеку; потому что приобретение его несравненно превышает его потерю» (*).

Изъ нѣсколькихъ словъ митрополита Филарета въ великій пятокъ самое замѣчательное, по моему мнѣнію, сказано въ 1813 г. Въ одной его части, изображающей тяжесть креста, понесеннаго Спасителемъ (**), я вижу сходство съ 14-ой главой книги «Тайнство креста»: о *уничжительномъ крестѣ Христовомъ* (***) и съ отдѣломъ бѣсѣды Дю-Туа въ великій четвертокъ: «душа Іисуса подавляется бременемъ креста» (****). Но разница въ томъ, что подражаніе, по краткости и силѣ, по художественному строю, по достоинству языка и представленія вышло образцовымъ ораторскимъ изложеніемъ, далеко оставившимъ за собою подлинники—растянутые, малоустрессенные и многословные (*****). Въ самомъ заключеніи слова, приведенномъ выше (стр. 390),

(*) Духъ и истина (С. В. 1817, декабрь, стр. 307—310).

(**) Отъ словъ: «Кто измѣритъ всемірный сей крестъ, понесенный начальникомъ нашего спасенія»... до словъ: «долго носилъ Іисусъ крестъ свой»... (Сочиненія Филарета, 1873, т. I, стр. 33—35).

(***) Книга эта, какъ мы видѣли, два раза переведена на рус. языкъ (1784 и 1814). Митрополитъ могъ читать и подлинникъ: *Le mystère de la croix de Jesus Christ*.

(****) (Христ. философія, ч. 2, стр. 148—155). У Филарета отъ словъ: «долго носилъ Іисусъ крестъ свой» до словъ: «она была прискорбна даже до смерти» (Сочиненія, изд. 1873, стр. 35—37).

(*****). Чтобы мое предположеніе не показалось голословнымъ, представляю сличеніе сходныхъ мѣстъ въ первомъ подражаніи:

Тайнство креста (1814), и. XIV, §§ 3—9, стр. 261—271.

Онъ (І. Х.) принимаетъ поздравленія, по отъ бѣдныхъ пастуховъ стадъ.

Едва онъ родился, чрезъ восемь дней начинаетъ уже проливать кровь Свою обрѣзаніемъ.

За симъ вскорѣ приносится матерью своею во храмъ, который платитъ выкупъ за Искупителя, какъ платили бѣднѣйшіе родители за первенцевъ своихъ.

Безначальный и безконечный, вѣчно ветхій и вѣчно новый, первый и послѣдній во вся вѣки—растетъ по годамъ.... Вѣчная премудрость растетъ въ разумѣ.

Источникъ и родникъ всякія благодати растетъ во благодати.

Въ теченіи тридцати трехъ-лѣтней Его жизни на земли долженствовалъ повиноваться и покоряться твари своей.

30-ти лѣтъ Іисусъ крестился у Іоанна въ рѣкѣ Іорданѣ, т. е. въ рѣкѣ *текущей внизъ*, означая тѣмъ, что тайнство уничтожительнаго креста вездѣ находитъ себѣ мѣсто. Истинно рѣка та есть рѣка нисхожденія и уничтоженія.

Если бы сатана зналъ, что І. Х. есть тотъ хлѣбъ живота, спешдй съ небеси, дающій жизнь міру.... Онъ требуетъ поклоненія и отъ кого? Отъ І. Х., коему сами ангелы поклоняются.

Сочиненія Филарета (1873), т. I, стр. 33—35.

Кромѣ убогихъ родителей, едва нѣсколько пастырей занимаются Его рожденіемъ.

Исчисляють Безначальному осмь дней повато бытія — и поработаютъ Его кровавому закону обрѣзанія.

Господи храма приносится во храмъ поставити Его предъ Господомъ, и пришедшій искупить міръ искупляется двумя птенцами.

Всеобъемлющая премудрость Божія не иначе какъ съ возрастомъ преспѣваетъ премудростію у Бога и человековъ.

Источникъ и податель благодати пріемлетъ благодать.

Тридцать лѣтъ Владыка небесъ и Царь славы сокрывается отъ неба и земли въ глубокомъ повиновеніи двумъ смертнымъ, которыхъ удостоилъ нареши своими родителями.

Святой Божій, грядущій освятитъ человековъ, вмѣстѣ съ ищущими очищенія грѣшниками, преклоняется подъ руку человека и пріемлетъ крещеніе: воистину крещеніе, слушатели, то есть погруженіе не столько въ водахъ, сколько въ обилии креста.

Испытующій сердца и утробы поставляется въ искушенія. Хлѣбъ небесный предается земной алчбѣ. Тотъ, предъ которымъ должно преклоняться всякое колѣно небесныхъ, земныхъ и преснодныхъ, допускаетъ князя преснодныхъ требовать отъ себя поклоненія.

обнаруживается мистическій тонъ, хотя, съ другой стороны, оно можетъ быть толкуемо не какъ явленіе дѣйствительной силы креста, образуемаго человекомъ утопающимъ и птицей, возлетающей отъ земли на высоту, а просто какъ сравненіе, употребленное для ораторскихъ цѣлей. Такіе умы, какъ Филаретъ и Сперанскій, были не способны преступать истинныя границы дѣйствій, происходящихъ въ разныхъ областяхъ. Впасть въ преувеличенія могли Дю-Туа, Дузетанъ, Лабзинъ, Лопухинъ. — Дю-Туа, напримѣръ, видитъ постоянное соотношеніе между міромъ физическимъ и духовнымъ, природою и благодатью: каждый «физическій образъ въ духовной области», говоритъ онъ, «имѣетъ весьма подлинный предметъ, и образъ не существовалъ бы, еслибы не было подлинника, предмета высочайшаго, представляемаго симъ самымъ образомъ, хотя и грубымъ, но не менѣе того вѣрнымъ; видимые предметы всѣ образованы по предметамъ небеснымъ, откуда они исходятъ въ сходствѣ и безъ которыхъ никогда не пришли бы они въ бытіе» (*).

Ученіе Его называютъ лестію, пророческій Его духъ обманомъ, чудеса оболъщеніемъ и приписываютъ ихъ дѣйствію Веельзевула.

То (почитаютъ Его) ядцею и другомъ мытарямъ и грѣшникамъ.

То ииущимъ бѣса, за что хотятъ Его каменіемъ побить, то хотятъ свергнуть Его съ горы.

Онъ не имѣетъ гдѣ главу поклонити.

Съ одной стороны хотятъ поставить Его царемъ, съ другой бьютъ Его, какъ подлѣйшаго раба.

Онъ избираетъ себѣ товарищей къ совершенію порученнаго Ему Отцемъ Его дѣла; но они всѣ люди грубые, невѣжды.... Онъ сноситъ ихъ грубость, невѣжество съ терпѣніемъ, кротостію и непрерывнымъ смиреніемъ.

Но по крайней мѣрѣ истомленное сердце Иисусово успокоится ли хотя на нѣсколько мгновений и отдохнетъ ли отъ своихъ крестовъ, приготовляясь къ великому, Его ожидающему? — Да, онъ идетъ съ тремя учениками на гору Фаворъ, гдѣ приемлетъ отъ Отца своего прославленіе, простиравшееся даже на ризы Его.... Лице Иисусово сдѣлалось сіяющимъ подобно солнцу, а одежда блестящая какъ снѣгъ. Во время свидѣтельства о Немъ Отца, что Онъ есть сынъ Его возлюбленный, предметъ Его благоволенія, сердце Иисусово подвизалось и духъ Его занимался совѣтъ другимъ предметомъ, нежели славою. Онъ бесѣдовалъ съ Моисеемъ и Іліею о предстоящихъ Ему крестахъ въ Іерусалимѣ. И такъ Фаворъ въ сердцѣ и духѣ Его предварительно былъ уже Голговою. Дивное и сгранное чудо! посреди божественныхъ наслажденій Онъ бесѣдуетъ о своихъ страданіяхъ, посреди славы о жестокой смерти и мучительной казни, которую готовился Онъ претерпѣть.

Его ученіе почитаютъ богохульнымъ, Его дѣла беззаконными, Его чудеса Веельзевуловыми.

Если обращаетъ заблуждшихъ и приемлетъ кающихся, Его порицаютъ другомъ грѣшниковъ.

Здѣсь ведутъ Его на верхъ горы, дабы низринуть; индѣ возьмутъ на Него каменіе.

Нигдѣ не дадутъ Ему главы поклонити.

Народъ во вратахъ Іерусалима привѣтствуетъ Его царемъ, — всѣ земныя власти возстаютъ, дабы осудить Его, какъ преступника.

Въ избранномъ сонѣ своихъ друзей Онъ видитъ неблагодарнаго предателя и первое орудіе смерти своей; лучшіе изъ нихъ служатъ Ему соблазномъ, помышляя человѣческое въ то время, когда Онъ идетъ на дѣло Божіе.

Почіешь ли ты, Божественный крестоносецъ, хотя на едино мгновеніе отъ ига, непрестанно возрастающаго на раменахъ Твоихъ?.... Такъ, приближаясь къ Голгофѣ, Ты почіешь на Фаворѣ. Гряди на сію гору славы; да просвѣтитъ лице Твое свѣтомъ небеснымъ; да убѣлятся ризы Твои; да придутъ законъ и пророки признать въ Тебѣ свое исполненіе; да услышится гласъ благословенія Отцаго! — Но не примѣчаете ли вы, слушатели, какъ крестъ слѣдуетъ за Иисусомъ на самый Фаворъ, и слово крестное не разлучается отъ слова прославленія? О чемъ тамъ среди толикой славы бесѣдуютъ со Иисусомъ Моисей и Ілія? — Они бесѣдуютъ о Его крестѣ и смерти. *Глаголаста же исходъ Его.*

(*) Христъ философія, ч. 2, стр. 105 и 106.

Не одна литература испытала на себѣ вліяніе мистики: оно обнаружилось и въ другомъ родѣ искусства, именно въ архитектурѣ, какъ это показываетъ Витберговъ прозектъ храма Спасителя въ Москвѣ, закладка котораго происходила въ 1817 г. Художникъ-поэтъ и въ тоже время теософъ-мистикъ, въ начертаніи своего прозекта, руководствовался требованіемъ той мысли, чтобы каждый камень храма и все вмѣстѣ были говорящими идеями религіи Христа, во всей ея чистотѣ «нашего вѣка». Храмъ долженствовалъ удовлетворить не одной греко-россійской церкви (православію), но вообще всѣмъ христіанамъ, ибо самое посвященіе его Христу показывало, что онъ принадлежитъ всему христіанскому міру. Въ писаніи сказано: *Вы есте храмъ Божій и Св. Духъ въ васъ обитаетъ*; слѣдовательно изъ самой души надлежало извлечь устройство храма. Человѣкъ состоитъ изъ тѣла, души и духа. Эту тройственность слѣдовало выразить въ частяхъ храма, чтобы все его наружныя формы являлись отпечаткомъ внутренней идеи. Отсюда необходимость тройственного храма: храма тѣла, храма души и храма духа. Но какъ человѣкъ, будучи тройственнымъ, составляетъ одно, такъ и храмъ, при своей тройственности, долженъ быть единымъ. Эта тройственность вездѣ: и въ Божествѣ, и въ природѣ, и въ мышленіи. Въ жизни Спасителя три періода, согласные съ Его тройственностью: воплощеніе—принятіе на себя тѣла; преображеніе, показавшее, до какого просвѣтленія очищенное тѣло можетъ быть доведено душевными свойствами; воскресеніе, показывающее, въ какое духовное состояніе оно должно быть доведено.

Я вообразилъ Творца точкой, назвавъ ее единицею (говоритъ Витбергъ), и изъ нея начертилъ циркулемъ кругъ; периферію назвалъ я множественностью—твореніемъ. Такъ какъ точка (центръ) соединяется съ периферіею, то, наблюдая за черченіемъ, я видѣлъ, что расходящіяся ножки циркуля дѣлаютъ прямыя линіи, коихъ безконечное множество одинаковой величины образуетъ кругъ и которыя все, пересѣкаясь въ центрѣ, составляютъ кресты: слѣдовательно крестомъ соединяется съ Творцемъ природа (твореніе, множественность). Такимъ образомъ получилъ я три формы: линію, крестъ и кругъ, образующія одну таинственную фигуру. Форму линіи присвоилъ я первому храму (тѣлесному), тѣмъ болѣе, что и линія математическая, превращаясь въ тѣло, производитъ параллелепедъ. Этотъ храмъ (во имя Рождества І. Х.) долженъ быть прислоненъ къ землѣ, ибо къ землѣ прислонено и тѣло человѣческое. Общій характеръ его выражаетъ мрачность—катакомбу. Форма храма душевнаго или моральнаго (во имя Преображенія)—крестъ, пересѣченіе двухъ линій. Какъ форма параллелеипеда приличествуетъ тѣлу, такъ форма креста приличествуетъ душѣ, т. е. тѣлу, оживленному духомъ. Тамъ форма тѣла—сложенная, здѣсь—распростертыя руки образуютъ крестъ, который есть соединеніе тѣла съ духомъ, средство соединенія человѣка съ Богомъ. Храмъ этотъ долженъ имѣть полусвѣтъ, ибо жизнь наша представляетъ смѣсь добра и зла. Верхній храмъ (во имя Воскресенія)—духовный, божественный; онъ образуетъ кругъ, который есть слѣдствіе креста, служащаго формой для храма средняго. Кругъ не имѣетъ ни начала, ни конца, слѣд. есть образъ безначальности и безконечности. Самый храмъ ярко освѣщенъ. Периферія его выражаетъ духъ, насколько матерія можетъ выразить оный. Барельефы представляютъ исторію Спасителя въ видѣ духа, т. е. событія Его жизни по воскресеніи, когда Онъ явился въ духовномъ тѣлѣ, и вознесеніе. Такимъ образомъ въ цѣломъ храмѣ, составлен-

номъ изъ трехъ храмовъ, изображалась вся жизнь Спасителя, имени коего онъ посвящался (*).

Мудрено ли, что такой проэктъ понравился кн. Голицыну и удостоился полного одобренія Императора, при тогдашнемъ цѣстроеніи ихъ духа?

Выше было замѣчено, что опасенія Карамзина, въ виду господства мистики и назначенія кн. Голицына министромъ просвѣщенія, были основательны и оправдались фактически. Какъ первыя мѣры министерства, такъ еще болѣе послѣдующія (съ 1820 г.) ясно показали, чего можно было ожидать отъ мистиковъ для народнаго образованія на всѣхъ его степеняхъ. Строгость цензуры, дѣйствія такихъ попечителей университетовъ, какъ Руничъ (петербургскаго), Магницкій (казанскаго) и Карнѣевъ (харьковскаго), намѣренно клонились къ тому, чтобы задержать развитіе литературы и стѣснить высшее научное образованіе, начертавъ ему такой путь, какому оно не могло слѣдовать, опредѣливъ ему такой характеръ, какого оно не могло имѣть, не отрекшись отъ своей истинной сущности, не потерявъ въ корень своего прямого значенія и прямой цѣли. Лучшіе профессора подвергались преслѣдованію; сочиненія образцовыхъ писателей не освобождались отъ мелкихъ, придирчивыхъ, недостойныхъ замѣтокъ цензора. Отвѣтственность падаетъ не на мистика собственно: мистика здѣсь ни при чемъ; хотя она не допускаетъ познанія Бога путемъ разума, но она признаетъ за нимъ право и силу вѣдать другія области знанія. Вина лежитъ на тѣхъ ревнителяхъ мистики, которые или не понимали ея сущности, или отличались лицемеріемъ. Первые не вѣдали что творили—и это облегчаетъ ихъ вину; вторыя творили завѣдомо—и потому имъ нѣтъ оправданія.

Странное явленіе! Какъ не поняли наши мистики, что своими дѣйствіями относительно другихъ они впадали въ видимое противорѣчіе съ самими собою? Не довольствуясь обыкновенною вѣрой, которую они даже называли «вѣрованіемъ», и стремясь къ какой-то вѣрѣ высшей, они въ тоже время налагали запретъ на высшее знаніе. Добываясь внутренняго свѣта, какъ источника сверхъестественныхъ откровеній, они готовы были гасить свѣтъ разума, этого естественнаго источника науки. Они устраивали особую, сокровенную, невидимую церковь, и тѣмъ отрѣшались отъ церкви видимой и общей, отъ ея преданій и постановленій, отъ ея дисциплины, а отрѣшеніе въ дѣлѣ научномъ отъ авторитета считали грѣхомъ и соблазномъ. Отвергая всякое посредничество между собою и Безконечнымъ, они хотѣли навязать посредничество между способностью познающей и предметами ея познанія. Развѣ сфера религіи такого свойства, что въ ней преобразованія и нововведенія безопасны, тогда какъ въ сферѣ человѣческаго разума они грозятъ опасностью? Мистикъ принимаетъ не только къ свѣдѣнію, но и къ руководству опыты своей внутренней жизни, состоянія своего индивидуальнаго духа; они служатъ ему основой для ученія, доводами въ пользу тѣхъ или другихъ догматовъ: по какой же причинѣ не должна имѣть мѣста пылливость умственная? Мистика допускаетъ свободу относительно религіознаго ученія; она исходитъ изъ индивидуальнаго чувства, которое можетъ быть и несогласно съ общимъ чувствомъ вѣрующихъ; я играетъ въ ней большую роль и хочетъ взять верхъ надъ мы; личное стремится къ господству надъ общимъ. Фенелонъ въ полемикѣ съ Боссюэтомъ по поводу квіетизма оттого и проигралъ свое дѣло, что стоялъ

(*) Записки Витберга (Русская старина, 1872, № 1).

на почвѣ личнаго чувства, индивидуальнаго опыта, принципа свободы. Большинство оказалось не на его сторонѣ. Мистики наши должны были знать это; они воздавали дружныя похвалы автору Телемака: на какомъ же основаніи вопіяли они противъ свободы мысли, считая каждый шагъ ея впередъ гибельнымъ прогрессомъ? Они дѣйствовали въ своемъ кругу такъ же, какъ профессоры и литераторы въ своемъ. Какимъ образомъ они не узнали своихъ? За это невѣдѣніе, лицемерное или искреннее, судьба наказала ихъ тѣмъ самымъ, въ чемъ они провинились. Фотій, Аракчеевъ, Шишковъ поразили ихъ собственнымъ ихъ оружіемъ — обличеніемъ въ вольнодумствѣ. Если мистики видѣли въ ученыхъ книгахъ и лекціяхъ подкопъ подъ религію, антигосударственные замыслы, планы на пагубу Россіи, заразу русскаго юношества, то сами они отъ своихъ противниковъ подозрѣвались въ тѣхъ же самыхъ покушеніяхъ и получали названія протестантовъ, иллюминатовъ, еретиковъ, революціонеровъ, яковинцевъ. «Записка о крамолахъ враговъ Россіи», какъ бы въ насмѣшку, сопоставляетъ то, въ чемъ мистики думали видѣть противоположность: распространеніе мистическихъ книгъ, направленныхъ противъ вѣры, церкви, нравственности и правительства, и — рядомъ съ этимъ зломъ другое — преподаваніе зловреднаго ученія въ университетахъ и во всѣхъ высшихъ училищахъ (*). Не ясно ли, что Немезида поразила виновныхъ не только гнѣвомъ, но и ироніей?

§ 54. Первые драматическіе опыты Грибоѣдова (1795—1829): «Молодые супруги» и «Притворная невѣрность», не могли выказать въ надлежащей силѣ талантъ автора уже потому, что они несамостоятельны: одна изъ этихъ комедій есть переводъ, а другая — передѣлка французскихъ пьесъ. Въ исторіи нашей драмы Грибоѣдовъ занялъ высокое мѣсто, какъ авторъ «Горя отъ ума» (1823), оригинальной комедіи, далеко оставившей за собою всѣ предшествовавшія произведенія того же рода.

Главная мысль этой комедіи выражена въ слѣдующихъ стихахъ:

Какъ посравнить, да посмотрѣть
Вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій, —
Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ (Дѣйст. II, явленіе 2).

Понятно, что задачей автора было выставить противоположность двухъ послѣдовательныхъ временъ. Но такъ какъ характеръ времени выражается въ драмѣ посредствомъ образовъ, то Чацкій выведенъ, какъ представитель нынѣшняго вѣка, или, точнѣе, первой его четверти, а всѣ прочія лица служатъ представителями вѣка минувшаго, или, точнѣе, второй его половины.

Какимъ же образомъ выработалась личность Чацкаго? Въ чемъ его особенности, полагающія между нимъ и другими лицами комедіи различіе, доходящее до противоположности, — такое различіе, которому вѣрится съ трудомъ?

Въ образованіи людей, подобныхъ Чацкому, дѣйствовала не одна сила, а нѣсколько силъ, направленныхъ къ одной и той же цѣли: само правительство, которому принадлежалъ почище дѣла; за тѣмъ общество, въ лицѣ лучшихъ своихъ членовъ, пошедшихъ по открытому пути; наконецъ литература, всегда играющая двоякую роль — роль провозвѣстницы идеальныхъ стремленій и роль выразительницы той, большей или меньшей, степени въ достиженіи идеаловъ, на которой стоитъ общество въ извѣстную эпоху.

(*) Рус. Архивъ 1863, стр. 1386

Исторія царствованія императора Александра I-го показываетъ, что, при самомъ взошествіи на престолъ, онъ приступилъ къ реформамъ различныхъ частей управленія, находя состояніе этихъ частей не соответствующими потребностямъ времени. Одною изъ главныхъ и постоянныхъ его заботъ было освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Къ постепенному улучшенію ихъ быта клонились первыя правительственныя мѣры. Всѣмъ свободнымъ состояніямъ, не исключая и казенныхъ крестьянъ, дано право пріобрѣтать на свое имя недвижимую собственность (указъ 12 декабря 1801 г.); крестьяне могли быть увольняемы на добровольныхъ условіяхъ съ ихъ помѣщиками (указъ 20 февраля 1803 г.); въ слѣдующемъ году (20 февраля 1804 г.) утверждено положеніе о лучшемъ устройствѣ лифляндскихъ крестьянъ. Чтобы сильнѣе подвинуть указанныя мѣры, государь изъявлялъ особенное благоволеніе лицамъ, виявшимъ его желанію. Благоволеніе должно было свидѣтельствовать, «сколь сіе похвальное дѣяніе (увольненіе крестьянъ) пріятно сердцу его величества» (*). Периодическія изданія министерства внутреннихъ дѣлъ: Санктпетербургскій журналъ (1804—1809) и Сѣверная почта (1809—1820) знакомили публику съ его дѣятельностью, особенно поставляя на видъ слѣдствія указовъ 1801 и 1803 г.г., которыми, на основаніи свободы и собственности, устраивается благоденствіе крестьянъ. Правительственные органы печати сознательно допускали оглашеніе мѣръ, предназначавшихъ или дѣйствующихъ, съ обозначеніемъ выгодъ, которыя могутъ принести первыя и которыя уже принесены вторыя. Въ статьѣ «о пользѣ просвѣщенія», переведенной изъ Бентама (**), указана польза публичныхъ бумагъ (печатнаго слова): «помощію ихъ всего удобнѣе руководствоваться общее мнѣніе; помощію ихъ просвѣщеніе нисходитъ отъ правительства къ народу или восходитъ отъ народа къ правительству. Чѣмъ болѣе въ нихъ свободы, тѣмъ лучше можетъ сіе послѣднее видѣть направленіе общаго мнѣнія и тѣмъ надежнѣе можетъ оно дѣйствовать». Чтобы возбудить въ обществѣ интересъ къ тѣмъ знаніямъ, которыя непосредственно относились къ совершеннымъ или ожидаемымъ преобразованіямъ, положено было заняться переводомъ капитальныхъ сочиненій политическихъ и политико-экономическихъ, о чемъ государь извѣщалъ своего воспитателя Лагарпа, вскорѣ по вступленіи на престолъ. Такимъ образомъ явились на русскомъ языкѣ: «Разсужденіе о преступленіяхъ и наказаніяхъ, Беккари» (1803), «Разсужденіе о гражданскомъ и уголовномъ законоположеніи, Бентама» (1805 — 1811), «О существѣ законовъ, Монтескье» (1814) (***), «Исслѣдованіе свойства и причинъ богатства народовъ, Адама Смита» (1803—1806), «Политическая экономія или о государственномъ хозяйствѣ, Верри» (1810). Бентамъ пользовался особеннымъ авторитетомъ: многія статьи изъ его сочиненій переводились для неофициальнаго отдѣла С.-Петербургскаго журнала; кромѣ того, мы входили съ нимъ и въ особенныя сношенія (****). Знакомство съ ученіемъ Адама Смита вмѣнялось въ достоинство, какъ знакъ отлично образованнаго, передоваго человѣка (*****). Указы 1801 и 1803 г. вы-

(*) Сѣверная почта 1811, № 59, въ извѣстіи о пожалованіи полтавскому помѣщику Сахновскому Владиміра 3-ей степени, который повелѣно было генераль-губернатору вручить при особомъ рескриптѣ въ собраніи дворянъ.

(**) С.-п.-б. журналъ 1804 кн. 2, второй отдѣлъ, назначенный для разсужденій и переводовъ касательно предметовъ управленія.

(***) Первая и третья книги переведены Языковымъ, вторая Михайловымъ; переводы напечатаны по повелѣнію государя и посвящены его имени.

(****) Ст. г. Пыпина: «Русскія отношенія Бентама» (В. Евр. 1869, февраль и апрѣль).

(*****). Письмо Карамзина къ Дмитріеву, 6 іюля 1871 (Переписка, стр. 214—216).

звали замѣчательныя по тому времени сочиненія. Одно изъ нихъ есть философско политическая диссертация объ освобожденіи крестьянъ въ Россіи, написанная на степень доктора и напечатанная въ Геттингенѣ (*), гдѣ ея авторъ, Андрей Кайсаровъ, слушалъ лекціи университетскихъ профессоровъ. Цѣль этого труда — показать всѣ выгоды, которыя произойдутъ отъ уничтоженія крѣпостнаго права для самихъ освобожденныхъ и для государства вообще, — выгоды относительно личнаго значенія крестьянъ, земледѣлія, народонаселенія, торговли, промышленности, образованія. Въ заключеніи авторъ касается способа освобожденія крестьянъ, находя, что оно должно совершиться не вдругъ, а постепенно, съ разумной къ нему подготовкой. Второе сочиненіе вышло изъ-подъ пера польскаго графа Стройновскаго: «О условіяхъ помѣщиковъ съ крестьянами» (1809). Одна изъ его главъ развиваетъ ту же мысль, что и Кайсаровъ, то есть, что въ тѣхъ странахъ, гдѣ крестьяне получили личную свободу и собственность, образованіе преуспѣваетъ, народонаселеніе увеличивается, земледѣліе улучшается, изобиліе и богатство возрастаютъ. Вопросы и сужденія о крѣпостномъ правѣ, равно какъ и о другихъ предметахъ подобнаго рода не подвергались стѣсненіямъ, на основаніи цензурнаго устава (1804 г.), которымъ было разрѣшено изслѣдованіе всякой истины, «относящейся до гражданскаго состоянія, законоположенія, управленія государственнаго, или какой-бы ни было отрасли управленія» (§ 22). Редакція С.-Петербургскаго журнала приглашала читателей сообщать ей сочиненія, до предметовъ управленія касающіяся.

Съ 1809-го года начинается второй, усиленный періодъ внутреннихъ преобразованій, который долженъ былъ различныя административныя мѣры привести къ органическому единству, завершить ихъ общимъ уложеніемъ, такъ чтобы всѣ части управленія дѣйствовали согласно одинъ съ другими. Устройство всей государственной системы имѣло цѣлію водворить строгій порядокъ, замѣнить произволъ законностью, обязать извѣстною отвѣтственностью тѣхъ, которымъ ввѣрялось управленіе, обезпечить общественные интересы и права каждаго, поставивъ ихъ въ зависимость отъ учреждений, а не отъ лицъ. Выполненіе этой задачи, по мысли государя, возложено было имъ на Сперанскаго, первый и главный трудъ котораго состоялъ въ окончательномъ образованіи государственнаго совѣта и въ постановкѣ отношеній къ нему министерствъ и сената(**). Тѣмъ же государственнымъ дѣятелемъ была выработана мѣра, сильно подвинувшая высшее образованіе: указъ 1809 г. даровалъ большія служебныя преимущества лицамъ, кончившимъ университетскій курсъ, сравнительно съ тѣми, которые не были въ университетѣ и которымъ для пріобрѣтенія такихъ же правъ слѣдовало выдержать особо-установленный экзаменъ. Этою мѣрою дворянство, пренебрегавшее высшимъ ученіемъ ради скорѣйшаго поступленія на службу, принуждено было помириться съ тою истиной, что несравненно полезнѣе провести годы преждевременнаго служенія въ той школѣ, которая готовитъ серьезныхъ гражданъ.

За окончаніемъ войнъ съ Наполеономъ наступилъ третій періодъ въ томъ направленіи, которое было проложено самимъ правительствомъ. На защиту отечества вооружились всѣ русскіе безъ различія, какъ лучшіе по уму и образованію, между которыми находилось много литераторовъ, такъ и необразованные. Для тѣхъ и для другихъ, особенно для первыхъ, не могло пройти безплодно ихъ непосредственное

(*) De manumittendis per Russiam servis, 1806. Кайсаровъ убитъ въ Бородинскомъ сраженіи. Выборомъ ученыхъ занятій и наятреніемъ посвятить себя профессорской дѣятельности, онъ былъ какъ бы исключенъ изъ дворянъ, которые смотрѣли на подобную карьеру, какъ на низкую, недостойную своего сословія.

(**) Сперанскій и его государственная дѣятельность, О. Дмитриева (Рус. Архивъ 1868).

знакомство съ Европой вообще, съ Франціей въ особенности. Отсюда вынесли они понятія о новыхъ учрежденіяхъ, которыя даны были этой странѣ по настойчивому желанію императора Александра. Возвратясь въ отечество, они и въ разговорахъ и печатнымъ словомъ распространяли усвоенные ими взгляды понятія, относящіеся къ сферѣ государственнаго и гражданскаго устройства. Политика заняла первое мѣсто въ ихъ бѣсѣдахъ, какъ прежде, въ эпоху Екатерины II, занимала умы философія энциклопедистовъ. Къ именамъ Адама Смита и Бентама присоединились имена Бенжамена-Констана и другихъ публицистовъ, принявшихъ на себя политическое воспитаніе французскаго народа. Военное сословіе не только не отдалялось отъ такого настроенія, но обнаружилось его даже прежде другихъ, такъ какъ заключало въ своей средѣ не малое число образованныхъ и литературныхъ силъ. Въ 1816 г., въ помѣщеніи гвардейскаго штаба, положено было основаніе библіотеки, гдѣ офицеры могли заниматься чтеніемъ отборныхъ и полезныхъ книгъ. Вмѣстѣ съ этимъ, по соизволенію государя, образовалось «общество военныхъ людей», которое въ теченіи трехъ лѣтъ (1817—1819) издавало Военный журналъ. Въ торжественномъ собраніи этого общества, черезъ годъ по его образованіи, извѣстный литераторъ, Ѳ. Н. Глинка, состоявшій при начальникѣ гвардейскаго штаба, генералѣ Сипягинѣ, читалъ «Разсужденіе о необходимости дѣятельной жизни, ученыхъ разсужденій и чтенія книгъ» для человѣка вообще и для воина въ особенности (нап. 1818). Рекомендуя воину заниматься не одними военными науками, но и другими, онъ особенно выставляетъ на видъ пользу знаній политическихъ, изложенныхъ въ сочиненіяхъ Адама Смита, Сея, Стюарта, Шлецера, Ганиля. Тотъ же авторъ, въ брошюрѣ: «Нѣсколько мыслей о пользѣ политическихъ наукъ» (1819), придаетъ этимъ наукамъ тѣмъ болѣшую цѣнность, что онѣ, по его мнѣнію, «всегда служатъ вѣрнымъ признакомъ, неразлучными спутниками народнаго просвѣщенія»; за тѣмъ онъ объясняетъ начала политической экономіи и науки о государственныхъ финансахъ. Означенное умонастроеніе не осталось безъ вліянія: военные люди стали относиться серьезнѣе къ самообразованію, думать объ установкѣ болѣе разумныхъ нравственныхъ и общественныхъ началъ. Перемѣну въ образѣ жизни и держаніи лучшаго военного люда нельзя было не замѣтить. Д. Давыдовъ, поэтъ и партизанъ, вспоминая прежнюю гусарскую жизнь, сѣтовалъ, что теперь отъ новой военной молодежи только и слышишь толки о Жомини (авторъ многихъ военныхъ сочиненій) (*). Причина новаго настроенія указана княземъ И. В. Васильчиковымъ, командиромъ гвардейскаго корпуса, въ отвѣтѣ его начальнику главнаго штаба, князю П. М. Волконскому, который удивлялся несходству прежняго съ настоящимъ: «Причину надобно искать въ различіи времени. Немногіе изъ насъ (военныхъ) читали тогда газеты; никто не говорилъ о политикѣ; служили утромъ и веселились вечеромъ (**). На ряду съ стараніемъ офицеровъ возвысить уровень своей образованности возникла мысль о грамотности солдатъ, распространенію которой много содѣйствовали учрежденныя при нѣкоторыхъ полкахъ школы взаимнаго обученія (ланкастерскія).

Общественное мнѣніе настраивалось согласно съ внушеніями, исходившими отъ лицъ официальныхъ (***). Журналы, болѣе или менѣе выражающія духъ общества, при-

(*) Жомини, да Жомини,

А объ водѣ ни полслова (*Письма стараго гусара*).

(**) Письмо 11 сентября 1820 (Рус. Архивъ 1875, кв. 5, стр. 44 и 45, выписка 4-ая).

(***) Одинъ изъ министровъ (по мнѣнію г. Погодина, Козодавцевъ) жаловался, что образъ мыслей Карамзина противенъ «новымъ идеямъ».

няли такой же тонъ. О заявленіяхъ одного изъ нихъ (Духа журналовъ) мы сказали выше (стр. 385). Другой (Северный Наблюдатель, 1817), хотя и неважный по своему внутреннему значенію, тѣмъ не менѣе, въ «политическихъ запискахъ» самого издателя, П. Корсакова, проводилъ мысль о свободѣ, отличая ее отъ вольности, какъ противоположной ей крайности. Выраженіе духа настоящаго времени видѣлъ онъ въ терпимости вѣръ и терпимости мнѣній: «мысли благонамѣренныхъ людей изъясняются вслухъ, и если еще встрѣчаются внутри государствъ частныя враги просвѣщенія и тираны умовъ, то великодушіе царей не замедлятъ и отъ нихъ освободить человѣчество» (*). Изъ всѣхъ знаній «Северный Наблюдатель» отдавалъ главный почетъ наукамъ и художествамъ свободнымъ (*studia liberalia*), такъ какъ онѣ образовали свободу мыслей и въ особенности свободу мыслей политическихъ: «Одно изъ отличій свободно мыслящаго правительства есть позволеніе изъяснять ему вслухъ свои мысли о такихъ предметахъ, въ которыхъ всѣ сословія государства принимаютъ участіе. Публичныя о томъ сужденія даютъ нерѣдко поводъ къ опроверженію настоящаго и къ предложенію новыхъ средствъ, о которыхъ, можетъ быть, до того и не думали» (**).

Годы 1818 и 1819-ый были временемъ сильнѣйшаго сочувствія періодической печати къ означеннымъ идеямъ, возбужденнаго крупнымъ событіемъ—рѣчью Императора Александра при открытіи польскаго сейма (15 марта 1818). Эта рѣчь, по выраженію Карамзина, сильно отозвалась въ молодыхъ сердцахъ. Особенное вниманіе привлекли къ себѣ слова Государя, что «законно-свободныя постановленія служатъ непрестаннымъ предметомъ его помышленій и что законы должны ограждать священнѣйшія блага: безопасность личную, собственность и свободу мнѣній». По поводу этой рѣчи, профессоръ Царскосельскаго Лицея, Куницынъ, въ журнальной статьѣ (***) показываетъ доброту представительнаго правленія, подтверждая свое мнѣніе выпискою слѣдующаго мѣста изъ рѣчи Государя: «законно-свободныя постановленія, конхъ священные начала смѣшиваютъ съ разрушительнымъ ученіемъ, угрожающимъ въ наше время бѣдственнымъ паденіемъ общественному устройству, не суть мечта опасная; напротивъ, таковыя постановленія, когда приводятся въ исполненіе по правотѣ сердца и направляются съ чистымъ намѣреніемъ къ достиженію полезной и спасительной для человѣчества цѣли, то совершенно согласуются съ порядкомъ и общимъ содѣйствіемъ утверждаютъ истинное благоденствіе народовъ». Въ томъ же 1818 г., но только позднѣе варшавской рѣчи, С. С. Уваровъ, президентъ Академіи наукъ и попечитель с. петербургскаго учебнаго округа, въ торжественномъ собраніи главнаго педагогическаго института, по поводу открытія въ немъ кафедръ персидскаго и арабскаго языковъ и возобновленія кафедры исторіи, произнесъ рѣчь, которая произвела значительное впечатлѣніе и заслужила согласную похвалу журналовъ (****). Императоръ Александръ названъ въ этой рѣчи краснорѣчивымъ защитникомъ священныхъ правъ человѣчества и гражданства, на незыблемости которыхъ основывается высокое политическое образованіе учреждений. «Мы», говоритъ Уваровъ, «по примѣру Европы, начинаемъ помышлять о свободныхъ понятіяхъ... Политическая свобода не есть состояніе мечтательнаго благополучія, до котораго можно бы было достигнуть безъ трудовъ. Политиче-

(*) Сѣв. Наблюдатель, № 1.

(**) Ib. № 2.

(***) О конституціи (Сынъ Отеч. 1818, № 13).

(****) Рѣчь нап. 1818 г.

ская свобода, по словам знаменитого оратора нашего вѣка (лорда Эрскина), есть послѣдній и прекраснѣйшій даръ Бога: по сей даръ пріобрѣтается медленно, сохраняется неусыпною твердостью; онъ сопряженъ съ большими жертвами, съ большими нутратами». Воейковъ написалъ похвальное посланіе къ оратору (*), а Куницынъ посвятилъ двѣ статьи разсмотрѣнію рѣчи (**). Приведя слова Уварова, что «мы начинаемъ помышлять о свободныхъ понятіяхъ», критикъ замѣчаетъ: «конечно, такъ; но мы давно о нихъ помышляли; никогда не были они чужды руссiйскому народу», — и за тѣмъ приводитъ изъ исторiи доказательства своей мысли. «Опытъ теорiи налоговъ», Н. Тургенева (1818) возбудилъ, не менѣе рѣчи Уварова, сильное вниманіе журналистики. Въ этомъ серьезномъ трудѣ для читателей имѣло особенную важность не столько главное его содержаніе, о которомъ, какъ о спеціальному предметѣ, могли судить весьма немногіе, сколько прикосновенные къ нему предметы, именно замѣтки о крѣпостномъ правѣ и о гласности (***). Къ тому же авторъ касался новаго духа времени, жалѣя, что общей дѣятельности, общему стремленію къ образованности и благосостоянію препятствовало существованіе рабства. Критикомъ этой книги явились Куницынъ (****) и О. Глинка (*****). Наконецъ, упомянемъ еще о книгѣ Куницына: «Право естественное», знакомящей какъ съ образомъ мыслей автора, такъ и вообще съ направленіемъ тогдашнихъ умовъ (*****).

Само собою разумѣется, что вышеизложенные факты не могли заглушить вопроса о крѣпостномъ правѣ; напротивъ онъ, находя себѣ опору въ рѣчи Государя при открытіи варшавскаго сейма, еще сильнѣе выдвинулся на передній планъ. Периодическая литература съ большою настойчивостью проводила мысль о личной свободѣ крестьянъ. Укажемъ на статьи: «о рабствѣ въ иностранныхъ государствахъ», и «взглядъ на постепенный упадокъ рабства и крѣпостнаго состоянія въ Европѣ и въ ея колоніяхъ» (*****). Особенное дѣйствіе произвела рѣчь малороссiйскаго генералъ-губернатора, кн. Н. Г. Репнина, при открытіи дворянскихъ собраній въ Полтавѣ и Черниговѣ (3 и 20 января 1818) (*****). Напомнивъ дворянамъ волю Государя, чтобы благоустройство внутреннихъ дѣлъ частію было совершаемо самимъ дворянствомъ, а именно — попеченіями его о судьбѣ крѣпостныхъ крестьянъ, начальникъ края обратился потомъ къ благородному сословію съ слѣдующими словами: «Корыстолюбіе изгнано будетъ изъ сердецъ вашихъ; вы не будете изыскивать все, что можетъ дать вамъ крестьянинъ доходу, а то, что вы можете отъ него требовать, не умень-

(*) В. Евр. 1819, № 5.

(**) Сынъ Отечества 1818, №№ 23 и 24.

(***) Наприм. стр. 118—121, 124—125, 274—275 (2-е изд. 1819).

(****) С. От. 1818, №№ 50 и 51.

(*****) Въ брошюрѣ: Нѣсколько мыслей о пользѣ политическихъ наукъ (1819), о которой упомянуто выше.

(******) Въ двухъ частяхъ: 1-ая часть (право чистое)—1818; 2-ая (право прикладное)—1820. По выходѣ второй части, заслужившей одобрителный отзывъ главнаго правленія училищъ, предполагалось поднести ее Государю, но чрезъ нѣсколько дней, согласно съ мнѣніемъ члена правленія Рунича, книга была запрещена, изъята изъ продажи и отобрана какъ изъ библіотекъ, такъ и отъ частныхъ лицъ, успѣвшихъ пріобрѣсть ее («Магницкій» въ Рус. Вѣст. 1864, июнь). Но такой исходъ дѣла объясняется уже поворотомъ вѣшной и внутренней политики, съ 1820 года, въ противоположную сторону.—Болѣе подробное изложеніе см. въ статьѣ моей: «Біографич. и литерат. замѣтки о Карамзинѣ» (Ж. М. Н. Пр. 1867, январь).

(******) Первая въ Духѣ журналовъ (1818, кн. 12); вторая въ В. Евр. (1819, № 14).

(******) Изданная отдѣльно, она была перепечатана въ Духѣ журналовъ (1818, № 20).

шая благоденствія его; напротивъ, вы изыщете способы увеличить оное; вы пожертвуете для сего изъ доходовъ вашихъ; вы устроите училища для малолѣтнихъ, больницы для недугующихъ; вы улучшите хижины крестьянъ вашихъ; вы снабдите немущихъ скотомъ и плугами для воздѣлыванія земли; вы займетесь нравственностію подвластныхъ вамъ и отвлечете ихъ отъ порока, столь между простолюдинами здѣсь обыкновеннаго, и не будете на немъ основывать дохода своего. Но сіи отеческія попеченія ваши да не будутъ подвержены кратковременности жизни человѣческой: оснуйте и на будущія времена благоденствіе чадъ и внучатъ вашихъ. По мѣстнымъ познаніямъ вашимъ изыщете способы, коими, не нарушая спасительной связи между вами и крестьянами вашими, можно бы было обезпечить ихъ благосостояніе и на грядущія времена, опредѣливъ обязанности ихъ. Черезъ сію единственную мѣру предохраните вы ихъ навсегда отъ тѣхъ притѣсненій, которыя, по несчастію, еще доселѣ случаются; избавите правительство отъ горестной обязанности преслѣдовать оныя, а благородное сословіе ваше отъ нареканія, происходящаго чрезъ поступки людей, недостойныхъ быть членами онаго». На сколько этими и другими такого же смысла заявленіями, исходившими какъ отъ правительства и его органовъ, такъ и отъ частныхъ лицъ, путемъ печати, были взволнованы и напуганы многіе, достаточно показываютъ письма Сперанскаго къ Столыпину, 1818 и 1819-го годовъ (*).

Направленіе, сложившееся подъ союзнымъ дѣйствіемъ указанныхъ вліяній, получило названіе либеральнаго, а лица, его усвоившія, отличались именемъ либераловъ или, по тогдашнему, либералистовъ (**). Въ образѣ мыслей этихъ лицъ, иначе въ либеральныхъ идеяхъ, выражался духъ времени. «Нынѣшній духъ времени», сказано въ одномъ журналѣ, «на обветшалыхъ развалинахъ творящій новыя лучшія зданія, есть самый благодѣтельный: посему-то онъ оживляется содѣйствіемъ самихъ государей, имѣющихъ благороднѣйшій образъ мыслей. Подъ руководствомъ такихъ вождей предадимся благотворному стремленію и въ сладостной надеждѣ будемъ ожидать еще счастливѣйшихъ временъ» (***). Такъ называемые либералы составили образованное меньшинство общества. Но и этотъ небольшой общественный кругъ имѣлъ, конечно, разныя степени; ибо если, съ одной стороны, нѣкоторые способны усвоивать тѣ или другія идеи не болѣе, какъ усвоивается извѣстное знаніе, безъ убѣжденія въ ихъ истинности и безъ душевной потребности осуществить ихъ въ жизни, то, съ другой, тѣ же самыя идеи становятся для иныхъ жизненнымъ началомъ, неизмѣннымъ обязательствомъ. Люди послѣдняго рода и составляли высшую часть образованнаго меньшинства эпохи Александра I. Въ ихъ сознаніи твердо заложено было понятіе о правильномъ, нормальномъ образѣ человѣческаго существа. Устроить свою собственную судьбу соотвѣтственно этому идеальному понятію было ихъ серьезною задачею, для рѣшенія которой они запасались и твердыми основами, какъ точкой исхода, и образованіемъ, какъ средствомъ къ достиженію цѣли, и силою внутренняго влеченія, необходимой для того, чтобы не останавливаться на полпути. Интересы умственные, нравственные и эстетическіе возбуждали ихъ полное сочувствіе, какъ высшія блага человѣческой природы. По своей осмысленной жизни, по своему просвѣщенію, справедливости, честности и благородству, они возвышались надъ другими тѣмъ, что были знакомы

(*) Рус. Архивъ 1871, стр. 431—433.

(**) Последнее слово постоянно употреблялось Карамзиннымъ.

(***) Въ ст. «О духѣ времени» (Украинскій Вѣстникъ 1818, іюнь).

съ вопросами о состояніи отечественнаго и общеевропейскаго быта, съ тѣми законными нуждами, которыя заявляла современность, и съ тѣми орудіями, которыми можно было удовлетворить заявленное. Сознаніе нравственнаго превосходства и умственной самостоятельности сообщило ихъ характеру независимость. Они понимали, что въ средѣ ихъ образуется разумное общественное мнѣніе, которое должно давать тонъ большинству, а не подчиняться сужденіямъ большинства. Къ числу такихъ-то личностей первой четверти нашего вѣка, жившихъ осмысленною жизнію, принадлежитъ Чацкій. Фамусовъ, съ своей точки зрѣнія, правъ, выразивъ совѣтъ свой Чацкому такимъ образомъ:

Пожалуйста при немъ (*) не спорь ты вкривъ и вкосъ,
И *завиральныя* идеи эти брось....

Еслибъ онъ вмѣсто *завиральныя* сказалъ *либеральныя* (что, конечно, и разумѣлось имъ), стихъ ни малѣйше не потерпѣлъ бы отъ того ни въ содержаніи, ни въ строгости.

Новыя убѣжденія перестраиваютъ убѣжденнаго на новый ладъ. Или отмѣняется прежній взглядъ на человѣческія и гражданскія отношенія, выросшій и окрѣпшій на почвѣ низшаго развитія общества, и устанавливается другой въ уровень съ болѣею высотой общественнаго сознанія. Это и обнаруживается въ рѣчахъ и дѣйствіяхъ Чацкаго. Начнемъ съ его понятія объ отношеніи гражданина къ отечеству. Какъ смотрѣло большинство на службу? Чѣмъ оно обязывало себя передъ государствомъ и чего, въ награду за свои обязательства, искало у государства? Не говорю о томъ многочисленномъ классѣ людей, которые служили единственно по необходимости служить, такъ какъ жалованье давало имъ средство къ существованію. Говорю о томъ не менѣе многочисленномъ классѣ служилыхъ, которые или, кромѣ жалованья, имѣли въ виду наживу, или, не нуждаясь въ послѣднемъ, по своей матеріальной обезпеченности, стремились удовлетворить свое чиновническое честолюбіе рангами и знаками отличія. Тотъ и другой классы руководствовались исключительно расчетами себялюбія, безъ всякой мысли о гражданскомъ долгѣ, объ общей пользѣ. Чѣмъ мѣньшимъ трудомъ могли они достигнуть личныхъ цѣлей, тѣмъ этотъ трудъ считался пригоднѣе. Были сплошь и рядомъ такіе, которые только числились на службѣ, не неся никакой ея тягости и однакожъ пріобрѣтая значительныя выгоды отъ своего номинальнаго служенія. Средства къ добыванію видныхъ или теплыхъ мѣстъ не могли, конечно, отличаться совѣстливою разборчивостію; они напоминали іезуитскую сентенцію: цѣль оправдываетъ средство. Наиболѣе употребительное изъ нихъ состояло въ услужливости, угодничествѣ тому лицу, отъ котораго зависѣла карьера, въ заискиваніи его расположенія. Родители внушали это житейское правило своимъ дѣтямъ съ малолѣтства, такъ что составилось и укоренилось слово «искательный», съ особымъ смысломъ или, по крайней мѣрѣ, съ особымъ оттѣнкомъ смысла. Назвать кого-либо «человѣкомъ искательнымъ» значило воздать ему большую похвалу, такъ какъ онъ пріобрѣлъ способность «втираться» въ милость къ начальствующимъ лицамъ и припасать въ нихъ себѣ сильныхъ покровителей. Понятіе Чацкаго о службѣ совершенно иное. На слова Фамусова: «поди-ка послужи», онъ отвѣчаетъ:

Служить бы радъ, прислуживаться тошно.

(*) При Скалозубѣ.

Онъ хочетъ «служить дѣлу, а не лицамъ». Онъ знаетъ, что

Чины людьми даются,
А люди могутъ обмануться.

Если онъ нѣкогда увлекался мундиромъ, какъ приманкой къ военной службѣ, то это увлеченіе онъ самъ же называетъ ребячествомъ. Другія менѣе ребяческія приманки, какъ-то: занятіе мѣста, повышеніе въ чинъ, полученіе ордена и т. п., потеряли для него цѣну, послѣ того, какъ онъ выработалъ честное понятіе о службѣ и о наградахъ за нее. Независимо отъ своего собственнаго образа мыслей, онъ имѣлъ передъ глазами нѣкоторые примѣры въ современникахъ, составлявшіе исключеніе изъ обычая чиновическаго тщеславія. Онъ могъ сослаться на такія лица, какъ Новосильцовъ и Чарторижскій, которые, имѣя возможность, по своему положенію, представлять другихъ къ высшимъ наградамъ, сами отказывались отъ знаковъ отличій, заявляя тѣмъ, что не эти отличія должны быть предметомъ и стимуломъ патріотическаго исполненія обязанностей. вмѣстѣ съ переменною взгляда на службу отечеству, уничтожилась и прежняя ея исключительность, по которой дворянство обречено было избрать одну изъ двухъ дорогъ—или военную, или статскую. Прежде всѣ прочія занятія или считались неприличными, даже зазорными для благороднаго сословія, или вовсе не считались дѣломъ равнозначительнымъ официальной службѣ. Передъ людьми новаго направленія открывались не менѣе почетныя поприща для упражненія своихъ способностей и приложенія знаній. Дворянинъ-помѣщикъ могъ оказать большую пользу государственному благоустройству сельско-хозяйственными трудами, конечно не въ томъ смыслѣ, какой кроется въ словахъ Фамусова: «имѣньемъ, братъ, не управляй оплошно» (т. е. собирай, во что бы ни стало, побольше дохода), а въ смыслѣ обоюдныхъ выгодъ крестьянъ и владѣльца. За тѣмъ дворянству предстояли благородныя занятія наукой и литературой, которыми оно также могло сослужить великую службу своимъ соотечественникамъ. На послѣдній родъ гражданской дѣятельности указываетъ Чацкій:

Теперь пускай изъ насъ одинъ,
Изъ молодыхъ людей, найдется врагъ исканій,
Не требуя ни мѣстъ, ни повышеній въ чинъ,
Въ науки онъ вперитъ умъ, алчущій познаній,
Или въ души его самъ Богъ возбудитъ жаръ
Къ искусствамъ творческимъ, высокимъ и прекраснымъ,—
Они тотчасъ: разбой! пожаръ!
И прослыветъ у нихъ мечтателемъ опаснымъ.

Наконецъ, дворянинъ могъ отправиться за границу для пополненія своего образованія или удалиться въ имѣніе, съ тою же цѣлю, какъ это видно изъ примѣра самого Чацкого, «на три года уѣзжавшаго вдаль», и изъ стиха:

Кто путешествуетъ, въ деревнѣ кто живетъ...

а также изъ отзыва Скалозуба о своемъ двоюродномъ братѣ:

Чинъ слѣдовалъ ему—онъ службу вдругъ оставилъ,
Въ деревню—книги сталъ читать.

Фамусовъ объясняетъ эти непонятныя для него явленія молодостью, не умѣющею исправно вести себя, но люди «новыхъ правилъ» (какъ отнесся о нихъ Скалозубъ) очень хорошо знали, что дѣлали: чтеніе было для нихъ могучимъ орудіемъ умствен-

наго развитія и знакомства съ наукой. Нельзя при всемъ сказанномъ не обратить вниманія и на чиновничью сферу, въ которую могли попасть люди, подобные Чацкому. Выборъ этой сферы весьма часто зависитъ не отъ лица, желающаго служить. Это дѣло случая или другихъ какихъ-либо обстоятельствъ. Дикій цвѣточекъ, по апологу И. Дмитріева, попалъ въ букетъ изъ гвоздикъ и, благодаря такой средѣ, самъ сталъ душистымъ. Но баснописецъ не выразилъ своего мнѣнія о томъ, что бы стало съ гвоздикой, если бы она одна-одинешенька попала въ пучекъ сорныхъ травъ съ дурнымъ, тяжелымъ запахомъ. Трудно, напримѣръ, представить себѣ положеніе Чацкаго въ обществѣ городничаго, судьи, смотрителя училищъ и другихъ бюстителей правосудія, дѣйствующихъ въ «Ревизорѣ». Они ли бы ушли отъ него, или онъ бы бѣжалъ отъ нихъ? Последнее вѣроятнѣе: чтобы приносить какую-нибудь пользу своей службою, честный человѣкъ долженъ же имѣть хоть малѣйшую долю общихъ интересовъ и стремленій съ сослуживцами. Когда Онѣгинъ нѣсколько облегчилъ судьбу своихъ крестьянъ—сосѣди его надулись. Но помѣщикъ независимѣе чиновника. Последний, чтобы помириться съ своей судьбой, долженъ вооружиться тѣмъ правиломъ житейской философіи, по которому «съ волками жить, по волчьи выть».

Но на такую философію Чацкій рѣшительно былъ не способенъ. Эту неспособность приобрѣлъ онъ нравственною независимостью и самостоятельнымъ образомъ мыслей: вотъ другая черта, отличающая его отъ людей того времени, которое въ піесѣ названо «прямымъ вѣкомъ покорности и страха» въ противоположность новому вѣку, когда «всякій дышалъ волюнѣ» и когда даже ревнители старыхъ предразсудковъ, съ ихъ «непримиримой враждой къ свободной жизни», даже тѣ, что не знали никакихъ нравственныхъ сдержекъ и побужденій, «боялись смѣха и держались въ уздѣ стыдомъ». Въ этомъ отношеніи Чацкій рѣшительная крайность Молчалину, для котораго «чужія мнѣнія святы» и непремѣнно надобно зависѣть отъ другихъ. Онъ разорвалъ связь съ министрами—вѣроятно не по случайному капризу. Онъ не принадлежитъ къ безмолвнымъ или безсловеснымъ, хотя послѣднихъ любили и въ его время. Онъ врагъ исканій, низкопоклонства, угодничества, которыми Молчалинъ пользовался по завѣщанію своего отца, какъ средствомъ «дойти до извѣстныхъ степеней»:

Мнѣ завѣщалъ отецъ,
Во-первыхъ, угождать всѣмъ людямъ безъ изъятія:
Хозяину, гдѣ доведется жить,
Начальнику, съ кѣмъ буду я служить,
Слугѣ его, который чиститъ платье,
Швейцару, дворнику для избѣжанья зла,
Собакаѣ дворника—чтобъ ласкова была (*).

Кругъ друзей и знакомыхъ у такой личности, какъ Чацкій, образуется не случайно, а умнымъ выборомъ. Связи между ними завязываются и крѣпнута по сходству мнѣній, нравственныхъ началъ и цѣли въ жизни. Они дорожатъ одними и

(*) Нѣкоторое подражаніе словамъ Геприетт, въ Мольеровой комедіи «Les femmes savantes»:

Un amant fait sa cour où s'attache son coeur;
Il veut de tout le monde y gagner la faveur;
Et, pour n'avoir personne à sa flamme contraire,
Jusqu'au chien du logis il s'efforce de plaire.
(Актъ I, сцена 3).

тѣми же интересами и не допускать интимнаго отношенія къ людямъ другаго покроя, для которыхъ эти интересы лишены всякаго значенія. Если они строги въ своемъ выборѣ, иногда даже исключительны, то это обнаруживаетъ не кичливость ихъ духа, а только сообразность съ понятіемъ ихъ о достоинствѣ или недостоинствѣ общественнаго и сердечнаго сближенія. Подобными резонами не руководилось московское общество того времени:

Кто хочетъ къ намъ пожаловать—изволь,
Дверь отперта для званныхъ и незванныхъ....
Хоть честный человѣкъ, хоть нѣтъ,
Для насъ ровнехонько: про всѣхъ готовъ обѣдъ.

У насъ, говоритъ Горичевъ Чацкому, «ругаютъ вездѣ, а всюду принимаютъ». При безразличіи званныхъ и незванныхъ, доказывающемъ полнѣйшее нравственное равнодушіе общества, не удивительно встрѣтить на балу у Фамусова отъявленнаго мошенника, плута и подлеца Загорѣцкаго. За неимѣніемъ честности онъ могъ утѣшаться тѣмъ, что если въ одной сторонѣ обзываютъ его позорными эпитетами, то въ другой благодарятъ за дрянную услужливость. Что новаго могло показать такое общество Чацкому?

Вчера былъ балъ, а завтра будетъ два,
Тотъ сватался—успѣлъ, а тотъ далъ промахъ:
Все тотъ же толкъ и тѣ же стихи въ альбомахъ.

Чтобы убѣдиться въ правдѣ этихъ стиховъ, достаточно прочесть письма г-жи Волковой, отличавшейся образованіемъ и умною наблюдательностью (*). А между тѣмъ эти «обѣды, ужины и танцы зажимали каждому ротъ»; пересуды свѣтскіе не только страшили тѣхъ, для которыхъ вопросъ: «что скажутъ?» замѣнялъ чувство совѣсти или чужой голосъ правды, но и могли повредить благородному человѣку: изъ нихъ составлялось своего рода общественное мнѣніе:

Не надо пищи—сказку, бредъ
Имъ лжецъ отпустить въ угожденье,
Глупецъ повѣрить, передать;
Старухи, кто во что гораздъ,
Тревогу быютъ... и вотъ общественное мнѣніе!

«Праздный, жалкій, мелкій свѣтъ!» восклицаетъ Чацкій. Жизнь этого свѣта кружилась въ бездѣльности, пустотѣ, ничтожности; не было у ней ни смысла, ни цѣли. Въ душной ея атмосферѣ голова Чацкаго страдала «отъ всякихъ пустяковъ»; онъ испытывалъ тамъ «милліонъ терзаній», истинное «горе отъ ума».

При выдачѣ дочерей за мужъ, московскій свѣтъ слѣдовалъ сентенціи Фамусова:

Кто бѣденъ, тотъ тебѣ не пара.

Но въ этой сентенціи взято только одно изъ двухъ необходимыхъ условій замужества: женихъ долженъ былъ сверхъ того занимать видное мѣсто на общественной лѣстницѣ по своему рангу или по крайней мѣрѣ имѣть возможность занять его, благодаря родству и покровительству. Княгиня Тугоуховская, узнавъ, что Чацкій не богатъ и не камеръ-юнкеръ, не видитъ уже надобности приглашать его на свои вечера. Понятно,

(*) Грибоѣдовская Москва (В. Евр. 1874 и 1875).

почему отъ жениховъ требовали «съ имѣньемъ быть и въ чинѣ»: первая статья представляла способъ проводить жизнь пріятно, т. е. давать обѣды и балы, а вторая льстила пустому тщеславію, которое не отличалось отъ истиннаго славолубія. Само собою разумѣется, что мысль о согласной, хорошей жизни супруговъ представлялась каждому отцу и каждой матери, которые, не смотря на извращенность своихъ понятій и увлеченіе общимъ обычаемъ, все же питали родительскія чувства къ дѣтямъ и искренно желали имъ счастья, но дѣло въ томъ, что этотъ предметъ не составлялъ, подобно имѣнію и чину, *conditio sine qua non*. Это скорѣе былъ прибавочный пунктъ къ расчету, своего рода *pium desiderium*, которое могло исполниться со временемъ, но не должно было мѣшать капитальнымъ соображеніямъ родителей невѣсты. Не изъ такихъ мутныхъ источниковъ излилась привязанность Чацкаго къ Софѣ. Объ ея искренности, достоинствѣ и силѣ говорить самъ Чацкій, когда, противопоставляя себя Молчалину, исповѣдуетъ свои чувства Софѣ:

....Есть ли въ немъ та страсть, то чувство, пылкость та,
Чтобъ кромѣ васъ ему міръ цѣлый
Казался прахъ и суета?
Чтобъ сердца каждаго бѣенье
Любовью ускорялось къ вамъ?
Чтобъ мыслямъ были всемъ и всемъ его дѣламъ
Душею—вы, вамъ угожденье?
Самъ это чувствую, сказать лишь не могу;
Но что теперь во мнѣ кипитъ, волнуетъ, бѣситъ,
Не пожелалъ бы я и личному врагу.

Любви Чацкаго не охладилъ «ни даль, ни развлеченія, ни переменъ мѣстъ». Онъ «безпрерывно былъ занятъ движеніями своего сердца, жилъ, дышалъ ими». Разочарованіе повергаетъ его «въ пучину золь, мечтаній и печали».

Москвичи Фамусовскаго круга были также враждебны къ наукѣ, какъ и къ либеральнымъ идеямъ. Они связывали первую съ послѣдними, какъ причину съ слѣдствіемъ. Фамусовъ называетъ ученіе чумою; ученость, по его понятію, развела множество безумныхъ людей, безумныхъ дѣлъ, безумныхъ мнѣній. Отсюда прямой его выводъ: чтобы вырвать съ корнемъ зло, надобно сжечь книги. Гости на его балу, дамы и кавалеры, какъ и слѣдовало ожидать, вооружаются именно противъ тѣхъ новыхъ учебныхъ и ученыхъ заведеній, которыми или распространялась грамотность, или сообщалось среднее и высшее образованіе,—противъ ланкастерскихъ школъ, гимназій, лицеевъ, педагогическаго института, оживленнаго, при Уваровѣ, учрежденіемъ новыхъ кафедръ, но гдѣ профессора будто бы упражняются въ расколахъ и въ безвѣріи. Они боялись университетскихъ лекцій, сознавая, болѣе или менѣе ясно, что молодой человѣкъ, подъ вліяніемъ слышаннаго и изученнаго, становится на высшую степень образованія и кромѣ того пріобрѣтаетъ тотъ нравственный закалъ, которымъ Чацкіе отличаются отъ жалкаго, пустаго свѣта. Чацкій, съ своей стороны, не щадитъ ревнителей невѣжества. Въ глаза Софѣ онъ смѣется надъ ея родственникомъ, чахоточнымъ врагомъ книгъ,

Въ ученый комитетъ который поселился
И съ крикомъ требовалъ присягъ,
Чтобъ грамотѣ никто не зналъ и не учился.

Онъ смѣется также надъ воспитаніемъ или вѣрнѣе ученіемъ, при которомъ заботились не о далекости въ наукѣ, а о наборѣ учителей,

Числомъ поболѣе, цѣною подешевле.

Но особенно поднимается его желчь при воспоминаніи о жестокихъ подвижникахъ крѣпостнаго права:

Тотъ Несторъ негодяевъ знатныхъ,
Толпою окруженный слугъ.
Усердствуя, они, въ часы вина и драки,
И честь и жизнь его не разъ спасали—вдругъ
Онъ вымѣнилъ на нихъ борзыхъ три собаки.
Пли—вотъ тотъ еще, который для затѣи
На крѣпостной балетъ согналъ на многихъ фурахъ
Отъ матерей, отцевъ отторженныхъ дѣтей.

Собравъ черты, отличающія, въ лицѣ Чацкаго, «вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій», я долженъ прибавить, что Чацкій не только представитель лучшей части образованнаго меньшинства въ царствованіе Александра I, но и самый разумный его представитель, по правильности взгляда на способъ, какимъ гражданинъ-патріотъ долженъ служить въ пользу распространенія добрыхъ началъ и осуществленія ихъ въ жизни. Москва заключала въ себѣ тоже либераловъ, которые образовали общество или, по слову Репетилова, «секретнѣйшій союзъ», и завели собранья въ англійскомъ клубѣ. Грибоѣдовъ проницательно, если не презрительно, относится къ разсказу Репетилова объ этихъ сходкахъ, называя бесѣды, на нихъ происходившія, «блѣснованьемъ». Конечно, восторгъ такого болтуна, какъ Репетиловъ, очень компрометировалъ членовъ «секретнѣйшаго союза»; однакожъ на основаніи догадокъ о лицахъ, послужившихъ оригиналами для портретовъ, изображенныхъ Репетиловымъ, между ними находились и такіе, на которыхъ нельзя было махнуть рукой, примолвивъ: «Богъ съ ними!» Возражая на замѣчаніе Скалозуба, что онъ всемъ этимъ умникамъ «дастъ фельдфебеля въ Вольтеры», Репетиловъ говоритъ:

Повѣрь, любезный, мнѣ,
Что вашей братіи у насъ (*) есть не одинъ
Полковникъ,—всѣ съ имѣніемъ, служаки,
Грудь въ орденахъ, съ умомъ, рубаки.
Умомъ однимъ лишь красенъ чинъ!

Этихъ пяти стиховъ не было въ прежнихъ изданіяхъ: ихъ исключилъ самъ авторъ, по совѣту своего друга А. Одоевскаго (**). Во всей сценѣ съ Репетиловымъ, у Чацкаго ясно проглядываетъ нежеланіе сблизиться «съ сокомъ умной молодежи», отвращеніе отъ тайныхъ собраній и вообще отъ всѣхъ косвенныхъ или окольных путей къ благородной и полезной цѣли. Это несочувствіе происходило, какъ мы сказали, отъ правильного, разумнаго взгляда на способъ дѣйствій истиннаго патріотизма. Чацкій, какъ мнѣ кажется, не питалъ вѣры въ силу закрытыхъ средствъ, какими бы положеніями они ни обставлялись и какими бы цѣлями ни задавались. Онъ допускалъ только одно общество—общество просвѣщенныхъ, благонамѣренныхъ гражданъ, соединенныхъ тождествомъ понятій о томъ, что вредно и что полезно ихъ отечеству, и ясно понимающихъ другъ друга безъ особыхъ формальностей и условныхъ знаковъ.

(*) Въ обществѣ московскихъ либераловъ.

(**) См. біографію Грибоѣдова, изложенную А. Н. Веселовскимъ (Рус. Библіотека — А. С. Грибоѣдовъ. 1875, стр. 200, въ выносѣ).

Каждый членъ этого общества, дѣйствуя въ своей сферѣ, тѣмъ не менѣе, безъ всякой стачки, дѣйствуетъ согласно съ другими членами. Индивидуальныя намѣренія и индивидуальныя усилія каждаго, не таиня въ тѣмъ, порождаютъ болѣе или менѣе успѣшныя результаты, т. е. проводятъ въ общественное сознаніе и въ общественную дѣятельность господство гуманныхъ идей. Въ этомъ отношеніи Чацкій, по моему мнѣнію, представляетъ замѣтное единомысліе съ однимъ изъ своихъ современниковъ, авторомъ «Теоріи налоговъ» (*).

Совсѣмъ другаго рода, сравнительно съ либеральною молодежью, былъ кругъ такъ называемыхъ «московскихъ тузовъ», болѣею частію людей старыхъ. Они, какъ знать, стояли у всѣхъ на виду и нисколько не стѣснялись въ своихъ рѣчахъ и сужденіяхъ. Фамусовъ благоговѣетъ передъ ними:

Вѣдь столбовые всѣ; въ усъ никому не дуютъ
И о правительствѣ иной разъ такъ толкуютъ,
Что еслибъ кто подслушалъ ихъ—бѣда!

Прямые канцлеры въ отставкѣ по уму!
Я вамъ скажу: знать время не приспѣло,
Но что безъ нихъ не обойдется дѣло.

Болѣею частію это были лица, или недовольныя реформами Александра времени, или обиженныя тѣмъ, что правительство не призвало ихъ къ себѣ въ пособники. Удалившись на покой въ древнюю столицу, они находили отраду въ томъ, что могли свободнѣе заявлять протестаціи, которыя охотно и съ почтеніемъ выслушивались ихъ поклонниками. Такимъ вниманіемъ облегчалось ихъ оскорбленное самолюбіе. Притомъ они питали надежду, что, рано или поздно, наступитъ пора и имъ дѣйствовать. Эта надежда основывалась, между прочимъ, на неудовлетворительности, а иногда и ошибочности нѣкоторыхъ правительственныхъ мѣръ. Не будучи «канцлерами по уму», государственными людьми, московскіе тузы понимали однакожъ, что шаткость или неуспѣхъ реформъ проистекалъ отъ недостатка административной опытности и близкаго знакомства съ условіями русской жизни въ реформаторахъ. А такъ какъ сами они навывкли въ дѣлахъ, были не только практики, но и рутинеры, знали лучше жизнь и пріобрѣли установившійся, хотя и узкій взглядъ, то и мечтали, что эти-то именно качества и нужны для созданія высшихъ государственныхъ плановъ, соотвѣтственно потребностямъ новаго времени (**).

Кромѣ главной мысли, въ «Горѣ отъ ума» есть другая, хотя второстепенная или побочная, но тѣмъ не менѣе очень замѣчательная. Авторъ страстно выразилъ ее въ извѣстномъ монологѣ, заключающемъ третье дѣйствіе. Это—мысль о пустомъ, рабскомъ, слѣпомъ подражаніи нашемъ всему иностранному. Она подверглась критикѣ одного изъ образованнѣйшихъ русскихъ людей, И. В. Кирѣевскаго, который нашелъ ее несправедливою и одностороннею. Мнѣ кажется, критикъ, въ своемъ сужденіи, не принялъ достаточно въ расчетъ различія временъ. Комедія несомнѣнно была уже готова въ 1822-мъ году, а критическая статья о ней напечатана черезъ десять лѣтъ (***). Въ этотъ срокъ времени взгляды на нѣкоторые предметы могли измѣ-

(*) La Russie et les Russes, t. I.

(**) Сперанскій и его государственная дѣятельность, О. Дмитріева (Рус. Арх. 1868).

(***) Въ Европейцѣ 1831, кн. I (Горѣ отъ ума на московской сценѣ).

ниться. Въ 1831 г. иностранцы потеряли свое прежнее значеніе въ глазахъ правительства и высшихъ сферъ общества не какъ иностранцы только, но какъ образцы, представители западно-европейскаго просвѣщенія съ его послѣдствіями, нравственными и политическими, въ характерѣ и направленіи которыхъ видѣли противоположность началамъ и цѣлямъ собственно-русскаго просвѣщенія. Кирѣевскій, издатель «Европейца», однимъ названіемъ своего журнала, не говоря уже о его характерѣ, обязанъ былъ отнестись неодобрительно къ патетическому негодованію Чацкаго и высказать мысль о необходимости усвоенія общеевропейской образованности для развитія просвѣщенія русскаго. Такой фактъ понятенъ. Но Грибоѣдовъ вращался въ томъ обществѣ, въ которомъ пристрастіе къ французскому вовсе не совпадало съ желаніемъ усвоить себѣ просвѣтительные элементы европеизма. Онъ каждый день могъ быть свидѣтелемъ сценъ—то комическихъ, то оскорбительныхъ русскому чувству, то вредныхъ въ смыслѣ умственномъ и нравственномъ. Здѣсь мадамъ Розье дозволила сманить себя за лишннихъ пятьсотъ рублей; тамъ тетушка посѣдѣла съ досады, когда молодой французъ сбѣжалъ у ней изъ дому. Пріѣхавъ въ Россію, французъ

Ни звука русскаго, ни русскаго лица
Не встрѣтилъ: будто бы въ отечествѣ, съ друзьями,—
Своя провинція! Посмотришь—вечеркомъ
Онъ чувствуетъ себя здѣсь маленькимъ князькомъ!

Гостепріимство московское готовило столы для званыхъ и незваныхъ, но «особенно для иностранныхъ». Отъ послѣднихъ невѣсты не требовали того, что требовалось отъ русскаго жениха, т. е. «съ имѣньемъ быть и въ чинѣ». Барышни наши, благодаря гувернанткамъ, становились копіями парижскихъ модистокъ, не смотря на всю свою дворянскую спесь. Все это зналъ хорошо Чацкій; все это видѣлъ въ томъ обществѣ, къ которому принадлежала Софья: удивительно ли, что онъ сильно былъ взволнованъ и что монологъ его выражаетъ страстное раздраженіе души?

Но независимо отъ чувства, которое можетъ загораться въ душѣ мгновенно и случайно, сатира такого человѣка, какъ Грибоѣдовъ, имѣла источникомъ и высшія соображенія. Конечно, онъ не былъ славянофиломъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ это слово понималось тогда большинствомъ публики, т. е. любителемъ славянины; но онъ, по моему мнѣнію, сознательно держался другаго, гораздо болѣе важнаго пункта славянофильскаго ученія, а именно понятія о самостоятельномъ развитіи русскаго народа, — того понятія, которое объяснялъ Карамзинъ въ своемъ разсужденіи «о любви къ отечеству и народной гордости», и о которомъ часто говоритъ Шишковъ въ своей книгѣ «о старомъ и новомъ слоgѣ». Грибоѣдовъ, живя въ Петербургѣ, имѣлъ пріятельскія связи съ сторонниками Шишкова: кн. А. Шаховскимъ, Катенинымъ, Гнѣдичемъ. Несомнѣнно, что въ литературѣ онъ стоялъ на сторонѣ самостоятельнаго авторства русскихъ. Это доказано не только его комедіей, въ которой онъ отбросилъ опошлѣвшую выкройку французскихъ піесъ этого рода, когда еще всѣ почти наши театральные писатели строили по ней свои созданія, но и защитой Катенина отъ журнальных нападокъ на его переводъ Бюргеровой баллады «Ленора», ставя его выше перевода Жуковскаго (Людмила) не за качество стиха, а за его національный колоритъ. Замѣчательно, что ни Карамзинъ, ни Жуковскій не пользовались сочувствіемъ Грибоѣдова, причину чего надобно искать единственно въ томъ, что онъ введенные ими въ нашу литературу элементы—сентиментальный и романтическій—нахо-

диль не соответствующимъ характеру русской національности (*). Если же требованіе литературной самостоятельности такъ сильно заявлялось Грибоѣдовымъ, то еще сильнѣе долженъ былъ онъ чувствовать законность и важность самобытности по отношенію къ русской жизни вообще, къ ея всестороннему развитію, и вмѣстѣ съ этимъ противоборствовать вліянію не однихъ французовъ, но европейцевъ вообще. Чацкій отъ французовъ не отдѣляетъ и нѣмцевъ:

Какъ съ раннихъ поръ привыкли вѣрить мы,
Что намъ безъ *нѣмцевъ* нѣтъ спасенья!

Смотря на «Горе отъ ума» съ эстетической точки зрѣнія, т. е. оцѣнивая піесу по отношенію къ законамъ и условіямъ комедіи вообще, большинство критиковъ находило въ ней одинъ главный недостатокъ—недостатокъ дѣйствія. Положеніе дѣйствующихъ лицъ, писалъ одинъ изъ нихъ, не измѣняется въ теченіи всѣхъ четырехъ актовъ. Можно выкинуть каждое изъ лицъ, замѣнить другимъ, удвоить число ихъ—и ходъ піесы останется тотъ же (**). Почти такое же мнѣніе выражено кн. Вяземскимъ: «Дѣйствія въ драмѣ (Горе отъ ума) нѣтъ. Здѣсь всѣ почти лица эпизодическія, всѣ явленія выдвижныя: ихъ можно выдвинуть, вдвинуть, перемѣстить, пополнить, и нигдѣ не замѣтишь ни трещины, ни придѣлки» (***). Отсюда и выводится заключеніе, что «Горе отъ ума»—не комедія собственно, а сатира въ драматической формѣ, превосходно обдуманная, строго правдивая, кипящая огнемъ негодованія. Съ этимъ соглашались самые ревностные защитники автора, находя, что высокій талантъ его выразился и въ сатирѣ такъ блистательно, какъ другіе таланты не выражались въ десяткахъ комедій. Пусть это — сатира, думали они: дѣло не въ имени, а въ самомъ дѣлѣ, достоинство котораго несомнѣнно.

Если лица ничего или очень мало дѣлають, а только говорятъ, какъ замѣчали критики, то можно возразить имъ, что иная рѣчь лучше иныхъ дѣйствій характеризуетъ людей и живѣе представляетъ картину общественныхъ нравовъ. Умное изреченіе древняго грека: «говори, чтобы я могъ узнать тебя», вполне прилагается къ драматическимъ діалогамъ и монологамъ. Бесѣды Фамусова съ дочерью, съ Чацкимъ и Скалозубомъ знакомятъ до тонкости съ его характеромъ, обнаруживаютъ до тла весь міръ понятій, стремленій, наклонностей современнаго ему московскаго свѣта. Онъ живьемъ стоитъ передъ нами, какъ баринъ, какъ отецъ, какъ чиновникъ, какъ членъ общества. Какъ баринъ, онъ дорожитъ дворянствомъ—но въ своемъ особенномъ смыслѣ, объясняя его слѣдующимъ образомъ:

.....У насъ ужъ изстари ведется,
Что по *отцу* и сыну *честь*!
Будь плохенькій, да если наберется
Душъ тысячи двѣ родовыхъ,
Тотъ и женихъ.

Другой, хоть прытче будь, надутый всякимъ чванствомъ,
Пускай себѣ разумникомъ слыви,
А въ семью не включать, на насъ не подиви!
Видь только здѣсь еще и дорожатъ дворянствомъ!

(*) См. путевыя замѣтки въ черновой тетради Грибоѣдова (Рус. Слово 1859, №№ 4 и 5).

(**) Нѣсколько словъ о ком. «Горе отъ ума», Пилада Бѣлугина (М. Дмитріева). В. Евр., 1825, № 10

(***) Фонъ-Визинъ, соч. кн. П. Вяземскаго, 1848, т. 8.

Какъ отецъ, свое радѣніе о воспитаніи дочери онъ ограничиваетъ приглашеніемъ въ домъ мадамы; присмотрѣть за взрослою дѣвушкой сердить его, какъ неспособная коммиссія; въ позорѣ съ дочерью тревожить и сокрушаетъ его не чувство безравственности, не голосъ совѣсти, не скорбь родительская, а боязнь пересудовъ и дурной молвы: «что станетъ говорить книжница Марья Алексѣвна!» Какъ чиновникъ, онъ имѣетъ въ виду только формальную сторону службы, нисколько не думая о внутреннихъ обязанностяхъ. Онъ смертельно боится одного, чтобы не накопилось много бумагъ; поэтому онъ принялъ за правило: «что дѣло, что не дѣло—подписано, такъ съ плечъ долой». Истинный комизмъ Фамусова, говоритъ кн. Вяземскій, заключается въ томъ, что, воспитанный и постарѣвшій во лжи своего положенія, онъ дѣйствуетъ добродушно, отъ чистаго сердца убѣжденный въ превосходствѣ своей философіи, и не понимаетъ вреда, который творитъ вокругъ себя дѣйствіями, основанными на этой философіи. Въ такой наивности вреднаго человѣка критикъ видитъ преимущественно заую сатиру автора: «ибо никакъ не различить насмѣшливости комика отъ замоскворѣцкаго патріотизма комическаго лица». Дѣйствительно, рѣчи Фамусова въ устахъ Чацкаго были бы самой ѣдкой проіеіей, но, произносимыя самимъ Фамусовымъ, они отличаются своего рода патетизмомъ, какъ бы отражая величіе тѣхъ представленій, которыя служатъ для него незыблемыми идеалами.

Скалозубъ двумя-тремя выраженіями заявляетъ себя лучше, чѣмъ бы могъ заявить какими нибудь дѣйствіями на родной своей почвѣ — плацъ-парадѣ. Его опредѣленіе Москвы, какъ «дистанціи огромнаго размѣра», «къ украшенью которой много способствовалъ пожаръ», его «не знаю, мы съ ней вмѣстѣ не служили» — такія типическія рѣчи, послѣ которыхъ остается только воскликнуть: вотъ человѣкъ! О самомъ Чацкомъ, какъ лицѣ комедіи, давно сдѣланъ справедливый приговоръ, начиная съ мѣткихъ словъ Пушкина: «Чацкій совѣтъ не умный человѣкъ, но Грибоѣдовъ очень уменъ», и оканчивая слѣдующимъ сужденіемъ кн. Вяземскаго: «Чацкій похожъ на Стародума (въ ком. Недоросль). Благородство правилъ его почтенно, но способность, съ которою онъ ex-abrupto проповѣдуетъ на каждый понавѣшійся ему текстъ, не рѣдко утомительна. Слушающіе рѣчи его точно могутъ примѣнить къ себѣ названіе комедіи, говоря: горе отъ ума. Умъ, каковъ Чацкаго, не есть завидный ни для себя, ни для другихъ. Въ этомъ главный порокъ автора, что посреди глупцевъ всякаго свойства вывелъ онъ одного умнаго человѣка, да и то бѣшенаго. Мольеровъ Альцестъ, въ сравненіи съ Чацкимъ, настоящій Филиппъ (*), образецъ терпимости». Съ этимъ нельзя не согласиться. Не заведено держать себя въ обществѣ такъ, какъ держитъ Чацкій, и въ глаза говорить то, что имъ говорится. Давно еще, при самыхъ восторженныхъ похвалахъ піесѣ, критики не скрывали неразсудительности главнаго дѣйствующаго лица, его заносчивости и нетерпѣливости, хотя оно само какъ бы желаетъ ослабить ѣдкость своей сатиры, въ отвѣтъ Софѣ:

Послушайте, ужель слова мои всѣ колки
И клонятся къ чѣму нибудь вреду?
Но если такъ, умъ съ сердцемъ не въ ладу;
Я въ чудакахъ иному чуду
Разъ посмѣюсь, потомъ забуду;
Велите жъ мнѣ въ огонь—пойду какъ на обѣдъ.

(*) Въ комедіи Мольера «Мизантропъ».

Но пусть Чацкій — второй экземпляр Стародума; пусть онъ выражаетъ образъ мыслей Грибоѣдова, какъ Стародумъ выражалъ образъ мыслей фонъ-Визина... что же отсюда слѣдуетъ? Если это ошибка въ отношеніи эстетическомъ, то, съ другой стороны, это великій выигрышъ по отношенію къ внутреннему содержанію пьесы, къ ея идее. Ради послѣдней, какъ самаго важнаго предмета, авторъ уклонился отъ теоретическаго кодекса комедіи: кто, въ виду настоящей и почтенной цѣли, будетъ строго взыскивать съ автора за то или другое средство, употребленное имъ для достиженія цѣли? Извѣстно, что «Недоросль» главнымъ своимъ успѣхомъ, въ средѣ образованныхъ зрителей, былъ одолженъ рѣчамъ Стародума. А въ наше время, при представленіи «Горя отъ ума», что особенно привлекаетъ публику, какъ не роль Чацкаго? Чьи рѣчи выслушиваются съ постояннымъ сочувствіемъ и напряженной внимательностью, какъ не рѣчи Чацкаго? Эти рѣчи держатъ и долго еще будутъ держать піесу на сценѣ; они увѣковѣчили имя ея автора въ памяти каждаго русскаго, сдѣлали его украшеніемъ нашей литературы. Для сценическаго успѣха Фамусова, Скалозуба, Репетилова нужна болѣе или менѣе талантливая игра актеровъ; для такого же успѣха Чацкаго таланта нужно меньше, а въ случаѣ нужды можно и вовсе безъ него обойтись: само содержаніе вынесетъ на плечахъ даже безталантность; будутъ осуждать игру, но за то непременно будутъ внимать словамъ, покрывая ихъ громко-дружными рукоплесканіями.

Софья является въ піесѣ именно такою дѣвушкой, какою она могла быть и дѣйствительно была, по своему воспитанію и другимъ обстоятельствамъ жизни. Лишившись матери, она осталась на попеченіи отца, который тяготится взрослой дочерью, какъ несносной комиссіей, и подъ надзоромъ наемной француженки, которая за болѣе выгодный наемъ, не задумавшись, перешла въ другое мѣсто. Ни въ гувернанткѣ, ни въ родитель-вдовцѣ не видѣла она добрыхъ себѣ примѣровъ. Обязанность быть хозяйкой въ домѣ, приглашать и принимать гостей развили въ ней извѣстную самостоятельность. Она чувствуетъ себя вольнѣе, держитъ себя свободнѣе, сравнительно съ тѣми изъ своихъ сверстницъ, которыя состоятъ подъ материнской опекой. Эта свобода, при отсутствіи нравственнаго призора, перешла въ своеволіе, которое, какъ весьма часто бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, легко могло принять ложное направленіе. Софья не труслива, не умѣетъ притворяться, не знаетъ, откуда взять скрытности. Она освободилась отъ страха при мысли: «что скажутъ?» Пересуды и говоръ потеряли надъ нею власть, перестали быть пугаломъ. «Что мнѣ молва?» возражаетъ она служанкѣ Лизѣ: «кто хочетъ, такъ и судить». Она цѣнитъ только свое желаніе, свою волю: «хочу—люблю, хочу—скажу», и нисколько не цѣнитъ знакомыхъ отца своего:

Да что мнѣ до кого? до нихъ? до всей вселенной?
Смѣшно?—пусть шутятъ ихъ! Досадно?—пусть бранятъ!

Она «не дорожитъ и собой», прямо и откровенно заявляя это Молчалину. При своей самостоятельности и самоуправности, Софья въ тоже время умна. Она не очень конфузится отъ рѣчей Чацкаго и его эпиграммы отражаетъ иногда ловкими репликами. Мысль о помѣшательствѣ Чацкаго пущена ею съ знаніемъ той среды, гдѣ она должна была распространиться, и слѣдовательно съ увѣренностію въ успѣхѣ:

А, Чацкій!... любите вы всѣхъ въ шуты радить,
Вы никого не любите щадить,
Такъ неуждно ль на себѣ примѣрять.

Но какъ такая дѣвушка могла полюбить Молчалина? Чтобы не дивиться такому факту, не мѣшаетъ прежде всего имѣть въ виду натуру женщинъ вообще, которыя, по словамъ одного автора, представляютъ неразрѣшимую загадку даже для мудреца, ибо онѣ «часто любятъ головой и часто разсуждаютъ сердцемъ». Затѣмъ уже можно прибѣгнуть къ другимъ соображеніямъ, объясняющимъ естественность любви. Воображеніе Софьи было раздражено французскими романами: она «читала небывлицы по ночамъ»; а потребность воплотить романическаго героя въ лицѣ того или другаго знакомаго есть самое обыкновенное явленіе въ сердечной исторіи дѣвушки. Софья воплотила свой идеалъ въ Молчалина, потому что онъ жилъ въ домѣ ея отца, былъ близокъ къ ней, находился, такъ сказать, у ней подъ руками. Въ движеніяхъ сердца, случайности играютъ большую роль: близость предмета, возможность частаго съ нимъ свиданія, нестѣснительность взаимнаго обмѣна чувствъ завязываютъ не только недуманныя, негаданныя связи, но и окончательно устраниваютъ судьбу противъ всякаго ожиданія. На кого изъ знакомыхъ могла обратить Софья свое предпочтительное вниманіе? Чацкаго она забыла или охладѣла къ нему, а можетъ статься и до его поѣздки не питала къ нему сильнаго чувства; Скалозубъ—герой, но только не ея романа; а изъ молодыхъ людей, пріѣхавшихъ на балъ къ Фамусову, вертѣлся одинъ Загорецкій, но онъ ужъ такъ дрянень, что не годится ни въ какіе герои: онъ просто лгунишка, воръ и мошенникъ. Конечно, Софья ошиблась; она строго наказана разочарованіемъ, но въ бѣдѣ своей она, какъ и слѣдовало ожидать отъ ея характера, сильно выказываетъ оскорбленную гордость и съ презрѣніемъ отвергаетъ свой бывшій идеалъ:

И съ этихъ поръ васъ будто не знавала...
Упрековъ, жалобъ, слезъ моихъ
Не смѣйте ожидать: не стойте вы ихъ!
Но чтобы въ домѣ здѣсь заря васъ не застала,
Чтобъ никогда объ васъ я больше не слыхала.

Софья съ такою же рѣшительностью порываетъ свою любовь, съ какою, должно думать, и завязала ее.

«Если искать вывѣски современныхъ Грибоедову правовъ въ Софін», говоритъ кн. Вяземскій, «то должно сказать, что эта вывѣска—поклепъ на нравы». Почему же клеветъ, т. е. напраслица? Софья принадлежитъ къ такому разряду дѣвушекъ, которыхъ сравнительно было меньше въ московскомъ обществѣ, но это меньшинство есть не воображаемое нѣчто, не вымышленное, а дѣйствительно существовавшее, на ряду съ большинствомъ. Комикъ имѣетъ полную свободу отнести къ меньшинству, выбирать изъ него представительныя лица и изображать ихъ: его изображенія будутъ вѣрными вывѣсками, живыми, законными типами опредѣленнаго общественнаго круга, хотя и болѣе тѣснаго, но въ такой же степени самобытнаго и полноправнаго, какъ и кругъ обширнѣйшій. Эти представители меньшинства даже могутъ отличаться большею оригинальностью, чѣмъ представители большинства. Софья, конечно, оригинальнѣе и выше своихъ знакомыхъ москвичекъ, пріѣхавшихъ къ ней на балъ—шести дочерей князя Тугоуховскаго и внучки графини Хрюминой. Последнія все похожи одна на другую, какъ двѣ капли воды: ихъ характеръ—въ отсутствіи всякой особенности, ихъ индивидуальность—въ безличіи.

Въ послѣдніе годы вышло много матеріаловъ касательно біографіи, службы и литературной дѣятельности Грибоѣдова. На первомъ мѣстѣ ставлю двѣ прекрасныя статьи А. Н. Веселовскаго: «Очеркъ первоначальной исторіи «Горя отъ ума» (Рус. Архивъ 1874, кн. 1) и «А. С. Грибоѣдовъ» (Рус. Библіотека, изд. М. М. Стасюлевича, т. V). Далѣе въ Рус. Архивѣ 1872 г.: «О смерти Грибоѣдова въ Тегеранѣ» (стр. 1492—1538), Письма Грибоѣдова 1828 и 1829 г.г. къ Родофиникину, директору азіатскаго департамента (стр. 1538—1551; 1874 г.: «Письмо кн. Вяземскаго къ М. Н. Лонгинову о Грибоѣдовѣ (№ 2), по поводу статьи г. Родиславскаго: «Неизданныя піесы Грибоѣдова» (Рус. Вѣст. 1873, сентябрь); 1873 г.: «Арестъ Грибоѣдова», изъ Воспоминаній Шимановскаго (кн. 2, стр. 339).—Въ Рус. Старинѣ 1872 г.: «А. С. Грибоѣдовъ», изъ Записокъ П. Каратыгина (т. V); 1873 г.: «Персія и Персіане», донесеніе Грибоѣдова въ 1827 г. гр. Паскевичу (т. VII); 1874 г.: «А. С. Грибоѣдовъ, біографическій очеркъ г. Сосновскаго (т. X), «Обзоръ всѣхъ изданій Горя отъ ума», г. Гарусова (т. X), «Горе отъ ума въ Тифлисѣ» въ 1832 г. (т. X), А. С. Грибоѣдовъ въ Персіи и на Кавказѣ, 1818—1828, А. Берже (т. XI), «А. С. Грибоѣдовъ, какъ дипломатъ, 1827 и 1828», А. Берже (т. XI), «Письмо Грибоѣдова къ Ю. К. Глинкѣ» (т. XIII, стр. 344—346), Письма Грибоѣдова къ Кюхельбекеру (т. XIII, стр. 360—362).—Статья Н. Гербеля: «А. С. Грибоѣдовъ» (въ изданіи Горя отъ ума, 1873). — Кромѣ того критическія статьи о «Горѣ отъ ума» въ сочиненіяхъ Бѣлинскаго.

КОНЕЦЪ ВТОРАГО ТОМА.

ДОПОЛНЕНИЯ И ПОПРАВКИ.

Къ §§ 2 (стр. 2—8) и 15 (стр. 83—91), и къ примѣчанію на стр. 115—117.

Новые матеріалы для біографіи и дѣятельности Карамзина, изданные къ столѣтней годовщинѣ его рожденія (1 декабря 1866 г.), даютъ возможность частію пополнить и частію исправить свѣдѣнія, сообщенныя мною въ указанныхъ параграфахъ.

Карамзинъ лишился матери въ младенчествѣ. Воспоминаніе объ этой потерѣ сохранилось въ его «Посланіи къ женщинамъ» (1793):

Ахъ, я не зналъ тебя!... ты, давъ мнѣ жизнь, сокрылась!

Съ 1774 г. онъ состоялъ въ армейскихъ полкахъ (т. е. числился на службѣ), а въ 1781 г. переведенъ въ преображенскій полкъ (т. е. поступилъ на дѣйствительную службу); вышелъ въ отставку 1-го января 1784. Въ теченіе трехлѣтняго своего служенія Карамзинъ два раза получалъ отпускъ: сначала годовой, по домашнимъ дѣламъ, 11-го сентября 1781 г., а потомъ одиннадцати-мѣсячный, 6-го февраля 1783 г.; слѣд. жилъ онъ въ Петербургѣ съ небольшимъ одинъ годъ. Отсюда видно, что онъ вышелъ изъ пансіона Шадена на 15-мъ или 16-мъ году. Если онъ учился тамъ три года, то при поступленіи имѣлъ не больше двѣнадцати лѣтъ. Нельзя, конечно, думать, чтобы въ трехлѣтній курсъ можно было оказать большіе успѣхи, даже при тѣхъ особенныхъ дарованіяхъ, какими природа надѣлила Карамзина. Но крайней мѣрѣ, русское правописаніе его было плохо, какъ это видно изъ слѣдующей подлинной его подъ реверсомъ (11 сентября 1781), даннымъ въ томъ, что онъ явится изъ отпуска въ срокъ: «Синбирскаго уѣзда в село Знаменское паншнортъ взялъ Подпранпорщикъ Никалай Карамзинъ». И нѣмецкая его орфографія хромала: въ одномъ письмѣ къ Петрову (1783 г.) онъ въ трехъ строкахъ сдѣлалъ пять ошибокъ. Изъ этого нельзя, однакожъ, заключить, что Карамзинъ не приобрѣлъ никакихъ познаній у Шадена, или что пансіонское ученіе осталось совершенно безплоднымъ для его умственного развитія. Неумѣнье употреблять надлежащія буквы въ словахъ возможно при значительной начитанности. Въ школахъ прежняго времени, особенно въ тѣхъ, которыя содержались иностранцами, русскую грамматику преподавали и неискусно и небрежно. На орфографію вообще обращали малое вниманіе. Воспитанники французскихъ гувернеровъ, отлично владѣя разговорнымъ языкомъ, не могли написать простой записки безъ грубѣйшихъ ошибокъ. Автографы Екатерины II, русскіе и французскіе, наполнены также ошибками, а между тѣмъ она принадлежала къ самымъ образованнымъ и начитаннымъ людямъ своего вѣка.

Изъ трехъ лѣтъ своей службы, Карамзинъ почти два года находился въ отпуску. Въ это время, проѣзжая черезъ Москву въ Симбирскъ и обратно, и по какимъ нибудь дѣламъ останавливаясь въ столицѣ, могъ онъ завязать знакомство съ Петровымъ и вмѣстѣ съ нимъ слушать лекціи Шварца. Безъ этого предположенія трудно понять, когда дружба между молодыми людьми успѣла такъ сильно развиться, какъ это видно изъ писемъ Карамзина къ Петрову въ 1785 г. А допустивъ справедливость предположенія, мы оправдаемъ свидѣтельство Н. Дмитриева, который рѣшительно называетъ Карамзина и Петрова слушателями лекцій Шварца.

Въ теченіе четырехъ лѣтъ (1792—1795) Карамзинъ находился подъ гнетомъ тяже-

ныхъ обстоятельствъ. Особенно 1793-й годъ былъ для него труденъ. Въ письмахъ къ Дмитріеву, относящихся къ этому четырехлѣтію, очень часто говоритъ онъ о тревожномъ состояніи своего духа. Разныя причины возмущили его жизнь. Первая заключалась въ современныхъ европейскихъ событіяхъ: «Ужасныя происшествія Европы волнуютъ всю мою душу. Бѣгу въ густую мрачность лѣсовъ, но мысль о разрушаемыхъ городахъ и гибели людей вездѣ тѣснитъ мое сердце. Назови меня Донъ-Кихотомъ; но сей славный рыцарь не могъ любить Дульцинею свою такъ страстно, какъ я люблю человечество» (*). Этими словами кратко выражено то, что подробнѣе раскрыло письмо Мелодора къ Филалету (1794). Ими же объясняется и элегическій тонъ посвященія Аглаи, въ которомъ два раза находимъ одну и ту же фразу: «мы живемъ въ печальномъ мірѣ». Вторая причина—смерть Петрова и разстроенныя дѣла Плещеева, въ домѣ котораго Карамзинъ жилъ и на свояченицѣ котораго потомъ женился. Третья причина—начатыя въ 1792 г. преслѣдованія московскихъ масоновъ. Къ живому участию въ судьбѣ Новикова и другихъ членовъ типографской компаніи присоединилась боязнь за себя самого. Онъ могъ быть привлеченъ къ процессу, какъ лице, близко къ нимъ стоявшее. Чтобы меньше давать повода къ толкамъ, онъ пересталъ выѣзжать въ свѣтъ, простился на время съ литературой, и два года сряду, по нѣскольку мѣсяцевъ, уединился въ деревнѣ. Но мѣры благоразумной осторожности не спасли Карамзина ни отъ людской глупости, ни отъ людской злобы. Въ Москвѣ и Петербургѣ начали ходить слухи объ его удаленіи. «Больно видѣть», жалуется онъ Дмитріеву, «что нѣкоторые люди безъ всякой причины желаютъ мнѣ зла».

Къ § 13 (стр. 50—53).

Письма къ Дмитріеву сообщаютъ нѣсколько новыхъ и любопытныхъ свѣдѣній о литературныхъ непріятеляхъ Карамзина. Во время «Московского Журнала» враждебныя отношенія къ Карамзину питали Туманскій (издатель разныхъ матеріаловъ по русской исторіи), Н. Эминъ (авторъ комедіи «Знатоки»), Глущинъ и Крыловъ, издававшіе «Зрителя» (1792) и «Меркурія» (1793). Общія причины непріязни объяснены выше (**). Кромѣ того, Туманскій сердился на то, что Карамзинъ не печаталъ его піесъ въ своемъ журналѣ. Оба друга (Карамзинъ и Дмитріевъ) посмѣивались надъ промахами петербургскихъ журналовъ, къ которымъ относится одно мѣсто въ сатирѣ «Чужой толкъ», гдѣ рассказывается,

Какъ думалъ о стихахъ одинъ стихотворитель,
Котораго трудовъ *Меркурій нашъ и Зритель*.
И книжный магазинъ и лавочки полны.

Что касается до Карамзина, то, при всей молодости, онъ въ отношеніи къ своимъ недоброжелателямъ держалъ себя достойнымъ образомъ, выказывая и отсутствіе авторскаго самолюбія, и сознаніе своего превосходства. Какъ ни склонялъ его Дмитріевъ на литературную перепалку, онъ хранилъ упорное молчаніе: «что принадлежитъ до Зрителей, мой другъ, то я столько уважаю себя, что не войду съ ними ни въ какой бой... Qu'est ce qu'il y a de commun entre nous?» Желая поколебать рѣшимость друга, Дмитріевъ намѣревался подбѣить Глущина писать противъ «Московского Журнала» и тѣмъ подать поводъ къ полемикѣ. «Что за странная мысль!» упрекаетъ его Карамзинъ: «ужели ты могъ думать, что я приму отъ него перчатку?... Признаюсь, что, не смотря на мое *человѣколюбіе*, едва ли бы я простилъ тебѣ эту мысль. Скорѣе вступлю въ бой съ Пироговыми, сызранскими секретарями», и проч. Прекращеніе Московскаго Журнала не утомилло противниковъ его издателя. Отъ литературныхъ нападокъ они перешли къ другимъ средствамъ брани—къ доносамъ. Первый доносъ вышелъ, въ 1797 г., отъ Туманскаго, рижскаго цензора, не умѣвшаго прощать оскорбленія, нанесенныя его самолюбію. Остановивъ нѣмецкій (невѣрный) переводъ «Писемъ Русскаго Путешественника», онъ съ тѣмъ вмѣстѣ изложилъ вольныя мысли, въ нихъ встрѣтившіяся, за которыя отвѣтственность падала единственно на пере-

(*) Письмо къ Дмитріеву въ 1793 г.

(**) Стр. 296 и 297.

водчика. Ударъ былъ отведенъ графомъ Растопчинымъ, женатымъ на двоюродной сестрѣ Н. Н. Плещеевой (урожденной Протасовой) и знавшимъ хорошо Карамзина: онъ не допустилъ клеветы до Императора Павла I, у котораго пользовался большою довѣренностью. Другаго, постоянного себѣ недоброжелателя Карамзинъ нашелъ въ П. Н. Голенищевѣ-Кутузовѣ, о чемъ было говорено въ своемъ мѣстѣ (*Біографическія и литературныя замѣтки о Карамзинѣ*).

Въ передовой статьѣ Московскихъ Вѣдомостей (1866, № 254) превосходно изображена доблестная личность Карамзина. Приводимъ изъ этого изображенія слѣдующія строки:

«Значеніе Карамзина не исчерпывается его литературными заслугами, какъ ни важны онѣ, не исчерпываются даже и великимъ трудомъ его жизни. «Исторіей Государства Россійскаго». Карамзинъ дорогъ для насъ не тѣмъ только, что онъ сдѣлалъ, но и чѣмъ онъ былъ. Въ исторіи нашего юнаго образованія онъ представляетъ собою одинъ изъ самыхъ привлекательныхъ типовъ, въ которомъ гармонически сочеталось все, что только можетъ быть сочувственно и дорого для просвѣщеннаго и мыслящаго русскаго человѣка. Въ немъ все пополняется одно другимъ и нѣтъ ничего, что искушалось бы какимъ-либо печальнымъ недостаткомъ: въ немъ все поднимаетъ ваше чувство и ничто не роняетъ его; какъ бы вы ни подошли къ нему и чего бы вы ни затребовали, ведѣ и во всемъ, много-ли, мало-ли онъ дастъ вамъ, но нигдѣ онъ у васъ ничего не отниметъ, нигдѣ и ни въ чемъ не оскорбитъ васъ. Для нашихъ поколѣній, посреди броженія умовъ и сбивчивости направленій, типическій образъ Карамзина не только привлекателенъ, но и весьма поучителенъ.

«Онъ былъ Русскій не только по рожденію, но и по чувству; всею жизнію своею и дѣятельностію, столь плодотворною, принадлежалъ онъ Россіи. Но въ своемъ качествѣ Русскаго, онъ былъ человѣкъ и ничто человѣческое не считалъ себѣ чуждымъ; онъ былъ сынъ всемірной цивилизаціи. Качество Русскаго и качество Европейца не были въ немъ двумя чуждыми, другъ друга не знавшими силами, или двумя противными тяготѣніями; они не только не ссорились въ немъ, не только не отнимали другъ у друга мѣста, но были, какъ и слѣдуетъ, одною и тою же силой, и онъ былъ весь Русскій въ своемъ европейскомъ качествѣ, онъ былъ весь Европейецъ въ своемъ русскомъ чувствѣ. Онъ сходилъ во глубины нашего прошедшаго, изъ забытыхъ архивовъ воскресилъ онъ для русскаго народа память его давняго, темнаго минувшаго; но онъ остался сыномъ своей эпохи, и корни прошедшаго любилъ онъ въ цвѣтѣ настоящаго. Никто изъ его сверстниковъ не сдѣлалъ такъ много для русской народности, но онъ не былъ доктринеромъ какой-либо народной школы. Кто болѣе его любилъ Россію, кто былъ ревнивѣе къ ея достоинству, величію и чести? Въ комъ чище и сильнѣе горѣло святое пламя патріотизма? Однако никто изъ современныхъ ему дѣятелей не былъ болѣе его предметомъ слѣпой вражды доктринеровъ народности, полагающихъ ея силу въ скованныхъ ими самими «паропихахъ» и «мокроступахъ»? Въ немъ жило на все отзывавшееся поэтическое чувство, и въ то же время онъ былъ высоко одаренъ здравымъ смысломъ дѣятельности, и воображеніе мирилось въ немъ съ ясностію трезваго разума. Въ вѣкъ вольнодумства и отрицанія онъ былъ христіанинъ, искренно и глубоко убѣжденный, но религіозное чувство было свободно въ немъ отъ фанатизма и нетерпимости, и онъ умѣлъ отличать существенное отъ случайнаго, внутреннее отъ внѣшняго. Человѣкъ свѣтскаго образованія, онъ являетъ собою поучительный примѣръ постояннаго, упорнаго и усидчиваго труда: не будучи ученымъ, ни по приготовленію, ни по призванію, онъ въ себѣ являетъ намъ образецъ изслѣдователя, который не останавливается предъ трудностями, и это въ то время, когда дѣло науки въ Россіи было еще такъ скудно и слабо. Онъ былъ писатель, доводившій свое выраженіе до классической оконченности. Онъ былъ политическимъ дѣятелемъ, хотя и не находился на официальныхъ поприщахъ государственной службы. Не смотря на то, что его время представляло мало условій для политическаго образованія, онъ обладалъ удивительно зрѣлымъ политическимъ умомъ, который онъ воспиталъ и укрѣпилъ своими историческими изученіями. Онъ не былъ придворнымъ, но находился въ самыхъ близкихъ, можно сказать, дружескихъ отношеніяхъ къ членамъ царской семьи и къ самому Государю, который съ нимъ переписывался. Его переписка съ Императоромъ Александромъ Павловичемъ, Императрицею Елизаветой Алексѣевною и великою княгиней Екатериною Павловною исполнена удивительной искренности, простоты и человѣчности. И, конечно, изъ числа людей, самыхъ приближенныхъ къ Императору, никто не былъ преданъ ему болѣе Карамзина, но никакого рабства

ни въ дѣйствіяхъ, ни въ словахъ его. Чувство подданнаго въ Карамзинѣ, этомъ свѣтломъ представителѣ нашей народности, не было чувствомъ раба. Благоговѣя предъ святынею верховной власти, глубоко чувствуя и ясно разумѣя силу семейныхъ, общественныхъ и государственныхъ уставовъ, Карамзинъ представляетъ собою образецъ характера въ высокой степени независимаго и благороднаго. Онъ разумѣлъ всю цѣну порядка, но точно также понималъ онъ и цѣну свободы, и одно понималъ въ другомъ. Никто болѣе его не былъ чуждъ того поверхностнаго и пошлаго либерализма, который служитъ вѣрнымъ признакомъ уметвенной незрѣлости людей и политической незрѣлости обществъ: за то и никто болѣе его не обладалъ тѣмъ святымъ инстинктомъ свободы, безъ котораго человѣкъ не можетъ имѣть никакого нравственнаго достоинства. Независимость его характера восходила до гражданского мужества».

Матеріалы для біографіи Карамзина и исторіи его дѣятельности:

Письма Н. М. Карамзина къ П. П. Дмитріеву. Издали съ примѣчаніями и указателемъ Я. Гротъ и П. Пекарскій (Спб. 1866).

Николай Михайловичъ Карамзинъ, по его сочиненіямъ, письмамъ и отзывамъ современниковъ. Матеріалы для біографіи, съ примѣчаніями и объясненіями М. Погодина, 2 части (Москва 1866), и приложеніемъ (М. 1867).

Очеркъ дѣятельности и личности Карамзина, составленный Академикомъ Я. К. Гротомъ къ торжественному собранію Академіи Наукъ 1-го декабря 1866 г. (Сборникъ статей, читанныхъ въ отдѣленіи Русскаго языка и Словесности Императорской Академіи Наукъ. Томъ первый. Спб. 1867).

Рѣчи, произнесенныя въ торжественномъ собраніи Московскаго Университета и состоящихъ при немъ ученыхъ обществъ: Исторіи и древностей Россійскихъ и любителей Россійской Словесности 1 декабря 1866 г., въ день Карамзинскаго юбилея (Москва 1867). Содержаніе: Историческія поминки по историкѣ (С. Соловьева), Письма Русскаго Путешественника (О. Буслаева), «Тому сто лѣтъ» (стихотвореніе Кн. П. Вяземскаго), О значеніи Карамзина въ Исторіи русскаго законодательства (Н. Калачова), Н. М. Карамзинъ (М. Лонгинова).

Карамзинъ и его литературная дѣятельность. Рѣчь, произнесенная въ Харьковскомъ Университетѣ 1 декабря 1866 г. профессоромъ Н. Лавровскимъ (Харьковъ. 1866).

Статьи, написанныя для произнесенія въ торжественномъ собраніи Казанскаго Университета въ столѣтній юбилей Карамзина (Казань, 1866). Содержаніе: Біографическій очеркъ Карамзина и развитіе его литературной дѣятельности (Н. Булича). Мысли Карамзина о воспитаніи (П. Шестакова), Карамзинъ объ исторіи сѣверо-восточной Россіи (Н. Опрсова), «Исторія Государства Россійскаго» въ отношеніи къ исторіи русскаго права (С. Шпилевскаго), Два слова въ память Карамзину (М. Петровскаго).

Рѣчи, произнесенныя въ Университетѣ св. Владиміра по случаю столѣтняго юбилея Н. М. Карамзина (Кіевъ. 1866). Содержаніе: Рѣчь на панихидѣ по Карамзинѣ (протоіерея А. Оаворова), Значеніе Карамзина въ Исторіи Русской Словесности (А. Селина), Карамзинъ, какъ преобразователь русскаго языка (А. Линниченко), Карамзинъ, какъ моралистъ и историкъ (С. Гогоцкаго).

Lettres d'un voyageur russe en France, en Allemagne et en Suisse (1789—1790). traduites du russe et accompagnées de notes et d'une notice biographique sur l'auteur (Paris, 1867). Посвящено памяти Карамзина. Переводчикъ (Порошинъ) въ предисловіи высказалъ много умныхъ мыслей о значеніи литературной дѣятельности Карамзина; кромѣ того, въ примѣчаніяхъ онъ сообщилъ свѣдѣнія о нѣкоторыхъ лицахъ, упоминаемыхъ въ «Письмахъ», но означенныхъ только начальными буквами ихъ именъ или фамилій.

Столѣтній юбилей рожденія Н. М. Карамзина (Вѣст. Европы 1866, т. IV). Подъ этимъ заглавіемъ помѣщены: Fac-simile письма Карамзина къ К. Калайдовичу; Идеи Карамзина, какъ публициста (М. Погодина); Образъ мыслей Карамзина, какъ историка (А. Галахова); Торжество юбилея Карамзина въ Спб.

Карамзинъ, какъ историкъ, К. Бестужева-Рюмина (Журналъ Министерства Народ. Просвѣщенія, 1867, январь).

Біографическія и литературныя замѣтки о Карамзинѣ, по поводу новыхъ матеріаловъ для его біографіи и дѣятельности, А. Галахова (ib.).

Карамзинъ въ исторіи русскаго литературнаго языка, Я. Грота (ib. Апрѣль).

Къ § 40 (стр. 294 и 295, выноска подъ знакомъ ***).

Статья г. Пыпина: «Крыловъ и Радищевъ» (Вѣсти. Евр. 1868, кн. 5) имѣетъ предметомъ рѣшеніе вопроса: «кто писалъ въ Почтѣ духовъ?» По его мнѣнію, Крыловъ не только не былъ единственнымъ авторомъ переписки Маликульмулька съ духами, но даже нѣкоторыя письма гномовъ, помѣщенные въ собраніи сочиненій Крылова, принадлежатъ другому лицу, именно Радищеву. Соображенія свои г. Пыпинъ основываетъ, во первыхъ, на вѣншемъ свидѣтельствѣ, и во вторыхъ — на внутреннеи сторонѣ дѣла, т. е. на свидѣтельствѣ, выводимомъ изъ различія въ характерѣ писемъ.

Вѣннее свидѣтельство находится въ книгѣ Масона: «Memoires secrets sur la Russie» (1802), которая прямо называетъ Радищева авторомъ «Почты духовъ», вовсе не упоминая о Крыловѣ. Достоверность этого свидѣтельства если не уничтожается, то значительно заподозрѣвается отсутствіемъ свидѣтельствъ русскихъ, какъ современныхъ изданію журнала, такъ и позднѣйшихъ. Н. А. Петневъ, внесенъ въ собраніе сочиненій Крылова письма Буристонна, Вѣстолава и Зора, кромѣ 12-го, исключеннаго, вѣроятно, по цензурнымъ требованіямъ, руководствовался преданіемъ, въ истинѣ котораго онъ не имѣлъ поводовъ сомнѣваться. Для него, коротко знавшаго обстоятельства жизни и дѣятельности Крылова, принадлежность вышеуказанныхъ писемъ сему послѣднему была вещью извѣстною, въ разбирательство которой онъ считалъ бесполезнымъ пускаться. Нельзя же думать, что онъ самъ отъ себя, ради какого-то каприза, сочинилъ литературное извѣстіе. Напротивъ, предположеніе, что Радищевъ редактировалъ «Почту духовъ» или принималъ въ ней дѣятельное участіе, имѣетъ за себя только свидѣтельство Масона. Другихъ указаній нѣтъ, хотя и представлялись къ тому случаи. Въ 1802 г. «Почта духовъ» напечатана вторымъ изданіемъ. Затѣмъ, черезъ четыре года (1806), вышла первая часть «Собранія сочиненій Радищева» (вторая 1809 г., третья 1811). Оно содержитъ въ себѣ и прежніе труды, кромѣ «Путешествія изъ Петербурга въ Москву», бывшаго причиною несчастій автора, и «Письма къ другу, живущему въ Тобольскѣ» (1790), также поставленнаго въ вину автору (*), и нѣсколько новыхъ. Въ предисловіи отъ издателей сказано: «вотъ все, что осталось изъ сочиненій человека, извѣстнаго уже публикѣ... Жаль, что многія другія творенія, какъ важныя, такъ и забавныя, пропали». Ни слова о письмахъ въ «Почтѣ духовъ», ни малѣйшаго на нихъ намека. Трудно объяснить такое молчаніе. У покойнаго остались друзья и почитатели его памяти. Несомнѣнно, что они и занимались собраніемъ его сочиненій, которое печаталось въ типографіи Платона Бекетова. Можетъ статься, въ изданіи участвовалъ самъ Бекетовъ, любившій литературу и имѣвшій большія литературныя связи. Если преданіе о сатирическихъ письмахъ Крылова, почти черезъ шестьдесятъ лѣтъ (съ 1789 по 1847), дошло до Петнева, не подвергаясь сомнѣніямъ, — какъ оно могло исчезнуть или замутиться по отношенію къ Радищеву въ меньшій періодъ времени, т. е. черезъ семнадцать лѣтъ отъ перваго изданія «Почты духовъ» (1789—1806), черезъ четыре года (1802—1806) послѣ ея втораго изданія?

Обращаясь къ свидѣтельству внутреннему, состоящему въ различіи обличительныхъ приемовъ, по которому письма раздѣлены г. Пыпинымъ на два разряда: одни представляютъ почти только сцены изъ непосредственной жизни, сатиры на пети-метровъ и щеголихъ, на пристрастіе къ французскимъ модамъ, на судейскія плутни, на игроковъ и т. д., безъ дальнѣйшихъ отвлеченныхъ разсужденій; другія, напротивъ, больше заняты общими соображеніями о недостаткахъ общественной жизни, ея устройства и обычаевъ, и разсужденіями о предметахъ нравственности. Письма втораго разряда, по мнѣнію г. Пыпина, не могли быть написаны Крыловымъ: писалъ ихъ, какъ онъ думаетъ, Радищевъ.

Различіе между письмами, по отношенію ихъ къ способу обличенія, подмѣчено правильно. Дѣйствительно, письма снѣга Дальновидна — если не все, то нѣкоторыя изъ нихъ, а именно: 2-ое (о неразуміи людей разныхъ состояній), 4-ое (о мизантропѣ — честномъ человѣкѣ), 20-ое (слава государей-завоевателей; вельможи, вредные для

(*) Роспись Смирдина № 6370. См. Чтенія въ Общ. Ист. и Древн. 1865, кн. 3, смѣсь, стр. 77 и 101.

государства), 33-е (глухие счастливые ученых; славолубие последних), равно как 28-ое письмо (Маликульмулька къ Дальновиду (размышление и глупость; свѣтъ—училище) и 40-ое—(Эмпедокла къ Маликульмульку (слабость и непостоянство разума)—серьезнѣе въ томъ смыслѣ, что держатся на общихъ соображеніяхъ и выказываютъ извѣстную начитанность. Къ этому разряду, по замѣчанію г. Пыпина, надобно отнести и нѣкоторыя письма гномовъ (т. е. Крылова); по моему же мнѣнію, только одно, 26-ое, отъ Буристона, описывающее вельможу одного острова. Но доказать, что всѣ означенныя сатирическія статьи писалъ Радищевъ, такъ-же трудно, какъ доказать, что онѣ не могли выдти изъ подъ пера Крылова. Съ одной стороны, видимая въ нихъ начитанность такого значенія, что ее, пожалуй, можно было приобрѣсть изъ русскихъ переводовъ; а съ другой, трудно допустить, чтобы Радищевъ сталъ относиться къ нѣкоторымъ предметамъ и лицамъ такъ, какъ отнесся къ нимъ неизвѣстный авторъ. Начнемъ съ 26 письма (Буристона). Подземный духъ, бесѣдуя съ стихотворцемъ въ приемной вельможы, спрашиваетъ у него: «Ктожъ у васъ читаетъ *Платоновы сочиненія: О должностяхъ, Наставленія политикамъ, О состояніи земледѣльцевъ и Озваніи вельможъ?*» Вопросъ странный, какъ потому, что между сочиненіями Платона нѣтъ ни одного съ такими заглавіями, хотя въ его «Политикѣ» и встрѣчаются разсужденія объ исчисленныхъ предметахъ, такъ и потому, что перечень сочиненій не даетъ знать, всѣ ли они отнесены къ слову «Платоновы», или только первые (о должностяхъ). Отвѣтъ стихотворца поражаетъ не меньшею странностью: «Купцы и мѣщане, а вельможы читаютъ веселыя сказки, дѣтскія выдумки и шутивыя басни». Что наши вельможы не читали сочиненій Платона—это правда; но чтобы они служили чтеніемъ нашихъ купцовъ и мѣщанъ да еще въ XVIII в.,—это неправда, Сатирикъ выдумалъ небывальщину. Мы знаемъ отъ Новикова, какое чтеніе было во вкусъ грамотныхъ русскихъ «мѣщанъ». Дальше, въ томъ же письмѣ, говорится о «Юстиевыхъ разсужденіяхъ и Примѣчаніяхъ Ришелье». Нѣсколько разсужденій Юстіа переведено на русскій языкъ еще въ прошломъ столѣтіи, и переводъ одного изъ нихъ (Торгующее дворянство) сдѣланъ фонъ-Визинымъ. Но что это за «Примѣчанія Ришелье?»... Для меня несомнѣнно, что Буристонъ черпалъ изъ иностранныхъ источниковъ, искажая и путая, въ своихъ заимствованіяхъ, названія книгъ, и навязывая нашимъ купцамъ и мѣщанамъ то, что могло быть недиковиннымъ явленіемъ въ жизни средняго сословія на западѣ. Этимъ же самымъ предположеніемъ объясняются и многія собственныя имена, начертанныя въ «Почтѣ духовъ» частію по французскому произношенію, а частію по французскому правописанію, каковы, напримеръ: «Фусидидъ», «Ондинъ», «Деспро» (вм. Дебрео), республика «Кретанская» (вмѣсто Критская) и пр. Въ литературахъ англійской, французской, нѣмецкой, сатирическія письма, въ родѣ «Почты духовъ», считаются не единицами, а десятками и сотнями. Вотъ на что слѣдовало бы обратить вниманіе, чего однакожъ г. Пыпинъ не сдѣлалъ, довольствуясь отдаленными, слишкомъ общими, и потому необъидительными соображеніями. Письмо 33-е (Дальновиду) разсуждаетъ о славолубіи ученыхъ. Главная мысль его выражена слѣдующими словами: «Хотя философы и ученые говорятъ непрестанно о презрѣннй славы, о мудрости и о спокойствіи душевномъ; однакожъ, не взирая на всѣ ихъ прекрасныя и высокопарныя изрѣченія, утвердительно можно сказать, что если бы они не были къ тому подстрекаемы тщеславіемъ, то невѣжество и понынѣ господствовало бы надъ всѣмъ родомъ человѣческимъ, и что единое токмо желаніе отличиться отъ простыхъ и неученыхъ людей, превзойти знаніемъ своихъ современниковъ и заставить всѣхъ взирать на себя съ удивленіемъ было причиною, что древніе вѣка прославлялись Аристотелями, Платонами, Софоклами, Еврипидами и Демосфенами. Сему единому желанію и нынѣшнія времена одолжены произведеніемъ тѣхъ великихъ мужей, кои учинились знаменитыми чрезъ свои высокія и изящнѣйшія творенія». Въ примѣръ безумнаго тщеславіа приводится Аристотель, рѣшившійся лишить себя жизни по той причинѣ, что не могъ познать таинства природы. Кто трудился надъ этимъ письмомъ, на содержаніи котораго видимо вліяніе «мыслей» Паскаля? Если Радищевъ, то оно рекомендуетъ его невыгодно: ему, какъ воспитаннику Лейпцигскаго университета, непозволительно было объяснять успѣхи наукъ и искусствъ единственно тщеславіемъ ученыхъ, а не любовью человека къ истинѣ, не стремленіемъ ее изслѣдовать и постигнуть. Какъ бы дополненіемъ разсужденій Дальновиду служить письмо 40-ое (Эмпедокла) о несовершенствахъ разума и недостаткахъ философовъ. Изобразивъ слабости Аристотеля и Лейбница, Эмпедоклъ говоритъ: «Какую надежду можно полагать на разумъ, толико превозносимый похвалами отъ философовъ и отъ

многихъ ученыхъ? Должно ли называть природнымъ свѣтильникомъ такую вещь, которая не способна подать намъ ни малѣйшаго просвѣщенія? и какое дѣйствіе можетъ произвести философія, которая ничѣмъ другимъ не поддерживается, какъ властію сего обманчиваго и мечтательнаго разума, который чаще приносить намъ вредъ, нежели пользу?» Слова свои Эмпедоклъ подкрѣпляетъ авторитетами Паскаля, Августина блаженнаго, Сен-Бернара, иль сочиненій которыхъ приведены вышески. Ужели и въ этомъ письмѣ виноватъ Радищевъ, читатель разума, поклонникъ Гельвеція, Рейналя и другихъ подобныхъ имъ философовъ, любившій ихъ мыслями напичкать свои собственныя отвлеченныя разсужденія? Если такъ, то онъ этими письмами сталъ въ явное и непонятное противорѣчіе съ тѣмъ, что говорилось имъ въ другихъ сочиненіяхъ.

Остается сказать нѣсколько словъ о другихъ доводахъ г. Пыпина въ пользу Радищева и не въ пользу Крылова. Онъ находитъ, что произведенія Крылова, ближайшія по времени къ «Почтѣ духовъ», вообще не превышали средняго уровня. Конечно, письмами подземныхъ духовъ Крыловъ значительно возвысился надъ прежнимъ своимъ авторствомъ, но такой фактъ не представляетъ ничего удивительнаго. Особенность великихъ талантовъ въ томъ и заключается, что они способны сразу воеходить на высоту, минуя среднія ступени. Примѣровъ подобнаго, неожиданно-быстраго возвышенія много въ литературѣ западныхъ народовъ. Есть они и въ нашей. Какъ велико разстояніе между переводными піесами Грибоедова и Горемъ отъ ума! однакожъ это разстояніе пройдено имъ въ шесть-семь лѣтъ, не болѣе. Кто могъ думать, что С. Аксаковъ изъ третьекласснаго литератора, какимъ онъ былъ до появленія Семейной Хроники, сдѣлается, уже на старости лѣтъ, послѣ Семейной Хроники, литераторомъ первостепеннымъ? Самъ Лафонтенъ, безъ своихъ басенъ, былъ бы давно забытъ французами: все, имъ предшествовавшее, не выходило изъ предѣловъ лжеклассическаго стиля. Что же касается до сатиры Крылова, явившейся вскорѣ послѣ «Почты духовъ», то замѣчаніе г. Пыпина невѣрно, такъ какъ трудно игнорировать повѣсть Кантъ и Похвальную рѣчь въ память моему дѣдушкѣ, явившіяся въ «Зрителѣ»: по силѣ обличеній эти статьи выше писемъ гномовъ. Если Крыловъ написалъ первые 24-хъ лѣтъ отъ роду, почему не могъ онъ написать вторыхъ на 23-мъ году жизни?

Въ «Зрителѣ», замѣчаетъ еще г. Пыпинъ, найдемъ вещи совершенно противоположныя тому, что было въ «Почтѣ духовъ»: укажемъ, напримѣръ, для сравненія, описаніе пріемной вельможи въ томъ и другомъ журналѣ. Но какое дѣло одному описанію до другаго? Это—статьи разныхъ лицъ. Описаніе пріемной вельможи, въ «Почтѣ духовъ», сочинено Крыловымъ, а описаніе такой же пріемной, въ Зрителѣ (Передняя знатнаго барина)—Плавильщиковымъ. Если Крыловъ и виноватъ здѣсь въ чемъ нибудь, то развѣ непослѣдовательностью, падающею не на него одного, но и на Клушина, т. е. помѣщеніемъ въ журналѣ разнохарактерныхъ матеріаловъ. Отъ этого страдало лишь единство журнальнаго направленія—и только. Что же общаго между направленіемъ «Зрителя» и описаніемъ пріемной вельможи въ «Почтѣ духовъ?»

Изъ всего вышесказаннаго вывожу слѣдующее заключеніе: что Радищевъ могъ участвовать въ «Почтѣ духовъ»—это правдоподобно; но что онъ дѣйствительно въ ней участвовалъ и что именно ему принадлежатъ письма втораго разряда—этого г. Пыпинъ не доказалъ.

Istoriia russkoi slovesnosti PG
2950
.I7
v.2

PONTIFICAL INSTITUTE
OF MEDIEVAL STUDIES
115 PARK
TORONTO 5, CANADA

